This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

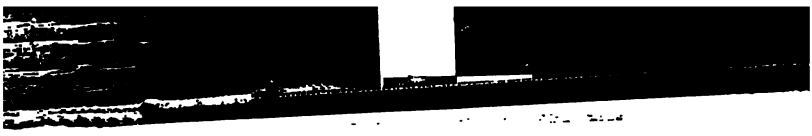
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

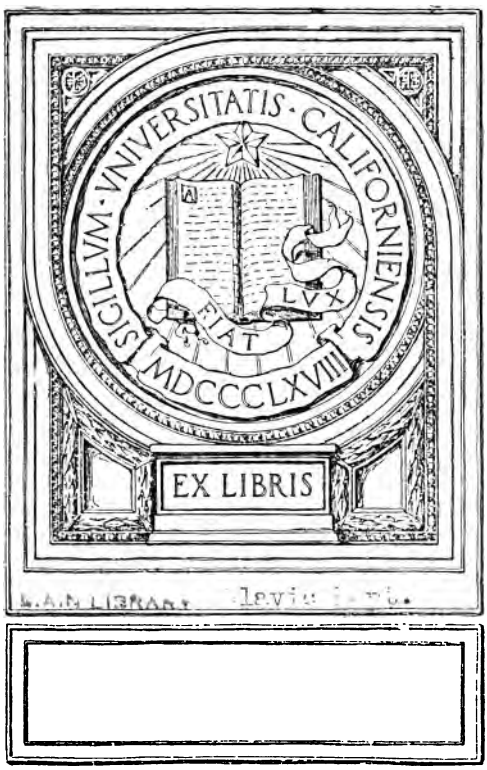
О программе Поиск кпиг Google

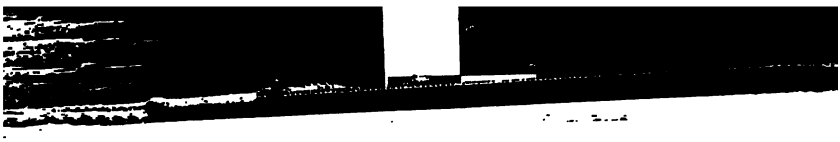
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

SIGILLVM · VNIVERSITATIS · CALIFORNIENSIS
LVX
FIAT
MDCCCLXVIII
EX LIBRIS

MAIN LIBRARY Slavic Dept.




SIGILLVM · VNIVERSITATIS · CALIFORNIENSIS
LVX
FIAT
MDCCCLXVIII
EX LIBRIS



UNIV. OF
CALIFORNIA

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
И. С. ТУРГЕНЕВА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ за 1898 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1898.

MAIN LIBRARY

Типографія А. Ф. Маркса Ср. Подьяч., № 1.

PG3420
A1
1898
v.11-12
MAIN

ЗАВТРАКЪ У ПРЕДВОДИТЕЛЯ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.

Николай Ивановичъ Балагалаевъ, предводитель, 45 лѣтъ.
Петръ Петровичъ Пехтерьевъ, бывшій предводитель, 60 лѣтъ.
Евгеній Тихоновичъ Сусловъ, судья.
Антонъ Семеновичъ Алупкинъ, сосѣдъ-помѣщикъ.
Мирволинъ, бѣдный сосѣдъ-помѣщикъ.
Ераспонтъ Ильичъ Безпандинъ, помѣщикъ.
Анна Ильинишна Каурова, сестра его, вдова, 45 лѣтъ.
Порфирій Игнатьевичъ Нагловичъ, становой.
Вельвицкій, письмоводитель предводителя.
Герасимъ, камердинеръ Балагалаева.
Карпъ, кучеръ Кауровой.

Дѣйствіе происходитъ въ имѣніи Балагалаева.

Театръ представляетъ столовую. Въ срединѣ выходъ, направо кабинетъ, окна позади, въ сторонѣ накрытый столъ съ закуской. **Герасимъ** хлопочетъ около стола. Услышавъ стукъ экипажа, онъ подходитъ къ окну.

ЯВЛЕНІЕ I.

Герасимъ и Мирволинъ.

Мирволинъ.

Здравствуй, Герасимъ! какъ поживаешь?.. А что, онъ еще не выходилъ?

469846

Герасимъ (*накрывая на столъ*).

Здравствуйте. Гдѣ это вы достали лошадь?

Мирволинъ.

А что, вѣдь недурна лошаденка? Мнѣ за нее вчера двѣсти рублей предлагали.

Герасимъ.

Кто предлагалъ?

Мирволинъ.

А купецъ изъ Карачева предлагалъ.

Герасимъ.

Что жъ вы не отдали?

Мирволинъ.

Зачѣмъ отдать? самому нужна. Ахъ, братецъ, дай-ка рюмочку: смерть что-то въ горлѣ, знаешь, того, да и жара притомъ... (*Пьетъ и закусываетъ*). Это ты къ завтраку накрываешь?

Герасимъ.

А то къ обѣду, что ль?

Мирволинъ.

Сколько приборовъ! Развѣ кого ждутъ?

Герасимъ.

Видно ждутъ.

Мирволинъ.

Не знаешь, кого?

Герасимъ.

Не знаю. Говорятъ, будто сегодня Безпандина съ сестрой мирить хотятъ: такъ вотъ развѣ по этому случаю.

Мирволинъ.

Э-э! неужели? Что жъ, и хорошо. Надо жъ имъ покончить—подѣлиться. Вѣдь это, наконецъ, срамъ. А правда ли, говорятъ, Николай Иванычъ у Безпандина хотятъ рощу купить?

Герасимъ.

А Господь ихъ знаетъ!

Мирволинъ (*въ сторону*).

Вотъ бы, кстати, лѣску-то попросить.

Балагалаевъ (*за кулисами*).

Филька! Вельвицкаго мнѣ позвать.

Мирволинъ.

Знать, изъ кабинета въ гостиную дверь растворена... Ну-ка, другую рюмочку, Гарася...

Герасимъ.

А что? вѣрно, горло все...

Мирволинъ.

Да, братъ, что-то саднитъ. (*Пьетъ и заѣдаетъ. Герасимъ выходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ II.

Тѣ же, **Балагалаевъ** и **Вельвицкій.**

Балагалаевъ.

Такъ, такъ, такъ-такъ-то, ты ужъ такъ и распорядись! слышишь? (*Мирволину*). А, ты, здравствуй!

Мирволинъ.

Нижайшее мое почтеніе, Николай Иванычъ!

Балагалаевъ (*Вельвицкому*).

Какъ я тебѣ сказалъ, ты понимаешь. Вѣдь ты понялъ?

Вельвицкій.

Какъ же-съ, какъ же-съ.

Балагалаевъ.

Ну, да, этакъ будетъ хорошо. Ну, теперь ступай... Я тебѣ дамъ знать, я велю тебя позвать. Можешь идти.

Вельвицкій.

Слушаю-съ. Такъ, стало-быть-съ, бумагу по дѣлу вдовы Кауровой приготовить-съ?..

Балагалаевъ.

Ну, конечно, конечно... Я удивляюсь! Ты долженъ былъ понять, наконецъ, братецъ.

Вельвицкій.

Да вы ничего не изволили мнѣ...

Балагалаевъ.

Мало чего! Не все же мнѣ тебѣ сказывать, наконецъ!

Вельвицкій.

Слушаю-съ. (*Уходитъ*).

Балагалаевъ.

А не слишкомъ понятливъ этотъ молодой человѣкъ. (*Къ Мирволину*). Ну, какъ ты? (*Садится*).

Мирволинъ.

Слава Богу-съ, Николай Иванычъ, слава Богу-съ. Какъ вы въ своемъ здоровьѣ?

Балагалаевъ.

Я ничего. Въ городѣ былъ?

Мирволинъ.

Какъ же-съ, былъ; новаго, впрочемъ, ничего-съ. Купца Селедкина, третьяго-дня, параличъ хватилъ; да ему не въ диво. Стряпчій, говорятъ, вчера свою супругу опять того-съ...

Балагалаевъ.

Въ самомъ дѣлѣ? Экой неугомонный!

Мирволинъ.

Журавлева доктора видѣлъ-съ; вамъ кланяться приказалъ. Петра Петровича въ новой коляскѣ встрѣтилъ. Знать, куда въ гости собирались: съ лакеемъ, и на лакеѣ шляпа новая.

Балагалаевъ.

Онъ сегодня у меня будетъ. А что, у него коляска хороша?

Мирволинъ.

Какъ вамъ сказать-съ? Нѣтъ, по-настоящему, нехороша: фигурой, точно, беретъ, а въ сущности,—нѣтъ, я не знаю, она мнѣ не нравится. Какъ можно сравнить съ вашей коляской!

Балагалаевъ.

Ты думаешь? она на лежачихъ?

Мирволинъ.

На лежачихъ-то она на лежачихъ, да что въ томъ толку? помилуйте-съ! больше для важности. А это онѣ любятъ, поважничать-то. Онѣ, говорятъ, опять намѣрены баллотироваться.

Балагалаевъ.

Въ предводители?

Мирволинъ.

Точно такъ-съ. Что жъ, пожалуй! Опять на вороныхъ изволятъ прокатиться.

Балагалаевъ.

Ты думаешь? Впрочемъ, Петръ Петровичъ, я долженъ сказать, весьма почтенный человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ и совершенно заслуживаетъ... Конечно, съ другой стороны, лестное вниманіе дворянства... Выпей-ка водки.

Мирволинъ.

Покорнѣйше благодарю-съ.

Балагалаевъ.

А что, развѣ уже пилъ?

Мирволинъ.

Никакъ нѣтъ-съ! не то, чтобы пилъ, а такъ, что-то грудь... (*Кашляетъ*).

Балагалаевъ.

Э, вздоръ! выпей.

Мирволинъ (*пьетъ*).

За ваше здоровье. А вѣдь, знаете ли что, Николай Иванычъ, вѣдь Петра Петровича настоящая фамилія не Пехтерьевъ, а Пехтерёвъ,—Пехтерёвъ, а не Пехтерьевъ.

Балагалаевъ.

Почему ты это думаешь?

Мирволинъ.

Какъ же намъ этого не знать! помилуйте! Мы и батюшку ихъ знавали, и дядьевъ-то всѣхъ. Всѣ Пехтерёвыми прозывались; искони Пехтерёвы, а не Пехтерьевы. Пехтерьевъ — этакой и фамиліи у насъ никогда не бывало... что за Пехтерьевъ?

Балагалаевъ.

А!.. Впрочемъ, не все ли равно? было бы сердце доброе.

Мирволинъ.

Совершенную истину изволили сказать-съ: было бы сердце доброе. (*Глянувъ въ окно*). Кто-то пріѣхалъ-съ.

Балагалаевъ.

А я еще въ шлафрокѣ. Это я съ тобой заболтался. (*Встаетъ*).

Алупкинъ (*за кулисами*).

Доложи, А-а-лупкинъ, дворянинъ...

Герасимъ (*входитъ*).

Алупкинъ господинъ васъ спрашиваетъ-съ.

Балагалаевъ.

Алупкинъ! Кто, бишь, это? Проси. А ты займи его, пожалуйста. Я сейчасъ... (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ III.

Мирволинъ и Алупкинъ.

Мирволинъ.

Николай Иванычъ сейчасъ пожалуютъ. Не угодно ли пока присѣсть?

Алупкинъ.

Покорнѣйше благодарю. Постоимъ-съ. Позвольте узнать, съ кѣмъ имѣю честь...

Мирволинъ.

Мирволинъ, помѣщикъ, здѣшній житель... можетъ-быть, слыхали?

Алупкинъ.

Никакъ нѣтъ-съ, не слыхалъ-съ... Впрочемъ, очень радъ случаю. Позвольте узнать: вамъ Балдашова, Татьяна Семеновна, родственница?..

Мирволинъ.

Никакъ нѣтъ-съ. Какая это Балдашева?

Алупкинъ.

Тамбовская помѣщица, вдова-съ.

Мирволинъ.

А! Тамбовская!

Алупкинъ.

Да-съ, тамбовская, вдова-съ. А позвольте узнать, вамъ здѣшній становой приставъ знакомъ?

Мирволинъ.

Порфирій Игнатьичъ? Еще бы! старинный пріятель.

Алупкинъ.

Величайшая бестія, какая только есть на свѣтѣ. Вы

меня извините, я человѣкъ откровенный, солдатъ: я привыкъ выражаться прямо, безъ обиняковъ. Надо вамъ сказать...

Мирволинъ.

Не угодно ли вамъ чего-нибудь закусить съ дороги?

Алупкинъ.

Покорнѣйше благодарю. Надо вамъ сказать, что я въ здѣшнихъ краяхъ поселился недавно, а до сихъ поръ я жилъ больше въ Тамбовской губерніи. Но, получивъ, послѣ покойницы жены, въ наслѣдство пятьдесятъ-двѣ души въ здѣшнемъ уѣздѣ...

Мирволинъ.

А гдѣ именно, позвольте узнать?

Алупкинъ.

Сельцо Трюхино, въ пяти верстахъ отъ большой воронежской дороги.

Мирволинъ.

А знаю, знаю! хорошее имѣньице.

Алупкинъ.

Дрянь совершенная: одинъ песокъ... Итакъ, получивъ наслѣдство послѣ покойницы жены, я почелъ за благо переселиться сюда-съ, тѣмъ болѣе, что у меня въ Тамбовѣ домъ, съ позволенія сказать, просто развалился. Вотъ-съ я и переселился, — и что же? Вашъ становой уже успѣлъ повредить мнѣ самымъ неприличнымъ образомъ.

Мирволинъ.

Скажите, какъ это непріятно!

Алупкинъ.

Нѣтъ, позвольте, позвольте. Другому бы ничего, а у меня дочь Екатерина—вотъ что прошу разсудить; однако, я надѣюсь на Николая Иваныча. Хотя я всего два раза имѣлъ удовольствіе ихъ видѣть, но я столько наслышался о ихъ справедливости...

Мирволинъ.

Да вотъ они сами-съ.

ЯВЛЕНІЕ IV.

Тѣ же и Балагалаевъ (*во фракѣ. Алупкинъ кланяется*).

Балагалаевъ.

Мнѣ очень пріятно. Прошу присѣсть... Я... я, помнится, имѣлъ удовольствіе видѣть васъ у почтеннаго Аѳанасія Матвѣича.

Алупкинъ.

Точно такъ-съ.

Балагалаевъ.

Вѣдь вы, кажется, недавно стали нашимъ, — недавно, то-есть, въ нашъ уѣздъ переѣхали?..

Алупкинъ.

Точно такъ-съ.

Балагалаевъ.

Вы, я надѣюсь, не будете раскаиваться. (*Небольшое молчанье*). Жаркій день какой сегодня...

Алупкинъ.

Николай Иванычъ, позвольте старому солдату объясниться съ вами откровенно.

Балагалаевъ.

Сдѣлайте одолженіе. Что такое?

Алупкинъ.

Николай Иванычъ! вы нашъ предводитель! Николай Иванычъ! вы, такъ сказать, нашъ второй отецъ; я самъ отецъ, Николай Иванычъ!

Балагалаевъ.

Я, повѣрьте, слишкомъ хорошо знаю, слишкомъ чувствую; это мой долгъ. Притомъ, лестное вниманіе дворянства... Говорите, что такое?

Алупкинъ.

Николай Иванычъ! вашъ становой—первый плутъ-съ.

Балагалаевъ.

Гмъ! Однако, вы сильно выражаетесь.

Алупкинъ.

Нѣтъ, позвольте, позвольте! благоволите выслушать... У сосѣдняго мужика Филиппа мой мужикъ яко бы козла *укралъ... А позвольте* узнать, на что мужику козелъ?..

Нѣтъ, вы мнѣ скажите, на что̀ мужику козелъ? Да и, наконецъ, почему жъ именно *мой* мужикъ этого козла укралъ? почему не другой? Какія доказательства? Положимъ даже, точно, мой мужикъ виноватъ—такъ я-то что́? я-то зачѣмъ отвѣчать долженъ? меня-то зачѣмъ безпокоить? Что жъ, послѣ этого, я за всякаго козла отвѣчать буду? И становой будетъ мнѣ въ правѣ грубить... помилуйте! Онъ говоритъ: козелъ на вашемъ скотномъ дворѣ отыскался... Да провались онъ совсѣмъ со своимъ козломъ! Тутъ дѣло не въ козлѣ, а въ приличіи!

Балагалаевъ.

Позвольте, я, признаться, хорошенько не понимаю. Вы говорите, вашъ мужикъ укралъ козла?

Алупкинъ.

Нѣтъ, это не я говорю,—это становой говоритъ.

Балагалаевъ.

Да, вѣдь, кажется, на то есть законный порядокъ. Я, право, не знаю, почему вамъ было угодно обратиться ко мнѣ?

Алупкинъ.

Да къ кому же, Николай Иванычъ? Вы извольте разсудить. Я старый солдатъ, я обиду получилъ, честь моя страдаетъ. Становой мнѣ говоритъ, и самымъ этакъ неприличнымъ образомъ: дескать, я васъ... Помилуйте!

Герасимъ (*входитъ*).

Евгеній Тихонычъ пріѣхать изволили.

Балагалаевъ (*встаетъ*).

Извините, пожалуйста... Евгеній Тихонычъ! Милости просимъ! Какъ вы въ своемъ здоровьѣ?

ЯВЛЕНІЕ V.

Тѣ же и **Сусловъ**.

Сусловъ.

Хорошо, хорошо! спасибо... Господа! честь имѣю...

Мирволинъ.

Наше вамъ, Евгеній Тихонычъ!

Сусловъ.

А, здравствуй!

Балагалаевъ.

А что ваша супруга?

Сусловъ.

Жива... Экая жара! Если бъ не къ вамъ, Николай Иванычъ, ей-Богу, съ мѣста не тронулся бы.

Балагалаевъ.

Спасибо, спасибо. Не угодно ли? (*Къ Алупкину*). Вы извините... какъ васъ по имени и по отчеству?

Алупкинъ.

Антонъ Семеновъ.

Балагалаевъ.

Любезный мой Антонъ Семенычъ, вы мнѣ послѣ изложите ваше неудовольствіе, а теперь... вы видите сами... Я, съ своей стороны, повѣрьте, особое обращу вниманіе, — будьте покойны. Вы съ Евгеній Тихонычемъ знакомы?

Алупкинъ.

Никакъ нѣтъ-съ.

Балагалаевъ.

Такъ позвольте же васъ представить. Судья нашъ, благороднѣйшій человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ, душа открытая, почтеннѣйшій человѣкъ... Евгеній Тихонычъ!

Сусловъ (*у стола, закусываетъ*).

Чего?..

Балагалаевъ.

Позвольте познакомить васъ съ новымъ жителемъ нашего уѣзда:—Алупкинъ, Антонъ Семенычъ, новый помѣщикъ.

Сусловъ (*продолжая пить*).

Мнѣ чрезвычайно пріятно. Вы откуда къ намъ?

Алупкинъ.

Изъ Тамбовской губерніи.

Сусловъ.

А! у меня въ Тамбовѣ родственникъ живетъ, пустѣйшій человѣкъ. Впрочемъ, Тамбовъ—ничего, городъ хорошій.

Алупкинъ.

Городъ, точно, ничего.

Сусловъ.

А что жъ наши голубчики?.. они, пожалуй, и не пріѣдутъ вовсе?

Балагалаевъ.

Нѣтъ, этого я не думаю. Меня ужъ и то удивляетъ, что ихъ до сихъ поръ нѣтъ... Они должны были первые пріѣхать.

Сусловъ.

А что̀, какъ вы думаете, мы помиримъ ихъ?

Балагалаевъ.

Должно надѣяться... Я и Петра Петровича пригласилъ. А! кстати! позвольте обратиться къ вамъ съ просьбой, Антонъ Семенычъ. Вы можете помочь намъ въ дѣлѣ, которое, такъ сказать, равно касается до всѣхъ дворянъ.

Алупкинъ.

Та-акъ.

Балагалаевъ.

Здѣсь есть у насъ одинъ помѣщикъ — Безпандинъ, и хорошій, кажется, человѣкъ, а сумасбродъ; то-есть, не то чтобы сумасбродъ, а кто его знаетъ! У Безпандина сестра, Каурова, вдова: женщина, по правдѣ сказать, до крайности безтолковая, упрямая... Впрочемъ, вы ее увидите.

Мирволинъ.

Это у нихъ въ роду-съ, Николай Иванычъ: ихняя матушка, покойница Пелагея Арсеньевна, еще того хуже была-съ. Говорятъ, въ молодыхъ лѣтахъ будучи, кирпичъ имъ на голову упалъ, такъ, можетъ, отъ этого-съ...

Балагалаевъ.

Можетъ-быть. Потому, природа... Вотъ между этимъ Безпандинымъ и его сестрой, вдовой Кауровой, третій годъ идетъ распря по случаю дѣлежа. Тетка ихъ родная имъ обоимъ, по духовному завѣщанію, имѣніе оставила,— имѣніе, замѣтьте, благопріобрѣтенное... Ну, не могутъ подѣлиться, хоть ты тресни... Особенно сестрица просто ни на что̀ не согласна. До суда дѣло доходило; высшимъ властямъ прошенія подавали: долго ли тутъ до бѣды?

Вотъ я и рѣшился, наконецъ, пресѣчь, такъ сказать, твердою рукою корень зла, остановить, наконецъ, вразумить... Я имъ сегодня у себя свиданіе назначилъ, но ужъ въ послѣдній разъ; а тамъ я ужъ другія мѣры приму... Изъ чего, въ самомъ дѣлѣ, мучиться? Пусть судъ ихъ разбираетъ. Въ миротворцы, въ свидѣтели, я пригласилъ почтеннаго Евгенія Тихоныча, Пехтерёва Петра Петровича, бывшаго предводителя... Такъ не угодно ли и вамъ помочь намъ, то-есть, въ этомъ дѣлѣ?

Алупкинъ.

Я съ удовольствіемъ... но, не будучи знакомъ, кажется...

Балагалаевъ.

Что жъ такое! Это ничего... Вы здѣшній помѣщикъ, человѣкъ разсудительный. Напротивъ, оно еще лучше: имъ нельзя будетъ сомнѣваться въ вашемъ безпристрастіи.

Алупкинъ.

Извольте-съ, я готовъ.

Герасимъ (*входитъ*).

Госпожа Каурова пріѣхали-съ.

Балагалаевъ.

Легка на поминѣ.

ЯВЛЕНІЕ VI.

Тѣ же и **Каурова** (*въ шляпкѣ и съ ридикюлемъ*).

Балагалаевъ.

А, наконецъ! Милости просимъ, Анна Ильинишна! милости просимъ... Сюда... не угодно-ли-съ?

Каурова.

Ѳерапонтъ Ильичъ еще не пріѣзжалъ-съ?

Балагалаевъ.

Нѣтъ еще; впрочемъ, онъ теперь скоро будетъ. Не угодно ли закусить?

Каурова.

Покорно благодарю-съ. Я постное кушаю-съ.

Балагалаевъ.

Что жъ, вотъ рѣдька, огурцы... Чаю не прикажете ли?

Каурова.

Нѣтъ-съ, покорно благодарю; я ужъ завтракала. Вы извините меня, Николай Иванычъ, коли я опоздала. (*Садится.*) И то слава Богу, что въ цѣлости доѣхала; кучеръ мой чуть-чуть меня не вывалилъ.

Балагалаевъ.

Скажите пожалуйста; а кажется дорога недурна.

Каурова.

Не въ дорогѣ дѣло-съ, Николай Иванычъ; охъ, не въ дорогѣ!.. Я, вотъ, пріѣхала, Николай Иванычъ, только я никакой пользы отъ этого не ожидаю. Нравъ Ѳерапонта Ильича мнѣ слишкомъ извѣстенъ... охъ, слишкомъ!

Балагалаевъ.

Ну, это мы увидимъ, Анна Ильинишна! Я такъ, напротивъ, надѣюсь сегодня кончить ваше дѣло; пора.

Каурова.

Дай Богъ, дай Богъ. Я, вы знаете, Николай Иванычъ, я на все согласна. Я человѣкъ смирный... Я не прекословлю, Николай Иванычъ; гдѣ мнѣ! Я вдова беззащитная: на васъ однихъ надѣюсь... А Ѳерапонтъ Ильичъ извести меня хочетъ... Что жъ? Богъ съ нимъ! лишь бы дѣтокъ малолѣтныхъ не погубилъ. А ужъ я что!..

Балагалаевъ.

Полноте, Анна Ильинишна, полноте! Вотъ я вамъ лучше представлю новаго нашего помѣщика, Алупкина, Антона Семеныча.

Каурова.

Очень рада-съ, очень рада-съ.

Балагалаевъ.

Онъ, если вы позволите, также будетъ участникомъ въ нашемъ дѣлѣ.

Каурова.

Согласна, Николай Иванычъ, я на все согласна. Но мнѣ, хоть весь уѣздъ, всю губернію созовите: у меня совѣсть чиста, Николай Иванычъ. Они, я знаю, за меня

заступятся. Они не дадутъ меня въ обиду... А вы какъ въ своемъ здоровьѣ, Евгеній Тихонычъ?

Сусловъ.

Хорошо. Что мнѣ дѣется! Покорно благодарю.

Мирволинъ (*цѣлуя руку Кауровой*).

Какъ ваши дѣтки, Анна Ильинишна?

Каурова.

Слава Богу, пока еще живы. Охъ, долго ли? Скоро, скоро они совсѣмъ осиротѣютъ, бѣдняжки!

Сусловъ.

Полноте! Зачѣмъ вы это говорите, Анна Ильинишна? Вы ещ... насъ всѣхъ переживете, матушка!

Каурова.

Какъ зачѣмъ я это говорю, отецъ мой! Стало-быть, есть причины, коли ужъ я не могу промолчать. То-то вотъ и есть! а еще, кажется, судья. Стану я говорить безъ доказательствъ!

Сусловъ.

Ну какія же доказательства?

Каурова.

Извольте, извольте... Николай Иванычъ, прикажите позвать моего кучера.

Балагалаевъ.

Кого?

Каурова.

Кучера, моего кучера, Карпушку. Его Карпушкой зовутъ.

Балагалаевъ.

Для чего?

Каурова.

Да ужъ прикажите. Вотъ, Евгеній Тихонычъ доказательствъ требуетъ...

Балагалаевъ.

Да позвольте, Анна Ильинишна...

Каурова.

Нѣтъ ужъ, сдѣлайте одолженіе.

Балагалаевъ.

Ну, пожалуй. (*Мирволину.*) Сбѣгай, братецъ, пожалуйста, прикажи.

Мирволинъ.

Сейчасъ. (*Выходитъ.*)

Каурова.

Вы мнѣ все не хотите вѣрить, Евгеній Тихонычъ. Ужъ это не въ первый разъ! Богъ съ вами!

Алупкинъ.

Однако, позвольте; я все-таки не могу понять, зачѣмъ вамъ угодно было позвать вашего кучера. Кажется, къ чему тутъ кучеръ?.. Не понимаю.

Каурова.

А вотъ увидите.

Алупкинъ.

Не понимаю.

ЯВЛЕНІЕ VII.

Тѣ же и **Карпъ** и **Мирволинъ**.

Мирволинъ.

Вотъ-съ кучеръ.

Каурова.

Карпушка... слушай... гляди на меня; вотъ они не хотятъ вѣрить, что Ѳерапонтъ Ильичъ нѣсколько разъ тебя хотѣлъ подкупить... Слышишь ли ты, что я тебѣ говорю?..

Сусловъ.

Ну что жъ ты молчишь, любезный? Ихъ братецъ подкупалъ тебя?

Карпъ.

Какъ подкупалъ?

Сусловъ.

Я не знаю. Вотъ, Анна Ильинишна говоритъ

Каурова.

Карпушка! слушай, гляди на меня... Вѣдь ты помнишь, сегодня чуть меня не вывалилъ... помнишь?..

Карпъ.

Когда-съ?

Каурова.

Когда?... Экой глупый!.. Разумѣется, на поворотѣ, не доѣзжая плотины. Еще одно колесо чуть не выскочило.

Карпъ.

Слушаю-съ.

Каурова.

Ну, и помнишь ты, что̀ я тебѣ сказала тогда? Я тебѣ сказала: „признайся—сказала я тебѣ—Ѳерапонтъ Ильичъ тебя подкупилъ: дескать, Карпуша, голубчикъ, ушиби, молъ, твою барыню до смерти, а ужъ я тебя не оставлю“... Ну, и помнишь ты, что̀ ты мнѣ отвѣчалъ?.. Ты мнѣ отвѣчалъ: „виноватъ, сударыня, точно, я предъ вами виноватъ“.

Сусловъ.

Да позвольте, Анна Ильинишна: виноватъ — это еще ничего не доказываетъ... Что̀ онъ этимъ хотѣлъ сказать? сознаться, что ли, онъ хотѣлъ въ подкупѣ, въ намѣреніи зашибить васъ — вотъ что̀ нужно узнать... Сознался ли ты?.. а?.. сознался?

Карпъ.

Въ чемъ сознался?

Каурова.

Карпушка! слушай, гляди на меня... Вѣдь Ѳерапонтъ Ильичъ хотѣлъ тебя подкупить? Ну, конечно, ты не согласился... Но я вѣдь правду говорю?

Карпъ.

Какъ вы изволите говорить-съ.

Каурова.

Ну вотъ видите...

Сусловъ.

Да позвольте, позвольте!.. Ты мнѣ, братецъ, отвѣчай, да толковито, смотри...

Каурова.

Нѣтъ, *вы* позвольте, Евгеній Тихонычъ! я на это не *могу* согласиться. Вы его запугать хотите — я этого не *позволю. Ступай*, Карпушка, ступай; да проспись, смотри;

а то вѣдь ты совсѣмъ спишь. (*Карпъ уходитъ*). А отъ васъ, Евгеній Тихонычъ, признаюсь, я этого не ожидала. Чѣмъ, кажется, я это заслужила?

Сусловъ.

Да что вы насъ морочите!..

Балагалаевъ.

Ну, полноте, полноте, Анна Ильинишна! присядьте, успокойтесь. Мы это все разберемъ.

Герасимъ (*входитъ*).

Г-нъ Безпандинъ изволили пріѣхать.

Балагалаевъ.

А, наконецъ! Ну, проси, разумѣется.

ЯВЛЕНІЕ VIII.

Тѣ же и **Безпандинъ**.

Балагалаевъ.

А! здравствуйте!.. Однако, вы заставили себя подождать.

Безпандинъ.

Виноватъ, виноватъ, Николай Иванычъ! такая вышла задача... Здравствуйте, Евгеній Тихонычъ, судья неумытный, какъ вы поживаете?

Сусловъ.

Здравствуйте!

Безпандинъ.

Вообразите... (*Кланяясь сестрѣ*) что̀ меня задержало... Представьте себѣ: у меня сѣдло мое украли... И кто укралъ—неизвѣстно!.. Дѣлать нечего: взялъ сѣдло у стремяннаго. (*Пьетъ*). Я, вы знаете, всюду верхомъ ѣзжу, сѣдло премерзкое, фалейторское... рысью, просто, нѣтъ никакой возможности...

Балагалаевъ.

Ѳерапонтъ Ильичъ! позвольте васъ познакомить... Алупкинъ, Антонъ Семенычъ...

Безпандинъ.

Очень радъ... Вы охотникъ?

Алупкинъ.

То-есть, въ какомъ смыслѣ охотникъ?

Безпандинъ.

Въ какомъ смыслѣ? ну, разумѣется, въ какомъ: до дичи, до собакъ...

Алупкинъ.

Нѣтъ-съ, я собакъ не люблю, а изъ ружья въ сидячую птицу стрѣляю.

Безпандинъ (*смѣется*).

Въ сидячую, въ сидячую...

Балагалаевъ.

Однако, извините, господа! Позвольте прервать вашъ любопытный разговоръ. Мы о собакахъ и сидячихъ птицахъ въ другое время поговорить можемъ. А теперь я предлагаю, не теряя времени, приступить къ нашему дѣлу, для котораго мы собрались. Мы и безъ Петра Петровича начать можемъ... какъ вы думаете?

Сусловъ.

Пожалуй!

Балагалаевъ.

И потому, Ѳерапонтъ Ильичъ, покорно прошу васъ присѣсть, и васъ также, Антонъ Семенычъ! (*Садятся*).

Безпандинъ.

Николай Иванычъ, я васъ душевно уважаю и всегда уважалъ, и теперь, вотъ, по вашему же желанію, пріѣхалъ; только позвольте вамъ напередъ сказать, если вы надѣетесь какого-нибудь толку добиться отъ почтеннѣйшей моей сестрицы, то предупреждаю васъ...

Каурова (*приподнимаясь*).

Вотъ видите, Николай Иванычъ, вотъ, вы сами видите...

Балагалаевъ.

Позвольте, позвольте, Ѳерапонтъ Ильичъ, и вы, Анна Ильинишна! я долженъ васъ попросить сперва меня выслушать. Я имѣлъ удовольствіе пригласить васъ обоихъ сегодня къ себѣ для того, чтобъ покончить, наконецъ, ваши распри. Какой примѣръ, посудите сами: братъ и *сестра*, отъ одной, такъ сказать, утробы...

Безпандинъ.

Позвольте, Николай Иванычъ...

Алупкинъ.

Г-нъ Безпандинъ, прошу не прерывать.

Безпандинъ.

А вы что мнѣ за наставникъ?

Алупкинъ.

Я вамъ не наставникъ, но, будучи приглашенъ Николаемъ Иванычемъ...

Балагалаевъ.

Да, Ѳерапонтъ Ильичъ, я ихъ пригласилъ, вмѣстѣ съ почтеннымъ нашимъ Евгеніемъ Тихонычемъ, въ посредники... Ѳерапонтъ Ильичъ! Анна Ильинишна! Я обращаюсь къ вамъ... Какъ, братъ и сестра, отъ одной, такъ сказать, утробы рожденные, не могутъ жить въ ладу, въ мирѣ, въ согласіи!.. Ѳерапонтъ Ильичъ! Анна Ильинишна! Образумьтесь, я вамъ говорю! Вѣдь для чего все это я говорю? я это для вашего же блага говорю... Вы сами посудите, что мнѣ? но я для вашего блага говорю!

Безпандинъ.

Да вѣдь вы, Николай Иванычъ, не знаете, что это за женщина! Вѣдь вы послушайте-ка ее; вѣдь это Богъ знаетъ, что такое... помилуйте!

Каурова.

А вы-то сами что? Вы кучера моего подкупаете, дѣвокъ ко мнѣ съ отравой подсылаете, вы моей смерти добиваетесь. Я даже удивляюсь, какъ я еще до сихъ поръ уцѣлѣла!..

Безпандинъ.

Какого кучера я подкупалъ... что вы? что вы?

Каурова.

Да, сударь! Онъ подъ присягой готовъ все показать. Вотъ эти господа—свидѣтели.

Безпандинъ (*обращаясь къ остальнымъ*).

Что это она за дичь поретъ?

Алупкинъ (*Кауровой*).

Позвольте, позвольте, вы напрасно на меня ссылаетесь.

Я рѣшительно ничего не понялъ, что̀ тутъ вашъ кучеръ говорилъ. Это опять что-то въ родѣ моего козла.

Каурова.

Вашего козла? А чѣмъ мой кучеръ похожъ на козла? Сами вы скорѣй...

Балагалаевъ.

Оставьте это, господа, ради Бога!.. Анна Ильинишна! Ѳерапонтъ Ильичъ! Что̀ за охота упрекать другъ друга?.. Не лучше ли позабыть прошедшее?.. Право, послушайтесь меня, помиритесь! Примите другъ друга въ объятья! Вы не отвѣчаете...

Безпандинъ.

Да что̀... помилуйте! какъ это можно! Если бъ я зналъ, да я бы ни за что̀ не пріѣхалъ!

Каурова.

И я тоже бы не пріѣхала.

Балагалаевъ.

Какъ же вы мнѣ сейчасъ говорили, что вы на все согласны?

Каурова.

На все, только не на это.

Сусловъ.

Эхъ, Николай Иванычъ! позвольте вамъ сказать, не такъ вы дѣло повели. Вы имъ толкуете о мирѣ, согласіи... развѣ вы не видите: что̀ это за люди?

Балагалаевъ.

А какъ же по-вашему, Евгеній Тихонычъ?

Сусловъ.

Да вы для чего ихъ пригласили?.. для дѣлежа? Вѣдь отъ этого у нихъ и ссора идетъ. Пока они не подѣлятся, ни вамъ, ни мнѣ, никому не будетъ покоя, и мы, въ этакіе-то жары, вмѣсто того, чтобы дома сидѣть, будемъ трястись по дорогамъ. Такъ приступимте же къ дѣлежу, коли вы ихъ надѣетесь уговорить... Гдѣ планы?

Балагалаевъ.

Ну, приступимте. Герасимъ!..

Герасимъ (*входя*).

Чего извольте?

Балагалаевъ.

Вельвицкаго мнѣ позвать.

Безпандинъ.

Я вамъ заранѣе объявляю, что я на все согласенъ; что̀ Николай Иванычъ скажетъ, тому и быть.

Каурова.

И я тоже.

Сусловъ.

Посмотримъ.

Мирволинъ.

Вотъ что́ похвально, то похвально.

ЯВЛЕНІЕ IX.

Тѣ же и **Вельвицкій** (*съ планами*).

Балагалаевъ.

А! подойди сюда. (*Развертываетъ планы*). Принеси-ка вонъ столикъ... Вотъ-съ, извольте посмотрѣть... вотъ-съ... „Сельцо Кокушкино, Раково тожъ, душъ по 8-й ревизіи мужеска пола 94...“ Посмотрите-ка, какъ карандашомъ все перечеркнено: не въ первый разъ мы надъ этимъ планомъ бьемся... „Всей земли 712 десятинъ, неудобной 81, подъ усадьбой съ выгономъ 6; черезполосица есть, но немного“. Вотъ это имѣнье намъ приходится поровну раздѣлить между отставнымъ коллежскимъ регистраторомъ Ѳерапонтомъ Безпандинымъ и сестрою его, вдовой подпоручика, Анной Кауровой; поровну, замѣтьте: такъ сказано въ завѣщаніи покойной ихъ тетушки, архитекторской вдовы Филокалосовой.

Безпандинъ.

Старуха передъ смертью изъ ума выжила. Что̀ бы все оставить мнѣ, и не было бы никакой непріятности...

Каурова.

Вишь, вы какіе!

Безпандинъ.

Ну такъ законную бы часть вамъ опредѣлила... Да что̀ отъ бабы ожидать путнаго!.. Правда, вы, говорятъ, каждое утро ея болонку чесали да мыли.

Каурова.

А вотъ вы и солгали! стану я пса чесать!.. какъ же!.. такая я женщина... Вотъ вы—другое дѣло: вы извѣстный собачникъ; вы, говорятъ, вашего пса,—прости Господи мое прегрѣшеніе!—въ самую морду цѣлуете.

Балагалаевъ.

Господа, я долженъ васъ обоихъ попросить нѣсколько помолчать... Такъ вотъ какъ-съ: вотъ уже болѣе трехъ лѣтъ, какъ ихъ тетушка скончалась, и съ тѣхъ поръ, представьте, никакого рѣшенія. Наконецъ, я согласился быть между ними посредникомъ, потому что это, вы понимаете, мой долгъ; но, къ сожалѣнію, до сихъ поръ ни въ чемъ не успѣлъ. Вотъ видите ли-съ, въ чемъ главное затрудненіе: г-нъ Безпандинъ и сестрица ихъ не желаютъ жить въ одномъ домѣ; стало-быть, усадьбу слѣдуетъ раздѣлить. А раздѣлить ее нѣтъ возможности!

Безпандинъ (*помолчавъ*).

Ну... я отказываюсь отъ теткинаго дома; Богъ съ нимъ!

Балагалаевъ.

Вы отказываетесь?

Безпандинъ.

Да, но я надѣюсь на вознагражденіе.

Балагалаевъ.

Конечно, это требованіе справедливо.

Каурова.

Николай Иванычъ! это хитрость. Это съ его стороны уловка, Николай Иванычъ! Онъ черезъ это надѣется получить самую лучшую землю, конопляники и прочее. На что̀ ему домъ? У него свой есть. А теткинъ домъ и безъ того куда плохъ!

Безпандинъ.

Коли онъ такъ плохъ...

Каурова.

А конопляниковъ я не уступлю. Помилуйте! я вдова, у меня дѣти... Что̀ жъ я буду дѣлать безъ конопляниковъ, посудите сами.

Безпандинъ.

Коли онъ плохъ...

Каурова.

Воля ваша...

Алупкинъ.

Да дайте же ему договорить!

Безпандинъ.

Коли онъ такъ плохъ, уступите его мнѣ, и пусть васъ вознаградятъ.

Каурова.

Да, знаю я ваши вознагражденія!.. какую-нибудь десятинишку негодную, камень на камнѣ, или, еще того хуже, болото какое-нибудь, гдѣ одинъ тростникъ, котораго даже крестьянскія коровы не ѣдятъ!

Балагалаевъ.

Такого болота въ вашемъ имѣніи и нѣту вовсе...

Каурова.

Ну, не болото, такъ другое что-нибудь въ этомъ родѣ. Нѣтъ, вознагражденіе... покорно благодарю: знаю я, что̀ это за вознагражденія!

Алупкинъ (*Мирволину*).

Что̀, у васъ въ уѣздѣ всѣ женщины таковы?

Мирволинъ.

Бываютъ и хуже.

Балагалаевъ.

Господа, господа! позвольте, позвольте... Я долженъ васъ опять попросить нѣсколько помолчать. Я вотъ что̀ предлагаю. Мы теперь сообща раздѣлимъ всю дачу на два участка: въ одномъ будетъ заключаться домъ съ усадьбой, а къ другому мы нѣсколько лишней земли прибавимъ, и пусть они потомъ выбираютъ.

Безпандинъ.

Я согласенъ.

Каурова.

А я не согласна.

Балагалаевъ.

Почему же вы не согласны?

Каурова.

А кому первому придется выбирать?

Балагалаевъ.

Мы жребій кинемъ.

Каурова.

Сохрани Господи и помилуй! что вы это! ни за что на свѣтѣ! Али мы нехристи какіе?

Безпандинъ.

Ну, *вы* выберете.

Каурова.

Я все-таки не согласна!

Алупкинъ.

Да отчего же?

Каурова.

Какъ же я стану выбирать? ну, а если я ошибусь...

Балагалаевъ.

Позвольте, однако, отчего же вы ошибетесь? Участки будутъ равные, а если какой получше выйдетъ, Ѳерапонтъ Ильичъ вамъ предоставляетъ право выбора.

Каурова.

А кто мнѣ скажетъ, какой лучше будетъ? Нѣтъ, Николай Иванычъ, это уже ваше дѣло: ужъ вы, батюшка, потрудитесь, назначьте сами; какой вы участокъ мнѣ назначите, тотъ и возьму, и довольна буду.

Балагалаевъ.

Ну, пожалуй. Итакъ, домъ со службами и съ усадьбой предоставляется госпожѣ Кауровой.

Безпандинъ.

И съ садомъ?

Каурова.

Разумѣется, съ садомъ! какъ же дому быть безъ саду? да и садъ-то дрянь: всего пять-шесть яблонь, яблоки на нихъ кислыя-прекислыя... Просто, вся усадьба гроша не стоитъ.

Безпандинъ.

Такъ предоставьте ее мнѣ, Боже мой!..

Балагалаевъ.

Итакъ, домъ съ садомъ и со службами и вся господская *усадьба предоставляется* г-жѣ Кауровой. Хорошо. Въ та-

комъ случаѣ, не угодно ли вамъ посмотрѣть?.. Вельвицкій, прочти, братецъ, какъ было я раздѣлилъ?

Вельвицкій (*читаетъ по тетради*).

„Проектъ раздѣла между помѣщикомъ Ѳерапонтомъ Безпандинымъ и сестрою его, вдовою, дворянкою Кауровой...“

Балагалаевъ.

Начни съ направленія линіи.

Вельвицкій.

„Направленіе линіи отъ точки А“.

Балагалаевъ.

Извольте глядѣть: отъ точки А.

Вельвицкій.

„Отъ точки А, на границѣ дачи Волухиной, до точки Б, на углу плотины“.

Балагалаевъ.

До точки Б, на углу плотины... Евгеній Тихонычъ, что же вы?

Сусловъ (*издали*).

Я вижу.

Вельвицкій.

„Отъ точки Б“...

Каурова.

А позвольте узнать, чей будетъ прудъ?

Балагалаевъ.

Разумѣется, общій; то-есть правый берегъ будетъ принадлежать одному, лѣвый другому.

Каурова.

А, вотъ какъ!

Балагалаевъ.

Далѣе, далѣе...

Вельвицкій.

„Пустоши же раздѣлить поровну: въ первой сорокъ-восемь, во второй семьдесятъ-семь десятинъ“

Балагалаевъ.

Такъ вотъ что я теперь предлагаю... Тотъ, кто не получаетъ усадьбы, беретъ всю первую пустошь за себя, то-

есть получаетъ двадцать-четыре десятины лишняго. Вотъ пустоши: первая и вторая.

Вельвицкій.

„Владѣтель перваго участка обязывается переселить на свой счетъ два двора во второй участокъ; а выселеннымъ крестьянамъ конопляниками пользоваться два года...“

Каурова.

Ни крестьянъ переселять, ни конопляники уступать я не намѣрена.

Балагалаевъ.

Да полноте!

Каурова.

Ни за что, Николай Иванычъ, ни за что!

Алупкинъ.

Не извольте перебивать, сударыня!

Каурова (*крестится*).

Что это? что это? во снѣ я, что ли?.. да послѣ этого я, право, не знаю, что и сказать! Конопляники на два года, общій прудъ! Да этакъ лучше я отъ дома откажусь...

Балагалаевъ.

Да позвольте, однако, замѣтить вамъ, что Ѳерапонтъ Ильичъ...

Каурова.

Нѣтъ, батюшка, не извольте безпокоиться. Знать, я васъ чѣмъ обидѣла...

Балагалаевъ (*вмѣстѣ съ нею*).

Да выслушайте меня, Анна Ильинишна! вы толкуете о дворахъ, о конопляникахъ, а вашъ братецъ можетъ къ другому участку присоединить двадцать-четыре десятины...

Каурова (*вмѣстѣ съ нимъ*).

Не говорите, не говорите, Николай Иванычъ! Помилуйте! что я за дура буду, что конопляники даромъ отдамъ! Вы бы одно вспомнили, Николай Иванычъ: я вдова—за меня заступиться некому; дѣти у меня малолѣтнія: вы бы хоть ихъ пожалѣли.

Алупкинъ.

Это ужъ слишкомъ, слишкомъ! нѣтъ, это слишкомъ!..

Безпандинъ.

Стало-быть, вы находите, что мой участокъ лучше вашего?

Каурова.

Двадцать-четыре десятины!..

Безпандинъ.

Нѣтъ, скажите, лучше?..

Каурова.

Помилуйте! двадцать-четыре десятины!..

Алупкинъ.

Да вы отвѣчайте: лучше? а? лучше, лучше?

Каурова.

Да что ты это, батюшка, на меня все вскидываешься? Или у васъ въ Тамбовѣ такой обычай? Откуда вдругъ появился, ни знамо, ни вѣдомо, и что за человѣкъ, Господь его знаетъ, а посмотри ты, какъ пѣтушится!

Алупкинъ.

Однако, прошу не забываться, сударыня. Даромъ что вы, сколько мнѣ извѣстно, женщина, я не посмотрю: я старый солдатъ, чортъ возьми!

Балагалаевъ.

Полноте, полноте, господа! Антонъ Семенычъ, успокойтесь, прошу васъ. Вѣдь это ни къ чему не поведетъ...

Алупкинъ.

Да вѣдь, помилуйте...

Каурова.

Вы сумасшедшій! Онъ сумасшедшій!

Безпандинъ.

Я, все-таки, опять васъ спрашиваю, Анна Ильинишна, по-вашему, мой участокъ лучше?

Каурова.

Ну, да, лучше, то-есть земли больше.

Безпандинъ.

Ну, помѣняемтесь. (*Она молчитъ*).

Балагалаевъ.

Ну-съ, что жъ вы не отвѣчаете?

Каурова.

Что жъ мнѣ безъ дому быть? На что́ жъ послѣ этого мнѣ и деревня?..

Безпандинъ.

Да коли мой участокъ лучше — отдайте мнѣ домъ и возьмите себѣ эти двадцать-четыре десятины. (*Оба молчатъ*).

Балагалаевъ.

Однако, позвольте, Анна Ильинишна, будьте же, наконецъ, благоразумны, послѣдуйте примѣру вашего братца... Я сегодня не нарадуюсь, глядя на него. Вы видите сами, вамъ всевозможныя дѣлаются уступки; вамъ остается только объявить ваше желаніе насчетъ выбора.

Каурова.

Я ужъ сказала, что я не намѣрена выбирать...

Балагалаевъ.

Вы не намѣрены выбирать и не соглашаетесь ни на что́... помилуйте! Я вамъ долженъ замѣтить, Анна Ильинишна, что моихъ силъ недостаетъ... Если сегодня мы опять ничѣмъ не покончимъ, то ужъ я не намѣренъ болѣе служить посредникомъ между вами. Пусть судъ васъ дѣлитъ. Скажите намъ, по крайней мѣрѣ, что́ *вы* желаете?

Каурова.

Я ничего не желаю, Николай Иванычъ! я на васъ полагаюсь, Николай Иванычъ!

Балагалаевъ.

Однако, вотъ вы мнѣ не довѣряете... Вѣдь надобно жъ это покончить. Анна Ильинишна... Помилуйте! Вѣдь третій годъ!.. Ну, скажите, на что́ вы рѣшаетесь?

Каурова.

Что́ мнѣ вамъ сказать, Николай Иванычъ? Я вижу, вы всѣ противъ меня. Васъ, вотъ, пятеро, а я одна... Я женщина: конечно, вамъ легко меня запугать; а у меня, кромѣ Бога, нѣтъ защитника. Я въ вашей власти: дѣлайте со мной, что́ хотите.

Балагалаевъ.

Однако, это непростительно. Наконецъ, вы Богъ знаетъ

что говорите... Насъ пятеро, а вы одинъ... Да развѣ мы къ чему-нибудь васъ принуждаемъ?

Каурова.

А какъ же-съ?

Балагалаевъ.

Это ужасно!

Алупкинъ (*Балагалаеву*).

Да бросьте ее!

Балагалаевъ.

Постойте, Антонъ Семенычъ!.. Анна Ильинишна, матушка! выслушайте меня. Скажите намъ, что вамъ угодно: оставить при васъ домъ, что ли, и уменьшить долю вознагражденія вашего братца, и насколько уменьшить,—вообще, какія ваши условія?

Каурова.

Что мнѣ вамъ сказать, Николай Иванычъ? Конечно, мнѣ съ вами не сладить... Но Господь насъ разсудитъ, Николай Иванычъ!

Балагалаевъ.

Ну, послушайте: вы, я вижу, недовольны моимъ предложеніемъ...

Алупкинъ.

Да отвѣчайте же...

Сусловъ (*Алупкину*).

Оставьте: вы видите, женщина съ норовомъ.

Каурова.

Ну, да-съ, недовольна.

Балагалаевъ.

Прекрасно! такъ скажите же намъ, въ чемъ ваше неудовольствіе состоитъ?

Каурова.

Этого я не могу сказать.

Балагалаевъ.

Отчего же вы не можете?

Каурова.

Не могу-съ.

Балагалаевъ

Да вы меня, можетъ-быть, не понимаете?

Каурова.

Я васъ слишкомъ хорошо понимаю, Николай Иванычъ!

Балагалаевъ.

Ну, такъ скажите же намъ, наконецъ, въ послѣдній разъ, чѣмъ васъ можно удовлетворить, на какія предложенія вы бы изъявили согласіе?

Каурова.

Нѣтъ-съ, извините! Силой вы что̀ хотите можете со мной дѣлать: я женщина; а съ моего согласія, извините... я умру, а моего согласія не дамъ.

Алупкинъ.

Вы женщина?.. Нѣтъ, вы чортъ! вотъ кто вы! Вы сутяга!..

Балагалаевъ.
Антонъ Семенычъ!
Каурова.
Батюшки! батюшки!
Сусловъ и Мирволинъ.
Полноте, полноте!

Вмѣстѣ.

Алупкинъ (*Кауровой*).

Слушай! я старый солдатъ: я даромъ грозить не стану. Эй, не дурачься, опомнись, а то худо будетъ... Я не шучу... слышишь?.. Если бъ ты возражала путемъ, я бы ничего не говорилъ; а то ты упираешься, какъ волъ... Баба, берегись,—говорятъ тебѣ, берегись...

Балагалаевъ.

Антонъ Семенычъ, я, признаюсь...

Безпандинъ.

Николай Иванычъ, это мое дѣло!.. (*Алупкину*). Милостивый государь! позвольте узнать, съ какого права...

Алупкинъ.

Вы заступаетесь за вашу сестру?

Безпандинъ.

Вовсе не за сестру: мнѣ моя сестра вотъ что̀—тьфу!.. а я за честь фамиліи.

Алупкинъ.

За честь фамиліи? А чѣмъ я вашу фамилію оскорбилъ?

Безпандинъ.

Какъ, чѣмъ оскорбили? Вотъ это мнѣ нравится! Сталобыть, по-вашему, всякій заѣзжій чудакъ...

Алупкинъ.

Что̀, милостивый государь?..

Безпандинъ.

Что̀, милостивый государь?..

Алупкинъ.

А вотъ что-съ: въ чужомъ домѣ ругаться неприлично. Вы дворянинъ, и я дворянинъ, такъ не угодно ли завтра...

Безпандинъ.

На чемъ хотите! хоть на ножахъ.

Балагалаевъ.

Господа, господа! что̀ вы это? какъ вамъ не стыдно? помилуйте! въ моемъ домѣ...

Безпандинъ.

Вы меня не запугаете, милостивый государь!

Алупкинъ.

Я васъ не боюсь; а ваша сестра... неприлично сказать, что̀ она такое.

Каурова.

Согласна, отцы мои, на все согласна!.. дайте подписать: все, что̀ угодно, подпишу.

Сусловъ *(Мирволину).*

Гдѣ моя шапка? не видалъ, братецъ?

Балагалаевъ.

Господа, господа!

Герасимъ *(входитъ и кричитъ).*

Петръ Петровичъ Пехтеревъ!

ЯВЛЕНІЕ X.

Тѣ же и Пехтеревъ.

Пехтеревъ *(входя).*

Здравствуйте, мой любезный Николай Иванычъ!

Балагалаевъ.

Мое почтеніе, Петръ Петровичъ! Что̀ ваша супруга?

Пехтерьевъ (*кланяется всѣмъ*).

Господа... Моя жена здорова, слава Богу. Chèr Балагалаевъ! я виноватъ: опоздалъ. Вы, я вижу, безъ меня начали, и хорошо сдѣлали... Какъ ваше здоровье, Евгеній Тихонычъ, Ѳерапонтъ Ильичъ, Анна Ильинишна? (*Мирволину*). А! и ты тутъ, убогій?.. Ну, что, подвигается дѣло?..

Балагалаевъ.

Ну, этого нельзя сказать...

Пехтерьевъ.

Неужели? А я такъ думалъ... Эхъ, господа, господа! это нехорошо. Позвольте старику побранить васъ... Надо кончить, надо кончить.

Балагалаевъ.

Не хотите ли закусить?

Пехтерьевъ.

Нѣтъ, благодарствуйте... (*Отводитъ въ сторону Балагалаева и указываетъ на Алупкина*). Qui est ça?

Балагалаевъ.

Новый помѣщикъ—нѣкто Алупкинъ. Я вамъ его представлю... Антонъ Семенычъ! позвольте познакомить васъ съ почтеннѣйшимъ нашимъ Петромъ Петровичемъ... Алупкинъ, Антонъ Семенычъ, изъ Тамбова.

Алупкинъ.

Очень радъ.

Пехтерьевъ.

Добро пожаловать въ наши края... Да позвольте... Алупкинъ? я зналъ одного Алупкина въ Петербургѣ. Высокій такой былъ мужчина, видный, съ бѣльмомъ на глазу, въ карты игралъ сильно и дома все строилъ... не родня вамъ?..

Алупкинъ.

Никакъ нѣтъ-съ. У меня нѣтъ родственниковъ.

Пехтерьевъ.

Нѣтъ родственниковъ?.. Скажите... Что ваши малютки, Анна Ильинишна?

Каурова.

Покорно васъ благодарю, Петръ Петровичъ! Слава Богу.

Пехтерьевъ.

Однако, господа, что жъ, давайте, давайте. Мы поболтаемъ послѣ... На чемъ я васъ прервалъ?

Балагалаевъ.

Вы нисколько насъ не прервали, Петръ Петровичъ! Вы даже очень кстати пріѣхали. Дѣло вотъ въ чемъ-съ...

Пехтерьевъ.

Что это, планы?.. (*Садится къ столу*).

Балагалаевъ.

Да, планы. Вотъ, видите ли, Петръ Петровичъ, мы никакъ не можемъ добиться толку, не можемъ, то-есть, согласить господина Безпандина съ ихъ сестрицей. Я, признаюсь, даже начинаю сомнѣваться въ успѣхѣ и готовъ отказаться.

Пехтерьевъ.

Напрасно, напрасно, Николай Иванычъ, немножко терпѣнія... Предводитель! да это должно быть олицетворенное терпѣніе!

Балагалаевъ.

Вотъ, видите ли, Петръ Петровичъ: съ общаго согласія господъ владѣльцевъ, усадьба не раздѣляется, а къ одному участку приписывается; теперь вотъ въ чемъ затрудненіе: какое вознагражденіе назначить за усадьбу? Я предлагаю всю эту пустошь отдать...

Пехтерьевъ.

Эту пустошь... да, позвольте, да, да...

Балагалаевъ.

Вотъ надъ этимъ мы теперь и бьемся... Они, вотъ, согласны, а сестрица ихъ не только не согласна ни на что, но даже вообще не хочетъ объявить своего желанія.

Алупкинъ.

Какъ говорится, ни тпру, ни ну!

Пехтерьевъ.

Такъ, такъ, такъ! А знаете ли что, Николай Иванычъ? конечно, это вамъ лучше извѣстно, а я бы на вашемъ мѣстѣ не такъ эту дачу раздѣлилъ.

Балагалаевъ.

А какъ же-съ?

Пехтеревъ.

Я, можетъ-быть, и вздоръ скажу; но вы извините старика... Savez-vous, cher ami? мнѣ кажется, я бы вотъ какъ раздѣлилъ... позвольте карандашикъ.

Мирволинъ.

Вотъ-съ карандашъ...

Пехтеревъ.

Спасибо... Я бы, Николай Иванычъ, вотъ какъ... посмотрите: отсюда—вотъ сюда, отсюда—сюда... отсюда вотъ куда, а отсюда, наконецъ, сюда.

Балагалаевъ.

Да помилуйте, Петръ Петровичъ! во-первыхъ, эти участки выйдутъ неровные...

Пехтеревъ.

Что́ за бѣда!

Балагалаевъ.

А во-вторыхъ, въ этомъ участкѣ совсѣмъ сѣнокосовъ нѣтъ.

Пехтеревъ.

Это ничего не значитъ: трава вездѣ расти можетъ.

Балагалаевъ.

Да сверхъ того, рощу вы, стало-быть, предоставляете одному владѣльцу?

Каурова.

Ахъ, вотъ этотъ бы участокъ я взяла съ удовольствіемъ!

Балагалаевъ.

А каково, напримѣръ, будетъ мужичкамъ отсюда вонъ куда ѣздить?

Пехтеревъ.

На всѣ ваши возраженія отвѣчать было бы весьма легко; но, впрочемъ, конечно, вы должны лучше знать... вы меня извините...

Каурова.

А мнѣ этакъ очень нравится.

Алупкинъ.

То-есть какъ?

Каурова.

А вотъ какъ Петръ Петровичъ раздѣлилъ.

Безпандинъ.

Позвольте взглянуть.

Каурова.

Воля ваша, а только я съ Петромъ Петровичемъ согласна.

Алупкинъ.

Это ужасно... вѣдь не видѣла ничего, а туда же толкуетъ!

Каурова.

А ты почему знаешь, батюшка, видѣла я что̀ или нѣтъ?..

Алупкинъ.

Ну, коли видѣли, такъ скажите, какой вы себѣ участокъ берете?

Каурова.

Какой? вотъ этотъ, съ рощей, да съ сѣнокосомъ, да гдѣ земли побольше.

Алупкинъ.

Да, все вамъ однѣмъ отдать!

Сусловъ (*Алупкину*).

Оставь.

Пехтерьевъ (*Безпандину*).

По-вашему какъ?

Безпандинъ.

По-моему, коли правду говорить, этакъ неудобно будетъ. Впрочемъ, я готовъ согласиться, если мнѣ этотъ участокъ дадутъ.

Каурова.

И я готова согласиться, если мнѣ этотъ участокъ дадутъ.

Алупкинъ.

Какой?

Каурова.

А вотъ, что̀ братецъ мой для себя спрашиваетъ.

Сусловъ.

Вотъ, говорите послѣ этого, что она ни на что̀ не согласна!

Пехтерьевъ.

Однако, позвольте, позвольте... двоимъ нельзя одинъ

и тотъ же участокъ опредѣлить; надо, чтобъ одинъ изъ васъ пожертвовалъ, оказалъ великодушіе—взялъ похуже.

Безпандинъ.

А смѣю спросить, для какого дьявола буду я оказывать великодушіе?

Пехтерьевъ.

Для какого... какія вы, однако, странныя слова употребляете!.. для вашей сестрицы.

Безпандинъ.

Вотъ тебѣ на!

Пехтерьевъ.

Ваша сестра, не забудьте, принадлежитъ къ слабому полу; она женщина, а вы мужчина... она вѣдь женщина, Ѳерапонтъ Ильичъ!

Безпандинъ.

Нѣтъ-съ, это, я вижу, ужъ философія пошла...

Пехтерьевъ.

Какую же вы тутъ философію находите?

Безпандинъ.

Философія!

Пехтерьевъ.

Однако, это меня удивляетъ... Васъ это не удивляетъ, господа!

Алупкинъ.

Меня-съ? Меня сегодня ничто удивить не въ состояніи-съ. Вы мнѣ можете сказать, что вы родного отца своего съѣли; я не удивлюсь, я повѣрю...

Балагалаевъ.

Господа, господа! позвольте мнѣ сказать слово. Самое ихъ, какъ бы снова возгорѣвшее, упорство доказываетъ вамъ, любезнѣйшій Петръ Петровичъ, что ваше раздѣленіе несовсѣмъ удачно.

Пехтерьевъ.

Неудачно! Позвольте... почему же неудачно, это слѣдуетъ доказать... Я не спорю, можетъ-быть, ваше предложеніе прекрасно; но и о моемъ предложеніи тоже нельзя судить съ перваго взгляда. Я провелъ черту, такъ сказать, *ангро; конечно*, я могъ ошибиться въ мелочахъ.

Разумѣется, нужно уравнять оба участка, сообразить, разсмотрѣть подробно; но почему же неудачно?..

Алупкинъ (*Суслову*).

Какую онъ это черту провелъ?

Сусловъ.

Англо̀.

Алупкинъ.

А что̀ значитъ: англо̀?

Сусловъ.

А Господь его знаетъ! должно-быть, нѣмецкое слово.

Балагалаевъ.

Положимъ, Петръ Петровичъ, что ваше предложеніе отлично, превосходно; но главное дѣло, надо поровну раздѣлить. Вотъ въ чемъ задача.

Пехтерьевъ.

Такъ-съ. Впрочемъ, конечно, вамъ лучше знать... Конечно, я въ этомъ случаѣ не могу съ вами тягаться. Мое предложеніе, вы говорите, неудачно...

Балагалаевъ.

Да нѣтъ, Петръ Петровичъ...

Каурова.

Я понимаю, почему Николай Иванычъ такъ на своемъ настаиваетъ.

Балагалаевъ.

Что̀ вы хотите сказать, сударыня, объяснитесь...

Каурова.

Да ужъ я знаю!

Балагалаевъ.

Я прошу васъ объясниться.

Каурова.

Николай Иванычъ намѣренъ у Ѳерапонта Ильича рощу за безцѣнокъ купить... Такъ вотъ отъ этого они такъ и стараются, чтобъ она ему досталась.

Балагалаевъ.

Позвольте вамъ замѣтить, Анна Ильинишна, что вы забываетесь! Ѳерапонтъ Ильичъ развѣ дитя? Развѣ вы не получите вашей половины?.. Да и кто вамъ сказалъ, что

я намѣренъ купить эту рощу? и развѣ вы можете запретить вашему братцу продавать свою собственность?

Каурова.

Этого я не могу ему запретить, да дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что вы насъ не по чистой совѣсти дѣлите, не по справедливости, то-есть, а какъ для васъ выгоднѣе.

Балагалаевъ.

О, это слишкомъ!

Алупкинъ.

А, вотъ, и вы теперь то же говорите!

Пехтерьевъ.

Все это запутано, признаюсь, очень темно и запутано.

Балагалаевъ.

Это, наконецъ, всякаго выведетъ изъ терпѣнія... Что тутъ запутаннаго? что тутъ темнаго? Ну, да! я намѣренъ купить у Ѳерапонта Ильича рощу; я, можетъ-быть, весь его участокъ намѣренъ пріобрѣсти. Что жъ изъ этого слѣдуетъ? позвольте спросить?.. Я не по чистой совѣсти дѣлю... и повернулся у васъ языкъ это сказать? Анна Ильинишна— женщина, я ее извиняю; но вы, Петръ Петровичъ... запутано! Вы бы сперва посмотрѣли, вѣрно ли раздѣлено имѣніе... Стало-быть, вѣрно, коли имъ предоставляется выборъ участка.

Пехтерьевъ.

Напрасно вы такъ горячитесь, Николай Иванычъ.

Балагалаевъ.

Помилуйте, когда меня Богъ знаетъ въ чемъ подозрѣваютъ,— меня, предводителя, удостоеннаго лестнаго вниманія дворянства! Помилуйте, еще бы не горячиться, когда задѣваютъ мою честь!

Пехтерьевъ.

Вашей чести никто не задѣваетъ, да и притомъ, почему жъ, если можно безобидно, какъ говорится, согласить собственную выгоду съ выгодой другого, почему жъ и не сдѣлать такъ? А что касается до предводительства, то повѣрьте, Николай Иванычъ, не всегда выбираютъ самыхъ *достойныхъ, и* если кого отставили, это еще не значитъ,

что онъ недостойный. Впрочемъ, я это, конечно, говорю не для васъ...

Балагалаевъ.

Понимаю, Петръ Петровичъ! Я понимаю, это вы на свой счетъ изволили говорить, да и на мой кстати. Что жъ, извольте попытаться! Выборы близко. Можетъ-быть, на сей разъ дворянство откроетъ, наконецъ, глаза... Можетъ-быть, оно, наконецъ, оцѣнитъ настоящія ваши достоинства.

Пехтерьевъ.

Если господа дворяне почтутъ меня своею довѣрепностью, я не откажусь, не безпокойтесь.

Каурова.

И тогда у насъ будетъ настоящій предводитель!

Балагалаевъ.

О, я не сомнѣваюсь! Но вы поймете теперь, что, послѣ всѣхъ этихъ оскорбительныхъ намековъ, мнѣ было бы совершенно неприлично вмѣшиваться болѣе въ ваши дѣла, а потому...

Безпандинъ.

Да зачѣмъ же, Николай Иванычъ?

Пехтерьевъ.

Николай Иванычъ, я, право...

Балагалаевъ.

Нѣтъ, ужъ извините. Вельвицкій, подай сюда всѣ ихъ бумаги. Вотъ вамъ ваши письма, ваши планы. Дѣлитесь какъ знаете, обратитесь, если хотите, къ Петру Петровичу.

Каурова.

Съ удовольствіемъ, съ удовольствіемъ.

Пехтерьевъ.

А я рѣшительно отказываюсь: я вовсе не намѣренъ... Помилуйте!

Безпандинъ.

Николай Иванычъ, пожалуйста, сдѣлайте одолженіе. Извините насъ, то-есть, эту глупую бабу... вѣдь она всему причиной...

Балагалаевъ.

И слышать ничего не хочу! Повторяю вамъ, дѣлитесь, какъ хотите, мнѣ до этого дѣла нѣтъ. Изъ силъ выбился!

Безпандинъ.

А все ты, безмозглая! Ну, что ты тутъ напутала!.. Какъ же! уступлю я тебѣ рощу со всѣми лугами, да усадьбой... сейчасъ, да, погоди!

Алупкинъ.

Хорошо, хорошо, хорошо! вотъ такъ ее, вотъ такъ, вотъ такъ!..

Каурова.

Петръ Петровичъ, заступись за меня, батюшка; вы его не знаете: онъ меня зарѣзать готовъ, это извергъ, батюшка, убійца!.. онъ меня нѣсколько разъ ужъ отравливалъ, батюшка мой!..

Безпандинъ.

Молчи, сумасшедшая!... Николай Иванычъ, сдѣлайте одолженіе...

Каурова (*Пехтерьеву*).

Батюшка, батюшка!..

Пехтерьевъ.

Позвольте, позвольте!.. да что же это, наконецъ?

ЯВЛЕНІЕ XI.

Тѣ же и **Нагловичъ.**

Нагловичъ.

Николай Иванычъ, я къ вамъ... Его превосходительство изволилъ...

Алупкинъ.

А, вы опять? вы опять за мной... опять насчетъ козла?.. опять?

Нагловичъ.

Что вы? что съ вами? что это за человѣкъ?..

Алупкинъ.

А вы не узнали меня, небось... Алупкинъ, Алупкинъ, помѣщикъ.

Нагловичъ.

Отстаньте. Вашъ козелъ судебнымъ порядкомъ пошелъ. *Я совсѣмъ* не къ вамъ: я къ Николаю Иванычу.

Пехтерьевъ.

Однако, пустите меня, сударыня!..

Каурова.

Батюшка! защити и раздѣли!

Алупкинъ (*Наилановичу*).

Я, милостивый государь, ни на что не посмотрю. Вы меня оскорбили, милостивый государь! Я, чортъ возьми, я вамъ не козелъ дался, въ самомъ дѣлѣ!

Нагланович.

Да это сумасшедшій какой-то!

Безпандинъ.

Николай Иванычъ, возьмите бумаги обратно.

Балагалаевъ.

Стойте, господа, слушайте!... Позвольте, у меня, кажется, голова какъ будто кругомъ идетъ... Дѣлежъ, козелъ, упрямая баба, помѣщикъ изъ Тамбова, вдругъ неожиданный становой, завтра дуэль, у меня нечистая совѣсть, усадьба, роща за безцѣнокъ, завтракъ, шумъ, кутерьма... нѣтъ, это слишкомъ. Извините меня, господа... я не въ состояніи... я ничего не понимаю, что вы мнѣ говорите, я не въ силахъ, я не могу, не могу! (*Уходитъ*).

Пехтерьевъ.

Николай Иванычъ! Николай Иванычъ! Однако, это прекрасно... хозяинъ ушелъ, что жъ намъ остается дѣлать?..

Нагланович.

Что за суматоха! (*Вельвицкому*). Подите, скажите ему, что мнѣ нужно съ нимъ по дѣламъ службы поговорить. (*Вельвицкій уходитъ*).

Каурова.

Да Богъ съ нимъ! Ты-то когда насъ, батюшка, дѣлить будешь?

Пехтерьевъ.

Я? покорный слуга, что это вы? меня за другого, должно-быть, принимаете?

Безпандинъ.

Вотъ мы и у праздника! Эхъ, ты!.. Проклятіе всѣмъ бабамъ отнынѣ и во вѣки! (*Уходитъ*).

Каурова.

Я, по крайней мѣрѣ, тутъ ничѣмъ не виновата.

Вельвицкій (*входитъ*).

Николай Иванычъ приказали сказать, что никого принимать не могутъ; они въ постель ложатся.

Нагловичъ.

Ну, значитъ, гости-то угостили его. Нечего дѣлать, оставлю записку... Мое почтеніе всей компаніи. (*Уходитъ.*)

Алупкинъ.

Мы съ вами еще увидимся, милостивый государь! — слышите вы? Господа, честь имѣю вамъ кланяться. (*Уходитъ.*)

Пехтерьевъ.

Да постойте... куда вы?.. и мы всѣ съ вами. Признаюсь, я еще ничего подобнаго не видалъ. (*Уходитъ.*)

Каурова.

Петръ Петровичъ, батюшка!.. разсудите... (*Уходитъ за Пехтерьевымъ.*)

Мирволинъ.

Евгеній Тихонычъ, что же вы? не оставаться же намъ однимъ, поѣдемте.

Сусловъ.

Постой, вотъ, погоди, онъ оправится, мы засядемъ въ преферансъ.

Мирволинъ.

И то дѣло; да въ такихъ случаяхъ не худо выпить...

Сусловъ.

Что жъ, выпьемъ, Мирволинъ, выпьемъ. А какова баба? эта и мою Глафиру Андреевну за поясъ заткнетъ... Вотъ тебѣ и полюбовный дѣлежъ!..

1849 г.

МѢСЯЦЪ ВЪ ДЕРЕВНѢ.

КОМЕДІЯ ВЪ ПЯТИ ДѢЙСТВІЯХЪ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Аркадій Сергѣичъ Исаевъ, богатый помѣщикъ, 36 лѣтъ.
Наталья Петровна, жена его, 29 лѣтъ.
Коля, сынъ ихъ, 10 лѣтъ.
Вѣрочка, воспитанница, 17 лѣтъ.
Анна Семеновна Исаева, мать Исаева, 58 лѣтъ.
Лизавета Богдановна, компаніонка, 37 лѣтъ.
Шаафъ, нѣмецъ гувернеръ, 45 лѣтъ.
Михайла Александровичъ Ракитинъ, другъ дома, 30 лѣтъ.
Алексѣй Николаевичъ Бѣляевъ, студентъ, учитель Коли, 21 года.
Аѳанасій Ивановичъ Большинцовъ, сосѣдъ, 48 лѣтъ.
Игнатій Ильичъ Шпигельскій, докторъ, 40 лѣтъ.
Матвѣй, слуга, 40 лѣтъ.
Катя, служанка, 20 лѣтъ.

Дѣйствіе происходитъ въ имѣніи Исаева, въ началѣ сороковыхъ годовъ. Между 1 и 2, 2 и 3, 4 и 5 дѣйствіями проходитъ по дню.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Театръ представляетъ гостиную. Направо карточный столъ и дверь въ кабинетъ; прямо дверь въ залу; налѣво два окна и круглый столъ. По угламъ диваны. За карточнымъ столомъ **Анна Семеновна**, **Лизавета Богдановна** и **Шаафъ** играютъ въ преферансъ; у круглаго стола сидятъ **Наталья Петровна** и **Ракитинъ**. **Наталья Петровна** вышиваетъ по канвѣ; у **Ракитина** въ рукахъ книга. Стѣнные часы показываютъ три часа.

Шаафъ.

Фъ червёхъ.

Анна Семеновна.

Опять? Да ты насъ, батюшка, этакъ совсѣмъ заиграешь.

Шаафъ (*флегматически*).

Фоземь фъ червёхъ.

Анна Семеновна (*Лизаветѣ Богдановнѣ*).

Каковъ! Съ нимъ играть нельзя. (*Лизавета Богдановна улыбается.*)

Наталья Петровна (*Ракитину*).

Что̀ жъ вы перестали? Читайте.

Ракитинъ (*медленно поднимая голову.*)

„Monte-Cristo se redressa haletant"... Наталья Петровна, васъ это занимаетъ?

Наталья Петровна.

Нисколько.

Ракитинъ.

Для чего же мы читаемъ?

Наталья Петровна.

А вотъ для чего. На-дняхъ мнѣ одна дама говорила: „Вы не читали Монте-Кристо? Ахъ, прочтите — это прелесть". Я ничего ей не отвѣчала тогда, а теперь могу ей сказать, что читала и никакой прелести не нашла.

Ракитинъ.

Ну, да, если вы теперь уже успѣли убѣдиться...

Наталья Петровна.

Ахъ, какой вы лѣнивый!

Ракитинъ.

Я готовъ, помилуйте... (*Отыскивая мѣсто, гдѣ остановился.*) Se redressa haletant, et...

Наталья Петровна (*сама перебивая его.*)

Видѣли вы Аркадія сегодня?

Ракитинъ.

Я съ нимъ встрѣтился на плотинѣ... Ее у васъ чинятъ. Онъ объяснялъ что-то рабочимъ и, для бо̀льшей ясности, вошелъ въ песокъ по колѣно.

Наталья Петровна.

Онъ за все принимается съ слишкомъ большимъ жа-

ромъ... слишкомъ старается. Это недостатокъ. Какъ вы думаете?

Ракитинъ.

Я съ вами согласенъ.

Наталья Петровна.

Какъ это скучно!.. Вы всегда со мною согласны. Читайте.

Ракитинъ.

А! стало-быть, вы хотите, чтобы я съ вами спорилъ?.. Извольте.

Наталья Петровна.

Я хочу... Я хочу!.. Я хочу, чтобъ *вы* хотѣли... Читайте, говорятъ вамъ.

Ракитинъ.

Слушаю-съ. (*Опять принимается за книгу.*)

Шаафъ.

Фъ червёхъ.

Анна Семеновна.

Какъ? Опять? Это нестерпимо! (*Натальѣ Петровнѣ.*) Наташа... Наташа...

Наталья Петровна.

Что?

Анна Семеновна.

Вообрази себѣ, Шаафъ насъ совсѣмъ заигралъ... То и дѣло семь, восемь въ червяхъ.

Шаафъ.

И дебѣрь земъ.

Анна Семеновна.

Слышишь? Это ужасно.

Наталья Петровна.

Да... ужасно.

Анна Семеновна.

Такъ вистъ же! (*Натальѣ Петровнѣ.*) А гдѣ Коля?

Наталья Петровна.

Онъ ушелъ гулять съ новымъ учителемъ.

Анна Семеновна.

А! Лизавета Богдановна, я васъ приглашаю.

Ракитинъ (*Натальѣ Петровнѣ.*)

Съ какимъ учителемъ?

Наталья Петровна.

Ахъ, да! Я вамъ и забыла сказать... мы безъ васъ новаго учителя наняли.

Ракитинъ.

На мѣсто Дюфура?

Наталья Петровна.

Нѣтъ... Русскаго учителя. Француза намъ княгиня изъ Москвы пришлетъ.

Ракитинъ.

Что̀ онъ за человѣкъ, этотъ русскій? старый?

Наталья Петровна.

Нѣтъ, молодой... Мы его, впрочемъ, только на лѣтніе мѣсяцы взяли.

Ракитинъ.

А! на кондицію.

Наталья Петровна.

Да, это у нихъ, кажется, такъ называется. И, знаете ли что, Ракитинъ? Вы, вотъ, любите наблюдать людей, разбирать ихъ, копаться въ нихъ...

Ракитинъ.

Помилуйте, съ чего вы...

Наталья Петровна.

Ну, да, да... Обратите-ка на него ваше вниманіе. Мнѣ онъ нравится. Худой, стройный, веселый взглядъ, смѣлое выраженіе... Вы увидите. Онъ, правда, довольно неловокъ... а для васъ это бѣда.

Ракитинъ.

Наталья Петровна, вы меня сегодня ужасно преслѣдуете.

Наталья Петровна.

Кромѣ шутокъ, обратите на него вниманіе. Мнѣ кажется, изъ него можетъ выйти человѣкъ славный. А, впрочемъ, Богъ знаетъ!

Ракитинъ.

Вы возбуждаете мое любопытство...

Наталья Петровна.

Въ самомъ дѣлѣ? (*Задумчиво.*) Читайте.

Ракитинъ.

Se redressa haletant et...

Наталья Петровна (*вдругъ оглядываясь*).

А гдѣ Вѣра? Я ее съ утра не видала. (*Съ улыбкой Ракитину.*) Бросьте эту книгу... Я вижу, намъ сегодня читать не удастся... Разскажите мнѣ лучше что-нибудь...

Ракитинъ.

Извольте... Что жъ мнѣ вамъ разсказать?.. Вы знаете, я нѣсколько дней провелъ у Криницыныхъ... Вообразите, наши молодые уже скучаютъ.

Наталья Петровна.

Почему вы это могли замѣтить?

Ракитинъ.

Да развѣ скуку можно скрыть? Все другое можно... но скуку нѣтъ.

Наталья Петровна (*поглядѣвъ на него*).

А другое все можно?

Ракитинъ (*помолчавъ немного*).

Я думаю.

Наталья Петровна (*опустивъ глаза*).

Такъ что жъ вы дѣлали у Криницыныхъ?

Ракитинъ.

Ничего. Скучать съ друзьями — ужасная вещь: вамъ ловко, вы не стѣснены, вы ихъ любите, злиться вамъ не на что, а скука васъ все-таки томитъ, и сердце глупо ноетъ, словно голодное.

Наталья Петровна.

Вамъ, должно-быть, часто съ друзьями скучно бываетъ?

Ракитинъ.

Какъ будто и вы не знаете, что значитъ присутствіе человѣка, котораго любишь и который надоѣдаетъ!

Наталья Петровна (*медленно*).

Котораго любишь... это великое слово. Вы что-то мудрено говорите.

Ракитинъ.

Мудрено?.. почему же мудрено?

Наталья Петровна.

Да, это вашъ недостатокъ. Знаете ли что́, Ракитинъ! вы, конечно, очень умны, но... *(останавливаясь)*, иногда мы съ вами разговариваемъ, точно кружева плетемъ... А вы видали, какъ кружево плетутъ? Въ душныхъ комнатахъ, не двигаясь съ мѣста... Кружево—прекрасная вещь, но глотокъ свѣжей воды въ жаркій день гораздо лучше.

Ракитинъ.

Наталья Петровна, вы сегодня...

Наталья Петровна.

Что́?

Ракитинъ.

Вы сегодня на меня за что-то сердитесь.

Наталья Петровна.

О, тонкіе люди, какъ вы мало проницательны, хотя и тонки!.. Нѣтъ, я на васъ не сержусь.

Анна Семеновна.

А! наконецъ, обремизился! Попался! *(Натальѣ Петровнѣ)*. Наташа, злодѣй нашъ поставилъ ремизъ.

Шаафъ *(кисло)*.

Лисафетъ Богдановнѣ фиоватъ...

Лизавета Богдановна *(съ сердцемъ)*.

Извините-съ, я не могла знать, что у Анны Семеновны не было червей.

Шаафъ.

Фперѣтъ я Лисафетъ Богдановнѣ не приклашаю.

Анна Семеновна *(Шаафу)*.

Да чѣмъ же она виновата?

Шаафъ *(повторяетъ точно тѣмъ же голосомъ)*.

Фперѣтъ я Лисафетъ Богдановнѣ не приклашаю.

Лизавета Богдановна.

А мнѣ что̀! Вотъ еще!..

Ракитинъ.

Чѣмъ болѣе я на васъ гляжу, Наталья Петровна, тѣмъ болѣе я не узнаю вашего лица сегодня.

Наталья Петровна *(съ нѣкоторымъ любопытствомъ)*.

Въ самомъ дѣлѣ?

Ракитинъ.

Право. Я нахожу въ васъ какую-то перемѣну.

Наталья Петровна.

Да?.. Въ такомъ случаѣ, сдѣлайте одолженіе... Вы вѣдь меня знаете—угадайте, въ чемъ состоитъ эта перемѣна, что во мнѣ такое произошло—а?

Ракитинъ.

А вотъ погодите...

(Коля вдругъ съ шумомъ вбѣгаетъ изъ залы прямо къ Аннѣ Семеновнѣ).

Коля.

Бабушка, бабушка! посмотри-ка, что у меня! *(Показываетъ ей лукъ и стрѣлы).* Посмотри-ка!

Анна Семеновна.

Покажи, душа моя... Ахъ, какой славный лукъ, кто тебѣ его сдѣлалъ?

Коля.

Вотъ онъ... онъ... *(Указываетъ на Бѣляева, который остановился у двери залы).*

Анна Семеновна.

А! да какъ онъ хорошо сдѣланъ...

Коля.

Я уже стрѣлялъ изъ него въ дерево, бабушка, и попалъ два раза... *(Прыгаетъ).*

Наталья Петровна.

Покажи, Коля.

Коля *(бѣжитъ къ ней и пока Наталья Петровна разсматриваетъ лукъ).*

Ахъ, maman! какъ Алексѣй Николаичъ на деревья лазитъ! Онъ меня хочетъ выучить, и плавать тоже онъ меня выучитъ. Онъ меня всему, всему выучитъ! *(Прыгаетъ).*

Наталья Петровна *(Бѣляеву).*

Я вамъ очень благодарна за ваше вниманіе къ Колѣ...

Коля *(съ жаромъ ее перебивая).*

Я его очень люблю, maman, очень!

Наталья Петровна *(гладя Колю по головѣ).*

Онъ у меня немножко изнѣженъ... Сдѣлайте мнѣ изъ него ловкаго и проворнаго мальчика. *(Бѣляевъ кланяется).*

Коля.

Алексѣй Николаичъ, пойдемте въ конюшню, отнесемъ Фавориту хлѣба.

Бѣляевъ.

Пойдемте.

Анна Семеновна *(Колѣ).*

Поди сюда, поцѣлуй меня сперва...

Коля *(убѣгая).*

Послѣ, бабушка, послѣ! *(Убѣгаетъ въ залу; Бѣляевъ уходитъ за нимъ).*

Анна Семеновна *(глядя вслѣдъ Колѣ).*

Что за милый ребенокъ! *(Къ Шаафу и Лизаветѣ Богдановнѣ).* Не правда ли?

Лизавета Богдановна.

Какъ же-съ.

Шаафъ *(помолчавъ немного).*

Я пассъ.

Наталья Петровна *(съ нѣкоторой живостью Ракитину).*

Ну, какъ онъ вамъ показался?

Ракитинъ.

Кто?

Наталья Петровна *(помолчавъ).*

Этотъ... русскій учитель.

Ракитинъ.

Ахъ, извините, я и забылъ... Я такъ былъ занятъ вопросомъ, который вы мнѣ задали... *(Наталья Петровна глядитъ на него съ едва замѣтной усмѣшкой).* Впрочемъ, его лицо... дѣйствительно... Да, у него хорошее лицо. Онъ мнѣ нравится. Только, кажется, онъ очень застѣнчивъ.

Наталья Петровна.

Да.

Ракитинъ *(глядя на нее).*

Но, все-таки, я не могу себѣ дать отчета...

Наталья Петровна.

Что бы намъ съ вами позаняться имъ, Ракитинъ? Хотите? Окончимте его воспитаніе. Вотъ превосходный случай для степенныхъ, разсудительныхъ людей, каковы мы съ вами! Вѣдь мы очень разсудительны, не правда ли?

Ракитинъ.

Этотъ молодой человѣкъ васъ занимаетъ? Если бъ онъ это зналъ... его бы это польстило.

Наталья Петровна.

О, повѣрьте, нисколько! О немъ нельзя судить по тому, что̀... нашъ братъ сдѣлалъ бы на его мѣстѣ. Вѣдь онъ нисколько на насъ не похожъ, Ракитинъ. Въ томъ-то и бѣда, другъ мой: мы самихъ себя изучаемъ съ большимъ прилежаніемъ и воображаемъ потомъ, что знаемъ людей.

Ракитинъ.

Чужая душа—темный лѣсъ. Но къ чему эти намеки... За что̀ вы меня, то и дѣло, колете?

Наталья Петровна.

Кого же колоть, коли не друзей... А вы—мой другъ... Вы это знаете. *(Жметъ ему руку. Ракитинъ улыбается и сопитъ).* Вы мой старый другъ.

Ракитинъ.

Боюсь я только... какъ бы этотъ старый другъ вамъ не пріѣлся...

Наталья Петровна *(смѣясь).*

Однѣ хорошія вещи пріѣдаются.

Ракитинъ.

Можетъ-быть... Только отъ этого имъ не легче.

Наталья Петровна.

Полноте... *(Понизивъ голосъ).* Какъ будто вы не знаете.. ce que vous êtes pour moi.

Ракитинъ.

Наталья Петровна, вы играете со мной, какъ кошка съ мышью... Но мышь не жалуется...

Наталья Петровна.

О, бѣдный мышенокъ!

Анна Семеновна.

Двадцать съ васъ, Адамъ Иванычъ... Ага!

Шаафъ.

Я фперѣтъ Лисафетъ Богдановнѣ не приклашаю.

Матвѣй *(входитъ изъ залы и докладываетъ)*

Игнатій Ильичъ пріѣхали-съ.

Шпигельскій *(входя по его слѣдамъ).*

Объ докторахъ не докладываютъ. *(Матвѣй уходитъ).* Нижайшее мое почтенье всему семейству. *(Подходитъ къ Аннѣ Семеновнѣ къ ручкѣ).* Здравствуйте, барыня. Чай, въ выигрышѣ?

Анна Семеновна.

Какое въ выигрышѣ! Насилу отыгралась... И то слава Богу! Все вотъ этотъ злодѣй. *(Указывая на Шаафа).*

Шпигельскій *(Шаафу).*

Адамъ Иванычъ, съ дамами-то! это не хорошо... Я васъ не узнаю.

Шаафъ *(ворча сквозь зубы).*

З-дамами, з-дамами...

Шпигельскій *(подходитъ къ круглому столу налѣво).*

Здравствуйте, Наталья Петровна! Здравствуйте, Михайло Александрычъ!

Наталья Петровна.

Здравствуйте, докторъ. Какъ вы поживаете?

Шпигельскій.

Мнѣ этотъ вопросъ очень нравится... Значитъ, вы здоровы. Что со мною дѣлается? Порядочный докторъ никогда боленъ не бываетъ; развѣ вдругъ возьметъ да умретъ... Ха-ха.

Наталья Петровна.

Сядьте. Я здорова, точно... но я не въ духѣ... А вѣдь это тоже нездоровье.

Шпигельскій *(садясь подлѣ Натальи Петровны).*

А позвольте-ка вашъ пульсъ... *(Щупаетъ у ней пульсъ).* Охъ, ужъ эти мнѣ нервы, нервы... Вы мало гуляете, Наталья Петровна, мало смѣетесь... вотъ что... Михайло Александрычъ, что вы смотрите? А, впрочемъ, можно бѣлыя капли прописать.

Наталья Петровна.

Я не прочь смѣяться... *(Съ живостью).* Да вотъ, вы, *докторъ...* у васъ злой языкъ, я васъ за это очень люблю

и уважаю, право... разскажите мнѣ что-нибудь смѣшное. Михайло Александрычъ сегодня все философствуетъ.

Шпигельскій (*украдкою поглядывая на Ракитина*).

А, видно, не одни нервы страдаютъ, и желчь тоже немножко расходилась...

Наталья Петровна.

Ну, и вы туда же! Наблюдайте, сколько хотите, докторъ, да только не вслухъ. Мы всѣ знаемъ, что вы ужасно проницательны... Вы оба очень проницательны.

Шпигельскій.

Слушаю-съ.

Наталья Петровна.

Разскажите намъ что-нибудь смѣшное.

Шпигельскій.

Слушаю-съ. Вотъ, не думалъ, не гадалъ—цапъ-царапъ, разсказывай... Позвольте табачку понюхать. (*Нюхаетъ*).

Наталья Петровна.

Какія приготовленья!

Шпигельскій.

Да вѣдь, матушка моя, Наталья Петровна, вы извольте сообразить: смѣшное смѣшному рознь. Что для кого! Сосѣду вашему, напримѣръ, господину Хлопушкину, стоитъ только этотъ палецъ показать, ужъ онъ и залился, и хрипитъ, и плачетъ... а вѣдь вы... Но, однако, позвольте. Знаете ли вы Вереницына, Платона Васильевича?

Наталья Петровна.

Кажется, знаю, или слыхала.

Шпигельскій.

У него сестра сумасшедшая. По-моему, они либо оба сумасшедшіе, либо оба въ здравомъ смыслѣ; потому что между братомъ и сестрой рѣшительно нѣтъ никакой разницы, но дѣло не въ томъ. Судьба-съ, вездѣ судьба-съ, и во всемъ судьба-съ. У Вереницына дочь, зелененькая, знаете, такая, глазки блѣденькіе, носикъ красненькій, зубки желтенькіе, ну, словомъ, очень любезная дѣвица; на фортепіанахъ играетъ и сюсюкаетъ тоже, стало-быть, все въ порядкѣ. За ней двѣсти душъ, да теткиныхъ полтораста. Тетка-то еще жива и долго проживетъ, сума-

сшедшіе всѣ долго живутъ, да вѣдь всякому горю пособить можно. Подписала же она духовную въ пользу племянницы, а наканунѣ я ей собственноручно на голову холодную воду лилъ—и совершенно, впрочемъ, напрасно лилъ, потому что вылѣчить ее нѣтъ никакой возможности. Ну, стало-быть, у Вереницына дочь—невѣста не изъ послѣднихъ. Началъ онъ ее вывозить, стали женихи появляться, между прочими нѣкто Перекузовъ, худосочный молодой человѣкъ, робкій, но съ отличными правилами. Вотъ-съ, понравился нашъ Перекузовъ отцу; понравился и дочери... Кажись, зачѣмъ бы дѣло стало? съ Богомъ, подъ вѣнецъ! И дѣйствительно, все шло прекрасно; г-нъ Вереницынъ, Платонъ Васильичъ, уже начиналъ г-на Перекузова по желудку этакъ, знаете, хлопать и по плечу трепать, какъ вдругъ откуда ни возьмись заѣзжій офицеръ, Ардаліонъ Протобекасовъ! На балѣ у предводителя увидалъ Вереницынову дочь, протанцовалъ съ ней три польки, сказалъ ей, должно-быть, этакъ, закативши глаза: „о, какъ я несчастливъ!“ барышня моя такъ разомъ и свихнулась. Слезы пошли, вздохи, охи... На Перекузова не глядятъ, съ Перекузовымъ не говорятъ, отъ одного слова: „свадьба“ корчи дѣлаются... Фу, ты, Господи, Боже мой, что̀ за притча! Ну, думаетъ Вереницынъ, коли Протобекасова, такъ Протобекасова. Благо же онъ человѣкъ тоже съ состояньемъ. Приглашаютъ Протобекасова, дескать, сдѣлайте честь... Протобекасовъ дѣлаетъ честь; Протобекасовъ пріѣзжаетъ, волочится, влюбляется, наконецъ, предлагаетъ руку и сердце. Что̀ жъ вы думаете? Дѣвица Вереницына тотчасъ съ радостью соглашается? Какъ бы не такъ! Сохрани Богъ! Опять слезы, вздохи, припадки. Отецъ приходитъ втупикъ. Что̀ же, наконецъ? Чего надобно? А она что̀, вы думаете, ему отвѣчаетъ? Я, дескать, батюшка, не знаю, кого люблю, того или этого. „Какъ?“—Ей-Богу, не знаю, и ужъ лучше ни за кого не выйду, а люблю! Съ Вереницынымъ, разумѣется, тотчасъ холера; женихи тоже не знаютъ, что̀ жъ такое, наконецъ? а она все на своемъ. Вотъ-съ, извольте *разсудить, какія* чудеса у насъ происходятъ.

Наталья Петровна.

Я въ этомъ ничего удивительнаго не нахожу... Какъ будто нельзя двухъ людей разомъ любить?

Ракитинъ.

А! вы думаете...

Наталья Петровна *(медленно).*

Я думаю... а впрочемъ, не знаю... можетъ-быть, это доказываетъ только то, что ни того, ни другого не любишь.

Шпигельскій *(нюхая табакъ и посматривая то на Наталью Петровну, то на Ракитина).*

Вотъ какъ-съ, вотъ какъ-съ...

Наталья Петровна *(съ живостью Шпигельскому).*

Вашъ разсказъ очень хорошъ, но вы, все-таки, меня не разсмѣшили.

Шпигельскій.

Да, барыня вы моя, кто васъ разсмѣшитъ теперь, помилуйте! Вамъ теперь не того нужно.

Наталья Петровна.

Чего же мнѣ нужно?

Шпигельскій *(съ притворно-смиреннымъ видомъ).*

А Господь вѣдаетъ!

Наталья Петровна.

Ахъ, какой вы скучный, не лучше Ракитина.

Шпигельскій.

Много чести, помилуйте... (*Наталья Петровна дѣлаетъ нетерпѣливое движеніе*).

Анна Семеновна *(поднимаясь съ мѣста).*

Ну, наконецъ... (*Вздыхаетъ*). Ноги себѣ отсидѣла совсѣмъ. (*Лизавета Богдановна и Шаафъ тоже встаютъ*). О-охъ.

Наталья Петровна (*встаетъ и идетъ къ нимъ*).

Охота же вамъ такъ долго сидѣть... (*Шпигельскій и Ракитинъ встаютъ*).

Анна Семеновна (*Шаафу*).

За тобою семь гривенъ, батюшка. (*Шаафъ сухо кланяется*). Не все тебѣ насъ наказывать. (*Наталью* Пе-

тровнѣ). Ты сегодня какъ будто блѣдна, Наташа. Здорова ты?.. Шпигельскій, здорова она?

Шпигельскій (*который о чемъ-то перешептывался съ Ракитинымъ*).

О, совершенно!

Анна Семеновна.

То-то же... А я пойду немножко отдохнуть передъ обѣдомъ... Устала смерть! Лиза, пойдемъ... охъ, ноги, ноги... (*Идетъ съ Лизаветой Богдановной въ залу. Наталья Петровна провожаетъ ее до дверей. Шпигельскій, Ракитинъ и Шаафъ остаются на авансценѣ*).

Шпигельскій (*Шаафу, подавая ему табакерку*).

Ну, Адамъ Иванычъ, ви-бефинденъ-зи-зихъ?

Шаафъ (*нюхая съ важностью*).

Карашо. А фи какъ?

Шпигельскій.

Покорно благодарю, помаленьку. (*Ракитину вполголоса*). Такъ вы, точно, не знаете, что̀ съ Натальей Петровной сегодня?

Ракитинъ.

Право, не знаю.

Шпигельскій.

Ну, коли *вы* не знаете... (*Оборачивается и идетъ навстрѣчу Натальѣ Петровнѣ, которая возвращается отъ двери*). А у меня есть до васъ дѣльце, Наталья Петровна.

Наталья Петровна (*идя къ окну*).

Неужели? какое?

Шпигельскій.

Мнѣ нужно съ вами поговорить наединѣ...

Наталья Петровна.

Вотъ какъ... вы меня пугаете.

(*Ракитинъ, между тѣмъ, взялъ Шаафа подъ руку, ходитъ съ нимъ взадъ и впередъ и шепчетъ ему что-то по-нѣмецки. Шаафъ смѣется и говоритъ вполголоса «Ja, ja, ja! ja wohl, ja wohl, sehr gut»*).

Шпигельскій (*понизивъ голосъ*).

Это дѣло, собственно, не до васъ однѣхъ касается...

Наталья Петровна (*глядя въ садъ*).

Что̀ вы хотите сказать?

Шпигельскій.

Вотъ въ чемъ дѣло-съ. Одинъ хорошій знакомый меня просилъ узнать... то-есть... ваши намѣренія насчетъ вашей воспитанницы... Вѣры Александровны.

Наталья Петровна.

Мои намѣренія?

Шпигельскій.

То-есть... говоря безъ обиняковъ, мой знакомый...

Наталья Петровна.

Ужъ не сватается ли за нее?

Шпигельскій.

Точно такъ-съ.

Наталья Петровна.

Вы шутите?

Шпигельскій.

Никакъ нѣтъ-съ.

Наталья Петровна (*смѣясь*).

Да помилуйте, она еще ребенокъ; какое странное порученіе!

Шпигельскій.

Чѣмъ же странное, Наталья Петровна? мой знакомый...

Наталья Петровна.

Вы большой дѣлецъ, Шпигельскій. А кто такой вашъ знакомый?

Шпигельскій (*улыбаясь*).

Позвольте, позвольте. Вы мнѣ еще ничего не сказали положительнаго насчетъ...

Наталья Петровна.

Полноте, докторъ. Вѣра еще дитя. Вы сами это знаете, господинъ дипломатъ. (*Оборачиваясь*). Да вотъ, кстати, и она. (*Изъ залы вбѣгаютъ Вѣра и Коля*).

Коля (*бѣжитъ къ Ракитину*).

Ракитинъ, вели намъ клею дать, клею...

Наталья Петровна (*къ Вѣрѣ*).

Откуда вы? (*Гладитъ ее по щекѣ*). Какъ ты раскраснѣлась!

Вѣра.

Изъ саду... (*Шпигельскій ей кланяется*), Здравствуйте, Игнатій Ильичъ.

Ракитинъ (*Колѣ*).

На что̀ тебѣ клею?

Коля.

Нужно, нужно... Алексѣй Николаичъ намъ змѣя дѣлаетъ... Прикажи...

Ракитинъ (*хочетъ позвонить*).

Постой, сейчасъ...

Шаафъ.

Erlauben Sie... Каспадинъ Колія сифодня сфой лекціонъ не брочидалъ... (*Беретъ Колю за руку*). Kommen sie.

Коля (*печально*)

Morgen, Herr Schaaf, morgen...

Шаафъ (*рѣзко*).

Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faule Leute... Kommen sie... (*Коля упирается*).

Наталья Петровна (*Вѣрѣ*).

Съ кѣмъ это ты такъ долго гуляла? Я тебя не видала съ утра.

Вѣра.

Съ Алексѣемъ Николаичемъ... съ Колей...

Наталья Петровна.

А! (*Оборачиваясь*). Коля, что̀ это значитъ?

Коля (*понизивъ голосъ*).

Господинъ Шаафъ... Мамаша...

Ракитинъ (*Натальѣ Петровнѣ*).

Они тамъ змѣя дѣлаютъ, а здѣсь, вотъ, ему урокъ хотятъ задать.

Шаафъ (*съ чувствомъ достоинства*).

Gnädige Frau...

Наталья Петровна (*строго Колѣ*).

Извольте слушаться, довольно вы сегодня бѣгали... Ступайте съ господиномъ Шаафъ.

Шаафъ (*уводя Колю въ залу*).

Es ist unerhört!

Коля (*уходя, шопотомъ Ракитину*).

А ты, все-таки, клей прикажи... (*Ракитинъ киваетъ*).

Шаафъ (*дергая Колю*).

Kommen sie, mein Herr... (*Уходитъ съ нимъ въ залу. Ракитинъ уходитъ вслѣдъ за ними*).

Наталья Петровна (*Вѣрѣ*).

Сядь... ты, должно-быть, устала... (*Садится сама*).

Вѣра (*садясь*).

Никакъ нѣтъ-съ.

Наталья Петровна (*съ улыбкой Шпигельскому*).

Шпигельскій, посмотрите на нее, вѣдь она устала?

Шпигельскій.

Да вѣдь это Вѣрѣ Александровнѣ здорово.

Наталья Петровна.

Я не говорю... (*Вѣрѣ*). Ну, что вы въ саду дѣлали?

Вѣра.

Играли-съ; бѣгали-съ. Сперва мы смотрѣли, какъ плотину копаютъ, а потомъ Алексѣй Николаичъ за бѣлкой на дерево полѣзъ, высоко-высоко, и началъ верхушку качать... Намъ всѣмъ даже страшно стало... Бѣлка, наконецъ, упала, и Трезоръ чуть-чуть ее не поймалъ... Однако, она ушла.

Наталья Петровна (*съ улыбкой взглянувъ на Шпигельскаго*).

А потомъ?

Вѣра.

А потомъ Алексѣй Николаичъ Колѣ лукъ сдѣлалъ... да такъ скоро... а потомъ онъ къ нашей коровѣ на лугу подкрался и вдругъ ей на спину вскочилъ... корова испугалась и побѣжала, забрыкала... а онъ смѣется (*смѣется сама*), а потомъ Алексѣй Николаичъ хотѣлъ намъ змѣя сдѣлать, ~~потъ~~ мы и пришли сюда.

Наталья Петровна (*треплетъ ее по щекѣ*).

Дитя, дитя, совершенное ты дитя... а? какъ вы думаете, Шпигельскій?

Шпигельскій (*медленно и глядя на Наталью Петровну*).

Я съ вами согласенъ.

Наталья Петровна.

То-то же.

Шпигельскій.

Да вѣдь это ничему не мѣшаетъ... Напротивъ...

Наталья Петровна.

Вы думаете? (*Вѣрѣ*). Ну, и очень вы веселились?

Вѣра.

Да-съ... Алексѣй Николаичъ такой забавный.

Наталья Петровна.

Вотъ какъ. (*Помолчавъ немного*). Вѣрочка, а сколько тебѣ лѣтъ? (*Вѣра съ нѣкоторымъ изумленіемъ глядитъ на нее*). Дитя... Дитя... (*Ракитинъ входитъ изъ залы*).

Шпигельскій (*хлопотливо*).

Ахъ, я и забылъ... у васъ кучеръ боленъ... а я его еще не видалъ...

Наталья Петровна.

Что у него?

Шпигельскій.

Горячка; впрочемъ, опасности нѣтъ никакой.

Наталья Петровна (*ему вслѣдъ*).

Вы у насъ обѣдаете, докторъ?

Шпигельскій.

Если позволите. (*Уходитъ въ залу*).

Наталья Петровна.

Mon enfant, vous feriez bien de mettre une autre robe pour le diner... (*Вѣра встаетъ*). Подойди ко мнѣ... (*Цѣлуетъ ее въ лобъ*). Дитя, дитя! (*Вѣра цѣлуетъ у ней руку и идетъ въ кабинетъ*).

Ракитинъ (*тихонько Вѣрѣ, мигая глазомъ*).

А я Алексѣю Николаичу послалъ все, что нужно.

Вѣра (*вполголоса*).

Благодарствуйте, Михайло Александрычъ. (*Уходитъ*).

Ракитинъ (*подходитъ къ Натальѣ Петровнѣ. Она ему протягиваетъ руку. Онъ тотчасъ ее пожимаетъ*).

Наконецъ, мы одни... Наталья Петровна, скажите мнѣ, *что́ съ вами?*

Наталья Петровна.

Ничего, Michel, ничего. И если что̀ было, теперь все прошло. Сядьте. (*Ракитинъ садится подлѣ нея*). Съ кѣмъ этого не случается? Ходятъ же по небу тучки. Что̀ вы на меня такъ глядите?

Ракитинъ.

Я гляжу на васъ... Я счастливъ.

Наталья Петровна (*улыбается ему въ отвѣтъ*).

Откройте окно, Michel. Какъ хорошо въ саду! (*Ракитинъ встаетъ и открываетъ окно*). Здравствуй, вѣтеръ. (*Смѣется*). Онъ словно ждалъ случая ворваться... (*Оглядываясь*). Какъ онъ завладѣлъ всей комнатой... Теперь его не выгонишь...

Ракитинъ.

Вы сами теперь мягки и тихи, какъ вечеръ послѣ грозы.

Наталья Петровна (*задумчиво повторяя послѣднія слова*).

Послѣ грозы... Да развѣ была гроза?

Ракитинъ (*качая головой*).

Собиралась.

Наталья Петровна.

Въ самомъ дѣлѣ? (*Глядя на него, послѣ небольшого молчанія*). А знаете ли что̀, Мишель, я не могу вообразить себѣ человѣка добрѣе васъ. Право. (*Ракитинъ хочетъ ее остановить*). Нѣтъ, не мѣшайте мнѣ высказаться. Вы снисходительны, ласковы, постоянны. Вы не измѣняетесь. Я вамъ многимъ обязана.

Ракитинъ.

Наталья Петровна, зачѣмъ вы мнѣ это говорите именно теперь?

Наталья Петровна.

Не знаю; мнѣ весело, я отдыхаю; не запрещайте мнѣ болтать...

Ракитинъ (*жметъ ей руку*).

Вы добры, какъ ангелъ.

Наталья Петровна (*смѣясь*).

Сегодня поутру вы бы этого не сказали... Но послу-

шайте, Michel, вы меня знаете, вы должны меня извинить. Наши отношенія такъ чисты, такъ искренни... и, все-таки, не совсѣмъ естественны. Мы съ вами имѣемъ право не только Аркадію, но всѣмъ прямо въ глаза глядѣть... Да; но... (*Задумывается*). Вотъ оттого-то мнѣ иногда и тяжело бываетъ, и неловко, я злюсь, я готова, какъ дитя, выместить свою досаду на другомъ, особенно на васъ... Васъ это предпочтеніе не сердитъ?

Ракитинъ (*съ живостью*).

Напротивъ...

Наталья Петровна.

Да, иногда весело помучить, кого любишь... кого любишь... Вѣдь я, какъ Татьяна, тоже могу сказать: „къ чему лукавить?“

Ракитинъ.

Наталья Петровна, вы...

Наталья Петровна (*перебивая его*).

Да... я васъ люблю; но знаете ли что, Ракитинъ? Знаете ли, что мнѣ иногда страннымъ кажется: я васъ люблю... и это чувство такъ ясно, такъ мирно... Оно меня не волнуетъ... я имъ согрѣта, но... (*Съ живостью*). Вы никогда не заставили меня плакать... а я бы, кажется, должна была... (*Перерываясь*). Что это значитъ?

Ракитинъ (*нѣсколько печально*).

Такой вопросъ не требуетъ отвѣта.

Наталья Петровна (*задумчиво*).

А вѣдь мы давно съ вами знакомы.

Ракитинъ.

Четыре года. Да, мы старые друзья.

Наталья Петровна.

Друзья... Нѣтъ, вы мнѣ болѣе, чѣмъ другъ...

Ракитинъ.

Наталья Петровна, не касайтесь до этого вопроса... Я боюсь за мое счастье, какъ бы оно не исчезло у васъ подъ руками.

Наталья Петровна.

Нѣтъ... нѣтъ... нѣтъ... Все дѣло въ томъ, что вы слиш-

комъ добры... Вы мнѣ слишкомъ потакаете... Вы меня избаловали... Вы слишкомъ добры, слышите?

Ракитинъ (*съ улыбкою*).

Слу̀шаю-съ.

Наталья Петровна (*глядя на него*).

Я не знаю, какъ вы... Я не желаю другого счастья... Многіе могутъ мнѣ позавидовать. (*Протягиваетъ ему обѣ руки*). Не правда ли?

Ракитинъ.

Я въ вашей власти... дѣлайте изъ меня, что хотите... (*Въ залѣ раздается голосъ Ислаева: „Такъ вы послали за нимъ?“*)

Наталья Петровна (*быстро приподнимаясь*).

Онъ! Я не могу теперь его видѣть... Прощайте! (*Уходитъ въ кабинетъ*).

Ракитинъ (*глядя ей вслѣдъ*).

Что это такое? Начало конца, или просто конецъ? (*Помолчавъ немного*). Или начало?

(*Входитъ Ислаевъ, съ озабоченнымъ видомъ, и снимаетъ шляпу*).

Ислаевъ.

Здравствуй, Michel.

Ракитинъ.

Мы уже видѣлись сегодня.

Ислаевъ.

А! извини... Я совершенно захлопотался.— (*Ходитъ по комнатѣ*). Странное дѣло! Русскій мужикъ очень смышленъ, очень понятливъ, я уважаю русскаго мужика... а между тѣмъ, иногда говоришь ему, говоришь, толкуешь, толкуешь... Ясно, кажется, а пользы никакой. У русскаго мужика нѣтъ этого... этого...

Ракитинъ.

Да ты все еще надъ плотиной хлопочешь?

Ислаевъ.

Этого... такъ сказать... этой любви къ работѣ нѣту... именно, любви нѣтъ. Онъ тебѣ мнѣнья твоего х... не высказать не дастъ.—„Слушаю, батюшка...“ А какое: слушаю—просто ничего не понялъ. Посмотри-ка на нѣмца—

то ли дѣло! Терпѣнья у русскаго нѣтъ.—Со всѣмъ тѣмъ, я его уважаю... А гдѣ Наташа? Не знаешь?

Ракитинъ

Она сейчасъ здѣсь была.

Ислаевъ.

Да который часъ? Пора бы обѣдать. Съ утра на ногахъ — дѣла пропасть... А еще сегодня на постройкѣ не былъ. Время такъ вотъ и уходитъ. Бѣда! — просто, никуда не поспѣваешь! *(Ракитинъ улыбается).* Ты, я вижу, смѣешься надо мной... Да что жъ братъ, дѣлать? Кому что. Я человѣкъ положительный, рожденъ быть хозяиномъ—и больше ничѣмъ. Было время—я о другомъ мечталъ; да осѣкся, братъ! Пальцы себѣ обжегъ—во-какъ!— Что это Бѣляевъ не идетъ?

Ракитинъ.

Кто такое, Бѣляевъ?

Ислаевъ.

А новый нашъ учитель, русскій. Дичокъ еще порядочный; ну, да привыкнетъ. Малый неглупый. Я его попросилъ сегодня посмотрѣть, что постройка... *(Входитъ Бѣляевъ).* А, да вотъ и онъ!—Ну, что? Какъ тамъ? Ничего не дѣлаютъ, небось? А?

Бѣляевъ.

Нѣтъ-съ, работаютъ.

Ислаевъ.

Второй срубъ кончили?

Бѣляевъ.

Начали третій.

Ислаевъ.

А насчетъ вѣнцовъ—вы сказали?

Бѣляевъ.

Сказалъ.

Ислаевъ.

Ну—а они что?

Бѣляевъ.

Они говорятъ, что иначе они и не дѣлали никогда.

Ислаевъ.

Г-мъ... Ермилъ плотникъ тамъ?

Бѣляевъ.

Тамъ.

Ислаевъ.

А!.. Ну, благодарствуйте! (*Входитъ Наталья*). А! Наташа! здравствуй!

Ракитинъ.

Что ты это сегодня со всѣми двадцать разъ здороваешься?

Ислаевъ.

Говорятъ тебѣ, захлопотался. Ахъ, кстати! Я тебѣ не показывалъ новую мою вѣялку? Пойдемъ, пожалуйста; это любопытно. Вообрази— ураганъ изъ нея, просто ураганъ. До обѣда еще успѣемъ... Хочешь?

Ракитинъ.

Изволь.

Ислаевъ.

А ты, Наташа, не идешь съ нами?

Наталья Петровна.

Будто я понимаю что̀ въ вашихъ вѣялкахъ!—Ступайте вы одни—да смотрите, не замѣшкайтесь.

Ислаевъ (*уходя съ Ракитинымъ*).

Мы сейчасъ... (*Бѣляевъ собирается за ними идти*).

Наталья Петровна (*Бѣляеву*).

Куда же вы, Алексѣй Николаичъ?

Бѣляевъ.

Я-съ... я...

Наталья Петровна.

Впрочемъ, если вы хотите гулять...

Бѣляевъ.

Нѣтъ-съ, я цѣлое утро былъ на воздухѣ!

Наталья Петровна.

А! ну, въ такомъ случаѣ, сядьте... Сядьте здѣсь. (*Указывая на стулъ*). Мы съ вами еще не поговорили какъ слѣдуетъ, Алексѣй Николаичъ. Мы еще не познакомились. (*Бѣляевъ кланяется и садится*). А я желаю съ вами познакомиться.

Бѣляевъ.

Я-съ... мнѣ очень лестно.

Наталья Петровна *(съ улыбкой)*.

Вы меня теперь боитесь, я это вижу... но погодите, вы меня узнаете, вы перестанете меня бояться. Скажите... Скажите, сколько вамъ лѣтъ?

Бѣляевъ.

Двадцать одинъ годъ-съ.

Наталья Петровна.

Ваши родители живы?

Бѣляевъ.

Мать моя умерла. Отецъ живъ.

Наталья Петровна.

И давно ваша матушка скончалась?

Бѣляевъ.

Давно-съ.

Наталья Петровна.

Но вы ее помните?

Бѣляевъ.

Какъ же... помню-съ.

Наталья Петровна.

А батюшка вашъ въ Москвѣ живетъ?

Бѣляевъ.

Никакъ нѣтъ-съ, въ деревнѣ.

Наталья Петровна.

А! что, у васъ есть братья... сестры?

Бѣляевъ.

Одна сестра.

Наталья Петровна.

Вы ее очень любите?

Бѣляевъ.

Люблю-съ. Она гораздо моложе меня.

Наталья Петровна.

А какъ ее зовутъ?

Бѣляевъ.

Натальей.

Наталья Петровна *(съ живостью)*.

Натальей? Это странно. И меня также Натальей зовутъ... *(Останавливается)*. И вы очень ее любите?

Бѣляевъ.

Да-съ.

Наталья Петровна.

Скажите, какъ вы находите моего Колю?

Бѣляевъ.

Онъ очень милый мальчикъ.

Наталья Петровна.

Не правда ли? И такой любящій! Онъ уже успѣлъ привязаться къ вамъ.

Бѣляевъ.

Я готовъ стараться... Я радъ...

Наталья Петровна.

Вотъ, видите ли, Алексѣй Николаичъ, конечно, я бы желала сдѣлать изъ него дѣльнаго человѣка. Я не знаю, удастся ли это мнѣ, но, во всякомъ случаѣ, я хочу, чтобы онъ всегда съ удовольствіемъ вспоминалъ о времени своего дѣтства. Пусть онъ растетъ себѣ на волѣ—это главное. Я сама была иначе воспитана, Алексѣй Николаичъ; мой отецъ былъ человѣкъ не злой, но раздражительный и строгій... всѣ въ домѣ, начиная съ маменьки, его боялись. Мы съ братомъ, бывало, всякій разъ украдкой крестились, когда насъ звали къ нему. Иногда мой отецъ принимался меня ласкать, но даже въ его объятіяхъ я, помнится, вся замирала. Братъ мой выросъ, и вы, можетъ-быть, слыхали объ его разрывѣ съ отцомъ... Я никогда не забуду этого страшнаго дня... Я до самой кончины батюшки осталась покорною дочерью... онъ называлъ меня своимъ утѣшеньемъ, своей Антигоной... (онъ ослѣпъ въ послѣдніе годы своей жизни); но самыя его нѣжныя ласки не могли изгладить во мнѣ первыя впечатлѣнія моей молодости... Я боялась его, слѣпого старика, и никогда въ его присутствіи не чувствовала себя свободной... Слѣды этой робости, этого долгаго принужденья, можетъ-быть, до сихъ поръ не исчезли совершенно... я знаю, я съ перваго взгляда кажусь... какъ это сказать?.. холодной, что ли... Но я замѣчаю, что я разсказываю вамъ о самой себѣ, вмѣсто того, чтобы говорить вамъ о Колѣ. Я только хотѣла сказать, что я по

собственному опыту знаю, какъ хорошо ребенку расти на волѣ... Вотъ васъ, я думаю, въ дѣтствѣ не стѣсняли, не правда ли?

Бѣляевъ.

Какъ вамъ сказать-съ... Меня, конечно, никто не стѣснялъ... мной никто не занимался.

Наталья Петровна (*робко*).

А вашъ батюшка развѣ...

Бѣляевъ.

Ему было не до того-съ. Онъ все больше по сосѣдямъ ѣздилъ... по дѣламъ-съ. Или хотя и не по дѣламъ, а... Онъ черезъ нихъ, можно сказать, хлѣбъ свой добывалъ. Черезъ свои услуги.

Наталья Петровна.

А! И такъ-таки никто не занимался вашимъ воспитаніемъ?

Бѣляевъ.

По правдѣ сказать, никто. Впрочемъ, оно, должно-быть, замѣтно. Я слишкомъ хорошо чувствую свои недостатки.

Наталья Петровна.

Можетъ-быть... но за то... (*Останавливается и продолжаетъ съ нѣкоторымъ смущеніемъ*). Ахъ, кстати, Алексѣй Николаичъ, это вы вчера въ саду пѣли?

Бѣляевъ.

Когда-съ?

Наталья Петровна.

Вечеромъ, возлѣ пруда, вы?

Бѣляевъ.

Я-съ. (*Поспѣшно*). Я не думалъ... прудъ отсюда такъ далеко... Я не думалъ, чтобы здѣсь можно было слышать...

Наталья Петровна.

Да вы какъ будто извиняетесь? У васъ очень пріятный, звонкій голосъ, и вы такъ хорошо поете. Вы учились музыкѣ?

Бѣляевъ.

Никакъ нѣтъ-съ. Я по наслышкѣ пою-съ... однѣ *простыя* пѣсни.

Наталья Петровна.

Вы ихъ прекрасно поете... Я васъ когда-нибудь попрошу... не теперь, а вотъ, когда мы съ вами больше познакомимся, когда мы сблизимся съ вами... вѣдь, не правда ли, Алексѣй Николаичъ, мы съ вами сблизимся! Я чувствую къ вамъ довѣріе, моя болтовня вамъ это можетъ доказать... (*Она протягиваетъ ему руку для того, чтобы онъ ее пожалъ. Бѣляевъ нерѣшительно беретъ ее и послѣ нѣкотораго недоумѣнія, не зная, что дѣлать съ этой рукой, цѣлуетъ ее. Наталья Петровна краснѣетъ и отнимаетъ у него руку. Въ это время изъ залы входитъ Шпигельскій, останавливается и дѣлаетъ шагъ назадъ. Наталья Петровна быстро встаетъ, Бѣляевъ тоже*).

Наталья Петровна (*съ смущеніемъ*).

А, это вы, докторъ... а мы вотъ здѣсь съ Алексѣемъ Николаичемъ... (*Останавливается*).

Шпигельскій (*громко и развязно*).

Вообразите себѣ, Наталья Петровна, какія дѣла у васъ происходятъ. Вхожу я въ людскую, спрашиваю больного кучера; глядь, а мой больной сидитъ за столомъ и въ обѣ щеки уписываетъ блинъ съ лукомъ. Вотъ, послѣ этого и занимайся медициной, надѣйся на болѣзнь, да на безобидные доходы!

Наталья Петровна (*принужденно улыбаясь*).

А! въ самомъ дѣлѣ... (*Бѣляевъ хочетъ уйти*). Алексѣй Николаичъ, я забыла вамъ сказать...

Вѣра (*вбѣгая изъ залы*).

Алексѣй Николаичъ! Алексѣй Николаичъ! (*Она вдругъ останавливается при видѣ Натальи Петровны*).

Наталья Петровна (*съ нѣкоторымъ удивленіемъ*).

Что такое? Что тебѣ надобно?

Вѣра (*краснѣя и потупя глаза, указываетъ на Бѣляева*).

Ихъ зовутъ.

Наталья Петровна.

Кто?

Вѣра.

Коля... то-есть, Коля меня просилъ насчетъ змѣя...

Наталья Петровна.

А! (*Вполголоса Вѣрѣ*). On n'entre pas comme cela dans une chambre... Cela ne convient pas. (*Обращаясь къ Шпигельскому*). Да, который часъ, докторъ! У васъ всегда вѣрные часы... Пора обѣдать.

Шпигельскій.

А, вотъ, позвольте. (*Вынимаетъ часы изъ кармана*). Теперь-съ... теперь-съ, доложу вамъ — пятаго двадцать минутъ.

Наталья Петровна.

Вотъ, видите. Пора. (*Подходитъ къ зеркалу и поправляетъ себѣ волосы. Между тѣмъ Вѣра шепчетъ что-то Бѣляеву. Оба смѣются. Наталья Петровна ихъ видитъ въ зеркалѣ. Шпигельскій сбоку поглядываетъ на нее*).

Бѣляевъ (*смѣясь вполголоса*).

Неужели?

Вѣра (*кивая головой, тоже вполголоса*).

Да, да, такъ и упала.

Наталья Петровна (*съ притворнымъ равнодушіемъ оборачиваясь къ Вѣрѣ*).

Что такое? кто упалъ?

Вѣра (*съ смущеніемъ*).

Нѣтъ-съ... тамъ качели Алексѣй Николаичъ устроилъ, такъ нянюшка, вотъ, вздумала...

Наталья Петровна (*не дожидаясь конца отвѣта, къ Шпигельскому*).

Ахъ, кстати, Шпигельскій, подите-ка сюда... (*Отводитъ его въ сторону и обращается опять къ Вѣрѣ*). Она не ушиблась?

Вѣра.

О, нѣтъ-съ!

Наталья Петровна.

Да... а все-таки, Алексѣй Николаичъ, это вы напрасно...

Матвѣй (*входитъ изъ залы и докладываетъ*).

Кушанье готово-съ.

Наталья Петровна.

А! Да гдѣ жъ Аркадій Сергѣичъ? Вотъ, они опять опоздаютъ съ Михайломъ Александровичемъ.

Матвѣй.

Они ужъ въ столовой-съ.

Наталья Петровна.

А маменька?

Матвѣй.

Въ столовой и онѣ-съ.

Наталья Петровна.

А! ну, такъ пойдемте. (*Указывая на Бѣлѣева*). Вѣра, allez en avant avec monsieur.

(*Матвѣй выходитъ, за нимъ идутъ Бѣляевъ и Вѣра*).

Шпигельскій (*Натальѣ Петровнѣ*).

Вы мнѣ что-то хотѣли сказать?

Наталья Петровна.

Ахъ, да! Точно... Вотъ, видите ли... Мы еще съ вами поговоримъ о... о вашемъ предложеньи.

Шпигельскій.

Насчетъ... Вѣры Александровны?

Наталья Петровна.

Да. Я подумаю... я подумаю.

(*Оба уходятъ въ залу*).

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Театръ представляетъ садъ. Направо и налѣво, подъ деревьями, скамейки; прямо малинникъ. Входятъ справа **Катя** и **Матвѣй**. У **Кати** въ рукахъ корзинка.

Матвѣй.

Такъ какъ же, Катерина Васильевна? Извольте, наконецъ, объясниться, убѣдительно васъ прошу.

Катя.

Матвѣй Егорычъ, я, право...

Матвѣй.

Вамъ, Катерина Васильевна, слишкомъ хорошо извѣстно, какъ, то-есть, я къ вамъ расположенъ. Конечно, я старше васъ лѣтами: объ этомъ, точно, спорить нельзя; но, все-таки, я еще постою за себя, я еще въ самомъ прыску-съ. Нрава я тоже, какъ вы изволите знать, кроткаго; кажется, чего еще?

Катя.

Матвѣй Егорычъ, повѣрьте, я очень чувствую, очень благодарна, Матвѣй Егорычъ... Да вотъ... Подождать, я думаю, надо.

Матвѣй.

Да чего же ждать, помилуйте, Катерина Васильевна? Прежде, позвольте вамъ замѣтить, вы этого не говорили-съ. А что касается до уваженья, кажется, я могу за себя, то-есть, поручиться. Такое уваженіе получать будете, Катерина Васильевна, какого лучше и требовать нельзя. Притомъ я человѣкъ непіющій, ну, и отъ господъ тоже худого слова не слыхалъ.

Катя.

Право, Матвѣй Егорычъ, я не знаю, что̀ мнѣ вамъ сказать...

Матвѣй.

Эхъ, Катерина Васильевна, это вы недавно что-то начали того-съ...

Катя (*слегка покраснѣвъ*).

Какъ недавно? Отчего недавно?

Матвѣй.

Да ужъ я не знаю-съ... а только прежде вы... вы со мной прежде иначе изволили поступать.

Катя (*глянувъ въ кулисы торопливо*)

Берегитесь... Нѣмецъ идетъ.

Матвѣй (*съ досадой*).

А ну его, долгоносаго журавля!.. А съ вами еще поговорю-съ. (*Уходитъ направо. Катя тоже хочетъ идти въ малинникъ. Входитъ слѣва Шаафъ, съ удочкой на плечѣ*).

Шаафъ (*вслѣдъ Катѣ*).

Кутà? кутà, Катеринъ?

Катя (*останавливаясь*).

Намъ малины велѣно набрать, Адамъ Иванычъ.

Шаафъ.

Малинъ?... малинъ преятный фруктъ. Фи любитъ малинъ?

Катя.

Да, люблю.

Шаафъ.

Хе, хе!.. И я... и я тоже. Я фзѣ люблю, что фи любитъ. *(Видя, что она хочетъ уйти).* О, Катеринъ, бото-ждитъ немножко.

Катя.

Да некогда-съ... Ключница браниться будетъ.

Шаафъ.

Э! ничефо. Фотъ и я иту... *(Указывая на уду).* Какъ это скасать, рибить, фи понимайтъ, рибить, то-ись рибъ брать. Фи любитъ? рибъ?

Катя.

Да-съ.

Шаафъ.

Э, хе, хе, и я, и я. А знаете ли, чево я вамъ зкажу, Катеринъ... По-нѣмецки есть бѣзенка: *(поетъ)* Cathrinchen, Cathrinchen, wie lieb' ich dich so sehr!.. то-ись, по-русски: О, Катринушка, Катринушка, фи карошъ, я тіебія люблю. *(Хочетъ обнять ее одной рукой).*

Катя.

Полноте, полноте, какъ вамъ не стыдно... Господа вонъ идутъ! *(Спасается въ малинникъ).*

Шаафъ *(принимая суровый видъ, вполголоса).*

Das ist dumm...

(Входитъ справа Наталья Петровна, подъ руку съ Ракитинымъ.)

Наталья Петровна *(Шаафу).*

А! Адамъ Иванычъ! вы идете рыбу удить?

Шаафъ.

Дочно дакъ-съ.

Наталья Петровна.

А гдѣ Коля?

Шаафъ.

Зъ Лисафетъ Богдановнѣ... урокъ на фортепіано...

Наталья Петровна.

А! *(Оглядываясь).* Вы здѣсь одни?

Шаафъ.

Атинъ-съ.

Наталья Петровна.

Вы не видали Алексѣя Николаича?

Шаафъ.

Никакъ нѣтъ.

Наталья Петровна *(помолчавъ).*

Мы съ вами пойдемъ, Адамъ Иванычъ, хотите? посмотримъ, какъ-то вы рыбу ловите?

Шаафъ.

Я одшень радъ.

Ракитинъ *(вполголоса Натальѣ Петровнѣ).*

Что за охота!

Наталья Петровна (*Ракитину).*

Пойдемте, пойдемте, beau ténébreux... *(Всѣ трое уходятъ направо).*

Катя *(осторожно выставляя голову изъ малинника).*

Ушли... *(Выходитъ, немного останавливается и задумывается).* Вишь, нѣмецъ!.. *(Вздыхаетъ и опять принимается рвать малину, напѣвая вполголоса).*

Не огонь горитъ, не смола кипитъ.
А кипитъ-горитъ ретиво сердце...

А Матвѣй Егорычъ-то правъ! *(Продолжая напѣвать):*

А кипитъ-горитъ ретиво сердце
Не по батюшкѣ, не по матушкѣ...

Крупная какая малина... *(Продолжая напѣвать):*

Не по батюшкѣ, не по матушкѣ.

Экая жара! Даже душно... (*Продолжая напѣвать):*

Не по батюшкѣ, не по матушкѣ.
А кипитъ-горитъ по...

(Вдругъ оглядывается; умолкаетъ и до половины прячется за кустъ. Слѣва входятъ Бѣляевъ и Бѣрочка; у Бѣляева въ рукахъ змѣй.)

Бѣляевъ *(проходя мимо малинника, Катѣ).*

Что жъ ты перестала, Катя? *(Поетъ):*

А кипитъ-горитъ по красной дѣвицѣ...

Катя *(краснѣя).*

У насъ она не такъ поется.

Бѣляевъ.

А какъ же? *(Катя смѣется и не отвѣчаетъ).* Что это ты, малину набираешь? Дай-ка отвѣдать.

Катя *(отдавая ему корзинку).*

Возьмите все...

Бѣляевъ.

Зачѣмъ все... Вѣра Александровна, хотите? *(Вѣра беретъ изъ корзинки и онъ беретъ).* Ну, вотъ, и довольно. *(Хочетъ отдать корзинку Катѣ).*

Катя *(отталкивая его руку).*

Да возьмите все, возьмите.

Бѣляевъ.

Нѣтъ, спасибо, Катя. *(Отдаетъ ей корзинку).* Спасибо. *(Вѣрѣ).* Вѣра Александровна, сядемте-ка на скамейку. Вотъ *(указывая на змѣя),* нужно ему хвостъ привязать. Вы мнѣ поможете. *(Оба идутъ и садятся на скамейку. Бѣляевъ даетъ ей змѣя въ руки).* Вотъ такъ. Смотрите же, держите прямо. *(Начинаетъ привязывать хвостъ).* Что же вы?

Вѣра.

Да этакъ я васъ не вижу.

Бѣляевъ.

Да на что жъ вамъ меня видѣть?

Вѣра.

То-есть, я хочу видѣть, какъ вы привязываете хвостъ.

Бѣляевъ.

А! ну, постойте. *(Устраиваетъ такъ змѣя, что ей можно его видѣть).* Катя, что жъ ты не поешь? Пой. *(Спустя немного, Катя начинаетъ напѣвать вполголоса).*

Вѣра.

Скажите, Алексѣй Николаичъ, вы въ Москвѣ тоже иногда пускали змѣя?

Бѣляевъ.

Не до змѣевъ въ Москвѣ! Подержите-ка веревку... вотъ такъ. Вы думаете, намъ въ Москвѣ другого нечего дѣлать?

Вѣра.

Что жъ вы дѣлаете въ Москвѣ?

Бѣляевъ.

Какъ что? мы учимся, профессоровъ слушаемъ.

Вѣра.

Чему же васъ учатъ?

Бѣляевъ.

Всему.

Вѣра.

Вы, должно-быть, очень хорошо учитесь. Лучше вс другихъ.

Бѣляевъ.

Нѣтъ, не очень хорошо. Какое лучше всѣхъ! Я нивъ.

Вѣра.

Зачѣмъ же вы лѣнитесь?

Бѣляевъ.

А Богъ знаетъ! Такимъ ужъ, видно, родился.

Вѣра *(помолчавъ).*

Что, у васъ есть друзья въ Москвѣ?

Бѣляевъ.

Какъ же... Эхъ, эта веревка не довольно крѣпка.

Вѣра.

И вы ихъ любите?

Бѣляевъ.

Еще бы!.. Вы развѣ не любите вашихъ друзей?

Вѣра.

Друзей... У меня нѣтъ друзей.

Бѣляевъ.

То-есть, я хотѣлъ сказать, вашихъ пріятельницъ.

Вѣра *(медленно).*

Да.

Бѣляевъ.

Вѣдь у васъ есть пріятельницы?..

Вѣра.

Да... только я не знаю, отчего... я съ нѣкоторыхъ
что-то мало объ нихъ думаю... даже Лизѣ Мошни
не отвѣчала, а ужъ она какъ меня просила въ св
письмѣ.

Бѣляевъ.

Какъ же это вы говорите, у васъ нѣтъ друзей... а я-то что?

Вѣра *(съ улыбкой).*

Ну, вы... Вы другое дѣло. *(Помолчавъ).* Алексѣй Николаичъ!

Бѣляевъ.

Что?

Вѣра.

Вы пишете стихи?

Бѣляевъ.

Нѣтъ. А что?

Вѣра.

Такъ. *(Помолчавъ).* У насъ въ пансіонѣ одна барышня писала стихи.

Бѣляевъ *(затягиваетъ зубами узелъ).*

Вотъ какъ! и хорошіе?

Вѣра.

Я не знаю. Она намъ ихъ читала, а мы плакали.

Бѣляевъ.

Отчего же вы плакали?

Вѣра.

Отъ жалости. Такъ ее было жаль намъ!

Бѣляевъ.

Вы воспитывались въ Москвѣ?

Вѣра.

Въ Москвѣ, у г-жи Болюсъ. Наталья Петровна меня оттуда въ прошломъ году взяла.

Бѣляевъ.

Вы любите Наталью Петровну?

Вѣра.

Люблю; она такая добрая. Я ее очень люблю.

Бѣляевъ *(съ усмѣшкой).*

И, чай, боитесь ея?

Вѣра *(тоже съ усмѣшкой).*

Немножко.

Бѣляевъ *(помолчавъ).*

А кто васъ въ пансіонъ помѣстилъ?

Вѣра.

Натальи Петровны матушка покойница. Я у нея въ домѣ выросла. Я сирота.

Бѣляевъ *(опустивъ руки)*.

Вы сирота? И ни отца, ни матери вы не помните?

Вѣра.

Нѣтъ.

Бѣляевъ.

И у меня мать умерла. Мы оба съ вами сироты. Что жъ дѣлать! Унывать намъ все-таки не слѣдуетъ.

Вѣра.

Говорятъ, сироты межъ собою скоро дружатся.

Бѣляевъ *(глядя ей въ глаза)*.

Въ самомъ дѣлѣ? А вы какъ думаете?

Вѣра *(тоже глядя ему въ глаза, съ улыбкой)*.

Я думаю, что скоро.

Бѣляевъ *(смѣется и снова принимается за змѣй)*.

Хотѣлъ бы я знать, сколько ужъ я времени въ здѣшнихъ мѣстахъ?

Вѣра.

Сегодня двадцать-восьмой день.

Бѣляевъ.

Какая у васъ память! Ну, вотъ и конченъ змѣй. Посмотрите, каковъ хвостъ! Надо за Колей сходить.

Катя *(подходя къ нимъ съ корзинкой)*.

Хотите еще малины?

Бѣляевъ.

Нѣтъ, спасибо, Катя. *(Катя молча отходитъ)*.

Вѣра.

Коля—съ Лизаветой Богдановной.

Бѣляевъ.

И охота же въ такую погоду ребенка въ комнатѣ держать!

Вѣра.

Лизавета Богдановна намъ бы только мѣшала...

Бѣляевъ.

Да я не объ ней говорю...

Вѣра *(поспѣшно)*.

Коля безъ нея не могъ бы съ нами пойти... Впрочемъ, она вчера объ васъ съ большой похвалой отзывалась.

Бѣляевъ.

Въ самомъ дѣлѣ?

Вѣра.

Вамъ она не нравится?

Бѣляевъ.

Ну ее! Пусть себѣ табакъ нюхаетъ на здоровье!.. Зачѣмъ вы вздыхаете?

Вѣра *(помолчавъ)*.

Такъ. Какъ небо ясно!

Бѣляевъ.

Такъ вы отъ этого вздыхаете? *(Молчаніе)*. Вамъ, можетъ-быть, скучно?

Вѣра.

Мнѣ скучно? Нѣтъ! Я никогда сама не знаю, о чемъ я вздыхаю... Мнѣ вовсе не скучно. Напротивъ... *(Помолчавъ)*. Я не знаю... я, должно-быть, не совсѣмъ здорова. Вчера я шла наверхъ за книжкой — и вдругъ на лѣстницѣ, вообразите, вдругъ сѣла на ступеньку и заплакала... Богъ знаетъ, отчего, и потомъ долго все слезы навертывались... Что̀ такое это значитъ? А между тѣмъ, мнѣ хорошо...

Бѣляевъ.

Это отъ роста. Вы растете. Это бываетъ... То-то, у васъ вчера вечеромъ глаза какъ будто распухли.

Вѣра.

А вы замѣтили?

Бѣляевъ.

Какъ же.

Вѣра.

Вы все замѣчаете.

Бѣляевъ.

Ну, нѣтъ... не все.

Вѣра *(задумчиво)*.

Алексѣй Николаичъ...

Бѣляевъ.

Что?

Вѣра *(помолчавъ).*

Что, бишь, я хотѣла спросить у васъ? Я забыла, право, что я хотѣла спросить.

Бѣляевъ.

Вы такъ разсѣяны!

Вѣра.

Нѣтъ... но... ахъ, да! Вотъ что я хотѣла спросить. Вы мнѣ, кажется, сказывали—у васъ есть сестра?

Бѣляевъ.

Есть.

Вѣра.

Скажите—похожа я на нее?

Бѣляевъ.

О, нѣтъ. Вы гораздо лучше ея.

Вѣра.

Какъ это можно! Ваша сестра... я бы желала быть на ея мѣстѣ.

Бѣляевъ.

Какъ? вы желали бы быть теперь въ нашемъ домишкѣ?

Вѣра.

Я не то хотѣла сказать... У васъ развѣ домикъ маленькій?

Бѣляевъ.

Очень маленькій... Не то, что здѣсь.

Вѣра.

Да и на что́ такъ много комнатъ?

Бѣляевъ.

Какъ, на что? вотъ, вы современемъ узнаете, на что нужны комнаты.

Вѣра.

Современемъ... Когда?

Бѣляевъ.

Когда вы сами станете хозяйкой...

Вѣра *(задумчиво).*

Вы думаете?

Бѣляевъ.

Вотъ, вы увидите. *(Помолчавъ.)* Такъ что жъ, сходить за Колей, Вѣра Александровна... а?

Вѣра.

Отчего вы меня не зовете Вѣрочкой?

Бѣляевъ.

А вы меня развѣ можете называть Алексѣемъ?..

Вѣра.

Отчего же... *(Вдругъ вздрагивая).* Ахъ!

Бѣляевъ.

Что такое?

Вѣра *(вполголоса).*

Наталья Петровна сюда идетъ.

Бѣляевъ *(тоже вполголоса).*

Гдѣ?

Вѣра *(указывая головой).*

Вонъ—по дорожкѣ, съ Михайломъ Александрычемъ.

Бѣляевъ *(вставая).*

Пойдемте къ Колѣ... Онъ, должно-быть, ужъ окончилъ свой урокъ.

Вѣра.

Пойдемте... а то, я боюсь, она меня бранить будетъ... *(Оба встаютъ и быстро уходятъ налѣво. Катя опять прячется въ малинникъ. Справа входятъ Наталья Петровна и Ракитинъ.)*

Наталья Петровна *(останавливаясь).*

Это, кажется, господинъ Бѣляевъ уходитъ съ Вѣрочкой?

Ракитинъ.

Да, это они...

Наталья Петровна.

Они, какъ будто, отъ насъ убѣгаютъ.

Ракитинъ.

Можетъ-быть.

Наталья Петровна *(помолчавъ)*

Однако, я не думаю, чтобы Вѣрочкѣ слѣдовало... этакъ, наединѣ съ молодымъ человѣкомъ, въ саду... Конечно, она дитя; но, все-таки, это неприлично... Я ей скажу.

Ракитикъ.

Сколько ей лѣтъ?

Наталья Петровна.

Семнадцать! Ей уже семнадцать лѣтъ... А сегодня жарко. Я устала. Сядемте. *(Оба садятся на скамейку, на которой сидѣли Вѣра и Бѣляевъ).* Шпигельскій уѣхалъ?

Ракитинъ.

Уѣхалъ.

Наталья Петровна.

Напрасно вы его не удержали. Я не знаю, зачѣмъ этому человѣку вздумалось сдѣлаться уѣзднымъ докторомъ... Онъ очень забавенъ. Онъ меня смѣшитъ.

Ракитинъ.

А я такъ вообразилъ, что вы сегодня не въ духѣ смѣяться.

Наталья Петровна.

Почему вы это думали?

Ракитинъ.

Такъ!

Наталья Петровна.

Потому что мнѣ сегодня все чувствительное не нравится? О, да! предупреждаю васъ, сегодня рѣшительно ничѣго не въ состояніи меня тронуть. — Но это не мѣшаетъ мнѣ смѣяться, напротивъ. Притомъ, мнѣ нужно было съ Шпигельскимъ переговорить.

Ракитинъ.

Можно узнать—о чемъ?

Наталья Петровна.

Нѣтъ, нельзя. Вы и безъ того все знаете, что̀ я думаю, что̀ я дѣлаю... Это скучно.

Ракитинъ.

Извините меня... Я не предполагалъ...

Наталья Петровна.

Мнѣ хочется хоть что-нибудь скрыть отъ васъ.

Ракитинъ.

Помилуйте! изъ вашихъ словъ можно заключить, что *мнѣ все* извѣстно...

Наталья Петровна *(перебивая его)*.

А будто нѣтъ?

Ракитинъ.

Вамъ угодно смѣяться надо мной.

Наталья Петровна.

Такъ вамъ, точно, не все извѣстно, что̀ во мнѣ происходитъ? Въ такомъ случаѣ, я васъ не поздравляю. Какъ? человѣкъ наблюдаетъ за мной съ утра до вечера...

Ракитинъ.

Что̀ это, упрекъ?

Наталья Петровна.

Упрекъ? *(Помолчавъ)*. Нѣтъ, я теперь, точно вижу: вы не проницательны.

Ракитинъ.

Можетъ-быть... но такъ какъ я наблюдаю за вами съ утра до вечера, то позвольте мнѣ сообщить вамъ одно замѣчаніе...

Наталья Петровна.

На мой счетъ? Сдѣлайте одолженіе.

Ракитинъ.

Вы на меня не разсердитесь?

Наталья Петровна.

Ахъ, нѣтъ! Я бы хотѣла, да нѣтъ.

Ракитинъ.

Вы съ нѣкоторыхъ поръ, Наталья Петровна, находитесь въ какомъ-то постоянно раздраженномъ состояніи, и это раздраженіе въ васъ невольное, внутреннее: вы словно боретесь сами съ собою, словно недоумѣваете. Передъ моей поѣздкой къ Криницынымъ я этого не замѣчалъ; это въ васъ недавно. *(Наталья Петровна чертитъ зонтикомъ передъ собой)*. Вы иногда такъ глубоко вздыхаете... вотъ, какъ усталый, очень усталый человѣкъ вздыхаетъ, которому никакъ не удается отдохнуть.

Наталья Петровна.

Что жъ вы изъ этого заключаете, господинъ наблюдатель?

Ракитинъ.

Я? ничего... Но меня это безпокоитъ.

Наталья Петровна.

Покорно благодарю за участіе.

Ракитинъ.

И притомъ...

Наталья Петровна *(съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ).*

Пожалуйста, перемѣнимте разговоръ. *(Молчаніе).*

Ракитинъ.

Вы никуда не намѣрены выѣхать сегодня?

Наталья Петровна.

Нѣтъ.

Ракитинъ.

Отчего же? Погода хорошая.

Наталья Петровна.

Лѣнь. *(Молчаніе).* Скажите мнѣ... вѣдь вы знаете Большинцова?

Ракитинъ.

Нашего сосѣда, Аѳанасья Иваныча?

Наталья Петровна.

Да.

Ракитинъ.

Что за вопросъ? Не далѣе, какъ третьяго-дня, мы съ нимъ у васъ играли въ преферансъ.

Наталья Петровна.

Что онъ за человѣкъ, желаю я знать.

Ракитинъ.

Большинцовъ?

Наталья Петровна.

Да, да, Большинцовъ.

Ракитинъ.

Вотъ, ужъ этого я, признаться, никакъ не ожидалъ!

Наталья Петровна *(съ нетерпѣніемъ).*

Чего вы не ожидали?

Ракитинъ.

Чтобы вы когда-нибудь стали спрашивать о Большинцовѣ! Глупый, толстый, [illegible] человѣкъ—а впрочемъ, *дурного* ничего о [illegible]

Наталья Петровна.

Онъ совсѣмъ не такъ глупъ и не такъ тяжелъ, какъ вы думаете.

Ракитинъ.

Можетъ-быть. Я, признаюсь, не слишкомъ внимательно изучалъ этого господина.

Наталья Петровна *(иронически)*.

Вы за нимъ не наблюдали?

Ракитинъ *(принужденно улыбается)*.

И съ чего вамъ вздумалось...

Наталья Петровна.

Такъ! *(Опять молчаніе)*.

Ракитинъ.

Посмотрите, Наталья Петровна, какъ хорошъ этотъ темно-зеленый дубъ на темно-синемъ небѣ. Онъ весь затопленъ лучами солнца, и что за могучія краски... Сколько въ немъ несокрушимой жизни и силы, особенно, когда вы его сравните съ этой молоденькой березой... Она словно вся готова исчезнуть въ сіяніи; ея мелкіе листочки блестятъ какимъ-то жидкимъ блескомъ, какъ будто тàютъ, а между тѣмъ, и она хороша...

Наталья Петровна.

Знаете ли, что̀, Ракитинъ? Я уже давно это замѣтила... Вы очень тонко чувствуете такъ-называемыя красоты природы, и очень изящно, очень умно говорите объ нихъ... такъ изящно, такъ умно, что, я воображаю, природа должна быть вамъ несказанно благодарна за ваши изысканно-счастливыя выраженія; вы волочитесь за ней, какъ раздушенный маркизъ на красныхъ каблучкахъ за хорошенькой крестьянкой... Только вотъ въ чемъ бѣда: мнѣ иногда кажется, что она никакъ бы не могла понять, оцѣнить вашихъ тонкихъ замѣчаній, точно такъ же, какъ крестьянка не поняла бы придворныхъ учтивостей маркиза; природа гораздо проще, даже грубѣе, чѣмъ вы предполагаете, потому что она, слава Богу, здорова... Березы не тàютъ и не падаютъ въ обморокъ, какъ нервическія дамы.

Ракитинъ.

Quelle tirade! Природа здорова... то-есть, другими словами, я болѣзненное существо.

Наталья Петровна.

Не вы одни болѣзненное существо, оба мы съ вами не слишкомъ здоровы.

Ракитинъ.

О, мнѣ извѣстенъ также этотъ способъ говорить другому самымъ безобиднымъ образомъ самыя непріятныя вещи... Вмѣсто того, чтобы сказать ему, напримѣръ, прямо въ лицо: ты, братецъ, глупъ, стоитъ только замѣтить ему съ добродушной улыбкой: мы вѣдь, дескать, оба съ вами глупы.

Наталья Петровна.

Вы обижаетесь? Полноте, что за вздоръ! Я только хотѣла сказать, что мы оба съ вами... слово: болѣзненный— вамъ не нравится... что мы оба стары, очень стары.

Ракитинъ.

Почему же стары? Я про себя этого не думаю.

Наталья Петровна.

Ну, однако, послушайте; вотъ, мы съ вами теперь сидимъ здѣсь... можетъ-быть, на этой же самой скамейкѣ, за четверть часа до насъ, сидѣли... два точно молодыя существа.

Ракитинъ.

Бѣляевъ и Вѣрочка? Конечно, они моложе насъ... между нами нѣсколько лѣтъ разницы, вотъ и все... Но мы отъ этого еще не старики.

Наталья Петровна.

Между нами разница не въ однихъ лѣтахъ.

Ракитинъ.

А! я понимаю... Вы завидуете ихъ... naïveté, ихъ свѣжести, невинности... словомъ, ихъ глупости...

Наталья Петровна.

Вы думаете? А! вы думаете, что они глупы? у васъ, я вижу, всѣ глупы сегодня. Нѣтъ, вы меня не понимаете. Да и притомъ... глупы! Что за бѣда? Что хорошаго въ

умѣ, когда онъ не забавляетъ!.. Ничего нѣтъ утомительнѣе невеселаго ума.

Ракитинъ.

Гм... Отчего вы не хотите говорить прямо, безъ обиняковъ? я васъ не забавляю — вотъ, что вы хотите сказать... Къ чему вы умъ вообще за меня грѣшнаго заставляете страдать?

Наталья Петровна.

Это вы все не то... *(Катя выходитъ изъ малинника).* Что это, ты малины набрала, Катя?

Катя.

Точно такъ-съ.

Наталья Петровна.

Покажи-ка... *(Катя подходитъ къ ней).* Славная малина! Какая алая... а твои щеки еще алѣй. *(Катя улыбается и потупляетъ глаза).* Ну, ступай. *(Катя уходитъ).*

Ракитинъ.

Вотъ еще молодое существо въ вашемъ вкусѣ.

Наталья Петровна.

Конечно. *(Встаетъ).*

Ракитинъ.

Куда вы?

Наталья Петровна.

Во-первыхъ, я хочу посмотрѣть, что дѣлаетъ Вѣрочка... Пора ей домой... а во-вторыхъ, признаюсь, нашъ разговоръ что-то мнѣ не нравится. Лучше на нѣкоторое время прекратить наши разсужденія о природѣ и молодости.

Ракитинъ.

Вамъ, можетъ-быть, угодно гулять одной?

Наталья Петровна.

По правдѣ сказать, да. Мы увидимся скоро... Впрочемъ, мы разстаемся друзьями? *(Протягиваетъ ему руку).*

Ракитинъ *(вставая).*

Еще бы! *(Жметъ ей руку).*

Наталья Петровна.

До свиданья. *(Она раскрываетъ зонтикъ и уходитъ налѣво).*

Ракитинъ *(ходитъ нѣкоторое время взадъ и впередъ).* Что съ ней? *(Помолчавъ).* Такъ! капризъ. Капризъ? Прежде я этого въ ней не замѣчалъ. Напротивъ, я не знаю женщины, болѣе ровной въ обхожденіи. Какая причина?.. *(Ходитъ опять и вдругъ останавливается).* Ахъ, какъ смѣшны люди, у которыхъ одна мысль въ головѣ, одна цѣль, одно занятіе въ жизни... Вотъ, какъ я, напримѣръ. Она правду сказала: съ утра до вечера наблюдаешь мелочи, и самъ становишься мелкимъ... Все такъ; но безъ нея я жить не могу, въ ея присутствіи я болѣе чѣмъ счастливъ; этого чувства нельзя назвать счастьемъ, я весь принадлежу ей, разстаться съ нею мнѣ было бы, безъ всякаго преувеличенія, точно то же, что разстаться съ жизнію. Что съ ней? Что значитъ эта внутренняя тревога, эта невольная ѣдкость рѣчи? Не начинаю ли я надоѣдать ей? Г-мъ. *(Садится).* Я никогда себя не обманывалъ; я очень хорошо знаю, какъ она меня любитъ; но я надѣялся, что это спокойное чувство современемъ... Я надѣялся! Развѣ я въ правѣ, развѣ я смѣю надѣяться? Признаюсь, мое положеніе довольно смѣшно... почти презрительно. *(Помолчавъ).* Ну, къ чему такія слова? Она честная женщина, а я не ловеласъ. *(Съ горькой усмѣшкой).* Къ сожалѣнію. *(Быстро поднимаясь).* Ну, полно! Вонъ весь этотъ вздоръ изъ головы! *(Прохаживаясь).* Какой сегодня прекрасный день! *(Помолчавъ).* Какъ она ловко уязвила меня... Мои „изысканно-счастливыя“ выраженія... Она очень умна, особенно когда не въ духѣ. И что за внезапное поклоненіе простотѣ и невинности?.. Этотъ русскій учитель... Она мнѣ часто говоритъ о немъ. Признаюсь, я въ немъ ничего особеннаго не вижу. Просто, студентъ, какъ всѣ студенты. Неужели она... Быть не можетъ! Она не въ духѣ... сама не знаетъ, чего ей хочется, и вотъ, царапаетъ меня. Бьютъ же дѣти свою няню... Какое лестное сравненіе! Но не надобно мѣшать ей. Когда этотъ припадокъ тоскливаго безпокойства пройдетъ, она сама первая будетъ смѣяться надъ этимъ долговязымъ птенцомъ, надъ этимъ свѣжимъ юношей... Объясненіе *ваше* не дурно, Михайло Александрычъ, другъ мой, да

вѣрно ли оно? А Господь вѣдаетъ! Вотъ, увидимъ. Ужъ не разъ случалось вамъ, мой любезнѣйшій, послѣ долгой возни съ самимъ собою, отказаться вдругъ отъ всѣхъ предположеній и соображеній, сложить спокойно ручки и смиренно ждать, что-то будетъ. А пока, сознайтесь, вамъ самимъ порядочно неловко и горько... Таково уже ваше ремесло... *(Оглядывается).* А! да вотъ и онъ самъ, нашъ непосредственный юноша... Кстати пожаловалъ... Я съ нимъ еще ни разу не поговорилъ, какъ слѣдуетъ. Посмотримъ, что за человѣкъ. *(Сльва входитъ Бѣляевъ).* А, Алексѣй Николаичъ! И вы вышли погулять на свѣжій воздухъ?

Бѣляевъ.

Да-съ.

Ракитинъ.

То-есть, признаться, воздухъ сегодня не совсѣмъ свѣжъ: жара страшная, но здѣсь, подъ этими липами, въ тѣни, довольно сносно. *(Помолчавъ).* Видѣли вы Наталью Петровну?

Бѣляевъ.

Я сейчасъ ихъ встрѣтилъ... Онѣ съ Вѣрой Александровной въ домъ пошли.

Ракитинъ.

Да ужъ это не васъ ли я съ Вѣрой Александровной здѣсь видѣлъ, съ полчаса тому назадъ?

Бѣляевъ.

Да-съ... Я съ ней гулялъ.

Ракитинъ.

А! *(Беретъ его подъ руку).* Ну, какъ вамъ нравится жизнь въ деревнѣ?

Бѣляевъ.

Я люблю деревню. Одна бѣда: здѣсь охота плохая.

Ракитинъ.

А вы охотникъ?

Бѣляевъ.

Да-съ... А вы?

Ракитинъ.

Я? нѣтъ; я, признаться, плохой стрѣлокъ. Я слишкомъ лѣнивъ.

Бѣляевъ.

Да и я лѣнивъ... только не ходить.

Ракитинъ.

А! Что жъ вы—читать лѣнивы?

Бѣляевъ.

Нѣтъ, я люблю читать. Мнѣ лѣнь долго работать; особенно однимъ и тѣмъ же предметомъ заниматься мнѣ лѣнь.

Ракитинъ *(улыбаясь)*.

Ну, а напримѣръ, съ дамами разговаривать?

Бѣляевъ.

Э! да вы надо мной смѣетесь... Дамъ я больше боюсь.

Ракитинъ *(съ нѣкоторымъ смущеніемъ)*.

Съ чего вы вздумали... съ какой стати стану я надъ вами смѣяться?

Бѣляевъ.

Да такъ... что за бѣда! *(Помолчавъ)*. Скажите, гдѣ здѣсь можно достать пороху?

Ракитинъ.

Да въ городѣ, я думаю; онъ тамъ продается подъ именемъ мака. Вамъ нужно хорошаго?

Бѣляевъ.

Нѣтъ; хоть винтовочнаго. Мнѣ не стрѣлять, мнѣ фейерверки дѣлать.

Ракитинъ.

А! вы умѣете...

Бѣляевъ.

Умѣю. Я уже выбралъ мѣсто: за прудомъ. Я слышалъ, черезъ недѣлю именины Натальи Петровны; такъ вотъ бы, кстати.

Ракитинъ.

Натальѣ Петровнѣ будетъ очень пріятно такое вниманіе съ вашей стороны... Вы ей нравитесь, Алексѣй Николаичъ, скажу вамъ.

Бѣляевъ.

Мнѣ это очень лестно... Ахъ, кстати, Михайло Александрычъ, вы, кажется, получаете журналъ. Можете вы *мнѣ дать* почитать?

Ракитинъ.

Извольте, съ удовольствіемъ... Тамъ есть хорошіе стихи.

Бѣляевъ.

Я до стиховъ не охотникъ.

Ракитинъ.

Почему же?

Бѣляевъ.

Да такъ. Смѣшные стихи мнѣ кажутся натянутыми, да притомъ, ихъ немного; а чувствительные стихи... я не знаю... Не вѣрится имъ что-то.

Ракитинъ.

Вы предпочитаете повѣсти?

Бѣляевъ.

Да-съ, хорошія повѣсти я люблю... но критическія статьи—вотъ тѣ меня забираютъ.

Ракитинъ.

А что?

Бѣляевъ.

Теплый человѣкъ ихъ пишетъ...

Ракитинъ.

А сами вы—не занимаетесь литературой?

Бѣляевъ.

О, нѣтъ-съ! Что за охота писать, коли таланту Богъ не далъ? Только людей смѣшить. Да и притомъ, вотъ что удивительно, вотъ что объясните мнѣ, сдѣлайте одолженье: иной и умный, кажется, человѣкъ, а какъ возьмется за перо—хоть святыхъ вонъ неси. Нѣтъ, куда намъ писать—дай Богъ понимать написанное!

Ракитинъ.

Знаете ли что, Алексѣй Николаичъ? Не у многихъ молодыхъ людей столько здраваго смысла, сколько у васъ.

Бѣляевъ.

Покорно васъ благодарю за комплиментъ. *(Помолчавъ).* Я выбралъ мѣсто для фейерверка за прудомъ, потому что я умѣю дѣлать римскія свѣчи, которыя горятъ на водѣ...

Ракитинъ.

Это, должно-быть, очень красиво... Извините меня, Алексѣй Николаичъ, но позвольте васъ спросить... Вы знаете по-французски?

Бѣляевъ.

Нѣтъ. Я перевелъ романъ Поль-де-Кока: „Монфермельскую молочницу"—можетъ-быть, слыхали—за пятьдесятъ рублей ассигнаціями; но я ни слова не знаю по-французски. Вообразите: „катръ-венъ-дисъ" я перевелъ: четыре двадцать-десять... Нужда, знаете ли, заставила. А жаль. Я бы желалъ по-французски знать. Да лѣнь проклятая. Жоржъ-Санда я бы желалъ по-французски прочесть. Да выговоръ... какъ съ выговоромъ прикажете сладить? анъ, онъ, енъ, ёнъ... Бѣда?

Ракитинъ.

Ну, этому горю еще можно помочь...

Бѣляевъ.

Позвольте узнать, который часъ?

Ракитинъ *(смотритъ на часы).*

Половина второго.

Бѣляевъ.

Что это Лизавета Богдановна такъ долго Колю держитъ за фортепіанами... Ему, чай, смерть теперь хочется побѣгать.

Ракитинъ *(ласково).*

Да вѣдь надобно же и учиться, Алексѣй Николаичъ...

Бѣляевъ *(со вздохомъ).*

Не вамъ бы это говорить, Михайло Александрычъ—не мнѣ бы слушать... Конечно, не всѣмъ же быть такими шалопаями, какъ я.

Ракитинъ.

Ну, полноте...

Бѣляевъ.

Да ужъ про это я знаю...

Ракитинъ.

А я, такъ напротивъ, тоже знаю, и навѣрное, что именно то, что вы въ себѣ считаете недостаткомъ, эта

ваша непринужденность, ваша свобода — это именно и нравится.

Бѣляевъ.

Кому, напримѣръ?

Ракитинъ.

Да хоть бы Натальѣ Петровнѣ.

Бѣляевъ.

Натальѣ Петровнѣ? Съ ней-то я и не чувствую себя, какъ вы говорите, свободнымъ.

Ракитинъ.

А! Въ самомъ дѣлѣ?

Бѣляевъ.

Да и, наконецъ, помилуйте, Михайло Александрычъ, развѣ воспитаніе не первая вещь въ человѣкѣ? Вамъ легко говорить... Я, право, не понимаю васъ... *(Вдругъ останавливаясь).* Что это? Какъ будто коростель въ саду крикнулъ? *(Хочетъ идти).*

Ракитинъ.

Можетъ-быть... но куда же вы?

Бѣляевъ.

За ружьемъ... *(Идетъ въ кулисы налѣво; навстрѣчу ему выходитъ Наталья Петровна).*

Наталья Петровна *(увидавъ его, вдругъ улыбается).*

Куда вы, Алексѣй Николаичъ?

Бѣляевъ.

Я-съ...

Ракитинъ.

За ружьемъ... Онъ коростеля въ саду услыхалъ...

Наталья Петровна.

Нѣтъ, не стрѣляйте, пожалуйста, въ саду... Дайте этой бѣдной птицѣ пожить... Притомъ, вы бабушку испугать можете.

Бѣляевъ.

Слушаю-съ.

Наталья Петровна *(смѣясь).*

Ахъ, Алексѣй Николаичъ, какъ вамъ не стыдно? „Слушаю-съ“—что это за слово? Какъ можно... такъ говорить? Да постойте, мы вотъ съ Михайломъ Александрычемъ

займемся вашимъ воспитаньемъ... Да, да... Мы уже съ нимъ не разъ говорили о васъ... Противъ васъ заговоръ, я васъ предупреждаю. Вѣдь вы позволите мнѣ заняться вашимъ воспитаніемъ?

Бѣляевъ.

Помилуйте... Я-съ...

Наталья Петровна.

Во-первыхъ — не будьте застѣнчивы, это къ вамъ вовсе не пристало. Да, мы займемся вами. *(Указывая на Ракитина).* Вѣдь мы съ нимъ старики — а вы молодой человѣкъ... Не правда ли? Посмотрите, какъ это все хорошо пойдетъ. Вы будете заниматься Колей — а я... а мы вами.

Бѣляевъ.

Я вамъ буду очень благодаренъ.

Наталья Петровна.

То-то же. О чемъ вы тутъ разговаривали съ Михайлой Александрычемъ?

Ракитинъ *(улыбаясь).*

Онъ мнѣ разсказывалъ, какимъ образомъ онъ перевелъ французскую книгу—ни слова не знавши по-французски.

Наталья Петровна.

А! Ну, вотъ, мы васъ и по-французски выучимъ. Да кстати, что вы сдѣлали съ вашимъ змѣемъ?

Бѣляевъ.

Я его домой отнесъ. Мнѣ показалось, что вамъ... непріятно было.

Наталья Петровна *(съ нѣкоторымъ смущеніемъ).*

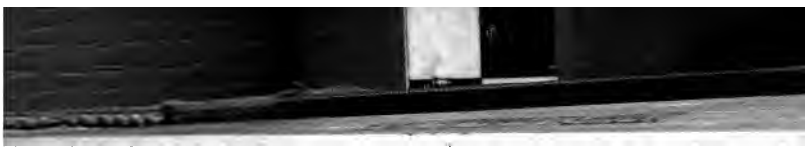
Отчего жъ вамъ это показалось? Оттого, что я Вѣрочкѣ... что я Вѣрочку домой взяла? Нѣтъ, это... Нѣтъ, вы ошиблись. *(Съ живостью).* Впрочемъ, знаете ли что? Теперь Коля, должно-быть, кончилъ свой урокъ. Пойдемте, возьмемте его, Вѣрочку, змѣя — хотите? И вмѣстѣ всѣ отправимся на лугъ. А?

Бѣляевъ.

Съ удовольствіемъ, Наталья Петровна.

Наталья Петровна.

И прекрасно. Ну, пойдемте же, пойдемте. *(Протяги-*



ваетъ ему руку). Да возьмите же мою руку, какой вы неловкій! Пойдемте... скорѣй. *(Оба быстро уходятъ налѣво)*

Ракитинъ *(глядя имъ вслѣдъ).*

Что за живость... что за веселость... Я никогда у ней на лицѣ такого выраженія не видалъ. И какая внезапная перемѣна! *(Помолчавъ).* Souvent femme varie... Но я... я, рѣшительно, ей сегодня не по нутру. Это ясно. *(Помолчавъ).* Что жъ! Увидимъ, что далѣе будетъ. *(Медленно).* Неужели же... *(Махаетъ рукой).* Быть не можетъ!.. Но эта улыбка, этотъ привѣтный, мягкій, свѣтлый взглядъ... Ахъ, не дай Богъ мнѣ узнать терзанія ревности, особенно безсмысленной ревности? *(Вдругъ оглядываясь).* Ба, ба, ба... какими судьбами? *(Слѣва входятъ Шпигельскій и Большинцовъ. Ракитинъ идетъ имъ навстрѣчу).* Здравствуйте, господа... Я, признаться, Шпигельскій, васъ сегодня не ожидалъ... *(Жметъ имъ руки).*

Шпигельскій.

Да и я самъ того-съ... Я самъ не воображалъ... Да вотъ, заѣхалъ къ нему *(указывая на Большинцова)*, а онъ ужъ въ коляскѣ сидитъ, сюда ѣдетъ. Ну, я тотчасъ оглобли назадъ, да вмѣстѣ съ нимъ и вернулся.

Ракитинъ.

Что жъ, добро пожаловать.

Большинцовъ.

Я, точно, собирался...

Шпигельскій *(заминая его рѣчь).*

Намъ люди сказали, что господа всѣ въ саду... По крайней мѣрѣ, въ гостиной никого не было...

Ракитинъ.

Да вы развѣ не встрѣтили Наталью Петровну?

Шпигельскій.

Когда?

Ракитинъ.

Да вотъ, сейчасъ.

Шпигельскій.

Нѣтъ. Мы не прямо изъ дому сюда пришли. Аѳанасію Иванычу хотѣлось посмотрѣть, есть ли въ рощицѣ грибы?

Большинцовъ *(съ недоумѣніемъ).*

Я...

Шпигельскій.

Ну, да, мы знаемъ, что вы до подберезниковъ большой охотникъ. Такъ Наталья Петровна домой пошла? Что жъ? И мы можемъ вернуться.

Большинцовъ.

Конечно.

Ракитинъ.

Да, она пошла домой для того, чтобы позвать всѣхъ гулять... Они, кажется, собираются пускать змѣя.

Шпигельскій.

А! и прекрасно. Въ такую погоду надобно гулять.

Ракитинъ.

Вы можете остаться здѣсь... Я пойду, скажу ей, что вы пріѣхали.

Шпигельскій.

Для чего же вы будете безпокоиться... Помилуйте, Михайло Александрычъ...

Ракитинъ.

Нѣтъ... мнѣ и безъ того нужно...

Шпигельскій.

А! ну, въ такомъ случаѣ, мы васъ не удерживаемъ... Безъ церемоніи, вы знаете...

Ракитинъ.

До свиданья, господа. *(Уходитъ налѣво).*

Шпигельскій.

До свиданья. *(Большинцову).* Ну-съ, Аѳанасій Иванычъ...

Большинцовъ *(перебивая его).*

Что̀ это вамъ, Игнатій Ильичъ, вздумалось насчетъ грибовъ... Я удивляюсь, какіе грибы?

Шпигельскій.

А небось, мнѣ, по-вашему, слѣдовало сказать, что дескать заробѣлъ мой Аѳанасій Иванычъ, прямо не хотѣлъ пойти, попросился сторонкой?

Большинцовъ.

Оно такъ... да все же, грибы... Я не знаю, я, можетъ-быть, ошибаюсь...

Шпигельскій.

Навѣрное ошибаетесь, другъ мой. Вы вотъ лучше о чемъ подумайте. Вотъ, мы съ вами сюда пріѣхали... сдѣлано по-вашему. Смотрите же! не ударьте лицомъ въ грязь.

Большинцовъ.

Да Игнатій Ильичъ, вѣдь вы... Вы мнѣ сказали, то-есть... Я бы желалъ положительно узнать, какой отвѣтъ...

Шпигельскій.

Почтеннѣйшій мой, Аѳанасій Иванычъ! Отъ вашей деревни досюда считается пятнадцать верстъ слишкомъ; вы на каждой верстѣ по крайней мѣрѣ три раза предлагали мнѣ тотъ же самый вопросъ... Неужели же этого вамъ мало? Ну, слушайте же: только это я васъ балую въ послѣдній разъ. Вотъ, что мнѣ сказала Наталья Петровна: „Я...“

Большинцовъ *(кивая головой)*.

Да.

Шпигельскій *(съ досадой)*.

Да... Ну, что „да“? Вѣдь я еще вамъ ничего не сказалъ... „Я, говоритъ, мало знаю г. Большинцова, но онъ мнѣ кажется хорошимъ человѣкомъ; съ другой стороны, я нисколько не намѣрена принуждать Вѣрочку; и потому пусть ѣздитъ къ намъ, и, если онъ заслужитъ...“

Большинцовъ.

Заслужитъ? Она сказала: заслужитъ?

Шпигельскій.

„Если онъ заслужитъ ея расположеніе, мы съ Анной Семеновной не будемъ препятствовать...“

Большинцовъ.

„Не будемъ препятствовать“? Такъ-таки и сказала? Не будемъ препятствовать?

Шпигельскій.

Ну да, да, да. Какой вы странный человѣкъ! „Не будемъ препятствовать ихъ счастью“.

Большинцовъ.

Г-мъ.

Шпигельскій.

„Ихъ счастью“. Да, но замѣтьте, Аѳанасій Иванычъ, въ чемъ теперь задача состоитъ... Вамъ теперь нужно убѣдить самоё Вѣру Александровну въ томъ, что для нея бракъ съ вами точно счастье; вамъ нужно заслужить ея расположеніе.

Большинцовъ *(моргая)*.

Да, да, заслужить... точно; я съ вами согласенъ.

Шпигельскій.

Вы непремѣнно хотѣли, чтобы я васъ сегодня же сюда привезъ... Ну, посмотримъ, какъ вы будете дѣйствовать.

Большинцовъ.

Дѣйствовать? да, да, нужно дѣйствовать, нужно заслужить, точно. Только вотъ что, Игнатій Ильичъ... Позвольте мнѣ признаться вамъ, какъ лучшему моему другу, въ одной моей слабости: я, вотъ, вы изволите говорить, желалъ, чтобы вы сегодня привезли меня сюда...

Шпигельскій.

Не желали, а требовали, неотступно требовали.

Большинцовъ.

Ну, да, положимъ... я съ вами согласенъ. Да вотъ, видите ли: дома... я точно... я дома на все, кажется, былъ готовъ; а теперь, вотъ, робость одолѣваетъ.

Шпигельскій.

Да отчего же вы робѣете?

Большинцовъ *(взглянувъ на него исподлобья)*.

Рыскъ-съ.

Шпигельскій.

Что-ò?

Большинцовъ.

Рыскъ-съ. Большой рыскъ-съ. Я, Игнатій Ильичъ, долженъ вамъ признаться, какъ...

Шпигельскій *(прерывая)*.

„Какъ лучшему вашему другу“... знаемъ, знаемъ... Далѣе?

Большинцовъ.

Точно такъ-съ, я съ вами согласенъ. Я долженъ вамъ признаться, Игнатій Ильичъ, что я... я вообще съ дамами,

съ женскимъ поломъ вообще, мало, такъ-сказать, имѣлъ сношеній; я, Игнатій Ильичъ, признаюсь вамъ откровенно, просто не могу придумать, о чемъ можно съ особой женскаго пола поговорить—и притомъ, наединѣ... особенно съ дѣвицей.

Шпигельскій.

Вы меня удивляете. Я такъ не знаю, о чемъ нельзя съ особой женскаго пола говорить, особенно съ дѣвицей, и особенно наединѣ.

Большинцовъ.

Ну, да вы... Помилуйте, гдѣ жъ мнѣ за вами? Вотъ, по этому-то случаю я бы желалъ прибѣгнуть къ вамъ, Игнатій Ильичъ. Говорятъ, въ этихъ дѣлахъ лихà бѣда начать, такъ нельзя ли того-съ, мнѣ для вступленья въ разговоръ—словечко, что̀ ли, сообщить, какое-нибудь пріятное, въ родѣ, напримѣръ, замѣчанья — а ужъ тамъ я пойду. Ужъ тамъ я какъ-нибудь самъ.

Шпигельскій.

Словечка я вамъ никакого не сообщу, Аѳанасій Иванычъ, потому что вамъ никакое словечко ни къ чему не послужитъ... а совѣтъ я вамъ дать могу, если хотите.

Большинцовъ.

Да сдѣлайте же одолженье, батюшка... А что̀ касается до моей благодарности... Вы знаете...

Шпигельскій.

Полноте, полноте, что̀ я, развѣ торгуюсь съ вами?

Большинцовъ *(понизивъ голосъ).*

Насчетъ троечки будьте покойны.

Шпигельскій.

Да полноте же, наконецъ! Вотъ, видите ли, Аѳанасій Иванычъ... Вы, безспорно, прекрасный человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ... *(Большинцовъ слегка кланяется)* человѣкъ съ отличными качествами...

Большинцовъ.

О, помилуйте!

Шпигельскій.

Притомъ, у васъ, кажется, триста душъ?

Большинцовъ.

Триста двадцать-съ.

Шпигельскій.

Не заложенныхъ?

Большинцовъ.

За мной копейки долгу не водится.

Шпигельскій.

Ну, вотъ, видите. Я вамъ сказывалъ, что вы отличнѣйшій человѣкъ и женихъ хоть куда. Но, вотъ, вы сами говорите, что вы съ дамами мало имѣли сношеній...

Большинцовъ *(со вздохомъ).*

Точно такъ-съ. Я, можно сказать, Игнатій Ильичъ, сызмала чуждался женскаго пола.

Шпигельскій *(со вздохомъ).*

Ну, вотъ, видите. Это въ мужѣ не порокъ; напротивъ; но все-таки въ иныхъ случаяхъ, напримѣръ, при первомъ объясненіи въ любви, необходимо хоть что-нибудь умѣть сказать... Не правда ли?

Большинцовъ.

Я совершенно съ вами согласенъ.

Шпигельскій.

А то вѣдь, пожалуй, Вѣра Александровна можетъ подумать, что вы чувствуете себя нездоровыми — и больше ничего. Притомъ, фигура ваша, хотя тоже во всѣхъ отношеніяхъ благовидная, не представляетъ ничего такого, что этакъ въ глаза, знаете ли, бросается въ глаза, а нынче это требуется.

Большинцовъ *(со вздохомъ).*

Нынче это требуется.

Шпигельскій.

Дѣвицамъ, по крайней мѣрѣ, это нравится. Ну, да и лѣта ваши, наконецъ... словомъ, намъ съ вами любезностью брать не приходится. Стало-быть, вамъ нечего думать о пріятныхъ словечкахъ. Это опора плохая. Но у васъ есть другая опора, гораздо болѣе твердая и надежная, а именно ваши качества, почтеннѣйшій Аѳанасій Иванычъ, и ваши триста-двадцать душъ. Я на вашемъ *мѣстѣ* просто сказалъ бы Вѣрѣ Александровнѣ...

Большинцовъ.

Наединѣ?

Шпигельскій.

О, непремѣнно наединѣ! „Вѣра Александровна!“ *(По движеніямъ губъ Большинцова замѣтно, что онъ шопотомъ повторяетъ каждое слово за Шпигельскимъ).* „Я васъ люблю и прошу вашей руки. Я человѣкъ добрый, простой, смирный и не бѣдный: вы будете со мною совершенно свободны; я буду стараться всячески вамъ угождать. А вы извольте справиться обо мнѣ, извольте обратить на меня немножко побольше вниманія, чѣмъ до сихъ поръ—и дайте мнѣ отвѣтъ, какой угодно и когда угодно. Я готовъ ждать, и даже за удовольствіе почту“.

Большинцовъ *(громко произнося послѣднее слово).*

Почту! Такъ, такъ, такъ... я съ вами согласенъ. Только вотъ что, Игнатій Ильичъ: вы, кажется, изволили употребить слово: смирный... дескать, смирный я человѣкъ...

Шпигельскій.

А что жъ, развѣ вы не смирный человѣкъ?

Большинцовъ.

Та-акъ-съ... но, все-таки, мнѣ кажется... Будетъ ли оно прилично, Игнатій Ильичъ? Не лучше ли сказать, напримѣръ...

Шпигельскій.

Напримѣръ?

Большинцовъ.

Напримѣръ... напримѣръ... *(Помолчавъ).* Впрочемъ, можно, пожалуй, сказать и смирный.

Шпигельскій.

Эхъ, Аѳанасій Иванычъ, послушайтесь вы меня: чѣмъ проще вы будете выражаться, чѣмъ меньше украшеній вы подпустите въ вашу рѣчь, тѣмъ лучше дѣло пойдетъ, повѣрьте мнѣ. А главное, не настаивайте, не настаивайте, Аѳанасій Иванычъ. Вѣра Александровна еще очень молода; вы ее запугать можете... Дайте ей время хорошо обдумать ваше предложеніе. Да, еще одно... чуть-было не забылъ; вы вѣдь мнѣ позволили вамъ совѣты давать... Вамъ иногда случается, любезный мой Аѳанасій Ива-

нычъ, говорить: „крухтъ“ и „фостъ“... Оно, пожалуй, отчего же... можно... но, знаете ли: слова—фруктъ и хвостъ какъ-то употребительнѣе; болѣе, такъ-сказать, въ употребленіе вошли. А то еще, помнится, вы однажды при мнѣ одного хлѣбосольнаго помѣщика назвали „бонжибаномъ“; дескать, „какой онъ бонжибанъ!“ Слово тоже, конечно, хорошее, но, къ сожалѣнію, оно ничего не значитъ. Вы знаете, я самъ не слишкомъ горазъ на счетъ французскаго діалекта, а настолько смыслю. Избѣгайте краснорѣчья, и я вамъ ручаюсь за успѣхъ. *(Оглядываясь).* Да вотъ они, кстати, всѣ идутъ сюда. *(Большинцовъ хочетъ удалиться).* Куда же вы? опять за грибами? *(Большинцовъ улыбается, краснѣетъ и остается).* Главное дѣло — не робѣть!

Большинцовъ *(торопливо).*

А вѣдь Вѣрѣ Александровнѣ еще ничего неизвѣстно?

Шпигельскій.

Еще бы!

Большинцовъ.

Впрочемъ, я на васъ надѣюсь... *(Сморкается. Слѣва входятъ: Наталья Петровна, Вѣра, Бѣляевъ со змѣемъ, Коля, за ними Ракитинъ и Лизавета Богдановна. Наталья Петровна очень въ духѣ).*

Наталья Петровна *(Большинцову и Шпигельскому).*

А, здравствуйте, господа; здравствуйте, Шпигельскій; я васъ не ожидала сегодня, но я всегда вамъ рада. Здравствуйте, Аѳанасій Иванычъ. *(Большинцовъ кланяется съ нѣкоторымъ замѣшательствомъ).*

Шпигельскій *(Натальѣ Петровнѣ, указывая на Большинцова).*

Вотъ, этотъ баринъ непремѣнно желалъ привести меня сюда...

Наталья Петровна *(смѣясь).*

Я ему очень обязана... Но развѣ васъ нужно заставлять къ намъ ѣздить?

Шпигельскій.

Помилуйте! но... Я только сегодня поутру... отсюда... Помилуйте...

Наталья Петровна.

А! запутался, запутался, господинъ дипломатъ!

Шпигельскій.

Мнѣ, Наталья Петровна, очень пріятно видѣть васъ въ такомъ, сколько я могу замѣтить, веселомъ расположеніи духа.

Наталья Петровна.

А вы считаете нужнымъ это замѣтить... Да развѣ со мною это такъ рѣдко случается?

Шпигельскій.

О, помилуйте, нѣтъ... но...

Наталья Петровна.

M-r le diplomate, вы болѣе и болѣе путаетесь.

Коля *(который все время нетерпѣливо вертѣлся около Бѣляева и Вѣры).*

Да что жъ, maman, когда же мы будемъ змѣя пускать?

Наталья Петровна.

Когда хочешь... Алексѣй Николаичъ, и ты, Вѣрочка, пойдемте на лугъ... *(Обращаясь къ остальнымъ).* Васъ, господа, я думаю, это не можетъ слишкомъ занять. Лизавета Богдановна, и вы, Ракитинъ, поручаю вамъ добраго нашего Аѳанасія Иваныча.

Ракитинъ.

Да отчего, Наталья Петровна, вы думаете, что это насъ не займетъ?

Наталья Петровна.

Вы люди умные... Вамъ это должно казаться шалостью... Впрочемъ, какъ хотите. Мы не мѣшаемъ вамъ идти за нами... *(Къ Бѣляеву и Вѣрочкѣ.)* Пойдемте. *(Наталья Петровна, Вѣра, Бѣлясвъ и Коля уходятъ направо.)*

Шпигельскій *(посмотрѣвъ съ нѣкоторымъ удивленіемъ на Ракитина,—Большинцову).*

Добрый нашъ Аѳанасій Иванычъ, дайте же руку Лизаветѣ Богдановнѣ.

Большинцовъ *(торопливо).*

Я съ большимъ удовольствіемъ... *(Беретъ Лизавету Богдановну подъ руку.)*

Шпигельскій *(Ракитину).*

А мы пойдемъ съ вами, если позволите, Михайло Александрычъ. *(Беретъ его подъ руку.)* Вишь, какъ они бѣгутъ по аллеѣ. Пойдемте, посмотримте, какъ они будутъ змѣй пускать, хотя мы и умные люди... Аѳанасій Иванычъ, не угодно ли впередъ идти?

Большинцовъ *(на ходу Лизаветѣ Богдановнѣ).*

Сегодня, погода, очень, можно сказать, пріятная-съ.

Лизавета Богдановна *(жеманясь).*

Ахъ, очень!

Шпигельскій *(Ракитину).*

А мнѣ съ вами, Михайло Александрычъ, нужно переговорить... *(Ракитинъ вдругъ смѣется.)* О чемъ вы?

Ракитинъ.

Такъ... ничего... Мнѣ смѣшно, что мы въ арьергардъ попали.

Шпигельскій.

Авангарду, вы знаете, очень легко сдѣлаться арьергардомъ... Все дѣло въ перемѣнѣ дирекціи. *(Всѣ уходятъ направо.)*

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Та же декорація, какъ въ первомъ дѣйствіи. Изъ дверей въ залу входятъ **Ракитинъ** и **Шпигельскій.**

Шпигельскій.

Такъ какъ же, Михайло Александрычъ, помогите мнѣ, сдѣлайте одолженіе.

Ракитинъ.

Да чѣмъ могу я вамъ помочь, Игнатій Ильичъ?

Шпигельскій.

Какъ чѣмъ? помилуйте. Вы, Михайло Александрычъ, войдите въ мое положеніе. Собственно я въ этомъ дѣлѣ сторона, конечно; я, можно сказать, дѣйствовалъ больше изъ желанія угодить... Ужъ погубитъ меня мое доброе сердце!

Ракитинъ *(смѣясь).*

Ну, до погибели вамъ еще далеко.

Шпигельскій (*тоже смѣясь*).

Это еще неизвѣстно, а только мое положеніе дѣйствительно неловко. Я Большинцова по желанью Натальи Петровны сюда привезъ, и отвѣтъ ему сообщилъ съ ея же позволенья, а теперь съ одной стороны на меня дуются, словно я глупость сдѣлалъ, а съ другой, Большинцовъ не даетъ мнѣ покоя. Его избѣгаютъ, со мной не говорятъ...

Ракитинъ.

И охота же вамъ была, Игнатій Ильичъ, взяться за это дѣло. Вѣдь Большинцовъ, между нами, вѣдь онъ просто глупъ.

Шпигельскій.

Вотъ тебѣ на: между нами! Экую новость вы изволили сказать! Да съ какихъ поръ одни умные люди женятся? Ужъ коли въ чемъ другомъ, въ женитьбѣ-то не слѣдуетъ дуракамъ хлѣбъ отбивать. Вы говорите, я за это дѣло взялся... Вовсе нѣтъ. Вотъ, какъ оно состоялось: пріятель проситъ меня замолвить за него слово... Что жъ? мнѣ отказать ему было, что ли? Я человѣкъ добрый: отказывать не умѣю. Я исполняю порученіе пріятеля; мнѣ отвѣчаютъ: „покорнѣйше благодаримъ; не извольте, то-есть, болѣе безпокоиться“... Я понимаю и болѣе не безпокою. Потомъ вдругъ сами мнѣ предлагаютъ и поощряютъ меня, такъ сказать... Я повинуюсь; на меня негодуютъ. Чѣмъ же я тутъ виноватъ?

Ракитинъ.

Да кто вамъ говоритъ, что вы виноваты... Я удивляюсь только одному: изъ чего вы такъ хлопочете?

Шпигельскій.

Изъ чего... изъ чего... Человѣкъ мнѣ покоя не даетъ.

Ракитинъ.

Ну, полноте...

Шпигельскій.

Притомъ же, онъ мой старинный пріятель.

Ракитинъ (*съ недовѣрчивой улыбкой*).

Да? ну, это другое дѣло.

Шпигельскій (*тоже улыбаясь*).

Впрочемъ, я съ вами хитрить не хочу... Васъ не обма-

нешь. Ну, да... онъ мнѣ обѣщалъ... у меня пристяжная на ноги сѣла, такъ вотъ, онъ мнѣ обѣщалъ...

Ракитинъ.

Другую пристяжную?

Шпигельскій.

Нѣтъ, признаться, цѣлую тройку.

Ракитинъ.

Давно бы вы сказали!

Шпигельскій *(живо).*

Но вы, пожалуйста, не подумайте... Я бы ни за что не согласился быть въ такомъ дѣлѣ посредникомъ, это совершенно противно моей натурѣ *(Ракитинъ улыбается)*, если бъ я не зналъ Большинцова за честнѣйшаго человѣка... Впрочемъ, я и теперь желаю только одного: пусть мнѣ отвѣтятъ рѣшительно—да или нѣтъ?

Ракитинъ.

Развѣ ужъ до того дѣло дошло?

Шпигельскій.

Да что вы воображаете?.. Не о женитьбѣ рѣчь идетъ, а о позволеніи ѣздить, посѣщать...

Ракитинъ.

Да кто жъ это можетъ запретить?

Шпигельскій.

Экіе вы... запретить! Конечно, для всякаго другого... но Большинцовъ человѣкъ робкій, невинная душа, прямо изъ златого вѣка Астреи, только-что тряпки не сосетъ... Онъ на себя мало надѣется, его нужно нѣсколько поощрить. Притомъ, его намѣренья—самыя благородныя.

Ракитинъ.

Да и лошади хороши.

Шпигельскій.

И лошади хороши. (*Нюхаетъ табакъ и предлагаетъ Ракитину табакерку.*) Вамъ не угодно?

Ракитинъ.

Нѣтъ, благодарствуйте.

Шпигельскій.

Такъ такъ-то, Михайло Александрычъ. Я васъ, вы видите, не хочу обманывать. Да и къ чему? Дѣло ясное,

какъ на ладони. Человѣкъ честныхъ правилъ, съ состояніемъ, смирный... Годится—хорошо. Не годится—ну, такъ и сказать.

Ракитинъ.

Все это прекрасно, положимъ; да я-то тутъ что? Я, право, не вижу, въ чемъ я могу.

Шпигельскій.

Эхъ, Михайло Александрычъ! Развѣ мы не знаемъ, что Наталья Петровна васъ очень уважаетъ и даже иногда слушается васъ... Право, Михайло Александрычъ, (*сбожу обнимая его*) будьте другъ, замолвите словечко...

Ракитинъ.

И вы думаете, что хорошій это мужъ для Вѣрочки?

Шпигельскій (*принимая серьезный видъ*).

Я убѣжденъ въ этомъ. Вы не вѣрите... Вотъ, вы увидите. Вѣдь въ супружествѣ, вы сами знаете, главная вещь—солидный характеръ. А ужъ Большинцовъ на что солиднѣе! (*Оглядывается.*) А вотъ, кажется, и сама Наталья Петровна сюда идетъ... Батюшка, отецъ, благодѣтель! Двѣ рыжихъ на пристяжкѣ, гнѣдая въ корню! Похлопочете?

Ракитинъ (*улыбаясь*).

Ну, хорошо, хорошо...

Шпигельскій.

Смотрите же, я полагаюсь на васъ... (*Спасается въ залу.*)

Ракитинъ (*глядя ему вслѣдъ*).

Экой проныра этотъ докторъ! Вѣрочка... и Большинцовъ! А, впрочемъ, что же? Бываютъ свадьбы и хуже. Исполню его комиссію, а тамъ — не мое дѣло! (*Оборачивается; изъ кабинета выходитъ Наталья Петровна и, увидя его, останавливается.*)

Наталья Петровна (*нерѣшительно*).

Это... вы... я думала, что вы въ саду...

Ракитинъ.

Вамъ какъ будто непріятно...

Наталья Петровна (*прерывая его*).

О, полноте! (*Идетъ на авансцену.*) Вы здѣсь одни?

Ракитинъ.

Шпигельскій сейчасъ ушелъ отсюда.

Наталья Петровна (*слегка наморщивъ брови*).

А! этотъ уѣздный Талейранъ... Что онъ вамъ такое говорилъ? Онъ все еще тутъ вертится?

Ракитинъ.

Этотъ уѣздный Талейранъ, какъ вы его называете, сегодня у васъ, видно, не въ милости... а, кажется, вчера...

Наталья Петровна.

Онъ смѣшонъ; онъ забавенъ, точно; но... онъ не въ свои дѣла мѣшается... Это непріятно... Притомъ, онъ, при всемъ своемъ низкопоклонствѣ, очень дерзокъ и навязчивъ... Онъ большой циникъ.

Ракитинъ (*подходя къ ней*).

Вы вчера не такъ о немъ отзывались...

Наталья Петровна.

Можетъ-быть. (*Живо*). Такъ что жъ онъ вамъ такое говорилъ?

Ракитинъ.

Онъ мнѣ говорилъ... о Большинцовѣ.

Наталья Петровна.

А? объ этомъ глупомъ человѣкѣ?

Ракитинъ.

И о немъ вы вчера иначе отзывались.

Наталья Петровна (*принужденно улыбаясь*).

Вчера—не сегодня.

Ракитинъ.

Для всѣхъ... но, видно, не для меня.

Наталья Петровна (*опустивъ глаза*).

Какъ такъ?

Ракитинъ.

Для меня сегодня то же, что вчера.

Наталья Петровна (*протянувъ ему руку*).

Я понимаю вашъ упрекъ, но вы ошибаетесь. Вчера я бы не созналась въ томъ, что я виновата передъ вами... (*Ракитинъ хочетъ остановить ее*). Не возражайте мнѣ... Я знаю, и вы знаете, что́ я хочу сказать... а сегодня я сознаюсь въ этомъ. Я сегодня многое обдумала... Повѣрьте,

Мишель, какія бы глупыя мысли ни занимали меня, что́ бы я ни говорила, что́ бы я ни дѣлала, я ни на кого такъ не полагаюсь, какъ на васъ. *(Понизивъ голосъ).* Я никого... такъ не люблю, какъ я васъ люблю... *(Небольшое молчаніе).* Вы мнѣ не вѣрите?

Ракитинъ.

Я вѣрю вамъ... но вы сегодня какъ будто печальны... что́ съ вами?

Наталья Петровна *(не слушаетъ его и продолжаетъ).*

Только я убѣдилась въ одномъ, Ракитинъ: ни въ какомъ случаѣ нельзя за себя отвѣчать, и ни за что нельзя ручаться. Мы часто своего прошедшаго не понимаемъ... гдѣ же намъ отвѣчать за будущее! На будущее цѣпей не наложишь.

Ракитинъ.

Это правда.

Наталья Петровна *(послѣ долгаго молчанія).*

Послушайте, я хочу быть съ вами откровенной, можетъ-быть, я немножко огорчу васъ... но я знаю: васъ бы еще болѣе огорчила моя скрытность. Признаюсь вамъ, Мишель, этотъ молодой студентъ... этотъ Бѣляевъ произвелъ на меня довольно сильное впечатлѣніе...

Ракитинъ *(вполголоса).*

Я это зналъ.

Наталья Петровна.

А! вы это замѣтили? Давно ли?

Ракитинъ.

Со вчерашняго дня.

Наталья Петровна.

А!

Ракитинъ.

Уже третьяго дня, помните, я говорилъ вамъ о перемѣнѣ, происшедшей въ васъ... Я тогда еще не зналъ, чему приписать ее. Но вчера, послѣ нашего разговора... и на этомъ лугу... если бъ вы могли себя видѣть! Я не узнавалъ васъ; вы словно другою стали. Вы смѣялись; вы прыгали, вы рѣзвились, какъ дѣвочка; ваши глаза блестѣли, ваши щеки разгорѣлись, и съ какимъ довѣрчивымъ любо-

пытствомъ, съ какимъ радостнымъ вниманіемъ вы глядѣли на него, какъ вы улыбались... *(Взглянувъ на нее).* Вотъ, даже теперь ваше лицо оживляется отъ одного воспоминанія... *(Отворачивается).*

Наталья Петровна.

Нѣтъ, Ракитинъ, ради Бога, не отворачивайтесь отъ меня... Послушайте: къ чему преувеличивать? Этотъ человѣкъ меня заразилъ своею молодостью—и только. Я сама никогда не была молода, Мишель, съ самаго моего дѣтства и до сихъ поръ... Вы вѣдь знаете всю мою жизнь... Съ непривычки мнѣ все это въ голову бросилось, какъ вино, но, я знаю, это такъ же скоро пройдетъ, какъ оно пришло скоро... Объ этомъ даже говорить не стоитъ. *(Помолчавъ).* Только вы не отворачивайтесь отъ меня, не отнимайте у меня вашей руки... Помогите мнѣ...

Ракитинъ *(вполголоса).*

Помочь вамъ... жестокое слово! *(Громко).* Вы сами не знаете, Наталья Петровна, что съ вами происходитъ. Вы увѣрены, что объ этомъ говорить не стоитъ, и просите помощи... Видно, вы чувствуете, что она вамъ нужна!

Наталья Петровна.

То-есть... да... Я обращаюсь къ вамъ, какъ къ другу.

Ракитинъ *(горько).*

Да-съ... Я, Наталья Петровна, готовъ оправдать вашу довѣренность... но позвольте мнѣ немного собраться съ духомъ...

Наталья Петровна.

Собраться съ духомъ? Да развѣ вамъ грозитъ какая-нибудь... непріятность? Развѣ что измѣнилось?

Ракитинъ *(горько).*

О, нѣтъ! все попрежнему.

Наталья Петровна.

Да что вы думаете, Мишель? Неужели вы можете предполагать...

Ракитинъ.

Я ничего не предполагаю.

Наталья Петровна.

Неужели жъ вы до того меня презираете...

Ракитинъ.

Перестаньте, ради Бога. Поговоримте лучше о Большинцовѣ. Докторъ ожидаетъ отвѣта насчетъ Вѣрочки, вы знаете.

Наталья Петровна *(печально).*

Вы на меня сердитесь?

Ракитинъ.

Я? О, нѣтъ. Но мнѣ жаль васъ.

Наталья Петровна.

Право, это даже досадно. Мишель, какъ вамъ не стыдно... *(Ракитинъ молчитъ. Она пожимаетъ плечами и продолжаетъ съ досадой).* Вы говорите, докторъ ждетъ отвѣта? Да кто его просилъ вмѣшиваться...

Ракитинъ.

Онъ увѣрялъ меня, что вы сами...

Наталья Петровна *(перебивая его).*

Можетъ-быть, можетъ-быть... Хотя я, кажется, ничего ему не сказала положительнаго... Притомъ, я могу перемѣнить свои намѣренія. Да и, наконецъ, Боже мой, что за бѣда! Шпигельскій занимается дѣлами всякаго рода, въ его ремеслѣ не все же ему должно удаваться.

Ракитинъ.

Онъ только желаетъ знать, какой отвѣтъ...

Наталья Петровна.

Какой отвѣтъ... *(Помолчавъ).* Мишель, полноте, дайте мнѣ руку... къ чему этотъ равнодушный взглядъ, эта холодная вѣжливость?.. Чѣмъ я виновата? Подумайте, развѣ это моя вина? Я пришла къ вамъ въ надеждѣ услышать добрый совѣтъ, я ни одно мгновенье не колебалась, я не думала отъ васъ скрываться, а вы... Я вижу, напрасно я была откровенна съ вами... Вамъ бы и въ голову не пришло... Вы ничего не подозрѣвали, вы меня обманули. А теперь вы, Богъ знаетъ, что́ думаете.

Ракитинъ.

Я? помилуйте!

Наталья Петровна.

Дайте же мнѣ руку... *(Онъ не шевелится; она продолжаетъ, нѣсколько обиженная).* Вы рѣшительно отворачиваетесь отъ меня? Смотрите же, тѣмъ хуже для васъ. Впрочемъ, я не пеняю на васъ... *(Горько).* Вы ревнуете!

Ракитинъ.

Я не въ правѣ ревновать, Наталья Петровна... Помилуйте, что вы?

Наталья Петровна *(помолчавъ).*

Какъ хотите. А что касается до Большинцова, я еще не поговорила съ Вѣрочкой.

Ракитинъ.

Я могу вамъ ее сейчасъ послать.

Наталья Петровна.

Зачѣмъ же сейчасъ?... Впрочемъ, какъ хотите.

Ракитинъ *(направляясь къ двери кабинета).*

Такъ прикажете прислать ее?

Наталья Петровна.

Мишель, въ послѣдній разъ... Вы мнѣ сейчасъ говорили, что вамъ меня жаль... Такъ-то вамъ жаль меня? Неужели жъ...

Ракитинъ *(холодно).*

Прикажете?

Наталья Петровна *(съ досадой).*

Да. *(Ракитинъ идетъ въ кабинетъ. Наталья Петровна нѣкоторое время остается неподвижной, садится, беретъ со стола книгу, раскрываетъ ее и роняетъ на колѣни).* И этотъ! Да что жъ это такое? Онъ... и онъ! А я еще на него надѣялась. А Аркадій? Боже мой! Я и не вспомнила о немъ! *(Выпрямясь).* Я вижу, пора прекратить все это... *(Изъ кабинета входитъ Вѣра).* Да... пора.

Вѣра *(робко).*

Вы меня спрашивали, Наталья Петровна?

Наталья Петровна *(быстро оглядываясь).*

А! Вѣрочка! Да, я тебя спрашивала.

Вѣра *(подходя къ ней).*

Вы здоровы?

Наталья Петровна.

Я? Да. А что?

Вѣра.

Мнѣ показалось...

Наталья Петровна.

Нѣтъ, это такъ. Мнѣ немножко жарко... Вотъ и все. Сядь. *(Вѣра садится).* Послушай, Вѣра, вѣдь ты теперь ничѣмъ не занята?

Вѣра.

Нѣтъ-съ.

Наталья Петровна.

Я спрашиваю это у тебя потому, что мнѣ нужно съ тобой поговорить... серьезно поговорить. Вотъ, видишь, душа моя, ты до сихъ поръ была еще ребенкомъ; но тебѣ семнадцать лѣтъ; ты умна... Пора тебѣ подумать о своей будущности. Ты знаешь, я люблю тебя, какъ дочь; мой домъ всегда будетъ твоимъ домомъ... но, все-таки, ты въ глазахъ другихъ людей—сирота; ты не богата. Тебѣ современемъ можетъ наскучить вѣчно жить у чужихъ людей; послушай — хочешь ты быть хозяйкой, полной хозяйкой въ своемъ домѣ?

Вѣра *(медленно).*

Я васъ не понимаю, Наталья Петровна.

Наталья Петровна *(помолчавъ).*

У меня просятъ твоей руки. *(Вѣра съ изумленіемъ глядитъ на Наталью Петровну).* Ты этого не ожидала; признаюсь, мнѣ самой оно кажется нѣсколько страннымъ. Ты еще такъ молода... Мнѣ нечего тебѣ говорить, что я нисколько не намѣрена принуждать тебя... по-моему, тебѣ еще рано выходить замужъ; я только сочла долгомъ сообщить тебѣ... *(Вѣра вдругъ закрываетъ лицо руками).* Вѣра... что это? ты плачешь? *(Беретъ ее за руку).* Ты вся дрожишь?.. Неужели ты меня боишься, Вѣра?

Вѣра *(глухо).*

Я въ вашей власти, Наталья Петровна...

Наталья Петровна *(отнимая у Вѣры руки отъ лица).*

Вѣра, какъ тебѣ не стыдно плакать? Какъ не стыдно тебѣ говорить, что ты въ моей власти? За кого ты меня

почитаешь? Я говорю съ тобой, какъ съ дочерью, а ты... *(Вѣра цѣлуетъ у ней руки).* А? вы въ моей власти? Такъ извольте же сейчасъ разсмѣяться... Я вамъ приказываю... *(Вѣра улыбается сквозь слезы).* Вотъ такъ. *(Наталья Петровна обнимаетъ ее одной рукой и притягиваетъ къ себѣ).* Вѣра, дитя мое, будь со мною, какъ бы ты была съ твоей матерью, или нѣтъ, лучше вообрази, что я твоя старшая сестра, и давай, потолкуемъ вдвоемъ обо всѣхъ этихъ чудесахъ... Хочешь?

Вѣра.

Я готова-съ.

Наталья Петровна.

Ну, слушай же... Пододвинься поближе. Вотъ такъ. Во-первыхъ: такъ какъ ты моя сестра, положимъ, то мнѣ не для чего увѣрять тебя, что ты здѣсь у себя, дома: такіе глазки вездѣ дома. Стало-быть, тебѣ и въ голову не должно придти, что ты кому-нибудь на свѣтѣ въ тягость, и что отъ тебя хотятъ отдѣлаться... Слышишь? Но вотъ, въ одинъ прекрасный день твоя сестра приходитъ къ тебѣ и говоритъ: вообрази себѣ, Вѣра, за тебя сватаются... А? что ты ей на это отвѣтишь? Что ты еще очень молода, что ты и не думаешь о свадьбѣ?

Вѣра.

Да-съ.

Наталья Петровна.

Да не говори мнѣ: да-съ. Развѣ сестрамъ говорятъ: да-съ.

Вѣра *(улыбаясь).*

Ну... да.

Наталья Петровна.

Твоя сестра съ тобой согласится, жениху откажутъ, и дѣлу конецъ. Но если женихъ человѣкъ хорошій, съ состояніемъ, если онъ готовъ ждать, если онъ проситъ только позволенія изрѣдка тебя видѣть, въ надеждѣ современемъ тебѣ понравиться.

Вѣра.

А кто этотъ женихъ?

Наталья Петровна.

А! ты любопытна. Ты не догадываешься?

Вѣра.

Нѣтъ.

Наталья Петровна.

Ты его сегодня видѣла... *(Вѣра вся краснѣетъ).* Онъ, правда, не очень собой хорошъ и не очень молодъ... Большинцовъ.

Вѣра.

Аѳанасій Иванычъ?

Наталья Петровна.

Да... Аѳанасій Иванычъ.

Вѣра *(глядитъ нѣкоторое время на Наталью Петровну, вдругъ начинаетъ смѣяться и останавливается).*

Вы не шутите?

Наталья Петровна *(улыбаясь).*

Нѣтъ... но, я вижу, Большинцову больше нечего здѣсь дѣлать. Если бы ты заплакала при его имени, онъ бы могъ еще надѣяться, но ты разсмѣялась. Ему остается одно: отправиться съ Богомъ во-свояси.

Вѣра.

Извините меня... но право, я никакъ не ожидала... Развѣ въ его лѣта еще женятся?

Наталья Петровна.

Да что ты думаешь? Сколько ему лѣтъ? Ему пятидесяти лѣтъ нѣту. Онъ въ самой порѣ.

Вѣра.

Можетъ-быть... но у него такое странное лицо...

Наталья Петровна.

Ну, не станемъ больше говорить о немъ. Онъ умеръ, похороненъ... Богъ съ нимъ! Впрочемъ, оно понятно: дѣвочкѣ въ твои лѣта такой человѣкъ, какъ Большинцовъ, не можетъ понравиться... Вы всѣ хотите выйти замужъ по любви, не по разсудку, неправда ли?

Вѣра.

Да, Наталья Петровна, вы... развѣ вы тоже не по любви вышли за Аркадія Сергѣича?

Наталья Петровна *(помолчавъ).*

Конечно, по любви. *(Помолчавъ опять и стиснувъ руку Вѣры).* Да, Вѣра... я тебя сейчасъ назвала дѣвочкой... но дѣвочки правы. *(Вѣра опускаетъ глаза).* И такъ, это дѣло рѣшеное. Большинцовъ въ отставкѣ. Признаться, мнѣ самой было бы несовсѣмъ пріятно видѣть его пухлое, старое лицо рядомъ съ твоимъ свѣжимъ личикомъ, хотя онъ, впрочемъ, очень хорошій человѣкъ. Вотъ, видишь ли ты теперь, какъ напрасно ты меня боялась? Какъ все скоро уладилось!.. *(Съ упрекомъ).* Право, ты обошлась со мной, какъ будто я была твоя благодѣтельница! Ты знаешь, какъ я ненавижу это слово...

Вѣра *(обнимая ее).*

Простите меня, Наталья Петровна.

Наталья Петровна.

То-то же. Точно? ты меня не боишься?

Вѣра.

Нѣтъ. Я васъ люблю; я не боюсь васъ.

Наталья Петровна.

Ну, благодарствуй. Стало-быть, мы теперь большія пріятельницы и ничего другъ отъ друга не скроемъ. Ну, а если бы я тебя спросила: Вѣрочка, скажи-ка мнѣ на ухо: ты не хочешь выйти замужъ за Большинцова только потому, что онъ гораздо старше тебя и собой не красавецъ?

Вѣра.

Да развѣ этого не довольно, Наталья Петровна?

Наталья Петровна.

Я не спорю... но другой причины нѣтъ никакой?

Вѣра.

Я его совсѣмъ не знаю...

Наталья Петровна.

Все такъ; да ты на мой вопросъ не отвѣчаешь.

Вѣра.

Другой причины нѣту.

Наталья Петровна.

Въ самомъ дѣлѣ? Въ такомъ случаѣ, я бы тебѣ совѣтовала еще подумать. Въ Большинцова, я знаю, трудно

влюбиться... но онъ, повторяю тебѣ, онъ хорошій человѣкъ. Вотъ, если бы ты кого-нибудь другого полюбила... ну, тогда другое дѣло. Но вѣдь твое сердце до сихъ поръ еще молчитъ?

Вѣра *(робко).*

Какъ-съ?

Наталья Петровна.

Ты никого еще не любишь?

Вѣра.

Я васъ люблю... Колю; я Анну Семеновну тоже люблю.

Наталья Петровна.

Нѣтъ, я не объ этой любви говорю, ты меня не понимаешь... Напримѣръ — изъ числа молодыхъ людей, которыхъ ты могла видѣть здѣсь, или въ гостяхъ, неужели жъ ни одинъ тебѣ не нравится?

Вѣра.

Нѣтъ-съ... иные мнѣ нравятся, но...

Наталья Петровна.

Напримѣръ, я замѣтила, ты на вечерѣ у Криницыныхъ три раза танцовала съ этимъ высокимъ офицеромъ... какъ бишь его?

Вѣра.

Съ офицеромъ?

Наталья Петровна.

Да, у него еще такіе большіе усы.

Вѣра.

Ахъ, этотъ!.. Нѣтъ, онъ мнѣ не нравится.

Наталья Петровна.

Ну, а Шаланскій?

Вѣра.

Шаланскій хорошій человѣкъ; но онъ... Я думаю, ему не до меня.

Наталья Петровна.

А что?

Вѣра.

Онъ... онъ, кажется, больше думаетъ о Лизѣ Вельской.

Наталья Петровна *(взглянувъ на нее).*

А!.. ты это замѣтила?.. *(Молчаніе).* Ну, а Ракитинъ?

Вѣра.

Я Михаила Александровича очень люблю...

Наталья Петровна.

Да, какъ брата. А, кстати, Бѣляевъ?

Вѣра *(покраснѣвъ).*

Алексѣй Николаичъ? Алексѣй Николаичъ мнѣ нравится.

Наталья Петровна *(наблюдая за Вѣрой).*

Да, онъ хорошій человѣкъ. Только онъ такъ со всѣми дичится...

Вѣра *(невинно).*

Нѣтъ-съ... Онъ со мной не дичится.

Наталья Петровна.

А!

Вѣра.

Онъ со мной разговариваетъ-съ. Вамъ, можетъ-быть, оттого это кажется, что онъ... Онъ васъ боится. Онъ еще не успѣлъ васъ узнать.

Наталья Петровна.

А ты почему знаешь, что онъ меня боится?

Вѣра.

Онъ мнѣ сказывалъ.

Наталья Петровна.

А! онъ тебѣ сказывалъ... Онъ, стало-быть, откровеннѣе съ тобой, чѣмъ съ другими?

Вѣра.

Я не знаю, какъ онъ съ другими, но со мной... можетъ-быть, оттого, что мы оба сироты. Притомъ... я въ его глазахъ... ребенокъ.

Наталья Петровна.

Ты думаешь? Впрочемъ, онъ мнѣ тоже очень нравится. У него, должно-быть, очень доброе сердце.

Вѣра.

Ахъ, предоброе-съ! Если бъ вы знали... всѣ въ домѣ его любятъ. Онъ такой ласковый. Со всѣми говоритъ, всѣмъ помочь готовъ. Онъ третьяго дня нищую старуху съ большой дороги на рукахъ до больницы донесъ... Онъ мнѣ цвѣтокъ однажды съ такого обрыва сорвалъ, что я отъ страху даже глаза закрыла; я такъ и думала, что онъ

упадетъ и расшибется... но онъ такъ ловокъ! Вы сами вчера, на лугу, могли видѣть, какъ онъ ловокъ.

Наталья Петровна.

Да, это правда.

Вѣра.

Помните, когда онъ бѣжалъ за змѣемъ, черезъ какой онъ ровъ перескочилъ? Да ему это все ни почемъ.

Наталья Петровна.

И въ самомъ дѣлѣ, онъ для тебя сорвалъ цвѣтокъ съ опаснаго мѣста?—Онъ, видно, тебя любитъ.

Вѣра *(помолчавъ).*

И всегда онъ веселъ... всегда въ духѣ...

Наталья Петровна.

Это, однакоже, странно. Отчего жъ онъ при мнѣ...

Вѣра *(перебивая ее).*

Да я жъ вамъ говорю, что онъ васъ не знаетъ. Но постойте, я ему скажу... Я ему скажу, что васъ нечего бояться—не правда ли?—что вы такъ добры...

Наталья Петровна *(принужденно смѣясь).*

Спасибо.

Вѣра.

Вотъ, вы увидите... А онъ меня слушается, даромъ что я моложе его.

Наталья Петровна.

Я не знала, что ты съ нимъ въ такой дружбѣ... Смотри, однако, Вѣра, будь осторожна. Онъ, конечно, прекрасный молодой человѣкъ... но ты знаешь, въ твои лѣта... Оно не годится. Могутъ подумать... Я уже вчера тебѣ это замѣтила — помнишь? — въ саду. *(Вѣра опускаетъ глаза).* Съ другой стороны, я не хочу тоже препятствовать твоимъ наклонностямъ, я слишкомъ увѣрена въ тебѣ и въ немъ... но все-таки... Ты не сердись на меня, душа моя, за мой педантизмъ... это наше, стариковское дѣло, надоѣдать молодежи наставленіями. Впрочемъ, я все это напрасно говорю; вѣдь, не правда ли, онъ тебѣ нравится— и больше ничего?

Вѣра *(робко поднимаетъ глаза).*

Онъ...

Наталья Петровна.

Вотъ, ты опять на меня попрежнему смотришь? Развѣ такъ смотрятъ на сестру? Вѣра, послушай, нагнись ко мнѣ... *(Лаская ее).* Что̀, если бы сестра, настоящая твоя сестра, тебя теперь спросила на ушко: Вѣрочка, ты точно никого не любишь? а? Что̀ бы ты ей отвѣчала? *(Вѣра нерѣшительно взглядываетъ на Наталью Петровну).* Эти глазки мнѣ что-то хотятъ сказать... *(Вѣра вдругъ прижимаетъ свое лицо къ ея груди. Наталья Петровна блѣднѣетъ—и помолчавъ, продолжаетъ).* Ты любишь? Скажи, любишь?

Вѣра *(не поднимая головы).*

Ахъ! я не знаю сама, что̀ со мной...

Наталья Петровна.

Бѣдняжка! Ты влюблена... *(Вѣра еще болѣе прижимается къ груди Натальи Петровны).* Ты влюблена... а онъ? Вѣра, онъ?

Вѣра *(все еще не поднимая головы).*

Что̀ вы у меня спрашиваете... Я не знаю... Можетъ-быть... Я не знаю, не знаю... *(Наталья Петровна вздрагиваетъ и остается неподвижной. Вѣра поднимаетъ голову и вдругъ замѣчаетъ перемѣну въ ея лицѣ).* Наталья Петровна, что съ вами?

Наталья Петровна *(приходя въ себя).*

Со мной... ничего. Что̀?.. ничего.

Вѣра.

Вы такъ блѣдны, Наталья Петровна... Что̀ съ вами? Позвольте, я позвоню... *(Встаетъ).*

Наталья Петровна.

Нѣтъ, нѣтъ... не звони. Это ничего... Это пройдетъ. Вотъ, ужъ оно и прошло.

Вѣра.

Позвольте мнѣ, по крайней мѣрѣ, позвать кого-нибудь...

Наталья Петровна.

Напротивъ... я... я хочу остаться одна. Оставь меня; слышишь? Мы еще поговоримъ. Ступай.

Вѣра.

Вы не сердитесь на меня, Наталья Петровна?

Наталья Петровна.

Я? За что? Нисколько. Я, напротивъ, благодарна тебѣ за твое довѣріе... Только оставь меня, пожалуйста, теперь. (*Вѣра хочетъ взять ея руку, но Наталья Петровна отворачивается, какъ будто не замѣчая движенія Вѣры*).

Вѣра (*со слезами на глазахъ*).

Наталья Петровна...

Наталья Петровна.

Оставьте меня, прошу васъ. (*Вѣра медленно уходитъ въ кабинетъ*).

Наталья Петровна (*одна остается нѣкоторое врѣмя неподвижной*).

Теперь мнѣ все ясно... Эти дѣти другъ друга любятъ... (*Останавливается и проводитъ рукой по лицу*). Что жъ? Тѣмъ лучше... Дай Богъ имъ счастья! (*Смѣясь*). И я... я могла подумать... (*Останавливается опять*). Она скоро проболталась... Признаюсь, я и не подозрѣвала... Признаюсь, эта новость меня поразила... Но погодите, не все еще кончено. Боже мой... что я говорю? что со мной? Я себя не узнаю. До чего я дошла? (*Помолчавъ*). Что это я дѣлаю? Я бѣдную дѣвочку хочу замужъ выдать... за старика!.. Подсылаю доктора... тотъ догадывается, намекаетъ... Аркадій, Ракитинъ... Да я... (*Содрогается и вдругъ поднимаетъ голову*). Да что жъ это, наконецъ? Я къ Вѣрѣ ревную? Я... я влюблена въ него, что ли? (*Помолчавъ*). И ты еще сомнѣваешься? Ты влюблена, несчастная! Какъ это сдѣлалось... не знаю. Словно мнѣ яду дали... Вдругъ все разбито, разсѣяно, унесено... Онъ боится меня... Всѣ меня боятся. Что ему во мнѣ?.. На что ему такое существо, какъ я? Онъ молодъ, и она молода. А я! (*Горько*). Гдѣ ему меня оцѣнить? Они оба глупы, какъ говоритъ Ракитинъ... Ахъ! ненавижу я этого умника! А Аркадій, довѣрчивый, добрый мой Аркадій! Боже мой, Боже мой! мнѣ смерть! (*Встаетъ*). Однако, мнѣ кажется, я съ ума схожу. Къ чему преувеличивать? Ну, да... я поражена... мнѣ это въ диковинку, это въ первый разъ... я... да, въ первый разъ! Я въ первый разъ теперь люблю! (*Она садится опять*). Онъ долженъ уѣхать. Да. И Ра-

китинъ тоже. Пора мнѣ опомниться. Я позволила себѣ отступить на шагъ—и вотъ! Вотъ до чего я дошла. И что̀ мнѣ въ немъ понравилось? *(Задумывается).* Такъ вотъ оно, это страшное чувство... Аркадій! Да, я уйду въ его объятія, я буду умолять его простить меня, защитить, спасти меня. — Онъ... и больше никого! Всѣ другіе мнѣ чужіе и должны мнѣ остаться чужими... Но развѣ... развѣ нѣтъ другого средства? Эта дѣвочка—она ребенокъ. Она могла ошибиться. Это все дѣтство, наконецъ... Изъ чего я... Я сама съ нимъ объяснюсь, я спрошу у него... *(Съ укоризной).* А, а? Ты еще надѣешься? Ты еще хочешь надѣяться? И на что̀ я надѣюсь! Боже мой, не дай мнѣ презирать самоё себя! *(Склоняетъ голову на руки. Изъ кабинета входитъ Ракитинъ, блѣдный и встревоженный).*

Ракитинъ *(подходя къ Натальѣ Петровнѣ).*

Наталья Петровна... *(Она не шевелится. Про себя).* Что это у ней могло быть такое съ Вѣрой? *(Громко).* Наталья Петровна...

Наталья Петровна *(поднимая голову).*

Кто это? А! вы.

Ракитинъ.

Мнѣ Вѣра Александровна сказала, что вы нездоровы... я...

Наталья Петровна *(отворачиваясь).*

Я здорова... Съ чего она взяла...

Ракитинъ.

Нѣтъ, Наталья Петровна, вы нездоровы, посмотрите на себя.

Наталья Петровна.

Ну, можетъ-быть... да вамъ-то что? Что̀ вамъ надобно? Зачѣмъ вы пришли?

Ракитинъ *(тронутымъ голосомъ).*

Я вамъ скажу, зачѣмъ я пришелъ. Я пришелъ просить у васъ прощенья. Полчаса тому назадъ, я былъ несказанно глупъ и грубъ съ вами... Простите меня. Видите ли, Наталья Петровна, какъ бы скромны ни были желанья и... и надежды человѣка, ему трудно не потеряться, хотя на мгновенье, когда ихъ внезапно у него вырываютъ;

но я теперь опомнился, я понялъ свое положеніе и свою вину, и желаю только одного — вашего прощенья. *(Онъ тихо садится подлѣ нея).* Взгляните на меня... не отворачивайтесь тоже и вы. Предъ вами вашъ прежній Ракитинъ, вашъ другъ, человѣкъ, который не требуетъ ничего, кромѣ позволенья служить вамъ, какъ вы говорили, опорой... Не лишайте меня вашего довѣрія, располагайте мной и забудьте, что я нѣкогда... Забудьте все, что̀ васъ могло оскорбить...

Наталья Петровна *(которая все время неподвижно глядитъ на полъ).*

Да, да... *(Останавливаясь).* Ахъ, извините, Ракитинъ, я ничего не слышала, что̀ вы такое мнѣ говорили.

Ракитинъ *(печально).*

Я говорилъ... я просилъ у васъ прощенья, Наталья Петровна. Я спрашивалъ у васъ, хотите ли вы позволить мнѣ остаться вашимъ другомъ.

Наталья Петровна *(медленно поворачиваясь къ нему и кладя обѣ руки ему на плеча).*

Ракитинъ, скажите, что̀ со мной?

Ракитинъ *(помолчавъ).*

Вы влюблены.

Наталья Петровна *(медленно повторяя за нимъ).*

Я влюблена... Но это безуміе, Ракитинъ. Это невозможно. Развѣ это можетъ такъ внезапно... Вы говорите, я влюблена... *(Умолкаетъ).*

Ракитинъ.

Да, вы влюблены, бѣдная женщина... Не обманывайте себя.

Наталья Петровна *(не глядя на него).*

Что жъ мнѣ остается теперь дѣлать?

Ракитинъ.

Я готовъ вамъ это сказать, Наталья Петровна, если вы мнѣ обѣщаете...

Наталья Петровна *(перерывая его и все не глядя на него).*

Вы знаете, что эта дѣвочка, Вѣра, его любитъ... Они оба другъ въ друга влюблены.

Ракитинъ.

Въ такомъ случаѣ еще одной причиной больше...

Наталья Петровна *(опять его перерываетъ).*

Я давно это подозрѣвала, но она сама сейчасъ во всемъ созналась... сейчасъ.

Ракитинъ *(вполголоса, словно про себя).*

Бѣдная женщина!

Наталья Петровна *(проводя рукой по лицу).*

Ну, однако... пора опомниться. Вы мнѣ, кажется, хотѣли что-то сказать... Посовѣтуйте мнѣ, ради Бога, Ракитинъ, что мнѣ дѣлать...

Ракитинъ.

Я готовъ вамъ совѣтовать, Наталья Петровна, только подъ однимъ условіемъ.

Наталья Петровна.

Говорите, что такое?

Ракитинъ.

Обѣщайте мнѣ, что вы не будете подозрѣвать мои намѣренія. Скажите мнѣ, что вы вѣрите моему безкорыстному желанію помочь вамъ; помогите мнѣ тоже и вы. Ваша довѣренность дастъ мнѣ силу, или ужъ лучше позвольте мнѣ молчать.

Наталья Петровна.

Говорите, говорите.

Ракитинъ.

Вы не сомнѣваетесь во мнѣ!

Наталья Петровна.

Говорите.

Ракитинъ.

Ну, такъ слушайте: онъ долженъ уѣхать. *(Наталья Петровна молча глядитъ на него).* Да, онъ долженъ уѣхать. Я не стану говорить вамъ о... вашемъ мужѣ, о вашемъ долгѣ. Въ моихъ устахъ эти слова... неумѣстны... Но эти дѣти любятъ другъ друга. Вы сами это мнѣ сейчасъ сказали; вообразите же вы себя теперь между ними... Да вы погибнете!

Наталья Петровна.

Онъ долженъ уѣхать... *(Помолчавъ).* А вы? вы останетесь?

Ракитинъ *(съ смущеніемъ)*.

Я?.. я?.. *(Помолчавъ)*. И я долженъ уѣхать. Для вашего покоя, для вашего счастья, для счастья Вѣрочки, и онъ... и я... мы оба должны уѣхать навсегда.

Наталья Петровна.

Ракитинъ... я до того дошла, что я... я почти готова была эту бѣдную дѣвочку, сироту, порученную мнѣ моею матерью—выдать замужъ за глупаго, смѣшного старика!.. У меня духа не достало, Ракитинъ; слова у меня замерли на губахъ, когда она разсмѣялась въ отвѣтъ на мое предложенье... но я сговаривалась съ этимъ докторомъ, я позволяла ему значительно улыбаться; я сносила эти улыбки, его любезности, его намеки... О, я чувствую, что я на краю пропасти, спасите меня!

Ракитинъ.

Наталья Петровна, вы видите, что я былъ правъ... *(Она молчитъ: онъ поспѣшно продолжаетъ)*. Онъ долженъ уѣхать... мы оба должны уѣхать... Другого спасенья нѣтъ.

Наталья Петровна *(уныло)*.

Но для чего же жить потомъ?

Ракитинъ.

Боже мой, неужели же до этого дошло... Наталья Петровна, вы выздоровѣете, повѣрьте мнѣ... Это все пройдетъ. Какъ, для чего жить?

Наталья Петровна.

Да, да, для чего жить, когда всѣ меня оставляютъ?

Ракитинъ.

Но... ваше семейство... *(Наталья Петровна опускаетъ глаза)*. Послушайте, если вы хотите, послѣ его отъѣзда, я могу нѣсколько дней еще остаться... для того, чтобы...

Наталья Петровна *(мрачно)*.

А! я васъ понимаю. Вы разсчитываете на привычку, на прежнюю дружбу... Вы надѣетесь, что я приду въ себя, что я къ вамъ вернусь, не правда ли? Я понимаю васъ.

Ракитинъ *(краснѣя)*.

Наталья Петровна! Зачѣмъ вы меня оскорбляете?

Наталья Петровна *(горько)*.

Я васъ понимаю... но вы обманываетесь.

Ракитинъ.

Какъ? Послѣ вашихъ обѣщаній, послѣ того, какъ я для васъ, для васъ однѣхъ, для вашего счастья, для вашего положенья въ свѣтѣ, наконецъ...

Наталья Петровна.

А! давно ли вы такъ о немъ заботитесь? Зачѣмъ же вы прежде никогда мнѣ не говорили объ этомъ?

Ракитинъ *(вставая).*

Наталья Петровна, я сегодня же, я сейчасъ уѣду отсюда, и вы болѣе меня никогда не увидите... *(Хочетъ идти).*

Наталья Петровна *(протягивая къ нему руки).*

Мишель, простите меня; я сама не знаю, что́ я говорю... Вы видите, въ какомъ я положеніи. Простите меня.

Ракитинъ *(быстро возвращается къ ней и беретъ ее за руки).*

Наталья Петровна...

Наталья Петровна.

Ахъ, Мишель, мнѣ невыразимо тяжело... *(Прислоняется на его плечо и прижимаетъ платокъ къ глазамъ).* Помогите мнѣ, я погибла безъ васъ... *(Въ это мгновеніе дверь залы растворяется, входятъ Ислаевъ и Анна Семеновна).*

Ислаевъ *(громко).*

Я всегда былъ того мнѣнія... *(Останавливается въ изумленіи, при видѣ Ракитина и Натальи Петровны. Наталья Петровна оглядывается и быстро уходитъ. Ракитинъ остается на мѣстѣ, чрезвычайно смущенный).*

Ислаевъ *(Ракитину).*

Что́ это значитъ? Что́ за сцена?

Ракитинъ.

Такъ... ничего... это...

Ислаевъ.

Наталья Петровна нездорова, что ли?

Ракитинъ.

Нѣтъ... но...

Ислаевъ.

И отчего она вдругъ убѣжала? О чемъ вы съ ней го-

ворили? Она какъ будто плакала... Ты ее утѣшалъ... Что такое?

Ракитинъ.

Право, ничего.

Анна Семеновна.

Однако, какъ же ничего, Михайло Александрычъ? *(Помолчавъ).* Я пойду, посмотрю... *(Хочетъ идти въ кабинетъ).*

Ракитинъ *(останавливая ее).*

Нѣтъ, вы лучше оставьте ее теперь въ покоѣ, прошу васъ.

Ислаевъ.

Да что все это значитъ? скажи, наконецъ?

Ракитинъ.

Ничего, клянусь тебѣ... Послушайте, я обѣщаю вамъ обоимъ сегодня же все объяснить. Слово даю вамъ. Но теперь, пожалуйста, если вы мнѣ довѣряете, не спрашивайте у меня ничего—и Натальи Петровны не тревожьте.

Ислаевъ.

Пожалуй... только это удивительно. Съ Наташей этого прежде не бывало. Это что-то необыкновенно.

Анна Семеновна.

Главное—что могло заставить Наташу плакать? И отчего она ушла?.. Развѣ мы чужіе?

Ракитинъ.

Что вы говорите! Какъ можно!—Но послушайте—признаться сказать, мы не докончили нашего разговора... Я васъ долженъ попросить... обоихъ—оставьте насъ на нѣкоторое время однихъ.

Ислаевъ.

Вотъ какъ! Стало-быть, между вами тайна?

Ракитинъ.

Тайна... но ты ее узнаешь.

Ислаевъ *(подумавши).*

Пойдемте, маменька... оставимте ихъ. Пусть они докончатъ свою таинственную бесѣду.

Анна Семеновна.

Но...

Ислаевъ.

Пойдемте, пойдемте.—Вы слышите, онъ обѣщается вс объяснить.

Ракитинъ.

Ты можешь быть спокоенъ...

Ислаевъ *(холодно).*

О, я совершенно спокоенъ! (*Къ Аннѣ Семеновнѣ*). Пой демте. (*Уходятъ оба*).

Ракитинъ (*глядитъ имъ вслѣдъ и быстро подходитъ къ дверямъ кабинета*).

Наталья Петровна... Наталья Петровна, выдьте, прош васъ.

Наталья Петровна (*выходитъ изъ кабинета. Она очень блѣдна*).

Что они сказали?

Ракитинъ.

Ничего, успокойтесь... Они, точно, нѣсколько удивились Вашъ мужъ подумалъ, что вы нездоровы... Онъ замѣти ваше волненіе... Сядьте, вы едва на ногахъ стоите... (*На талья Петровна садится*). Я ему сказалъ... я попроси его не безпокоить васъ... оставить насъ однихъ.

Наталья Петровна.

И онъ согласился?

Ракитинъ.

Да. Я, признаться, долженъ былъ ему обѣщать, ч завтра все объясню... Зачѣмъ вы ушли?

Наталья Петровна (*горько*).

Зачѣмъ!.. Но что жъ вы скажете?

Ракитинъ.

Я... я придумаю что-нибудь... Теперь дѣло не въ томъ Надобно намъ воспользоваться этой отсрочкой. Вы видит это не можетъ такъ продолжаться... Вы не въ состояні переносить подобныя тревоги... онѣ недостойны васъ... самъ. Но не объ этомъ рѣчь. Будьте только вы тверд а ужъ я! Послушайте, вы вѣдь согласны со мной...

Наталья Петровна.

Въ чемъ?

Ракитинъ.

Въ необходимости... нашего отъѣзда? Согласны? Въ такомъ случаѣ, мѣшкать нечего. Если вы мнѣ позволите, я сейчасъ самъ переговорю съ Бѣляевымъ... Онъ благородный человѣкъ, онъ пойметъ...

Наталья Петровна.

Вы хотите съ нимъ переговорить? вы? Но что вы ему можете сказать?

Ракитинъ *(съ смущеніемъ).*

Я...

Наталья Петровна *(помолчавъ).*

Ракитинъ, послушайте, не кажется ли вамъ, что мы оба словно сумасшедшіе?.. Я испугалась, перепугала васъ, и все, можетъ-быть, изъ пустяковъ.

Ракитинъ.

Какъ?

Наталья Петровна.

Право. Что́ это мы съ вами? Давно ли, кажется, все было такъ тихо, такъ покойно въ этомъ домѣ... и вдругъ... откуда что взялось! Право, мы всѣ съ ума сошли. Полноте, довольно мы подурачились... Станемте жить попрежнему... А Аркадію вамъ нечего будетъ объяснять; я сама ему разскажу наши проказы, и мы вдвоемъ надъ ними посмѣемся. Я не нуждаюсь въ посредникѣ между мной и моимъ мужемъ!

Ракитинъ.

Наталья Петровна, вы теперь меня пугаете. Вы улыбаетесь, и блѣдны, какъ смерть... Да вспомните хоть то, что́ вы мнѣ за четверть часа говорили...

Наталья Петровна.

Мало ли чего нѣтъ! А впрочемъ, я вижу, въ чемъ дѣло... Вы сами поднимаете эту бурю... для того, чтобы, по крайней мѣрѣ, не одному потонуть.

Ракитинъ.

Опять, опять подозрѣніе, опять упрекъ, Наталья Петровна... Богъ съ вами... но вы меня терзаете. Или вы раскаиваетесь въ своей откровенности?

Наталья Петровна.

Я ни въ чемъ не раскаиваюсь.

Ракитинъ.

Такъ какъ же мнѣ понять васъ?

Наталья Петровна *(съ живостью).*

Ракитинъ, если вы хотя слово скажете отъ меня или обо мнѣ Бѣляеву, я вамъ этого никогда не прощу.

Ракитинъ.

А! вотъ что!.. Будьте покойны, Наталья Петровна. Я не только ничего не скажу г. Бѣляеву, но даже не прощусь съ нимъ, уѣзжая отсюда. Я не намѣренъ навязываться съ своими услугами.

Наталья Петровна *(съ нѣкоторымъ смущеніемъ).*

Да вы, можетъ-быть, думаете, что я перемѣнила свое мнѣніе насчетъ... его отъѣзда?

Ракитинъ.

Я ничего не думаю.

Наталья Петровна.

Напротивъ, я такъ убѣждена въ необходимости, какъ вы говорите, его отъѣзда, что я сама намѣрена ему отказать. *(Помолчавъ).* Да, я сама ему откажу.

Ракитинъ.

Вы?

Наталья Петровна.

Да, я. И сейчасъ же. Я васъ прошу прислать его ко мнѣ.

Ракитинъ.

Какъ? сейчасъ?

Наталья Петровна.

Сейчасъ. Я прошу васъ объ этомъ, Ракитинъ. Вы видите, я теперь спокойна. Притомъ, мнѣ теперь не помѣшаютъ. Надобно этимъ воспользоваться... Я вамъ буду очень благодарна. Я его разспрошу.

Ракитинъ.

Да онъ вамъ ничего не скажетъ, помилуйте. Онъ мнѣ самъ сознался, что ему въ вашемъ присутствіи неловко.

Наталья Петровна *(подозрительно).*

А! вы уже говорили съ нимъ обо мнѣ? *(Ракитинъ по-*

жимаетъ плечами). Ну, извините, извините меня, Мишель, и пришлите мнѣ его. Вы увидите, я ему откажу, и все кончится. Все пройдетъ и позабудется, какъ дурной сонъ. Пожалуйста, пришлите его мнѣ. Мнѣ непремѣнно нужно съ нимъ переговорить окончательно. Вы будете мной довольны. Пожалуйста.

Ракитинъ *(который все время не сводилъ съ нея взора, холодно и печально).*

Извольте. Ваше желаніе будетъ исполнено. *(Идетъ къ дверямъ залы).*

Наталья Петровна *(ему вслѣдъ).*

Благодарствуйте, Мишель.

Ракитинъ *(оборачиваясь).*

О, не благодарите меня, по крайней мѣрѣ... *(Быстро уходитъ въ залу).*

Наталья Петровна *(одна, помолчавъ).*

Онъ благородный человѣкъ... Но неужели я когда-нибудь его любила? *(Встаетъ).* Онъ правъ. Тотъ долженъ уѣхать. Но какъ отказать ему? Я только желаю знать, точно ли ему нравится эта дѣвочка? Можетъ-быть, это все пустяки. Какъ могла я придти въ такое волненіе... къ чему всѣ эти изліянія? Ну, теперь, дѣлать нечего. Желаю я знать, что онъ мнѣ скажетъ? Но онъ долженъ уѣхать... Непремѣнно... непремѣнно... Онъ, можетъ-быть, не захочетъ мнѣ отвѣчать... Вѣдь онъ меня боится... Что жъ? Тѣмъ лучше. Мнѣ нечего съ нимъ много разговаривать... *(Прикладываетъ руку ко лбу).* А у меня голова болитъ. Не отложить ли до завтра? Въ самомъ дѣлѣ. Сегодня мнѣ все кажется, что за мной наблюдаютъ... До чего я дошла! Нѣтъ, ужъ лучше кончить разомъ... Еще одно, послѣднее усиліе, и я свободна!.. О, да! я жажду свободы и покоя. *(Изъ залы входитъ Бѣляевъ).* Это онъ...

Бѣляевъ *(подходя къ ней).*

Наталья Петровна, мнѣ Михайло Александрычъ сказалъ, что вамъ угодно было меня видѣть...

Наталья Петровна *(съ нѣкоторымъ усиліемъ).*

Да, точно... Мнѣ нужно съ вами... объясниться.

Бѣляевъ.

Объясниться?

Наталья Петровна *(не глядя на него).*

Да... объясниться. *(Помолчавъ).* Позвольте вамъ сказать, Алексѣй Николаичъ, я... я недовольна вами.

Бѣляевъ.

Могу я узнать, какая причина?

Наталья Петровна.

Выслушайте меня... Я... я, право, не знаю, съ чего начать. Впрочемъ, я должна предупредить васъ, что мое неудовольствіе не происходитъ отъ какого-нибудь упущенія... по вашей части... Напротивъ, ваше обращеніе съ Колей мнѣ нравится.

Бѣляевъ.

Такъ что же это можетъ быть?

Наталья Петровна *(взглянувъ на него).*

Вы напрасно тревожитесь... Ваша вина еще не такъ велика. Вы молоды, вѣроятно, никогда не жили въ чужомъ домѣ. Вы не могли предвидѣть...

Бѣляевъ.

Но, Наталья Петровна...

Наталья Петровна.

Вы желаете знать, въ чемъ же дѣло, наконецъ? Я понимаю ваше нетерпѣніе. Итакъ, я должна вамъ сказать, что Вѣрочка... *(взглянувъ на него).* Вѣрочка мнѣ во всемъ призналась.

Бѣляевъ *(съ изумленіемъ).*

Вѣра Александровна? Въ чемъ могла вамъ признаться Вѣра Александровна? И что же я тутъ?

Наталья Петровна.

И вы, точно, не знаете, въ чемъ она могла признаться? Вы не догадываетесь?

Бѣляевъ.

Я? нисколько.

Наталья Петровна.

Въ такомъ случаѣ, извините меня. Если вы точно не догадываетесь — я должна просить у васъ извиненія. *Я думала... я* ошибалась. Но, позвольте вамъ замѣтить, я

вамъ не вѣрю. Я понимаю, что́ васъ заставляетъ такъ говорить... Я очень уважаю вашу скромность.

Бѣляевъ.

Я васъ рѣшительно не понимаю, Наталья Петровна.

Наталья Петровна.

Въ самомъ дѣлѣ? Неужели вы думаете меня увѣрить, что вы не замѣтили расположенія этого ребенка, Вѣры, къ вамъ?

Бѣляевъ.

Расположеніе Вѣры Александровны ко мнѣ? Я даже не знаю, что вамъ сказать на это... Помилуйте. Кажется, я всегда былъ съ Вѣрой Александровной, какъ...

Наталья Петровна.

Какъ со всѣми, не правда ли? *(Помолчавъ немного).* Какъ бы то ни было, точно ли вы этого не знаете, притворяетесь ли вы, что не знаете, дѣло вотъ въ чемъ: эта дѣвочка васъ любитъ. Она сама мнѣ въ этомъ созналась. Ну, теперь я спрашиваю васъ, какъ честнаго человѣка, что вы намѣрены сдѣлать?

Бѣляевъ *(съ смущеніемъ).*

Что я намѣренъ сдѣлать?

Наталья Петровна *(скрестивъ руки).*

Да.

Бѣляевъ.

Все это такъ неожиданно, Наталья Петровна...

Наталья Петровна *(помолчавъ).*

Алексѣй Николаичъ, я вижу... я не хорошо взялась за это дѣло. Вы меня не понимаете. Вы думаете, что я сержусь на васъ... а я... только... немного взволнована. И это очень естественно. Успокойтесь. Сядемте. *(Оба садятся).* Я буду откровенна съ вами, Алексѣй Николаичъ, будьте же и вы хотя нѣсколько болѣе довѣрчивы со мной. Право, вы напрасно меня чуждаетесь. Вѣра васъ любитъ... конечно, вы въ этомъ не виноваты; я готова предположить, что вы въ этомъ не виноваты... Но, видите ли, Алексѣй Николаичъ, она сирота, моя воспитанница: я отвѣчаю за нее, за ея будущность, за ея счастье. Она еще молода и, я увѣрена, чувство, которое вы внушили ей,

можетъ скоро исчезнуть... въ ея лѣта любятъ не надолго. Но вы понимаете, что моя обязанность была предупредить васъ. Играть огнемъ все-таки опасно... и я не сомнѣваюсь, что вы, зная теперь ея расположеніе къ вамъ, перемѣните ваше обращеніе съ ней, будете избѣгать свиданій, прогулокъ въ саду... Не правда ли? Я могу на васъ надѣяться... Съ другимъ я бы побоялась такъ прямо объясниться.

Бѣляевъ.

Наталья Петровна, повѣрьте, я умѣю цѣнить...

Наталья Петровна.

Я вамъ говорю, что я въ васъ не сомнѣваюсь... притомъ, это все останется тайной между нами.

Бѣляевъ.

Признаюсь вамъ, Наталья Петровна, все, что вы мнѣ сказали, кажется мнѣ до того страннымъ... конечно, я не смѣю не вѣрить вамъ, но...

Наталья Петровна.

Послушайте, Алексѣй Николаичъ. Все, что я сказала вамъ теперь... я это сказала въ томъ предположеньи, что съ вашей стороны—нѣтъ ничего... *(перерываетъ самое себя)*, потому что въ противномъ случаѣ... конечно, я васъ еще мало знаю, но я настолько уже знаю васъ, что не вижу причины противиться вашимъ намѣреніямъ. Вы не богаты... но вы молоды, у васъ есть будущность, и когда два человѣка другъ друга любятъ... Я, повторяю вамъ, я сочла своею обязанностью предупредить васъ, какъ честнаго человѣка, насчетъ послѣдствій вашего знакомства съ Вѣрой; но если вы...

Бѣляевъ *(съ недоумѣніемъ)*.

Я, право, не знаю, Наталья Петровна, что вы хотите сказать...

Наталья Петровна *(поспѣшно)*.

О, повѣрьте, я не требую отъ васъ признанія, я и безъ того... я изъ вашего поведенія пойму, въ чемъ дѣло... *(Взглянувъ на него.)* Впрочемъ, я должна вамъ сказать, что Вѣрѣ показалось, что и вы къ ней не совсѣмъ равнодушны.

Бѣляевъ *(помолчавъ, встаетъ).*

Наталья Петровна, я вижу: мнѣ нельзя оставаться у васъ въ домѣ.

Наталья Петровна *(вспыхнувъ).*

Вы бы, кажется, могли подождать, чтобы я вамъ сама отказала... *(Встаетъ.)*

Бѣляевъ.

Вы были со мной откровенны... Позвольте же и мнѣ быть откровеннымъ съ вами. Я не люблю Вѣру Александровну, по крайней мѣрѣ, я не люблю ее такъ, какъ вы предполагаете.

Наталья Петровна.

Да развѣ я... *(Останавливается.)*

Бѣляевъ.

И, если я понравился Вѣрѣ Александровнѣ, если ей показалось, что и я, какъ вы говорите, къ ней неравнодушенъ, я не хочу ее обманывать; я ей самой все скажу, всю правду. Но послѣ подобнаго объясненья, вы поймете сами, Наталья Петровна, мнѣ будетъ трудно здѣсь остаться: мое положеніе было бы слишкомъ неловко. Я не стану вамъ говорить, какъ мнѣ тяжело оставить вашъ домъ... мнѣ другого дѣлать нечего. Я всегда съ благодарностью буду вспоминать о васъ... Позвольте мнѣ удалиться... Я еще буду имѣть честь проститься съ вами.

Наталья Петровна *(съ притворнымъ равнодушіемъ).*

Какъ хотите... но я, признаюсь, этого не ожидала... Я совсѣмъ не для того хотѣла съ вами объясниться... Я только хотѣла предупредить васъ... Вѣра еще дитя... Я, можетъ-быть, придала всему этому слишкомъ много значенья. Я не вижу необходимости вашего отъѣзда. Впрочемъ, какъ хотите.

Бѣляевъ.

Наталья Петровна... мнѣ, право, невозможно болѣе оставаться здѣсь.

Наталья Петровна.

Вамъ, видно, очень легко разстаться съ нами!

Бѣляевъ.

Нѣтъ, Наталья Петровна, не легко.

Наталья Петровна.

Я не привыкла удерживать людей противъ ихъ воли... но, признаюсь, это мнѣ очень непріятно.

Бѣляевъ *(послѣ нѣкоторой нерѣшимости).*

Наталья Петровна... я не желалъ бы причинить вамъ малѣйшую непріятность... Я остаюсь.

Наталья Петровна *(подозрительно).*

А!.. *(Помолчавъ.)* Я не ожидала, что вы такъ скоро перемѣните ваше рѣшеніе... Я вамъ благодарна, но... Позвольте мнѣ подумать. Можетъ-быть, вы правы; можетъ-быть, вамъ точно надобно уѣхать. Я подумаю, я вамъ дамъ знать... Вы позволите мнѣ до сегодняшняго вечера оставить васъ въ неизвѣстности?

Бѣляевъ.

Я готовъ ждать, сколько вамъ угодно. *(Кланяется и хочетъ уйти.)*

Наталья Петровна.

Вы мнѣ обѣщаете...

Бѣляевъ *(останавливаясь).*

Что-съ?

Наталья Петровна.

Вы, кажется, хотѣли объясниться съ Вѣрой... Я не знаю, будетъ ли это прилично. Впрочемъ, я вамъ дамъ знать мое рѣшеніе. Я начинаю думать, что вамъ, точно, надобно уѣхать. До свиданія. *(Бѣляевъ вторично кланяется и уходитъ въ залу. Наталья Петровна глядитъ ему вслѣдъ.)* Я спокойна! Онъ ея не любитъ... *(Прохаживается по комнатѣ.)* Итакъ, вмѣсто того, чтобы отказать ему, я сама его удержала? Онъ остается... Но что я скажу Ракитину? Что я сдѣлала? *(Помолчавъ.)* И какое имѣла я право разгласить любовь этой бѣдной дѣвочки? Какъ? Я сама выманила у ней признаніе... полупризнаніе, и потомъ я же сама такъ безжалостно, такъ грубо... *(Закрываетъ лицо руками.)* Можетъ-быть, онъ начиналъ ее любить... Съ какого права я растоптала этотъ цвѣтокъ въ зародышѣ... Да и полно, растоптала ли я его? Можетъ-быть, онъ обманулъ меня... Хотѣла же я его обмануть!.. О, нѣтъ! Онъ для этого слишкомъ благороденъ...

Онъ не то, что я! И изъ чего я такъ торопилась? сейчасъ все разболтала?. (*Вздохнувъ.*) Мало чего нѣтъ? Если бы я могла предвидѣть... Какъ я хитрила, какъ я лгала передъ нимъ... а онъ! Какъ онъ смѣло и свободно говорилъ... Я склонялась передъ нимъ... Это человѣкъ! Я его еще не знала... Онъ долженъ уѣхать. Если онъ останется... Я чувствую, я дойду до того, что я потеряю всякое уваженіе къ самой себѣ... Онъ долженъ уѣхать, или я погибла! Я ему напишу, пока онъ еще не успѣлъ увидаться съ Вѣрой... Онъ долженъ уѣхать! (*Быстро уходитъ въ кабинетъ.*)

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Театръ представляетъ большія, пустыя сѣни. Стѣны голыя, полъ неровный, каменный; шесть кирпичныхъ, выбѣленныхъ и облупленныхъ колоннъ, по три съ каждаго бока, поддерживаютъ потолокъ. Налѣво два открытыхъ окна и дверь въ садъ. Направо дверь въ коридоръ, ведущій къ главному дому; прямо желѣзная дверь въ кладовую. Возлѣ первой колонны направо садовая зеленая скамья; въ одномъ углу нѣсколько лопатъ, леекъ и горшковъ. Вечеръ. Красные лучи солнца падаютъ сквозь окна на полъ.

Катя (*входитъ изъ двери направо, проворно идетъ къ окну и глядитъ нѣкоторое время въ садъ*).

Нѣтъ, не видать. А мнѣ сказали, что онъ пошелъ въ оранжерею. Знать, еще не вышелъ оттуда. Что жъ, подожду, пока мимо пойдетъ. Ему другой дороги нѣту... (*Вздыхаетъ и прислоняется къ окну.*) Онъ, говорятъ, уѣзжаетъ. (*Вздыхаетъ опять.*) Какъ же это мы безъ него будемъ... Бѣдная барышня! Какъ она меня просила... Что жъ, отчего не услужить? Пусть поговоритъ съ ней на послѣдяхъ. Экая теплынь сегодня! А, кажись, дождикъ накрапываетъ... (*Опять взглядываетъ изъ окна и вдругъ подается назадъ.*) Да ужъ они не сюда ли?.. Точно сюда. Ахъ, батюшки... (*Хочетъ убѣжать, но не успѣваетъ еще дойти до двери коридора, какъ уже изъ саду входитъ Шпигельскій съ Лизаветой Богдановной. Катя прячется за колонну.*)

Шпигельскій (*отряхивая шляпу*).

Мы можемъ здѣсь дождикъ переждать... Онъ скоро пройдетъ.

Лизавета Богдановна.

Пожалуй.

Шпигельскій (*оглядываясь*).

Что это за строеніе? Кладовая, что ли?

Лизавета Богдановна (*указывая на желѣзную дверь.*)

Нѣтъ, кладовая вотъ гдѣ. Эти сѣни, говорятъ, Аркадія Сергѣича батюшка пристроилъ, когда изъ чужихъ краевъ вернулся.

Шпигельскій.

А! я вижу, въ чемъ дѣло: Венеція, сударь ты мой. (*Садится на скамью.*) Присядемте. (*Лизавета Богдановна садится.*) А признайтесь, Лизавета Богдановна, дождикъ этотъ некстати пошелъ. Онъ перервалъ наши объясненія на самомъ чувствительномъ мѣстѣ.

Лизавета Богдановна (*опустивъ глаза*).

Игнатій Ильичъ...

Шпигельскій.

Но никто намъ не мѣшаетъ возобновить нашъ разговоръ... Кстати, вы говорите, Анна Семеновна не въ духѣ сегодня?

Лизавета Богдановна.

Да, не въ духѣ. Она даже обѣдала у себя въ комнатѣ.

Шпигельскій.

Вотъ какъ! Экое несчастье, подумаешь!

Лизавета Богдановна.

Она сегодня поутру застала Наталью Петровну въ слезахъ... съ Михайломъ Александрычемъ... Онъ, конечно, свой человѣкъ, но все-таки... Впрочемъ, Михайло Александрычъ обѣщался все объяснить.

Шпигельскій.

А! Ну, напрасно жъ она тревожится. Михайло Александрычъ, по моему мнѣнію, никогда не былъ человѣкомъ опаснымъ, а ужъ теперь-то менѣе, чѣмъ когда-нибудь.

Лизавета Богдановна.

А что?

Шпигельскій.

Да такъ. Больно умно говоритъ. У кого сыпью, а у этихъ умниковъ все язычкомъ выходитъ, болтовней. Вы, Лизавета Богдановна, и впередъ не бойтесь болтуновъ: они не опасны; а вотъ тѣ, что больше молчатъ, да съ придурью, да темпераменту много, да затылокъ широкъ, тѣ вотъ опасны.

Лизавета Богдановна (*помолчавъ*).

Скажите, Наталья Петровна точно нездорова?

Шпигельскій.

Такъ же нездорова, какъ мы съ вами.

Лизавета Богдановна.

Она за обѣдомъ ничего не кушала.

Шпигельскій.

Не одна болѣзнь отнимаетъ аппетитъ.

Лизавета Богдановна.

Вы у Большинцова обѣдали?

Шпигельскій.

Да, у него... Я къ нему съѣздилъ. И для васъ только вернулся, ей-Богу.

Лизавета Богдановна.

Ну, полноте. А знаете ли что, Игнатій Ильичъ? Наталья Петровна за что-то на васъ сердится... Она за столомъ не совсѣмъ выгодно объ васъ отозвалась.

Шпигельскій.

Въ самомъ дѣлѣ? Видно, барынямъ не по нутру, коли у нашего брата глаза зрячіе. Дѣлай по-ихнему, помогай имъ — да и притворяйся еще, что не понимаешь ихъ. Вишь, какія! Ну, однако, посмотримъ. И Ракитинъ, чай, носъ на квинту повѣсилъ?

Лизавета Богдановна.

Да, онъ сегодня тоже какъ будто не въ своей тарелкѣ...

Шпигельскій.

Г-нъ. А Вѣра Александровна? Бѣляевъ?

Лизавета Богдановна.

Всѣ, таки рѣшительно всѣ не въ духѣ. Я, право, не могу придумать, что съ ними сегодня со всѣми?

Шпигельскій.

Много будете знать, до времени состарѣетесь, Лизавета Богдановна... Ну, впрочемъ, Богъ съ ними. Поговоримте лучше объ нашемъ дѣлѣ. Дождикъ-то, вишь, все еще не пересталъ... Хотите?

Лизавета Богдановна *(жеманно опустивъ глаза).*

Что вы у меня спрашиваете, Игнатій Ильичъ?

Шпигельскій.

Эхъ, Лизавета Богдановна, позвольте вамъ замѣтить: что вамъ за охота жеманиться, глаза вдругъ этакъ опускать? Мы вѣдь съ вами люди не молодые! Эти церемоніи, нѣжности, вздохи—это все къ намъ нейдетъ. Будемте говорить спокойно, дѣльно, какъ оно и прилично людямъ нашихъ лѣтъ. Итакъ, вотъ въ чемъ вопросъ: мы другъ другу нравимся... по крайней мѣрѣ, я предполагаю, что я вамъ нравлюсь...

Лизавета Богдановна *(слегка жеманясь).*

Игнатій Ильичъ, право...

Шпигельскій.

Ну, да, да, хорошо. Вамъ, какъ женщинѣ, оно даже и слѣдуетъ... этакъ того... *(показываетъ рукой)* пофинтить, то-есть. Стало-быть, мы другъ другу нравимся. И въ другихъ отношеніяхъ мы тоже подъ пару. Я, конечно, про себя долженъ сказать, что я человѣкъ рода не высокаго: ну, да вѣдь и вы не знатнаго происхожденія. Я человѣкъ не богатый; въ противномъ случаѣ, я бы вѣдь и того-съ... *(Усмѣхается).* Но практика у меня порядочная, больные мои не всѣ мрутъ; у васъ, по вашимъ словамъ, пятнадцать тысячъ наличныхъ денегъ; это все, изволите видѣть, не дурно. Притомъ же, вамъ, я воображаю, надоѣло вѣчно жить въ гувернанткахъ, ну, да и со старухой возиться, вистовать ей въ преферансъ и поддакивать — тоже, должно-быть, не весело. Съ моей стороны, мнѣ не то, чтобы наскучила холостая жизнь, а старѣюсь *я, ну, да* и кухарки меня грабятъ; стало-быть, оно все,

знаете ли, приходится подъ-ладъ. Но вотъ въ чемъ затрудненіе, Лизавета Богдановна: мы вѣдь другъ друга вовсе не знаемъ, то-есть, по правдѣ сказать, вы меня не знаете... Я-то васъ знаю. Мнѣ вашъ характеръ извѣстенъ. Не скажу, чтобы за вами не водилось недостатковъ. Вы, въ дѣвицахъ будучи, маленько окисли, да вѣдь это не бѣда. У хорошаго мужа жена, что мягкій воскъ. Но я желаю, чтобы и вы меня знали передъ свадьбой; а то вы, пожалуй, потомъ на меня пенять станете... Я васъ обманывать не хочу.

Лизавета Богдановна *(съ достоинствомъ).*

Но, Игнатій Ильичъ, мнѣ кажется, я тоже имѣла случай узнать вашъ характеръ...

Шпигельскій.

Вы? Э, полноте... Это не женское дѣло. Вѣдь вы, напримѣръ, чай, думаете, что я человѣкъ веселаго нрава— забавникъ, а?

Лизавета Богдановна.

Мнѣ всегда казалось, что вы очень любезный человѣкъ...

Шпигельскій.

То-то вотъ и есть. Видите, какъ легко можно ошибиться. Оттого, что я передъ чужими дурачусь, анекдотцы имъ разсказываю, прислуживаю имъ, вы ужъ и подумали, что я въ самомъ дѣлѣ веселый человѣкъ. Если бъ я въ нихъ не нуждался, въ этихъ чужихъ-то, да я бы и не посмотрѣлъ на нихъ... Я и то, гдѣ только можно, безъ большой опасности, знаете, ихъ же самихъ на смѣхъ поднимаю... Я, впрочемъ, не обманываю себя: я знаю, иные господа, которымъ и нуженъ-то я на каждомъ шагу, и скучно-то безъ меня, почитаютъ себя въ правѣ меня презирать; да вѣдь и я у нихъ не въ долгу. Вотъ, хоть бы Наталья Петровна... Вы думаете, я не вижу ее насквозь? *(Передразнивая ее).* „Любезный докторъ, я васъ, право, очень люблю... у васъ такой злой языкъ...“ хе, хе, воркуй, голубушка, воркуй. Ухъ, эти мнѣ барыни! И улыбаются-то онѣ вамъ, и глазки этакъ щурятъ; а на лицѣ написана гадливость... Брезгаютъ онѣ нами, что ты будешь дѣлать! Я понимаю, почему она сегодня дурно обо

мнѣ отзывается. Право, эти барыни удивительный народъ! Оттого, что онѣ каждый день одеколономъ моются, да говорятъ этакъ небрежно, словно роняютъ слова—подбирай, молъ, ты! — ужъ онѣ и воображаютъ, что ихъ за хвостъ поймать нельзя. Да, какъ бы не такъ! Такія же смертныя, какъ и всѣ мы, грѣшные!

Лизавета Богдановна.

Игнатій Ильичъ... Вы меня удивляете.

Шпигельскій.

Я зналъ, что я васъ удивлю. Вы, стало-быть, видите, что я человѣкъ не веселый вовсе, можетъ-быть, даже и не слишкомъ добрый... Но я тоже не хочу прослыть передъ вами тѣмъ, чѣмъ я никогда не былъ. Какъ я ни ломаюсь передъ господами, шутомъ меня никто не видалъ, по носу меня еще никто не щелкнулъ. Они меня даже, могу сказать, побаиваются; они знаютъ, что я кусаюсь. Однажды, года три тому назадъ, одинъ господинъ, черноземный такой, сдуру, за столомъ, взялъ, да мнѣ въ волосы рѣдьку воткнулъ. Что вы думаете? Я его въ ту же минуту и не горячась, знаете, самымъ вѣжливымъ образомъ вызвалъ на дуэль. Черноземнаго отъ испуга чуть параличъ не хватилъ; хозяинъ извиниться его заставилъ — эффектъ вышелъ необыкновенный!.. Я, признаться сказать, напередъ зналъ, что онъ драться не станетъ. Вотъ, видите ли, Лизавета Богдановна, самолюбія у меня тьма; да жизнь ужъ такая вышла. Таланты тоже не большіе... учился я кой-какъ. Докторъ я плохой, передъ вами мнѣ нечего скрываться, и если вы когда у меня занеможете, не я васъ лѣчить стану. Кабы таланты, да воспитаніе, я бы въ столицу махнулъ. Ну, для здѣшнихъ обывателей, конечно, лучшаго доктора и не надо. Что же касается собственно моего нрава, то я долженъ предувѣдомить васъ, Лизавета Богдановна: дома я угрюмъ, молчаливъ, взыскателенъ; не сержусь, когда мнѣ угождаютъ и услуживаютъ; люблю, чтобы замѣчали мои привычки и вкусно меня кормили; а впрочемъ, я не ревнивъ и не скупъ, и въ моемъ отсутствіи вы можете дѣлать *все, что вамъ* угодно. Объ романтической этакой любви

между нами, вы понимаете, и говорить нечего; а впрочемъ, я воображаю, что со мной еще можно жить подъ одной крышей... Лишь бы мнѣ угождали, да не плакали при мнѣ, этого я терпѣть не могу! А я не придирчивъ. Вотъ вамъ моя исповѣдь. Ну-съ, что вы теперь скажете?

Лизавета Богдановна.

Что мнѣ вамъ сказать, Игнатій Ильичъ... Если вы не очернили себя съ намѣреніемъ...

Шпигельскій.

Да чѣмъ же я себя очернилъ? Вы не забудьте того, что другой бы на моемъ мѣстѣ преспокойно промолчалъ бы о своихъ недостаткахъ, благо вы ничего не замѣтили, а послѣ свадьбы, шалишь, послѣ свадьбы поздно. Но я для этого слишкомъ гордъ. *(Лизавета Богдановна взглядываетъ на него).* Да, да, гордъ... какъ вы ни изволите глядѣть на меня. Я передъ моей будущей женой притворяться и лгать не намѣренъ, не только изъ пятнадцати, изо ста тысячъ; а чужому я изъ-за куля муки низехонько поклонюсь. Таковъ ужъ мой нравъ... Чужому-то я зубы скалю, а внутренно думаю: экой ты болванъ, братецъ, на какую удочку идешь; а съ вами я говорю, что думаю. То-есть, позвольте, и вамъ я не все говорю, что думаю; по крайней мѣрѣ, я васъ не обманываю. Я долженъ вамъ большимъ чудакомъ казаться, точно; да вотъ постойте, я вамъ когда-нибудь разскажу мою жизнь: вы удивитесь, какъ я еще настолько уцѣлѣлъ. Вы тоже, чай, въ дѣтствѣ не на золотѣ ѣли, а все-таки вы, голубушка, не можете себѣ представить, что такое настоящая, заматерѣлая бѣдность... Впрочемъ, это я вамъ все когда-нибудь въ другое время разскажу. А теперь, вотъ, вы лучше обдумайте, что я вамъ имѣлъ честь доложить... Обсудите хорошенько, наединѣ, это дѣльцо, да и сообщите мнѣ ваше рѣшеніе. Вы, сколько я могъ замѣтить, женщина благоразумная. Вы... Кстати, сколько вамъ лѣтъ?

Лизавета Богдановна.

Мнѣ... мнѣ... тридцать лѣтъ.

Шпигельскій *(спокойно).*

А вотъ и не правда: вамъ цѣлыхъ сорокъ.

Лизавета Богдановна *(вспыхнувъ).*

Совсѣмъ не сорокъ, а тридцать-шесть.

Шпигельскій.

Все же не тридцать. Вотъ, и отъ этого вамъ, Лизавета Богдановна, надобно отвыкнуть... тѣмъ болѣе, что замужняя женщина въ тридцать-шесть лѣтъ вовсе не стара. Табакъ тоже вы напрасно нюхаете. *(Вставая).* А дождикъ, кажется, пересталъ.

Лизавета Богдановна *(тоже вставая).*

Да, пересталъ.

Шпигельскій.

Итакъ вы мнѣ на-дняхъ дадите отвѣтъ?

Лизавета Богдановна.

Я вамъ завтра же скажу мое рѣшеніе.

Шпигельскій.

Вотъ, люблю!.. Вотъ, что умно, такъ умно! Ай да Лизавета Богдановна? Ну, дайте жъ мнѣ вашу руку. Пойдемте домой.

Лизавета Богдановна *(отдавая ему свою руку).*

Пойдемте.

Шпигельскій.

А кстати: я не поцѣловалъ ея у васъ... а оно, кажется, требуется... Ну, на этотъ разъ куда ни шло! *(Цѣлуетъ ея руку. Лизавета Богдановна краснѣетъ).* Вотъ, такъ. *(Направляется къ двери сада).*

Лизавета Богдановна *(останавливаясь).*

Такъ вы думаете, Игнатій Ильичъ, что Михайло Александрычъ точно не опасный человѣкъ?

Шпигельскій.

Я думаю.

Лизавета Богдановна.

Знаете ли что, Игнатій Ильичъ? Мнѣ кажется, Наталья Петровна съ нѣкоторыхъ поръ... мнѣ кажется, что г-нъ Бѣляевъ... Она обращаетъ на него вниманіе... а? Да и Вѣрочка, какъ вы думаете? Ужъ не отъ этого ли сегодня...

Шпигельскій *(перебивая ее).*

Я забылъ вамъ еще одно сказать, Лизавета Богдановна. Я самъ ужасно любопытенъ, а любопытныхъ женщинъ терпѣть не могу. То-есть, я объясняюсь: по-моему жена должна быть любопытна и наблюдательна (это даже очень полезно для ея мужа), только съ другими... Вы понимаете меня: съ другими. Впрочемъ, если вамъ непремѣнно хочется знать мое мнѣніе насчетъ Натальи Петровны, Вѣры Александровны, г-на Бѣляева и вообще здѣшнихъ жителей, слушайте же, я вамъ спою пѣсенку. У меня голосъ прескверный, да вы не взыщите.

Лизавета Богдановна *(съ удивленіемъ).*

Пѣсенку!

Шпигельскій.

Слушайте! Первый куплетъ:

Жилъ-былъ у бабушки сѣренькій козликъ,
Жилъ-былъ у бабушки сѣренькій козликъ,
Фить какъ! вотъ какъ! сѣренькій козликъ!
Фить какъ! вотъ какъ! сѣренькій козликъ!

Второй куплетъ:

Вздумалось козлику въ лѣсъ погулять,
Вздумалось козлику въ лѣсъ погулять,
Фить какъ! вотъ какъ! въ лѣсъ погулять!
Фить какъ! вотъ какъ! въ лѣсъ погулять!

Лизавета Богдановна.

Но я, право, не понимаю...

Шпигельскій.

Слушайте же! Третій куплетъ:

Сѣрые во-олки козлика съѣли,
Сѣрые во-олки козлика съѣли, *(подпрыгивая)*
Фить какъ! вотъ какъ! козлика съѣли!
Фить какъ! вотъ какъ! козлика съѣли!

А теперь пойдемте. Мнѣ же, кстати, нужно съ Натальей Петровной потолковать. Авось не укуситъ. Если я не ошибаюсь, я ей еще нуженъ. Пойдемте. *(Уходятъ въ садъ).*

Катя *(осторожно выходя изъ-за колонны).*

Насилу-то ушли! Экой этотъ лѣкарь злющій... говорилъ, говорилъ, что говорилъ! А ужъ поетъ-то какъ? Боюсь я,

какъ бы тѣмъ временемъ Алексѣй Николаичъ домой не вернулся... И нужно жъ имъ было именно сюда придти! *(Подходитъ къ окну).* А Лизавета Богдановна лѣкаршей будетъ... *(Смѣясь).* Вишь, какая... Ну, да я ей не завидую... *(Выглядываетъ изъ окна).* Какъ трава словно обмылась... какъ хорошо пахнетъ... Это отъ черемухи такъ пахнетъ. А, да вотъ онъ идетъ. *(Подождавъ).* Алексѣй Николаичъ!.. Алексѣй Николаичъ!

Голосъ Бѣляева *(за кулисами).*

Кто меня зоветъ? А, это ты, Катя? *(Подходитъ къ окну).* Что тебѣ надобно?

Катя.

Войдите сюда... мнѣ вамъ нужно что-то сказать.

Бѣляевъ.

А! изволь. *(Отходитъ отъ окна и черезъ минуту входитъ въ двери).* Вотъ я.

Катя.

Васъ дождикъ не замочилъ?

Бѣляевъ.

Нѣтъ... я въ теплицѣ сидѣлъ съ Потапомъ... что опъ тебѣ дядей, что ли, приходится?

Катя.

Да-съ. Они мнѣ дяденька.

Бѣляевъ.

Какая ты сегодня хорошенькая! *(Катя улыбается и опускаетъ глаза. Онъ достаетъ изъ кармана персикъ).* Хочешь?

Катя *(отказываясь).*

Покорно благодарю... покушайте сами.

Бѣляевъ.

А я развѣ отказался, когда ты мнѣ вчера малины поднесла? Возьми, я для тебя его сорвалъ... право.

Катя.

Ну, благодарствуйте. *(Беретъ персикъ).*

Бѣляевъ.

То-то же. Такъ что жъ ты мнѣ сказать хотѣла?

Катя.

Барышня... Вѣра Александровна, попросила меня... Онѣ желаютъ васъ видѣть.

Бѣляевъ.

А! Ну, я сейчасъ къ ней пойду.

Катя.

Нѣтъ-съ... онѣ сами сюда будутъ. Имъ нужно съ вами переговорить.

Бѣляевъ *(съ нѣкоторымъ изумленіемъ).*

Она хочетъ сюда придти?

Катя.

Да-съ. Здѣсь, знаете ли... Сюда никто не заходитъ. Здѣсь не могутъ помѣшать... *(Вздыхаетъ).* Она васъ очень любитъ, Алексѣй Николаичъ... Она такая добрая. Я схожу теперь за ней, хотите? А вы подождете?

Бѣляевъ.

Конечно, конечно.

Катя.

Сейчасъ... *(Идетъ и останавливается).* Алексѣй Николаичъ, правда ли говорятъ вы отъ насъ уѣзжаете?

Бѣляевъ.

Я? нѣтъ... Кто тебѣ сказалъ?

Катя.

Такъ вы не уѣзжаете? Ну, и слава Богу! *(Съ смущеніемъ).* Мы сейчасъ вернемся. *(Уходитъ въ дверь, ведущую въ домъ).*

Бѣляевъ *(остается на нѣкоторое время неподвижнымъ).*

Это чудеса! чудеса со мной происходятъ. Признаюсь, я всего этого никакъ не ожидалъ... Вѣра меня любитъ... Наталья Петровна это знаетъ... Вѣра сама ей во всемъ созналась... чудеса! Вѣра — такой милый, добрый ребенокъ; но... что значитъ, напримѣръ, эта записка? *(Достаетъ изъ кармана небольшой лоскутокъ бумаги).* Отъ Натальи Петровны... карандашомъ. „Не уѣзжайте, не рѣшайтесь ни на что, пока я съ вами не переговорила". О чемъ она хочетъ говорить со мной? *(Помолчавъ).* Какія глупыя мысли мнѣ приходятъ въ голову! Признаюсь, все это меня чрезвычайно смущаетъ. Если бы кто-нибудь мнѣ

мѣсяцъ тому назадъ сказалъ, что я... я... Я никакъ не могу придти въ себя послѣ этого разговора съ Натальей Петровной. Отчего у меня сердце такъ бьется? И теперь Вѣра, вотъ, хочетъ меня видѣть... Что я ей скажу! По крайней мѣрѣ, я узнаю, въ чемъ дѣло... Можетъ-быть, Наталья Петровна на меня сердится... Да за что же? *(Разсматриваетъ опять записку).* Это все странно, очень странно. *(Дверь тихонько растворяется. Онъ быстро прячетъ записку. На порогѣ показываются Вѣра и Катя. Онъ подходитъ къ нимъ. Вѣра очень блѣдна, не поднимаетъ глазъ и не трогается съ мѣста).*

Катя.

Не бойтесь, барышня, подойдите къ нему; я буду настороже... Не бойтесь. *(Бѣляеву).* Ахъ, Алексѣй Николаичъ! *(Она закрываетъ окно, уходитъ въ садъ и запираетъ за собою дверь).*

Бѣляевъ.

Вѣра Александровна... вы хотѣли меня видѣть. Подойдите сюда, сядьте вотъ здѣсь. *(Беретъ ее за руку и ведетъ къ скамьѣ. Вѣра садится).* Вотъ, такъ. *(Съ удивленіемъ глядя на нее).* Вы плакали?

Вѣра *(не поднимая глазъ).*

Это ничего... Я пришла просить у васъ прощенія, Алексѣй Николаичъ.

Бѣляевъ.

Въ чемъ?

Вѣра.

Я слышала... у васъ было непріятное объясненіе съ Натальей Петровной... Вы уѣзжаете... Вамъ отказали.

Бѣляевъ.

Кто вамъ это сказалъ?

Вѣра.

Сама Наталья Петровна... Я встрѣтила ее послѣ вашего объясненія съ ней... Она мнѣ сказала, что вы сами не хотите больше оставаться у насъ. Но я думаю, что вамъ отказали.

Бѣляевъ.

Скажите, въ домѣ это знаютъ?

Вѣра.

Нѣтъ... Одна Катя... Я должна была ей сказать... Я хотѣла съ вами говорить, попросить у васъ прощенія. Представьте же теперь, какъ мнѣ должно быть тяжело... Вѣдь я всему причиной, Алексѣй Николаичъ; я одна виновата.

Бѣляевъ.

Вы, Вѣра Александровна?

Вѣра.

Я никакъ не могла ожидать... Наталья Петровна... Впрочемъ, я ее извиняю. Извините меня и вы... Сегодня поутру я была глупымъ ребенкомъ, а теперь... *(Останавливается).*

Бѣляевъ.

Еще ничего не рѣшено, Вѣра Александровна... Я, можетъ-быть, останусь.

Вѣра *(печально).*

Вы говорите, ничего не рѣшено, Алексѣй Николаичъ... Нѣтъ, все рѣшено, все кончено. Вотъ, вы какъ со мной теперь; а помните, еще вчера, въ саду... *(Помолчавъ).* Ахъ, я вижу, Наталья Петровна вамъ все сказала.

Бѣляевъ *(съ смущеніемъ).*

Вѣра Александровна...

Вѣра.

Она вамъ все сказала, я это вижу... Она хотѣла поймать меня, и я, глупая, такъ и бросилась въ ея сѣти... Но и она выдала себя... Я, все-таки, не такой уже ребенокъ. *(Понизивъ голосъ).* О, нѣтъ!

Бѣляевъ.

Что вы хотите сказать?

Вѣра *(взглянувъ на него).*

Алексѣй Николаичъ, точно ли вы сами хотѣли оставить насъ?

Бѣляевъ.

Да.

Вѣра.

Отчего? *(Бѣляевъ молчитъ).* Вы мнѣ не отвѣчаете?

Бѣляевъ.

Вѣра Александровна, вы не ошиблись... Наталья Петровна мнѣ все сказала.

Вѣра *(слабымъ голосомъ).*

Что, напримѣръ?

Бѣляевъ.

Вѣра Александровна... Мнѣ, право, невозможно... Вы меня понимаете.

Вѣра.

Она вамъ, можетъ-быть, сказала, что я васъ люблю?

Бѣляевъ *(нерѣшительно).*

Да.

Вѣра *(быстро).*

Да это неправда...

Бѣляевъ *(съ смущеніемъ).*

Какъ!..

Вѣра *(закрываетъ лицо руками и глухо шепчетъ сквозъ пальцы).*

Я, по крайней мѣрѣ, ей этого не сказала, я не помню... *(Поднимая голову).* О, какъ жестоко она поступила со мной! И вы... вы отъ этого хотите уѣхать?

Бѣляевъ.

Вѣра Александровна, посудите сами...

Вѣра *(взглянувъ на него).*

Опъ меня не любитъ! *(Опять закрываетъ лицо).*

Бѣляевъ *(садится подлѣ нея и беретъ ея руки).*

Вѣра Александровна, дайте мнѣ вашу руку... Послушайте, между нами не должно быть недоразумѣній. Я люблю васъ, какъ сестру; я люблю васъ, потому что васъ нельзя не любить. Извините меня, если я... Я отъ роду не былъ въ такомъ положеніи... Я бы не желалъ оскорбить васъ... Я не стану притворяться передъ вами; я знаю, что я вамъ понравился, что вы меня полюбили... Но посудите сами, что изъ этого можетъ выйти? Мнѣ всего двадцать лѣтъ, за мной гроша нѣту. Пожалуйста, не сердитесь на меня. Я, право, не знаю, что̀ вамъ *сказать.*

Вѣра *(отнимая руки отъ лица и глядя на него).*

И какъ будто я что-нибудь требовала, Боже мой! Но зачѣмъ же такъ жестоко, такъ немилосердно... *(Она останавливается).*

Бѣляевъ.

Вѣра Александровна, я не желалъ огорчить васъ.

Вѣра.

Я васъ не обвиняю, Алексѣй Николаичъ. Въ чемъ вы виноваты? Виновата одна я... За то и наказана! Я и ее не обвиняю; я знаю, она добрая женщина, но она не могла переломить себя... Она потерялась.

Бѣляевъ *(съ недоумѣніемъ).*

Потерялась?

Вѣра *(оборачиваясь къ нему).*

Наталья Петровна васъ любитъ, Бѣляевъ.

Бѣляевъ.

Какъ?

Вѣра.

Она влюблена въ васъ.

Бѣляевъ.

Что вы говорите?

Вѣра.

Я знаю, что я говорю. Сегодняшній день меня состарѣлъ... Я не ребенокъ больше, повѣрьте. Она вздумала ревновать... ко мнѣ! *(Съ горькой улыбкой).* Какъ вамъ это кажется?

Бѣляевъ.

Да это быть не можетъ!

Вѣра.

Не можетъ быть... Но зачѣмъ же она вдругъ вздумала выдать меня за этого господина, какъ бишь его, за Большинцова? Зачѣмъ подсылала ко мнѣ доктора, зачѣмъ сама уговаривала меня? О, я знаю, что я говорю! Если бъ вы могли видѣть, Бѣляевъ, какъ у ней все лицо перемѣнилось, когда я ей сказала... О, вы не можете вообразить, какъ хитро, какъ лукаво она выманивала у меня это сознаніе... Да, она васъ любитъ; это слишкомъ ясно...

Бѣляевъ.

Вѣра Александровна, вы ошибаетесь, увѣряю васъ.

Вѣра.

Нѣтъ, я не ошибаюсь. Повѣрьте мнѣ: я не ошибаюсь. Если она васъ не любитъ, зачѣмъ же она меня такъ истерзала? Что я ей сдѣлала? *(Горько).* Ревность все извиняетъ. Да что и говорить!.. И теперь, вотъ, зачѣмъ она вамъ отказываетъ? Она думаетъ, что вы... что мы съ вами... О, она можетъ успокоиться! Вы можете остаться! *(Закрываетъ лицо руками).*

Бѣляевъ.

Она до сихъ поръ мнѣ не отказала, Вѣра Александровна... Я вамъ уже сказывалъ, что еще ничего не рѣшено...

Вѣра *(вдругъ поднимаетъ голову и глядитъ на него).*

Въ самомъ дѣлѣ?

Бѣляевъ.

Да... но зачѣмъ вы такъ смотрите на меня?

Вѣра *(словно про себя).*

А! я понимаю... Да, да... она сама еще надѣется... *(Дверь изъ коридора быстро растворяется, и на порогъ показывается Наталья Петровна. Она останавливается при видѣ Вѣры и Бѣляева).*

Бѣляевъ.

Что вы говорите?

Вѣра.

Да, теперь мнѣ все ясно... Она опомнилась, она поняла, что я ей не опасна! и въ самомъ дѣлѣ, что я такое? Глупая дѣвчонка, а она!

Бѣляевъ.

Вѣра Александровна, какъ вы можете думать...

Вѣра.

Да и наконецъ, кто знаетъ? Можетъ-быть, она права... можетъ-быть, вы ее любите...

Бѣляевъ.

Я?

Вѣра *(вставая).*

Да, вы; отчего вы краснѣете?

Бѣляевъ.

Я, Вѣра Александровна?

Вѣра.

Вы ее любите, вы можете ее полюбить?.. Вы не отвѣчаете на мой вопросъ?

Бѣляевъ.

Но помилуйте, что вы хотите, чтобы я отвѣчалъ вамъ? Вѣра Александровна, вы такъ взволнованы... Успокойтесь ради Бога...

Вѣра *(отворачиваясь отъ него).*

О, вы обращаетесь со мной, какъ съ ребенкомъ... Вы даже не удостоиваете меня серьёзнаго отвѣта... Вы, просто, желаете отдѣлаться... Вы меня утѣшаете! *(Хочетъ уйти, но вдругъ останавливается при видѣ Натальи Петровны).* Наталья Петровна... *(Бѣляевъ быстро оглядывается).*

Наталья Петровна *(дѣлая нѣсколько шаговъ впередъ).*

Да, я. *(Она говоритъ съ нѣкоторымъ усиліемъ).* Я пришла за тобой, Вѣрочка.

Вѣра *(медленно и холодно).*

Почему вамъ вздумалось именно сюда придти? Вы, стало-быть, меня искали?

Наталья Петровна.

Да, я тебя искала. Ты неосторожна, Вѣрочка... Уже не разъ я тебѣ говорила... И вы, Алексѣй Николаичъ, вы забыли ваше обѣщаніе... Вы меня обманули.

Вѣра.

Да полноте же, наконецъ, Наталья Петровна, перестаньте! *(Наталья Петровна съ изумленіемъ глядитъ на нее).* Полно вамъ говорить со мной, какъ съ ребенкомъ... *(Понизивъ голосъ).* Я женщина съ сегодняшняго дня... Я такая же женщина, какъ вы.

Наталья Петровна *(съ смущеніемъ).*

Вѣра...

Вѣра *(почти шопотомъ).*

Онъ васъ не обманулъ... Не онъ искалъ этого свиданія со мной. Вѣдь онъ меня не любитъ, вы это знаете, вамъ нечего ревновать.

Наталья Петровна *(съ возрастающимъ изумленіемъ).* Вѣра!

Вѣра.

Повѣрьте мнѣ... не хитрите больше. Эти хитрости теперь ужъ ни къ чему не служатъ... Я ихъ насквозь вижу теперь. Повѣрьте. Я, Наталья Петровна, для васъ не воспитанница, за которой вы наблюдаете *(съ ироніей)*, какъ старшая сестра... *(Пододвигается къ ней).* Я для васъ соперница.

Наталья Петровна.

Вѣра, вы забываетесь...

Вѣра.

Можетъ-быть... но кто меня до этого довелъ? Я сама не понимаю, откуда у меня берется смѣлость такъ говорить съ вами... Можетъ-быть, я говорю такъ оттого, что я ни на что болѣе не надѣюсь, оттого, что вамъ угодно было растоптать меня... И вамъ это удалось... совершенно. Но, слушайте: я не намѣрена лукавить съ вами, какъ вы со мной... знайте: я ему *(указывая на Бѣляева)* все сказала.

Наталья Петровна.

Что вы могли ему сказать?

Вѣра.

Что? *(Съ ироніей).* Да все то, что мнѣ удалось замѣтить. Вы надѣялись изъ меня все вывѣдать, не выдавши самой себя. Вы ошиблись, Наталья Петровна. Вы слишкомъ разсчитывали на свои силы.

Наталья Петровна.

Вѣра, Вѣра, опомнитесь...

Вѣра *(шопотомъ и еще ближе пододвинувшись къ ней).* Скажите же мнѣ, что я ошибаюсь... Скажите мнѣ, что вы его не любите... Сказалъ же онъ мнѣ, что онъ меня не любитъ! *(Наталья Петровна въ смущеніи молчитъ. Вѣра остается нѣкоторое время неподвижной и вдругъ прикладываетъ руку ко лбу).* Наталья Петровна, простите меня... я... сама не знаю... что со мною, простите меня, будьте снисходительны... *(Заливается слезами и быстро уходитъ въ дверь коридора. Молчаніе).*

Бѣляевъ *(подходя къ Натальѣ Петровнѣ).*

Я могу васъ увѣрить, Наталья Петровна...

Наталья Петровна *(неподвижно глядя на полъ, протягиваетъ руку въ его направленіи).*

Остановитесь, Алексѣй Николаичъ. Точно... Вѣра права... Пора... пора перестать мнѣ хитрить. Я виновата передъ ней, передъ вами — вы въ правѣ презирать меня. *(Бѣляевъ дѣлаетъ невольное движеніе.)* Я унизилась въ собственныхъ глазахъ. Мнѣ остается одно средство снова заслужить ваше уваженіе: откровенность, полная откровенность, какія бы ни были послѣдствія. Притомъ, я васъ вижу въ послѣдній разъ, я въ послѣдній разъ говорю съ вами. Я люблю васъ. *(Она все глядитъ на него.)*

Бѣляевъ.

Вы, Наталья Петровна!..

Наталья Петровна.

Да, я. Я васъ люблю. Вѣра не обманулась, и не обманула васъ. Я полюбила васъ съ перваго дня вашего пріѣзда, но сама узнала объ этомъ со вчерашняго дня. Я не намѣрена оправдывать мое поведеніе... Оно было недостойно меня... но, по крайней мѣрѣ, вы теперь можете понять, можете извинить меня. Да, я ревновала къ Вѣрѣ; да, я мысленно выдавала ее за Большинцова, для того, чтобы удалить ее отъ себя и отъ васъ; да, я воспользовалась преимуществомъ моихъ лѣтъ, моего положенія, чтобы выпѣдать ея тайну, и — конечно, я этого не ожидала—и сама себя выдала. Я васъ люблю, Бѣляевъ; но знайте: одна гордость вынуждаетъ у меня это признаніе... комедія, разыгрываемая мною до сихъ поръ, меня возмутила, наконецъ. Вы не можете оставаться здѣсь... Впрочемъ, послѣ того, что я вамъ сейчасъ сказала, вамъ, вѣроятно, въ моемъ присутствіи будетъ очень неловко, и вы сами захотите какъ можно скорѣе удалиться отсюда. Я въ этомъ увѣрена. Эта увѣренность придала мнѣ смѣлость. Я, признаюсь, не хотѣла, чтобы вы унесли дурное воспоминаніе обо мнѣ. Теперь вы все знаете... Я, можетъ-быть, помѣшала вамъ... можетъ-быть, если бъ все это не случилось, вы бы полюбили Вѣрочку... У меня только

одно извиненіе, Алексѣй Николаичъ... Все это не было въ моей власти. *(Она умолкаетъ. Она все это говоритъ довольно ровнымъ и спокойнымъ голосомъ, не глядя на Бѣляева. Онъ молчитъ. Она продолжаетъ съ нѣкоторымъ волненіемъ, все не глядя на него.)* Вы мнѣ не отвѣчаете?.. Впрочемъ, я это понимаю. Вамъ нечего мнѣ сказать. Положеніе человѣка, который не любитъ, и которому объясняются въ любви, слишкомъ тягостно. Я благодарю васъ за ваше молчаніе. Повѣрьте, когда я вамъ сказала... что я люблю васъ, я не хитрила... попрежнему; я ни на что не разсчитывала; напротивъ: я хотѣла сбросить, наконецъ, съ себя личину, къ которой, могу васъ увѣрить, я не привыкла... Да и, наконецъ, къ чему еще жеманиться и лукавить, когда все извѣстно; къ чему еще притворяться, когда даже некого обманывать? Все кончено теперь между нами. Я васъ болѣе не удерживаю. Вы можете уйти отсюда, не сказавши мнѣ ни слова, не простившись даже со мной. Я не только не сочту это за невѣжливость, напротивъ—я вамъ буду благодарна. Есть случаи, въ которыхъ деликатность неумѣстна... хуже грубости. Видно, намъ не было суждено узнать другъ друга. Прощайте. Да, намъ не было суждено узнать другъ друга... но, по крайней мѣрѣ, я надѣюсь, что теперь я въ вашихъ глазахъ перестала быть тѣмъ притѣснительнымъ, скрытнымъ и хитрымъ существомъ... Прощайте, навсегда. *(Бѣляевъ въ волненьи хочетъ что-то сказать и не можетъ.)* Вы не уходите?

Бѣляевъ *(кланяется, хочетъ уйти и послѣ нѣкоторой борьбы съ самимъ собою возвращается).*

Нѣтъ, я не могу уйти... *(Наталья Петровна въ первый разъ взглядываетъ на него.)* Я не могу уйти такъ!.. Послушайте, Наталья Петровна, вы, вотъ, сейчасъ мнѣ сказали... вы не желаете, чтобы я унесъ невыгодное воспоминаніе объ васъ, но я и не хочу, чтобы и вы вспомнили обо мнѣ, какъ о человѣкѣ, который... Боже мой! Я не знаю какъ выразиться... Наталья Петровна, извините меня... Я не умѣю говорить съ дамами... Я до сихъ поръ зналъ... *совсѣмъ* не такихъ женщинъ. Вы говорите, что намъ не

было суждено узнать другъ друга; но помилуйте, могъ ли я, простой, почти необразованный мальчикъ, могъ ли я даже думать о сближеніи съ вами? Вспомните, кто вы и кто я! Вспомните, могъ ли я смѣть подумать... Съ вашимъ воспитаніемъ... Да что я говорю о воспитаніи... Взгляните на меня... этотъ старый сюртукъ, и ваши нахучія платья... Помилуйте! Ну, да! я боялся васъ, я и теперь боюсь васъ... Я, безъ всякихъ преувеличеній, глядѣлъ на васъ, какъ на существо высшее, и между тѣмъ... вы, вы говорите мнѣ, что вы меня любите... вы, Наталья Петровна! Меня!.. Я чувствую, сердце во мнѣ бьется, какъ отъ роду не билось; оно бьется не отъ одного изумленія, не самолюбіе во мнѣ польщено... гдѣ!.. не до самолюбія теперь... Но я... я не могу уйти такъ, воля ваша!

Наталья Петровна (*помолчавъ, словно про себя*).

Что я сдѣлала!

Бѣляевъ.

Наталья Петровна, ради Бога, повѣрьте...

Наталья Петровна (*измѣненнымъ голосомъ*).

Алексѣй Николаичъ, если бъ я не знала васъ за человѣка благороднаго, за человѣка, которому ложь недоступна, я бы могла Богъ знаетъ что подумать. Я бы, можетъ-быть, раскаялась въ своей откровенности. Но я вѣрю вамъ. Я не хочу скрывать передъ вами мои чувства: я благодарна вамъ за то, что вы мнѣ сейчасъ сказали. Я теперь знаю, почему мы не сошлись... Стало-быть, собственно во мнѣ ничего васъ не отталкивало... Одно мое положеніе... (*Останавливается.*) Все къ лучшему, конечно... но мнѣ теперь легче будетъ разстаться съ вами... Прощайте. (*Хочетъ уйти.*)

Бѣляевъ (*помолчавъ*).

Наталья Петровна, я знаю, что мнѣ нельзя здѣсь оставаться... но я не могу передать вамъ всего, что во мнѣ происходитъ. Вы меня любите... мнѣ даже страшно выговорить эти слова... все это для меня такъ ново... мнѣ кажется, я васъ вижу, слышу васъ въ первый разъ, но я чувствую одно: мнѣ необходимо уѣхать... я чувствую, что я ни за что отвѣчать не могу...

Наталья Петровна (*слабымъ голосомъ*).

Да, Бѣляевъ, вы должны уѣхать... Теперь, послѣ этого объясненья, вы можете уѣхать... И неужели же точно, несмотря на все, что я сдѣлала... О, повѣрьте, если бъ я могла хоть отдаленно подозрѣвать все то, что вы мнѣ теперь сказали—это признанiе, Бѣляевъ, оно бы умерло во мнѣ... Я хотѣла только прекратить всѣ недоразумѣнiя, я хотѣла покаяться, наказать себя, я хотѣла разомъ перервать послѣднюю нить. Если бъ я могла себѣ представить... (*Она закрываетъ себѣ лицо.*)

Бѣляевъ.

Я вамъ вѣрю, Наталья Петровна, я вѣрю вамъ. Да я самъ, за четверть часа... развѣ я воображалъ... Я только сегодня, во время нашего послѣдняго свиданья передъ обѣдомъ, въ первый разъ почувствовалъ что-то необыкновенное, небывалое, словно чья-то рука мнѣ стиснула сердце, и такъ горячо стало въ груди... Я, точно, прежде какъ будто чуждался, какъ будто даже не любилъ васъ; но, когда вы мнѣ сказали сегодня, что Вѣрѣ Александровнѣ показалось... (*Останавливается.*)

Наталья Петровна (*съ невольной улыбкой счастья на губахъ*).

Полноте, полноте, Бѣляевъ; намъ не объ этомъ должно думать. Намъ не должно забывать, что мы говоримъ другъ съ другомъ въ послѣдній разъ... что вы завтра уѣзжаете...

Бѣляевъ.

О, да! я завтра же уѣду! Теперь я еще могу уѣхать... Все это пройдетъ... Вы видите, я не хочу преувеличивать... Я ѣду... а тамъ, что Богъ дастъ! Я унесу съ собой одно воспоминанье, я вѣчно буду помнить, что вы меня полюбили... Но какъ же это я до сихъ поръ не узналъ васъ? Вотъ, вы смотрите на меня теперь... Неужели я когда-нибудь старался избѣгать вашего взгляда.. Неужели я когда-нибудь робѣлъ въ вашемъ присутствiи?

Наталья Петровна (*съ улыбкой*).

Вы сейчасъ мнѣ сказали, что вы боитесь меня.

Бѣляевъ.

Я? (*Помолчавъ.*) Точно... Я самъ себѣ удивляюсь... Я, я такъ смѣло говорю съ вами? Я себя не узнаю.

Наталья Петровна.

И вы не обманываетесь?..

Бѣляевъ.

Въ чемъ?

Наталья Петровна.

Въ томъ, что вы меня... (*Вздрагивая.*) О, Боже, что я дѣлаю... Послушайте, Бѣляевъ... Придите ко мнѣ на помощь... Ни одна женщина не находилась еще въ подобномъ положеніи. Я не въ силахъ больше, право... Можетъ-быть, оно такъ къ лучшему, все разомъ прекращено, но мы, по крайней мѣрѣ, узнали другъ друга... Дайте мнѣ руку—и прощайте навсегда.

Бѣляевъ (*беретъ ее за руку*).

Наталья Петровна... я не знаю, что вамъ сказать на прощанье... сердце у меня такъ полно... Дай вамъ Богъ... (*Останавливается и прижимаетъ ея руку къ губамъ.*) Прощайте. (*Хочетъ уйти въ садовую дверь.*)

Наталья Петровна (*глядя ему вслѣдъ*).

Бѣляевъ...

Бѣляевъ (*оборачиваясь*).

Наталья Петровна...

Наталья Петровна (*помолчавъ нѣкоторое время, слабымъ голосомъ*).

Останьтесь...

Бѣляевъ.

Какъ?..

Наталья Петровна.

Останьтесь, и пусть Богъ насъ разсудитъ! (*Она прячетъ голову въ руки.*)

Бѣляевъ (*быстро подходитъ къ ней и протягиваетъ къ ней руки*).

Наталья Петровна... (*Въ это мгновеніе дверь изъ сада растворяется, и на порогѣ показывается Ракитинъ. Онъ нѣкоторое время глядитъ на обоихъ и вдругъ подходитъ къ нимъ.*)

Ракитинъ (*громко*).

А васъ вездѣ ищутъ, Наталья Петровна... (*Наталья Петровна и Бѣляевъ оглядываются.*)

Наталья Петровна (*отнимая руки отъ лица и словно приходя въ себя*).

А, это вы... Кто меня ищетъ? (*Бѣляевъ, смущенный, кланяется Натальѣ Петровнѣ и хочетъ уйти.*) Вы уходите, Алексѣй Николаичъ... не забудьте же, вы знаете... (*Онъ вторично кланяется ей и уходитъ въ садъ.*)

Ракитинъ.

Аркадій васъ ищетъ... Признаюсь, я не ожидалъ найти васъ здѣсь... но, проходя мимо...

Наталья Петровна (*съ улыбкой*).

Вы услышали наши голоса... Я встрѣтила здѣсь Алексѣя Николаича... и имѣла съ нимъ большое объясненіе... Сегодня, видно, день объясненій; но теперь мы можемъ пойти домой... (*Хочетъ уйти въ дверь коридора.*)

Ракитинъ (*съ нѣкоторымъ волненіемъ*).

Могу узнать... какое рѣшеніе...

Наталья Петровна (*притворяясь удивленной*).

Какое рѣшеніе?.. Я васъ не понимаю.

Ракитинъ (*долго помолчавъ, печально*).

Въ такомъ случаѣ, я все понимаю.

Наталья Петровна.

Ну, такъ и есть... Опять таинственные намеки! Ну, да, я объяснилась съ нимъ, и теперь все опять пришло въ порядокъ... Это пустяки были, преувеличенья... Все, о чемъ мы говорили съ вами, все это ребячество. Это слѣдуетъ теперь позабыть.

Ракитинъ.

Я васъ не разспрашиваю, Наталья Петровна.

Наталья Петровна (*съ принужденной развязностью*).

Что, бишь, я хотѣла сказать вамъ... Не помню. Все равно. Пойдемте. Все это кончено... все прошло.

Ракитинъ (*пристально поглядѣвъ на нее*).

Да, все кончено. Какъ вамъ, должно-быть, теперь досадно на себя... за вашу сегодняшнюю откровенность... (*Она отворачивается.*)

Наталья Петровна.

Ракитинъ... (*Онъ опять взглядываетъ на нее; она, видимо, не знаетъ, что сказать*). Вы еще не говорили съ Аркадіемъ?

Ракитинъ.

Никакъ нѣтъ-съ... Я еще не успѣлъ приготовиться... Вы понимаете, надобно что-нибудь сочинить...

Наталья Петровна.

Какъ это несносно! Чего они отъ меня хотятъ? Слѣдятъ за мной на каждомъ шагу. Ракитинъ, мнѣ, право, совѣстно предъ вами...

Ракитинъ.

О, Наталья Петровна, не извольте безпокоиться... Къ чему? Все это въ порядкѣ вещей. Но какъ замѣтно, что онъ Бѣляевъ еще новичокъ! И къ чему это онъ такъ смѣшался, убѣжалъ... Впрочемъ, современемъ... (*вполголоса и хоро*) вы оба научитесь притворяться... (*Громко*). Пойдемте. *Наталья Петровна хочетъ подойти къ нему и останавливается. Въ это мгновенье за дверью сада раздается голосъ Ислаева: «Онъ сюда пошелъ, вы говорите?» и вслѣдъ затѣмъ входятъ Ислаевъ и Шпигельскій*).

Ислаевъ.

Точно... вотъ онъ. Ба, ба, ба! Да и Наталья Петровна тутъ же! (*Подходя къ ней*). Что это? продолженіе сегодняшняго объясненія? Видно, предметъ важный.

Ракитинъ.

Я встрѣтилъ здѣсь Наталью Петровну...

Ислаевъ.

Встрѣтилъ? (*Оглядывается*). Какое проходное мѣсто, подумаешь!

Наталья Петровна.

Да зашелъ же ты сюда...

Ислаевъ.

Я зашелъ сюда потому... (*Останавливается*).

Наталья Петровна.

Ты меня искалъ?

Ислаевъ *(помолчавъ)*.

Да, я искалъ тебя. Не хочешь ли ты вернуться д
Чай уже готовъ. Скоро смеркнется.

Наталья Петровна *(беретъ его руку)*.

Пойдемъ.

Ислаевъ *(оглядываясь)*.

А изъ этихъ сѣней можно сдѣлать двѣ хорошія
наты для садовниковъ, или другую людскую, какъ
лагаете, Шпигельскій?

Шпигельскій.

Разумѣется.

Ислаевъ.

Пойдемъ садомъ, Наташа. *(Идетъ въ садовую дверь
въ теченіе всей этой сцены ни разу не взглянулъ на
тина. На порогѣ онъ оборачивается до половины)*.
пода, что же вы? Пойдемте чай пить. *(Уходитъ с
тальей Петровной)*.

Шпигельскій *(Ракитину)*.

Что жъ, Михайло Александрычъ, пойдемте...
мнѣ руку... Видно, намъ съ вами суждено состоя
арьергардѣ...

Ракитинъ *(съ сердцемъ)*.

Ахъ, господинъ докторъ, вы, позвольте вамъ ск
вы мнѣ очень надоѣли...

Шпигельскій *(съ притворнымъ добродушіемъ)*.

А ужъ себѣ-то какъ я надоѣлъ, Михайло Александ
если бъ вы знали! *(Ракитинъ невольно улыбается)*.
демте, пойдемте... *(Оба уходятъ въ дверь сада)*.

ДѢЙСТВІЕ ПЯТОЕ.

Та же декорація, какъ въ первомъ и третьемъ дѣйствіяхъ.
За столомъ сидитъ Ислаевъ и разсматриваетъ бумаги. Онъ в
встаетъ.

Ислаевъ.

Нѣтъ! рѣшительно не могу сегодня заниматься. С
гвоздь засѣлъ мнѣ въ голову. *(Прохаживается)*.
знаюсь, я этого не ожидалъ; я не ожидалъ, что я

тревожиться... какъ теперь тревожусь. Какъ тутъ поступить?.. вотъ въ чемъ задача. *(Задумывается и вдругъ кричитъ).* Матвѣй!

Матвѣй *(входя).*

Что̀ прикажете?

Ислаевъ.

Старосту мнѣ позвать... Да копачамъ на плотинѣ вели подождать меня... Ступай.

Матвѣй.

Слушаю-съ. *(Уходитъ).*

Ислаевъ *(подходя опять къ столу и перелистывая бумаги).*

Да... задача!

Анна Семеновна *(входитъ и приближается къ Ислаеву).*

Аркаша...

Ислаевъ.

А! это вы, маменька. Какъ ваше здоровье?

Анна Семеновна *(садясь на диванъ).*

Я здорова, слава Богу. *(Вздыхаетъ).* Я здорова. *(Вздыхаетъ еще громче).* Слава Богу. *(Видя, что Ислаевъ не слушаетъ ее, вздыхаетъ очень сильно, съ легкимъ стономъ).*

Ислаевъ.

Вы вздыхаете... что̀ съ вами?

Анна Семеновна *(опять вздыхаетъ, но уже легче).*

Ахъ, Аркаша, какъ будто ты не знаешь, о чемъ я вздыхаю!

Ислаевъ.

Что̀ вы хотите сказать?

Анна Семеновна *(помолчавъ).*

Я мать твоя, Аркаша. Конечно, ты человѣкъ уже взрослый, съ разсудкомъ; но все же — я твоя мать. Великое слово: мать!

Ислаевъ.

Объяснитесь, пожалуйста.

Анна Семеновна.

Ты знаешь, на что̀ я намекаю, другъ мо̀й. Твоя жена, Наташа... конечно, она прекрасная женщина — и поведе-

ніе ея до сихъ поръ было самое примѣрное... но она еще такъ молода, Аркаша! А молодость...

Ислаевъ.

Я понимаю, что̀ вы хотите сказать... Вамъ кажется, что ея отношенія съ Ракитинымъ...

Анна Семеновна.

Сохрани Богъ! Я вовсе не думала.

Ислаевъ.

Вы мнѣ не дали договорить... Вамъ кажется, что ея отношенія съ Ракитинымъ не совсѣмъ... ясны. Эти таинственные разговоры, эти слезы — все это вамъ кажется страннымъ.

Анна Семеновна.

А что̀, Аркаша, сказалъ онъ тебѣ, наконецъ, о чемъ это у нихъ были разговоры?.. Мнѣ онъ ничего не сказалъ.

Ислаевъ.

Я, маменька, его не разспрашивалъ, а онъ, повидимому, не слишкомъ торопится удовлетворить мое любопытство.

Анна Семеновна.

Такъ что жъ ты намѣренъ теперь сдѣлать?

Ислаевъ.

Я, маменька? Да ничего.

Анна Семеновна.

Какъ ничего?

Ислаевъ.

Да такъ же, ничего.

Анна Семеновна *(вставая)*.

Признаюсь, это меня удивляетъ. Конечно, ты въ своемъ домѣ хозяинъ и лучше меня знаешь, что̀ хорошо и что̀ дурно. Однако, подумай, какія послѣдствія...

Ислаевъ.

Маменька, право, вы напрасно изволите тревожиться.

Анна Семеновна.

Другъ мой, вѣдь я мать... а впрочемъ, какъ знаешь. (*Помолчавъ*). Я, признаюсь, пришла-было къ тебѣ съ намѣреніемъ предложить свое посредничество...

Ислаевъ *(съ живостью)*.

Нѣтъ, ужъ на этотъ счетъ я долженъ просить васъ, маменька, не безпокоиться... Сдѣлайте одолженіе!

Анна Семеновна.

Какъ хочешь, Аркаша, какъ хочешь. Я впередъ уже ни слова не скажу. Я тебя предупредила, долгъ исполнила, а теперь—какъ воды въ ротъ набрала. *(Небольшое молчаніе)*.

Ислаевъ.

Вы сегодня никуда не выѣзжаете?

Анна Семеновна.

А только я должна предупредить тебя: ты слишкомъ довѣрчивъ, дружокъ мой, обо всѣхъ по себѣ судишь! Повѣрь мнѣ: настоящіе друзья слишкомъ рѣдки въ ваше время!

Ислаевъ *(съ нетерпѣніемъ)*.

Маменька...

Анна Семеновна.

Ну—молчу, молчу! Да и гдѣ мнѣ, старухѣ! Чай, изъ ума выжила!—И воспитана я была въ другихъ правилахъ—и сама старалась тебѣ внушить... Ну, ну, занимайся, я мѣшать не буду... Я уйду. *(Идетъ къ двери и останавливается)*. Стало-быть?.. Ну, какъ знаешь, какъ знаешь! *(Уходитъ)*.

Ислаевъ *(глядя ей вслѣдъ)*.

Что за охота людямъ, которые дѣйствительно васъ любятъ, класть поочередно всѣ свои пальцы въ вашу рану? И вѣдь они убѣждены въ томъ, что отъ этого вамъ легче,—вотъ что забавно!—Впрочемъ, я матушку не виню: ея намѣренія, точно, самыя лучшія—да и какъ не подать совѣта?—Но дѣло не въ томъ... *(Садясь)*. Какъ мнѣ поступить? *(Подумавъ, встаетъ)*. Э! чѣмъ проще, тѣмъ лучше!—Дипломатическія тонкости ко мнѣ не идутъ... Я первый въ нихъ запутаюсь. *(Звонитъ. Входитъ Матвѣй)*. Михайло Александрычъ дома—не знаешь?

Матвѣй.

Дома-съ. Я ихъ сейчасъ въ бильярдной видѣлъ.

Ислаевъ.

А! Ну, такъ попроси его ко мнѣ.

Матвѣй.

Слушаю-съ. *(Уходитъ).*

Ислаевъ *(ходя взадъ и впередъ).*

Не привыкъ я къ подобнымъ передрягамъ... Надѣ
что онѣ не будутъ часто повторяться... Я хоть и крѣп
сложенія, а этого не вынесу. *(Кладетъ руку на гр*
Фу!.. *(Изъ залы входитъ Ракитинъ, смущенный).*

Ракитинъ.

Ты меня звалъ?

Ислаевъ.

Да... *(Помолчавъ).* Michel, вѣдь ты у меня въ долг

Ракитинъ.

Я?

Ислаевъ.

А какъ же? Ты развѣ забылъ свое обѣщаніе? Насче
Наташиныхъ слезъ... и вообще... Вотъ, какъ мы вас
матушкой застали, помнишь—ты мнѣ сказалъ, что ме
вами есть тайна, которую ты хотѣлъ объяснить?

Ракитинъ.

Я сказалъ: тайна?

Ислаевъ.

Сказалъ.

Ракитинъ.

Да какая же у насъ можетъ быть тайна?—Былъ у
разговоръ.

Ислаевъ.

О чемъ?—И отчего она плакала?

Ракитинъ.

Ты знаешь, Аркадій... попадаются такія минуты
жизни женщины... самой счастливой...

Ислаевъ.

Ракитинъ, постой, этакъ нельзя. — Я не могу ви
тебя въ такомъ положеніи... Твое замѣшательство
тяготитъ больше, чѣмъ тебя самого. *(Беретъ его за р*
Мы вѣдь старые друзья — ты меня съ дѣтства зна
хитрить я не умѣю—да и ты былъ всегда со мной от

вененъ. Позволь мнѣ предложить тебѣ одинъ вопросъ... Даю напередъ честное слово, что въ искренности твоего отвѣта сомнѣваться не буду. Ты вѣдь любишь мою жену? *(Ракитинъ взглядываетъ на Ислаева).* Ты меня понимаешь, любишь ли ты ее такъ... Ну, словомъ, любишь ли ты мою жену такою любовью, въ которой мужу сознаться... трудно?

Ракитинъ *(помолчавъ, глухимъ голосомъ).*

Да—я люблю твою жену... такой любовью.

Ислаевъ *(тоже помолчавъ).*

Мишель, спасибо за откровенность. Ты благородный человѣкъ.—Ну, однако, что жъ теперь дѣлать? Сядь, обсудимъ-ка это дѣло вдвоемъ. *(Ракитинъ садится. Ислаевъ ходитъ по комнатѣ).* Я Наташу знаю; я знаю ей цѣну... Но и себѣ я цѣну знаю. Я тебя не стою, Michel... не перебивай меня, пожалуйста, — я тебя не стою. Ты умнѣе, лучше, наконецъ, пріятнѣе меня. Я простой человѣкъ. Наташа меня любитъ — я думаю, но у ней есть глаза... ну, словомъ, ты долженъ ей нравиться. И вотъ, что я тебѣ еще скажу: я давно замѣчалъ ваше взаимное расположеніе... Но я въ обоихъ васъ всегда былъ увѣренъ—и пока ничего не выходило наружу... Эхъ! говорить-то я не умѣю! *(Останавливается).* Но послѣ вчерашней сцены, послѣ вашего вторичнаго свиданія вечеромъ—какъ тутъ быть? И хоть бы я одинъ васъ засталъ—а тутъ замѣшались свидѣтели; маменька, этотъ плутъ Шпигельскій... Ну, что ты скажешь, Michel—а?

Ракитинъ.

Ты совершенно правъ, Аркадій.

Ислаевъ.

Не въ томъ вопросъ... а что дѣлать? Я долженъ тебѣ сказать, Michel, что хоть я и простой человѣкъ — а настолько понимаю, что чужую жизнь заѣдать не годится— и что бываютъ случаи, когда на своихъ правахъ настаивать грѣшно. Это я, братъ, не изъ книгъ вычиталъ... совѣсть говоритъ. Дать волю... ну, что жъ? дать волю!— Только это обдумать надо. Это слишкомъ важно.

Ракитинъ *(вставая)*.

Да ужъ я все обдумалъ.

Ислаевъ.

Какъ?

Ракитинъ.

Я должень уѣхать... я уѣзжаю.

Ислаевъ *(помолчавъ)*.

Ты полагаешь?.. Совсѣмъ отсюда вонъ?

Ракитинъ.

Да.

Ислаевъ *(опять начинаетъ ходить взадъ и впередъ)*.

Это... это ты какое слово сказалъ! А, можетъ-быть, ты правъ. Тяжело намъ будетъ безъ тебя... Богъ вѣдаетъ, можетъ, это и къ цѣли не приведетъ... Но тебѣ видней, тебѣ лучше знать. Я полагаю, это ты придумалъ вѣрно. Ты мнѣ опасенъ, братъ... *(Съ грустной улыбкой)*. Да... ты мнѣ опасенъ. Вотъ, я сейчасъ что сказалъ... насчетъ воли-то... А вѣдь, пожалуй, я бы не пережилъ! Мнѣ безъ Наташи быть... *(Машетъ рукой)*. И вотъ что, братъ, еще: съ нѣкоторыхъ поръ, особенно въ эти послѣдніе дни, я вижу въ ней большую перемѣну. Въ ней проявилось какое-то глубокое, постоянное волненіе, которое меня пугаетъ. Неправда ли, я не ошибаюсь?

Ракитинъ *(горько)*.

О, нѣтъ, ты не ошибаешься!

Ислаевъ.

Ну, вотъ, видишь! Стало-быть, ты уѣзжаешь?

Ракитинъ.

Да.

Ислаевъ.

Гм! И какъ это вдругъ стряслось! И нужно же тебѣ было такъ смѣшаться, когда мы съ матушкой застали васъ...

Матвѣй *(входя)*.

Староста пришелъ-съ.

Ислаевъ.

Пусть подождетъ! *(Матвѣй уходитъ)*. Michel, однако, ты не надолго уѣзжаешь? Ужъ это, братъ, пустяки!

Ракитинъ.

Не знаю, право... Я думаю... надолго.

Ислаевъ.

Да ты меня ужъ не принимаешь ли за Отелло за какого-нибудь? Право, съ тѣхъ поръ какъ свѣтъ стоитъ, я думаю, такого разговора не было между двумя друзьями! Не могу же я такъ съ тобой разстаться...

Ракитинъ *(пожимая ему руку)*.

Ты меня увѣдомишь, когда мнѣ можно будетъ воротиться.

Ислаевъ.

Вѣдь тебя здѣсь замѣнить некому! Не Большинцовъ же, въ самомъ дѣлѣ!

Ракитинъ.

Тутъ есть другіе...

Ислаевъ.

Кто? Криницынъ? Фатъ этотъ? Бѣляевъ, конечно, добрый малый... но вѣдь ему до тебя, какъ до звѣзды небесной!

Ракитинъ *(язвительно)*.

Ты думаешь? Ты его не знаешь, Аркадій... Ты обрати на него вниманіе... Совѣтую тебѣ... Слышишь? Онъ очень... очень замѣчательный человѣкъ!

Ислаевъ.

Ба! То-то вы все съ Наташей хотѣли его воспитаньемъ заняться! *(Глянувъ въ дверь)*. А! да вотъ и онъ, кажется, сюда идетъ... *(Поспѣшно)*. И такъ, милый мой, это рѣшено — ты уѣзжаешь... на короткое время... на этихъ дняхъ... Спѣшить не къ чему — нужно Наташу приготовить... Маменьку я успокою... И дай Богъ тебѣ счастья! Камень у меня ты снялъ съ сердца... Обними меня, душа моя! *(Торопливо его обнимаетъ и оборачивается къ входящему Бѣляеву)*. А... это вы! Ну... ну, какъ можете?

Бѣляевъ.

Слава Богу, Аркадій Сергѣичъ.

Ислаевъ.

А что, Коля гдѣ?

Бѣляевъ.

Онъ съ господиномъ Шаафомъ.

Ислаевъ.

А... прекрасно! *(Беретъ шляпу).* Ну, господа, однако, прощайте. Я еще нигдѣ не былъ сегодня — ни на плотинѣ, ни на постройкѣ... Вотъ, и бумагъ не просмотрѣлъ. *(Схватываетъ ихъ подъ мышку).* До свиданья! Матвѣй! Матвѣй! ступай со мной! *(Уходитъ. Ракитинъ остается въ задумчивости на авансценѣ).*

Бѣляевъ *(подходя къ Ракитину).*

Какъ вы сегодня себя чувствуете, Михайло Александрычъ?

Ракитинъ.

Благодарствуйте. По обыкновенному. А вы какъ?

Бѣляевъ.

Я здоровъ.

Ракитинъ.

Это видно!

Бѣляевъ.

А что?

Ракитинъ.

Да такъ... по вашему лицу... Э! да вы новый сюртукъ сегодня надѣли... И что я вижу! цвѣтокъ въ петлицѣ. *(Бѣляевъ, краснѣя, вырываетъ его).* Да зачѣмъ же... зачѣмъ, помилуйте... Это очень мило... *(Помолчавъ).* Кстати, Алексѣй Николаичъ, если вамъ что-нибудь нужно... Я завтра ѣду въ городъ.

Бѣляевъ.

Завтра?

Ракитинъ.

Да... а оттуда, можетъ-быть, въ Москву.

Бѣляевъ *(съ удивленіемъ).*

Въ Москву? Да вы, кажется, еще вчера мнѣ говорили, что намѣрены пробыть здѣсь съ мѣсяцъ...

Ракитинъ.

Да... но дѣла... обстоятельство вышло такое...

Бѣляевъ.

И надолго вы уѣзжаете?

Ракитинъ.

Не знаю... можетъ-быть, надолго.

Бѣляевъ.

Позвольте узнать -- Натальѣ Петровнѣ извѣстно ваше намѣреніе?

Ракитинъ.

Нѣтъ. Почему вы спрашиваете меня именно о ней?

Бѣляевъ.

Я? *(Нѣсколько смущенный).* Такъ.

Ракитинъ *(помолчавъ и оглянувшись кругомъ).*

Алексѣй Николаичъ, кажется, кромѣ насъ, никого нѣтъ въ комнатѣ; не странно ли, что мы другъ передъ другомъ комедію разыгрываемъ, а? какъ вы думаете?

Бѣляевъ.

Я васъ не понимаю, Михайло Александрычъ.

Ракитинъ.

Въ самомъ дѣлѣ? Вы точно не понимаете, зачѣмъ я уѣзжаю?

Бѣляевъ.

Нѣтъ.

Ракитинъ.

Это странно... Впрочемъ, я готовъ вамъ вѣрить. Можетъ-быть, вы дѣйствительно не знаете причины... Хотите, я вамъ скажу, зачѣмъ я уѣзжаю?

Бѣляевъ.

Сдѣлайте одолженіе.

Ракитинъ.

Вотъ, видите ли, Алексѣй Николаичъ — впрочемъ, я надѣюсь на вашу скромность — вы сейчасъ застали меня съ Аркадіемъ Сергѣичемъ... У насъ съ нимъ былъ довольно важный разговоръ. Вслѣдствіе именно этого разговора я рѣшился уѣхать. И знаете ли—почему? Я вамъ все это говорю потому, что считаю васъ за благороднаго человѣка... Ему вообразилось, что *я*... ну, да, что я люблю Наталью Петровну. Какъ вамъ это кажется, а? Не правда ли, какая странная мысль? Но я за то благодаренъ ему, что онъ не сталъ хитрить, наблюдать за нами, что̀ ли, а просто и прямо обратился ко мнѣ. Ну, теперь скажите, что̀ бы вы сдѣлали на моемъ мѣстѣ? Конечно, его подозрѣнія не имѣютъ никакого основанія, но они его

тревожать... Для покоя друзей порядочный человѣкъ долженъ умѣть иногда пожертвовать... своимъ удовольствіемъ. Вотъ, отъ этого-то я и уѣзжаю... Я увѣренъ, вы одобрите мое рѣшеніе, не правда ли? Не правда ли, вы... вы бы точно такъ же поступили на моемъ мѣстѣ? Вы бы тоже уѣхали?

Бѣляевъ *(помолчавъ)*.

Можетъ-быть.

Ракитинъ.

Мнѣ очень пріятно это слышать... Конечно, я не спорю, въ моемъ намѣреніи удалиться есть сторона смѣшная, я словно самъ почитаю себя опаснымъ; но, видите ли, Алексѣй Николаичъ, честь женщины такая важная вещь... И притомъ — я, разумѣется, это говорю не про Наталью Петровну — но я зналъ женщинъ чистыхъ и невинныхъ сердцемъ, настоящихъ дѣтей при всемъ умѣ, которыя, именно вслѣдствіе этой чистоты и невинности, болѣе другихъ способны были отдаться внезапному увлеченью... А потому, кто знаетъ? Лишняя осторожность въ такихъ случаяхъ не мѣшаетъ, тѣмъ болѣе, что... Кстати, Алексѣй Николаичъ, вы, можетъ-быть, еще воображаете, что любовь высшее благо на землѣ?

Бѣляевъ *(холодно)*.

Я этого еще не испыталъ, но я думаю, что быть любимымъ женщиной, которую любишь, великое счастье.

Ракитинъ.

Дай вамъ Богъ долго сохранить такія пріятныя убѣжденія! По-моему, Алексѣй Николаичъ, всякая любовь, счастливая, равно какъ и несчастная, настоящее бѣдствіе, когда ей отдаешься весь... Погодите! вы, можетъ-быть, еще узнаете, какъ эти нѣжныя ручки умѣютъ пытать, съ какой ласковой заботливостью онѣ по частичкамъ раздираютъ сердце... Погодите! вы узнаете, сколько жгучей ненависти таится подъ самой пламенной любовью! Вы вспомните обо мнѣ, когда, какъ больной жаждетъ здоровья, вы будете жаждать покоя, самаго безсмысленнаго, самаго пошлаго покоя, когда вы будете завидовать всякому человѣку беззаботному и свободному... Погодите!

Вы узнаете, что̀ значитъ принадлежать юбкѣ, что̀ значитъ, быть порабощеннымъ, зараженнымъ — и какъ постыдно и томительно это рабство!.. Вы узнаете, наконецъ, какіе пустячки покупаются такою дорогою цѣною... Но къ чему я это все говорю вамъ, вы мнѣ не повѣрите теперь. Дѣло въ томъ, что мнѣ очень пріятно ваше одобреніе... да, да... въ такихъ случаяхъ слѣдуетъ быть осторожнымъ.

Бѣляевъ *(который все время не спускалъ глазъ съ Ракитина).*

Спасибо за урокъ, Михайло Александрычъ, хотя я въ немъ и не нуждался.

Ракитинъ *(беретъ его за руку).*

Вы извините меня, пожалуйста, я не имѣлъ намѣренія... не мнѣ давать уроки кому бы то ни было... Я только такъ разговорился...

Бѣляевъ *(съ легкой иронiей).*

Безъ всякаго повода?

Ракитинъ *(немного смѣшавшись).*

Именно, безъ всякаго особеннаго повода. Я хотѣлъ только... Вы до сихъ поръ, Алексѣй Николаичъ, не имѣли случая изучить женщинъ. Женщины — это очень своенравный народъ.

Бѣляевъ.

Да вы о комъ говорите?

Ракитинъ.

Такъ... ни о комъ въ особенности.

Бѣляевъ.

О всѣхъ вообще, не правда ли?

Ракитинъ *(принужденно улыбаясь).*

Да, можетъ-быть. Я, право, не знаю, съ какой стати я попалъ въ этотъ наставническій тонъ, но ужъ позвольте мнѣ на прощанье дать вамъ одинъ добрый совѣтъ. *(Останавливаясь и махнувъ рукой).* Э! да впрочемъ, что я за совѣтчикъ! Извините, пожалуйста, мою болтовню...

Бѣляевъ.

Напротивъ, напротивъ...

Ракитинъ.

Итакъ, вамъ ничего не нужно изъ города?

Бѣляевъ.

Ничего, спасибо. Но мнѣ жаль, что вы уѣзжаете.

Ракитинъ.

Покорно васъ благодарю... Повѣрьте, что и мнѣ тоже... *(Изъ двери кабинета выходятъ Наталья Петровна и Вѣра. Вѣра очень печальна и блѣдна).* Я очень былъ радъ съ вами познакомиться... *(Опять жметъ ему руку).*

Наталья Петровна *(глядитъ нѣкоторое время на обоихъ и подходитъ къ нимъ).*

Здравствуйте, господа...

Ракитинъ *(быстро оборачиваясь).*

Здравствуйте, Наталья Петровна... Здравствуйте, Вѣра Александровна... *(Бѣляевъ молча кланяется Натальѣ Петровнѣ и Вѣрѣ. Онъ смущенъ).*

Наталья Петровна *(Ракитину).*

Что вы дѣлаете хорошаго?

Ракитинъ.

Да ничего...

Наталья Петровна.

А мы ужъ съ Вѣрой гуляли по саду... Сегодня такъ хорошо на воздухѣ... Липы такъ сладко пахнутъ... Мы все подъ липами гуляли... Пріятно слушать въ тѣни жужжаніе пчелъ надъ головой... *(Робко Бѣляеву).* Мы надѣялись васъ тамъ встрѣтить. *(Бѣляевъ молчитъ).*

Ракитинъ *(Натальѣ Петровнѣ).*

А! и вы сегодня обращаете вниманіе на красоты природы... *(Помолчавъ).* Алексѣю Николаичу нельзя было идти въ садъ... Онъ сегодня новый сюртукъ надѣлъ...

Бѣляевъ *(слегка вспыхнувъ).*

Конечно, вѣдь онъ у меня только одинъ, а въ саду, пожалуй, изорвать его можно... Вѣдь вы вотъ что хотите сказать?

Ракитинъ *(покраснѣвъ).*

О, нѣтъ... я совсѣмъ не то... *(Вѣра идетъ молча къ дивану направо, садится и принимается за работу. На-*

я Петровна принужденно улыбается Бѣляеву. Неболь-
довольно тягостное молчаніе. Ракитинъ продолжаетъ
звительной небрежностью). Ахъ, да, я и забылъ вамъ
ать, Наталья Петровна, я сегодня уѣзжаю...

Наталья Петровна *(съ нѣкоторымъ волненіемъ).*

ы уѣзжаете? Куда?

Ракитинъ.

ь городъ... По дѣламъ.

Наталья Петровна.

надѣюсь, не на долго?

Ракитинъ.

акъ дѣла пойдутъ.

Наталья Петровна.

Смотрите же, возвращайтесь скорѣй. *(Къ Бѣляеву, не*
дя на него). Алексѣй Николаичъ, это ваши рисунки
ь Коля показывалъ? Это вы рисовали?

Бѣляевъ.

Да-съ... я... бездѣлицы...

Наталья Петровна.

Напротивъ, это очень мило. У васъ талантъ.

Ракитинъ.

Я вижу, вы въ господинѣ Бѣляевѣ съ каждымъ днемъ
рываете новыя достоинства...

Наталья Петровна *(холодно).*

Можетъ-быть... Тѣмъ лучше для него. *(Бѣляеву).* У
ь, вѣроятно, есть другіе рисунки, вы мнѣ ихъ пока-
е. *(Бѣляевъ кланяется).*

Ракитинъ *(который все время стоитъ какъ*
на иглахъ).

Однако, я вспомнилъ, что мнѣ пора укладываться... До
данья. *(Идетъ къ дверямъ залы).*

Наталья Петровна *(ему вслѣдъ).*

Да вы еще проститесь съ нами...

Ракитинъ.

Конечно.

Бѣляевъ *(послѣ нѣкоторой нерѣшительности).*
Михайло Александрычъ, погодите, я съ вами пойду.
мнѣ нужно сказать вамъ два слова...

Ракитинъ.

А! *(Оба уходятъ въ залу. Наталья Петровна остается посреди сцены; погодя немного, она садится налѣво).*

Наталья Петровна *(послѣ нѣкотораго молчанія).*

Вѣра!

Вѣра *(не поднимая головы).*

Что вамъ угодно?

Наталья Петровна.

Вѣра, ради Бога, не будь такъ со мной... ради Бога, Вѣра... Вѣрочка... *(Вѣра ничего не говоритъ. Наталья Петровна встаетъ, идетъ черезъ всю сцену и тихо становится передъ ней на колѣни. Вѣра хочетъ поднять ее, отворачивается и закрываетъ лицо. Наталья Петровна говоритъ на колѣняхъ).* Вѣра, прости меня: не плачь, Вѣра. Я виновата предъ тобою, я виновата. Неужели ты не можешь простить меня?

Вѣра *(сквозь слезы).*

Встаньте, встаньте...

Наталья Петровна.

Я не встану, Вѣра, пока ты не простишь меня. Тебѣ тяжело... но вспомни, развѣ мнѣ легче... вспомни, Вѣра... Вѣдь ты все знаешь... Между нами только та разница, что ты передо мной ни въ чемъ не виновата, а я...

Вѣра *(горько).*

Только та разница! Нѣтъ, Наталья Петровна, между нами другая есть разница... Вы сегодня такъ мягки, такъ добры, такъ ласковы...

Наталья Петровна *(перебивая ее).*

Потому что я чувствую свою вину...

Вѣра.

Въ самомъ дѣлѣ? Только поэтому...

Наталья Петровна *(встаетъ и садится подлѣ нея).*

Да какая же можетъ быть другая причина?

Вѣра.

Наталья Петровна, не мучьте меня больше, не разспрашивайте меня...

Наталья Петровна *(вздохнувъ).*

Вѣра! ты, я вижу, не можешь меня простить.

Вѣра.

Вы сегодня такъ добры, такъ мягки, потому, что вы увствуете себя любимой.

Наталья Петровна *(въ смущеніи).*

Вѣра?

Вѣра *(оборачиваясь къ ней).*

Что жъ, развѣ это не правда?

Наталья Петровна *(печально).*

Повѣрь мнѣ, мы обѣ съ тобой равно несчастны.

Вѣра.

Онъ васъ любитъ!

Наталья Петровна.

Вѣра, что намъ за охота другъ друга мучить? Пора намъ обѣимъ опомниться. Вспомни, въ какомъ я положеніи, въ какомъ мы положеніи обѣ. Вспомни, что объ нашей тайнѣ, по моей винѣ, конечно, знаютъ уже здѣсь два человѣка... *(Останавливается).* Вѣра, вмѣсто того, чтобы терзать другъ друга подозрѣніями и упреками, не лучше ли намъ вдвоемъ подумать о томъ, какъ бы выйти изъ этого тяжелаго положенія... какъ бы спастись! Или ты думаешь, что я могу выносить эти волненья, эти тревоги? Или ты забыла, кто я? Но ты меня не слушаешь.

Вѣра *(задумчиво глядитъ на полъ).*

Онъ васъ любитъ...

Наталья Петровна.

Вѣра, онъ уѣдетъ...

Вѣра *(оборачиваясь).*

Ахъ, оставьте меня... *(Наталья Петровна глядитъ на нее съ нерѣшительностью. Въ это мгновеніе въ кабинетѣ раздается голосъ Ислаева: «Наташа, а Наташа, гдѣ ты?»)*

Наталья Петровна *(быстро встаетъ и подходитъ къ двери кабинета).*

Я здѣсь... Что тебѣ?

Голосъ Ислаева.

Поди-ка сюда, мнѣ нужно тебѣ что-то сказать...

Наталья Петровна.

Сейчасъ. *(Она возвращается къ Вѣрѣ, протягиваетъ ей*

руку. Вѣра не шевелится. Наталья Петровна вздыхаетъ и уходитъ въ кабинетъ).

Вѣра *(одна, послѣ молчанья).*

Онъ ее любитъ!.. И я должна остаться у ней въ домѣ... О, это слишкомъ... *(Она закрываетъ лицо руками и остается неподвижной. Изъ двери, ведущей въ залу, показывается голова Шпигельскаго. Онъ осторожно оглядывается и подходитъ на цыпочкахъ къ Вѣрѣ, которая его не замѣчаетъ).*

Шпигельскій *(постоявъ передъ ней, скрестя руки и съ язвительной улыбкой на лицѣ).*

Вѣра Александровна!.. А Вѣра Александровна...

Вѣра *(поднявъ голову).*

Кто это? Вы, докторъ....

Шпигельскій.

Что вы, моя барышня, нездоровы, что ли?

Вѣра.

Нѣтъ, ничего.

Шпигельскій.

Дайте-ка пощупать пульсъ? *(Щупаетъ у ней пульсъ).* Гмъ! что такъ скоро? Ахъ, вы, барышня моя, барышня... Не слушаетесь вы меня... А ужъ, кажется, я на что вамъ добра желаю.

Вѣра *(рѣшительно взглянувъ на него).*

Игнатій Ильичъ...

Шпигельскій *(проворно).*

Слушаю, Вѣра Александровна... Что за взглядъ, помилуйте... Слушаю.

Вѣра.

Этотъ господинъ... Большинцовъ, вашъ знакомый, точно хорошій человѣкъ?

Шпигельскій.

Мой пріятель Большинцовъ? Отличнѣйшій, честнѣйшій человѣкъ... образецъ и примѣръ добродѣтели.

Вѣра.

Онъ не злой?

Шпигельскій.

Добрѣйшій, помилуйте. Это не человѣкъ, это тѣсто, по-

милуйте. Только стоитъ взять да лѣпить. Такого добряка другого на свѣтѣ днемъ съ огнемъ не найти. Голубь, а не человѣкъ.

Вѣра.

Вы за него ручаетесь?

Шпигельскій *(кладетъ одну руку на сердце, а другую поднимаетъ кверху).*

Какъ за самого себя!

Вѣра.

Въ такомъ случаѣ, вы можете ему сказать... что я готова за него замужъ выйти.

Шпигельскій *(съ радостнымъ изумленіемъ).*

Ой-ли?

Вѣра.

Только какъ можно скорѣе — слышите? — какъ можно скорѣе...

Шпигельскій.

Завтра, если хотите... Еще бы! Ай да Вѣра Александровна! Молодецъ-барышня! Я сейчасъ же къ нему поскачу. То-то я его обрадую... Вотъ, какое неожиданное вышло обстоятельство! Вѣдь онъ въ васъ души не чаетъ, Вѣра Александровна...

Вѣра *(съ нетерпѣніемъ).*

Я у васъ этого не спрашиваю, Игнатій Ильичъ...

Шпигельскій.

Какъ знаете, Вѣра Александровна, какъ знаете. А только вы будете съ нимъ счастливы, вы будете меня благодарить, увидите... *(Вѣра дѣлаетъ опять нетерпѣливое движеніе).* Ну, я молчу, я молчу... Стало-быть, я могу ему сказать...

Вѣра.

Можете, можете.

Шпигельскій.

Очень хорошо-съ. Такъ я сейчасъ отправляюсь. До свиданья. *(Прислушиваясь).* Кстати же кто-то сюда идетъ. *(Идетъ въ кабинетъ и на порогѣ дѣлаетъ про себя изумленную гримасу).* До свиданья. *(Уходитъ).*

Вѣра *(глядя ему вслѣдъ).*

Все на свѣтѣ скорѣй, чѣмъ здѣсь оставаться... *(Встаетъ).* Да, я рѣшилась. Я не останусь въ этомъ домѣ... ни за что. Я не могу сносить ея кроткаго взора, ея улыбки, я не могу видѣть, какъ она вся отдыхаетъ, вся нѣжится въ своемъ счастіи... Вѣдь она счастлива, какъ она тамъ ни прикидывайся грустной и печальной... Ея ласки мнѣ нестерпимы... *(Изъ двери залы показывается Бѣляевъ. Онъ осматривается и подходитъ къ Вѣрѣ).*

Бѣляевъ *(вполголоса).*

Вѣра Александровна, вы однѣ?

Вѣра *(оглядывается, вздрагиваетъ и, помолчавъ немного, произноситъ).*

Да.

Бѣляевъ.

Я радъ, что вы однѣ... А то я не пошелъ бы сюда. Вѣра Александровна, я пришелъ проститься съ вами.

Вѣра.

Проститься?

Бѣляевъ.

Да, я уѣзжаю.

Вѣра.

Вы уѣзжаете? И вы уѣзжаете?

Бѣляевъ.

Да... и я. *(Съ сильнымъ внутреннимъ волненіемъ).* Вотъ, видите ли, Вѣра Александровна, мнѣ нельзя здѣсь оставаться. Мое присутствіе ужъ и такъ надѣлало здѣсь много бѣдъ. Кромѣ того, что я, самъ не знаю какъ, возмутилъ ваше спокойствіе и спокойствіе Натальи Петровны, я еще нарушилъ старинныя, дружескія связи. По моей милости г. Ракитинъ уѣзжаетъ отсюда, вы разссорились съ вашей благодѣтельницей... Пора прекратить все это. Послѣ моего отъѣзда все, я надѣюсь, опять успокоится и придетъ въ порядокъ... Кружить голову богатымъ барынямъ и молодымъ дѣвушкамъ не мое дѣло... Вы обо мнѣ позабудете и, можетъ-быть, современемъ станете удивляться, какъ это все могло случиться... Меня даже теперь это удивляетъ... Я не хочу васъ обманывать, Вѣра Александровна:

мнѣ страшно, мнѣ жутко здѣсь оставаться... Я не могу ни за что отвѣчать... Я, знаете ли, не привыкъ ко всему этому. Мнѣ неловко... мнѣ такъ и кажется, что всѣ глядятъ на меня... Да и, наконецъ, мнѣ невозможно будетъ... теперь... съ вами обѣими...

Вѣра.

О, на мой счетъ не безпокойтесь! Я не долго останусь здѣсь.

Бѣляевъ.

Какъ?

Вѣра.

Это моя тайна. Но я вамъ не буду мѣшать, повѣрьте.

Бѣляевъ.

Ну, вотъ, видите, какъ же мнѣ не уѣхать? Посудите сами. Я словно чуму занесъ въ этотъ домъ; всѣ бѣгутъ отсюда... Не лучше ли мнѣ одному исчезнуть, пока еще есть время? Я сейчасъ имѣлъ большой разговоръ съ г. Ракитинымъ... Вы не можете вообразить, сколько было горечи въ его словахъ... А онъ подѣломъ подтрунилъ надъ моимъ новымъ сюртукомъ... Онъ правъ. Да, я долженъ уѣхать. Повѣрите ли, Вѣра Александровна, я не дождусь той минуты, когда я буду скакать въ телѣгѣ по большой дорогѣ... Мнѣ душно здѣсь, мнѣ хочется на воздухъ. Мнѣ мочи нѣтъ, какъ горько и въ то же время легко, словно человѣку, который отправляется въ далекое путешествіе, за море: ему тошно разставаться съ друзьями, ему жутко, а между тѣмъ море такъ весело шумитъ, вѣтеръ такъ свѣжо дуетъ ему въ лицо, что кровь невольно играетъ въ его жилахъ, какъ сердце въ немъ ни тяжело... Да, я рѣшительно уѣзжаю. Вернусь въ Москву, къ своимъ товарищамъ, стану работать...

Вѣра.

Вы, стало-быть, ее любите, Алексѣй Николаичъ; вы ее любите, а между тѣмъ вы уѣзжаете.

Бѣляевъ.

Полноте, Вѣра Александровна, къ чему это? Развѣ вы не видите, что все кончено? Все вспыхнуло и погасло, какъ искра. Разстанемтесь друзьями. Пора. Я опомнился. Будь-

те здоровы, будьте счастливы, мы когда-нибудь увидимся... Я васъ никогда не забуду, Вѣра Александровна... Я васъ очень полюбилъ, повѣрьте... (*Жметъ ей руку и прибавляетъ постыдно.*) Отдайте отъ меня эту записку Натальѣ Петровнѣ...

Вѣра (*съ смущеніемъ взглянувъ на него*).

Записку?

Бѣляевъ.

Да... я не могу съ ней проститься.

Вѣра.

Да развѣ вы сейчасъ уѣзжаете?

Бѣляевъ.

Сейчасъ... Я никому ничего не сказалъ объ этомъ... исключая одного Михайла Александрыча. Онъ одобряетъ меня. Я отправлюсь отсюда сейчасъ пѣшкомъ до Петровскаго. Въ Петровскомъ я подожду Михайла Александрыча, и мы вмѣстѣ поѣдемъ въ городъ. Изъ города я напишу. Мои вещи мнѣ вышлютъ. Вы видите, все уже слажено... Впрочемъ, вы можете прочесть эту записку. Въ ней всего два слова.

Вѣра (*принимая отъ него записку*).

И точно, вы уѣзжаете?..

Бѣляевъ.

Да, да... Отдайте ей эту записку и скажите... Нѣтъ, не говорите ей ничего. Къ чему? (*Прислушиваясь.*) Сюда идутъ. Прощайте... (*Бросается къ двери, останавливается на минуту на порогѣ и бѣжитъ вонъ. Вѣра остается съ запиской въ рукѣ. Изъ гостиной выходитъ Наталья Петровна.*)

Наталья Петровна (*подходя къ Вѣрѣ*).

Вѣрочка... (*Взглядываетъ на нее и останавливается.*) Что съ тобой? (*Вѣра молча протягиваетъ ей записку.*) Записка?.. отъ кого?

Вѣра (*глухо*).

Прочтите.

Наталья Петровна.

Ты меня пугаешь. (*Читаетъ про себя записку и вдругъ*

прижимаетъ обѣ руки къ лицу и падаетъ на кресло. Долгое молчаніе.)

Вѣра (*приближаясь къ ней*).

Наталья Петровна...

Наталья Петровна (*не отнимая рукъ отъ лица*).

Онъ уѣзжаетъ!.. Онъ даже не хотѣлъ проститься со мной... О! съ вами онъ, по крайней мѣрѣ, простился!

Вѣра (*печально*).

Онъ меня не любилъ...

Наталья Петровна (*отнимаетъ руку и встаетъ*).

Но онъ не имѣетъ права такъ уѣхать... Я хочу... Онъ не можетъ такъ... Кто ему позволилъ такъ глупо перервать... Это презрѣніе, наконецъ... Я... почему онъ знаетъ, что я бы никогда не рѣшилась... (*Опускается въ кресло.*) Боже мой, Боже мой!..

Вѣра.

Наталья Петровна, вы сами сейчасъ мнѣ говорили, что онъ долженъ уѣхать... Вспомните.

Наталья Петровна.

Вамъ хорошо теперь... Онъ уѣзжаетъ... Теперь мы обѣ съ вами равны... (*Голосъ ея перерывается*).

Вѣра.

Наталья Петровна, вы мнѣ сейчасъ говорили... вотъ ваши собственныя слова: вмѣсто того, чтобы терзать другъ друга, не лучше ли намъ вдвоемъ подумать о томъ, какъ бы выйти изъ этого положенія, какъ бы спастись... Мы спасены теперь.

Наталья Петровна (*почти съ ненавистью отворачиваясь отъ нея*).

Ахъ...

Вѣра.

Я понимаю васъ, Наталья Петровна... Не безпокойтесь... Я не долго буду тяготить васъ своимъ присутствіемъ. Намъ вмѣстѣ жить нельзя.

Наталья Петровна (*хочетъ протянуть ей руку и роняетъ ее на колѣни*).

Зачѣмъ ты это говоришь, Вѣрочка... Неужели и ты хо-

чешь меня оставить? Да, ты права, мы спасены теперь. Все кончено... все опять пришло въ порядокъ...

Вѣра (*холодно*).

Не безпокойтесь, Наталья Петровна. (*Вѣра молча глядитъ на нее. Изъ кабинета выходитъ Ислаевъ.*)

Ислаевъ (*посмотрѣвъ нѣкоторое время на Наталью Петровну, вполголоса Вѣрѣ*).

Она развѣ знаетъ, что онъ уѣзжаетъ?

Вѣра (*съ недоумѣніемъ*).

Да... знаетъ.

Ислаевъ (*про себя*).

Да зачѣмъ же это онъ такъ скоро... (*Громко.*) Наташа... (*Беретъ ее за руку. Она поднимаетъ голову.*) Это я, Наташа. (*Она силится улыбнуться.*) Ты нездорова, душа моя? Я бы посовѣтовалъ тебѣ прилечь, право...

Наталья Петровна.

Я здорова, Аркадій... Это ничего.

Ислаевъ.

Однако, ты блѣдна... Право, послушайся меня... Отдохни немножко.

Наталья Петровна.

Ну, пожалуй. (*Она хочетъ подняться и не можетъ.*)

Ислаевъ (*помогая ей*).

Вотъ, видишь... (*Она опирается на его руку.*) Хочешь я тебя провожу?

Наталья Петровна.

О! я еще не такъ слаба! Пойдемъ, Вѣра. (*Направляется къ кабинету. Изъ залы входитъ Ракитинъ. Наталья Петровна останавливается.*)

Ракитинъ.

Я пришелъ, Наталья Петровна...

Ислаевъ (*перебивая его*).

А, Michel! поди-ка сюда! (*Отводитъ его въ сторону — и вполголоса, съ досадой.*) Зачѣмъ же ты ей все сейчасъ такъ и сказалъ? Вѣдь я тебя, кажется, просилъ! Къ чему было торопиться... Я засталъ ее здѣсь въ такомъ волненіи...

Ракитинъ (*съ изумленіемъ*).

Я тебя не понимаю.

Ислаевъ.

Ты сказалъ Наташѣ, что ты уѣзжаешь...

Ракитинъ.

Такъ ты полагаешь, что она отъ этого пришла въ волненіе?

Ислаевъ.

Тссс! — Она глядитъ на насъ. (*Громко.*) Ты не идешь къ себѣ, Наташа?

Наталья Петровна.

Да... я иду...

Ракитинъ.

Прощайте, Наталья Петровна! (*Наталья берется за ручку двери—и ничего не отвѣчаетъ.*)

Ислаевъ (*кладя руку на плечо Ракитину*).

Наташа, знаешь ли, что это одинъ изъ лучшихъ людей...

Наталья Петровна (*съ внезапнымъ порывомъ*).

Да — я знаю, онъ прекрасный человѣкъ — всѣ вы прекрасные люди... всѣ, всѣ... и между тѣмъ... (*Она вдругъ закрываетъ лицо руками, толкаетъ дверь колѣномъ и быстро уходитъ. Вѣра уходитъ за ней. Ислаевъ садится молча у стола и опирается на локти.*)

Ракитинъ (*глядитъ нѣкоторое время на него и съ горькой улыбкой пожимаетъ плечами*).

Каково мое положеніе! Славно, нечего сказать! Право, даже освѣжительно. И прощаніе-то каково, послѣ четырехлѣтней любви? Хорошо, очень хорошо, по дѣломъ болтуну. Да и слава Богу, все къ лучшему. Пора было прекратить эти болѣзненныя, эти чахоточныя отношенія. (*Громко Ислаеву.*) Ну, Аркадій, прощай.

Ислаевъ (*поднимаетъ голову. У него слезы на глазахъ*).

Прощай, братъ. — А оно, того... не совсѣмъ легко. Не ожидалъ, братъ. Словно буря въ ясный день. Ну, перемелется... мука будетъ. А все-таки, спасибо, спасибо тебѣ! Ты—другъ, точно!

Ракитинъ *(про себя сквозь зубы).*

Это слишкомъ. *(Отрывисто).* Прощай. *(Хочетъ идти залу... Ему навстрѣчу вбѣгаетъ Шпигельскій).*

Шпигельскій.

Что такое? Мнѣ сказали, Натальѣ Петровнѣ дурно.

Ислаевъ *(вставая).*

Кто вамъ сказалъ?

Шпигельскій.

Дѣвушка... горничная...

Ислаевъ.

Нѣтъ, это ничего, докторъ. Я думаю, лучше Ната не безпокоить теперь...

Шпигельскій.

А! ну, и прекрасно! *(Ракитину).* Вы, говорятъ, въ гор уѣзжаете?

Ракитинъ.

Да, по дѣламъ.

Шпигельскій.

А! по дѣламъ!.. *(Въ это мгновеніе изъ залы врываю разомъ Анна Семеновна, Лизавета Богдановна, Коля Шаафъ).*

Анна Семеновна.

Что такое? что такое? что съ Наташей?

Коля.

Что̀ съ мамашей? что̀ съ ней?

Ислаевъ.

Ничего съ ней... Я сейчасъ ее видѣлъ... Что̀ съ вам

Анна Семеновна.

Да помилуй, Аркаша, намъ сказали, что Наташ дурно...

Ислаевъ.

А вы напрасно повѣрили.

Анна Семеновна.

Зачѣмъ же ты горячишься такъ, Аркаша? Наше участ понятно.

Ислаевъ.

Конечно... конечно...

Ракитинъ.

Однако, мнѣ пора ѣхать.

Анна Семеновна.

Вы уѣзжаете?

Ракитинъ.

Да... уѣзжаю.

Анна Семеновна *(про себя).*

А! Ну, теперь я понимаю.

Коля *(Ислаеву).*

Папаша...

Ислаевъ.

Чего тебѣ?

Коля.

Зачѣмъ Алексѣй Николаичъ ушелъ?

Ислаевъ.

Куда ушелъ?

Коля.

Я не знаю... Поцѣловалъ меня, надѣлъ фуражку и ушелъ... А теперь часъ русскаго урока.

Ислаевъ.

Вѣроятно, онъ сейчасъ вернется... Впрочемъ, можно за нимъ послать...

Ракитинъ *(вполголоса Ислаеву).*

Не посылай за нимъ, Аркадій, онъ не вернется. *(Анна Семеновна старается прислушаться; Шпигельскій шепчется съ Лизаветой Богдановной).*

Ислаевъ.

Это что значитъ?

Ракитинъ.

Онъ тоже уѣзжаетъ.

Ислаевъ.

Уѣзжаетъ... куда?

Ракитинъ.

Въ Москву.

Ислаевъ.

Какъ, въ Москву? Да что, сегодня, съ ума всѣ сходятъ, что ли?

Ракитинъ *(еще понизивъ голосъ).*

Между нами... Вѣрочка въ него влюбилась... Ну, он какъ честный человѣкъ, рѣшился удалиться. *(Ислае растопыривъ руки, опускается въ кресло).* Ты понимае теперь, почему...

Ислаевъ *(вскакивая).*

Я? я ничего не понимаю. У меня голова кругомъ идет Что тутъ можно понять? Всѣ улепетываютъ, кто ку какъ куропатки, а все потому, что честные люди... И в это разомъ, въ одинъ и тотъ же день...

Анна Семеновна *(заходя сбоку).*

Да что такое? Господинъ Бѣляевъ, ты говоришь...

Ислаевъ *(нервически кричитъ).*

Ничего, матушка, ничего! Г-нъ Шаафъ, извольте т перь заняться съ Колей, вмѣсто г-на Бѣляева. Изволь увести его.

Шаафъ.

Злушаю-съ... *(Беретъ Колю за руку).*

Коля.

Но, папаша...

Ислаевъ *(кричитъ).*

Пошелъ, пошелъ! *(Шаафъ уводитъ Колю).* А тебя, Рак тинъ, я провожу... Я лошадь велю осѣдлать, буду жда тебя на плотинѣ... А вы, маменька, пока, ради Бога, безпокойте Наташу—да и вы, докторъ... Матвѣй! Матвѣ *(Уходитъ поспѣшно. Анна Семеновна съ достоинство и грустью садится. Лизавета Богдановна становит сзади ея. Анна Семеновна поднимаетъ взоры къ неб какъ бы желая отчудиться отъ всего, что происходит вокругъ нея).*

Шпигельскій *(украдкой и лукаво Ракитину).*

А что, Михайло Александрычъ, не прикажете ли довез васъ на новой троечкѣ до большой дороги?

Ракитинъ.

А!.. Развѣ вы уже получили лошадокъ?

Шпигельскій *(скромно).*

Я съ Вѣрой Александровной переговорилъ... Такъ пр *кажете-съ?*

Ракитинъ.

Пожалуй! *(Кланяется Аннѣ Семеновнѣ).* Анна Семеновна, честь имѣю...

Анна Семеновна *(все такъ же величественно, не поднимаясь съ мѣста).*

Прощайте, Михайло Александрычъ... Желаю вамъ счастливаго пути...

Ракитинъ.

Покорно благодарю!.. Лизавета Богдановна... *(Кланяется ей. Она въ отвѣтъ ему приседаетъ. Онъ уходитъ въ залу).*

Шпигельскій *(подходя къ ручкѣ Анны Семеновны).*

Прощайте, барыня...

Анна Семеновна *(менѣе величественно, но все-таки строго).*

А! и вы уѣзжаете, докторъ?

Шпигельскій.

Да-съ... Больные, знаете, того-съ... Притомъ же, вы видите, мое присутствіе здѣсь не требуется. *(Раскланиваясь, хитро щурится Лизаветѣ Богдановнѣ, которая отвѣчаетъ ему улыбкой).* До свиданья... *(Убѣгаетъ вслѣдъ за Ракитинымъ).*

Анна Семеновна *(даетъ ему выйти и, скрестивъ руки, медленно обращается къ Лизаветѣ Богдановнѣ).*

Что вы объ этомъ обо всемъ думаете, душа моя, а?

Лизавета Богдановна *(вздохнувъ).*

Не знаю-съ, что̀ вамъ сказать, Анна Семеновна.

Анна Семеновна.

Слышала ты, Бѣляевъ тоже уѣзжаетъ...

Лизавета Богдановна *(опять вздохнувъ).*

Ахъ, Анна Семеновна, можетъ-быть, и мнѣ не долго придется здѣсь оставаться... И я уѣзжаю. *(Анна Семеновна съ невыразимымъ изумленіемъ глядитъ на нее. Лизавета Богдановна стоитъ передъ ней, не поднимая глазъ).*

1850 г.

ПРОВИНЦІАЛКА.

(комедія въ одномъ дѣйствіи.)

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.

Алексѣй Ивановичъ Ступендьевъ, уѣздный чиновникъ, 48 лѣтъ.
Дарья Ивановна, жена его, 28 лѣтъ.
Миша, дальній родственникъ Дарьи Ивановны, 19 лѣтъ.
Графъ Валерьянъ Николаевичъ Любинъ, 49 лѣтъ.
Лакей графа, 30 лѣтъ.
Васильевна, кухарка Ступендьева, 50 лѣтъ.
Аполлонъ, мальчикъ Ступендьева, 17 лѣтъ.
Дѣйствіе происходитъ въ уѣздномъ городѣ въ домѣ Ступендьева.

Театръ представляетъ гостиную въ домѣ небогатаго чиновника. Прямо дверь въ переднюю, направо—въ кабинетъ; налѣво два окна и дверь въ садикъ. Налѣво въ углу низенькія ширмы; сзади ширмъ диванъ, два стула, столикъ и пяльцы; направо, на второмъ планѣ, небольшое фортепіано; спереди столъ и стулъ.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

За пяльцами сидитъ Дарья Ивановна. Она одѣта очень просто, но со вкусомъ. На диванѣ сидитъ Миша. Онъ скромно читаетъ книжечку.

Дарья Ивановна (*не поднимая глазъ и продолжая шить*). *Миша!*

Миша (*опуская книжечку*).

Чего изволите?

Дарья Ивановна.

Вы... ходили къ Попову?

Миша.

Ходилъ-съ.

Дарья Ивановна.

Что онъ вамъ сказалъ?

Миша.

Онъ сказалъ-съ, что все будетъ прислано, какъ слѣдуетъ. Я особенно просилъ его о красномъ винѣ-съ. Вы, говоритъ, будьте покойны-съ. (*Помолчавъ*). Позвольте знать, Дарья Ивановна, вы кого-нибудь ожидаете?

Дарья Ивановна.

Жду.

Миша (*опять помолчавъ*).

Можно узнать, кого-съ?

Дарья Ивановна.

Вы любопытны. Впрочемъ, вы не болтливы и я могу вамъ сказать, кого я жду. Графа Любина.

Миша.

Какъ-съ, этого богатаго господина, который недавно пріѣхалъ къ себѣ въ имѣнье-съ?

Дарья Ивановна.

Его.

Миша.

Ихъ, точно, сегодня ожидаютъ въ трактирѣ у Кулѣшкина-съ. Но позвольте узнать, развѣ вы съ нимъ знакомы?

Дарья Ивановна.

Теперь нѣтъ.

Миша.

А! стало-быть, прежде?

Дарья Ивановна.

Вы меня разспрашиваете?

Миша.

Извините-съ. (*Помолчавъ*). Впрочемъ, и я глупъ. Вѣдь онъ, должно-быть, сынъ Катерины Дмитріевны, вашей благодѣтельницы.

Дарья Ивановна (*посмотрѣвъ на него*).

Да, моей благодѣтельницы. (*За кулисами слышенъ голосъ Ступендьева «не приказала? почему не приказала?»*)

Дарья Ивановна.

Что тамъ такое?

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Тѣ же и **Ступендьевъ** съ **Васильевной**. Они выходятъ изъ двери кабинета: **Ступендьевъ** въ одномъ жилетѣ; у Васильевны въ рукахъ сюртукъ.

Ступендьевъ (*къ Дарьѣ Ивановнѣ*).

Даша, правда ли, ты приказала... (*Миша встаетъ и кланяется*). А, здравствуй, Миша, здравствуй. Правда ли, ты приказала этой женщинѣ (*показываетъ на Васильевну*) не давать мнѣ сегодня моего бешмета, а?

Дарья Ивановна.

Я ей не приказывала.

Ступендьевъ (*съ торжествующимъ лицомъ, обращаясь къ Васильевнѣ*).

А? что?

Дарья Ивановна.

Я только сказала ей, чтобъ она тебя попросила не надѣвать сегодня твоего бешмета...

Ступендьевъ.

А чѣмъ же мой бешметъ дуренъ? Онъ такой пестренькій, съ разводами. Ты же мнѣ сама его подарила.

Дарья Ивановна.

Да вѣдь сколько времени тому назадъ!

Васильевна.

Ну, надѣвайте, надѣвайте сюртукъ, Алексѣй Иванычъ... Что, право... Хорошъ пестренькій! На локтяхъ прорвался; а сзади такъ, просто, глядѣть не хорошо.

Ступендьевъ (*надѣвая сюртукъ*).

А кто тебѣ велитъ на меня сзади глядѣть? Тише, тише! развѣ ты не слыхала? ты меня просить должна.

Васильевна.

Ну, да, ужъ вы... (*Уходитъ*).

Ступендьевъ (*ей вслѣдъ*).

Не разсуждай, женщина!

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Тѣ же, кромѣ Васильевны.

Ступендьевъ.

Чортъ возьми, ужасъ, какъ подъ мышками рѣжетъ! Бываютъ же такіе подлые портные... такъ и кажется, что вотъ, вотъ, кверху потянутъ на канатѣ. Право, Даша, я не понимаю, почему тебѣ вздумалось меня нарядить въ сюртукъ; теперь же скоро двѣнадцатый часъ, на службу идти пора, и безъ того фракъ придется надѣть.

Дарья Ивановна.

У насъ, можетъ-быть, гости будутъ.

Ступендьевъ.

Гости? Какіе гости?

Дарья Ивановна.

Графъ Любинъ. Вѣдь ты его знаешь?

Ступендьевъ.

Любина? Еще бы! Такъ ты его ожидаешь?

Дарья Ивановна.

Его. (*Взглянувъ на него*). Что жъ тутъ удивительнаго?

Ступендьевъ.

Въ этомъ ничего нѣтъ удивительнаго, я совершенно съ тобою согласенъ; но позволь тебѣ замѣтить, душа моя, это совершенно невозможно.

Дарья Ивановна.

Почему же?

Ступендьевъ.

Невозможно, совершенно невозможно. Съ какой стати онъ придетъ?

Дарья Ивановна.

Ему нужно будетъ съ тобою переговорить.

Ступендьевъ.

Положимъ, положимъ, но это ничего не доказываетъ, совершенно ничего не доказываетъ. Онъ меня къ себѣ позоветъ. Возьметъ да позоветъ.

Дарья Ивановна.

Мы съ нимъ были знакомы: онъ видалъ меня въ домѣ своей матери.

Ступендьевъ.

И это ничего не доказываетъ. Какъ ты думаешь, Миша?

Миша.

Я-съ? я ничего не думаю-съ.

Ступендьевъ *(къ женѣ).*

Ну, вотъ, видишь?.. Онъ не придетъ. Помилуй, какъ это...

Дарья Ивановна.

Ну, можетъ-быть, можетъ-быть; только ты не снимай сюртука...

Ступендьевъ *(помолчавъ).*

Впрочемъ, я совершенно съ тобою согласенъ. *(Прохаживаясь по комнатѣ).* То-то сегодня съ утра здѣсь такую подняли пыль... Охъ, ужъ эта мнѣ чистота! И ты такая нарядная!

Дарья Ивановна.

Alexis, пожалуйста, безъ замѣчаній.

Ступендьевъ.

Ну, да, да. Конечно, безъ замѣчаній... Вишь, этотъ графъ поразорился, такъ и къ намъ пожаловалъ. Что онъ молодъ?

Дарья Ивановна.

Онъ моложе тебя.

Ступендьевъ.

Гмъ... Совершенно, я совершенно съ тобой согласенъ — то-то ты вчера все на фортепіанахъ этакъ того... *(разводитъ руками).* Да, да. *(Напѣваетъ сквозь зубы).*

Миша.

Я сегодня къ Кулѣшкину заходилъ-съ. Такъ ихъ тамъ ждутъ-съ.

Ступендьевъ.

Ждутъ? Ну, такъ пускай ждутъ. *(Къ женѣ).* Какъ же это я его никогда у Катерины Дмитріевны не видалъ?

Дарья Ивановна.

Онъ тогда въ Петербургѣ служилъ...

Ступендьевъ.

Гмъ... Онъ, говорятъ, теперь въ чинахъ. И ты думаешь, что онъ придетъ? Помилуй, помилуй!

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Тѣ же; изъ передней выходитъ Аполлонъ; на немъ голубая ливрея съ бѣлыми пуговицами, весьма неловко скроенная; лицо его выражаетъ тупое изумленіе.

Аполлонъ *(таинственно Ступендьеву).*

Какой-то господинъ васъ спрашиваетъ.

Ступендьевъ *(струхнувъ).*

Какой господинъ?

Аполлонъ.

Не знаю-съ, въ шляпѣ и съ бакенами.

Ступендьевъ *(съ волненіемъ).*

Проси. *(Аполлонъ таинственно взглядываетъ на Ступендьева и выходитъ).* Неужели графъ?

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Тѣ же; изъ передней выходитъ лакей графа. Онъ одѣтъ по-дорожному, по-щегольски и не снимаетъ шляпы. Изъ-за дверей съ любопытствомъ выглядываютъ Васильевна и Аполлонъ.

Лакей *(съ нѣмецкимъ выговоромъ).*

Здѣсь живетъ господинъ Ступендьевъ, чиновникъ?

Ступендьевъ.

Здѣсь. Что вамъ угодно?

Лакей.

Вы господинъ Ступендьевъ?

Ступендьевъ.

Я. Что вамъ угодно?

Дарья Ивановна.

Алексѣй Иванычъ!

Лакей.

Графъ Любинъ пріѣхалъ и приказалъ васъ просить къ себѣ.

Ступендьевъ.

А вы отъ него?

Дарья Ивановна.

Алексѣй Иванычъ, подите сюда.

Ступендьевъ *(подходитъ къ ней).*

Что?

Дарья Ивановна.

Скажите ему, чтобы онъ шляпу снялъ.

Ступендьевъ.

Ты думаешь? Г-мъ... Да, да... *(Подходя къ лакею).* Вы не находите, что здѣсь будто жарко... *(Показывая рукой на шляпу).*

Лакей.

Здѣсь не жарко. Слѣдовательно, вы сейчасъ придете?

Ступендьевъ.

Я... *(Дарья Ивановна дѣлаетъ ему знакъ).* Да позвольте узнать, кто вы собственно такой?

Лакей.

Я вольнонаемный человѣкъ ихъ сіятельства... камердинеръ.

Ступендьевъ *(внезапно вспыхнувъ).*

Сними шляпу, сними шляпу, сними шляпу, говорятъ! *(Лакей медленно и съ достоинствомъ снимаетъ шляпу).* А ихъ сіятельству скажи, что я сейчасъ...

Дарья Ивановна *(вставая).*

Скажите графу, что мой мужъ теперь занятъ и не можетъ выйти изъ дому. А что, если графъ желаетъ его видѣть, такъ пусть пожалуетъ самъ. Ступайте. *(Лакей выходитъ).*

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Тѣ же безъ лакея.

Ступендьевъ *(къ Дарьѣ Ивановнѣ).*

Однако, Даша, мнѣ, право, кажется, ты того... *(Дарья Ивановна молча прохаживается взадъ и впередъ).* Впрочемъ, я совершенно съ тобою согласенъ. А каково я его отдѣлалъ, а? просто оборвалъ, какъ говорится. Нахалъ этакой? *(Мишѣ).* Вѣдь хорошо?

Миша.

Хорошо-съ, Алексѣй Иванычъ, очень хорошо-съ.

Ступендьевъ.

То-то же!

Дарья Ивановна.

Аполлонъ!

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Тѣ же и **Аполлонъ**; за нимъ **Васильевна.**

Дарья Ивановна *(поглядѣвъ нѣкоторое время на Аполлона).* Нѣтъ, ты слишкомъ смѣшонъ въ этой ливреѣ. Ты ужъ лучше не показывайся.

Васильевна.

Да чѣмъ же онъ смѣшонъ, матушка? Человѣкъ какъ и всѣ, да еще мой племянникъ...

Ступендьевъ.

Женщина, не разсуждай.

Дарья Ивановна *(Аполлону).*

Повернись! *(Аполлонъ повертывается).* Нѣтъ, тебѣ рѣшительно нельзя показаться на глаза графу. Ступай и спрячься гдѣ-нибудь... А ты, Васильевна, посиди въ передней, пожалуйста.

Васильевна.

Да, матушка, у меня въ кухнѣ работа.

Ступендьевъ.

А кто тебѣ велитъ работать, баловница?

Васильевна.

Да помилуйте...

Ступендьевъ.

Не разсуждай, женщина! Стыдись! Маршъ оба! *(Васильевна и Аполлонъ уходятъ).*

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Тѣ же, безъ **Васильевны** и **Аполлона.**

Ступендьевъ *(Дарьѣ Ивановнѣ).*

Итакъ, ты дѣйствительно думаешь, что графъ теперь придетъ?

Дарья Ивановна.

Думаю.

Ступендьевъ *(прохаживается).*

Я въ волненіи. Онъ придетъ разсерженный... я въ волненіи.

Дарья Ивановна.

Пожалуйста, будь какъ можно спокойнѣе и хладнокровнѣе.

Ступендьевъ.

Слушаю... я въ волненіи. Миша, а ты въ волненіи?

Миша.

Никакъ нѣтъ-съ.

Ступендьевъ.

А я въ волненіи... *(Дарьѣ Ивановнѣ).* Зачѣмъ ты не пустила меня къ нему?

Дарья Ивановна.

Ужъ это мое дѣло. Вспомни, что ты ему нуженъ.

Ступендьевъ.

Я ему нуженъ... Я въ волненіи... Что это?

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Тѣ же и **Аполлонъ.**

Аполлонъ *(съ необыкновенно встревоженнымъ лицомъ).*

Я не успѣлъ спрятаться. Баринъ пришелъ. Я не успѣлъ спрятаться.

Ступендьевъ *(шопотомъ).*

Ну, ступай скорѣй сюда! *(Проталкиваетъ его въ кабинетъ).*

Аполлонъ.

Я не успѣлъ, а Васильевна ушла въ кухню. *(Исчезаетъ).*

ЯВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

Тѣ же, безъ **Аполлона.**

Голосъ Любина *(за кулисами).*

Что жъ это значитъ? Никого нѣтъ, что ли? Зачѣмъ этотъ человѣкъ убѣжалъ?

Ступендьевъ *(съ отчаяніемъ къ Дарьѣ Ивановнѣ).*

Васильевна въ кухню ушла!

Голосъ Любина.

Человѣкъ!

Дарья Ивановна.

Миша, подите, отворите.

ЯВЛЕНІЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

Тѣ же и графъ **Любинъ**, которому **Миша** отворяетъ дверь. Онъ одѣтъ щегольски и нѣсколько изысканно, какъ обыкновенно одѣваются старѣющіе бель-дмы.

Миша.

Пожалуйте.

Графъ Любинъ.

Господинъ Ступендьевъ здѣсь?

Ступендьевъ *(кланяясь съ смущеніемъ).*

Я... Ступендьевъ.

Графъ Любинъ.

Очень радъ. Я графъ Любинъ. Я присылалъ къ вамъ моего человѣка; но вамъ не угодно было ко мнѣ пожаловать.

Ступендьевъ.

Извините, ваше сіятельство. Я...

Графъ Любинъ *(оборачиваясь, холодно кланяется Дарьѣ Ивановнѣ, которая отошла нѣсколько въ сторону).*

Мое почтенье. Признаюсь, я былъ удивленъ. Вѣрно, у васъ занятья, занятья?

Ступендьевъ.

Точно, ваше сіятельство, занятья.

Графъ Любинъ.

Можетъ-быть, не спорю; но мнѣ кажется, что для иныхъ людей можно оставить свое занятіе, особенно когда... васъ просятъ... *(Изъ передней выходитъ Васильевна. Ступендьевъ дѣлаетъ ей знаки, чтобъ она ушла).* Когда... *(Любинъ съ удивленіемъ оглядывается; Васильевна смотритъ на него во всѣ глаза и убѣгаетъ. Любинъ съ улыбкою обращается къ Ступендьеву).*

Ступендьевъ.

Это ничего, ваше сіятельство. Это такъ, женщина пришла и ушла; къ сожалѣнію пришла и къ счастію ушла. А вотъ, позвольте, я вамъ лучше представлю мою супругу...

Графъ Любинъ *(почти не глядя на нее, холодно кланяется).*

А? очень радъ.

Ступендьевъ.

Дарья Ивановна, ваше сіятельство, Дарья Ивановна.

Графъ Любинъ *(также холодно).*

Очень радъ, очень радъ; но я пришелъ...

Дарья Ивановна *(скромнымъ голосомъ).*

Вы не узнали меня, графъ?

Графъ Любинъ *(оглядываясь).*

Ахъ, Боже мой... Позвольте, точно... Дарья Иванов Вотъ неожиданная встрѣча! Сколько лѣтъ, сколько зим Это вы? Скажите!

Дарья Ивановна.

Да-съ, графъ, давно мы не видались... Видно, я мн перемѣнилась съ тѣхъ поръ.

Графъ Любинъ.

Помилуйте, вы только похорошѣли. Вотъ я, небо другое дѣло!

Дарья Ивановна *(невинно).*

Вы нисколько не измѣнились, графъ.

Графъ Любинъ.

О, полноте! Но мнѣ теперь весьма пріятно, что ваше супругу нельзя было пожаловать ко мнѣ: это мнѣ дос вило случай возобновить знакомство съ вами. Вѣдь старинные друзья.

Ступендьевъ.

А вѣдь это, ваше сіятельство, она...

Дарья Ивановна *(поспѣшно перебивая его).*

Старинные друзья... Вы, графъ, должно-быть, во в время не вспомнили о... объ вашихъ старинныхъ друзьях

Графъ Любинъ.

Я?.. Напротивъ, напротивъ. Признаюсь, я хорошень не помнилъ, за кого вы вышли замужъ... Покойница м тушка мнѣ какъ-то писала незадолго передъ своей ко чиной... но...

Дарья Ивановна.

Да и какъ же вамъ было въ Петербургѣ, въ большо свѣтѣ, не забыть о насъ? Вотъ мы, бѣдные, уѣздные ж тели—мы не забываемъ *(съ легкимъ вздохомъ)*, мы ниче не забываемъ.

Графъ Любинъ.

Нѣтъ, я васъ увѣряю. *(Помолчавъ).* Повѣрьте, я всегда принималъ живѣйшее участіе въ вашей судьбѣ и очень радъ видѣть васъ теперь... *(Ищетъ слова)* въ положеніи упроченномъ...

Ступендьевъ *(кланяясь съ благодарностью).*

Совершенно, совершенно упроченномъ, ваше сіятельство. Одно—бѣдность, недостатокъ—вотъ, что горе!

Графъ Любинъ.

Ну, да, ну, да. *(Помолчавъ).* Однако, *(обращаясь къ Ступендьеву)* позвольте узнать ваше имя и отчество?

Ступендьевъ *(кланяясь).*

Алексѣй Иванычъ, ваше сіятельство, Алексѣй Иванычъ.

Графъ Любинъ.

Любезнѣйшій Алексѣй Иванычъ, намъ нужно съ вами переговорить о дѣлѣ... Я думаю, этотъ разговоръ вашу супругу занять не можетъ... такъ не лучше ли намъ, знаете... удалиться, остаться наединѣ на нѣкоторое время, а?.. Мы съ вами потолкуемъ...

Ступендьевъ.

Какъ вашему сіятельству будетъ угодно... Даша... *(Дарья Ивановна хочетъ уйти).*

Графъ Любинъ.

О, нѣтъ, помилуйте, не безпокойтесь, останьтесь... Мы съ Алексѣй Иванычемъ можемъ выйти, мы въ вашу комнату пойдемъ, Алексѣй Иванычъ, хотите?

Ступендьевъ.

Въ мою комнату... гм... въ мой кабинетъ, то-есть...

Графъ Любинъ.

Да, да, въ вашъ кабинетъ...

Ступендьевъ.

Какъ вашему сіятельству будетъ угодно... но...

Графъ Любинъ *(къ Дарьѣ Ивановнѣ).*

А мы, Дарья Ивановна, еще съ вами увидимся... я надѣюсь. *(Дарья Ивановна приседаетъ).* До свиданія. *(Къ Ступендьеву).* Куда идти—сюда? *(Указываетъ шляпою на дверь въ кабинетъ).*

Ступендьевъ.

Сюда-съ... но... ваше сіятельство...

Графъ Любинъ *(не слушая его).*

Очень хорошо, очень хорошо... *(Идетъ въ кабинет за нимъ Ступендьевъ, который, уходя, дѣлаетъ какіе-л знаки женѣ. Дарья Ивановна остается въ раздумьи и гл дитъ за ними вслѣдъ. Черезъ нѣсколько мгновеній, изъ к бинета стрѣлой вылетаетъ Аполлонъ и убѣгаетъ въ г реднюю. Дарья Ивановна вздрагиваетъ, улыбается и опя погружается въ раздумье).*

ЯВЛЕНІЕ ДВѢНАДЦАТОЕ.

Дарья Ивановна и Миша.

Миша *(подходя къ ней).*

Дарья Ивановна!

Дарья Ивановна *(встрепенувшись).*

Что?

Миша.

Позвольте узнать-съ, давно вы видались съ ихъ с тельствомъ?

Дарья Ивановна.

Давно, двѣнадцать лѣтъ.

Миша.

Двѣнадцать лѣтъ! Скажите! И въ теченіе всего эт времени получали вы отъ нихъ какія-нибудь извѣстія-

Дарья Ивановна.

Я? Никакихъ. Онъ столько же думалъ обо мнѣ, скол о китайскомъ императорѣ.

Миша.

Скажите! Какъ же это они говорили-съ, что прин мали-съ живѣйшее участіе въ вашей судьбѣ-съ?

Дарья Ивановна.

А васъ это удивляетъ? Какъ вы еще молоды—если в васъ точно удивляетъ! *(Помолчавъ).* Какъ онъ постарѣ

Миша.

Постарѣлъ?

Дарья Ивановна.

Румянится, бѣлится... краситъ волосы, а морщинъ-то, морщинъ...

Миша.

Неужели краситъ волосы? Ай, ай, ай, какъ стыдно! *(Помолчавъ).* А они, кажется, скоро намѣрены уйти-съ.

Дарья Ивановна *(быстро оборачивается къ нему).*

Почему вы это думаете?

Миша *(скромно потупивъ глаза).*

Да такъ-съ.

Дарья Ивановна.

Нѣтъ... онъ останется обѣдать...

Миша *(со вздохомъ).*

Ахъ! ужъ какъ бы это было хорошо!

Дарья Ивановна.

А что?

Миша *(съ скромностью).*

Провизіи даромъ пропадутъ-съ... и вино-съ... если они не останутся, то-есть...

Дарья Ивановна *(съ разстановкой).*

Да. Ну, послушайте, Миша, вотъ въ чемъ дѣло. Они оба теперь скоро выйдутъ.

Миша *(внимательно глядя на нее).*

Да-съ.

Дарья Ивановна.

Такъ вотъ, видите ли, оставьте меня теперь одну.

Миша.

Да-съ.

Дарья Ивановна.

Я графа приглашу отобѣдать, а Алексѣя Иваныча...

Миша.

Понимаю-съ.

Дарья Ивановна *(слегка наморщивъ брови).*

Что вы понимаете? Алексѣя Иваныча я вышлю къ вамъ...

Миша.

Такъ-съ.

Дарья Ивановна.

А вы его задержите... такъ, не на долгое время... Вы

ему скажите, что мнѣ нужно переговорить съ графомъ, для его же пользы... Вы понимаете?

Миша.

Слушаю-съ.

Дарья Ивановна.

Ну, да. Я на васъ надѣюсь. Вы можете съ нимъ, если хотите, прогуляться немного.

Миша.

Конечно-съ; отчего жъ не прогуляться?

Дарья Ивановна.

Ну, да, да. Теперь ступайте, оставьте меня.

Миша.

Слушаю-съ. *(Уходя, останавливается).* Ужъ вы и меня не забудьте, Дарья Ивановна. Вѣдь вы знаете, какъ я вамъ преданъ, можно сказать, и тѣломъ и душой...

Дарья Ивановна.

Что вы хотите сказать?

Миша.

Ахъ, Дарья Ивановна, вѣдь и мнѣ страхъ какъ хочется въ Петербургъ! Что́ я здѣсь буду дѣлать безъ васъ?.. Сдѣлайте одолженіе, Дарья Ивановна... А я вамъ заслужу...

Дарья Ивановна *(помолчавъ).*

Я не понимаю васъ, я еще сама не знаю... Впрочемъ, хорошо, ступайте.

Миша.

Слушаю-съ. *(Возводя глаза къ небу).* А я вамъ заслужу, Дарья Ивановна! *(Уходитъ въ переднюю).*

ЯВЛЕНІЕ ТРИНАДЦАТОЕ.

Дарья Ивановна *одна.*

Дарья Ивановна *(остается нѣкоторое время неподвижно).* Онъ не обращаетъ на меня ни малѣйшаго вниманія— это ясно. Онъ меня позабылъ. И, кажется, я напрасно разсчитывала на его пріѣздъ. А сколько надеждъ у меня было сопряжено съ этимъ пріѣздомъ!.. *(Оглядывается).* Неужели же я вѣчно должна оставаться здѣсь, здѣсь?. *Что дѣлать! (Помолчавъ).* Впрочемъ, еще ничего не рѣ-

нено. Онъ почти не видѣлъ меня... *(Взглянувъ въ зеркало).* Я, по крайней мѣрѣ, не крашу своихъ волосъ... Посмотримъ, посмотримъ. *(Прохаживается по комнатѣ, подходитъ къ фортепіано и беретъ нѣсколько аккордовъ).* Они не скоро еще выйдутъ. Ожиданья меня замучатъ. *(Садится на диванъ).* Но, можетъ-быть, я сама заржавѣла въ этомъ городишкѣ... Почему я знаю? Кто мнѣ скажетъ здѣсь, что̀ изъ меня вышло, кто можетъ въ этомъ обществѣ мнѣ дать почувствовать, что̀ сдѣлалось со мной? Къ несчастію, я выше ихъ всѣхъ... Я выше ихъ; но для него— я все-таки провинціалка, жена уѣзднаго чиновника, бывшая воспитанница богатой барыни, которую потомъ кой-какъ пристроили... а онъ, онъ знатный человѣкъ, въ чинахъ, богатый... ну, не совсѣмъ богатый; дѣла его разстроились въ Петербургѣ, и онъ, я думаю, не на одинъ мѣсяцъ сюда пріѣхалъ. Онъ хорошъ собой, то-есть, былъ хорошъ собой... теперь онъ бѣлится и краситъ волосы. Говорятъ, что для людей въ его положеніи воспоминанія молодости особенно дороги... а онъ меня зналъ двѣнадцать лѣтъ тому назадъ, волочился за мною... Да, да, конечно, онъ волочился за мной отъ нечего дѣлать, по все-таки... *(Вздыхаетъ).* И я въ то время, помнится, мечтала... О чемъ не мечтаешь въ шестнадцать лѣтъ! *(Вдругъ выпрямляясь).* Ахъ, Боже мой! да у меня, должно-быть, хранится одно его письмо... Точно. Но гдѣ оно? Какъ досадно, что я прежде о немъ не вспомнила!.. Впрочемъ, я успѣю... *(Помолчавъ).* Посмотримъ. Но какъ кстати пришли эти ноты и книги! Мнѣ смѣшно... я точно генералъ передъ сраженьемъ, приготовляюсь встрѣтить непріятеля... А какъ я перемѣнилась въ послѣднее время! Неужели это я такъ холодно, такъ спокойно обдумываю, что мнѣ должно дѣлать? Нужда всему научитъ и отъ многаго отучитъ. Нѣтъ, я не спокойна, я въ волненіи теперь, но только отъ того, что я не знаю, удастся ли... Полно, такъ ли? Вѣдь ужъ я не ребенокъ, и воспоминанія уже стали дороги и для меня... какія бы они ни были... вѣдь другихъ у меня не будетъ, вѣдь ужъ полжизни, болѣе полжизни прошло. *(Улыбается).* Однако,

они все нейдутъ! И чего я прошу? чего добиваюсь? (мой бездѣлицы. Для него дать намъ возможность пе ѣхать въ Петербургъ, сыскать намъ тамъ мѣсто—без лица. А Алексѣй Иванычъ всякому мѣсту будетъ рад Неужели жъ я и этого не добьюсь?.. Въ такомъ случ мнѣ и слѣдъ оставаться въ уѣздномъ городѣ... я не служиваю лучшей участи... *(Прикладывая руку къ щек* А у меня отъ этой неизвѣстности, отъ всѣхъ этихъ р мышленій—лихорадка; щеки такъ и горятъ. *(Помолча* Что жъ? Тѣмъ лучше. *(Услышавъ шумъ въ кабинетѣ).* С идутъ... сраженіе начинается... О, робость, неумѣст робость, оставь меня теперь! *(Берется за книгу и п слоняется къ спинкѣ дивана).*

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ.

Дарья Ивановна, Ступендьевъ и графъ Любинъ.

Графъ.

Итакъ, я могу надѣяться на васъ, любезнѣйшій А ксѣй Иванычъ?

Ступендьевъ.

Ваше сіятельство, я, съ своей стороны, готовъ во все что́ отъ меня зависитъ...

Графъ.

Очень, очень вамъ благодаренъ. А бумаги я вамъ сооб въ самое короткое время... Сегодня я вернусь къ себѣ, завтра или послѣзавтра...

Ступендьевъ.

Слушаю-съ, слушаю-съ.

Графъ *(подходя къ Дарьѣ Ивановнѣ).*

Дарья Ивановна, вы, пожалуйста, извините меня: я сег дня, къ сожалѣнію, не могу у васъ остаться долѣе, но надѣюсь, что въ другой разъ.

Дарья Ивановна.

Развѣ вы не обѣдаете у насъ, графъ? *(Встаетъ).*

Графъ.

Я вамъ очень благодаренъ за приглашеніе, но..

Дарья Ивановна.

А я такъ радовалась напередъ... я надѣялась, что в

проведете хоть немного времени съ нами! Конечно, мы не смѣемъ васъ удерживать...

Графъ.

Вы слишкомъ добры, но право... если бъ вы знали—у меня столько дѣла...

Дарья Ивановна.

Вспомните, какъ давно мы не видались... и Богъ знаетъ, когда намъ придется опять увидѣться съ вами! Вѣдь вы у насъ такой рѣдкій гость...

Ступендьевъ.

Именно, ваше сіятельство, такъ сказать, фениксъ.

Дарья Ивановна *(перебивая его).*

Притомъ же, вы теперь не успѣете вернуться къ обѣду домой; а у насъ... я могу васъ увѣрить, вы отобѣдаете лучше, чѣмъ гдѣ-нибудь въ городѣ.

Ступендьевъ.

Мы, вѣдь, знали о прибытіи вашего сіятельства.

Дарья Ивановна *(опять перебивая его).*

Такъ вы обѣщаете, не правда ли?

Графъ *(нѣсколько принужденно).*

Вы такъ мило меня просите, что мнѣ невозможно вамъ отказать...

Дарья Ивановна.

А! *(Беретъ у него шляпу изъ рукъ и ставитъ на фортепіано).*

Графъ *(Дарьѣ Ивановнѣ).*

Признаюсь, я сегодня поутру, выѣзжая изъ дому, никакъ не ожидалъ имѣть удовольствіе встрѣтить васъ... *(Помолчавъ).* А вашъ городъ, сколько я могъ замѣтить, не дуренъ.

Ступендьевъ.

Для уѣзднаго города—живетъ, ваше сіятельство.

Дарья Ивановна *(садясь).*

Сядьте же, графъ, прошу васъ... *(Графъ садится).* Вы не можете себѣ представить, какъ я счастлива, какъ я рада видѣть васъ у себя... *(Къ мужу).* Ахъ! кстати, Alexis, тебя Миша спрашиваетъ.

Ступендьевъ.

Что ему надобно?

Дарья Ивановна.

Не знаю, но ты, кажется, ему очень нуженъ; поди, пожалуйста, къ нему.

Ступендьевъ.

Да какъ же я... ихъ сіятельство, вотъ... мнѣ теперь невозможно.

Графъ.

О, помилуйте, сдѣлайте одолженіе, не церемоньтесь. Я остаюсь въ очень пріятномъ обществѣ. *(Равнодушно проводитъ рукой по волосамъ).*

Ступендьевъ.

Да что жъ его могло такъ приспичить?

Дарья Ивановна.

Ты ему нуженъ; ступай, mon ami.

Ступендьевъ *(помолчавъ).*

Слушаю... Но я сейчасъ вернусь... къ вашему сіятельству... *(Кланяется; графъ ему кланяется. Ступендьевъ уходитъ въ переднюю и говоритъ про себя).* И что ему такое вдругъ занадобилось?

ЯВЛЕНІЕ ПЯТНАДЦАТОЕ.

Дарья Ивановна и **графъ**. Небольшое молчаніе. **Графъ** съ легкой улыбкой посматриваетъ сбоку на **Дарью Ивановну** и покачиваетъ головой.

Дарья Ивановна *(опуская глаза).*

Надолго вы пріѣхали въ наши края, ваше сіятельство?

Графъ.

Мѣсяца на два; я уѣду, какъ только дѣла мои нѣсколько устроятся.

Дарья Ивановна.

Вы въ Спасскомъ остановились?

Графъ.

Да, въ матушкиномъ имѣніи.

Дарья Ивановна.

Въ томъ же домѣ?

Графъ.

Въ томъ же. Признаюсь, въ немъ теперь жить не весело. Онъ такъ обветшалъ, такъ развалился... я на будущій годъ его намѣренъ сломать.

Дарья Ивановна.

Вы говорите, графъ, въ немъ теперь не весело жить... А не знаю, мои воспоминанія объ немъ чрезвычайно пріятны. Неужели вы, точно, хотите его сломать?

Графъ.

А развѣ вамъ его жаль?

Дарья Ивановна.

Еще бы! Я въ немъ провела лучшее время моей жизни. Притомъ, память о моей благодѣтельницѣ, вашей покойной матушкѣ... Вы понимаете...

Графъ *(перебивая ее).*

Ну, да, да... я понимаю. *(Помолчавъ).* А вѣдь, точно, въ прежнее время тамъ бывало весело...

Дарья Ивановна.

А вы не забыли...

Графъ.

Чего?

Дарья Ивановна *(опять опустивъ глаза).*

Прежняго времени?

Графъ *(понемногу оборачиваясь и начиная обращать нѣкоторое вниманіе на Дарью Ивановну).*

Я ничего не забылъ, повѣрьте... Скажите, пожалуйста, Дарья Ивановна, сколько вамъ тогда было лѣтъ?.. Постойте, постойте... Знаете ли, вѣдь вы отъ меня не можете скрыть свои годы?

Дарья Ивановна.

Я ихъ и не скрываю... Мнѣ, графъ, столько, сколько вамъ было тогда—28 лѣтъ.

Графъ.

Неужели мнѣ тогда было уже 28 лѣтъ? Мнѣ кажется, вы ошибаетесь...

Дарья Ивановна.

О, нѣтъ, графъ, не ошибаюсь... Я слишкомъ хорошо помню все, что касается до васъ...

Графъ *(принужденно смѣясь).*

Какой же я старикъ послѣ этого!

Дарья Ивановна.

Вы старикъ? Полноте!

Графъ.

Ну, положимъ, положимъ; я съ вами въ этомъ спорить не стану. *(Помолчавъ).* Да, да, хорошое было тогда время! Помните наши утреннія прогулки въ саду, по липовой аллеѣ, передъ завтракомъ? *(Дарья Ивановна опускаетъ глаза).* Нѣтъ, скажите, помните?

Дарья Ивановна.

Я вамъ уже сказала, графъ, что намъ, деревенскимъ жителямъ, нельзя не помнить прошедшаго, особенно, когда оно... почти не повторялось. Вотъ вы—другое дѣло!

Графъ *(все болѣе одушевляясь).*

Нѣтъ, послушайте, Дарья Ивановна, вы этого не думайте. Я вамъ это серьёзно говорю. Конечно, въ большихъ городахъ такъ много разсѣянности, особенно для молодого человѣка; конечно, эта разнообразная, шумная жизнь... Но могу васъ увѣрить, Дарья Ивановна, первыя, знаете ли, первыя впечатлѣнія никогда не изглаживаются, а иногда, среди этого вихря, сердце... вы понимаете, сердце, наскучивъ пустотою... знаете ли, его такъ и тянетъ...

Дарья Ивановна.

О, да, графъ, я съ вами согласна: первыя впечатлѣнія не проходятъ. Я это испытала.

Графъ.

А! *(Помолчавъ).* А признайтесь, Дарья Ивановна, вѣдь вамъ, должно-быть, здѣсь довольно скучно?

Дарья Ивановна *(съ разстановкой).*

Не скажу. Сначала мнѣ, точно, было нѣсколько трудно привыкать къ этому новому образу жизни; но потомъ... мой мужъ такой добрый, прекрасный человѣкъ!

Графъ.

О, да... я съ вами согласенъ... Онъ очень, очень *достойный* человѣкъ, очень; но..

Дарья Ивановна.

Потомъ я... я привыкла. Для счастья немного нужно. Домашній бытъ, семейство... *(понизивъ голосъ)* и нѣсколько хорошихъ воспоминаній...

Графъ.

А у васъ есть такія воспоминанья?

Дарья Ивановна.

Есть, какъ у всякаго; съ ними легче переносить скуку.

Графъ.

Стало-быть, вы все-таки скучаете иногда?

Дарья Ивановна.

Васъ это удивляетъ, графъ? Вы вспомните, я имѣла счастье быть воспитанной въ домѣ вашей матушки. Сравните же то, къ чему я привыкла въ молодости, съ тѣмъ, что меня теперь окружаетъ. Конечно, ни мое состоянье, ни мое рожденье, словомъ, ничто не давало мнѣ права надѣяться, что я такъ же буду продолжать жить, какъ начала; но вы сами сказали: первыя впечатлѣнія не изглаживаются, и что нельзя же насильно выкинуть изъ памяти то *(потупляя голову)*, что благоразуміе совѣтовало бы забыть... Я буду откровенна съ вами, графъ. Неужели вы думаете, что я не чувствую, какъ вамъ все здѣсь должно казаться бѣдно... и смѣшно? Этотъ лакей, который спасается отъ васъ, какъ заяцъ; эта кухарка—и... и, можетъ-быть, я сама...

Графъ.

Вы, Дарья Ивановна? Вы шутите, помилуйте! Да я, я васъ увѣряю... я, напротивъ, удивляюсь...

Дарья Ивановна *(живо)*.

Я вамъ скажу, чему вы удивляетесь, графъ. Вы удивляетесь тому, что я еще не совсѣмъ потеряла привычки моей молодости, что я еще не успѣла вполнѣ превратиться въ провинціалку... Это удивленіе для меня, вы думаете, лестно?

Графъ.

Какъ вы дурно толкуете мои слова, Дарья Ивановна!

Дарья Ивановна.

Можетъ-быть; но оставимъ это, прошу васъ. До иныхъ

ранъ, даже когда онѣ и зажили, все больно дотрогиваться. Притомъ же, я совершенно примирилась съ своей судьбой, живу одна въ своемъ темномъ уголку; и если бъ вашъ пріѣздъ не пробудилъ во мнѣ многихъ воспоминаній, мнѣ бы все это и въ голову не пришло. Я бы, по крайней мѣрѣ, объ этомъ никогда не заговорила. Мнѣ и такъ совѣстно, что я, вмѣсто того, чтобъ занять васъ по мѣрѣ возможности...

Графъ.

Да за кого же вы меня принимаете, позвольте васъ спросить? Неужели же вы думаете, что я не дорожу вашей довѣренностью, не умѣю цѣнить ее? Но вы клевещете на себя. Не можетъ быть, я не хочу вѣрить, чтобъ вы, съ вашимъ умомъ, съ вашимъ образованьемъ, остались незамѣченною здѣсь...

Дарья Ивановна.

Совершенно, графъ, увѣряю васъ. И я объ этомъ нисколько не тужу. Послушайте: я горда. Это только у меня и осталось отъ моего прошедшаго. Я не желаю нравиться людямъ, которые мнѣ самой не нравятся... Притомъ, мы бѣдны, зависимъ отъ другихъ; все это мѣшаетъ сближенью—такому сближенью, которое бы меня не оскорбляло. Такое сближенье невозможно... Я и предпочла одиночество. Притомъ, мнѣ одиночество не страшно—я читаю, занимаюсь; къ счастью, я нашла въ мужѣ честнаго человѣка...

Графъ.

Да, это тотчасъ видно.

Дарья Ивановна.

Мой мужъ, конечно, не безъ странностей... Я вамъ говорю это такъ смѣло потому, что вы, съ вашимъ проницательнымъ взглядомъ, не могли ихъ не замѣтить — но онъ прекрасный человѣкъ. И я бы ни на что не жаловалась, я бы всѣмъ была довольна, если бъ...

Графъ.

Если бъ что?

Дарья Ивановна.

Если бъ... иногда... иныя непредвидѣнныя... случайности не возмущали моего спокойствія.

Графъ.

Я не смѣю понимать васъ, Дарья Ивановна... Какія случайности? Вы сперва говорили о воспоминаніяхъ...

Дарья Ивановна *(прямо и невинно глядя въ глаза графу).*

Послушайте, графъ; я съ вами хитрить не стану. Я вообще хитрить не умѣю, а съ вами это было бы, просто, смѣшно. Неужели вы думаете, что для женщины ничего не значитъ увидѣть человѣка, котораго она знала въ молодости, знала совершенно въ другомъ мірѣ, въ другихъ отношеніяхъ — и увидать его, какъ я вижу теперь васъ... *(Графъ украдкой поправляетъ волосы.)* Говорить съ нимъ, вспоминать о прошломъ...

Графъ *(перебивая ее).*

А вы развѣ тоже думаете, что ничего не значитъ для мужчины, котораго судьба, такъ сказать, бросала во всѣ концы міра—что ничего ему не значитъ встрѣтить женщину, подобную вамъ, сохранившую всю... всю эту прелесть молодости, этотъ... этотъ умъ, эту любезность—cette grâce?

Дарья Ивановна *(съ улыбкой).*

А между тѣмъ, эта женщина едва-едва уговорила этого мужчину остаться у ней обѣдать!

Графъ.

Ахъ, вы злопамятны! Но, нѣтъ, скажите, какъ вы думаете—это для него ничего не значитъ?

Дарья Ивановна.

Я этого не думаю. Вотъ, видите ли, какъ я съ вами откровенна. Всегда пріятно вспомнить про свою молодость, особенно, когда въ ней нѣтъ ничего такого, что могло бы служить упрекомъ.

Графъ.

Ну, и скажите, что отвѣтитъ эта женщина этому мужчинѣ, если онъ, этотъ мужчина, увѣритъ ее, что никогда, никогда не забывалъ ея, что свиданіе съ ней, такъ сказать, сердечно его тронуло.

Дарья Ивановна.

Что она отвѣтитъ?

Графъ.

Да, да, что̀ она отвѣтитъ?

Дарья Ивановна.

Она ему отвѣтитъ, что сама тронута его ласков словами и *(протягивая ему руку)* предложитъ ему на возобновленіе старинной, искренней дружбы.

Графъ *(схватывая ея руку).*

Vous êtes charmante. *(Хочетъ поцѣловать у ней р но Дарья Ивановна принимаетъ ее.)* Вы милы, вы ч вычайно милы!

Дарья Ивановна *(встаетъ съ веселымъ видомъ).*

Ахъ, какъ я рада! какъ я рада! Я такъ боялась, вы не захотите вспомнить обо мнѣ, что вамъ будетъ ловко, непріятно у насъ, что вы даже найдете насъ вѣжливыми...

Графъ *(сидя, слѣдитъ за ней глазами).*

Скажите, Дарья Ивановна...

Дарья Ивановна *(слегка къ нему оборачиваясь).*

Что?

Графъ.

Вы отсовѣтовали Алексѣю Иванычу придти ко м *(Дарья Ивановна лукаво киваетъ головой.)* — Вы? *(Вс вая.)* Увѣряю васъ честью, что вы въ этомъ раскаива не будете.

Дарья Ивановна.

Еще бы! я васъ увидала.

Графъ.

Нѣтъ, нѣтъ, я не въ томъ смыслѣ говорю.

Дарья Ивановна *(невинно).*

Не въ томъ? въ какомъ же?

Графъ.

А въ томъ, что вамъ грѣшно оставаться здѣсь. Я эт не потерплю. Я не потерплю, чтобъ такая жемчужи пропадала въ глуши... Я вамъ—я вашему мужу достан мѣсто въ Петербургѣ.

Дарья Ивановна.

Полноте!

Графъ.

Вы увидите.

Дарья Ивановна.

Да полноте, говорятъ вамъ.

Графъ.

Вы, можетъ-быть, думаете, Дарья Ивановна, что у меня ля этого нѣтъ довольно... э... э... *(Онъ ищетъ слова)* influence?..

Дарья Ивановна.

Oh, j'en suis parfaitement persuadée!

Графъ.

Tiens! *(У него это выраженіе вырвалось невольно.)*

Дарья Ивановна *(смѣясь).*

Вы, графъ, кажется, сказали: tiens! Неужели вы воображали, что я забыла по-французски?

Графъ.

Нѣтъ, я этого не воображалъ... mais quel accent!

Дарья Ивановна.

О, полноте!..

Графъ.

А мѣсто, все-таки, я вамъ обѣщаю.

Дарья Ивановна.

Въ самомъ дѣлѣ? не шутя?

Графъ.

Не шутя, не шутя, вовсе не шутя.

Дарья Ивановна.

Ну, тѣмъ лучше. Алексѣй Иванычъ вамъ будетъ очень, очень благодаренъ. *(Помолчавъ.)* Только вы, пожалуйста, не подумайте...

Графъ.

Чего?

Дарья Ивановна.

Нѣтъ, ничего. Эта мысль не могла придти въ вашу голову, и потому ей не слѣдовало приходить въ мою. Такъ мы, можетъ-быть, будемъ въ Петербургѣ? Ахъ, какое счастье! Какъ Алексѣй Иванычъ будетъ радъ!

Графъ.

Вѣдь мы часто будемъ видѣться, не правда ли? Я гляжу

на васъ, на ваши глаза, на ваши локоны—и мнѣ, право, кажется, что вамъ шестнадцать лѣтъ, и что мы, попрежнему, гуляемъ съ вами въ саду, sous ces magnifiques tilleuls... Ваша улыбка нисколько не измѣнилась, вашъ смѣхъ такъ же звонокъ, такъ же пріятенъ, aussi jeune qu'alors...

Дарья Ивановна.

А почему вы это знаете?

Графъ.

Какъ почему? Развѣ я не помню?

Дарья Ивановна.

Я тогда не смѣялась... Мнѣ было не до смѣху. Я была грустна, задумчива, молчалива—развѣ вы забыли?..

Графъ.

Все же иногда...

Дарья Ивановна.

Вамъ бы менѣе всякаго другого слѣдовало это позабыть, monsieur le comte. Ахъ, какъ мы были молоды тогда... особенно я!.. Вы—вы уже пріѣхали къ намъ блестящимъ молодымъ офицеромъ. Помните, какъ ваша матушка вамъ обрадовалась, какъ не могла наглядѣться на васъ... Помните, какъ вы даже вашей старой тетушкѣ, княжнѣ Лизѣ, вскружили голову... *(Помолчавъ.)* Нѣтъ, я не смѣялась тогда.

Графъ.

Vous êtes adorable... plus adorable que jamais.

Дарья Ивановна.

En vérité? Что значитъ воспоминанье! Вы мнѣ тогда этого не говорили.

Графъ.

Я? я, который...

Дарья Ивановна.

Ну, полноте. А не то, я могу подумать, что вы собираетесь мнѣ дѣлать комплименты; это не годится между старыми друзьями.

Графъ.

Я? вамъ комплименты?

Дарья Ивановна.

Да, вы. Не думаете ли вы, что вы много перемѣнились

› поръ, какъ я видѣла васъ? Впрочемъ, давайте ь о чемъ-нибудь другомъ. Скажите мнѣ лучше, что̀ ете, какъ вы живете въ Петербургѣ—все это меня тересуетъ... Вѣдь вы продолжаете заниматься му- не правда ли?

Графъ.

ежду дѣломъ, знаете.

Дарья Ивановна.

у васъ такой же прекрасный голосъ?

Графъ.

раснаго голоса у меня никогда не было, но я о.

Дарья Ивановна.

я помню, у васъ былъ чудесный голосъ, такой чный... Вѣдь вы, кажется, тоже композировали?

Графъ.

еперь занимаюсь иногда композиціей.

Дарья Ивановна.

акомъ родѣ?

Графъ.

гальянскомъ. Я другого не признаю. Pour moi— eu; mais ce que je fais est bien. Кстати, вѣдь и вы ись музыкой. Вы, помнится, сами очень мило пѣли, орошо на фортепіанахъ играли. Я надѣюсь, вы ого не бросили?

Ивановна *(указывая на фортепіано и на лежащія на немъ ноты).*

мой отвѣтъ.

Графъ.

Іодходитъ къ фортепіано).

Дарья Ивановна.

ъ сожалѣнію, фортепіано мое очень плохо; за то, ней мѣрѣ, вѣрно. Оно дребезжитъ, но отъ него ется тоски.

Графъ *(беретъ два-три аккорда).*

› не дуренъ. Ахъ, кстати—какая мысль! Вѣдь вы ете à livre ouvert?

Дарья Ивановна.

Если не слишкомъ трудно, разбираю.

Графъ.

О! это нисколько не трудно. У меня здѣсь небольшая вещь, une bagatelle que j'ai composée, дуэтино изъ моей оперы для тенора и сопрано. Я—вы, можетъ-быть, слыхали, я пишу оперу—для забавы, знаете ли... sans aucune prétention.

Дарья Ивановна.

Неужели?

Графъ.

Такъ вотъ, если вы позволите, я пошлю за этимъ дуэтино, или, лучше, нѣтъ, я самъ схожу за нимъ. Мы его разберемъ съ вами—хотите?

Дарья Ивановна.

А оно у васъ здѣсь?

Графъ.

Здѣсь, на квартирѣ.

Дарья Ивановна.

Ахъ, ради Бога, графъ, принесите его поскорѣй. Боже мой, какъ я вамъ благодарна! Пожалуйста, ступайте за нимъ.

Графъ *(беретъ шляпу).*

Сейчасъ, сейчасъ. Vous verrez, cela n'est pas mal. Я надѣюсь, что эта бездѣлка вамъ понравится.

Дарья Ивановна.

Можетъ ли быть иначе? Только я напередъ прошу вашего снисхожденія.

Графъ.

О, помилуйте! напротивъ, я... *(Уходя, въ дверяхъ).* А! такъ вамъ не до смѣху было тогда!

Дарья Ивановна.

Вы, кажется, надо мной теперь смѣетесь... А я бы могла вамъ показать одну вещь...

Графъ.

Что такое? что такое?

Дарья Ивановна.

Которая у меня хранится... Я бы посмотрѣла, узнали ли бы вы ее.

Графъ.

,а о чемъ вы говорите?

Дарья Ивановна.

І ужъ знаю, о чемъ. Ступайте теперь принесите ваше гино, а потомъ мы увидимъ.

Графъ.

Vous êtes un ange. Я сейчасъ вернусь. Vous êtes un ange! *лаетъ ей ручкой и исчезаетъ въ переднюю).*

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ.

Дарья Ивановна *одна.*

Дарья Ивановна *(глядитъ ему вслѣдъ и, послѣ небольшого молчанія, восклицаетъ).*

Іобѣда! побѣда!.. Неужели? И такъ скоро, такъ неиданно! А! je suis un ange—je suis adorable! Стало-ть, я еще не совсѣмъ заржавѣла здѣсь. Я еще могу авиться даже такимъ людямъ, какъ онъ *(улыбаясь)*, къ онъ... О, милый мой графъ! я не могу скрыть, что довольно смѣшны и очень устарѣли. И онъ не поморлся, когда я ему сказала, что ему было тогда 28 лѣтъ ѣсто 39... какъ я, однако, спокойно солгала. Ступайте вашимъ дуэтино, какъ вы говорите. Мы можете быть передъ увѣрены, что я найду его прелестнымъ. *(Оставливается передъ зеркаломъ, глядится и проводитъ обѣи руками по своей таліи).* Мое бѣдное, деревенское атѣице, я скоро разстанусь съ тобой, прощай! Не даромъ я сама хлопотала надъ тобой, не даромъ я для тебя іпросила картинку у нашей городничихи. Ты мнѣ соужило службу. Я тебя никогда не брошу; но въ Петергѣ ужъ я тебя надѣвать не стану. *(Охорашиваясь).* Мнѣ ажется, на этихъ плечахъ не стыдно лежать и бархату...

ЯВЛЕНІЕ СЕМНАДЦАТОЕ.

арья Ивановна. Дверь изъ передней слегка растворяется и вызывается голова **Миши**. Онъ глядитъ нѣкоторое время на Дарью вановну и, не входя въ комнату, говоритъ вполголоса: „Дарья Ивановна!..“

Дарья Ивановна *(быстро оглядывается).*

А это вы, Миша! Что вамъ? Мнѣ теперь некогда...

Миша.

Я знаю, знаю... я не войду-съ; я только желалъ предупредить, что Алексѣй Иванычъ сейчасъ приду

Дарья Ивановна.

Зачѣмъ же вы съ нимъ не пошли гулять?

Миша.

Я гулялъ-съ съ нимъ, Дарья Ивановна; но они сказали-съ, что желаютъ идти на службу; я не могъ удержать-съ.

Дарья Ивановна.

Ну, онъ отправился на службу?

Миша.

Они, точно, вошли въ присутствіе, но черезъ кор время изволили выйти-съ.

Дарья Ивановна.

А вы почему знаете, что онъ вышелъ?

Миша.

А я изъ-за угла глядѣлъ-съ. *(Прислушивается).* они, кажется, сюда идутъ-съ. *(Скрывается и минуту показывается опять).* Вѣдь вы меня не дете-съ?

Дарья Ивановна.

Нѣтъ, нѣтъ.

Миша.

Слушаю-съ. *(Исчезаетъ).*

ЯВЛЕНІЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ.

Дарья Ивановна; немного погодя, **Алексѣй Ивановичъ.**

Дарья Ивановна.

Неужели Алексѣй Иванычъ вздумалъ ревновать? кстати, нечего сказать! *(Она садится. Изъ двери пер выходитъ Алексѣй Ивановичъ. Онъ въ смущеніи. Ивановна оглядывается).* А, это ты, Alexis?

Ступендьевъ.

Я, я, душа моя, я. А развѣ графъ ушелъ?

Дарья Ивановна.

Я думала, что ты на службѣ

Ступендьевъ.

Я и то заходилъ въ присутствіе, сказать, знаешь, чтобъ меня не ждали. Да и какъ же бы я могъ сегодня? У насъ такой почетный гость... Да куда жъ это онъ ушелъ?

Дарья Ивановна *(встаетъ).*

Послушайте, Алексѣй Ивановичъ, хотите вы получить хорошее мѣсто, съ хорошимъ жалованьемъ, въ Петербургѣ?

Ступендьевъ.

Я? Еще бы!

Дарья Ивановна.

Хотите?

Ступендьевъ.

Конечно... Какой вопросъ!

Дарья Ивановна.

Такъ оставьте меня одну.

Ступендьевъ.

То-есть, какъ одну?

Дарья Ивановна.

Одну съ графомъ. Онъ сейчасъ придетъ. Онъ пошелъ на свою квартиру за дуэтино.

Ступендьевъ.

За дуэтино?

Дарья Ивановна.

Да, за дуэтино. Онъ сочинилъ дуэтъ. Мы хотимъ его вмѣстѣ разобрать.

Ступендьевъ.

Отчего же я долженъ уйти?.. Я бы тоже хотѣлъ послушать...

Дарья Ивановна.

Ахъ, Алексѣй Иванычъ! Вы знаете, всѣ авторы ужасно робки, и третье лицо—для нихъ, просто, бѣда.

Ступендьевъ.

Для авторовъ? Г-мъ... Да, третье лицо... Но я, право, не знаю, прилично ли это будетъ... Какъ же это я уйду изъ дому?.. Графъ, наконецъ, можетъ обидѣться.

Дарья Ивановна.

Нисколько, — увѣряю тебя. Онъ знаетъ, что ты вѣкъ занятой, служащій; притомъ же, ты къ обѣд пешься.

Ступендьевъ.

Къ обѣду? Да.

Дарья Ивановна.

Въ три часа.

Ступендьевъ.

Въ три часа. Г-мъ! Да... Я совершенно съ тобою сенъ. Къ обѣду. Да, въ три часа. *(Вертится на м*

Дарья Ивановна *(подождавъ)*.

Ну, что же ты?

Ступендьевъ.

Я не знаю... У меня что-то, словно этакъ, голо литъ. Вотъ эта, лѣвая сторона.

Дарья Ивановна.

Неужели? Лѣвая сторона?

Ступендьевъ.

Ей-Богу. Вотъ, вотъ, вся эта сторона: я не знаю... кажется, лучше дома остаться.

Дарья Ивановна.

Послушай, мой другъ, ты ревнуешь меня къ граф ясно.

Ступендьевъ.

Я? Съ чего ты это взяла? Это было бы слишкомъ гл

Дарья Ивановна.

Конечно, это было бы очень глупо, въ этомъ нѣт какого сомнѣнія; но ты ревнуешь.

Ступендьевъ.

Я?

Дарья Ивановна.

Ты ревнуешь меня къ человѣку, который краситъ волосы.

Ступендьевъ.

Графъ себѣ краситъ волосы? Такъ что жъ! Я *парикъ.*

Дарья Ивановна.

правда; а потому, такъ какъ мнѣ твое спокойствіе
всего, пожалуй, оставайся... Но ужъ не думай о
ргѣ.

Ступендьевъ.

чего же? развѣ это мѣсто въ Петербургѣ... развѣ
ситъ отъ моего отсутствія?

Дарья Ивановна.

о.

Ступендьевъ.

Странно. Я, конечно, согласенъ съ тобой; но, все-
о странно, согласись и ты.

Дарья Ивановна.

ъ-быть.

Ступендьевъ.

это странно... какъ это странно! *(Расхаживаетъ
ить).* Гмъ!

Дарья Ивановна.

о всякомъ случаѣ, рѣшайся скорѣе... Графъ сей-
ненъ вернуться.

Ступендьевъ.

это странно! *(Помолчавъ).* Знаешь ли что, Даша,
сь.

Дарья Ивановна.

тебѣ угодно.

Ступендьевъ.

звѣ графъ тебѣ говорилъ что-нибудь объ этомъ

Дарья Ивановна.

чего не могу прибавить къ тому, что я тебѣ уже
Оставайся или уходи; какъ хочешь.

Ступендьевъ.

рошее мѣсто?

Дарья Ивановна.

шее.

Ступендьевъ.

вершенно съ тобою согласенъ. Я... я остаюсь... я
льно остаюсь, Даша. *(Въ передней раздается го-*

лось графа, который дѣлаетъ руладу). Вотъ онъ. *небольшого колебанья).* Въ три часа! Прощай! (. *въ кабинетъ).*

Дарья Ивановна.

Слава Богу!

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ.

Дарья Ивановна и **графъ**; у него въ рукахъ сверто

Дарья Ивановна.

Наконецъ, я васъ дождалась, графъ.

Графъ.

Me voilà, me voilà, ma toute belle. Я немно мѣшкался.

Дарья Ивановна.

Покажите, покажите... Вы не можете себѣ пред въ какомъ я нетерпѣніи. *(Беретъ у него свертокъ и съ жадностью его разсматриваетъ).*

Графъ.

Вы, пожайлуста, не ожидайте чего-нибудь этаког комъ необыкновеннаго. Вѣдь я вамъ напередъ что это бездѣлка, сущая бездѣлка.

Дарья Ивановна *(не сводя глазъ съ нотъ).*

Напротивъ, напротивъ... Oh! mais c'est charmar какъ этотъ переходъ милъ! *(Указывая пальцемъ мѣсто).* Ахъ, я влюблена въ этотъ переходъ...

Графъ *(съ скромной усмѣшкой).*

Да, онъ не совсѣмъ обыкновенный.

Дарья Ивановна.

И эта rentrée!

Графъ.

А! она вамъ нравится?

Дарья Ивановна.

Очень, очень мило! Ну, пойдемте, пойдемте; ч терять! *(Идетъ къ фортепіано, садится, поднима питръ и кладетъ ноты... Графъ становится за ея с*

Дарья Ивановна.

Это—andante?

Графъ.

Andante, andante amoroso quasi cantando. *(Откашливается).* Г-мъ, г-мъ! Я сегодня не въ голосѣ... Но вы извините... Une voix de compositeur, vous savez.

Дарья Ивановна.

Извѣстная отговорка. Что жъ мнѣ, бѣдной, сказать послѣ этого? Я начинаю. *(Она играетъ ритурнель).* Вотъ это трудно.

Графъ.

Не для васъ.

Дарья Ивановна.

А слова очень милы.

Графъ.

Да... я ихъ нашелъ, кажется, dans Metastase... я не знаю, четко ли они написаны. *(Указывая пальцемъ).* Это онъ ей поетъ:

La dolce tua immagine
O, vergine amata
Dell' alma inamorata...

Да вотъ, позвольте, слушайте. *(Поетъ романсъ въ итальянскомъ вкусѣ; Дарья Ивановна аккомпанируетъ ему).*

Дарья Ивановна.

Прекрасно, прекрасно... Oh, que c'est joli!

Графъ.

Вы находите?

Дарья Ивановна.

Удивительно, удивительно!

Графъ.

Я еще не такъ это спѣлъ, какъ бы слѣдовало. Но какъ вы мнѣ аккомпанировали, Боже мой! Я васъ увѣряю, никто, никто мнѣ такъ не аккомпанировалъ... никто!

Дарья Ивановна.

Вы мнѣ льстите.

Графъ.

Я? это не въ моемъ характерѣ, Дарья Ивановна. Вѣрьте мнѣ, c'est moi qui le dis. Вы—великая музыкантша.

Дарья Ивановна *(словно все еще погруженная въ созерцаніе нотъ).*

Какъ этотъ пассажъ мнѣ нравится! Какъ это ново!

Графъ.

Не правда ли?

Дарья Ивановна.

И неужели вся опера такъ же хороша?

Графъ.

Вы знаете, въ этомъ дѣлѣ авторъ не судья; но кажется, что, по крайней мѣрѣ, остальное не хуже, не лучше.

Дарья Ивановна.

Боже мой! Неужели вы мнѣ не сыграете что-ни изъ этой оперы?

Графъ.

Я былъ бы слишкомъ радъ и счастливъ исполнить просьбу, Дарья Ивановна, но, къ сожалѣнію, я не и на фортепіано и ничего не взялъ съ собой.

Дарья Ивановна.

Какъ жаль! *(Вставая).* До другого раза. Вѣдь я дѣюсь, графъ, что вы побываете къ намъ передъ ваш отъѣздомъ?

Графъ.

Я? я, если вы позволите, готовъ къ вамъ ѣздить дый день. Что жъ касается до моего обѣщанія, то уж этотъ счетъ вы можете быть совершенно покойны.

Дарья Ивановна *(невинно).*

Какого обѣщанія?

Графъ.

Я вашему мужу доставлю мѣсто въ Петербургѣ, руч вамъ честнымъ словомъ. Вамъ нельзя здѣсь остава Помилуйте, это было бы, просто, срамъ! Vous n'êtes faites, чтобы этакъ... pour végéter ici. Вы должны однимъ изъ блестящихъ украшеній нашего обществ я хочу... я буду гордиться тѣмъ, что я первый... вы, кажется, задумались... о чемъ, смѣю спросить?

Дарья Ивановна *(напѣвая, будто про себя).*

La dolce tua immagine...

Графъ.

А! я зналъ, я зналъ, что эта фраза останется у *въ памяти...* Вообще все, что я дѣлаю, est très chan

Дарья Ивановна.

Эта фраза чрезвычайно мила. Но извините, графъ... я и не слыхала, что вы мнѣ говорили... по милости вашей музыки.

Графъ.

Я вамъ говорилъ, Дарья Ивановна, что вамъ непремѣнно нужно переѣхать въ Петербургъ—во-первыхъ, для васъ и для вашего мужа, а во-вторыхъ, и для меня. Я осмѣливаюсь упомянуть о себѣ, потому что... потому что наша старинная, можно сказать, связь даетъ мнѣ нѣкоторое право на это. Я никогда не забывалъ васъ, Дарья Ивановна, а теперь болѣе чѣмъ когда-нибудь могу васъ увѣрить, что я искренно вамъ преданъ... что эта встрѣча съ вами...

Дарья Ивановна *(печально).*

Графъ, къ чему вы это говорите?

Графъ.

Почему жъ мнѣ не говорить того, что я чувствую?

Дарья Ивановна.

Потому, что вамъ не слѣдовало бы возбуждать во мнѣ...

Графъ.

Что возбуждать... что возбуждать? говорите...

ЯВЛЕНІЕ ДВАДЦАТОЕ.

Тѣ же и **Ступендьевъ** показывается въ дверяхъ кабинета.

Дарья Ивановна.

Напрасныя ожиданія.

Графъ.

Почему жъ напрасныя? И какія ожиданья?

Дарья Ивановна.

Почему? Я постараюсь быть откровенной съ вами, Валерьянъ Николаичъ.

Графъ.

Вы помните мое имя!

Дарья Ивановна.

Вотъ, видите ли, здѣсь... вы обратили на меня... нѣкоторое вниманіе, а въ Петербургѣ, я, можетъ-быть, пока-

жусь вамъ такою незначительною, что вы, пожалуй, бу сожалѣть о томъ, что теперь намѣрены сдѣлать для н

Графъ.

О, что вы говорите, помилуйте! Вы себѣ не зн цѣны. Но развѣ вы не понимаете... mais vous êtes femme charmante... Сожалѣть о томъ, что я сдѣлаю васъ, Дарья Ивановна!

Дарья Ивановна *(увидавъ Ступендьева).*

Для моего мужа, вы хотите сказать.

Графъ.

Ну, да, да, для вашего мужа. Сожалѣть... Нѣтъ, еще не знаете настоящихъ моихъ чувствъ... я тоже хо быть откровеннымъ съ вами... въ свою очередь.

Дарья Ивановна *(въ смущеніи).*

Графъ...

Графъ.

Вы не знаете моихъ настоящихъ чувствъ, говорю вам вы ихъ не знаете.

Ступендьевъ *(быстро входитъ въ комнату, приближаетс къ графу, который стоитъ къ нему спиной, и кланяется*

Ваше сіятельство, ваше сіятельство!..

Графъ.

Вы не знаете чувствъ моихъ, Дарья Ивановна.

Ступендьевъ *(кричитъ).*

Ваше сіятельство, ваше сіятельство...

Графъ *(быстро оборачивается, глядитъ на него нѣкотор время и спокойно говоритъ).*

А, это вы, Алексѣй Иванычъ? Откуда вы явились?

Ступендьевъ.

Изъ кабинета... изъ кабинета, ваше сіятельство. Я бы тутъ, въ кабинетѣ, ваше сіятельство...

Графъ.

Я думалъ, что вы на службѣ. А мы здѣсь съ ваш супругой занимались музыкой. Господинъ Ступендьев вы счастливѣйшій человѣкъ! Я вамъ это говорю та просто, безъ обиняковъ, потому, что я вашу жену зн *съ дѣтства.*

Ступендьевъ.

Вы слишкомъ добры, ваше сіятельство.

Графъ.

Да, да... Вы счастливый человѣкъ!

Дарья Ивановна.

Другъ мой, ты можешь благодарить графа.

Графъ *(быстро перерывая).*

Permettez... Je le lui dirai moi-même... plus tard... quand nous serons plus d'accord. *(Громко къ Ступендьеву).* Вы счастливый человѣкъ! Любите вы музыку?

Ступендьевъ.

Какъ же, ваше сіятельство. Я...

Графъ *(обращаясь къ Дарьѣ Ивановнѣ).*

Кстати... вы мнѣ хотѣли что-то показать, вы забыли?

Дарья Ивановна.

Я?

Графъ.

Да... вы... Vous avez déjà oublié?

Дарья Ивановна *(быстро вполголоса).*

Il est jaloux et il comprend le français. Ахъ, да, точно... Я теперь вспомнила; я хотѣла вамъ... я хотѣла вамъ показать нашъ садъ; до обѣда еще есть время.

Графъ.

А! *(Помолчавъ).* А! у васъ есть садъ?

Дарья Ивановна.

Небольшой, но въ немъ довольно цвѣтовъ.

Графъ.

Да, да, я помню; вы всегда были до нихъ большая охотница. Покажите, покажите мнѣ вашъ садъ, сдѣлайте одолженіе. *(Идетъ къ фортепіано за шляпой).*

Ступендьевъ *(вполголоса, подходя къ Дарьѣ Ивановнѣ).*

Что жъ это... что жъ это... что жъ это значитъ—а?

Дарья Ивановна *(вполголоса).*

Въ три часа, или безъ мѣста. *(Отходитъ отъ него и беретъ со стола зонтикъ).*

Графъ *(возвращаясь).*

Дайте мнѣ вашу руку. *(Вполголоса).* Я васъ понимаю.

Дарья Ивановна *(глядя на него съ едва замѣтной усмѣшкой).*

Вы думаете?

Ступендьевъ *(словно просыпаясь).*

Да, позвольте, позвольте... И я съ вами пойду.

Дарья Ивановна *(останавливается и оглядывается).*

И ты хочешь идти, mon ami? Ступай, ступай съ нами, ступай. *(Они съ графомъ направляются къ двери сада).*

Ступендьевъ.

Да... я... я пойду. *(Схватываетъ шляпу и дѣлаетъ нѣсколько шаговъ).*

Дарья Ивановна.

Ступай, ступай... *(Она уходитъ съ графомъ).*

ЯВЛЕНІЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ.

Ступендьевъ *(дѣлаетъ еще нѣсколько шаговъ, комкаетъ шляпу и бросаетъ ее на полъ).*

Да, чортъ возьми, я остаюсь! остаюсь! не пойду! *(Ходитъ по комнатѣ).* Я человѣкъ рѣшительный, я не люблю полумѣръ. Я хочу видѣть, докуда... я хочу все это вынести до конца. Я хочу убѣдиться собственными глазами. Вотъ, что я хочу... Вѣдь, это, наконецъ, неслыханное дѣло!—Ну, положимъ, она знала его въ дѣтствѣ; ну, положимъ, она образованная женщина, очень, очень образованная женщина — да какая же нужда меня-то дурачить? Оттого, что я не получилъ воспитанія? Во-первыхъ это не моя вина. Говоритъ тамъ о мѣстѣ въ Петербургѣ — ну, что за вздоръ? ну, можно ли этому повѣрить? Какъ бы не такъ! Графъ этотъ сейчасъ дастъ мнѣ мѣсто! Да и наконецъ, самъ-то онъ развѣ такая важная птица—дѣла его совершенно плохи... Ну, положимъ, онъ тамъ какъ-нибудь мнѣ, точно, доставитъ мѣсто; да зачѣмъ все такъ съ нимъ, тетъ-анъ-тетъ, цѣлый день?.. Вѣдь это неприлично! Ну, обѣщалъ—и конецъ. Въ три часа... Еще говоритъ, въ три часа *(глядитъ на часы)*, а теперь всего четверть третьяго! *(Останавливается).* А пойду-ка я въ садъ! *(Взглядываетъ).* Вишь, не видать ихъ. *(Поднимаетъ шляпу и расправляетъ ее).* Пойду, ей-Богу, пойду. Сама же,

сама мнѣ *(передразнивая жену)*: ступай, мон-ами, ступай! *(Помолчавъ)*. Да, какъ бы не такъ, пойдешь! Нѣтъ, братъ, знаю я тебя... куда тебѣ пойти! Пойдешь, какъ же, сейчасъ! Э! *(Съ досадой опять швыряетъ шляпу на полъ)*.

ЯВЛЕНІЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ.

Ступендьевъ и **Миша** выходитъ изъ передней.

Миша *(подходя къ Ступендьеву)*.

Что съ вами, Алексѣй Иванычъ? вы какъ будто не совсѣмъ въ своей тарелкѣ-съ? *(Поднимаетъ шляпу, расправляетъ ее и ставитъ на столъ)*. Что съ вами-съ?

Ступендьевъ.

Отстань, братъ, пожалуйста. Не надоѣдай хоть ты, по крайней мѣрѣ.

Миша.

Помилуйте, Алексѣй Иванычъ, не извольте такъ выражаться; неужели я васъ чѣмъ-нибудь обезпокоилъ-съ?

Ступендьевъ *(помолчавъ)*.

Не ты меня безпокоишь, а *(показываетъ рукой въ направленіи къ саду)* вотъ кто!

Миша *(глянувъ въ дверь, невиннымъ голосомъ)*.

Кто же такое, смѣю спросить?

Ступендьевъ.

Кто?.. онъ...

Миша.

Кто онѣ-съ?

Ступендьевъ.

Какъ будто ты не знаешь! Этотъ пріѣзжій графъ.

Миша.

Какимъ же манеромъ могъ онъ васъ безпокоить-съ?

Ступендьевъ.

Какимъ манеромъ!.. Онъ, вотъ, съ утра отъ Дарьи Ивановны не отходитъ, поетъ съ ней, гуляетъ... Что ты думаешь... это... это пріятно? пріятно это—а? для мужа, то-есть.

Миша.

Для мужа ничего-съ.

Ступендьевъ.

Какъ ничего? Развѣ ты не слышишь: гуляетъ съ ней поетъ?

Миша.

Только-то-съ?.. Помилуйте, Алексѣй Иванычъ, какъ вам не грѣшно, этакъ, того-съ... безпокоиться? Вѣдь это вс такъ сказать, для вашего блага дѣлается. Графъ, чел вѣкъ важный, съ вліяніемъ, зналъ Дарью Ивановну с дѣтства—какъ же этимъ не воспользоваться, помилуйте-с Да послѣ этого намъ бы, просто, стыдно было показатьс на глаза всякому благомыслящему человѣку. Я чувствуя что выраженія мои сильны, слишкомъ сильны, но мо усердіе къ вамъ...

Ступендьевъ.

Убирайся ты съ твоимъ усердіемъ! *(Садится и отворачивается).*

Миша.

Алексѣй Иванычъ... *(Помолчавъ).* Алексѣй Иванычъ!

Ступендьевъ *(не перемѣняя положенія).*

Ну, что тебѣ?

Миша.

Что вы изволите такъ сидѣть? Пойдемте лучше гулять.

Ступендьевъ.

Не хочу я гулять.

Миша.

Пойдемте-съ... Ей-Богу, пойдемте-съ.

Ступендьевъ *(быстро оборачиваясь и скрещивая руки).*

Да что тебѣ надобно, наконецъ, а?.. Что ты отъ меня сегодня ни на шагъ не отходишь съ утра? Что тебя ко мнѣ приставили, какъ няньку, что ли?

Миша *(опуская глаза).*

Точно, приставили-съ.

Ступендьевъ *(вставая).*

Кто, смѣю спросить?

Миша.

Для вашего же блага-съ, Алексѣй Иванычъ.

Ступендьевъ..

Позвольте узнать, милостивый государь, кто васъ ко мнѣ приставилъ?

Миша *(съ нѣкоторымъ стенаньемъ).*

Только выслушайте меня, Алексѣй Иванычъ, ради Бога. Два слова, Алексѣй Иванычъ, два слова... я не могу вамъ, этакъ, подробно объяснить. Кажется, вотъ, дождичекъ идти собирается... они сейчасъ придутъ...

Ступендьевъ.

Дождикъ собирается идти, а ты меня зовешь гулять!

Миша.

Да мы можемъ, этакъ не по улицѣ... Помилуйте, Алексѣй Иванычъ, не тревожьтесь... Чего вы можете бояться? Вѣдь мы тутъ, вѣдь мы наблюдаемъ-съ... вѣдь, кажется, это все вещь такая извѣстная-съ... Вы, вотъ, въ три часа вернетесь...

Ступендьевъ.

Да изъ чего ты-то хлопочешь? Что она тебѣ такое говорила?..

Миша.

Онѣ мнѣ ничего, этакъ собственно не говорили-съ... а такъ-съ... Помилуйте, вѣдь вы оба мои благодѣтели. Вы мой благодѣтель, а Дарья Ивановна моя благодѣтельница; притомъ же, онѣ мнѣ и родственница. Какъ же мнѣ не радѣть... *(Беретъ его подъ руку).*

Ступендьевъ.

Я остаюсь, говорятъ! Мое мѣсто здѣсь! Я здѣсь хозяинъ... Здѣсь! мое мѣсто! Я разрушу ихъ замыселъ!

Миша.

Конечно, вы хозяинъ-съ; да вѣдь, коли я вамъ говорю, что мнѣ все извѣстно...

Ступендьевъ.

Такъ что жъ? Ты думаешь, она тебя не проведетъ? Небойсь, ты, братъ, еще молодъ и глупъ. Ты еще женщинъ не знаешь...

Миша.

Гдѣ мнѣ ихъ знать-съ... Только вотъ-съ...

Ступендьевъ.

Я здѣсь графа засталъ и своими собственными у слышалъ, какъ онъ приставалъ: вы, молъ, сударын знаете моихъ чувствій; я, молъ, ихъ вамъ открою, чувствія... а ты зовешь меня гулять...

Миша *(тоскливо).*

Кажется, дождикъ накрапываетъ... Алексѣй Иван Алексѣй Иванычъ!

Ступендьевъ.

Вѣдь вишь, присталъ! *(Помолчавъ).* А вѣдь, въ са дѣлѣ, накрапываетъ!

Миша.

Они сюда идутъ, они сюда идутъ... *(Опять берет подъ руку).*

Ступендьевъ *(упираясь).*

Да нѣтъ же, говорятъ! *(Помолчавъ).* Ну, а впроч чортъ возьми, пойдемъ!

Миша.

Позвольте, я шляпу, шляпу...

Ступендьевъ.

Гдѣ тутъ шляпу! брось! *(Оба убѣгаютъ въ передню*

ЯВЛЕНІЕ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ.

Дарья Ивановна и **графъ** входятъ изъ сада.

Графъ.

Charmant, charmant.

Дарья Ивановна.

Вы находите?

Графъ.

Вашъ садъ чрезвычайно милъ, какъ и все здѣсь. *молчавъ).* Дарья Ивановна, я признаюсь... я всего не ожидалъ; я въ очарованьи, я въ очарованьи...

Дарья Ивановна.

Чего вы не ожидали, графъ?

Графъ.

Вы меня понимаете. Но когда вы мнѣ покажете *письмо?*

Дарья Ивановна.

Зачѣмъ оно вамъ?..

Графъ.

Какъ зачѣмъ?.. Я бы желалъ знать, такъ же ли я чувствовалъ въ то время, въ то прекрасное время, когда мы были такъ молоды оба...

Дарья Ивановна.

Графъ, намъ, я думаю, лучше не касаться до того времени.

Графъ.

Да почему же? Развѣ вы, Дарья Ивановна, развѣ вы не видите, какое вы произвели на меня впечатлѣніе!..

Дарья Ивановна *(съ смущеніемъ).*

Графъ...

Графъ.

Нѣтъ, выслушайте меня... Я вамъ правду скажу... Когда я пришелъ сюда, когда я васъ увидѣлъ, я, признаюсь, подумалъ—извините меня, пожалуйста—я подумалъ, что вы желали только возобновить знакомство со мной...

Дарья Ивановна *(поднимая глаза).*

И вы не ошиблись...

Графъ.

И потому я... я...

Дарья Ивановна *(съ улыбкой).*

Далѣе, графъ, далѣе.

Графъ.

Потомъ я вдругъ убѣдился, что имѣю дѣло съ женщиной, чрезвычайно плѣнительной, а теперь откровенно долженъ вамъ сознаться—теперь вы мнѣ совершенно вскружили голову.

Дарья Ивановна.

Вы смѣетесь надо мной, графъ...

Графъ.

Я смѣюсь надъ вами?

Дарья Ивановна.

Да, вы! Сядемте, графъ. Позвольте мнѣ вамъ сказать два слова. *(Садится).*

Графъ *(садясь).*

Вы мнѣ все не вѣрите!..

Дарья Ивановна.

А вы хотите, чтобъ я вамъ вѣрила? Полноте... как будто бы я не знаю, какого рода впечатлѣніе произвож на васъ. Сегодня я вамъ, Богъ знаетъ, почему, нравлюсь завтра вы меня позабудете. *(Онъ хочетъ говорить, но он его останавливаетъ).* Поставьте себя въ мое положеніе... Вы еще молоды, блестящи, живете въ большомъ свѣтѣ; у насъ вы случайный гость...

Графъ.

Но...

Дарья Ивановна *(останавливая его).*

Мимоходомъ вы замѣтили меня. Вы знаете, что наши дороги въ жизни такъ различны... что же вамъ стоитъ увѣрить меня въ вашей... въ вашей дружбѣ?... Но *я*, графъ, *я*, которой суждено провести весь свой вѣкъ въ уединеніи—я должна дорожить своимъ покоемъ, я должна строго наблюдать за своимъ сердцемъ, если не хочу современемъ...

Графъ *(перебивая ее).*

Сердцемъ, сердцемъ; vous dites сердцемъ! Да развѣ у меня тоже нѣтъ сердца, наконецъ? И почему вы знаете, что оно, это сердце, не... не заговорило, наконецъ? Вы говорите: уединенье? Но почему же уединенье?

Дарья Ивановна.

Я дурно выразилась, графъ; я не одна — я не имѣю права говорить объ уединеніи.

Графъ.

Понимаю, понимаю—вашъ мужъ... но развѣ... развѣ... Вѣдь это только между нами... одна, этакъ..: de la sympathie. *(Небольшое молчаніе).* Мнѣ только, признаюсь, одно больно: мнѣ больно, что вы не отдаете мнѣ справедливости, что вы видите во мнѣ какого-то, я не знаю... какого-то фальшиваго человѣка... что вы не вѣрите мнѣ, наконецъ...

Дарья Ивановна *(помолчавъ и посмотрѣвъ на него сбоку).*

Такъ вѣрить мнѣ вамъ, графъ?

Графъ.

Oh, vous êtes charmante! *(Беретъ ея руку. Дарья Ивановна сперва какъ будто хочетъ принять ее, потомъ оставлятъ. Графъ съ жаромъ ее цѣлуетъ).* Да, вѣрьте мнѣ, Дарья Ивановна, вѣрьте... я васъ не обманываю. Я сдержу всѣ свои обѣщанья. Вы будете жить въ Петербургѣ... Вы... вы... увидите. И не въ уединеніи... я за это вамъ ручаюсь. Вы говорите, я васъ забуду? Какъ бы вы меня не забыли!

Дарья Ивановна.

Валерьянъ Николаичъ!

Графъ.

А, вы сами теперь видите, какъ непріятно, какъ оскорбительно сомнѣніе! Вѣдь я бы могъ тоже подумать, что вы притворяетесь, que ce n'est pas pour mes beaux yeux...

Дарья Ивановна.

Валерьянъ Николаичъ!

Графъ *(болѣе и болѣе одушевляясь и вставая).*

Впрочемъ, что мнѣ за дѣло, какого вы ни были мнѣнія обо мнѣ!.. Я... я долженъ вамъ сказать, что я вамъ душевно преданъ, что я, наконецъ, влюбленъ въ васъ, страстно, страстно влюбленъ, и готовъ на колѣняхъ поклясться вамъ.

Дарья Ивановна.

На колѣняхъ, графъ? *(Встаетъ).*

Графъ.

Да, на колѣняхъ, если бъ это не было принято—такъ, чѣмъ-то театральнымъ.

Дарья Ивановна.

Отчего же?.. Нѣтъ, это, признаюсь, это должно быть очень пріятно — для женщины. *(Быстро оборачиваясь къ Любину).* Станьте на колѣни, графъ, коли вы точно не смѣетесь надо мной.

Графъ.

Съ удовольствіемъ, Дарья Ивановна, если это только можетъ васъ заставить повѣрить, наконецъ... *(Не безъ труда становится на колѣни).*

Дарья Ивановна *(даетъ ему стать на колѣни и быстро приближается къ нему).*

Помилуйте, графъ, что̀ вы! я шутила, встаньте.

Графъ *(пробуетъ встать и не можетъ).*

Все равно, оставьте. Je vous aime, Dorothée... Et vous?

Дарья Ивановна.

Встаньте, прошу васъ... *(Изъ передней показывается Ступендьевъ, напрасно удерживаемый Мишей).* Встаньте... *(Она дѣлаетъ знаки и сама съ трудомъ удерживаетъ смѣхъ).* Встаньте... *(Графъ съ изумленіемъ глядитъ на нее и замѣчаетъ ея знаки).* Да встаньте же, говорятъ...

Графъ *(не вставая).*

Кому вы дѣлаете знаки?

Дарья Ивановна.

Графъ, ради Бога, встаньте!

Графъ.

Дайте мнѣ руку.

ЯВЛЕНІЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ.

Тѣ же, **Ступендьевъ** и **Миша**. **Ступендьевъ** во время этого разговора подошелъ къ самому графу. Миша остановился у порога. Дарья Ивановна глядитъ на графа, на мужа и съ звонкимъ хохотомъ бросается въ кресло. Графъ въ смущеніи оглядывается и видитъ Ступендьева. Тотъ ему кланяется. Графъ съ досадой обращается къ нему.

Графъ.

Помогите мнѣ встать, милостивый государь... Я какъ-то... здѣсь сталъ на колѣни. Да помогите же мнѣ! *(Дарья Ивановна перестаетъ смѣяться).*

Ступендьевъ *(хочетъ поднять его подъ мышки).*

Слушаю-съ, ваше сіятельство... Извините меня, если я... того-съ...

Графъ *(отталкиваетъ его и вскакиваетъ молодцомъ).*

Очень хорошо-съ, очень хорошо-съ — я у васъ ничего не спрашиваю. *(Подходя къ Дарьѣ Ивановнѣ).* Прекрасно, Дарья Ивановна, очень вамъ благодаренъ.

Дарья Ивановна *(принимая умоляющій видъ).*

Чѣмъ же я виновата, Валерьянъ Николаичъ!

Графъ.

Вы нисколько не виноваты, помилуйте! Нельзя не смѣять-
надъ тѣмъ, что́ смѣшно—я васъ въ этомъ не упрекаю,
вѣрьте; но, сколько могъ замѣтить, это все было у васъ
передъ сговорено съ вашимъ супругомъ.

Дарья Ивановна.

Почему вы это думаете, графъ?

Графъ.

Почему? Да потому, что въ этакихъ случаяхъ, обыкно-
нно, не смѣются и не дѣлаютъ знаковъ.

Ступендьевъ *(который вслушался).*

Помилуйте, ваше сіятельство, между нами ничего не
ыло сговорено, увѣряю васъ, ваше сіятельство. *(Миша*
рветъ его за фалду).

Графъ *(съ горькимъ смѣхомъ къ Дарьѣ Ивановнѣ).*

Ну, послѣ этого вамъ трудно будетъ еще запираться...
Помолчавъ). Впрочемъ, вамъ и не для чего запираться.
совершенно заслуживалъ это.

Дарья Ивановна.

Графъ...

Графъ.

Не извиняйтесь, прошу васъ. *(Помолчавъ, про себя).*
акой позоръ! Одно только осталось средство выйти изъ
ого глупаго положенія... *(Громко къ Дарьѣ Ивановнѣ).*
арья Ивановна?..

Дарья Ивановна.

Графъ?

Графъ *(помолчавъ).*

Вы, можетъ-быть, думаете, что я теперь не сдержу
оего слова, сейчасъ уѣду, и не прощу вамъ вашей ми-
ификаціи? Я бы, можетъ-быть, имѣлъ право это сдѣлать,
тому что, все-таки, съ порядочнымъ человѣкомъ такъ
тить не слѣдуетъ; но я желаю, чтобъ вы, въ свою
ередь, узнали, съ кѣмъ имѣли дѣло... Madame, je suis
galant homme. Притомъ, я уважаю всегда прекрасный
ъ, даже когда мнѣ отъ него достается... Я остаюсь
ѣдать—если г-ну Ступендьеву это не будетъ противно—

и, повторяю вамъ, сдержу всѣ свои обѣщанія, теперь еще болѣе, чѣмъ когда-нибудь...

Дарья Ивановна.

Валерьянъ Николаичъ, вы, я надѣюсь, тоже не такого дурного мнѣнія обо мнѣ; вы не подумаете, не правда ли, что я не умѣю цѣнить... что я не до глубины сердца тронута вашимъ великодушіемъ... Я виновата передъ вами, но вы меня узнаете, какъ я теперь узнала васъ...

Графъ.

О, помилуйте! Къ чему всѣ эти слова?.. Все это не стоитъ благодарности... Но какъ вы хорошо играете комедію!..

Дарья Ивановна.

Графъ, вы знаете, комедію хорошо играешь тогда, когда чувствуешь, что говоришь...

Графъ.

А! вы опять... Нѣтъ, ужъ извините — два раза сряду я не попадусь. *(Обращаясь къ Ступендьеву).* Я долженъ быть очень смѣшонъ въ вашихъ глазахъ теперь, милостивый государь; но постараюсь доказать на дѣлѣ мое желанье быть вамъ полезнымъ...

Ступендьевъ.

Ваше сіятельство, повѣрьте, я... *(Въ сторону).* Я ничего не понимаю.

Дарья Ивановна.

Да это и не нужно... Благодаря только его сіятельству...

Ступендьевъ.

Ваше сіятельство, повѣрьте...

Графъ.

Полноте, полноте...

Дарья Ивановна.

А васъ, Валерьянъ Николаичъ, я поблагодарю въ Петербургѣ.

Графъ.

И покажете мнѣ письмо?..

Дарья Ивановна.

Покажу, и, можетъ-быть, съ отвѣтомъ.

Графъ.

Eh bien! il n'y a pas à dire, vous êtes charmante aprè tout... и я ни въ чемъ не раскаиваюсь...

Дарья Ивановна.

Я, можетъ-быть, не буду въ состояніи этого сказать... *(Графъ рисуется; она улыбается).*

Ступендьевъ *(въ сторону, глядя на часы).*

А вѣдь я пришелъ въ три четверти третьяго, а не въ три.

Миша *(робко подходя къ Дарьѣ Ивановнѣ).*

Дарья Ивановна, что жъ вы, меня-то?.. Вы меня-то, кажется, забыли... А ужъ я какъ старался!

Дарья Ивановна *(вполголоса).*

Я васъ не забыла... *(Громко).* Графъ, позвольте вамъ представить одного молодого человѣка... *(Миша кланяется).* Я принимаю въ немъ участіе, и если...

Графъ.

Вы принимаете въ немъ участіе?.. Этого довольно... Молодой человѣкъ, вы можете быть покойны: мы объ васъ не забудемъ.

Миша *(подобострастно).*

Ваше сіятельство...

ЯВЛЕНІЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ.

Тѣ же, **Аполлонъ** и **Васильевна.**

Аполлонъ *(выходя изъ передней).*

Кушанье...

Васильевна *(выходя изъ-за Аполлона).*

Кушанье готово.

Ступендьевъ.

А! Ваше сіятельство, милости просимъ.

Графъ *(подавая руку Дарьѣ Ивановнѣ, къ Ступендьеву).*

Вы позволите?

Ступендьевъ.

Сдѣлайте одолженіе... *(Графъ съ Дарьей Ивановной приближается къ дверямъ).* Однако, я пришелъ не въ три, а въ три четверти третьяго... все равно; я ничего не понимаю; но моя жена—великая женщина!

Миша.

Пойдемте, Алексѣй Иванычъ.

Дарья Ивановна.

Графъ, я заранѣе прошу у васъ извиненья за провинціальный нашъ обѣдъ.

Графъ.

Хорошо, хорошо... До свиданья въ Петербургѣ, провинціалка!

1851 г.

ЗГОВОРЪ НА БОЛЬШОЙ ДОРОГѢ.

СЦЕНА.

Посвящено **П. М. Садовскому.**

По большой ...ой дорогѣ тащится довольно уже ветхій
антасъ, запряженный тройкою загнанныхъ лошадей.
тарантасѣ сидятъ рядомъ: господинъ лѣтъ 28-ми, Ар-
ій Артемьевичъ *Михрюткинъ*, худенькій человѣкъ, съ
шечнымъ лицомъ, унылымъ, краснымъ носомъ и бу-
и усиками, закутанный въ сѣрую попошенную ши-
—и слуга его *Селивёрстъ* (онъ также и земскій), рас-
вшійся, пухлый мужчина 40 лѣтъ, съ свиными глаз-
и и желтыми волосами. На козлахъ сидитъ кучеръ
ремъ, бородастый, красный и курносый, одѣтый въ тя-
ый, рыжій армякъ и шляпу съ опустившимися краями;
тоже около 40 лѣтъ. Солнце печетъ; жара и духота
шная. — Ѣдутъ они изъ уѣзднаго города и, полчаса
у назадъ, останавливались въ постояломъ дворикѣ, гдѣ
Ефремъ, и Селивёрстъ оба успѣли немного выпить. —
ъ Михрюткинъ часто кашляетъ,—грудь у него разстрое-
и вообще онъ видъ имѣетъ недовольный. Онъ гово-
ъ торопливо и смутно, словно съ просонья; Ефремъ
ражается медленно и обдуманно; Селивёрстъ произно-

сить слова съ трудомъ, словно выпираетъ ихъ изъ желудка; страдаетъ онъ одышкой.

Михрюткинъ (*внезапно встряхнувъ шинелью*).

Ефремъ,—а Ефремъ!

Ефремъ (*оборачиваясь къ нему вполовину*).

Чего изволите?

Михрюткинъ.

Да что, ты спишь, должно-быть, на козлахъ-то?—Какъ же ты не видишь, что у тебя подъ носомъ дѣлается—а?—Любезный ты мой другъ!

Ефремъ.

А что-съ?

Михрюткинъ.

Что-съ?—У тебя одна пристяжная вовсе не работаетъ. Что жъ ты за кучеръ послѣ этого—а?

Ефремъ.

Какая пристяжная не работаетъ?

Михрюткинъ.

Какая... какая... Извѣстно, какая; правая, вороная. Ничего не везетъ—развѣ ты не видишь?

Ефремъ.

Правая?

Михрюткинъ.

Ну, не разсуждай, пожалуйста, и не повторяй словъ моихъ. Я этой гнусной привычки въ дворовыхъ людяхъ терпѣть не могу.—Стегни-ка ее, стегни, хорошенько стегни, да впередъ не давай ей дремать, да и самъ тоже того... (*Ефремъ съ язвительной усмѣшкой сѣчетъ правую пристяжную.*) Послѣ этого мнѣ остается самому на козлы сѣсть, — да развѣ это мое дѣло? Это твое дѣло. Дуракъ! (*Ефремъ продолжаетъ сѣчь пристяжную. Она брыкаетъ.*) Ну, однако — тише! (*Помолчавъ.*) Экая, между прочимъ, жара несносная. (*Закутывается въ шинель и кашляетъ.*)

Селиверстъ (*помолчавъ*).

Да-съ... оно точно: жара. Ну, а впрочемъ—для уборки хлѣбовъ — оно ничего-съ. О-охъ, Господи! (*Вздыхаетъ и чмокаетъ губами, какъ бы собираясь дремать.*)

Михрюткинъ (*помолчавъ — Селиверсту*).

Скажи, пожалуйста, что это за толстая баба на постоялъ дворѣ съ нами разсчитывалась? — Я прежде ея не ывалъ.

Селиверстъ.

А сама хозяйка. Изъ Бѣлева надысь наѣхала

Михрюткинъ.

Отчего она такая толстая?

Селиверстъ.

А кто жъ ее знаетъ? Иного этакъ вдругъ разопретъ— ьмъ онъ въ іефтомъ случаѣ виноватъ?

Михрюткинъ.

Она съ насъ дорого взяла—эта баба. Я замѣтилъ—ты никогда на постоялыхъ дворахъ не торгуешься. Никогда.— то́ запросятъ, то и даешь. Знать, она тебѣ поднесла, та баба. И въ городѣ тоже втрое заплатилъ.

Селиверстъ.

Что вы изволите говорить, Аркадій Артемьичъ!.. Я, кается, не таковскій человѣкъ, чтобы изъ какихъ тамъ ибудь угожденьевъ или видовъ...

Михрюткинъ.

Ну, хорошо, хорошо...

Селиверстъ.

Я, Аркадій Артемьичъ, сызмала еще вашему батюшкѣ окойному служилъ—и до сихъ поръ служу вашей милости, то-есть; и никто за мной никакихъ операцій не замѣчалъ. Потому что я чувствую; и чтобы что-нибудь этакъ ротивъ господской выгоды, или вообще не по совѣсти— есть свою замарать согласиться; да я, помилуйте, я — а и Господи, Боже ты мой...

Михрюткинъ.

Ну, да хорошо же...

Селиверстъ.

А баба эта съ насъ даже не дорого взяла; такъ ли е берутъ на постоялыхъ дворахъ!—Вы говорите — она ѣ поднесла: что жъ! можетъ-быть, и поднесла. Я отъ его количества не отказываюсь. Я пью, но пью умѣно, съ воздержаніемъ.

Михрюткинъ.

Ну, да, говорятъ тебѣ—хорошо.

Селиверстъ.

Вы только напрасно меня обидѣть изволили, Аркадій Артемьичъ—Богъ съ вами! (*Михрюткинъ молчитъ.*) Богъ съ вами совсѣмъ!

Михрюткинъ (*съ сердцемъ*).

Ну, да перестань же, чортъ!

Селиверстъ.

Слушаю-съ. (*Воцаряется молчаніе.*)

Михрюткинъ (*который напрасно старался заснуть, Ефрему*).

А отчего это у тебя коренная ушами трясетъ—устала что ли она—вишь, вишь, на каждомъ шагу встряхиваетъ?

Ефремъ (*оборачиваясь вполовину*).

Какая лошадь ухми трясетъ?

Михрюткинъ.

Коренная; развѣ ты не видишь?

Ефремъ.

Коренная ухми трясетъ?

Михрюткинъ.

Да, да; ушми.

Ефремъ.

Не знаю, отчего она ухми трясти будетъ. Развѣ отъ мухъ?

Михрюткинъ.

Отъ мухъ лошадь всей головой трясетъ, а не одними ухми. (*Помолчавъ.*) А что, вѣдь она, кажется, на ноги разбита?

Ефремъ.

Лядащая лошадь, какъ есть. (*Бьетъ ее кнутомъ.*)

Михрюткинъ.

Ну, ты ея не любишь, я знаю.

Ефремъ.

Нѣтъ, Аркадій Артемьичъ, я ее люблю (*бьетъ ее*); я, Аркадій Артемьичъ, всѣхъ вашихъ лошадей одинаково соблюдаю, потому что это первое дѣло; а тотъ ужъ не кучеръ, который не соблюдаетъ лошадей — тотъ, просто

рный человѣкъ.—Нѣтъ, я се люблю. А только я ливъ.—Гдѣ хвалить нечего—не хвалю.

Михрюткинъ.

къ ты въ ней, напримѣръ, находишь дурного?

Ефремъ.

ій Артемьичъ, позвольте вамъ доложить. Лошадь розвь. — Вотъ, какъ между людьми, напримѣръ, ъ бываетъ натуральный, безъ образованья, однимъ —пахондрикъ; такъ и въ лошадяхъ. Необстоятельадь, Аркадій Артемьичъ, пріятности въ ней ниѣтъ.—Что, напримѣръ, бѣжитъ она—на взволокъ, по ровному ли мѣсту—или, напримѣръ, подъ гору ъ — ничего въ ней нѣтъ — извольте сами посмо- *Гнется на одинъ бокъ.*) Ну, что бѣжитъ, помилуйте! ъ нея никакого удовольствія. Просто, пустая ло- *Бьетъ ее кнутомъ.)*

Михрюткинъ.

пристяжныя, по-твоему—каковы?

Ефремъ.

ристяжныя—ничего. Вороная, напримѣръ, лошадь ельная; божевольна маленько, пуглива—ну, и лѣна только обходительная лошадь, вѣжливая; а ужъ ъ—*(указывая кнутомъ на львую пристяжную)* гнѣросто безъ числа. — Конь добрый, степенный, ко асковъ, бѣжитъ прохладно, доброхотъ: слуга, можетъ, изъ слугъ слуга. — Ногами, правда, немного — вѣдь у насъ какая ѣзда, Аркадій Артемьичъ, те. То туды, то сюды—покоя нѣтъ лошадямъ ни аго. То вы сами изволите куда, напримѣръ, про-,—то барыня погонитъ въ городъ, то приказчикъ ъ.—Гдѣ жъ имъ тутъ справиться? А ужъ я, каобъ нихъ, какъ объ отдахъ родныхъ забочусь. , котята! *(Погоняетъ ихъ.)*

Михрюткинъ *(помолчавъ).*

что жъ ты думаешь насчетъ коренной-то — коли ъ плоха?

Ефремъ.

ать ее слѣдуетъ, Аркадій Артемьичъ. На что та-

кую лошадь держать — сами вы изволите разсудить! Ч
дурная, что хорошая лошадь—одинаково кормъ ѣдятъ
то и промѣнять ее можно.

Михрюткинъ.

Промѣнять!—Знаю я ваши промѣны!—придашь деш
пропасть, своя лошадь ни за что пойдетъ, а смотришь
та-то еще хуже.

Ефремъ.

На что же такъ мѣнять, Аркадій Артемьичъ? Этакъ
пять не хорошо. Надо безъ придачи мѣнять—ухо на у

Михрюткинъ.

Ухо на ухо! Да гдѣ жъ ты такого дурака найдешь,
торый бы тебѣ за дрянную лошадь хорошую безъ прид
отдалъ, а? Что ты, однако, за кого меня принимае
наконецъ? (*Кашляетъ*).

Ефремъ.

Да Аркадій Артемьичъ, помилуйте. Кому какая
шадь нужна: иному наша лошадь покажется, а нам
его. Вотъ, хучь бы у сосѣда нашего, у Евграфа Авдѣи
есть животикъ; Евграфъ-то Авдѣичъ порастратился, та
можетъ-быть, онъ сгоряча согласится. А лошадка добр
добрая лошадка. Онъ же такой человѣкъ разсѣянн
вертлюшокъ; гдѣ ему лошадь прокормить, самъ бе
хлѣба сидитъ.

Михрюткинъ.

А ты, однако, я вижу, глупъ. Коли ему нечѣмъ лоша
прокормить, ну, изъ чего, ну, съ какой стати станетъ о
мѣняться, а?

Ефремъ.

Ну, такъ купить у него можно. А онъ отдастъ дешев
Просто, за что угодно отдастъ. Лишь бы со двора дол

Михрюткинъ (*помолчавъ*).

А лошадь, точно, порядочная?

Ефремъ.

Отмѣнная лошадь—вотъ, изволите увидѣть.

Михрюткинъ (*опять помолчавъ*).

Да ты,—чортъ тебя знаетъ,—ты все врешь.

Ефремъ.

Зачѣмъ врать? Песъ бретъ; за то онъ и собака.

Михрюткинъ (*недовольнымъ голосомъ*).

Ну, не разсуждай. (*Помолчавъ*). И на этой еще поздимъ.

Ефремъ.

Какъ вашей милости угодно будетъ. А только эта лошадь, воля ваша, просто никуда. Просто—вохлякъ

Михрюткинъ.

Что-о?

Ефремъ.

Вохлякъ.

Михрюткинъ.

Самъ ты вохлякъ.

Ефремъ (*оборачиваясь вполовину*).

Кто... я вохлякъ?

Михрюткинъ.

Да, ты. Что жъ тутъ удивительнаго? Ты.

Ефремъ (*протянувъ голову*).

Ну... ну, это вы, однако, Аркадій Артемьичъ, уже того... больно изволите того... (*Онъ чрезвычайно обиженъ и взволнованъ*).

Михрюткинъ (*вспыхнувъ*).

Что-о... что-о?

Ефремъ.

Да помилуйте... какъ же можно...

Михрюткинъ.

Молчать! молчать! говорю тебѣ — молчать! Ахъ, ты, мякъ верблюжій! Обижаться вздумалъ, вишь! Да, вохлякъ, вохлякъ, еще какой вохлякъ! Что жъ, послѣ этого , по-твоему, уже ничего не смѣю сказать? Ты мнѣ тутъ, Богъ тебя знаетъ, что наболталъ, а я долженъ передъ обой безмолвствовать?.. Вишь, краснобай этакой!.. Еще бижается! (*Кашляетъ*). Молчать! (*Страшный кашель рерываетъ слова Михрюткина. Онъ вынимаетъ изъ кармана бумажку, развертываетъ ее, достаетъ оттуда кусокъ леденца и принимается сосать его. Ефремъ молча огоняетъ лошадей; выраженіе его лица достойное и стро-*

гое. Успокоившись немножко, Михроткинъ напрасно лится поправить за спиной кожаную подушку и т каетъ подъ бокъ Селиверста, который, во все время ра вора Аркадія Артемьича съ Ефремомъ, спалъ мертв сномъ). Селивёрстъ, Селивёрстъ!—Ну, разоспался, охре неприличный—Селивёрстъ!

Селиверстъ *(просыпаясь).*

Чего прикажете?

Михрюткинъ.

Вотъ то-то и есть. Не будь я такъ непростите добръ съ вами, вы бы меня уважали; а то вы всякое у женіе ко мнѣ потеряли. Ну, что спишь, словно не вида какъ спятъ... Тутъ кучеръ позабылся, барина обезпокои а ты спишь.

Селиверстъ.

Я такъ только, немножко, Аркадій Артемьичъ...

Михрюткинъ.

То-то, такъ. *(Утихая).* Поправь мнѣ подушку сза *(Селиверстъ поправляетъ подушку).* Одному я удивля кажется, ужъ на что я снисходителенъ, ужъ на что; а к какой привязанности въ васъ не заслужилъ. Вы всѣ не за грошъ готовы продать, ей-ей! *(Едва сдерживая слез* Да вотъ, потерпите маленько; не долго мнѣ вамъ на ѣдать. Скоро, скоро сложу я свою головушку *(кланяетс* посмотрю я: лучше ли вамъ будетъ безъ меня.

Селиверстъ.

Аркадій Артемьичъ, что это вы изволите говорить? І извольте отчаиваться! Богъ милостивъ. И не стыдно теб Ефремъ, азіятская ты душа...

Михрюткинъ *(перебивая Селиверста).*

Не объ Ефремѣ рѣчь. Всѣ вы таковы. Вотъ, нап мѣръ, что я стану теперь дѣлать? Какъ я женѣ на гл покажусь? Послѣднія были денежки, и тѣ даромъ ух палъ. Еще хуже надѣлалъ. Ужъ теперь мнѣ отъ оп не отвертѣться... шалишь! Ужъ теперь меня проберу вотъ какъ проберутъ!

Селиверстъ.

Оно, точно, Аркадій Артемьичъ, не ладно. Кому

ать, коли не мнѣ? Да чѣмъ же мы-то виноваты, ердуйте, скажите. Ужъ мы бы, кажется, и тѣломъ, й, и всѣмъ, всѣмъ рады...

Михрюткинъ.

райней мѣрѣ, не огорчали бы, не раздражали. —барину плохо приходится, просто, такъ прихо- плохо, что сказать нельзя; очи, какъ говорится, лѣзутъ,—а вы-то тутъ, вамъ-то тутъ любо... *(Со- денецъ).*

Селиверстъ.

ричина въ томъ, что люди въ городѣ живутъ без- ные... Удоблетворили ихъ, какого имъ еще рожна прости, Господи, мое прегрѣшенье! Экіе черти, огрѣшилъ я, грѣшный! *(Плюетъ).*

Михрюткинъ.

но, грабители. Вотъ, мнѣ въ городѣ леденецъ про- ворили, малиной отзываться будетъ, а въ немъ и никакой нѣтъ, просто, одинъ клей туда напиханъ. *авъ).* Хоть бы провизіи на эти пятьдесятъ рублей Лиссабонскаго-то, вѣдь, чай, ни одной бутылочки ось?

Селиверстъ.

дную передъ отъѣздомъ изволили выкушать.

Михрюткинъ.

акъ и есть! И женѣ ничего не купилъ, а она при- а... Эхъ!

Селиверстъ.

Карповна гнѣваться будетъ, точно.

Михрюткинъ *(слезливо, почти крича).*

для чего ты меня раздражаешь? Ну, для чего? Боже ке мой! Что жъ это такое! что жъ это такое! Что жъ ъ несчастнѣйшій человѣкъ на свѣтѣ? *(Потупляетъ кашляетъ).*

Селиверстъ.

ій Артемьичъ... По глупости... Извините... *(Ми- чъ кашляетъ и кутается въ шинель).* Отъ ревности, Артемьичъ. *(Михрюткинъ молчитъ. Селиверстъ очередь умолкаетъ. Никто не говоритъ въ теченіе*

четверти часа. Лошади едва плетутся рысцой, оводы ж вьются надъ ними. Селиверстъ опять засыпаетъ. Мих кинъ, понемногу, поднимаетъ голову).

Михрюткинъ (*успокоеннымъ голосомъ Ефрему*). Ну, что, опомнился? (*Молчаніе*). Тебѣ говорю, мнился?

Ефремъ (*помолчавъ и передернувъ вожжами*). Опомнился.

Михрюткинъ.

Очунѣлъ?

Ефремъ.

Очунѣлъ.

Михрюткинъ.

Ну, что жъ ты, не знаешь порядковъ, что ли? ненья попроси.

Ефремъ.

Простите меня, Аркадій Артемьичъ

Михрюткинъ.

Богъ тебя проститъ. (*Помолчавъ*). А какой Евграфа Авдѣичина-то лошадь?

Ефремъ.

Гнѣдая.

Михрюткинъ.

Гнѣдая... А сколько ей лѣтъ?

Ефремъ.

Девять лѣтъ.

Михрюткинъ.

А хорошо бѣжитъ?

Ефремъ.

Хорошо.

Михрюткинъ.

Какой, однако, у тебя злющій нравъ! Отвѣчаешь словно брешешь... Ты сердишься на меня?

Ефремъ (*помолчавъ*).

Помилуйте, Аркадій Артемьичъ, развѣ я не зна все знаю, Аркадій Артемьичъ. Какъ нашему бра знать? Господинъ, напримѣръ, гнѣваться изволитъ. что жъ? Гдѣ гнѣвъ, тамъ и милость.

Михрюткинъ.

Хорошо; вотъ это хорошо.

Ефремъ.

Помилуйте, Аркадій Артемьичъ, мы, конечно, не то, тобы въ отдаленности пробавлялись, за моремъ не бывали, очно; въ Петербурхѣ больше понатерлись: все-таки, не акіе уже, однако, пеньтюхи, чтобы, примѣромъ будучи, оровы отъ свиньи не спознать. Иному мужику, конечно, ісякая дрянь въ диво; ему что—онъ деревенщина, неучъ; дѣ ему! Слѣдуетъ разсудить: во всѣхъ дѣлахъ слѣдуетъ разсудить,—съ кѣмъ грѣха не случается? Ну, какъ-нибудь не спапашился, или такъ, просто сказать, не въ часъ попался—ну, не показалось господину. Онъ тебя и того; а ты выжидай; глядишь: блажь соскочила—и опять старые порядки пошли.

Михрюткинъ.

Вотъ, что умно, такъ умно; я никогда не скажу, что человѣкъ глупости говоритъ, когда онъ умно говоритъ; никогда я этого не сдѣлаю.

Ефремъ.

Помилуйте, Аркадій Артемьичъ. Вѣдь вамъ все это еще лучше моего извѣстно. Что я за іезопъ такой, чтобы сердиться? За всякимъ толчкомъ, не токмя что за побранкой — не угоняешься. Вы сами знаете: быль, что емола, небыль, что вода. А непріятность со всякимъ можетъ случиться; первѣющій астрономъ — и тотъ отъ бѣды не убережется. Стрясется вдругъ... откуда, батюшки? Да и кто можетъ опредѣлить напередъ: это вотъ этакъ будетъ—а это такъ. А Господь его знаетъ, какъ оно тамъ выйдетъ! Это все темнота. Вотъ, напримѣръ, хучь медвѣдь: — звѣрь лѣсной, пространный, — а хвостъ у него— такъ, съ пуговку небольшую; а сорока, вотъ,—птица малая, перелётная — а вишь, хвостище какой нацѣпила. Да кто жъ это пойметъ? Тутъ есть мудрость; тутъ ничего не разберешь: одна надежда на Бога. Вотъ, напримѣръ—позвольте вамъ доложить, Аркадій Артемьичъ, отъ усердія позвольте доложить, — вы, вотъ, изволите отчаиваться, а отчего?

Михрюткинъ.

Какъ отчего? Еще бы мнѣ не отчаиваться! Вотъ что вздумалъ: отчего?

Ефремъ.

Я знаю, знаю, Аркадій Артемьичъ — помилуйте намъ не знать? Мы все знаемъ. Но вы вотъ что поз сообразить: и тутъ, и въ этѣмъ случаѣ, ничего тоя зать нельзя навѣрнякъ. Вотъ, напримѣръ, вы из знать сосѣда нашего—Финтреблюдова? Ужъ на что важный баринъ? Лакеи въ кубическую сажень ро что̀ одного галуна; дворня — просто картинная гал лошади — рысаки тысячные; кучеръ — не кучеръ, единорогъ сидитъ! Залы тамъ, трубачи французы рахъ — тѣ же арапы; ну, просто, всѣ удобства, только есть въ жизни! И чѣмъ же кончилось? П все его имѣніе сукціону. А васъ, можетъ-быть, Г и помилуетъ, и все такъ обойдется.

Михрюткинъ.

Дай Богъ! Но мнѣ что-то не вѣрится.

Ефремъ.

Помилуйте, Аркадій Артемьичъ. Отчего же не вѣ

Михрюткинъ.

Не таково мое счастье, братъ. Ужъ я себя знаю; я свое счастье; выѣденнаго яйца оно не сто̀итъ счастье-то.

Ефремъ.

Помилуйте, Аркадій Артемьичъ!

Михрюткинъ.

Да ужъ ты не говори, пожалуйста. Ты, вотъ, посмотри—лошади-то твои не бѣгутъ вовсе.

Ефремъ.

Помилуйте, лошади бѣгутъ, какъ слѣдуетъ.

Михрюткинъ.

Ну, хорошо... Я не говорю... я съ тобой согл *(Возвышаетъ голосъ).* Я согласенъ съ тобой, говорю *(Вздыхаетъ).* Экая жара, Боже мой! *(Помолчавъ).* Э *ритъ, Господи! (Еще помолчавъ).* Мнѣ хочется по

зать, не засну ли я маленько... *(Оправляется и прислоняетъ голову къ боку кибитки).*

Ефремъ.

Ну, что жъ — и съ Богомъ, батюшка. *(Продолжительное молчанье. Михрюткинъ засыпаетъ и похрапываетъ, слегка посвистывая и пощелкивая во снѣ. Голова у него заваливается назадъ. Ротъ раскрывается).*

Селиверстъ *(открываетъ сперва одинъ глазъ, потомъ другой, и вполголоса обращается къ Ефрему).*

Однако, ты, я вижу, хорошъ гусь. Чего соловьемъ распѣлся?

Ефремъ *(помолчавъ и тоже вполголоса).*

Чего распѣлся? Экой ты, братецъ, непонятный. Развѣ ты не видишь—баринъ у насъ еще младъ, малодушенъ... Надобно жъ ему посовѣтовать, какъ, то-есть, ему въ жизни дѣйствовать...

Селиверстъ.

Ну его! Вишь, вздумалъ няньчиться!..

Ефремъ.

Что жъ—коли другіе пренебрегаютъ...

Селиверстъ.

Другіе... другіе...

Ефремъ.

Конечно, другіе.—Впрочемъ—ты... извѣстное дѣло. Ты... Для тебя, что баринъ, что чужой человѣкъ—все едино.

Селиверстъ.

А тебѣ, небось, нѣтъ?

Ефремъ *(помолчавъ).*

А что—неужто взаправду опеку хотятъ наложить?

Селиверстъ.

Непремѣнно наложатъ. Мнѣ самъ секлетарь сказывалъ.

Ефремъ.

Вотъ какъ. Ну, а барыня... стало-быть, и она не будетъ—того—распоряжаться?

Селиверстъ.

Вѣстимо, не будетъ. Имѣнье не ея.

Ефремъ.

Нѣтъ,—я по дому говорю, по дому.

Селиверстъ.

Нѣтъ, по дому распоряжаться будетъ.

Ефремъ.

Такъ какой же въ эфтомъ толкъ? Хороша твоя опека, нечего сказать! *(Михрюткинъ ворочается во снѣ. Селиверстъ и Ефремъ зорко взглядываютъ на него; онъ спитъ)* Еще пуще осерчаетъ, чего добраго.

Селиверстъ.

И это бываетъ.

Ефремъ.

То-то же бываетъ. Его-то мнѣ жаль.

Селиверстъ.

А мнѣ не жаль. Вольно жъ было ему. Несчастный, кричитъ, человѣкъ я теперича сталъ въ свѣтѣ... А кто виноватъ? Не дурачился бы сверхъ мѣръ человѣческихъ. Да.

Ефремъ.

Эхъ, Александрычъ, какой ты, право, неразсудительный!.. Ты сообрази: вѣдь онъ, все-таки, есть баринъ.

Селиверстъ.

Ну, да ужъ ты мнѣ, пожалуйста, тамъ не расписывай... *(Михрюткинъ опять ворочается и приподнимается слегка. Селиверстъ проворно прячетъ голову въ уголъ, и закрываетъ глаза. Ефремъ проводитъ кнутомъ надъ лошадьми, и кричитъ: а-ва-ва-хвы-хвы-хва...).*

Михрюткинъ *(открываетъ глаза, щурится и потягивается).*

А я, кажется, тово, соснулъ.

Ефремъ.

Изволили почивать, точно.

Михрюткинъ.

Далеко мы отъѣхали? *(Селиверстъ приподнимается).*

Ефремъ.

До поворотка еще версты три будетъ.

Михрюткинъ *(помолчавъ).*

Какой мнѣ, однако, непріятный сонъ приснился! Не помню хорошенько, что такое было—а только очень что-то непріятное. *(Помолчавъ).* Насчетъ имѣнья... опеки. Будто вдругъ меня подъ судъ во Францію повезли... Очень непріятно... очень.

Селиверстъ.

Извѣстно... сонное мечтанье.

Михрюткинъ.

Меня это безпокоитъ. *(Кашляетъ)*

Ефремъ.

Помилуйте, Аркадій Артемьичъ, зачѣмъ вы изволите безпокоиться? Съ кѣмъ этого не бываетъ? Вотъ, я нынѣхъ имѣлъ сонъ, вотъ ужъ точно удивительный сонъ, просто непонятный. Вижу я... *(наклоняетъ голову и у самаго своего желудка нюхаетъ изъ табакинки табакъ, чтобы не засорить глаза барину)*. Вижу я... *(Кряхтитъ и шепчетъ вполголоса)*. Экъ пробралъ, разбойникъ!.. *(Громко)*. Вижу я себя, этакъ, словно въ полѣ, ночью, на дорогѣ. Вотъ, иду я дорогой, да и думаю; куда жъ это я иду? А мѣста кругомъ, какъ будто незнакомыя—холмы какіе-то, буераки — пустыя мѣста. Вотъ иду я и, знаете ли, этакъ все смотрю—куда жъ эта дорога ведетъ; не знаю, полъ, куда это она ведетъ. И вдругъ мнѣ навстрѣчу будто телёнокъ бѣжитъ—да такъ шибко бѣжитъ и головой трясетъ. — Ну, хорошо. Бѣжитъ, сударь, телёнокъ,— а я будто думаю: э! да это никакъ отца Пафнутья телёнокъ сорвался, дай, поймаю его. Да какъ ударюсь бѣжать за нимъ... А ночь, изволю вамъ доложить, темная, претемная — просто, зги не видать. Вотъ — бѣгу я за нимъ—за этимъ телёнкомъ-то—не поймаю его — ну, что хошь—не поймаю! Ахъ, братецъ ты мой, думаю я, этакъ будто самъ про себя: да вѣдь это, должно-быть, не телёнокъ, а что-нибудь этакое недоброе. Дай, думаю я, вернусь — пусть бѣжитъ себѣ, куда знаетъ. Ну, хорошо. Вотъ, иду я опять прежней дорогой, а близъ дороги этакъ будто древо стоитъ — иду я — а онъ вдругъ какъ наскочитъ сзади на меня, да какъ толкнетъ меня рогами въ бедро... Смерть моя пришла. Оробѣлъ я — во снѣ-то, знаете ли — просто, такъ оробѣлъ, что и сказать невозможно, — даже лытки трясутся. Однако, думаю я, что жъ это онъ будетъ меня въ бедро толкать — да, знаете ли, этакъ взялъ да оглянулся... А ужъ за мной не телёнокъ, а будто жена стоитъ, какъ есть просто с-

лосая, и смотритъ на меня злобственно. Я къ ней, а
какъ примется ругать меня... Ты, молъ, пьяница,
ходилъ? Я, говорю, я не пьяница, гдѣ ты этакихъ
ницъ видала, говорю,—а ты сама мнѣ лучше скажи,
кимъ ты манеромъ сюда попала? Я, молъ, барину,
жалуюсь, — безстыдница ты этакая... И Раисѣ Карпі
тоже пожалуюсь.—А она, будто, вдругъ какъ захохо
какъ захохочетъ... у меня такъ по животику мураш
поползли. — Гляжу я на нее, а у ней глаза такъ и
тятся, зеленые такіе, какъ у кошки. Не смѣйся эт
жена, говорю я ей: этакъ смѣяться грѣхъ. Не смѣй
уважь меня. Какая, говоритъ, я тебѣ жена — я русс
Вотъ, постой, я тебя съѣмъ. Да какъ разинетъ ротъ
у ней во рту зубовъ-то, зубовъ — какъ у щуки...
ужъ я просто не выдержалъ, закричалъ, благимъ ма
закричалъ... Купріянычъ-то, старикъ, со мной въ од
углу спалъ — такъ тотъ, какъ сумасшедшій, съ пол
долой кубаремъ — подбѣгаетъ ко мнѣ, креститъ м
что̀ съ тобой, Ефремушка, говоритъ, что̀ съ тобой,
потру животъ, а я сижу на постелькѣ, да этакъ
трясусь, гляжу на него, просто, ничего не понимаю—
рубашка на тѣлѣ трясется. Такъ вотъ, какіе быв
удивительные сны!

Михрюткинъ.

Да, странный сонъ. Что жъ, ты женѣ разсказалъ

Ефремъ.

Какъ же.

Михрюткинъ.

Ну, что жъ она?

Ефремъ.

Она говоритъ, что телёнка во снѣ видѣть, значи
къ прыщамъ; а русалку видѣть—къ побоямъ.

Михрюткинъ.

А! я этого не зналъ.

Ефремъ.

А, говоритъ, закричалъ ты оттого, что доковой на
ѣздилъ.

Михрюткинъ.

Вотъ, вздоръ какой! будто есть домовые?

Ефремъ.

А то какъ же-съ? Помилуйте. Намеднись ключница за-змъ-то, подъ вечеръ, въ баню пошла—не мыться пошла—ню-то въ тотъ день и не топили, да и съ какой стати арухѣ мыться, — а такъ — нужда какая-то приспичила. то жъ вы думаете? входитъ она въ предбанникъ, а въ редбанникѣ-то темно, — протягиваетъ руку — и вдругъ, увствуетъ—кто-то стоитъ. Она щупаетъ: овчина, да та-ая густая, прегустая.

Михрюткинъ.

Это вѣрно, тулупъ какой висѣлъ — она его и тронула.

Ефремъ.

Тулупъ? Да въ предбанникѣ отъ роду никакого тулупа не висѣло.

Михрюткинъ.

Ну, такъ мужикъ какой-нибудь зашелъ.

Ефремъ.

Мужикъ? А зачѣмъ мужикъ станетъ тулупъ шерстью верху надѣвать. Мужикъ этого не сдѣлаетъ.

Михрюткинъ.

Ну, и что жъ случилось?

Ефремъ.

А вотъ что случилось. Говоритъ она, старуха-то: съ нами крестная сила! Кто это? Ей не отвѣчаютъ. Она опять: да кто жъ это такое? А тотъ-то какъ забормочетъ вдругъ по-медвѣжьи... Она такъ и прыснула вонъ. Насилу отдохнула, старая.

Михрюткинъ.

Такъ кто жъ это, по-твоему, былъ?

Ефремъ.

Извѣстно кто: домовой. Онъ воду любитъ.

Михрюткинъ *(помолчавъ).*

Ну, глупъ же ты, Ефремъ, признаюсь. *(Обращаясь къ Селиверсту).* И ты тоже въ домовыхъ вѣришь?

Селиверстъ *(съ неудовольствіемъ).*

Охота, вамъ, баринъ, объ эфтихъ предметахъ разг
ривать.

Ефремъ.

Да помилуйте, Аркадій Артемьичъ, это малыя д
знаютъ. А на лошадяхъ, по ночамъ, кто ѣздитъ?
насъ не одни домовые—у насъ и марухи водятся.

Селиверстъ.

Да перестань, Ефремъ!

Ефремъ.

А что?

Селиверстъ.

Да такъ. Не хорошо. Вотъ, нашелъ предметъ къ
говору.

Михрюткинъ.

Марухи? Это что еще такое?

Ефремъ.

А вы не знаете? Старыя такія, маленькія бабы, по
чамъ на печахъ сидятъ, пряжу прядутъ, и все э
подпрыгиваютъ, да шепчутъ. Намеднись въ Марчу
Ѳедора одна этакая маруха кирпичомъ пустила—
было къ ней на печку полѣзъ...

Михрюткинъ.

Онъ, дуракъ, во снѣ это видѣлъ.

Ефремъ.

Нѣтъ—не во снѣ.

Михрюткинъ.

А коли не во снѣ, зачѣмъ онъ къ ней полѣзъ?

Ефремъ.

Видно, поближе разсмотрѣть захотѣлось.

Михрюткинъ.

То-то же, поближе! *(Помолчавъ).* Какой однако
вздоръ, ха-ха! *(Опять помолчавъ).* И къ чему ты
этомъ заговорилъ—я удивляюсь. Только унынiе наводи

Селиверстъ.

И точно, унынiе.

Михрюткинъ.

Конечно, я этимъ пустякамъ не вѣрю. Конечно. Одни голько необразованные люди могутъ этому вѣрить.

Ефремъ.

Ваша правда, Аркадій Артемьичъ.

Михрюткинъ.

Вѣдь эти марухи, напримѣръ, и прочее—вѣдь ты самъ посуди—это развѣ тѣло? Какъ ты полагаешь?

Ефремъ.

А не умѣю вамъ сказать, Аркадій Артемьичъ, кто ихъ знаетъ, что онѣ такое.

Михрюткинъ.

А коли не тѣло, развѣ онѣ могутъ жить, существовать то-есть? Ты меня пойми: то бываетъ тѣло—а то духъ.

Ефремъ.

Та-акъ-съ.

Михрюткинъ.

Ну, и слѣдовательно, это все вздоръ, одна мечта: просто сказать—предразсудокъ.

Ефремъ.

Тэ-экъ-съ.

Михрюткинъ.

А все-таки, объ этомъ говорить не слѣдуетъ. Къ чему? Вопросъ.

Ефремъ.

Къ слову пришлось, а впрочемъ, Богъ съ ними совсѣмъ... *(Коренная спотыкается).* Ну, ты, дьяволъ—съѣли тебя мухи-то!

Селиверстъ.

Вотъ, дуракъ, какъ несообразно говоритъ! *(Плюетъ).* Пфу! Чтобъ имъ пусто было! Экой ты, Ефремъ, легкомысленный человѣкъ—а еще кучеръ!

Ефремъ.

Ну, да вѣдь ужъ вы, Селиверстъ Александрычъ...

Михрюткинъ.

Ну, ну, ну!.. Это что еще? Этого еще не доставало, чтобы вы въ моемъ присутствіи поссорились...

Ефремъ.

Помилуйте, Аркадій Артемьичъ...

Михрюткинъ.

Покорнѣйше прошу васъ обоихъ молчать! *(Небольш молчаніе).* А тебя, Селиверстъ, прошу не спать. Во-пер выхъ, оно неучтиво, а во-вторыхъ—безпорядокъ. Что з спанье днемъ? На то есть ночь. Терпѣть я не могу этих безпорядковъ!

Селиверстъ.

Слушаю-съ.

Михрюткинъ *(помолчавъ Ефрему).*

Ахъ, да! скажи-ка твоей женѣ — кстати, объ ней рѣ зашла — чтобы она не забыла окурить коровъ... Мнѣ в городѣ сказывали—въ Жерловой падежъ.

Ефремъ.

Слушаю-съ.

Михрюткинъ *(помолчавъ).*

А что она... твоя жена... доволенъ ты ей?

Ефремъ.

Въ какомъ, то-есть, напримѣръ, смыслѣ вы изволи говорить?

Михрюткинъ.

Извѣстно, въ какомъ. Такъ, вообще. Я съ своей сто роны ею доволенъ. Она скотница хорошая.

Ефремъ.

Знаетъ свое дѣло. *(Медленно).* Извѣстная вещь: бе жены человѣку быть несвойственно. Жена на то и да человѣку, чтобы служить ему, такъ сказать, въ зна удовлетворенья. Ну, а впрочемъ, и въ этомъ случаѣ, ост рожность не помѣха. Не даромъ въ пословицѣ говорит не вѣрь коню въ полѣ—а женѣ въ домѣ. Баба, извѣстно человѣкъ лукавый, слабый человѣкъ; баба—плутъ. А муж не зѣвай. Женино дѣло—мужу угождать и дѣтей собл дать; а мужнино дѣло—жену въ повиновеньи содержат и въ ласкѣ-то будь онъ къ ней строгъ. Вотъ этакъ в хорошо и пойдетъ. *(Стегаетъ лошадь).* Иные мужь въ простонародьи, этакъ, я знаю, говорятъ про своих женъ: аль погибели на тебя нѣтъ! Я ихъ осуждаю...

Михрюткинъ *(торопливо).*

Какъ—какъ они говорятъ?

Ефремъ.

Погибели на тебя нѣтъ...

Михрюткинъ *(задумчиво).*

Гм... вотъ какъ...

Ефремъ.

Я ихъ осуждаю... Почему? Потому я ихъ осуждаю...

Михрюткинъ *(съ жаромъ).*

А я ихъ не осуждаю... я ихъ не осуждаю... *(Помолчавъ).* Однако, перестань, наконецъ, молоть вздоръ. Право, съ тобой Богъ знаетъ до чего... право. *(Помолчавъ и указывая рукой впередъ).* Что — вѣдь это, кажется, поворотъ въ Голоплеки?

Ефремъ.

Это-съ.

Михрюткинъ.

Ну, и слава Богу! *(Сбрасываетъ съ себя шинель и отряхивается).* Живѣй, Ефремушка, живѣй! *(Наклоняется впередъ).* Вотъ онъ, повертокъ-то! вотъ онъ! *(Тарантасъ сворачиваетъ съ большой дороги).* Что, теперь версты три осталось—не больше?

Ефремъ.

Будетъ ли еще. Вотъ, только стоитъ спуститься въ верхъ, а тамъ взобрался на взлобочекъ, да и пошелъ взлызомъ—катай-валяй!

Михрюткинъ *(словно про себя).*

А что ни говорите, пріятно возвращаться на родину. Душа веселится—сердце радуется. Даже лошади съ большимъ удовольствіемъ везутъ. Вишь, вишь, вѣтерокъ—прямо въ лицо мнѣ дуетъ, канашка! *(Къ Селиверсту).* Что, вѣдь это, кажется, Грачевская роща на горѣ?

Селиверстъ.

Точно такъ—Грачевская.

Михрюткинъ.

Славный лѣсокъ! Видный лѣсокъ! Пріятный лѣсокъ! *(Продолжая глядѣть кругомъ.)* Вишь, какая гречиха! И

овсы, вотъ, хороши. Такъ и играютъ на солнцѣ, (
Вотъ, и ржы тоже хороши. Чьи эти овсы?

Селиверстъ.

Безкучинскихъ однодворцевъ.

Михрюткинъ.

Вишь, однодворцы!—Что, у нихъ хозяйство как(

Селиверстъ.

Хозяйство у нихъ не то, чтобы того... а впроч
ничего. Живутъ, чего имъ еще?

Михрюткинъ.

Хорошіе овсы. *(Помолчавъ.)* И у насъ овсы не д
Но къ чему мнѣ они теперь? Къ чему все это? І
пропалъ, совершенно пропалъ... Пропала моя голов
Отнимутъ у меня и это послѣднее удовольствіе...

Селиверстъ.

Не извольте отчаиваться, Аркадій Артемьичъ.

Михрюткинъ.

И Раиса Карповна—задастъ она мнѣ встрепку
А я еще, глупый человѣкъ, радуюсь, что на роди
вращаюсь! Ахъ, я несчастнѣйшее, несчастнѣйшее
ство! *(Умолкаетъ и спустя нѣсколько времени подъ
голову.)* Вотъ, ужъ Ахлопково стало видно... Хорошее
цо. Вонъ поповскій орѣшникъ. Въ этомъ орѣшникѣ, д(
быть, зайцы есть. Эхъ, ребята, послушайте-ка... Чт
вать? Ну-ка: „Въ темномъ лѣсѣ". *(Запѣваетъ.)* В
номъ лѣсѣ...

Ефремъ и Селиверстъ *(дружно подхватываютъ)*

Въ темномъ лѣсѣ,
Въ темномъ лѣсѣ—
Въ темномъ...

Михрюткинъ.

Ты высоко забираешь, Ефремъ — ты не дьячокъ
ты голосомъ виляешь-то?

Ефремъ *(откашливаясь).*

А вотъ сейчасъ лучше пойдетъ.

Михрюткинъ *(тоненькимъ голосомъ).*

Да въ залѣсьи...

Ефремъ и Селиверстъ.

Да въ залѣсьи...

Михрюткинъ *(кашляя).*

Распашу я... распашу я...

Ефремъ.

Эхъ вы, миленькія!

Распашу я... распашу я...

Селиверстъ.

Распашу я... *(Кашель заставляетъ Михрюткина умолкнуть; Селиверстъ запинается. Слышенъ одинъ высочайшій фальцетъ Ефрема, который поетъ):*

И па... шин... нику...
И па... шин... нику...

(*Тарантасъ въѣзжаетъ въ березовую рощу.*)

1851 г.

Примѣчаніе. — Орловскія слова, попадающіяся въ „Разговорѣ": 1. Лядащій — никуда негодный, дрянной. — 2. Божевольный—шаловливый, пугливый.—3. Вохлякъ—неловкій, мѣшокъ. — 4. Очунѣть—придти въ себя.—5. Спапашиться—справиться, изловчиться.—6. Лытки—мышцы подъ колѣнками.—7. Верхъ—оврагъ.—8. Взлобокъ, взлобочекъ—выдающійся мысъ между двумя оврагами.—9. Взлызъ—покатое мѣсто, pente douce.—И ржы—множественное число слова: рожь.

овсы, вотъ, хороши. Такъ и играютъ на солнцѣ, Вотъ, и ржы тоже хороши. Чьи эти овсы?

Селиверстъ.

Безкучинскихъ однодворцевъ.

Михрюткинъ.

Вишь, однодворцы!—Что, у нихъ хозяйство ка

Селиверстъ.

Хозяйство у нихъ не то, чтобы того... а впрс ничего. Живутъ, чего имъ еще?

Михрюткинъ.

Хорошіе овсы. *(Помолчавъ.)* И у насъ овсы не Но къ чему мнѣ они теперь? Къ чему все это? пропалъ, совершенно пропалъ... Пропала моя голо Отнимутъ у меня и это послѣднее удовольствіе...

Селиверстъ.

Не извольте отчаиваться, Аркадій Артемьичъ.

Михрюткинъ.

И Раиса Карповна—задастъ она мнѣ встрепку А я еще, глупый человѣкъ, радуюсь, что на родi вращаюсь! Ахъ, я несчастнѣйшее, несчастнѣйшее ство! *(Умолкаетъ и спустя нѣсколько времени пос голову.)* Вотъ, ужъ Ахлопково стало видно... Хорош цо. Вонъ поповскій орѣшникъ. Въ этомъ орѣшникѣ, быть, зайцы есть. Эхъ, ребята, послушайте-ка... Ч вать? Ну-ка: „Въ темномъ лѣсѣ“. *(Запѣваетъ.)* I номъ лѣсѣ...

Ефремъ и Селиверстъ *(дружно подхватываютъ*

Въ темномъ лѣсѣ,
Въ темномъ лѣсѣ—
Въ темномъ...

Михрюткинъ.

Ты высоко забираешь, Ефремъ — ты не дьячок ты голосомъ виляешь-то?

Ефремъ *(откашливаясь).*

А вотъ сейчасъ лучше пойдетъ.

Михрюткинъ *(тоненькимъ голосомъ).*

Да въ залѣсьи...

Ефремъ и Селиверстъ.

Да въ залѣсьи...

Михрюткинъ *(кашляя).*

Распашу я... распашу я...

Ефремъ.

Эхъ вы, миленькія!

Распашу я... распашу я...

Селиверстъ.

Распашу я... *(Кашель заставляетъ Михрюткина умолкнуть; Селиверстъ запинается. Слышенъ одинъ высочайшій фальцетъ Ефрема, который поетъ):*

И па... шин... нику...
И па... шин... нику...

(*Тарантасъ въѣзжаетъ въ березовую рощу.*)

1851 г.

Примѣчаніе. — Орловскія слова, попадающіяся въ „Разговорѣ": 1. Лядащій — никуда негодный, дрянной. — 2. Божевольный—шаловливый, пугливый.—3. Вохлякъ—неловкій, мѣшокъ. — 4. Очунѣть—придти въ себя.—5. Спапашиться—справиться, изловчиться.—6. Лытки—мышцы подъ колѣнками.—7. Верхъ—оврагъ.—8. Взлобокъ, взлобочекъ—выдающійся мысъ между двумя оврагами.—9. Взлызъ—покатое мѣсто, pente douce.—И ржы—множественное число слова: рожь.

ВЕЧЕРЪ ВЪ СОРРЕНТѢ.

СЦЕНА I.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Надежда Павловна Елецкая, вдова 30 лѣтъ.
Марія Петровна Елецкая, ея племянница 18 лѣтъ.
Алексѣй Николаевичъ Бѣльскій, 28 лѣтъ.
Сергѣй Платоновичъ Аваковъ, 45 лѣтъ.
Слуга, итальянецъ.
М-г Popelin, французскій художникъ.
Пѣвецъ.—Импровизаторъ.

(Дѣйствіе происходитъ въ Соррентѣ, въ гостинницѣ, на берегу моря).

(Театръ представляетъ довольно большую комнату, убранную—какъ обыкновенно бываютъ убраны комнаты въ гостинницахъ;—прямо: одна дверь въ переднюю, другая въ кабинетъ;—налѣво два окна—направо дверь въ садъ.—На диванѣ посерединѣ комнаты сидитъ Аваковъ и спитъ, прислонясь къ спинкѣ—голова его накрыта платкомъ.

Аваковъ *(шевелится и издаетъ неясные звуки.—Наконецъ онъ восклицаетъ сонливымъ голосомъ:)*

Ѳедька!.. Ѳедька!.. Ѳедюшка!—(*Онъ вздрагиваетъ, снимаетъ съ себя платокъ и съ изумленьемъ оглядывается.*)—Да гдѣ жъ это я?.. (*Оглядывается опять и помолчавъ, с*

...осадой машетъ рукой.) Въ Италіи!.. *(Помолчавъ опять.)* А какой я-было славный сонъ видѣлъ!—Право.—Будто я ...такъ сижу у себя въ Покровскомъ подъ окномъ—гляжу—...на дворѣ все утки ходятъ, и у каждой на затылкѣ хохолъ. Филиппъ кучеръ телѣгу подмазываетъ—а Ѳедюшка мнѣ трубки не несетъ.—Удивительный, пріятный сонъ!—*(Вздыхаетъ.)* Эхъ! эхъ!.. Когда-то Господь Богъ приведетъ увидѣть все это опять... *(Встаетъ.)* Усталъ я, признаться сказать, усталъ таскаться по трактирамъ... старыя кости мыкать. Вѣдь третій годъ... Вотъ ужъ точно можно сказать, сѣдина въ голову, а бѣсъ въ ребро... *(Помолчавъ.)* А они, должно-быть, ушли... *(Подходитъ къ двери въ садъ.)* Въ саду ихъ нѣтъ... *(Подходитъ къ двери въ кабинетъ и стучится.)* Надежда Павловна... Надежда Павловна... Вы здѣсь?—Нѣту.—Должно-быть, ушли... Я тутъ вздремнулъ послѣ обѣда, а они взяли да ушли... Гмъ!—Ушли... Ужъ этотъ мнѣ Алексѣй Николаичъ — это все его штуки... я знаю... И кто его принесъ къ намъ... *(Съ волненьемъ дергаетъ за шнурокъ колокольчика.)* Очень было нужно... *(Дергаетъ опять.)* Какъ будто безъ него мало ихъ... Да что жъ это никто не идетъ? *(Дергаетъ три раза сряду.)* *(Изъ передней выскакиваетъ слуга-итальянецъ въ курточкѣ и съ салфеткой подъ мышкой.)*

Слуга *(наклоняясь впередъ всѣмъ тѣломъ).*

'Celenza comanda?

Аваковъ *(глядя на него сбоку).*

Эка зубы скалитъ!— Странное дѣло! всѣ эти слуги въ ...остиницахъ другъ на друга похожи — въ Парижѣ, въ ...ерманіи, здѣсь... вездѣ... Точно одно племя... *(Къ слугѣ.)* ...уркуа не вене ву па тудсюитъ? — *(Аваковъ не совсѣмъ чисто говоритъ по-французски.)*

Слуга *(улыбаясь и вертя салфеткой).*

'Celenza, jé... moua... héhé...

Аваковъ.

У э... у сонъ се дамъ?

Слуга.

Soun sourti... per passeggiare... pour proumené... Madama

la Countessa, aveco la Signorina e aveco Moussu lou Cou te—l'otro Counte Rousso...

Аваковъ.

Се біенъ—се біенъ... Аллѐ.—

Слуга.

Si signore... (*Выскакиваетъ вонъ.*)

Аваковъ.

Боже! Какъ эти мнѣ физіономіи опротивѣли!.. (*ходи по комнатѣ.*) Пошли гулять... Гмъ... Моремъ, небось, л бовàться пошли.—Воображаю себѣ, какъ этотъ господи чикъ теперь разсыпается... А она... я ее знаю, она рада. Это ея страсть. — И что она въ немъ нашла — не пон маю... Рѣшительно пустой человѣкъ. — И притомъ вов не занимательный человѣкъ.—(*Опять ходитъ по комнатѣ* Господи Боже мой! Когда-то это она успокоится, когда-т ей наскучатъ, наконецъ, всѣ эти новыя лица... (*Дверь изъ передней до половины отворяется и выказ вается M-r Popelin. — На немъ курточка съ большим клѣтками, галстучекъ à l'enfant.—Онъ въ бородѣ и дли ныхъ волосахъ.*)

M-r Popelin.

Pardon, Monsieur...

Аваковъ (*оглядываясь*).

Это кто еще?

M-r Popelin (*все еще не входя*).

Pardon, c'est ici que demeure Madame la comtesse G letska?

Аваковъ (*помолчавъ*).

Вуй.—Кеске ву вулѐ?

M-r Popelin (*входитъ. — У него небольшой портфель по мышкой*).

Et... pardon... Madame est-elle à la maison?

Аваковъ (*все не двигаясь съ мѣста*).

Нонъ. Кеске ву вулѐ?

M-r Popelin.

Ah! que c'est dommage!—Pardon. Monsieur, vous ne sa vez pas—reviendra-t-elle bientôt?

Аваковъ.

Нонъ... понъ... Кескѐ ву вулѐ?

Popelin *(поглядѣвъ на него съ нѣкоторымъ изумленьемъ).* Pardon, Monsieur... C'est à Monsieur le comte que j'ai ɔnneur de parler?

Аваковъ.

Нонъ, мосьё, нонъ.

M-r Popelin.

Ah! *(Съ нѣкоторымъ достоинствомъ.)* Et bien, Monsieur, us aurez la complaisance de dire à Madame que M-r Pɔlin, artiste peintre est venu la voir — d'après sa propre vitation — et qu'il regrette beaucoup... *(Видя, что Аваъ дѣлаетъ нетерпѣливыя движенія.)* Monsieur, j'ai l'honur de vous saluer.—*(Надѣваетъ шляпу и уходитъ.)*

Аваковъ.

Адіё, Монсьё. — *(Глядитъ ему вслѣдъ и восклицаетъ).* це одинъ! Чортъ бы побралъ всѣхъ этихъ художниковъ, зыкантовъ, пьянистовъ и живописцевъ! — Откуда ихъ лько набирается такая пропасть? И какъ это они сейсъ насъ пронюхаютъ. Глядишь! ужъ и познакомились, ъ и вертятся тутъ, ухаживаютъ. И чѣмъ все это контся? Извѣстно чѣмъ. Поднесутъ какую-нибудь дрянную варель или статуетку — а имъ по знакомству и плати ридорога. — И сколько мы съ собой этого хлама вомъ!.. Это ужасно. А вѣдь сначала послушай-ка ихъ..! се такъ свысока... художники дескать... безкорыстіе... олодный народецъ, извѣстно. Эхъ! *(Вздыхая).* Какъ это нѣ все надоѣло... Ахъ, какъ это мнѣ все надоѣло! — *Ходитъ по комнатѣ).*

А они не идутъ. — Гм! — Знать, прогулка по сердцу ришлась. Вотъ ужъ и вечеръ на дворѣ. — *(Помолчавъ).* а пойду-ка я имъ навстрѣчу... въ самомъ дѣлѣ... *(беретъ ляпу и идетъ къ передней).* А, да вотъ и они наконецъ! *Изъ передней входятъ Надежда Павловна, Марія Перовна и Бѣльскій. Лицо Надежды Павловны выражаетъ ькоторое неудовольствіе).* Насилу-то изволили вернуть-!—Зачѣмъ же это вы безъ меня гулять пошли?

la Countessa, aveco la Signorina e aveco Moussu lou Counte—l'otro Counte Rousso...

Аваковъ.

Се біенъ—се біенъ... Аллѐ.—

Слуга.

Si signore... (*Выскакиваетъ вонъ.*)

Аваковъ.

Боже! Какъ эти мнѣ физіономіи опротивѣли!.. (*ходитъ по комнатѣ.*) Пошли гулять... Гмъ... Моремъ, небось, любоваться пошли.—Воображаю себѣ, какъ этотъ господинчикъ теперь разсыпается... А она... я ее знаю, она рада... Это ея страсть. — И что она въ немъ нашла — не понимаю... Рѣшительно пустой человѣкъ. — И притомъ вовсе не занимательный человѣкъ.—(*Опять ходитъ по комнатѣ.*) Господи Боже мой! Когда-то это она успокоится, когда-то ей наскучатъ, наконецъ, всѣ эти новыя лица...

(*Дверь изъ передней до половины отворяется и выказывается M-r Popelin. — На немъ курточка съ большими клѣтками, галстучекъ à l'enfant.—Онъ въ бородѣ и длинныхъ волосахъ.*)

M-r Popelin.

Pardon, Monsieur...

Аваковъ (*оглядываясь*).

Это кто еще?

M-r Popelin (*все еще не входя*).

Pardon, c'est ici que demeure Madame la comtesse Geletska?

Аваковъ (*помолчавъ*).

Вуй.—Кеске ву вулѐ?

M-r Popelin (*входитъ. — У него небольшой портфель подъ мышкой*).

Et... pardon... Madame est-elle à la maison?

Аваковъ (*все не двигаясь съ мѣста*).

Нонъ. Кеске ву вулѐ?

M-r Popelin.

Ah! que c'est dommage!—Pardon. Monsieur, vous ne savez pas—reviendra-t-elle bientôt?

Аваковъ.

Понъ... понъ... Кескѐ ву вулѐ?

Popelin *(поглядѣвъ на него съ нѣкоторымъ изумленьемъ).* Pardon, Monsieur... C'est à Monsieur le comte que j'ai l'honneur de parler?

Аваковъ.

Понъ, мосьё, нонъ.

M-r Popelin.

Ah! *(Съ нѣкоторымъ достоинствомъ.)* Et bien, Monsieur, vous aurez la complaisance de dire à Madame que M-r Popelin, artiste peintre est venu la voir — d'après sa propre invitation — et qu'il regrette beaucoup... *(Видя, что Аваковъ дѣлаетъ нетерпѣливыя движенія.)* Monsieur, j'ai l'honneur de vous saluer.—*(Надѣваетъ шляпу и уходитъ.)*

Аваковъ.

Адіё, Монсьё. — *(Глядитъ ему вслѣдъ и восклицаетъ).* Ще одинъ! Чортъ бы побралъ всѣхъ этихъ художниковъ, музыкантовъ, пьянистовъ и живописцевъ! — Откуда ихъ только набирается такая пропасть? И какъ это они сейчасъ насъ пронюхаютъ. Глядишь! ужъ и познакомились, и вертятся тутъ, ухаживаютъ. И чѣмъ все это кончится? Извѣстно чѣмъ. Поднесутъ какую-нибудь дрянную гравюрель или статуетку — а имъ по знакомству и плати дорого. — И сколько мы съ собой этого хлама возимъ!.. Это ужасно. А вѣдь сначала послушай-ка ихъ..! Не такъ свысока... художники дескать... безкорыстіе... холодный народецъ, извѣстно. Эхъ! *(Вздыхая).* Какъ это мнѣ все надоѣло... Ахъ, какъ это мнѣ все надоѣло! — *(Ходитъ по комнатѣ).*

А они не идутъ. — Гм! — Знать, прогулка по сердцу пришлась. Вотъ ужъ и вечеръ на дворѣ. — *(Помолчавъ).* Ну, пойду-ка я имъ навстрѣчу... въ самомъ дѣлѣ... *(беретъ шляпу и идетъ къ передней).* А, да вотъ и они наконецъ! *(Въ переднюю входятъ Надежда Павловна, Марія Петровна и Бѣльскій. Лицо Надежды Павловны выражаетъ нѣкоторое неудовольствіе).* Насилу-то изволили вернуться! —Зачѣмъ же это вы безъ меня гулять пошли?

Надежда Павловна *(подходитъ къ зеркалу направо : снимаетъ шляпу).*

А вы развѣ давно проснулись?

Аваковъ.

Давно.

Надежда Павловна.

Что жъ—выспались?

Аваковъ.

Да я и не спалъ вовсе... Такъ только...

Надежда Павловна *(перебивая его).*

Ну, знаемъ, знаемъ... вздремнули...

Аваковъ.

Хе... хе... А что, пріятная была прогулка?

Надежда Павловна *(сухо).*

Да... Никого безъ меня не было?

Аваковъ.

Никого... То-есть виноватъ — приходилъ какой-то вописецъ.

Надежда Павловна *(быстро).*

M-r Popelin?

Аваковъ.

Да, кажется, онъ.

Надежда Павловна.

Что жъ вы ему сказали?

Аваковъ.

Да ничего. Онъ васъ спрашивалъ—и велѣлъ вамъ зать, что былъ...

Надежда Павловна.

Зачѣмъ же вы его не попросили подождать?

Аваковъ.

Я, право, не зналъ.

Надежда Павловна *(съ досадой).*

Ахъ, вы всегда такой! *(обращаясь къ Бѣльскому, торый съ самаго своего прихода отошелъ къ окну льво вмѣстѣ съ Маріей Петровной и разговарива ней).* Бѣльскій!.. Бѣльскій, да полноте вамъ любезни съ *Машей.*

Бѣльскій.

Что̀ вамъ угодно, Надежда Павловна?..

Надежда Павловна.

Что̀ мнѣ угодно... *(Помолчавъ).* Вотъ что мнѣ угодно: ѣсь сейчасъ былъ M-r Popelin, живописецъ, вы знаете; тъ, съ которымъ я третьяго дня познакомилась — онъ це мнѣ показывалъ виды Везувія... Я его сама приглаала — онъ пришелъ, а этотъ вотъ господинъ *(указывая Авакова)* не умѣлъ его удержать.

Бѣльскій.

Такъ что жъ вы прикажете?

Надежда Павловна.

Какъ вы недогадливы стали — съ нѣкоторыхъ поръ!.. звольте сейчасъ идти, сыщите мнѣ его, приведите его юда—слышите? Непремѣнно приведите его сейчасъ.

Бѣльскій.

Да я его адреса не знаю.

Надежда Павловна.

Узнайте его адресъ — спросите здѣсь, въ гостиницѣ — гдѣ хотите.—Да ступайте же — мнѣ онъ нуженъ — говорятъ вамъ. Ступайте.

Бѣльскій *(помолчавъ).*

Слушаю-съ.—Иду отыскивать г-на живописца съ видами Везувія. — Должно-быть они вамъ очень понравились...— *Взглянувъ на нее).* Иду, иду. *(Уходитъ).*

Надежда Павловна *(садится на диванъ и нетерпѣливо стучитъ ногой по полу. Аваковъ съ замѣшательствомъ улыбается. Наконецъ она восклицаетъ).*

Маша!

Марія Петровна.

Ma tante?

Надежда Павловна.

Ma tante... ma tante... Что это ты меня все тетушкой величаешь?—Какъ будто ужъ я такая старуха.

Марія Петровна.

Да какъ же мнѣ, тетушка, васъ называть иначе?

Надежда Павловна *(помолчавъ).*

Ты напрасно стоишь у окна; ты можешь простудиться.

Марія Петровна.

Помилуйте, на дворѣ такъ тепло...

Надежда Павловна.

Я не знаю... мнѣ кажется, здѣсь дуетъ... Сергѣй тонычъ, вѣдь дуетъ?

Аваковъ *(вздрагиваетъ и играетъ пальцами обѣихъ р на воздухѣ).*

Дуетъ—дуетъ.

Надежда Павловна *(Маріи Петровнѣ).*

Ты, мнѣ кажется, слишкомъ легко одѣта?.. Маша.. бы лучше надѣла другое платье.

Марія Петровна.

Вы думаете, тетушка?

Надежда Павловна.

Да, думаю, моя племянница.

Марія Петровна.

Извольте—я сейчасъ надѣну другое. *(Стоитъ нѣ рое время неподвижно, со смѣхомъ подбѣгаетъ къ Над Павловнѣ и цѣлуетъ ее).*

Надежда Павловна *(смѣясь).*

Ну, хорошо, лиса, хорошо, ступай... *(Марія Пет выбѣгаетъ въ дверь кабинета. Аваковъ тоже смѣет потираетъ руки. Надежда Павловна взглядываетъ н и принимаетъ серьезный видъ. Аваковъ слегка конфуз Небольшое молчанье).*

Аваковъ.

Вы... вы, кажется, сегодня не въ духѣ, Надежда Пав.

Надежда Павловна.

Кто вамъ это сказалъ? — Напротивъ. Ваши замѣ всегда ужасно невпопадъ, Сергѣй Платонычъ. Вам такое кажется, чего совсѣмъ нѣту. *(Съ улыбкой).* Н примѣръ, ну скажите правду, развѣ дуетъ здѣсь?

Аваковъ *(глядя на нее).*

А... А вамъ какъ угодно?.. чтобы не дуло?

Надежда Павловна.

Ну, вотъ видите.

Аваковъ *(помолчавъ).*

Да если бъ я зналъ, что вамъ такъ хочется вы

ого французика... Если бъ вы мнѣ по крайней мѣрѣ казали напередъ...

Надежда Павловна.

Опять вы невпопадъ. — Мнѣ нисколько не хочется видѣть этого француза... мнѣ онъ совершенно не нуженъ.

Аваковъ *(съ недоумѣньемъ).*

Однако вы послали за нимъ Бѣльскаго...

Надежда Павловна *(помолчавъ).*

Я послала за нимъ Бѣльскаго... потому что... потому что онъ мнѣ надоѣлъ... Мнѣ надоѣло его видѣть.

Аваковъ.

Кого? Бѣльскаго?

(Надежда Павловна утвердительно качаетъ головой).

Аваковъ.

Не можетъ быть!

Надежда Павловна.

Какъ не можетъ быть?

Аваковъ.

Да ей-Богу же не можетъ быть. Помилуйте, Надежда Павловна, сегодня за столомъ, вспомните какъ вы съ нимъ были ласковы? Да не только сегодня—все это время—и въ Римѣ, и на дорогѣ въ Неаполь—и здѣсь...

Надежда Павловна.

Во-первыхъ, это не правда...

Аваковъ.

Какъ неправда?

Надежда Павловна.

А во-вторыхъ что жъ!—Мнѣ хотѣлось васъ помучить.

Аваковъ.

Полноте, Надежда Павловна—меня, старика, вы и безъ того умѣете мучить.

Надежда Павловна.

Вы жалуетесь?

Аваковъ.

О, нисколько — нисколько! Я только хотѣлъ сказать, что... это все не то... что подъ этимъ что-то другое скрывается.

Надежда Павловна.

Что̀ такое, позвольте узнать?

Аваковъ.

Онъ васъ чѣмъ-нибудь разсердилъ сегодня.

Надежда Павловна.

Позвольте узнать, чѣмъ могъ *онъ* разсердить ме
Что такое для меня М-г Бѣльскій?

Аваковъ (*въ раздумьи*).

Съ другой стороны... точно... онъ такъ за ва
живаетъ...

Надежда Павловна.

Вотъ—то-то и есть, мой милый Сергѣй Платон
хотя и безпрестанно за нами подсматриваете — а
не видите... Онъ и не думаетъ за мной ухаживат

Аваковъ.

Какъ?

Надежда Павловна.

Поглядѣли бы вы на него во время нашей про

Аваковъ.

А что?

Надежда Павловна.

Ахъ, Боже мой! да неужель же вы давно не за
что онъ волочится за Машей?

Аваковъ.

Бѣльскій?

Надежда Павловна.

Ну да.

Аваковъ (*внезапно*).

Это хитрость!

Надежда Павловна.

Какъ?

Аваковъ.

Хитрость, Надежда Павловна, хитрость—и боль
чего. Помилуйте, Надежда Павловна, да вѣдь эт
какъ дважды-два четыре... Хитрость, повѣрьте м
рая штука. Онъ хочетъ въ васъ возбудить рев
Помилуйте, да это очевидно...

Надежда Павловна.

Что вы говорите, Сергѣй Платонычъ?

Аваковъ.

Очевидно, Надежда Павловна, помилуйте. Вѣрьте мнѣ, вѣдь я вашъ старинный другъ, вѣдь ужъ, кажется, намъ съ вами не знакомиться стать, вѣдь я преданный вамъ человѣкъ — хитрость, Надежда Павловна, хитрость. Ну, возможно ли предпочесть вамъ кого-нибудь на свѣтѣ? Ну, повѣрю я этому—полноте.

(Надежда Павловна молчитъ и потупляетъ глаза).

Аваковъ *(помолчавъ, не безъ робости).*

О чемъ вы думаете, Надежда Павловна?

Надежда Павловна *(помолчавъ).*

О чемъ... Я думаю, что точно имѣю въ васъ добраго и вѣрнаго друга... *(протягиваетъ ему руку).*

Аваковъ *(съ восхищеніемъ цѣлуя ея руку).*

Помилуйте, Надежда Павловна... еще бы!

Надежда Павловна *(встаетъ).*

А г-нъ Бѣльскій, повѣрьте, мнѣ все равно, волочится ли онъ за Машей или нѣтъ, и съ какой цѣлью онъ за ней волочится, мнѣ это совершенно все равно.

Аваковъ.

Да ужъ я вамъ могу повѣрить...

Надежда Павловна *(перебивая его).*

Ну, полно, Богъ съ нимъ... Богъ съ нимъ совсѣмъ... Мы и безъ него обойдемся, не правда ли?

Аваковъ.

Какъ вы добры... *(Помолчавъ).* А все-таки грѣшно вамъ, Надежда Павловна.

Надежда Павловна.

Что такое?

Аваковъ.

Зачѣмъ вы не велѣли меня разбудить? Зачѣмъ пошли гулять безъ меня?

Надежда Павловна.

Да вѣдь я знаю, Сергѣй Платонычъ, вы до всѣхъ этихъ прогулокъ не охотникъ. Помните, въ Римѣ, въ катаком-

бахъ, какъ вы ко мнѣ приставали, что̀, дескать, если этимъ монахомъ, съ проводникомъ, ударъ случится, и какъ мы отсюда выйдемъ?

Аваковъ.

Что же? и точно...

Надежда Павловна.

Трусъ!

Аваковъ.

Да вѣдь это я все-таки для васъ боялся. А впрочем прогулка прогулкѣ рознь. Ну, въ хорошую погоду отчего пройтись этакъ возлѣ моря... Оно точно, пріятно. Но, примѣръ, вотъ на-днях мы ѣздили смотрѣть какія-то п земныя ванны... Ну, что̀ тутъ хорошаго? Темнота, гр Сидишь на спинѣ какого-то дурака, а онъ еще смѣе надъ тобой, что ты тяжелъ. Мнѣ говорятъ: въ этихъ в нахъ консулы купались,—да какое мнѣ дѣло до эт консуловъ, позвольте спросить?

Надежда Павловна.

Небось, русскія бани лучше?

Аваковъ.

Да полноте, Надежда Павловна, полноте, захочется вамъ, наконецъ, домой-то вернуться. Погодите еще, на ѣстъ вамъ разъѣзжать съ конца въ конецъ по Евро Прискучатъ вамъ всѣ эти ваши синьоры, да мейнгеры, французики... со своими курточками, бородками, ужим ками. *(Передразниваетъ ихъ).*

(Надежда Павловна смѣется).

Аваковъ.

Я одному удивляюсь, Надежда Павловна... Какъ съ вашимъ умомъ, даете себя въ обманъ. Вѣдь вы пос трите на нихъ, вѣдь у нихъ такъ въ глазахъ и написа что вы, молъ, варвары, и если бъ не ваши деньги...

Надежда Павловна.

Ну, ужъ извините, Сергѣй Платонычъ, я не дум чтобы со мной знакомились изъ-за моихъ денегъ...

Аваковъ.

А то еще хуже... Какой-нибудь этакій фигуранти подходитъ къ вамъ такимъ завоевателемъ; ему бы за

ыханное счастье надо почитать, что вы его пускаете ъ себѣ,—а онъ куда?.. онъ завоеватель, онъ рисуется! ворить съ вами и палецъ за жилетъ закладываетъ, а? алецъ? каково? Еще иной не умѣетъ... не попадаетъ... за илетъ-то... *(опять передразниваетъ его).*

Надежда Павловна *(смѣясь).*

Ну, полноте, Сергѣй Платонычъ, не горячитесь; поѣрьте, я не хуже васъ знаю цѣну этимъ господамъ.

Аваковъ.

Да... знаете... А между тѣмъ, небось, что́ они межъ собой говорятъ: что, молъ, монъ шеръ, чѣмъ ты теперь занимаешься, монъ шеръ?—Да ничѣмъ, монъ шеръ; въ меня одна русская княгиня влюбилась, а самъ этакъ ножкой постукиваетъ да цѣпочкой по пустому-то по желудку играетъ,—юнъ пренсессъ рюссъ, монъ шеръ, такъ я вотъ съ ней отъ скуки, знаешь, монъ шеръ...

Надежда Павловна *(съ нѣкоторой досадой).*

Сергѣй Платонычъ, вы мнѣ напрасно все это говорите... повѣрьте... у меня теперь совсѣмъ другія мысли въ головѣ.

Аваковъ *(помолчавъ и вздохнувъ).*

Да... я согласенъ; у васъ точно... теперь... другія мысли...

Надежда Павловна *(смѣясь).*

Ну, полноте, не вздыхайте. Такъ вамъ жаль, что мы васъ съ собой не взяли сегодня?

Аваковъ.

Еще бы!

Надежда Павловна.

Ну, пойдемте, пройдемся по саду. Хотите?

Аваковъ.

Съ удовольствіемъ, съ удовольствіемъ! *(Ищетъ шляпу).*

Надежда Павловна.

Постойте, я, кажется, слышу шаги Бѣльскаго...

Аваковъ.

Да на что жъ онъ вамъ нуженъ?..

(Изъ передней входитъ Бѣльскій).

Бѣльскій.

Уфъ!.. Вотъ бѣжалъ-то... *(Къ Надеждѣ Павловнѣ).* І дежда Павловна, вашъ живописецъ уѣхалъ!

Надежда Павловна.

Какой живописецъ?

Бѣльскій.

Какъ какой? М-г Popelin, тотъ самый, за которымъ меня посылали. Онъ уѣхалъ въ Неаполь, полчаса т назадъ.

Надежда Павловна *(глядя на него).*

Ахъ, какъ вы запыхались, Алексѣй Николаевич *(Смѣется).* Ахъ, какъ вы смѣшны!

Бѣльскій.

Я?

Надежда Павловна.

Да, вы... ха-ха-ха... Не правда ли, какъ онъ смѣш Сергѣй Платонычъ.

Аваковъ.

Да, да. Ха-ха... Ха-ха.

Надежда Павловна *(Авакову).*

Ну, пойдемте, пойдемте.

Бѣльскій.

Куда это вы идете?

Надежда Павловна.

Иду гулять съ нимъ въ садъ.

Бѣльскій.

А я?..

Надежда Павловна.

А вы здѣсь останетесь... Да что это такъ темно зд *(Звонитъ. Входитъ слуга).* Apportez des lumières. *(С выходитъ).* Вы можете, если хотите, читать... Впроч я васъ оставляю въ обществѣ Маши. Вы, кажется, не наговорились съ ней... Или, можетъ-быть, вы о пойдете отыскивать М-г Popelin? *(Бѣльскій глядит нее съ изумленіемъ).* Ахъ, не глядите такъ на меня, такъ смѣшны... Пойдемте, Сергѣй Платонычъ... *(Взя ваетъ на Бѣльскаго).* Ха-ха-ха!

Аваковъ.

Ха-ха-ха! Въ самомъ дѣлѣ! *(Оба уходятъ въ садъ. Слуга вноситъ свѣчи и ставитъ ихъ на столъ подлѣ окна. Бѣльскій стоитъ неподвижно и вдругъ поднимаетъ одну руку. Слуга воображаетъ, что онъ зоветъ его, подъѣзжаетъ и говоритъ: „Celenza?“, но видя, что Бѣльскій не обращаетъ на него вниманія, кланяется его спинѣ и уходитъ).*

Бѣльскій.

Что это значитъ? Гмъ! Не понимаю. Какая-нибудь фантазія... *(Ходитъ взадъ и впередъ по комнатѣ).* А должно сознаться, удивительная она женщина! Умна, насмѣшлива, мила... Да, но теперь мнѣ не до того. Точно, три мѣсяца тому назадъ, когда я ее встрѣтилъ въ Римѣ, она мнѣ вскружила голову, и до сихъ поръ еще я не могу сказать, чтобы я былъ совершенно спокоенъ въ ея присутствіи... но въ сердцѣ у меня... теперь... Ахъ, я слишкомъ хорошо знаю, что у меня въ сердцѣ!..

Она мнѣ сейчасъ сказала, что оставляетъ меня въ обществѣ Марьи Петровны... Да гдѣ же Марья Петровна? *(Помолчавъ.)* Читать мнѣ совѣтовала... Читать!—Въ такую ночь — и послѣ сегодняшняго разговора... *(Подходитъ къ окну.)* Боже! какая великолѣпная ночь!

(Изъ кабинета выходитъ Марія Петровна. — Она нѣкоторое время глядитъ на Бѣльскаго и идетъ на середину комнаты.)

Бѣльскій *(оглядываясь).*

Ахъ, это вы, Марія Петровна—гдѣ вы были?

Марія Петровна *(указывая на кабинетъ).*

Здѣсь... Мнѣ тётенька велѣла надѣть другое платье...

Бѣльскій *(оглядывая ее).*

Однако я не вижу, чтобы вы...

Марія Петровна.

Да тётенька мнѣ это только такъ сказала... Ей хотѣлось поговорить наединѣ съ Сергѣемъ Платонычемъ... Гдѣ она?

Бѣльскій.

Она пошла съ нимъ въ садъ...

Марія Петровна.

А вы что жъ не пошли съ ними?..

Бѣльскій.

Я?—Я предпочелъ остаться.

Марія Петровна.

Въ самомъ дѣлѣ? *(Садится.)*

Бѣльскій.

То-есть — по правдѣ сказать — она сама мнѣ велѣла остаться...

Марія Петровна.

А! Теперь я не удивляюсь... Бѣдный Алексѣй Николаичъ!.. Мнѣ жаль васъ.

Бѣльскій *(подходя къ ней и садясь подлѣ нея).*

Будто? Не думаете ли вы, что я завидую Сергѣю Платонычу?

Марія Петровна.

А развѣ нѣтъ?

Бѣльскій.

Марья Петровна — и вы, я вижу, уже умѣете притворяться...

Марія Петровна.

Я васъ не понимаю... Но, неправда ли, какой Сергѣй Платонычъ прекрасный человѣкъ!

Бѣльскій.

Да.

Марія Петровна.

Какъ онъ преданъ тётенькѣ!

Бѣльскій.

Да. — Оттого-то ей и грѣшно его мучить. — Ваша тётушка премилая женщина, но ужасная кокетка.

Марія Петровна *(посмотрѣвъ на него).*

А вѣдь, воля ваша, вамъ досадно, что васъ не взяли въ садъ...

Бѣльскій.

Опять!

Марія Петровна.

По крайней мѣрѣ вы прежде такъ объ тётушкѣ никогда не отзывались.

Бѣльскій.

кде! Еще бы!—Я очень хорошо знаю, что когда я омился съ вами — помните — это было въ самый і день карнавала—я васъ увидѣлъ на балконѣ въ — я знаю, какое она тогда произвела впечатлѣніе я...

Марія Петровна.

помню, какъ вы съ улицы поднесли ей вдругъ инкѣ букетъ и какъ она сперва испугалась, поасмѣялась и взяла ваши цвѣты...

Бѣльскій.

ните, возлѣ нея стоялъ этотъ долговязый джентльсынокъ какого-то лорда — онъ еще такъ на меня дулся и ревновалъ и съ достоинствомъ бормоталъ ь—точно тетеревъ...

Марія Петровна.

ъ же... какъ же...

Бѣльскій.

вѣдь это все три мѣсяца тому назадъ происхоа съ тѣхъ поръ... съ тѣхъ поръ я узналъ другое)—я понялъ, что всѣ очарованія женскаго кокетства передъ стыдливой прелестью молодости...

Марія Петровна *(съ смущеньемъ).*

вы хотите сказать?

Бѣльскій *(тоже съ смущеньемъ).*

Такъ... Ничего.—*(Помолчавъ).* Что вы читали се-Марія Петровна?

Марія Петровна.

Шиллера, Алексѣй Николаичъ.

Бѣльскій.

ольте узнать, что именно?

Марія Петровна.

ну д'Аркъ.

Бѣльскій.

орошее сочиненіе... *(Въ сторону).* Какъ я глупъ, мой!—*(встаетъ и идетъ къ окну).*

Марія Петровна *(помолчавъ).*

вы тамъ смотрите, Алексѣй Николаичъ?

Бѣльскій.

Я смотрю на небо, на звѣзды, на море... слышите его мѣрные, протяжные всплески? Марія Петровна,—н ужели эта тишина, этотъ воздухъ, этотъ лунный свѣтъ неужели вся эта дивная ночь ничего не говоритъ вам

Марія Петровна *(вставая).*

А вамъ, Алексѣй Николаичъ, что̀ она говоритъ?..

Бѣльскій *(съ смущеньемъ).*

Мнѣ?.. Она... Она мнѣ говоритъ множество хороши вещей...

Марія Петровна *(съ улыбкой).*

А! Какія же напримѣръ?

Бѣльскій *(въ сторону).*

Это наконецъ невыносимо... Я долженъ казаться смѣшнымъ... Боже мой! Боже мой! сердце во мнѣ та бьется—я хочу высказаться—высказаться наконецъ—и могу... Если бъ хоть что-нибудь—теперь, въ эту минуту *(За окномъ раздается аккордъ гитары...)*

Марія Петровна.

Что это?

Бѣльскій *(протягивая къ ней руку, съ волненьемъ).*

Не знаю, погодите, должно-быть импровизаторъ... *(Пѣвецъ поетъ серенаду подъ окномъ.—Во все время пѣ оба, Бѣльскій и Марія Петровна, стоятъ неподви По окончаніи перваго куплета, Бѣльскій бросается окну и кричитъ: браво, браво...)*

Голосъ пѣвца.

Qualche cosa per il musico, signore...

Марія Петровна *(подходя къ Бѣльскому).*

Бросьте ему что-нибудь.

Бѣльскій.

Постойте — онъ такъ не увидитъ... *(Достаетъ изъ кар мана монету, проворно обвертываетъ ее бумажкой, зажи гаетъ ее у свѣчи и бросаетъ за окно.)*

Голосъ пѣвца.

Grazie, mille grazie...

Марія Петровна *(которая тоже обернула монету въ бумажку).*

Вотъ дайте ему еще...

(Бѣльскій зажигаетъ ее и бросаетъ.)

Голосъ пѣвца.

Grazie, grazie... *(Онъ поетъ второй куплетъ. Бѣльскій Марія Петровна стоятъ у окна и слушаютъ. Когда ъ кончаетъ, Бѣльскій кричитъ: браво! бросаетъ ему е монету. Марія Петровна хочетъ отойти, но онъ ватываетъ ее за руку.)*

Бѣльскій.

Постойте, Марія Петровна, постойте... До сихъ поръ ы наградили въ немъ ремесленника, но я хочу теперь лагодарить художника... *(Быстро беретъ свѣчу со стола.)* Іодойдите я освѣщу васъ... *(Марія Петровна слегка прочивится, но подходитъ къ окну.)*

Голосъ пѣвца.

Ah, que bella ragazza!

Марія Петровна *(краснѣя отходитъ отъ окна).*

Полноте...

Бѣльскій *(ставя свѣчу на столъ).*

Нѣтъ, рѣшительно я не могу молчать долѣе... Эта неиданная пѣснь, этотъ сладкій итальянскій голосъ — и енно теперь, въ эту ночь, когда ужъ и такъ я готовъ лъ сказать вамъ, что у меня на сердцѣ — нѣтъ, нѣтъ, не могу, я не хочу молчать...

Марія Петровна *(съ волненьемъ).*

Алексѣй Николаичъ...

Бѣльскій.

Я знаю, что все это безумно, что вы будете негодовать а меня—но такъ и быть, я не въ силахъ болѣе притворяться...—Марія Петровна, я люблю васъ, люблю васъ трастно...

(Марія Петровна молчитъ и потупляетъ глаза.)

Бѣльскій.

Да—я люблю васъ—вы давно могли это замѣтить. И перь—если... если вы не согласитесь быть моей женой—ѣ остается одно: уѣхать отсюда какъ можно скорѣй и

какъ можно дальше... Я знаю, что я своей поспѣшность можетъ-быть, все испортилъ, но виноватъ не я... это пѣвецъ виноватъ... *(Взглянувъ на Марію Петровну).* Мар Петровна, скажите, уѣхать мнѣ или остаться—сердить мнѣ на этого пѣвца или вѣчно благодарить его...

Марія Петровна.

Я, право, не знаю...

Бѣльскій.

Скажите, скажите...

Марія Петровна.

Мнѣ кажется... на этого пѣвца трудно сердиться...

Бѣльскій *(схватывая ее за руку).*

Неужели?.. Боже мой! неужели я могу...

Марія Петровна.

Но я... но что скажетъ тётушка...

Бѣльскій.

Что она скажетъ? Она согласится... Да вотъ она кстати и идетъ... Вы увидите... Я увѣренъ, она согласится...

Марія Петровна.

Бѣльскій! что вы дѣлаете...

Бѣльскій.

Ничего, ничего... вы увидите... *(Марія Петровна старается его удержать. Изъ двери сада входитъ Надежда Павловна и Аваковъ).*

Аваковъ.

И вы такъ рано возвращаетесь, Надежда Павловна...

Надежда Павловна.

Да нельзя же... Сергѣй Платонычъ... Чтобъ они тамъ... вдвоемъ...

Бѣльскій *(бросаясь къ Надеждѣ Павловнѣ).*

Надежда Павловна...

Надежда Павловна *(вздрагиваетъ).*

Что съ вами—вы меня испугали... *(Аваковъ съ изумленьем глядитъ на него).*

Бѣльскій.

Надежда Павловна—я въ большомъ волненьи... но в не обращайте на это вниманья... Я, видите ли, я не мог болѣе скрыть... я... я рѣшаюсь просить у васъ руки...

Аваковъ.

! Все кончено... *(падаетъ на кресла.)*

Бѣльскій.

вашей племянницы, Маріи Петровны...

Надежда Павловна *(съ изумленьемъ).*

і племянницы...

Аваковъ.

? Что?.. *(вскакиваетъ.)* Вы просите руки Маріи ны?.. Согласенъ, согласенъ и разрѣшаю... Дѣти, сюда ваши руки *(насильно беретъ руку Маши и етъ ее съ рукою Бѣльскаго).* Благословляю васъ, мои, живите долго, въ ладу и согласіи, и имѣйте ожно больше дѣтей!..

Надежда Павловна.

постойте, постойте, Сергѣй Платонычъ, вы съ ума . Что это такое? Я ничего не понимаю... Вы, й Николаичъ, просите у меня руки Маши, вы?

Бѣльскій.

Надежда Павловна.

а... что жъ?

Бѣльскій.

не противится.

Надежда Павловна.

а... ты молчишь?

Аваковъ.

юмилуйте, Надежда Павловна, что жъ ей говорить? ли жъ вы думаете, что все это безъ ея согласія сь?

Надежда Павловна *(Авакову).*

сякомъ случаѣ, оно сдѣлалось по вашей милости.— *льскому.)* Хотя ваше предложеніе, признаюсь, меня удивляетъ—оно такъ неожиданно—но я не желаю ствовать счастью моей племянницы, если только хете составить ея счастье...

Бѣльскій.

о-быть, вы согласны? *(Цѣлуетъ ея руку.)*

Аваковъ.

Да, конечно, согласна... Ура!—Марья Петровна—подой дите же и вы...

Марія Петровна *(подходя къ Надеждѣ Павловнѣ).*

Chère tante...

Надежда Павловна.

Хорошо, хорошо. *(Треплетъ ее по щекѣ.)* Vous êtes fine, ma pièce... *(Обращаясь къ Авакову.)* А неправда ли Сергѣй Платонычъ, какъ ваши догадки были вѣрны... безошибочны...

Аваковъ.

Эхъ, Надежда Павловна, я за свои догадки не стою и ошибаться мнѣ тоже случается, какъ и всякому смертному, а вотъ за одно я отвѣчаю—за мою неизмѣнную и вѣчную преданность къ вамъ... Надежда Павловна что бы, право...

Надежда Павловна.

Что такое?

Аваковъ.

По примѣру этихъ молодыхъ людей...

Надежда Павловна.

Молодыхъ людей! Говорите про себя, Сергѣй Платонычъ, а я не нахожу себя старой...

Аваковъ.

Да вы меня понимаете... Право. — И поѣхали бы мы къ себѣ, домой... Надежда Павловна. И какъ бы там зажили!

Надежда Павловна.

Я вамъ не говорю... нѣтъ, но мы сперва въ Парижъ заѣдемъ.

Аваковъ *(чешетъ себя за ухо).*

Да развѣ Парижъ... на дорогѣ... въ Саратовъ?

Надежда Павловна.

Нѣтъ, ужъ это какъ хотите.—Мы непремѣнно ѣдемъ въ Парижъ... *молодые* люди тамъ женятся...

Аваковъ.

Мы всѣ тамъ женимся... А тамъ и домой...

Надежда Павловна.

Ну, это мы увидимъ... *(Помолчавъ.)* Но не забуду я этого вечера въ Соррентѣ...

Бѣльскій.

Ни я...

Марія Петровна.

Ни я...

Аваковъ.

Да никто его не забудетъ!

Надежда Павловна.

Ну, погодите, Сергѣй Платонычъ, не отвѣчайте за другихъ.

(Занавѣсъ падаетъ).

10-го января 1852 г.
С.-Петербургъ.

СОДЕРЖАНІЕ

ОДИННАДЦАТАГО ТОМА:

стр.

Завтракъ у предводителя. Комедія въ одномъ дѣйствіи . . 3
Мѣсяцъ въ деревнѣ. Комедія въ пяти дѣйствіяхъ. 45
Провинціалка. Комедія въ одномъ дѣйствіи. 192
Разговоръ на большой дорогѣ. Сцена. 245
Вечеръ въ Соррентѣ. Сцена. 268

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

И. С. ТУРГЕНЕВА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ДВѢНАДЦАТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ за 1898 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1898.

СОДЕРЖАНІЕ

ОДИННАДЦАТАГО ТОМА:

стр.

Завтракъ у предводителя. Комедія въ одномъ дѣйствіи . . 3
Мѣсяцъ въ деревнѣ. Комедія въ пяти дѣйствіяхъ. 45
Провинціалка. Комедія въ одномъ дѣйствіи. 192
Разговоръ на большой дорогѣ. Сцена. 245
Вечеръ въ Соррентѣ. Сцена. 268

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

И. С. ТУРГЕНЕВА

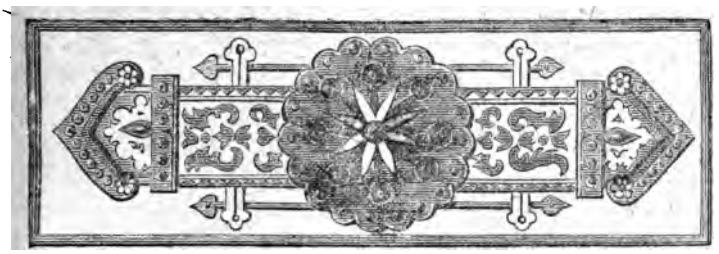
въ 12 томахъ.

ТОМЪ ДВѢНАДЦАТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ за 1898 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1898.

Типографія А. Ф. Маркса. Ср. Подъяч., № 1.



I.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ И ЖИТЕЙСКІЯ

ВОСПОМИНАНІЯ.

ВМѢСТО ВСТУПЛЕНІЯ.

Около пасхи 1843 года, въ Петербургѣ произошло событіе, и само по себѣ крайне незначительное, и давнымъ-давно поглощенное всеобщимъ забвеніемъ. А именно: появилась небольшая поэма нѣкоего Т. Л., подъ названіемъ „Параша“.—Этотъ Т. Л. былъ я; этою поэмой я вступилъ на литературное поприще. Съ тѣхъ поръ прошло почти двадцать пять лѣтъ, и вотъ, по поводу новаго изданія моихъ сочиненій, мнѣ захотѣлось побесѣдовать съ читателемъ и передать ему хотя частицу тѣхъ воспоминаній, которыя накопились у меня въ теченіе четверти вѣка... Grande ævi spatium!—Не обѣщаю читателю ничего очень новаго, ничего „пикантнаго“; предувѣдомляю его также, что многое должно будетъ остаться невысказаннымъ или недосказаннымъ. За причинами подобныхъ недомолвокъ ходить недалеко. Всѣ мы знаемъ, что многое измѣнилось съ 1843 года, многое исчезло совершенно... но не всѣ еще связи порваны между нынѣшнимъ настоящимъ и тогдаш-

нимъ прошедшимъ; много лицъ осталось въ живыхъ — не одни лица уцѣлѣли. А правду, безпристрастную и всестороннюю правду можно высказать только о томъ, что окончательно сошло со сцены. Потому я рѣшаюсь ограничиться нѣсколькими отрывками, нѣсколькими отдѣльными главами изъ моихъ воспоминаній; внутреннее единство, я надѣюсь, скажется въ нихъ; но отъ наружнаго единства, отъ послѣдовательности разсказа отказываюсь заранѣе. Считаю, однако, нужнымъ сообщить предварительно нѣсколько данныхъ, касающихся лично до меня и опредѣляющихъ исходную точку моей дѣятельности.

Окончивъ курсъ по филологическому факультету С.-Петербургскаго университета въ 1837 году, я весною 1838 года отправился доучиваться въ Берлинъ. Мнѣ было всего 19 лѣтъ; объ этой поѣздкѣ я мечталъ давно. Я былъ убѣжденъ, что въ Россіи возможно только набраться нѣкоторыхъ приготовительныхъ свѣдѣній, но что источникъ настоящаго знанія находится за границей. Изъ числа тогдашнихъ преподавателей с.-петербургскаго университета не было ни одного, который бы могъ поколебать во мнѣ это убѣжденіе; впрочемъ, они сами были имъ проникнуты; его придерживалось и министерство, во главѣ котораго стоялъ графъ Уваровъ, — посылавшее на свой счетъ молодыхъ людей въ нѣмецкіе университеты. Въ Берлинѣ я пробылъ (въ два пріѣзда) около двухъ лѣтъ. Изъ числа русскихъ, слушавшихъ университетскія лекціи, назову: въ теченіе перваго года—Н. Станкевича, Грановскаго, Фролова; въ теченіе второго—столь извѣстнаго впослѣдствіи М. Бакунина. Я занимался философіей, древними языками, исторіей и съ особеннымъ рвеніемъ изучалъ Гегеля подъ руководствомъ профессора Вердера. Въ доказательство того, какъ недостаточно было образованіе, получаемое въ то время въ нашихъ высшихъ заведеніяхъ, приведу слѣдующій фактъ: я слушалъ въ Берлинѣ латинскія древности у Цумпта, исторію греческой литературы у Бёка — а на дому принужденъ былъ зубрить латинскую грамматику и греческую, которыя зналъ плохо. И я былъ не изъ худшихъ кандидатовъ.

Стремленіе молодыхъ людей—моихъ сверстниковъ—за границу напоминало исканіе славянами начальниковъ у заморскихъ варяговъ. Каждый изъ насъ точно такъ же чувствовалъ, что его *земля* (я говорю не объ отечествѣ вообще, а о нравственномъ и умственномъ достояніи каждаго) велика и обильна, а порядка въ ней нѣтъ. Могу сказать о себѣ, что лично я весьма ясно сознавалъ всѣ невыгоды подобнаго отторженія отъ родной почвы, подобнаго насильственнаго перерыва всѣхъ связей и нитей, прикрѣплявшихъ меня къ тому быту, среди котораго я вырось... но дѣлать было нечего. Тотъ бытъ, та среда, и особенно та полоса ея, если можно такъ выразиться, къ которой я принадлежалъ — полоса помѣщичья, крѣпостная—не представляла ничего такого, что́ могло бы удержать меня. Напротивъ: почти все, что̀ я видѣлъ вокругъ себя, возбуждало во мнѣ чувства смущенія, негодованія—отвращенія, наконецъ. Долго колебаться я не могъ. Надо было либо покориться и смиренно побрести, общей колеей, по избитой дорогѣ; либо отвернуться разомъ, оттолкнуть отъ себя „всѣхъ и вся“, даже рискуя потерять многое, что́ было дорого и близко моему сердцу. Я такъ и сдѣлалъ... Я бросился внизъ головою въ „нѣмецкое море“, долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я, наконецъ, вынырнулъ изъ его волнъ—я все-таки очутился „западникомъ“, и остался имъ навсегда.

Мнѣ и въ голову не можетъ придти осуждать тѣхъ изъ моихъ современниковъ, которые другимъ, менѣе отрицательнымъ путемъ достигли той свободы, того сознанія, къ которымъ я стремился... Я хочу только заявить, что̀ я другого пути передъ собой не видѣлъ. Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что̀ я возненавидѣлъ; для этого у меня, вѣроятно, недоставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мнѣ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага за тѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ — крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ

все, противъ чего я рѣшился бороться до конца—съ чѣм
я поклялся никогда не примиряться... Это была моя Ан
нибаловская клятва; и не я одинъ далъ ее себѣ тогда.
Я и на Западъ ушелъ для того, чтобы лучше ее испол
нить. И я не думаю, чтобы мое западничество лишило
меня всякаго сочувствія къ русской жизни, всякаго пони
манія ея особенностей и нуждъ. „Записки Охотника",
эти, въ свое время новые, впослѣдствіи далеко опереже
ные, этюды были написаны мною за границей; нѣкоторы
изъ нихъ — въ тяжелыя минуты раздумья о томъ: вер
нуться ли мнѣ на родину, или нѣтъ? Мнѣ могутъ возра
зить, что та частичка русскаго духа, которая въ них
замѣчается, уцѣлѣла не по милости моихъ западных
убѣжденій, но несмотря на эти убѣжденія и помимо моей
воли. Трудно спорить о подобномъ предметѣ;—знаю толь
ко, что я, конечно, не написалъ бы „Записокъ Охотника",
если бъ остался въ Россіи. Скажу также, что я никогда
не признавалъ той неприступной черты, которую иные
заботливые и даже рьяные, но малосвѣдущіе патріоты
непремѣнно хотятъ провести между Россіей и Западно
Европой, той Европой, съ которою порода, языкъ, вѣр
такъ тѣсно ее связываютъ. Не составляетъ ли наша сла
вянская раса — въ глазахъ филолога, этнографа — одно
изъ главныхъ вѣтвей индо-германскаго племени? И если
нельзя отрицать воздѣйствія Греціи на Римъ, и обоих
ихъ вмѣстѣ — на германо-романскій міръ, то на какомъ
же основаніи не допускается воздѣйствіе этого — что ни
говори—родственнаго, однороднаго міра на насъ? Неужели
же мы такъ мало самобытны, такъ слабы, что должны
бояться всякаго посторонняго вліянія и съ дѣтскимъ ужа
сомъ отмахиваться отъ него, какъ бы онъ насъ не испор
тилъ? Я этого не полагаю: я полагаю, напротивъ, что
насъ хоть въ семи водахъ мой—нашей, русской сути изъ
насъ не вывести. Да и что бы мы были, въ противномъ
случаѣ, за плохенькій народецъ! Я сужу по собственному
опыту: преданность моя началамъ, выработаннымъ запад
ною жизнію—не помѣшала мнѣ живо чувствовать и ре
ниво оберегать чистоту русской рѣчи. Отечественная кри

тика, взводившая на меня столь многочисленныя, столь разнообразныя обвиненія—помнится, ни разу не укоряла меня въ нечистотѣ и неправильности языка, въ подражательности чужому слогу.

А впрочемъ — „basta così"; довольно распространяться о собственной особѣ; буду говорить о другихъ. Это интереснѣе и для читателя, и для меня самого. Позволяю себѣ замѣтить, что отрывки изъ моихъ воспоминаній, которые я рѣшаюсь представить на судъ публики, слѣдуютъ другъ за другомъ въ хронологическомъ порядкѣ и что первый изъ нихъ относится ко времени, предшествовавшему 1843 году.

Баденъ-Баденъ.
1868 г.

I. Литературный вечеръ у П. А. Плетнева.

Въ началѣ 1837 года, я, будучи третьекурснымъ студентомъ с.-петербургскаго университета (по филологическому факультету) получилъ отъ профессора русской словесности, Петра Александровича Плетнева, приглашеніе на литературный вечеръ. Незадолго передъ тѣмъ я представилъ на его разсмотрѣніе одинъ изъ первыхъ плодовъ моей Музы—какъ говорилось въ старину—фантастическую драму въ пятистопныхъ ямбахъ, подъ заглавіемъ „Стеніо". Въ одну изъ слѣдующихъ лекцій, Петръ Александровичъ, не называя меня по имени, разобралъ, съ обычнымъ своимъ благодушіемъ, это совершенно нелѣпое произведеніе, въ которомъ съ дѣтской неумѣлостью выражалось рабское подражаніе Байроновскому Манфреду. Выходя изъ зданія университета и увидавъ меня на улицѣ, онъ подозвалъ меня къ себѣ и отечески пожурилъ меня, при чемъ, однако, замѣтилъ, что во мнѣ что-то есть! Эти два слова возбудили во мнѣ смѣлость отнести къ нему нѣсколько стихотвореній; онъ выбралъ изъ нихъ два, и годъ спустя напечаталъ ихъ въ „Современникѣ", который унаслѣдовалъ отъ Пушкина. Заглавія второго не помню; но въ

первомъ воспѣвался „Старый Дубъ“, и начиналось он такъ:

Маститый царь лѣсовъ, кудрявой головою
Склонился старый дубъ надъ сонной гладью водъ,—и т. д.

Это первая моя вещь, явившаяся въ печати, конечно безъ подписи.

Войдя въ переднюю квартиры Петра Александрович я столкнулся съ человѣкомъ средняго роста, которы уже надѣвъ шинель и шляпу и прощаясь съ хозяином звучнымъ голосомъ воскликнулъ: „да! да! хороши наш министры! нечего сказать!“ — засмѣялся и вышелъ. Я успѣлъ только разглядѣть его бѣлые зубы и живые, бы стрые глаза. Каково же было мое горе, когда я узнал потомъ, что этотъ человѣкъ былъ Пушкинъ, съ которым мнѣ до сихъ поръ не удавалось встрѣтиться; и какъ я досадовалъ на свою мѣшкотность! Пушкинъ былъ въ ту эпоху для меня, какъ и для многихъ моихъ сверстниковъ, чѣмъ-то въ родѣ полубога. Мы, дѣйствительно, поклонялись ему. Поклоненіе авторитетамъ въ послѣднее время подвергалось, какъ извѣстно, насмѣшкамъ, осужденію, чуть не проклятію. Признаться въ немъ — значитъ заклеймить себя пошлецомъ навѣки. Но позволю себѣ замѣтить нашимъ строгимъ молодымъ судьямъ, что не худо бы сперва условиться въ значеніи слова „авторитетъ“. Авторитетъ авторитету—рознь... Сколько я помню, никому изъ насъ (я говорю объ университетскихъ товарищахъ) и въ голову не пришло бы преклониться передъ человѣкомъ потому только, что онъ былъ богатъ или важенъ, или очень большой чинъ имѣлъ; *это* обаяніе на насъ не дѣйствовало,—напротивъ... Даже великій умъ насъ не подкупалъ; намъ нуженъ былъ *вождь*; и весьма свободныя, чуть не республиканскія убѣжденія отлично уживались въ насъ съ восторженнымъ благоговѣніемъ передъ людьми, въ которыхъ мы видѣли своихъ наставниковъ и вождей. Скажу болѣе: мнѣ кажется, что такого рода энтузіазмъ, даже преувеличенный, свойственъ молодому сердцу; едва ли оно въ состояніи воспламениться отвлеченной идеей, какъ

бы прекрасна и возвышенна она ни была, если эта самая идея не явится ему воплощенною въ живомъ лицѣ — въ наставникѣ. Вся разница между теперешними и тогдашними поколѣніями состоитъ, быть-можетъ, въ томъ, что мы не стыдились нашего идола и нашего поклоненія, а напротивъ, гордились и тѣмъ, и другимъ. Независимость собственныхъ мнѣній, безспорно, дѣло почтенное и благое; не добившись ея, никто не можетъ назваться человѣкомъ въ истинномъ смыслѣ слова; но въ томъ-то и вопросъ, что ея *добиться* надо, надо ее завоевать, какъ почти все хорошее на сей землѣ; а *начать* это завоеваніе всего удобнѣе подъ знаменемъ избраннаго вождя. Впрочемъ, надо и то принять въ соображеніе, что нынѣшніе молодые люди имѣютъ иныя понятія, иныя воззрѣнія; если бъ, напримѣръ, въ наше время кто-нибудь изъ нашей среды вздумалъ требовать для молодого поколѣнія „уваженія“, мы бы, навѣрное, на смѣхъ его подняли—мы бы даже обидѣлись; „это хорошо для стариковъ“, подумали бы мы, „а намъ нуженъ только просторъ — да и тотъ мы себѣ завоюемъ“. Кто тутъ правъ, кто виноватъ—изъ прежнихъ или нынѣшнихъ—рѣшить не берусь; въ сущности—стремленія молодежи всегда безкорыстны и честны; и цѣли ихъ остаются тѣ же, только имена мѣняются. Быть-можетъ, при большей гражданской развитости современныхъ юношей, при большей затруднительности ихъ задачъ — они, точно, нуждаются въ уваженіи.

Пушкина мнѣ удалось видѣть всего еще одинъ разъ— за нѣсколько дней до его смерти, на утреннемъ концертѣ въ залѣ Энгельгардта. Онъ стоялъ у двери, опираясь на косякъ, и, скрестивъ руки на широкой груди, съ недовольнымъ видомъ посматривалъ кругомъ. Помню его смуглое, небольшое лицо, его африканскія губы, оскалъ бѣлыхъ, крупныхъ зубовъ, висячіе бакенбарды, темные, желчные глаза подъ высокимъ лбомъ почти безъ бровей—и кудрявые волосы... Онъ и на меня бросилъ бѣглый взоръ; безцеремонное вниманіе, съ которымъ я уставился на него, произвело, должно-быть, на него впечатлѣніе непріятное:

онъ словно съ досадой повелъ плечомъ—вообще, онъ казался не въ духѣ — и отошелъ въ сторону. Нѣсколько дней спустя, я видѣлъ его лежащимъ въ гробу — и невольно повторялъ про себя:

Недвижимъ онъ лежалъ... И страненъ
Былъ томный миръ его чела...

Но возвращаюсь къ разсказу.

Петръ Александровичъ ввелъ меня въ гостиную и представилъ своей (первой) женѣ, уже не молодой дамѣ, болѣзненнаго облика, и очень молчаливой. Въ комнатѣ, кромѣ ея, сидѣло человѣкъ семь или восемь... Всѣ они теперь уже покойники; изъ всего собравшагося тогда общества—въ живыхъ я одинъ. Правда, съ тѣхъ поръ прошло тридцать лѣтъ слишкомъ... Но въ числѣ гостей были люди молодые.

Вотъ кто были эти гости:

Во-первыхъ: извѣстный *Скобелевъ*, авторъ „Кремнева", впослѣдствіи комендантъ С.-Петербургской крѣпости, всѣмъ тогдашнимъ петербургскимъ жителямъ памятная фигура съ обрубленными пальцами, смышленымъ помятымъ, морщинистымъ, прямо солдатскимъ лицомъ и солдатскими, не совсѣмъ наивными ухватками—тертый калачъ, однимъ словомъ. Потомъ—авторъ „Сумасшедшаго Дома"—*Воейковъ*, хромоногое и какъ бы искалѣченное, полуразрушенное существо, съ повадкой стариннаго подьячаго, желтымъ, припухлымъ лицомъ и недобрымъ взглядомъ черныхъ, крошечныхъ глазъ; потомъ—адъютантъ въ жандармскомъ мундирѣ, бѣлокурый, плотный мужчина съ разноцвѣтными (такъ-называемыми арлекинскими) зрачками, съ подобострастнымъ и пронзительнымъ выраженіемъ физіономіи,—нѣкто *Владиславлевъ*, издатель извѣстнаго въ свое время альманаха: „Утренняя Заря" (ходили слухи, что подписка на этотъ альманахъ была въ нѣкоторомъ родѣ обязательная). Далѣе: высокій и худощавый господинъ въ очкахъ, съ маленькой головкой, безпокойными тѣлодвиженьями и пѣвучимъ носовымъ выговоромъ, съ виду смахивавшій на статскаго совѣтника нѣмецкаго

оисхожденія — переводчикъ и стихотворецъ *Кармофъ;* ицеръ путей сообщенія, съ нѣсколько болѣзненнымъ, инымъ лицомъ, крупными, насмѣшливыми губами и стрепанными бакенбардами—что въ то время уже счи-лось какъ бы нѣкоторымъ поползновеніемъ къ либера-зму—переводчикъ Фауста, *Губеръ;* худой и нескладно оженный человѣкъ, чахоточной комплекціи, съ нерѣ-тельной улыбкой на губахъ и во взорѣ, съ узкимъ, но асивымъ и симпатическимъ лбомъ, *Гребенка* — врагъ левого — (онъ на него только-что написалъ пасквиль родѣ сказки; въ ней *кузнечикъ полевой* игралъ очень благовидную роль),—авторъ повѣстей и юмористическихъ зсказовъ съ малороссійскимъ оттѣнкомъ, въ которыхъ ть замѣтно сочилась своеобразная, теплая струйка; на-нецъ, нашъ добрѣйшій и незабвенный *князь Одоевскій.* ого описывать нечего: всякій помнитъ его благообразныя рты, таинственный и привѣтливый взглядъ, дѣтски-ми-ый смѣхъ и добродушную торжественность... Въ комнатѣ ходился еще одинъ человѣкъ. Одѣтый въ длиннополый ухбортный сюртукъ, короткій жилетъ съ голубой бисер-ой часовой цѣпочкой и шейный платочекъ съ бантомъ— ъ сидѣлъ въ уголку, скромно подобравъ ноги, и изрѣдка кашливалъ, торопливо поднося руку къ губамъ. Чело-ѣкъ этотъ поглядывалъ кругомъ не безъ застѣнчивости, рислушивался внимательно; въ глазахъ его свѣтился ъ необыкновенный, но лицо у него было самое простое, сское—въ родѣ тѣхъ лицъ, которыя часто встрѣчаются образованныхъ самоучекъ изъ дворовыхъ и мѣщанъ. амѣчательно, что эти лица, въ противность тому, что, видимому, слѣдовало бы ожидать, рѣдко отличаются ергіей; напротивъ, почти всегда носятъ отпечатокъ роб-ой мягкости и грустнаго раздумья... Это былъ поэтъ ольцовъ.

Съ точностью не могу теперь припомнить, о чемъ въ тъ вечеръ шелъ разговоръ; но онъ не отличался ни особенной живостью, ни особенной глубиной и шириной днимаемыхъ вопросовъ. Рѣчь касалась то литературы,

то свѣтскихъ и служебныхъ новостей—и только. Раза два она приняла военный и патріотическій колоритъ, вѣроятно, благодаря присутствію трехъ мундировъ. Время было тогда очень уже смирное. Правительственная сфера, особенно въ Петербургѣ, захватывала и покоряла себѣ все. А между тѣмъ, та эпоха останется памятной въ исторіи нашего духовнаго развитія... Съ тѣхъ поръ прошло слишкомъ тридцать лѣтъ, но мы все еще живемъ подъ вѣяніемъ и въ тѣни того, что началось тогда; мы еще не произвели ничего равносильнаго. А именно: весною только-что протекшаго (1836 года) былъ данъ въ первый разъ „Ревизоръ“, а нѣсколько недѣль спустя, въ февралѣ или мартѣ 1837 года, — „Жизнь за Царя“ *). Пушкинъ былъ еще живъ, въ полномъ расцвѣтѣ силъ и, по всѣмъ вѣроятностямъ, ему предстояло много лѣтъ дѣятельности... Ходили темные слухи о нѣкоторыхъ превосходныхъ произведеніяхъ, которыя онъ берегъ въ своемъ портфелѣ. Эти слухи побуждали любителей словесности подписываться— въ ограниченномъ, впрочемъ, числѣ—на „Современникъ“; но, правду говоря, не на Пушкинѣ сосредоточивалось вниманіе тогдашней публики... Марлинскій все еще слылъ любимѣйшимъ писателемъ, баронъ Брамбеусъ царствовалъ, „Большой выходъ у Сатаны“ почитался верхомъ совершенства, плодомъ чуть не Вольтеровскаго генія, а критическій отдѣлъ въ „Библіотекѣ для Чтенія“ — образцомъ остроумія и вкуса; на Кукольника взирали съ надеждой и почтеніемъ, хотя и находили, что „Рука Всевышняго“ не могла идти въ сравненіе съ „Торквато Тассо“,—а Бенедиктова заучивали наизусть **). Между прочимъ, въ тотъ

*) Я находился на обоихъ представленіяхъ—и, сознаюсь откровенно, не понялъ значенія того, что совершалось передъ моими глазами. Въ „Ревизорѣ“ я, по крайней мѣрѣ, много смѣялся, какъ и вся публика. Въ „Жизни за Царя“ я просто скучалъ. Правда, голосъ Воробьевой (Петровой), которой я незадолго передъ тѣмъ восхищался въ „Семирамидѣ“, уже надломился, а г-жа Степанова (Антонида), визжала сверхъестественно... Но музыку Глинки я, все-таки, долженъ бы былъ понять.

**) Объ этомъ настроеніи публики, вообще объ этой эпохѣ будетъ говорено подробнѣе въ послѣдующемъ этюдѣ: „В. Г. Бѣлинскій“.

вечеръ, о которомъ я завелъ рѣчь, Гребенка прочелъ, по просьбѣ хозяина, одно изъ послѣднихъ стихотвореній Бенедиктова. Время, повторяю, было смирное по духу и трескучее по внѣшности, и разговоры подлаживались подъ господствовавшій тонъ; но таланты несомнѣнные, сильные таланты—дѣйствительно были, и оставили глубокій слѣдъ. Теперь на нашихъ глазахъ совершается фактъ противоположный: общій уровень значительно поднялся; но таланты—и рѣже, и слабѣе.

Первымъ изъ общества удалился Воейковъ; онъ еще не перешелъ порога комнаты, какъ уже Карлгофъ принялся читать, прерывавшимся отъ волненія голосомъ, эпиграмму противъ него... „Поэтъ-идеалистъ и мечтатель по преимуществу“, какъ величалъ себя Карлгофъ, видно, не могъ забыть посвященное ему и дѣйствительно жестокое четверостишіе въ „Сумасшедшемъ Домѣ“. Скобелевъ также скоро откланялся, истощивъ небогатый запасъ своихъ прибауточекъ. Губеръ началъ жаловаться на цензуру. Эта тема часто вращалась въ тогдашнихъ литературныхъ бесѣдахъ... Да и какъ могло быть иначе! Всѣмъ извѣстны анекдоты о „вольномъ духѣ“, о „лжепророкѣ“ и т. д.; но едва ли кто изъ теперешнихъ людей можетъ составить себѣ понятіе о томъ, какому ежеминутному и повсемѣстному рабству подвергалась печатная мысль *). Литераторъ—кто бы онъ ни былъ—не могъ не чувствовать себя чѣмъ-то въ родѣ контрабандиста. — Разговоръ перешелъ къ Гоголю, который находился за границей; но Бѣлинскій тогда едва начиналъ свою критическую карьеру — никто еще не пытался разъяснить русской публикѣ значеніе Гоголя, въ твореніяхъ котораго оракулъ „Библіотеки для Чтенія“ видѣлъ одинъ грязный малороссійскій „жартъ“. Помнится, все ограничилось тѣмъ, что Влади-

*) Цензорскія помарки доходили до каприза, до игривости, у меня долго хранился корректурный листъ, на которомъ цензоръ К. вычеркнулъ слова: „эта дѣвушка была какъ цвѣтокъ“, и замѣнилъ ихъ слѣдующими (и все тѣми же красными чернилами!): „эта дѣвица походила на пышную розу“.

славлевъ съ похвалой цитировалъ изъ „Ревизора“ фразу: „не по чину берешь!“ и при этомъ сдѣлалъ движеніе рукою, какъ будто поймалъ муху; какъ теперь вижу взмахъ этой руки въ голубомъ обшлагѣ—и знаменательный взглядъ, которымъ всѣ обмѣнялись. Хозяинъ дома сказалъ нѣсколько словъ о Жуковскомъ, объ его переводѣ Ундины, который появился около того времени роскошнымъ изданіемъ, съ рисунками—если не ошибаюсь—графа Толстого; онъ упомянулъ также о другомъ Жуковскомъ, весьма слабомъ стихотворцѣ, недавно съ громомъ и трескомъ выступившемъ въ „Библіотекѣ для Чтенія“ подъ псевдонимомъ Бернета;—о графинѣ Растопчиной, о г. Тимофѣевѣ, даже о г. Крешевѣ было произнесено слова два, такъ какъ они всѣ писали стихи, а писать стихи—тогда еще считалось дѣломъ важнымъ. Плетневъ сталъ-было просить Кольцова прочесть свою послѣднюю „Думу“ (чуть ли не „Божій міръ“); но тотъ чрезвычайно сконфузился и принялъ такой растерянный видъ, что Петръ Александровичъ не настаивалъ. Повторяю еще разъ: на всей нашей бесѣдѣ лежалъ оттѣнокъ скромности и смиренія; она происходила въ тѣ времена, которыя покойный Аполлонъ Григорьевъ прозвалъ допотопными. Общество еще помнило ударъ, обрушившійся на самыхъ видныхъ его представителей лѣтъ двѣнадцать передъ тѣмъ; и изъ всего того, что проснулось въ немъ впослѣдствіи, особенно послѣ 55 года—ничего даже не шевелилось, а только бродило—глубоко, но смутно—въ нѣкоторыхъ молодыхъ умахъ. Литературы, въ смыслѣ живого проявленія одной изъ общественныхъ силъ, находящагося въ связи съ другими, столь же и болѣе важными, проявленіями ихъ—не было, какъ не было прессы, какъ не было гласности, какъ не было личной свободы; а была словесность — и были такіе словесныхъ дѣлъ мастера, какихъ мы уже потомъ не видали.

Въ двѣнадцатомъ часу вечера, почти послѣ всѣхъ—я вышелъ въ переднюю вмѣстѣ съ Кольцовымъ, которому *предложилъ* довезти его до дому — у меня были сани.

Онъ согласился — и всю дорогу покашливалъ и кутался въ свою худую шубенку. Я его спросилъ, зачѣмъ онъ не котѣлъ прочесть свою „Думу“... „Что же это я сталъ бы читать-съ,—отвѣчалъ онъ съ досадой:—тутъ Александръ Сергѣичъ только-что вышелъ, а я бы читать сталъ! Помилуйте-съ!“ — Кольцовъ благоговѣлъ передъ Пушкинымъ. Мнѣ самому мой вопросъ показался неумѣстнымъ; и дѣйствительно: какъ бы этотъ робкій человѣкъ, съ такой смиренною наружностью, сталъ бы изъ уголка декламировать:

Отецъ свѣта—вѣчность,
Сынъ вѣчности—сила;
Духъ силы—есть жизнь—
Міръ жизнью кипитъ—и т. д.

На углу переулка, въ которомъ онъ жилъ — онъ вышелъ изъ саней, торопливо застегнулъ полость и, все покашливая и кутаясь въ шубу, потонулъ въ морозной мглѣ петербургской январской ночи. Я съ нимъ больше не встрѣчался.

Скажу нѣсколько словъ о самомъ Петрѣ Александровичѣ. Какъ профессоръ русской литературы, онъ не отличался большими свѣдѣніями; ученый багажъ его былъ весьма легокъ; за то онъ искренно любилъ „свой предметъ“, обладалъ нѣсколько робкимъ, но чистымъ и тонкимъ вкусомъ, и говорилъ просто, ясно, не безъ теплоты. Главное: онъ умѣлъ сообщать своимъ слушателямъ тѣ симпатіи, которыми самъ былъ исполненъ — умѣлъ заинтересовать ихъ. Онъ не внушалъ студентамъ никакихъ преувеличенныхъ чувствъ, ничего подобнаго тому, что возбуждалъ въ нихъ, напримѣръ, Грановскій; да и повода къ тому не было—non hic erat locus... Онъ тоже былъ очень смиренъ; но его любили. Притомъ, его — какъ человѣка, прикосновеннаго къ знаменитой литературной плеядѣ, какъ друга Пушкина, Жуковскаго, Баратынскаго, Гоголя, какъ лицо, которому Пушкинъ посвятилъ своего Онѣгина, — окружалъ въ нашихъ глазахъ ореолъ. Всѣ мы наизусть знали стихи: „Не мысля гордый свѣтъ забавить“,—и т. д.

И дѣйствительно: Петръ Александровичъ подходи
подъ портретъ, набросанный поэтомъ: это не былъ об
ный комплиментъ, которымъ такъ часто украшаются
священія. Кто изучилъ Плетнева, не могъ не призн
въ немъ—

Души прекрасной,
Святой исполненной мечты *).
Поэзіи живой и ясной,
Высокихъ думъ и красоты.

Онъ также принадлежалъ къ эпохѣ, нынѣ безвозвра
прошедшей: это былъ наставникъ стараго времени, с
весникъ, не ученый, но по-своему—мудрый. Кроткая
шина его обращенія, его рѣчей, его движеній, не
шала ему быть проницательнымъ и даже тонкимъ,—
тонкость эта никогда не доходила до хитрости, до
кавства; да и обстоятельства такъ сложились, что онъ
хитрости не нуждался: все, что онъ желалъ—медлен
но неотразимо—какъ бы плыло ему въ руки; и онъ,
кидая жизнь, могъ сказать, что насладился ею вполн
лучше чѣмъ вполнѣ—въ мѣру. Такого рода наслажде
надежнѣе всякаго другого; древніе греки не даромъ
ворили, что послѣдній и высшій даръ боговъ человѣку
чувство мѣры. *Эта* сторона античнаго духа въ не
отразилась—и онъ ей особенно сочувствовалъ; *другія*
ему были закрыты. Онъ не обладалъ никакимъ, такъ-
зываемымъ, „творческимъ“ талантомъ; и онъ самъ хоро
это зналъ: главное свойство его ума—трезвая ясность
не могла измѣнить ему, когда дѣло шло о разборѣ с
ственной личности. „Красокъ у меня нѣтъ“, жалова
онъ мнѣ однажды: „все выходитъ сѣро, и потому я
могу даже съ точностью передать то, что я видѣлъ
посреди чего жилъ“. Для критика—въ воспитательно
въ отрицательномъ значеніи слова—ему недоставало эн
гіи, огня, настойчивости; прямо говоря—мужества. О

*) Значеніе этого стиха неясно; онъ можетъ показаться болѣе
менѣе романтической вставкой,—тѣмъ, что французы называютъ
cheville; но въ самой своей неясности онъ вѣрно характеризуетъ
нѣчто, неопредѣленное, но хорошее и благородное, которое мно
лучшіе люди того времени носили въ своихъ сердцахъ.

былъ рожденъ бойцомъ. Пыль и дымъ битвы—для р гадливой и чистоплотной натуры были столь же не-ятны, какъ и сама опасность, которой онъ могъ под-ргнуться въ рядахъ сражавшихся. Притомъ его поло-ніе въ обществѣ, его связи съ Дворомъ такъ же отда-ли его отъ подобной роли — роли критика-бойца, какъ собственная его натура. Оживленное созерцаніе, участіе кренее, незыблемая твердость дружескихъ чувствъ и достное поклоненіе поэтическому—вотъ весь Плетневъ. ъ вполнѣ выразился въ своихъ малочисленныхъ сочине-ихъ, написанныхъ языкомъ образцовымъ—хотя немного дднымъ.

Онъ былъ прекрасный семьянинъ, и во второй своей ругѣ, въ дѣтяхъ своихъ, нашелъ все нужное для инаго счастія. Мнѣ пришлось раза два встрѣчаться нимъ за границей: разстроенное здоровье заставило покинуть Петербургъ и свою ректорскую должность; послѣдній разъ я видѣлъ его въ Парижѣ, незадолго его кончины. Онъ совершенно безропотно и даже село переносилъ свою весьма тягостную и несносную знь. „Я знаю, что я скоро долженъ умереть“, гово-лъ онъ мнѣ: — „и кромѣ благодарности судьбѣ ничего чувствую; пожилъ я довольно, видѣлъ и испыталъ ого хорошаго, зналъ прекрасныхъ людей; чего же льше? Надо и честь знать!“—И па смерти его, какъ потомъ слышалъ, лежалъ тотъ же отпечатокъ душевной шины и покорности.

Я любилъ бесѣдовать съ нимъ. До самой старости онъ хранилъ почти дѣтскую свѣжесть впечатлѣній и, какъ олодые годы, *умилялся* передъ красотою: онъ и тогда *восторгался* ею. Онъ не разставался съ дорогими вос-минаніями своей жизни; онъ лелѣялъ ихъ, онъ трога-льно гордился ими. Разсказывать о Пушкинѣ, о Жу-вскомъ — было для него праздникомъ. И любовь къ дной словесности, къ родному языку, къ самому его уку не охладѣла въ немъ; его коренное, чисто-русское

происхожденіе сказывалось и въ этомъ: онъ былъ, к
извѣстно, изъ духовнаго званія. Этому же происхожд
приписываю я его елейность, а можетъ-быть — и жи
скую его мудрость. Онъ съ прежнимъ участіемъ слуш
произведенія нашихъ новыхъ писателей — и произнос
свой судъ, не всегда глубокій, но почти всегда вѣр
и, при всей мягкости формъ, неуклонно согласный
тѣми началами, которымъ онъ никогда не измѣнялъ
дѣлѣ поэзіи и искусства. Студенческія „исторіи“, слу
шіяся во время его отсутствія за границей, глубоко
огорчили—глубже, чѣмъ я ожидалъ, зная его характе
онъ скорбѣлъ о своемъ „бѣдномъ“ университетѣ, и о
жденіе его падало не на однихъ молодый людей...

Подобныя личности теперь уже попадаются рѣдко;
потому, чтобы въ нихъ было нѣчто необыкновенное, а
тому, что время измѣнилось. Полагаю, что читатель
попеняетъ на меня за то, что я остановилъ его вним
на одной изъ нихъ—на почтенномъ и благодушномъ
весникѣ стараго закала.

1868.

II.—Воспоминанія о Бѣлинскомъ.

Личное мое знакомство съ В. Г. Бѣлинскимъ нача
въ Петербургѣ, лѣтомъ 1843 года; но имя его стало
извѣстнымъ гораздо раньше. Вскорѣ послѣ появленія
первыхъ критическихъ статей въ „Молвѣ“ и „Телеск
(1836—1839), въ Петербургѣ начали ходить слухи о н
какъ о человѣкѣ весьма бойкомъ, горячемъ, которы
передъ чѣмъ не отступалъ и нападалъ на „все“—на
въ литературномъ мірѣ, конечно. Другого рода кри
была тогда немыслима — въ печати. Многіе, даже м
молодежью, осуждали его и находили, что онъ слиш
смѣлъ и далеко заносится; старинный антагонизмъ
тербурга и Москвы придавалъ еще болѣе рѣзкости
недовѣрію, съ которымъ читатели на берегахъ Невы о
сились къ новому московскому свѣтилу. Притомъ, его
бейское происхожденіе (отецъ его былъ лѣкарь, а дѣ

діаконъ) возмущало аристократическій духъ, установившійся въ нашей литературѣ съ Александровскихъ временъ, временъ „Арзамаса“ и т. п. Въ тогдашнее темное, подпольное время, сплетня играла большую роль во всѣхъ сужденіяхъ — литературныхъ и иныхъ... Извѣстно, что сплетня и до сихъ поръ не совсѣмъ утратила свое значеніе; исчезнетъ она только въ лучахъ полной гласности и свободы. Цѣлая легенда тотчасъ сложилась и о Бѣлинскомъ. Говорили, что онъ—недоучившійся казенный студентъ, выгнанный изъ университета тогдашнимъ попечителемъ Голохвастовымъ за развратное поведеніе (Бѣлинскій—и развратное поведеніе!); увѣряли, что и наружность его самая ужасная; что это какой-то циникъ, бульдогъ, призрѣнный Надеждинымъ съ цѣлью травить имъ своихъ враговъ; упорно, и какъ бы въ укоризну, называли его „Бѣлынскимъ“. Слышались, правда, голоса и въ его пользу; помнится, издатель почти единственнаго тогдашняго толстаго журнала отзывался о немъ, какъ о птичкѣ съ ноготкомъ, какъ о живчикѣ, котораго не худо бы завербовать—что, какъ извѣстно, и было впослѣдствіи приведено въ исполненіе, къ великому преуспѣянію журнала и къ великой выгодѣ самого... издателя. Что касается до меня, то знакомство мое съ Бѣлинскимъ, какъ писателемъ, произошло слѣдующимъ образомъ.

Стихотворенія Бенедиктова появились въ 1836 году, маленькой книжечкой, съ неизбѣжной виньеткой на заглавномъ листѣ — какъ теперь ее вижу — и привели въ восхищеніе все общество, всѣхъ литераторовъ, критиковъ — всю молодежь. И я, не хуже другихъ, упивался этими стихотвореніями, зналъ многія наизусть, восторгался „Утесомъ“, „Горами“, и даже „Матильдой“ на жеребцѣ, гордившейся „усѣстомъ красивымъ и плотнымъ“. Вотъ, въ одно утро зашелъ ко мнѣ студентъ-товарищъ и съ негодованіемъ сообщилъ мнѣ, что въ кондитерской Беранжэ появился № „Телескопа“ съ статьей Бѣлинскаго, въ которой этотъ „критиканъ“ осмѣливался заносить руку на нашъ общій идолъ, на Бенедиктова. Я немедленно

отправился къ Беранжэ, прочелъ всю статью отъ доски до доски — и, разумѣется, также воспылалъ негодованіемъ. Но—странное дѣло!—и во время чтенія, и послѣ, къ собственному моему изумленію и даже досадѣ, что-то во мнѣ невольно соглашалось съ „критиканомъ“, находило его доводы убѣдительными... неотразимыми. Я стыдился этого, уже точно неожиданнаго впечатлѣнія, я старался заглушить въ себѣ этотъ внутренній голосъ; въ кругу пріятелей я съ большей еще рѣзкостью отзывался о самомъ Бѣлинскомъ и объ его статьѣ... но въ глубинѣ души что-то продолжало шептать мнѣ, что *онъ былъ правъ*... Прошло нѣсколько времени — и я уже не читалъ Бенедиктова. Кому же не извѣстно теперь, что мнѣнія, высказанныя тогда Бѣлинскимъ, мнѣнія, казавшіяся дерзкой новизною—стали всѣми принятымъ, общимъ мѣстомъ—„a truism“, какъ выражаются англичане? Подъ *этимъ* приговоръ подписалось потомство, какъ и подъ многіе другіе, произнесенные тѣмъ же судьей. Имя Бѣлинскаго съ тѣхъ поръ ужъ не изгладилось изъ моей памяти, но личное наше знакомство началось позже.

Когда появилась та небольшая поэма „Параша“, о которой я говорилъ выше, я въ самый день отъѣзда изъ Петербурга въ деревню сходилъ къ Бѣлинскому (я зналъ, гдѣ онъ жилъ, но не посѣщалъ его, и всего два раза встрѣтился съ нимъ у знакомыхъ), и не назвавшись, оставилъ его человѣку одинъ экземпляръ. Въ деревнѣ я пробылъ около двухъ мѣсяцевъ и, получивъ майскую книжку „Отечественныхъ Записокъ“, прочелъ въ ней длинную статью Бѣлинскаго о моей поэмѣ. Онъ такъ благосклонно отозвался обо мнѣ, такъ горячо хвалилъ меня, что, помнится, я почувствовалъ больше смущенія, чѣмъ радости. Я не „могъ повѣрить“, и когда въ Москвѣ покойный Кирѣевскій (И. В.) подошелъ ко мнѣ съ поздравленіями, я поспѣшилъ отказаться отъ своего дѣтища, утверждая, что сочинитель „Параши“—не я. Возвратившись въ Петербургъ, я, разумѣется, отправился къ Бѣлинскому, и знакомство наше началось. Онъ вскорѣ уѣхалъ въ Мо-

кву — жениться, а возвратившись оттуда поселился на ачѣ въ Лѣсномъ. Я также нанялъ дачу въ первомъ Іарголовѣ и до самой осени почти каждый день посѣцалъ Бѣлинскаго. Я полюбилъ его искренно и глубоко; нъ благоволилъ ко мнѣ.

Опишу его наружность. Извѣстный литографическій, два ли не единственный, портретъ его даетъ о немъ онятіе невѣрное. Срисовывая его черты, художникъ поелъ за долгъ воспарить духомъ и украсить природу, и отому придалъ всей головѣ какое-то повелительно-вдохноенное выраженіе, какой-то военный, чуть не генеральскій оворотъ, неестественную позу, что́ вовсе не соотвѣтствоало дѣйствительности и нисколько не согласовалось съ характеромъ и обычаемъ Бѣлинскаго. Это былъ человѣкъ средняго роста, на первый взглядъ довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый, съ впалой грудью и понурой головой. Одна лопатка замѣтно выдавалась больше другой. Всякаго, даже не медика, немедленно поражали въ немъ всѣ главные признаки чахотки, весь такъ-называемый habitus этой злой болѣзни. Притомъ же, онъ почти постоянно кашлялъ. Лицо онъ имѣлъ небольшое, блѣдно-красноватое, носъ неправильный, какъ бы приплюснутый, ротъ слегка искривленный, особенно когда раскрывался, маленькіе, частые зубы; густые бѣлокурые волосы падали клокомъ на бѣлый, прекрасный, хоть и низкій лобъ. Я не видалъ глазъ болѣе прелестныхъ, чѣмъ у Бѣлинскаго. Голубые, съ золотыми искорками въ глубинѣ зрачковъ, эти глаза, въ обычное время полузакрытые рѣсницами, расширялись и сверкали въ минуты воодушевленія; въ минуты веселости взглядъ ихъ принималъ плѣнительное выраженіе привѣтливой доброты и безпечнаго счастья. Голосъ у Бѣлинскаго былъ слабъ, съ хрипотою, но пріятенъ; говорилъ онъ съ особенными удареніями и придыханіями, „упорствуя, волнуясь и спѣша“ *). Смѣялся онъ отъ души, какъ ребенокъ. Онъ любилъ расхаживать по комнатѣ, постукивая пальцами

*) Стихъ Некрасова.

красивыхъ и маленькихъ рукъ по табакеркѣ съ русскимъ табакомъ. Кто видѣлъ его только на улицѣ, когда въ тепломъ картузѣ, старой енотовой шубенкѣ и стоптанныхъ калошахъ, онъ торопливо и неровной походкой пробирался вдоль стѣнъ и съ пугливой суровостью, свойственной нервическимъ людямъ, озирался вокругъ — тотъ не могъ составить себѣ вѣрнаго о немъ понятія, и я до нѣкоторой степени понимаю восклицаніе одного провинціала, которому его указали: „я только въ лѣсу такихъ волковъ видывалъ, и то травленыхъ!“ Между чужими людьми, на улицѣ, Бѣлинскій легко робѣлъ и терялся. Дома онъ обыкновенно носилъ сѣрый сюртукъ на ватѣ и держался вообще очень опрятно. Его выговоръ, манеры, тѣлодвиженія, живо напоминали его происхожденіе; вся его повадка была чисто русская, московская; не даромъ въ жилахъ его текла безпримѣсная кровь—принадлежность нашего великорусскаго духовенства, столько вѣковъ недоступнаго вліянію иностранной породы.

Бѣлинскій былъ, что̀ у насъ рѣдко, дѣйствительно страстный и дѣйствительно искренній человѣкъ, способный къ увлеченію беззавѣтному, но исключительно преданный правдѣ, раздражительный, но не самолюбивый, умѣвшій любить и ненавидѣть безкорыстно. Люди, которые, судя о немъ наобумъ, приходили въ негодованіе отъ его „наглости“, возмущались его „грубостью“, писали на него доносы, распространяли про него клеветы — эти люди, вѣроятно, удивились бы, если бъ узнали, что у этого циника душа была цѣломудренная до стыдливости, мягкая до нѣжности, честная до рыцарства; что велъ онъ жизнь чуть не монашескую, что вино не касалось его губъ. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи онъ не походилъ на тогдашнихъ москвичей. Невозможно себѣ представить, до какой степени Бѣлинскій былъ правдивъ съ другими и съ самимъ собою; онъ чувствовалъ, дѣйствовалъ, существовалъ только въ силу того, что̀ онъ признавалъ за истину, въ силу своихъ принциповъ. Приведу одинъ примѣръ. Вскорѣ послѣ моего знакомства съ нимъ,

снова начали тревожить тѣ вопросы, которые, не чивъ разрѣшенія или получивъ разрѣшеніе односто-ее, не даютъ покоя человѣку, особенно въ молодости: ософическіе вопросы о значеніи жизни, объ отноше-ь людей другъ къ другу и къ Божеству, о проис-еніи міра, о безсмертіи души и т. п. Не будучи зна-ни съ однимъ изъ иностранныхъ языковъ (онъ по-французски читалъ съ великимъ трудомъ) и не дя въ русскихъ книгахъ ничего, что могло бы удо-творить его пытливость, Бѣлинскій поневолѣ долженъ ь прибѣгать къ разговорамъ съ друзьями, къ продол-ельнымъ толкамъ, сужденіямъ и разспросамъ; и онъ вался имъ со всѣмъ лихорадочнымъ жаромъ своей давшей правды души. Такимъ именно путемъ онъ, въ Москвѣ, усвоилъ себѣ, между прочимъ, главные оды и даже терминологію Гегелевской философіи, без-ословно царившей тогда въ умахъ молодежи. Дѣло бходилось, конечно, безъ недоразумѣній, иногда даже ческихъ друзья-наставники Бѣлинскаго, передававе-ему всю суть и весь сокъ западной науки, часто сами ко и поверхностно ее понимали *); но уже Гёте ска-ъ, что—

Ein guter Mann in seinem dunklen Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst... **)

Бѣлинскій былъ именно ein guter Mann,—былъ правди-

) Много хлопотъ тогда надѣлало въ Москвѣ извѣстное изреченіе еля: „что разумно—то дѣйствительно, что дѣйствительно—то раз-о“. Съ первой половиной изреченія всѣ соглашались, но какъ о понять вторую? Неужели же нужно было признать все, что тогда ествовало въ Россіи за разумное? Толковали, толковали и порѣ-и: вторую половину зреченія *не допустить*. Если бъ кто-нибудь нулъ тогда молодымъ философамъ, что Гегель *не все существую-признаетъ за дѣйствительное* — много бы умственной работы и ительныхъ преній было сбережено; они увидали бы, что эта зна-итая формула, какъ и многія другія, есть простая тавтологія и сущности значитъ только то, что „opium facit dormire, quare est in virtus dormitiva“, т.-е. опіумъ заставляетъ спать по той причинѣ, въ немъ есть снотворная сила (Мольеръ).

*) „Добрый человѣкъ и в неясномъ своемъ стремленіи всегда имѣетъ сознаніе прямого пути“

вый и честный человѣкъ. Къ тому же, его въ этих
чаяхъ выручалъ замѣчательный инстинктъ, которы
былъ одаренъ; но объ этомъ рѣчь впереди.—И такъ,
я познакомился съ Бѣлинскимъ, его мучили сомнѣні
фразу я часто слышалъ и самъ употреблялъ не одн
но въ дѣйствительности и вполнѣ она примѣняла
одному Бѣлинскому. Сомнѣнія его именно мучили ег
шали его сна, пищи, неотступно грызли и жгли его; с
позволялъ себѣ забыться и не зналъ усталости; онъ
и нощно бился надъ разрѣшеніемъ вопросовъ, которы
задавалъ себѣ. Бывало, какъ только я приду къ нем
исхудалый, больной (съ нимъ сдѣлалось тогда вос
въ легкихъ и чуть не унесло его въ могилу), то
встанетъ съ дивана и едва слышнымъ голосомъ, б
станно кашляя, съ пульсомъ, бившимъ сто раз в
нуту, съ неровнымъ румянцемъ на щекахъ, начнетъ
рванную наканунѣ бесѣду. Искренность его дѣйстви
на меня, его огонь сообщался и мнѣ, важность пре
меня увлекала; но, поговоривъ часа два, тр., я ос
валъ, легкомысліе молодости брало свое, мнѣ хот
отдохнуть, я думалъ о прогулкѣ, объ обѣдѣ, сама
Бѣлинскаго умоляла и мужа, и меня хотя немножк
годить, хотя на время прервать эти преня, напом
ему предписаніе врача... но съ Бѣлинскимъ сладить
не легко.— „Мы не рѣшили еще вопроса о существо
Бога,—сказалъ онъ мнѣ однажды съ горькимъ упрек
а вы хотите ѣсть!“... Сознаюсь, что написавъ эти
я чуть не вычеркнулъ ихъ при мысли, что они м
возбудить улыбку на лицахъ иныхъ въ моихъ чи
лей... Но не пришло бы въ голову мѣняться тому
самъ бы слышалъ, какъ Бѣлинскій произнесъ эти
и если, при воспоминаніи *объ этой* небоязни смѣш
улыбка можетъ придти на уста, то развѣ — улыбка
ленія и удивленія...

Лишь добившись удовлетворит аго его въ то
результата, Бѣлинскій успокоился и, отложивъ разм
нія о тѣхъ капитальныхъ вопросахъ, возвратил
ежедневнымъ трудамъ и занятіямъ. Со мной онъ гов

особенно охотно потому, что я недавно вернулся изъ Берлина, гдѣ въ теченіе двухъ семестровъ занимался Гегелевской философіей и былъ въ состояніи передать ему самые свѣжіе, послѣдніе выводы. Мы еще вѣрили тогда въ дѣйствительность и важность философическихъ и метафизическихъ выводовъ, хотя ни онъ, ни я, мы нисколько не были философами и не обладали способностью мыслить отвлеченно, чисто, на нѣмецкій манеръ... Впрочемъ, мы тогда въ философіи искали всего на свѣтѣ, кромѣ чистаго мышленія.

Свѣдѣнія Бѣлинскаго были не обширны; онъ зналъ мало, и въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Въ отсутствіи трудолюбія, въ лѣни, даже враги не обвиняли его; но бѣдность, окружавшая его сызмала, плохое воспитаніе, несчастныя обстоятельства, раннія болѣзни, а потомъ необходимость спѣшной работы изъ-за куска хлѣба, все это вмѣстѣ взятое помѣшало Бѣлинскому пріобрѣсти правильныя познанія, хотя, напримѣръ, русскую литературу, ея исторію, онъ изучилъ основательно. Но скажу болѣе: именно это недостаточное знаніе является въ этомъ случаѣ характеристическимъ признакомъ, почти необходимостью. Бѣлинскій былъ тѣмъ, что я позволю себѣ назвать *центральной натурой:* онъ всѣмъ существомъ своимъ стоялъ близко къ сердцевинѣ своего народа, воплощалъ его вполнѣ, и съ хорошихъ, и съ дурныхъ его сторонъ. Ученый человѣкъ, не говорю: „образованный“— это другой вопросъ, но ученый человѣкъ, именно въ силу своей учености, не могъ бы быть въ сороковыхъ годахъ такой русской центральной натурой; онъ не вполнѣ соотвѣтствовалъ бы той средѣ, на которую пришлось бы ему дѣйствовать; у него и у ней были бы различные интересы; гармоніи бы не было, и, вѣроятно, не было бы обоюднаго пониманія. Вожди своихъ современниковъ въ дѣлѣ критики общественной, эстетической, въ дѣлѣ критическаго самосознанія (мнѣ кажется, что мое замѣчаніе имѣетъ примѣненіе общее, но на этотъ разъ я ограничусь одной *этой* стороной) вожди современниковъ, говорю

я, должны, конечно, стоять выше нхъ, обладать болѣе нормально устроенной головою, болѣе яснымъ взглядомъ, большей твердостью характера; но между этими вождями и ихъ послѣдователями не должно быть бездны. Одно слово: „послѣдователь“ уже предполагаетъ возможность шествія по одному направленію, тѣсной связи. Вождь можетъ возбуждать негодованіе, досаду въ тѣхъ, которыхъ онъ тревожитъ, поднимаетъ съ мѣста, двигаетъ впередъ; проклинать они его могутъ, но понимать они должны его всегда. Онъ долженъ стоять выше ихъ, да, но и близко къ нимъ; онъ долженъ участвовать не въ однихъ ихъ качествахъ и свойствахъ, но и въ недостаткахъ ихъ: онъ тѣмъ самымъ глубже и больнѣе чувствуетъ эти недостатки. Сенковскій былъ не въ примѣръ ученѣе, не говорю уже Бѣлинскаго, но и большей части своихъ русскихъ современниковъ; а какой слѣдъ оставилъ онъ? Мнѣ скажутъ, что его дѣятельность была безплодна и вредна не потому, что онъ былъ ученый, а потому, что у него не было убѣжденій, что онъ былъ намъ чужой, не понималъ насъ, не сочувствовалъ намъ; противъ этого я спорить не стану; но мнѣ кажется, что самый его скептицизмъ, его вычурность и гадливость, его презрительное глумленіе, педантство, холодъ, всѣ его особенности отчасти происходили отъ того, что у него, какъ у человѣка ученаго, спеціалиста, и цѣли, и симпатіи были другія, чѣмъ у массы общества. Сенковскій былъ не только ученъ, онъ былъ остроуменъ, игривъ, блестящъ; молодые чиновники и офицеры восхищались имъ, особенно въ провинціи; но не того было нужно массѣ читателей, а того, что было нужно: критическаго и общественнаго чутья, вкуса, пониманія насущныхъ потребностей эпохи, и главное, жара, любви къ меньшей, невѣжественной братіи—у него и слѣда не замѣчалось. Онъ забавлялъ своихъ читателей, втайнѣ презирая ихъ, какъ неучей; и они забавлялись имъ — и на грошъ ему не вѣрили. Смѣю надѣяться, что мнѣ не станутъ приписывать желанія защищать и какъ бы рекомендовать невѣжество; я указываю только на физіологическій фактъ въ развитіи нашего сознанія. По-

тно, что какой-нибудь Лессингъ, для того, чтобы стать ждемъ *своего* поколѣнія, полнымъ представителемъ *своей* родности, долженъ былъ быть человѣкомъ почти всеъемлющей учености; въ немъ отражалась, въ немъ пародила свой голосъ, свою мысль — Германія, онъ былъ *рманской центральной натурой*. Но Бѣлинскій, который нѣкоторой степени заслуживаетъ названіе русскаго ессинга, Бѣлинскій, значеніе котораго, по смыслу и іянію своему, дѣйствительно напоминаетъ значеніе векаго германскаго критика, могъ сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ ъ былъ, и безъ большого запаса научныхъ познаній. нъ смѣшивалъ старшаго Питта (лорда Чатама) съ его нномъ, В. Питтомъ—что за бѣда! „Мы всѣ учились поэмногу, чему-нибудь и какъ-нибудь"... Для того, что ему редстояло исполнить, онъ зналъ довольно. Откуда онъ ы взялъ тотъ жаръ и ту страсть, съ которыми онъ поголянно и всюду ратовалъ за просвѣщеніе, если бъ онъ а самомъ себѣ не испыталъ всю горечь невѣжества? Нѣмецъ старается исправить недостатки своего народа, бѣдившись размышленіемъ въ ихъ вредѣ; русскій еще олго будетъ самъ болѣть ими.

Бѣлинскій, безспорно, обладалъ главными качествами еликаго критика; и если въ дѣлѣ науки, знанія, ему риходилось заимствовать отъ товарищей, принимать ихъ слова на вѣру — въ дѣлѣ критики ему не у кого было спрашиваться; напротивъ, другіе слушались его; починъ ставался постоянно за нимъ. Эстетическое чутье было ъ немъ почти непогрѣшительно; взглядъ его проникалъ лубоко и никогда не становился туманнымъ. Бѣлинскій е обманывался внѣшностью, обстановкой—не подчинялся никакимъ вліяніямъ и вѣяніямъ; онъ сразу узнавалъ прекрасное и безобразное, истинное и ложное, и съ безтрепетной смѣлостью высказывалъ свой приговоръ—высказывалъ его вполнѣ, безъ урѣзокъ, горячо и сильно, со всей тремительной увѣренностью убѣжденія. Кто бывалъ свидѣтелемъ критическихъ ошибокъ, въ которыя впадали даже замѣчательные умы (стоитъ вспомнить хоть Пуш-

кина, который въ „Марѳѣ Посадницѣ“ г-на Погодина дѣлъ „что-то шекспировское!“) — тотъ не могъ не поч ствовать уваженія передъ мѣткимъ сужденіемъ, вѣрн вкусомъ и *инстинктомъ* Бѣлинскаго, передъ его умѣнь „читать между строками“. Не говорю уже о статьяхъ которыхъ онъ отводилъ подобающее имъ мѣсто прежн дѣятелямъ нашей словесности; не говорю также і тѣхъ статьяхъ, которыми опредѣлялось значеніе писа лей еще живыхъ, подводился итогъ ихъ дѣятельно итогъ принятый и скрѣпленный, какъ уже сказано вы потомствомъ *); но при появленіи новаго дарованія, ваго романа, стихотворенія, повѣсти — никто, ни пре Бѣлинскаго, ни лучше его, не произносилъ правилы оцѣнки, настоящаго, рѣшающаго слова. Лермонтовъ, голь, Гончаровъ — не онъ ли первый указалъ на ни разъяснилъ ихъ значеніе? И сколько другихъ! Безъ вольнаго удивленія передъ критической діагнозой Бѣл скаго нельзя прочесть, между прочимъ, ту небольш выноску, сдѣланную имъ въ одномъ изъ своихъ год ныхъ обозрѣній, въ которой онъ по одной пѣснѣ о ку Калашниковѣ, появившейся безъ подписи въ „Литера ной Газетѣ“, предрекалъ великую будущность авт Подобныя черты встрѣчаются безпрестанно у Бѣлинск Приведу одинъ примѣръ. Въ 1846 году въ „Отечест ныхъ Запискахъ“ появилась повѣсть г-на Григоров подъ заглавіемъ „Деревня“, по времени *первая* попы сближенія нашей литературы съ народной жизнью, і вая изъ нашихъ „деревенскихъ исторій“—Dorfgeschich Написана она была языкомъ нѣсколько изысканнымъ безъ сентиментальности; но стремленіе къ реальному произведенію крестьянскаго быта—было несомнѣнно. койный И. И. Панаевъ, человѣкъ добродушный, но кра легкомысленный и способный схватывать одни лишь ве верхушекъ, уцѣпился за нѣкоторыя смѣшныя выраж „Деревни“, и обрадовавшись случаю поглумиться, ст поднимать на смѣхъ всю повѣсть, даже читалъ въ п тельскихъ домахъ нѣкоторыя, по его мнѣнію, самыя

*) См. статьи его о Марлинскомъ, Баратынскомъ, Загоскинѣ и

авныя страницы. Но каково же было его изумленіе, ка-во недоумѣніе хохотавшихъ пріятелей, когда Бѣлин-кій, прочтя повѣсть г-на Григоровича, не только нашелъ в весьма замѣчательной, но немедленно опредѣлилъ ея наченіе и предсказалъ то движеніе, тотъ поворотъ, ко-рые вскорѣ потомъ произошли въ нашей словесности? Анаеву оставалось одно: продолжать читать отрывки ъ „Деревни“, но уже восхищаясь ими — что онъ и ѣлалъ.

Не могу на этомъ мѣстѣ не упомянуть, кстати, о ми-нфикаціи, которой въ то время неоднократно подвер-лся одинъ издатель толстаго журнала, столь же ода-нный практическими талантами, сколь обиженный при-дою насчетъ эстетическихъ способностей. Ему, напри-ръ, кто-нибудь изъ кружка Бѣлинскаго приносилъ но-е стихотвореніе и принимался читать, не предваривъ оей жертвы ни однимъ словомъ, въ чемъ состояла суть ихотворенія и почему оно удостоивалось прочтенія. Тонъ ерва пускался въ ходъ ироническій; издатель, заклю-авшій изъ этого тона, что ему хотятъ представить образ-къ безвкусія или нелѣпости, начиналъ посмѣиваться, жимать плечами; тогда чтецъ переводилъ понемногу онъ изъ ироническаго въ серьезный, важный, востор-енный; издатель, полагая, что онъ ошибся, не такъ по-лалъ, начиналъ одобрительно мычать, качать головою, огда даже произносилъ: „недурно! хорошо!“ Тогда чтецъ нова прибѣгалъ къ ироническимъ нотамъ и снова увле-алъ за собою слушателя, возвращался къ восторженному астроенію—и тотъ опять похваливалъ... Если стихотво-реніе попадалось длинное, подобныя варіаціи, напоми-нающія игру въ головки изъ каучука, то и дѣло мѣняю-щія свое выраженіе подъ давленіемъ пальцевъ, можно ыло совершить нѣсколько разъ. Кончалось тѣмъ, что есчастный издатель приходилъ въ совершенный тупикъ уже не изображалъ на своемъ, впрочемъ весьма выра-ительномъ, лицѣ ни сочувственнаго одобренія, ни со-вственнаго порицанія. У Бѣлинскаго нервы не были вольно крѣпки, а самъ онъ не предавался подобнымъ

упражненіямъ; да и правдивость его была слишком
лика — онъ не могъ измѣнить ей даже ради шутк
смѣялся онъ до слезъ, когда ему сообщали подроб
мистификаціи.

Другое замѣчательное качество Бѣлинскаго, какъ
тика, было его пониманіе того, что именно стои
очереди, что требуетъ немедленнаго разрѣшенія, въ
сказывается „злоба дня". Не въ пору гость хуже
рина, гласитъ пословица; не въ пору возвѣщенная и
хуже лжи, не въ пору поднятый вопросъ только пу
и мѣшаетъ. Бѣлинскій никогда бы не позволилъ себ
ошибки, въ которую впалъ даровитый Добролюбовъ:
не сталъ бы, напримѣръ, съ ожесточеніемъ бранить
вура. *), Пальмерстона, вообще парламентаризмъ,
неполную и потому невѣрную форму правленія.
допустивъ справедливость упрековъ, заслуженныхъ I
ромъ, онъ бы понялъ всю несвоевременность (у нас
Россіи, въ 1862 г.) — подобныхъ нападеній; онъ бы
нялъ, какой партіи они должны были оказать услугу
бы порадовался имъ! Бѣлинскій очень хорошо созна
что при обстановкѣ, среди которой онъ дѣйствовалъ
не слѣдовало выходить изъ круга чисто-литерату
критики. Во-первыхъ, при тогдашнихъ официальн
житейскихъ, цензурныхъ условіяхъ иначе дѣйств
было слишкомъ затруднительно; уже и такъ онъ
могъ устоять противъ бури угрозъ и доносовъ, ко
возбудило его отрицаніе нашихъ псевдо-классичес
авторитетовъ; а во-вторыхъ, онъ очень ясно видѣ
понималъ, что въ развитіи каждаго народа литерату
эпоха предшествуетъ другимъ; что не переживъ и не
одолѣвъ ее, нельзя двигаться впередъ; что критика
смыслѣ отрицанія фальши и лжи, должна сперва под

---

*) Пишущій эти строки своими ушами слышалъ, какъ одинъ
дой почитатель Добролюбова, за карточнымъ столомъ, желая упре
своего партнера въ сдѣланной имъ грубой ошибкѣ, воскликнулъ
братъ, какой же ты Кавуръ!" Признаюсь, мнѣ стало грустно:
Кавура, разумѣется!

нуть анализу явленія литературныя — и что именно въ этомъ и состояло его собственное призваніе. Его политическія, соціальныя убѣжденія были очень сильны и опредѣлительно рѣзки; но они оставались въ сферѣ инстинктивныхъ симпатій и антипатій. Повторяю: Бѣлинскій зналъ, что нечего было думать примѣнять ихъ, проводить ихъ въ дѣйствительность; да если бъ оно и стало возможнымъ — въ немъ самомъ не было ни достаточной подготовки, ни даже потребнаго на то темперамента; онъ и это зналъ — и, съ свойственнымъ ему практическимъ пониманіемъ своей роли, самъ ограничилъ кругъ своей дѣятельности, сжалъ ее въ извѣстные предѣлы *). За то, какъ *литературный* критикъ, онъ былъ именно тѣмъ, что англичане называютъ—„the right man on the right place", „настоящимъ человѣкомъ на настоящемъ мѣстѣ", чего нельзя сказать объ его преемникахъ. Правда и то, что задача ихъ была труднѣе и сложнѣе. Незадолго до смерти, Бѣлинскій начиналъ чувствовать, что наступило время сдѣлать новый шагъ, выйти изъ того тѣснаго круга; политико-экономическіе вопросы должны были смѣнить вопросы эстетическіе, литературные; но самъ онъ себя уже устранялъ и указывалъ на другое лицо, въ которомъ видѣлъ своего преемника—на В. Н. Майкова, брата поэта; къ сожалѣнію, этотъ талантливый молодой человѣкъ погибъ въ самомъ началѣ своего поприща и точно такой же смертью, какой погибъ недавно другой много обѣщавшій юноша, Д. И. Писаревъ.

Имя Писарева напоминаетъ мнѣ слѣдующее: весной 1867 года, во время моего проѣзда черезъ Петербургъ, онъ сдѣлалъ мнѣ честь—посѣтилъ меня. Я до тѣхъ поръ съ нимъ не встрѣчался, но читалъ его статьи съ интересомъ, хотя со многими положеніями въ нихъ, вообще съ ихъ направленіемъ, согласиться не могъ. Особенно возмутили меня его статьи о Пушкинѣ. Въ теченіе разговора, я откровенно высказался передъ нимъ. Писаревъ съ перваго взгляда производилъ впечатлѣніе человѣка честнаго и умнаго, которому не только можно, но и долж-

*) См. *въ концѣ этой статьи*, примѣч. II.

но говорить правду. „Вы—началъ я—втоптали въ грязь, между прочимъ, одно изъ самыхъ трогательныхъ стихотвореній Пушкина (обращеніе его къ послѣднему лицейскому товарищу, долженствующему остаться въ живыхъ: „Несчастный другъ“ и т. д.). Вы увѣряете, что поэтъ совѣтуетъ пріятелю просто взять, да съ горя нализаться. Эстетическое чувство въ васъ слишкомъ живо: вы не могли сказать это серьезно—вы это сказали *нарочно*, съ цѣлью. Посмотримъ, оправдываетъ ли васъ эта цѣль. Я понимаю преувеличеніе, я допускаю карикатуру,—но преувеличеніе истины, карикатуру въ дѣльномъ смыслѣ, въ настоящемъ направленіи. Если бъ у насъ молодые люди теперь только и дѣлали, что стихи писали, какъ въ блаженную эпоху альманаховъ, я бы понялъ, я бы, пожалуй, даже оправдалъ вашъ злобный укоръ, вашу насмѣшку; я бы подумалъ: несправедливо, но полезно! А то, помилуйте, въ кого вы стрѣляете? ужъ, точно, по воробьямъ изъ пушки! Всего-то у насъ осталось три-четыре человѣка, старички пятидесяти лѣтъ и свыше, которые еще упражняются въ сочиненіяхъ стиховъ; — стоитъ ли яриться противъ нихъ? Какъ-будто нѣтъ тысячи другихъ, животрепещущихъ вопросовъ, на которые вы, какъ журналистъ, *обязанный* прежде всѣхъ ощущать, чуять насущное, нужное, безотлагательное, — *должны* обратить вниманіе публики? Походъ на стихотворцевъ въ 1866 году! Да это антикварская выходка, архаизмъ! Бѣлинскій—тотъ никогда бы не впалъ въ такой просакъ!“ Не знаю, что подумалъ Писаревъ, но онъ ничего не отвѣчалъ мнѣ. Вѣроятно, онъ не согласился со мною.

Само собою разумѣется, что пониманіе Бѣлинскимъ своего времени, своего назначенія, не мѣшало его задушевнымъ убѣжденіямъ сквозить въ каждомъ словѣ его статей, тѣмъ болѣе, что его отрицательная дѣятельность на поприщѣ критики какъ нельзя лучше соотвѣтствовала той роли, которую онъ бы навѣрное выбралъ въ политически-развитомъ обществѣ. Что онъ чувствовалъ и что онъ думалъ, *про* то вѣдалъ онъ одинъ, вѣдали и нѣкоторые *изъ его друзей*; но что онъ дѣлалъ, что онъ печаталъ — не-

клонно и строго держалось литературной почвы и двигалось исключительно на ней. Только въ извѣстномъ одномъ письмѣ эта страсть, которую онъ—

...во тьмѣ ночной
Вскормилъ слезами и тоской,

прорвалась наружу — какъ тотъ огонь, о которомъ говорилъ Лермонтовъ.

Я прошу у читателя позволенія привести въ этомъ мѣстѣ отрывокъ изъ лекціи о Пушкинѣ, прочтенной мною въ 1859 году передъ немногочисленнымъ обществомъ. Стараясь изобразить характеръ эпохи 30-хъ, 40-хъ годовъ, я долженъ былъ упомянуть о гоголевской сатирѣ, о лермонтовскомъ протестѣ, а потомъ и о значеніи критики Бѣлинскаго. Одно упоминовеніе этого имени возбудило негодованіе большей части моихъ слушателей. Вотъ этотъ отрывокъ. (Мнѣ придется начать нѣсколько издалека; но это неизбѣжно).

„А между тѣмъ, какъ нашъ великій художникъ (Пушкинъ), отвернувшись отъ толпы и приблизившись, насколько могъ, къ народу, обдумывалъ свои завѣтныя творенія, пока по душѣ его проходили тѣ образы, изученіе которыхъ невольно зарождаетъ въ насъ мысль, что онъ одинъ могъ бы подарить насъ и народной драмой, и народной эпопеей—въ нашемъ обществѣ, въ нашей литературѣ совершались если не великія, то знаменательныя событія. Подъ вліяніемъ особенныхъ случайностей, особенныхъ обстоятельствъ тогдашней жизни Европы (съ 1830 по 1840 годъ), у насъ понемногу сложилось убѣжденіе, конечно, справедливое, но въ эту эпоху едва ли не преждевременное: убѣжденіе въ томъ, что мы не только великій народъ, но что мы — великое, вполнѣ овладѣвшее собою, незыблемо-твердое государство, и что художеству, что поэзіи предстоитъ быть достойными провозвѣстниками этого величія и этой силы. Одновременно съ распространеніемъ этого убѣжденія и, быть-можетъ, вызванная имъ, явилась цѣлая *фаланга людей*, безспорно даровитыхъ, но въ *дарованіи которыхъ* лежалъ общій отпечатокъ ри-

ики, внѣшности, соотвѣтствующей той вели
то-внѣшней силѣ, которой они служили отго
ди эти явились и въ поэзіи, и въ живописи, и
листикѣ, и даже на театральной сценѣ. Нужно
лвать ихъ имена? Они въ памяти у каждаго—и
олько вспомнить, кому рукоплескали, кого при
али въ то время, когда вокругъ умолкнувшаго П
водворилась тишина *). Это вторженіе въ общес
жизнь того, что́ мы рѣшились бы назвать *ложно-в
школой*, продолжалось недолго, хотя отраженіе
сферахъ, менѣе подвергнутыхъ анализу критик
собственно-литературная художественная сфера,
кратилось и до сихъ поръ. Оно продолжалось не
но что́ было шума и грома! Какъ широко разлила
эта школа! Нѣкоторые изъ ея дѣятелей сами доб
признавали себя за геніевъ. Со всѣмъ тѣмъ, чт
истинное, что-то мертвенное чувствовалось въ не
въ минуты ея кажущагося торжества — и ни одн
вого, самобытнаго ума она себѣ не покорила безво
Произведенія этой школы, проникнутыя самоувѣре
доходившей до самохвальства, посвященныя возв
нію Россіи — во что бы то ни стало, въ самой
не имѣли ничего русскаго: это были какія-то
ныя декораціи, хлопотливо и небрежно воздви
тріотами, не знавшими своей родины. Все эт
кичилось, все это считало себя достойнымъ у
великаго государства и великаго народа,—а ч
приближался. Но не послѣднія глубоко-худ
произведенія Пушкина были причиною этого
бы даже они явились при его жизни — мы
оцѣнила ли бы ихъ тогда оглушенная, сб
публика. Они не могли служить полемичес
они могли одержать и они одержали поб
ственной красотой, сопоставленіемъ этой
съ безобразіемъ и слабостью того ложно-

*) Эти имена, которыя я тогда не рѣшился нас
ходятъ теперь на уста каждому читателю — имен
Панаскина, Бенедиктова, Брюлова, Кар

ака; но въ первое время, именно для того, чтобы разлачить этотъ призракъ во всей его пустотѣ, нужны или другія орудія, другія, болѣе пронзительныя силы— илы байроническаго лиризма, который уже являлся у ас однажды, но поверхностно и не серьезно, силы критики, юмора. И онѣ не замедлили явиться. Въ сферѣ художества заговорилъ Гоголь, съ нимъ Лермонтовъ; въ сферѣ критики, мысли—Бѣлинскій.

„....Въ прошлой бесѣдѣ съ вами мы говорили о томъ значеніи, которое будущій историкъ нашей литературы придастъ появленію Пушкина; но, безъ сомнѣнія, обратитъ на себя вниманіе нашихъ Маколеевъ (если только намъ суждено имѣть Маколеевъ) и та минута, когда передъ раздувшимся и раздутымъ, какъ бы офиціальнымъ великаномъ предстали—съ одной стороны, гусарскій офицеръ, свѣтскій левъ, изъ устъ котораго общество услыхало впервые невѣдомый ему прежде, безпощадный укоръ*), да темный малороссійскій учитель съ своей грозной комедіей, на челѣ которой стояло эпиграфомъ: „Неча на зеркало пенять, коли рожа крива“;—а съ другой стороны, такой же темный, недоучившійся студентъ, дерзнувшій провозгласить, что у насъ еще не было литературы, что Ломоносовъ не былъ поэтомъ, что не только Херасковъ и Петровъ, но и Державинъ и Дмитріевъ не могутъ намъ служить образцами, что и новѣйшіе великіе люди ничего не сдѣлали. Подъ совокупными усиліями этихъ трехъ, едва ли знакомыхъ другъ другу дѣятелей, рухнула не только та литературная школа, которую мы назвали ложно-величавою, но и многое другое, устарѣлое, недостойное, обратилось въ развалины. Побѣда была рѣшена скоро. Въ то же время умалилось и поблекло вліяніе самого Пушкина, того Пушкина, имя котораго такъ было дорого самимъ нововводителямъ, которое они окружали

*) Прошу позволенія привести слова одной тогдашней великосвѣтской барыни, встрѣтившей меня слѣдующимъ восклицаніемъ: „Avez-vous lu la „Douma“? Qui pouvait s'attendre à cela de la part de Lermontoff! Lui qui venait de dire: Я, Матерь Божія, *нынче* съ молитвой! C'est affreux!“

такою полною любовью. Идеалъ, которому они служили—сознательно или безсознательно (Гоголь, какъ извѣстно, до конца отъ него отчурался и отнѣкивался) — идеалъ этотъ не могъ ужиться съ Пушкинскимъ идеаломъ, на зло имъ самимъ. Сила вещей сильнѣе всякой отдѣльной, личной силы—такъ же, какъ общее въ насъ сильнѣе нашихъ собственныхъ наклонностей. Время чистой поэзіи прошло такъ же, какъ и время ложно-величавой фразы; наступило время критики, полемики, сатиры. Вмѣсто слова: „наступило“ — мы бы могли, вспомнивъ Фонвизина, Новикова, употребить слово: „возвращалось“. Подобные „возвратные“ обороты бѣгущаго впередъ историческаго колеса извѣстны всѣмъ наблюдателямъ жизни народовъ. Общество, пораженное внезапнымъ сознаніемъ собственныхъ недостатковъ, предчувствуя другія, еще болѣе горькія разочарованія въ будущемъ—которыя и сбылись *) — съ жадностью обратило слухъ свой къ новымъ голосамъ и принимало только то, что отвѣчало его новымъ потребностямъ. „Торквато Тассо“ Кукольника, „Рука Всевышняго“ — исчезли, какъ мыльные пузыри; но и „Мѣднымъ Всадникомъ“ — нельзя было любоваться въ одно время съ „Шинелью“.

Здѣсь слѣдовала довольно подробная характеристика Гоголя и Лермонтова, оканчивающаяся слѣдующими словами:

„Сила независимой, критикующей, протестующей личности возстала противъ фальши, противъ пошлости—а на какой ступени общества не царила тогда пошлость?—противъ того ложно-общаго, неправедно узаконеннаго, что не имѣло разумныхъ правъ на подчиненіе себѣ личности“... И я продолжалъ такъ:

„Мы просимъ теперь у васъ позволенія остановиться на третьей личности, имя которой, мы это знаемъ, не совсѣмъ благозвучно въ вашихъ ушахъ. Мы говоримъ о Бѣлинскомъ. Съ этимъ именемъ сопряжено воспоминаніе о нѣкоторыхъ увлеченіяхъ, но, смѣемъ думать, и

*) Трехъ лѣтъ еще не прошло съ Парижскаго мира 1856 года, когда я читалъ эти лекціи.

великихъ заслугахъ. Слово его живетъ до сихъ оръ, и мы не можемъ допустить, чтобы Россія, имено теперь *) съ жадностью его читающая, была совершенно неправа въ своей любви къ нему. Мы упомянули немъ не потому, что были связаны съ нимъ личными, ружественными отношеніями; мы желаемъ обратить ваше имание на самый принципъ его дѣятельности. Имя тому принципу — идеализмъ: Бѣлинскій былъ идеалистъ ь лучшемъ смыслѣ слова. Въ немъ жили преданія того осковскаго кружка, который существовалъ въ началѣ ридцатыхъ годовъ, и слѣды котораго такъ замѣтны еще онынѣ. Этотъ кружокъ, находившійся подъ сильнымъ ліяніемъ германской философской мысли (замѣчательна постоянная связь между этой мыслью и Москвою), заслуживаетъ особаго историка. Вотъ откуда Бѣлинскій вынесъ тѣ убѣжденія, которыя не покидали его до самой смерти,— тотъ идеалъ, которому онъ служилъ. Во имя этого идеала провозглашалъ Бѣлинскій художественное значеніе Пушкина и указывалъ на недостатокъ въ немъ гражданскихъ началъ; во имя этого идеала привѣтствовалъ онъ и Лермонтовскій протестъ, и Гоголевскую сатиру; во имя этого же идеала сокрушалъ онъ старые авторитеты, наши такъ-называемыя славы, на которыя онъ не имѣлъ ни возможности, ни охоты взглянуть съ исторической точки зрѣнія"...

Быть-можетъ, нѣкоторые читатели удивятся слову: „идеалистъ", которымъ я почелъ за нужное охарактеризировать Бѣлинскаго. На это я замѣчу, что, во-первыхъ, въ 59-мъ году не было возможности называть многія вещи настоящими ихъ именами; а во-вторыхъ, мнѣ—признаюсь въ томъ—доставило не малое удовольствіе объявить Бѣлинскаго „идеалистомъ" передъ сборищемъ людей, которымъ имя его представлялось неразрывно связаннымъ съ понятіемъ о циникѣ, грубомъ матеріалистѣ и т. п. Къ тому же, и самое названіе шло къ нему. Бѣлинскій былъ

*) Тогда только что вышли первые томы полнаго изданія его сочиненій.

настолько же идеалистъ, насколько отрицатель; онъ отрицалъ во имя идеала. Этотъ идеалъ былъ свойства весьма опредѣленнаго и однороднаго, хотя именовался и именуется доселѣ различно: наукой, прогрессомъ, гуманностью, цивилизаціей,—Западомъ, наконецъ. Люди благонамѣренные, но недоброжелательные, употребляютъ даже слово: революція. Дѣло не въ имени, а въ сущности, которая до того ясна и несомнѣнна, что и распространяться о ней не стоитъ; недоразумѣнія тутъ немыслимы. Бѣлинскій посвятилъ всего себя служенію этому идеалу; всѣми своими симпатіями, всей своей дѣятельностью принадлежалъ онъ къ лагерю „западниковъ", какъ ихъ прозвали ихъ противники. Онъ былъ западникомъ не потому только, что признавалъ превосходство западной науки, западнаго искусства, западнаго общественнаго строя; но и потому, что былъ глубоко убѣжденъ въ необходимости воспріятія Россіей всего выработаннаго Западомъ — для развитія собственныхъ ея силъ, собственнаго ея значенія. Онъ вѣрилъ, что намъ нѣтъ другого спасенія, какъ идти по пути, указанному намъ Петромъ Великимъ, на котораго славянофилы бросали тогда свои отборнѣйшіе перуны *). Принимать результаты западной жизни, примѣнять ихъ къ нашей, соображаясь съ особенностями природы, исторіи, климата, — впрочемъ, относиться и къ нимъ свободно, критически — вотъ какимъ образомъ могли мы, по его понятію, достигнуть, наконецъ, самобытности, которою онъ дорожилъ гораздо болѣе, чѣмъ обыкновенно предполагаютъ. Бѣлинскій былъ вполнѣ русскій человѣкъ, даже патріотъ — разумѣется, не на ладъ М. Н. Загоскина; благо родины, ея величіе, ея слава возбуждали въ его сердцѣ глубокіе и сильные отзывы. Да, Бѣлинскій любилъ Россію; но онъ также

*) Бѣлинскій часто читалъ между друзьями стихотвореніе Льва Пушкина, брата поэта: „Петръ Великій", и съ особеннымъ чувствомъ произносилъ стихи, въ которыхъ преобразователь представленъ былъ влачащимъ—

Рядъ изумленныхъ поколѣній
Рукой могучей за собой.

аменно любилъ просвѣщеніе и свободу: соединить въ
но эти высшіе для него интересы — вотъ въ чемъ со-
ялъ весь смыслъ его дѣятельности, вотъ къ чему онъ
ремился. Увѣрять, что онъ изъ одного раболѣпнаго и
осмысленнаго смиренія недоучки преклонялся предъ За-
домъ—значило не знать его вовсе; къ тому же, не сми-
ніемъ грѣшатъ обыкновенно недоучки. Бѣлинскій еще
тому благоговѣлъ передъ памятью Петра Великаго и,
обинуясь, признавалъ его нашимъ спасителемъ, что уже
и Алексѣѣ Михайловичѣ онъ въ нашемъ старомъ обще-
венномъ и гражданскомъ строѣ находилъ несомнѣнные
ризнаки разложенія—и, слѣдовательно, не могъ вѣрить
правильное и нормальное развитіе нашего организма,
одобное тому, какимъ оно является на Западѣ. Дѣло Пе-
ра Великаго было, точно, насиліемъ, было тѣмъ, что въ
овѣйшее время получило названіе: coup d'état; но только
о милости цѣлаго ряда этихъ насильственныхъ, свыше ис-
одящихъ мѣръ были мы втолкнуты въ семью европейскихъ
ародовъ. Необходимость подобныхъ реформъ еще донынѣ
е прекратилась. Въ подтвержденіе этого мнѣнія можно
ыло бы привести самые недавніе примѣры. Какое мѣсто
ы уже заняли въ той семьѣ—это покажетъ исторія; но
есомнѣнно то, что мы шли до сихъ поръ, и *должны* были
ти (съ чѣмъ господа славянофилы, конечно, не согласят-
), должны были идти другими путями, чѣмъ болѣе или
нѣе органически развивавшіеся западные народы.

А что западническія убѣжденія Бѣлинскаго ни на во-
съ не ослабили въ немъ его пониманія, его чутья всего
сскаго, не измѣнили той русской струи, которая била
всемъ его существѣ, — тому доказательствомъ служитъ
ждая его статья *). Да, онъ чувствовалъ русскую суть
къ никто. Не признавая нашихъ лже-классическихъ,
же-народныхъ авторитетовъ, ниспровергая ихъ,—онъ въ

*) См. его статьи о Пушкинѣ, о Гоголѣ, о Кольцовѣ, и особенно
о статьи о народныхъ пѣсняхъ и былинахъ. При слабости и ску-
ости тогдашнихъ филологическихъ и археологическихъ данныхъ, —
ѣ поражаютъ читателя глубокимъ и живымъ пониманіемъ народнаго
ха и народнаго творчества.

то же время тоньше всѣхъ и вѣрнѣе всѣхъ умѣлъ оцѣнить и дать уразумѣть другимъ то, что̀ было дѣйствительно самобытнаго, оригинальнаго въ произведеніяхъ нашей литературы. Ни у кого ухо не было болѣе чутко; никто не ощущалъ болѣе живо гармонію и красоту нашего языка, поэтическій эпитетъ, изящный оборотъ рѣчи поражали его мгновенно, и слушать его простое, нѣсколько однообразное, но горячее и правдивое чтеніе какого-нибудь Пушкинскаго стихотворенія или Лермонтовскаго „Мцыри“ было истиннымъ наслажденіемъ. Прозу, особенно любимаго своего Гоголя, онъ читалъ хуже; да и голосъ его скоро ослабѣвалъ.

Еще одно замѣчательное качество Бѣлинскаго, какъ критика, состояло въ томъ, что онъ былъ всегда, какъ говорятъ англичане, „in earnest“; онъ не шутилъ ни съ предметомъ своихъ разысканій, ни съ читателемъ, ни съ самимъ собою, а позднѣйшее, столь распространенное глумленіе онъ бы отвергнулъ, какъ недостойное легкомыслія или трусость. Извѣстно, что глумящійся человѣкъ часто самъ хорошенько не даетъ себѣ отчета, надъ чѣмъ онъ трунитъ и пронизируетъ, во всякомъ случаѣ, онъ можетъ воспользоваться этими ширмочками, чтобы скрыть за ними шаткость и неясность собственныхъ убѣжденій. Человѣкъ свиститъ, хохочетъ... Поди, угадывай, разумѣй его рѣчь, куда онъ ее гнетъ? Быть-можетъ, онъ смѣется надъ тѣмъ, что̀ точно достойно смѣха, а быть-можетъ, и надъ собственнымъ смѣхомъ, „зубы скалитъ“. Мнѣ скажутъ, что бываютъ времена, когда можно только намекать на истину и что смѣющимся устамъ легче высказывать ее... Да развѣ Бѣлинскій жилъ въ такое время, когда можно было все высказывать на чистоту? И однакоже не прибѣгалъ онъ къ глумленію, къ „излюбленному“ свистанію, къ зубоскальству. Сочувственный смѣхъ, возбуждаемый въ извѣстной части публики тѣмъ „свистаніемъ“,—недалеко ушелъ отъ того смѣха, которымъ встрѣчались безнравственныя выходки Сенковскаго... И здѣсь, и тамъ выпячивалась та же склонность къ грубой потѣхѣ, къ гаерству, склонность, къ

ожалѣнью, свойственная русскому человѣку, и которую не слѣдовало бы поблажать. Хохотъ невѣжества почти такъ же противенъ—такъ же и вреденъ—какъ его злоба. Впрочемъ, Бѣлинскій самъ про себя говорилъ, что онъ путить не мастеръ; иронія его была очень вѣска и неповоротлива; она тотчасъ становилась сарказмомъ, била не въ бровь, а въ глазъ. И въ разговорѣ, такъ же, какъ и съ перомъ въ рукѣ, онъ не блисталъ остроуміемъ, не обладалъ тѣмъ, что французы называютъ ésprit, не ослѣплялъ игрою искусной діалектики: но въ немъ жила та неотразимая мощь, которая дается честной и непреклонной мысли, и выражалась она своеобразно и, въ концѣ-концовъ, увлекательно. При совершенномъ отсутствіи того, что обыкновенно величаютъ элоквенціей—при явной неспособности и неохотѣ къ „уснащиванію“, къ фразѣ,— Бѣлинскій былъ однимъ изъ краснорѣчивѣйшихъ русскихъ людей, если принимать слово „краснорѣчіе“ въ смыслѣ силы убѣжденія, той силы, которую, напримѣръ, аѳиняне признавали въ Периклѣ, говоря, что каждая рѣчь его оставляла жало въ душѣ каждаго слушателя.

Бѣлинскій, какъ извѣстно, не былъ поклонникомъ принципа: искусство для искусства;—да оно и не могло быть иначе по всему складу его образа мыслей. Помню я, съ какой комической яростью онъ однажды при мнѣ напалъ на — отсутствующаго, разумѣется — Пушкина, за его два стиха въ „Поэтъ и Чернь“—

Печной горшокъ тебѣ дороже:
Ты пищу въ немъ себѣ варишь!

— И конечно,—твердилъ Бѣлинскій, сверкая глазами и бѣгая изъ угла въ уголъ: — конечно, дороже. Я не для себя одного, я для своего семейства, я для другого бѣдняка въ немъ пищу варю, — и прежде чѣмъ любоваться красотой истукана — будь онъ распрефидіасовскій Аполлонъ — мое право, моя обязанность накормить своихъ и себя, на зло всякимъ негодующимъ баричамъ и виршеплетамъ! — Но Бѣлинскій былъ слишкомъ уменъ, у него было слишкомъ много здраваго смысла, чтобы отрицать

искусство, чтобы не понимать не только его важность и значеніе, но и самую его естественность, его физіологическую необходимость. Бѣлинскій признавалъ въ искусствѣ одно изъ коренныхъ проявленій человѣческой личности—одинъ изъ законовъ нашей природы, указанныхъ намъ ежедневнымъ опытомъ. Онъ не допускалъ искусства для одного искусства, точно такъ же, какъ бы онъ не допустилъ жизни для одной жизни; не даромъ же онъ былъ идеалистъ. Все должно было служить одному принципу, искусство—такъ же, какъ наука, но своимъ, особеннымъ, спеціальнымъ образомъ. Воистину дѣтское и къ тому же не новое, подогрѣтое объясненіе искусства подражаніемъ природѣ, не удостоилось бы отъ него ни возраженія, ни вниманія: а аргументъ о преимуществѣ настоящаго яблока передъ написаннымъ уже потому на него бы не подѣйствовалъ, что этотъ пресловутый аргументъ лишается всякой силы, какъ только мы возьмемъ человѣка сытаго. Искусство, повторяю, было для Бѣлинскаго такой же узаконенной сферой человѣческой дѣятельности, какъ и наука, какъ общество, какъ государство... Но и отъ искусства, какъ и отъ всего человѣческаго, онъ требовалъ правды, живой, жизненной правды *). Самъ онъ, впрочемъ, въ области искусства чувствовалъ себя дома только въ поэзіи, въ литературѣ. Живопись онъ не понималъ и музыкѣ сочувствовалъ очень слабо. Онъ самъ очень хорошо сознавалъ свой недостатокъ, и ужъ и не совался туда, куда ему заказана была дорога. Статьи Гоголя объ Ивановѣ и Брюлловѣ могутъ служить поучительнымъ примѣромъ, до какой уродливой фальши, до какого вычурнаго и лживаго паѳоса можетъ завраться человѣкъ, когда заберется не въ свою сферу. Хоръ чертей въ Робертѣ-Дьяволѣ былъ единственной мелодіей, затверженной Бѣлинскимъ: въ минуты отличнаго расположенія духа, онъ подвывалъ басомъ этотъ дьявольскій напѣвъ. Пѣніе Рубини потрясало его; но не музыкальное совершенство цѣнилъ онъ въ немъ, а патетическую, стремительную энергію, драматизмъ выраженія. Все драматическое, театральное глубоко прони-

*) См. въ концѣ статьи стр. 59, примѣч. I.

ло въ душу Бѣлинскаго, такъ и зажигало ее. Его статьи Мочаловѣ, о Щепкинѣ, вообще о театрѣ, дышатъ страстью: до было видѣть, какое впечатлѣніе производило на него но воспоминаніе объ игрѣ Мочалова въ Гамлетѣ, о томъ, къ онъ, въ извѣстной сценѣ представленія трагедіи передъ преступнымъ королемъ, произносилъ, задыхаясь отъ сторга и ненависти:

„Оленя ранили стрѣлой..."

Была одна причина, которая заставляла иногда Бѣлинскаго избѣгать разговоровъ о театрѣ, о драматической литературѣ, особенно съ мало знакомыми людьми: онъ оялся, какъ бы не напомнили ему про его комедію: „Пятидесятилѣтній дядюшка", написанную имъ нѣкогда въ Москвѣ и напечатанную въ „Наблюдателѣ". Комедія эта, точно, весьма слабое произведеніе; она принадлежитъ къ худшему изъ родовъ—къ слезливо-нравственному, сентиментально-добродѣтельному; въ ней выводится великодушный дядюшка, влюбленный въ свою племянницу и приносящій свою любовь въ жертву юному сопернику. Все это изложено пространно, натянутымъ, мертвеннымъ слогомъ... Бѣлинскій не имѣлъ никакого „творческаго" таланта. Эта комедія, да еще статья о Менцелѣ были Ахиллесовой пятой Бѣлинскаго, и упомянуть о нихъ при немъ, значило оскорбить, огорчить его. Особенно статью о Менцелѣ онъ себѣ простить не могъ: комедію свою онъ признавалъ эстетической, литературной ошибкой, а въ той статьѣ онъ видѣлъ ошибку — гораздо худшаго свойства. Статью о Менцелѣ онъ написалъ подъ мгновеннымъ вліяніемъ нетерпѣнія, тоскливаго желанія перейти изъ области недосягаемыхъ идеаловъ къ чему-нибудь положительному, реальному, какъ-будто то, что существовало тогда, могло имѣть реальное значеніе, могло удовлетворить добросовѣстнаго человѣка! Бѣдный Бѣлинскій, конечно, не имѣлъ понятія, что̀ за птица былъ господинъ Менцель— и взялся за это лицо чисто съ апріорической, отвлеченной точки зрѣнія... Въ этомъ случаѣ, недостаточное знаніе фактовъ сыграло съ нимъ злую шутку... Существовала

еще статейка о Бородинской годовщинѣ. Я было ка
заговорилъ съ нимъ о ней... Онъ зажалъ себѣ уши об
руками, и низко наклонясь впередъ и качаясь изъ
роны въ сторону, зашагалъ по комнатѣ. Впрочемъ,
поболѣлъ квасным патріотизмомъ недолго. Вообще,
шія статьи Бѣлинскаго были написаны имъ въ нача
передъ концомъ его карьеры; въ серединѣ проско
полоса, продолжавшаяся года два, въ теченіе которой
начинившись гегелевской философіей и не переварив
всюду, съ лихорадочнымъ рвеніемъ, пичкалъ ея акс
ея извѣстные тезисы и термины, ея такъ-называ
Schlagwörter. Въ глазахъ рябило отъ множества люби
тогдашнихъ оборотовъ и выраженій *)! Надо жъ бы
Бѣлинскому заплатить дань своему времени! Но эта
скоро сбѣжала, оставивъ за собою только хорошія сѣ
и снова явился во всей своей мужественной и безхи
ной простотѣ русскій языкъ Бѣлинскаго, славный я
ясный и здравый. Бѣлинскій, можно сказать, импро
ровалъ свои статьи; писалъ онъ ихъ въ послѣдніе
мѣсяца, стоя передъ конторкой, на отдѣльныхъ по
стахъ, безъ помарокъ, крупнымъ-крупнымъ почеркомъ
не имѣлъ времени вычищать слогъ, взвѣшивать и об
вать каждое выраженіе, и потому поневолѣ впадал
нѣкоторую многоглаголивость; но до безграничной бо
вости, которая, должно признаться, съ легкой руки п
наго Писарева утвердилась у насъ въ критическомъ от
журналовъ, онъ далеко не доходилъ; статьи его, все-
оставались литературнымъ произведеніемъ и превраща
въ дряблый разговоръ, въ пухлыя варіаціи на изб

---

*) Совѣтую любопытному читателю, желающему наглядно убѣд
до чего могло дойти тогдашнее философствованіе, отыскать въ
одной изъ книжекъ „Отечественныхъ Записокъ“, за 40 или 41-й
статейку, написанную, впрочемъ, не Бѣлинскимъ, а самимъ в
лемъ — въ защиту выраженія, употребленнаго Искандеромъ, бу
„Наполеонъ — къ верху ногами поставленный Карлъ Великій“,
женія, поднятаго на смѣхъ другимъ журналомъ. Комизмъ тутъ
болѣе забавенъ, что весь проникнутъ угрюмой важностью и да
подозрѣваетъ, до какой степени онъ предестенъ!

гы—варіаціи, отъ которыхъ, несмотря на весь ихъ за-ъ, такъ и отдаетъ ученической тетрадью.

Всѣмъ извѣстно, какую обузу наваливалъ на Бѣлин-ю разсчетливый издатель журнала, въ которомъ онъ ствовалъ. Какія сочиненія не приходилось ему разби-ь—и сонники, и поваренныя, и математическія книги, которыхъ онъ ровно ничего не смыслилъ! Зато, когда, слѣ аккуратнаго выхода журнала въ первое число мѣ-а, наступало нѣсколько дней отдыха, какъ онъ наслаждался имъ, какъ предавался удовольствію бездѣйствія, сѣды съ пріятелями, а иногда и карточной игры въ шечный преферансъ! Игралъ онъ плохо, но съ тою же ренностью впечатлѣній, съ тою же странностью, кото-я ему были присущи, что̀ бы онъ ни дѣлалъ! Помнится, однажды играли съ нимъ, не въ деньги—а *такъ*; онъ игрывалъ и торжествовалъ... но вдругъ обремизился, ался безъ четырехъ. Потемнѣлъ мой Бѣлинскій пуще нней ночи, опустилъ голову, какъ къ смерти приговоный. Выраженіе страданія, отчаянія, такъ было ис-ано на его лицѣ, что я, наконецъ, не выдержалъ и кликнулъ, что это уже ни на что не похоже; что если ъ огорчаться, такъ лучше совсѣмъ бросить карты!— Нѣтъ,—отвѣчалъ онъ глухо и взглянувъ на меня исподъ-бья:—все кончено; я только до бубновой игры и жилъ!"— въ это мгновеніе, я ручаюсь, онъ дѣйствительно былъ ѣжденъ въ томъ, что̀ говорилъ.

Я часто ходилъ къ нему послѣ обѣда, отводить душу. Онъ нималъ квартиру въ нижнемъ этажѣ, на Фонтанкѣ, не-леко отъ Аничкова моста — невеселыя, довольно сырыя мнаты. Не могу не повторить: тяжелыя тогда стояли емена; нынѣшнимъ молодымъ людямъ не приходилось спытать ничего подобнаго. Пусть читатель самъ посу-итъ: утромъ тебѣ, быть-можетъ, возвратили твою кор-ектуру, всю исполосованную, обезображенную красными рнилами, словно окровавленную; можетъ-быть, тебѣ даже ришлось съѣздить къ цензору и, представивъ напрас-

ныя и унизительныя объясненія, оправданія, выслу
его безапелляціонный, часто насмѣшливый приговоръ
На улицѣ тебѣ попалась фигура господина Булгарина
друга его, господина Греча; генералъ, и даже не нач
никъ, а такъ, просто генералъ, оборвалъ или, что
хуже, поощрилъ тебя... Бросишь вокругъ себя мыслен
взоръ: взяточничество процвѣтаетъ, крѣпостное право
итъ какъ скала, казарма на первомъ планѣ, суда н
носятся слухи о закрытіи университетовъ, вскорѣ пол
сведенныхъ на трехсотенный комплектъ, поѣздки за
ницу становятся невозможны, путной книги выпи
нельзя, какая-то темная туча постоянно виситъ
всѣмъ такъ-называемымъ ученымъ, литературнымъ
домствомъ, а тутъ еще шипятъ и расползаются дон
между молодежью ни общей связи, ни общихъ инт
совъ, страхъ и приниженность во всѣхъ, хоть рукой ма
Ну, вотъ, и придешь на квартиру Бѣлинскаго, при
другой, третій пріятель, затѣется разговоръ — и л
станетъ; предметы разговоровъ были большей частью
цензурнаго (въ тогдашнемъ смыслѣ) свойства, но собств
политическихъ преній не происходило: безполезность
слишкомъ явно била въ глаза всякому. Общій коло
нашихъ бесѣдъ былъ философско-литературный, кри
ско-эстетическій и, пожалуй, соціальный, рѣдко ист
ческій. Иногда выходило очень интересно и даже си
иногда нѣсколько поверхностно и легковѣсно. При
серьезности и дѣйствительной возвышенности своей
туры, Бѣлинскій поступалъ иногда какъ ребенокъ: у
шитъ что-нибудь, что ему очень нравится, какое-ни
мѣсто изъ Жоржъ-Занда или П. Леру—тогда онъ вхо
въ моду и о немъ таинственно (!) переписывались
именемъ *Петра Рыжаго*—услышитъ и тотчасъ попро

*) Особеннымъ юморомъ отличался при подобныхъ свиданіяхъ
соръ Ф., тотъ самый, который говаривалъ: „Помилуйте — я всѣ
оставлю: только духъ повытравлю". — Онъ мнѣ сказалъ однаж
чувствомъ глядя мнѣ въ глаза:—„Вы хотите, чтобъ я не вымар
но посудите сами: я не вымараю — и могу лишиться 3,000 рубл
годъ, а вымараю — кому отъ этого какая печаль?—Были словечки
словечекъ—ну, а дальше?—Какъ же мнѣ не марать!? Богъ съ

списать ему это мѣсто, и пяпьчится съ нимъ. Но все это шло къ нему; живой русскій человѣкъ сказывался и тутъ. Иногда бездѣлица его задѣвала. Однажды онъ цѣлыхъ шесть недѣль носилъ у себя въ карманѣ книжку Гётевскаго „Западно-Восточнаго Дивана“ (Westöstlicher Divan), вотъ по какому поводу. Я ему какъ-то цитировалъ оттуда стихъ: „Lebt man denn, wenn andre leben?“ (Можно ль жить, когда живутъ другіе?) Онъ повторилъ этотъ стихъ, въ укоръ эгоизму Гёте, передъ А. Н. С., нѣкогда извѣстнымъ переводчикомъ Гётевскихъ стихотвореній; тотъ усомнился въ точности цитаты и чуть ли не подтрунилъ надъ легковѣрностью Бѣлинскаго. Вотъ, онъ и выпросилъ у меня экземпляръ „Дивана“, и постоянно имѣлъ его съ собою, чтобы при встрѣчѣ поразить С...; но встрѣчи этой, къ великой досадѣ Бѣлинскаго, не состоялось. Въ послѣдніе два года его жизни онъ, подъ вліяніемъ все болѣе и болѣе развивавшейся болѣзни, сталъ очень нервозенъ—и хандра на него находила.

Я видѣлся съ Бѣлинскимъ въ теченіе четырехъ зимъ—съ 1843-го по 1846-й годъ, и особенно часто передъ январемъ 1847-го года, когда я отправился надолго за границу и когда былъ основанъ „Современникъ“, т.-е. купленъ у покойнаго П. А. Плетнева. Исторія *основанія* этого журнала представляетъ много поучительнаго... Но изложить ее въ точности пока еще трудно: пришлось бы поднимать старыя дрязги. Довольно сказать, что Бѣлинскій былъ постепенно и очень искусно устраненъ отъ журнала, который былъ созданъ собственно для него, его именемъ пріобрѣлъ сотрудниковъ и пополнялся въ теченіе цѣлаго года капитальными статьями, пріобрѣтенными Бѣлинскимъ для большого затѣяннаго имъ альманаха. Бѣлинскій для „Современника“ разорвалъ связь съ „Отечественными Записками“, а оказалось, что въ новомъ журналѣ онъ, вмѣсто хозяйскаго мѣста, на которое имѣлъ полное право, занялъ то же мѣсто посторонняго сотрудника, наемщика, какое было за нимъ и въ старомъ. У меня въ рукахъ находятся любопытныя письма Бѣлин-

скаго, относящіяся къ этому времени: небольшіе отрывки изъ нихъ читатели найдутъ ниже. Что касается собственно до меня, то должно сказать, что онъ, послѣ перваго привѣтствія, сдѣланнаго моей литературной дѣятельности, весьма скоро—и совершенно справедливо — охладѣлъ къ ней: не могъ же онъ поощрять меня въ сочиненіи тѣхъ стихотвореній и поэмъ, которымъ я тогда предавался. Впрочемъ, я скоро догадался самъ, что не предстояло никакой надобности продолжать подобныя упражненія — и возымѣлъ твердое намѣреніе вовсе оставить литературу; только вслѣдствіе просьбъ И. И. Панаева, не имѣвшаго чѣмъ наполнить отдѣлъ смѣси въ 1-мъ нумерѣ „Современника“, я оставилъ ему очеркъ, озаглавленный „Хорь и Калинычъ“. (Слова: „Изъ записокъ охотника“, были придуманы и прибавлены тѣмъ же И. И. Панаевымъ, съ цѣлью расположить читателя къ снисхожденію). Успѣхъ этого очерка побудилъ меня написать другіе; и я возвратился къ литературѣ. Но читатель увидитъ изъ тѣхъ же писемъ Бѣлинскаго, что онъ, хотя остался болѣе доволенъ моими прозаическими работами, однако, особенныхъ надеждъ на меня не возлагалъ. Бѣлинскій съ добродушнымъ снисхожденіемъ, съ сочувственнымъ жаромъ поощрялъ начинавшихъ писателей, въ которыхъ признавалъ талантъ, поддерживалъ ихъ первые шаги; но онъ строго относился къ ихъ дальнѣйшимъ попыткамъ, безжалостно указывалъ на ихъ недостатки, порицалъ и хвалилъ съ одинаковымъ безпристрастіемъ. За то, на первыхъ порахъ, онъ иногда доходилъ до нѣжности, увлекался очень мило, почти трогательно, почти забавно. Когда попались ему въ руки „Бѣдные люди“ г-на Достоевскаго, онъ пришелъ въ совершенный восторгъ. — „Да,—говорилъ онъ съ гордостью, словно самъ совершилъ величайшій подвигъ: — да, батюшка, я вамъ доложу!—Не велика птичка—и тутъ онъ указывалъ рукою, чуть не на аршинъ отъ полу: — не велика птичка—а поготокъ востеръ!“—Каково же было мое удивленіе, когда, встрѣтившись вскорѣ потомъ съ г-мъ Достоевскимъ,—я увидалъ въ немъ человѣка, роста *болѣе средняго*—во всякомъ случаѣ, выше самого Бѣлин-

аго? — Но въ припадкѣ отеческой нѣжности къ ново-
родившемуся таланту, Бѣлинскій относился къ нему,
къ къ сыну, какъ къ своему „дитяткѣ“. Точно такъ
э онъ, лѣтомъ 1843 года, когда я съ нимъ познако-
лся, — лелѣялъ и всюду рекомендовалъ и выводилъ въ
оди Некрасова...

Какъ во всѣхъ людяхъ съ пылкой душою, во всѣхъ,
нтузіастахъ, въ Бѣлинскомъ была большая доля нетер-
имости. Онъ не признавалъ, особенно сгоряча, ни одной
астицы правды во мнѣніяхъ противника и отворачивался
ъ нихъ съ тѣмъ же негодованіемъ, съ которымъ поки-
алъ собственныя мнѣнія, когда находилъ ихъ ошибоч-
ыми. — Но его можно было „прошибить“, какъ я сказалъ
му однажды, и чему онъ много смѣялся, — истина была
ля него слишкомъ дорога: онъ не могъ окончательно
орствовать. Къ одной лишь московской партіи, къ сла-
нофиламъ, онъ всю жизнь относился враждебно: очень
и ужъ шли въ разрѣзъ всему тому, что̀ онъ любилъ и
что̀ онъ вѣрилъ. Вообще Бѣлинскій умѣлъ ненавидѣть —
was a good hater — и всей душой презиралъ достойное
езрѣнія. Лейбницъ гдѣ-то говоритъ, что онъ почти ни-
го не презираетъ (je ne méprise presque rien). — Это по-
тно и похвально — въ философѣ, постоянно живущемъ
высотахъ духовнаго созерцанія; но нашъ братъ, чело-
ѣкъ обыкновенный, по землѣ ходящій, не въ силахъ
звыситься до этого безстрастнаго холода, до этой вели-
авой тишины; чувство презрѣнія, которое внушаютъ
амъ Ѳаддеи Булгарины, подтверждаетъ и крѣпитъ наше
равственное сознаніе, нашу совѣсть. — Въ собственныхъ
ромахахъ Бѣлинскій признавался безъ всякой задней
ысли: мелкаго самолюбія въ немъ и слѣда не было. —
„Ну, вралъ же я чушь!“ бывало говаривалъ онъ съ улыб-
кой — и какая это въ немъ была хорошая черта! Бѣлин-
кій былъ не слишкомъ высокаго мнѣнія о самомъ себѣ
и о своихъ способностяхъ. Скромность его была непри-
ворна и чистосердечна; слово: „скромность“, впрочемъ,
утъ не годится: ему вовсе не было пріятно, что онъ, по

его понятію, такой некрупный человѣкъ; но, вѣдь, своей кожи не выпрыгнешь!“ За то ничего не было него важнѣе и выше дѣла, за которое онъ стоялъ, м которую онъ защищалъ и проводилъ: тутъ онъ на (готовъ былъ лѣзть—и бѣда тому, кто ему попадался руку! Тутъ и смѣлость являлась въ немъ—отвага от ная, на зло его физикѣ и нервамъ; тутъ онъ всѣм товъ былъ жертвовать! При такой сильной раздражи ности—такая слабая, личная обидчивость... Нѣтъ! п наго ему человѣка я не встрѣчалъ ни прежде, ни і

Лѣтомъ 1847 года, Бѣлинскій попалъ, въ первый слѣдній разъ, за границу. Я прожилъ съ нимъ нѣск недѣль въ Зальцбруннѣ, небольшомъ силезскомъ гор славящемся своими водами, будто бы излѣчивающи хотку... ему онѣ принесли мало пользы. Въ Зальцб онъ, подъ вліяніемъ негодованія, возбужденнаго въ извѣстной „Перепиской съ друзьями“ Гоголя, нап ему письмо... Потомъ я встрѣтился съ нимъ въ Па Тамъ онъ поступилъ въ лѣчебницу къ нѣкоему до спеціалисту противъ чахотки, по имени Тирà де мору. Многіе считали его за шарлатана, но онъ сов было поставилъ Бѣлинскаго на ноги. Кашель прекра съ лица сошла зелень... Слишкомъ скорое возвраще Петербургъ все уничтожило *). Странное дѣло! Онъ валъ за границей отъ скуки, его такъ и тянуло н въ Россію. Ужъ очень онъ былъ русскій человѣкъ, Россіи замиралъ, какъ рыба на воздухѣ. Помню, в рижѣ онъ въ первый разъ увидалъ площадь Согла тотчасъ спросилъ меня: „Не правда ли? вѣдь это

*) Вотъ еще примѣръ того, какъ Бѣлинскій юмористическ сился къ самому себѣ. При отъѣздѣ изъ Парижа, ему дали пр таго, который долженъ былъ сопутствовать ему до Берлина: самую послѣднюю минуту вышло какое-то недоразумѣніе, и Бѣ отправился одинъ. „Представьте мое положеніе,—писалъ онъ пріятелю въ Парижъ:—на бельгійской границѣ меня о чемъ-то шиваютъ, а я ничего не понимаю и только глазами хлопаю. К стію, начальникъ таможни догадался, должно-быть, что я *гл святости*—и пропустилъ меня“.

въ красивѣйшихъ площадей въ мірѣ?“—И на мой утвердительный отвѣтъ воскликнулъ: „Ну, и отлично; такъ и быть я и буду знать,—и въ сторону, и баста!“ и заговорилъ о Гоголѣ. Я ему замѣтилъ, что на самой этой площади во время революціи стояла гильотина и что тутъ рубили голову Людовику XVI; онъ посмотрѣлъ вокругъ, сказалъ: а!—и вспомнилъ сцену Остаповой казни въ „Тарасъ Бульбѣ“. Историческія свѣдѣнія Бѣлинскаго были слишкомъ слабы: онъ не могъ особенно интересоваться мѣстами, гдѣ происходили великія событія европейской жизни; онъ не зналъ иностранныхъ языковъ и потому не могъ изучать тамошнихъ людей; а праздное любопытство, лазѣніе, badauderie, было не въ его характерѣ. Музыка и живопись его, какъ уже сказано, трогали мало; а то, чѣмъ такъ сильно дѣйствуетъ Парижъ на многихъ изъ нашихъ соотечественниковъ, возмущало его чистое, почти аскетическое нравственное чувство. Да и наконецъ, ему всего оставалось жить нѣсколько мѣсяцевъ... Онъ уже усталъ и охладѣлъ...

Не знаю, говорить ли объ отношеніяхъ Бѣлинскаго къ женщинамъ? Самъ онъ почти никогда не касался этого деликатнаго вопроса. Онъ вообще неохотно распространялся о самомъ себѣ, о своемъ прошедшемъ, и т. п. Мнѣ много разъ случалось наводить его на этотъ разговоръ, но онъ всегда отклонялъ его; онъ словно стыдился, словно не понималъ, что̀ за охота толковать о личныхъ дрязгахъ, когда существуетъ столько предметовъ для бесѣды, болѣе важныхъ и полезныхъ! Если же онъ касался своего прошедшаго, то почти всегда съ юмористической точки зрѣнія: такъ, напримѣръ, онъ разсказалъ мнѣ, какъ, будучи *удаленъ* изъ университета и не имѣя буквально чѣмъ жить, онъ взялся перевести романъ Поль-де-Кока за 25 руб. ассиг., и какихъ онъ попадѣлалъ промаховъ! Бѣдность онъ, очевидно, испыталъ страшную, но никогда впослѣдствіи не услаждался ея расписываніемъ и размазываніемъ въ кругу друзей, какъ то дѣлаютъ весьма часто люди, прошедшіе эту тяжкую школу. Въ Бѣлинскомъ

было слишкомъ много цѣломудреннаго достоинства д подобныхъ изліяній, а, можетъ-быть, и слишкомъ мно гордости... Гордость и самолюбіе — двѣ вещи весьма р личныя.

По понятію Бѣлинскаго, его наружность была тако рода, что никакъ не могла нравиться женщинамъ; о былъ въ этомъ убѣжденъ до мозгу костей, и, конечно, убѣжденіе еще усиливало его робость и дикость въ с шеніяхъ съ ними. Я имѣю причину предполагать, Бѣлинскій, съ своимъ горячимъ и впечатлительнымъ сер цемъ, съ своей привязчивостью и страстностью, Бѣли скій, все-таки одинъ изъ первыхъ людей своего време не былъ никогда любимымъ женщиной. Бракъ свой с заключилъ не по страсти. Въ молодости онъ былъ в бленъ въ одну барышню, дочь тверского помѣщика Б— это было существо поэтическое, но она любила другог притомъ она скоро умерла. Произошла также въ жи Бѣлинскаго довольно странная и грустная исторія дѣвушкой изъ простого званія; помню его отрывчат сумрачный разсказъ о ней... онъ произвелъ на меня г бокое впечатлѣніе... но и тутъ дѣло кончилось ничѣ Сердце его безмолвно и тихо истлѣло; онъ могъ воскл нуть словами поэта:

О, небо! Если бы хоть разъ
Сей пламень развился по волѣ...
И не томясь, не мучась болѣ,
Я просіялъ бы и погасъ!

Но мечты людскія несбывчивы, а сожалѣнья—безпл ны. Кому не вынулся хорошій нумеръ — щеголяй съ стымъ, да и не сказывай никому.

Не могу, однако, не упомянуть здѣсь, хотя мелькомъ благородныхъ, честныхъ воззрѣніяхъ Бѣлинскаго на ж щинъ вообще, и въ особенности на русскихъ женщи на ихъ положеніе, на ихъ будущность, на ихъ неотъ лемыя права, на недостаточность ихъ воспитанія, с вомъ, на то, что теперь называютъ женскимъ вопросо Уваженіе къ женщинамъ, признаніе ихъ свободы, ихъ *только* семейнаго, но и общественнаго значенія, ска

ются у него всюду, гдѣ только онъ касается того во-
юса,—правда, безъ той вызывающей, крикливой бойко-
и, которая теперь въ такой модѣ.

Не разъ приходится слышать слова: такой-то во-время,
тати умеръ... Но ни къ кому они такъ несомнѣнно не
имѣняются, какъ къ Бѣлинскому. Да! онъ умеръ кстати
во-время! Передъ смертью (Бѣлинскій скончался въ маѣ
сяцѣ 1848 года) онъ еще успѣлъ быть свидѣтелемъ
ржества своихъ любимыхъ, задушевныхъ надеждъ, и
видѣлъ ихъ окончательнаго крушенія... А какія бѣды
видали его, если бъ онъ остался живъ! Извѣстно, что
лиція ежедневно справлялась о состояніи его здоровья,
ходѣ его агоніи... Отъ тяжкихъ испытаній избавила
о смерть. Притомъ же, и физика его уже отказывалась
йствовать... Къ чему же было тянуть, медлить?

A struggle more—and I am free *).

Все такъ; но живой живое и думаетъ, и нельзя пода-
ть въ себѣ чувства сожалѣнія о томъ изъ насъ, кого
юситъ смерть въ невѣдомый край, откуда „не возвра-
лся еще ни одинъ путешественникъ". Я иногда невольно
даю себѣ вопросъ, невольно представляю себѣ, что бы
азалъ, что бы почувствовалъ Бѣлинскій при видѣ вели-
ихъ реформъ, совершенныхъ нынѣшнимъ царствова-
емъ—освобожденія крестьянъ, водворенія гласнаго суда
т. д.? Какой бы восторгъ возбудили въ немъ эти пло-
носныя начинанія! Но онъ не дожилъ до нихъ... Не
жилъ онъ также до того, что такъ же наполнило бы сла-
стью его сердце: не увидалъ онъ много хорошаго, что
вершилось послѣ него въ нашей литературѣ. Какъ бы
радовался онъ поэтическому дару Л. Н. Толстого, силѣ
тровскаго, юмору Писемскаго, сатирѣ Салтыкова, трез-
й правдѣ Рѣшетникова! Кому бы, какъ не ему, слѣдо-
ло быть свидѣтелемъ всхода тѣхъ сѣмянъ, изъ кото-
хъ многія были посѣяны его рукою?... Но, видно,—не
ѣдовало...

---

*) Еще одно усиліе—и я свободенъ! *(Байронъ)*.

Окончу мои воспоминанія о Бѣлинскомъ сообщеніем письма одной близкой ему дамы, которую я просилъ м редать мнѣ подробности его кончины (я находился тог за границей, въ Парижѣ), а также и нѣсколькихъ отры ковъ изъ его писемъ ко мнѣ.

Вотъ письмо дамы (отъ 23-го іюня 1848 года):

„Вы хотите знать что-нибудь о Бѣлинскомъ... Но я н умѣю порядочно разсказывать, да и нечего почти гов рить о человѣкѣ, который все послѣднее время весь бы истощенъ физическими страданіями. Не могу вырази вамъ, какъ тяжело, какъ больно было смотрѣть на м дленное разрушеніе этого бѣднаго страдальца. Воротил онъ изъ Парижа въ такомъ хорошемъ состояніи духа здоровья, что всѣ мы, не исключая даже доктора, пол чили надежду на его выздоровленіе. Тутъ провелъ онъ насъ нѣсколько утръ и вечеровъ въ непрерывномъ, ж вомъ, энергическомъ разговорѣ, и всѣ съ радостью узн вали въ немъ прежняго, довольно еще здороваго Бѣли скаго; но странно, что съ самаго его возвращенія и чужихъ краевъ, правъ его чрезвычайно измѣнился: он сталъ мягче, кротче, и въ немъ стало гораздо болѣе те пимости, нежели прежде; даже въ семейной жизни е нельзя было узнать, такъ онъ спокойно и, повидимом безъ борьбы, мирился со всѣмъ тѣмъ, что̀ прежде та сильно его волновало. Здоровое состояніе его продол лось недолго; онъ въ Петербургѣ скоро простудился, тутъ съ каждымъ днемъ его положеніе становилось б надежнѣе, при каждомъ свиданіи съ нимъ мы находи его страшно измѣнившимся, и казалось, что болѣе пох дѣть ему уже нельзя; но, увидавъ его опять, находи еще страшнѣе. Въ послѣдній разъ я была у него за н дѣлю до его смерти; застали мы его полулежащимъ креслѣ; лицо у него было совершенно мертво, но гл огромные и блестящіе; всякое дыханіе его было стон встрѣтилъ онъ насъ словами: „умираю, совсѣмъ умира но эти слова были выговорены не съ убѣжденіемъ, не увѣренностью, а скорѣе съ желаніемъ, чтобы его ощ вергли. Нечего вамъ говорить, какіе тяжелые два ча

ровели мы тогда у него; говорить онъ, разумѣется, не
огъ, но его даже ужъ и не занимали и не могли рас-
евелить разсказы о тѣхъ *предметахъ* *), которыми онъ
режде жилъ. Слегъ онъ въ постель дня за три до смерти,
кажется, надѣялся до тѣхъ поръ, пока жива была въ
емъ память; наканунѣ онъ сталъ заговариваться, однако,
знялъ Грановскаго, пріѣхавшаго въ тотъ же день изъ
Іосквы. Передъ самой смертью онъ говорилъ два часа,
е переставая, какъ-будто къ русскому народу, и часто
бращался къ женѣ, просилъ ее все хорошенько запо-
нить и вѣрно передать эти слова, кому слѣдуетъ; но
ъ этой длинной рѣчи почти ничего уже нельзя было разо-
рать; потомъ онъ вдругъ замолкъ и черезъ полчаса му-
ительной агоніи умеръ. Бѣдная жена... не отходила отъ
го ни на минуту и совершенно одна прислуживала ему,
ворачивала и поднимала его съ постели. Эта женщина...
аво, заслуживаетъ всеобщее уваженіе; такъ усердно, съ
кимъ терпѣніемъ, такъ безропотно ухаживала она за
льнымъ мужемъ всю зиму"...

Вотъ отрывки изъ писемъ Бѣлинскаго ко мнѣ:

Спб. $\frac{19 \text{ февраля}}{3 \text{ марта}}$ 1847.

„... Когда вы собирались въ путь, я зналъ напередъ,
его лишаюсь въ васъ—но когда вы уѣхали, я увидѣлъ,
го потерялъ въ васъ больше, нежели думалъ... Послѣ
асъ я отдался скукѣ съ какимъ-то апатическимъ само-
верженіемъ и скучалъ, какъ никогда въ жизни не ску-
алъ. Ложусь въ 11, иногда даже въ 10 часовъ, засыпаю
о 12, встаю въ 7, 8, или около 9—и цѣлый день—осо-
енно цѣлый вечеръ — (съ послѣ-обѣда) — дремлю — вотъ
изнь моя!

„... ** получилъ отъ К-ра ругательное письмо, но не
оказалъ ***. Послѣдній ничего не знаетъ, но догады-
вается, а дѣлаетъ, все-таки, свое. При объясненіи со мною,
онъ былъ нехорошъ: кашлялъ, заикался, говорилъ, что
на то, что я желаю, онъ, кажется, для моей же пользы,

*) Курсивъ въ подлинникѣ.

согласиться никакъ не можетъ, по причинамъ, которы
сейчасъ же объяснитъ, и по причинамъ, которыхъ не м
жетъ мнѣ сказать. Я отвѣчалъ, что не хочу знать н
какихъ причинъ,—и сказалъ мои условія. Онъ повеселѣл
и теперь при свиданіи протягиваетъ мнѣ обѣ руки—
видно, что доволенъ мною вполнѣ! По тону моего письм
вы можете ясно видѣть, что я не въ бѣшенствѣ и не в
преувеличеніи. Я любилъ его, такъ любилъ, что мнѣ
теперь иногда то жалко его, то досадно на него—за него
а не за себя. Мнѣ трудно *переболѣть* внутреннимъ раз
рывомъ съ человѣкомъ—а потомъ ничего. Природа мало
дала мнѣ способности ненавидѣть за лично нанесенныя
мнѣ несправедливости; я скорѣе способенъ возненавидѣть
человѣка за разность убѣжденій или за недостатки и по
роки, вовсе для меня лично безвредные. Я и теперь вы
соко цѣню ***; и тѣмъ не менѣе, онъ въ моихъ глазахъ
человѣкъ, у котораго будетъ капиталъ, который будетъ
богатъ—а я знаю, какъ это дѣлается. Вотъ, ужъ начал
съ меня. Но довольно объ этомъ.

„...Скажу, какъ новость: я, можетъ-быть, буду въ Си
лезіи. Б. достаетъ мнѣ 2.500 руб. асс. Я-было начисто
отказался—ибо съ чѣмъ же я бы оставилъ семейство—
просить, чтобъ мнѣ выдавали жалованье за время отсут
ствія—мнѣ не хотѣлось. Но послѣ объясненія съ *** я
подумалъ, что церемониться глупо... Онъ былъ очень радъ,
онъ готовъ былъ сдѣлать все, только бы я... Я написалъ
къ Б., и теперь отвѣтъ его рѣшитъ дѣло.

„Вашъ „Каратаевъ“ хорошъ, хотя и далеко ниже „Хор
и Калиныча“...

„...Мнѣ кажется, у васъ чисто творческаго таланта ил
нѣтъ—или очень мало—и вашъ талантъ однороденъ съ
Далемъ. Это вашъ настоящій родъ. Вотъ, хоть бы „Ер
молай и Мельничиха“—не Богъ знаетъ что, бездѣлка, а
хорошо, потому что умно и дѣльно, съ мыслью. А въ
„Бреттерѣ“—я увѣренъ, вы творили. Найти свою дорогу,
узнать свое мѣсто—въ этомъ все для человѣка, это для
него значитъ сдѣлаться самимъ собою. Если не оши
баюсь, ваше призваніе—наблюдать дѣйствительныя явле

нія и передавать ихъ, пропуская черезъ фантазію, но не опираться только на фантазію... Только ради Аллаха, не печатайте ничего такого, что̀ ни то, ни се; не то, чтобъ не хорошо, да и не то, чтобъ очень хорошо. Это страшно вредитъ тоталитету извѣстности (извините за кудрявое выраженіе—лучшаго не придумалось). А „Хорь“ обѣщаетъ въ васъ замѣчательнаго писателя—въ будущемъ.

„...Гоголь сильно покаранъ общественнымъ мнѣніемъ и разруганъ во всѣхъ журналахъ; даже друзья его, московскіе славянофилы — и тѣ отступились, если не отъ него, то отъ гнусной его книги“...

„Жена моя и всѣ мои домашніе, не исключая вашего крестника *)—кланяются вамъ“...

Спб. 1 (13) марта 1847.

„...Скажу вамъ, что я почти перемѣнилъ мое мнѣніе насчетъ источника извѣстныхъ поступковъ ***. Мнѣ теперь кажется, что онъ дѣйствовалъ добросовѣстно, основываясь на объективномъ правѣ—а до понятія о другомъ, высшемъ, онъ еще не дорось—а пріобрѣсти его не могъ по причинѣ того, что выросъ въ грязной положительности, и никогда не былъ ни идеалистомъ, ни романтикомъ на нашъ манеръ. Вижу — изъ его примѣра — какъ этотъ идеализмъ и романтизмъ можетъ быть полезенъ для иныхъ натуръ, предоставленныхъ самимъ себѣ. Гадки они—этотъ идеализмъ и романтизмъ, но что̀ за дѣло человѣку, что ему помогло дурное на вкусъ лѣкарство, даже и тогда, если, избавивъ его отъ смертной болѣзни, привило къ его организму другія, но уже не смертельныя болѣзни; главное тутъ не то, что оно гадко, а то, что оно помогло...

„Поѣздка моя въ Силезію рѣшена. Этимъ я обязанъ Боткину. Онъ нашелъ средство и протолкалъ меня. Нѣтъ, никогда я не хлопоталъ и никогда не буду хлопотать такъ о себѣ, какъ онъ хлопоталъ обо мнѣ. Сколько писемъ написалъ онъ, по этому предмету, ко мнѣ, къ А—ву, къ Г—ну, къ брату своему, сколько разговоровъ, толковъ

*) Я былъ крестнымъ отцомъ его сына.

имѣлъ то съ тѣмъ, то съ другимъ! Недавно получилъ онъ отвѣтъ А—ва и прислалъ его мнѣ. А—въ даетъ мнѣ 400 франковъ. Вы знаете, что это человѣкъ порядочно обезпеченный, но отнюдь не богачъ — и по себѣ знаете, что за границей во всякое время 400 фр. — по крайней мѣрѣ — не лишнія деньги. Но это еще ничего — этого я всегда ожидалъ отъ А—ва, а вотъ что тронуло, ущипнуло меня за самое сердце: *для меня* этотъ человѣкъ измѣняетъ планъ своего путешествія, не ѣдетъ въ Грецію и Константинополь — а ѣдетъ въ Силезію! Отъ этого, я вамъ скажу, можно даже сконфузиться — и если бъ я не зналъ, не чувствовалъ глубоко, какъ сильно и много люблю я А—ва, мнѣ было бы досадно и непріятно такое происшествіе. Отправиться я думаю на первомъ пароходѣ"...

Спб. 12 (24) апрѣля 1847 г.

„Пишу къ вамъ нѣсколько строкъ, мой любезный Т. Вскорѣ по полученіи вашего второго ко мнѣ письма, въ которомъ вы изъявляете свое удовольствіе о здоровьѣ моего сына — онъ умеръ. Это меня уходило страшно. Я не живу — а умираю медленною смертью. Но къ дѣлу. Я взялъ билетъ на Штеттинскій пароходъ; онъ отходитъ 4 (16) мая"...

9-го (21-го) мая я свидѣлся съ Бѣлинскимъ въ Штеттинѣ, куда я выѣхалъ къ нему навстрѣчу. Мнѣ писали изъ Петербурга, что смерть трехмѣсячнаго сына поразила его несказанно. Году не прошло, и онъ послѣдовалъ за нимъ въ могилу.

И вотъ, уже двадцать лѣтъ слишкомъ прошло съ тѣхъ поръ—и я вызвалъ его дорогую тѣнь... Не знаю, насколько мнѣ удалось передать читателямъ главныя черты его образа; но я уже доволенъ тѣмъ, что онъ побылъ со мной, въ моемъ воспоминаніи...

„Человѣкъ онъ былъ!"

1868 г.

I.—Я получилъ отъ А. Д. Галахова письмо по поводу статьи о Бѣлинскомъ, появившейся, какъ извѣстно, въ „Вѣстникѣ Европы“*). омѣщаю здѣсь отрывокъ изъ этого письма. Въ немъ почтенный эторъ, мнѣніе котораго въ дѣлѣ исторіи литературы и критики ользуется справедливымъ уваженіемъ и вѣсомъ, до нѣкоторой епени пополняетъ мои воззрѣнія.

„...Что касается до какихъ-либо ошибокъ въ литературныхъ суженіяхъ или въ фактахъ — то я не встрѣтилъ ни единой. Могу ишь указать на одну, по моему мнѣнію, неточность. Вы говоите, что Бѣлинскій, цѣня искусство какъ особую, совершенно стественную и законную сферу духовной дѣятельности человѣка, е былъ поклонникомъ теоріи искусства для искусства, и въ доазательство приводите его отзывъ о стихотвореніи Пушкина: Чернь“. Мнѣ кажется, это не совсѣмъ такъ, по крайней мѣрѣ, ъ хронологическомъ отношеніи. Отзывъ принадлежитъ ко времени вашего знакомства съ Бѣлинскимъ. До этого времени (до 843-го г.) онъ уже работалъ и въ „Молвѣ“ съ „Телескопомъ“, и ъ „Наблюдателѣ“, и въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Изъ нѣоторыхъ критическихъ статей его, здѣсь помѣщенныхъ (особенно ъ „Наблюдателѣ“) — видно, что онъ признавалъ справедливость знаменитой формулы: цѣль искусства—само искусство. За что же онъ и напалъ такъ сильно на Менцеля (въ „Отечественныхъ Записках“), какъ не за то, что Менцель, въ своей „Исторіи нѣмецкой литературы“, подчинялъ эту послѣднюю цѣлямъ, лежащимъ внѣ литературной области, требовалъ отъ нея служенія политическимъ, гражданскимъ и инымъ видамъ, и съ этой точки зрѣнія преслѣдовалъ Гёте, восхваляя Шиллера? Я помню, что однажды, когда я зашелъ къ нему, онъ съ искреннимъ пафосомъ показывалъ мнѣ портреты Гегеля и Гёте, какъ высшихъ представителей чистой мысли и чистаго искусства“.

За симъ А. Д. Галаховъ, въ подкрѣпленіе словъ своихъ, приводитъ мѣсто изъ недавно вышедшаго труда А. Станкевича: „Т. Н. Грановскій“ (стр. 114—116).

Очевидно, что я долженъ былъ сдѣлать оговорку. Когда я познакомился съ Бѣлинскимъ, мнѣнія его были точно такія, какими я ихъ представилъ: онъ измѣнилъ ихъ незадолго передъ тѣмъ. Политическая струя въ немъ снова забила сильнѣе.

II.—А. Н. Пыпинъ, въ извѣстной своей біографіи Бѣлинскаго, оспариваетъ мое воззрѣніе на то, что я назвалъ неполитическимъ въ темпераментѣ Бѣлинскаго — и видитъ въ его „сдержанности“ одну неизбѣжную уступку особымъ условіямъ того времени. — Я готовъ согласиться съ почтеннымъ ученымъ: весьма вѣроятно, что оцѣнка г. Пыпинымъ *этой* стороны характера нашего вели-

*) Апрѣль, 1869, стр. 695.

каго критика—вѣрнѣе моей—о чемъ долгомъ считаю объяснить передъ читателями. Тотъ „огонь“, о которомъ я упомянулъ, никогда не угасалъ въ немъ, хотя не всегда могъ вырваться наружу.

Парижъ.—Сентябрь 1879.

III.—Гоголь.

(Жуковскій, Крыловъ, Лермонтовъ, Загоскинъ.)

Меня свелъ къ Гоголю покойный Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ. Помню день нашего посѣщенія: 20-е октября 1851 года. Гоголь жилъ тогда въ Москвѣ, на Никитской, въ домѣ Талызина, у графа Толстого. Мы пріѣхали въ часъ пополудни; онъ немедленно насъ принялъ. Комната его находилась возлѣ сѣней, направо. Мы вошли въ нее—и я увидѣлъ Гоголя, стоявшаго передъ конторкой съ перомъ въ рукѣ. Онъ былъ одѣтъ въ темное пальто, зеленый бархатный жилетъ и коричневыя панталоны. За недѣлю до того дня я его видѣлъ въ театрѣ, на представленіи „Ревизора“; онъ сидѣлъ въ ложѣ бель-этажа, около самой двери—и, вытянувъ голову, съ нервическимъ безпокойствомъ поглядывалъ на сцену, черезъ плечи двухъ дюжихъ дамъ, служившихъ ему защитой отъ любопытства публики. Мнѣ указалъ на него сидѣвшій рядомъ со мною Ѳ. Я быстро обернулся, чтобы посмотрѣть на него; онъ вѣроятно замѣтилъ это движеніе и немного отодвинулся назадъ, въ уголъ. Меня поразила перемѣна, происшедшая въ немъ съ 1841 года. Я раза два встрѣтилъ его тогда у Авдотьи Петровны Е—ной. Въ то время онъ смотрѣлъ приземистымъ и плотнымъ малороссомъ; теперь онъ казался худымъ и испитымъ человѣкомъ, котораго уже успѣла на порядкахъ измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное безпокойство примѣшивались къ постоянно-проницательному выраженію его лица.

Увидѣвъ насъ со Щепкинымъ, онъ съ веселымъ видомъ пошелъ къ намъ навстрѣчу и, пожавъ мнѣ руку, про-

олвилъ: „Намъ давно слѣдовало быть знакомыми“. Мы ли. Я—рядомъ съ нимъ, на широкомъ диванѣ; Михаилъ еменовичъ—на креслахъ, возлѣ него. Я попристальнѣе лядѣлся въ его черты. Его бѣлокурые волосы, которые ъ висковъ падали прямо, какъ обыкновенно у казаковъ, хранили еще цвѣтъ молодости, но уже замѣтно порѣ-ѣли; отъ его покатаго, гладкаго, бѣлаго лба попрежнему къ и вѣяло умомъ. Въ небольшихъ карихъ глазахъ скрилась по временамъ веселость — именно веселость, а е насмѣшливость; но вообще, взглядъ ихъ казался устаымъ. Длинный, заостренный носъ придавалъ физіономіи оголя нѣчто хитрое, лисье; невыгодное впечатлѣніе проводили также его одутловатыя, мягкія губы подъ остриженными усами; въ ихъ неопредѣленныхъ очертаніяхъ ыражались—такъ, по крайней мѣрѣ, мнѣ показалось—емныя стороны его характера: когда онъ говорилъ, онѣ епріятно раскрывались и выказывали рядъ нехорошихъ убовъ; маленькій подбородокъ уходилъ въ широкій бархатный черный галстукъ. Въ осанкѣ Гоголя, въ его тѣлодвиженіяхъ было что-то не профессорское, а учительское — что-то напоминавшее преподавателей въ провинціальныхъ институтахъ и гимназіяхъ. „Какое ты умное, и странное, и больное существо!“ невольно думалось, глядя на него. Помнится, мы съ Михаиломъ Семеновичемъ ѣхали къ нему, какъ къ необыкновенному, геніальному человѣку, у котораго что-то тронулось въ головѣ... вся Москва была о немъ такого мнѣнія. Михаилъ Семеновичъ предупредилъ меня, что съ нимъ не слѣдуетъ говорить о продолженіи „Мертвыхъ Душъ“, объ этой второй части, надъ которою онъ такъ долго и такъ упорно трудился и которую онъ, какъ извѣстно, сжегъ передъ смертію; что онъ этого разговора не любитъ. О „Перепискѣ съ друзьями“ я самъ не упомянулъ бы, такъ какъ ничего не могъ сказать о ней хорошаго. Впрочемъ, я и не готовился ни къ какой бесѣдѣ—а просто, жаждалъ видѣться съ человѣкомъ, творенія котораго я чуть не зналъ наизусть. Нынѣшнимъ молодымъ людямъ даже трудно растолковать обаяніе, окружавшее тогда его имя; теперь

же и нѣтъ никого, на комъ могло бы сосредоточиться общее вниманіе.

Щепкинъ заранѣе объявилъ мнѣ, что Гоголь не словоохотливъ; на дѣлѣ вышло иначе. Гоголь говорилъ много, съ оживленіемъ, размѣренно отталкивая и отчеканивая каждое слово—что̀ не только не казалось неестественнымъ, но, напротивъ, придавало его рѣчи какую-то пріятную вѣскость и впечатлительность. Онъ говорилъ на *о*; другихъ, для русскаго слуха менѣе любезныхъ, особенностей малороссійскаго говора, я не замѣтилъ. Все выходило ладно, складно, вкусно и мѣтко. Впечатлѣніе усталости, болѣзненнаго, нервическаго безпокойства, которое онъ сперва произвелъ на меня—исчезло. Онъ говорилъ о значеніи литературы, о призваніи писателя, о томъ, какъ слѣдуетъ относиться къ собственнымъ произведеніямъ; высказалъ нѣсколько тонкихъ и вѣрныхъ замѣчаній о самомъ процессѣ работы, самой, если можно такъ выразиться, физіологіи сочинительства; и все это—языкомъ образнымъ, оригинальнымъ—и, сколько я могъ замѣтить, нимало не подготовленнымъ заранѣе, какъ это сплошь да рядомъ бываетъ у „знаменитостей“. Только когда онъ завелъ рѣчь о цензурѣ, чуть не возвеличивая, чуть не одобряя ее, какъ средство развивать въ писателѣ сноровку, умѣніе защищать свое дѣтище, терпѣніе и множество другихъ христіанскихъ и свѣтскихъ добродѣтелей—только тогда—мнѣ показалось, что онъ черпаетъ изъ готоваго арсенала. Притомъ, доказывать такимъ образомъ необходимость цензуры—не значило ли рекомендовать и почти похваливать хитрость и лукавство рабства? Я могу еще допустить стихъ итальянскаго поэта: „Si, servi siam; ma servi ognor frementi“ *); но самодовольное смиреніе и плутовство рабства... нѣтъ! лучше не говорить объ этомъ. Въ подобныхъ измышленіяхъ и разсудительствахъ Гоголя слишкомъ явно выказывалось вліяніе тѣхъ особъ высшаго полета, которымъ посвящена бо̀льшая часть „Переписки“: оттуда шелъ этотъ затхлый и прѣсный духъ. Вообще, я

*) Мы рабы... да; но рабы, вѣчно негодующіе.

коро почувствовалъ, что между міросозерцаніемъ Гоголя моимъ—лежала цѣлая бездна. Не одно и то же мы ненавидѣли, не одно любили; но въ ту минуту—въ моихъ глазахъ все это не имѣло важности. Великій поэтъ, великій художникъ былъ передо мною, и я глядѣлъ на него, слушалъ его съ благоговѣніемъ, даже когда не соглашался съ нимъ.

Гоголь, вѣроятно, зналъ мои отношенія къ Бѣлинскому, къ Искандеру; о первомъ изъ нихъ, объ его письмѣ къ нему — онъ не заикнулся: это имя обожгло бы его губы. Но въ то время только-что появилась—въ одномъ заграничномъ изданіи—статья Искандера, въ которой онъ, по поводу пресловутой „Переписки“, упрекалъ Гоголя въ отступничествѣ отъ прежнихъ убѣжденій. Гоголь самъ заговорилъ объ этой статьѣ. Изъ его писемъ, напечатанныхъ послѣ его смерти (о! какую услугу оказалъ бы ему издатель, если бъ выкинулъ изъ нихъ цѣлыя двѣ трети, или, по крайней мѣрѣ, всѣ тѣ, которыя писаны къ свѣтскимъ дамамъ... болѣе противной смѣси гордыни и подыскиванія, ханжества и тщеславія, пророческаго и прихлебательскаго тона—въ литературѣ не существуетъ!)—изъ писемъ Гоголя мы знаемъ, какою неизлѣчимой раной зачегло въ его сердцѣ полное фіаско его „Переписки“—это фіаско, въ которомъ нельзя не привѣтствовать одно изъ немногихъ утѣшительныхъ проявленій тогдашняго общественнаго мнѣнія. И мы, съ покойнымъ М. С. Щепкинымъ, были свидѣтелями—въ день нашего посѣщенія—до какой степени эта рана наболѣла. Гоголь началъ увѣрять насъ—внезапно измѣнившимся, торопливымъ голосомъ,—что не можетъ понять, почему въ прежнихъ его сочиненіяхъ нѣкоторые люди находятъ какую-то оппозицію, что-то такое, чему онъ измѣнилъ впослѣдствіи;—что онъ всегда придерживался однихъ и тѣхъ же религіозныхъ и охранительныхъ началъ — и, въ доказательство того, готовъ намъ указать на нѣкоторыя мѣста въ одной своей, уже давно напечатанной, книгѣ... Промолвивъ эти слова, Гоголь съ почти юношеской живостью вскочилъ съ ди-

вана и побѣжалъ въ сосѣднюю комнату. Михаилъ Семенычъ только брови возвелъ горѣ—и указательный палец поднялъ... „Никогда такимъ его не видалъ“, шепнул онъ мнѣ...

Гоголь вернулся съ томомъ „Арабесокъ“ въ рукахъ— и началъ читать на выдержку нѣкоторыя мѣста одно изъ тѣхъ дѣтски-напыщенныхъ и утомительно-пустых статей, которыми наполненъ этотъ сборникъ. Помнится рѣчь шла о необходимости строгаго порядка, безусловна повиновенія властямъ и т. п. „Вотъ, видите, — твердил Гоголь:—я и прежде всегда то же думалъ, точно такія ж высказывалъ убѣжденія, какъ и теперь!.. Съ какой же стат упрекать меня въ измѣнѣ, въ отступничествѣ... Меня?“— И это говорилъ авторъ „Ревизора“, одной изъ самых отрицательныхъ комедій, какія когда-либо являлись н сценѣ! Мы съ Щепкинымъ молчали. Гоголь бросилъ, на конецъ, книгу на столъ и снова заговорилъ объ искусствѣ, о театрѣ; объявилъ, что остался недоволенъ игрою акте ровъ въ „Ревизорѣ“, что они „тонъ потеряли“, и что онъ готовъ имъ прочесть всю піесу съ начала до конца. Щепкинъ ухватился за это слово и тутъ же уладилъ, гдѣ и когда читать. Какая-то старая барыня пріѣхала къ Го голю; она привезла ему просфору съ вынутой частицей. Мы удалились.

Дня черезъ два происходило чтеніе „Ревизора“ въ одно изъ залъ того дома, гдѣ проживалъ Гоголь. Я выпросил позволеніе присутствовать на этомъ чтеніи. Покойны профессоръ Шевыревъ также былъ въ числѣ слушателе и — если не ошибаюсь — Погодинъ. Къ великому моем удивленію, далеко не всѣ актеры, участвовавшіе въ „Ре визорѣ“, явились на приглашеніе Гоголя: имъ показалос обиднымъ, что ихъ словно хотятъ учить! Ни одной актри сы также не пріѣхало. Сколько я могъ замѣтить, Гогол огорчилъ этотъ неохотный и слабый отзывъ на его пред ложеніе... Извѣстно, до какой степени онъ скупился н подобныя милости. Лицо его приняло выраженіе угрюмо

олодное; глаза подозрительно насторожились. Въ тотъ ь онъ смотрѣлъ, точно, больнымъ человѣкомъ. Онъ инялся читать — и понемногу оживился. Щеки покры- ь легкой краской; глаза расширились и посвѣтлѣли. талъ Гоголь превосходно... Я слушалъ его тогда въ овый—и въ послѣдній разъ. Диккенсъ, также превос- ный чтецъ, можно сказать разыгрываетъ свои романы, ніе его—драматическое, почти театральное: въ одномъ лицѣ является нѣсколько первоклассныхъ актеровъ, орые заставляютъ васъ то смѣяться, то плакать; Го- ь, напротивъ, поразилъ меня чрезвычайной простотой сдержанностью манеры, какой-то важной и въ то же емя наивной искренностью, которой словно и дѣла нѣтъ— ь ли тутъ слушатели и что они думаютъ. Казалось, голь только и заботился о томъ, какъ бы вникнуть въ едметъ, для него самого новый, и какъ бы вѣрнѣе пе- ать собственное впечатлѣніе. Эффектъ выходилъ не- чайный — особенно въ комическихъ, юмористическихъ стахъ; не было возможности не смѣяться—хорошимъ, ровымъ смѣхомъ; а виновникъ всей этой потѣхи про- жалъ, не смущаясь общей веселостью и какъ бы вну- нно дивясь ей, все болѣе и болѣе погружаться въ самое ю — и лишь изрѣдка, на губахъ и около глазъ, чуть нѣтно трепетала лукавая усмѣшка мастера. Съ какимъ оумѣніемъ, съ какимъ изумленіемъ Гоголь произнесъ менитую фразу Городничаго о двухъ крысахъ (въ са- мъ началѣ піесы). „Пришли, понюхали и пошли прочь!“— ъ даже медленно оглянулъ насъ, какъ бы спрашивая ьясненія такого удивительнаго происшествія. Я только ъ понялъ, какъ вообще невѣрно, поверхностно, съ ка- мъ желаніемъ только поскорѣй насмѣшить—обыкновенно зыгрывается на сценѣ „Ревизоръ“. Я сидѣлъ, погружен- й въ радостное умиленіе: это былъ для меня настоящій ръ и праздникъ. Къ сожалѣнію, онъ продолжался не- го. Гоголь еще не успѣлъ прочесть половину перваго а, какъ вдругъ дверь шумно растворилась и, торопливо ыбаясь и кивая головою, промчался черезъ всю комнату нъ еще очень молодой, но уже необыкновенно назой-

ераторъ — и, не сказавъ никому ни слова,
занять мѣсто въ углу. Гоголь остановился
ударилъ рукой по звонку—и съ сердцемъ
ледшему камердинеру: „Вѣдь я велѣлъ тебѣ
впускать?“ Молодой литераторъ слегка по
на стулѣ — а впрочемъ, не смутился
отпилъ немного воды — и снова принялся
ъ это было совсѣмъ не то. Онъ сталъ
тать себѣ подъ носъ, не доканчивать словъ;
пропускалъ цѣлыя фразы — и только махалъ
жиданное появленіе литератора его разстроило.
, очевидно, не выдерживали малѣйшаго толчка.
извѣстной сценѣ, гдѣ Хлестаковъ завирается,
ова ободрился и возвысилъ голосъ: ему хотѣлось
ать исполнявшему роль Ивана Александровича,
должно передавать это дѣйствительно затруднит
мѣсто. Въ чтеніи Гоголя оно показалось мнѣ есте
нымъ и правдоподобнымъ. Хлестаковъ увлеченъ и
ностью своего положенія, и окружающей его с
собственной легкомысленной юркостью; онъ и зн
вретъ,—и вѣритъ своему вранью: это нѣчто въ
нія, наитія, сочинительскаго восторга — это
ложь, не простое хвастовство. Его самого „по
„Просители въ передней жужжатъ, 35 тысячъ
скачетъ — а дурачье, молъ, слушаетъ, развѣ
какой я, моль, бойкій, игривый, свѣтскій м
вѣкъ!“ Вотъ какое впечатлѣніе производи
Гоголя хлестаковскій монологъ. Но, вообщ
ніе „Ревизора“ въ тотъ день было — как
выразился—не болѣе, какъ намекъ, эскиз
лости непрошеннаго литератора, который
нецеремонность до того, что остался по
блѣднѣвшаго, усталаго Гоголя и втерс
кабинетъ.

Въ сѣняхъ я разстался съ нимъ и у
далъ его больше; но его личности
возымѣть значительное вліяніе на мо

Послѣднихъ числахъ февраля мѣсяца слѣдующаго
года, я находился на одномъ утреннемъ засѣданіи
ъ потомъ погибшаго общества посѣщенія бѣдныхъ—
ъ Дворянскаго Собранія, — и вдругъ замѣтилъ И.
наева, который съ судорожной поспѣшностью пере-
ъ отъ одного лица къ другому, очевидно, сообщая
ому изъ нихъ неожиданное и невеселое извѣстіе, ибо
ждаго лицо тотчасъ выражало удивленіе и печаль.
евъ, наконецъ, подбѣжалъ и ко мнѣ — и съ легкой
очкой, равнодушнымъ тономъ промолвилъ: „А ты
шь, Гоголь померъ въ Москвѣ. Какъ же, какъ же...
бумаги сжёгъ—да померъ“,—помчался далѣе. Нѣтъ
кого сомнѣнія, что, какъ литераторъ, Панаевъ вну-
но скорбѣлъ о подобной утратѣ — притомъ же, и
це онъ имѣлъ доброе—но удовольствіе быть первымъ
вѣкомъ, сообщающимъ другому огорашивающую но-
(равнодушный тонъ употреблялся для бо́льшаго
у)—это удовольствіе, эта радость заглушали въ немъ
е другое чувство. Уже нѣсколько дней въ Петер-
ѣ ходили темные слухи о болѣзни Гоголя; но такого
да никто не ожидалъ. Подъ первымъ впечатлѣніемъ
ценнаго мнѣ извѣстія я написалъ слѣдующую не-
пую статью:

Письмо изъ Петербурга *).

голь умеръ!—Какую русскую душу не потрясутъ эти
слова?—Онъ умеръ. Потеря наша такъ жестока, такъ
ипна, что намъ все еще не хочется ей вѣрить. Въ то
е время, когда мы всѣ могли надѣяться, что онъ
шитъ, наконецъ, свое долгое молчаніе, что онъ обра-
ь, превзойдетъ наши нетерпѣливыя ожиданія,—при-
эта роковая вѣсть!—Да, онъ умеръ, этотъ человѣкъ,
раго мы теперь имѣемъ право, горькое право, данное
смертію, назвать великимъ; человѣкъ, который своимъ
емъ означилъ эпоху въ исторіи нашей литературы;
вѣкъ, которымъ мы гордимся, какъ одной изъ славъ
ихъ!—Онъ умеръ, пораженный въ самомъ цвѣтѣ лѣтъ,

*) „Московскія Вѣдомости“, 1852 г., марта 13-го, № 32, стр. 328

въ разгарѣ силъ своихъ, не окончивъ начатаго дѣла, подобно благороднѣйшимъ изъ его предшественниковъ. Его утрата возобновляетъ скорбь о тѣхъ незабвенныхъ утратахъ, какъ новая рана возбуждаетъ боль старинныхъ язвъ. Не время теперь и не мѣсто говорить объ его заслугахъ—это дѣло будущей критики; должно надѣяться, что она пойметъ свою задачу и оцѣнитъ его тѣмъ безпристрастнымъ, но исполненнымъ уваженія и любви судомъ, которымъ подобные ему люди судятся передъ лицомъ потомства; намъ теперь не до того: намъ только хочется быть однимъ изъ отголосковъ той великой скорби, которую мы чувствуемъ разлитою повсюду вокругъ насъ; не оцѣнять его намъ хочется, но плакать; мы не въ силахъ говорить теперь спокойно о Гоголѣ... самый любимый, самый знакомый образъ неясенъ для глазъ, орошенныхъ слезами... Въ день, когда его хоронитъ Москва, намъ хочется протянуть ей отсюда руку — соединиться съ ней въ одномъ чувствѣ общей печали. Мы не могли взглянуть въ послѣдній разъ на его безжизненное лицо; но мы шлемъ ему издалека нашъ прощальный привѣтъ—и съ благоговѣйнымъ чувствомъ слагаемъ дань нашей скорби и нашей любви на его свѣжую могилу, въ которую намъ не удалось, подобно москвичамъ, бросить горсть родимой земли!— Мысль, что прахъ его будетъ покоиться въ Москвѣ, наполняетъ насъ какимъ-то горестнымъ удовлетвореніемъ. Да, пусть онъ покоится тамъ, въ этомъ сердцѣ Россіи, которую онъ такъ глубоко зналъ и такъ любилъ, такъ горячо любилъ, что одни легкомысленные или близорукіе люди не чувствуютъ присутствія этого любовнаго пламени въ каждомъ имъ сказанномъ словѣ! Но невыразимо тяжело было бы намъ подумать, что послѣдніе, самые зрѣлые плоды его генія погибли для насъ невозвратно—и мы съ ужасомъ внимаемъ жестокимъ слухамъ объ ихъ истребленіи...

Едва ли нужно говорить о тѣхъ немногихъ людяхъ, которымъ слова наши покажутся преувеличенными, или даже вовсе неумѣстными... Смерть имѣетъ очищающую и примиряющую силу; клевета и зависть, вражда и недо-

мавумѣнія — все смолкаетъ передъ самою обыкновенною могилой! они не заговорятъ надъ могилою Гоголя. Какое бы ни было окончательное мѣсто, которое оставитъ за нимъ исторія, мы увѣрены, что никто не откажется повторить теперь же вслѣдъ за нами: миръ его праху, вѣчная память его жизни, вѣчная слава его имени!

Т.....въ *).

Я препроводилъ эту статью въ одинъ изъ петербургскихъ журналовъ; но именно въ то время цензурныя строгости стали весьма усиливаться съ нѣкоторыхъ поръ.. Подобныя „crescendo“ происходили довольно часто и— для посторонняго зрителя — такъ же безпричинно, какъ, напримѣръ, увеличеніе смертности въ эпидеміяхъ. Статья моя не появилась ни въ одинъ изъ послѣдовавшихъ за тѣмъ дней. Встрѣтившись на улицѣ съ издателемъ, я спросилъ его, что бы это значило?—„Видите, какая погода“, отвѣчалъ онъ мнѣ иносказательною рѣчью: — „и думать нечего“.—Да вѣдь статья самая невинная, замѣтилъ я.—„Невинная ли, нѣтъ ли“, возразилъ издатель:— „дѣло не въ томъ; вообще, имя Гоголя не велѣно упоминать. Закревскій на похоронахъ въ андреевской лентѣ присутствовалъ: этого здѣсь переварить не могутъ“. Вскорѣ потомъ я получилъ отъ одного пріятеля изъ Москвы письмо, наполненное упреками: „Какъ!—восклицалъ онъ:—Гоголь умеръ, и хоть бы одинъ журналъ у васъ въ Петербургѣ отозвался! Это молчаніе постыдно!“—Въ отвѣтѣ моемъ я объяснилъ—сознаюсь, въ довольно рѣзкихъ выраженіяхъ— моему пріятелю причину этого молчанія, и въ доказа-

*) По поводу этой статьи (о ней тогда же кто-то весьма справедливо сказалъ, что нѣтъ богатаго купца, о смерти котораго журналы не отозвались бы съ бо́льшимъ жаромъ) — мнѣ вспоминается слѣдующее: одна очень высокопоставленная дама — въ Петербургѣ — находила, что наказаніе, которому я подвергся за эту статью, было незаслуженно — и, во всякомъ случаѣ, слишкомъ строго, жестоко... Словомъ, она горячо заступалась за меня. „Но вѣдь вы не знаете, доказалъ ей кто-то: — онъ въ своей статьѣ называетъ Гоголя великимъ человѣкомъ!“ — Не можетъ быть! — „Увѣряю васъ“. — А! въ такомъ случаѣ, я ничего не говорю: je regrette, mais je comprends qu' on ait dû sévir.

тельство, какъ документъ, приложилъ мою запрещенную статью. Онъ ее представилъ немедленно на разсмотрѣніе тогдашняго попечителя московскаго округа — генерала Назимова — и получилъ отъ него разрѣшеніе напечатать ее въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“. Это происходило въ половинѣ марта, а 16-го апрѣля я — за ослушаніе и нарушеніе цензурныхъ правилъ—былъ посаженъ на мѣсяцъ подъ арестъ въ части (первые двадцать четыре часа я провелъ въ сибиркѣ и бесѣдовалъ съ изысканно-вѣжливымъ и образованнымъ полицейскимъ унтеръ-офицеромъ, который разсказывалъ мнѣ о своей прогулкѣ въ Лѣтнемъ Саду и объ „ароматѣ птицъ“) — а потомъ отправленъ на жительство въ деревню. Я нисколько не намѣренъ обвинять тогдашнее правительство: попечитель с.-петербургскаго округа, теперь уже покойный Мусинъ-Пушкинъ, представилъ—изъ неизвѣстныхъ мнѣ видовъ—все дѣло, какъ явное неповиновеніе съ моей стороны; онъ не поколебался завѣрить высшее начальство, что *онъ призывалъ меня лично, и лично передалъ мнѣ запрещеніе цензурнаго комитета печатать мою статью* (одно цензорское запрещеніе не могло помѣшать мнѣ—въ силу существовавшихъ постановленій—подвергнуть статью мою суду другого цензора), *а я г. Мусина-Пушкина и въ глаза не видалъ и никакого съ нимъ объясненія не имѣлъ.* Нельзя же было правительству подозрѣвать сановника, довѣренное лицо,— въ подобномъ искаженіи истины! Но все къ лучшему; пребываніе подъ арестомъ, а потомъ въ деревнѣ принесло мнѣ несомнѣнную пользу: оно сблизило меня съ такими сторонами русскаго быта, которыя, при обыкновенномъ ходѣ вещей, вѣроятно, ускользнули бы отъ моего вниманія.

Уже дописывая предыдущую строку, я вспомнилъ, что первое мое свиданіе съ Гоголемъ происходило гораздо раньше, чѣмъ я сказалъ въ началѣ. А именно: я былъ однимъ изъ его слушателей въ 1835 г., когда онъ преподавалъ (!) исторію въ с.-петербургскомъ университетѣ. Это преподаваніе, правду сказать, происходило оригинальнымъ образомъ. Во-первыхъ, Гоголь изъ трехъ лекцій

непремѣнно пропускалъ двѣ; во-вторыхъ, даже когда онъ появлялся на каѳедрѣ—онъ не говорилъ, а шепталъ что-то весьма несвязное, показывалъ намъ маленькія гравюры на стали, изображавшія виды Палестины и другихъ восточныхъ странъ — и все время ужасно конфузился. Мы всѣ были убѣждены (и едва ли мы ошибались), что онъ ничего не смыслитъ въ исторіи—и что г. *Гоголь-Яновскій*, нашъ профессоръ (онъ такъ именовался въ расписаніи лекцій), не имѣетъ ничего общаго съ писателемъ Гоголемъ, уже извѣстнымъ намъ, какъ авторъ „Вечеровъ на Хуторѣ близъ Диканьки“. На выпускномъ экзаменѣ изъ своего предмета онъ сидѣлъ, повязанный платкомъ, яко бы отъ зубной боли — съ совершенно-убитой физіономіей — и не разѣвалъ рта. Спрашивалъ студентовъ за него профессоръ И. П. Шульгинъ. Какъ теперь вижу его худую, длинноносую фигуру съ двумя высоко торчавшими — вмѣсто ушей — концами чернаго шелковаго платка. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ самъ хорошо понималъ весь комизмъ и всю неловкость своего положенія: онъ въ томъ же году подалъ въ отставку. Это не помѣшало ему, однако, воскликнуть: „Непризнанный, взошелъ я на каѳедру—и непризнанный схожу съ нея!“—Онъ былъ рожденъ для того, чтобъ быть наставникомъ своихъ современниковъ; но только не съ каѳедры.

Въ предыдущемъ (первомъ) отрывкѣ я упомянулъ о моей встрѣчѣ съ Пушкинымъ; скажу, кстати, нѣсколько словъ и о другихъ, теперь уже умершихъ, литературныхъ знаменитостяхъ, которыя мнѣ удалось видѣть. Начну съ Жуковскаго. Живя—вскорѣ послѣ двѣнадцатаго года—въ своей деревнѣ, въ Бѣлевскомъ уѣздѣ, онъ нѣсколько разъ посѣтилъ мою матушку—тогда еще дѣвицу—въ ея Мценскомъ имѣніи; сохранилось даже преданіе, что онъ въ одномъ домашнемъ спектаклѣ игралъ роль волшебника, и чуть ли не видѣлъ я самый колпакъ его съ золотыми звѣздами — въ кладовой родительскаго дома. Но съ тѣхъ поръ прошли долгіе годы—и, вѣроятно, изъ памяти его изгладилось самое воспоминаніе о деревенской

барышнѣ, съ которой онъ познакомился случайно и мимоходомъ. Въ годъ переселенія нашего семейства въ Петербургъ—мнѣ было тогда 16 лѣтъ—моей матушкѣ вздумалось напомнить о себѣ Василію Андреевичу. Она вышила ко дню его именинъ красивую бархатную подушку и послала меня съ нею къ нему въ Зимній дворецъ. Я долженъ былъ назвать себя, объяснить, чей я сынъ, и поднести подарокъ. Но когда я очутился въ огромномъ, до тѣхъ поръ мнѣ незнакомомъ дворцѣ, когда мнѣ пришлось пробираться по каменнымъ длиннымъ коридорамъ, подниматься на каменныя лѣстницы, то-и-дѣло натыкаясь на неподвижныхъ, словно тоже каменныхъ, часовыхъ; когда я, наконецъ, отыскалъ квартиру Жуковскаго и очутился передъ трехъ-аршиннымъ краснымъ лакеемъ съ галунами по всѣмъ швамъ и орлами на галунахъ — меня овладѣлъ такой трепетъ, я почувствовалъ такую робость, что, представъ въ кабинетъ, куда пригласилъ меня красный лакей и гдѣ изъ-за длинной конторки глянуло на меня задумчиво-привѣтливое, но важное и нѣсколько изумленное лицо самого поэта — я, несмотря на всѣ усилія, не могъ произнести звука: языкъ, какъ говорится, прильнулъ къ гортани, и, весь сгорая отъ стыда, едва ли не со слезами на глазахъ, я остановился, какъ вкопанный, на порогѣ двери, и только протягивалъ и поддерживалъ обѣими руками — какъ младенца при крещеніи — несчастную подушку, на которой, какъ теперь помню, была изображена дѣвица въ средневѣковомъ костюмѣ, съ попугаемъ на плечѣ. Смущеніе мое, вѣроятно, возбудило чувство жалости въ доброй душѣ Жуковскаго; онъ подошелъ ко мнѣ, тихонько взялъ у меня подушку, попросилъ меня сѣсть и снисходительно заговорилъ со мною. Я объяснилъ ему, наконецъ, въ чемъ было дѣло, — и, какъ только могъ, бросился бѣжать.

Уже тогда Жуковскій, какъ поэтъ, потерялъ въ глазахъ моихъ прежнее значеніе; но все-таки я радовался нашему, хотя и неудачному свиданію, и придя домой, съ особеннымъ чувствомъ припоминалъ его улыбку, ласко-

ный звукъ его голоса, его медленныя и пріятныя движенія. Портреты Жуковскаго почти всѣ очень похожи; физіономія его не была изъ тѣхъ, которыя уловить трудно, которыя часто мѣняются. Конечно, въ 1843 г. въ немъ и слѣда не оставалось того болѣзненнаго юноши, какимъ представлялся воображенію нашихъ отцовъ „Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ"; онъ сталъ осанистымъ, почти полнымъ человѣкомъ. Лицо его, слегка припухлое, молочнаго цвѣта, безъ морщинъ, дышало спокойствіемъ; онъ держалъ голову наклонно, какъ бы прислушиваясь и размышляя; тонкіе, жидкіе волосы всходили косицами на совсѣмъ почти лысый черепъ, тихая благость свѣтилась въ углубленномъ взглядѣ его темныхъ, на китайскій ладъ приподнятыхъ глазъ, а на довольно крупныхъ, но правильно очерченныхъ губахъ постоянно присутствовала чуть замѣтная, но искренняя улыбка благоволенія и привѣта. Полувосточное происхожденіе его (мать его была, какъ извѣстно, турчанка) — сказывалось во всемъ его обликѣ.

Нѣсколько недѣль спустя, меня еще разъ свелъ къ нему старинный пріятель нашего семейства, Воинъ Ивановичъ Губаревъ, замѣчательное, типическое лицо. Небогатый помѣщикъ Кромскаго уѣзда, Орловской губерніи, онъ во время ранней молодости находился въ самой тѣсной связи съ Жуковскимъ, Блудовымъ, Уваровымъ; онъ въ ихъ кружкѣ былъ представителемъ французской философіи, скептическаго, энциклопедическаго элемента, раціонализма, словомъ—XVIII вѣка. Губаревъ превосходно говорилъ по-французски, Вольтера зналъ наизусть и ставилъ выше всего на свѣтѣ; другихъ сочинителей онъ едва ли читалъ; складъ его ума былъ чисто французскій, до-революціонный, спѣшу прибавить. Я до сихъ поръ помню его почти постоянный, громкій и холодный смѣхъ, его развязныя, слегка циническія сужденія и выходки. Уже одна его наружность осуждала его на одинокую — и независимую жизнь: это былъ человѣкъ весьма собою некрасивый, толстый, съ огромной головой и рябинами по всему лицу.

Долгое пребываніе въ провинціи наложило на него, наконецъ, свою печать; но онъ остался „типомъ“ до конца, и до конца, подъ бѣднымъ казакиномъ мелкаго дворянчика, носящаго дома смазные сапоги, сохранилъ свободу и даже изящество манеръ. Я не знаю причины, почему онъ не пошелъ въ гору, не составилъ себѣ карьеры, какъ его товарищи. Вѣроятно, въ немъ не было надлежащей настойчивости, не было честолюбія: оно плохо уживается съ тѣмъ полу-равнодушнымъ, полу-насмѣшливымъ эпикуреизмомъ, который онъ заимствовалъ отъ своего образца—Вольтера; а таланта литературнаго онъ въ себѣ не признавалъ; фортуна ему не улыбнулась—онъ такъ и стушевался, заглохъ, сталъ бобылемъ. Но любопытно было бы прослѣдить, какъ этотъ закоренѣлый вольтеріанецъ въ молодости обходился съ своимъ пріятелемъ, будущимъ „балладникомъ“ и переводчикомъ Шиллера! Бо́льшаго противорѣчія и придумать нельзя; но сама жизнь есть не что иное, какъ постоянно побѣждаемое противорѣчіе.

Жуковскій — въ Петербургѣ — вспомнилъ стараго пріятеля и не забылъ, чѣмъ можно было его порадовать: подарилъ ему новое, прекрасно переплетенное собраніе полныхъ сочиненій Вольтера. Говорятъ, незадолго до смерти—а Губаревъ жилъ долго — сосѣди видѣли его въ его полуразрушенной хижинкѣ, сидѣвшаго за убогимъ столомъ, на которомъ лежалъ подарокъ его знаменитаго друга. Онъ бережно переворачивалъ золотообрѣзные листы любимой книги—и въ глуши степного захолустья, искренно, какъ и въ дни молодости, тѣшился остротами, которыми забавлялись нѣкогда Фридрихъ Великій въ Сан-Суси и Екатерина Вторая въ Царскомъ Селѣ. Другого ума, другой поэзіи, другой философіи для него не существовало. Это, разумѣется, не мѣшало ему носить на шеѣ цѣлую кучу образовъ и ладонокъ—и состоять подъ командой безграмотной ключницы... Логика противорѣчій!

Съ Жуковскимъ я больше не встрѣчался.

Крылова я видѣлъ всего одинъ разъ — на вечерѣ у одного чиновнаго, но слабаго петербургскаго литератора.

Онъ просидѣлъ часа три слишкомъ, неподвижно, между двумя окнами — и хоть бы слово промолвилъ! На немъ былъ просторный поношенный фракъ, бѣлый шейный платокъ; сапоги съ кисточками облекали его тучныя ноги. Онъ опирался обѣими руками на колѣни—и даже не поворачивалъ своей колоссальной, тяжелой и величавой головы; только глаза его изрѣдка двигались подъ нависшими бровями. Нельзя было понять: что онъ, слушаетъ и и на усъ себѣ мотаетъ, или просто *такъ* сидитъ и существуетъ"? Ни сонливости, ни вниманія на этомъ широкомъ, прямо русскомъ лицѣ—а только ума палата, а заматерѣлая лѣнь, да по временамъ что-то лукавое словно хочетъ выступить наружу и не можетъ — или не хочетъ — пробиться сквозь весь этотъ старческій жиръ... Хозяинъ, наконецъ, попросилъ его пожаловать къ ужину. „Поросенокъ подъ хрѣномъ для васъ приготовленъ, Иванъ Андреичъ", замѣтилъ онъ хлопотливо и какъ бы исполняя неизбѣжный долгъ. Крыловъ посмотрѣлъ на него не то привѣтливо, не то насмѣшливо... „Такъ-таки непремѣнно поросенокъ?" — казалось, внутренно промолвилъ онъ — грузно всталъ и, грузно шаркая ногами, пошелъ занять свое мѣсто за столомъ.

Лермонтова я тоже видѣлъ всего два раза: въ домѣ одной знатной петербургской дамы, княгини Ш....ой, и нѣсколько дней спустя, на маскарадѣ въ Благородномъ Собраніи, подъ новый 1840 годъ. У княгини Ш....ой, я, весьма рѣдкій, непривычный посѣтитель свѣтскихъ вечеровъ, лишь издали, изъ уголка, куда я забился, наблюдалъ за быстро вошедшимъ въ славу поэтомъ. Онъ помѣстился на низкомъ табуретѣ передъ диваномъ, на которомъ, одѣтая въ черное платье, сидѣла одна изъ тогдашнихъ столичныхъ красавицъ — бѣлокурая графиня М. П. — рано погибшее, дѣйствительно прелестное созданіе! На Лермонтовѣ былъ мундиръ лейбъ-гвардіи гусарскаго полка; онъ не снялъ ни сабли, ни перчатокъ — и, горбившись и насупившись, угрюмо посматривалъ на графиню. Она мало съ нимъ разговаривала и чаще обра-

щалась къ сидѣвшему рядомъ съ нимъ графу Ш...у, то гусару. Въ наружности Лермонтова было что-то зловѣщ и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй сил задумчивой презрительностью и страстью вѣяло отъ е смуглаго лица, отъ его большихъ и неподвижно-темны глазъ. Ихъ тяжелый взоръ странно несогласовался выраженіемъ почти дѣтски-нѣжныхъ и выдававшихся губ Вся его фигура, приземистая, кривоногая, съ больш головой на сутулыхъ, широкихъ плечахъ возбужда ощущеніе непріятное; но присущую мощь тотчасъ созн валъ всякій. Извѣстно, что онъ до нѣкоторой степе изобразилъ самого себя въ Печоринѣ. Слова: „Глаза е не смѣялись, когда онъ смѣялся“ *) и т. д. — дѣйстви тельно, примѣнялись къ нему. Помнится, графъ Ш. его собесѣдница внезапно засмѣялись чему-то и смѣялис долго; Лермонтовъ также засмѣялся, но въ то же врем съ какимъ-то обиднымъ удивленіемъ оглядывалъ ихъ об ихъ. Несмотря на это, мнѣ все-таки казалось, что и граф Ш...а онъ любилъ, какъ товарища—и къ графинѣ питал чувство дружелюбное. Не было сомнѣнія, что онъ, слѣду тогдашней модѣ, напустилъ на себя извѣстнаго рода Бай роновскій жанръ, съ примѣсью другихъ, еще худши капризовъ и чудачествъ. И дорого же онъ поплатился з нихъ! — Внутренно Лермонтовъ, вѣроятно, скучалъ гл боко; онъ задыхался въ тѣсной сферѣ, куда его втолкну ла судьба. — На балѣ Дворянскаго Собранія ему не да вали покоя, безпрестанно приставали къ нему, брали е за руки; одна маска смѣнялась другою, а онъ почти н сходилъ съ мѣста и молча слушалъ ихъ писк, поче редно обращая на нихъ свои сумрачные глаза. Мнѣ тогд же почудилось, что я уловилъ на лицѣ его прекрасно выраженіе поэтическаго творчества. Быть-можетъ, ем приходили въ голову тѣ стихи:

Когда касаются холодныхъ рукъ моихъ
Съ небрежной смѣлостью красавицъ городскихъ
Давно безтрепетныя руки... и т. д.

*) „Герой нашего времени“, стр. 280. Сочиненія Лермонтова, и 1870 г.

Скажу, кстати, два слова еще объ одномъ умершемъ литераторѣ, хотя онъ и принадлежитъ къ „diis minorum gentium“, и уже никакъ не можетъ стать на ряду съ поименованными выше—а именно, о М. Н. Загоскинѣ. Онъ былъ короткимъ пріятелемъ моего отца и въ тридцатыхъ годахъ, во время нашего пребыванія въ Москвѣ, почти ежедневно посѣщалъ нашъ домъ. Его „Юрій Милославскій“ былъ первымъ сильнымъ литературнымъ впечатлѣніемъ моей жизни. Я находился въ пансіонѣ нѣкоего г. Вейденгаммера, когда появился знаменитый романъ; учитель русскаго языка — онъ же и классный надзиратель—разсказалъ, въ часы рекреаціи, моимъ товарищамъ и мнѣ его содержаніе. Съ какимъ пожирающимъ вниманіемъ мы слушали похожденія Кирши, слуги Милославскаго, Алексѣя, разбойника Омляша!—Но—странное дѣло! „Юрій Милославскій“ казался мнѣ чудомъ совершенства, а на автора его, на М. Н. Загоскина, я взиралъ довольно равнодушно. За объясненіемъ этого факта ходить недалеко: впечатлѣніе, производимое Михаиломъ Николаевичемъ, не только не могло усилить тѣ чувства поклоненія и восторга, которыя возбуждалъ его романъ, но напротивъ—оно должно было ослабить ихъ. Въ Загоскинѣ не проявлялось ничего величественнаго, ничего фатальнаго, ничего такого, что дѣйствуетъ на юное воображеніе; говоря правду, онъ былъ даже довольно комиченъ, а рѣдкое его добродушіе не могло быть надлежащимъ образомъ оцѣнено мною: *это* качество не имѣетъ значенія въ глазахъ легкомысленной молодежи. Самая фигура Загоскина, его странная, словно сплюснутая голова, четырехугольное лицо, выпученные глаза подъ вѣчными очками, близорукій и тупой взглядъ, необычныя движенія бровей, губъ, носа, когда онъ удивлялся или даже просто говорилъ, внезапныя восклицанія, взмахи рукъ, глубокая впадина, раздѣлявшая надвое его короткій подбородокъ—все въ немъ мнѣ казалось чудаковатымъ, неуклюжимъ, забавнымъ. Къ тому же, за нимъ водились три, тоже довольно комическія, слабости: онъ воображалъ себя не-

обыкновеннымъ силачомъ *); онъ былъ увѣренъ, что ни какая женщина не въ состояніи устоять передъ нимъ; и наконецъ (и это въ такомъ рьяномъ патріотѣ было особенно удивительно)—онъ питалъ несчастную слабость к французскому языку, который коверкалъ безъ милости, безпрестанно смѣшивая числа и роды, такъ что даже получилъ въ нашемъ домѣ прозвище: „Monsieur l'article". Со всѣмъ тѣмъ, нельзя было не любить Михаила Ни колаевича за его золотое сердце, за ту безыскусствен ную откровенность нрава, которая поражаетъ въ его со чиненіяхъ.

Послѣднее мое свиданіе съ нимъ было печально. Я на вѣстилъ его, много лѣтъ спустя, — въ Москвѣ, незадол передъ смертью. Онъ уже не выходилъ изъ своего каби нета и жаловался на постоянную боль и ломоту во всѣх членахъ. Онъ не похудѣлъ, но мертвенная блѣдность по крывала его все еще полныя щеки, придавая имъ тѣм болѣе унылый видъ. Взмахи бровей и таращеніе глаз остались тѣ же; невольный комизмъ этихъ движен только усугублялъ чувство жалости, которую возбужда вся фигура бѣднаго сочинителя, явно клонившаяся к разрушенію. Я заговорилъ съ нимъ объ его литературн дѣятельности, о томъ, что въ петербургскихъ кружках снова стали цѣнить его заслуги, отдавать ему справедл вость; упомянулъ о значеніи „Юрія Милославскаго", как народной книги... Лицо Михаила Николаевича оживилос „Ну, спасибо, спасибо,—сказалъ онъ мнѣ: — а я уже д малъ, что я забытъ, что нынѣшняя молодежь въ гря меня втоптала и бревномъ меня накрыла". (Со мной Ми хаилъ Николаевичъ не говорилъ по-французски — а

*) Легенда о его силѣ проникла даже за границу. На одномъ пу личномъ чтеніи въ Германіи я, къ удивленію моему, услыхалъ бал ду, въ которой описывалось, какъ въ столицу Московіи прибылъ ге кулесъ Раппо, и давая представленія на театрѣ, всѣхъ вызывалъ всѣхъ побѣждалъ; какъ внезапно, среди зрителей, не вытерпѣвъ с срамленія соотечественниковъ, поднялся der russiche Dichter: stel auf der Zagoskin! (съ удареніемъ на *кинъ*) — какъ онъ сразился Раппо и, побѣдивъ его, удалился скромно и съ достоинствомъ.

усскомъ разговорѣ онъ любилъ употреблять выраженія нергическія). „Спасибо“, повторилъ онъ, не безъ волненія и съ чувствомъ пожавъ мнѣ руку, точно я былъ причиною того, что его не забыли. Помнится, довольно горькія мысли о такъ-называемой литературной извѣстности пришли мнѣ въ голову тогда. Внутренно я почти упрекулъ Загоскина въ малодушіи. Чему, думалъ я, радуется еловѣкъ? — Но отчего же было ему и не радоваться? —)нъ услыхалъ отъ меня, что не совсѣмъ умеръ... а вѣдь орше смерти для человѣка нѣтъ ничего. Иная литераурная извѣстность можетъ, пожалуй, дожить до того, то и этой ничтожной радости не узнаетъ. За періодомъ егкомысленныхъ восхваленій послѣдуетъ періодъ столе мало осмысленной брани, а тамъ — безмолвное забвеіе... Да и кто изъ насъ имѣетъ право не быть забымъ — право отягощать своимъ именемъ память потомковъ, у которыхъ свои нужды, свои заботы, свои стремленія?

А все-таки, я радъ, что я, совершенно случайно, доставилъ доброму Михаилу Николаевичу, передъ концомъ его жизни,—хотя мгновенное удовольствіе.

IV. — Поѣздка въ Альбано и Фраскати.

Воспоминаніе объ А. А. Ивановѣ.

Въ одинъ изъ прекраснѣйшихъ октябрьскихъ дней 1857 года, старая наемная карета тихо катилась, дребезжа стеклами, по шоссе, ведущему отъ Рима въ Альбано.

На козлахъ возвышался веттуринъ съ угрюмымъ лицомъ и громадными бакенбардами, по всѣмъ признакамъ— тъявленный трусъ и сластолюбецъ; а въ самой каретѣ идѣло трое русскихъ „форестіера“: покойный живописецъ Ивановъ, В. П. Боткинъ *) и я. Впрочемъ, названіе форестіера могло примѣняться только къ Боткину и о мнѣ. Ивановъ, — или, какъ его величали отъ тракира Falcone до Cafe Greco, — il signor Alessandro — и

*) И онъ уже теперь не существуетъ.

по одеждѣ, и по привычкамъ, давно сталъ коренным римлянином.

День стоялъ удивительный—и уже точно не доступный ни перу, ни кисти; извѣстно, что ни одинъ пейзажистъ, послѣ Клодъ-Лорреня, не могъ справиться съ римской природой; писатели оказались также несостоятельными—(стоитъ лишь вспомнить „Римъ“ Гоголя и др.). А потому скажу только, что воздухъ былъ прозраченъ и мягокъ, солнце сіяло лучезарно, но не жгло, вѣтерокъ залеталъ въ раскрытыя окна кареты и ласкалъ наши, уже немолодыя, физіономіи — и мы ѣхали, окруженные какимъ-то праздничнымъ, осеннимъ блескомъ — и съ праздничнымъ, тоже, пожалуй, осеннимъ чувствомъ на душѣ.

Мы наканунѣ, вмѣстѣ съ Ивановымъ, ходили въ Ватиканъ; онъ былъ въ ударѣ, не дичился и не ёжился, говорилъ охотно и много. — Онъ говорилъ намъ о различныхъ школахъ итальянской живописи, которую изучилъ подробно и добросовѣстно; всѣ его сужденія были дѣльны и проникнуты уваженіемъ къ „старымъ мастерамъ“. Передъ Рафаэлемъ онъ благоговѣлъ. Извѣстно, что на Иванова нѣкогда имѣлъ сильное вліяніе Овербекъ; онъ уяснилъ ему Рафаэля; но когда Овербекъ пошелъ дальше, къ Перуджино и его предшественникамъ, Ивановъ остановился: русскій здравый смыслъ удержалъ его на порогѣ того искусственнаго, аскетическаго, символическаго міра, въ которомъ потонулъ германскій художникъ; за то идеалистъ Ивановъ остался навсегда въ глазахъ Овербека грубымъ реалистомъ. Ивановъ глубоко сожалѣлъ о современномъ направленіи нашихъ художниковъ — (одинъ изъ нихъ при мнѣ величалъ Рафаэля *бездарнымъ*),—и разсказывалъ намъ кое-что о Брюлловѣ и о Гоголѣ, котораго называлъ постоянно Николаемъ Васильичемъ. Изъ его почтительныхъ, но осторожныхъ отзывовъ о нашемъ великомъ писателѣ можно было заключить, что онъ особенно хорошо изучилъ его. Гоголь нисколько не понималъ Иванова, хотя превозносилъ его „Явленіе Христа“; вѣдь тотъ же Гоголь приходилъ въ восторгъ отъ „Послѣдняго дня Помпеи“; а любить эти двѣ картины, въ

ино и то же время, значитъ: — не понимать живописи. Ивановъ съ собственнымъ сочувствіемъ упоминалъ о страшномъ впечатлѣніи, произведенномъ на Гоголя всеобщимъ осужденіемъ его „Переписки“; объ этомъ, да еще о 1848 годѣ, Ивановъ говорилъ не иначе, какъ съ содроганіемъ. Можетъ-быть, ему въ голову приходило, что вотъ, и мою картину, пожалуй, такъ же разбранятъ“; а о началахъ, которыя чуть-было не восторжествовали въ 1848 году, онъ, почему-то, видѣлъ конецъ и разореніе всякаго художества.

Рѣчь зашла и объ его картинѣ. Мы ее тогда не видали, онъ собирался отпереть свою студію дня на три, что̀ онъ исполнилъ нѣсколько недѣль спустя. Онъ утверждалъ, что она еще далеко не кончена и сообщалъ намъ любопытныя подробности о своей поѣздкѣ въ Германію, къ одному извѣстному ученому *), воззрѣніе котораго совпадало съ тѣмъ, что̀ онъ, Ивановъ, хотѣлъ выразить въ своей картинѣ. Онъ намѣревался пригласить этого ученаго въ Римъ для того, чтобъ тотъ рѣшилъ, точно ли соотвѣтствуетъ картина вышесказанному воззрѣнію.

По словамъ Иванова, Штраусъ, вѣроятно, принялъ его за сумасшедшаго, тѣмъ болѣе, что разговоръ происходилъ со стороны Штрауса на латинскомъ, а со стороны Иванова—на итальянскомъ языкѣ, такъ какъ Ивановъ не понималъ по-нѣмецки; должно при томъ замѣтить, что Ивановъ плохо понималъ по-латыни, а Штраусъ — по-итальянски. Живо помню я наивное, почти трогательное удивленіе Иванова, когда мы съ Боткинымъ начали объяснять ему, что если бы даже Штраусъ согласился пріѣхать въ Римъ, или, точнѣе, если бы ему позволили туда пріѣхать, все-таки бы онъ не могъ рѣшить, достигъ ли Ивановъ своей цѣли и передалъ ли его образъ мыслей, потому что для этого еще нужно было особенное пониманіе живописи, которымъ Штраусъ едва ли обладалъ. Онъ могъ не узнать воплощеніе своего собственнаго воззрѣнія или, наоборотъ, увидѣть это воплощеніе тамъ, гдѣ его не было.

— Такъ-съ, такъ-съ,—повторялъ Ивановъ, добродушно

*) Д. Штраусу, автору жизни Іисуса Христа.

по одеждѣ, и по привычкамъ, давно сталъ коренным римлянином.

День стоялъ удивительный—и уже точно не доступный ни перу, ни кисти; извѣстно, что ни одинъ пейзажистъ, послѣ Клодъ-Лоррена, не могъ справиться съ римской природой; писатели оказались также несостоятельными—(стоитъ лишь вспомнить „Римъ“ Гоголя и др.). А потому скажу только, что воздухъ былъ прозраченъ и мягокъ, солнце сіяло лучезарно, но не жгло, вѣтерокъ залеталъ въ раскрытыя окна кареты и ласкалъ наши, уже немолодыя, физіономіи — и мы ѣхали, окруженные какимъ-то праздничнымъ, осеннимъ блескомъ — и съ праздничнымъ, тоже, пожалуй, осеннимъ чувствомъ на душѣ.

Мы наканунѣ, вмѣстѣ съ Ивановымъ, ходили въ Ватиканъ; онъ былъ въ ударѣ, не дичился и не ёжился, говорилъ охотно и много. — Онъ говорилъ намъ о различныхъ школахъ итальянской живописи, которую изучилъ подробно и добросовѣстно; всѣ его сужденія были дѣльны и проникнуты уваженіемъ къ „старымъ мастерамъ“. Передъ Рафаэлемъ онъ благоговѣлъ. Извѣстно, что на Иванова нѣкогда имѣлъ сильное вліяніе Овербекъ; онъ уяснилъ ему Рафаэля; но когда Овербекъ пошелъ дальше, къ Перуджино и его предшественникамъ, Ивановъ остановился: русскій здравый смыслъ удержалъ его на порогѣ того искусственнаго, аскетическаго, символическаго міра, въ которомъ потонулъ германскій художникъ; за то идеалистъ Ивановъ остался навсегда въ глазахъ Овербека грубымъ реалистомъ. Ивановъ глубоко сожалѣлъ о современномъ направленіи нашихъ художниковъ — (одинъ изъ нихъ при мнѣ величалъ Рафаэля *бездарнымъ*),—и разсказывалъ намъ кое-что о Брюлловѣ и о Гоголѣ, котораго называлъ постоянно Николаемъ Васильичемъ. Изъ его почтительныхъ, но осторожныхъ отзывовъ о нашемъ великомъ писателѣ можно было заключить, что онъ особенно хорошо изучилъ его. Гоголь нисколько не понималъ Иванова, хотя превозносилъ его „Явленіе Христа“; вѣдь тотъ же Гоголь приходилъ въ восторгъ отъ „Послѣдняго дня Помпеи“; а любить эти двѣ картины, въ

но и то же время, значитъ: — не понимать живописи. вановъ съ собственнымъ сочувствіемъ упоминалъ о страшомъ впечатлѣніи, произведенномъ на Гоголя всеобщимъ ужденіемъ его „Переписки“; объ этомъ, да еще о 848 годѣ, Ивановъ говорилъ не иначе, какъ съ содроганіемъ. Можетъ-быть, ему въ голову приходило, что вотъ, и мою картину, пожалуй, такъ же разбранятъ“; а ъ началахъ, которыя чуть-было не восторжествовали въ 848 году, онъ, почему-то, видѣлъ конецъ и разореніе якаго художества.

Рѣчь зашла и объ его картинѣ. Мы ее тогда не видали, а онъ собирался отпереть свою студію дня на три, что̀ онъ и исполнилъ нѣсколько недѣль спустя. Онъ утверждалъ, что она еще далеко не кончена и сообщалъ намъ любопытныя подробности о своей поѣздкѣ въ Германію, къ одному извѣстному ученому *), воззрѣніе котораго совпадало съ тѣмъ, что̀ онъ, Ивановъ, хотѣлъ выразить въ своей картинѣ. Онъ намѣревался пригласить этого ученаго въ Римъ для того, чтобъ тотъ рѣшилъ, точно ли соотвѣтствуетъ картина вышесказанному воззрѣнію.

По словамъ Иванова, Штраусъ, вѣроятно, принялъ его за сумасшедшаго, тѣмъ болѣе, что разговоръ происходилъ со стороны Штрауса на латинскомъ, а со стороны Иванова—на итальянскомъ языкѣ, такъ какъ Ивановъ не понималъ по-нѣмецки; должно при томъ замѣтить, что Ивановъ плохо понималъ по-латыни, а Штраусъ — по-итальянски. Живо помню я наивное, почти трогательное удивленіе Иванова, когда мы съ Боткинымъ начали объяснять ему, что если бы даже Штраусъ согласился пріѣхать въ Римъ, или, точнѣе, если бы ему позволили туда пріѣхать, все-таки бы онъ не могъ рѣшить, достигъ ли Ивановъ своей цѣли и передалъ ли его образъ мыслей, потому что для этого еще нужно было особенное пониманіе живописи, которымъ Штраусъ едва ли обладалъ. Онъ могъ не узнать воплощеніе своего собственнаго воззрѣнія или, наоборотъ, увидѣть это воплощеніе тамъ, гдѣ его не было.

— Такъ-съ, такъ-съ,—повторялъ Ивановъ, добродушно

*) Д. Штраусу, автору жизни Іисуса Христа.

осклабляясь, пришептывая и мигая. — Это очень н
ресно-съ (любимое его словцо). Это мнѣ въ голову
приходило-съ.

Долгое разобщеніе съ людьми, уединенное житье
самимъ собою, съ одной и той же, постоянной, неизм
ной мыслью, наложило на Иванова особую печать;
немъ было что-то мистическое и дѣтское, мудрое и за
ное, все въ одно и то же время; что-то чистое, иск
нее, и скрытное, даже хитрое. Съ перваго взгляда
существо его, казалось, проникнуто какою-то недовѣ
востью, какою-то суровой, то заискивающей робос
но когда онъ привыкалъ къ вамъ, — а это происхо
довольно скоро — его мягкая душа такъ и раскрывал
Онъ внезапно хохоталъ отъ самой обыкновенной остр
удивлялся до онѣмѣнія самымъ общепринятымъ пол
ніямъ, пугался каждаго, немного рѣзкаго, слова (помни
однажды, онъ даже подпрыгнулъ, услышавъ отъ од
изъ насъ, что такая-то извѣстная русская писательни
глупа)—и вдругъ произносилъ слова, исполненныя пра
и зрѣлости, слова, свидѣтельствовавшія объ упорной
ботѣ ума замѣчательнаго. Къ сожалѣнію, воспитаніе
лучилъ онъ слишкомъ поверхностное, какъ бо́льшая ча
нашихъ художниковъ.

Усидчивымъ трудомъ онъ старался восполнить эт
недостатокъ. Древній міръ ему былъ хорошо знакомъ,
изучилъ ассирійскія древности (онѣ были ему нужны
его будущихъ картинъ); библію, и въ особенности ева
ліе; онъ зналъ отъ слова до слова. Онъ охотнѣе слуша
чѣмъ говорилъ, и несмотря на все это, бесѣдовать съ н
было истиннымъ наслажденіемъ: столько было въ н
добросовѣстнаго и честнаго желанія истины. На наши
черинки онъ приходилъ всегда первый и, какъ тол
завязывался споръ, съ напряженнымъ и терпѣливымъ в
маніемъ слѣдилъ за развитіемъ мысли каждаго. Въ чи
русскихъ, жившихъ тогда въ Римѣ, находился одинъ д
рый и неглупый малый, но съ потемками въ головѣ и
спутаннымъ языкомъ; Ивановъ позже всѣхъ насъ махн
на него рукой. Литература и политика его не занима

онъ интересовался вопросами, касавшимися до искусства, ко морали, до философіи. „Однажды кто-то принесъ къ нему тетрадку удачныхъ карикатуръ; Ивановъ долго ихъ разсматривалъ—и, вдругъ поднявъ голову, промолвилъ: „Христосъ никогда не смѣялся". Его вездѣ принимали съ радостью; одинъ видъ его лица съ широкимъ, бѣлымъ лбомъ, усталыми добрыми глазами, нѣжными, какъ у ребенка, щеками, заостреннымъ носомъ и забавно сложеннымъ, но пріятнымъ ртомъ—вызывалъ невольное сочувствіе и привѣтъ въ сердцѣ каждаго. Роста онъ былъ небольшого, приземистъ, плечистъ; вся его фигура, отъ бородки клинушкомъ до пухлыхъ, короткопалыхъ ручекъ и проворныхъ ножекъ съ толстыми икрами—дышала Русью, и ходилъ онъ русской походкой. Онъ не былъ самолюбивъ, но о своемъ трудѣ имѣлъ высокое понятіе: не даромъ же онъ положилъ въ него всѣ свои силы и надежды.

Веттуринъ нашъ остановился у плохой остеріи, чтобъ дать лошадямъ отдохнуть и самому выпить „фіолетту". Мы тоже вышли и спросили себѣ сыру съ хлѣбомъ. Сыръ оказался скверный, хлѣбъ недопеченый и кислый, но мы ѣли нашъ скудный завтракъ съ тѣмъ веселымъ и свѣтлымъ ощущеніемъ постоянно-присущей красоты, которое кажется разлитымъ въ римскомъ воздухѣ во всякое время, особенно въ золотые осенніе дни. Черноглазая и смуглая дѣвочка, въ пестромъ рубищѣ и босая, дочь хозяина, спокойно и даже гордо поглядывала на насъ съ каменнаго порога *своего* дома, а отецъ ея, видный мужчина лѣтъ сорока, въ потертой бархатной куртклѣ, накинутой на одно плечо, величественно посмѣивался и сверкалъ бѣлками огромныхъ черныхъ глазъ, сидя въ полусумракѣ остеріи за дряннымъ столомъ и снисходительно выслушивая жалобы нашего возницы на плохія времена, недостатокъ форестіеровъ и т. д. Впрочемъ, Ивановъ, которымъ внезапно овладѣло тревожное нетерпѣніе, не далъ ему слишкомъ распространяться. Мы отправились дальше.

Разговоръ снова коснулся Ватикана.

— Надо будетъ завтра опять туда пойти, — замѣтилъ Боткинъ:—а оттуда вы, по-вчерашнему, приходите къ намъ

обѣдать. (Мы съ Боткинымъ каждый день обѣдали въ Hôtel d'Angleterre, за общимъ столомъ).

— Обѣдать?—воскликнулъ Ивановъ, и вдругъ поблѣднѣлъ.—Обѣдать!—повторилъ онъ.—Нѣтъ-съ, покорно благодарю; я и вчера едва живъ остался.

Мы подумали, что онъ, шутки ради, намекаетъ на сдѣланное имъ наканунѣ излишество (онъ вообще ѣлъ чрезвычайно много и жадно), и начали уговаривать его.

— Нѣтъ-съ, нѣтъ-съ, — твердилъ онъ, все болѣе блѣднѣя и теряясь.—Я не пойду; тамъ меня отравятъ.

— Какъ отравятъ?

— Да-съ, отравятъ, яду дадутъ. — Лицо Иванова приняло странное выраженіе, глаза его блуждали...

Мы съ Боткинымъ переглянулись; ощущеніе невольнаго ужаса шевельнулось въ насъ обоихъ.

— Что вы это, любезный Александръ Андреевичъ, какъ это вамъ яду дадутъ за общимъ столомъ? Вѣдь надо цѣлое блюдо отравить. Да и кому нужно васъ губить?

— Видно, есть такіе люди-съ, которымъ моя жизнь нужна-съ. А что насчетъ цѣлаго блюда... да онъ мнѣ на тарелку подброситъ.

— Кто—онъ?

— Да гарсонъ-съ, камеріере.

— Гарсонъ?

— Да-съ, подкупленный. Вы итальянцевъ еще не знаете, это ужасный народъ-съ, и на это преловкіе-съ. Возьметъ да изъ-за бортища фрака — вотъ этакимъ манеромъ, щепотку броситъ... и никто не замѣтитъ! Да меня вездѣ отравливали, куда я ни ѣздилъ. Здѣсь только одинъ честный гарсонъ-съ и есть—въ Falcone, въ нижней комнатѣ... на того еще можно пока положиться.

Я хотѣлъ-было возражать, но Боткинъ исподтишка толкнулъ меня колѣномъ.

— Ну, вотъ, что я вамъ предлагаю, Александръ Андреевичъ,—началъ онъ:—вы приходите завтра къ намъ обѣдать, какъ ни въ чемъ не бывало, а мы всякій разъ, какъ наложимъ тарелки, помѣняемся съ вами...

На это Ивановъ согласился и блѣдность съ лица его

ошла, и губы перестали дрожать, и взоръ успокоился. Мы потомъ узнали, что онъ послѣ каждаго слишкомъ сытнаго обѣда бѣжалъ къ себѣ домой, принималъ рвотное, пилъ молоко...

Бѣдный отшельникъ! Двадцатилѣтнее одиночество не обошлось ему даромъ.

Полчаса спустя, мы были уже въ Альбано. Ивановъ вдругъ оживился и бросился нанимать лошадей для поѣздки въ Фраскати. Изъ разныхъ закоулковъ привели намъ трехъ, дурно осѣдланныхъ и разбитыхъ, клячъ. Послѣ долгаго словопренія съ ихъ хозяевами, въ теченіе котораго я имѣлъ случай подивиться желѣзной настойчивости Иванова, мы, наконецъ, согласились въ цѣнѣ, взобрались на своихъ россинантовъ и двинулись въ направленіи къ Фраскати. Дорога шла въ гору, по такъ-называемой „галлереѣ", вдоль цѣлаго ряда великолѣпныхъ, вѣчно зеленыхъ дубовъ. Каждому изъ этихъ дубовъ минуло нѣсколько столѣтій, и уже Клодъ-Лоррень и Пуссенъ могли любоваться ихъ классическими очертаніями, въ которыхъ мощь и красота сливаются такъ, какъ ни въ одномъ другомъ мнѣ извѣстномъ деревѣ. Эти дубы, да зонтичатыя пиніи, кипарисы и оливы удивительно идутъ другъ къ другу; они составляютъ часть того особенно созвучнаго аккорда, который преобладаетъ въ природѣ римскихъ окрестностей. Внизу синѣло и едва дымилось круглое Альбанское озеро, вокругъ, по скатамъ горъ и по долинамъ, и вблизи, и вдали, разстилались волшебно-прозрачной пеленой божественныя краски... Но я обѣщался не вдаваться въ описанія. Поднимаясь все выше и выше, проѣзжая черезъ ривѣтные, свѣтлые, именно свѣтлые лѣса, по изумрудной, ловно лѣтней травѣ, мы добрались, наконецъ, до маленькаго городка, называемаго Rocca di Papa, прилѣпленнаго, какъ птичье гнѣздо, къ вершинѣ скалы.

Мы слѣзли съ лошадей на небольшой площадкѣ, проѣзжъ церкви, построенной въ ломбардскомъ вкусѣ, съ затушками на фасадѣ, и присѣли на минутку у колодца съ серебристой водой, съ папскимъ гербомъ и латинской надписью на полуразбитой колоннѣ. Отъ площадки во всѣ

стороны расходились тѣсныя улицы, извилистыя и крутыя, какъ лѣстницы. Оборванные мальчишки тотчасъ сбѣжались посмотрѣть на насъ и получить обычную дань, нѣсколько „паоловъ“; кой-гдѣ выглянули женскія, большей частью старушечьи, головы, раздались звуки ясно-гортанныхъ голосовъ; вдали, какъ видѣніе, показалась, посреди узкаго прохода, стройная красавица въ альбанскомъ костюмѣ и, картинно постоявъ въ почти черной тѣни, падавшей отъ каменныхъ стѣнъ, тихо повернулась и исчезла. Нагруженный оселъ прошелъ мимо, скрипя своими корзинами, осторожно выступая и шлепая подковами по крупнымъ камнямъ мостовой; слѣдомъ за нимъ важно шагалъ, словно консулъ какой-нибудь, суровый мужчина въ синемъ, запачканномъ плащѣ, закрывавшемъ нижнюю часть его лица, и въ дырявой высокой шляпѣ, которую онъ, вѣроятно, ни передъ кѣмъ не ломалъ. Ивановъ досталъ изъ кармана корку хлѣба, прикорнулъ на край колодца и началъ ѣсть, держа поводья лошади въ одной рукѣ и изрѣдка помакивая хлѣбъ въ холодную воду. Всякій слѣдъ тревоги исчезъ съ его лица; оно сіяло удовольствіемъ мирныхъ художническихъ ощущеній; въ эту минуту онъ не нуждался ни въ чемъ на свѣтѣ, и самъ онъ мнѣ показался достойнымъ предметомъ для художника, на этой площадкѣ любимаго живописцами городка, передъ этой темной церковью, изъ-за которой сѣро-лиловыя горы легко и высоко возносились въ лучезарную воздушную бездну.— Бѣдный Ивановъ! Жить бы ему тамъ годы да годы... А смерть уже караулила его.

Мы взобрались опять на лошадей и пустились дальше, уже все подъ гору. Ивановъ разговорился; онъ разсказывалъ намъ разные забавные римскіе анекдоты и самъ смѣялся дѣтскимъ смѣхомъ. Навстрѣчу намъ попался красивый малый лѣтъ 22-хъ, съ связанными назадъ руками, въ сопровожденіи двухъ жандармовъ верхомъ.

— Что такое онъ сдѣлалъ?—спросилъ одного изъ нихъ Ивановъ.

— Пырнулъ ножомъ—„ha dato una coltellata“,—равнодушно отвѣчалъ жандармъ.

Я взглянулъ на молодого малаго; онъ улыбнулся,—при-мъ обнажились его крупные, бѣлые зубы—и дружелюбно авнулъ мнѣ головой. — Крестьянка, тутъ же стоявшая ь низкой оградой, на которую взобралась ея коза, тоже лыбнулась, показала намъ такіе же сверкающіе зубы, юсмотрѣла сперва на него, потомъ на насъ, и опять улыбнулась.

— Счастливый народецъ!—замѣтилъ Ивановъ.

Мы довольно поздно прибыли въ Фраскати. Послѣдній поѣздъ желѣзной дороги отходилъ черезъ три четверти часа; мы только успѣли сбѣгать въ сосѣднюю виллу съ прекраснымъ садомъ: я забылъ ея названіе. Нѣсколько дней передъ поѣздкой въ Альбано, мы съ Ивановымъ въ Гиволи ходили по Villa d'Este, и не могли довольно на-юбоваться этой, едва ли не самой замѣчательной изъ онументальныхъ, громадныхъ, великолѣпныхъ виллъ, ie изъ тѣхъ, которыя внушали Тютчеву его прелестное тихотвореніе *), а изъ тѣхъ, при видѣ которыхъ являются ашему воображенію и кардиналы, и принцы временъ Ме-ичисовъ и Фарнезе, возникаютъ поэмы Аріоста и Дека-ероны, и картины Павла Веронеза съ ихъ бархатомъ, елкомъ и блескомъ, съ жемчужными ожерельями на леяхъ бѣлокурыхъ красавицъ, разсѣянно внимающихъ вукамъ теорбовъ и флейтъ, съ павлинами и карликами, ъ мраморными статуями, олимпійскими богами и богинями а раззолоченныхъ потолкахъ, съ гротами, козлоногими атирами и фонтанами. Въ Фраскати мы торопливо обѣ-кали всю виллу, взглянули на нее снизу, спустились по аскаду террасъ ея искусственнаго сада. Помнится, насъ амъ особенно сильно поразило зрѣлище вечерней зари. Нестерпимо пышнымъ заревомъ, пылающимъ потокомъ кро-аваго золота, вливалась она въ огромный четырехуголь-икъ мраморнаго окна на концѣ высокаго сквознаго кори-ора съ легкими, словно кверху летѣвшими, колоннами.

Нѣсколько времени потомъ мнѣ все казалось, какъ

*) „И распростясь съ тревогою житейской,
И кипарисной рощей заслонясь"—и т. д.

будто на самомъ лицѣ моемъ и на лицахъ моихъ тог[ущей] сохранился горячій отблескъ этого пожара.

Въ вагонѣ желѣзной дороги съ нами помѣстилась [мо]лодая повобрачная чета, и опять мелькнули передъ [мн]ой эти смоляные, тяжелые волосы, эти блестящіе г[лаза] зубы — всѣ эти черты, немного крупныя вблизи, но с[ъ] неподражаемымъ отпечаткомъ величія, простоты и как[ой]-то дикой граціи...

— Надо будетъ показать вамъ Маріанину—(извѣстную натурщицу),—замѣтилъ вдругъ вполголоса Ивановъ... Онъ намъ потомъ показалъ ее.

Вѣчный городъ скоро принялъ насъ въ свои нѣдра. Мы пошли пѣшкомъ по его уже потемнѣвшимъ улицамъ. Ивановъ проводилъ насъ до Piazza di Spagne — и мы разошлись, унося въ душѣ впечатлѣніе свѣтло проведеннаго дня.

Мѣсяцевъ восемь спустя, не то въ знойный, не то въ холодный, кислый іюльскій день встрѣтилъ я Иванова на площади Зимняго Дворца, въ Петербургѣ, среди безпрестанно набѣгавшихъ столбовъ той липкой, сорной пыли, которая составляетъ одну изъ принадлежностей нашей сѣверной столицы. Онъ съ озабоченнымъ видомъ отвѣчалъ на мое привѣтствіе; онъ только-что вышелъ изъ Эрмитажа; морской вѣтеръ крутилъ фалды его мундирнаго фрака; онъ щурился и придерживалъ двумя пальцами свою шляпу. Картина его уже была въ Петербургѣ и начинала возбуждать невыгодные толки. Нѣсколько дней спустя, я уѣхалъ въ деревню, а недѣли черезъ двѣ дошла до меня вѣсть объ его кончинѣ... Вспомнился мнѣ тотъ почти суевѣрный ужасъ, съ которымъ онъ всегда отзывался о Петербургѣ и о предстоящей поѣздкѣ туда...

Я не намѣренъ входить теперь въ подробный разборъ достоинствъ и недостатковъ извѣстной картины Иванова; другіе это сдѣлали и, вѣроятно, еще сдѣлаютъ гораздо лучше меня. Мнѣ хочется сказать только нѣсколько словъ о томъ, какимъ мнѣ представляется талантъ Иванова, и какъ я понимаю его значеніе. Покойный А. С. Хомяковъ

стилъ въ „Русской Бесѣдѣ“ статью, написанную, какъ
э, что выходило изъ-подъ его пера, — увлекательно,
ѣ которой я не могъ согласиться. По его понятію,
ювъ былъ чистый и сильный художникъ, проникну-
религіознымъ чувствомъ, прямо вышедшій изъ нѣдръ
кой жизни. Появившись въ эпоху безвѣрія и всеоб-
о упадка искусства, онъ изъ глубины своего смирен-
о и вѣрующаго сердца извлекъ новое воплощеніе
істіанскаго догмата, и тѣмъ положилъ основаніе и собе-
енно русской живописи, и возрожденію живописи во-
це. Такое воззрѣніе кажется и утѣшительнымъ, и ло-
ически правильнымъ; но, къ сожалѣнію, оно мало согласно
истиной. Что Ивановъ во всѣхъ стремленіяхъ своихъ
ался русскимъ человѣкомъ — это неоспоримо; но онъ
ъ русскимъ человѣкомъ своего, т.-е. нашего, переход-
о времени. Онъ такъ же, какъ и всѣ мы, не вступилъ
ъ въ обѣтованную землю; онъ предвидѣлъ ее издали,
ее предчувствовалъ, но онъ умеръ, не достигнувъ ея
ежа. Онъ не принадлежалъ къ числу гармоническихъ
амобытныхъ творцовъ-художниковъ (ихъ еще нѣтъ у
ь на Руси); самый талантъ его, собственно живопис-
і талантъ, былъ въ немъ слабъ и шатокъ, въ чемъ
дится каждый, кто только захочетъ внимательно и
пристрастно взглянуть на его произведеніе, въ кото-
ъ все есть: и трудолюбіе изумительное, и честное
емленіе къ идеалу, и обдуманность—словомъ, все, кромѣ
о, что только одно и нужно, а именно: творческой
ци, свободнаго вдохновенія. И надъ Ивановымъ возы-
ъ свою силу роковой законъ разрозненности отдѣль-
ъ частей, составляющихъ полное дарованіе, тотъ за-
ь, который до сихъ поръ еще тяготѣетъ надъ всѣмъ
ским искусствомъ. Имѣй онъ талантъ Брюллова, или
й Брюлловъ душу и сердце Иванова, какихъ чудесъ
были бы свидѣтелями! Но вышло такъ, что одинъ изъ
ъ могъ выразить все, что хотѣлъ, да сказать ему было
его, а другой могъ бы сказать многое—да языкъ его
нѣлъ. Одинъ писалъ трескучія картины съ эффектами,
безъ поэзіи и безъ содержанія; другой силился изобра-

зить глубоко-захваченную, новую, живую мысль, а испо-
неніе выходило неровное, приблизительное, не живо-
Одинъ, если можно такъ выразиться,—правдиво предс-
влялъ намъ ложь; другой—ложно, т.-е. слабо и невѣр-
представлялъ намъ правду. Говорятъ, Ивановъ тридца-
разъ слишкомъ списалъ голову Аполлона Бельведерско-
и открытую имъ въ Палермо голову византійскаго Хри-
ста, и, постепенно ихъ сближая, добился, наконецъ, своего
Іоанна Крестителя... Не такъ творятъ истинные худож-
ники! А между тѣмъ, если ужъ выбирать изъ двухъ на-
правленій,—лучше, въ тысячу разъ лучше пойти за Ива-
новымъ, пока еще не явился настоящій вождь! Мысл-
одарена особенной силой; она сквозитъ и свѣтится да-
при недостаточномъ исполненіи, особенно когда человѣкъ
безкорыстно, до самопожертвованія служилъ ей, как-
Ивановъ. Не было еще на свѣтѣ жертвы, принесенной
совершенно даромъ. Иные могутъ возразить, что Иванов-
напрасно хватался за то, что было свыше силъ его; мо-
гутъ указать на первые эскизы его картины, въ которых-
содержаніе не такъ глубоко, зато исполненіе естественнѣ-
и живѣе. Въ возможности этого стремленія къ недосяга-
мому есть, конечно, что-то ненормальное, что-то дажe
трагическое; но если это стремленіе происходитъ изъ
источника чистаго, оно, все-таки, и не удавшись вполнѣ,
не достигнувъ цѣли, можетъ принести пользу великую.
Молодой человѣкъ, подпавшій подъ вліяніе Брюллова, уп-
тѣмъ самымъ, по всей вѣроятности, погибъ какъ художн-
никъ (сколько мы видѣли тому примѣровъ!); напротивъ—
молодой человѣкъ, понявшій и полюбившій внутренній
свѣтъ, сквозящій въ твореніяхъ Иванова, можетъ развиться
и пойти далеко, если только природа не отказала ему въ
дарованіи. Ивановъ, этотъ труженикъ и мученикъ, упалъ
на полдорогѣ, обезсиленный, не оцѣненный; но онъ шелъ
къ истинѣ, и будущій его наслѣдникъ, тотъ „еще невѣ-
домый избранникъ“, пойдетъ по его дорогѣ, по дорогѣ,
впервые проложенной имъ.

Предвижу еще возраженіе. Могутъ сказать: да зачѣмъ
же изучать Иванова, неполнаго, неяснаго мастера, когда

ликіе, несомнѣнные, побѣдоносные образцы? Замекъ, когда есть громкое слово? Но, во-первыхъ, ь, какъ самобытная русская натура, ближе и сильоритъ молодымъ русскимъ сердцамъ: онъ имъ и ѣе, и дороже; а во-вторыхъ, въ томъ-то и состоитъ икая заслуга, заслуга идеалиста, мыслителя, что ызываетъ на образцы, приводитъ къ нимъ, будитъ, гъ; самъ не удовлетворяетъ и не допускаетъ въ ъ дешеваго удовлетворенія; что онъ заставляетъ учениковъ задавать себѣ высокія, трудныя задачи, овольствоваться мастерскимъ исполненіемъ какихъраккурсовъ и прочихъ техническихъ фокусовъ, ми такъ гордятся послѣдователи Брюллова. Съ этой рѣнія самые недостатки Иванова полезнѣе многихъ ныхъ красотъ.

ъ не мѣсто входить въ разсматриваніе того, въ обственно состояла мысль Иванова; но я не могу ъ мою статейку, не изъявивъ желанія, чтобы остай имъ альбомъ рисунковъ изъ жизни Христа явился ъ. Альбомъ этотъ находится теперь въ рукахъ Въ этихъ замѣчательныхъ рисункахъ яснѣе выъ основная мысль, руководившая Иванова; въ нихъ стѣсняла кисть, которой онъ не вполнѣ владѣлъ, о подъ конецъ жизни, когда самые глаза, изнуренпряженнымъ и непрестаннымъ трудомъ, начинали ть ему. И въ картинѣ его, фигура Христа, какъ о, удалась ему больше всѣхъ другихъ; особенно льна она на эскизѣ, принадлежащемъ В. П. Бот-Фотографическіе снимки съ этого эскиза были бы имъ подаркомъ для всѣхъ почитателей честнаго, , несчастнаго русскаго художника, Александра а.

61 г.

V. — По поводу «Отцовъ и Дѣтей».

алъ морскія ванны въ Вентнорѣ, маленькомъ го-на островѣ Уайтѣ,—дѣло было въ августѣ мѣсяцѣ

1860-го года,—когда мнѣ пришла въ голову первая мы
„Отцовъ и Дѣтей“, этой повѣсти, по милости кото
прекратилось—и кажется, навсегда—благосклонное рас
ложеніе ко мнѣ русскаго молодого поколѣнія. Не однаж
слышалъ я и читалъ въ критическихъ статьяхъ, что
въ моихъ произведеніяхъ „отправляюсь отъ идеи“ и
„провожу идею“; иные меня за это хвалили, другіе, на
противъ, порицали; съ своей стороны, я долженъ сознаться,
что никогда не покушался „создавать образъ“, если
имѣлъ исходною точкою не идею, а живое лицо, къ ко
торому постепенно примѣшивались и прикладывались под
ходящіе элементы. Не обладая большою долею свободной
изобрѣтательности, я всегда нуждался въ данной почв
по которой я бы могъ твердо ступать ногами. Точно т
же произошло и съ „Отцами и Дѣтьми“; въ основаніи
главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая мен
личность молодого провинціальнаго врача. (Онъ умер
незадолго до 1860 года). Въ этомъ замѣчательномъ чело
вѣкѣ воплотилось—на мои глаза—то едва народившееся,
еще бродившее начало, которое потомъ получило назва
ніе нигилизма. Впечатлѣніе, произведенное на меня этой
личностью, было очень сильно и въ то же время не со
всѣмъ ясно; я, на первыхъ порахъ, самъ не могъ хоро
шенько отдать себѣ въ немъ отчета—и напряженно при
слушивался и приглядывался ко всему, что меня окружало,
какъ бы желая повѣрить правдивость собственныхъ ощу
щеній. Меня смущалъ слѣдующій фактъ: ни въ одномъ
произведеніи нашей литературы я даже намека не встрѣ
чалъ на то, что мнѣ чудилось повсюду; поневолѣ возникало
сомнѣніе: ужъ не за призракомъ ли я гонюсь?—Помнится,
вмѣстѣ со мною на островѣ Уайтѣ жилъ одинъ русскій че
ловѣкъ, одаренный весьма тонкимъ вкусомъ и замѣчатель
ной чуткостью на то, что покойный Аполлонъ Григорьевъ
называлъ „вѣяньями“ эпохи. Я сообщилъ ему занимавшія
меня мысли—и съ нѣмымъ изумленіемъ услышалъ слѣдую
щее замѣчаніе: „Да вѣдь ты, кажется, уже представилъ
подобный типъ... въ Рудинѣ?“ Я промолчалъ: что было
сказать? Рудинъ и Базаровъ—одинъ и тотъ же типъ?

ти слова такъ на меня подѣйствовали, что въ теченіе колькихъ недѣль я избѣгалъ всякихъ размышленій о Ьянной мною работѣ; однако, вернувшись въ Парижъ, нова принялся за нее—*фабула* понемногу сложилась въ й головѣ: въ теченіе зимы я написалъ первыя главы, окончилъ повѣсть уже въ Россіи, въ деревнѣ, въ іюлѣ яцѣ. Осенью я прочелъ ее нѣкоторымъ пріятелямъ, -что исправилъ, дополнилъ, и въ мартѣ 1862-го года цы и Дѣти“ явились въ „Русскомъ Вѣстникѣ“.

Не стану распространяться о впечатлѣніи, произведенъ этой повѣстью; скажу только, что когда я вернулся Петербургъ, въ самый день извѣстныхъ пожаровъ раксинскаго двора,—слово: „нигилистъ“ уже было под-ѣчено тысячами голосовъ, и первое восклицаніе, вы-вшееся изъ устъ перваго знакомаго, встрѣченнаго мною Невскомъ, было: „Посмотрите, что̀ *ваши* нигилисты аютъ! жгутъ Петербургъ!“ Я испыталъ тогда впечат-нія, хотя разнородныя, но одинаково тягостныя. Я ѣчалъ холодность, доходившую до негодованія, во гихъ мнѣ близкихъ и симпатическихъ людяхъ; я по-илъ поздравленія, чуть не лобзанія, отъ людей про-наго мнѣ лагеря, отъ враговъ. Меня это конфузило... рчало; но совѣсть не упрекала меня; я хорошо зналъ, я честно, и не только безъ предубѣжденья, но даже сочувствіемъ отнесся къ выведенному мною типу *); я шкомъ уважалъ призваніе художника, литератора, что-покривить душою въ такомъ дѣлѣ. Слово: „уважать“ ке тутъ не совсѣмъ у мѣста; я просто иначе не могъ и умѣлъ работать; да и наконецъ, повода къ тому не ѣдстояло. Мои критики называли мою повѣсть „памфле-ъ“, упоминали о „раздраженномъ“, „уязвленномъ“ олюбіи; но съ какой стати сталъ бы я писать пам-тъ—на Добролюбова, съ которымъ я почти не видался,

* Позволю себѣ привести слѣдующую выписку изъ моего дневника: го іюля, воскресенье. Часа полтора тому назадъ я кончилъ, на-цъ, свой романъ... Не знаю, каковъ будетъ успѣхъ. — „Современ-къ“, вѣроятно, обольетъ меня презрѣніемъ за Базарова ** и не рнтъ, что во все время писанія я чувствовалъ къ нему невольное еніе“...

но котораго высоко цѣнилъ какъ человѣка и к
лантливаго писателя? Какого бы я ни былъ ск
мнѣнія о своемъ дарованіи — я, все-таки, считалъ
таю сочиненіе памфлета, „пасквиля“, ниже его, н
нымъ его. Что же касается до „уязвленнаго“ сам
то замѣчу только, что статья Добролюбова о *послѣ
моемъ произведеніи передъ „Отцами и Дѣтьми“ — о „
канунѣ*“ (а онъ по праву считался выразителемъ об
ственнаго мнѣнія)—что эта статья, явившаяся въ 1861
году, исполнена самыхъ горячихъ — говоря по совѣсти
самыхъ незаслуженныхъ похвалъ. Но господамъ критик
нужно было представить меня оскорбленнымъ памфл
стомъ: „leur siège était fait“—и еще въ нынѣшнемъ
я могъ прочесть въ Приложеніи № 1-й къ „Косм
(стр. 96) слѣдующія строки:. „Наконецъ, *всѣмъ извѣс
что пьедесталъ*, на которомъ стоялъ г. Тургеневъ, б
разрушенъ главнымъ образомъ Добролюбовымъ“... а
лѣе (на стр. 98) говорится о моемъ „ожесточеніи“, и
рое г-нъ критикъ, впрочемъ, понимаетъ — и „пожа
даже извиняетъ“.

Господа критики, вообще, не совсѣмъ вѣрно пре
вляютъ себѣ то, что происходитъ въ душѣ автора, т
чемъ именно состоятъ его радости и горести, его
мленія, удачи и неудачи. Они, напримѣръ, и не под
ваютъ того наслажденія, о которомъ упоминаетъ Г
и которое состоитъ въ казненіи самого себя, своих
достатковъ, въ изображаемыхъ вымышленныхъ ли
они вполнѣ убѣждены, что авторъ непремѣнно тол
дѣлаетъ, что „проводитъ свои идеи“; не хотятъ вѣ
что точно и сильно воспроизвести истину, реаль
жизни — есть высочайшее счастье для литератора,
если эта истина не совпадаетъ съ его собственными
патіями. Позволю себѣ привести небольшой примѣръ
коренной, неисправимый западникъ, и нисколько
не скрывалъ и не скрываю; однако я, несмотря на
съ особеннымъ удовольствіемъ вывелъ въ лицѣ Пан
(въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“) — всѣ комическія и по

ы западничества; я заставилъ славянофила Лаврец-
„разбить его на всѣхъ пунктахъ". Почему я это
лъ—я, считающій славянофильское ученіе ложнымъ
вредным? Потому, что въ *данномъ случаѣ — та-
именно образомъ, по моимъ понятіямъ*, сложилась
, а я прежде всего хотѣлъ быть искреннимъ и
ивымъ. Рисуя фигуру Базарова, я исключилъ изъ
его симпатій все художественное, я придалъ ему
сть и безцеремонность тона — не изъ нелѣпаго
нія оскорбить молодое поколѣніе (!!!) *), а просто
ствіе наблюденій надъ моимъ знакомцемъ, док-
ъ Д. и подобными ему лицами. „Эта жизнь *такъ*
ывалась", опять говорилъ мнѣ опытъ—можетъ-быть,
очный, но, повторяю, добросовѣстный; мнѣ нечего
мудрить — и я долженъ былъ именно *такъ* нарисо-
его фигуру. Личныя мои наклонности тутъ ничего
ачатъ; но, вѣроятно, многіе изъ моихъ читателей
тся, если я скажу имъ, что, за исключеніемъ воз-
й на художества, — я раздѣляю почти всѣ его убѣ-
я. А меня увѣряютъ, что я на сторонѣ „Отцовъ"...
горый въ фигурѣ Павла Кирсанова даже погрѣшилъ
въ художественной правды и пересолилъ, довелъ до
атуры его недостатки, сдѣлалъ его смѣшнымъ! **)

ъ числѣ множества доказательствъ моей „злобы противъ мо-
"—одинъ критикъ привелъ и тотъ фактъ, что я заставилъ Ба-
проиграть въ карты отцу Алексѣю. „Не знаетъ, молъ, чѣмъ бы
улзвить и унизить его! И въ карты, молъ, не умѣетъ играть!"
никакого сомнѣнія, что если бы я заставилъ Базарова выиграть—
е критикъ съ торжествомъ бы воскликнулъ: „Не явное ли дѣло?—
ь хочетъ дать понять, что Базаровъ шуллеръ!"

Иностранцы никакъ не могутъ понять безпощадныхъ обвиненій,
змыхъ на меня за Базарова. „Отцы и Дѣти" были переведены
ько разъ на нѣмецкій языкъ; вотъ что пишетъ одинъ критикъ,
ая послѣдній переводъ, появившійся въ Ригѣ (Vossische Zei-
Donnerstag, d. 10 Juni, zweite Beilage, Seite 3): „Es bleibt für
nbefangenen... Leser schlechthin unbegreiflich, wie sich gerade
licale Jugend Russlands über diesen geistigen Vertreter ihrer
ng (Bazaroff), ihrer Ueberzeugungen und Bestrebungen, wie
zeichnete, in eine Wuth hinein erhitzen konnte, die sie den
r gleichsam in die Acht erklären und mit jeder Schmähung

Вся причина недоразумѣній, вся, какъ говорится, да", состояла въ томъ, что воспроизведенный мною Б ровскій типъ не успѣлъ пройти чрезъ постепенные зисы, черезъ которые обыкновенно проходятъ литера ные типы. На его долю не пришлось—какъ на долю С гина или Печорина — эпохи идеализаціи, сочувствен превознесенія. Въ самый моментъ появленія *новаго* ч вѣка — Базарова — авторъ отнесся къ нему критичес объективно. Это многихъ сбило съ толку—и кто зна въ этомъ была—быть-можетъ—если не ошибка, то несп ведливость. Базаровскій типъ имѣлъ, по крайней м столько же права на идеализацію, какъ предшество шіе ему типы. Я сейчасъ сказалъ, что отношенія ав къ выведенному лицу сбили читателя съ толку: читат всегда неловко, имъ легко овладѣваетъ недоумѣніе, досада, если авторъ обращается съ изображаемымъ рактеромъ, какъ съ живымъ существомъ, то-есть, ви и выставляетъ его худыя и хорошія стороны, а гла если онъ не показываетъ явной симпатіи или анти къ собственному дѣтищу. Читатель готовъ разсерди ему приходится не слѣдить по начертанному уже пу самому протàривать дорожку. „Очень нужно трудит невольно рождается въ немъ мысль:—„книги существ для развлеченія, не для ломанья головы; да и что с

überhäufen liess. Man sollte denken, jeder moderne Radicale nur mit froher Genugthuung in einer so stolzen Gestalt, von s Wucht des Charakters, solcher gründlichen Freiheit von allem lichen, Trivialen, Faulen, Schlaffen und Lügenhaften, sein und Parteigenossen typisches Portrait dargestellt sehn".—

То-есть:

„Для непредубѣжденнаго... читателя остается совершенно не нымъ, какъ могла радикальная русская молодежь, по поводу под представителя ея убѣжденій и стремленій, какимъ нарисовалъ рова Тургеневъ, — войти въ такую ярость, что подвергла сочи формальной опалѣ и осыпала его всяческой бранью? Можно бы. рѣе предположить, что всякій новѣйшій радикалъ съ чувство достнаго удовлетворенія признаетъ свой собственный портретъ, единомышленниковъ въ такомъ гордомъ образѣ, одаренномъ так лою характера, такой полной независимостью отъ всего мелка шлаго и ложнаго".

ору сказать, какъ мнѣ думать о такомъ-то лицѣ—какъ самъ о немъ думаетъ!"—А если отношенія автора къ му лицу свойства еще болѣе неопредѣленнаго, если ръ самъ не знаетъ, любитъ ли онъ или нѣтъ выстанный характеръ (какъ это случилось со мною въ отноіи къ Базарову, ибо то „невольное влеченіе", о комъ я упоминаю въ моемъ Дневникѣ — не любовь) — да уже совсѣмъ плохо! Читатель готовъ навязать ору небывалыя симпатіи или небывалыя антипатіи, бы только выйти изъ непріятной „неопредѣленности".

„Ни отцы, ни дѣти" — сказала мнѣ одна остроумная ка, по прочтеніи моей книги: — вотъ настоящее заглавашей повѣсти — и вы сами нигилистъ". Подобное ѣніе высказалось еще съ бо̀льшей силой по появленій ыма". Не берусь возражать; быть-можетъ, эта дама и ѵву сказала. Въ дѣлѣ сочинительства всякій (сужу по ѣ) дѣлаетъ не то, что̀ хочетъ, а то, что̀ можетъ — и колько удастся. Полагаю, что произведенія беллетрики должно судить en gros—и, строго требуя добросотности отъ автора, на остальныя стороны его дѣятельти смотрѣть—не скажу—равнодушно, но спокойно. А отсутствіи добросовѣстности, при всемъ желаніи уг- ь моимъ критикамъ, — я признать себя виноватымъ могу.

меня, по поводу „Отцовъ и Дѣтей", составилась дольно любопытная коллекція писемъ и прочихъ докутовъ. Сопоставленіе ихъ не лишено нѣкотораго интеа. Въ то время, какъ одни обвиняютъ меня въ оскорніи молодого поколѣнія, въ отсталости, въ мракобѣсіи, ѣщаютъ меня, что съ „хохотомъ презрѣнія сжигаютъ фотографическія карточки", — другіе, напротивъ, съ одованіемъ упрекаютъ меня въ низкопоклонствѣ предъ ымъ этимъ молодымъ поколѣніемъ. „Вы ползаете у ъ Базарова!" —восклицаетъ одинъ корреспондентъ: — только притворяетесь, что осуждаете его; въ сущно, вы заискиваете передъ нимъ и ждете, какъ милости,

одной его небрежной улыбки!“ — Помнится, одинъ и
тикъ, въ сильныхъ и краснорѣчивыхъ выраженіяхъ, и
мо ко мнѣ обращенныхъ, представилъ меня вмѣстѣ
г-мъ Катковымъ въ видѣ двухъ заговорщиковъ, въ
шинѣ уединеннаго кабинета замышляющихъ свой гнусн
ковъ, свою клевету на молодыя русскія силы. Карти
вышла эффектная! На дѣлѣ вотъ какъ происходилъ этот
„заговоръ“. Когда г. Катковъ получилъ отъ меня рук
пись „Отцовъ и Дѣтей“, о содержаніи которой онъ
имѣлъ даже приблизительнаго понятія — онъ почувств
валъ недоумѣніе *). Типъ Базарова показался ему „чу
не апоѳеозой „Современника“, и я бы не удивил
если бъ онъ отказался отъ помѣщенія моей повѣсти
своемъ журналѣ. „Et voilà comme on écrit l'histoir
можно бы тутъ воскликнуть... но позволительно ли ве
чать такимъ громкимъ именемъ такія маленькія вещи

Съ другой стороны, я понимаю причины гнѣва, к
бужденнаго моей книгой въ извѣстной партіи. Онѣ
лишены основанія, и я принимаю — безъ ложнаго сми
нія—часть падающихъ на меня упрековъ. Выпущенн
мною словомъ: „нигилистъ“ воспользовались тогда
гіе, которые ждали только случая, предлога, чтобы о
новить движеніе, овладѣвшее русскимъ обществомъ.
въ видѣ укоризны, не съ цѣлью оскорбленія было

*) Надѣюсь, что г-нъ Катковъ не посѣтуетъ на меня за приве
нѣкоторыхъ мѣстъ изъ написаннаго ко мнѣ въ то время письма е
„Если и не въ апоѳеозу возведенъ Базаровъ“, писалъ онъ, „то н
не сознаться, что онъ какъ-то случайно попалъ на очень вы
пьедесталъ. Онъ дѣйствительно подавляетъ все окружающее. Вс
редъ нимъ или ветошь, или слабо и зелено. Такого ли впечат
нужно было желать. Въ повѣсти чувствуется, что авторъ хотѣл
рактеризировать начало мало ему сочувственное, но какъ будто коле
въ выборѣ тона и безсознательно покорился ему. Чувствуется ч
несвободное въ отношеніяхъ автора къ герою повѣсти, какая-т
ловкость и принужденность. Авторъ передъ нимъ какъ будто теря
не любитъ, а еще пуще боится его!“ Далѣе, г-нъ Катковъ с
-ть о томъ, что я не заставилъ Одинцову обращаться иронич
Базаровымъ, и т. д. — все въ томъ же тонѣ! Явно, что одинъ
„заговорщиковъ“ не вполнѣ былъ доволенъ работою другого.

облено мною это слово, но какъ точное и умѣстное раженіе проявившагося — историческаго — факта; оно ло превращено въ орудіе доноса, безповоротнаго осуенія,—почти въ клеймо позора. Нѣсколько печальныхъ ытій, совершившихся въ ту эпоху, дали еще болѣе щи нарождавшимся подозрѣніямъ—и, какъ бы подтверая распространенныя опасенія, оправдали старанія и лопоты нашихъ „спасителей отечества“... ибо и у насъ Руси проявились тогда „спасители отечества“. Общеенное мнѣніе, столь неопредѣленное еще у насъ, хлыло обратной волной... Но на мое имя легла тѣнь. Я я не обманываю; я знаю, эта тѣнь съ моего имени не йдетъ. Но могли же другіе люди—люди, передъ которыми я слишкомъ глубоко чувствую свою незначительсть, могли же они промолвить великія слова: „Périsnt nos noms; pourvu que la chose publique soit sauvée!“ *) ь подражаніе имъ, и я могу себя утѣшить мыслью о инесенной пользѣ. Эта мысль перевѣшиваетъ непріятсть незаслуженныхъ нареканій. Да и въ самомъ дѣлѣ— о за важность? Кто черезъ двадцать, тридцать лѣтъ детъ помнить обо всѣхъ этихъ буряхъ въ стаканѣ во—и о моемъ имени—съ тѣнью или безъ тѣни?

Но довольно говорить обо мнѣ—и пора прекратить эти рывочныя воспоминанія, которыя, боюсь, мало удовлеюрятъ читателей. Мнѣ хочется только, передъ прощаемъ, сказать нѣсколько словъ моимъ молодымъ совреенникамъ — моимъ собратьямъ, вступающимъ на скользое поприще литературы. Я уже объявилъ однажды, и товъ повторить, что не ослѣпляюсь насчетъ моего поженія. Мое двадцатипятилѣтнее „служеніе музамъ“ кончилось среди постепеннаго охлажденія публики—и я в предвижу причины, почему бы она снова согрѣлась. ступили новыя времена, нужны новые люди; литературные ветераны подобны военнымъ—почти всегда инвалиды—и благо тѣмъ, которые во-время умѣютъ сами по-

*) Т.-е.—пускай погибнутъ наши имена, лишь бы общее дѣло было асено!

дать въ отставку! Не наставническимъ тономъ, на ко рый я, впрочемъ, не имѣю никакого права—намѣрен произнести мои прощальныя слова, а тономъ стар друга, котораго выслушиваютъ съ полу-снисходительны полу-нетерпѣливымъ вниманіемъ, если только онъ вдается въ излишнее разглагольствованіе. Я постара его избѣгнуть.

Итакъ мои молодые собратья, къ вамъ идетъ рѣчь мо

Greift nur hinein in's volle Menschenleben!

сказалъ бы я вамъ со словъ нашего общаго учител Гёте —

Ein jeder lebt's—nicht vielen ist's bekannt,
Und wo ihr's packt—da ist's interessant! *)

Силу этого „схватыванія", этого „уловленія" жизни дает только талантъ, а талантъ дать себѣ нельзя;—но и одно таланта недостаточно. Нужно постоянное общеніе съ ср дою, которую берешься воспроизводить; нужна правд вость, правдивость неумолимая въ отношеніи къ собстве нымъ ощущеніямъ; нужна свобода, полная свобода воззр ній и понятій—и, наконецъ, нужна образованность, нуж знаніе! — „А! понимаемъ! видимъ, куда вы гнете!" в кликнутъ здѣсь, пожалуй, многіе: — „Потугинскія иде ци-ви-ли-зація, prenez mon ours!" — Подобныя воскли нія не удивятъ меня; но и не заставятъ отступиться отъ одной іоты. Ученіе — не только свѣтъ, по народ пословицѣ, — оно также и свобода. Ничто такъ не ос бождаетъ человѣка, какъ знаніе,— и нигдѣ такъ своб не нужна, какъ въ дѣлѣ художества, поэзіи: не даро даже на казенномъ языкѣ художества зовутся „вольны свободными. Можетъ ли человѣкъ „схватывать", „у влять" то, что̀ его окружаетъ, если онъ связанъ вну себя? Пушкинъ это глубоко чувствовалъ; не даромъ своемъ безсмертномъ сонетѣ, въ этомъ сонетѣ, котор

*) Т.-е.: „Запускайте руку (лучше я не умѣю перевести) внутрь глубину человѣческой жизни! Всякій живетъ ею, не многимъ она и кома, и тамъ, гдѣ вы ее схватите, тамъ будетъ интересно!"

каждый начинающій писатель долженъ вытвердить наизусть и помнить, какъ заповѣдь,—онъ сказалъ:

...дорогою *свободной*
Иди куда влечетъ тебя *свободный* умъ...

Отсутствіемъ подобной свободы объясняется, между прочимъ, и то, почему ни одинъ изъ славянофиловъ, несмотря на ихъ несомнѣнныя дарованья *), не создалъ никогда ничего живого; ни одинъ изъ нихъ не сумѣлъ снять съ себя—хоть на мгновенье—своихъ окрашенныхъ очковъ. Но самый печальный примѣръ отсутствія истинной свободы, проистекающаго изъ отсутствія истиннаго знанія, представляетъ намъ послѣднее произведеніе графа Л. Н. Толстого („Война и Миръ"), которое, въ то же время, по силѣ творческаго, поэтическаго дара, стоитъ едва ли не во главѣ всего, что явилось въ нашей литературѣ съ 840 года. Нѣтъ! безъ образованія, безъ свободы въ обширнѣйшемъ смыслѣ — въ отношеніи къ самому себѣ, къ своимъ предвзятымъ идеямъ и системамъ, даже къ своему народу, къ своей исторіи,—не мыслимъ истинный художникъ; безъ этого воздуха дышать нельзя.

Что же касается до окончательнаго результата, до окончательной оцѣнки такъ-называемой литературной карьеры,—то и тутъ приходится вспомнить слова Гёте:

Sind's Rosen—nun, sie werden blüh'n **).

Непризнанныхъ геніевъ нѣтъ—такъ же, какъ нѣтъ заслугъ, переживающихъ свою урочную чреду. „Всякій рано или поздно попадаетъ на свою полочку", говаривалъ покойный Бѣлинскій. Уже и на томъ спасибо, коли въ свое время и въ свой часъ ты принесъ посильную ленту. Лишь одни избранники въ состояніи передать потомству не только содержаніе, но и *форму* своихъ мыслей и воззрѣній, свою

*) Славянофиловъ, конечно, нельзя упрекнуть въ невѣжествѣ, въ недостаткѣ образованности; но для произведенія художественнаго результата нужно—говоря новѣйшимъ языкомъ—совокупное дѣйствіе многихъ *факторовъ*. Факторъ, недостающій славянофиламъ, — свобода; другіе нуждаются въ образованности, третьи—въ талантѣ, и т. д.

**) Коли это розы—цвѣсти онѣ будутъ.

личность, до которой массѣ, вообще говоря, нѣтъ н кого дѣла: Обыкновенные индивидуумы осуждены исчезновеніе въ цѣломъ, на поглощеніе его потокомъ они увеличили его силу, расширили и углубили его говоротъ—чего же больше?

Кладу перо... Еще одинъ послѣдній совѣтъ молод литераторамъ и одна послѣдняя просьба. Друзья мои оправдывайтесь никогда, какую бы ни взводили на клевету; не старайтесь разъяснить недоразумѣнія, не лайте — ни сами сказать, ни услышать „послѣднее во“.—Дѣлайте свое дѣло—а то все перемелется. Во комъ случаѣ, пропустите сперва порядочный срокъ мени — и взгляните тогда на всѣ прошедшія дрязги исторической точки зрѣнія, какъ я попытался это с лать теперь. Пусть слѣдующій примѣръ послужитъ в въ назиданіе:— въ теченіе моей литературной карьер только однажды попробовалъ „возстановить факты“. именно: когда редакція „Современника“ стала въ объя ніяхъ своихъ увѣрять подписчиковъ, что она отказ мнѣ по негодности моихъ убѣжденій (между тѣмъ к отказалъ ей *я*—несмотря на ея просьбы—на что у м существуютъ письменныя доказательства), я не выдерж характера, я заявилъ публично, въ чемъ было дѣло — конечно, потерпѣлъ полное фіаско. Молодежь еще бо вознегодовала на меня... „Какъ смѣлъ я поднимать р на ея идола! что за нужда, что я былъ правъ! Я долж былъ молчать!“ — Этотъ урокъ пошелъ мнѣ впрокъ; лаю, чтобъ и вы воспользовались имъ.

А просьба моя состоитъ въ слѣдующемъ: берегите н языкъ, нашъ прекрасный русскій языкъ, этотъ кл это достояніе, преданное намъ нашими предшествен ками, въ челѣ которыхъ блистаетъ опять-таки Пушкинъ Обращайтесь почтительно съ этимъ могущественн орудіемъ; въ рукахъ умѣлыхъ оно въ состояніи сов шать чудеса! — Даже тѣмъ, которымъ не по вкусу „ лософскія отвлеченности“ и „поэтическія нѣжности“,

имъ практическимъ, въ глазахъ которыхъ языкъ не что ное, какъ средство къ выраженію мысли, какъ простой ычагъ,—даже имъ скажу я: уважайте, по крайней мѣ-Ѣ, законы механики, извлекайте изъ каждой вещи всю озможную пользу! — А то, право, пробѣгая иныя вялыя, мутныя, безсильно-пространныя разглагольствованія въ урналахъ, читатель невольно долженъ думать, что именно *ычагъ*-то вы замѣняете первобытными подпорками,—что ы возвращаетесь къ младенчеству самой механики...

Но довольно, а то я самъ впаду въ многорѣчивость.

1868—1869.

Баденъ-Баденъ.

VI.—Человѣкъ въ сѣрыхъ очкахъ.

Изъ парижскихъ воспоминаній 1848-го года.

Всю зиму съ 1847 на 1848 годъ я прожилъ въ Па-ижѣ. — Квартира моя находилась недалеко отъ Палэ-Рояля, и я почти каждый день ходилъ туда пить кофе читать газеты. — Тогда еще Палэ-Рояль не былъ та-имъ, почти заброшеннымъ мѣстомъ, какимъ онъ сталъ еперь, — хотя дни его славы уже давно миновали, той ромкой и особенной славы, которая, бывало, влагала въ уста нашимъ ветеранамъ 1814 и 1815 годовъ, при пер-омъ свиданіи съ человѣкомъ, возвратившимся изъ Па-ижа, неизмѣнный вопросъ: „а что подѣлываетъ батюшка Палэ-Рояль?“—Однажды—дѣло было въ первыхъ числахъ февраля 1848 года—я сидѣлъ за однимъ изъ столиковъ, расположенныхъ вокругъ кофейной Ротонды (de la Rotonde), подъ навѣсомъ.—Человѣкъ высокаго роста, черноволосый съ просѣдью, жилистый и сухощавый, въ заржавленныхъ желѣзныхъ очкахъ со стеклышками сѣро-ычатаго цвѣта на орлиномъ носу—вышелъ изъ кофей-ой, оглянулся—и, вѣроятно, убѣдившись, что всѣ мѣста одъ навѣсомъ были заняты, подошелъ ко мнѣ и попро-илъ позволенія подсѣсть къ моему столику. — Я, раз-мѣется, согласился. — Человѣкъ въ сѣрыхъ очкахъ не

сѣлъ, а обрушился на стулъ, сдвинулъ на затылокъ свой ветхій цилиндръ и, опершись костлявыми руками на суковатую палку, потребовалъ чашку кофе, а отъ поданной ему газеты отказался съ пренебрежительнымъ пожатіемъ плеча. Мы обмѣнялись немногими незначительными словами; — помнится, онъ раза два воскликнулъ про себя: „какое проклятое... проклятое время!“—торопливо выпилъ чашку и вскорѣ ушелъ: но впечатлѣніе, оставленное имъ, не тотчасъ во мнѣ изгладилось. — То былъ несомнѣнно французъ, изъ южной Франціи—провансалецъ или гасконецъ; его загорѣлое, морщинистое лицо, ввалившіяся щеки, беззубый ротъ, глухой и какъ бы каркающій голосъ,— самая одежда, истасканная, запачканная, словно не на него сшитая, все говорило о безпокойной, страннической жизни. „Бывалый, ломаный, битый человѣкъ“, думалось мнѣ: „онъ не только теперь въ „подмазкѣ“; — онъ, вѣроятно, всю жизнь провелъ въ тѣснотѣ да въ подчиненіи; откуда жъ это — не то невольное, не то сознательное чувство превосходства въ выраженіи лица, въ каждомъ движеніи, въ самой походкѣ, шмыгающей, небрежной? — Бѣдняки — смиренные — такъ не ходятъ“. — Особенно поразили меня его глаза, темнокаріе, съ желтоватыми бѣлками; онъ ихъ то раскрывалъ во всю ширину и устремлялъ прямо передъ собою неподвижный и тупой взоръ, то странно ёжилъ ихъ, приподнимая взъерошенныя брови и взглядывая бокомъ черезъ края очковъ... злая насмѣшливость загоралась тогда въ каждой его чертѣ. Впрочемъ, я недолго размышлялъ о немъ въ тотъ день: ожиданіе предстоявшихъ банкетовъ въ пользу реформы волновало весь Парижъ — и я принялся читать газеты.

На слѣдующій день я опять отправился пить кофе въ Палэ-Рояль и опять встрѣтился со вчерашнимъ господиномъ. Онъ первый поклонился мнѣ, какъ знакомому. Слегка усмѣхнувшись, и уже не испросивъ позволенія— точно онъ зналъ, что свиданіе съ нимъ должно мнѣ быть пріятнымъ—онъ помѣстился за моимъ столикомъ, хотя ни одинъ изъ другихъ столиковъ занятъ не былъ,—и не-

дленно вступилъ въ разговоръ, нисколько не чипясь и
стѣсняясь.

Прошло нѣсколько мгновеній...

— Вѣдь вы иностранецъ? Русскій?—внезапно спросилъ
ъ, медленно пошевеливая ложкой въ чашкѣ кофе.

— Что я иностранецъ—вы могли догадаться по моему
ыговору; но почему вы признали меня за русскаго?

— Почему? Вы сейчасъ сказали: „pardon“ — вотъ
такъ, съ растяжкой: „pa-ardon“. Одни русскіе такъ рас-
ягиваютъ слова. Впрочемъ, я безъ того зналъ, что вы
усскій.

Я хотѣлъ-было попросить объясненія... Но онъ заговo-
илъ опять.

— Вы очень хорошо сдѣлали, что пріѣхали сюда именно
ейчасъ. Время любопытное для туриста. Вы увидите...
ольшія дѣла („de grandes choses“).

— Что я увижу?

— А вотъ что. Теперь начало февраля... Мѣсяца не
ройдетъ—и Франція будетъ республикой.

— Республикой?

— Да. Но погодите радоваться... если только это васъ
адуетъ. Къ концу года Бонапарты будутъ обладать (онъ
потребилъ гораздо болѣе сильное выраженіе) той же самой
Франціей.

Когда онъ упомянулъ о близости республики, я, конечно,
ему ни на волосъ не повѣрилъ и только подумалъ: „вотъ,
человѣкъ удивить меня хочетъ: благо я, въ его глазахъ,
неопытный скиѳъ“... Но Бонапарты! съ какой стати Бо-
напарты?! Въ тогдашнюю пору, при Людовикѣ-Филиппѣ,
никто не думалъ о Бонапартахъ; во всякомъ случаѣ, никто
не говорилъ о нихъ. Ужъ не наткнулся ли я на мисти-
фикатора? Или на одного изъ тѣхъ проходимцевъ, кото-
рые шатаются по кофейнымъ и гостиницамъ, вынюхивая
иностранцевъ, и кончаютъ обыкновенно тѣмъ, что деньги
займы просятъ? Однако, нѣтъ: не такая у него повадка...
Притомъ, эта безцеремонная развязность обращенія, этотъ
равнодушный тонъ, съ которымъ онъ произнесъ свои па-
радоксы...

— Вы, стало-быть, полагаете, что король не согласится ни на какую реформу? — спросилъ я, послѣ небольшого молчанія.—Требованія оппозиціи, кажется, не велики...

— Да, да, да! (Connu, connu...),—небрежно промолвилъ онъ.—Расширеніе выборнаго права, допущеніе талантовъ и т. д., и т. д. Слова, слова, слова. Ни банкетовъ не будетъ, ни король не уступитъ, ни Гизо не захочетъ. А впрочемъ,—прибавилъ онъ, вѣроятно замѣтивъ то не совсѣмъ выгодное впечатлѣніе, которое онъ произвелъ на меня:—къ чорту политику! Дѣлать ее—весело; смотрѣть, какъ другіе ее дѣлаютъ,—глупо. Маленькія собачки такъ поступаютъ, когда большія... наслаждаются жизнью. Маленькимъ остается одно: лаять или визжать. — Будемте говорить о другомъ.

Не помню, о чемъ зашла наша бесѣда...

— Вы, конечно, бываете въ театрахъ? — спросилъ онъ меня опять съ тою же внезапностью, которую я уже въ немъ замѣтилъ, и которая заставляла предполагать, что онъ нисколько не слушаетъ то, что ему говорятъ.—Вѣдь вы всѣ, г-да русскіе, до этого большіе охотники.

— Бываю.

— И, вѣроятно, восхищаетесь нашими актерами?

— Да, иными... Особенно въ Théâtre Français...

— Всѣхъ нашихъ актеровъ,—перебилъ онъ меня:—губитъ хорошій вкусъ. Эти традиціи тамъ, консерваторіи—бѣда! Всѣ они какіе-то выпотрошенные да замороженные. У васъ, въ Россіи, такія рыбы бываютъ на рынкахъ, зимой. Ни одинъ изъ нашихъ актеровъ не скажетъ на сценѣ: „я люблю васъ“, не разставивъ ноги въ видѣ циркуля и не закативъ томно глаза. И все ради хорошаго вкуса! Настоящихъ актеровъ можно найти только въ Италіи. Когда я жилъ въ Италіи... Кстати, что вы скажете о той конституціи, которую король Бомба пожаловалъ своимъ вѣрноподданнымъ? Не скоро онъ имъ проститъ эту милость... не скоро! Ну... вотъ, когда я жилъ въ Неаполѣ,—на тамошнемъ народномъ театрѣ такіе водились молодцы... прелесть! Да всякій итальянецъ — актеръ. У нихъ

го въ натурѣ... а мы только толкуемъ о натуральности. У насъ даже въ Палэ-Роялькомъ театрѣ никто не можетъ потягаться съ любымъ уличнымъ проповѣдникомъ... Per le santissime anime del Purgatorio!" воскликнулъ онъ вдругъ пѣвучимъ носовымъ голосомъ и, сколько я могъ судить, очень похоже, съ чистымъ итальянскимъ акцентомъ.

Я засмѣялся—и онъ засмѣялся беззвучно, широко раскрывая ротъ и косясь черезъ края очковъ.

— Однако... Рашель,—началъ-было я...

— Рашель, — повторилъ онъ. — Да; это сила. Сила и цвѣтъ того жидовства, которое теперь завладѣло всѣми карманами цѣлаго міра и скоро завладѣетъ всѣмъ остальнымъ. У кого карманъ въ рукахъ, у того и женщина: а у кого женщина, у того и мужчина.—(Qui a la poche, a la femme; et qui a la femme, a l'homme). Да... Рашель!— Го же вотъ, что Мейербееръ, который все грозитъ да дразнитъ насъ своимъ „Пророкомъ". Дамъ... Нѣтъ, не дамъ... Ловкій человѣкъ; еврей—однимъ словомъ... маэстро, только не въ музыкальномъ смыслѣ. Впрочемъ, и Рашель въ послѣднее время попортилась... а все вы, г-да иностранцы, виноваты. Въ Италіи есть одна актриса... ее зовутъ Ристори. Она, говорятъ, за какого-то маркиза вышла и сцену покинула. — Хороша; только кривляется маленько.

— Вы долго жили въ Италіи?—спросилъ я.

— Да, пожилъ.—Да гдѣ я не жилъ!

— Вы, кажется, и въ Россіи были?

— А музыку вы тоже любите? — промолвилъ онъ, не отвѣчая на мой вопросъ.—Въ оперу ходите?

— Я музыку люблю.

— Любите? Гмъ! любите? Понятное дѣло: вы—славянинъ, а всѣ славяне—меломаны. Самое это послѣднее искусство.—Когда оно не дѣйствуетъ на человѣка—скучно; когда дѣйствуетъ—вредно.

— Вредно? почему же вредно?

— Оно вредно—какъ слишкомъ теплыя ванны. Спросите докторовъ.

— Вотъ какъ!—Ну, а о другихъ искусствахъ вы какого мнѣнія?

— Искусство только одно и есть: ваяніе.—Вотъ это холодно, безстрастно, величаво—и зарождаетъ въ человѣкѣ мысль—или иллюзію, какъ угодно—о безсмертіи и вѣчности.

— А живопись?

— Живопись? — Крови много, тѣла, красокъ... много грѣха.—Голыхъ женщинъ пишутъ!—Статуя никогда голая не бываетъ. — И къ чему разжигать человѣка? Люди и такъ всѣ грѣшны, преступны; всѣ насквозь проникнуты грѣхомъ.

— Всѣ, безъ исключенія? и всѣ насквозь?

— Всѣ! — Вы, я, даже вотъ этотъ толстый холостякъ съ добродушнымъ лицомъ, который покупаетъ куклу въ подарокъ чужому ребенку—а, можетъ-быть, и своему—всѣ преступны. У каждаго въ жизни есть уголовщина—и никто не имѣетъ права сказать, что ему нѣтъ мѣста на той пакостной скамейкѣ, на которую сажаютъ обвиняемыхъ.

— Вамъ это лучше знать, — вырвалось у меня невольно.

— Именно такъ: мнѣ это лучше знать. „Experto credi“ (вмѣсто: crede)—„Roberto“.

— Ну, а литература? Какое ваше мнѣніе о литературѣ? — продолжалъ я свой экзаменъ. — „Коли ты меня мистифицируешь,—подумалъ я:—почему жъ и мнѣ не потрунить надъ тобою? Ты же дѣлаешь ошибку въ латинской цитатѣ, которой никто отъ тебя не требовалъ“.

Незнакомецъ равнодушно усмѣхнулся—словно понялъ мою мысль.

— Литература не искусство, — промолвилъ онъ небрежнымъ голосомъ. — Литература должна прежде всего—забавлять. А забавляетъ только литература біографическая.

— Вы такой охотникъ до біографій?

— Вы меня не такъ поняли.—Я разумѣю тѣ произведенія, въ которыхъ авторы разсказываютъ читателямъ о

михъ себѣ—на показъ себя выставляютъ—т. е. на смѣхъ.—ичего иного люди настоящимъ образомъ знать не мо-тъ... да и то!—Вотъ почему самый великій писатель—онтепь. Такого нѣтъ другого.

— Онъ слыветъ за великаго эгоиста,—замѣтилъ я.

— Да; и въ этомъ его сила. У него у одного достало мѣлости—быть эгоистомъ—и посмѣшищемъ—до конца.—ттого онъ меня и забавляетъ.—Прочту страницу, дру-гую... посмѣюсь надъ нимъ, надъ самимъ собою... и баста!

— Ну, а поэты?

— Поэты занимаются музыкою словъ, словесной музы-кой.—А вы знаете мое мнѣніе о музыкѣ.

— Что же должно читать?—И что долженъ, напримѣръ, итать народъ?—Или вы полагаете, что народу читать не лѣдуетъ?

(Я замѣтилъ на одномъ изъ пальцевъ незнакомца кольцо съ гербомъ;—несмотря на его мизерный и обтерханный видъ, мнѣ сдавалось, что онъ долженъ придерживаться аристократическихъ мнѣній;—а, быть-можетъ, и самъ онъ, по происхожденію, принадлежалъ аристократіи).

— Напротивъ,— отвѣчалъ онъ. — Народъ долженъ чи-тать; но что̀ онъ читаетъ—это совершенно безразлично. Говорятъ, ваши мужики все одну и ту же книжку чи-таютъ.—(„Францыль Венеціанецъ“—мелькнуло у меня въ головѣ).—Дочитаютъ одинъ экземпляръ—другой такой же купятъ.—И прекрасно дѣлаютъ. Это придаетъ имъ важ-ности въ собственныхъ глазахъ—и мѣшаетъ имъ раз-мышлять.—А кто въ церковь ходитъ—тому и вовсе читать не нужно.

— Вы придаете такое значеніе религіи?

Незнакомецъ покосился на меня черезъ края очковъ.

— Я въ Бога плохо вѣрю, милостивый государь; но религія — дѣло важное. — Служить ей... быть-можетъ, едва ли не лучшее званіе. Попы молодцы; они одни постигли сущность власти: повелѣвать со смиреніемъ — и повиноваться съ гордостью: вотъ и весь секретъ.—Власть... власть... обладать властью — другого счастья на землѣ нѣтъ!

Я уже началъ привыкать къ неожиданнымъ скачкамъ нашего разговора — и только старался не отставать от моего страннаго собесѣдника. А онъ, напротивъ, говорил съ такимъ видомъ, какъ будто всѣ эти аксіомы, которы онъ столь увѣренно высказывалъ, вытекали одна изъ дру гой послѣдовательно и логично, хотя вы въ то же врем чувствовали, что ему совершенно все равно, соглаша тесь ли вы съ нимъ или нѣтъ.

— Если вы такъ властолюбивы,—началъ я:—и такого высокаго мнѣнія о духовенствѣ,—отчего же вы сами н пошли по этой дорогѣ, не сдѣлались священникомъ?

— Ваше замѣчаніе справедливо, милостивый государь;- но я мѣтилъ выше.—Я самъ хотѣлъ основать религію. И я попытался... во время моего пребыванія въ Америкѣ Впрочемъ, не я одинъ имѣлъ это намѣреніе. Тамъ этим вообще занимаются.

— Вы тоже были въ Америкѣ?

— Я тамъ два года прожилъ. — Вы, можетъ-быть, замѣтили, — я вынесъ оттуда скверную привычку жевать табакъ.—Не курю и не нюхаю... а жую. Извините! (Онъ сплюнулъ въ сторону).—Такъ вотъ, въ чемъ дѣло: я хотѣлъ основать религію — и уже придумалъ-было очень недурную легенду. Только для того, чтобы она приня лась, надо быть мученикомъ, кровь свою пролить... Безъ этого цемента фундамента не выведешь. — Не то, что на войнѣ: тамъ гораздо полезнѣе чужую кровь проливать.— А свою... нѣтъ! я этого не хотѣлъ.—Слуга покорный!

Онъ промолчалъ съ минуту.

— Вы меня сейчасъ назвали властолюбивымъ,—заговорилъ онъ снова.—Это вы правду сказали.—Я, напримѣръ, увѣренъ, что я еще буду королемъ.

— Королемъ?

— Да, королемъ... На какомъ-нибудь необитаемом островѣ.

— Королемъ... безъ подданныхъ?

— Подданные всегда найдутся. — У васъ, въ Россіи, есть поговорка: „Было бы корыто“, и т. д. Людямъ это свойственно—подчиняться.—Нарочно на мой островъ че-

ь море переплывутъ, чтобы только подчиниться властию. Это вѣрно.

„Да ты сумасшедшій!“ подумалъ я про себя.

— Не отъ того ли вы полагаете, — промолвилъ я мко: — что французы подчинятся Бонапартамъ?

— По этой именно причинѣ, милостивый государь.

— Позвольте, позвольте, — воскликнулъ я: — вѣдь у нцузовъ и теперь есть король, властитель. — Сталоь, та людская потребность, о которой вы говорите, ребность подчиняться—удовлетворена.

Мой собесѣдникъ покачалъ головою.

— Въ томъ-то и штука, что нынѣшній нашъ король, довикъ-Филиппъ, вовсе не чувствуетъ себя королемъ, истителемъ. Впрочемъ, мы не хотѣли говорить о политикѣ.

— Вы предпочитаете философію?—замѣтилъ я.

Онъ сплюнулъ свой жёванный табакъ далеко въ сторону, по-американски. — Ага! Вамъ угодно иронизировать? — Что жъ? — Я и отъ философіи не прочь; тѣмъ лѣе, что она у меня очень проста и вовсе не похожа, примѣръ, на нѣмецкую философію, которую я, впрочемъ, всѣмъ не знаю—но ненавижу, какъ и всѣхъ нѣмцевъ.— аза незнакомца внезапно разгорѣлись. — Я ненавижу ъ — ибо я патріотъ. Вѣдь и вы тоже, какъ русскій, лжны ихъ ненавидѣть?

— Позвольте... я...

— А коли нѣтъ — тѣмъ хуже для васъ. — Вотъ, погодите—они еще дадутъ вамъ себя знать.—Я ихъ ненавижу, ихъ боюсь,—прибавилъ онъ, понизивъ голосъ:—и одно ъ моихъ лучшихъ воспоминаній состоитъ въ томъ, что мнѣ удалось стрѣлять по нимъ, по этимъ нѣмцамъ!

— Вы стрѣляли? гдѣ же это?

— А опять-таки въ Италіи. — Я участвовалъ... Впромъ, постойте. — Мы, кажется, бесѣдовали о философіи. сть имѣю доложить вамъ, что вся моя философія заючается въ слѣдующемъ: въ человѣческой жизни есть а несчастія: рожденіе и смерть. — Второе несчастіе нѣе велико... оно можетъ быть добровольнымъ.

— А сама жизнь?

— Гм! гм!—Этого разомъ не опредѣлишь. Но замѣтьте, что и въ жизни есть только двѣ хорошія вещи: а именно—когда человѣкъ способствуетъ рожденію... или смерти—т. е. одному изъ тѣхъ двухъ несчастій, о которыхъ была рѣчь.—„Guerra, caza y amores“, говорятъ испанцы.

Я случайно зналъ эту поговорку. — Вы забываете второй стихъ,—замѣтилъ я.—„Por un placer mil dolores“.

— Прекрасно! Вотъ вамъ и доказательство вѣрности моей философіи. — А впрочемъ, — прибавилъ онъ, быстро вставая со стула:—мы достаточно поболтали. До свиданія!

— Погодите... постойте!—воскликнулъ я.—Мы съ вами разговаривали около часа, а я еще не знаю, съ кѣмъ я имѣлъ честь...

— Вы хотите знать мое имя? Къ чему вамъ оно? Вѣдь я не спрашивалъ васъ о вашемъ. Я не спрашивалъ васъ также о томъ, гдѣ вы живете, — и не считаю нужнымъ сказать вамъ, гдѣ я живу, въ какой пребываю трущобѣ. Мы сходимся здѣсь — ну, и прекрасно. Вѣдь моя бесѣда вамъ нравится? — Онъ насмѣшливо прищурилъ глаза.—Я вамъ нравлюсь?

Меня немножко покоробило.—Очень ужъ безцеремоненъ былъ этотъ господинъ.—Я вами интересуюсь, милостивый государь,—отвѣчалъ я съ преднамѣренной разстановкой:—но вы мнѣ не нравитесь.

— А я вами не интересуюсь — но вы мнѣ нравитесь. Кажется, этого довольно для такихъ отношеній, каковы наши. — Если угодно, зовите меня... ну, хоть monsieur François. А васъ, если позволите, я буду звать monsieur Ivan... Вѣдь почти всѣ русскіе Иваны: я въ этомъ удостовѣрился въ то время, когда имѣлъ неудовольствіе состоять гувернёромъ у одного вашего генерала, въ одной вашей губерніи.—И глупъ же былъ этотъ генералъ—и бѣдна была эта губернія!—За симъ, прощайте, monsieur Ivan!

Онъ повернулся—и пошелъ.

— Прощайте, monsieur François, — крикнулъ я ему вслѣдъ.

„Что за человѣкъ?“ спрашивалъ я самого себя, возвращаясь домой.—„Что за странное существо! Дразнитъ ли ъ меня, выдумываетъ разныя небылицы—или дѣйствительно убѣжденъ въ томъ, что̀ говоритъ? Что̀ онъ дѣлаетъ? ѣмъ занятъ? Какое его прошедшее? Кто онъ? Неудавійся литераторъ, публицистъ, школьный учитель, разоенный промышленникъ, обѣднѣвшій дворянинъ, актеръ отставкѣ? и чего онъ добивается теперь? и почему ъ выбралъ именно меня въ свои повѣренные?“

Всѣ эти вопросы я себѣ ставилъ... и разрѣшить ихъ, нечно, не могъ.—Но мое любопытство было затронуто— я не безъ нѣкотораго волненія отправился, на другой ень, въ Палэ-Рояль.—На этотъ разъ я, однако, напрасно рождалъ моего чудака; зато на слѣдующій день онъ пять появился подъ навѣсомъ кофейной.

— A! monsieur Ivan! — воскликнулъ онъ, какъ только еня завидѣлъ.—Здравствуйте.—Вотъ, насъ опять свела удьба.—Какъ вы поживаете?

— Помаленьку, благодарствуйте.—А вы какъ, monsieur 'ançois?

— И я тоже помаленьку. Ça boulotte.—Вчера, однако, уть не издохъ... Судороги въ сердцѣ... Смертью запахло... верный запахъ! Но это не важно. Только знаете что: йдемте, сядемте въ садъ; а то, здѣсь народу много набрась. Терпѣть не могу—когда на меня смотрятъ со стороны и кто сзади сидитъ, за спиной. Да и погода чудесная.

Мы отправились въ садъ—сѣли. Помнится, когда ему ишлось платить два су за свой стулъ, онъ досталъ изъ рмана крошечный, ветхій, плоскій портмонэ — долго лся въ немъ—да и денегъ въ портмонэ едва ли было ного больше, чѣмъ тѣ два су. — Я ждалъ, что онъ возновитъ свои парадоксы... но вышло иначе. — Онъ прился меня разспрашивать о разныхъ значительныхъ русихъ лицахъ.—Я отвѣчалъ ему, какъ умѣлъ; но ему все отѣлось больше подробностей, больше біографическихъ ертъ.—Оказалось, что ему много было извѣстно такого, его я не подозрѣвалъ.—Большой запасъ свѣдѣній былъ этого человѣка.

Понемногу разговоръ перешелъ на политику. Да и трудно было ея избѣгнуть, при тогдашнемъ возбужденномъ состояніи умовъ.—Мосьё Франсуа упомянулъ, вскользь и словно нехотя,—о Гизо, о Тіэрѣ; по поводу перваго замѣтилъ, что вотъ, какъ Франція несчастна: одинъ только у ней и выискался человѣкъ съ твердой волей—и то не кстати; — а о второмъ пожалѣлъ, сказавъ, что роль его теперь надолго кончена.

— Помилуйте, она только начинается! — воскликнул я:—какія рѣчи онъ держитъ въ палатѣ депутатовъ!

— Теперь пойдутъ другіе люди,—пробормоталъ онъ:— а всѣ эти рѣчи—одинъ только шумъ—и больше ничего. Плыветъ человѣкъ въ лодкѣ — и говоритъ водопаду... и тотъ его сейчасъ перекувырнетъ вмѣстѣ съ его лодкой. Да впрочемъ—вы мнѣ не вѣрите.

— Что жъ,—продолжалъ я:—вы развѣ полагаете, что Одилонъ Барро...—Тутъ мосьё Франсуа уставился на меня и расхохотался, закинувъ назадъ голову.

— Бумъ, бумъ, бумъ, — произнесъ онъ, передразнивая гарсона, разносившаго кофе въ ротондѣ:—вотъ вамъ весь Одилонъ Барро... Бумъ, бумъ!

— Да!—промолвилъ я не безъ досады.—Вѣдь, по-вашему, мы наканунѣ республики. — Соціалисты, что ли будутъ эти новые люди?

Мосьё Франсуа принялъ нѣсколько торжественную позу.

— Соціализмъ родился у насъ во Франціи, милостивый государь — да и во Франціи же умретъ, если уже не умеръ. — Или его убьютъ. — Убьютъ его двояко: или на смѣшкой—не можетъ же г-нъ Консидеранъ безнаказанно увѣрять, что у людей вырастетъ хвостъ съ глазомъ на концѣ... — или вотъ какъ: — онъ поставилъ обѣ руки какъ бы прицѣливаясь изъ ружья.—Вольтеръ говаривалъ что у французовъ не эпическія головы; а я осмѣливаюсь утверждать, что у насъ не соціалистическія головы.

— За границей о васъ не такого мнѣнія.

— Въ такомъ случаѣ, вы всѣ, господа, за границей въ сотый разъ доказываете, что не понимаете насъ. Въ настоящее время соціализмъ требуетъ творческой силы.—

ъ пойдетъ за ней къ итальянцамъ, къ нѣмцамъ... къ амъ, пожалуй.—А французъ—изобрѣтатель... (онъ почти зобрѣлъ)... но не творецъ. Французъ остеръ и узокъ, акъ шпага — вотъ, онъ и проникаетъ въ суть вещей, зобрѣтаетъ, находитъ... А чтобы творить — надо быть ирокимъ, круглымъ.

— Какъ англичане или ваши любимые нѣмцы,—ввернулъ я не безъ насмѣшки.

Но мосьё Франсуа не обратилъ вниманія на мою шпильку.

— Соціализмъ! Соціализмъ!—продолжалъ онъ.—Это не анцузскій принципъ. — У насъ совсѣмъ другіе принципы.—У насъ ихъ—два; два краеугольные камня: революція и рутина. Робеспіеръ и мосьё Прюдомъ — вотъ ши національные герои.

— Въ самомъ дѣлѣ? А военный элементъ — куда вы о дѣваете?

— Да мы вовсе не военный народъ. Васъ это удиляетъ? — Мы храбрый, очень храбрый народъ; воинственный, но не военный... Слава Богу, мы больше этого бимъ.

Онъ пожевалъ губами.

— Да; это такъ. И со всѣмъ тѣмъ, — не было бы асъ, французовъ—не было бы и Европы.

— Но была бы Америка.

— Нѣтъ. Ибо Америка — та же Европа — только на знанку. У американцевъ нѣтъ ни одной изъ тѣхъ основъ, а которыхъ зиждется зданіе европейскаго государства... а между тѣмъ—выходитъ одно и то же. Все людское—дно и то же. Вы помните наставленіе унтеръ-офицера екрутамъ: „направо кругомъ — совершенно то же самое, то налѣво кругомъ; только оно совершенно противоположно“. Ну, вотъ, и Америка: та же Европа — только алѣво кругомъ.

— Если бы Франція была Римомъ,—проговорилъ мосьё рансуа послѣ недолгаго молчанія:—вотъ, когда бы кстати виться Катилинѣ! — Теперь, когда скоро, очень скоро— ы это увидите, милостивый государь! — камни (онъ возысилъ голосъ)—камни на нашихъ мостовыхъ—вотъ тутъ,

близко, гдѣ-нибудь рядомъ съ нами, — опять отвѣдаю крови! — Но у насъ Катилины не будетъ — и Цезаря не будетъ,—а будетъ все тотъ же Прюдомъ съ Робеспіеромъ. Кстати, не согласитесь ли вы со мною: какъ жалко, что Шекспиръ не написалъ Катилины!

— А вы высокаго мнѣнія о Шекспирѣ, несмотря на то, что онъ поэтъ?

— Да. Онъ былъ человѣкъ счастливо рожденный — съ дарованіемъ. Онъ умѣлъ видѣть, въ одно и то же время, и бѣлое, и черное, что̀ очень рѣдко; — и ни за бѣлое не стоялъ, ни за черное — что̀ еще рѣже. — Вотъ еще хорошую вещь онъ написалъ — Коріолана! Лучшая его пьеса!

Мнѣ тотчасъ же припомнились мои догадки насчетъ аристократизма мосьё Франсуа.

— Вамъ Коріоланъ, можетъ-быть, оттого такъ нравится, что въ этой трагедіи Шекспиръ очень непочтительно, почти презрительно отзывается о народѣ, о черни

— Нѣтъ,—возразилъ мосьё Франсуа.—Я чернь не презираю; я вообще народъ не презираю.—Прежде, чѣмъ презирать другихъ, надо бы начать съ самого себя... что со мной случается лишь урывками... когда мнѣ ѣсть нечего,—прибавилъ онъ, понизивъ голосъ и сумрачно насупивъ брови. — Презирать народъ?! Съ какой стати? Народъ—то же, что земля.—Хочу, пашу ее... и она меня кормитъ; хочу, оставляю ее подъ паромъ. Она меня носитъ—а я ее попираю.—Правда, иногда она вдругъ возьметъ да встряхнется, какъ мокрый пудель, и повалитъ все, что мы на ней настроили — всѣ наши карточные домики.—Да вѣдь это, въ сущности, рѣдко случается—это землетрясенія-то. — Съ другой стороны, я очень хорошо знаю, что, въ концѣ-концовъ, она меня поглотитъ... народъ меня поглотитъ тоже. Этому помочь нельзя. — презирать народъ?—Презирать можно только то, что̀, при другихъ условіяхъ, слѣдуетъ уважать.—А тутъ ни тому ни другому чувству мѣста нѣтъ. Тутъ надо пользоваться умѣючи. Всѣмъ умѣть пользоваться — вотъ что надо.

— А позвольте спросить—вы умѣли пользоваться?

Мосьё Франсуа вздохнулъ.

— Нѣтъ; не умѣлъ.

— Неужели?

— Не умѣлъ, говорятъ вамъ. — Вы, вотъ, смо́трите на ня и, пожалуй, думаете: „ты, молъ, пророчишь, что ро во Франціи настанутъ перевороты... вотъ, тутъ тебѣ ловить рыбу — въ мутной-то водѣ“. — По щука не въ ной водѣ ловитъ рыбу.—А я даже не щука!

Онъ круто повернулся на стулѣ и ударилъ кулакомъ его спинкѣ.—Нѣтъ! ничѣмъ я не умѣлъ пользоваться, го бы я не въ такомъ видѣ предсталъ передъ вами!— съ указалъ на всего себя бѣглымъ движеніемъ руки.— бы тогда, можетъ-быть, совсѣмъ не познакомился съ ми... О чемъ я бы очень сожалѣлъ,—прибавилъ онъ съ тянутой улыбкой. — И я бы не жилъ тамъ, на томъ рдакѣ, гдѣ я живу,—не имѣлъ бы возможности, вставая утру и бросая взглядъ на море крышъ и трубъ Паижа, повторять восклицаніе Югурты: „Urbs venalis!“ Гмъ! ;—а былъ бы я самъ, какъ этотъ городъ, не былъ бы въ теперешнемъ положеніи; не было бы этой нужды, бѣдности...

„Вотъ когда онъ у меня денегъ попроситъ“,—подумалось мнѣ. — Но онъ умолкъ, уронилъ голову на грудь и чалъ чертить по песку концомъ палки. Потомъ онъ ять глубоко-глубоко вздохнулъ, снялъ очки, досталъ арый клѣтчатый платокъ изъ задняго кармана, свернулъ его въ клубочекъ—и провелъ имъ раза два по лбу, ысоко поднимая локоть. — Да,—промолвилъ онъ наконецъ, чуть слышно:—жизнь—печальная штука; печальная тука жизнь, милостивый государь мой. Одно утѣшаетъ ня: — а именно, то, что я умру скоро — и непремѣнно асильственной смертью. — („И не будешь королемъ?“— ть не сорвалось у меня съ языка; но я удержался). — ъ насильственной смертью. — Вы посмотрите на это: — нъ поднесъ ко мнѣ лѣвую руку, въ которой держалъ очки, донью кверху—и, не выпуская платка, положилъ на нее азательный палецъ правой... неопрятныя были обѣ).— видите эту черту, пересѣкающую жизненную линію?

— Вы хиромантикъ?—спросилъ я.

— Вы видите эту черту?—настойчиво повторилъ онъ.— Стало-быть, я правъ. — А вы напередъ знайте, милостивый государь, если, находясь въ такомъ мѣстѣ, гдѣ вам меньше всего бы слѣдовало вспоминать обо мнѣ—вы все-таки обо мнѣ вспомните—знайте: меня не стало.

Онъ опять понурился, и руку съ платкомъ уронил на колѣно; другая, съ очками, повисла какъ плетка.— воспользовался тѣмъ, что глаза мосьё Франсуа были опу щены—не смущали меня—и внимательнѣе прежняго с смотрѣлъ на него. Онъ мнѣ вдругъ показался таким старикомъ; такая усталость сказывалась въ наклонѣ сп спины и плечей, въ самой постановкѣ его большихъ плоскихъ ногъ, обутыхъ въ заплатанные сапоги; так горько стиснулись губы, такъ глубоко ввалились небри тыя щеки, такъ хило поникла тощая шея, такъ унын повисъ клокъ посѣдѣлыхъ волосъ на изрытый морщинам лобъ...—„Несчастный, жалкій ты человѣкъ“,—рѣшилъ тутъ же про себя:—„несчастный во всѣхъ твоихъ нач наніяхъ и предпріятіяхъ, въ семейныхъ и всяческих дѣлахъ.—Если ты былъ женатъ—жена тебя обманула бросила; а если у тебя есть дѣти—ты ихъ не видишь не знаешь“...

Громкое восклицаніе на русскомъ языкѣ прервало м размышленія: кто-то звалъ меня.—Я обернулся и въ дву шагахъ отъ себя увидѣлъ всѣмъ извѣстнаго А. И. Г цена, проживавшаго тогда въ Парижѣ. Я всталъ и по шелъ къ нему.

— Съ кѣмъ ты это сидишь? — началъ онъ, нисколь не умѣряя своего звонкаго голоса.—Что за фигура?

— А что?

— Да, помилуй, это шпіонъ. Непремѣнно шпіонъ.

— Ты развѣ его знаешь?

— Вовсе не знаю; да стоитъ только взглянуть на не Вся ихняя манера.—Охота тебѣ съ нимъ якшаться. Сл три, берегись!

Я ничего не отвѣтилъ А. И. Герцену.—Но такъ ка я зналъ, что при всемъ его блестящемъ и проницате

къ умѣ, пониманіе людей, особенно на первыхъ по-
къ, у него было слабое; такъ какъ я хорошо помнилъ,
) за его гостепріимнымъ и радушнымъ столомъ попа-
лись иногда самыя неблаговидныя личности, личности,
горыя возбуждали его довѣрчивую симпатію двумя-тремя
чувственными словами, и которыя впослѣдствіи оказа-
сь дѣйствительными... агентами, какъ онъ это самъ
гомъ разсказалъ въ своихъ запискахъ;—то я и не при-
къ особенной важности его предостереженью и, побла-
даривъ его за дружескую заботливость, вернулся къ
ему мосьё Франсуа. Тотъ сидѣлъ попрежнему, непо-
ижный и понурый.

— Что я хотѣлъ сказать вамъ,—заговорилъ онъ, какъ
ько я усѣлся возлѣ него. — За вами, господа русскіе
ится дурная привычка.—Вы на улицѣ, передъ чужими,
едъ французами, говорите громко между собою по-
ски—словно вы увѣрены, что никто васъ не пойметъ.—
то неосторожно. Вотъ я, напримѣръ, все понялъ, что
залъ вашъ пріятель.

І невольно покраснѣлъ.— Пожалуйста, не думайте...—
алъ я.—Конечно... мой пріятель...

— Я его знаю,—перебилъ меня мосьё Франсуа: — онъ
овѣкъ весьма остроумный... Но „errare humanum est“—
сьё Франсуа, очевидно, любилъ щегольнуть латынью).
я по моей наружности, можно предполагать обо мнѣ...
что угодно. — Но только позвольте спросить васъ:
и даже я былъ бы тѣмъ, чѣмъ меня назвалъ вашъ
ятель—какая была бы мнѣ польза выслѣживать *васъ*?

— Конечно... конечно... вы правы. — Мосьё Франсуа
ило посматривалъ на меня. — Вы выучились русскому
ку, когда были гувернеромъ у генерала?—спросилъ я
ольно некстати: но мнѣ хотѣлось поскорѣе загладить
ріятное впечатлѣніе, котораго не могло не произвести
колько опрометчивое сужденіе А. И. Герцена.

Лицо мосьё Франсуа оживилось; онъ даже осклабился,
лопалъ меня по колѣну, какъ бы желая дать мнѣ по-
ствовать, что понимаетъ и цѣнитъ мое намѣреніе, на-
къ очки, поднялъ уроненную имъ палку.—Нѣтъ,—про-

молвилъ онъ: — я выучился рѣньше. — Я тогда выучился вашему языку, когда попалъ изъ Америки въ Сибирь, изъ Тэхаса, чрезъ Калифорнію... Я и тамъ былъ—въ нашей Сибири! И какія со мной чудеса совершались!

— Напримѣръ?

— Я о Сибири говорить не стану... по многимъ причинамъ. Боюсь огорчить васъ или оскорбить. — Намалъшимъ лутши! — прибавилъ онъ ломанымъ русскимъ языкомъ.—Хе, хе. Но вотъ, послушайте, что̀ со мной однажди случилось въ Тэхасѣ.

И мосьё Франсуа принялся, съ несвойственной ему до тѣхъ поръ обстоятельностію, разсказывать, какъ онъ, странствуя по Тэхасу зимой, забрелъ разъ, поздно вечеромъ, въ блокгаузъ къ одному поселенцу изъ мексиканцевъ; — какъ, проснувшись ночью, онъ увидалъ своего хозяина сидящимъ на его постели съ обнаженнымъ ножомъ въ рукѣ — „con una navaja“; какъ этотъ человѣкъ огромнаго роста, бычачьей силы и пьяный, объявилъ ему, что намѣренъ его зарѣзать, по той причинѣ, что онъ, Франсуа, лицомъ напоминаетъ ему одного изъ злѣйшихъ его враговъ.—„Докажи мнѣ“,—говорилъ мексиканецъ: — „что мнѣ не слѣдуетъ потѣшить себя и не выпустить изъ тебя всю кровь, какъ изъ борова,—такъ какъ я могу совершить все это вполнѣ безнаказанно, и никто на свѣтѣ не узнаетъ, что съ тобою сталось; да если кто бы и узналъ, все-таки, къ отвѣту меня не потянутъ, ибо никому на свѣтѣ нѣтъ до тебя никакого дѣла. Ну, доказывай!.. времени у насъ, слава Богу, довольно“. — И я,—продолжалъ мосьё Франсуа:—всю ночь до утра, лежа подъ его ножомъ, принужденъ былъ доказывать этому пьяному звѣрю — то приводя тексты изъ священнаго писанія — (на него, какъ на католика, это могло дѣйствовать),—то придерживаясь общихъ разсужденій,—что удовольствіе, которое доставитъ ему моя смерть, не настолько будетъ велико, чтобы стоило изъ-за него марать руки... „Надо будетъ мой трупъ зарыть, хоть ради опрятности; все это хлопоты“... Я принужденъ былъ даже сказки сказывать, даже пѣсни пѣть... „Пой со мною!“

ычалъ онъ. „La muchacha-a-a!..“ И я ему подтягивалъ... в лезвіе ножа, de cette diablesse de navaja — висѣло на ершокъ отъ моего горла. — Кончилось тѣмъ, что мексиканецъ заснулъ рядомъ со мною, положивъ свою косматую, гадкую голову ко мнѣ на грудь.

Всю эту исторію мосьё Франсуа разсказалъ мнѣ тихимъ олосомъ, не спѣша, какъ бы засыпая, — и вдругъ вытащилъ глаза и умолкъ.

— Ну, и что же вы съ нимъ сдѣлали?—спросилъ я:— ъ мексиканцемъ-то?

— Да я... лишилъ его возможности впередъ такъ глупо утить.

— То-есть, это какъ же?

— Взялъ у него изъ рукъ ножъ... да, покончивши съ имъ дѣломъ, отправился далѣе.— Случались со мною и другія приключенія... А все больше отъ нихъ, отъ пролятыхъ,—прибавилъ онъ, указывая пальцемъ на проходившую женщину, скромно одѣтую, среднихъ лѣтъ.

— Отъ кого?

— Отъ этихъ... юбокъ,— пояснилъ онъ свою мысль.— , эти женщины! женщины!—Онѣ-то вамъ ломаютъ ваши крылья, онѣ отравляютъ лучшую вашу кровь. — А впрочемъ, прощайте.—Я, вѣроятно, ужъ надоѣлъ вамъ — а я никому надоѣдать не намѣренъ. Особенно тому, въ комъ не нуждаюсь.

Онъ гордо выпрямилъ свой станъ, всталъ—и удалился, едва кивнувъ мнѣ головою и развязно помахивая палкой.

Я, признаться, всей этой мексиканской исторіи не повѣрилъ; она даже повредила мосьё Франсуа въ моихъ глазахъ.— И опять мнѣ пришло на мысль, что онъ меня дурачитъ.—Но съ какой цѣлью?—Чудакъ! чудакъ!—повторялъ я.— За шпіона я его, однако, признать все-таки не могъ, несмотря на увѣреніе А. И. Герцена. — Меня дивляло то, что какимъ это образомъ ни одинъ изъ многочисленныхъ прохожихъ въ Палэ-Роялѣ не заговорилъ съ нимъ, не узнавалъ его? Правда, онъ нѣкоторымъ изъ нихъ подмигивалъ глазомъ... Или это мнѣ тоже такъ показалось?

Я забылъ сказать, что отъ мосьё Франсуа никогда пахло виномъ. Впрочемъ, ему, можетъ-быть, не на было и купить вина. Но нѣтъ: онъ вообще производ впечатлѣніе трезваго человѣка.

Ни на другой день, ни въ слѣдующіе дни онъ не яви на свиданіе—и понемногу я забылъ о мосьё Франсуа.

Незадолго до 24-го февраля, я уѣхалъ въ Бельгію- вѣсть о государственномъ переворотѣ во Франціи дош до меня въ Брюсселѣ. Помнится, въ теченіе цѣлаго д никто не получалъ ни писемъ, ни журналовъ изъ П рижа; жители толпились на улицахъ и на площадя все замирало въ тревожномъ ожиданіи. 26-го февра въ шесть часовъ утра, я еще лежалъ—хотя и не спали въ постели, въ номерѣ гостиницы,— какъ вдругъ нар ная дверь растворилась настежь — и кто-то зычно и кричалъ: Франція стала республикой! — Не вѣря уш своимъ, я вскочилъ съ кровати, выбѣжалъ изъ комна По коридору мчался одинъ изъ гарсоновъ гостиницы, и, поочередно раскрывая двери направо и налѣво, б салъ въ каждый номеръ свое поразительное восклица Полчаса спустя, я уже былъ одѣтъ, уложилъ свои вещ и въ тотъ же день несся по желѣзной дорогѣ въ П рижъ. — На границѣ сняты были рельсы; спутники и я—мы съ трудомъ, въ наемныхъ повозкахъ, добрал до Дуэ — и къ вечеру прибыли въ Понтуазъ... Рел около Парижа были также сняты. — Здѣсь не мѣсто редавать все то, что я испыталъ, видѣлъ и слышалъ время этого путешествія. Помню, что на одной стан мимо насъ съ шумомъ и трескомъ пронесся локомоти съ однимъ вагономъ перваго класса: въ этомъ экстр номъ поѣздѣ мчался „экстренный комиссаръ“ республи Антоній Турэ; ѣхавшіе съ нимъ люди махали трехцв ными флагами, кричали; служащіе на станціи съ нѣмы изумленіемъ провожали глазами громадную фигуру к миссара, до половины высунутую изъ окна, съ высо приподнятою рукою... 1793, 1794 годы невольно воск сали въ памяти.—Помню, что не доѣзжая Понтуаза, п

изошло столкновеніе нашего поѣзда съ другимъ, встрѣчнымъ... Были раненые—но никто не обратилъ даже вниманія на этотъ случай: у каждаго тотчасъ явилась одна и та же мысль: можно ли будетъ дальше ѣхать? И какъ только нашъ поѣздъ снова тронулся, всѣ тотчасъ заговорили съ прежнимъ одушевленіемъ, всѣ, исключая одного сѣдого старичка, который съ самаго Дуэ забился въ уголъ вагона и безпрестанно повторялъ шопотомъ: все пропало! все пропало! Помню также, что въ одномъ вагонѣ со мною находилась извѣстная г-жа Гордонъ *); она вдругъ начала проповѣдывать о необходимости прибѣгнуть къ „принцу", о томъ, что „принцъ" одинъ можетъ все спасти... Сначала никто ее не понялъ; когда же она произнесла имя Луи-Наполеона — всѣ отвернулись отъ нея, какъ отъ безумной.—Однако, слово сказанное мосьё Франсуа насчетъ Бонапартовъ, на мгновенье мелькнуло у меня въ головѣ... первое пророчество его сбылось же.

Не стану также распространяться о пережитыхъ мною впечатлѣніяхъ при въѣздѣ въ Парижъ, при видѣ всюду пестрѣвшихъ трехцвѣтныхъ кокардъ, вооруженныхъ блузниковъ, разбиравшихъ камни баррикадъ и т. п. Весь первый день моего пребыванія въ Парижѣ прошелъ въ какомъ-то чаду.—На слѣдующій день я, по обыкновенію, отправился въ Палэ-Рояль, спросилъ у „гражданина"-гарсона чашку кофе—и хотя не встрѣтилъ тамъ мосьё Франсуа—однако могъ убѣдиться, что его предчувствіе насчетъ крови, долженствовавшей обагрить камни на улицахъ, окружающихъ Палэ-Рояль, оправдалось: извѣстно, что почти единственная битва, ознаменовавшая февральскіе дни, произошла на площади, отдѣляющей это зданіе отъ Лувра. И въ послѣдующіе дни я не наткнулся на мосьё Франсуа. — Въ первый разъ увидѣлъ я его 17-го марта,—въ самый тотъ день, когда громадная толпа работниковъ ходила къ ратушѣ протестовать передъ временнымъ правительствомъ противъ извѣстной манифестаціи такъ-называемыхъ „медвѣжьихъ шапокъ" (раскасированныхъ гренадеровъ и вольтижеровъ національной гвардіи). Размахивая руками и

*) Пріятельница и эмиссарка Луи-Наполеона.

широко шагая, шелъ онъ посреди толпы—и не то пѣлъ, не то кричалъ; онъ подпоясался краснымъ шарфомъ и пришпилилъ красную кокарду къ шляпѣ. — Глаза наши встрѣтились; но онъ не подалъ вида, что узнаетъ меня, хотя нарочно обратился ко мнѣ всѣмъ лицомъ: смотри, молъ; да; это я!—и закричалъ пуще прежняго, преувеличенно раскрывая темный ротъ. Въ другой разъ увидѣлъ я его въ театрѣ. Рашель пѣла своимъ гробовымъ голосомъ марсельезу; онъ сидѣлъ въ партерѣ, тамъ, гдѣ въ обыкновенное время помѣщаются клакёры. Въ театрѣ онъ не кричалъ и не хлопалъ; но, скрестивъ руки на груди, съ сумрачнымъ вниманіемъ глядѣлъ на пѣвицу, когда она, кутаясь въ складкахъ схваченнаго ею знамени, призывала гражданъ „къ оружію“, „къ пролитію нечистой крови!“ Не могу навѣрное сказать, видѣлъ ли я его 15-го мая въ массѣ народа, шедшаго мимо церкви Маделены на штурмъ палаты депутатовъ; но нѣчто похожее на его фигуру мелькнуло въ переднихъ рядахъ, и едва ли не его голосъ — его особенный, глухой и гулкій голосъ — послышался мнѣ среди криковъ: да здравствуетъ Польша!

Зато, въ началѣ іюня, а именно 4-го числа, мосьё Франсуа внезапно предсталъ предо мною въ той же кофейной Палэ-Рояль. Онъ поклонился мнѣ, даже руку мнѣ подалъ (чего прежде не дѣлалъ), но не подсѣлъ къ моему столику, какъ бы стыдясь своей окончательно истасканной одежды, своей надломанной шляпы; да и кромѣ того, его пожирало,—такъ, по крайней мѣрѣ, мнѣ показалось,— безпокойное, нервическое нетерпѣніе. Лицо его осунулось, губы и щеки подергивало то вверхъ, то внизъ; воспаленные глаза едва видѣлись подъ очками, которые онъ безпрестанно поправлялъ и надвигалъ на носъ всей пятерней. Я въ этотъ разъ могъ убѣдиться въ томъ, что уже подозрѣвалъ прежде: стекла въ его очкахъ были простыя стекла, и онъ, собственно, вовсе не нуждался въ нихъ: оттого-то онъ такъ часто взглядывалъ черезъ ихъ края. Очки для него были въ родѣ маски. Тревога, та особенная тревога безпріютнаго и голодающаго бродяги, сказывалась во всемъ его существѣ. Почти нищенская наруж-

ность этого загадочнаго человѣка возбуждала мое недоумѣніе. Если онъ точно—агентъ, то отчего же онъ такъ бѣденъ? Если же онъ не агентъ—то что же онъ такое? Какъ понять его поведеніе?

Я заговорилъ-было съ нимъ о его предсказаніяхъ...

— Да... да... — пробормоталъ онъ съ лихорадочной торопливостью. — Это все дѣло прошлое... de l'histoire ancienne. Но вы развѣ не собираетесь въ вашу Россію? Вы еще останетесь здѣсь?

— А почему же мнѣ не остаться?

— Гмъ!.. Это ваша забота. Но вѣдь мы скоро воевать съ вами будемъ.

— Съ нами?

— Да, съ вами, съ русскими. Намъ скоро славы будетъ нужно, славы! Война съ Россіей неизбѣжна!

— Съ Россіей? А почему же не съ Германіей?

— Прежде съ Россіей... Впрочемъ, это все впереди. Вы молоды... доживете. А республика... (онъ махнулъ рукою). Кончено! C'est fichu!

— Національныя мастерскія! Національныя мастерскія!—воскликнулъ онъ съ внезапнымъ одушевленіемъ.— Были вы тамъ? видѣли ихъ? Видѣли, какъ они въ тачкахъ землю съ одного мѣста на другое перевозятъ! Вотъ откуда все пойдетъ... Что будетъ крови! крови!.. Цѣлое море крови! Какое положеніе! Все предвидѣть—и ничего не мочь сдѣлать!! Быть ничѣмъ! ничѣмъ! Все обнимать... (онъ широко разставилъ руки съ болтавшимися, изорванными рукавами... кольцо на указательномъ пальцѣ, однако, уцѣлѣло)... и ничего не схватывать! (онъ стиснулъ кулаки)—ни даже куска хлѣба! Завтрашніе выборы тоже довольно важны,—поспѣшно подхватилъ онъ, какъ бы не давая самому себѣ останавливаться на высказанномъ чувствѣ. Мосьё Франсуа назвалъ мнѣ поименно депутатовъ, которыхъ, по его словамъ, непремѣнно выберутъ парижане; сказалъ мнѣ число голосовъ,—круглыми цифрами— которые каждый изъ нихъ получитъ. Между именами, названными мосьё Франсуа, находилось имя Коссидіера, которому онъ назначалъ первое мѣсто.—Несмотря на 15-е

широко шагая, шелъ онъ посреди толпы—и не то пѣлъ, не то кричалъ; онъ подпоясался краснымъ шарфомъ и пришпилилъ красную кокарду къ шляпѣ. — Глаза наши встрѣтились; но онъ не подалъ вида, что узнаетъ меня, хотя нарочно обратился ко мнѣ всѣмъ лицомъ: смотри, молъ; да; это я!—и закричалъ пуще прежняго, преувеличенно раскрывая темный ротъ. Въ другой разъ увидѣлъ я его въ театрѣ. Рашель пѣла своимъ гробовымъ голосомъ марсельезу; онъ сидѣлъ въ партерѣ, тамъ, гдѣ въ обыкновенное время помѣщаются клакёры. Въ театрѣ онъ не кричалъ и не хлопалъ; но, скрестивъ руки на груди, съ сумрачнымъ вниманіемъ глядѣлъ на пѣвицу, когда она, кутаясь въ складкахъ схваченнаго ею знамени, призывала гражданъ „къ оружію“, „къ пролитію нечистой крови!“ Не могу навѣрное сказать, видѣлъ ли я его 15-го мая въ массѣ народа, шедшаго мимо церкви Маделены на штурмъ палаты депутатовъ; но нѣчто похожее на его фигуру мелькнуло въ переднихъ рядахъ, и едва ли не его голосъ — его особенный, глухой и гулкій голосъ — послышался мнѣ среди криковъ: да здравствуетъ Польша!

Зато, въ началѣ іюня, а именно 4-го числа, мосьё Франсуа внезапно предсталъ предо мною въ той же кофейной Палэ-Рояль. Онъ поклонился мнѣ, даже руку мнѣ подалъ (чего прежде не дѣлалъ), но не подсѣлъ къ моему столику, какъ бы стыдясь своей окончательно истасканной одежды, своей надломанной шляпы; да и кромѣ того, его пожирало,—такъ, по крайней мѣрѣ, мнѣ показалось,—безпокойное, нервическое нетерпѣніе. Лицо его осунулось, губы и щеки подергивало то вверхъ, то внизъ; воспаленные глаза едва видѣлись подъ очками, которые онъ безпрестанно поправлялъ и надвигалъ на носъ всей пятерней. Я въ этотъ разъ могъ убѣдиться въ томъ, что уже подозрѣвалъ прежде: стекла въ его очкахъ были простыя стекла, и онъ, собственно, вовсе не нуждался въ нихъ: оттого-то онъ такъ часто взглядывалъ черезъ ихъ края. Очки для него были въ родѣ маски. Тревога, та особенная тревога безпріютнаго и голодающаго бродяги, сказывалась во всемъ его существѣ. Почти нищенская наруж-

ность этого загадочнаго человѣка возбуждала мое недоумѣніе. Если онъ точно—агентъ, то отчего же онъ такъ бѣденъ? Если же онъ не агентъ—то что же онъ такое? Какъ понять его поведеніе?

Я заговорилъ-было съ нимъ о его предсказаніяхъ...

— Да... да...—пробормоталъ онъ съ лихорадочной торопливостью. — Это все дѣло прошлое... de l'histoire ancienne. Но вы развѣ не собираетесь въ вашу Россію? Вы еще останетесь здѣсь?

— А почему же мнѣ не остаться?

— Гмъ!.. Это ваша забота. Но вѣдь мы скоро воевать съ вами будемъ.

— Съ нами?

— Да, съ вами, съ русскими. Намъ скоро славы будетъ нужно, славы! Война съ Россіей неизбѣжна!

— Съ Россіей? А почему же не съ Германіей?

— Прежде съ Россіей... Впрочемъ, это все впереди. Вы молоды... доживете. А республика... (онъ махнулъ рукою). Кончено! C'est fichu!

— Національныя мастерскія! Національныя мастерскія!—воскликнулъ онъ съ внезапнымъ одушевленіемъ.— Были вы тамъ? видѣли ихъ? Видѣли, какъ они въ тачкахъ землю съ одного мѣста на другое перевозятъ! Вотъ откуда все пойдетъ... Что будетъ крови! крови!.. Цѣлое море крови! Какое положеніе! Все предвидѣть—и ничего не мочь сдѣлать!! Быть ничѣмъ! ничѣмъ! Все обнимать... (онъ широко разставилъ руки съ болтавшимися, изорванными рукавами... кольцо на указательномъ пальцѣ, однако, уцѣлѣло)... и ничего не схватывать! (онъ стиснулъ кулаки)—ни даже куска хлѣба! Завтрашніе выборы тоже довольно важны,—поспѣшно подхватилъ онъ, какъ бы не давая самому себѣ останавливаться на высказанномъ чувствѣ. Мосьё Франсуа назвалъ мнѣ поименно депутатовъ, которыхъ, по его словамъ, непремѣнно выберутъ парижане; сказалъ мнѣ число голосовъ,—круглыми цифрами— которые каждый изъ нихъ получитъ. Между именами, названными мосьё Франсуа, находилось имя Коссидіера, которому онъ назначалъ первое мѣсто.—Несмотря на 15-е

мая?—спросилъ я.—Вы, можетъ-быть, полагаете, что я з говорю потому, что онъ былъ префектомъ полиціи?—м разилъ мосьё Франсуа съ горькой усмѣшкой, но тотча же встряхнулся и опять заговорилъ о выборахъ.—Л Наполеонъ тоже попалъ въ списокъ. Онъ будетъ изъ п слѣднихъ, въ хвостѣ (à la queue)—замѣтилъ мосьё Фра суа;—но и этого довольно. Взбираясь по лѣстницѣ, на сперва перешагнуть послѣднія ступеньки, чтобы попас на первую.—Я въ тотъ же вечеръ передалъ всѣ эти име и цифры въ домѣ А. И. Г.; и очень хорошо помню е изумленіе, когда на другой день всѣ предсказанія мос Франсуа опять сбылись, отъ слова до слова.—Откуда т все это знаешь?—спросилъ меня не разъ А. И. Герценъ. Я назвалъ источникъ, откуда я почерпалъ свои свѣдѣнія. А! Гибридъ этотъ!—воскликнулъ Герценъ.

Но возвращаюсь къ нашей бесѣдѣ въ кофейной. Око того времени въ числѣ именъ, вращавшихся въ уста молвы, часто стало повторяться имя Прудона. Я назва его. Онъ, по мнѣнію мосьё Франсуа, тоже стоялъ спискѣ избранныхъ, правда, послѣднимъ, что̀, впрочем тоже оправдалось. Но оказалось, что мосьё Франсуа придавалъ ему большого значенія такъ же, какъ и Л мартину и Ледрю-Ролленю. Обо всѣхъ этихъ лицахъ о отзывался съ пренебреженіемъ, съ оттѣнкомъ сожалѣ о Ламартинѣ, съ оттѣнкомъ злобы о Прудонѣ, этомъ „ фистѣ въ деревянныхъ башмакахъ“ (ce sophiste en sabo А Ледрю-Ролленя онъ прямо назвалъ: „Ce gros bêta Ledru“, и все возвращался къ національнымъ маст скимъ. Вся наша бесѣда продолжалась, впрочемъ, долго, не болѣе четверти часа. Мосьё Франсуа такъ не присѣлъ, и все оглядывался, словно поджидая ко то. Я, между прочимъ, вспомнивъ его красную кокар сказалъ: такъ какъ вы, все-таки, мнѣ кажетесь респуб канцемъ...

— Какой я республиканецъ!—перебилъ онъ меня:— чего вы это взяли? Это хорошо для овощныхъ торговце (pour les épiciers). Они еще вѣрятъ въ принципы 89 го всеобщее братство, прогрессъ, а я...

Но тутъ мосьё Франсуа внезапно затихъ и глянулъ въ орону. Я оглянулся тоже. Какой-то старикъ, въ блузѣ, длинной бѣлой бородой, дѣлалъ ему знаки рукою. Онъ вѣтилъ ему тѣмъ же и, не прибавивъ слова, подбѣжалъ нему, и оба исчезли.

Послѣ встрѣчи въ кофейной, я видѣлъ мосьё Франсуа его три раза. Разъ—издали, въ Люксембургскомъ саду. ъ стоялъ рядомъ съ бѣдно-одѣтой молодой дѣвушкой; а о чемъ-то слезно умоляла его, стискивала руки и дносила ихъ къ губамъ... А онъ угрюмо отнѣкивался, терпѣливо топалъ ногой и, внезапно оттолкнувъ ее локмъ, надвинулъ шляпу на лобъ и пошелъ прочь. Она бѣжала въ другую сторону, какъ потерянная. Вторая ша встрѣча была болѣе знаменательна; она произошла -го іюня, въ самый тотъ день, когда на площади Согласія первый разъ появилось скопище бонапартистовъ, на торое Ламартинъ указалъ съ трибуны палаты, и кото-е вскорѣ разогнали линейныя войска. Въ одномъ изловъ, образуемыхъ стѣной Тюльерійскаго сада, я увилъ человѣка въ пестромъ костюмѣ шарлатана, стоявго на ручной, двухколесной телѣжкѣ, и раздававшаго ошюры. Я взялъ одну изъ нихъ: въ ней заключалась ографія, крайне хвалебная, Луи-Наполеона. Этого челока, бретонца, съ громаднѣйшей шапкой длинныхъ и битыхъ кверху волосъ, я видывалъ и прежде на загоднихъ бульварахъ и площадяхъ: онъ продавалъ зубной ксиръ, мазь противъ ревматизма, разныя всеисцѣляюя средства и т. п. Пока я перелистывалъ взятую мною ошюру, кто-то слегка тронулъ меня за плечо. Мосьё ансуа! — Онъ улыбался во весь своей беззубый ротъ и ронически посматривалъ на меня черезъ края очковъ.

— Начинается! Вотъ когда оно начинается!—проговоилъ онъ, странно переминаясь на мѣстѣ и потирая ру-

— Вотъ когда! Вотъ онъ — апостолъ, провозвѣстникъ! авится онъ вамъ?

— Этотъ волосатый шарлатанъ? — воскликнулъ я. — отъ шутъ? Да вы смѣетесь надо мною!

— Да, да, шарлатанъ! — возразилъ мосьё Франсуа. —

Такъ оно и слѣдуетъ. Необычайные волосы, запясты
рукахъ, трико съ золотыми блестками... Это-то и ну
Надо поражать воображеніе! Легенда, милостивый г
дарь, легенда нужна! Чудодѣйство нужно! Реклама!
ническая постановка! Сперва человѣкъ удивится... а
томъ уважаетъ! Что я говорю: уважаетъ! Вѣритъ... вѣр
А вы извольте помнить: настоящее дѣло теперь то
начинается... И когда будетъ пройдено Чермное (кра
море (la mer rouge)...

Но тутъ съ площади Согласія нахлынула толпа,
порядочно бѣжавшая отъ солдатскихъ штыковъ, и
рознила насъ.

Въ послѣдній разъ я увидалъ — тоже издали — г
Франсуа во время страшныхъ іюньскихъ дней. Онъ
одѣтъ въ мундиръ національнаго гвардейца изъ пр
ціи—держалъ ружье на перевѣсъ—и я не берусь пер
словами, какую холодную жестокость выражало его

Съ тѣхъ поръ я уже никогда не встрѣчался съ
Франсуа.—Въ началѣ 1850 года мнѣ пришлось поб
въ русской церкви, на свадьбѣ одного знакомаго, и в
Богъ вѣдаетъ почему, словно что меня толкнуло, я
думать о мосьѣ Франсуа. Мнѣ тутъ же пришло г
лову, что, такъ какъ другія его предсказанія сбы
то, пожалуй, и на этотъ разъ онъ могъ оказаться
рокомъ, и его, точно, нѣтъ уже въ живыхъ. Впро
нѣсколько лѣтъ спустя, мнѣ довелось съ достовѣрн
убѣдиться въ его смерти. А именно: въ одномъ мага
за прилавкомъ, я замѣтилъ женщину, въ котор
послѣ недолгаго колебанія, узналъ дѣвушку, такъ г
плакавшую въ Люксембургскомъ саду передъ мосьѣ
суа. Я рѣшился напомнить ей объ этой сценѣ. С
она выказала недоумѣніе, но какъ только понял
чемъ дѣло, тотчасъ пришла въ страшное волненіе
блѣднѣла, покраснѣла и попросила меня не вдавать
дальнѣйшіе разспросы.

— По крайней мѣрѣ, скажите мнѣ, умеръ ли
господинъ или нѣтъ?

Женщина пристально посмотрѣла на меня.

— Онъ умеръ смертью, которой заслуживалъ... Онъ злой былъ человѣкъ. Впрочемъ, — прибавила она: — онъ былъ тоже очень... очень несчастливъ. — Больше я ничего добиться отъ нея не могъ, и кто собственно былъ мосьё Франсуа—осталось для меня загадкой.

Есть такія морскія птицы, которыя появляются только во время бури. Англичане называютъ ихъ stormy petrel. Онѣ носятся низко въ тускломъ воздухѣ, надъ самыми гребнями разъяренныхъ волнъ — исчезаютъ, какъ только настанетъ ясная погода.

VII.—Наши послали!

Эпизодъ изъ исторіи іюньскихъ дней 1848 г., въ Парижѣ.

...Наступилъ *четвертый* изъ извѣстныхъ іюньскихъ дней 1848 года, тѣхъ дней, которые такими кровавыми чертами вписаны на скрижаляхъ французской исторіи...

Я жилъ тогда въ несуществующемъ нынѣ домѣ на углу улицы Мира и Итальянскаго бульвара. Съ самаго начала іюня въ воздухѣ пахло порохомъ, каждый чувствовалъ, что рѣшительное столкновеніе неизбѣжно; а послѣ свиданія делегатовъ отъ только что распущенныхъ національныхъ мастерскихъ съ членомъ временного правительства Мари, который въ обращенной къ нимъ рѣчи необдуманно произнесъ слово: „рабы“ (esclaves), принятое ими за упрекъ и обиду, послѣ этого свиданія уже весь вопросъ состоялъ въ томъ, не сколько дней, а сколько часовъ оставалось до того неизбѣжнаго, неотвратимаго столкновенія? „Est-ce pour aujourd'hui?“ (Сегодня, что-ли?) — вотъ какими словами привѣтствовали знакомые другъ друга каждое утро...

„Ça a commencé!“ (началось!) сказала мнѣ въ пятницу утромъ, 23-го іюня, прачка, принесшая бѣлье. По ея словамъ, большая баррикада была воздвигнута поперекъ бульвара, недалеко отъ воротъ Сенъ-Дени. Я немедленно отправился туда.

Сначала ничего особеннаго не было замѣтно. Та же толпы народа передъ открытыми кофейнями и магазинами, то же движеніе каретъ и омнибусовъ; лица казались нѣсколько оживленнѣе, разговоры громче и — страшное дѣло! — веселѣе... вотъ и все. Но чѣмъ дальше я подвигался, тѣмъ болѣе измѣнялась физіономія бульвара. Кареты попадались все рѣже, омнибусы совсѣмъ исчезли, магазины и даже кофейни запирались поспѣшно, или уже были заперты; народу на улицѣ стало гораздо меньше. Зато во всѣхъ домахъ окна были раскрыты сверху до низу; въ этихъ окнахъ, а также и на порогахъ дверей, тѣснилось множество лицъ, преимущественно женщинъ, дѣтей, служанокъ, нянекъ, — и все это множество болтало, смѣялось, не кричало, а перекликивалось, оглядывалось, махало руками, точно готовилось къ зрѣлищу; беззаботное, праздничное любопытство, казалось, охватило всю эту толпу. Разноцвѣтныя ленты, косынки, чепчики, бѣлыя, розовыя, голубыя платья путались и пестрѣли на яркомъ лѣтнемъ солнцѣ, вздымались и шуршали на легкомъ лѣтнемъ вѣткѣ, такъ же, какъ и листья на всюду посаженныхъ тополяхъ—„деревьяхъ свободы“. „Неужели же тутъ, сейчасъ, черезъ пять, черезъ десять минутъ будутъ драться, проливать кровь?“ думалось мнѣ. „Невозможно! Это разыгрывается комедія... О трагедіи нечего думать... пока“.

Но вотъ, впереди, криво пересѣкая бульваръ во всю его ширину, вырѣзалась неровная линія баррикады, вышиною аршина въ четыре. По самой ея серединѣ, окруженное другими, трехцвѣтными, расшитыми золотомъ знаменами, небольшое красное знамя шевелило — направо, налѣво—свой острый, зловѣщій язычокъ. Нѣсколько блузниковъ виднѣлось изъ-за гребня наваленныхъ сѣрыхъ камней. Я пододвинулся поближе. Передъ самой баррикадой было довольно пусто, человѣкъ пятьдесятъ, не болѣе, бродило взадъ и впередъ по мостовой. (Тогда еще не было макадама на бульварахъ). Блузники пересмѣивались съ подходившими зрителями; одинъ, подпоясанный бѣлой солдатской портупеей, протягивалъ имъ раскупоренную

тылку и до половины налитый стаканъ, какъ бы при-
ашая ихъ подойти и выпить; другой, рядомъ съ нимъ,
двухствольнымъ ружьемъ за плечами, протяжно кри-
лъ: „Да здравствуютъ національныя мастерскія! Да
равствуетъ республика, демократическая и соціальная!“
ядлѣ него стояла высокая, черноволосая женщина въ
олосатомъ платьѣ, тоже подпоясанная портупеей съ
ткнутымъ пистолетомъ; она одна не смѣялась и, какъ
въ раздуміи, устремила прямо передъ собою свои боль-
іе, темные глаза. Я перебрался черезъ улицу налѣво—
вмѣстѣ съ пятью, шестью такими же фланерами, какъ
пріютился къ самой стѣнкѣ дома, съ котораго начинала
маться прямая линія бульвара и въ которомъ помѣ-
алась—да и теперь помѣщается—фабрика Жувѐнскихъ
рчатокъ. Жалузи оконъ въ этомъ домѣ были закрыты.
нѣ все еще не вѣрилось, несмотря на ожиданія и
редчувствія минувшихъ дней, что дѣло приметъ оборотъ
рьезный.

Между тѣмъ, все громче и ближе слышались барабаны.
жъ съ утра, по всѣмъ улицамъ раздавался тотъ особен-
ый троекратный бой — le rappel — тотъ бой, которымъ
зывалась національная гвардія. И вотъ, медленно вол-
ясь и вытягиваясь, какъ длинный, черный червякъ,
оказалась, съ лѣвой же стороны бульвара, шагахъ въ
ухстахъ отъ баррикады, колонна гражданскаго войска;
онкими, лучистыми иглами сверкали надъ нею штыки;
ѣсколько офицеровъ ѣхали верхомъ въ ея головѣ. Ко-
онна достигла противоположной стороны бульвара и,
инявъ его сплошь, повернулась фронтомъ къ баррикадѣ,
остановилась, безпрестанно нарастая сзади и все болѣе
болѣе густѣя. Несмотря на прибытіе такого значитель-
го количества людей, кругомъ стало замѣтнымъ обра-
мъ тише; голоса понизились, рѣже и короче раздал-
лся смѣхъ; точно дымка легла на всѣ звуки. Между
иніей національной гвардіи и баррикадой внезапно ока-
лось пустое пространство, по которому, слегка крутясь,
ользили два-три небольшіе вихря пыли — и, озираясь
сторонамъ, расхаживала на тонкихъ ножкахъ черно-

пѣгая собачонка. Вдругъ, неизвѣстно гдѣ, спереди и сзади, сверху или снизу, рѣзко грянулъ короткій, жи кій звукъ; онъ походилъ болѣе на стукъ тяжело уд шей желѣзной полосы, чѣмъ на выстрѣлъ, и тот вслѣдъ за этимъ звукомъ наступила страшная, без ханная тишина. Все такъ и замерло въ ожиданіи, казалось, самый воздухъ насторожился... и вдругъ, в самой моей головой, что-то нестерпимо-сильно зат щало и рявкнуло—точно мгновенно разорванный гро ный холстъ... Это инсургенты дали залпъ сквозь жа оконъ изъ верхняго этажа занятой ими Жувѐнской брики. Мои сосѣди фланеры и я—мы немедленно ус мились вдоль домовъ бульвара (помнится, я еще усп замѣтить на пустомъ пространствѣ впереди человѣка четверенькахъ, упавшее кэпи съ краснымъ помпон да вертѣвшуюся въ пыли чернопѣгую собачонку) и, бѣжавъ до небольшого переулка, тотчасъ повернули него. Къ намъ присоединилось десятка два дру зрителей, изъ которыхъ у одного молодого чело лѣтъ двадцати была прострѣлена плюсна. На буль позади насъ, безпрерывно трещали выстрѣлы. Мы п брались на другую улицу — если не ошибаюсь — въ de l'Echiquier. На одномъ ея концѣ виднѣлась ни кая баррикада — и мальчишка лѣтъ двѣнадцати галъ по ея гребню, кривляясь и махая турецкой са толстый національный гвардеецъ, блѣдный какъ лотно, пробѣжалъ мимо, спотыкаясь и охая на каж шагу... изъ рукава его мундира капала на землю кровь.

Трагедія началась — и въ серьезности ея уже не было сомнѣваться, хотя едва ли кто-нибудь даже в минуту подозрѣвалъ, какихъ она достигнетъ размѣр

Мнѣ не приходилось драться ни по ту, ни по сю рону баррикадъ; я вернулся домой.

Цѣлый день прошелъ въ несказанной тревогѣ. По была жаркая, душная... Я не сходилъ съ Итальян бульвара, запруженнаго всякаго сорта людьми. — Ра

анялись самые невѣроятные слухи, безпрестанно смѣ-
сь другими, еще болѣе фантастическими. Къ почи
о стало несомнѣннымъ: почти цѣлая половина Парижа
одилась во власти инсургентовъ. Баррикады возни-
и повсюду—особенно по ту сторону Сены; войска за-
али стратегическіе пункты; готовился бой не на жи-
ь, а на смерть. — На слѣдующій день, съ ранняго
а, видъ бульвара—вообще внѣшній видъ Парижа, не
итаго инсургентами,—измѣнился, какъ по манію вол-
наго жезла. Вышелъ приказъ начальника парижской
іи, Кавеньяка, запрещающій всякаго рода движеніе,
куляцію по улицамъ. — Національные гвардейцы, па-
ѕскіе и провинціальные, выстроенные по тротуарамъ,
аулили дома, въ которыхъ квартировали; регулярныя
ска, подвижная національная гвардія (garde mobile)
лись; иностранцы, женщины, дѣти, больные сидѣли
домамъ, въ которыхъ всѣ окна должны были быть
крыты настежь, для предупрежденія засады. Улицы
овенно вымерли. Лишь изрѣдка прокатитъ почтовый
ибусъ или карета медика, безпрестанно останавли-
мая часовыми, которымъ онъ показываетъ пропускной
етъ; или съ грубымъ грохотомъ и гуломъ проѣдетъ
арея, направляясь къ мѣсту битвы, пройдетъ отрядъ
датъ, проскачетъ адъютантъ или ординарецъ. Насту-
о страшное, мучительное время; кто его не пережилъ,
ъ не можетъ составить себѣ о немъ точнаго понятія.—
анцузамъ, конечно, было жутко: они могли думать,
их родина, что все общество разрушается и падаетъ
прахъ; но тоска иностранца, осужденнаго на неволь-
бездѣйствіе, была если не ужаснѣе, то уже навѣрно
ительнѣе ихъ негодованія, ихъ отчаянія.—Жара зной-
; выйти нельзя; въ раскрытыя окна безпрепятственно
тся жгучая струя; солнце слѣпитъ; всякое занятіе,
ніе, писаніе немыслимо... Пять разъ, десять разъ въ
уту раздаются пушечные выстрѣлы; иногда доносится
ейный трескъ, смутный гамъ битвы... По улицамъ
ь шаръ покати; раскаленные камни мостовой жел-
тъ, раскаленный воздухъ струится подъ лучами солнца;

вдоль тротуаровъ тянутся смущенныя лица, неподвижныя фигуры національныхъ гвардейцевъ — и ни одного обычнаго жизненнаго звука! Просторно вокругъ, пусто — а чувствуешь себя стѣсненнымъ, какъ въ могилѣ или въ тюрьмѣ. — Съ двѣнадцати часовъ новыя зрѣлища: появляются носилки съ ранеными, съ убитыми... Вотъ, проносятъ человѣка съ сѣдыми волосами, съ лицомъ бѣлымъ какъ подушка, на которой оно лежитъ:—это смертельно раненый депутатъ Шарбоннель... Головы безмолвно обнажаются передъ нимъ — но онъ не видитъ этихъ знаковъ скорбнаго уваженія: его глаза закрыты. Вотъ идетъ куча плѣнныхъ; ихъ ведутъ гардмобили, все молодые ребята, почти мальчики; на нихъ сначала плохо надѣялись, но они дрались какъ львы... Нѣкоторые несутъ на штыкахъ окровавленныя кэпи своихъ убитыхъ товарищей—или цвѣты, брошенные имъ женщинами изъ оконъ. — „Vive la république!“ кричатъ съ обѣихъ сторонъ бульвара національные гвардейцы, какъ-то дико и уныло протягивая послѣдній слогъ: — „Vive la moÞi-i-ile!“ Плѣнные идутъ, не поднимая глазъ и прижимаясь другъ къ другу, какъ овцы: нестройная толпа, мрачныя лица, многіе въ лохмотьяхъ, безъ шапокъ; у иныхъ руки связаны. А канонада не умолкаетъ. Тяжелое, однообразное буханіе такъ и стоитъ въ вышинѣ; оно повисло надъ городомъ вмѣстѣ съ чадомъ и гарью зноя... Подъ вечеръ, изъ моей комнаты, въ четвертомъ этажѣ, слышится нѣчто новое: къ этому буханію присоединяются другіе, рѣзкіе, гораздо болѣе близкіе, непродолжительные и какъ бы вѣерообразные залпы... Это, сказываютъ, разстрѣливаютъ инсургентовъ по мэріямъ (mairies).

И такъ часы за часами, часы за часами... Невозможно спать, даже ночью. Попытаешься выйти на бульваръ, пройти хоть до первой улицы, чтобы узнать что-нибудь, или такъ — чтобы освѣжиться немного... Сейчасъ тебя останавливаютъ, спрашиваютъ: кто ты, откуда, гдѣ живешь, зачѣмъ не въ мундирѣ? И узнавъ, что ты иностранецъ, подозрительно тебя оглядываютъ, повелительно отсылаютъ

домой. А разъ, такъ даже одинъ національный гвардеецъ изъ провинціи (они были самые рьяные) — непремѣнно хотѣлъ арестовать меня—потому что на мнѣ была утренняя куртка. „Вы ее надѣли для того, чтобы удобнѣе сойтись (pactiser) съ бунтовщиками!“ кричалъ онъ, какъ изступленный.—Кто васъ знаетъ, вы, можетъ-быть, русскій агентъ—и у васъ въ карманахъ золото, предназначенное къ тому, чтобы давать пищу нашимъ междоусобицамъ (pour fomenter nos troubles!)“ Я предложилъ ему осмотрѣть мои карманы... но это еще болѣе его разсердило. Русское золото, русскіе агенты всюду мерещились тогда, вмѣстѣ съ многими другими небывальщинами и нелѣпостями, всѣмъ этимъ возбужденнымъ, сбитымъ съ толку, потеряннымъ головамъ...

Повторяю: страшное, томительное было время!

Въ такой, можно сказать, пыткѣ прошли три дня; наступилъ четвертый (26-е іюня). Новости съ мѣста сраженія доходили до насъ довольно быстро, передаваясь отъ одного лица къ другому вдоль тротуаровъ. Такъ, напримѣръ, мы уже знали, что Пантеонъ взятъ, что весь лѣвый берегъ Сены во власти войска, что генералъ Бреа разстрѣлянъ инсургентами, что архіепископъ Аффръ на смерть раненъ, что держится еще одно предмѣстье Святого Антонія. Помнится, мы читали прокламацію Кавеньяка, взывавшаго въ послѣдній разъ къ чувству патріотизма, не исчезающему даже въ самыхъ ожесточенныхъ сердцахъ... Ординарецъ, гусарскій офицеръ, внезапно проскакалъ вдоль бульвара и, образовавъ пальцами правой руки кружокъ величиною съ яблоко, закричалъ: „вотъ какими пулями они въ насъ стрѣляютъ!..“

Въ томъ же домѣ, гдѣ я квартировалъ, и на той же лѣстницѣ, жилъ извѣстный нѣмецкій поэтъ Гервегъ, съ которымъ я былъ знакомъ; я часто заходилъ къ нему, чтобъ хотя нѣсколько отвести душу... уйти отъ самого себя, отъ ноющей тоски бездѣйствія и одиночества.

Вотъ, я сижу у него 26-го іюня утромъ, онъ только

что позавтракалъ... Вдругъ входитъ гарсонъ съ перетревоженнымъ лицомъ.

— Что такое?

— Васъ, мсьё Гервегъ, какая-то блуза спрашиваетъ!

— Блуза? Какая блуза?

— Человѣкъ въ блузѣ, работникъ, старикъ, спрашиваетъ *гражданина* (le citoyen) Гервега. Прикажете его принять?

Гервегъ переглянулся со мною.—Примите,—сказалъ онъ наконецъ.

Гарсонъ удалился, повторяя, какъ бы про себя: „человѣкъ... въ блузѣ!!“ Онъ ужасался; а давно ли, вскорѣ послѣ февральскихъ дней, блуза считалась самымъ модным, приличнымъ и безопаснымъ костюмомъ? Давно ли я, на одномъ даровомъ представленіи въ Théâtre Français, предназначенномъ для народа, видѣлъ, своими глазами видѣлъ множество самыхъ изысканныхъ щеголей такъ-называемаго бомонда, облекшихся въ бѣлыя и синія блузы, изъ-подъ которыхъ странно выглядывали ихъ накрахмаленные воротнички и жабо? Но другія времена — другіе нравы; въ эпоху іюньской битвы блуза въ Парижѣ сдѣлалась знакомъ отверженія, печатью Каина, вызывала чувство ужаса и злобы.

Гарсонъ возвратился — и съ нѣмотствующимъ содроганьемъ пропустилъ впередъ себя человѣка, шедшаго по его слѣдамъ, дѣйствительно одѣтаго въ блузу, истрепанную, замаранную блузу. Панталоны этого человѣка, башмаки его были тоже запачканы и въ заплатахъ, шею обвертывала красная тряпка—а голову покрывала шапка... шапка черно-сѣдыхъ, спутанныхъ, нависшихъ на самыя брови волосъ. Изъ-подъ этой шапки выдѣлялся длинный носъ съ горбиной, выглядывали маленькіе, старчески-воспаленные и тусклые глаза. Впалыя щеки, морщины по всему лицу, глубокія какъ рубцы, широкій, скривленный ротъ, небритая борода, красныя, грязныя руки и та особая сутулина спинного хребта, въ которой сказывается гнетъ продолжительной, сверхсильной работы... Не было сомнѣнья: передъ нами стоялъ одинъ изъ тѣхъ много-

исленныхъ тружениковъ, голодныхъ и темныхъ, кото-ыми такъ изобилуютъ низменные слои цивилизованныхъ бществъ.

— Кто здѣсь гражданинъ Гервегъ?—спросилъ онъ си-лымъ голосомъ.

— Я Гервегъ,—отвѣчалъ нѣмецкій поэтъ, не безъ нѣ-котораго смущенья.

— Вы ждете вашего сына вмѣстѣ съ его бонной—изъ Берлина?

— Да, дѣйствительно... Почемъ вы знаете? Онъ дол-женъ былъ четвертаго дня выѣхать... но я полагалъ...

— Вашъ мальчикъ пріѣхалъ вчера; но такъ какъ анція желѣзной дороги въ Сенъ-Дени въ рукахъ у на-ихъ—(при этомъ словѣ гарсонъ чуть не подпрыгнулъ ъ испуга) и сюда его послать было невозможно, то его твели къ одной изъ нашихъ женщинъ—вотъ, тутъ, на умажкѣ, его адресъ написанъ—а мнѣ наши сказали, тобъ я пришелъ къ вамъ—дабы вы не безпокоились. И онна его съ нимъ: помѣщеніе хорошее—кормить ихъ бу-утъ обоихъ. И опасности нѣтъ. Когда все покончится— ы его возьмите — вотъ, по этой бумажкѣ. Прощайте, гражданинъ.

Старикъ пошелъ-было къ двери...

— Постойте, постойте! — возопилъ Гервегъ: — не ухо-ите!

Старикъ остановился — но не повернулся къ намъ ли-омъ.

— Неужели же,—продолжалъ Гервегъ:—вы только для ого сюда пришли, чтобы успокоить меня, незнакомаго амъ человѣка, насчетъ моего сына?

Старикъ поднялъ свою понурую голову.—Да. Меня наши ослали.

— Только для этого?

— Да.

Гервегъ всплеснулъ руками. — Но помилуйте... я... я, росто, не знаю, что сказать. Я удивляюсь, какимъ обра-омъ вы могли дойти досюда! Васъ, навѣрное, на каждомъ ерекресткѣ останавливали?

— Да.

— Спрашивали, куда вы идете, зачѣмъ?

— Да. Все на руки смотрѣли, есть ли слѣды порох Попался одинъ офицеръ... тотъ грозился разстрѣля меня.

Гервегъ онѣмѣлъ отъ удивленія; гарсонъ тоже вытар щилъ глаза. „C'est trop fort!“ безсознательно шептали е поблѣднѣвшія губы.

— Прощайте, гражданинъ, — отчетливо произнесъ ст рикъ, какъ бы рѣшившись уйти. Гервегъ бросился и уде жалъ его.

— Постойте... подождите... позвольте поблагодари васъ...

Онъ началъ шарить у себя въ карманахъ.

Старикъ отклонилъ его своей широкой, не разгиба шейся рукой. — Не безпокойтесь, гражданинъ: денегъ не возьму.

— Такъ, по крайней мѣрѣ, позвольте предложить вамъ хоть завтракъ... ну, стаканъ вина... что-нибудь...

— Отъ этого я не откажусь, — промолвилъ старик послѣ небольшого молчанія. — Я, вотъ, второй день п читай-что не ѣлъ.

Гервегъ тотчасъ услалъ гарсона за завтракомъ, а по попросилъ своего гостя присѣсть. Тотъ тяжко опустил па стулъ, положилъ обѣ ладони на колѣни и потупился.

Гервегъ принялся его разспрашивать... но старикъ отв чалъ неохотно, угрюмымъ тономъ: видно было, что он усталъ сильно — а впрочемъ, ни волненія никакого н ощущалъ, ни страха, — и на все махнулъ рукой. Да бесѣда съ „буржуа“ была ему не по вкусу. За завтраком онъ, однако, нѣсколько оживился. Сперва ѣлъ и пил съ жадностью, а потомъ понемногу сталъ разговаривать

— Мы, въ февралѣ,—такъ разсуждалъ онъ:—обѣщал временному правительству, что будемъ ждать три мѣсяц вотъ они прошли, эти мѣсяцы, а нужда все та же; еш больше. Временное правительство обмануло насъ: об щало много—и ничего не сдержало. Ничего не сдѣлал для работниковъ. Деньги мы всѣ свои проѣли, работ

нѣтъ никакой, дѣла стали. Вотъ тебѣ и республика! Ну, мы и рѣшились, все равно пропадать!

— Но позвольте,—замѣтилъ-было Гервегъ:—какую вы могли ожидать пользу отъ такого безумнаго возстанія?

— Все равно пропадать, — повторилъ старикъ. — Онъ тщательно утеръ губы, сложилъ салфетку, поблагодарилъ и приподнялся.

— Вы уходите?—воскликнулъ Гервегъ.

— Да. Мнѣ надо къ нашимъ. Чего мнѣ здѣсь оставаться!

— Да вѣдь васъ на возвратномъ пути навѣрное задержатъ и, быть-можетъ, въ самомъ дѣлѣ разстрѣляютъ!

— Быть-можетъ. Такъ что жъ изъ этого? Пока живъ, надо самому хлѣбъ для семьи доставать, а какъ его доставать-то?!—А коли убьютъ, сиротъ наши люди не оставятъ безъ призрѣнія. Прощайте, гражданинъ!

— Скажите мнѣ ваше имя, по крайней мѣрѣ! Я желаю знать, какъ зовутъ того, кто такъ много для меня сдѣлалъ!

— Мое имя вамъ совсѣмъ не нужно знать. Правду сказать, то, что я сдѣлалъ, я сдѣлалъ не для васъ, а наши приказали. Прощайте.

Такъ старикъ и ушелъ, сопровождаемый гарсономъ.

Въ тотъ же день возстаніе было окончательно подавлено. Какъ только проѣздъ сталъ свободенъ, Гервегъ по оставленному адресу отыскалъ женщину, пріютившую его сынишку. Ея мужъ и сынъ были захвачены въ плѣнъ; другой сынъ погибъ на баррикадѣ; племянника разстрѣляли. Она тоже отказалась отъ денегъ; но указавши на бѣгавшихъ по комнатѣ двухъ дѣвочекъ, дочерей ея убитаго сына, промолвила:—Если мнѣ когда-нибудь придется попросить что-нибудь для этихъ, такъ пусть мальчикъ вашъ вспомнитъ о нихъ.

Участь старика, посѣтившаго Гервега, осталась неизвѣстной. Нельзя было не подивиться его поступку, той безсознательной, почти величавой простотѣ, съ которой онъ совершилъ его. Ему, очевидно, и въ голову не приходило, что онъ сдѣлалъ нѣчто необыкновенное, собою

пожертвовалъ. Но нельзя также не дивиться и тѣмъ людямъ, которые его послали, которые въ самомъ пылу и развалѣ отчаянной битвы могли вспомнить о душевной тревогѣ незнакомаго имъ „буржуа“ и позаботились о томъ, чтобы его успокоить. Подобные имъ люди, правда, двадцать два года спустя, жгли Парижъ и разстрѣливали заложниковъ; но кто хоть немного знаетъ сердце человѣческое—не смутится этими противорѣчіями.

1868.

VIII.—Казнь Тропмана.

Въ январѣ мѣсяцѣ нынѣшняго (1870) года, я, находясь въ Парижѣ за столомъ одного хорошаго пріятеля, получилъ отъ М. Дюкана, извѣстнаго писателя и спеціалиста по части статистики Парижа,—совершенно неожиданное приглашеніе присутствовать при казни Тропмана—и не при одной его казни: мнѣ предлагали включить меня въ число немногихъ привилегированныхъ лицъ, которымъ разрѣшается доступъ въ самую тюрьму. До сихъ поръ еще не забыто ужасное преступленіе, совершенное Тропманомъ; но въ то время Парижъ настолько же—если не болѣе—занимался имъ, его предстоящею казнью—сколько недавнимъ назначеніемъ псевдо-парламентарнаго Оливье—или убійствомъ Виктора Нуара, павшаго отъ руки столь изумительно впослѣдствіи оправданнаго принца П. Бонапарта. Во всѣхъ окнахъ фотографій, бумажныхъ магазиновъ, виднѣлись цѣлые ряды карточекъ, представлявшихъ молодого малаго съ большимъ лбомъ, темными глазами и одутловатыми губами—„знаменитаго“ Пантенскаго убійцы (de *l'illustre* assassin de Pantin)—и уже нѣсколько вечеровъ сряду тысячи блузниковъ собирались въ окрестностяхъ Рокетской тюрьмы, въ ожиданіи—не воздвигнется ли, наконецъ, гильотина?—и разсѣивались только за-полночь. Застигнутый врасплохъ предложеніемъ М. Дюкана, я, не думавъ долго, согласился; а давши слово прибыть на мѣсто назначеннаго мнѣ свиданія—у статуи принца

Евгенія, на бульварѣ того же имени, въ 11 часовъ вечера—я уже не хотѣлъ взять это слово назадъ. Ложный стыдъ помѣшалъ мнѣ это сдѣлать... А ну, какъ подумаютъ, что я трушу? Въ наказаніе самому себѣ—и въ назиданіе другимъ — я намѣренъ теперь разсказать все, что я видѣлъ, намѣренъ повторить въ воспоминаніи всѣ тяжелыя впечатлѣнія той ночи. Быть-можетъ—не одно любопытство читателя будетъ удовлетворено: быть-можетъ, онъ извлечетъ нѣкоторую пользу изъ моего разсказа.

У статуи принца Евгенія уже ожидала насъ съ Дюканомъ небольшая кучка людей. Въ числѣ ихъ былъ и г-нъ Клодъ, извѣстный начальникъ охранной полиціи—(chef de la police de sûreté), которому Дюканъ меня представилъ. Остальные были, такъ же какъ я, привилегированные посѣтители, журналисты, хроникеры и т. п. Дюканъ предупредилъ меня, что намъ, вѣроятно, придется провести ночь безъ сна на квартирѣ коменданта, директора тюрьмы. Казнь осужденныхъ совершается зимою въ семь часовъ утра; но надо быть на мѣстѣ прежде полуночи — а то, пожалуй, и не продерешься сквозь толпу. Отъ статуи принца Евгенія до Рокетской тюрьмы не болѣе полу-версты; но я, пока, ничего не видѣлъ чрезвычайнаго. Народу на бульварѣ было немного больше обыкновеннаго. Одно развѣ можно было замѣтить: почти всѣ люди шли — а иные, особенно женщины, даже трусили рысцой — въ одномъ и томъ же направленіи; притомъ, всѣ кофейни и кабачки горѣли огнями, что̀ тоже рѣдко бываетъ въ отдаленныхъ кварталахъ Парижа, особенно въ такую позднюю пору. Ночь стояла не туманная, а тусклая, сырая, безъ дождя, холодная, безъ мороза—настоящая январская, французская ночь. Г-нъ Клодъ объявилъ, что пора идти, и мы отправились. Онъ сохранялъ всю спокойную развязность дѣлового человѣка, въ которомъ подобныя происшествія уже не возбуждаютъ никакихъ ощущеній, кромѣ развѣ одного желанія — поскорѣе отдѣлаться отъ невеселой обязанности. Г-нъ Клодъ—человѣкъ лѣтъ пятидесяти, средняго роста, коренастый, плечистый, съ круглой, плотно остриженной головой, съ

маленькими, почти миніатюрными чертами лица. Только лобъ и подбородокъ, да затылокъ у него замѣчательно широки; незыблемая энергія сказывается въ его сухомъ и ровномъ голосѣ, въ его блѣдныхъ, сѣрыхъ глазкахъ, въ короткихъ, крѣпкихъ пальцахъ, въ мускулистыхъ ногахъ, во всѣхъ его неторопливыхъ, но твердыхъ движеніяхъ. Онъ, говорятъ, мастеръ своего дѣла, дока—и внушаетъ великій страхъ всѣмъ ворамъ и убійцамъ. Политическіе преступники — не по его части. Товарищъ его, г. Ж...., тоже весьма восхваляемый Дюканомъ, имѣетъ видъ мягкаго, почти сентиментальнаго человѣка и болѣе утонченныя манеры. За исключеніемъ этихъ двухъ господъ и, можетъ-быть, самого Дюкана, всѣмъ намъ — или это мнѣ только такъ казалось?—было нѣсколько неловко и какъ бы совѣстно, хотя мы бодро, словно на охоту, выступали одинъ за другимъ.

Чѣмъ мы ближе подвигались къ тюрьмѣ, тѣмъ люднѣе становилось вокругъ насъ, хотя настоящей толпы еще не было. Ни криковъ не раздавалось, ни даже слишкомъ громкихъ разговоровъ; видно было, что „представленіе“ еще не началось. Одни уличные мальчишки уже вились кругомъ; заложивъ руки въ карманы панталонъ и нахлобучивъ козырекъ фуражки на-носъ, шлялись они той особенной, развалистой и шмыгающей походкой, которую только и увидѣть можно, что въ Парижѣ, и которая въ мгновеніе ока смѣняется самой проворной бѣготней и прыжками обезьяны.

— Вотъ онъ... вотъ онъ... это онъ! — произнесло нѣсколько голосовъ вокругъ насъ.

— Знаете что? — сказалъ мнѣ вдругъ Дюканъ: — васъ принимаютъ за здѣшняго палача.

„Хорошее начало!“ подумалось мнѣ. Парижскій палачъ, monsieur de Paris— съ которымъ я познакомился въ ту же ночь, такъ же сѣдъ и такого же роста, какъ я.

Но вотъ, показалось длинное, не слишкомъ широкое пространство, обставленное со обѣихъ сторонъ двумя казармообразными зданіями грязнаго вида, пошлой архитектуры:—это Рокетская площадь. Налѣво тюрьма, въ ко-

рой содержатся молодые преступники (prison des jeunes détenus), направо—депо приговоренныхъ (maison de dépôt pour les condamnés) или Рокетская тюрьма.

Площадь эту пересѣкали поперекъ поставленные въ четыре ряда солдаты; такіе же четыре ряда стояли дальше—шаговъ на двѣсти отъ первыхъ. Обыкновенно ихъ не бываетъ; но на этотъ разъ правительство, въ виду „репутаціи“ Тропмана и состоянія умовъ, возбужденныхъ убійствомъ Нуара, почло нужнымъ не ограничиться одной полиціей и прибѣгнуть къ экстреннымъ мѣрамъ. Главныя ворота Рокетской тюрьмы приходились ровно по серединѣ пустого пространства, охваченнаго солдатами. Нѣсколько полицейскихъ сержантовъ медленно расхаживали передъ воротами; молодой, довольно толстый офицеръ въ необыкновенно богато расшитомъ кэпи (какъ оказалось, начальникъ квартала, нѣчто въ родѣ частнаго пристава) налетѣлъ-было на нашу группу съ нахрапомъ, мгновенно напомнившимъ мнѣ былыя времена на родинѣ; но, узнавъ „своихъ“, успокоился. Съ великими предосторожностями, едва отворяя двери, впустили насъ въ небольшую гауптвахту возлѣ воротъ — и, по предварительномъ осмотрѣ и опросѣ, препроводили насъ черезъ два внутреннихъ двора, одинъ большой, другой маленькій, въ квартиру коменданта. Комендантъ этотъ, человѣкъ дюжій, высокій, съ сѣдыми усами и эспаньолкой, съ типическимъ лицомъ французскаго пѣхотнаго офицера, орлинымъ носомъ, неподвижными, хищными глазами и крохотнымъ черепомъ—принялъ насъ любезно и добродушно; но даже помимо его воли, по каждой его ухваткѣ, по каждому его слову, нельзя было не замѣтить тотчасъ, что это „малый солидный“ (un gaillard solide), слѣпо преданный слуга, который не поколеблется исполнить какое бы то ни было приказаніе своего господина. Впрочемъ, онъ ужъ доказалъ на дѣлѣ свое усердіе: въ ночь переворота 2-го декабря, онъ со своимъ батальономъ занялъ типографію Монитёра. Какъ истый джентльменъ, онъ предоставилъ намъ всю свою квартиру. Она помѣщалась во второмъ этажѣ главнаго корпуса и состояла изъ четырехъ, порядочно мебли-

рованныхъ комнатъ; въ двухъ изъ нихъ горѣло по камину. Небольшая левретка съ вывихнутой лапкой и грустнымъ выраженіемъ глазъ, словно и она чувствовала себя плѣнницей, ковыляла, повиливая хвостикомъ, съ одного ковра на другой. Насъ, я разумѣю посѣтителей, было человѣкъ восемь; лица нѣкоторыхъ были мнѣ знакомы по фотографіямъ (Сарду, Альбертъ Вольфъ); но я не желалъ заговорить ни съ кѣмъ. Мы всѣ усѣлись въ залѣ, на стульяхъ (Дюканъ ушелъ съ г. Клодомъ). Само собою разумѣется, что Тропманъ сталъ предметомъ бесѣды и какъ бы единымъ центромъ всѣхъ помысловъ. Комендантъ сообщилъ намъ, что онъ съ девяти часовъ вечера заснулъ и спитъ крѣпкимъ сномъ; что онъ, кажется, догадывается объ участи его просьбы о помилованіи; что онъ умолялъ его коменданта, сказать ему правду; что онъ все такъ же упорно настаиваетъ на томъ, что у него были сообщники, которыхъ не желаетъ назвать; что онъ, вѣроятно, оробѣетъ въ рѣшительную минуту, но что онъ, впрочемъ, ѣстъ съ аппетитомъ, а книгъ не читаетъ, и т. д., и т. д. Съ своей стороны, нѣкоторые изъ насъ разсуждали о томъ, должно ли давать вѣру словамъ преступника, оказавшагося такимъ закоренѣлымъ лгуномъ, повторяли подробности убійства, спрашивали себя, какого мнѣнія будутъ френологи о черепѣ Тропмана, поднимали вопросъ о смертной казни... но все это такъ вяло, такъ тупо, такими общими фразами, что самимъ говорившимъ становилось не въ охоту продолжать. О чемъ-нибудь другомъ бесѣдовать было неловко... невозможно; невозможно—изъ одного уваженія къ смерти,—къ человѣку, который былъ ей обреченъ. Всѣми нами овладѣло томительное и медленное безпокойство: скучать — никто не скучалъ, но это тоскливое ощущеніе было во сто разъ хуже скуки. Казалось напередъ, что этой ночи конца не будетъ! Что касается до меня, то я чувствовалъ одно: а именно то, что я не былъ въ правѣ находиться тамъ, гдѣ я находился, что никакія психологическія и философскія соображенія меня не извиняли. Г-нъ Клодъ вернулся и разсказалъ намъ, какъ извѣстный Жюдъ ускользнулъ у него

изъ рукъ, и какъ онъ не теряетъ надежды поймать его, если онъ еще живъ. Но вдругъ раздался тяжелый стукъ колесъ, и черезъ нѣсколько мгновеній намъ пришли сказать, что гильотина пріѣхала. Мы всѣ бросились вонъ, на улицу—точно обрадовались!

Передъ самыми воротами стояла массивная закрытая фура, запряженная въ три лошади цугомъ; другая двухколесная фура, небольшая и низкая, имѣвшая видъ продолговатаго ящика, запряженная въ одну лошадь, отъѣхала немного въ сторону. (Эта фура назначалась, какъ мы узнали впослѣдствіи, для принятія тѣла немедленно послѣ казни и препровожденія его на кладбище). Нѣсколько работниковъ въ короткихъ блузахъ виднѣлось около фуръ, и высокій человѣкъ въ круглой шляпѣ, бѣломъ галстукѣ, въ легкомъ пальто, накинутомъ на плечи, отдавалъ вполголоса приказанія... То былъ палачъ. Всѣ власти — комендантъ, г. Клодъ, начальникъ квартала и т. д. уже окружали и привѣтствовали его. „Ah! monsieur Indric! bon soir, monsieur Indric!“ слышались восклицанія. (Настоящее его имя Гейденрейхъ—Heidenreich; онъ эльзасецъ). И наша группа подошла къ нему: *онъ* сталъ на мигъ нашимъ центромъ. Въ обращеніи съ нимъ выказывалась нѣсколько напряженная, но почтительная фамильярность: „Мы, дескать, вами не брезгаемъ, и вы, все-таки, особа важная“.—Иные изъ насъ, вѣроятно для шику, даже руку ему пожимали. (Руки у него красивыя, замѣчательной бѣлизны). — Вспомнился мнѣ стихъ Пушкинской Полтавы:

Палачъ...
Руками бѣлыми игралъ...

Самъ monseur Indric держался очень просто, мягко и учтиво, не безъ патріархальной важности. Казалось, онъ чувствовалъ, что въ эту ночь онъ въ нашихъ глазахъ второе лицо послѣ Тропмана и какъ бы первый его министръ. — Работники раскрыли фуру и принялись вынимать изъ нея всѣ составныя части гильотины, которую должны были воздвигнуть тутъ же, въ пятнадцати шагахъ

отъ воротъ *). Два фонаря заходили взадъ и впере
низко надъ землею, освѣщая яркими, небольшими к
гами граненые камни мостовой.—Я посмотрѣлъ на час
всего половина перваго! Воздухъ еще больше потускн
и похолодѣлъ. Народу уже набралось довольно—и за
дами солдатъ, окаймлявшихъ пустое пространство пер
тюрьмою, начиналъ подниматься долгій и смутный л
ской гамъ. Я подошелъ къ солдатамъ: они стояли не
движно, нѣсколько сдвинувшись и нарушивъ первонача
ную правильность рядовъ. Лица ихъ не выражали
чего, кромѣ скуки, скуки холодной и терпѣливо-покор
да и тѣ лица, которыя мнѣ виднѣлись за киверам
мундирами солдатъ, за треуголками и сюртуками по
цейскихъ сержантовъ, — лица блузниковъ, работнико
выражали почти то же — только съ примѣсью какой
неопредѣленной усмѣшки. Впереди, изъ-за грузно-ше
лившейся и напиравшей толпы вырывались восклица
въ родѣ: Ohé Tropmann! ohé Lambert! Fallait pas q
aille! крики, звонкія свистанія; явственно слышался бра
чивый споръ изъ-за мѣста, змѣйкой проползалъ обрыво
цинической пѣсенки—внезапно поднимался рѣзкій смѣх
который тотчасъ подхватывался другими и замиралъ ш
рокимъ гоготаньемъ. „Настоящее дѣло“ еще не начало
не было слышно ни всѣми ожиданныхъ антидинасти
скихъ кликовъ, ни столь извѣстныхъ, грозныхъ пере
товъ Марсельезы. — Я вернулся въ сосѣдство медлен
выраставшей гильотины. Какой-то господинъ, курчавый
смуглолицый, въ мягкой сѣрой шляпѣ, вѣроятно ад
катъ, стоялъ возлѣ и ораторствовалъ, сильно и одно
разно тыкая правой рукою съ отдѣленнымъ указате
нымъ пальцемъ сверху внизъ и сгибая даже колѣни о
напряженія. Онъ взялся доказать двумъ-тремъ рядомъ
нимъ стоявшимъ господамъ въ застегнутыхъ нагл
пальто, что Тропманъ не былъ убійцей—а маніакомъ. „

*) Отсылаю читателей, желающихъ познакомиться не только
всѣми подробностями „экзекуціи“, но и со всѣмъ, что предшеству
ей и слѣдуетъ за нею, къ превосходной статьѣ M. Дюкана: La pri
de la Roquette—въ Revue des deux mondes, № 1, 1870.

maniaque! je vais vous le prouver! suivez mon raisonnement!“ твердилъ онъ. „Son mobile n'était pas l'assassinat, mais un orgueil que je nommerais volontiers démesuré! Suivez mon raisonnement!“ Господа въ пальто „слѣдили за его разсужденіемъ“, но, судя по ихъ физіономіямъ, наврядъ ли онъ убѣждалъ ихъ; а сидѣвшій на площадкѣ гильотины работникъ даже съ явнымъ презрѣніемъ на него посматривалъ. Я вернулся на квартиру коменданта.

Нѣсколько нашихъ „товарищей“ уже собралось тамъ опять. Любезный комендантъ потчивалъ ихъ глинтвейномъ. Начались опять толки о томъ, продолжаетъ ли спать Тропманъ, и что онъ долженъ чувствовать, и достигаетъ ли до него шумъ толпы, несмотря на отдаленіе его каморки отъ улицы и т. д. Комендантъ показалъ намъ цѣлую груду писемъ, адресованныхъ на его, Тромпаново, имя; — онъ, по увѣренію коменданта, не желалъ читать ихъ. Бо́льшая часть изъ нихъ оказывалась плоскими шутками, мистификаціей; но были также и серьезныя, въ которыхъ его заклинали покаяться и во всемъ сознаться; одинъ методистскій пасторъ прислалъ цѣлое богословское разсужденіе на двадцати страницахъ; были и дамскія записочки: въ нѣкоторыхъ изъ нихъ находились даже цвѣты — маргаритки, иммортели. Комендантъ сказалъ намъ, что Тропманъ попытался-было испросить у тюремнаго аптекаря яду и написалъ ему объ этомъ письмо, которое тотъ, разумѣется, тотчасъ представилъ по принадлежности. Мнѣ сдавалось, что нашъ почтенный хозяинъ не могъ себѣ хорошенько растолковать, съ какой стати мы принимали участіе въ такомъ—по его понятію—зломъ и гадкомъ животномъ, каковъ былъ Тропманъ, — и чуть ли не приписывалъ наше любопытство праздности свѣтскихъ, статскихъ людей, „рябчиковъ“. Побесѣдовавши немного, мы начали расползаться—кто куда. Въ теченіе всей этой ночи, мы скитались, по французскому выраженію, какъ преступныя души, „comme des âmes en peine“; входили въ комнаты, садились рядышкомъ на стульяхъ залы, освѣдомлялись о Тропманѣ, взглядывали на часы, зѣвали, опять спускались по лѣстницѣ на дворъ, на улицу, воз-

вращались, садились опять... Иные разсказывали тогда анекдоты пикантнаго свойства, перекидывались мелкими личными извѣстіями, слегка разсуждали о политикѣ, о театрѣ, объ убійствѣ Нуара; иные пытались шутить, острить; но ужъ очень плохо это у нихъ выходило — и вызывало какой-то непріятный, тотчасъ обрывавшійся смѣхъ, какое-то фальшивое одобреніе. Я отыскалъ крошечный диванчикъ въ первой комнатѣ, и кое-какъ улегшись на немъ, старался уснуть и, разумѣется, не уснулъ, даже не задремалъ на одно мгновенье.—Гулъ толпы становился все сильнѣе, все гуще и непрерывнѣй. Къ тремъ часамъ утра, по словамъ г. Клода, который входилъ, садился на стулъ, засыпалъ тотчасъ и опять исчезалъ, вызванный кѣмъ-нибудь изъ своихъ подчиненныхъ, — уже набралось болѣе двадцати-пяти тысячъ людей. Гулъ этотъ поражалъ меня сходствомъ съ отдаленнымъ ревомъ морского прибоя: такое же нескончаемое Вагнеровское crescendo, не возвышающееся постоянно, а съ огромными разливами и колыханьями; острыя ноты женскихъ и дѣтскихъ голосовъ взвивались какъ тонкія брызги надъ этимъ громаднымъ гудѣньемъ; грубая мощь стихійной силы сказывалась въ немъ. Притихнетъ на мгновенье, словно само въ себя уйдетъ и уляжется, и вотъ, опять загомонило, и растетъ, вздувается, и вотъ-вотъ ударитъ, какъ бы все сорвать хочетъ — и опять назадъ, и утихаетъ, и опять растетъ — и нѣтъ ему конца... И что такое выражаетъ этотъ шумъ? думалось мнѣ... Нетерпѣніе, радость, злобу?.. Нѣтъ! никакому отдѣльному, никакому человѣческому чувству не служитъ онъ отголоскомъ... Это, просто, шумъ и гамъ стихіи.

Къ тремъ часамъ утра я, быть-можетъ, въ десятый разъ вышелъ на улицу. Гильотина была готова. Смутно и болѣе странно, нежели страшно, рисовались на темномъ небѣ ея два, на $^3/_4$ аршина другъ отъ друга отстоявшіе столба, съ косой линіей соединявшаго ихъ лезвія. Я почему-то воображалъ, что эти столбы должны отстоять гораздо дальше другъ отъ дружки; эта ихъ близость придавала всей машинѣ какую-то зловѣщую стройность —

стрòйность длинной, внимательно вытянутой, какъ у лебедя, шеи. Чувство отвращенія возбуждалъ большой плетеный кузовъ, въ родѣ чемодана, темно-краснаго цвѣта. Я зналъ, что палачи въ этотъ кузовъ бросятъ теплый, еще содрогающійся трупъ и отрубленную голову... Незадолго передъ тѣмъ прибывшіе конные муниципалы (garde municipale) расположились широкимъ полукругомъ передъ фасадомъ тюрьмы; лошади изрѣдка фыркали, грызли мундштуки и мотали головами; у каждой между передними ногами бѣлѣли на мостовой крупныя капли пѣны. Всадники сумрачно дремали подъ своими медвѣжьими шапками, надвинутыми на самые глаза. Линіи солдатъ, пересѣкавшихъ площадь и удерживавшихъ толпу, отступили еще дальше: пустого пространства передъ тюрьмою было уже не двѣсти, а цѣлыхъ триста шаговъ. Я подошелъ къ одной изъ этихъ линій и долго смотрѣлъ на тѣснившійся за нею народъ: онъ кричалъ именно стихійно, т.-е. безсмысленно. Памятна мнѣ фигура одного блузника, малаго лѣтъ двадцати: онъ стоялъ потупившись и ухмыляясь, словно размышлялъ о чемъ-то забавномъ, и вдругъ вскидывалъ голову, разѣвалъ ротъ и кричалъ, кричалъ протяжно, безъ словъ, а тамъ опять лицо его склонялось, и онъ опять ухмылялся. Что происходило въ этомъ человѣкѣ? Зачѣмъ онъ обрекалъ себя на мучительно-безсонную ночь, на почти восьми-часовую неподвижность? Слухъ мой не уловлялъ отдѣльныхъ рѣчей; лишь изрѣдка пробивался сквозь непрестанный гамъ пронзительный возгласъ спекулянта-разносчика, продававшаго брошюру о Тропманѣ, объ его жизни, его казни и даже „о послѣднихъ его словахъ“... или опять гдѣ-то далеко заспорятъ, загогочутъ безобразно, женщины запищатъ... Марсельезу въ этотъ разъ я услышалъ—но ее пѣли всего пять, шесть человѣкъ, и то съ перерывами. Марсельеза получаетъ свое значеніе, когда ее поютъ тысячи. A bas Pierre Bonaparte! гаркнулъ крѣпкій голосъ... У... у... а... а.. забушевало вокругъ него. Крики въ одномъ мѣстѣ внезапно приняли мѣрный ритмъ польки: разъ-разъ-разъ! разъ-разъ-разъ! на извѣстный мотивъ: des lampions! —

Тяжкимъ духомъ, кислымъ паромъ несло отъ толпы: много вина было выпито всѣми этими тѣлами; много было тутъ пьяныхъ. Недаромъ кабачки рдѣли красными точками на общемъ фонѣ картины. Ночь изъ тусклой стала темною; небо совсѣмъ нахмурилось и почернѣло. На рѣдкихъ, неясными призраками подымавшихся деревьяхъ виднѣлись небольшія массы: это уличные мальчишки взобрались туда, и свистали и верещали какъ птицы, сидя промежъ сучьевъ. Одинъ изъ нихъ свалился и, говорятъ, даже на смерть убился, переломивъ себѣ спину, но возбудилъ лишь хохотъ, и то не надолго.

Возвращаясь на свою квартиру и проходя мимо гильотины, я увидѣлъ на ея площадкѣ палача, окруженнаго кучкой любопытныхъ; онъ для нихъ дѣлалъ „примѣръ“ или репетицію: валилъ стоячую на шалнерѣ доску, къ которой пристегивается преступникъ, и которая, падая, приходится концомъ своимъ прямо въ полукруглое отверстіе между столбами; спускалъ топоръ, который тяжко и гладко стремился внизъ, съ глухимъ и торопливымъ рокотаніемъ и т. п. Я не сталъ смотрѣть на эту репетицію, т.-е. не взобрался на гильотину: чувство какого-то моего, мнѣ неизвѣстнаго, прегрѣшенія, тайнаго стыда, во мнѣ постоянно усиливалось... Быть-можетъ, этому чувству долженъ я приписать то, что лошади, запряженныя въ фуры и спокойно жевавшія въ торбахъ овесъ передъ воротами тюрьмы, показались мнѣ единственно невинными существами среди всѣхъ насъ.

Опять я забился на свой диванчикъ, и опять сталъ прислушиваться къ шуму морского прилива...

Въ противность тому, что обыкновенно утверждаютъ,— *послѣдній* часъ ожиданія скорѣй проскакиваетъ, чѣмъ первый, особенно чѣмъ второй или третій... Такъ случилось и въ этотъ разъ. Мы всѣ были удивлены извѣстіемъ, что уже пробило шесть часовъ, и что до мгновенья казни остался всего одинъ часъ. Въ каморку Тропмана мы должны были войти ровно черезъ полчаса: въ половинѣ седьмого. Дремота мгновенно исчезла со всѣхъ лицъ. Не знаю, что почувствовали другіе, но у меня сильно заще-

ло на сердцѣ. Появились новыя фигуры; священникъ, ленькій, сѣдой человѣчекъ съ худощавымъ личикомъ, юмелькнулъ въ своемъ длинномъ черномъ аббатскомъ закинѣ съ ленточкою Почетнаго Легіона и въ низкой ляпѣ съ широкими полями. Комендантъ устроилъ намъ что въ родѣ завтрака, une collation; въ гостиной, на угломъ столѣ, появились огромныя чашки шоколада... даже близко не подошелъ, хотя радушный хозяинъ со-товалъ мнѣ подкрѣпить себя, „ибо утренній воздухъ жетъ быть вреденъ". Принимать пищу въ эту минуту нѣ казалось отвратительнымъ. Что за пиръ, помилуйте! Права не имѣю!" твердилъ я самому себѣ въ сотый разъ ь начала этой ночи.— А *онъ* все спитъ? спросилъ одинъ зъ насъ, глотая шоколадъ. (Всѣ говорили о Тропманѣ, е называя его по имени: другого *его* не могло быть).— питъ, отвѣчалъ комендантъ.—Несмотря на этотъ страш-ый шумъ? (Шумъ, дѣйствительно, усилился необычайно получилъ какую-то сиплую ревучесть; грозный хоръ ке не шелъ crescendo—а гудѣлъ побѣдоносно, весело).— аморка его за тремя стѣнами, отвѣчалъ комендантъ. нъ Клодъ, которому комендантъ, очевидно, предоста-ялъ главную роль, посмотрѣлъ на часы и сказалъ: двад-ть минутъ седьмого: пора! Мы, навѣрное, всѣ внутренно огнули — однако, какъ ни въ чемъ не бывало, надѣли ляпы—и шумно двинулись вслѣдъ за нашимъ вожатымъ. Гдѣ вы сегодня обѣдаете?" громко спросилъ одинъ хро-керъ;—но это показалось ужъ очень неестественнымъ.

Мы вышли на большой тюремный дворъ;—и тутъ, въ лу, налѣво, передъ полузакрытою дверью, произошло что въ родѣ переклички; потомъ ввели насъ въ узкую, ысокую и совершенно пустую комнату съ однимъ кожа-ымъ табуретомъ по серединѣ.—Здѣсь происходитъ „туа-етъ приговореннаго"—la toilette du condamné —шепнулъ нѣ Дюканъ. Мы не всѣ туда попали: съ комендантомъ, ященникомъ, г-мъ Клодомъ и его помощникомъ—насъ ыло человѣкъ десять. Въ теченіе двухъ или трехъ ми-утъ, которыя мы провели въ этой комнатѣ — (какая-то исьменная формальность совершилась въ это время) —

мысль, что мы никакого права не имѣемъ дѣлать то, что мы дѣлаемъ, что, присутствуя съ притворной важностью при убіеніи намъ подобнаго существа, мы ломаемъ какую-то беззаконно-гнусную комедію,—эта мысль въ послѣдній разъ мелькнула у меня въ головѣ;— какъ только мы двинулись, опять-таки вслѣдъ за г-мъ Клодомъ, по широкому, каменному, двумя ночниками слабо освѣщенному коридору — я ужъ ничего не ощущалъ, кромѣ того, что вотъ, сейчасъ... сейчасъ... сію минуту... сію секунду... Мы поспѣшно взобрались по двумъ лѣстницамъ въ другой коридоръ, прошли и тотъ, спустились по узкой, винтообразной лѣстницѣ—и очутились передъ желѣзною дверью... *Здѣсь!*

Сторожъ осторожно отперъ замокъ. Дверь тихо отворилась—и мы всѣ тихо и молча вошли въ довольно просторную комнату съ желтыми стѣнами, высокимъ рѣшетчатымъ окномъ и измятой кроватью, на которой никто не лежалъ... Ровный свѣтъ большого ночника довольно ясно освѣщалъ всѣ предметы.

Я стоялъ немного позади другихъ и, помнится, невольно щурился; однако, тотчасъ же увидалъ, нѣсколько наискось противъ меня, молодое, черноволосое, черноглазое лицо, которое, медленно двигаясь слѣва направо, окидывало всѣхъ насъ какимъ-то огромнымъ, круглымъ взоромъ. То былъ Тропманъ. Онъ проснулся до нашего прихода. Онъ стоялъ передъ столомъ, на которомъ только-что написалъ прощальное (весьма, впрочемъ, незначительное) письмо къ своей матери. Г-нъ Клодъ снялъ шляпу и подошелъ къ нему.

— Тропманъ,—произнесъ онъ своимъ сухимъ, негромкимъ, но безапелляціоннымъ голосомъ.—Мы пришли извѣстить васъ, что ваша просьба о помилованіи не принята, и что часъ искупленія насталъ для васъ.

Тропманъ обратилъ на него свои глаза, но тотъ „огромный“ взоръ ужъ исчезъ въ нихъ; онъ глядѣлъ спокойно, почти сонливо, и не промолвилъ ни слова.

— Дитя мое!—глухо воскликнулъ священникъ и подошелъ къ нему съ другой стороны:—Du courage!

Тропманъ посмотрѣлъ на него точно такъ же, какъ на г. Клода.

— Я зналъ, что онъ не будетъ трусить! — промолвилъ вѣреннымъ тономъ, обращаясь ко всѣмъ намъ, г. Клодъ:— теперь, когда онъ выдержалъ первый натискъ (le premier choc) — я за него отвѣчаю. (Такъ наставникъ, желая ободрить ученика, заранѣе величаетъ его „молодцомъ“).

— О, я не боюсь! (Oh! je n'ai pas peur!)—проговорилъ Тропманъ, снова обращаясь къ г. Клоду:—Я не боюсь!

Голосъ его—пріятный, юношескій баритонъ—былъ совершенно ровенъ. Священникъ досталъ изъ кармана небольшую фляжку.

— Не хотите ли вы выпить немного вина, дитя мое?

— Благодарствуйте... не нужно,—съ вѣжливымъ полупоклономъ отвѣчалъ Тропманъ.

Г-нъ Клодъ опять обратился къ нему.

— Вы продолжаете утверждать, что вы не виноваты въ томъ преступленіи, за которое васъ осудили?

— Я не нанесъ удара! (je n'ai pas frappé!)

— Однако...—вмѣшался-было комендантъ.

— Я не нанесъ удара!

(Въ послѣднее время Тропманъ, какъ извѣстно, въ противность своимъ прежнимъ показаніямъ, утверждалъ, что онъ дѣйствительно привелъ семейство Кинковъ на мѣсто бойни, но что убивали ихъ его сообщники, и что даже рана на его рукѣ произошла оттого, что онъ вздумалъ было защитить одну изъ малютокъ. Впрочемъ, онъ въ теченіе процесса изолгался такъ, какъ немногіе преступники до него).

— И вы продолжаете утверждать, что у васъ были сообщники?

— Были.

— Вы не можете ихъ назвать?

— Не могу... и не хочу. Не хочу. — Голосъ Тропмана возвысился, и лицо его бѣгло вспыхнуло. Казалось, онъ готовъ былъ разсердиться...

— Ну, хорошо, хорошо... — поспѣшно проговорилъ г. Клодъ, какъ бы давая тѣмъ знать, что онъ и спраши-

валъ его только для того, чтобы исполнить неизбѣжну
формальность, и что теперь предстояло другое...

Предстояло Тропману раздѣться.

Два сторожа подошли къ нему и принялись снимать с
него тюремный его камзолъ (camisole de force), родъ бл
изъ толстой синеватой холстины, съ ремнями и пряжка
назади, съ длинными глухими рукавами, отъ конца ко
рыхъ идутъ крѣпкія бечевки около лямекъ къ поя
Тропманъ стоялъ бокомъ, въ двухъ шагахъ отъ меня. Н
что не мѣшало мнѣ хорошенько разглядѣть его лицо. С
могло бы быть названо красивымъ, если бы не выдав
шійся впередъ и кверху, воронкой, на звѣриный ла
непріятно-припухлый ротъ, изъ-за котораго виднѣл
разставленные вѣеромъ нехорошіе, рѣдкіе зубы. Густ
темные, слегка волнистые волосы, длинныя брови, вы
зительные на выкатѣ глаза, открытый, чистый лобъ, п
вильный носъ съ небольшой горбиной, легкіе завитки ч
наго пуха на подбородкѣ... Встрѣтьтесь вы съ такой
гурой не въ тюрьмѣ, не при этой обстановкѣ—впечатлѣ
на васъ она, навѣрное, произвела бы выгодное. Сотн
попадаются подобныя лица между молодыми фабричны
воспитанниками общественныхъ заведеній и т. п. Р
Тропманъ былъ средняго, отрочески-худощаваго и ст
наго сложенія. Онъ казался мнѣ взрослымъ мальчиком
впрочемъ, ему и не было двадцати лѣтъ. Цвѣтъ лица
былъ совершенно естественный, здоровый, нѣсколько
зовый; онъ и при нашемъ входѣ не поблѣднѣлъ... Не б
сомнѣнія, что онъ, точно, спалъ всю ночь. Онъ не
нималъ глазъ и дышалъ мѣрно и глубоко, какъ ч
вѣкъ, осторожно входящій на длинную гору. Раза два
встряхнулъ волосами, какъ бы желая отмахнуться
назойливой мысли, закинулъ голову, быстро глянулъ вве
и испустилъ чуть замѣтный вздохъ. За исключені
этихъ, почти мгновенныхъ движеній, ничего не изо
чало въ немъ, не скажу страха, но даже волненія
тревоги. Мы всѣ были, безъ сомнѣнія, и блѣднѣй, и вс
воженнѣй его. Когда выпростали его руки изъ глух
рукавовъ камзола, онъ съ улыбкой удовольствія под

ъ спереди, на груди, этотъ самый камзолъ, пока его
ивали сзади; маленькія дѣти такъ дѣлаютъ, когда
здѣваютъ. Потомъ онъ самъ снялъ съ себя рубашку,
ъ другую, чистую, тщательно застегнулъ воротъ,..
о было видѣть размашистыя, свободныя движенія
олаго тѣла, этихъ обнаженныхъ членовъ на желто-
фонѣ тюремной стѣны...

Омъ онъ нагнулся и надѣлъ ботинки, сильно стуча
ками и подошвами о полъ и о стѣну, чтобы ноги
и плотнѣе вошли. Все это онъ дѣлалъ развязно,
— почти весело — точно его пришли звать на про-

Онъ молчалъ—и мы молчали, и только перегляды-
, отъ изумленія невольно пожимая плечами. Всѣхъ
поражала простота его движеній, простота, доходив-
какъ всякое вполнѣ спокойное и естественное про-
ie жизни — до изящества. Одинъ изъ нашихъ това-
, случайно встрѣтившись со мною потомъ въ теченіе
сказалъ мнѣ, что ему, во время нашего пребыванія
моркѣ Тропмана, постоянно сдавалось: мы не въ
году—а въ 1794; мы не простые граждане—а яко-
—и ведемъ на казнь не вульгарнаго убійцу—а мар-
легитимиста,—un ci-devant, un talon rouge, monsieur!—
ено, что осужденные на казнь, по объявленіи имъ
вора, либо впадаютъ въ совершенную безчувствен-
и какъ бы заранѣе умираютъ и разлагаются; либо
ются и бравируютъ; либо, наконецъ, предаются отчая-
лачутъ, дрожатъ, умоляютъ о пощадѣ... Тропманъ
инадлежалъ ни къ одному изъ этихъ трехъ разря-
и потому озадачилъ даже самого г. Клода. Скажу,
, что если бы Тропманъ сталъ вопить и плакать,
мои навѣрное бы не выдержали, и я убѣжалъ бы.
и видѣ *этого* спокойствія, этой простоты и какъ бы
ости—всѣ чувства во мнѣ—чувство отвращенія къ
остному убійцѣ, къ извергу, перерывавшему горла
въ то время, когда они кричали: maman! maman!—
о жалости, наконецъ, къ человѣку, котораго смерть
отовилась поглотить—исчезли и потонули въ одномъ:
ствѣ изумленія. Что поддерживало Тропмана?— То

ли, что онъ хотя не рисовался—однако; все же „р
ровалъ“ передъ *зрителями*, давалъ намъ свое по
представленіе; врожденное ли безстрашіе, самол
возбужденное словами г. Клода, гордость борьбы, н
надо было выдержать до конца,—или другое, еще н
данное чувство?.. Это тайна, которую онъ унесъ съ с
могилу. Иные люди до сихъ поръ убѣждены, что Тр
не вполнѣ владѣлъ своимъ разсудкомъ. (Я упомянул
объ адвокатѣ въ бѣлой шляпѣ, котораго я, впрочемъ,
уже не видалъ). Безцѣльность, можно почти ска
лѣпость истребленія цѣлаго семейства Кинковъ—д
торой степени служитъ подтвержденіемъ этому уб

Но вотъ, онъ покончилъ со своими ботинками
прямился, встряхнулся:—готовъ-молъ! На него с
дѣли тюремный камзолъ. Г-нъ Клодъ попроси
всѣхъ выйти — и оставить Тропмана наединѣ со
никомъ. Мы и двухъ минутъ не ждали въ коридо
уже его небольшая фигурка съ прямо и смѣло
головой опять появилась между нами. Религіозное
было въ немъ слабо, и онъ, вѣроятно, исполнилъ
ній обрядъ покаянія передъ священникомъ, отпус
ему грѣхи, — именно какъ обрядъ. Вся наша гр
Тропманомъ посерединѣ, немедленно взошла на
винтообразную лѣстницу, по которой мы четве
тому назадъ спускались—и потонула въ непрони
мракѣ... ночникъ погасъ на лѣстницѣ. Это была
ужасная. Всѣ мы стремились вверхъ, слышался
вый и грубый стукъ нашихъ ногъ по плитам
некъ, мы тѣснились, толкались плечами, съ од
насъ свалилась шляпа, кто-то сзади злобно кри
Mais sacredieu! Зажгите свѣчку! Посвѣтите!— а
между нами, вмѣстѣ съ нами, въ глухой темнотѣ
жертва, наша добыча... этотъ несчастный... и
насъ, толкавшихся, тѣснившихся—онъ? Не вздум
онъ воспользоваться темнотою—и со всѣмъ прово
и рѣшимостью отчаянія—броситься... куда? Куда
въ отдаленный уголъ тюрьмы—и тамъ хотя лбомъ
По крайней мѣрѣ, самъ себя порѣшилъ...

знаю, приходили ли другимъ въ голову эти „опасе-
Но онѣ оказались напрасными. Вся наша группа
ольшой фигуркой посрединѣ вынырнула изъ углу-
лѣстницы на коридоръ. Тропманъ, очевидно, при-
алъ гильотинѣ—и началось шествіе къ ней.
шествіе можно бы было назвать бѣгствомъ. Троп-
шелъ впереди насъ проворными, упругими, почти
кивавшими шагами; онъ явно спѣшилъ—и мы всѣ
ли за нимъ. Иные даже забѣгали справа и слѣва,
еще разъ заглянуть ему въ лицо. Такъ промчались
коридору, сбѣжали внизъ по другой лѣстницѣ—
анъ прыгалъ черезъ двѣ ступеньки на третью—
слись по другому коридору, перескочили нѣсколько
некъ и, наконецъ, очутились въ высокой комнатѣ съ
твеннымъ табуретомъ, о которой я уже говорилъ
которой совершается „туалетъ осужденнаго“. Мы
черезъ одну дверь—а изъ противоположной намъ
появился, важно выступая, въ бѣломъ галстукѣ, въ
й „парѣ“, ни дать ни взять—дипломатъ или проте-
кій пасторъ — палачъ; вслѣдъ за нимъ вошелъ ни-
кій, толстенькій старичокъ въ черномъ сюртукѣ, его
ый помощникъ, палачъ города Бовэ. Старичокъ дер-
въ рукѣ небольшую кожаную суму. Тропманъ оста-
ся у табурета; всѣ расположились вокругъ него. Па-
и старичокъ-помощникъ стали отъ него направо;
енникъ тоже направо, нѣсколько впереди; комендантъ
нъ Клодъ налѣво. Старичокъ открылъ ключомъ замокъ
, досталъ нѣсколько сыромятныхъ бѣлыхъ ремней съ
ками, длинныхъ и короткихъ; и, съ трудомъ ставъ
олѣни сзади Тропмана, принялся путать его ноги.
анъ нечаянно наступилъ на конецъ одного изъ
ъ ремней — старичокъ попытался его выдернуть, два
пробормоталъ: „pardon, monsieur!“ и тронулъ, нако-
, Тропмана за икру. Тотъ тотчасъ обернулся и съ
нымъ своимъ вѣжливымъ полу-поклономъ приподнялъ
и освободилъ ремень. Священникъ, между тѣмъ,
голоса читалъ молитвы на французскомъ языкѣ изъ
ьшой книжки. Подошли два другіе помощника —

проворно сняли съ Тропмана камзолъ, завели е
назадъ, связали ихъ крестъ-накрестъ и опутали м
ремнями. Главный палачъ распоряжался, поводя п
то сюда пальцемъ. Оказалось, что на ремняхъ и
сдѣлано достаточнаго числа дыръ для шпиньковъ п
тотъ, кто провертывалъ дыры, разсчитывалъ, вѣ
на плотнаго человѣка. Старичокъ сперва поисы
сумѣ, потомъ пошарилъ у себя поочередно во всѣ
манахъ—и, хорошенько ощупавшись, вытащилъ, на
изъ одного изъ нихъ небольшое кривое шило, ко
онъ принялся съ усиліемъ буравить ремни: его не
отъ подагры распухшіе пальцы плохо ему повино
да и кожа была толстая, новая. Онъ продѣлает
попробуетъ... шпинекъ не лѣзетъ: надо опять
Священникъ, вѣроятно, догадался, что дѣло не ла
медляется и, раза два глянувъ украдкой через
началъ растягивать слова молитвъ, чтобы дать
время справиться. Наконецъ, операція, въ течен
рой, признаюсь откровенно, холодный потъ ме
шибъ,—кончалась—всѣ шпиньки вошли, куда слѣ
началась другая. Попросили Тропмана сѣсть на т
передъ которымъ онъ стоялъ — и тотъ же стари
дагрикъ приступилъ къ стрижкѣ его волосъ. Онъ
небольшія ножницы — и, кривя губы, старатель
залъ сперва воротъ Тропмановой рубахи, той с
бахи, которую онъ только-что надѣлъ и съ кото
было бы легко спороть воротникъ заранѣе. Но
была грубая, вся въ складкахъ и не поддавалась
острымъ лезвіямъ. Главный палачъ посмотрѣлъ
недоволенъ: выемка была недостаточно велика.
залъ рукою: старичокъ-подагрикъ опять принял
боту—и выкроилъ еще порядочный кусокъ холст
спины обнажился—показались лопатки. Тропма
повелъ ими: въ комнатѣ было холодно. Тогда с
принялся за волосы. Положивъ свою пухлую лѣ
на голову Тропмана, который тотчасъ покорно
ее—онъ началъ стричь его правой. Косматые темн
жесткихъ волосъ скользили по плечамъ, вал

къ; одна изъ нихъ докатилась до моего сапога. Тропманъ все такъ же покорно наклонялъ голову; священникъ ще болѣе растягивалъ слова молитвъ. Я не могъ отвести зра отъ этихъ, нѣкогда обагренныхъ невинной кровью, ерь безпомощно другъ на дружкѣ лежавшихъ рукъ— особенно отъ этой тонкой, юношеской шеи... Воображеніе невольно проводило по ней поперечную черту... ъ тутъ,—думалось мнѣ:—черезъ нѣсколько мгновеній, дробляя позвонки, разсѣкая мускулы и жилы, пройдетъ десятипудовый топоръ... а тѣло, казалось, ничего обнаго не ожидало... такъ оно было гладко, бѣло, рово....

Невольно ставилъ я себѣ вопросъ: о чемъ думаетъ въ минуту эта столь покорно наклоненная голова? Держится ли она упорно и, какъ говорится, стиснувъ зубы, одну и ту же мысль: „не поддамся-молъ я“; проходятъ ли вихремъ по ней разнообразнѣйшія—и, вѣроятно, незначительныя воспоминанія прошлаго; представляетли ей съ какой-нибудь особенной предсмертной грией одинъ изъ членовъ семейства Кинковъ;—или она, сто, старается ни о чемъ не думать, эта голова — и ько твердитъ самой себѣ: „это ничего, это такъ, вотъ, посмотримъ...“ и будетъ она такъ твердить до тѣхъ ъ, пока смерть не обрушится на нее — и отпрянуть етъ некуда...

А старичокъ все стригъ да стригъ... Волосы скрипѣли, ваченные ножницами... наконецъ, и эта операція конилась. Тропманъ быстро всталъ, встряхнулъ головою... кновенно, въ эту минуту тѣ осужденные, которые е могутъ говорить, обращаются съ послѣдней просьбой директору тюрьмы, напоминаютъ объ оставшихся долъ или деньгахъ, благодарятъ сторожей, просятъ довить роднымъ послѣднюю записку или клокъ волосъ, едать послѣдній поклонъ... но Тропманъ, очевидно, не ъ обыкновеннымъ осужденнымъ: онъ пренебрегалъ поными „нѣжностями“—и не произнесъ ни единаго слова; молчалъ, ждалъ. Ему на плечи накинули короткую тку—палачъ взялъ его подъ локоть...

— Послушайте, Тропманъ—(Voyons, Tropmann!)—р дался, среди гробовой тишины, голосъ г-на Клода:—Т перь, черезъ минуту, все будетъ кончено. — Вы прод жаете настаивать (vous persistez) на томъ, что у в были сообщники?

— Да, сударь, продолжаю — (Oui, monsieur, je p siste), — отвѣчалъ Тропманъ тѣмъ же пріятнымъ, т дымъ баритономъ, и слегка нагнулся впередъ, какъ учтиво извиняясь и даже сожалѣя, что не можетъ от чать иначе.

— Eh bien! allons! — промолвилъ г. Клодъ, и мы тронулись; мы вышли на тюремный большой дворъ.

Было безъ минуты семь часовъ—но небо едва пос лѣло, и тотъ же тусклый паръ заливалъ весь воздух скрадывалъ очертанія предметовъ.—Ревъ толпы охва насъ непрерывной, нестерпимо-зычной волной, какъ то мы переступили порогъ. По каменной мостовой д быстро двигалась — прямо къ воротамъ — наша порѣ шая кучка: нѣкоторые изъ насъ отстали — да и я, и шелъ вмѣстѣ съ другими, однако держался немног сторонѣ. — Тропманъ проворно сѣменилъ ногами — мѣшали ему—и какимъ онъ мнѣ тутъ показался ма кимъ, почти ребенкомъ!—Вдругъ передъ нами медл словно пасть, раскрылись обѣ половины воротъ — и зомъ, какъ бы сопровождаемое громаднымъ визгомъ дованной, дождавшейся толпы, глянуло на насъ вище гильотины съ своими двумя узкими черными бами и вздернутымъ топоромъ. — Мнѣ вдругъ стал лодно, холодно до тошноты; мнѣ казалось, что и хо этотъ вторгся къ намъ на дворъ черезъ тѣ ворот ноги у меня подкосились. — Однако, я еще разъ в нулъ на Тропмана. — Онъ внезапно отклонился на и голову завалилъ, и согнулъ колѣна, словно кто толк его въ грудь — „онъ въ обморокъ упадетъ!“ — шеп чей-то голосъ возлѣ меня... Но онъ тотчасъ же с вился — и твердой поступью пошелъ впередъ. Мимо побѣжали на улицу тѣ изъ насъ, которые хотѣли ви какъ голова его скатится... У меня на это не хва

:я; съ замиравшимъ сердцемъ остановился я у воротъ... Я видѣлъ, какъ палачъ вдругъ черной башней выросъ лѣвой сторонѣ гильотинной площадки; я видѣлъ, какъ Эпманъ отдѣлился отъ кучки людей, оставшихся внизу, взбирался по ступенямъ (ихъ было десять... цѣлыхъ ять ступеней!); я видѣлъ, какъ онъ остановился и рнулся назадъ; я слышалъ, какъ онъ промолвилъ: „Di- à monsieur Claude“... *). Я видѣлъ, какъ онъ по- лся наверху, какъ справа и слѣва два человѣка бро- ись на него, точно пауки на муху, какъ онъ вдругъ залился головой впередъ и какъ подошвы его брыкнули... Но тутъ я отвернулся—и началъ ждать—а земля тихо ылыла подъ ногами... И показалось мнѣ, что я ждалъ ашно долго **). Я успѣлъ замѣтить, что при появле- Тропмана людской гамъ внезапно какъ бы свернулся бомъ — и наступила бездыханная тишина... Передо ой стоялъ часовой, молодой, краснощекій малый... Я ѣлъ замѣтить, что онъ съ тупымъ недоумѣніемъ и асомъ пристально смотрѣлъ на меня... Я успѣлъ даже умать, что вотъ, этотъ солдатъ, быть-можетъ, родомъ какой-нибудь глухой деревеньки, изъ смирной и доб- семьи — и теперь — что̀ ему приходится видѣть! На- ецъ, послышался легкій стукъ какъ бы дерева о де- о — это упалъ верхній полукругъ ошейника съ про- ьнымъ разрѣзомъ для прохода лезвія, который охва- аетъ шею преступника и держитъ его голову непо- жной... Потомъ что-то вдругъ глухо зарычало и по- илось—и ухнуло... Точно огромное животное отхаркну- ь... Я другого, болѣе вѣрнаго сравненія пріискать не ѣю. Все помутилось...

Кто-то схватилъ меня подъ руку... Я взглянулъ: это

*) Я не разслыхалъ конца фразы. Его слова были: Dites à m-r ide, que je persiste, т.-е.: скажите, что я продолжаю настаивать гомъ, что у меня были сообщники. Тропманъ не хотѣлъ лишить этой послѣдней радости, послѣдняго удовлетворенія: оставить жало нѣнія и упрека въ умахъ своихъ судей и публики.

**) Въ сущности—отъ того мгновенія, когда Тропманъ сталъ ногою первую ступень гильотины — до того мгновенія, когда его трупъ рнули въ приготовленный коробъ—прошло *двадцать* секундъ.

былъ помощникъ г-па Клода, г-нъ Ж... которому, и
я узналъ впослѣдствіи, мой пріятель М. Дюканъ поруч
наблюдать за мною.

— Вы очень блѣдны... Не хотите ли воды? — прои
вилъ онъ, улыбаясь. Но я благодарилъ—и пошелъ обра
на тюремный дворъ, который мнѣ являлся чѣмъ-то
родѣ убѣжища отъ того ужаса за воротами.

Наше общество собралось на гауптвахту возлѣ воро
чтобы проститься съ комендантомъ и дать нѣсколько
зойтись толпѣ. Туда пришелъ и я — и узналъ, что ж
уже на доскѣ, Тропманъ вдругъ судорожно откинулъ
лову въ сторону—такъ что она не попала въ полукруг
отверстіе — и палачи принуждены были втащить ее т
за волосы, причемъ онъ укусилъ одного изъ нихъ, сам
главнаго, за палецъ; что тотчасъ послѣ казни, въ то вре
какъ тѣло, брошенное въ фургонъ, удалялось маршъ-и
шемъ—два человѣка, пользуясь первыми мгновеніями
избѣжнаго смущенія, прорвались сквозь цѣпь солдатъ
подлѣзши подъ гильотину, стали мочить свои платки
кровь, пролившуюся сквозь щели досокъ...

Но я слушалъ всѣ эти разговоры, какъ сквозь сонъ
чувствовалъ себя очень усталымъ—да и не я одинъ. І
казались усталыми—хотя всѣмъ видимо полегчило, сло
обуза свалилась съ плечъ. Но никто изъ насъ, *рѣ
тельно никто не смотрѣлъ человѣкомъ, который сознае
что присутствовалъ при совершеніи акта общественн
правосудія*: всякій старался мысленно отвернуться и к
бы сбросить съ себя отвѣтственность въ этомъ убійст

Мы съ Дюканомъ откланялись коменданту и отпра
лись домой. Цѣлая рѣка человѣческихъ существъ, м
чинъ, женщинъ, дѣтей, стремила мимо насъ свои нев
сивыя и неопрятныя волны. Почти всѣ молчали; о
лишь блузники-работники изрѣдка перекликались: „Б
молъ, ты?“ — „а ты куда?“ да уличные мальчишки і
вѣтствовали свистомъ проѣзжавшихъ „кокотокъ“. И
за испитыя, угрюмыя, сонныя лица! Что за выраж
скуки, утомленія, неудовлетворенія, досады, вялой,
предметной досады! Пьяныхъ я, впрочемъ, видѣлъ

ь: либо ихъ уже успѣли прибрать, либо они сами
нились. Буднишняя жизнь принимала опять всѣхъ
ъ людей въ свои нѣдра — и для чего, для какихъ
ценій они на нѣсколько часовъ выходили изъ ея
я? Страшно подумать о томъ, что тутъ гнѣздится.
ойдя шаговъ двѣсти отъ тюрьмы, мы нашли пустой
ъ, сѣли въ него и поѣхали.

время дороги, мы разсуждали съ Дюканомъ о томъ,
ы видѣли и о чемъ онъ незадолго передъ тѣмъ (въ
ской, мною уже цитированной, книжкѣ Revue des
Mondes) сказалъ такія вѣскія, такія дѣльныя слова.
азсуждали о ненужномъ, о безсмысленномъ варвар-
всей этой средневѣковой процедуры, по милости ко-
агонія преступника продолжается полчаса (отъ 28
ъ седьмого до 7 часовъ), о безобразіи всѣхъ этихъ
ваній, одѣваній, этой стрижки, этихъ путешествій
стницамъ и коридорамъ... По какому праву все это
тся? Какъ допустить такую возмутительную рутину?
ая смертная казнь—можетъ ли она быть оправдана?
видѣли, какое впечатлѣніе производитъ подобное
ще на народъ: да и самаго этого, яко бы поучи-
аго, зрѣлища нѣтъ вовсе. Эдва ли тысячная часть
едшей толпы, не болѣе пятидесяти или шестидесяти
ѣкъ, могла, въ полумракѣ ранняго утра, изъ-за по-
аста-шагового разстоянія, сквозь ряды войскъ и
ы лошадей, хоть что-нибудь увидѣть. А остальные?
ю, хотя бы малѣйшую пользу могли они извлечь
этой пьяной, безсонной, бездѣльной, развратной ночи?
помнилъ о молодомъ, безсмысленно кричавшемъ блуз-
, лицо котораго я наблюдалъ въ теченіе нѣсколь-
минутъ. Неужели онъ примется сегодня за работу
ѣкомъ, больше прежняго ненавидящимъ порокъ и
ность? И я, наконецъ, что *я* вынесъ? Чувство не-
аго изумленія передъ убійцей, нравственнымъ урс-
умѣвшимъ показать свое презрѣніе смерти. Неужели
ныя впечатлѣнія можетъ желать законодатель? О
„моральной цѣли“ можно еще толковать, послѣ
кихъ, опытомъ подкрѣпленныхъ опроверженій?

Но не стану вдаваться въ разсужденія: они завел меня слишкомъ далеко. Да и кому же не извѣстно вопросъ о смертной казни есть одинъ изъ очередн неотлагаемыхъ вопросовъ, надъ разрѣшеніемъ кото трудится современное человѣчество? Я буду довол извиню самому себѣ свое неумѣстное любопытство, разсказъ мой доставитъ хотя нѣсколько аргументов щитникамъ отмѣны смертной казни, или, по крайне рѣ,—отмѣны ея публичности.

Веймаръ, 1870 г.

IX.—О соловьяхъ.

Посылаю вамъ, любезный и почтеннѣйшій С. Т. любителю и знатоку всякаго рода охотъ, слѣдующі сказъ о соловьяхъ, объ ихъ пѣньи, содержаньи, с ловить ихъ и пр., списанный мною со словъ ста опытнаго охотника изъ дворовыхъ людей. Я пост сохранить всѣ его выраженія и самый складъ рѣч

Лучшими соловьями всегда считались курскіе; послѣднее време они похужѣли; и теперь лучшія таются соловьи, которые ловятся около Бердиче границѣ; тамъ, въ пятнадцати верстахъ за Бердич есть лѣсъ, прозываемый Треяцкимъ; отличные та дятся соловьи. Время ихъ ловить—въ началѣ ма жатся они больше въ черемушникѣ и мелкомъ л въ болотахъ, гдѣ лѣсъ растетъ; болотные соловьи– дорогіе. Прилетаютъ они дня за три до егорье но сначала поютъ тихо, а къ маю въ силу войдут поются. Выслушивать ихъ надо по зарямъ и ноч лучше по зарямъ; иногда приходится всю ночь въ просидѣть. Я съ товарищемъ разъ чуть не замер болотѣ: ночью сдѣлался морозъ, и къ утру въ блин на водѣ намерзло; а на мнѣ былъ кафтанишка плохенькій; только тѣмъ и спасся, что между дву чекъ свернулся, кафтанъ снялъ, голову закуталъ халъ себѣ на пузо подъ кафтаномъ; цѣлый день

ми стучалъ. Ловить соловья дѣло не мудреное: нужно ва хорошенько выслушать, гдѣ онъ держится, а тамъ къ на землѣ расчистить поладнѣе возлѣ куста, раз-ить тайникъ и самку пришпорить, за обѣ ножки при-ть, а самому спрятаться да присвистывать дудочкой: я дудочка дѣлается, въ родѣ пищика. А тайничокъ льшой изъ сѣтки дѣлается—съ двумя дужками; одну ку крѣпко къ землѣ приспособить надо, а другую ко приткнуть—и бечевку къ ней привязать; соловей ху какъ слетитъ къ самкѣ — тутъ и дернуть за бе-ку, тайничокъ и закинется. Иной соловей очень жа-ь, такъ сейчасъ сверху пулей и бросится, какъ только дитъ самку; а другой остороженъ: сперва пониже тится, да разглядываетъ—его ли самка. Осторожныхъ пе сѣтью ловить. Сѣть плетется сажень въ пять; осы-ь ею кустъ или сухой дромъ, а осыпать надо слабо; только спустится соловей — встанешь и погонишь въ сѣть; онъ все низомъ летитъ, ну, и повиснетъ въ лькахъ. Сѣтью ловить можно и безъ самки, одною чкой. Какъ поймаешь соловья, тотчасъ свяжи ему ики крылышекъ, чтобы не бился, и сажай его ско-въ куролеску — такой ящикъ дѣлается низенькій, ху и снизу холстомъ обтянутъ. Кормить пойманныхъ вьевъ надо муравьиными яйцами—понемножку и по-е; они скоро привыкаютъ и принимаются клевать. Не аетъ живыхъ муравьевъ въ куролеску напустить: иной тный соловей не знаетъ муравьиныхъ яицъ — не ви-ь никогда—ну, а какъ муравьи станутъ таскать яйца— адоръ войдетъ—станетъ ихъ хватать.

оловьи у насъ здѣсь *) дрянные: поютъ дурно, по-ь ничего нельзя, всѣ колѣна мѣшаютъ, трещатъ, спѣ-ъ; а то, вотъ еще у нихъ самая гадкая есть штука: аетъ этакъ: тру и вдругъ: ви!—этакъ визгнетъ, словно воду окунется. Это самая гадкая штука. Плюнешь и дешь. Даже досадно станетъ. Хорошій соловей дол-ь пѣть разборчиво и не мѣшать колѣна, — а колѣна какія бываютъ:

*) Въ мценскомъ, чернскомъ и бѣлевскомъ уѣздахъ.

Первое: *Пульканіе*—этакъ: пуль, пуль, пуль, пуль...

Второе: *Клыканіе*—клы, клы, клы, какъ желна.

Третье: *Дробь* — выходитъ, примѣрно, какъ по зем разомъ дробь просыпать.

Четвертое: *Раскатъ*—трррррр...

Пятое: *Плсканіе* — почти понять можно: плень, плень, плень.

Шестое: *Лѣшева дудка*—этакъ протяжно: го-го-го-го-го, а тамъ коротко: *ту!*

Седьмое: *Кукушкинъ перелетъ.* Самое рѣдкое колѣно; я только два раза въ жизни его слыхивалъ — и оба раза въ тимскомъ уѣздѣ. Кукушка, когда полетитъ, такимъ манеромъ кричитъ. Сильный такой, звонкій свисть.

Восьмое: *Гусачокъ.* Га-га-га-га... У малоархангельскихъ соловьевъ хорошо это колѣно выходитъ.

Девятое: *Юлиная стукотня.* Какъ юла—есть птица, на жаворонка похожая,—или какъ вотъ органчики бываютъ,—этакой круглый свистъ: фюіюіюіюю...

Десятое: *Починъ*—этакъ: тии-вить, нѣжно, малиновкой. Это, по-настоящему, не колѣно, а соловьи обыкновенно такъ начинаютъ. У хорошаго нотнаго соловья оно еще вотъ какъ бываетъ: начнетъ—тии-вить—а тамъ: тукъ!—Это оттолчкой называется. Потомъ опять — тии-вить... тукъ! тукъ! Два раза оттолчка — и въ полъ-удара, этакъ лучше; въ третій разъ: тии-вить — да какъ разсыплетъ вдругъ, с..... с..., дробью или раскатомъ—едва на ногахъ устоишь —обожжетъ! Этакой соловей называется съ ударомъ или оттолчкой. У хорошаго соловья каждое колѣно длинно выходитъ, отчетливо, сильно; чѣмъ отчетливѣй, тѣмъ длиннѣй. Дурной спѣшитъ: сдѣлалъ колѣно, отрубилъ, скорѣе другое — и смѣшался. Дуракъ дуракомъ и остался. А хорошій — пѣтъ! Разсудительно поетъ, правильно. Примется какое-нибудь колѣно чесать — не сойдетъ съ него до истомы, проберетъ хоть кого. Иной даже съ оборотомъ—такъ длиненъ: пуститъ, напримѣръ, колѣно, дробь, что ли — сперва будто книзу, а потомъ опять въ гору, словно кругомъ себя окружитъ, какъ каретное колесо перекатитъ — надо такъ сказать. Одного

такого слыхалъ у мценскаго купца Ш....ва — вотъ былъ соловей! Въ Петербургѣ за 1,200 рублей ассигнаціей проданъ.

По охотницкимъ замѣчаньямъ, хорошаго соловья отъ дурного съ виду отличить трудно. Многіе даже самку отъ самца не узнаютъ. Иная самка еще казистѣе самца. Молодого отъ стараго отличить можно. У молодого, когда растопыришь ему крылья, есть на перышкахъ пятнышки, и весь онъ темнѣй; а старый—сѣрѣе. Выбирать надо соловья, у котораго глаза большіе, носъ толстый, и чтобы былъ плечистъ и высокъ на ногахъ. Тотъ-то соловей, что за 1,200 рублей пошелъ, былъ росту средняго. Его Ш...въ подъ Курскомъ у мальчика купилъ за двугривенный.

Соловей, коли въ бережѣ, до пяти зимъ перезимовать можетъ. Кормить его надо зимою прусаками или сушеными муравьиными яйцами; только яйца надо брать не изъ краснаго лѣса, а изъ чернолѣсья, а то отъ смолы запоръ сдѣлается. Вѣшать надо соловья не надъ окнами, а въ серединѣ комнаты, подъ потолкомъ, и въ клѣткѣ чтобъ было нѣбко мягкое, суконное или полотняное.

Болѣзнь на нихъ бываетъ: вдругъ примутся чихать. Скверная эта болѣзнь. Какой и переживетъ — на другую зиму навѣрное околѣетъ. Пробовалъ я табакомъ нюхательнымъ по корму посыпать—хорошо выходило.

Пѣть начинаютъ они съ Рождества—и ближе, сперва потихоньку; съ Великаго поста, съ марта мѣсяца, настоящимъ голосомъ, а къ Петрову дню перестаютъ. Начинаютъ они обыкновенно съ пленканія... такъ жалобно, нѣжно: плень... плень... не громко, а по всей комнатѣ слышно. Такъ звенитъ пріятно, какъ стеклышки, душу всю поворачиваетъ. Какъ долго не слышу — всякій разъ трогаетъ, по животику такъ и пробѣжитъ, волосики на головѣ трогаются. Сейчасъ слезы—и вотъ онѣ. Выйдешь, поплачешь, постоишь.

Молодыхъ соловьевъ хорошо доставать въ Петровки. Надо подмѣтить, куда старые кормъ носятъ. Иной разъ три, четыре часа, полдня просижу, а ужъ замѣчу мѣсто. Гнѣздо они вьютъ на землѣ—изъ сухой травы и листочковъ.

ковъ. Штукъ пять въ гнѣздѣ бываетъ, а иногда и меньше. Молодыхъ возьмешь да посадишь въ западню—сейчасъ и старые попадутся. Старыхъ надо поймать, чтобы молодыхъ кормили. Посадишь всю семейку въ куролеску, да муравьиныхъ яицъ насыплешь и животныхъ муравьевъ напустишь. Старые сейчасъ примутся молодыхъ кормить. Клѣтку потомъ завѣсить надо, а какъ молодые станутъ клевать сами, старыхъ принять. Молодые, которыхъ въ Петровки изъ гнѣзда вынешь, живучѣе, и пѣть скорѣе принимаются. Брать надо молодыхъ отъ длиннаго, голосистаго соловья. Въ клѣткѣ они не выводятся. На волѣ соловей перестаетъ пѣть, какъ только дѣтей вывелъ, а о Петровки онъ линяетъ. Сдѣлаетъ на лету колѣнцо—и кончено. Все только свиститъ. А поетъ онъ всегда сидя; на лету, когда за самкой ныряетъ, курлычетъ.

Молодыхъ соловьевъ хорошо къ старымъ подвѣшивать, чтобы учились. Повѣсить ихъ надо рядомъ. И тутъ надо примѣчать: если молодой, пока старый поетъ, молчитъ и сидитъ, не шелохнется, слушаетъ — изъ того выйдетъ прокъ—въ двѣ недѣли, пожалуй, готовъ будетъ; а какой не молчитъ, самъ туда же вслѣдъ за старикомъ бурлитъ—тотъ развѣ на будущій годъ запоетъ, какъ быть слѣдуетъ, да и то сомнительно. Иные охотники секретно, въ шляпахъ, приносятъ молодыхъ соловьевъ въ трактиръ, гдѣ есть хорошій соловей; сами пьютъ чай или пиво, а молодые тѣмъ временемъ учатся. Оттого лучше завѣшивать молодыхъ, когда ихъ къ старому приносятъ.

Первые охотники до соловьевъ—купцы: тысячи рублей не жалѣютъ. Мнѣ бѣлевскіе купцы давали двѣсти рублей и товарища, и лошадь была ихняя. Посылали меня къ Бердичеву. Я долженъ былъ двѣ пары представить отличныхъ соловьевъ, а остальные, хоть пятьдесятъ паръ, въ мою пользу.

Былъ у меня товарищъ, охотникъ смертный до соловьевъ; часто мы съ нимъ ѣздили. Подслѣповатъ онъ былъ—много это ему мѣшало. Разъ подъ Лебедянью, выслушалъ онъ удивительнаго соловья. Приходитъ ко мнѣ, разсказываетъ—такъ отъ жадности весь трясется. Сталъ

его ловить — а сидѣлъ онъ на высокой осинкѣ. Вотъ, однако, спустился, погналъ его товарищъ въ сѣть; ткнулся соловей въ сѣть—и повисъ. Сталъ его товарищъ брать—знать, руки у него дрожали—соловей вдругъ какъ шмыгнетъ у него между ногъ — свистнулъ, запѣлъ и улетѣлъ. Товарищъ такъ и завопилъ. Онъ потомъ божился, увѣрялъ меня, что онъ явственно чувствовалъ, какъ кто-то соловья у него изъ рукъ силой выдернулъ. Что жъ! Всяко бываетъ. Принялся онъ опять манить его—нѣтъ! не тутъ-то было: оробѣлъ, знать, смолкъ. Цѣлыхъ десять дней товарищъ потомъ за нимъ все ходилъ. Что же вы думаете? Соловей хоть бы чукнулъ—такъ и пропалъ. А товарищъ чуть не рехнулся; насилу его домой притащилъ. Возьметъ, шапку о-земь грянетъ, да какъ начнетъ себя кулакомъ по лбу бить... А то вдругъ остановится и закричитъ: „раскапывайте землю—въ землю уйти хочу, туда мнѣ дорога, слѣпому, неумѣлому, безрукому“... Вотъ, какъ оно бываетъ чувствительно!

Случается, что другъ у друга норовятъ хорошихъ соловьевъ отбить, пораньше зайти на мѣсто. На все нужно умѣнье; да и безъ счастья тоже нельзя. Случается также, что отводятъ, колдовствомъ то-есть; а противъ этого — молитва. Разъ я-таки страху набрался. Сижу я ночью подъ лѣсомъ, выслушиваю соловьевъ, а ночь такая темная-претемная... И вдругъ мнѣ показалось, что будто ужъ это не по-соловьиному что-то гремитъ, словно прямо на меня идетъ... Жутко мнѣ стало, такъ что и сказать нельзя... вскочилъ, да и давай Богъ ноги. Мужики — тѣ не мѣшаютъ: тѣмъ все равно; еще смѣются, пожалуй. Мужикъ грубъ: ему что соловей, что зябликъ—все едино. Не ихъ разума дѣло. Ихъ дѣло—пахать, да на печи лежать съ бабой. А я вамъ теперь все разсказалъ.

X. — Пегасъ.

Охотники часто любятъ хвастать своими собаками и превозносить ихъ качества: это тоже родъ косвеннаго

самовосхваленія. Но несомнѣнно то, что между собаками, какъ между людьми, попадаются умницы и глупыши, дровитости и бездарности, и попадаются даже геніи, даже оригиналы *); а разнообразіе ихъ способностей „физическихъ и умственныхъ", нрава, темперамента—не уступитъ разнообразію, замѣчаемому въ людской породѣ. Можно сказать—и не безъ особенной натяжки—что отъ долгаго, за историческія времена восходящаго сожительства собаки съ человѣкомъ, она заразилась имъ—въ хорошемъ и въ дурномъ смыслѣ слова: ея собственный нормальный строй несомнѣнно нарушенъ и измѣненъ,—какъ нарушена и измѣнена самая ея внѣшность. Собака стала болѣзненнѣе, нервознѣе, ея годы сократились; но она стала интеллигентнѣе, впечатлительнѣе и сообразительнѣе; ея кругозоръ расширился. Зависть, ревность—и способность къ дружбѣ; отчаянная храбрость, преданность до самоотверженія—и позорная трусость и измѣнчивость; подозрительность, злопамятность—и добродушіе; лукавство и прямота—всѣ эти качества проявляются—иногда съ поразительной силой—въ перевоспитанной человѣкомъ собакѣ, которая гораздо больше чѣмъ лошадь заслуживаетъ названіе „самаго благороднаго его завоеванія" — по извѣстному выраженію Бюффона.

Но довольно философствовать: обращаюсь къ фактамъ.

У меня, какъ у всякаго „завзятаго" охотника, перебывало много собакъ, дурныхъ, хорошихъ и отличныхъ—попалась даже одна, положительно сумасшедшая, которая и кончила жизнь свою, выпрыгнувъ въ слуховое окно сушильни, съ четвертаго этажа бумажной фабрики; — но лучшій, безъ всякаго сомнѣнія, песъ, которымъ я когда-либо обладалъ—былъ длинношерстый, черный съ желтыми подпалинами кобель, по кличкѣ „Пегасъ", купленный мной въ окрестностяхъ Карлсруэ у охотника-сторожа (Jagdhüter), за сто двадцать гульденовъ — около восьмидесяти рублей серебромъ. Мнѣ нѣсколько разъ — въ по-

*) Весной 1871 года я видѣлъ въ Лондонѣ, въ одномъ циркѣ, собаку, которая исполняла роль „клоуна", паяца; она обладала несомнѣннымъ комическимъ юморомъ.

слѣдствіи времени—предлагали за него тысячу франковъ. Пегасъ (онъ живъ еще до сихъ поръ, хотя въ началѣ нынѣшняго года почти внезапно потерялъ чутье, оглохъ, окривѣлъ и совершенно опустился), Пегасъ — крупный песъ съ волнистой шерстью, съ удивительно-красивой, громадной головой, большими карими глазами и необычайно умной и гордой физіономіей. Породы онъ не совсѣмъ чистой: онъ являетъ смѣсь англійскаго сеттера и овчарной нѣмецкой собаки: хвостъ у него толстъ, переднія лапы слишкомъ мясисты, заднія нѣсколько жидки. Силой онъ обладалъ замѣчательной и былъ драчунъ величайшій: на его совѣсти, навѣрно, лежитъ нѣсколько собачьихъ душъ. О кошкахъ я ужъ не упоминаю. Начну съ его недостатковъ на охотѣ: ихъ немного и перечесть ихъ недолго. Онъ боялся жары, и когда не было близко воды, подвергался тому состоянію, когда говорятъ о собакѣ, что она *„зарьяла“*; онъ былъ также нѣсколько тяжелъ и медлителенъ въ поискѣ; но такъ какъ чутье у него было баснословное—я ничего подобнаго никогда не встрѣчалъ и не видывалъ—то онъ, все-таки, находилъ дичь скорѣе и чаще, чѣмъ всякая другая собака. Стойка его приводила въ изумленіе, и никогда, никогда! онъ *не вралъ*.— *„Коли Пегасъ стоитъ—значитъ, есть дичь“* — было общепринятой аксіомой между всѣми нашими товарищами по охотѣ. Ни за зайцами, ни за какой другой дичью онъ не гонялъ ни шагу; но, не получивъ правильнаго, строгаго, англійскаго воспитанія, онъ, вслѣдъ за выстрѣломъ, не выжидая приказанія, бросался поднимать убитую дичь—недостатокъ важный! Онъ по полету птицы тотчасъ узналъ, что она подранена; и если, посмотрѣвъ ей вслѣдъ, отправлялся за нею, поднявъ особеннымъ манеромъ голову, то это служило вѣрнымъ знакомъ, что онъ ее сыщетъ и принесетъ. Въ полномъ развитіи его силъ и способностей, ни одна подстрѣленная дичь отъ него не уходила: онъ былъ удивительнѣйшій „ретрйверъ“ (retriever—сыщикъ), какого только можно себѣ представить. Трудно перечесть, сколько онъ отыскалъ фазановъ, забившихся въ густой терновникъ, которымъ наполнены почти всѣ

серманскіе лѣса, куропатокъ, отбѣжавшихъ чуть не на полверсты отъ мѣста, гдѣ онѣ упали, зайцевъ, дикихъ козъ, лисицъ. Случалось, что его приводили на слѣдъ—два, три, четыре часа послѣ нанесенія раны: стоило сказать ему, не возвышая голоса: such, verloren! (шершь, потерялъ!)—и онъ немедленно отправлялся курцъ-галопомъ сперва въ одну сторону, потомъ въ другую—наткнувшись на слѣдъ, стремительно, во всѣ лопатки пускался по немъ... Минута пройдетъ, другая... и уже заяцъ или дикая коза кричитъ подъ его зубами, или, вотъ, уже онъ мчится назадъ съ добычей во рту. Однажды, на заячьей облавѣ, Пегасъ выкинулъ такую удивительную штуку, что я бы едва ли рѣшился разсказать ее, если бъ не могъ сослаться на цѣлый десятокъ свидѣтелей. Лѣсной загонъ кончился; всѣ охотники сошлись на полянѣ, близъ опушки.—„Я именно здѣсь ранилъ зайца“,—сказалъ мнѣ одинъ изъ моихъ товарищей и обратился ко мнѣ съ обычной просьбой: направить на слѣдъ Пегаса. Должно замѣтить, что на эти облавы, кромѣ моего пса, прозваннаго „l'illustre Pégase“, ни одинъ не допускался. Собаки въ этихъ случаяхъ только мѣшаютъ: сами безпокоятся и безпокоятъ своихъ владѣтелей, да своими движеніями предостерегаютъ и отгоняютъ дичь. Егери-загонщики *своихъ* собакъ держатъ на сворахъ. Мой Пегасъ, какъ только начиналась облава и раздавались крики—превращался въ истукана, смотрѣлъ внимательно въ чащу лѣса, чуть замѣтно поднимая и опуская уши, и даже дышать переставалъ; дичина могла проскочить подъ самымъ его носомъ—онъ едва дрогнетъ боками или облизнется—и только. Однажды заяцъ пробѣжалъ буквально по его лапамъ... Пегасъ удовольствовался тѣмъ, что показалъ примѣръ, будто укусить его хочетъ. Возвращаюсь къ разсказу. Я скомандовалъ ему: Such, verloren! онъ отправился—и черезъ нѣсколько мгновеній мы услыхали крикъ пойманнаго зайца—и вотъ, уже мелькаетъ по лѣсу красивая фигура моего пса, скачетъ онъ прямо ко мнѣ. (Онъ никому другому не отдавалъ своей добычи). Внезапно, въ двадцати шагахъ отъ меня, онъ останавливается, кладетъ зайца на землю—и

маршъ-маршъ назадъ! Мы всѣ переглянулись съ изумленіемъ... „Что это значитъ? — спрашиваютъ у меня. — Зачѣмъ Пегасъ не донесъ до васъ зайца? Онъ этого никогда не дѣлалъ!“ Я не зналъ, что сказать, ибо самъ ничего не понималъ, какъ вдругъ опять въ лѣсу раздается заячій крикъ—и Пегасъ опять мелькаетъ по чащѣ съ *другимъ* зайцемъ во рту! Дружныя, громкія рукоплесканія его привѣтствовали. Одни охотники могутъ оцѣнить, какое тонкое чутьё, какой умъ и какой разсчетъ должны быть у собаки, которая, съ только-что убитымъ, теплымъ зайцемъ во рту, въ состояніи, на всемъ скаку, въ виду хозяина, учуять другого раненаго зайца, и понять, что это издаетъ запахъ именно *другой*, а не тотъ заяцъ, котораго онъ держитъ между зубами!

Въ другой разъ его навели на слѣдъ раненой дикой козы. Охота происходила на берегу Рейна. Онъ добѣжалъ до берега, бросился направо, потомъ налѣво и, вѣроятно, разсудивъ, что дикая коза, хоть и не дала больше слѣда, пропасть, однако, не могла — бухнулся въ воду, переплылъ рукавъ Рейна (Рейнъ, какъ извѣстно, противъ великаго герцогства баденскаго дѣлится на множество рукавовъ) и, выбравшись на противолежащій, заросшій лозниками, островокъ, схватилъ на немъ козу.

Еще вспоминаю я зимнюю охоту въ самыхъ вершинахъ Шварцвальда. Вездѣ лежалъ глубокій снѣгъ, деревья обросли громаднымъ инеемъ, густой туманъ наполнялъ воздухъ и скрадывалъ очертанья предметовъ. Сосѣдъ мой выстрѣлилъ, и когда я, по окончаніи облавы, подошелъ къ нему, сказалъ мнѣ, что онъ стрѣлялъ по лисицѣ и вѣроятно ее ранилъ, потому что она взмахнула хвостомъ. Мы пустили по слѣду Пегаса, и онъ тотчасъ же исчезъ въ бѣлой мглѣ, окружавшей насъ. Прошло пять минутъ, десять, четверть часа... Пегасъ не возвращался. Очевидно, что мой сосѣдъ попалъ въ лисицу: если дичь не была ранена, и Пегаса посылали попустому, онъ возвращался тотчасъ. Наконецъ, въ отдаленіи раздался глухой лай: онъ примчался къ намъ точно съ другого свѣта. Мы немедленно двинулись по направленію этого лая: мы знали,

что когда Пегасъ не въ состояніи былъ принести добычу—онъ лаялъ надъ нею. Руководимые изрѣдка раздававшимися, отрывочными возгласами его баса, мы шли;—и шли мы точно какъ во снѣ—не видя почти, куда ставимъ ноги. Мы поднимались въ гору, спускались въ лощины, въ снѣгу по колѣни, въ сыромъ и холодномъ туманѣ; стеклянныя иглы сыпались на насъ съ потрясенныхъ нами вѣтвей... Это было какое-то сказочное путешествіе. Каждый изъ насъ казался другому призракомъ, и все кругомъ имѣло призрачный видъ. Наконецъ, что-то зачернѣло впереди, на днѣ узкой ложбины: то былъ Пегасъ. Сидя на корточкахъ, онъ свѣсилъ морду и, какъ говорится, „пасуровился“; а передъ самымъ его носомъ, въ тѣсной ямѣ, между двумя плитами гранита, лежала мертвая лисица. Она заползла туда прежде, чѣмъ околѣла, и Пегасъ не въ состояніи былъ достать ее. Оттого онъ и оповѣстилъ насъ лаемъ.

У него надъ правымъ глазомъ былъ незаросшій шрамъ глубокой раны: эту рану нанесла ему лисица, которую онъ нашелъ еще живою, шесть часовъ послѣ того, какъ по ней выстрѣлили—и съ которой онъ вступилъ въ смертный бой.

Вспоминаю я еще слѣдующій случай.—Я былъ приглашенъ на охоту въ Оффенбургъ, городъ, лежащій недалеко отъ Бадена?—Эту охоту содержало цѣлое общество спортсменовъ изъ Парижа: дичи въ ней, особенно фазановъ, было множество. — Я, разумѣется, взялъ съ собой Пегаса. Насъ всѣхъ было человѣкъ пятнадцать. У многихъ были отличныя, бо̀льшею частью англійскія, чистокровныя собаки. Переходя съ одной облавы на другую, мы вытянулись въ линію по дорогѣ вдоль лѣса, налѣво отъ насъ зачиналось огромное, пустое поле; посрединѣ этого поля — шагахъ отъ насъ въ пятистахъ — возвышалась небольшая кучка земляныхъ грушъ—(topinambour). Вдругъ мой Пегасъ поднялъ голову, повелъ носомъ по вѣтру и пошелъ размѣреннымъ шагомъ прямо на ту отдаленную кучку засохшихъ и вытянутыхъ, сплошныхъ стеблей. Я остановился и пригласилъ г-дъ охотниковъ

идти за моей собакой — ибо „тутъ навѣрное что-нибудь есть“. Между тѣмъ, другія собаки подскочили, стали вертѣться и сновать около Пегаса, нюхать землю, оглядываться—но ничего не зачуяли; а онъ, нисколько не смущаясь, продолжалъ идти, какъ по струнке. — „Заяцъ, должно быть, гдѣ-нибудь въ полѣ залегъ“, замѣтилъ мнѣ одинъ парижанинъ. Но я по фигурѣ, по всей повадкѣ Пегаса, видѣлъ, что это не заяцъ, и вторично пригласилъ г-дъ охотниковъ идти за нимъ.—„Наши собаки ничего не чуютъ, — отвѣчали они мнѣ въ одинъ голосъ: — вѣроятно, ваша ошибается“. — (Въ Оффенбургѣ тогда еще не знали Пегаса). Я промолчалъ, взвелъ курки, пошелъ за Пегасомъ, который лишь изрѣдка оглядывался на меня чрезъ плечо—и добрался, наконецъ, до кучки земляныхъ грушъ. Охотники — хотя и не послѣдовали за мною, однако всѣ остановились и издали смотрѣли на меня. — „Ну, если ничего не будетъ?—подумалъ я:— осрамимся мы, Пегасъ, съ тобою“... Но въ это самое мгновенье цѣлая дюжина самцовъ-фазановъ съ оглушительнымъ трескомъ взвилась на воздухъ—и я, къ великой моей радости, сшибъ пару, что не всегда со мной случалось,—ибо я стрѣляю посредственно. — „Вотъ-молъ вамъ, г-да парижане, — и вашимъ чистокровнымъ собакамъ!“ — Съ убитыми фазанами въ рукахъ возвратился я къ товарищамъ... Комплименты посыпались на Пегаса и на меня. Я, вѣроятно, выказалъ удовольствіе на лицѣ; а онъ — какъ ни въ чемъ не бывало! даже не скромничалъ.

Безъ преувеличенія могу сказать, что Пегасъ сплошь да рядомъ зачуевалъ куропатокъ за сто, за двѣсти шаговъ. И несмотря на свой нѣсколько лѣнивый поискъ, какъ обдуманно онъ распоряжался: ни дать, ни взять, опытный стратегикъ! Никогда не опускалъ головы, не внюхивался въ слѣдъ, позорно фыркая и тыкая носомъ: онъ дѣйствовалъ постоянно верхнимъ чутьемъ, dans le grand style la grande manière, какъ выражаются французы. — Мнѣ, бывало, почти съ мѣста сходить не приходилось: только посматриваю за нимъ. Очень забавляло

меня охотиться съ кѣмъ-нибудь, кто еще не зналъ Пегаса; получаса не проходило, какъ уже слышались восклицанія: „вотъ такъ собака! Да это—профессоръ!“

Понималъ онъ меня съ полуслова; взгляда было для него достаточно. Ума палата была у этой собаки. Въ томъ, что онъ однажды, отставъ отъ меня, ушелъ изъ Карлсруэ, гдѣ я проводилъ зиму — и четыре часа спустя очутился въ Баденъ-Баденѣ, на старой квартирѣ, — еще нѣтъ ничего необыкновеннаго; но слѣдующій случай показываетъ, какая у него была голова. Въ окрестностяхъ Баденъ-Бадена какъ-то появилась бѣшеная собака и кого-то укусила; тотчасъ вышелъ отъ полиціи приказъ: всѣмъ собакамъ безъ исключенія надѣть намордники. — Въ Германіи подобные приказы исполняются пунктуально: и Пегасъ очутился въ намордникѣ. Это было ему непріятно до крайности; онъ безпрестанно жаловался—т.-е. садился напротивъ меня—и то лаялъ, то подавалъ мнѣ лапу... но дѣлать было нечего, надлежало покориться. — Вотъ, однажды моя хозяйка приходитъ ко мнѣ въ комнату и разсказываетъ, что наканунѣ Пегасъ, воспользовавшись минутой свободы, зарылъ свой намордникъ! — Я не хотѣлъ дать этому вѣры; но нѣсколько мгновеній спустя, хозяйка моя снова вбѣгаетъ ко мнѣ и шопотомъ зоветъ меня поскорѣе за собою. Я выхожу на крыльцо— и что же я вижу? Пегасъ съ намордникомъ во рту пробирается по двору украдкой, словно на цыпочкахъ — и, забравшись въ сарай, принимается рыть въ углу лапами землю—и бережно закапываетъ въ нее свой намордникъ! Не было сомнѣнія въ томъ, что онъ воображаетъ такимъ образомъ навсегда отдѣлаться отъ ненавистнаго ему стѣсненія.

Какъ почти всѣ собаки, онъ терпѣть не могъ нищихъ и дурно одѣтыхъ людей—(дѣтей и женщинъ онъ никогда не трогалъ)—а главное: онъ никому не позволялъ ничего уносить; одинъ видъ ноши за плечами или въ рукѣ возбуждалъ его подозрѣнія — и тогда горе панталонамъ заподозрѣннаго человѣка—и, въ концѣ-концовъ,—горе моему кошельку! — Много пришлось мнѣ за него переплатить

денегъ! Однажды слышу я ужасный гвалтъ въ моемъ палисадникѣ. Выхожу—и вижу—за калиткой—человѣка дурно одѣтаго—съ разодранными „невыразимыми“ — а передъ калиткой Пегасъ въ позѣ побѣдителя. Человѣкъ горько жаловался на Пегаса и кричалъ... но каменщики, работавшіе на противоположной сторонѣ улицы, съ громкимъ смѣхомъ сообщили мнѣ, что этотъ самый человѣкъ сорвалъ въ палисадникѣ яблоко съ дерева — и только тогда подвергся нападенію Пегаса.

Нрава онъ былъ—нечего грѣха таить—суроваго и крутого; но ко мнѣ привязался чрезвычайно, до нѣжности.

Мать Пегаса была въ свое время знаменитость—и тоже пресуровая нравомъ; даже къ хозяину она не ласкалась.— Братья и сестры его также отличались своими талантами; но изъ многочисленнаго его потомства ни одинъ даже отдаленно не могъ сравниться съ нимъ.

Въ прошломъ (1870) году онъ былъ еще превосходенъ—хотя начиналъ скоро уставать; но въ нынѣшнемъ ему вдругъ все измѣнило. — Я подозрѣваю, что съ нимъ сдѣлалось нѣчто въ родѣ размягченія мозга. Даже умъ покинулъ его—а нельзя сказать, чтобъ онъ слишкомъ былъ старъ.—Ему всего девять лѣтъ.—Жалко было видѣть эту поистинѣ великую собаку, превратившуюся въ идіота; на охотѣ онъ то принимался безсмысленно искать— т.-е. бѣжалъ впередъ по прямой линіи, повѣсивъ хвостъ и понуривъ голову—то вдругъ останавливался и глядѣлъ на меня напряженно и тупо—какъ бы спрашивая меня, что же надо дѣлать—и что съ нимъ такое приключилось! — Sic transit gloria mundi! Онъ еще живетъ у меня на пенсіонѣ—но ужъ это не прежній Пегасъ— это жалкая развалина! — Я простился съ нимъ не безъ грусти. — „Прощай! — думалось мнѣ:—мой несравненный песъ! Не забуду я тебя ввѣкъ, и уже не нажить мнѣ такого друга!“

Да едва ли я теперь буду охотиться больше.

Парижъ.
Декабрь, 1871.

XI.—Пергамскія раскопки.

Письмо въ редакцію „Вѣстника Европы".

...Отведите мнѣ двѣ-три странички вашего жу
для того, чтобъ я могъ подѣлиться съ его чита
тѣмъ глубокимъ впечатлѣніемъ, которое произве
меня, во время моего недавняго проѣзда черезъ Бе
пріобрѣтенные прусскимъ правительствомъ мра
горельефы лучшей эпохи аттическаго ваянія (III-
лѣтія до Р. Х.)—открытые въ Пергамѣ (не въ д
Троѣ) — въ столицѣ небольшого мало-азійскаго ц
сперва покореннаго, какъ и весь греческій міръ, Ри
а потомъ разореннаго наплывомъ варваровъ. Суще
ніе этихъ горельефовъ, воздвигнутыхъ кѣмъ-то из
ствовавшей династіи Атталовъ и считавшихся у дре
однимъ изъ чудесъ вселенной, было, конечно, не
извѣстно ученымъ—германскимъ ученымъ въ особен
о нихъ говорится въ сохранившемся сочиненіи
довольно, впрочемъ, темнаго, писателя II-го столѣ
но честь открытія этихъ великолѣпныхъ останковъ
надлежитъ германскому консулу въ Смирнѣ, Гума
а заслуга, скорѣе—счастіе пріобрѣтенія ихъ, выпа
долю прусскаго правительства, при энергическомъ
ствіи кронъ-принца. Все дѣло было ведено очень л
тайно; во-время были высланы инженеры и учены
фессора,—во-время купленъ участокъ земли, близъ
вушки Бергама, подъ которой скрывались всѣ эти
вища; самый фирманъ султана на владѣніе откр
мраморами, а не одними снимками съ нихъ (какъ
лало греческое правительство), былъ очень удачно
во-время полученъ, и въ концѣ-концовъ Пруссія—за
нибудь ничтожнѣйшія 130,000 марокъ—закрѣпила за
такое завоеваніе, которое, конечно, принесетъ ей
славы, чѣмъ завоеваніе Эльзаса и Лотарингіи и, по
окажется прочнѣе.

Эти горельефы составляли собственно фронтон
фризъ громаднаго алтаря, посвященнаго Зевесу и

ѣ (фигуры въ полтора раза превосходятъ человѣчей ростъ),—стоявшаго передъ дворцомъ или храмомъ алла. Они найдены на довольно незначительной глунѣ—и хотя разбиты на части (всѣхъ отдѣльныхъ кусовъ собрано болѣе 9,000 — правда, иные куски аршина олтора въ квадратѣ и болѣе), — но главныя фигуры и даже группы сохранены, и мраморъ не подвергся тѣмъ разрушительнымъ вліяніямъ открытаго воздуха и прочимъ насиліямъ, отъ котораго такъ пострадали останки Парѳенона. Всѣ эти обломки были тщательно перенумерованы, уложены на двухъ корабляхъ — и привезены изъ Малой Азіи въ Тріестъ (два другихъ корабля еще въ дорогѣ съ остатками четырехъ колоссальныхъ статуй и архитектурныхъ частей) — потомъ отправлены по желѣзной дорогѣ въ Берлинъ. Теперь они занимаютъ нѣсколько залъ въ Музеумѣ, на полу которыхъ они разложены—и понемногу складываются въ прежнемъ своемъ порядкѣ, подъ наблюденіемъ комиссіи профессоровъ и съ помощью цѣлой артели искусныхъ итальянскихъ формовщиковъ. Къ частью, главныя группы сравнительно меньше пострадали — и публика, которой позволяется разъ въ недѣлю осматривать ихъ съ высоты небольшихъ подмостковъ, окружающихъ лежащіе мраморы, можетъ уже теперь составить себѣ понятіе о томъ, какое поразительное зрѣлище представятъ эти горельефы, когда сплоченные и воздвигнутые вертикально, въ особенно для нихъ устроенномъ зданіи, они предстанутъ передъ удивленными взорами нынѣшнихъ поколѣній во всей своей двухтысячелѣтней, скажемъ болѣе — въ своей безсмертной красотѣ.

Эти горельефы (многія изъ тѣлъ такъ выпуклы, что совсѣмъ выдѣляются изъ задней стѣны, которая едва съ одной стороны прикасается ихъ членовъ),—эти горельефы изображаютъ битву боговъ съ титанами или гигантами сыновьями Гэи (Земли). Не можемъ здѣсь же, кстати, не замѣтить, что какое счастье для народа обладать такими поэтическими, исполненными глубокаго смысла религіозными легендами, какими обладали греки, эти ари-

стократы человѣческой породы. Побѣда несомнѣнн окончательная — на сторонѣ боговъ, на сторонѣ свѣ красоты и разума; но темныя, дикія земныя силы е сопротивляются — и бой не конченъ. По серединѣ ве фронтона Зевсъ (Юпитеръ) поражаетъ громоноснымъ с жіемъ, въ видѣ опрокинутаго скиптра, гиганта, кото падаетъ стремглавъ, спиною къ зрителю, въ бездну; другой стороны—вздымается еще гигантъ, съ яростью лицѣ—очевидно, главный борецъ,—и, напрягая свои слѣднія силы, являетъ такіе контуры мускуловъ и то отъ которыхъ Микель Анджело пришелъ бы въ восто Надъ Зевсомъ богиня Побѣды паритъ, расширяя с орлиныя крылья, и высоко вздымаетъ пальму тріу богъ солнца, Аполлонъ, въ длинномъ, легкомъ хито сквозь который ясно выступаютъ его божественные, к шескіе члены, мчится на своей колесницѣ, везомый дв конями, такими же безсмертными, какъ онъ самъ; Э (Аврора) предшествуетъ ему, сидя бокомъ на друг конѣ, въ перехваченной на груди струистой одеждѣ, обернувшись къ своему богу, зоветъ его впередъ взмах обнаженной руки; конь подъ ней такъ же—и какъ сознательно—оборачиваетъ назадъ голову; подъ колес Аполлона умираетъ раздавленный гигантъ, — и слов нельзя передать того трогательнаго и умиленнаго вы женія, которымъ набѣгающая смерть просвѣтляетъ тяжелыя черты; уже одна его свѣшенная, ослабѣвш тоже умирающая рука—есть чудо искусства, любова которымъ стоило бы того, чтобы нарочно съѣздить Берлинъ. Далѣе, Паллада (Минерва), одной рукой схват крылатаго гиганта за волосы и волоча его по землѣ, с саетъ длинное копье другою, круто поднятой и закину назадъ рукою, между тѣмъ какъ ея змѣя, змѣя Палла обвившись вокругъ побѣжденнаго гиганта, впивается него зубами. Кстати замѣтить, что почти у всѣхъ гиг товъ ноги заканчиваются змѣиными тѣлами,—не хвоста а тѣлами, головы которыхъ также принимаютъ учас въ битвѣ; Зевсовы орлы ихъ терзаютъ, — уцѣлѣла од змѣиная широкая, раскрытая пасть, захваченная орли

ой. Тамъ, Цибелла (Деметеръ), мать боговъ, мчится
львѣ, передняя часть котораго, къ сожалѣнію, пропала
ого обломковъ мрамора было сожжено варварами на
есть); человѣческая нога судорожно упирается въ брю-
льву—и своей поразительной реальной правдой слу-
ъ противоположностью другой, идеально-прекрасной
ѣ, несомнѣнно принадлежавшей богу, побѣдоносно
гупившему на мертваго гиганта. Вакхъ-Діонизосъ,
на-Артемида, Гефестъ-Вулканъ—также въ числѣ бой-
ъ-побѣдителей; есть другіе еще, пока безыменные
и, нимфы, сатиры, — всѣхъ фигуръ около сорока и
свыше человѣческаго роста! Поразительная фигура
(Земли), матери гигантовъ; вызванная гибелью сво-
сыновъ, она до половины корпуса, до пояса, подни-
тся изъ почвы... Нижняя часть ея лица отбита (головы
еса и Паллады—увы!—также исчезли), но какой вели-
ой и безконечной скорбью вѣетъ отъ ея чела, глазъ,
вей, отъ всей ея колоссальной головы — это надо ви-
ь... на это даже намекнуть нельзя. Всѣ эти—то луче-
ныя, то грозныя, живыя, мертвыя, торжествующія гиб-
ія фигуры, эти извивы чешуйчатыхъ змѣиныхъ ко-
ъ, эти распростертыя крылья, эти орлы, эти кони,
жія, щиты, эти летучія одежды, эти пальмы и эти тѣла,
сивѣйшія человѣческія тѣла во всѣхъ положеніяхъ,
лыхъ до невѣроятности, стройныхъ до музыки, — всѣ
разнообразнѣйшія выраженія лицъ, беззавѣтныя дви-
ія членовъ, это торжество злобы, и отчаяніе, и весе-
ть божественная и божественная жестокость — все это
о и вся эта земля—да это міръ, цѣлый міръ, передъ
ровеніемъ котораго невольный холодъ восторга и
астнаго благоговѣнія пробѣгаетъ по всѣмъ жиламъ. И
ъ еще что: при видѣ всѣхъ этихъ неудержимо сво-
ныхъ чудесъ, куда дѣваются всѣ принятыя нами по-
ія о греческой скульптурѣ, объ ея строгости, невоз-
имости, объ ея сдержанности въ границахъ своего
ціальнаго искусства, словомъ, объ ея классицизмѣ,—
эти понятія, которыя, какъ несомнѣнная истина, были
ередаваемы намъ нашими наставниками, теоретиками,

эстетиками, всей нашей школой и наукой?—Правда, нам по поводу, напримѣръ, Лаокоона, или умирающаго Гладіатора, наконецъ, Фарнезскаго быка, говорили о томъ, что и въ древнемъ искусствѣ проявлялось нѣчто напоминающее то, что гораздо позже называлось романтизмомъ и реализмомъ; упоминали о родосской школѣ ваянія, даже о пергамской школѣ; но тутъ же замѣчали, что всѣ эти произведенія уже носятъ нѣкоторый оттѣнокъ упадка, доходящаго, напримѣръ, въ Фарнезскомъ быкѣ до рококо; толковали о границахъ живописи и ваянія и о нарушеніи этихъ границъ; но какая же можетъ быть рѣчь объ упадкѣ передъ лицомъ этой „Битвы боговъ съ гигантами“, которая и по времени своего происхожденія относится къ лучшей эпохѣ греческой скульптуры — къ первому столѣтію послѣ Фидіаса? Да и какъ подвести эту „Битву“ подъ какую-либо рубрику? Конечно, „реализмъ“,— ужъ если взять это слово—реализмъ нѣкоторыхъ подробностей изумителенъ; тамъ попадаются обуви, складки тканей, переливы кудрей, даже вихры шерсти надъ копытами коней, оттѣнка которыхъ не перещеголяютъ самые новѣйшіе итальянскіе скульпторы, а ужъ на что они теперь въ этихъ дѣлахъ мастера! Конечно, „романтизмъ“, въ смыслѣ свободы—тѣлодвиженія, позъ, самаго сюжета, въ устахъ иного французскаго педанта получилъ бы названіе всклоченнаго — „échevelé“; но всѣ эти реальныя детали до того исчезаютъ въ общемъ цѣлостномъ впечатлѣніи,—вся эта бурная свобода романтизма до того проникнута высшимъ порядкомъ и яснымъ строемъ высокохудожественной, идеальной мысли, что нашему брату-эпигону только остается преклонить голову и учиться,— учиться снова, перестроивъ все, что онъ до сихъ поръ считалъ основной истиной своихъ соображеній и выводовъ. Повторяю, — эта „Битва боговъ“, дѣйствительно, откровеніе, и когда—не раньше, однако, года или двухъ— воздвигнется, наконецъ, передъ нами этотъ „алтарь“, всѣ художники, всѣ истинные любители красоты должны будутъ ходить къ нему на поклоненіе.

Я только вскользь упомянулъ о тѣхъ тысячахъ не-

большихъ обломковъ, которые тутъ же лежали на полу залъ, и которые постепенно поступаютъ, по мѣрѣ возможности, на свои мѣста. Ходя вокругъ нихъ, безпрестанно поражаешься—то какимъ-нибудь прелестнымъ плеромъ, то частью руки или ноги, то клочкомъ волнистой туники, то просто архитектурнымъ украшеніемъ... Между прочимъ, тамъ есть небольшая, вполнѣ сохранившаяся женская голова изъ желтоватаго мрамора, которая и по размѣрамъ не подходитъ ни къ одной богинѣ... Я забылъ сказать, что по бокамъ этого огромнаго алтаря существовали барельефы, меньшей величины и болѣе плоскіе... Эта прелестная голова до того кажется, по выраженію, намъ современною, что, право, невольно думаешь, что она и Гейне читала, и знаетъ Шумана...

Однако, довольно. Позволю себѣ прибавить одно слово: выходя изъ Музеума, я подумалъ: „Какъ я счастливъ, что я не умеръ, не доживъ до послѣднихъ впечатлѣній, что я видѣлъ все это!“ — Смѣю полагать, что и другіе подумаютъ то же самое, проведя часъ-другой въ созерцаніи пергамскихъ мраморовъ „Битва боговъ съ гигантами“.

С.-Петербургъ.—18-го марта 1880 г.

XII.—Пожаръ на морѣ.

Это было въ маѣ 1838 года.

Я находился вмѣстѣ съ множествомъ другихъ пассажировъ на пароходѣ „Николай I“, дѣлавшемъ рейсы между Петербургомъ и Любекомъ. Такъ какъ въ то время желѣзныя дороги еще мало процвѣтали, то всѣ путешественники избирали морской путь. По этой же причинѣ многіе изъ нихъ брали съ собою собственные экипажи, чтобы продолжать свое путешествіе по Германіи, Франціи и т. д.

У насъ на кораблѣ, помнится мнѣ, было двадцать восемь господскихъ экипажей. Насъ, пассажировъ, было около двухсотъ восьмидесяти, считая въ этомъ числѣ человѣкъ двадцать дѣтей.

Я былъ тогда очень молодъ и, не страдая морской болѣзнью, очень былъ занятъ всѣми этими новыми впечатлѣніями. На кораблѣ было нѣсколько дамъ, замѣчательно красивыхъ или хорошенькихъ — большая часть изъ нихъ умерла, увы!

Матушка въ первый разъ отпустила меня ѣхать одного, и я долженъ былъ обѣщать ей вести себя благоразумно, и главное, не дотрогиваться до картъ... И вотъ, именно это-то послѣднее обѣщаніе и было нарушено первымъ.

Въ этотъ самый вечеръ было большое собраніе въ общей каютѣ,—между прочимъ, тутъ находилось нѣсколько игроковъ, хорошо извѣстныхъ въ Петербургѣ. Они каждый вечеръ играли въ банкъ, и золото, которое въ то время можно было видѣть чаще, нежели теперь, оглушительно звенѣло.

Одинъ изъ этихъ господъ, видя, что я держусь въ сторонѣ, и не зная причины этого, неожиданно предложилъ мнѣ принять участіе въ его игрѣ; когда я, съ наивностью своихъ девятнадцати лѣтъ, объяснилъ ему причину своего воздержанія,—онъ расхохотался и, обращаясь къ своимъ товарищамъ, воскликнулъ, что нашелъ сокровище: молодого человѣка, никогда не дотрогивавшагося до картъ и вслѣдствіе этого самаго предназначеннаго имѣть огромное неслыханное счастье, настоящее счастье простаковъ!..

Не знаю, какъ это случилось, но черезъ десять минутъ я уже сидѣлъ за игорнымъ столомъ, съ руками полными картъ, имѣя обезпеченную долю въ игрѣ — и игралъ, игралъ отчаянно.

И нужно сознаться, что старая пословица не соврала. Деньги текли ко мнѣ ручьями; двѣ кучки золота возвышались на столѣ по обѣимъ сторонамъ моихъ дрожащихъ и покрытыхъ каплями пота рукъ. Игрокъ, который завлекъ меня, не переставалъ меня подбивать и поощрять... Сказать по правдѣ, я ужъ думалъ, что сразу разбогатѣю!..

Вдругъ дверь каюты распахивается во всю ширину, въ нее врывается дама внѣ себя, замирающимъ голосомъ восклицаетъ: „пожаръ!“ и падаетъ въ обморокѣ на диванъ. Это произвело сильнѣйшее волненіе; никто не

встался на мѣстѣ; золото, серебро, банковые билеты покатились и разсыпались во всѣ стороны, и мы всѣ бросились вонъ. Какъ мы раньше не замѣтили дыма, который набирался уже и въ каюту? я этого совершенно не понимаю! лѣстница была полна имъ. Темнокрасное зарево, какъ отъ горящаго каменнаго угля, вспыхивало тамъ и сямъ. Во мгновеніе ока всѣ были на палубѣ. Два широкихъ столба дыма пополамъ съ огнемъ поднимались по обѣимъ сторонамъ трубы и вдоль мачтъ; началась ужаснѣйшая суматоха, которая уже и не прекращалась. Безпорядокъ былъ невообразимый: чувствовалось, что отчаянное чувство самохраненія охватило всѣ эти человѣческія существа, и въ томъ числѣ меня перваго. Я помню, что схватилъ за руку матроса и обѣщалъ ему десять тысячъ рублей отъ имени матушки, если ему удастся спасти меня. Матросъ, который, естественно, не могъ принять моихъ словъ за серьезное, высвободился отъ меня; да я и самъ не настаивалъ, понимая, что въ томъ, что я говорю, нѣтъ здраваго смысла. Впрочемъ, въ томъ, что я видѣлъ вокругъ себя, его было не болѣе. Совершенно справедливо, что ничто не равняется трагизму кораблекрушенія или пожара въ морѣ, кромѣ ихъ комизма. Напримѣръ: богатый помѣщикъ, охваченный ужасомъ, ползалъ по полу, неистово кладя земные поклоны; когда же вода, которую изобильно лили въ отверстія угольныхъ трюмовъ, на минуту укротила ярость пламени, онъ всталъ во весь ростъ и закричалъ громовымъ голосомъ: „Маловѣрные! неужели вы думали, что нашъ Богъ, русскій Богъ, насъ покинетъ?“ Но въ ту же минуту пламя метнуло сильнѣе, и многовѣрующій бѣднякъ опять упалъ на четвереньки и снова принялся бить земные поклоны. Какой-то генералъ съ угрюмо-растеряннымъ взоромъ не переставалъ кричать: „Нужно послать курьера къ государю! Къ нему послали курьера, когда былъ бунтъ военныхъ поселеній, гдѣ я былъ, да, лично, и это спасло хоть нѣкоторыхъ изъ насъ!“ Другой баринъ, съ дождевымъ зонтикомъ въ рукахъ, вдругъ съ ожесточеніемъ принялся прокалывать находившійся тутъ же, въ багажѣ,

дрянной портретишко, писанный масляными красками привязанный къ своему мольберту. Концомъ зонтика проткнулъ пять дырокъ: на мѣстѣ глазъ, носа, рта ушей. Разрушеніе это онъ сопровождалъ восклицаніе „Къ чему все это теперь?"—И эта картина ему не п надлежала! Толстый господинъ, весь въ слезахъ, похо на нѣмецкаго пивовара, не переставалъ вопить пла вымъ голосомъ: „Капитанъ! Капитанъ!.." И когда ка танъ, вышедшій изъ терпѣнія, схватилъ его за шивор и крикнулъ ему: „Ну? я капитанъ, что же вамъ нуж толстякъ посмотрѣлъ на него съ убитымъ видомъ и сн принялся стонать: „Капитанъ!"

И однако, этотъ же капитанъ всѣмъ намъ спасъ жи Во-первыхъ, тѣмъ, что въ послѣднюю минуту, когда можно было добраться до машины, измѣнилъ направл нашего судна, которое, идя прямо на Любекъ, вмѣ того, чтобы круто повернуть къ берегу, непремѣнно рѣло бы раньше, чѣмъ вошло въ гавань, и во-вторы тѣмъ еще, что приказалъ матросамъ обнажить корт и безъ сожалѣнія колоть всякаго, кто попробуетъ дот нуться до одной изъ двухъ оставшихся шлюпокъ,— остальныя опрокинулись, благодаря неопытности пас жировъ, хотѣвшихъ спустить ихъ въ море.

Матросы, большею частью датчане, со своими энер ческими и холодными лицами и чуть не кровавымъ блескомъ пламени на лезвеяхъ ножей, внушали неволь страхъ. Былъ довольно сильный шквалъ; онъ еще у лился отъ пожара, который ревѣлъ въ доброй трети суд Я долженъ сознаться, что бы тамъ ни подумала объ эт мужская половина рода человѣческаго, что женщины этомъ случаѣ показали больше мужества, нежели м чины. Блѣдныхъ какъ смерть ночь застала ихъ въ пос ляхъ (вмѣсто всякой одежды на нихъ были накин только одѣяла), и какъ ни былъ я невѣрующъ уже тог но онѣ показались мнѣ ангелами, сошедшими съ не чтобы пристыдить насъ и придать намъ храбрости. были, однако, и мужчины, которые выказали безстра Я особенно помню одного, г. Д—ва, нашего бывш

русскаго посланника въ Копенгагенѣ: онъ скинулъ сапоги, галстукъ и сюртукъ, который завязалъ рукавами на груди, и, сидя на толстомъ натянутомъ канатѣ, болталъ ногами, спокойно куря свою сигару и оглядывая каждаго изъ насъ по очереди съ видомъ насмѣшливаго сожалѣнія. Что касается меня, то я нашелъ убѣжище на наружной лѣстницѣ, гдѣ и усѣлся на одной изъ послѣднихъ ступенекъ. Я съ оцѣпенѣніемъ смотрѣлъ на красную пѣну, которая клокотала подо мною и брызги которой долетали мнѣ въ лицо, и говорилъ себѣ: „Такъ вотъ гдѣ придется погибнуть въ девятнадцать лѣтъ!“—потому что я твердо рѣшился лучше утонуть, чѣмъ испечься. Пламя сводомъ выгибалось надо мною, и я очень хорошо отличалъ его вой отъ рева волнъ.

Недалеко отъ меня, на той же лѣстницѣ, сидѣла маленькая старушка, должно-быть, кухарка котораго-нибудь изъ семействъ, ѣхавшихъ въ Европу. Спрятавъ голову въ руки, она, казалось, шептала молитвы, — вдругъ она быстро взглянула на меня и, потому ли, что ей показалось, будто она прочла на моемъ лицѣ пагубную рѣшимость, или по какой другой причинѣ, но она схватила меня за руку и почти умоляющимъ голосомъ настоятельно сказала: „Нѣтъ, баринъ, никто въ своей жизни не воленъ,—и вы не вольны, какъ никто не воленъ. Что Богъ велитъ, то пусть и сбудется,—вѣдь это значило бы на себя руки наложить, а за это бы васъ на томъ свѣтѣ покарали“.

У меня не было до той минуты никакой охоты къ самоубійству, но тутъ, изъ-за чего-то въ родѣ хвастовства, совершенно необъяснимаго въ моемъ положеніи, я два или три раза притворился, будто хочу исполнить намѣреніе, которое она предполагаетъ во мнѣ, — и каждый разъ бѣдная старуха бросалась ко мнѣ, чтобы помѣшать тому, что въ глазахъ ея было преступленіемъ. Наконецъ, мнѣ сдѣлалось стыдно, и я пересталъ. Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ играть комедію въ присутствіи смерти, которую въ эту минуту я серьезно считалъ угрожающей и неизбѣжной? Впрочемъ, мнѣ не хватило времени ни отдать

себѣ отчета въ этой странности чувствъ, ни восхити
отсутствіемъ эгоизма (что теперь назвали бы альтруизмо
бѣдной женщины, потому что въ эту минуту ревъ п
мени надъ нашими головами удвоилъ свою ярость;
какъ разъ въ ту же минуту голосъ, звенѣвшій точно м
(это былъ голосъ нашего спасителя), раздался надъ на
„Что вы тамъ дѣлаете, несчастные? Вы погибнете, ид
за мною!“ И тотчасъ, не зная, ни кто насъ зоветъ,
куда нужно идти, и старуха, и я вскочили, будто п
толкнутые пружиной, и бросились сквозь дымъ всл
за матросомъ въ синей курткѣ, который, впереди на
лѣзъ вверхъ по веревочной лѣстницѣ. Не зная зачѣмъ
я полѣзъ за нимъ по этой лѣстницѣ; я думаю, что если
онъ въ эту минуту бросился въ воду или сдѣлалъ
вообще что бы то ни было совсѣмъ необыкновенное,
слѣпо послѣдовалъ бы за нимъ. Взобравшись на двѣ и
три ступеньки, матросъ тяжело спрыгнулъ на верхъ одн
изъ экипажей, низъ котораго уже загорался. Я прыгну
за нимъ и слышалъ, какъ старуха прыгнула за мн
потомъ съ этого перваго экипажа матросъ прыгнулъ
второй, потомъ на третій, я все время позади него —
мы такимъ образомъ очутились на носу парохода.

Почти всѣ пассажиры собрались здѣсь. Матросы, по
наблюденіемъ капитана, спускали въ море одну изъ
шихъ двухъ шлюпокъ—къ счастью, самую большую.
резъ другой бортъ корабля я увидѣлъ ярко освѣщенн
пожаромъ крутые береговые утесы, которые спускаю
къ Любеку. Было добрыхъ двѣ версты до этихъ утесо
Я не умѣлъ плавать — мѣсто, на которомъ мы стали
мель (мы и не замѣтили, какъ это случилось), было
всей вѣроятности не глубоко, но волны были очень
лики. И все-таки, какъ только я увидѣлъ скалы, увѣре
ность, что я спасенъ, овладѣла мною — и къ изумлен
окружающихъ меня лицъ, я нѣсколько разъ подпрыгну
и крикнулъ: „ура!“ Я не захотѣлъ подойти ближе
тому мѣсту, гдѣ толпа тѣснилась, чтобы добраться
лѣстницы, которая вела къ большой шлюпкѣ,—тамъ бы
слишкомъ много женщинъ, стариковъ и дѣтей; да я

ѣхъ поръ, какъ увидѣлъ скалы, уже и не торопился больше: я былъ увѣренъ, что спасенъ. Я съ удивленіемъ замѣтилъ, что почти никто изъ дѣтей не выказывалъ страха, что нѣкоторые изъ нихъ даже засыпали на рукахъ у матерей. Ни одинъ ребенокъ не погибъ.

Я увидѣлъ среди группы пассажировъ высокаго генерала; съ платья его текла вода; онъ стоялъ неподвижно, опираясь на поставленную стоймя лавку, которую онъ только-что оторвалъ. Мнѣ сказали, что въ первую минуту перепуга онъ грубо оттолкнулъ женщину, которая хотѣла опередить его и раньше него спрыгнуть въ одну изъ первыхъ лодокъ, опрокинувшихся потомъ по винѣ пассажировъ. Одинъ изъ служащихъ на пароходѣ схватилъ его въ охапку и съ силой отбросилъ назадъ, на судно, и старый солдатъ, устыдившись своей минутной грусости, поклялся сойти съ корабля только послѣднимъ, послѣ капитана. Онъ былъ высокаго роста, блѣденъ, съ кровавой ссадиной на лбу, и глядѣлъ вокругъ взглядомъ сокрушеннымъ и покорнымъ, точно бы просилъ прощенья.

Въ это время я приблизился къ лѣвому борту корабля и увидѣлъ нашу меньшую шлюпку, пляшущую на волнахъ, какъ игрушку; два находившіеся въ ней матроса знаками приглашали пассажировъ сдѣлать рискованный прыжокъ въ нее — но это было не легко: „Николай I“ былъ линейный корабль, и нужно было упасть очень ловко, чтобы не опрокинуть шлюпку. Наконецъ, я рѣшился: я началъ съ того, что сталъ на якорную цѣпь, которая была протянута снаружи вдоль корабля, и собирался уже сдѣлать скачокъ, когда толстая, тяжелая и мягкая масса обрушилась на меня. Женщина уцѣпилась мнѣ за шею и недвижно повисла на мнѣ. Признаюсь, первымъ моимъ побужденіемъ было насильно перебросить ея руки черезъ мою голову и такимъ образомъ отдѣлаться отъ этой массы; къ счастью, я не послѣдовалъ этому побужденію. Толчокъ чуть не сбросилъ насъ обоихъ въ море, но, къ счастью, тутъ же, передъ моимъ носомъ, болтался, вися неизвѣстно откуда, конецъ веревки, за который я уцѣпился одною рукою, съ озлобленіемъ, сса-

живая себѣ кожу до крови... потомъ, взглянувъ внизъ, я
увидѣлъ, что я и моя ноша находимся какъ разъ на
шлюпкою и... тогда съ Богомъ! Я скользнулъ внизъ...
лодка затрещала во всѣхъ швахъ... Ура! крикнули м
тросы. Я уложилъ свою ношу, находившуюся въ обморок
на дно лодки и тотчасъ обернулся лицомъ къ кораблю
гдѣ увидѣлъ множество головъ, особенно женскихъ, ли
хорадочно тѣснившихся вдоль борта.

„Прыгайте!“ крикнулъ я, протягивая руки. Въ эту м
нуту успѣхъ моей смѣлой попытки, увѣренность, что
въ безопасности отъ огня, придавали мнѣ несказанну
силу и отвагу, и я поймалъ единственныхъ трехъ же
щинъ, рѣшившихся прыгнуть въ мою шлюпку, такъ
легко, какъ ловятъ яблоки во время сбора. Нужно зам
тить, что каждая изъ этихъ дамъ непремѣнно рѣ
искрикивала въ ту минуту, когда бросалась съ кора
и, очутившись внизу, падала въ обморокъ. Одинъ гос
динъ, вѣроятно, одурѣвшій съ перепугу, едва не уби
одну изъ этихъ несчастныхъ, бросивъ тяжелую шкатул
которая разбилась, падая въ нашу лодку, и оказалась
вольно дорогимъ несессеромъ. Не спрашивая себя, им
ли я право распоряжаться ею, я тотчасъ подарилъ
двумъ матросамъ, которые точно такъ же безъ всяк
стѣсненія приняли подарокъ. Мы тотчасъ стали гре
изо всѣхъ силъ къ берегу, сопровождаемые крика
„Возвращайтесь скорѣе! пришлите намъ назадъ шлюпк
Поэтому, когда оказалось не болѣе аршина глубины, я
лось вылѣзать. Мелкій, холодный дождикъ уже съ ч
какъ моросилъ, не оказывая никакого вліянія на пожа
по насъ онъ промочилъ окончательно, до костей.

Наконецъ, мы добрались до этого желаннаго бер
который оказался не чѣмъ инымъ, какъ обширной лу
жидкой и липкой грязи, гдѣ ноги вязли по колѣно.

Наша лодка быстро удалилась и, такъ же, какъ
большая шлюпка, принялась сновать между кораблем
берегомъ. Пассажировъ погибло мало, всего восемь: одн
упалъ въ угольный трюмъ; другой утонулъ, потому
захватилъ съ собою всѣ свои деньги. Этотъ послѣдн

я котораго я едва зналъ, игралъ со мною въ шахматы продолженіе большой части дня и дѣлалъ это съ тамъ ожесточеніемъ, что князь W..., слѣдившій за нашею ртіей, кончилъ тѣмъ, что воскликнулъ: „Можно подуть, что вы играете, будто у васъ дѣло идетъ о жизни смерти!“

Что касается до багажа, то онъ почти весь погибъ, къ же какъ и экипажи.

Въ числѣ дамъ, спасшихся отъ крушенія, была одна жа I..., очень хорошенькая и милая, но связанная свои четырьмя дочками и ихъ нянюшками; поэтому она оставалась покинутой на берегу, босая, съ едва прикрытыми плечами. Я почелъ нужнымъ разыграть любезнаго кавалера, что стоило мнѣ моего сюртука, который до тѣхъ поръ сохранилъ, галстука и даже сапогъ; кромѣ того, крестьянинъ съ телѣжкой, запряженной парой лошадей, за которымъ я сбѣгалъ на верхъ утесовъ и котораго послалъ впередъ, не нашелъ нужнымъ дождаться меня и уѣхалъ въ Любекъ со всѣми моими спутницами, такъ что я остался одинъ, полураздѣтый, промокшій до костей, въ виду моря, гдѣ нашъ пароходъ медленно догоралъ. Я именно говорю „догоралъ“, потому что я никогда бы не повѣрилъ, что такая „махинища“ можетъ быть такъ скоро уничтожена. Это было теперь не болѣе, какъ широкое пылающее пятно, недвижимое на морѣ, изборожденное черными контурами трубъ и мачтъ и вокругъ котораго тяжелымъ и равнодушнымъ полетомъ сновали чайки — потомъ большой снопъ золы, испещренный мелкими искрами и разсыпавшійся широкими кривыми линіями уже по менѣе безпокойнымъ волнамъ. И только? подумалъ я: и вся наша жизнь развѣ только щепотка золы, которая разносится по вѣтру?

Къ счастью для философа, у котораго начиналъ уже зубъ на зубъ не попадать, другой фурщикъ забралъ меня. Онъ взялъ за это два дуката, но за то укуталъ меня въ свой толстый плащъ и спѣлъ мнѣ двѣ или три мекленбургскія пѣсни, которыя мнѣ довольно понравились. Такимъ образомъ я добрался до Любека на зарѣ; тутъ я

встрѣтилъ своихъ товарищей по крушенію, и мы отп
вились въ Гамбургъ. Тамъ мы нашли двадцать тыс
рублей серебромъ, которые императоръ Николай, к
разъ находившійся тогда проѣздомъ въ Берлинѣ, п
слалъ намъ со своимъ адъютантомъ. Всѣ мужчины со
лись и общимъ голосомъ рѣшили предложить эти де
дамамъ. Намъ было тѣмъ легче сдѣлать это, что в
времена всякій русскій, пріѣзжавшій въ Германію, п
зовался неограниченнымъ кредитомъ. Теперь уже не

Матросъ, которому я за свое спасеніе наобѣщалъ
помѣрную сумму отъ имени матушки, явился требо
отъ меня исполненія моего обѣщанія. Но такъ какъ
былъ вполнѣ увѣренъ, онъ ли это дѣйствительно, и
сверхъ того, такъ какъ онъ ровно ничего не сдѣл
чтобы меня спасти, то я предложилъ ему талеръ, к
рый онъ и принялъ съ благодарностью.

Что касается до бѣдной старушки-кухарки, кото
такъ заботилась о спасеніи моей души, то я ея ник
больше не видалъ — но ужъ про нее-то навѣрно мо
сказать, что сгорѣла ли она, или утонула, а мѣсто
уже было уготовано въ раю.

Буживаль.—17 іюня 1883 г.

XIII.—Перепелка.

Мнѣ было лѣтъ десять, когда со мной случилось
что я вамъ сейчасъ разскажу.

Дѣло было лѣтомъ. — Я жилъ тогда съ отцомъ на
торѣ, въ южной Россіи. Кругомъ хутора на нѣскол
верстъ тянулись степныя мѣста. Ни лѣсу, ни рѣки бл
не было; неглубокіе овраги, заросшіе кустарникомъ, то
длинныя, зеленыя змѣи, прорѣзали тамъ и сямъ ров
степь. Ручейки сочились по дну этихъ овраговъ; кой-г
подъ самой кручью, виднѣлись роднички, съ чистой, к
слеза, водою; къ нимъ вели протоптанныя тропинки-
возлѣ воды, на сырой грязцѣ, перекрещивались сл
птицъ и мелкихъ звѣрковъ. Имъ хорошая вода такъ
нужна, какъ и людямъ.

Отецъ мой былъ страстнымъ охотникомъ; и какъ только не былъ занятъ по хозяйству—и погода стояла хорошая—онъ бралъ ружье, надѣвалъ ягдташъ, звалъ своего стараго Трезора и отправлялся стрѣлять куропатокъ и перепеловъ. Зайцами онъ пренебрегалъ, предоставляя ихъ псовымъ охотникамъ, которыхъ величалъ борзятниками. Другой дичи у насъ не водилось, развѣ вотъ осенью налетали вальдшнепы. Но перепеловъ и куропатокъ было много, особенно куропатокъ. По опушкамъ враговъ то и дѣло попадались разрытые кружки сухой пыли, мѣстечки гдѣ онѣ копались. Старый Трезоръ тотчасъ дѣлалъ стойку, при чемъ его хвостъ дрожалъ и кожа на лбу сдвигалась складками; а у отца лицо блѣднѣло—и онъ осторожно взводилъ курки. Онъ часто бралъ меня съ собою... большое это было для меня удовольствіе! Я засовывалъ штаны въ голенища, надѣвалъ черезъ плечо фляжку—и самъ воображалъ себя охотникомъ! Потъ лилъ съ меня градомъ, мелкіе камешки забивались мнѣ въ сапоги; но я не чувствовалъ усталости и не отставалъ отъ отца. Когда же раздавался выстрѣлъ и птица падала, я всякій разъ подпрыгивалъ на мѣстѣ и даже кричалъ—такъ мнѣ было весело! Раненая птица билась и хлопала крыльями то на травѣ, то въ зубахъ Трезора—съ нея текла кровь, а мнѣ все-таки было весело, и никакой жалости я не ощущалъ. Чего бы я не далъ, чтобы самому стрѣлять изъ ружья и убивать куропатокъ и перепеловъ. Но отецъ объявилъ мнѣ, что раньше двадцати лѣтъ у меня ружья не будетъ; и ружье онъ мнѣ дастъ одноствольное и стрѣлять позволитъ только жаворонковъ. Этихъ жаворонковъ въ нашихъ мѣстахъ водилось множество; бывало въ хорошій солнечный день, цѣлые десятки ихъ вились на ясномъ небѣ, поднимаясь все выше и выше и звеня какъ колокольчики. Я глядѣлъ на нихъ какъ на свою будущую добычу и прицѣливался въ нихъ палочкой, которую носилъ на плечѣ замѣсто ружья. Попасть въ нихъ очень легко, когда они въ двухъ, трехъ аршинахъ отъ земли останавливаются въ воздухѣ и трепещутся, прежде чѣмъ вдругъ плюхнуть въ траву.—Иногда далеко въ полѣ, на

жнивьѣ или на зеленяхъ торчали дрохвы; вотъ, думалось мнѣ, такую большую штуку убить—да послѣ этого и жить не надо! Я указывалъ на нихъ отцу; но онъ всякій разъ говорилъ мнѣ, что дрохва—птица осторожная и человѣка близко не подпускаетъ. Однако, разъ онъ попытался подкрасться къ одинокой дрохвѣ, полагая, что она подстрѣленная и отстала отъ своего стада. Велѣлъ Трезору идти за нимъ слѣдомъ — а мнѣ такъ и вовсе остаться на мѣстѣ; зарядилъ ружье картечью, еще разъ обернулся къ Трезору, даже пригрозился ему, шопотомъ скомандовалъ: „арръеръ! арръеръ!“ скорчился въ три погибели и пошелъ—не прямо къ дрохвѣ, а стороною. Трезоръ хоть и не скорчился, но выступалъ тоже очень удивительно: раскарякой—и хвостъ поджалъ и одну губу закусилъ.—Я не вытерпѣлъ и чуть не ползкомъ отправился за отцомъ и за Трезоромъ. Однако, дрохва и на триста шаговъ насъ не подпустила; сперва побѣжала, потомъ замахала крыльями и полетѣла. Отецъ выстрѣлилъ и только вслѣдъ ей посмотрѣлъ... Трезоръ выскочилъ впередъ и тоже посмотрѣлъ. Посмотрѣлъ и я... и такъ мнѣ обидно стало! Что бы, кажется, ей еще немного подождать! Картечь непремѣнно бы ее достала!

Вотъ однажды мы съ отцомъ отправились на охоту—подъ самый Петровъ день. Въ то время молодыя куропатки еще малы бываютъ, отецъ не хотѣлъ ихъ стрѣлять и пошелъ въ мелкіе дубовые кустики, возлѣ ржаного поля, гдѣ всегда попадались перепела. Косить тамъ было неудобно — и трава долго стояла нетронутой. Цвѣтовъ росло тамъ много: журавлинаго горошку, кашки, колокольчиковъ, незабудокъ, полевыхъ гвоздикъ. —Когда я ходилъ туда съ сестрой или съ горничной, то всегда набиралъ ихъ цѣлую охапку; но когда я ходилъ съ отцомъ, то цвѣтовъ не рвалъ: я находилъ это занятіе недостойнымъ охотника.

Вдругъ Трезоръ сдѣлалъ стойку; отецъ мой закричалъ: „пиль!“ и изъ-подъ самаго носа Трезора вскочила перепелка—и полетѣла. Только полетѣла она очень странно: кувыркалась, вертѣлась, падала на землю—точно она была

аненая или крыло у ней надломилось. Трезоръ со всѣхъ
огъ бросился за нею... онъ этого не дѣлалъ, когда птица
етѣла, какъ слѣдуетъ. Отецъ даже выстрѣлить не могъ,
нъ боялся, что зацѣпитъ дробью собаку. — И вдругъ
отрю: Трезоръ наддалъ—и цапъ! Схватилъ перепелку,
ринесъ и подалъ ее отцу. Отецъ взялъ ее и положилъ
ебѣ на ладонь, брюшкомъ кверху.—Я подскочилъ.—Что
то, говорю: она раненая была? — Нѣтъ, отвѣтилъ мнѣ
тецъ; она не была раненая; а у ней, должно-быть, здѣсь
лизко гнѣздо съ маленькими, и она нарочно притвори-
лась раненой, чтобы собака могла подумать, что ее легко
ймать.— Для чего же она это дѣлаетъ? спросилъ я. —
А для того, чтобы отвести собаку отъ своихъ малень-
ихъ.—Потомъ бы она хорошо полетѣла. Только на этотъ
азъ она не разочла; ужъ слишкомъ притворилась — и
резоръ ее поймалъ.—Такъ она не раненая? спросилъ я
нять.—Нѣтъ... но живой ей не быть... Трезоръ ее, долж-
о-быть, давнулъ зубомъ.—Я пододвинулся ближе къ пе-
епелкѣ. Она неподвижно лежала на ладони отца, свѣ-
ивъ головку—и глядѣла на меня сбоку своимъ каримъ
лазкомъ. — И мнѣ вдругъ такъ жаль ее стало! Мнѣ по-
казалось, она глядитъ на меня и думаетъ: за что я уми-
рать должна?—За что? Вѣдь я свой долгъ исполняла; ма-
енькихъ своихъ старалась спасти, отвести собаку по-
альше—и вотъ попалась! Бѣдняжка я! бѣдняжка!— Не-
справедливо это! Несправедливо!

— Папаша! сказалъ я, да, можетъ-быть, она не умретъ...
я хотѣлъ погладить перепелочку по головкѣ. Но отецъ
казалъ мнѣ: Нѣтъ! — Вотъ посмотри: у ней сейчасъ
апки вытянутся, она вся затрепещется, и закроются ея
лаза.—Такъ оно точно и случилось. Какъ только у ней
акрылись глаза—я заплакалъ.—Чему ты? спросилъ отецъ
и засмѣялся. — Жаль мнѣ ее, — сказалъ я. — Она долгъ
вой исполняла, а ее убили! Это несправедливо! — Она
хитрить хотѣла, отвѣтилъ мнѣ отецъ. — Только Тре-
оръ ее перехитрилъ.— Злой Трезоръ! — подумалъ я... да
и самъ отецъ показался мнѣ на этотъ разъ не добрымъ.
Какая же тутъ хитрость? Тутъ любовь къ дѣтенышамъ—

а не хитрость! Если ей приказано притворяться, что
дѣтей своихъ спасать — такъ не слѣдовало Трезору
поймать! Отецъ хотѣлъ-было сунуть перепелку въ ягдта
но я ее у него выпросилъ, положилъ ее бережно въ
ладони, подышалъ на нее... не очнется ли она?—Одна
она не шевелилась.—Напрасно, братъ,—сказалъ отецъ
ее не воскресишь. Вишь, головка у ней болтается.—Я
тихонько приподнялъ ее за носикъ; но только я отнял
руку — головка опять упала.—Тебѣ все ее жаль?—спро
силъ меня отецъ. — А кто же маленькихъ кормить б
детъ?— спросилъ я въ свою очередь. — Отецъ приста
посмотрѣлъ на меня.—Не безпокойся,—говоритъ:—самец
перепелъ, отецъ ихъ, выкормитъ. Да вотъ постой,—пр
бавилъ онъ: — никакъ Трезоръ опять стойку дѣлает
ужъ это не гнѣздо ли? Гнѣздо и есть.

И точно... въ травѣ, въ двухъ шагахъ отъ Трезоров
морды, тѣсно, рядышкомъ лежали четыре птенчика; п
жались другъ къ дружкѣ, вытянули шейки — и всѣ та
скоро, въ одинъ разъ дышатъ... точно дрожатъ! А у
оперились; пуху на нихъ нѣтъ — только хвостики е
очень короткіе.—Папа! папа!—закричалъ я благимъ
томъ...—отзови Трезора! а то онъ ихъ тоже убьетъ!

Отецъ крикнулъ на Трезора, и отойдя немного въ с
рону, присѣлъ подъ кустикъ, чтобы позавтракать. А
остался возлѣ гнѣзда, не захотѣлъ завтракать. Выну
чистый платокъ, положилъ на него перепелку... „Сі
трите-молъ, сиротки, вотъ ваша мать! Она собой для в
пожертвовала!“ Птенчики попрежнему дышали ско
всѣмъ тѣломъ. Потомъ я подошелъ къ отцу. — Може
ты мнѣ подаритъ эту перепелочку? — спросилъ я его.
Изволь. Но что ты хочешь съ ней дѣлать? — Я хочу
похоронить! — Похоронить?! — Да; возлѣ ея гнѣздыш
Дай мнѣ твой ножъ; я ей могилочку вырою.—Отецъ у
вился. — Чтобъ дѣтки къ ней на могилу ходили? —спр
силъ онъ.—Нѣтъ,—отвѣчалъ я:—а такъ... мнѣ хочется.
Ей будетъ тутъ хорошо лежать, возлѣ своего гнѣзда!
Отецъ ни слова не промолвилъ; досталъ и подалъ м
ножъ. Я тотчасъ же вырылъ ямочку; поцѣловалъ пере

ку въ грудку, положилъ ее въ ямочку — и засыпалъ
лею. Потомъ я тѣмъ же ножомъ срѣзалъ двѣ вѣтки,
стилъ ихъ отъ коры, сложилъ ихъ крестомъ, перевя-
ъ былинкой и воткнулъ въ могилку. — Скоро мы съ
омъ пошли дальше; но я все оглядывался... Крестъ
ъ бѣленькій—и далеко виднѣлся.

А ночью мнѣ приснился сонъ: будто я на небѣ; и что
? На небольшомъ облачкѣ сидитъ моя перепелочка,
ько тоже вся бѣленькая, какъ тотъ крестикъ! И на
овѣ у ней маленькій золотой вѣнчикъ; и будто это ей
награду за то, что она за своихъ дѣтей пострадала!

Дней черезъ пять мы съ отцомъ пришли опять на то
мѣсто.—Я и могилку нашелъ по кресту, который хоть
пожелтѣлъ, но не свалился. — Однако гнѣздышко было
сто, птенчиковъ ни слѣда. Мой отецъ меня увѣрилъ,
старикъ ихъ увелъ, ихъ отецъ; — и когда, въ нѣ-
олькихъ шагахъ оттуда, вылетѣлъ изъ-подъ куста ста-
й перепелъ, онъ его стрѣлять не сталъ... И я поду-
ъ: „Нѣтъ! Папа добрый!“

Но вотъ что удивительно: съ того дня пропала моя
асть къ охотѣ, и я уже не думалъ о томъ времени,
гда отецъ подаритъ мнѣ ружье! Однако, когда я вы-
съ, я тоже началъ стрѣлять; но настоящимъ охотни-
мъ никогда не сдѣлался. Вотъ еще, что меня отучило.
Разъ, мы вдвоемъ съ товарищемъ охотились на тете-
вовъ. Нашли выводокъ. Матка вскочила, мы выстрѣ-
ли и попали въ нее; но она не упала, а полетѣла
льше, вмѣстѣ съ молодыми тетеревятами. Я было хо-
лъ пойти за ними, но товарищъ сказалъ мнѣ: „Лучше
ѣсь присѣсть и подманить ихъ... всѣ сейчасъ здѣсь бу-
ъ“. Товарищъ отлично умѣлъ свистать, какъ свищутъ
терева. Мы присѣли; онъ сталъ свистать. — И точно:
ерва одинъ молодой откликнулся, потомъ другой, и вотъ
ышимъ мы: сама матка квохчетъ да нѣжно такъ и
изко. Я приподнялъ голову и вижу: сквозь спутанныя
вяныя былинки идетъ она къ намъ, спѣшитъ, спѣ-
ъ, а у самой вся грудь въ крови! Знать, не вытер-
ло материнское сердце! И тутъ я самому себѣ пока-

зался такимъ злодѣемъ!.. Всталъ и захлопалъ въ ладоши Тетерка тотчасъ же улетѣла—и молодые затихли. Тов рищъ разсердился; онъ за сумасшедшаго меня счелъ „Ты, молъ, испортилъ всю охоту!“

Но мнѣ съ того дня все тяжелѣй и тяжелѣй стало уб вать и проливать кровь.

XIV.—Собственная господская контора.

(Отрывокъ изъ неизданнаго романа).

— —

... Комната, въ которую вошла Глафира Ивановна въ которой она ежедневно проводила часа два и бол называлась „Собственной Господской Конторой“—въ от чіе отъ „Главной Вотчинной Конторы“, помѣщавше въ отдѣльномъ флигелѣ, подлѣ коннаго двора.—Въ „С ственной Господской Конторѣ“ постоянно засѣдалъ сек тарь барыни, Левонъ Ивановъ, или, какъ его назыв Глафира Ивановна, Leon; (его въ молодости выуч французскому языку, и онъ довольно свободно на н пзъяснялся); однако Глафира Ивановна въ конторѣ нимъ никогда иначе не говорила, какъ по-русски. Кр Левона, каждое утро являлись въ „Собственную К тору“ — главный приказчикъ и бурмистръ съ доклада часто призывался туда дворецкій — изрѣдка самъ уп вляющій Василій Васильевичъ—и только. — Всѣ же д по имѣнью, всѣ платежи, продажи и покупки — проис дились въ Вотчинной Конторѣ, которая оттого все была набита народомъ; — съ утра до вечера толклись ней, стояли и сидѣли разные писцы, земскіе, приходя и отходящіе мужики, свои и сосѣдніе, старосты, десят и т. п. — Вотчинная Контора не могла похвастаться чистотою, ни благовоніемъ.—Случалось иногда, что св въ ней горѣли голубымъ огнемъ, какъ бы въ погр или банѣ. — Собственная Контора, напротивъ, отличал опрятностью: это была большая свѣтлая комната, съ тре окнами; у одного изъ нихъ помѣщался секретарскій сто покрытый зеленымъ сукномъ.

Вдоль стѣнъ тянулись шкапы изъ яспеваго дерева; по самой серединѣ, на особо устроенномъ возвышеніи стояло орѣховое бюро; за этимъ бюро, на широкомъ и мягкомъ креслѣ, садилась сама барыня; другое кресло, тоже довольно покойное, стояло нѣсколько поодаль и пониже — для Василія Васильевича. Прямо противъ господскаго бюро висѣлъ на стѣнѣ портретъ напудреннаго старика въ лиловомъ французскомъ кафтанѣ съ стразовыми пуговицами, извѣстнаго въ свое время хозяина, дяди Глафиры Ивановны, отъ котораго она получила свое имѣніе — и котораго она поставила себѣ въ образецъ.

Въ Собственной Конторѣ, къ приходу барыни, собралось три человѣка. — Одинъ изъ нихъ, секретарь Левонъ или Leon; молодой, бѣлокурый человѣкъ, съ томными глазами и чахоточнымъ цвѣтомъ лица, стоялъ передъ своимъ столомъ и перелистывалъ тетрадь; другой, главный приказчикъ, Кинтиліанъ, человѣкъ лѣтъ 50 слишкомъ — съ сѣдыми волосами и черными навислыми бровями, съ лицомъ угрюмымъ и хитрымъ—неподвижно глядѣлъ на полъ, скрестивъ руки на груди. — Третій наконецъ, бурмистръ Павелъ, красивый мужчина, съ черной, какъ смоль, бородой, свѣжими щеками, большимъ бѣлымъ лбомъ и веселыми блестящими глазами, развязно прислонился къ двери. Хотя одежда на немъ была не то крестьянская, не то купеческая — хотя онъ носилъ бороду—онъ мужикомъ не былъ. — Глафира Ивановна произвела его въ бурмистры изъ дворовыхъ; подъ его управленіемъ состояло—пока—одно село Введенское — то самое село, въ которомъ жила барыня, — но вліяніе его росло не по днямъ, а по часамъ; милости сыпались на него непрестанно; — онъ быстро шелъ въ гору,—къ великой досадѣ Кинтиліана, который самъ, не болѣе двухъ лѣтъ тому назадъ, разными происками низвергнулъ своего предшественника, Никифора—и сталъ на его мѣсто.

Три эти человѣка—до самаго появленія Глафиры Ивановны—не разговаривали другъ съ другомъ; только Павелъ спросилъ у Левона, записалъ ли онъ — садовыя работы; Левонъ кивнулъ ему головой. Когда же наконецъ

барыня вошла, они всѣ трое выпрямились и низко ей поклонились; Кинтиліанъ и Павелъ заложили руки за спину — Левонъ слегка оперся о столъ. — Глафира Ивановна, молча и не спѣша, взошла на возвышеніе, отодвинула слегка кресла, сѣла, оправилась, и принявъ озабоченный видъ, немного помолчала, наконецъ обратившись къ Левону, сдѣлала повелительное движеніе рукою и промолвила: „начинай!“

Левонъ взялъ тетрадь со стола, отвернулъ нѣсколько листовъ, кашлянулъ и началъ тонкимъ, немного гнусливымъ голоскомъ:

„12 іюля 184—года.—Полевыя и прочія работы.

„Вчерашній день, іюля 11-го, во вторникъ — день господскій.—Крестьяне села Введенскаго—всего 134 тягла—„заняты были сѣнокосомъ въ слѣдующихъ дачахъ...“

— Что ты мнѣ это читаешь?—рѣзко перебила его барыня.

— Полевыя и прочія работы, какъ изволили приказывать... Съ нихъ начинать приказано,—проговорилъ Левонъ.

— Мнѣ этого не нужно сегодня. — Левонъ опустилъ тетрадь.

— Получены вчера изъ деревень донесенія?

— Получено три — изъ Лисицына, изъ Гагина, изъ Кирилова.

— Читай рапортъ изъ Лисицына.

— Прикажете рапортъ, или экстрактъ?

— Рапортъ.—И Глафира Ивановна загремѣла четками...

Непріятно подѣйствовалъ этотъ звукъ на присутствовавшихъ. — Каждый изъ нихъ зналъ, что когда барыня гремитъ четками — дѣло не ладно: — жди бури. — Лица ихъ вытянулись; даже Павелъ, который все время соколомъ глядѣлъ на свою госпожу—даже онъ попридержалъ свою улыбку.

Левонъ взялъ со стола исписанный листъ бумаги — и началъ опять тѣмъ же тонкимъ голоскомъ:

„Рапортъ Евстигнѣя Семенова, Лисицынскаго старосты.

„Пунктъ 1. Въ имѣніи Ея Высокоблагородія, Глафиры „Ивановны Гагиной, Лисицынѣ-Кондратовой тожъ, ми„лостью Божіею обстоитъ все благополучно.

„Пунктъ 2-й.—Вчерашняго числа...

Глафира Ивановна опять перебила чтеца. — Не читай ничего всего... Посмотри только, что онъ о пасѣкѣ пишетъ...

Левонъ быстро пробѣжалъ глазами весь рапортъ.—Онъ о пасѣкѣ не доноситъ-съ,—произнесъ онъ наконецъ.

— Прекрасно! — воскликнула Глафира Ивановна — и четки загремѣли пуще прежняго.—Хорошъ староста, нечего сказать! Это *ты*, должно-быть, его въ старосты поставилъ,—продолжала она, обратившись къ Кинтиліану.—(Лисицынскій староста былъ назначенъ еще Никифоромъ, но Кинтиліанъ почелъ за лучшее промолчать).— Сдѣлать ему строжайшій выговоръ съ особеннымъ замѣчаньемъ.

Левонъ наклонился и черкнулъ у себя въ книгѣ слова на карандашомъ.—Наступило молчаніе.

— Прикажете читать дальше?—робко спросилъ Левонъ.

Барыня не отвѣчала ему и продолжала гремѣть четами.— Левонъ поправилъ волосы на лбу и потупился.— въ комнатѣ все какъ будто замерло... только и стало слышно въ ней, что жалобное жужжанье залетѣвшей большой синей мухи, тщетно стучавшейся въ стекло. — Достань „Замѣтки барыни“,— промолвила наконецъ Глафира Ивановна, выходя изъ задумчивости.—Прочти мнѣ, что я тебѣ вчера продиктовала.

Левонъ вынулъ изъ ящика своего стола голубую книжку съ надписью на переплетѣ: „Замѣтки Барыни“,—раскрылъ ее и принялся читать:

„Понедѣльникъ, 11-го іюля.

„Во-первыхъ. — Дворовымъ я желаю сдѣлать другое распоряженіе; хочу изъ дворовыхъ сдѣлать *колонистовъ*; а колонисты мои будутъ дѣлать разныя работы, домашнія и прочія; построю имъ каменныя флигеля; заведу фабрики, какъ швейныя, такъ и кружевныя,— ткацкую, бѣлильню—и доведу до того, чтобы Введенскія фабрики были извѣстны въ Россіи; а не нужныхъ дворовыхъ продамъ, или отпущу по разнымъ мѣстамъ. — Начальникъ моихъ колонистовъ, Купріянъ Семеновъ“.—Левонъ остановился.

— Какая по этому сдѣлана отмѣтка?—спросила барыня.

„Принято къ соображенію. А насчетъ Купріяна — исполнено".

Барыня помолчала.—Далѣе.

„Во-вторыхъ: — Турка никогда и никуда не отпускать „отъ скота;—но только, чтобы онъ никогда не былъ на„чальникомъ надъ онымъ—а просто назвать его:—Турокъ, „и пастухъ."—Отмѣтка: исполнено.

„Въ-третьихъ: — я собрала посмотрѣть моихъ господ„скихъ коровъ... Фи! фи! — Ну, что это за коровы? — Но „почему же и мнѣ не имѣть коровъ, которыя бы давали „удою три ведра, какъ говорилъ швейцаръ. — Je réglera „tout cela, je réglerai.—Возьму швейцарца, тирольца, овце„вода, возьму лифляндку, нѣмку, польку. — Ахъ, когда „же это случится:—послѣ дождичка въ четвергъ."—Отмѣтка... отмѣтки нѣтъ.

— Нѣтъ отмѣтки? — спросила Глафира Ивановна. — А я тебѣ скажу, какая должна быть отмѣтка. — Пиши: и Глафира Ивановна начала диктовать Левону: „Все это „исполнится и непремѣнно исполнится, когда у меня бу„детъ настоящій управляющій — а не Василій Василье„вичъ—что и говорить! Не такого, не такого мнѣ надо— „и только".—Теперь далѣе.

Левонъ поставилъ послѣ „только"—большой восклицательный знакъ, и снова принялся за чтеніе:

„Въ-четвертыхъ: Спросить каждаго дворовaго человѣка „слѣдующимъ образомъ: а что ты принесъ доходу въ „годъ—какая была твоя служба—и сколько было на тебя „расходу—а?—И по его отвѣту такъ и поступать, чтобы „дворовый человѣкъ приносилъ или пользу или удовольствіе;—безъ того его не держать". — Отмѣтка: отнесено къ пункту первому.

— Какъ къ пункту первому!—воскликнула барыня.

— Тамъ — также о дворовыхъ говорится, — возразилъ Левонъ.

— Такъ что жъ, что говорится!—Здѣсь сказано: спросить каждаго дворовaго—а тамъ написано про дворовыхъ вообще. — Спрашивали ли хошь одного дворовaго, такъ какъ я приказывала?

— Никакъ нѣтъ-съ, — пробормоталъ смущенный секретарь.

— А я спрашиваю—почему не спрашивали?

Никто не отвѣчалъ.

Лицо Глафиры Ивановны омрачилось. — Долго ли мнѣ мучиться съ вами?—продолжала она.—Долго ли вамъ не слушаться меня!

— Отмѣтки не я составляю-съ, — проговорилъ трепетнымъ голосомъ Левонъ: — а вотъ они-съ. — Онъ указалъ на главнаго приказчика и на бурмистра. — Я только записываю.

— Я знаю, что не ты. — Къ пункту первому! Я знаю, почему они поставили: къ пункту первому! Я бы тебя, напримѣръ, спросила,—прибавила Глафира Ивановна, внезапно обратившись къ Кинтиліану:—что *ты* мнѣ стоишь съ своимъ семействомъ — сколько на *тебя* выходитъ всякаго добра—а какую я отъ тебя пользу вижу? Или удовольствіе?— Ужъ я не говорю о томъ, что ты себѣ тамъ въ карманъ кладешь!

Кинтиліанъ только губы стиснулъ.

— Исполнить мое приказаніе, сегодня же исполнить— и начать съ него,—промолвила барыня, указывая на Кинтиліана.—Коли онъ главный приказчикъ, пускай же онъ подастъ примѣръ другимъ... А теперь продолжай!

„Въ-пятыхъ:—Я въ нетерпѣньи пріобрѣтать... Не забыть мнѣ видѣться и переговорить съ....“ Здѣсь поставлены три крестика, — прибавилъ Левонъ, понизивъ нѣсколько голосъ. — „Онъ, сдается мнѣ, именно тотъ человѣкъ, котораго я искала“.—Здѣсь вы изволили приказать поставить: Ноту-Бене.

— Хорошо, знаю... продолжай.

„Въ-шестыхъ: — „Сказать матерямъ отпущенныхъ по „оброку актрисъ, чтобы онѣ къ нимъ написали и совѣты„вали бы имъ въ скорости откупиться: а то-де васъ вер„нутъ и здѣсь въ работу опредѣлятъ. — Мы-де васъ пред„варяемъ отъ себя“. — Отмѣтка: „актриснымъ матерямъ сообщено“.

„Въ-седьмыхъ.—Я хочу доказать Василью Васильевичу,

„Принято къ соображенію. А насчетъ Купріяна — исполнено".

Барыня помолчала.—Далѣе.

„Во-вторыхъ: — Турка никогда и никуда не отпускать „отъ скота;—но только, чтобы онъ никогда не былъ на„чальникомъ надъ онымъ—а просто назвать его:—Турокъ, „и пастухъ."—Отмѣтка: исполнено.

„Въ-третьихъ: — я собрала посмотрѣть моихъ господ„скихъ коровъ... Фи! фи! — Ну, что это за коровы? Но „почему же и мнѣ не имѣть коровъ, которыя бы давали „удою три ведра, какъ говорилъ швейцаръ. — Je réglerai „tout cela, je réglerai.—Возьму швейцарца, тирольца, овце„вода, возьму лифляндку, нѣмку, польку. — Ахъ, когда „же это случится:—послѣ дождичка въ четвергъ."—От„мѣтка... отмѣтки нѣтъ.

— Нѣтъ отмѣтки? — спросила Глафира Ивановна. — Я я тебѣ скажу, какая должна быть отмѣтка. — Пиши: Глафира Ивановна начала диктовать Левону: „Все это „исполнится и непремѣнно исполнится, когда у меня бу„детъ настоящій управляющій — а не Василій Василье„вичъ—что и говорить! Не такого, не такого мнѣ надо— „и только".—Теперь далѣе.

Левонъ поставилъ послѣ „только"—большой восклицательный знакъ, и снова принялся за чтеніе:

„Въ-четвертыхъ: Спросить каждаго дворовaго человѣка „слѣдующимъ образомъ: а что ты принесъ доходу въ „годъ—какая была твоя служба—и сколько было на тебя „расходу—а?—И по его отвѣту такъ и поступать, чтобы „дворовый человѣкъ приносилъ или пользу или удовольствіе;—безъ того его не держать". — Отмѣтка: отнесено къ пункту первому.

— Какъ къ пункту первому!—воскликнула барыня.

— Тамъ — также о дворовыхъ говорится, — возразилъ Левонъ.

— Такъ что жъ, что говорится!—Здѣсь сказано: спросить каждаго дворовaго—а тамъ написано про дворовыхъ вообще. — Спрашивали ли хошь одного дворовaго, такъ какъ я приказывала?

— Никакъ нѣтъ-съ, — пробормоталъ смущенный секретарь.

— А я спрашиваю—почему не спрашивали?

Никто не отвѣчалъ.

Лицо Глафиры Ивановны омрачилось. — Долго ли мнѣ мучиться съ вами?—продолжала она.—Долго ли вамъ не слушаться меня!

— Отмѣтки не я составляю-съ, — проговорилъ трепетнымъ голосомъ Левонъ: — а вотъ они-съ. — Онъ указалъ на главнаго приказчика и на бурмистра. — Я только записываю.

— Я знаю, что̀ не ты. — Къ пункту первому! Я знаю, почему они поставили: къ пункту первому! Я бы тебя, напримѣръ, спросила,—прибавила Глафира Ивановна, внезапно обратившись къ Кинтиліану:—что̀ *ты* мнѣ стоишь съ своимъ семействомъ — сколько на *тебя* выходитъ всякаго добра—а какую я отъ тебя пользу вижу? Или удовольствіе? — Ужъ я не говорю о томъ, что̀ ты себѣ тамъ въ карманъ кладешь!

Кинтиліанъ только губы стиснулъ.

— Исполнить мое приказаніе, сегодня же исполнить— и начать съ него,—промолвила барыня, указывая на Кинтиліана.—Коли онъ главный приказчикъ, пускай же онъ подастъ примѣръ другимъ... А теперь продолжай!

„Въ-пятыхъ:—Я въ нетерпѣньи пріобрѣтать... Не забыть мнѣ видѣться и переговорить съ....“ Здѣсь поставлены три крестика, — прибавилъ Левонъ, понизивъ нѣсколько голосъ. — „Онъ, сдается мнѣ, именно тотъ человѣкъ, котораго я искала“.—Здѣсь вы изволили приказать поставить: Ноту-Бене.

— Хорошо, знаю... продолжай.

„Въ-шестыхъ: — „Сказать матерямъ отпущенныхъ по „оброку актрисъ, чтобы онѣ къ нимъ написали и совѣты„вали бы имъ въ скорости откупиться: а то-де васъ вер„нутъ и здѣсь въ работу опредѣлятъ. — Мы-де васъ пред„варяемъ отъ себя“. — Отмѣтка: „актриснымъ матерямъ сообщено“.

„Въ-седьмыхъ.—Я хочу доказать Василью Васильевичу,

„что и безъ него могу, какъ будто его не было на свѣтѣ.— „Я сама, сама, сама.—А то все будетъ попрежнему. Лучше „мое худое пусть—чѣмъ его хорошее: не надо".

— Довольно! — воскликнула Глафира Ивановна. — Къ чему объ этомъ только говорить—надо дѣйствовать...

И Глафира Ивановна снова погрузилась въ раздумье, изрѣдка только подергивая губами и погромыхивая четками...

— Кинтиліанъ Андреевъ!—воскликнула она, наконецъ.

Старикъ встрепенулся.—„Сударыня!"—Можешь ты мнѣ сказать, сколько я въ годъ плачу въ Опекунскій Совѣтъ?

— Четырнадцать тысячъ рублей серебромъ слишкомъ,— отвѣтилъ, не мѣшкая, Кинтиліанъ.

— А сколько всего долгу?

— Около двухсотъ десяти тысячъ.

— Около! слишкомъ!—Что это у тебя за манера отвѣчать? Около! — Развѣ для того я тебя опредѣлила главнымъ приказчикомъ, чтобы ты мнѣ отвѣчалъ: около!

— Прикажете—можно сейчасъ въ бумагахъ справиться и точную вѣдомость представить,—возразилъ старикъ.

— Этакія важныя вещи должно знать тебѣ на память— а не справляться объ нихъ въ бумагахъ! Это все безпорядки... Когда я безпорядки эти переведу!—А въ нынѣшнемъ году мы ничего не платили?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— А за прошлый годъ все заплачено?

— Никакъ нѣтъ-съ... За нами недоимка состоитъ... двѣ тысячи четыреста тридцать рублей съ копейками,—поспѣшилъ прибавить Кинтиліанъ.

— Стало быть, мнѣ придется штрафныя деньги платить?

— Должно предполагать-съ.

— А почему же не заплачено въ Опекунскій Совѣтъ? Развѣ денегъ не было?

— Деньги были-съ—да на другіе расходы пошли.

— А на какіе именно?

— На содержаніе господскаго дома, на покупку скота; Василью Васильевичу извѣстно-съ; они распоряжались-съ.

Глафира Ивановна вспыхнула.—Опять Василій Василье-

вичъ! Какъ вы мнѣ надоѣли съ вашимъ Васильемъ Васильевичемъ!—Сколько разъ мнѣ приказывать вамъ — не упоминать при мнѣ имени Василья Васильевича! Особенно здѣсь, въ собственной моей Конторѣ. — Знать его я не хочу, вашего Василья Васильевича!—И Глафира Ивановна встала и нѣсколько разъ прошлась по комнатѣ.

— Садись и пиши,—промолвила она вдругъ, поровнявшись съ секретаремъ.—А вы слушайте.

Левонъ проворно сѣлъ за столъ, схватилъ длинное перо, обмакнулъ самый кончикъ его въ чернила, и склонилъ голову на лѣвый бокъ.

„Планъ Госпожи"...—начала Глафира Ивановна.—Левоново перо заскрипѣло по бумагѣ.—Все имѣніе раздѣлить на четыре части:

„*Первую* назвать вдовьимъ участкомъ или Опридчимъ— и опредѣлить ее на содержаніе Госпожи и дома ея.

„*Вторую* назвать—долговою частью и платить съ нея проценты по долгамъ.—Написалъ?—спросила барыня.

— По долгамъ,—повторилъ секретарь.

„*Третью* часть—назвать участкомъ дѣтскимъ и опредѣлить ее на содержаніе Дмитрія Петровича.

„*Четвертую*, наконецъ, назвать частью агрономическою и экономическою, и доходы съ нея употреблять на разныя хозяйственныя усовершенствованія.

— Усовершенствованія,—повторилъ секретарь.

Барыня обратилась къ Кинтиліану и Павлу.—Слышали вы?—спросила она.

— Слышали,—отвѣчали они въ одинъ голосъ. Секретарь поднялся.

— А теперь подайте бумаги, какія мнѣ подписывать нужно.

Кинтиліанъ направился-было къ окну за сафьяннымъ краснымъ портфелемъ, съ которымъ онъ пришелъ изъ Вотчинной Конторы, но Глафира Ивановна остановила его восклицаніемъ: — ахъ,—Меморіалъ! Я вѣдь и забыла Меморіалъ!

Кинтиліанъ вернулся на прежнее мѣсто, а барыня достала изъ кармана свою записную книжечку.—Да, кстати,—

начала она, еще не заглядывая въ нее:—я желаю знать, кто у меня въ Бабковѣ при тамошнемъ господскомъ домѣ дворникомъ? Ужъ не Никита ли Голанецъ?

— Точно такъ-съ,—возразилъ Кинтиліанъ.

— Да не будетъ Никита Голанецъ дворникомъ ни при Бабковскомъ господскомъ домѣ—ни гдѣ. Онъ умеръ.

Бурмистръ, секретарь и приказчикъ—всѣ трое невольно подняли головы.

— Для меня онъ умеръ. — Я замѣтила, что въ какой деревнѣ онъ живетъ, тамъ у меня непремѣнно пожаръ случится. При немъ въ Лисицынѣ флигель сгорѣлъ.— Отставить его отъ должности дворника — и отослать въ какую-нибудь оброчную деревню.

— Слушаю-съ,—отвѣтилъ Кинтиліанъ.

— А теперь посмотримъ Меморіалъ.—Барыня раскрыла записную книжечку, и прочла громко: „Печатка". — Да! Заказать въ Тулѣ печать съ фигурою, изображающею время и съ надписью: „оправдаетъ"—и слово чтобъ было вырѣзано ясно.—Это я тебѣ поручаю, Павелъ.

— Будетъ исполнено въ точности, — весело возразилъ Павелъ.

— Я видѣла, — прибавила Глафира Ивановна, привѣтливо взглянувъ на него:—ты уже въ саду распорядился: дорожки подчищены—спасибо.

Павелъ низко поклонился.—Радъ стараться, сударыня-матушка,—промолвилъ онъ.

— Хорошо, хорошо.

— Теперь второе:—„Овесъ и сѣно". — Четвертаго дня былъ у меня сосѣдъ Иванъ Еремѣичъ—всего побылъ два часа — и кто его просилъ пріѣзжать? — На лошадей его вышло овса два четверика, четыре гарнца—а сѣна пудъ и двадцать фунтовъ.—Это ужасъ! Спрашиваю, кто этимъ завѣдываетъ?

— Дворецкій,—промолвилъ Кинтиліанъ.

— Вотъ ты и совралъ: развѣ это дворецкаго дѣло?— Дворецкій домомъ завѣдываетъ, а не конюшней.

— Овесъ и сѣно выдаетъ начальникъ коннаго двора,— поправился приказчикъ.

— Кто такой?

— Шорникъ Ипатъ.

— Такъ ты Ипату овесъ и сѣно поручаешь!... Такая важная статья у него на рукахъ! А ты-то чего глядишь? Положимъ, ты самъ фуражъ отвѣшивать не можешь—все же ты долженъ знать, сколько чего выходитъ.—Никифоръ бы этого не сдѣлалъ. — Видно, мнѣ и конный дворъ придется Павлу подъ команду отдать. — Кстати,—прибавила барыня, обратившись къ Павлу:—въ какую деревню послали Никифора?

— Въ Валухино.

— Въ Валухино... Напомни мнѣ о немъ сегодня, Левонъ.

— Теперь третье: „Спросить, почему послали не Алешку, Ѳедьку?“ — Да; желаю я знать, почему за мамзелью въ Москву послали не Алексѣя, какъ было приказано, а безглаго старика Ѳедора?

— Алексѣй оказался нужнымъ въ столярной.

— Когда я что приказываю — должно исполнять, а не разсуждать.—*Ты* отмѣнилъ мое приказаніе?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Кто же?

Кинтиліанъ смутился и не отвѣчалъ.

— Спрашиваю тебя: кто?

Кинтиліанъ разинулъ-было ротъ—и запнулся, но взглянулъ на барыню... — Василій Васильевичъ изволили приказать,—произнесъ онъ скороговоркой.

— Опять! — воскликнула Глафира Ивановна. — Опять Василій Васильевичъ! О, это слишкомъ! Вездѣ, вездѣ этотъ Василій Васильевичъ. Надо это кончить! Это невыносимо!..— И Глафира Ивановна сильно позвонила въ колокольчикъ.

Вошелъ Сусликъ.

— Ступай къ Василью Васильевичу и скажи ему, чтобъ въ сію минуту ко мнѣ пришелъ; да скажи Аграфенѣ, чтобы она мнѣ принесла стаканъ воды.

— Слушаю-съ!—воскликнулъ Сусликъ и исчезъ.

— А вы,—продолжала барыня: — ступайте теперь всѣ вонъ. Бумаги я подпишу послѣ. — И Глафира Ивановна снова принялась ходить по комнатѣ.

— И нужно вамъ было, Кинтиліанъ Андреичъ, опять про Василія Васильевича напомнить, право,— замѣтилъ, выходя изъ передней, бурмистръ Павелъ приказчику.

— Э! все едино!—съ досадой возразилъ старикъ и махнулъ рукой.—Вишь сегодня погодка какая...

— А копеечки вы ловко подпустили,—съ улыбкой промолвилъ бурмистръ.

— Ну, да хороши и вы... съ вашей печаткой...—и Кинтиліанъ отправился въ Вотчинную Контору.

— А вы куда?—спросилъ Павелъ Левона.

— Я къ себѣ—сосну. Усталъ—смерть.—Павелъ остался одинъ, подумалъ, принялъ суровый, начальническій видъ и, широко разводя сжатыми руками, пошелъ въ садъ.

Между тѣмъ Суслик прибѣжалъ въ особый флигель, занимаемый Василіемъ Васильевичемъ, и, поспѣшно войдя къ нему въ кабинетъ, проговорилъ запыхавшимся голосомъ:—пожалуйте къ барынѣ.

Василій Васильевичъ только-что допивалъ третью чашку чаю со сливками. Выпустивъ струйку табачнаго дыма изо рта, подносилъ онъ налитое блюдечко къ губамъ, какъ вдругъ вошелъ мальчикъ. Онъ тотчасъ поставилъ блюдечко на столъ и, съеживъ брови, съ утомленнымъ видомъ спросилъ Суслика:—барыня меня спрашиваетъ?

— Точно такъ-съ. Велѣли сказать-съ, чтобы сію минуту пожаловали.

— Гдѣ она?

— Въ Конторѣ-съ.

Василій Васильевичъ помолчалъ и вдругъ приподнялся.

— Эй, Юшка!—крикнулъ онъ:—одѣваться, сюртукъ и галстукъ!—Человѣкъ подалъ Василію Васильевичу одѣться; онъ причесался передъ зеркаломъ, застегнулъ сюртукъ сперва на правый бортъ, потомъ перестегнулъ его на лѣвый, надѣлъ картузъ и вышелъ на крыльцо.

— Что?—спросилъ онъ, не оборачивая головы и вполголоса у сопровождавшаго его Суслика: — развѣ тамъ... что-нибудь...

— Да-съ, кажется,—значительно отвѣчалъ плутоватый мальчикъ.

— Гнѣвается?—проговорилъ, еще понизивъ голосъ, Василій Васильевичъ.

— Серчаютъ-съ,—возразилъ Сусликъ.

— Господи! Господи! — прошепталъ Василій Васильевичъ, пощупалъ рукой по груди, вздохнулъ раза два и направился отяжелѣвшими шагами черезъ заднее крыльцо, въ „Собственную Контору“, гдѣ, изрѣдка отпивая по глотку воды изъ стакана, принесеннаго Аграфеной, ожидала его Глафира Ивановна.

1853.

XV. — Обѣдъ въ обществѣ англійскаго литературнаго фонда.

(Письмо къ автору статьи: „О литературномъ фондѣ“. „Библ. для Чтенія“ 1858.)

Я только на-дняхъ прочелъ вашу статью „О литературномъ фондѣ“, любезнѣйшій А. В. (За границей я не видалъ „Библіотеки для Чтенія“). Нечего говорить вамъ, съ какимъ сочувствіемъ привѣтствовалъ я вашу мысль. Въ ожиданіи ея осуществленія, мнѣ приходитъ въ голову разсказать вамъ обѣдъ, данный обществомъ лондонскаго литературнаго фонда, и на которомъ я присутствовалъ въ нынѣшнемъ году.

Лондонскій литературный фондъ обязанъ своимъ существованіемъ, какъ бо́льшая часть общественныхъ учрежденій въ Англіи,—частному лицу. Въ концѣ прошлаго столѣтія, какой-то джентльменъ, имя котораго я, къ сожалѣнію, позабылъ, пожертвовалъ домъ и довольно значительную сумму денегъ на основаніе „фонда“. Англичане не только умѣютъ пускать въ ходъ дѣльныя мысли—они мастера осуществлять ихъ—а главное: они мастера поддерживать разъ начатое дѣло; они не скучливы, упрямы, одарены способностью „выдержки“ и стыдятся *махнуть рукою*, какъ мы грѣшные; фондъ пошелъ въ гору и процвѣтаетъ донынѣ. Много онъ принесъ пользы, много облегчилъ горя. Поддерживается онъ процентами съ своего капитала и добровольными приношеніями и пожертвова-

ніями любителей литературы, во главѣ которыхъ стоитъ королева. Многія изъ этихъ пожертвованій взносятся ежегодно, въ видѣ постоянной ренты.

Разъ въ годъ (обыкновенно весной) „фондъ“ даетъ большой обѣдъ подъ предсѣдательствомъ какой-нибудь знаменитости. Въ нынѣшнемъ году онъ состоялся подъ предсѣдательствомъ лорда Пальмерстона. Я получилъ приглашеніе на этотъ обѣдъ чрезъ посредство г-на Монктона Мильнса, члена парламента, хорошаго литератора и самаго любезнаго и обязательнаго человѣка въ мірѣ. Въ большой публичной залѣ (Martin's Hall) былъ накрытъ столъ человѣкъ на триста слишкомъ. Гости съѣхались къ 6 часамъ. Тутъ были артисты, литераторы, политическіе люди, ученые, простые джентльмены,—всѣ во фракахъ и въ бѣлыхъ галстукахъ. Я нашелъ свой билетикъ на приборѣ, не въ дальнемъ разстояніи отъ предсѣдателя, между мѣстами г-на Ривса, одного изъ главныхъ критиковъ Эдинбургскаго Обозрѣнія и Теккерея, который, однако, по нездоровью, не пріѣхалъ. Диккенса тоже не было; онъ долгое время былъ однимъ изъ ревностнѣйшихъ участниковъ „фонда“, даже игралъ (онъ отличный комикъ) на публичныхъ театральныхъ представленіяхъ въ пользу „фонда“. Но въ прошломъ году разссорился съ комитетомъ (члены-участники фонда избираютъ ежегодно возобновляющійся комитетъ изъ нѣсколькихъ лицъ, которымъ поручается раздача пособій и т. д.). По его понятіямъ, комитетъ слишкомъ много тратитъ денегъ на содержаніе секретаря, администрацію и т. п. Комитетъ возразилъ ему брошюрой (по-англійски: памфлетомъ), въ которой онъ старался опровергнуть доводы знаменитаго романиста; экземпляры этого памфлета раздавались, по окончаніи обѣда, желающимъ; свой экземпляръ я, къ сожалѣнію, оставилъ за границей. Въ немъ, сверхъ возраженій Диккенсу, находился краткій очеркъ исторіи „фонда“ съ его основанія и отчетъ за прошлый (1857) годъ. Если не ошибаюсь, сумма розданныхъ пособій значительно превышала 1000 фунтовъ стерлинговъ.

Лордъ Пальмерстонъ не заставилъ долго ждать себя.

Его встрѣтили очень радушно и почтительно. Я съ особеннымъ любопытствомъ смотрѣлъ на этого человѣка, имя котораго стало до того извѣстнымъ въ Россіи, по милости послѣдней войны, что, помнится, однажды, въ самой глуши Полѣсья, мужикъ спросилъ меня: „Живъ ли Палмистронъ?“ Фигура у него аристократически-изящная, манеры человѣка, привыкшаго властвовать, и породистаго,—чего нѣтъ, напримѣръ, у Дизраели, который смотритъ фатомъ и артистомъ. Пальмерстонъ происходитъ, какъ извѣстно, отъ старинной фамиліи Темпловъ. Онъ держится прямо, ходитъ легко, лицо имѣетъ бѣлое и не очень измятое, съ тонкими чертами,—только въ глазахъ замѣтна, при хитрости, какая-то старческая неподвижность; много равнодушной надменности и упрямства выражаютъ его сжатыя губы и опустившіяся щеки: почти голый черепъ не великъ и совершенно лишенъ органа идеальности, т.-е., говоря не френологически, лобъ очень покатъ; уши велики. Когда онъ смѣется, все лицо его оживляется и принимаетъ веселое выраженіе, что рѣдко у англичанъ; по словамъ людей, коротко его знающихъ, онъ очень любезный собесѣдникъ. Не безъ нѣкоторой торжественности опустился онъ на предсѣдательское кресло; по лѣвую его руку помѣстился г. фан-де-Вейеръ, бельгійскій посланникъ, маленькій человѣчекъ съ умными глазками и острымъ носомъ, постоянный вкладчикъ въ литературный фондъ, лицо очень популярное въ литературномъ англійскомъ мірѣ; а по правую руку Пальмерстона, на самомъ, слѣдовательно, почетномъ мѣстѣ, сѣлъ какой-то маркизъ съ идіотическимъ выраженіемъ лица, — наслѣдникъ громаднаго имѣнія герцоговъ Бриджватерскихъ; другого права, на почетъ онъ не имѣлъ никакого, — но и этого права слишкомъ достаточно въ свободной, но уважающей всякую силу, а, стало-быть, и силу денегъ—Англіи. Начался обѣдъ довольно плохой, какъ всѣ вообще публичные обѣды. Вмѣстѣ съ жаркимъ появилось шампанское, и стоявшій за кресломъ Пальмерстона „тостмастеръ“ провозгласилъ здоровье королевы. Всѣ поднялись и раздалось девять оглушительныхъ „ура“—three times three—три раза

по три. Тостмастеръ кричалъ первый и подавалъ знакъ свиткомъ, въ родѣ жезла, который держалъ въ рукѣ. Не всякій можетъ быть тостмастеромъ; для этого нужно имѣть представительную наружность и сильный голосъ. Хорошему тостмастеру платятъ довольно дорого. Здоровье королевы пили съ большимъ одушевленіемъ; она чрезвычайно любима своими подданными; да и притомъ, какъ замѣтилъ мнѣ одинъ мой англійскій пріятель, каждый англичанинъ, который пьетъ за здоровье королевы, тѣмъ самымъ и въ то же время пьетъ за собственное здоровье, — какъ тутъ не воодушевиться? Клики, сопровождаемые стукотней ножами по столу, утихли и тотчасъ возобновились: Пальмерстонъ поднялся и началъ свой „спичъ“. Вы знаете, что онъ, не задолго предъ тѣмъ, принужденъ былъ, за излишнюю угодливость сосѣднему правительству, — подать въ отставку; популярность его сильно пострадала, но все же не остыли „слѣды старинаго пламени“ — veteris vestigia flammae. Рѣчь его не принадлежала къ числу блестящихъ: онъ говорилъ о значеніи литературы, сравнивалъ судьбу писателя съ судьбой художника, живописца, ваятеля; сказалъ нѣсколько словъ о расположеніи королевы Викторіи къ литературѣ,— раздались одобрительныя восклицанія—„cheers“,— съ похвалами отозвался о принцѣ Альбертѣ, „съ которымъ, по его словамъ, нельзя поговорить, не обогатившись новой идеей“;—всѣ промолчали; извѣстно, что супругъ королевы не пользуется особенной любовью англичанъ. Меня болѣе всего занимала дикція Пальмерстона. Онъ говорилъ довольно медленно, какъ будто запинаясь, искалъ словъ, въ промежуткахъ ихъ произносилъ и растягивалъ букву *a*... *a*..., помогалъ себѣ движеніями правой руки и всегда находилъ красивое и точное окончаніе фразы. Онъ, видимо, импровизировалъ свою рѣчь. Эта неловкость, эта постоянно возвращающаяся буква: *a*, эти запинки составляютъ отличительную черту англійской рѣчи; люди, подобные Пальмерстону, тысячу разъ говорившіе публично, на митингахъ, въ палатѣ, на обѣдахъ, до конца дней своихъ не освобождаются отъ нея; мнѣ сказывали англи-

е, что Фоксъ, Питтъ и Шериданъ такъ говорили, даже стящій Дизраели говоритъ такъ; и, странное дѣло! — черта становится понятна, почти пріятна вамъ, какъ ько вы свыкнетесь съ англичанами, съ ихъ характе- ъ; она придаетъ ихъ рѣчи какую-то естественность, -то добродушное и неподготовленное, лишаетъ ее вся- о оттѣнка фразы. Голосъ Пальмерстона немного глухъ, ъ у старика, но все еще силенъ и внятенъ. (Замѣчу ати, что этотъ 75-ти-лѣтній старикъ ѣлъ за четве- ъ и въ нынѣшнемъ же году, верхомъ, съѣздилъ на би, знаменитое мѣсто скачки, отстоящее верстъ 35 Лондона.) Пальмерстонъ сѣлъ на свое мѣсто посреди ла рукоплесканій. Извѣстный геологъ Мурчисонъ, вы- й и плотный господинъ съ внушительной наружностью, ложилъ тостъ въ честь Пальмерстона и произнесъ ь, въ которой изобразилъ его заслуги самыми яркими сками и кончилъ тѣмъ, что назвалъ его образцомъ инаго британца. Пальмерстонъ поблагодарилъ его и Ътилъ, что Мурчисону, какъ геологу, занимающемуся ышеніями и упадками земной поверхности, очень легко ать оцѣнку политическихъ людей, въ судьбѣ которыхъ е есть возвышенія и упадки... Всѣ засмѣялись этой родушной иронiи отставного министра надъ самимъ ю, и Пальмерстонъ самъ больше всѣхъ разсмѣялся. омъ господинъ фан-де-Вейеръ произнесъ отличнымъ ійскимъ языкомъ небольшую рѣчь и кончилъ провоз- пеніемъ тоста въ честь англійской литературы — и ора Кризи.—Кто этотъ докторъ Кризи? спросите вы. о въ томъ, что предполагалось пить за здоровье Тек- ея, и Теккерей, какъ я узналъ послѣ, приготовилъ о рѣчь, которую онъ, съ свойственнымъ ему тщесла- ъ (авторъ Ярмарки Тщеславія—увы!—самъ весь зара- ъ осмѣяннымъ имъ порокомъ), называлъ превосход- — но Теккерей заболѣлъ передъ самымъ обѣдомъ; ыхахъ не нашли никого другого, какъ именно этого ора Кризи, который только тѣмъ и прославился, что исалъ небольшую книжку о самыхъ замѣчательныхъ кеніяхъ, начиная съ Мараѳона. Забавно было видѣть

маленькаго фан-де-Вейера, съ помощью лорнета отыскивавшаго у себя на бумажкѣ имя того ученаго мужа, котораго заслуги онъ только что расхвалилъ съ жаромъ, но имя котораго разобралъ съ трудомъ. Докторъ Кризи отбарабанилъ свой спичъ безъ запинки, безъ буквы: *a*, не хуже любого француза, напыщенно, цвѣтисто и велерѣчиво. Я долженъ признаться, что мнѣ рѣшительно не понравилась эта манера, да и прочіе слушатели остались холодны. Потомъ добрѣйшій Монктонъ Мильнсъ провозгласилъ тостъ въ честь литературы другихъ націй и г-на Мериме, извѣстнаго французскаго писателя, который тоже находился въ числѣ приглашенныхъ на обѣдъ. У Мериме чрезвычайно тонкое и умное, постоянно неизмѣнное лицо; онъ слыветъ за эпикурейца и скептика, котораго рѣшительно ничтò взволновать не можетъ, который ни во что не вѣритъ и съ вѣжливой, чуть-чуть презрительной недовѣрчивостью, взираетъ на всякое изъявленіе энтузіазма. Онъ сенаторъ и пользуется расположеніемъ французскаго двора. Однако, этотъ скептикъ поблѣднѣлъ, когда пришлось ему отвѣчать небольшимъ заученнымъ спичемъ на любезныя слова Мильнса, — (Мериме плохо знаетъ по-англійски), и голосъ его дрожалъ и прервался раза два; видно, самолюбіе и въ немъ волноваться можетъ, и даже сенатору не хочется осрамиться передъ многочисленнымъ собраніемъ независимыхъ людей. Потомъ секретарь „фонда“ прочелъ отчетъ дѣйствій комитета за прошлый годъ, и провозгласилъ поступившія пожертвованія; списокъ ихъ былъ очень длиненъ; имена нѣкоторыхъ жертвователей, по значительности вкладовъ, или потому, что принадлежали популярнымъ лицамъ, встрѣчались громкими рукоплесканіями. Я замѣтилъ, что идіотическій маркизъ, потомокъ герцоговъ Бриджватерскихъ, пожертвовалъ всего 5 фунтовъ стерл., стало-быть и тутъ онъ оказался плохъ: даже щедростью не походилъ онъ на Мецената, — а сидѣлъ на первомъ мѣстѣ, подлѣ Пальмерстона! Впрочемъ, справедливость требуетъ сказать, что англійскіе меценаты не таковы: у насъ на Руси скорѣе можно найти личности, представляющія забавное,

неправдоподобное, и тѣмъ не менѣе дѣйствительно существующее сліяніе Мецената, Чичикова и Гарпагона.

Такъ кончился этотъ обѣдъ; и я ушелъ оттуда съ тѣмъ чувствомъ, которое не покидало меня въ Англіи, всякій разъ, какъ мнѣ случалось встрѣтиться лицомъ къ лицу съ какимъ-нибудь выраженіемъ ея общественной жизни. Да, говорилъ я самому себѣ,—и тутъ, какъ и вездѣ, гдѣ проложилъ этотъ, исполненный недостатковъ, но великій народъ, слѣдъ своего львинаго когтя—и тутъ сила, прочность, дѣльность! Чувство, что хорошее, полезное дѣло, совершающееся передъ нашими глазами, въ то же время обезпечено, что ему не позволятъ разрушиться, изсякнуть, что его поддержатъ, что ему дадутъ разрастись и принести всѣ свои плоды—отрадное чувство. Дай Богъ, чтобы и у насъ затѣянное вами предпріятіе такъ же принялось, такъ же преуспѣвало, какъ лондонскій литературный фондъ! Пусть литераторы, журналисты, всѣ люди, которымъ дорога русская словесность, русская образованность, которые чувствуютъ ея пользу и важность — соединятся для добраго дѣла, и оно пойдетъ на ладъ — съ Меценатами и безъ Меценатовъ!

С. Спасское.
30 октября 1858.

XVI.—Замѣтка.

Не могу не подѣлиться съ читателями „Спб. Вѣдомостей“ тѣмъ отраднымъ впечатлѣніемъ, которое произвело на меня новое проявленіе русскаго искусства. Я говорю о статуѣ г. Антокольскаго, представляющей Ивана Грознаго. Мнѣ довелось увидѣть ее почти въ самый день моего возвращенія въ Россію. Слухи о ней начали ходить въ публикѣ съ конца прошлаго года, но только весьма недавно небольшая мастерская молодого ваятеля въ Академіи Художествъ стала наполняться посѣтителями, желающими полюбоваться „новинкой“. И стóитъ ею любоваться, стóитъ радоваться ей. По силѣ замысла, по мастерству и красотѣ исполненія, по глубокому про-

никновенію въ историческое значеніе и самую душу лица, избраннаго художникомъ, — статуя эта рѣшительно превосходитъ все, что̀ являлось у насъ до сихъ поръ въ этомъ родѣ. Царь Иванъ представленъ сидящимъ на богатомъ старинномъ креслѣ; на головѣ его скуфья; разстегнутый у ворота халатъ, въ видѣ подрясника, охваченъ простымъ поясомъ; тяжелая шуба въ широкихъ складкахъ падаетъ кругомъ; на колѣняхъ у него лежитъ, какъ бы скользя съ нихъ, раскрытое Евангеліе; извѣстный, остроконечный посохъ воткнутъ въ землю подлѣ него. Тяжкое раздумье овладѣло имъ: онъ, видимо, одинъ, положимъ, гдѣ-нибудь въ отдаленномъ покоѣ дворца въ Александровской слободѣ. Онъ понурилъ голову, сдвинулъ брови, сжалъ губы—внизъ и вбокъ устремилъ глаза. Одной рукой онъ оперся о ручку кресла, какъ бы собираясь встать; другая лежитъ безсильно, обвитая четками, съ подвернутыми пальцами. Въ наклоненномъ положеніи стана, въ неровномъ рисункѣ плечей, въ каждой чертѣ типически-вѣрнаго, изможденнаго и все-таки величаваго лица, въ каждой подробности всей фигуры — такъ, кажется, и читаешь всѣ ощущенія, всѣ чувства, мысли, которыя смутно, и сильно, и горестно задвигались въ этой усталой душѣ. Тутъ и страхъ смерти, и раздраженіе больного человѣка, избалованнаго беззавѣтной властью, и раскаяніе, и сознаніе грѣха, и застарѣлая злоба, и жёлчь, и подозрительность, и жестокость, и вѣчное исканіе измѣны... Онъ собирается встать, этотъ старый, злой, больной человѣкъ, который въ одно и то же время и русскій—и царь; царь съ ногъ до головы — не хуже царя Лира. И что̀ онъ станетъ дѣлать, какъ встанетъ? Пытать? Молиться? или пытать и молиться? Не нужно быть особенно чуткимъ человѣкомъ, чтобъ понять, что̀ хотѣлъ сказать художникъ. То, что̀ онъ задумалъ изобразить—дѣло сложное, какъ вообще все человѣчески-живое; но выполнилъ онъ свою задачу съ такою очевидной ясностью, съ такою увѣренностью мастера, что не вызываетъ въ зрителѣ ни малѣйшаго колебанія; а впечатлѣніе такъ глубоко, что отдѣлаться отъ него невозможно; невозможно представить

себѣ Грознаго иначе, чѣмъ какимъ его подстерегла творческая фантазія г. Антокольскаго. По искренней правдѣ, гармоніи и несомнѣнности впечатлѣнія, его произведеніе напоминаетъ древнихъ, хотя съ другой стороны, оно всей сущностью своей принадлежитъ къ новѣйшей, характерно-психологической, живописно-исторической школѣ ваянія. Особенно поразительно въ этой статуѣ счастливое сочетаніе домашняго, вседневнаго и трагическаго, значительнаго... И съ какимъ вѣрнымъ тактомъ все это проведено! Укажу хоть на скуфью, которую, говорятъ, многіе критики изъ традиціонныхъ классиковъ желали бы видѣть устраненной, и которую неподдающееся чутье художника, къ счастью, удержало. Какимъ образомъ возвысился онъ до такого яснаго пониманія своей задачи — я, судя по прошедшему, не могу дать себѣ хорошенько отчета; но фактъ — передъ глазами, и поневолѣ приходится воскликнуть: „Spiritus flat ubi vult".

Я въ состояніи сообщить нѣсколько достовѣрныхъ свѣдѣній о художникѣ, такъ блистательно начавшемъ свою карьеру. Маркъ Матвѣевичъ Антокольскій родился въ 1842 году въ городѣ Вильно. Родители его содержали трактиръ, и до 13-лѣтняго возраста маленькій Маркъ имъ помогалъ по хозяйству. Но страсть къ рисованію въ немъ уже тогда развилась до того, что посѣтители трактира начали обращать вниманіе родителей на ихъ сына. Они отдали мальчика въ ученіе къ позументщику; Марку это занятіе не пришлось по вкусу—и родители рѣшились сдѣлать его рѣзчикомъ. У новаго хозяина Маркъ, заваленный дневной работой, по ночамъ долженъ былъ прятаться на чердакѣ, чтобъ предаваться тамъ на свободѣ своему любимому занятію—рисованію. Натерпѣвшись горя до 17-ти лѣтъ, онъ не выдержалъ болѣе этой жизни—и убѣжалъ отъ хозяина. Рѣзчицкой работой онъ добывалъ себѣ средства къ пропитанію. На 22-мъ году отъ роду онъ сдѣлалъ „Головы Христа и Божьей Матери" изъ дерева; профессоръ Пименовъ замѣтилъ это произведеніе, и Антокольскій рѣшился поступить въ Академію вольнослушающимъ. Въ 1864 году онъ сдѣлалъ „Еврея-порт-

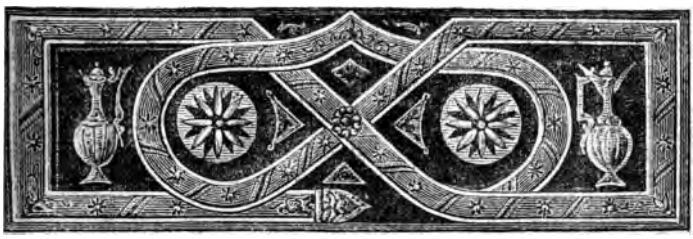
ного“ изъ дерева, за что получилъ серебряную медаль. Въ 1865 году сдѣлалъ „Скупого“ изъ кости, за что снова получилъ медаль и стипендію отъ Государя Императора. Газеты начали хорошо отзываться о немъ. Первымъ вполнѣ серьезнымъ произведеніемъ г. Антокольскаго была группа: „Христосъ и Іуда“; потомъ, въ 1868 году — онъ изобразилъ „Нападеніе инквизиторовъ на евреевъ“. Это произведеніе, въ которомъ г. Антокольскій попытался представить не однѣ фигуры, но и обстановку ихъ—возбудило протестъ со стороны художниковъ и любителей, которые находили, что въ немъ онъ переступилъ границы ваянія. Продолжать работать послѣ 1868 года въ Академіи стало ему невозможнымъ, такъ какъ классныя занятія онъ кончилъ, а конкурировать вольнослушающимъ не дозволяется. Г. Антокольскій поѣхалъ въ Берлинъ, но скоро оттуда возвратился, и въ 1870 году принялся за „Ивана Грознаго“.

Нѣсколько дней тому назадъ совѣтъ Академіи произвелъ его въ академики — и, какъ слышно, онъ получилъ заказъ на исполненіе своей статуи изъ бронзы. Смѣю думать, что было бы желательно видѣть ее исполненною изъ мрамора, такъ какъ мраморъ гораздо способнѣе передать всю тонкость психологическихъ чертъ и деталей, которыми изобилуетъ произведеніе г. Антокольскаго. Замѣчу кстати, что подходящая къ тому же роду скульптуры извѣстная, тоже сидящая, фигура Вольтера въ Парижѣ, работы знаменитаго Гудона (Houdon)—тоже изъ мрамора.

Къ сожалѣнію, здоровье г. Антокольскаго далеко не удовлетворительно; врачи посылаютъ его въ Италію, и должно желать, чтобъ какъ можно скорѣе попали ему въ руки тѣ средства, которыхъ у него нѣтъ, и безъ которыхъ поѣздка въ чужіе края немыслима. Было бы грустно думать, что скорое осуществленіе подобнаго желанія можетъ встрѣтить какія-либо препятствія.

С.-Петербургъ, 18-го февраля 1871.

(„С.П.Бурскія Вѣдомости“, 19 февраля 1871 года, № 50).



II.

КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ И РѢЧИ.

—«Фаустъ. Трагедія. Соч. Гёте. Переводъ первой и изложеніе второй части. М. Вронченко. СПБ. 1884 г.».

Появленіе новаго перевода «Фауста» возбудило въ насъ разнообразныя размышленія насчетъ насъ самихъ и нашей литературы. Несмотря на почти совершенное отсутствіе дѣйствительныхъ дарованій, на множество слабыхъ и пустыхъ произведеній, которыми наводнены наши книжныя лавки, — общественное сознаніе, чувство истины и красоты растетъ и развивается быстро. Мы не намѣрены—теперь именно—входить въ изслѣдованіе причинъ подобнаго явленія... Вообще русскій человѣкъ развивается такъ особенно, что въ немногихъ словахъ невозможно представить читателю смыслъ и законы его внутренняго преобразованія; но, напримѣръ, нѣсколько лѣтъ назадъ, при появленіи перевода «Фауста» г-на Вронченко, мы готовы были бы отдѣлаться похвалами, назвать трудъ переводчика «событіемъ» и т. д.; одно имя «Фауста» производило въ насъ впечатлѣніе довольно мутное и странное; мы чувствовали, что въ этомъ произведеніи отразилась цѣлая жизнь мыслящаго, уже не юнаго, нѣсколько чужаго намъ народа, и—либо съ простодушнымъ благоговѣніемъ склонялись предъ созданіемъ Гёте, въ которомъ видѣли альфу и омегу всей человѣческой мудрости, либо съ торопливой поспѣшностью проходили мимо, отдѣлываясь словами: «туманное произведеніе»!.. Впрочемъ, у насъ даже до нынѣшняго дня слово «туманное» почитается естественнымъ эпитетомъ всего нѣмецкаго. Теперь же... Мы не намѣрены расточать преувеличенныя похвалы нашей публикѣ, тѣмъ болѣе, что она въ нихъ вовсе не нуждается; мы не скажемъ ей, что въ послѣднее время она окончательно поняла и изучила Гёте и дошла, напримѣръ, до яснаго сознанія того, что такое «Фаустъ», какъ

произведеніе нѣмецкое, и въ какой степени это произведеніе занимать насъ—русскихъ... нѣтъ, мы этого не скажемъ; но нашей публики въ послѣдніе годы возмужало и окрѣпло; отчетныхъ порывовъ и восторговъ прошло для нея безвозвр стала вообще холоднѣе и равнодушнѣе, какъ человѣкъ, кот дѣло шутить и которому нравится одно дѣльное. Ее тепе ослѣпишь блескомъ великаго имени; ея здравый смыслъ положительныхъ доказательствъ—не въ томъ, что Гёте ве (она знаетъ это лучше насъ), но въ томъ, дѣйствительно л такое громадное созданіе?—Приступая къ разбору этой ве гедіи, мы чувствуемъ нѣкоторую невольную робость... мы з какой великій трудъ мы взяли на себя.

Разборъ вѣковыхъ твореній, подобныхъ «Фаусту», или *весьма м*гокъ, или весьма труденъ.—Въ первомъ случаѣ, стоитъ тольк курить ѳиміамъ», употребить восторженныя восклицанія и *т. д.*: произведеніе великое, такъ ужъ и нечего толковать о немъ! частью такъ и поступаютъ наши господа-критики. Но эти господ забываютъ, что ни одно великое твореніе не упало на землю, камень съ неба; что каждое изъ нихъ вышло изъ глубины поэтической личности, которая только потому и удостоилась такого счастія, что весь смыслъ современной жизни отразился въ ней не одними преходящими отголосками, но цѣлымъ, иногда довольно мучительнымъ развитіемъ характера и таланта; что чѣмъ выше, проще и нераздѣльнѣе произведеніе, тѣмъ сложнѣе и разнообразнѣе условія и процессъ его *возникнанія*... Съ другой стороны, вовсе не нужно дойти до сознанія этого процесса, чтобъ вполнѣ наслаждаться великимъ произведеніемъ, точно такъ же, какъ не нужно знать химическій составъ какого-нибудь прекраснаго цвѣтка, чтобъ быть въ состояніи любоваться имъ; непосредственная, несомнѣнная, общепонятная красота—необходимая принадлежность всякаго художественнаго созданія. Но если ужъ человѣческій духъ рѣшится понять и оцѣнить то, чѣмъ онъ плѣняется невольно, дознаться причинъ собственнаго наслажденія, то непростительно ему остановиться на полдорогѣ; безстрашная добросовѣстность и отчетливость до конца—вотъ главныя достоинства критики въ обширномъ смыслѣ, которая, несмотря на вопли ея противниковъ, никому еще не сдѣлала зла. — Мы не говоримъ о самолюбивой, робкой или ограниченной критикѣ людей, которымъ не хочется быть просто непосредственными натурами, и, между тѣмъ, страшно или тяжело дойти до результатовъ собственныхъ размышленій,—людей, которые цѣлый вѣкъ твердятъ дважды-два, и никогда не скажутъ: четыре, или скажутъ, наконецъ,—пять, и будутъ хитро и многословно доказывать, что оно иначе и быть не могло... Мы говоримъ о дѣльной критикѣ. Вслѣдствіе всего сказаннаго о духѣ нашей публики, мы надѣемся удовлетворить ея потребностямъ, представивъ ей сначала въ короткихъ словахъ родъ историческаго изысканія о томъ, когда, какъ и почему возникла и созрѣла мысль о «Фаустѣ» въ душѣ поэта, а потомъ и собственное наше воззрѣніе на «Фауста». Историческое изысканіе можетъ иногда съ успѣхомъ замѣнить чисто логическія разсужденія, потому что ничего не можетъ быть логичнѣе историческаго развитія, ясно и добросовѣстно представленнаго. Мы, безспорно, можемъ ошибиться въ нашихъ выводахъ; но уже Лафонтенъ сказалъ:

J'aurais du moins d'honneur de l'avoir entrepris.

іскахъ своихъ, къ сожалѣнію, слишкомъ поздно имъ
вилъ намъ довольно вѣрную и подробную картину
нской литературы до семидесятыхъ годовъ прошлаго
амъ родился въ 1749 году). Великими людьми этой
пштокъ, Виландъ и Лессингъ, въ особенности Клоп-
зская классическая школа (Готшедъ), швейцарская
ъ и др.)—обѣ прошли быстро и безвозвратно. Клоп-
заговорилъ о народности въ литературѣ, о бардахъ,
сѣверной миѳологіи, отбросилъ риѳму. Виландъ, этотъ
насмѣшливый и граціозный талантъ, своими много-
изведеніями, переводами съ греческаго, англійскаго,
французскаго, возбуждалъ и увлекалъ своихъ соотe-
Лессингъ, по преимуществу нѣмецкій, здравый и
овывалъ критику и драму—и, можетъ-быть, еще бо-
штокъ, имѣетъ право называться творцомъ нѣмецкой
ь былъ одаренъ чрезвычайно замѣчательнымъ полеми-
мъ и здравымъ смысломъ (впрочемъ, эти два каче-
азучны), и побѣды, одержанныя имъ надъ людьми,
ду и другимъ, спасли возникавшую германскую ли-
бели ложныхъ направленій. Заслуги этихъ трехъ пи-
айно велики; но ни одному изъ нихъ не было суждено
разить сущность своего народа и времени. У каждаго
чисто-литературная эпоха, которая мало-по-малу пріі-
ія, болѣе обширныя развитія человѣческаго духа; такая
ія Германіи около семидесятыхъ годовъ. Между тѣмъ
и общество уже устарѣлое, испытанное внѣшними и
рьбами, не оставлявшее ни одного вопроса безъ раз-
овлетворенное ни однимъ изъ этихъ разрѣшеній, —
ъ это общество стремительно спѣшило къ собствен-
ю, или, говоря правильнѣе, къ собственному возро-
анія только-что приходила къ сознанію собственной
сознанію самой себя—не какъ общества, но какъ
аго однимъ языкомъ и не имѣющаго на этомъ языкѣ
атурнаго памятника. До XVII столѣтія всѣ нѣмецкіе
по-латыни и по-французски, какъ Лейбницъ; поэты
дворѣ въ качествѣ шутовъ и писали оды на разные
лучаи; немногія исключенія, какъ-то: юмористы школы
ишартъ, Грифіусъ, свидѣтельствуя о добродушно-са-
правленіи нѣмецкаго ума, не имѣли, впрочемъ, осо-
я; монархи германскіе, даже лучшіе изъ нихъ (вспо-
а II) пренебрегали роднымъ языкомъ; одни лишь
ремени Лютера говорили и писали по-нѣмецки. Но
ервая половина прошлаго столѣтія: философъ Вольфъ
атинскаго языка. Нѣмецкая литература, еще юная и
устремилась по слѣдамъ французской. Быстро одинъ
али возникать писатели, которыхъ уже нельзя было,
ичислить къ сонму бездарныхъ подражателей; Рамлеръ
сь въ Берлинѣ; начались критическія изслѣдованія о
правда, довольно поверхностныя, но для того вре-
ѣно важныя. Наконецъ, явились тѣ замѣчательные
хъ мы говорили выше. Но настоящій переворотъ, —
валъ революціей германской литературы (ч. 26, стр. 68,
шился между семидесятыми и восьмидесятыми годами
въ эпоху, которую нѣмецкіе критики (правильнѣе

Litterarhistoriker) называютъ «періодомъ бури и стремленія» (St und Drang-Periode).

Жизнь каждаго народа можно сравнить съ жизнью отдѣльнаго человѣка, съ той только разницей, что народъ, какъ природа, спосо вѣчно возрождаться. Каждый человѣкъ, въ молодости своей, и жилъ эпоху «геніальности», восторженной самонадѣянности, др скихъ сходокъ и кружковъ. Сбросивъ иго преданій, схоласти вообще всякаго авторитета, всего, что приходитъ къ нему и онъ ждетъ спасенія отъ самого себя, онъ вѣритъ въ непосредс ную силу своей натуры и преклоняется предъ природой, какъ не идеаломъ непосредственной красоты. Онъ становится центромъ жающаго міра, онъ (самъ не сознавая своего добродушнаго эго не предается ничему: онъ все заставляетъ себѣ предаваться: живетъ сердцемъ, но не одинокимъ, своимъ, не чужимъ серд даже въ любви, о которой онъ такъ много мечтаетъ; онъ романти романтизмъ есть не что иное, какъ апоѳеоза личности. Онъ г толковать объ обществѣ, объ общественныхъ вопросахъ, о наук общество, такъ же какъ и наука, существуетъ для него—не онъ нихъ. Такая эпоха теорій, не условленныхъ дѣйствительность потому и не желающихъ примѣненія, мечтательныхъ и неопред ныхъ порывовъ, избытка силъ, которыя собираются низверг горы, а пока не хотятъ или не могутъ пошевельнуть соломин такая эпоха необходимо повторяется въ развитіи каждаго; но то тотъ изъ насъ дѣйствительно заслуживаетъ названіе человѣка, сумѣетъ выйти изъ этого волшебнаго круга и пойти далѣе, впер къ своей цѣли. Подобная романтическая эпоха настала для Герм во время юности Гёте. Появилось множество такъ-называемыхъ ніальныхъ молодыхъ людей; молодость, непосредственность, при самобытность,—эти слова звучали въ устахъ у каждаго; ником въ голову не пришло тогда написать «Разбойниковъ» — потом всякаго занимали только собственныя радости и страданія—но гіе надѣялись попасть прямо въ Шекспиры: въ то время В и Эшенбургъ познакомили съ нимъ Германію, и ихъ переводы поглощались читателями. Любовь къ Шекспиру пробудила къ среднимъ вѣкамъ, къ которымъ можно чувствовать влеченіе тогда, когда въ дѣйствительности народъ вполнѣ отъ нихъ отто а это отторженіе совершилось въ Германіи довольно поздно. ніе умовъ во Франціи—Вольтеръ, Руссо, энциклопедисты,— такъ глубоко, такъ сильно потрясло потомъ весь міръ, въ находило весьма мало сочувствія въ Германіи, и ландграфы койно продолжали продавать своихъ подданныхъ англичанам вавшимъ съ непокорными американцами. Вотъ что говорит Гёте въ третьей части своей автобіографіи: «Когда намъ слу раскрыть одну изъ частей энциклопедическаго словаря (*извѣ* изданіе Дидро и Даламбера), намъ казалось, что мы зашли въ *ог* ную фабрику, гдѣ со всѣхъ сторонъ скрипятъ и вертятся *кол* непостижимымъ образомъ двигаются машины, и мы, не понимая *ц* всѣхъ этихъ движеній, приходили въ полное отчаяніе... Жаркій спор французскихъ философовъ съ духовенствомъ не возбуждалъ нашег вниманія. Запрещенныя, къ огню присужденныя книги, которы тогда дѣлали много шума, не имѣли на насъ никакого вліянія... Пр рода была нашимъ божествомъ».

Эти слова Гёте относятся, правда, къ кружку страсбургскихъ п пріятелей; но онъ былъ тогда самымъ полнымъ представителе

поколѣнія; тѣ изъ его современниковъ, которые шли по
орогѣ, не оставили слѣда своего существованія, т.-е. заблу-
притомъ же, первыя произведенія Гёте тотчасъ поразили
и толпу читателей.
ерманія занялась преимущественно, если не исключительно,
литературными вопросами. Юстусъ Мозеръ, замѣчательный
го времени публицистъ, является намъ одинокимъ исключе-
ще земля не начинала дрожать подъ ногами людей; еще вся
двигалась по прежнимъ направленіямъ, жила прежними убѣ-
і и вѣрованіями; сверхъ того, философскій переворотъ дол-
лъ, по духу нѣмецкаго народа, предшествовать всякому
ему развитію общественной жизни въ Германіи—въ самую
у «бури и стремленія», въ отдаленномъ городѣ, на сѣверѣ,
оръ Кантъ тихо и неутомимо создавалъ критическую филосо-
самую философію, которая мало-по-малу проникла всю нашу
ельность, и которая скажетъ свое послѣднее слово даже не
поколѣнію.
самое время, около семидесятыхъ годовъ, жилъ на берегахъ
о въ Страсбургѣ, то во Франкфуртѣ, молодой человѣкъ, ко-
уждено было выразить собой всю сущность своего народа
времени,—Вольфгангъ Гёте. Біографія его до того извѣстна
тающему міру, что мы считаемъ себя въ правѣ вовсе умол-
ей, тѣмъ болѣе, что она была уже предметомъ довольно
й статьи въ нашемъ журналѣ. Но постараемся въ немногихъ
изобразить его личность. Онъ былъ—поэтъ по преимуще-
ѣтъ, и больше ничего. Въ этомъ, по нашему мнѣнію, состоитъ
ѣличіе и вся его слабость. Онъ былъ одаренъ всеобъемлю-
зерцаніемъ; все земное просто, легко и вѣрно отражалось
его. Съ способностью увлекаться страстно, безумно, онъ
ъ въ себѣ даръ постояннаго наблюденія, самоневольнаго
каго созерцанія своей собственной страсти; съ безконечно-
азной и воспріимчивой фантазіей—здравый смыслъ, вѣрный
ческій тактъ и стремленіе къ единству. Онъ самъ былъ
лый, весь — какъ говорится — изъ одного куска; жизнь и
е распадались у него на два отдѣльные міра: его жизнь
о поэзіей, его поэзія была его жизнью... «Я,—писалъ онъ къ
Штольбергъ:—даю своимъ ощущеніямъ превращаться въ
ости, способностямъ дорастать до таланта». Съ такой непо-
нной, естественной необходимостью развивалась его жизнь;
ги съ дѣтства сознавалъ самъ эту внутреннюю гармонію и
твенную полноту своей натуры, и преспокойно позволялъ
себя. Стоитъ прочесть въ «Физіономикѣ» Лафатера востор-
строки, подписанныя подъ его портретомъ... Первымъ и по-
ъ словомъ, альфой и омегой всей его жизни было, какъ у
этовъ,—его собственное *я;* но въ этомъ *я* вы находите цѣлый
сознаніе громадности этой личности до того сильно дѣйствуетъ
, что какая-нибудь небольшая пѣсенка Клерхенъ, въ кото-
орится только то, что безъ любви нѣтъ счастія на землѣ
изволите видѣть, весьма не новая), поражаетъ васъ такъ,
дто, ни вамъ самимъ, ни другому ничего подобнаго въ голову
одило. Понятно, почему Гёте, подъ старость, могъ не шутя
ь себя Юпитеромъ Олимпійскимъ; онъ зналъ, что онъ вла-
родой и человѣкомъ: онъ владѣлъ искусствомъ, какъ не вла-
кто до него; а людямъ только того и нужно: воспѣтыя радо-

сти, воспѣтыя слезы трогаютъ ихъ болѣе, чѣмъ дѣйствительныя радости и слезы.

Но Гёте былъ нѣмецъ—нѣмецъ восемнадцатаго столѣтія, сынъ реформаціи; его величіе состояло именно въ томъ, что всѣ стремленія, всѣ желанія его народа небезплодно отражались въ немъ. Какъ великій нѣмецкій поэтъ, онъ создалъ «Фауста». Мысль воспользоваться этимъ типомъ не ему первому пришла въ голову: уже одинъ изъ предшественниковъ Шекспира, Марло (Marlowe), написалъ «Фауста» — чрезвычайно замѣчательное произведеніе, о которомъ мы когда-нибудь поговоримъ съ нашими читателями; кромѣ Гёте, Клингеръ и Ленцъ, его современники и друзья (если только у Гёте могли быть друзья), сочинили каждый «Фауста». Они оба принадлежали къ тому кружку замѣчательныхъ личностей, которыя въ то время группировались около Гёте, и которыхъ онъ такъ мастерски описалъ въ своихъ «Запискахъ»... И странно: оба они умерли въ Россіи—Клингеръ въ Петербургѣ, генераломъ, Ленцъ въ Москвѣ, у какого-то сапожника, въ бѣдности и сумасшествіи. Но то, о чемъ такъ пламенно и такъ напрасно мечталъ оригинальный, фантастическій и насмѣшливый Ленцъ; то, что было недоступно здоровой и сильной, но не поэтической натурѣ Клингера, — далось одному Гёте. Вникнувъ въ содержаніе «Фауста», мы убѣдимся, что иначе и быть не могло, точно такъ же, какъ не Гошу и не Марсо, а одному Наполеону было предоставлено право называться, говоря его собственными словами, «l'homme du destin».

Не считаемъ нужнымъ излагать здѣсь содержаніе «Фауста»: вѣроятно, оно извѣстно каждому изъ читателей. Приступаемъ прямо къ оцѣнкѣ трагедіи Гёте.

«Фаустъ» есть чисто-человѣческое, правильнѣе — чисто-эгоистическое произведеніе. Германія въ то время вся распадалась на атомы: каждый хлопоталъ о человѣкѣ вообще, т.-е., въ сущности, о своей собственной личности. Фаустъ, съ начала до конца трагедіи, заботился объ одномъ себѣ. Послѣднимъ словомъ всего земного для Гёте (такъ же, какъ и для Канта и Фихте) было человѣческое *я*... И вотъ, это *я*, это начало, этотъ краеугольный камень всего существующаго, не находитъ въ себѣ успокоенія, не достигаетъ ни знанія, ни убѣжденія, ни даже счастія, простого, обыкновеннаго счастія («И псу не жить, какъ я живу», говоритъ Фаустъ). Куда, къ чему ему обратиться? Для Фауста не существуетъ общество, не существуетъ человѣческій родъ: онъ весь погружается въ себя; онъ отъ одного себя ждетъ спасенія. Съ этой точки зрѣнія, трагедія Гёте является намъ самымъ рѣшительнымъ, самымъ рѣзкимъ выраженіемъ романтизма, хотя это имя вошло въ моду гораздо позже. Примиренія, дѣйствительнаго примиренія, того окончательнаго аккорда, въ которомъ разрѣшались бы всѣ предшествовавшіе диссонансы, мы не находимъ въ Фаустѣ, такъ же, какъ, напримѣръ, въ Байронѣ; придуманное старцемъ Гёте аллегорическое, холодное, натянутое разрѣшеніе трагедіи не удовлетворяло и не удовлетворитъ, вѣроятно, ни одного живого человѣка; а между тѣмъ, оканчивая «Фауста», мы не ощущаемъ того горькаго и смутнаго безпокойства, которое возбуждаетъ въ насъ каждое твореніе лорда Байрона, этой надменной, глубоко симпатичной, ограниченной и геніальной натуры, потому что всѣ противорѣчія a priori примирены въ классически-спокойной душѣ Гёте, которая могла, не разрушаясь, даже не страдая, вынести въ себѣ Мефистофеля. Да, Гёте не дошелъ до положительнаго, выска-

нnаго примиренія; но ему оно и не нужно: сознаніе собственной лы удовлетворяетъ его... Величавое равнодушіе Фауста во второй сти — вотъ настоящее, окончательное примиреніе всѣхъ неразрѣшныхъ вопросовъ и сомнѣній. Человѣку, которому природа отказала въ возможности такого апріорическаго успокоенія, Гёте не даетъ какого отвѣта. Гёте не признавалъ ничего внѣ сферы чисто-человѣческой; а между тѣмъ, Фауста волнуютъ вопросы, которые протекаютъ не изъ этой сферы, и для которыхъ Гёте не могъ найти овлетворительнаго разрѣшенія. Эти, говоря языкомъ Канта, трансцендентные вопросы переданы были ему цѣлымъ предшествовавшимъ звитіемъ не одного германскаго народа, но всей Европы; стремлеe всего человѣчества къ тому, что находится внѣ собственной, земй жизни, это стремленіе, это коренное начало среднихъ вѣковъ, горое выразилось во всемъ: и въ самомъ составѣ общества, и въ торіи, и въ поэзіи, и въ искусствѣ (вспомнимъ готическія церкви), озвалось могущественно и неотразимо въ душѣ Фауста. Фаустъ— нъ своего прошедшаго. Но не менѣе сильно выразилось въ немъ чало противоположное, начало новѣйшаго времени, автономіи человѣческаго разума и критики. Въ исторіи развитія человѣческаго знанія, «Фауста» можно почитать самымъ полнымъ (литературнымъ) раженіемъ эпохи, раздѣляющей средніе вѣка отъ новаго времени. такъ какъ всякое, даже положительное начало должно, при пермъ появленіи своемъ, носить характеръ отрицательный (иначе оно бѣ никогда не завоюетъ мѣста), то и весьма понятно, почему оно, о начало, у Гёте, современника Вольтера, приняло образъ Мефистофеля. Мефистофель — это новое время; это тотъ XVIII вѣкъ, на торый съ такимъ добродушнымъ ожесточеніемъ ослѣпленные или раниченные люди сыплютъ разнообразныя проклятія... Подъ камъ бы именемъ ни скрывался этотъ духъ отрицанія и критики, юду за нимъ гоняются толпы своекорыстныхъ или ограниченныхъ одей, даже и тогда, когда это отрицательное начало, получивъ, наконецъ, право гражданственности, постепенно теряетъ свою чистозрушающую, ироническую силу, наполняется само новымъ, положительнымъ содержаніемъ и превращается въ разумный и органичеій прогрессъ. Но мы готовы согласиться съ врагами критическаго чала: дѣйствительно, при вступленіи своемъ—не въ кругъ человѣческой дѣятельности, потому что оно никогда не переставало составлять одинъ изъ элементовъ этой дѣятельности, — но на поприще бщественнаго развитія въ Европѣ — дѣйствительно, оно было односторонне, безжалостно и разрушительно; дѣйствительно, Мефистофель не представляетъ ничего отраднаго... но самъ Фаустъ, это больше дитя не слишкомъ здоровыхъ средніхъ вѣковъ, — развѣ онъ въ лахъ стоять на собственныхъ ногахъ, развѣ въ немъ мы не находимъ всѣхъ признаковъ разрушенія? Не стремился ли онъ самъ изъ оей душной кельи, къ которой пригвоздила его безплодная, самообивая страсть къ недосягаемымъ отвлеченностямъ, на волю, въ йствительный, здравый міръ, куда онъ оттого попасть не умѣетъ, о онъ, какъ фантазёръ, только фантазируетъ о немъ и ждетъ бѣ здоровья — не отъ сообщества съ живыми людьми, а отъ... луй луны.

O möcht' ich...

. . . . . .

Von allem Wissensqualm entladen,
In deinem Thau gesund mich baden!

въ переводѣ (не совсѣмъ удачномъ) г. Вронченко:

Когда жъ я возмогу
. . . . . .
Тамъ пить твой свѣтъ, твоей росой,
Отъ чаду знаній исцѣлиться!

Не является ли намъ Фаустъ скептикомъ съ самыхъ первы словъ своихъ? И самая его попытка: «отважно обратить свой тылъ прекрасному земному солнцу» не есть ли послѣдній, отчаянны ложный порывъ къ свободѣ и гармоніи? Самъ Фаустъ — не тотъ ли Мефистофель въ своемъ разговорѣ съ Вагнеромъ, этимъ нѣмце par excellence, этимъ типомъ «филистера»? Наконецъ, онъ — Ме стофель, не есть ли онъ необходимое, естественное, неизбѣжное полненіе Фауста?.. И не выговариваются ли въ его рѣчахъ задуш ныя наклонности и убѣжденія самого Гёте? Да и самъ Мефистоф часто—не есть ли смѣло-выговоренный Фаустъ?

Гёте началъ писать свою трагедію весьма рано, прежде «Г фонъ-Берлихингена» и «Вертера». Онъ началъ его, какъ онъ са сознался, безъ всякаго опредѣленнаго плана; да и въ теперешне видѣ «Фаустъ», какъ трагедія, не можетъ имѣть притязанія на окр ленность, на внѣшнее единство. Гёте съ ранннихъ лѣтъ отличался обыкновенной наклонностью къ размышленію и систематизировані наклонностью, почти всегда несовмѣстной съ наивнымъ даромъ поэт ческаго воспроизведенія, которымъ такъ щедро былъ онъ надѣлен Впрочемъ, надобно прибавить и то, что Гёте, какъ поэтъ, вовсе дорожилъ своими воззрѣніями и системами; онъ легко и свобод покидалъ ихъ... его, въ сущности, занимало одно: жизнь, возведенна въ идеалъ поэзіи («die Wirklichkeit zum schönen Schein erhoben какъ говорилъ онъ), жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ. Онъ доброс вѣстно, съ любовію изучалъ ее... но, повторяемъ, не жизнь, ка жизнь — занимала и увлекала его душу, но жизнь, какъ предме поэзіи. Гёте наконецъ дошелъ до того, что онъ не пугался страдані даже не избѣгалъ ихъ: они внушали его лирѣ такіе новые, такіе пр красные звуки... Да впрочемъ, какой же поэтъ когда-нибудь стр далъ, страдалъ дѣйствительно, безсловесно, глухо? Всѣ они готов повторять съ Тассо:

Und mir noch über alles—
Sie (die Natur) liess im Schmerz mir Melodie und Rede
Die tiefste Fülle meiner Noth zu klagen:
Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt,
Gab mir ein Gott zu sagen, wie ich leide...

И пользуясь этимъ, у плохихъ стихотворцевъ воображаемымъ, хорошихъ—дѣйствительнымъ преимуществомъ, авторы до того надоѣл намъ воспѣваніемъ своихъ страданій, что поневолѣ захочется ска зать даже лучшему изъ нихъ:

«Какое дѣло намъ, страдалъ ты или нѣтъ!»

Но отъ поэзіи уйти невозможно; слова, сказанныя нами, тож стихъ, тоже произнесены поэтомъ...

Итакъ, Гёте писалъ своего «Фауста» безъ всякаго плана. Онъ бро салъ стихи на бумагу, какъ невольныя признанія мыслящаго и страст наго поэта-эгоиста. Въ его время, въ то переходное, неопредѣленное время, позволительно было поэту быть только человѣкомъ; старое общество еще не разрушилось тогда въ Германіи; но въ немъ было

душно и тѣсно; новое только что начиналось; но въ немъ не
еще довольно твердой почвы для человѣка, не любящаго жить
и мечтаніями; каждый нѣмецъ шелъ себѣ своимъ путемъ и,
своекорыстно, либо безмысленно, покорялся существующему
ку вещей. Посмотрите, какую жалкую роль играетъ народъ въ
тѣ»! Это—народъ (вспомните сцену, когда Фаустъ гуляетъ съ
ромъ, и сцену въ погребѣ Ауэрбаха), въ родѣ народа на кар-
ъ Теньера и Остада; Мефистофель хочетъ дать Фаусту понятіе
еломъ житьѣ-бытьѣ толпы и показываетъ ему полдюжину до-
о глупыхъ студентовъ, надъ которыми они вдвоемъ потѣшаются
rands seigneurs»; народъ, въ произведеніи Гёте, проходитъ пе-
нашими взорами не какъ древній хоръ въ классической тра-
а какъ хористы въ новѣйшей оперѣ. Толпа представлена, какъ
ся, объективно, даже символически (въ сценѣ, о которой мы
оворили, когда Фаустъ гуляетъ съ Вагнеромъ, всѣ сословія —
за другимъ парадируютъ передъ читателемъ); она понята; ей
о то, что ей слѣдуетъ, «mann lässt sie gelten», — чего жъ ей
? Какое право имѣетъ она—эта глупая толпа—возмущать ве-
гвеный покой, или одинокія радости, или, наконецъ, одинокія
нія какой-нибудь геніальной личности? А этотъ бѣдный моло-
альчикъ, этотъ ученикъ, который смиренно приходитъ попросить
овъ у Фауста,—съ какой аристократической, небрежной ироніей
ается Гёте надъ нимъ, и вообще надъ молодымъ поколѣніемъ,
ое не можетъ возвыситься до геніальности—надъ ограниченной
й! Всѣ насмѣшки, всѣ сарказмы Мефистофеля падаютъ на Фау-
какъ на отдѣльное лицо; онъ знаетъ его слабую сторону. —
ъ, мы уже говорили это не разъ, — эгоистъ, и заботится объ
своей особѣ. Да, наконецъ, Мефистофель далеко не «самъ ве-
сатана»; онъ скорѣе «мелкій бѣсъ изъ самыхъ нечиновныхъ».
стофель—бѣсъ каждаго человѣка, въ которомъ родилась рефле-
онъ—воплощеніе того отрицанія, которое появляется въ душѣ,
чительно занятой своими собственными сомнѣніями и недо-
ями; онъ — бѣсъ людей одинокихъ и отвлеченныхъ, людей, ко-
ъ глубоко смущаетъ какое-нибудь маленькое противорѣчіе въ
обственной жизни и которые съ философическимъ равнодушіемъ
утъ мимо цѣлаго семейства ремесленниковъ, умирающихъ съ
. Онъ страшенъ не самъ по себѣ: онъ страшенъ своей еже-
остью, своимъ вліяніемъ на множество юношей, которые, по
илости, или, говоря безъ аллегоріи, по милости собственной
й и эгоистической рефлексіи, не выходятъ изъ тѣснаго кружка
милаго *я*. Онъ ѣдокъ, золъ и насмѣшливъ; люди, которые, по
мъ Пушкина, встрѣчаются съ этимъ демономъ, страдаютъ; но
олѣзненныя страданія не возбуждаютъ нашего глубокаго уча-
ритомъ, сколько такихъ страдальцевъ, поносившись съ своимъ
ъ, какъ «съ писанной торбой», внезапно превращаются въ доб-
и здоровыхъ пошлецовъ!.. Да и тѣ изъ нихъ, которые до конца
воихъ вянутъ и сохнутъ, какъ надломанная вѣтка,—признаемся
енно,—и тѣ возбуждаютъ въ насъ одно лишь преходящее со-
іе... Повторяемъ, Мефистофель страшенъ только потому, что
ъ поръ его почитаютъ страшнымъ... Ужасенъ онъ для людей,
мъ собственное счастье дороже всего на свѣтѣ и которые хо-
въ то же время понять, почему именно они счастливы... а
людей всегда будетъ много, до того много, что мы, вспомнивъ
ъ количествѣ, готовы снова признать величіе Гётевскаго чорта,

съ которымъ мы обошлись-было довольно безцеремонно. Но все же мы должны сознаться, что мы не разъ возмущали «другой могучій образъ», передъ которымъ блѣднѣлъ и исчезалъ Мефистофель, это воплощенное проявленіе критическаго начала въ ограниченной сферѣ отдѣльной личности.

Итакъ, мы сказали, Фаустъ—эгоистъ, эгоистъ теоретическій, самолюбивый, ученый, мечтательный эгоистъ. Не науку хотѣлъ онъ завоевать — онъ хотѣлъ черезъ науку завоевать самого себя, свой покой, свое счастіе. Упорной односторонностью его отвлеченной натуры проникнута вся трагедія, исключая величаваго появленія духа Земли въ началѣ первой сцены. Въ громовыхъ его словахъ слышится намъ голосъ Гёте-пантеиста, того Гёте, который внѣ страстнаго разнообразія человѣческаго міра — признавалъ одну безразличную, спокойную «субстанцію» Спинозы и уходилъ въ нее какъ въ свое «убѣжище» (in sein Asyl), когда собственная личность начинала ему надоѣдать. Эгоизмъ Фауста особенно проявляется въ отношеніяхъ его къ Гретхенъ. Наскучивъ безплодностью и безотрадностію уединенной жизни, Фаустъ хочетъ (въ переводѣ г. Вронченко):

«Кипучія желанія
Въ утѣхахъ чувственныхъ глушить...»

Онъ жаждетъ:

«Бурь, тревогъ, горчайшихъ изъ отрадъ
Любви враждебной, сладостныхъ досадъ.
. . . . . .
Все испытать поперемѣнно,
Что человѣчеству присуждено всему...»

И вотъ, обновивъ, при помощи вѣдьмы, свое подержанное тѣло, Фаустъ встрѣчается съ Гретхенъ. О самой Гретхенъ мы не будемъ много распространяться: она мила, какъ цвѣтокъ, прозрачна, какъ стаканъ воды, понятна, какъ дважды-два — четыре; она — безстрастная, добрая нѣмецкая дѣвушка; она дышитъ стыдливой прелестью невинности и молодости; она, впрочемъ, нѣсколько—глупа. Но Фаустъ и не требуетъ особенныхъ умственныхъ способностей отъ своей возлюбленной (и потому мы теперь же не можемъ не замѣтить г-ну переводчику, что онъ, при первой встрѣчѣ Фауста съ Гретхенъ, напрасно заставляетъ его говорить про нее:

«Какъ недоступна и скромна,
И, кажется, притомъ умна».

Въ подлинникѣ сказано: «Und etwas schnippisch doch zugleich...» Schnippisch—непереводимое слово: оно скорѣе значитъ—жеманна, въ хорошемъ смыслѣ... но ни въ какомъ случаѣ—не умна).

Фаустъ знакомится съ ней рѣшительно и смѣло, какъ всѣ геніальные люди; Гретхенъ въ него влюбляется тотчасъ. Фаустъ является въ ея комнату, восторженно, страстно мечтаетъ о ней — и уходитъ, глубоко тронутый, не позабывъ, однакожъ, оставить ей подарокъ; потомъ сходится съ ней у Марты; но уже самъ передъ этимъ свиданьемъ задалъ себѣ вопросъ:

Когда въ минуту ощущенья,
Для новыхъ чувствъ я, и для ихъ волненья,
Ищу именъ, и не могу найти;
Когда потомъ все въ мірѣ пробѣгаю,

и надъ всѣми (что не помѣшало ему, однакожъ, сдѣлаться ...ntath'омъ), и вообще жилъ, какъ говорится, геніально. Боттхеръ ...не оставили намъ нѣсколько описаній тогдашняго его житья-..., и мы, признаемся откровенно, понимаемъ вполнѣ педантиче-...негодованіе тогдашнихъ веймарскихъ гражданъ противъ такъ-...емыхъ «сильныхъ геніевъ» (Kraftgenies), т. е. противъ Гёте ...сподвижниковъ. Извѣстно, чѣмъ все это кончилось—«Итальян-...Путешествіемъ», «классическимъ успокоеніемъ» и появленіемъ ...ства замѣчательныхъ, глубоко обдуманныхъ и округленныхъ ...ній, которымъ мы все-таки предпочитаемъ добродушно-страст-... безпорядочныя вдохновенія его молодости.

...назвали «Фауста» эгоистическимъ произведеніемъ... но могло ...ь оно иначе? Гёте, этотъ защитникъ всего человѣческаго, зем-...тотъ врагъ всего ложно-идеальнаго и сверхъестественнаго, пер-...тупился за права—не человѣка вообще, нѣтъ—за права от-..., страстнаго, ограниченнаго человѣка; онъ показалъ, что въ ...ится несокрушимая сила, что онъ можетъ жить безъ всякой ...й опоры, и что при всей неразрѣшимости собственныхъ со-... при всей бѣдности вѣрованій и убѣжденій, человѣкъ имѣетъ ...возможность быть счастливымъ и не стыдиться своего сча-...Фаустъ не погибъ же. Мы знаемъ, что человѣческое развитіе ...етъ остановиться на подобномъ результатѣ; мы знаемъ, что ...льный камень человѣка не есть онъ самъ, какъ недѣлимая ...ца, но человѣчество, общество, имѣющее свои вѣчные, незыб-... законы. Первая протестація человѣка противъ сверхъесте-...ности въ художествѣ должна была носить рѣзкій отпечатокъ ...очительности и эгоизма односторонняго. «Мы не имѣли», гово-...Гёте въ своихъ запискахъ, «ни желанія, ни стремленія зани-...я предметами богословія или философіи»...

...люди требуютъ высказаннаго примиренія; первая часть «Фау-...не представляла намъ ничего подобнаго. Да и какимъ образомъ ...ть человѣкъ, не выходя изъ сферы лично-человѣческаго, дойти ...олнаго округленія своего существованія? Этотъ вопросъ мы и ...рь разрѣшить не въ силахъ: что же тогда? Но Гёте жилъ, и ...ь долго; послѣ первыхъ восьми лѣтъ буйной веймарской жизни ...упила для него эпоха «успокоенія» и «пластичности»... «Фаустъ»— ...страстное, неокругленное произведеніе его первой молодости — ...авало ему покоя; онъ принялся оканчивать свою трагедію, онъ ...малъ вторую часть. Поэтическая способность воспріимчивости и ...озданія, которая всегда была такъ сильно развита въ душѣ Гёте, ...нецъ стала ему дороже самаго содержанія, самой жизни; онъ ...разилъ себѣ, что стоитъ на высотѣ созерцанія, между тѣмъ какъ ...рѣлъ на все земное съ высоты своего холоднаго, устарѣлаго ...зма. Онъ гордился тѣмъ, что всѣ великіе общественные перево-..., которые совершались вокругъ него, не возмутили ни на мгно-...е его душевной тишины; онъ, какъ утесъ, не давалъ уносить ...волнамъ—и остался назади своего вѣка, хотя его наблюдатель-...умъ старался оцѣнить и понять всѣ замѣчательныя современныя ...нія; — но вѣдь однимъ умомъ не поймешь ничего живого. Онъ ...ь правъ передъ самимъ собою, онъ не измѣнилъ себѣ, и согра-...е его, нѣмцы—даже молодые, любовались имъ и толпились во-...ъ него, подобострастно повторяя его вычурно-старческія изре-...я. Вся жизнь человѣческая являлась ему аллегоріей, и вотъ, ...написалъ свою великую (правильнѣе—длинную) аллегорію: вто-

играна, и что вся эта любовь, говоря Гётевскимъ слогомъ, относится къ его прошедшему? Да, «онъ совершилъ то, что ему слѣдовало совершить» (was er gesollt, hat er vollendet); но онъ не ожидалъ кровавой развязки: онъ испуганъ, онъ желаетъ спасти ее, хотя горе ей, если онъ дѣйствительно спасетъ ее отъ смерти!.. Но пошлость не восторжествуетъ на этотъ разъ: Гретхенъ удостоивается трагической кончины, и ея послѣднимъ, страшнымъ крикомъ заключается вся трагедія.

Многіе толковали и толкуютъ до сихъ поръ, что Гёте не безъ глубоко-обдуманнаго намѣренія—именно *такъ* кончилъ своего «Фауста»: но намъ кажется, что вся первая часть «Фауста» прямо вылилась изъ души Гёте, и что онъ началъ «обдумывать», «округлять» и художнически «оканчивать» свое твореніе, когда принялся писать вторую часть. Вся первая часть «Фауста», какъ произведеніе въ высшей степени геніальное, проникнута безсознательной истиной, непосредственнымъ единствомъ. Дѣйствительно, размышляя о «Фаустѣ», вы чувствуете, что въ немъ все необходимо, нѣтъ ничего лишняго; но ясно ли сознавалъ самъ Гёте гармонію своего произведенія?—предоставимъ другимъ разбирать психологически этотъ вопросъ.

«Фаустъ» (мы говоримъ о первой части) раздѣляется въ нашихъ глазахъ на двѣ половины: первая представляетъ зрѣлище вѣчной, внутренней борьбы личнаго духа; въ другой разыгрывается передъ нами трагикомедія любви. Въ обѣихъ видимъ человѣка, который безъ вѣры въ счастіе стремится къ нему. И что жъ? Ни собственныя убѣжденія, ни близость другого существа, ни знаніе, ни любовь, ничто не можетъ заставить его сказать мгновенію: «не улетай! ты такъ прекрасно»... Увы! люди гораздо ниже Фауста не разъ воображали найти, наконецъ, блаженство въ любви женщины гораздо выше Маргариты,—и вы сами знаете, читатель, какимъ аккордомъ разрѣшались всѣ эти варіаціи... Гретхенъ можно сравнить съ Офеліей; но Гамлетъ, разрушивъ ее, разрушается самъ, между тѣмъ какъ въ началѣ второй части трагедіи Гёте, мы видимъ Фауста спокойно отдыхающаго весной на травѣ, подъ пѣніе сильфовъ, и вполнѣ позабывшаго все свое прошедшее. Ему теперь не до бѣдной и простой дѣвушки, въ родѣ Гретхенъ... онъ мечтаетъ о Еленѣ...

«Фаустъ»—великое произведеніе. Оно является намъ самымъ полнымъ выраженіемъ эпохи, которая въ Европѣ не повторится,—той эпохи, когда общество дошло до отрицанія самого себя, когда всякій гражданинъ превратился въ человѣка, когда началась, наконецъ, борьба между старымъ и новымъ временемъ, и люди, кромѣ человѣческаго разума и природы, не признавали ничего непоколебимаго. Французы на дѣлѣ осуществили эту автономологію человѣческаго разума: нѣмцы — въ теоріи, въ философіи и поэзіи. Нѣмецъ, вообще, не столько гражданинъ, сколько человѣкъ; у него чисто-человѣческіе вопросы предшествуютъ вопросамъ общественнымъ; эпоха, о которой мы говорили выше, вполнѣ соотвѣтствовала коренному направленію германскаго народа, и вотъ, явился поэтъ, котораго не даромъ упрекали въ совершенномъ отсутствіи всякихъ гражданскихъ убѣжденій и называли язычникомъ,—поэтъ, который только потому былъ нѣмецъ, что одному нѣмцу дано быть просто человѣкомъ, и который изъ глубины своей всеобъемлющей, но глубоко-эгоистической натуры извлекъ «Фауста». Большая часть «Фауста» была имъ написана до 1776 года, то-есть до переселенія въ Веймаръ, гдѣ онъ въ теченіе *восьми* лѣтъ предавался буйной и разгульной жизни, потѣшался надъ

ъ и надъ всѣми (что̀ не помѣшало ему, однакожъ, сдѣлаться
ilmrath'омъ), и вообще жилъ, какъ говорится, геніально. Бёттхеръ
угіе оставили намъ нѣсколько описаній тогдашняго его житья-
я, и мы, признаемся откровенно, понимаемъ вполнѣ педантиче-
негодованіе тогдашнихъ веймарскихъ гражданъ противъ такъ-
ваемыхъ «сильныхъ геніевъ» (Kraftgenies), т. е. противъ Гёте
) сподвижниковъ. Извѣстно, чѣмъ все это кончилось—«Итальян-
ь Путешествіемъ», «классическимъ успокоеніемъ» и появленіемъ
ества замѣчательныхъ, глубоко обдуманныхъ и округленныхъ
ній, которымъ мы все-таки предпочитаемъ добродушно-страст-
и безпорядочныя вдохновенія его молодости.

ы назвали «Фауста» эгоистическимъ произведеніемъ... но могло
ыть оно иначе? Гёте, этотъ защитникъ всего человѣческаго, зем-
этотъ врагъ всего ложно-идеальнаго и сверхъестественнаго, пер-
заступился за права—не человѣка вообще, нѣтъ—за права от-
наго, страстнаго, ограниченнаго человѣка; онъ показалъ, что въ
таится несокрушимая сила, что онъ можетъ жить безъ всякой
ней опоры, и что при всей неразрѣшимости собственныхъ со-
ій, при всей бѣдности вѣрованій и убѣжденій, человѣкъ имѣетъ
о и возможность быть счастливымъ и не стыдиться своего сча-
Фаустъ не погибъ же. Мы знаемъ, что человѣческое развитіе
ожетъ остановиться на подобномъ результатѣ; мы знаемъ, что
угольный камень человѣка не есть онъ самъ, какъ недѣлимая
ица, но человѣчество, общество, имѣющее свои вѣчные, незыб-
е законы. Первая протестація человѣка противъ сверхъесте-
ности въ художествѣ должна была носить рѣзкій отпечатокъ
очительности и эгоизма односторонняго. «Мы не имѣли», гово-
Гёте въ своихъ запискахъ, «ни желанія, ни стремленія зани-
ся предметами богословія или философіи»...

люди требуютъ высказаннаго примиренія; первая часть «Фау-
не представляла намъ ничего подобнаго. Да и какимъ образомъ
тъ человѣкъ, не выходя изъ сферы лично-человѣческаго, дойти
олнаго округленія своего существованія? Этотъ вопросъ мы и
ь разрѣшить не въ силахъ: что̀ же тогда? Но Гёте жилъ, и
долго; послѣ первыхъ восьми лѣтъ буйной веймарской жизни
тупила для него эпоха «успокоенія» и «пластичности»... «Фаустъ»—
трастное, неокругленное произведеніе его первой молодости —
авало ему покоя; онъ принялся оканчивать свою трагедію, онъ
палъ вторую часть. Поэтическая способность воспріимчивости и
зданія, которая всегда была такъ сильно развита въ душѣ Гёте,
ецъ стала ему дороже самаго содержанія, самой жизни; онъ
разилъ себѣ, что стоитъ на высотѣ созерцанія, между тѣмъ какъ
ѣлъ на все земное съ высоты своего холоднаго, устарѣлаго
ма. Онъ гордился тѣмъ, что всѣ великіе общественные перево-
которые совершались вокругъ него, не возмутили ни на мгно-
его душевной тишины; онъ, какъ утесъ, не далъ уносить
волнамъ—и остался назади своего вѣка, хотя его наблюдатель-
умъ старался оцѣнить и понять всѣ замѣчательныя современныя
нія; — но вѣдь однимъ умомъ не поймешь ничего живого. Онъ
правъ передъ самимъ собою, онъ не измѣнилъ себѣ, и согра-
е его, нѣмцы—даже молодые, любовались имъ и толпились во-
него, подобострастно повторяя его вычурно-старческія изре-
. Вся жизнь человѣческая являлась ему аллегоріей, и вотъ,
написалъ свою великую (правильнѣе—длинную) аллегорію: вто-

рую часть «Фауста». Судъ надъ этой второй частью теперь пр
несенъ окончательно; всѣ эти символы, эти типы, эти обдуман
группировки, эти загадочныя рѣчи, путешествіе «Фауста» въ дре
міръ, хитро-сплетенная связь всѣхъ этихъ аллегорическихъ лиц
происшествій, жалкое и бѣдное разрѣшеніе трагедіи, о кото
такъ много хлопотали,—вся эта вторая часть возбуждаетъ участі
однихъ старцахъ (молодыхъ или старыхъ годами) нынѣшняго п
лѣнія; и право, г. Вронченко могъ бы избавить себя отъ небла
наго, хотя и полезнаго труда, представить намъ эту вторую ч
даже въ извлеченіи. Но люди, повидимому, не могутъ жить
«примиренія жизненныхъ противорѣчій», и ихъ требованія дѣй
тельно были бы достойны уваженія, если бъ они не «примири
пока... на пустякахъ. Въ этой способности удовлетворяться не
влетворительнымъ—скрывается тайна успѣха (хотя переходя
второй части «Фауста». Какой добросовѣстный читатель повѣр
что Фаустъ, оттого, что его утилитарныя затѣи удаются, дѣй
тельно наслаждается «мгновеніемъ высшаго блаженства» и, въ
условія, заключеннаго съ чортомъ, принужденъ разстаться съ жиз
Гёте въ одномъ только отношеніи остался вѣренъ своей натурѣ:
не заставилъ Фауста искать блаженства внѣ человѣческой сфе
но какъ бѣдно и пошло придуманное имъ «примиреніе»! И г. В
ченко обвиняетъ Гёте за его конецъ второй части; но съ его у
ками мы согласиться не можемъ. Онъ говоритъ (на стр. 403): «
концѣ жизни Фаустъ чувствуетъ, что связавшись съ вол
ствомъ (?!!) онъ проклялъ тѣмъ себя самого и все его окружаю
онъ всего страшится и въ то же время полагаетъ, что далѣе зд
няго міра простирать взоръ не долженъ; онъ желаетъ выбиться
волю посредствомъ утилитарности и умираетъ, мечтая о дости
своей утилитарной цѣли. По смерти Фаустъ прощенъ: когда жъ
перестаетъ мудрствовать? (просимъ читателей обратить вниманіе
это слово; мы о немъ поговоримъ впослѣдствіи) — когда нахо
путь истинный? Разглагольствовать тутъ нечего, пьеса ясно и
ственно пришла не къ тому концу, къ которому придти должен
вала (т. е. Фаустъ не раскаялся въ томъ, что связался съ вол
ствомъ). Авторъ это видѣлъ и для поправленія дѣла сказалъ въ
слѣдней сценѣ, что прощеніе заслуживается «безпрерывностью и
нія»... съ чѣмъ г. Вронченко не можетъ согласиться. Мы, съ с
стороны, также недовольны «разрѣшеніемъ трагедіи», но не пот
что именно это разрѣшеніе ложно, а потому, что всякое разрѣш
Фауста ложно; потому, что не романтизму, только-что вышедш
изъ нѣдръ стараго общества, дано знать то, чего еще мы сами
знаемъ; потому, что всякое «примиреніе» Фауста внѣ сферы чел
ческой дѣйствительности— неестественно, а о другомъ примиреніи
пока можемъ только мечтать... Намъ скажутъ: такое заключеніе
отрадно; но, во-первыхъ, мы хлопочемъ не о пріятности, а
истинѣ нашихъ воззрѣній; во-вторыхъ, тѣ, которые толкуютъ о т
что неразрѣшенныя сомнѣнія оставляютъ за собою страшную
стоту въ человѣческой душѣ, никогда искренно и страстно не
давались тайной борьбѣ съ самими собою; они бы знали, что на
валинахъ системъ и теоріи остается одно неразрушимое, неистре
мое—наше человѣческое *я*, которое уже потому безсмертно, что д
оно, само не можетъ истребить себя... Такъ пусть же «Фауст
остается недоконченнымъ, фрагментарнымъ, какъ и то время, ко
рому онъ служилъ выраженіемъ, — время, для котораго страдани

радости Фауста были высшими страданіями и радостями, а иронія Мефистофеля—самой безжалостной ироніей! Въ недоконченности этой трагедіи заключается ея величіе. Въ жизни каждаго изъ насъ есть эпоха, когда «Фаустъ» намъ является самымъ замѣчательнымъ созданіемъ человѣческаго ума, когда онъ вполнѣ удовлетворяетъ всѣмъ нашимъ требованіямъ: но приходитъ другая пора, когда, не переставая признавать «Фауста» величавымъ и прекраснымъ произведеніемъ, мы идемъ впередъ, за другими, можетъ быть меньшими талантами, но сильнѣйшими характерами, къ другой цѣли... Повторяемъ, какъ поэтъ, Гёте не имѣетъ себѣ равнаго; но намъ теперь нужны не одни поэты... мы (и то, къ сожалѣнію, еще не совсѣмъ) стали похожи на людей, которые, при видѣ прекрасной картины, изображающей нищаго, не могутъ любоваться «художественностью воспроизведенія», но печально тревожатся мыслью о возможности нищихъ въ наше время.

Мы въ началѣ статьи напомнили читателямъ Лермонтовскій стихъ: «Какое дѣло намъ, страдалъ ты или нѣтъ...» Но теперь, переходя собственно къ разбору перевода г. Вронченко, не можемъ не сознаться, что всякій истинно-великій поэтъ имѣетъ право сказать намъ, профанамъ: «Какое дѣло мнѣ — нравлюсь ли я вамъ или нѣтъ?» Мы укоряемъ его въ односторонности, въ томъ, что онъ не удовлетворяетъ современнымъ требованіямъ; но талантъ—не космополитъ: онъ принадлежитъ своему народу и своему времени. Онъ имѣетъ право существовать, не дожидаясь сужденія другихъ. Счастливъ тотъ, кто можетъ свое случайное созданіе (всякое созданіе отдѣльной личности случайно) возвести до исторической необходимости, означить имъ одну изъ эпохъ общественнаго развитія; но великъ тотъ, кто подобно Гёте выразилъ собою всю современную жизнь—и въ созданіяхъ, въ образахъ проводитъ передъ глазами своего народа то, что́ жило въ груди каждаго, но часто не могло высказаться даже словомъ... Одно лишь настоящее, могущественно выраженное характерами или талантами, становится неумирающимъ прошедшимъ...

Въ старинныхъ учебникахъ находится всегда параграфъ о пользѣ той наукѣ, о которой идетъ рѣчь. Вѣроятно, читатели избавятъ насъ отъ обязанности доказывать пользу перевода «Фауста» на русскій языкъ. Трудъ г. Вронченко достоинъ уваженія и благодарности, хотя мы уже теперь принуждены сознаться, что его никакъ нельзя считать окончательнымъ. Но только со времени появленія этого перевода наша публика познакомится съ «Фаустомъ» Гёте. Мы боимся одного... мы боимся такъ-называемаго succès d'estime, потому что трудъ г. Вронченко лишенъ именно того, что́ по справедливости нравится читателямъ, — лишенъ всякаго поэтическаго колорита. А намъ бы весьма хотѣлось, чтобъ русская публика прочла — и прочла со вниманіемъ—«Фауста»! Несмотря на свою германскую наружность, онъ, можетъ-быть, понятнѣй намъ, чѣмъ всякому другому народу. Правда, мы, русскіе, не черезъ знаніе стараемся достигнуть жизни; всѣ наши сомнѣнія, наши убѣжденія возникаютъ и проходятъ иначе, чѣмъ у нѣмцевъ; наши женщины не походятъ на Гретхенъ; нашъ бѣсъ—не Мефистофель... Нашему здравому смыслу многое въ «Фаустѣ» покажется страннымъ и вычурнымъ (напр., золотая свадьба Оберона и Титаніи, это интермеццо, въ которомъ уже начинаетъ проявляться страсть Гёте къ аллегоріямъ); но вообще весь «Фаустъ» долженъ спасительно на насъ подѣйствовать; онъ въ насъ пробудитъ много

размышленій... И, можетъ-быть, мы, читая «Фауста», поймемъ, наконецъ, что разложеніе элементовъ, составляющихъ общество — не всегда признакъ смерти... Мы не будемъ безсмысленно преклоняться передъ «Фаустомъ», потому что мы русскіе; но поймемъ и оцѣнимъ великое твореніе Гёте, потому что мы европейцы... Насъ не испугаетъ отсутствіе «примиренія», о которомъ мы говорили выше; мы — какъ народъ юный и сильный, который вѣритъ и имѣетъ право вѣрить въ свое будущее,—не очень-то хлопочемъ объ округленіи и завершеніи нашей жизни и нашего искусства.

Г-нъ Вронченко, кромѣ перевода первой части «Фауста» и изложенія второй, помѣстилъ въ своей книгѣ довольно длинную статью, подъ заглавіемъ: «Обзоръ обѣихъ частей «Фауста».

Не можемъ не пожалѣть, что почтенный переводчикъ почелъ за нужное напечатать эту статью. Въ этомъ «Обзорѣ» непріятно поражаетъ читателя какое-то странное озлобленіе противъ философіи и разума вообще, и противъ нѣмецкихъ ученыхъ въ особенности. Г-нъ Вронченко называетъ ихъ «толковниками» и увѣряетъ: «что, нѣтъ сомнѣнія, и изъ Бовы-Королевича выйдетъ подтвержденіе какой угодно философической системы». Мы очень хорошо знаемъ, что у каждаго народа есть свои слабости; знаемъ, что, напр., вторая часть «Фауста» подала поводъ нѣкоторымъ ограниченнымъ головамъ написать длинныя и хитросплетенныя книги, и что эти книги читались, потому что добросовѣстные нѣмцы все читаютъ; мы даже готовы сознаться, что творенія гг. Рётчера, Гёшеля и др., пользовались нѣкоторой славой въ свое время; но, вѣроятно, г. Вронченко не думаетъ, что онъ первый открылъ недостатки второй части «Фауста» и ограниченность гг. комментаторовъ; все это уже de l'histoire ancienne въ Германіи; стоитъ только указать на рядъ статей автора книги «О возвышенномъ и комическомъ»—Фишера, въ «Hallische Jahrbücher» 1839 года подъ названіемъ: «Die Litteratur über Göthe's Faust». Вообще, новѣйшее, современное движеніе умовъ въ Германіи, какъ намъ кажется, не вполнѣ знакомо г. переводчику: онъ бы не сталъ нападать такъ пространно и съ такимъ жаромъ (см. стр. 373, 4, 5 и 6) на «толкованья», «толкователей», ихъ «противорѣчія» и т. д., если бъ зналъ, что воюетъ съ мертвыми; статьи того же Фишера, исполненныя такой злой и неумолимой иронiи, вѣроятно, отняли бы у него охоту въ свою очередь потѣшаться надъ «дряхлѣющимъ умомъ, который, какъ одѣтинѣвшій старикъ, забавляется калейдоскопомъ мудрствованія». И между тѣмъ, г. Вронченко, несмотря на свою нелюбовь къ «подразумѣнію», «толкованію» и «систематизированію», первый впадаетъ въ ту же самую погрѣшность. Рѣшившись руководствоваться «единственно здравымъ разсудкомъ», г. Вронченко приступаетъ къ разбору характера «Фауста», къ оцѣнкѣ мотивовъ трагедіи. И что же, г. переводчикъ самъ строитъ всѣ свои выводы даже не на гипотезѣ, а на ложномъ переводѣ одного слова: «streben», несмотря на то, что самъ сознается въ неточности своего перевода. Слово: «мудрствовать», взятое отдѣльно, не можетъ служить переводомъ нѣмецкаго: «streben», говоритъ онъ въ примѣч. къ стр. 380. Разумѣется, не можетъ, потому что «streben» по-русски значитъ «стремиться», не болѣе и не менѣе: не можетъ, но должно... должно повиноваться здравому разсудку. Дѣло вотъ въ чемъ: во второмъ прологѣ, Духъ говоритъ Мефистофелю:

«Es irrt der Mensch, so lang er strebt».

(Т.-е. человѣкъ заблуждается, пока только стремится).

Г-нъ Вронченко перевелъ этотъ стихъ слѣдующимъ образомъ:

«Человѣкъ
«Радъ мудрствовать во весь свой вѣкъ;
«А мудрствуя, нельзя не заблуждаться». (Стр. 18).

И на этомъ, явно-неточномъ, переводѣ онъ основываетъ всѣ дальнѣйшіе свои выводы! Вотъ собственныя слова г. переводчика: «Что авторъ себѣ предположилъ касательно хода и окончанія пьесы? На это находимъ въ прологѣ отвѣтъ самый положительный. Мефистофель будетъ вести Фауста своимъ путемъ, но до цѣли не достигнетъ: Фаустъ найдетъ себѣ путь истинный, найдетъ именно тогда, когда перестанетъ мудрствовать. Замѣтимъ это послѣднее положеніе. Оно неизбѣжно истекаетъ изъ того, что «мудрствуя нельзя не заблуждаться». Т.-е. г. Вронченко привязывается къ одному словечку... не точно ли такъ же поступаютъ тѣ комментаторы, на которыхъ г. переводчикъ такъ побѣдоносно нападаетъ? Г-нъ Вронченко до того увлекся своею системою воззрѣнія на «Фауста», что даже въ двухъ или трехъ мѣстахъ своего перевода съ намѣреніемъ искажаетъ смыслъ подлинника, напримѣръ:

У Гёте (въ сценѣ ученика съ Мефистофелемъ) ученикъ говоритъ:

«Möchte gern was rechts hier auslernen».
(Т.-е., я бы желалъ здѣсь чему-нибудь дѣльному научиться);

г. Вронченко переводитъ:

Хочу чѣмъ дѣльнымъ голову набить». (Стр. 84)—

между тѣмъ какъ слова «голову набить» явно противорѣчатъ робкому, неопытному и смиренному характеру ученика. Далѣе, на стр. 88, онъ заставляетъ того же ученика спросить у чорта:

«Не въ философію ль залѣзть мнѣ, наконецъ?»

а у Гёте сказано:

«Я почти готовъ заняться философіей»—

и т. д. Ненависть къ «мудрствованію» побѣждаетъ въ почтенномъ переводчикѣ собственную его добросовѣстность, не подлежащую никакому сомнѣнію: онъ переводитъ невѣрно... не переставая руководиться здравымъ разсудкомъ. Читатель легко пойметъ изъ всего, нами сказаннаго выше, что мы совершенно несогласны съ г. Вронченко насчетъ его воззрѣнія на Фауста, Мефистофеля и т. д.—не потому, что слишкомъ просто, а потому, что оно слишкомъ сложно и хитро. Мы, подобно г. переводчику, не любимъ ни толкованій, ни аллегорій, ни комментаріевъ: насъ занимаетъ одно чисто-человѣческое, одно просто-истинное; г. переводчикъ говоритъ, что Мефистофель есть «олицетворенное отрицаніе», и мы вполнѣ согласились бы съ нимъ, если бъ онъ удовлетворялся своимъ опредѣленіемъ и постарался вникнуть поглубже въ собственныя слова; но вдругъ то же самое «олицетворенное отрицаніе» является у г. переводчика какимъ-то личнымъ, капризнымъ духомъ, чѣмъ-то въ родѣ Бертрама въ «Робертѣ Дьяволѣ», мелодраматическимъ чортомъ, который въ одно прекрасное утро говоритъ самому себѣ: «Дай-ка, погублю я этого добродѣтельнаго человѣка, Фауста!» И вотъ, по словамъ г. Вронченко (на стр. 388), «со времени знакомства съ Мефистофелемъ въ Фаустѣ исчезаютъ всѣ утѣшительныя мысли»... Но какъ же это? вѣдь Фаустъ хотѣлъ отравиться до знакомства съ чортомъ? Куда же на это

размышленій... И, можетъ-быть, мы, читая «Фауста», поймемъ, наконецъ, что разложеніе элементовъ, составляющихъ общество — не всегда признакъ смерти... Мы не будемъ безсмысленно преклоняться передъ «Фаустомъ», потому что мы русскіе; но поймемъ и оцѣнимъ великое твореніе Гёте, потому что мы европейцы... Насъ не испугаетъ отсутствіе «примиренія», о которомъ мы говорили выше; мы — какъ народъ юный и сильный, который вѣритъ и имѣетъ право вѣрить въ свое будущее,—не очень-то хлопочемъ объ округленіи и завершеніи нашей жизни и нашего искусства.

Г-нъ Вронченко, кромѣ перевода первой части «Фауста» и изложенія второй, помѣстилъ въ своей книгѣ довольно длинную статью, подъ заглавіемъ: «Обзоръ обѣихъ частей «Фауста».

Не можемъ не пожалѣть, что почтенный переводчикъ почелъ за нужное напечатать эту статью. Въ этомъ «Обзорѣ» непріятно поражаетъ читателя какое-то странное озлобленіе противъ философіи и разума вообще, и противъ нѣмецкихъ ученыхъ въ особенности. Г-нъ Вронченко называетъ ихъ «толковниками» и увѣряетъ: «что, нѣтъ сомнѣнія, и изъ Бовы-Королевича выйдетъ подтвержденіе какой угодно философической системы». Мы очень хорошо знаемъ, что у каждаго народа есть свои слабости; знаемъ, что, напр., вторая часть «Фауста» подала поводъ нѣкоторымъ ограниченнымъ головамъ написать длинныя и хитросплетенныя книги, и что эти книги читались, потому что добросовѣстные нѣмцы все читаютъ; мы даже готовы сознаться, что творенія гг. Рётчера, Гёшеля и др., пользовались нѣкоторой славой въ свое время; но, вѣроятно, г. Вронченко не думаетъ, что онъ первый открылъ недостатки второй части «Фауста» и ограниченность гг. комментаторовъ; все это уже de l'histoire ancienne въ Германіи; стоитъ только указать на рядъ статей автора книги «О возвышенномъ и комическомъ»—Фишера, въ «Hallische Jahrbücher» 1839 года подъ названіемъ: «Die Litteratur über Göthe's Faust». Вообще, новѣйшее, современное движеніе умовъ въ Германіи, какъ намъ кажется, не вполнѣ знакомо г. переводчику: онъ бы не сталъ нападать такъ пространно и съ такимъ жаромъ (см. стр. 373, 4, 5 и 6) на «толкованья», «толкователей», ихъ «противорѣчія» и т. д., если бъ зналъ, что воюетъ съ мертвыми; статьи того же Фишера, исполненныя такой злой и неумолимой иронiи, вѣроятно, отняли бы у него охоту въ свою очередь потѣшаться надъ «дряхлѣющимъ умомъ, который, какъ одѣтинѣвшій старикъ, забавляется калейдоскопомъ мудрствованія». И между тѣмъ, г. Вронченко, несмотря на свою нелюбовь къ «подразумѣнію», «толкованію» и «систематизированію», первый впадаетъ въ ту же самую погрѣшность. Рѣшившись руководствоваться «единственно здравымъ разсудкомъ», г. Вронченко приступаетъ къ разбору характера «Фауста», къ оцѣнкѣ мотивовъ трагедіи. И что же, г. переводчикъ самъ строитъ всѣ свои выводы даже не на гипотезѣ, а на ложномъ переводѣ одного слова: «streben», несмотря на то, что самъ сознается въ неточности своего перевода. Слово: «мудрствовать», взятое отдѣльно, не можетъ служить переводомъ нѣмецкаго: «streben», говоритъ онъ въ примѣч. къ стр. 380. Разумѣется, не можетъ, потому что «streben» по-русски значитъ «стремиться», не болѣе и не менѣе; не можетъ, но должно... должно повиноваться здравому разсудку. Дѣло вотъ въ чемъ: во второмъ прологѣ, Духъ говоритъ Мефистофелю:

«Es irrt der Mensch, so lang er strebt».

(Т.-е. человѣкъ заблуждается, пока только стремится).

Г-нъ Вронченко перевелъ этотъ стихъ слѣдующимъ образомъ:

«Человѣкъ
«Радъ мудрствовать во весь свой вѣкъ;
«А мудрствуя, нельзя не заблуждаться». (Стр. 18).

И на этомъ, явно-неточномъ, переводѣ онъ основываетъ всѣ дальнѣйшіе свои выводы! Вотъ собственныя слова г. переводчика: «Что авторъ себѣ предположилъ касательно хода и окончанія пьесы? На это находимъ въ прологѣ отвѣтъ самый положительный. Мефистофель будетъ вести Фауста своимъ путемъ, но до цѣли не достигнетъ: Фаустъ найдетъ себѣ путь истинный, найдетъ именно тогда, когда перестанетъ мудрствовать. Замѣтимъ это послѣднее положеніе. Оно неизбѣжно истекаетъ изъ того, что «мудрствуя нельзя не заблуждаться». Т.-е. г. Вронченко привязывается къ одному словечку... не точно ли такъ же поступаютъ тѣ комментаторы, на которыхъ г. переводчикъ такъ побѣдоносно нападаетъ? Г-нъ Вронченко до того увлекся своею системою воззрѣнія на «Фауста», что даже въ двухъ или трехъ мѣстахъ своего перевода съ намѣреніемъ искажаетъ смыслъ подлинника, напримѣръ:

У Гёте (въ сценѣ ученика съ Мефистофелемъ) ученикъ говоритъ:

«Möchte gern was rechts hier auslernen».
(Т.-е., я бы желалъ здѣсь чему-нибудь дѣльному научиться);

г. Вронченко переводитъ:

Хочу чѣмъ дѣльнымъ голову набить». (Стр. 84)—

между тѣмъ какъ слова «голову набить» явно противорѣчатъ робкому, неопытному и смиренному характеру ученика. Далѣе, на стр. 88, онъ заставляетъ того же ученика спросить у чорта:

«Не въ философію ль залѣзть мнѣ, наконецъ?»

а у Гёте сказано:

«Я почти готовъ заняться философіей»—

и т. д. Ненависть къ «мудрствованію» побѣждаетъ въ почтенномъ переводчикѣ собственную его добросовѣстность, не подлежащую никакому сомнѣнію: онъ переводитъ невѣрно... не переставая руководиться здравымъ разсудкомъ. Читатель легко пойметъ изъ всего, нами сказаннаго выше, что мы совершенно несогласны съ г. Вронченко насчетъ его воззрѣнія на Фауста, Мефистофеля и т. д.—не потому, что слишкомъ просто, а потому, что оно слишкомъ сложно и хитро. Мы, подобно г. переводчику, не любимъ ни толкованій, ни аллегорій, ни комментаріевъ: насъ занимаетъ одно чисто-человѣческое, одно просто-истинное; г. переводчикъ говоритъ, что Мефистофель есть «олицетворенное отрицаніе», и мы вполнѣ согласились бы съ нимъ, если бъ онъ удовлетворялся своимъ опредѣленіемъ и постарался вникнуть поглубже въ собственныя слова; но вдругъ то же самое «олицетворенное отрицаніе» является у г. переводчика какимъ-то личнымъ, капризнымъ духомъ, чѣмъ-то въ родѣ Бертрама въ «Робертѣ Дьяволѣ», мелодраматическимъ чортомъ, который въ одно прекрасное утро говоритъ самому себѣ: «Дай-ка, погублю я этого добродѣтельнаго человѣка, Фауста!» И вотъ, по словамъ г. Вронченко (на стр. 388), «со времени знакомства съ Мефистофелемъ въ Фаустѣ исчезаютъ всѣ утѣшительныя мысли»... Но какъ же это? вѣдь Фаустъ хотѣлъ отравиться до знакомства съ чортомъ? Куда же на это

время дѣвались эти утѣшительныя мысли?.. Далѣе (на стр. 389) г. переводчикъ утверждаетъ, что «сущное дѣло» для Мефистофеля «завлечь желаемую свою жертву въ губящія душу преступленія». Бертрамъ, совершенный Бертрамъ!.. Мы позволяемъ себѣ замѣтить г. переводчику, что борьба демона съ человѣкомъ годится только въ оперы г. Скриба и комп.; что, допустивъ подобное толкованіе трагедіи Гёте, мы никогда не поймемъ, почему слова Мефистофеля возбуждаютъ такое глубокое сочувствіе въ душѣ Фауста; изъяснить же это сочувствіе однимъ магическимъ вліяніемъ бѣса на человѣка, значитъ превращать великую трагедію въ довольно пошлую мелодраму. Да! (и пусть г. переводчикъ насъ упрекаетъ въ страсти къ толкованіямъ) Фаустъ есть тотъ же Мефистофель, или, говоря точнѣе, Мефистофель есть отвлеченный, олицетворенный элементъ цѣлаго человѣка Фауста, «олицетворенное отрицаніе», говоря собственными словами г. Вронченко. Всякій «не мудрствующій» не можетъ не чувствовать внутренней, неразрывной связи, соединяющей Фауста съ Мефистофелемъ; онъ не можетъ не признать въ этихъ двухъ фигурахъ проявленія одной и той же личности — личности творца ихъ. Мы не думаемъ вдаваться въ «толкованія»; напротивъ, для тѣхъ читателей, которые, можетъ-быть, нашли наши разсужденія о Фаустѣ слишкомъ «хитро-сплетенными», мы готовы самымъ простымъ, самымъ наивнымъ образомъ изложить свое мнѣніе о трагедіи Гёте: и Фаустъ, и Мефистофель — тотъ же Гёте: восторженные порывы, страстная тоска фантазирующаго ученаго такъ же непосредственно вытекли изъ сердца поэта, такъ же дороги и близки ему, какъ и безжалостная насмѣшка, холодная иронія Мефистофеля... Позвольте разсказать анекдотъ, который лучше всякихъ доводовъ подтвердитъ истину нашихъ словъ. Во время перваго путешествія Гёте съ братьями Штольбергами въ Швейцаріи, одинъ изъ нихъ былъ страсто влюбленъ въ дѣвушку, на которой не могъ жениться; самъ Гёте находился подъ вліяніемъ своей Лили. Гдѣ-то, за обѣдомъ, молодые люди разговорились о своихъ «любезныхъ», стали пить за ихъ здоровье, пришли въ восторгъ, и Штольбергъ предложилъ выбросить всѣ стаканы за окошко, для того, чтобы никто другой не могъ потомъ осквернить своими прозаическими губами тѣ стаканы, изъ которыхъ они пили за здоровье «возлюбленныхъ». Стаканы полетѣли за окно, и Гёте бросилъ свой... «но въ это время», говоритъ онъ потомъ: «мнѣ показалось, что Меркъ стоитъ за мною и смотритъ на меня»... Вѣроятно, нашимъ читателямъ извѣстно имя этого человѣка, который послужилъ Гёте типомъ Мефистофеля и застрѣлился на 52 году своей жизни. Присутствіе элемента отрицанія, «рефлексіи», въ каждомъ живомъ человѣкѣ составляетъ отличительную черту нашей современности; рефлексія—наша сила и наша слабость, наша гибель и наше спасеніе... Рефлектировать значитъ по-русски: «размышлять о собственныхъ чувствахъ». Но, скажутъ намъ: Мефистофель и Фаустъ въ трагедіи Гёте являются двумя отдѣльными лицами, которыя дѣйствуютъ другъ на друга: но кто же намъ даетъ право смотрѣть на нихъ, какъ на одно нераздѣльное цѣлое, какъ на проявленіе одного, полнаго человѣка? На этотъ вопросъ мы сперва отвѣтимъ собственными словами г. переводчика (на стр. 378): «Мы постоянно должны заботиться еще объ одномъ, не смѣшивать сущности предмета съ его поэтической обстановкой», и прибавимъ отъ себя, что слова «поэтическая обстановка» далеко не выражаютъ всей нашей мысли. Гёте, этотъ, по преимуществу творческій геній, не могъ не создавать опредѣлен-

ныхъ, дѣйствительныхъ образовъ, а потому Мефистофель является у него—въ первой части — не блѣдной аллегоріей, но существомъ живымъ и дѣятельнымъ человѣкомъ, такимъ же, какъ и Фаустъ. Но развѣ мы въ жизни не стараемся «понять» людей? Почему жъ намъ отказываться отъ права понимать художественныя созданія, какъ бы они ни были живы и дѣйствительны? Притомъ, истина нашего воззрѣнія (а мы повторяемъ только то, что давно сказано нѣмцами, которыхъ мы не позволяемъ себѣ не уважать) такъ и бросается въ глаза даже поверхностному наблюдателю. Напримѣръ, не самъ ли Фаустъ говоритъ Мефистофелю (въ переводѣ г. Вронченко):

«Настанетъ день... его я съ трепетомъ встрѣчаю;
Я слезы лить готовъ... я знаю,
Что онъ пройдетъ, пройдетъ, ни одного
Не совершивъ желанья моего!
Что всѣ надежды наслажденій
Онъ дерзкою насмѣшкой истребитъ
И повседневности уродствомъ исказитъ
Изящный міръ моихъ видѣній!»

Послѣдніе четыре стиха неудовлетворительно переведены; у Гёте сказано:

Der selbst die Ahnung jeder Lust
Mit eigensinn'gem Krittel mindert,
Die Schöpfung meiner regen Brust
Mit tausend Lebensfratzen hindert;

а это по-русски значитъ:

(День)... который даже предчувствіе наслажденья
Ослабляетъ своей упрямой критикой
И тысячью жизненными вычурами (причудами, развлеченіями)
Не даетъ развиться созданію моей живой груди.

А проклятіе Фауста? а слова его:

«Когда мгновенью я скажу:
Не улетай! ты такъ прекрасно!
Я самъ тогда погибнуть буду радъ...»

А слова Мефистофеля (неудовлетворительно переведенныя г. Вронченко):

Und hätt' er sich dem Teufel nicht ergeben,
Er müsste doch zu Grunde geh'n!

Т.-е.: «И если бъ онъ даже чорту не отдался — онъ бы все-таки погибъ»—
не изобличаютъ ли всѣ эти, почти на-удачу выбранныя нами, мѣста присутствіе въ Фаустѣ того самаго отрицательнаго элемента, который олицетворился въ Мефистофелѣ? Впрочемъ, читателямъ, раздѣляющимъ наше мнѣніе, мы болѣе не станемъ доказывать то, что̀ въ нашихъ глазахъ ясно само собою; а чтобъ читателямъ, не согласнымъ съ нами, дать понять о томъ, какъ развиваетъ г. переводчикъ свое собственное воззрѣніе на Фауста, считаемъ долгомъ привести нѣсколько мѣстъ изъ его обзора:

На стр. 387: «Бертрамъ... виноватъ,—Мефистофель не могъ имѣть охоты подпасть подъ власть Фауста умышленно, а Фаустъ не только не желалъ завладѣть Мефистофелемъ, но и не думалъ о немъ вовсе»...

На стр. 391: «Мефистофель (познакомивъ Фауста съ Гретхенъ) могъ бы похвалиться, что сдѣлалъ значительный шагъ къ достиженію своей цѣли; однакожъ онъ тѣмъ не хвалится, онъ видитъ, что вмѣстѣ съ гибельною для Маргариты страстію, въ сердцѣ Фауста пробудились и другія чувствованія, вовсе для чорта нежелательныя: страхъ, жалость и раскаяніе...»

Не можемъ не замѣтить почтенному переводчику, что онъ самъ опять немного «мудрствуетъ» насчетъ любви Фауста съ Гретхенъ...

На стр. 393: «Фаустъ покидаетъ Маргариту — покидаетъ потому, что съ любовью сталъ знать и жалость, видѣть преступность своего поведенія» и т. д.

А вотъ оцѣнка поэтическаго таланта Гёте (на стр. 418):

«Онъ во всякомъ сочиненіи за важное и главное почиталъ сущность, существо, смыслъ, направленіе... все же остальное, отдѣлку и языкъ, называлъ одеждою, которая можетъ быть сдѣлана такъ или иначе, лучше или хуже, безъ значительнаго вліянія на достоинства цѣлаго».

Неужели это похоже на Гёте, на пластическаго, пантеистическаго Гёте, который не допускалъ разъединенія идеи и формы, на того Гёте, который сказалъ:

Nichts ist innen! Nichts ist aussen!
Denn was innen ist—ist draussen!

и въ глазахъ котораго форма, эта внѣшняя одежда, по словамъ г. Вронченко, относилась къ идеѣ, какъ тѣло къ душѣ! Сверхъ того, на стр. 375, сказано: «если слушать мистиковъ, то Фаустъ ясно и неоспоримо написанъ въ духѣ мистицизма»; мы покорнѣйше попросили бы г. переводчика назвать намъ этихъ мистиковъ по именамъ... На стр. 427, г. переводчикъ, говоря объ открытіяхъ Гёте, увѣряетъ, что ни одно изъ мнимыхъ его открытій не признано за дѣльное, и что «всѣ они въ ученомъ мірѣ уже забыты—разумѣется само собою». Г-нъ Вронченко позволитъ намъ замѣтить ему, что Гётева теорія о цвѣтахъ принята почти всѣми учеными...

Обратимся, наконецъ, къ самому переводу. Какого бы мнѣнія ни былъ переводчикъ объ авторѣ, имъ переводимомъ, если онъ хорошо исполнилъ свое дѣло, онъ правъ передъ собой и передъ читателями. Посмотримъ, до какой степени удался г-ну Вронченко его, повторяемъ, добросовѣстный и благонамѣренный трудъ. Всякій переводъ назначенъ преимущественно для незнающихъ подлинника. Переводчикъ не долженъ трудиться для того, чтобъ доставить знающимъ подлинникъ случай оцѣнить, вѣрно или невѣрно передалъ онъ такой-то стихъ, такой-то оборотъ: онъ трудится для «массы». Какъ бы ни была предубѣждена масса читателей въ пользу переводимаго творенія, но и ее точно такъ же должно завоевать оно, какъ завоевало нѣкогда свой собственный народъ. Но на массу читателей дѣйствуетъ одно несомнѣнно-прекрасное, дѣйствуетъ одинъ талантъ; талантъ, творческій даръ, необходимъ переводчику; самая взыскательная добросовѣстность тутъ недостаточна. Что̀ можетъ быть рабски-добросовѣстнѣе дагерротипа? А между тѣмъ, хорошій портретъ не въ тысячу ли разъ прекраснѣе и вѣрнѣе всякаго дагерротипа? Заслуга переводчика чрезвычайно велика, но только тогда, когда ее дѣйствительно нельзя не признать заслугой. Многіе, не совсѣмъ бездарные, но и не даровитые люди охотно принимаются за переводы; переводя, они избавляются отъ необходимости прибѣгнуть къ собствен-

ной изобрѣтательности (которая, можетъ-быть, уже не разъ измѣнила имъ); они имѣютъ передъ собой готовый матеріалъ, и между тѣмъ, все же, они какъ будто создаютъ, какъ будто сочиняютъ. Но не такими воображаемъ мы себѣ истинно-хорошихъ переводчиковъ. Такія натуры попадаются довольно рѣдко. Ихъ нельзя назвать самостоятельными талантами, но они одарены глубокимъ и вѣрнымъ пониманіемъ красоты, уже выраженной другимъ, способностью поэтически воспроизводить впечатлѣнія, производимыя на нихъ любимымъ ихъ поэтомъ; элементъ воспріимчивости преобладаетъ въ нихъ, и собственный ихъ творческій даръ отзывается страдательностью, необходимостью опоры. Они по большей части бываютъ люди съ тонкимъ вкусомъ, съ развитой рефлексіей. Таковъ былъ Шлегель, таковъ былъ и Фоссъ. Невольная симпатія привлекаетъ ихъ къ тому поэту, котораго они стараются передать (вспомнимъ о Жуковскомъ и Шиллерѣ); всякій хорошій переводъ проникнутъ любовью переводчика къ своему образцу, понятной, разумной любовью, т.-е. читатель чувствуетъ, что между этими двумя натурами существуетъ дѣйствительная, непосредственная связь...

Г-нъ Вронченко только отчасти удовлетворяетъ этимъ требованіямъ. Мы съ удовольствіемъ отдаемъ полную справедливость его добросовѣстной отчетливости, его терпѣливому трудолюбію; онъ переводилъ «Фауста», какъ говорится, con amore—и многое, въ особенности роль Мефистофеля,—дѣйствительно ему удалось; но онъ не поэтъ, онъ даже не стихотворецъ; ему недоступно то, что составляетъ тайную гармонію стиха. Онъ въ предисловіи говоритъ, что «забота о гладкости стиховъ была дѣломъ не главнымъ, а послѣднимъ»... И мы не хлопочемъ о гладкости стиховъ, но о стихѣ вообще, котораго мы—признаемся откровенно—не находимъ у г. Вронченко. Ѣдкія, прозаичныя, отрывистыя рѣчи Мефистофеля переданы г. переводчикомъ, какъ мы уже сказали выше, часто весьма удачно, хоть иногда промелькиваетъ въ нихъ какое-то непріятное жартованье, которое совершенно чуждо нѣмецкому Мефистофелю: Мефистофель не юмористъ... Сцена у вѣдьмы, сцена въ «Домѣ сосѣдки» (стр. 134), даже очень хорошо переведены, хоть и здѣсь намъ не совсѣмъ нравятся слова: «милый простачина» (стр. 141), вложенныя въ уста Марты. Но, не говоря уже о лирическихъ мѣстахъ, которыми особенно изобилуетъ начало трагедіи, вся роль самого Фауста переведена вообще довольно неудачно, хотя вѣрно. Эта вѣрность не совсѣмъ насъ радуетъ—мы сейчасъ объяснимъ, почему. Чѣмъ болѣе переводъ намъ кажется не переводомъ, а непосредственнымъ, самобытнымъ произведеніемъ, тѣмъ онъ превосходнѣе; читатель не долженъ чувствовать ни малѣйшаго слѣда той ассимиляціи, того процесса, которому подвергается подлинникъ въ душѣ переводчика; хорошій переводъ есть полное превращеніе, метаморфоза. Такой переводъ не можетъ быть относительно шире или длиннѣе, или уже оригинала; плохіе же переводчики напоминаютъ собою дѣтей, которыя безпрестанно посредствомъ циркуля сравниваютъ разстоянія отъ глазъ до губъ и т. д. въ своемъ рисункѣ и въ оригиналѣ, и сами удивляются, что у нихъ выходитъ не то. Наше сравненіе, конечно, не примѣняется вполнѣ къ труду г. Вронченко... Но его трудъ—дѣйствительно трудъ... Это не источникъ, который свободно и легко бьетъ изъ нѣдръ земли: это колодецъ, изъ котораго со скрипомъ и визгомъ насосъ выкачиваетъ воду. Вамъ безпрестанно хочется воскликнуть: браво! еще одна трудность преодолѣна! между тѣмъ, какъ намъ бы не слѣдовало и

думать о трудностяхъ. Люди, не знающіе вовсе подлинника, но одаренные умомъ и вкусомъ, лучшіе судьи въ этомъ дѣлѣ; заставьте ихъ прочесть, вотъ, хоть бы эти стихи:

«Подобенъ не богамъ; да, *ясенъ жребій мой*,
Подобенъ червю я, *что въ прахъ обитаетъ*
И кормится, и тамъ, подъ *путника стопой*
Смерть и могилу *обрѣтаетъ* (стр. 35),—

ихъ, навѣрное, поразятъ слова, напечатанныя косыми буквами... И дѣйствительно, именно эти слова невѣрно передаютъ подлинникъ...

У Гёте сказано:

«Den Göttern gleich' ich nicht! Zu tief ist es gefühlt...
«Dem Wurme gleich' ich, der den Staub durchwühlt,
«Den, wie er sich im Staube nährend lebt,
«Des Wandrers Tritt vernichtet und begräbt»;

то-есть:

«Я подобенъ богамъ! *Слишкомъ глубоко я это чувствую...*
Я подобенъ червяку, который *роется въ пыли*,
И котораго, *какъ онъ тамъ въ пыли кормясь живетъ*,
Нога *прохожаго уничтожаетъ и погребаетъ*.

Какъ горько повтореніе этого слова «пыль!» какъ грустно звучитъ послѣднее слово «begräbt!» — Намъ скажутъ: перевесть «Фауста» чрезвычайно трудно... Согласны; но посредственность непріятна вездѣ, даже и въ переводахъ.

Повторяемъ: переводъ г. Вронченко вѣренъ, но мы уже сказали—какою вѣрностью. Мы не чувствуемъ единой, глубокой, общей связи между авторомъ и переводчикомъ, но находимъ много связокъ, какъ бы нитокъ, которыми каждое слово русскаго «Фауста» пришито къ соотвѣтствующему нѣмецкому слову. Въ иномъ случаѣ, даже самая рабская вѣрность — невѣрна. Напримѣръ, Маргарита говоритъ у г. Вронченко о Мефистофелѣ: «онъ мнѣ противенъ въ сердца глубинѣ»... Это переведено слово-въ-слово, и между тѣмъ, какой неловкій и тяжелый оборотъ! Г-нъ Вронченко большей частью переводилъ слова... одни слова—и поневолѣ скажешь:

«Все есть... одной бездѣлки нѣтъ:
Духовная ихъ связь ужъ улетѣла» (стр. 89).

Впрочемъ, и у г. Вронченко, кромѣ рѣчей Мефистофеля, большею частію удавшихся, находятся мѣста, переданныя художнически. Мы увѣрены, что всѣ читатели «Фауста» отрадно отдохнутъ на слѣдующихъ стихахъ (стр. 46):

«Взгляни на городъ: разостланъ въ долинѣ,
Отсюда онъ видится, какъ на картинѣ:
Быстро изъ узкихъ, старинныхъ воротъ
Сыплется плотной гурьбою народъ;
Всякій на солнце выходитъ сегодня
Праздновать день Воскресенья Господня.
Сами, воскреснувъ душой отъ трудовъ,
Забывшихъ о нуждахъ вседневныхъ заботу,
Всѣ изъ-подъ кровель тяжелаго гнету,
Изъ душныхъ рабочихъ, изъ тѣсныхъ домовъ,
Изъ храмовъ торжественно-сумрачной сѣни,

Изъ улицъ, сжатыхъ рядами строеній,
Бѣгутъ, чтобъ на волѣ въ усталую грудь
Вешній, цѣлебный воздухъ вдохнуть.
Посмотри, полюбуйся! повсюду, какъ волны,
Толпа дробится вблизи, вдалекѣ;
А тамъ, колыхаясь по свѣтлой рѣкѣ,
Несутся врозь веселые челны;
Вотъ, въ пристани, весь до-полна нагруженъ,
Оставался одинъ—и тотъ отплываетъ,
Куда ни взгляни—со всѣхъ сторонъ,
Даже съ горъ—цвѣтная одежда мелькаетъ»...

рекрасно... О, si sic omnia!—Мы сказали выше, что, по нашему нтію, напрасно г. переводчикъ заставилъ Мефистофеля *глумиться;* же возможность придать какой-нибудь колоритъ своему переводу ізываетъ нѣкоторую самостоятельность въ переводчикѣ, между ъ какъ все остальное передано довольно безцвѣтно. Сверхъ того, замѣтили, что во всѣхъ патетическихъ мѣстахъ г. переводчикъ бѣгаетъ къ славянскимъ словамъ, къ риторической напыщенности, ѣ неумѣстной и охлаждающей читателя—но въ особенности въ устѣ». Одно изъ главныхъ достоинствъ Гёте, даже въ сравненіи Шиллеромъ, состоитъ въ энергически-страстной простотѣ его а; въ самомъ «Тассѣ», въ «Ифигеніи», несмотря на художниче-, иногда изысканную отдѣлку стиха, находится гораздо менѣе измовъ, чѣмъ въ позднѣйшихъ сочиненіяхъ Шиллера, потому что те талантъ непосредственно выросъ изъ собственной, ежедневной жизни, и весь былъ проникнутъ чувствомъ дѣйствительности. лаемся на сказанное уже нами о совмѣстимости страстныхъ по-овъ въ душѣ Гёте съ чрезвычайно-тонкой и развитой способностью обладанія. Но, напримѣръ, въ первой сценѣ «Фауста» узнаетъ то патетическіе, стремительные стихи Гёте въ слѣдующихъ не-ротливыхъ стихахъ:

Почто вы, звуки, мощны и отрадны,
Меня здѣсь въ прахѣ ищете? къ чему?
Гремите тамъ, гдѣ къ вамъ сердца не хладны.
Я слышу благовѣстъ, но вѣры не *иму*...
А чудеса *суть чада* вѣры!
. . . . . .
Звучали *вѣще* въ тьмѣ колокола,
. . . . . .
Въ поля, лѣса я убѣгалъ,
Точилъ ручьями слезы умиленья...
. . . . . .
Воспоминаній дѣтскихъ сила
Претитъ мнѣ предпринять послѣдній, грозный шагъ
(стр. 39—40).

обще г. переводчикъ употребляетъ множество словъ, либо уста-ихъ, либо даже нерусскихъ. Слова: «возмогу», «почту», «днесь», си», «нарицать», «зане», «нѣкій», «млада» и т. п. попадаются о... Фаустъ говоритъ (стр. 28) Духу:

Снести твой зракъ я не имѣю силъ...

ихъ того, встрѣчаются слова и обороты въ родѣ слѣдующихъ акъ», «враздробь», «никто не вѣсть», «а что *творила*», «ухно-

веніе», «пялиться», и т. д., и т. д.; существительное въ родительномъ падежѣ безпрестанно стоитъ передъ тѣмъ словомъ, отъ котораго оно зависитъ; напримѣръ:

«Мечтавшій
«Быть *къ вѣчной истинѣ зерцалу близкимъ*».

Притомъ, мы принуждены повторить, что у г. переводчика нѣтъ *стиха*. Напримѣръ, возьмите извѣстное Посвященіе «Фауста». Оно написано у Гёте пяти-ямбнымъ стихомъ съ цезурой, исключая трехъ стиховъ:

«Und manche lieben Schatten steigen auf...
Die Seelen, denen ich die ersten sang—
Nach jenem stillen ernsten Geisterreich»,

и вы чувствуете, что отсутствіе цезуры какъ бы условлено самымъ содержаніемъ этихъ трехъ стиховъ. У г. Вронченко всѣ стихи Посвященія безъ цезуры и довольно тяжелы... Многимъ, можетъ-быть, наши замѣчанія покажутся мелкими придирками; но мы хотимъ доказать людямъ, одареннымъ музыкальнымъ ухомъ, что почтенный переводчикъ едва ли обладаетъ тѣмъ чувствомъ гармоніи, которое дается каждому поэту.—Смыслъ подлинника переданъ почти вездѣ вѣрно, исключая нѣкоторыхъ добровольныхъ отступленій и нѣсколькихъ недобровольныхъ ошибокъ. Въ числѣ первыхъ находятся такія, за которыя мы не почитаемъ себя въ правѣ порицать г. Вронченко, хотя намъ кажется, что лучше было бы вовсе пропустить иныя мѣста (какъ, напримѣръ, рѣчь Мефистофеля во второмъ прологѣ и т. д.); но попадаются и такія, въ которыхъ явно высказывается либо *презрѣніе къ мудрствованію*, либо неумѣстное желаніе усилить краски. Напримѣръ, Фаустъ у Гёте говоритъ: «напрасно станетъ *сухое размышленіе* (trocknes Sinnen) разгадывать эти священные знаки»; у г. Вронченко:

Но въ книгѣ знаковъ смыслъ толкуя,
Не властенъ *умъ* ихъ разгадать.

Фаустъ у г. Вронченко называетъ Вагнера «осломъ» и «глупцомъ»; Мефистофель толкуетъ о «покойчикѣ» Маргариты, о своей собственной «рожицѣ», о томъ, что Фаустъ «*дуритъ умомъ*»; одинъ горожанинъ употребляетъ слова: «дуютъ въ рыло» и т. д. Иные стихи совершенно невѣрно переданы, напримѣръ, что такое (стр. 1): «чѣмъ бытіе земное *изукрашало* прежде *свой полетъ?*» На стр. 15:

Моря колеблются; на *брегъ*
Недвижны горы и поля...

у Гёте сказано: «Вскипаетъ море широкими струями у подножья скалъ»; на стр. 67: «Тамъ славословіе(?) съ чистой любовью...» и т. д. и т. д. Встрѣчаются даже ошибки, показывающія незнаніе языка—не книжнаго, а разговорнаго. Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ. На стр. 66: «gute Mähr sagen» совсѣмъ не значитъ: «разсказать сказочку», а просто «поболтать»; на стр. 96, г. Вронченко почелъ одно весьма обыкновенное выраженіе: «aus dem letzten Loch pfeifen» («быть при послѣднемъ издыханіи» слово-въ-слово: «свистать изъ послѣдней дырочки») — за непристойность и, съ важностью добросовѣстнаго переводчика, перевелъ это выраженіе... какъ?—извольте справиться сами, почтенный читатель... На стр. 102: «Sie sind vom Rhein», значитъ

«они родомъ съ Рейна», а не «для нихъ—Рейнъ былъ по пути». На стр. 60, слова Мефистофеля къ Фаусту: «ну, иногда я позволю тебѣ самого себя обманывать», переведены:

«Я все *прочу* (?)
Авось тебѣ кой-чѣмъ пріятно поморочу...»

На стр. 168:

Вся сила въ ощущеньѣ...
Природа жъ звукъ и дымъ...

у Гёте сказано: «слово, названье» (Name). *Природа* здѣсь не имѣетъ смысла. На стр. 187, слова: «aus dem vergriffenen Büchelchen», переведены: «по книжкѣ *на обумъ*»; вмѣсто: «по захватанной (отъ употребленія запачканной, старой) книжкѣ». Г-нъ переводчикъ смѣшалъ слова: «ergreifen» и «vergreifen!» На стр. 221, почему слова Мефистофеля: «Vorbei, vorbei!» («мимо, мимо!»), переведены: «пускай ихъ! ѣдемъ!» и т. д. По крайней мѣрѣ, риема этого не требовала.

Неточныхъ выраженій также попадается чрезвычайно много. Кстати: напрасно г. Вронченко говоритъ въ предисловіи: «въ примѣчаніяхъ означены отступленія...» не всѣ отступленія означены въ примѣчаніяхъ! Сверхъ того, мы твердо убѣждены, что ни одинъ читатель не запомнитъ четырехъ стиховъ сряду изъ перевода г. Вронченко. Можетъ ли, напримѣръ, слѣдующее четверостишіе лечь кому-нибудь на память (мы уже не говоримъ о тѣхъ, которые знаютъ подлинникъ):

Фаустъ.

Да, мертвые глаза... видно, что съ участьемъ
Никто ихъ *въждей* не закрылъ...
Вотъ грудь, *на коей я восторги пилъ*,
Вотъ Гретхенъ, *бывшая мнѣ радостью и счастьемъ!*

Изъ всего сказаннаго мы выводимъ слѣдующее заключеніе: все, что могъ только сдѣлать добросовѣстный и трудолюбивый переводчикъ, не поэтъ, исполнено г. Вронченко... но это *все* не удовлетворяетъ читателя. Замѣчательно, что ни одинъ переводъ г. Вронченко (его «Макбетъ», «Гамлетъ») не считался окончательнымъ; другіе, и не безуспѣшно, принимались именно за тѣ же трагедіи. Какъ работа пріуготовительная, его переводы всегда приносили большую пользу: они знакомили публику съ произведеніями замѣчательными, возбуждали и поощряли другихъ; его «Макбетъ», его «Гамлетъ» отличаются довольно опредѣленнымъ колоритомъ; мы не можемъ забыть, что любовь къ Шекспиру собственно *имъ* возбуждена въ кругу нашихъ читателей. Но «Фаустъ» Гёте, сознаемся откровенно, превзошелъ его силы; такая опредѣленная, страстная, глубоко-поэтическая личность могла быть передана только другимъ поэтомъ... Безспорно, переводъ г. Вронченко несравненно выше какого-нибудь вялаго подражанія «Фаусту», написаннаго пустозвонными ямбами; читатели съ удовольствіемъ и пользою прочтутъ этотъ новый переводъ; но считать трудъ г. Вронченко окончательнымъ мы не можемъ, хотя и будемъ удовлетворяться имъ до тѣхъ поръ, пока не явится der rechte Mann, какъ говорятъ нѣмцы.

Мнѣніе наше о самомъ «Фаустѣ» извѣстно читателямъ; нѣмцамъ пора бы оторваться отъ слишкомъ исключительнаго поклоненія «Фаусту» (мы еще недавно читали стихотвореніе г. Карріера, въ которомъ онъ называетъ «Фауста» das Buch des Lebens), потому что

своимъ прошедшимъ, какъ бы оно прекрасно ни было, слиш
долго любоваться не слѣдуетъ; пора, давно пора нѣмцу-Фаусту и
изъ своей кельи, въ которой онъ все еще сидитъ о-бокъ съ В
ромъ, такъ же какъ и императоръ Фридрихъ, въ народныхъ с
ніяхъ, сидитъ и дремлетъ подъ землей *); пора ему перестать
маться трансцендентальными вопросами... но на насъ, русс
«Фаустъ» не можетъ имѣть подобное вліяніе: мы вообще не
чаемся опредѣленностью и неподвижностью убѣжденій; напро
скорѣе слѣдуетъ бояться, что «Фаустъ» пройдетъ у насъ дов
незамѣтно, не возбудивъ въ насъ особеннаго размышленія,
болѣе, что трудъ г. Вронченко — трудъ огромный и добросовѣст
кромѣ холодной благодарности, ни отъ кого не получитъ другой
Какъ быть! Это пока общая у насъ участь всѣхъ подобныхъ тру

«Отеч. Зап.», 1845 г., № 1.

II.—«Новоселье». Часть третья. Санктпетербургъ. 18
Изданіе Александра Смирдина. Въ 8-ю д. л. 506 с

У меня есть пріятель, котораго я уважаю отъ души. Не забо
о томъ, что волнуетъ людей, онъ только думаетъ объ обѣдѣ. О
у него всегда удивительный: обѣдаютъ обыкновенно девять челов
десятымъ бы онъ родного отца не пустилъ. Какъ-то на-дняхъ
него обѣдалъ. Тутъ былъ и англоманъ Ч., и ученый С.. и в
веселый Б., и алхимикъ О., и художникъ Г., и литераторъ С., и в
ранъ петербургскихъ гастрономовъ, мудрецъ по учености, худож
по влеченію, тотъ, чья душа забыла состарѣться съ годами.
обѣдѣ и говорить нечего—хозяинъ былъ доволенъ. Послѣ обѣда
валились по разнымъ кушеткамъ и кресламъ, и закурили; но с
собесѣдники мои разошлись; кого увлекъ преферансъ, кого бильяр
Я остался одинъ. Оставшись одинъ, самъ не знаю отчего, вспом
я о милой княжнѣ и началъ объ ней думать. Я не влюбленъ
нее; она княжна древняго рода, мать ея штатсъ-дама... вся пе
бургская знать ей сродни; у ней такъ много брильянтовъ, она
недоступно-величава, такъ холодна и такъ богата. Я не влюб
въ нее... я боюсь ея... мы съ ней большіе пріятели, говоримъ,
обыкновенію, о пустякахъ. До сихъ поръ я до нея самой не добра
Жизнь ея, мысли, чувства, душа — все это загадка... Мнѣ ви
кажется, что въ этой женщинѣ должны быть два существа: о
ангелъ, другое кукла. Куклой она, можетъ-статься, старается б
Но кто знаетъ, найдется, можетъ-быть, человѣкъ, для котораго
захочетъ быть ангеломъ... Богъ-знаетъ, куда бы унесли меня
мечтанія, если бъ не пришелъ хозяинъ и не сталъ звать меня
балъ: «Можетъ-быть, вы и увидите тамъ кого-нибудь... понимаете
прибавилъ онъ, щуря лѣвый глазъ. Я повиновался, и черезъ
сколько времени мы уже подъѣзжали къ иллюминованному подъѣ
великолѣпнаго дома. Балъ, какъ балъ. Кареты, кучера, цвѣты, ливр
ковры, обнаженныя плечи, люстры, мундиры и фраки. Душно, жа
Я сталъ въ уголку танцовальной залы, гдѣ танцы обращались
давку; недалеко отъ меня стояла княжна, блѣдная, съ развит
локонами. Она посмотрѣла на меня такъ, какъ никогда не смотр

*) Съ тѣхъ поръ онъ вышелъ... даже слишкомъ вышелъ, по мнѣнію многихъ. 1

Я бросился къ ней. Она танцовала съ адъютантомъ, котораго свѣтская молва давно уже провозгласила ея женихомъ. Я зналъ его за эгоиста съ пріятной наружностью и вялой душой: я боялся его для княжны. Я притаился за ними и началъ прислушиваться. Они говорили о любви, о супружествѣ. Онъ говорилъ, что женщина должна быть во всемъ свободна; что одно влеченіе сердца можетъ быть ей закономъ; что мужъ не долженъ быть взыскателенъ, если только приличіе соблюдено и свѣтъ не возстаетъ и не злословитъ. Княжна отвѣчала съ какой-то грустной покорностью. Мнѣ стало холодно, я хотѣлъ бѣжать. Но кадриль кончилась; я взглянулъ на красавицу, и мнѣ показалось, что она зоветъ меня, манитъ къ себѣ ласковымъ, обворожительнымъ взоромъ. Я подошелъ и низко поклонился.

— Я, кажется,—сказала она, едва внятно:—танцую съ вами слѣдующую.

— Если вы не забыли вашего обѣщанія,—отвѣчалъ я, хотя и не думалъ ее ангажировать.—Потомъ я сталъ бродить по гостинымъ. Куда я ни подходилъ, вездѣ слышалъ разговоръ о свадьбѣ княжны съ адъютантомъ. Не зная, что дѣлать, я подошелъ къ большой картинѣ, висѣвшей на стѣнѣ. Картина изображала орлеанскую дѣву, въ полномъ вооруженіи, передъ образомъ; свѣча, стоявшая на столѣ, освѣщала ея лицо; темныя кудри вились по плечамъ... она молилась. Желая узнать имя живописца, я нагнулся ближе къ рамкѣ, уперся рукою въ стѣну. Вдругъ обои раздвинулись, и я увидѣлъ небольшую потаенную дверь. Какъ не замѣтилъ я ея! Куда ведетъ этотъ выходъ? Сердце мое стукнуло отъ предчувствія. Дверь тихо отворилась. Я вошелъ въ маленькую комнату, обитую голубымъ штофомъ и слабо освѣщенную дрожащимъ сіяніемъ алебастровой лампады. Въ углубленіи рисовалась знакомая мнѣ тѣнь и слышались рыданія.—«Что съ вами?»—закричалъ я, и бросился впередъ.—Вы меня презираете?—сказала она.

— Не правда,—воскликнулъ я.

— Не извиняйтесь. Зачѣмъ? Иначе и быть не могло. Вы видѣли существо холодное, бездушное; вы приняли меня за то, чѣмъ я *должна* быть. Вы не виноваты. Однако мнѣ жаль оставить васъ въ заблужденіи. Выслушайте меня. Поймите меня, простите меня. Я никогда не была ребенкомъ; я родилась въ гостиной. Когда я еще была маленькая, меня ужъ наряжали и водили послѣ обѣда показывать гостямъ. Потомъ выучили меня танцовать и возили на дѣтскіе балы, гдѣ я уже знакомилась съ большимъ свѣтомъ въ маленькихъ размѣрахъ. Я плакала, когда другія дѣти были лучше моего одѣты, когда я не танцовала съ сыновьями важныхъ и богатыхъ отцовъ, я охорашивалась, вертѣла плечиками; я хотѣла уже нравиться; я смѣялась надъ дурными экипажами, надъ старомодными платьями, надъ безобразіемъ, надъ бѣдностью; я гнушалась всего, что не льстило моему самолюбію; я не умѣла еще любить, а ужъ умѣла презирать. За мной слѣдила, какъ тѣнь, французская гувернантка, которая заставляла меня держаться прямо, не говорить громко, не выражать моихъ мыслей и чувствъ, и Богъ знаетъ чему учила меня, потому что сама ровно, кажется, ничего не знала. Поймите, что я вамъ говорю... Я никогда не была ребенкомъ. Я не знала ни первыхъ ласокъ, ни дѣтской свободы, ни душевнаго простора при созерцаніи природы. Въ городѣ, на дачѣ, я вездѣ привыкла къ шуму, къ свѣтскимъ толкамъ, которые я сперва и не понимала, но въ этихъ толкахъ было что-то завлекательное, ядовитое, такъ что другихъ я ужъ

слушать, кому приседать и кому не кланяться, словомъ, а то
лась къ жизни, какъ актриса готовится къ какой-нибудь рол
пріемы, и слова, все было заготовлено, все было опредѣлено зар
Я узналъ, что и она меня любитъ, но «намъ должно разстат
сказала она:—«меня выдаютъ за человѣка, котораго я ненав
Матушка, родные, свѣтъ,—всѣ, всѣ противъ насъ!»
— Все возможно!—воскликнулъ я пламенно.
«Нѣтъ,—говорила она, задыхаясь и какъ бы изнемогая отъ
тренней борьбы...—Нѣтъ... одинъ противъ ихъ всѣхъ!.. ты не мо
одолѣть, ты погибнешь. Я не отдамъ тебя имъ... Нѣтъ... зна
лучше ужъ убѣжимъ... Убѣжимъ со мной на край свѣта... пода
подальше, чтобъ они не могли бѣжать намъ въ погоню... что
слѣда они не могли найти, а то, я знаю, они насъ воротятъ и
они разорвутъ насъ на части. Пойдемъ скорѣй... Умремъ, если н
Но умремъ вмѣстѣ. У этой комнаты есть тайный выходъ... Мы
успѣемъ спастись. Скорѣй, скорѣй! Только... Слышишь ли... ш
Они идутъ... идутъ... идутъ!..» И, обезумѣвъ отъ страстнаго волн
судорожно обвила она руки свои около моей шеи, и повлекла
за собой къ потаенной двери. Вдругъ дверь съ трескомъ расп
лась, и у входа показалась маленькая старушка, княгиня, въ
съ перьями до потолка; за ней шелъ адъютантъ на цыпочка
толпились всѣ родные княжны, всѣ бальные гости...»
Княжна упала въ обморокъ. Я остолбенѣлъ отъ ужаса; волосы
стали дыбомъ. Княгиня схватилась за ноги и начала смѣяться
ней послѣдовалъ адъютантъ и всѣ, всѣ прочіе... Смѣхъ ихъ, нако
сдѣлался такъ рѣзокъ, такъ громокъ, что я не вытерпѣлъ — и
снулся. Кругомъ меня хохотали собесѣдники нашего холостого о
«— Ну, братъ... порядочно ты выспался! — весело сказалъ
проигравшійся хозяинъ. — Скоро одиннадцать часовъ. Мы всѣ
раемся на балъ... Не хочешь ли и ты съ нами?
— На какой балъ?—закончилъ я такъ дико, что мои пріятели с

йдетъ плохой каламбуръ, сказать, что повѣсть вполнѣ соотвѣт
гъ своему названію... Бывало, повѣсти г. Кукольника изъ вре
Петра Великаго читались жадно, потому-что отличались дѣй
ельно многими достоинствами; мы первые съ любопытствомъ
ли за ними и отдавали имъ полную справедливость въ нашемъ
лѣ. Но или матеріалъ истощился (что, впрочемъ, едва ли осно
ьно), или г. Кукольникъ разучился писать интересныя повѣсти,
жъ, какъ говоритъ г. Голядкинъ-Старшій, просто случай вышелъ
,—послѣднія повѣсти г. Кукольника изъ временъ Петра Вели
совсѣмъ не то, что́ первыя; нѣкоторыя даже такъ безцвѣтны и
ы, что, читая ихъ, безпрестанно думаешь, не раскрылъ ли
кой какую-нибудь повѣсть г. Кукольника изъ жизни итальян
художниковъ, — а извѣстно, что́ такое повѣсти г. Кукольника
изни итальянскихъ художниковъ и въ какихъ случаяхъ могутъ
онѣ прописываемы врачами, какъ надежное медицинское сред
Одинъ почтенный отецъ семейства на смертномъ одрѣ завѣщалъ
у сыну быть благонамѣреннымъ и не читать повѣстей изъ жизни
янскихъ художниковъ, и на послѣднемъ настаивалъ даже го
сильнѣй, чѣмъ на первомъ. Именно къ такому разряду отно
новая повѣсть «Старый хламъ». Хоть имена въ ней всѣ рус
и дѣйствующія лица говорятъ о Петрѣ и событіе отзывается
нымъ событіемъ временъ Петра Великаго, но читатель читаетъ
итываетъ (если только дочитываетъ) повѣсть въ полномъ убѣ
и, что прочелъ повѣсть изъ жизни итальянскихъ художниковъ.
ъ какъ будто самъ предвидѣлъ такое плачевное обстоятельство,
бъ хоть чѣмъ-нибудь рѣзко оттѣнить свои лица, навелъ на нихъ
-то особенный, семинарскій колоритъ... Мы назвали колоритъ
повѣсти семинарскимъ и сейчасъ покажемъ, почему такъ на
Вотъ, напримѣръ, какъ говоритъ Мак-Стефенсъ (нужно за
ь, что усиліе г. Кукольника придать своимъ лицамъ оригиналь
дошло здѣсь до того, что онъ даже Мак-Стефенсу, жившему
ндонѣ, и, сколько намъ извѣстно, никогда не бывшему въ бурсѣ,
лъ тотъ же часто упоминаемый колоритъ),—вотъ, какъ онъ го
ъ: «Умереть съ голоду!.. За то, что *въ тайникахъ природы* я
лъ ея новую силу... За то, что *попечительная натура* моими
и этой же столицѣ, цѣлому міру—*изволитъ повѣдать* одну изъ
цѣтельныхъ тайнъ своихъ»... Лилла, дочь Мак-Стефенса, *купно*
терью своею Бетси, носитъ на себѣ тотъ же колоритъ; даже
емъ содержаніи повѣсти лежитъ тотъ же колоритъ, и только
острація» и въ ней въ особенности «*Переписка*», могутъ дать
ясное понятіе о той новой, оригинальной манерѣ писать, ка
обнаруживаетъ г. Кукольникъ съ нѣкотораго времени. Манера
асная, съ которой нельзя не поздравить г. Кукольника: онъ въ
еподражаемъ!.. Но скажемъ нѣсколько словъ о содержаніи «Ста
хлама». Петръ Великій, въ бытность свою въ Лондонѣ, зака
Мак-Стефенсу паровую машину, оставивъ у него въ науку
русскихъ молодыхъ людей. Много времени прошло, пока ма
успѣли привесть къ концу; дочь Мак-Стефенса успѣла вырасти
цвѣсть, а одинъ изъ учениковъ, Иванъ Семенычъ, успѣлъ въ
смертельно влюбиться. Но вотъ, машина готова, уложена въ
и; Лилла, не любившая, впрочемъ, Ивана Семеныча, по прика
отца вышла за него замужъ, и вотъ уже счастливый Иванъ
ычъ, съ машиной, съ молодой женой и старымъ дядькой Они
ъ, плыветъ въ Россію; но буря разбила судно о скалы Шве-

дѣться въ бездну, полюбоваться видомъ красивой шкуны... Ста
ожилъ, завидѣвъ чужихъ на дорогой скалѣ; быстро взошелъ по
пенямъ собственной работы и какъ привидѣніе остановился пос
пирующихъ... Всѣ смутились; Лилла отскочила на самый край ска
— И послѣ смерти не дастъ покоя?—сказалъ старикъ страш
голосомъ:—Марко Степанычъ! (такъ переводилъ Онисимъ: Мак
фенсъ) Марко Степанычъ! Гдѣ же твое проклятіе...
— Проклятіе...—успѣла вскрикнуть Лилла и оступилась. Бетс
мѣтила опасность, бросилась къ Леллѣ, схватила ее за платье, и
ступная дочь увлекла преступную мать въ бездну морскую...
церы бросились внизъ; со шкуны отправили матросовъ, но мор
отдало своихъ жертвъ. Во время общей суматохи, одинъ только
симъ стоялъ покойно на скалѣ; попутный вѣтеръ заигралъ его
ными, желтыми волосами; со шкуны въ рупоръ позвали Они
онъ упалъ на могилу, поцѣловалъ и перекрестилъ землю, и весе
какъ будто въ жизни съ нимъ никогда ничего грустнаго не сл
лось, сѣлъ въ родную лодку. Шкуна раскинула крылья и ушла,
весь городъ съ комендантомъ своимъ ожидали, не отдастъ ли
Лиллы и Бетси».

Ни тѣни мелодрамы! Естественно, оригинально, поразительно-но
И послѣ того, есть люди, которые осмѣливаются тоже писать ром
и даже нисколько не стараются въ нихъ подражать г. Куколь
а идутъ своей дорогой, понимая по-своему естественность, оригин
ность, художественность... Чудаки! Но даромъ «Иллюстрація»
вляется ихъ дерзости... Еще бы не удивляться!.. Бѣдные, они
чуютъ публику все однимъ супомъ — въ началѣ супъ, въ сере
супъ, подъ конецъ супъ... у нихъ нѣтъ и настолько смысла, ч
понять, что одно кушанье пріѣстся; — только г. Кукольникъ по
тайну романа и очень хорошо знаетъ, что если сначала хор
супъ, такъ за нимъ всего лучше соусъ, а тамъ жаркое, и такъ

кусокъ пергамина, на которомъ не безъ труда разобрали, что «Старый хламъ» есть паровая машина, сдѣланная въ Англіи по заказу Петра, Царя Московскаго, въ 171... послѣдняго числа нельзя было разобрать...

«Мой мячикъ»—статья г. Хмельницкаго, изъ водевильныхъ каламбуровъ составлена съ примѣсью добродушнаго философствованья на манеръ извѣстнаго русскаго философа г. Галича, — словомъ, статья едва ли стоившая чести и одинъ разъ быть напечатанною, — появляется въ печати въ нынѣшнемъ году уже *во второй разъ*... Въ первый разъ часть ея была напечатана въ «Невскомъ Альманахѣ» на 1846 годъ... Для чего дѣлаются такія вещи? Показалась ли издателю статья столько занимательною, что ее не худо и повторить?.. Но и въ такомъ случаѣ нѣтъ обычая печатать напечатанное, и притомъ въ однородномъ изданіи, и въ томъ же году. Перепечатка въ одномъ только случаѣ имѣетъ смыслъ, когда статья первоначально явилась въ журналѣ, у котораго нѣтъ читателей, да и то надо, чтобы она носила въ себѣ полное оправданіе своего вторичнаго появленія. Или, какъ говорится на издательскомъ-книгопродавческомъ нарѣчіи, «не хватило матеріальцу», при сильномъ желаніи сдѣлать книгу потолще? Но нужно было подумать, что вѣдь если публика и не замѣтитъ, въ чемъ дѣло, то ей укажутъ, и тогда толстота, изъ которой вы такъ хлопотали,—качество дѣйствительно почтенное, если произошло естественнымъ образомъ, безъ насильственныхъ мѣръ,—вмѣсто пользы, обратится во вредъ книгѣ... Другая статья того же автора «Римскій карнавалъ 1844» не представляетъ ровно ничего новаго, какъ большая часть дорожниковъ и всякихъ путевыхъ записокъ, издаваемыхъ русскими путешественниками, большими охотниками доводить до всеобщаго свѣдѣнія, что они тоже путешествовали...

Статья В. Лагунскаго (Даля) «Русскій мужикъ» — единственная статья въ цѣлой книгѣ, которую можно прочесть не только одинъ, но нѣсколько разъ съ чрезвычайнымъ удовольствіемъ. Мы приведемъ нѣсколько отрывковъ:

«У помѣщика было заведено, что кромѣ сухой и квашеной зелени и кореньевъ, всѣ обрѣзки и оборки овощей солились, и солонь эта шла, для приправы, въ людскія щи; это приваръ хорошій?

Староста почесалъ голову, оглянулся на другихъ ребятъ и сказалъ: да на что ихъ мыть...

— Какъ на что? развѣ ты такъ, съ пескомъ, и будешь ѣсть, какъ свинья?

— Никакъ нѣтъ; оно бы, конечно, можно, власть ваша, батюшка;— а не то, какъ ребята говорятъ, хоть бы ее и вовсе, пожалуй, не солить... вѣдь квашенина есть...

— Какъ такъ? кто жъ это говоритъ?

— Да и всѣ то же говорятъ, да оно, власть ваша, сударь, — я такъ только-что сказалъ милости вашей.—Примолвка эта показывала, что смѣтливый староста самъ началъ догадываться, что онъ крѣпко заврался.

— Это что ты, Феклистовъ, совралъ, развѣ у насъ впервые такъ было заведено? а какія щи, скажи мнѣ, лучше: на одной квашенинѣ, или съ прибавкой солени?

— Да оно извѣстно, конечно, съ соленью щи какъ будто послаще будутъ, повкуснѣе.

— Такъ что же, стало-быть, вамъ лѣнь собрать обрѣзки въ одно мѣсто, свалить ихъ въ чанъ, да посолить? ихъ лучше, небось, затоптать подъ ноги? а?

Помѣщикъ беретъ старосту Феклистова за чубъ; староста, высокій, здоровый и догадливый мужикъ, становится на колѣни, чтобы барину сподручнѣе было управляться; затѣмъ баринъ раскачиваетъ голову Феклистова во всѣ стороны слегка, безъ сердцовъ, спокойно, и читаетъ ему длинное наставленіе, какая польза вообще отъ овощей, какъ они поддерживаютъ здоровье крестьянъ, которые безъ нихъ иногда сидятъ на одномъ хлѣбѣ; напоминаетъ ему, какъ мужики сначала ни за что не хотѣли разводить картофеля, называя его чортовымъ яблокомъ, какъ дворня въ застольной кидала его подъ столъ и тѣшилась тѣмъ, что его собака не ѣстъ,—а какъ потомъ, черезъ годъ, нельзя было уберечь грядъ, таскали картофель сырой, не спѣлый, изрывали по ночамъ гряды, какъ свиньи, выкопавъ на гривну, а изгадивъ на рубль; припоминалъ ему, какъ въ сосѣдней деревнѣ, и въ другой, и въ третьей, была та же возня, и какъ и теперь тамъ крестьяне всю зиму ѣдятъ въ похлебкѣ картофель; указалъ на разницу пищи между порядочными, хозяйственными крестьянами, у которыхъ водится всякая всячина—и упрямыми и дураками, которые, подъ предлогомъ недосуга, не хотятъ разводить огородовъ, потому что у отцовъ и дѣдовъ ихъ огородовъ не было, и лучше согласны сидѣть на мякинѣ, чѣмъ приняться за разводку овощей.—Во все это время помѣщикъ поматывалъ головой старосты кругомъ, противъ солнца, и хозяинъ головы этой, попавъ разъ въ ладъ и мѣру такого однообразнаго движенья, предупреждалъ его безъ труда, забѣгалъ головою впередъ, такъ что рука помѣщика почти слѣдовала за головою старосты, а не водила ее. Девять человѣкъ зрителей стояли спокойно и слушали, улыбаясь, довольно пристально, что говорилъ помѣщикъ.

— Ну, понялъ ли ты все, что я тебѣ говорилъ, Феклистовъ?

— Понялъ, батюшка; какъ же не понять?

— Разскажи же ты мнѣ теперь все это.

Феклистовъ началъ разсказывать по-своему, все еще стоя на колѣняхъ; говорилъ съ убѣжденьемъ и съ увѣренностію—иногда только немного сбивался, и помѣщикъ, подравъ его, какъ бы шутя, за чубъ, поправлялъ и заставлялъ переговаривать снова.

— Хорошо. Скажи жъ мнѣ: въ первый разъ ты все это отъ меня слышишь?

— Нѣтъ, батюшка, Степанъ Денисычъ, не въ первый, много слышали мы добра отъ вашей милости.

— Разсуди жъ ты теперь самъ меня съ собою, кто правъ, кто виноватъ?

— Я, батюшка, виноватъ, извѣстное дѣло.

— А за что же я, дуракъ, объ тебя руку въ плечѣ вымололъ?

— Виноватъ, батюшка, Степанъ Денисьевичъ, глупость наша все это дѣлаетъ,—и поклонъ въ ноги.

— А еще ты сказалъ мнѣ, что всѣ такъ думаютъ, какъ ты; правда ли это, ребята?

— Нѣтъ, батюшка, никакъ нѣтъ, нѣтъ, — отвѣчали въ голосъ всѣ зрители.

— За что же ты—а еще староста!—оговорилъ понапрасну другихъ? а? Вотъ, такъ вы всегда дѣлаете: одинъ выйдетъ изъ кучи, кричитъ за всѣхъ, увѣряетъ, что всѣ заодно, всѣ-де говорятъ, всѣ такіе же дурни, какъ и онъ, а тѣ стоятъ, развѣсивъ уши, разинувъ рты, да слушаютъ: подайся я на пустословіе твое, такъ бы и точно, можетъ-быть, всѣ за тобой; подери я тебя за чубъ, да припомни тебѣ, что и какъ

было говорено и сдѣлано прежде,—всѣ отъ тебя прочь, а ты остался въ дуракахъ одинъ.

— Такъ, батюшка, Степанъ Денисычъ; истинно справедливо!

Мужики разошлись по другимъ работамъ, и весь день только и было толку о томъ, какъ баринъ въ подвалѣ мололъ старостой песокъ, и говорилъ объ овощахъ, о солени; всѣ обвиняли старосту и соглашались, что баринъ былъ правъ.

Что же вы думаете, многіе послѣдовали въ домашнемъ хозяйствѣ этому примѣру, убѣдившись въ справедливости совѣтовъ помѣщика и въ пользѣ разводки овощей? Ни одинъ; толковали только о томъ, кабы Господь уродилъ побольше хлѣбца; а что будутъ ѣсть они, коли хлѣбецъ не уродится—объ этомъ рѣчи не было».

Вотъ другая сцена:

«Сидятъ, во вторникъ на Святой недѣлѣ, крестьяне, съ бабами, дѣвками, ребятами, на заваленкахъ; Святая была ранняя, только-что земля отошла; день тепленькій; всѣ въ нарядной одеждѣ, а праздновали Святую плохо, потому что едва дотянули животы до весны: урожай былъ больно скуденъ; полдеревни ѣли барскій хлѣбъ, да барскій картофель.

— Эхъ-ма! братцы,—сказалъ одинъ, подергивая плечами, на которыя накинулъ сверху синій кафтанъ свой: — эхъ-ма! вотъ, когда бъ сѣять—такъ сѣять!

— Да, самая бы пора, — подхватилъ другой:—сочная земля стала, отошла вся!

— Что жъ дѣлать станешь—власть Господня!

— Таки вотъ сердце радуется, какъ выйдешь за околицу: два дождичка послалъ Господь—сверху припекло землицу—рыхлая, мягкая—мокрота вся впилась, внизъ ушла—такъ бы, вотъ, кажись, самъ легъ да глыбой укрылся, выросъ бы, ей-Богу, выросъ!

— Какъ-быть, стало, такъ Богу угодно. Дастъ хлѣбца, такъ дастъ, хоть и на той недѣлѣ посѣемъ; а не дастъ, такъ не дастъ. Все во власти Господней.

— Оно, вѣстимо, такъ; да вотъ, какъ не дастъ Богъ дождя-то, опять не станетъ хлѣба, коли милости Господней не будетъ, да солнышко пойдетъ тебѣ пропекать пашню, да сушить во всю недѣлю, да и на той недѣлѣ то же — такъ вотъ, братъ, тогда хлѣбъ, у кого есть, хоть не носи въ овинъ сушить, а въ землю, пожалуй, кинь— все одно, высохнетъ, и ростка не дастъ тебѣ ни одного.

— Эка дура выросла на селѣ—право, дура! а еще мужикъ называется! вотъ, тебѣ бы для праздника всѣмъ міромъ намять затылокъ, какъ слѣдуетъ, такъ не сталъ бы впередъ молоть, что на языкъ ни попало! Ну, что толковать пустяки, горло драть, ровно на облавѣ? Что жъ ты теперь, что ли, пахать да сѣять пойдешь, на Святой недѣлѣ?

— Пахать... кто говоритъ, пахать теперь... про это нечего говорить, что пахать... я говорю, что вотъ, хоть на людей сошлюсь, объ этаку пору самая бы благодать, что земля, вишь, сырая, а не то, чтобъ теперь пахать да сѣять; кто тебя зоветъ? Господь съ тобой, я тебя не звалъ пахать; извѣстное дѣло, кто жъ пойдетъ о такую пору—чай, не на то далъ Господь Святую недѣлю. Вотъ, что Богъ дастъ, развѣ на Ѳоминой.

Такимъ образомъ крестьяне наши просидѣли на заваленкахъ всю недѣлю, опоздали посѣвомъ, вспоминали круглый годъ, какая-де на Святой пора была для посѣва! эхъ, какая земля рыхлая, да сочная

глубже въ косы. — Развѣ я спрашивалъ у нихъ согласія? Отвѣ
Феклистовъ, и не гляди на меня столбникомъ — посылалъ, что я
тебя собирать согласія?

— Нѣтъ, сударь, про это нечего и говорить; за этимъ дѣломъ
посылали.

— А коли не посылалъ, такъ на что же ты принесъ мнѣ т
чего мнѣ не нужно.

— Эка, подумаешь, какая притча сталась, — проговорилъ Фе
стовъ про-себя, потупивъ глаза въ землю: онъ и самъ не пони
теперь, какъ же-де это сталось, что пришелъ онъ и сталъ гово
путно, а какъ только сказалъ, выпустивъ слово — выходитъ без
ково: посылали меня за однимъ, подумалъ онъ, а я принесъ друго
казалось все одно...

— Такъ поди же, другъ ты мой любезный, и не дѣлай впер
дѣла по-своему, а по-моему; согласія я не спрашивалъ, и его
не нужно, а чтобъ закуты были.

Міръ разсудилъ, что баринъ правъ, и потому, хотя и нехот
безъ согласія, да сталъ однакожъ понемногу выводить скотъ
жилыхъ избъ.

Но не всегда и не все обходилось такъ мирно, бывали и др
примѣры. Настала весна, послѣ зимы, о которой мы говорили, и
жики, протолковавъ цѣлую зиму между собой о томъ, что вотъ
Крещатовскимъ легче, они всѣ на оброкѣ, у нихъ нѣтъ барщи
вздумали также идти на оброкъ. Всѣ толки шли объ этомъ на так
основаніи, будто дѣло это вполнѣ отъ нихъ зависитъ, а не отъ бар
На третій день Святой приходятъ гурьбой на барскій дворъ, сми
тихо, не пьяные, потому что въ деревнѣ кабака не было — и за
лаютъ стариковъ вызвать барина. Баринъ выходитъ, думаетъ ус
шать что-нибудъ путное, и слышитъ, ни съ того, ни съ сего: от
стите насъ на оброкъ. Доказавъ имъ безтолковость этой просьбы
короткихъ словахъ, онъ хотѣлъ-было узнать, откуда эта выдумка в
лась,—но вмѣсто того слышитъ только одно и то же настойчиво
безотчетное требованіе; никакое убѣжденіе не дѣйствуетъ: кресть
объявляютъ, наконецъ, положительно, что они такъ же точно, к
и Крещатовскіе, хотятъ платить по 30 руб. съ тягла, а на барщ
не хотятъ. — Воля ваша, мы передъ вашей милостью согрубить
смѣемъ, да только ужъ вы насъ отпустите, мы противъ вашей м
сти, батюшка, Степанъ Денисьичъ, идти не можемъ, а ужъ тол
вы насъ на оброкъ отпустите; мы не желаемъ на барщину ход
а на оброкъ согласны. — Съ ума, что ли, вы сошли? кто же бу

тутъ землю пахать, кто хозяйничать? — Ужъ про то не знаемъ; кто останется—поработаетъ, на это воля ваша; а насъ, батюшка, отпустите. Убѣдить ихъ нельзя было ничѣмъ: потолковавъ еще долго, помѣщикъ сказалъ имъ положительно, что не отпуститъ, и ушелъ.

Всѣ крестьяне собрались идти въ городъ, къ исправнику.

— Ступайте жъ, коли такъ,—сказалъ спокойно Степанъ Денисьичъ, разсудивъ, что надо иногда русскому человѣку помирволить и этимъ его проучить:—ступайте къ исправнику, а я васъ провожу.

Гурьбой крестьяне отправились въ городъ, вся деревня просится у исправника на оброкъ; а баринъ велѣлъ заложить свою бричку и обогналъ ихъ уже на пути. Онъ отыскалъ исправника, предупредилъ его во всемъ, и самъ ожидалъ свою ватагу. Дорогой крестьяне ободрились; имъ казалось, что они правы кругомъ и чуть не святы; они сговорились не поддаваться, не уступать, требовать оброку.

Исправникъ собралъ ихъ передъ дворомъ своимъ, выслушалъ и сталъ толковать имъ, что они видно-де рехнулись; что оброкъ или барщина зависитъ отъ помѣщика, а не отъ нихъ, и что имъ требовать ни того, ни другого нельзя.—Слушаемъ, батюшка,—былъ отвѣтъ:—да, воля ваша, ужъ мы на барщину не пойдемъ. — А коли такъ,—сказалъ исправникъ, такъ я васъ выведу на барщину. Ты, говорунъ, поди-ка сюда первый—а затѣмъ и другой, и третій, и такимъ образомъ человѣкъ десятокъ на выборъ, тутъ же, на мѣстѣ, были наказаны.—Ну, еще, что ли, есть охотники?—спросилъ исправникъ:—такъ выходите сюда скорѣй, мнѣ некогда! Мужички мои всѣ гурьбой повинились, согласились безпрекословно, что они затѣяли вздоръ, увѣряли, что это и въ первый, и въ послѣдній разъ, и другу и недругу закажутъ, что домой пришедши даже ребятъ всѣхъ пересѣкутъ, пусть-де помнятъ отцовскую вину и глупость и сами на нее глядя казнятся, обѣщали идти безпрекословно на барщину, и сдержали слово; поблагодаривъ за науку, отправились они чинно домой, вышли на утро въ поле и жили впередъ со Степаномъ Денисьичемъ въ ладахъ и въ дружбѣ».

Статья «Два отрывка изъ записокъ о Римѣ» принадлежитъ къ тому же роду статей, какъ и «Римскій карнавалъ въ 1844 году», и къ ней можно приложить то же, что сказали мы объ отрывкѣ г. Хмѣльницкаго...

Статья г. Булгарина «Поѣздка въ Грузино въ 1824 году» замѣчательна, между прочимъ, какъ новое доказательство, что никто пламеннѣе г. Булгарина не любитъ правды и не обладаетъ такою всегдашнею готовностью умереть за правду. Не вѣрите—прочтите новую статью. Сверхъ того, она доказываетъ, какъ много замѣчательныхъ въ какомъ бы то ни было отношеніи людей, которые были друзьями г. Булгарина, — что, впрочемъ, по скромности, составляющей, какъ извѣстно, одну изъ важнѣйшихъ человѣческихъ добродѣтелей, сочинитель доводитъ до свѣдѣнія публики не ранѣе, какъ тогда, когда знаменитый другъ уже тлѣетъ въ могилѣ, безгласенъ и безотвѣтенъ... Умеръ Пушкинъ, писавшій, между прочимъ, въ одно время полемическія статьи подъ псевдонимомъ Ѳеофилакта Косичкина,—и публика тотчасъ узнала изъ «Сѣверной Пчелы», что не было у него человѣка столь близкаго и сердцу его столь любезнаго, какъ г. Булгаринъ. Умеръ Грибоѣдовъ—то же. Вотъ, еще и недавно повторилась та же исторія съ Полевымъ. Но обратимся къ настоящей статьѣ. Вообще, вся она есть новое доказательство добродѣтелей сочинителя; добродѣтели его здѣсь выказываются рѣзче и опредѣленнѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь. Оно и

гостей, а подошелъ прямо къ г. Булгарину и сказавъ: «А! очень р
любезному гостю!» взялъ его подъ руку и повелъ въ комнаты. «Мо
представить себѣ, въ какомъ я былъ положеніи! Я въ первой п
передъ всѣми, иду съ нимъ рука-объ-руку, какъ-будто старый п
тель и «товарищъ!» (стр. 205). Но г. Булгаринъ, однакожъ, нисколь
не возгордился, и приписалъ, по свойственной ему скромности, ла
графа намѣренію его дать урокъ прочимъ гостямъ: *„Не въ тем
бить!“* заключаетъ онъ, отдавая справедливость своей догадливо
Мы почитаемъ послѣднее замѣчаніе излишнимъ... Впрочемъ, что о
навливаться на мелочахъ! Пропустимъ даже всѣ лестные комп
менты, которые говорилъ г. Булгарину графъ Аракчеевъ, сравнив
его, между прочимъ, даже съ Цицерономъ (такъ разсказываетъ г. Б
гаринъ)... и переходимъ къ слѣдующему факту. Графъ предлож
выпить за здоровье г. Булгарина, и затѣмъ «посыпались снова шу
между которыми я (г. Булгаринъ) открылъ весьма важное для м
обстоятельство, что *я оклеветанъ былъ передъ графомъ*, и прит
самымъ гнуснымъ образомъ, насчетъ моего образа мыслей». Сп
оправдаться, г. Булгаринъ воскликнулъ: «Съ моимъ образомъ мыс
я никогда не скрываюсь, не скрывался и до гробовой доски
стану скрываться, не по излишеству благоразумія, а по характ
*Еслибъ мнѣ нравился образъ правленія Сѣверо-Американск
Штатовъ, то, не обинуясь, я поѣхалъ бы въ Америку и посели
бы въ ней...*» (стр. 209).

Здѣсь можно бы многое сказать, но мы только напомнимъ чит
лямъ, что г. Булгаринъ написалъ о любви къ отечеству цѣлые том
Затѣмъ г. Булгаринъ началъ разсказывать о своихъ военныхъ по
женіяхъ, «отъ Лапландіи до скалъ Гибралтара», и не удивительно,
всѣхъ заинтересовалъ,—потому что, какъ сказалъ покойный Поле
въ «Литературной Газетѣ» (№ 1): «чьего любопытства не возбуд
жизнь человѣка (г. Булгарина), который родился полякомъ, воспит

страннымъ, какимъ образомъ столъ *выходилъ* изъ столовой, да еще въ то же время и *стоялъ*, если бъ изъ «Парижскихъ писемъ», печатающихся въ «Сѣверной Пчелѣ», не было видно, что г. Гречъ находится теперь въ Парижѣ. Итакъ, ничего не остается болѣе, какъ поблагодарить г. Булгарина за посильное усердіе... Русскіе литераторы наперерывъ искажаютъ русскій языкъ, и не будь г. Булгарина, чистота русскаго языка погибла бы невозвратно! А еще находятся люди, которые осмѣливаются отрицать заслуги г. Булгарина!..

Двѣ повѣсти г. Гребенки: «Черты изъ частной жизни боченочка» и «Піита» показались намъ слабѣе прежнихъ повѣстей того же автора, обладающаго несомнѣннымъ дарованіемъ.

Статья Полевого «Записки книгопродавца»—крошечный отрывокъ, не представляющій ничего особенно замѣчательнаго. Въ «Новосельѣ» есть еще другая статья Полевого, подъ названіемъ «Тимонъ Аѳинянинъ», *вольные очерки изъ драматической повѣсти Шекспира*, въ стихахъ...

Стихи! Кстати о стихахъ. Въ «Новосельѣ» также есть и стихи. Поэты-вкладчики слѣдующіе: гг. Бенедиктовъ, Губертъ, Дуровъ, Слѣпушкинъ, Струговщиковъ, и нѣкто, скрывшійся подъ тремя звѣздочками и напечатавшій въ «Новосельѣ» отрывокъ изъ XXXIII пѣсни Дантова Ада. Стихъ перевода до того дубоватъ, что, какъ говорятъ актеры, когда имъ приходится произносить дурные стихи, «языкъ ломается». Мы думаемъ, что лучше не переводить Данта, чѣмъ переводить его такими стишищами. Кромѣ нѣсколькихъ подражаній Данту Пушкина, мы не знаемъ на русскомъ языкѣ ничего, что бы давало хоть малѣйшее понятіе о Дантовой поэзіи... Стихи г. Губера были бы превосходными стихами, если бъ не страдали недостаткомъ дѣльнаго и оригинальнаго содержанія, а форма — удивительная. Въ одномъ изъ нихъ («На чужой могилѣ») авторъ не шутя сѣтуетъ на людей, что они скоро забываютъ умершихъ и не любятъ посѣщать ихъ могилъ, заставляя бѣдныхъ мертвецовъ лежать и тлѣть въ одиночествѣ... Вотъ, въ самомъ дѣлѣ, великое преступленіе!..

Спящій во гробѣ, мирно спи,
Жизнью пользуйся, живущій!..

Одно стихотвореніе г. Дурова («Когда трагическій актеръ») было бы недурно, если бъ его не портилъ послѣдній куплетъ, совершенно лишній, да еще и плохой. Впрочемъ, оно уже было напечатано въ «Невскомъ Альманахѣ» и здѣсь, Богъ-знаетъ, зачѣмъ, является во второй разъ. Стихи Слѣпушкина забавны. Но то, на чемъ преимущественно остановится вниманіе читателя, которому попадется въ руки «Новоселье», чѣмъ онъ будетъ пораженъ, разбитъ на голову, опрокинутъ, подавленъ, — безспорно, стихотвореніе г. Бенедиктова «Три искушенія», которое потому здѣсь выписывается съ строжайшею точностію.

Въ дни пылкой юности, въ разгулѣ бытія,
Я зналъ три гибели,—зналъ три предмета я
Всесокрушительныхъ: то очи огневыя,
Да кудри темныя, да перси наливныя.

Тѣ очи... небо въ нихъ являлось; но оно
Въ двѣ черныхъ радуги бровей облечено;
Сокрывъ свою лазурь и яркій блескъ денницы
За облаками вѣждъ, за иглами рѣсницы,
Подъ сводомъ гордаго, лилейнаго чела—

Мрачилось, гнѣвное; таинственная мгла,
По прихоти, его мгновенно покрывала,
Струила дождь и градъ, и молніи метала.

Тѣ кудри черныя... ихъ страшно вспомянуть!
Тѣ кудри... цѣлый міръ въ нихъ могъ бы утонуть,
Когда бъ онѣ съ главы упали вдругъ разлиты
И бурей взвѣяны;—извиты, перевиты,
Какъ змѣи лютыя, онѣ вились, черны,
Какъ ковы зависти, какъ думы сатаны.

Та черная коса, тѣ локоны густые,
Ихъ волны, пряди ихъ и кольца смоляныя,
Когда бъ раскинуть ихъ, казалось бы, могли
Опутать, окружить, обвить весь шаръ земли,
И цѣлая земля явилась бы черницей,
Въ глубокомъ траурѣ, покрыта власяницей.

Тѣ перси юныя... о! то былъ дивный край,
Гдѣ жили свѣтъ и мракъ, смыкались адъ и рай;
То былъ мятежный край смутъ, прихотей, коварства;
То было бурное, взволнованное царство,
Гдѣ не могли сдержать ни сила, ни законъ
Сомнительный вѣнецъ и выблющійся тронъ;—
То былъ подмытый брегъ надъ хлябью океана,
Опасно движимый дыханіемъ вулкана:
Но жаръ тропическій, но климатъ золотой,
Но свѣтлые холмы страны заповѣдной,
Любви неопытной суля восторгъ и нѣгу,
Манили юношу къ таинственному брегу.

Вотъ такъ стихи! Вотъ такъ поэзія!.. Очи — *небо*, брови — *радуг* вѣжды — *облака*, рѣсницы — *иглы*, все чело — *сводъ неба*, повиты мглой, изъ которой струится *дождь* и *градъ* и блещутъ *молніи*... въ кудряхъ *цѣлый міръ* могъ бы утонуть, — шутка сказать, цѣлы міръ!.. Извиты, перевиты, *какъ змѣи лютыя*, черны, какъ *ковы з висти*, какъ *думы сатаны*. Да то ли еще... тѣ кудри... Но лучш повторимъ: не грѣхъ и повторить!

Та черная коса, тѣ локоны густые,
Ихъ волны, пряди ихъ и кольца смоляныя,
Когда бъ раскинуть ихъ, казалось бы, могли
Опутать, окружить, обвить весь шаръ земли,
И цѣлая земля явилась бы черницей,
Въ глубокомъ траурѣ, покрыта власяницей...

Каково? Что̀ можетъ быть сильнѣй, о̀бразнѣй, грандіознѣй?... Но п звольте!.. я что-то странное чувствую! Чувствую я въ себѣ страс ное желаніе, можетъ-быть, даже призваніе воспѣть... что бы вы д мали!.. кудри! кудри, воспѣтыя г. Бенедиктовымъ... Конечно, дерзост неслыханная, но уже раздумывать поздно—я ничего не слышу, н чего не вижу... я пою...

Тѣ кудри черныя... когда бъ отрѣзать ихъ,
Преступно посягнувъ на ихъ несокрушимость...
Соткать на нихъ чехолъ изъ нитей дорогихъ—
Въ немъ бѣшеныхъ кудрей сковать необозримость,
И взбивъ перину ту, въ длину и ширину,
Чрезъ степи жаркія, чрезъ влажную волну,

Чрезъ горы и лѣса, постлать ее по міру,—
Все человѣчество могло бъ на нихъ заснуть;
Въ душистомъ пхъ пуху блаженно утонуть,
И—гордо близостью къ надзвѣздному эѳиру, —
Увидѣть райскіе, плѣнительные сны
Про кудри, черныя, какъ думы Сатаны,
Какъ ковы зависти, про очи огневыя,
Про радугу бровей и перси наливныя...

не то, далеко не то!.. Воображеніе отказывается выдумать
ибудь грандіознѣе картины цѣлаго міра, опутаннаго одною жен-
косой, и оттого превратившагося въ черницу въ глубокомъ
Ѣ... Куда *новой, натуральной* школѣ!.. далеко ей до такихъ
нъ!.. Она умѣетъ только списывать дѣйствительность, даже не
мая на себя труда сколько-нибудь украшать ее... Вотъ, то ли
тарая, реторическая школа!.. Вообще, стоитъ прочесть III-й
«Новоселья», чтобъ убѣдиться въ превосходствѣ *старой, ре-
ческой* школы предъ новой, натуральной!..
рхъ этихъ статей, въ «Новосельѣ» напечатана драма С. А.
нова «Смерть Ляпунова» и фламандская быль покойнаго П. А.
кова «Да здравствуетъ покойникъ!» Драма вышла и отдѣльною
ою: поэтому и мы поговоримъ о ней отдѣльно, а о статьѣ «Да
твуетъ покойникъ!» ничего не скажемъ, по извѣстному при-
о о покойникахъ: de mortuis aut bene, aut nihil...

«Отеч. Зап.», 1846 г., т. XLVI, Отд. VI.

--«Смерть Ляпунова. Драма въ пяти дѣйствіяхъ, въ
ѣ. Соч. С. А. Гедеонова. Санктпетербургъ. 1846. Въ
Императорской Академіи Наукъ. Въ 8-ю д. л. 115 стр.»

нынѣшнемъ году, на Большомъ театрѣ, давали оперу г-на Ни-
«il Templario», которая довольно понравилась публикѣ, не-
я на совершенное отсутствіе творческаго дара, самобытности,
гря на безчисленныя подражанія. — Въ авторѣ замѣтна была
ть, образованность, музыкальная начитанность, если можно
ыразиться; онъ не впалъ ни въ одну грубую ошибку... Точно
и же достоинствами отличается драма г-на Гедеонова, о кото-
ы обѣщали поговорить на досугѣ, разбирая третій томъ «Но-
я», гдѣ она напечатана. Исполняемъ теперь это обѣщаніе тѣмъ
ѣе, что въ прошломъ мѣсяцѣ появилось мало беллетрическихъ
веденій, на которыя стоило бы обратить особенное вниманіе.
матическое искусство, какъ и вообще всѣ искусства и худо-
а, занесено было въ Россію извнѣ, но, благодаря нашей благо-
і почвѣ, принялось и пустило корни. Театръ у насъ уже упро-
ъ за собой сочувствіе и любовь народную; потребность созерцанія
енной жизни возбуждена въ русскихъ — отъ высшихъ до низ-
слоевъ общества; но до сихъ поръ не явилось таланта, кото-
ы сумѣлъ дать нашей сценѣ необходимую ширину и полноту.
е станемъ повторять уже не разъ высказанныя на страницахъ
ественныхъ Записокъ» мнѣнія о Фонвизинѣ, Грибоѣдовѣ и
ъ: читатели знаютъ, почему первые два не могли создать у насъ
ъ; что же касается до Гоголя, то онъ сдѣлалъ все, что возможно

сдѣлать первому начинателю, одинокому геніальному дарованію: онъ проложилъ, онъ указалъ дорогу, по которой современемъ пойдетъ наша драматическая литература; но театръ есть самое непосредственное произведеніе цѣлаго общества, цѣлаго быта, а геніальный человѣкъ, все-таки, одинъ. Сѣмена, посѣянныя Гоголемъ, — мы въ этомъ увѣрены — безмолвно зрѣютъ теперь во многихъ умахъ, во многихъ дарованіяхъ; придетъ время—и молодой лѣсокъ вырастетъ около одинокаго дуба... Десять лѣтъ прошло со времени появленія «Ревизора»: правда, въ теченіе этого времени мы на русской сценѣ не видѣли ни одного произведенія, которое можно было бы причислить къ гоголевской школѣ (хотя вліяніе Гоголя уже замѣтно во многихъ), но изумительная перемѣна совершилась съ тѣхъ поръ въ нашемъ сознаніи, въ нашихъ потребностяхъ.

Исторія искусства и литературы у насъ на Руси замѣчательна своимъ особеннымъ, двойственнымъ развитіемъ. Мы начинаемъ съ подражанія чужеземнымъ образцамъ; люди съ талантомъ чисто-внѣшнимъ, говорливые и дѣятельные, представляютъ въ своихъ произведеніяхъ, лишенныхъ всякой живой связи съ народомъ, одни лишь отраженія чужого таланта, чужой мысли—что имъ не мѣшаетъ самодовольно толковать объ оригинальности, о народности; ихъ современники, увлеченные весьма простительнымъ тщеславіемъ, называютъ ихъ великими писателями, великими художниками, ставятъ наравнѣ съ извѣстными именами... Такъ, Сумарокова величали русскимъ Вольтеромъ!! Между тѣмъ, неслышно и тихо совершается переворотъ въ обществѣ; иноземныя начала перерабатываются, превращаются въ кровь и сокъ; воспріимчивая русская природа, какъ бы ожидавшая этого вліянія, развивается, растетъ не по днямъ, а по часамъ, идетъ своей дорогой,—и со всей трогательной простотой и могучей необходимостью истины возникаетъ вдругъ, посреди безполезной дѣятельности подражанія, дарованіе свѣжее, народное, чисто-русское,—какъ возникнетъ современемъ русскій, разумный и прекрасный бытъ, и оправдаетъ, наконецъ, довѣріе нашего Великаго Петра къ неистощимой жизненности Россіи.

Но если въ иныхъ отрасляхъ искусства и совершился такой благодѣтельный переломъ, зато въ другихъ мы должны еще пока питаться надеждами и безпрестанно встрѣчаться съ произведеніями, изъ которыхъ лучшія тѣмъ только и хороши, что они не худы, — и бороться съ крикливыми мнѣніями людей, которыхъ скорѣе и основательнѣе всякой критики убѣдило бы появленіе истиннаго таланта... Лучшая рецензія на романы г-на Булгарина—«Мертвыя души»; всякая рецензія еще напоминаетъ разбираемое сочиненіе, признаетъ по крайней мѣрѣ, его существованіе, а «Мертвыя души» заставили преспокойно забыть г-дъ Выжигиныхъ и Комп. — Нравственно-сатирическіе и историческіе романы стараго покроя убиты; но историческія драмы существуютъ... И потому-то мы должны заняться «Смертью Ляпунова» г-на Гедеонова.

Историческій романъ, историческая драма... Если каждаго изъ насъ такъ сильно занимаетъ вѣрное изображеніе развитія самаго обыкновеннаго человѣка *), то какое впечатлѣніе должно производить на насъ воспроизведеніе развитія нашего родного народа, его физіономіи, его сердечнаго, его духовнаго быта, его судебъ, его великихъ

*) Покойный Полевой говоритъ въ своихъ „Замѣткахъ Русскаго Книгопродавца“, что „на русскомъ языкѣ записокъ появлялось мало“; но какіе появлялись, всѣ почти „раскупались хорошо и принадлежали къ самымъ ходкимъ книгамъ“.

дѣлъ? — Вспомните драматизированныя хроники Шекспира, «Геца фонъ-Берлихингенъ», романы Вальтера Скотта, наконецъ, даже Вите и Мериме. Кто рѣшается — не смиренно и терпѣливо пересказать судьбы своего народа, слѣдя современнымъ бытописаніямъ, но въ живыхъ образахъ и лицахъ возсоздать своихъ предковъ, избѣгнуть холода аллегорій и не впасть въ сухой реализмъ хроники, дѣйствительно представить нѣкогда-дѣйствительную жизнь,—тому мало даже большого таланта: если въ сердцѣ его не кипитъ русская кровь, если народъ ему не близокъ и не понятенъ прямо, непосредственно, безъ всякихъ разсужденій, пусть онъ лучше не касается святыни старины... Но великія дѣла тѣмъ и отличаются отъ малыхъ, что они кажутся легкими для всѣхъ, хотя дѣйствительно легки для весьма немногихъ; оттого-то такое множество людей у насъ и берется за историческія драмы.

Оно понятно и съ другой стороны. Кому не дорогъ успѣхъ, кому не хочется рукоплесканій? Въ сердцѣ русскаго живетъ такая горячая любовь къ родинѣ, что одно ея священное имя, произнесенное передъ публикой, вызываетъ клики одобренія и участія. Но, кажется, пора бы замѣнить патріотическіе возгласы дѣйствительнымъ драматическимъ интересомъ и не присвоивать своему таланту выраженія чувствъ, не имъ возбужденныхъ.

Ляпуновъ уже не разъ удостоился двусмысленной чести быть героемъ русской исторической драмы. Въ изображеніи его характера до сихъ поръ слѣдовали Карамзину. Со всѣмъ уваженіемъ къ знаменитому исторіографу мы осмѣливаемся думать, что онъ,—такъ же, какъ изъ лица Грознаго, — сдѣлалъ изъ Ляпунова лицо фантастическое. Ляпуновъ былъ человѣкъ замѣчательный, честолюбивый и страстный, буйный и непокорный; злые и добрые порывы съ одинаковой силой потрясали его душу; онъ зналъ съ разбойниками, убивалъ и грабилъ — и шелъ на спасеніе Москвы, самъ погибъ за нее... Такіе люди появляются въ смутныя, тяжелыя времена народныхъ бѣдствій какъ бы на вторыхъ планахъ картины; какъ люди второстепенные, они исчезаютъ передъ честной доблестью, яснымъ и свѣтлымъ разумомъ истинныхъ вождей; но ихъ двойственная, страстная природа привлекаетъ драматическихъ писателей... Шекспиръ любилъ изображать такія лица. Оттого выборъ Ляпунова, какъ главнаго дѣйствующаго лица драмы, намъ всегда казался удачнымъ; мы не разъ мечтали о той яркой, подвижной картинѣ, которую писатель съ дарованьемъ сумѣлъ бы провести передъ нашими глазами... Вмѣсто мучительной однообразности, или натянутой, еще болѣе мучительной пестроты условныхъ фразъ, условныхъ возгласовъ, условныхъ эффектовъ, онъ бы далъ намъ, наконецъ, услышать голосъ истины, еще болѣе трогательной и потрясающей въ прошедшемъ, чѣмъ въ настоящемъ...

Обратимся же къ драмѣ г. Гедеонова. Г-нъ С. А. Гедеоновъ—человѣкъ образованный и начитанный, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; начитанность его высказывается во множествѣ заимствованій, которыми онъ обогатилъ свое произведеніе. Слогъ его гладкій и чистый—слогъ образованнаго русскаго человѣка. Какъ человѣкъ образованный и со вкусомъ, онъ не впалъ ни въ одну грубую и явную ошибку; планъ «Смерти Ляпунова» именно такой, какого и ожидать слѣдовало; словомъ, какъ произведеніе эклектическое, драма г. Гедеонова показываетъ, до какой степени, при образованности и начитанности, можно обходиться безъ таланта.

Истинный талантъ создаетъ школу; но до появленія этого таланта обыкновенно въ отрасли словесности, ожидающей подобнаго возобновленія, образуется цѣлый ложный родъ, который въ ней существуетъ, несмотря на свою внутреннюю лживость. Въ нашей литературѣ упрочилась именно такого рода драма, благодаря стараніямъ покойнаго Полевого, гг. Кукольника и Ободовскаго. Г-нъ Гедеоновъ не вышелъ изъ колеи, проложенной его предшественниками; но онъ отличается отъ нихъ совершеннымъ отсутствіемъ самобытности. Въ «Смерти Ляпунова» легко отыскать и указать слѣды вліянія Шекспира, Загоскина, Шиллера, новѣйшихъ французскихъ мелодрамъ, Гёте, Гоголя, Кукольника и т. д. Эта мозаичность составляетъ въ одно и то же время и недостатокъ, и достоинство драмы г. Гедеонова: недостатокъ—потому, что только живое насъ занимаетъ, а все механически-составленное — мертво; достоинство — потому, что безцвѣтное подражаніе все же лучше плохой самостоятельности, уже потому лучше, что не можетъ получить никакого вліянія.

Приступимъ къ изложенію содержанія «Смерти Ляпунова».

Первое дѣйствіе начинается въ избѣ Заруцкаго. Казаки пьютъ.

«Какъ!—говоритъ первый атаманъ:—чтобъ честные казаки поддались московскому мужичью? да не будь я Остапъ Кукубенко...

Заварзинъ.

«Ну, ну, успокойся, чортовъ сынъ! Да мнѣ-то оттого не легче! погибъ кривой Наливайко!

1-й атаманъ.

«Кривой Наливайко былъ хорошій казакъ!

Заварзинъ.

«А какъ же! ходилъ со мною въ Туречину, побывалъ и въ Наголіи, съѣстъ поляка, закуситъ татариномъ; подъ Дубномъ ему стрѣлою глазъ выкололо; былъ славный казакъ.

Заварзинъ (*поетъ*).

«Погибли еще Тарасенко да Вертихвистъ»...

Тарасъ Бульба замѣчательное произведеніе, не правда ли, читатель?.. Казаки, разъяренные самоуправствомъ Ляпунова, клянутся погубить его... Заруцкій сообщаетъ свои планы своему наперснику. Является гонецъ съ извѣстіемъ о прибытіи Марины. Вся эта сцена писана слогомъ «маленько-мужицкимъ», развалистымъ, какъ оно и прилично тогдашнимъ казакамъ; но въ слѣдующей сценѣ Марина говоритъ уже вотъ какъ: «Москва! Москва! какъ грустно и какъ весело смотрѣть на тебя!» А спутникъ ея, влюбленный въ нее юноша, Симеонъ Волынскій, нѣчто среднее между Максомъ изъ «Валленштейна» и Францомъ изъ «Гёца фонъ-Берлихингенъ», отвѣчаетъ ей: «развѣ часъ твоего свиданія съ Москвою не страшный часъ нашей вѣчной разлуки?..» «О, кто отдастъ мнѣ Коломну, кто отдастъ мнѣ эти двѣнадцать свѣтлыхъ дней моей жизни?» Марина требуетъ отъ него, чтобы онъ примирилъ ее съ Ляпуновымъ. Симеонъ увѣряетъ ее, что это было бы для него «не земное, а райское счастье!» Марина называетъ его ребенкомъ, а онъ восклицаетъ: «О, зачѣмъ онъ (Ляпуновъ) тебя не видитъ, зачѣмъ онъ тебя не слышитъ, очаровательница! Какая желѣзная кора не падетъ передъ могучимъ словомъ этихъ алыхъ устъ? какой ледъ не растаетъ отъ лучезарныхъ очей твоихъ? Марина! мой разумъ нѣмѣетъ передъ твоей волею!..»

Марина.

«Симеонъ, я буду любить тебя!

Симеонъ.

«Ты! ты будешь царицею, ты забудешь меня!

Марина.

«Ребенокъ... Иди, Симеонъ.

Симеонъ (*уходитъ и возвращается*).

«Марина! ты не любишь Заруцкаго?

Марина.

«Я презираю его!

Симеонъ.

«О! я люблю тебя! (*Убѣгаетъ въ боковую дверь*).

Марина (*одна*).

«Тебя любить! нѣтъ, Симеонъ! Марина тебя не любитъ, и не будетъ любить! Бѣдный, жалкій человѣкъ!.. Цѣль твоей жизни, твоихъ дѣйствій—поцѣлуй женщины; правда, эта женщина — царица, а эта царица—я!»

Намъ особенно нравится то обстоятельство, что влюбленнаго юношу называютъ Симеономъ! Это славянское, въ обыкновенной рѣчи неупотребительное, имя такъ и даетъ намъ чувствовать, что вы находитесь въ области условнаго, и что до истины тутъ дѣла нѣтъ никакого. Приходитъ Олесницкій, посолъ Гонсѣвскаго, и Заруцкій. Олесницкій говоритъ свысока, Марина тоже; по уходѣ посла, Заруцкій нимаетъ личину и «отдѣлываетъ» Марину.

Разговоръ происходитъ между ними слѣдующій:

Марина.

«Не знаю, что̀ значитъ: избавиться? (*Отъ Ляпунова*).

Заруцкій.

«Извѣстное дѣло (*дѣлаетъ знакъ убійства*). Какая ты стала непонятливая!.. Ну, а какъ Ляпуновъ намъ петлю на шею надѣнетъ?

Марина (*смѣясь и схватившись обѣими руками за шею*).

«Моя шея не сдѣлана для петли палача!

Заруцкій.

«Знаемъ! она сдѣлана для жидовскихъ объятій...

Марина.

«Заруцкій!

Заруцкій (*беретъ ее за руку*).

«Ну, ну, ну, успокойся! безумная!»

Заруцкій уходитъ, Марина восклицаетъ: «О, вѣчное правосудіе! Ляпуновъ падетъ отъ Заруцкаго! Ляпуновъ, эта высокая, божественная сила, это соединеніе всего прекраснаго и великаго!.. и потомъ объявляетъ, что: «Заруцкій правъ. Прочь сожалѣніе, прочь добродѣтель! Пусть дѣйствуетъ Провидѣніе: я ему не помѣха».

Первый актъ кончается.

Эти сцены до того напоминаютъ слогъ, манеру, всѣ замашки тѣхъ историческихъ драмъ, которыя дюжинами появляются на сценѣ Porte St. Martin и Gaîté, что кажутся переводомъ. Королева Маргарита въ Tour de Nesle г. Галльярде — родная сестра Маринѣ г. Гедеонова.

Второе дѣйствіе начинается длиннымъ разсказомъ Ржевскаго своему паперснику о томъ, какъ Ляпуновъ его оскорбилъ и какъ онъ ему мститъ намѣренъ. Къ удивленію зрителя, Ржевскій вдругъ потомъ является самымъ жаркимъ поклонникомъ Ляпунова, и даже гибнетъ вмѣстѣ съ нимъ. Потомъ собираются казаки и русскіе воины; является писарь Лыткинъ, «высѣченный», говоритъ кудревато, поноситъ Ляпунова; Ляпуновскіе побить его хотятъ, Трубецкіе защищаютъ... Ну, однимъ словомъ, читатели, вспомните появленіе капуцина въ «Лагерѣ Валленштейна». Приходитъ Заруцкій, держитъ рѣчь, начинаетъ такъ: «Вотъ, въ разсужденіи того теперь идетъ рѣчь» (Тарасъ Бульба—прекрасное произведеніе...) Понемногу онъ преклоняетъ весь народъ на свою сторону. «Я, панове, держу эту рѣчь», повторяетъ онъ: «не для того, чтобъ въ чемъ обидѣть Прокопія Петровича Ляпунова; онъ у насъ такой воевода, какихъ не найти въ цѣломъ свѣтѣ»... And Brutus is an honourable man *). Но—les beaux esprits se rencontrent... Толпа, подстрекаемая Заруцкимъ, бросается къ дому Ляпунова. Онъ выходитъ... все, разумѣется, умолкаетъ и трепещетъ. Ляпуновъ говоритъ имъ разныя горькія истины и уходитъ. Сцена эффектная.

Второй актъ кончается.

Въ третьемъ дѣйствіи мы опять видимъ Марину, но уже не съ Симеономъ, а съ наперсницей. Марина говоритъ ей: «Помнишь ли, Юзефа, Самборъ съ его зелеными, съ его темными, роскошными садами, съ его каштановыми аллеями, гдѣ раздавался такъ часто звонкій смѣхъ двухъ безпечныхъ и счастливыхъ красавицъ? Помнишь ли эти внезапные переходы отъ дѣтскаго смѣха къ непостижимой, чудной грусти, когда наша грудь волновалась отъ неизвѣстныхъ желаній, и лицо горѣло?»—Вотъ слогъ, такъ слогъ! «А потомъ, когда вся Польша бросила свое гордое юношество къ *ногамъ* Сендомирской *жемчужины!* Все читало участь свою въ этихъ глазахъ, въ улыбкѣ этихъ пламенныхъ устъ!.. И я играла любовью!» Юзефа отвѣчаетъ ей, что «въ человѣческомъ сердцѣ есть другія струны». Приходитъ слуга и доноситъ, что Ляпуновъ бѣжалъ. Марина разочаровывается, но Заруцкій приходитъ, объясняетъ все дѣло къ собственному стыду и къ чести Ляпунова—и Марина сперва объявляетъ Заруцкому, что онъ рабъ ея воли, на что Заруцкій отвѣчаетъ, что онъ пойдетъ домой и выпьетъ горѣлки, а самъ идетъ къ Ляпунову. «Да!» говоритъ она: «бываютъ такія природы! въ нихъ все молчитъ, въ нихъ тлѣетъ сокровенное пламя—доколѣ» (о, доколѣ! какъ это «доколѣ»—хорошо!) «чужое дыханіе не оживитъ и не разбудитъ его! Марина стоитъ позтрона! Рѣшено! я иду, иду за шапкой Мономаха!»

Мы въ избѣ Ляпунова. Онъ бесѣдуетъ со старцемъ Авраміемъ, обѣщаетъ ему избавить Гермогена, спасти Москву. Старецъ удивляется. «Что», говоритъ Ляпуновъ:—«наша храбрость воинская въ сравненіи съ смиренною твердостью сего мужа? Мы летимъ въ сраженье на борзыхъ коняхъ, покрытые сталью... Звуки трубъ, дымъ пороха, алая кровь... все наполняетъ душу отвагой... а онъ!» По поводу этой тирады мы не можемъ не замѣтить, что такъ-называемыя общія мѣста дѣлятся на избитыя и неизбитыя; неизбитыя ничѣмъ не лучше избитыхъ. Являются бояре: начинается споръ, какъ и слѣдовало ожидать: князья унижаютъ Ляпунова, одинъ даже предлагаетъ ему выйти съ нимъ на бой, по старинному русскому обычаю;

*) И Брутъ честный человѣкъ. (Изъ рѣчи Антонія, въ „Юліи Цезарѣ", Шекспира).

Однако все приходитъ въ порядокъ, и воеводы расходятся друзьями. Ляпуновъ молится. Входитъ Марина. «Одинъ, и молится!» говоритъ она: «я этого не люблю». Начинается разговоръ между ними. Марина оправдываетъ свое поведеніе. Ляпуновъ ей что-то не вѣритъ, однако трогается ея судьбою. Марина старается его обольстить, сулитъ ему вѣнецъ, говоритъ ему: «оставь убійственное сомнѣніе»... «Змѣя, змѣя», шепчетъ въ сторону Ляпуновъ: «я понимаю тебя»... Марина продолжаетъ, съ возрастающимъ жаромъ: «Любилъ ли ты когда, Ляпуновъ? Слышалъ ли когда признаніе страстной, могучей любви изъ устъ женщины—не безчувственной, раскрашенной куклы, каковы ваши русскія жены, а женщины, одаренной умомъ и душою? Что, если бъ нашлась такая жена, и она взяла бы тебя за мощную руку, и взглянула бы въ твои свѣтлыя очи и сказала тебѣ: другъ, я люблю тебя!» Сверхъ того, Марина предлагаетъ Ляпунову престолъ, а сына своего хочетъ удалить... Ляпуновъ негодуетъ и осыпаетъ Марину проклятіями и укоризнами. «Если же ты пришла сюда искать себѣ мужа», говоритъ онъ ей, вдохновясь Шекспиромъ: «есть у меня холопъ изъ татаръ: я, пожалуй, тебѣ его уступлю; быть-можетъ, онъ согласится быть супругомъ твоимъ». Марина выхватываетъ кинжалъ, кричитъ: «о, Боже!» и падаетъ на землю. Ляпуновъ сперва насмѣшливо глядитъ на нее, потомъ уходитъ.

Третій актъ кончается.

Мы въ станѣ русскихъ. Воины сидятъ въ живописномъ безпорядкѣ и готовятся къ приступу. Старый воинъ научаетъ молодого не бояться непріятеля. Но вотъ, является Симеонъ и говоритъ очень отрывисто. Союзъ его съ Ляпуновымъ разорванъ! «Да!» восклицаетъ онъ: «не будь ты мой Ляпуновъ... я убилъ бы тебя, мой Прокопъ, и назвалъ бы Марину своею!» Является Ляпуновъ; узнаетъ, а la Валленштейнъ, стараго солдата, остается наединѣ съ Симеономъ и окончательно превращается въ Валленштейна: «Ты стоишь подлѣ меня, какъ моя молодость», говоритъ онъ Симеону; «er stand neben mir wie meine Jugend»—говоритъ Валленштейнъ о Максѣ.—Pereant qui ante nos nostra dixerunt!—Ляпуновъ разспрашиваетъ Симеона о причинѣ его грусти, узнаётъ, что онъ любитъ чужеземку, и перестаетъ быть Валленштейномъ; говоритъ, что въ Нѣмечинѣ женщины съ обнаженною грудью предаются бѣсовскимъ увеселеньямъ и развратъ заморскому; потомъ переходитъ къ Маринѣ и объявляетъ свое намѣреніе задушить ее собственными руками. Симеонъ, услышавъ такія слова, берется одной рукой за кинжалъ, другой касается груди Ляпунова: «Прокопъ Петровичъ, ты уже въ кольчугѣ?» — Ляпуновъ уходитъ. Симеонъ спѣшитъ къ Маринѣ.

Мы приходимъ въ избу Марины.

Марина толкуетъ съ Заруцкимъ о своемъ намѣреніи послать подложное письмо отъ Ляпунова къ Гонсѣвскому, черезъ Волынскаго. Въ этомъ письмѣ Ляпуновъ измѣняетъ отечеству; Волынскій попадется въ плѣнъ; Гонсѣвскій его отпуститъ, а Волынскій съ письмомъ возвратится въ думу боярскую, обвинитъ Ляпунова,—вслѣдствіе чего Ляпуновъ неминуемо погибнетъ. Хотя читатель не понимаетъ, какимъ образомъ Волынскій можетъ вдругъ сдѣлаться такимъ отъявленнымъ негодяемъ, и почему Гонсѣвскій выдастъ Симеону письмо Ляпунова, но въ знаменитыхъ драмахъ г. Бушарди такія ли еще бываютъ несообразности! Заруцкій сомнѣвается въ возможности уговорить Волынскаго. «Онъ меня любитъ», отвѣчаетъ Марина; Заруцкій все еще не убѣжденъ; «онъ любитъ меня», повторяетъ Марина и подчерки-

Второе дѣйствіе начинается длиннымъ разсказомъ Ржевскаго своему наперснику о томъ, какъ Ляпуновъ его оскорбилъ и какъ онъ ему мститъ намѣренъ. Къ удивленію зрителя, Ржевскій вдругъ потомъ является самымъ жаркимъ поклонникомъ Ляпунова, и даже гибнетъ вмѣстѣ съ нимъ. Потомъ собираются казаки и русскіе воины; является писарь Лыткинъ, «высѣченный», говоритъ кудревато, поноситъ Ляпунова; Ляпуновскіе побить его хотятъ, Трубецкіе защищаютъ... Ну, однимъ словомъ, читатели, вспомните появленіе капуцина въ «Лагерѣ Валленштейна». Приходитъ Заруцкій, держитъ рѣчь, начинаетъ такъ: «Вотъ, въ разсужденіи того теперь идетъ рѣчь» (Тарасъ Бульба—прекрасное произведеніе...) Понемногу онъ преклоняетъ весь народъ на свою сторону. «Я, пановѣ, держу эту рѣчь», повторяетъ онъ: «не для того, чтобъ въ чемъ обидѣть Прокопія Петровича Ляпунова; онъ у насъ такой воевода, какихъ не найти въ цѣломъ свѣтѣ»... And Brutus is an honourable man *). Но—les beaux esprits se rencontrent... Толпа, подстрекаемая Заруцкимъ, бросается къ дому Ляпунова. Онъ выходитъ... все, разумѣется, умолкаетъ и трепещетъ. Ляпуновъ говоритъ имъ разныя горькія истины и уходитъ. Сцена эффектная.

Второй актъ кончается.

Въ третьемъ дѣйствіи мы опять видимъ Марину, но уже не съ Симеономъ, а съ наперсницей. Марина говоритъ ей: «Помнишь ли, Юзефа, Самборъ съ его зелеными, съ его темными, роскошными садами, съ его каштановыми аллеями, гдѣ раздавался такъ часто звонкій смѣхъ двухъ безпечныхъ и счастливыхъ красавицъ? Помнишь ли эти внезапные переходы отъ дѣтскаго смѣха къ непостижимой, чудной грусти, когда наша грудь всколыхалась отъ неизвѣстныхъ желаній, и лицо горѣло?»—Вотъ слогъ, такъ слогъ! «А потомъ, когда вся Польша бросила свое гордое юношество къ *ногамъ* Сендомирской *жемчужины!* Все читало участь свою въ этихъ глазахъ, въ улыбкѣ этихъ пламенныхъ устъ!.. И я играла любовью!» Юзефа отвѣчаетъ ей, что «въ человѣческомъ сердцѣ есть другія струны». Приходитъ слуга и доноситъ, что Ляпуновъ бѣжалъ. Марина разочаровывается, но Заруцкій приходитъ, объясняетъ все дѣло къ собственному стыду и къ чести Ляпунова—и Марина сперва объявляетъ Заруцкому, что онъ рабъ ея воли, на что Заруцкій отвѣчаетъ, что онъ пойдетъ домой и выпьетъ горѣлки, а самъ идетъ къ Ляпунову. «Да!» говоритъ она: «бываютъ такія природы! въ нихъ все молчитъ, въ нихъ тлѣетъ сокровенное пламя—доколѣ» (о, доколѣ! какъ это «доколѣ»—хорошо!) «чужое дыханіе не оживитъ и не разбудитъ его! Марина стоитъ полтрона! Рѣшено! я иду, иду за шапкой Мономаха!»

Мы въ избѣ Ляпунова. Онъ бесѣдуетъ со старцемъ Авраміемъ, обѣщаетъ ему избавить Гермогена, спасти Москву. Старецъ удивляется. «Что», говоритъ Ляпуновъ:—«наша храбрость воинская въ сравненіи съ смиренною твердостью сего мужа? Мы летимъ въ сраженье на борзыхъ коняхъ, покрытые сталью... Звуки трубъ, дымъ пороха, алая кровь... все наполняетъ душу отвагой... а онъ!» По поводу этой тирады мы не можемъ не замѣтить, что такъ-называемыя общія мѣста дѣлятся на избитыя и неизбитыя; неизбитыя ничѣмъ не лучше избитыхъ. Являются бояре: начинается споръ, какъ и слѣдовало ожидать: князья унижаютъ Ляпунова, одинъ даже предлагаетъ ему выйти съ нимъ на бой, по старинному русскому обычаю;

*) И Брутъ честный человѣкъ. (Изъ рѣчи Антонія, въ „Юліи Цезарѣ", Шекспира).

Однако все приходитъ въ порядокъ, и воеводы расходятся друзьями. Ляпуновъ молится. Входитъ Марина. «Одинъ, и молится!» говоритъ она: «я этого не люблю». Начинается разговоръ между ними. Марина оправдываетъ свое поведеніе. Ляпуновъ ей что-то не вѣритъ, однако трогается ея судьбою. Марина старается его обольстить, сулитъ ему вѣнецъ, говоритъ ему: «оставь убійственное сомнѣніе»... «Змѣя, змѣя», шепчетъ въ сторону Ляпуновъ: «я понимаю тебя»... Марина продолжаетъ, съ возрастающимъ жаромъ: «Любилъ ли ты когда, Ляпуновъ? Слышалъ ли когда признаніе страстной, могучей любви изъ устъ женщины—не безчувственной, раскрашенной куклы, каковы ваши русскія жены, а женщины, одаренной умомъ и душою? Что, если бъ нашлась такая жена, и она взяла бы тебя за мощную руку, и взглянула бы въ твои свѣтлыя очи и сказала тебѣ: другъ, я люблю тебя!» Сверхъ того, Марина предлагаетъ Ляпунову престолъ, а сына своего хочетъ удалить... Ляпуновъ негодуетъ и осыпаетъ Марину проклятіями и укоризнами. «Если же ты пришла сюда искать себѣ мужа», говоритъ онъ ей, вдохновясь Шекспиромъ: «есть у меня холопъ изъ татаръ: я, пожалуй, тебѣ его уступлю; быть-можетъ, онъ согласится быть супругомъ твоимъ». Марина выхватываетъ кинжалъ, кричитъ: «о, Боже!» и падаетъ на землю. Ляпуновъ сперва насмѣшливо глядитъ на нее, потомъ уходитъ.

Третій актъ кончается.

Мы въ станѣ русскихъ. Воины сидятъ въ живописномъ безпорядкѣ и готовятся къ приступу. Старый воинъ научаетъ молодого не бояться непріятеля. Но вотъ, является Симеонъ и говоритъ очень отрывисто. Союзъ его съ Ляпуновымъ разорванъ! «Да!» восклицаетъ онъ: «не будь ты мой Ляпуновъ... я убилъ бы тебя, мой Прокопъ, и назвалъ бы Марину своею!» Является Ляпуновъ; узнаетъ, à la Валленштейнъ, стараго солдата, остается наединѣ съ Симеономъ и окончательно превращается въ Валленштейна: «Ты стоишь подлѣ меня, какъ моя молодость», говоритъ онъ Симеону; «er stand neben mir wie meine Jugend»—говоритъ Валленштейнъ о Максѣ.—Pereant qui ante nos nostra dixerunt!—Ляпуновъ разспрашиваетъ Симеона о причинѣ его грусти, узнаетъ, что онъ любитъ чужеземку, и перестаетъ быть Валленштейномъ; говоритъ, что въ Нѣмечинѣ женщины съ обнаженною грудью предаются бѣсовскимъ увеселеньямъ и разврату заморскому; потомъ переходитъ къ Маринѣ и объявляетъ свое намѣреніе задушить ее собственными руками. Симеонъ, услышавъ такія слова, берется одной рукой за кинжалъ, другой касается груди Ляпунова: «Прокопъ Петровичъ, ты уже въ кольчугѣ?» — Ляпуновъ уходитъ. Симеонъ спѣшитъ къ Маринѣ.

Мы приходимъ въ избу Марины.

Марина толкуетъ съ Заруцкимъ о своемъ намѣрсніи послать подложное письмо отъ Ляпунова къ Гонсѣвскому, черезъ Волынскаго. Въ этомъ письмѣ Ляпуновъ измѣняетъ отечеству; Волынскій попадется въ плѣнъ; Гонсѣвскій его отпуститъ, а Волынскій съ письмомъ возвратится въ думу боярскую, обвинитъ Ляпунова,—вслѣдствіе чего Ляпуновъ неминуемо погибнетъ. Хотя читатель не понимаетъ, какимъ образомъ Волынскій можетъ вдругъ сдѣлаться такимъ отъявленнымъ негодяемъ, и почему Гонсѣвскій выдастъ Симеону письмо Ляпунова, но въ знаменитыхъ драмахъ г. Бушардй такія ли еще бываютъ несообразности! Заруцкій сомнѣвается въ возможности уговорить Волынскаго. «Онъ меня любитъ», отвѣчаетъ Марина; Заруцкій все еще не убѣжденъ; «онъ любитъ меня», повторяетъ Марина и подчерки-

ваетъ слово: меня! Заруцкій болѣе не сомнѣвается и уходитъ. Марина остается одна... Но всю слѣдующую сцену невозможно не выписать.

«Марина (одна, въ ней нѣтъ ничего живого *). Она говоритъ глухимъ, гробовымъ... но твердымъ голосомъ): «Ко мнѣ, ко мнѣ, змѣи адскія! Ко мнѣ, черное мщеніе!

«Совершается дѣло неслыханное! дѣло темное и кровавое, отъ котораго Божьи ангелы отвращаютъ лицо свое!

«Ты самъ виноватъ, Прокопъ Петровичъ! Я шла къ тебѣ съ любовью, съ надеждою и молитвой! Ты отвергнулъ меня: ты отнялъ руку свою отъ Марины! Ты могъ и не захотѣлъ извлечь ее изъ бездны позора и преступленія!

«Какъ онъ былъ хорошъ въ своемъ гнѣвѣ! Какъ благороденъ! Какъ я чувствовала, что могу любить! Но жалости онъ не знаетъ! Не по жалѣютъ и о немъ. Убійство и смерть торжествуютъ! все прекрасное гибнетъ. Добро есть зло, а зло есть добро!

«Я покажу тебѣ, умѣю ли мстить за обиды! Былъ у тебя другъ ты его нѣжно любилъ; тебя другъ твой продастъ, ты падешь отъ ножа его!—Ты любишь свою Русь, безумно любишь ее! Русь назоветъ тебя измѣнникомъ, и поздніе лѣтописцы проклянутъ твое имя! Не правда ли, я умѣю мстить?

«Я слышу его! Онъ идетъ! Ко мнѣ, змѣи адскія! Ко мнѣ, черное мщеніе!

(*Входитъ Симеонъ*).

Симеонъ.

«Марина!

Марина.

«Это ты! Спасибо тебѣ, что пришелъ! Не бойся! Я призвала тебя не за кровавою местью! Вчерашнія оскорбленія забыты! Я хотѣла увидать еще разъ, еще въ послѣдній разъ того, кто любилъ меня...

Симеонъ.

«О, Боже! Мы разстаемся?

Марина.

«Навсегда! Я ѣду въ дальній путь, Симеонъ!

Симеонъ.

«Я не хочу понимать тебя, но мнѣ страшно!

Марина.

«Могъ ли ты думать, что я соглашусь быть игрушкой Ляпунова Что отчаяніемъ и слезами я захочу увеличить его торжество? Могли ли ты думать, что я понесу на срамную плаху преступниковъ мою вѣнчанную голову? У меня есть ядъ, Симеонъ!

Симеонъ.

«Ты не умрешь!

Марина.

«Ты любилъ меня! Исполни же послѣднюю волю мою! Когда на башняхъ кремлевскихъ раздастся побѣдное русское ура, и гордый вождь взойдетъ въ царскія палаты—меня уже не будетъ! Мой сынъ

*) Это замѣчаніе автора о состояніи души Марины напоминаетъ намъ замѣчанія автора другой исторической драмы, исполненной высокихъ... комическихъ достоинствъ. Къ сожалѣнію, мы позабыли названіе этой драмы. Герой перебрасываетъ съ руки на руку голову своего соперника — а сочинитель въ выноскѣ замѣчаетъ: „Страшно!“ Въ этой же драмѣ мѣсто дѣйствія одной сцены описано слѣдующимъ образомъ: „Направо кусты и лужайка; налѣво великій князь въ богатѣйшемъ нарядѣ“. Но въ сочиненіи г. Гедеонова нѣтъ ничего комическаго.

въ Коломнѣ! Спаси его, сокрой его! Не дай этому врагу упиться невинною кровію младенца!

Симеонъ.

«Ты не умрешь!

Марина.

«Ребенокъ! не ты ли спасешь меня? Повѣрь мнѣ, все кончено; я покоряюсь судьбѣ своей. Заруцкій меня оставляетъ! Онъ слишкомъ дорого продавалъ мнѣ защиту свою: онъ требовалъ этой руки! Я бросилась къ Ляпунову; Ляпуновъ отвергнулъ меня! ты видишь, добрый другъ, я должна умереть!

Симеонъ.

«О, Боже мой!

Марина.

«Куда бѣжать? Отъ кого ждать спасенія? Ляпуновъ клялся меня погубить; а ты знаешь, умѣетъ ли онъ держать свои клятвы?

Симеонъ.

«Я убью его!

Марина.

«О, Симеонъ! онъ твой другъ...

Симеонъ.

«Я его ненавижу!

Марина.

«Онъ спаситель, надежда твоей Руси...

Симеонъ.

«Что мнѣ Русь, что мнѣ дружба, что мнѣ весь свѣтъ въ сравненіи съ твоимъ взглядомъ! Я живу тобою! дышу тобою! Пусть все гибнетъ, все рушится вокругъ меня, лишь бы ты, моя царица, улыбнулась рабу твоему! (*падаетъ на колѣни.*)

Марина (*беретъ его за руку*).

«О, Боже мой! Эта жизнь такъ прекрасна! быть такъ любимой—и умереть!

Симеонъ.

«Я спасу тебя! я этимъ ножомъ вырву у него сердце изъ груди! Я спасу тебя, слышишь ли?

Марина.

«Волынскій! изъ гроба ты вызываешь меня къ жизни! Не забудь, что ты дѣлаешь! Не забудь, за что ты берешься!

Симеонъ.

«Я сдержу свое слово!

Марина.

«Еще не поздно, ты можешь вернуться! Судьба моя тяжела! Горе тому, кто захочетъ ее раздѣлить!

Симеонъ.

«Я рѣшился!

Марина.

«Вспомни, что я требую полнаго, слѣпого повиновенія! Вспомни, что кто любитъ Марину, для того нѣтъ ни друга, ни отчизны, ни вѣры! Онъ долженъ быть мой, весь мой! Онъ долженъ жить моей жизнью, мыслить моей мыслію, любить моимъ сердцемъ!

Симеонъ.

«Для тебя, я убью родного отца.

Марина.

«Хорошо же. (*Торжественно.*) Отнынѣ ты мой рабъ, слѣпой исполнитель воли моей.

Симеонъ.

«Царица, повелѣвай!

Марина.

«Слушай же! Я не хочу, чтобы Москва была взята въ эту ночь!

Симеонъ.

«Я могу измѣнить!

Марина.

«Вотъ письмо: приложи къ нему печать Ляпунова. Возьми его съ собою на приступъ. Ты ведешь передовую дружину. Поляки сдѣлаютъ вылазку; отдайся въ плѣнъ тому, кто скажетъ тебѣ мое имя. Завтра ты будешь свободенъ; завтра ты отдашь это письмо боярамъ.

Симеонъ.

«Это письмо..

Марина.

«Ты видишь, оно писано Ляпуновымъ; онъ объявляетъ Гонсѣвскому, что передается полякамъ: онъ забылъ только печать приложить! Ты колеблешься? Ты блѣднѣешь? Отдай мнѣ письмо! Я разорву его!

Симеонъ.

«Оставь! Ляпуновъ отжилъ свой вѣкъ.

Марина *(опираясь на плечо Симеона и почти обнимая его).*

«Я буду тебя ожидать. Приходи завтра; скажи мнѣ: ты свободна; бояться тебѣ болѣе некого... И ты получишь достойную награду. (*Цѣлуетъ его и убѣгаетъ.*)

Симеонъ.

«О, доживу ли я до утра?..»

Отъ смѣшного къ великому тоже шагъ одинъ, какъ и отъ великаго къ смѣшному. Адельгейда въ «Гёце фонъ-Берлихингенъ» говоритъ Францу при прощаніи: «und der schönste Lohn wartet dein...»; а Францъ отвѣчаетъ: «O, werd' ich bis zum Morgen leben!..»

Кто жъ говорилъ, что Гёте не зналъ русскаго языка?..

Дѣйствіе пятое.

Ляпуновъ въ отчаяніи, приступъ не удался; Симеонъ исчезъ безъ вѣсти. Приходитъ Ржевскій и увѣдомляетъ Ляпунова объ измѣнѣ Симеона. Ляпуновъ опять въ отчаяніи. Являются бояре. Зовутъ Ляпунова на судъ. Онъ идетъ. Авторъ насъ переноситъ на площадь передъ домомъ Масальскаго. Народъ толкуетъ объ измѣнѣ Ляпунова. Замѣтимъ, кстати, что почти всѣ наши писатели старой школы, съ легкой руки г. Загоскина, заставляютъ говорить народъ русскій какимъ-то особеннымъ языкомъ съ шуточками да съ прибауточками. Русскій человѣкъ говоритъ такъ, да не всегда и не вездѣ: его обычная рѣчь замѣчательно проста и ясна. Это напоминаетъ намъ разсказъ Пушкина о томъ, какъ онъ на Кавказѣ встрѣтилъ персидскаго посла, заговорилъ съ нимъ по-восточному, и какъ былъ пристыженъ, услышавъ его простой, вѣжливый отвѣтъ.—Итакъ, народъ толкуетъ; является юродивый,—это странное лицо, безъ котораго не обходится ни одна русская драма,—и, какъ водится, пѣсенками да нелѣпыми словами предсказываетъ да предчувствуетъ бѣду. Какъ «украшеніе, въ сочиненіи пріятное», это лицо уже слишкомъ избито; усиліе же представлять юродиваго какимъ-то всезнающимъ существомъ, несмотря

на его безуміе. доказываетъ странную увѣренность въ превосходствѣ безсознательнаго вдохновенія надъ простымъ здравымъ разсудкомъ. Въ русскихъ сказкахъ Иванушка-дурачокъ, которому все удается, совсѣмъ не глупъ.—Приходитъ Марина, «разстроенная», хочетъ войти въ совѣтъ, тащитъ за собой юродиваго... выбѣгаетъ Ляпуновъ, на смерть раненый. Марина кается передъ нимъ. Ляпуновъ благодаритъ ее и прощаетъ. «А я проклинаю тебя!» кричитъ юродивый и убѣгаетъ. Симеонъ «пробирается сквозь толпу» и зоветъ Марину съ собой, проситъ Ляпунова сказать ей, что онъ его сынъ, и что онъ его зарѣзалъ. Онъ съ ума сходитъ, какъ вообще въ операхъ всегда сходятъ съ ума примадонны и теноры въ затруднительныя минуты... Это сумасшествіе очень удобно для дюжинныхъ композиторовъ. Но Моцартъ не заставляетъ донью Анну, при видѣ убитаго отца, приноминать дни дѣтства и проч., какъ это дѣлаютъ оперные сумасшедшіе.—Марина себя обвиняетъ во всеуслышаніе; народъ бросается на нее съ крикомъ... Ляпуновъ ее спасаетъ, предсказываетъ Пожарскаго и умираетъ.

Изъ подробнаго обзора драмы г. Гедеонова читатель можетъ усмотрѣть, справедливо ли наше мнѣніе объ этомъ произведеніи. Повторяемъ: образованному человѣку написать такую драму—очень легко; но qu'est ce que cela prouve? какъ говаривалъ д'Аламберъ. Обогатила ли она нашу душу хотя однимъ живымъ и теплымъ словомъ, познакомила ли она насъ съ новымъ, небывалымъ воззрѣніемъ талантливаго человѣка на русскую жизнь, русское сердце, русскую старину? Легко представлять доблестныхъ вождей, «соединеніе всего прекраснаго и великаго», коварныхъ и честолюбивыхъ женщинъ, призывающихъ «черныхъ змѣй», влюбленныхъ юношей Симеоновъ и проч.; легко заставить эти бездушныя и безкровныя лица говорить языкомъ новѣйшей французской мелодрамы... ma per che? какъ спрашивалъ графъ Альмавива. Мы возставали и возстаемъ противъ злоупотребленія патріотическихъ фразъ, которыя такъ и сыплются изъ устъ героевъ нашихъ историческихъ драмъ—возставали и возстаемъ оттого, что желали бы найти въ нихъ болѣе истиннаго патріотизма, роднаго смысла, пониманія народнаго быта, сочувствія къ жизни предковъ... пожалуй, хоть и къ народной гордынѣ... Это всякому дано ощущать, но не всякому дано выразить. Образцами такого рода драмы могутъ служить «Генрихи» и «Ричарды» Шекспира. «Старая Англія» (Old England) живетъ и дышитъ въ этихъ безсмертныхъ произведеніяхъ... Кто намъ доставитъ наслажденіе поглядѣть на нашу древнюю Русь? Неужели не явится, наконецъ, талантъ, который возьмется хоть за этихъ двухъ рязанскихъ дворянъ, Прокопа и Захара Ляпунова, и покажетъ намъ, наконецъ, русскихъ живыхъ людей,—говорящихъ русскимъ языкомъ, а не слогомъ,—вмѣсто тѣхъ странныхъ существъ, которыя подъ именами историческими и вымышленными такъ давно и такъ безотрадно мелькаютъ передъ нашими глазами! Или, въ pendant малороссу, Тарасу Бульбѣ, намъ все еще должно удовлетворяться русскимъ Чичиковымъ?

Да, русская старина намъ дорога, дороже, чѣмъ думаютъ иные. Мы стараемся понять ее ясно и просто; мы не превращаемъ ее въ систему, не втягиваемъ въ полемику; мы ее любимъ не фантастически-вычурною, старческою любовью: мы изучаемъ ее въ живой связи съ дѣйствительностью, съ нашимъ настоящимъ и нашимъ будущимъ, которое совсѣмъ не такъ оторвано отъ нашего прошедшаго, какъ опять-таки думаютъ иные. Но, повторяемъ: пусть истинный талантъ,—

какія бы ни были его теоретическія, историческія убѣжденія—передастъ намъ нашу старину... за нашими рукоплесканіями дѣло не станетъ. Что же касается до «Смерти Ляпунова» г. Гедеонова, то вотъ наше послѣднее слово объ этой драмѣ: мы ее не даромъ сравнили въ началѣ статьи съ оперой: она—не что иное, какъ оперное либретто.

«Отеч. Зап.» 1846 года, № 8-й.

IV. — «Генералъ-Поручикъ Паткуль». Трагедія въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ. Спб. Сочиненіе Нестора Кукольника.

«Генералъ-Поручикъ Паткуль» названъ авторомъ, вѣроятно, не безъ причины, трагедіей, а не исторической драмой. Слово трагедія хотя и утратило свой первобытный, древній смыслъ, все же переноситъ читателя въ ту идеальную сферу искусства, гдѣ дѣйствующія лица являются представителями великихъ вопросовъ, великихъ событій человѣчества, гдѣ совершается борьба между двумя коренными началами жизни и гдѣ, слѣдовательно, трагикъ имѣетъ право, для бо́льшаго торжества истины, жертвовать фактами, внѣшней вѣроятностью *). Въ произведеніи г. Кукольника одно лицо—Паткуль, наполняетъ всю сцену; *пафосъ* — (мы бы весьма желали замѣнить это слово другимъ, въ угоду тѣмъ насмѣшливымъ и острымъ людямъ, которымъ оно не нравится—но не находимъ другого) его пафосъ—величіе Петра, возникающей Руси, новаго царства, новаго народа... Остальныя лица—Августъ, Карлъ, любовницы и министры Августа—служатъ только рамой картинѣ. Намъ кажется, что авторъ употребилъ во зло признанное за нимъ право измѣнять событія: вся его трагедія исполнена анахронизмомъ, на которое мы укажемъ ниже; во всякомъ случаѣ, едва ли слѣдовало заставить Паткуля (на стр. 84) говорить о Молiерѣ, какъ о живомъ человѣкѣ, тридцать-три года послѣ его смерти. — Но прежде, чѣмъ приступимъ собственно къ разбору произведенія г. Кукольника, намъ хочется поговорить о самомъ Паткулѣ, какъ объ историческомъ лицѣ.

Графиня Кёнигсмаркъ **) говоритъ у г. Кукольника, что

«Царя Петра великое лицо
«Испуганной Европѣ представляетъ
«Великій Паткуль...

и хоть тогда, за три года до полтавской битвы, Европа не могла «пугаться» Петра — но мысль противопоставить юную Русь старой Европѣ, показать намъ представителя нашего великаго царя среди блестящаго и развратнаго двора Августа, эта мысль, дѣйствительно, могла бы служить основаніемъ замѣчательнаго художественнаго произведенія. Какъ ее выполнилъ г. Кукольникъ—увидимъ ниже, но теперь

*) „На сколько можетъ трагикъ отступить отъ исторической истины? Во всемъ, что не касается до *характера* дѣйствующаго лица,—на сколько угодно. — Но *характеры* должны быть ему священны. Малѣйшее *существенное* измѣненіе, всякое внутреннее противорѣчіе уничтожаетъ причину, почему выбрано именно это историческое лицо; а намъ не можетъ нравиться то, чему причины мы не находимъ". Лессингъ, Гамб. Драм., ч. I, стр. 105.

**) У г. Кукольника графиня Кёнигсмаркъ въ 1706 году добивается аббатства Кведлинбургскаго, которое, по исторіи, она получила въ 1698 году.

мы должны объявить, что въ нашихъ глазахъ Паткуль не заслуживаетъ чести быть *такимъ* представителемъ Петра. Рожденный съ сердцемъ горячимъ и благороднымъ, съ умомъ изворотливымъ и тонкимъ, онъ въ молодости своей смѣло возсталъ за права своей родины — и пострадалъ за свою смѣлость; осужденный на позорную казнь, если не раскаялся въ своей опрометчивости, то, по крайней мѣрѣ, всячески старался загладить ея дурныя послѣдствія, просилъ, писалъ умоляющія письма; раздраженный отказомъ, напраснымъ униженіемъ, старался отмстить шведскому правительству сперва сочиненіями, потомъ дѣлами *); велъ жизнь непостоянную и безпокойную, пока Флеммингъ его не завербовалъ въ саксонскую службу; увлеченный величіемъ Петра и, быть-можетъ, патріотическимъ желаніемъ упрочить судьбы своего отечества, поступилъ въ число служителей русскаго царя, не разрывая, впрочемъ, связи съ саксонскимъ дворомъ; интриговалъ, запутывалъ и распутывалъ дѣла, безпрестанно путешествовалъ, вступалъ въ сношенія съ правительствами австрійскимъ, прусскимъ, датскимъ, а при восшествіи юнаго Карла на престолъ хлопоталъ о помилованіи. Паткуль принадлежалъ къ числу тѣхъ странствующихъ второстепенныхъ дипломатовъ, космополитическихъ государственныхъ людей, которыми тогда полна была Европа. Таковъ былъ извѣстный Гёрцъ, таковъ былъ знаменитый Альберони, его современники; но Паткулю до нихъ, «какъ до звѣзды небесной», далеко. Страшная мученическая смерть Паткуля возбудила къ нему справедливое участіе историковъ и, можетъ-быть, одна вывела изъ мрака, обезсмертила его имя. Онъ преданъ былъ Петру потому, что чувствовалъ его превосходство и предугадывалъ его могущество; служилъ ему усердно, горячо, но дѣйствовалъ единственно изъ личныхъ выгодъ. Героемъ же онъ не былъ, хотя рисковалъ своей головой не разъ—c'était le mauvais coté du métier, какъ говорятъ французы **). Читатели могутъ усомниться въ справедливости нашего мнѣнія; мы имъ представимъ доказательство неотразимое: собственныя признанья Паткуля. — Капелланъ гіельмскаго полка, при которомъ находился плѣнный Паткуль, Лаврентій Гагенъ (Hagen), а не *Гагаръ*, какъ его называетъ г. Кукольникъ, — оставилъ необыкновенно трогательное, поражающее своей истиной, описаніе *послѣдняго дня* бѣднаго Паткуля, которому онъ служилъ исповѣдникомъ. Чтеніе этого документа, писаннаго на другой день казни, такъ сильно подѣйствовало на насъ, что мы рѣшаемся подѣлиться нашими впечатлѣніями съ читателемъ. Этотъ документъ чрезвычайно интересенъ и въ психологическомъ отношеніи: читая простой разсказъ почтеннаго пастора, мы какъ-будто присутствуемъ при предсмертныхъ мукахъ человѣка страстнаго, много пережившаго, не слабаго, но и не сильнаго, умнаго, но не необыкновеннаго, какимъ и былъ Паткуль... Такіе люди ближе и понятнѣе намъ, въ нихъ больше принимаешь участіе. — Вотъ этотъ разсказъ (пасторъ говоритъ о себѣ въ третьемъ лицѣ).

«...Полковникъ за тайну сказалъ пастору, что Паткуля казнятъ на слѣдующій день, и поручилъ ему объявить это плѣннику и приготовить несчастнаго къ христіанской кончинѣ. Согласно съ этимъ приказаніемъ, капелланъ отправился къ Паткулю въ третьемъ часу дня

*) Отвѣтъ шведскаго правительства на манифестъ 1702 года былъ публично сожженъ въ Москвѣ по наущенію Паткуля.

**) Извѣстно, что и Гёрца казнили (гораздо съ большей несправедливостью, чѣмъ Паткуля) послѣ смерти Карла. „Mors regis, fides in regem mors mea", сказалъ про себя Гёрцъ. Онъ умеръ съ замѣчательной твердостью — чего тоже нельзя сказать про Паткуля.

и нашелъ его лежащимъ на постели. Поклонившись ему, пасторъ попросилъ его не пенять на него за неожиданное посѣщеніе, тѣмъ болѣе, что онъ (пасторъ) не сомнѣвается въ томъ, что въ бѣдственномъ его положеніи, ему необходимы увѣщанія и утѣшенія божественнаго слова. «Я очень радъ»,—отвѣчалъ Паткуль:—«и очень вамъ благодаренъ; повѣрьте, г-нъ пасторъ, ни одно посѣщеніе не могло мнѣ быть болѣе пріятнымъ. Ну, прибавилъ онъ, что новаго?» — Капелланъ отвѣчалъ. что онъ долженъ ему нѣчто сказать наединѣ. Паткуль всталъ и обратился къ дежурному офицеру. Капелланъ тоже подошелъ къ офицеру и шопотомъ сообщилъ ему приказаніе полковника. Какъ только тотъ вышелъ, Паткуль взялъ пастора за руку... «Ахъ, г-нъ пасторъ», началъ онъ чрезвычайно взволнованнымъ голосомъ: «что вы такое мнѣ хотите объявить?»—Милостивый государь,—возразилъ пасторъ: — я прихожу къ вамъ съ порученіемъ Іезекія, я долженъ вамъ сказать, что Исаія сказалъ этому царю (Исаія XXXVIII, 1): «Устрой о дому твоемъ, умираеши бо ты и не будеши живъ!»—Услышавъ эти слова, Паткуль снова легъ, и слезы потекли у него изъ глазъ. Пасторъ началъ его утѣшать и сказалъ ему, что такъ какъ онъ искусенъ во всѣхъ наукахъ, то, вѣроятно, хорошо знакомъ и съ главнѣйшей изъ всѣхъ наукъ, съ религіей, и что поэтому не слѣдуетъ ему принимать съ такой горестью и съ такимъ волненіемъ извѣстіе, котораго онъ, притомъ, долженъ былъ ожидать. «Ахъ», сказалъ Паткуль: «я знаю старинную обязанность людей—умереть когда-нибудь; но эта смерть будетъ мнѣ слишкомъ тяжка». И онъ заплакалъ горько. Желая подкрѣпить его, пасторъ сказалъ ему, что еще неизвѣстно, какой родъ смерти ему назначенъ, но что она будетъ тѣмъ спасительнѣе для его души, чѣмъ страшнѣе для тѣла. Тогда Паткуль привсталъ на постели и, сложа руки, воскликнулъ: «Господи Іисусе, пошли мнѣ праведную смерть». Потомъ, обратившись къ стѣнѣ, продолжалъ: «Ахъ! редукція *) въ Швеціи и Ливоніи была причиной всѣхъ моихъ бѣдствій». Капелланъ попросилъ его оставить всѣ земные помыслы, которые, притомъ, не могли не быть ему непріятными, и подумать о небѣ и вѣчности. «Увы, добрый господинъ пасторъ!» отвѣчалъ онъ:—«моя душа—старая язва, наполненная гноемъ; позвольте мнѣ сперва выкинуть вонъ все, что у меня на сердцѣ: все это должно выдти вонъ. Эта редукція, которая разорила столько людей», продолжалъ онъ: «эта редукція причина всѣхъ моихъ несчастій. Покойный король ударилъ меня по плечу и сказалъ мнѣ: Паткуль, защищайте права вашей родины, какъ слѣдуетъ честному человѣку. Что же мнѣ дѣлать? Но злые люди все перетолковали въ дурную сторону. Да проститъ Господь Гастёру. Онъ много содѣйствовалъ къ моему несчастію. Сначала онъ заманилъ меня, потомъ совсѣмъ ослѣпилъ, потомъ сдѣлался моимъ врагомъ и сталъ меня преслѣдовать. Скоро я увижу тебя, вмѣстѣ съ моими другими обвинителями, передъ престоломъ Вѣчнаго Судіи. Боргейнъ тоже много мнѣ повредилъ: но онъ, по крайней мѣрѣ, дѣйствовалъ по приказанію. Швеція! Швеція! не со смѣхомъ и плясками покинулъ я тебя, Богъ тому свидѣтель! Но куда мнѣ было дѣться? Не могъ же я спрятаться въ могилѣ, вмѣстѣ съ мертвыми! Я не хотѣлъ пойти въ монастырь: моя религія мнѣ этого не позволяетъ; у соро-

*) Эта „редукція“ состояла въ конфискаціи многихъ казенныхъ имѣній, которыя дворянство себѣ присвоило или получило въ даръ, болѣе ста лѣтъ тому назадъ. Огромныя земли, между прочимъ 10 графствъ и 50 баронствъ, подверглись этому конфискованію.

державъ я не былъ въ безопасности. Мнѣ говорятъ: ты пошелъ
шимъ врагамъ, слѣдовательно, ты причиною этой войны. Но
ложный выводъ! Я пришелъ къ нимъ, какъ несчастный изгнан-
не какъ злой совѣтникъ и бунтовщикъ. Тогда никто не пола-
меня способнымъ къ тому дѣлу, и дѣйствительно, я къ этому
лъ способенъ. Когда я прибылъ въ Саксонію, все уже было
но, и конвенція съ Московіей была подписана, прежде нежели
-нибудь значилъ...»

:торъ снова посовѣтовалъ ему не вдаваться слишкомъ въ жи-
ія дѣла; но Паткуль взялъ его за руку и сказалъ: «Позвольте
роститься съ ними, съ тѣмъ, чтобъ ужъ никогда больше о нихъ
ворить. Какой вы націи, г-нъ пасторъ?»—Я шведъ,—возразилъ
—родомъ изъ Штокгольма.—«Тѣмъ лучше», отвѣчалъ Паткуль:—
ень бы желалъ, чтобы шведы тоже узнали истину обо мнѣ.
динъ пасторъ, *сердце у меня всегда было шведское*, хотя ему
тѣли вѣрить; но Богъ тому свидѣтель. Можно судить о моемъ
ложеніи къ шведамъ по тому, какъ я услужилъ нѣкоторымъ,
ымъ изъ нихъ. Эти услуги такого рода, что, скажу безъ хва-
гва, кромѣ меня никто бы на нихъ не рѣшился. Часто желали
вознаградить деньгами, но я не соглашался; я просилъ хотя
рекомендательнаго слова при шведскомъ дворѣ, съ тѣмъ, чтобы
попасть въ милость. Но увы! врата кротости были постоянно
ы для меня, бѣдной, заблудшей овцы. Я не переставалъ, однако,
еблять всяческія усилія; съ этой же цѣлью поѣхалъ въ Москву,
наши посланники тамъ были, Вы вѣдь слышали объ этомъ»,—
вилъ онъ, обращаясь къ пастору.—Да,—отвѣчалъ тотъ;—я даже
тогда честь быть капелланомъ при посольствѣ; я васъ тамъ
ъ.—«А! вы тамъ были! То-то мнѣ и хотѣлось сперва сказать,
васъ гдѣ-то видѣлъ. Да, г-нъ пасторъ», продолжалъ онъ, «я
ся попасть въ милость черезъ посредство царя. Но когда я
ъ, что посланникамъ короля было приказано сыскать меня и
вать моей выдачи, я принужденъ былъ спрятаться и жить ино-
го. Тогда распустили слухъ, что я отвратилъ царя отъ заклю-
мира. Но это сдѣлалъ N.; креатура N. *) — и другіе тутъ уча-
али, которыхъ я знаю. Я же, съ своей стороны, совѣтовалъ
иться на миръ, сколько могъ, совѣтовалъ; и въ первый же
я довелъ дѣло до того, что король шведскій получилъ бы Кур-
ю, польскую Лифляндію и бо́льшую часть Самогитіи, если бы
ъ согласиться на миръ. Полагали, что царь не захочетъ под-
ъ такія условія; но, напротивъ, когда я ему предложилъ свой
тъ, онъ очень обрадовался, обнялъ меня и благодарилъ за со-
Но шведскій король не согласился. Бѣдные плѣнные шведы,
ыхъ тогда было въ Москвѣ нѣсколько сотенъ, могли бы тоже
тельствовать въ мою пользу. Я могу сказать, что я истратилъ
ста тысячъ талеровъ, чтобы снова попасть въ милость швед-
короля. Ахъ, если бы я такъ же старался заслужить Божіе
ердіе!»

снова заплакалъ. Пасторъ началъ опять его утѣшать, увѣряя,
ще есть время, но что не надобно медлить, что врата Божьей
ти еще открыты для него. — «Въ этомъ всѣ мои надежды»,—
алъ онъ:—«Ты мой Богъ, Ты не человѣкъ: гнѣвъ Твой не вѣ-
. Но сердце мое разрывается при мысли, что я лучше служилъ
ъ, чѣмъ Богу...» Онъ еще прибавилъ нѣсколько словъ, и кончая,

*) удно догадаться, на кого мѣтилъ Паткуль. Не на Меншикова ли?

сказалъ: potentes potenter tormenta patientur (сильные будутъ наказаны сильно). «По, г-нъ пасторъ», продолжалъ онъ: «я, можетъ-быть, васъ задерживаю своими скучными рѣчами. Теперь, если вамъ нужно что-нибудь сдѣлать... я бы желалъ остаться немного наединѣ. Попросите также, пожалуйста, г-на полковника, чтобы меня не прерывали... я это сочту за милость». Пасторъ обѣщалъ исполнить его просьбу и удалился.

Когда онъ возвратился къ плѣннику, вечеромъ въ 7 часовъ, Паткуль сказалъ ему съ веселымъ и довольнымъ видомъ: «Милости просимъ, господинъ пасторъ: я на васъ гляжу, какъ на ангела небеснаго. Теперь, благодаря Бога, у меня тяжелый камень съ сердца свалился, я чувствую большую перемѣну въ своей совѣсти. Я радъ тому, что долженъ умереть. Лучше умереть, чѣмъ долго томиться въ тюрьмѣ! Ахъ! лишь бы эта смерть была сносна! Не знаете ли вы, какъ я долженъ умереть?» Капелланъ отвѣчалъ ему, что нѣтъ: но что, вѣроятно, все будетъ исполнено безъ шума, потому что до сихъ поръ въ полку никто объ этомъ не зналъ, кромѣ полковника да его (пастора). «И это милость», сказалъ Паткуль. «Но развѣ вы не видѣли моей сентенціи? Неужели жъ меня казнятъ, не выслушавши, даже не сообщивъ мнѣ приговора?» Пасторъ отвѣчалъ ему, что, вѣроятно, есть сентенція, но запечатанная, которую откроютъ только на мѣстѣ.—«Можетъ-быть»,—сказалъ Паткуль:—«лишь бы меня не долго мучили». Пасторъ подкрѣпилъ его, какъ только могъ,—и онъ самъ старался утѣшить себя словами священнаго писанія. Между прочимъ, онъ сказалъ по-гречески стихъ изъ Дѣяній Апостольскихъ (XIV, 22): «Многими скорбьми подобаетъ намъ внити въ царство Божіе», и изъ Посланія къ Римлянамъ (VIII, 18): «Непщую бо, яко недостойны страсти нынѣшняго времени къ хотящей славѣ явитися въ насъ». Онъ спросилъ потомъ, можетъ ли онъ получить бумаги и чернилъ. Когда же пасторъ сказалъ ему, что—да, онъ попросилъ у него позволенія продиктовать ему слѣдующее:

Завѣщаніе или послѣдняя моя воля, которую я хочу чтобы исполнили послѣ моей смерти.

Во-первыхъ, чтобы мои родственники, находящіеся въ шведскомъ войскѣ, получили должныя мнѣ суммы, въ силу существующихъ облигацій, и чтобы его величество, шведскій король, сдѣлалъ милость, помогъ имъ въ полученіи...

Продиктовавъ эти строки, онъ сказалъ пастору: «Остановимся тутъ, это мнѣ будетъ пріятнѣе, и отъ времени до времени станемъ молиться»; — что они и сдѣлали. — «Теперь», — промолвилъ онъ:— «слава Богу, я чувствую себя все лучше и лучше. Ахъ! лишь бы меня не долго мучили! Какъ бы я охотно отдалъ всю кровь мою, до послѣдней капли, если бъ я могъ выкупить ею свои грѣхи! Неправда ли, король — милосердый государь?» — Да, — отвѣчалъ ему капелланъ:—мы должны благодарить Бога за то, что онъ намъ далъ короля милосердаго и благочестиваго. — «Это главное», сказалъ Паткуль: «гдѣ страхъ Божій, тамъ и другія добродѣтели... Справедливо говоритъ Давидъ, что страхъ Божій начало премудрости. Окруженъ ли онъ честными людьми?» продолжалъ онъ, говоря о королѣ. Капелланъ отвѣчалъ утвердительно. — «А первый министръ, графъ Пиперъ — что, онъ вельможа, боящійся Бога?»—На это капелланъ отвѣтилъ, что графъ тоже неоднократно доказалъ свою набожность.—«Слава Богу», продолжалъ Паткуль:—«со мной, слѣдовательно,

гупять правосудно. Счастливо то царство, гдѣ господствуютъ бла-
эстіе и правосудіе!» Онъ началъ разспрашивать капеллана о
ецiи, университетахъ, ученыхъ, богословскихъ сочиненіяхъ док-
а Мейера. Потомъ онъ заговорилъ о Галле и въ особенности о
фессорѣ Франкѣ и докторѣ Брейтгауптѣ, спрашивая мнѣніе пастора
ихъ, а также, гдѣ онъ учился. «Да», сказалъ онъ, наконецъ, съ
бокимъ вздохомъ:—«да, да! есть у меня тамъ и сямъ друзья, ко-
ые пожалѣютъ обо мнѣ и заплачутъ, узнавъ о моей смерти! Что
жетъ вдовствующая курфирстша и фрейлина Левольде и, въ осо-
ности, моя бѣдная невѣста? (Паткуль былъ сосватанъ съ одной
сонской дамой, по имени Эйнзидленъ). О! какое горькое извѣстіе
нея! Добрый мой г-нъ пасторъ», прибавилъ онъ, пожавъ ему
у: — «могу я васъ обезпокоить одной просьбой?»—Охотно,—отвѣ-
ъ ему пасторъ: — если я только въ состояніи вамъ чѣмъ-нибудь
ужить.—«Будьте такъ добры, напишите бѣдной госпожѣ Эйнзидленъ,
й невѣстѣ; поклонитесь ей отъ меня въ послѣдній разъ и скажите
что моя смерть, какъ она ни позорна, все же счастлива и спа-
ельна для меня. Это ее немного утѣшитъ, особенно, если она
учитъ письмо отъ того, кто былъ при мнѣ въ послѣднія мгновенія
й жизни. Подумайте о моей вѣрной любви. Моя невѣста теперь
бодна и ничѣмъ не связана, а я умираю, преданный и благо-
ный ей»...

Пасторъ обѣщался исполнить его желаніе. Паткуль досталъ коше-
ъ и раздѣлилъ свои деньги на три свитка. — «Завтра», сказалъ
:—«если угодно Богу, я не хочу ничѣмъ заниматься житейскимъ».
ь предложилъ пастору одинъ изъ этихъ свитковъ, въ которомъ
ю сто червонцевъ. Когда же тотъ началъ отказываться, говоря,
онъ этого не заслуживаетъ, — «Ахъ! г-нъ пасторъ», воскликнулъ
ткуль: — «я часто давалъ по тысячѣ червонцевъ за временную
угу; вы же мнѣ теперь оказываете неоцѣненное расположеніе и
язнь, и я бы желалъ быть въ состояніи достойнѣе возблагодарить
ъ! Впрочемъ, г-нъ пасторъ, я хочу подарить вамъ самое драго-
нное мое сокровище—новый завѣтъ греческій, съ комментаріемъ
ія Монтана. Эта книга была неразлучна со мной во время моего
нанія. Она находится теперь у маіора Гротгузена; вы можете
слать за ней». Пасторъ поблагодарилъ его и обѣщался хранить ее
ю жизнь изъ любви къ нему. Паткуль попросилъ пастора покло-
ться маіору отъ его имени и благодарить его за всѣ оказанныя
исхожденія. Потомъ онъ взялъ другую книгу и сказалъ: «Это я
писалъ самъ. Возьмите и эту книгу, г-нъ пасторъ, на память обо
мѣ. Она докажетъ вамъ мою вѣру. Я бы очень желалъ, чтобы эта
ига какъ-нибудь попала на глаза королю». Пасторъ сказалъ Пат-
лю, что онъ отдастъ ее полковнику, съ тѣмъ, чтобы тотъ предста-
ъ ее королю. «Ахъ, какъ это было бы хорошо!» воскликнулъ
ткуль. «Милая книга, желаю, чтобы ты была счастливѣе меня. Я
юрю тебѣ, что Овидій говорилъ своимъ «*Tristes*», посылая ихъ
Августу, изъ мѣста своего изгнанія: «Ступай, моя книга, и вы-
опочи мнѣ то, чего я самъ не могъ выхлопотать». Потомъ онъ
просилъ пастора прочесть ему молитвы предсмертныя, въ особен-
сти ту, которая начинается такъ: «Вѣчному Богу вручаю я мою
шу»... Онъ самъ повторилъ ее съ большимъ вниманіемъ, и тутъ же
оворилъ о суетѣ мірской. — «Богъ мнѣ свидѣтель», сказалъ онъ:—
го среди всѣхъ благъ земныхъ у меня сердце всегда стѣснялось,
что теперь, когда я знаю, что долженъ умереть завтра,—я спокой-

нѣе и веселѣе, чѣмъ, бывало, на большихъ пирахъ. Munde [illegible] vale, т.-е. прощай, нечистый міръ! Г-нъ пасторъ, увѣряю васъ, я часто, особенно въ послѣдніе годы, я старался освободиться от міра, но не могъ. Я слишкомъ былъ кругомъ опутанъ. О, Іисусе буди благословенъ навсегда, Ты, разрывающій сѣти діавола! Съ разорваны, моя душа свободна, это дѣло рукъ могущественна Карла. Благодареніе Богу!.. Справедливо сказалъ святой Павелъ (Рим. посл. VIII, 27): «Вѣмы же, яко любящимъ Бога вси поспѣш ствуютъ въ благое». «Господинъ пасторъ», продолжалъ онъ, «я не задерживаю: уже становится поздно, вы устали». Пасторъ отвѣча что нѣтъ, помолился еще съ нимъ и кончилъ вечернею молитвой. «Посовѣтуйте мнѣ, г-нъ пасторъ», спросилъ его Паткуль:—«должн ли я отдохнуть теперь немного? Я очень уже давно не спалъ... очень слабъ. Сегодня я не ѣлъ ничего и выпилъ только нѣсколь глотковъ воды». Пасторъ ему присовѣтовалъ отдохнуть. «Итак продолжалъ онъ: «мое тѣло можетъ теперь успокоиться на врем Завтра мнѣ нужны всѣ мои силы. Я долженъ и хочу завтра подк пить свою душу святымъ причастіемъ». Тогда онъ замѣтилъ вре па своихъ часахъ, легъ на кровать, и пасторъ удалился.

На другой день, 30-го числа *), около 4-хъ часовъ утра, капелла опять явился къ нему. Паткуль тотчасъ услышалъ его прихо всталъ и поблагодарилъ Бога за хорошо проведенную ночь. «У давно», сказалъ онъ, «я такъ хорошо не спалъ». Они оба нача молиться, и авторъ этого разсказа сознается, что долженъ искрен похвалить его набожность. Около 6 часовъ Паткуль сказалъ пасто «Во имя Іисуса, приступимъ къ священному дѣйствію, пока шу дневной не увеличится и не помѣшаетъ намъ». Онъ сталъ на кол и исповѣдался съ большимъ уничиженіемъ. Начало его исповѣ было въ особенности замѣчательно тѣмъ, что онъ привелъ стихъ и Быт. XLIV, 16: «Что отвѣщаемъ господину, или что возглаголем или чимъ оправдимся? Богъ же обрѣте неправду рабовъ своихъ Потомъ онъ причастился—и, причастившись, просилъ пастора чита ему благодарственныя молитвы и самъ повторялъ ихъ за нимъ. О особенно одушевился при стихѣ:

«Подкрѣпи меня духомъ Твоей радости»,—

который, по его словамъ, былъ всегда его любимымъ изреченіемъ.

Солнце начало всходить. Онъ взглянулъ въ окно и сказалъ: «Sal festa dies!» ты—день моего брака. Я надѣялся-было праздновa другую свадьбу объ эту пору: но этотъ бракъ счастливѣе. Сегод душа моя будетъ введена въ чертогъ уготованный, къ предвѣчно жениху своему, Іисусу Христу. Какъ я радъ! Съ какимъ нетер ніемъ ожидалъ я этого дня!» — Тогда онъ во второй разъ спроси у пастора, какою смертію ему суждено умереть. Когда же тотъ опя объявилъ ему, что онъ объ этомъ ничего не знаетъ, онъ сталъ пр сить его не покидать его, какъ бы казнь ни была ужасна. «Кричи мнѣ святое имя Іисуса», повторилъ онъ:—«это облегчитъ мои муки Взглянувъ въ окно, «ахъ, г-нъ пасторъ», воскликнулъ онъ:—«вот ужъ закладываютъ телѣгу... Слава Богу, они торопятся: мнѣ надоѣ жить». Потомъ, взглянувъ на бумагу, гдѣ капелланъ началъ-бы писать его завѣщаніе, — «это все исполнятъ», сказалъ онъ. Пасто спросилъ его, не хочетъ ли онъ подписаться, — «нѣтъ», произнес онъ со вздохомъ: — «я не могу написать это ненавистное имя. Мо

*) 30/19 сентября 1707 года

родственники и безъ того найдутъ, что́ я имъ оставилъ. Все въ порядкѣ, г-нъ пасторъ; поклонитесь имъ, когда вы ихъ увидите».—Она снова началъ молиться, пока дежурный лейтенантъ не пришелъ съ нимъ. Тогда онъ сказалъ, обращаясь къ пастору: «вотъ и подтвержденіе вашего печальнаго порученія; ну, пойдемте», прибавилъ онъ: «пора»,—и надѣлъ плащъ. «Вы сядете со мной», сказалъ онъ пастору:—«не покидайте меня». Онъ сѣлъ въ телѣгу и заставилъ капеллана помѣститься сзади. Онъ обнималъ и цѣловалъ его, просилъ не забыть поклониться невѣстѣ, благодарилъ его...

Такимъ образомъ они прибыли на мѣсто казни, окруженное тремя стами пѣшихъ солдатъ. Когда Паткуль увидалъ уже готовыя копья и колеса, онъ страшно испугался, бросился на грудь капеллана и простоналъ: «ахъ, г-нъ пасторъ, молите Бога, чтобъ я не впалъ въ отчаяніе». Пасторъ его началъ утѣшать, напоминая ему распятаго Христа... Тутъ его взяли, и пока съ него снимали цѣпи, онъ читалъ молитву.

«О, Агнецъ Божій, Ты, который, хотя невинный, былъ принесенъ въ жертву на крестѣ»...

Когда же его привели къ самому мѣсту истязанія, капитанъ гіельмскаго полка произнесъ громкимъ голосомъ слѣдующую рѣчь: «Да будетъ вѣдомо всѣмъ и каждому, что по нарочитому приказанію его величества, нашего всемилосердаго государя и короля, сей человѣкъ, который измѣнилъ своему отечеству, въ возмездіе за его преступленія и въ примѣръ другимъ, долженствуетъ быть колесованъ и четвертованъ. Пусть же каждый боится измѣны и вѣрно служитъ своему королю». При словахъ: «измѣнилъ своему отечеству», Паткуль пожалъ плечами и взглянулъ на небо. Потомъ онъ спросилъ: «гдѣ мнѣ стать?» И когда палачъ указалъ ему мѣсто, онъ сѣлъ на землю, и пока его раздѣвали, закричалъ капеллану: «Молите Бога, чтобъ онъ подкрѣпилъ меня въ эту минуту»... Пасторъ помолился и, обратившись къ народу:—Милыя мои дѣти,—сказалъ онъ имъ:—скажемте «Отче нашъ», за этого бѣднаго человѣка.—«Да, ахъ, да», сказалъ Паткуль:—«молитесь».

Въ эту минуту палачъ ударилъ его въ первый разъ. Паткуль закричалъ изо всѣхъ силъ: — «Сжалься надо мной, Іисусе!» Однакоже онъ получилъ отъ 14 до 15 ударовъ. Онъ имѣлъ дѣло съ палачомъ неопытнымъ, и казнь его была продолжительна и жестока. Во все время казни онъ кричалъ раздирающимъ голосомъ, безпрестанно призывая Христа Спасителя. «Ко мнѣ, ко мнѣ, Іисусе», кричалъ онъ:—«вручаю духъ мой въ руки Твои». — Послѣ того, какъ его два раза ударили по желудку, онъ уже болѣе не кричалъ, но сказалъ прерывающимся голосомъ: «отрубите голову»...—и такъ какъ палачъ медлилъ, онъ самъ положилъ ее на плаху. Только съ четвертаго удара ему ее отрубили... Потомъ его четвертовали и воткнули члены его въ разныхъ мѣстахъ на копья».

Мы не прибавимъ никакихъ замѣчаній къ этому разсказу: онъ самъ говоритъ за себя. Если намъ возразятъ, что капелланъ съ намѣреньемъ неточно передалъ слова Паткуля, то мы сошлемся, во-первыхъ, на чувство каждаго читателя; а во-вторыхъ, замѣтимъ, что шведу, желавшему оправдать своего короля, слѣдовало бы вложить совсѣмъ другія рѣчи въ уста плѣннику.—Намъ возразятъ, что Паткуль говорилъ подъ вліяніемъ страха близкой казни. — Въ этомъ мы вполнѣ согласимся, да мы только и желали доказать, что Паткуль не былъ героемъ.—Что министры Августа и самъ Августъ поступили

съ нимъ противозаконно, безчеловѣчно, безсовѣстно, согласно съ тѣмъ, что тогда называлось тонкой политикой, дипломатической наукой: что Паткуль своей смѣлостью, рвеньемъ и дѣятельностью оскорбилъ и запугалъ ихъ—въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія: но онъ пострадалъ не за одну свою смѣлость.—Читатели позволятъ намъ сообщить нѣсколько историческихъ подробностей, касающихся до заключенія Паткуля. Извѣстно, что будучи кассиромъ русскихъ войскъ, находившихся въ Польшѣ, генералъ-поручикомъ русской службы и посланникомъ, Паткуль состоялъ также въ распоряженіи короля Августа, который, между прочимъ, въ октябрѣ мѣсяцѣ 1704 года (за годъ съ небольшимъ до его заключенія) послалъ его, вмѣстѣ съ генераломъ Брантомъ и двѣнадцати-тысячнымъ войскомъ, взять Познань.—Осада ему не удалась; онъ отступилъ. Враги его воспользовались этой неудачей и, вѣроятно, уже тогда повредили ему въ умѣ короля. Притомъ, Августъ, по весьма понятнымъ причинамъ, не вѣрилъ въ добросовѣстность и готовъ былъ подозрѣвать всѣхъ и каждаго: человѣкъ судитъ о другихъ по самомъ себѣ. — Въ декабрѣ 1705 года, Августъ имѣлъ свиданіе въ Гроднѣ съ Петромъ, и *именно изъ Гродна* онъ послалъ въ Дрезденъ приказъ посадить Паткуля въ *Зонненштейнъ* (его послѣ перевели въ Кенигштейнъ),—въ самое то время, когда, казалось, онъ окончательно скрѣплялъ свой союзъ съ русскимъ царемъ. — Этотъ макіавелическій образъ дѣйствія былъ, впрочемъ, совершенно въ духѣ Августовой политики. Тогда же поднялись различные толки о причинахъ этого приказанія. Саксонскій дворъ обвинялъ Паткуля въ заключеніи тайнаго трактата съ императоромъ германскимъ (что даже довольно вѣроятно), — въ желаніи разъединить союзниковъ (Петра и Августа), въ оскорбительныхъ отзывахъ о самомъ Августѣ. Но подъ этими явными обвиненіями таились другія, невысказанныя. — Трудно проникнуть въ эту мглу, распутать сѣти всѣхъ этихъ дипломатическихъ интригъ, личныхъ непріязней, измѣнъ и подкуповъ, но, по всей вѣроятности, Паткуль, который видѣлъ вблизи двуличность и ненадежность Августа и хотѣлъ, можетъ-быть, загладить свои прежнія вины — попытался устроить то, что десять лѣтъ спустя удалось Герцу, т.-е. сблизить Петра съ Карломъ; — а Августъ, съ своей стороны, предчувствуя неизбѣжный конецъ войны съ шведскимъ королемъ и подстрекаемый своими наушниками, врагами Паткуля, желалъ себя обезпечить, тѣмъ болѣе, что Паткуль самъ едва ли былъ очень разборчивъ на средства. Посадивъ въ тюрьму посланника русскаго царя, онъ подвергался (и дѣйствительно подвергся) гнѣву Петра; но, вѣроятно, успѣлъ—если не очернить совершенно Паткуля въ глазахъ его монарха, то, по крайней мѣрѣ, оправдать его заключенье на время, потому что хотя сначала Меншиковъ и выступилъ изъ Польши обратно въ Россію, и самъ Петръ не хотѣлъ дать никакого отвѣта епископу куявскому, посланному къ нему отъ Августа, пока не освободятъ Паткуля; но въ сентябрѣ 1706 года (т.-е. девять мѣсяцевъ послѣ заключенія Паткуля въ тюрьму) мы снова видимъ Меншикова и Шереметева въ распоряженіи Августа передъ Калишемъ. — Петръ никакъ не могъ ожидать постыдной выдачи Паткуля Карлу; узнавъ о ней, закипѣлъ негодованіемъ, употребилъ всѣ средства къ избавленію своего посланника, хлопоталъ въ теченіе цѣлаго года (Паткуль былъ выданъ въ сентябрѣ 1706, а казненъ въ концѣ сентября 1707), но при извѣстномъ упрямствѣ и гордости Карла, никакія представленія помочь не могли.—Ничто не бросаетъ такого яркаго свѣта на характеръ Августа, какъ его пове-

деніе подъ Калишемъ. Вѣроломный Альтъ-Ранштадтскій трактатъ былъ уже подписанъ, а онъ—правда, нехотя—напалъ на Мардефельда (котораго г. Кукольникъ упорно называетъ Мардофельдомъ), далъ ему знать подъ рукой о грозящей ему опасности — и не посмѣлъ объявить Меншикову о заключенномъ уже мирѣ. Августъ не былъ злымъ человѣкомъ, но совѣсть, кажется, въ немъ молчала постоянно. Двуличность его является, между прочимъ, въ приказаніи, отданномъ также *подъ рукою*—кенигштейнскому коменданту—выпустить Паткуля;—гнѣвъ Петра страшилъ Августа... Когда же Паткуля, по недоразумѣнію, по упрямству, или по корыстолюбію, выдали шведамъ, коменданту тайкомъ отрубили голову...

Изъ всего сказаннаго нами мы заключаемъ, что Паткуль былъ человѣкъ умный, ловкій, можетъ-быть — слишкомъ ловкій, искусный дипломатъ и хорошій слуга Петра. Страшной смертью своей искупилъ онъ всѣ прежнія прегрѣшенія и справедливо заслуживаетъ наше сожалѣніе и участіе... Паткуль не могъ не презирать Августа, его дворъ, его главныхъ служителей; онъ чувствовалъ, что Петру нельзя было положиться на такого легкомысленнаго и вѣроломнаго человѣка, и старался, на всякій случай, упрочить за собой новыхъ союзниковъ; въ надеждѣ на свою посланническую неприкосновенность, пустился въ слишкомъ смѣлыя и слишкомъ многочисленныя интриги—а самъ запутался въ своихъ сѣтяхъ.— Мы, въ приличномъ мѣстѣ, постараемся оцѣнить такъ же права Карла, судьи Паткуля, а теперь обратимся къ самому произведенію г. Кукольника.

Уже давно (и весьма благоразумно) принято за правило, что критикъ не имѣетъ права спрашивать у автора: зачѣмъ онъ выбралъ *такой* предметъ, придерживается *такого-то* мнѣнія? — но долженъ сперва самъ понять, какую себѣ авторъ поставилъ задачу, а потомъ разсмотрѣть, *какъ* онъ ее выполнилъ. Если г. Кукольнику угодно было сдѣлать изъ Паткуля вдохновеннаго пророка величія Россіи, представителя Петровской мысли и силы, мы можемъ протестовать во имя исторической истины, но мы сперва должны доказать, что съ художественной точки зрѣнія авторъ не выполнилъ собственнаго намѣренія, чтобы имѣть право произнести приговоръ надъ его произведеніемъ. Мы приступаемъ къ подробному разбору сочиненія г. Кукольника.

Актъ первый. Дѣйствіе происходитъ около Калиша. — Входитъ графъ Шулембургъ *), саксонскій генералъ, извѣстный своимъ незаслуженнымъ пораженіемъ при Фрауштадтѣ (въ 1706 году), и знаменитой защитой Корфу противъ турокъ въ 1716 году, въ качествѣ фельдмаршала венеціанскихъ войскъ,—и Смигельскій, польскій генералъ.—Смигельскій, перехвативъ копію мирнаго трактата, посланнаго къ Августу, грозится отдать «эти бумажки» Паткулю (который, замѣтимъ мимоходомъ, уже около года сидитъ въ крѣпости); Шулембургъ хочетъ его арестовать, но Смигельскій уходитъ съ угрозами. Входитъ Августъ съ свитой.—Король въ нетерпѣніи ждетъ трактата, безпрестанно примѣшиваетъ французскія слова **), ради «couleur

*) Напрасно Августъ у г. Кукольника называетъ Шулембурга старикомъ: Шулембургу было въ 1706 году 45 лѣтъ; онъ родился въ 1661 году.

**) Замѣтимъ, кстати, что почти всѣ наши стихотворцы, помѣщая французскія слова въ свои стихи, не считаютъ e muet за гласную. Такъ и г. Кукольникъ въ comme c'est beau! вмѣсто четырехъ (Com-*me* c'est beau)—видитъ три слога (комъ сѣ бо) — въ bonjour, comtesse, четыре (бонъ-журъ-конъ-тессъ) вмѣсто пяти (bon-jour-com-*tes-se*). Правда, эти послѣднія слова произноситъ княгиня Тэшенъ *разсѣянно*, до того разсѣянно, что говоритъ *con*-tesse.

locale»; великій гетманъ коронный, Синявскій, упрекаетъ его въ медлительности, съ примѣсью латинскихъ словъ. Мы находимъ, что авторъ могъ бы искуснѣе вывести польскихъ магнатовъ, окружавшихъ тогда Августа (тѣмъ болѣе, что они уже не являются на сцену), — но дѣло не въ томъ. — Всѣ стараются уговорить Августа вступить въ битву; Августъ колеблется. Является Паткуль, убѣждаетъ короля, даетъ ему денегъ въ *билетахъ*. Надобно «размѣнять»; приходитъ жидъ Леммель; Августъ покупаетъ у него на всѣ деньги разные подарки дамамъ. — Смигельскій приходитъ съ извѣстіемъ о пораженіи шведовъ. Августъ отправляется спасать ихъ остатки.—*Явленіе второе*. Роза, невѣста Паткуля, гуляетъ съ своей служанкой. Шведы нападаютъ на нихъ. Августъ поспѣваетъ на помощь, избавляетъ Розу, поражается ея красотой, волочится за ней и предлагаетъ ей ѣхать въ Дрезденъ. Роза узнаетъ, кто онъ, «теряется» и смотритъ уже на себя, какъ на жертву.—Августъ ей говоритъ, между прочимъ:

«Облитая вечернею зарей,
«Вы будете»...

Роза отвѣчаетъ: «я буду спать». Они уѣзжаютъ. — Неужели, думали мы по окончаніи этой сцены, любовникъ второй руки, этотъ мѣшковатый, добрый малый—Августъ, тотъ пышный, великолѣпный, изящный Августъ, удачнѣйшій подражатель Людовика XIV-го, тотъ вѣнчанный вельможа, о которомъ намъ говоритъ исторія? Неужели Августъ когда-либо произносилъ такія рѣчи:

Инкогнито спасительный покровъ,
Смотри же, Фюрстенбергъ, не выдавать!
En homme privé мы сдѣлаемъ conquête...
Съ такими grâces *ходили* ваши руки..
Au doux *plaisir de revoir*, ma Rose!

Авторъ переноситъ насъ въ калишскій замокъ и знакомитъ съ любовницами Августа: графиней Эстерлэ, княгиней Тэшенъ, графиней Кёнигсмаркъ — хотя мы, признаемся, не слишкомъ рады этому знакомству, помня стихи:

Не дай вамъ Богъ сойтись на балѣ
Съ семинаристомъ...

Графиня Эстерлэ «забавляется пока надъ полькой» (княгиней Тэшенъ). «*Отдыхала* порядкомъ, будетъ помнить!»—говоритъ она другой дамѣ въ присутствіи княгини; потомъ уходитъ. Княгиня Тэшенъ сообщаетъ г-жѣ Кёнигсмаркъ, что она разлюбила Августа и влюбилась въ Паткуля. Вдругъ вбѣгаетъ графиня Эстерлэ, объявляетъ, что у ней отъ сырого воздуха—*лицо и руки посинѣли*—и что пріѣхалъ Августъ. Августъ возвращается съ побѣды, раздаетъ свои подарки.—Является Паткуль — и что тутъ слѣдуетъ?.. что тутъ слѣдуетъ, читатели? извѣстно, что: — обычное распеканіе à la Ruy Blas, дешевый, но несомнѣнный coup de théâtre, необходимое заключеніе перваго акта. Августъ, какъ опытный, со всѣми пружинами драматическихъ представленій знакомый актеръ, выслушиваетъ до конца краснорѣчіе Паткуля.—Но Паткуля удовлетворить не легко.—«Я»,—говоритъ:—«понимаю ваше положенье; вамъ стыдно у этихъ дамъ подарки отнимать: не безпокойтесь: я самъ». Княгиня Тэшенъ и графиня Кёнигсмаркъ добровольно покоряются, у графини Эстерлэ, отличающейся страннымъ упорствомъ говорить безграмотно по-французски, Паткуль вырываетъ футляръ съ брильянтами—и первому акту конецъ.

Второй актъ.—Мы въ кабинетѣ короля Августа. Флеммингъ про-ъ графиню Кёнигсмаркъ вести интригу съ Розой Эйнзидленъ въ ьзу его (Флемминга). — Графиня соглашается. — Какой искусный екъ на придворную «галантерейность»! Входитъ Августъ.—Флем-нгъ убѣждаетъ его велѣть «скорѣе спрятать» Паткуля и при этомъ чаѣ дважды называетъ самого себя «лисицей». Вообще, наив-сть—одно изъ главныхъ качествъ трагедіи г. Кукольника. Всѣ дѣй-ующія лица другъ другу тотчасъ вѣрятъ на слово, всѣ вслухъ вы-зываютъ свое мнѣніе. Въ силу этой наивности, графиня Кёнигс-ркъ тотчасъ выдаетъ Августу тайну любви княгини Тэшенъ, и густъ ей тотчасъ вѣритъ и ревнуетъ.

Поплатятся и Паткуль, и княгиня, (воскликнулъ Августъ)
Сегодня же на балѣ дамъ отставку... (княгинѣ)
А Паткуля...

одятъ Имгофъ и Пфингстенъ (котораго г. Кукольникъ, неизвѣстно какимъ причинамъ, перекрестилъ въ *Фингштейна*) и приносятъ ктатъ Альтъ-Ранштадтскій. Августъ на все соглашается; но въ *ратномъ* пунктѣ требуютъ выдачи Паткуля... Замѣтимъ, кстати, въ сепаратномъ, но въ II-мъ пунктѣ трактата; всѣхъ пунктовъ ю 22 и 1 сепаратный, въ которомъ, напротивъ, сказано, что если же всѣ ручательства со стороны короля Августа не будутъ до-влены, трактатъ все-таки остается въ полной силѣ. Августъ не лашается — Флеммингъ прячетъ трактатъ за пазуху, боится, что ібы» *) разболтаютъ. Начинается балъ. — Княг. Тэшенъ *машинально* протягиваетъ руку и говоритъ: «чуть-чуть церемоніяла не ыла». Но Августъ восклицаетъ: Pardon, madame! и уходитъ съ той дамой; княгиня Тэшенъ остается одна, говоритъ: «Отдайте ѣ невинность! честь отдайте! стыдъ мужа!» Является Паткуль.

Ахъ, (говоритъ она) вашу руку, благородный Паткуль!
Теперь нужна мнѣ твердая рука,
Чтобы сойти со скользкой высоты,
Куда меня насиліе *втащило*...

т. д.—постоянно придерживаясь слога воспитанниковъ старинныхъ ковныхъ заведеній. Они оба идутъ на балъ.
Въ «большой проходной комнатѣ» Августъ разсуждаетъ съ графи-ей Кёнигсмаркъ о своемъ затруднительномъ положеніи. Въ самомъ ѣ, потерять все—изъ-за Паткуля—непріятно. Но вотъ, и онъ самъ яется съ княгиней Тэшенъ, которая обѣщаетъ *обождать* его на расѣ. Паткуль опять пристаетъ къ королю... не всѣ драгоцѣнности аны: нѣтъ головного убора, который Августъ подарилъ Розѣ. — роль негодуетъ. Но Паткуль еще не того требуетъ. Гдѣ трактатъ ьтъ-Ранштадтскій? — И, не говоря худого слова, запускаетъ руку карманъ Флемминга, достаетъ трактатъ, «и ужъ тутъ не шутка!» ится и читаетъ! Флеммингъ «тихо» совѣтуетъ Августу посадить ткуля въ тюрьму. Но Паткуль вскакиваетъ «внѣ себя». «Нѣтъ», оритъ—«и хочется, и колется... Вы, государь, со мной протанцо-и pas de deux». — Но вдругъ является Роза въ головномъ уборѣ. ткуль кричитъ: брависсимо, хлопаетъ въ ладоши и дико хохочетъ.— эговъ носить не буду» (продолжаетъ онъ):

*) Въ числѣ этихъ бабъ находится знаменитая Кёнигсмаркъ, названная Воль-омъ самой замѣчательной женщиной двухъ столѣтій!! И это говоритъ придвор-ій Августа!!!

«У каждой двери будутъ два арапа,
А у постели песъ медіоланскій!
Сонъ, что мнѣ сонъ? я въ вашей спальнѣ, Роза,
Поставлю письменный мой столъ; всю ночь
Нельзя писать и нечего, такъ перья
Чинить я стану; на постелѣ брачной
Разброшу книги, письма и ландкарты...
Вы спите, Роза, спите, почивайте!..
Форнарина Рафаэля...
Эту грудь разбей на-двое»...

Ахъ, извините, читатель: это изъ «Доминикина»... Роза отвѣчает «Жанъ, ради Бога, Жанъ!» Жанъ ее спрашиваетъ: «невинна ты?»- *Роза*: «Богъ защитилъ меня». *Жанъ*: «Молчи!» Потомъ Жанъ пре ставляетъ ее Августу, какъ свою невѣсту, а король, исполненны ревности, отдаетъ Флеммингу ключъ отъ Кенигштейнской башни.

Актъ третій. Мы въ домѣ Паткуля — въ Дрезденѣ. Въ перв сценѣ онъ прощается съ русскимъ полковникомъ, которому сообщает между прочимъ, что у него двѣ руки и два уха. Потомъ являет Роза, отецъ ея и мать (безъ рѣчей, какъ сказано въ спискѣ дѣ ствующихъ лицъ). Отецъ второпяхъ благословляетъ дочь свою, ма безъ рѣчей тоже ее благословляетъ, и всѣ, кромѣ Паткуля, уходя въ церковь.—Паткуль остается одинъ... Входятъ—Флеммингъ, Фю стенбергъ, tutti quanti. Они пришли арестовать Паткуля. — Патку передастъ Флеммингу записку Карла, купленную имъ, какъ говори онъ, «за незначительную сумму». — Флеммингъ видитъ изъ запис что и ему — Имгофъ и *Фингштейнъ* готовятъ гибель (о чемъ, ра умѣется, исторія не говоритъ ни слова; напротивъ того, Флеммин ихъ погубилъ, воспользовавшись ими)—и, вѣрный системѣ наивност проведенной по всей драмѣ, приходитъ въ бѣшенство и предлагае Паткулю уѣхать съ ними въ *Данцигъ*.—Но Паткуль не соглашает ни на какія предложенія, зоветъ своихъ людей. Они являются и потаенной двери, за которой видны три трупа шпіоновъ. Видите ли говоритъ онъ—я свободенъ!

Моя квартира съ множествомъ секретовъ...
. . . . . **хочу—пойду въ темницу,**
Хочу—къ Петру поѣду на почтовыхъ...
Передъ моей забрызганной каретой,
Вы факелы покорно понесете...»

И, вѣроятно изъ дилеттантизма, отправляется въ тюрьму. Бож мой! опять подумали мы, окончивъ и эту сцену:—неужели жъ этот маркизъ Фанфаронъ, этотъ новый капитанъ Пистоль, этотъ много шумный господинъ, который говоритъ постоянно «in King Cambyses' vein» *) — Паткуль, даже тотъ Паткуль, какимъ его вообразил г. Кукольникъ?

А вотъ вамъ и замашки à la Шекспиръ:

Мы по старшинству
На Карла будемъ брызгать нашей кровью,
Міръ испытаетъ съ пятнами горячку:
По будетъ ли кровопусканье въ пользу?—

*) Король Камбизъ, одна изъ англійскихъ трагедій до Шекспира. Тамъ один изъ героевъ говоритъ, между прочимъ, что: „я затоплю всѣ планеты волнами мо крови...“

Европа дряхлая не ослабѣетъ,
Проспится, и опять на старомъ мѣстѣ
Откроетъ старую свою цырюльню...
На мѣсто, Имгофъ! (кричитъ Паткуль)
По плутовству въ комиссіи вы первый,
По старшинству шестой... Сидите смирно...
Есть у меня пилюли и для васъ!

. . . . .

Не вамъ ли, кукламъ, слабымъ и тщедушнымъ
Арестовать меня...

Знай нашихъ!

Въ слѣдующей сценѣ Августъ подписываетъ трактатъ, получаетъ отъ русскаго царя курьера—и отправляетъ къ нему посла. Входитъ Роза.—Она проситъ о Паткулѣ—и черезъ нѣсколько мгновеній принуждена сказать: «я васъ не понимаю, государь». Вотъ то-то же, отвѣчаетъ Августъ.

И я не понималъ,
Чего хотѣлъ Шарль отъ меня...
А какъ *прижалъ*—невольно догадался!

Роза остается залогомъ свободы Паткуля. — Подобныя сцены писались тысячу разъ и всегда одинаково... Кажется, не для чего на нихъ останавливаться.

Мы переносимся въ темницу Паткуля. Онъ собирается писать свои записки, потомъ говоритъ о своихъ заслугахъ.—И здѣсь вычурныя или неточныя выраженія на каждомъ шагу непріятно поражаютъ читателя. Приходитъ комендантъ и предлагаетъ Паткулю купить себѣ свободу.—Паткуль отвѣчалъ ему рѣчью, испещренною словами: «крѣпко не хотѣлось выжить бабы...» отказывается, даетъ ему деньги и остается одинъ. — Паткуль вспоминаетъ о Петрѣ, который, видно, забылъ его. Вдругъ входитъ Роза. Опять обыкновенная въ такихъ случаяхъ сцена. (См. хотя Marion de Lorme, В. Гюго).—Но Гюго не заставляетъ Дидіе схватить Маріонъ *за шею*—и *вытащить у ней изъ-за пазухи* (какъ у Флемминга)—письмо. Въ этомъ письмѣ (украденномъ Розой у Августа)—Петръ пишетъ:

«Пока свободы Паткуль не получитъ,
Петръ съ Августомъ имѣть не хочетъ дѣла...»

Паткуль кричитъ: «ура! я не забытъ!»—Это восклицаніе могло быть и вѣрнымъ, и потрясающимъ, если бъ г. Кукольникъ тотчасъ же не заставлялъ Паткуля прибавить:

И цѣпи—мой вѣнецъ, и стыдъ—порфира,
Позоръ въ лучи величья перелился... и т. п.

такъ что поневолѣ согласишься съ замѣчаніемъ одного остроумнаго русскаго критика, что слабая сторона русской литературы—вкусъ и (прибавимъ мы) чувство мѣры. Пока Паткуль кричитъ и декламируетъ, входятъ шведы и берутъ его. Роза падаетъ безъ чувствъ.—Паткуль прощается съ ней; но читатель не тронутъ; вольно жъ было Паткулю декламировать! Третій актъ кончается.

Актъ четвертый. Мы въ Альтранштадтѣ, на квартирѣ Пипера. Послы всѣхъ державъ у него въ гостяхъ. — (Замѣтимъ, между прочимъ, что герцогъ Марлборугъ былъ присланъ къ Карлу въ августѣ мѣсяцѣ 1707 г., а не въ сентябрѣ 1706, когда былъ подписанъ трак-

татъ.—Но это еще небольшая историческая ошибка; у г. Кукольника Паткуль ходилъ на свободѣ въ Калишѣ въ то время, когда онъ, по исторіи, уже съ годъ сидитъ въ Кёнигштейнѣ. Но къ чему было такое великое лицо, какъ Марлборугъ, если вся его роль ограничивается слѣдующими словами: — «Уѣхалъ!» потомъ, черезъ нѣсколько страницъ: «Себя, несчастный Паткуль, пощадите» — и только).— Является Карлъ и...

Мы никакъ не можемъ согласиться съ воззрѣніемъ г. Кукольника на Карла. Шведскій Александръ у него представленъ какимъ-то сумасшедшимъ и кровожаднымъ грубіяномъ, который то и дѣло толкуетъ о колесованьѣ—всѣхъ и каждаго... «Эхъ, Пиперъ», начинаетъ онъ: «вѣчно гости у тебя!...»

Дурь изъ костей я выбью колесомъ...
Насмѣшливой улыбки
Я не прощаю... этихъ генераловъ (австрійскихъ)
Прислать ко мнѣ... А! Безанваль,
Сидишь, какъ жидъ...
У этой мерзкой дѣвки Кёнигсмаркъ?..
Вотъ я васъ, погодите!
Сначала колесую президента,
А тамъ и членовъ тайнаго союза!. (саксонскихъ).

Карла просятъ о Паткулѣ... А онъ «кричитъ, топнувъ ногой»:

«Всѣ (между прочими и Марлборугъ) по домамъ! Не то я вамъ квартиры другія отведу...»

Карлъ XII *) былъ самолюбивъ, гордъ и высокомѣренъ, но сосредоточенъ и холоденъ.—Когда онъ гнѣвался, онъ только хмурилъ брови и блѣднѣлъ. — Впрочемъ, онъ былъ набоженъ, простъ, обходителенъ, строго соблюдалъ данное слово, любилъ правду и терпѣть не могъ лести, говорилъ мало, велъ жизнь самую воздержную или правильную, отличался безкорыстіемъ и щедростью.—Трудно рѣшить—что въ немъ болѣе поражало: храбрость или хладнокровіе. — Онъ весь и всегда былъ сжатъ и спокоенъ (хотя смѣялся часто и охотно); страшное упрямство выражалось въ его молчаливой рѣшительности. И этотъ-то человѣкъ, который въ веселый часъ говорилъ своимъ приближеннымъ: «maledicamus de rege» (давайте клеветать на короля), котораго походъ въ Россію даже не такъ безразсуденъ, какъ многіе увѣряютъ со словъ Вольтера, — этотъ человѣкъ у г. Кукольника является какимъ-то полупьянымъ палачомъ, разъяреннымъ буйволомъ, сумасброднымъ мужикомъ... Хотя бы вспомнилъ авторъ благоразумный совѣтъ Аристотеля — не выводить въ трагедіи человѣка совершенно злого или совершенно добродѣтельнаго! Отвращеніе — не трагическое впечатлѣніе. — А Карлъ XII-й г. Кукольника возбуждаетъ именно это чувство.

Область сжечь (говоритъ Карлъ пріѣхавшему Августу)
Не такъ пріятно, какъ посла Петрова
Разбить въ куски, какъ стклянку, колесомъ...»

Потомъ, опять-таки ради couleur locale, заставляетъ его говорить съ Августомъ о *сапогахъ* своихъ—между тѣмъ, какъ по исторіи извѣстно, что онъ принялъ его великолѣпно и радушно и самъ съѣздилъ къ нему въ Лейпцигъ, а потомъ въ Дрезденъ. Мы также не думаемъ

*) Ссылаемся на Норберга, де-Лиміе, Адлерфельда, Вольтера — на всѣхъ историковъ.

умный и тонкій кн. Д. М. Голицынъ выражался такъ несносно
юже, какъ его заставилъ говорить г. Кукольникъ:

А ты куда, Навуходоносоръ!...
Цыплята льстятъ, а ты и пѣтушишься:
Да мы тебѣ не курицы...

анное дѣло! Всѣ лица трагедіи г. Кукольника очень похожи
на друга: всѣ тяжеловаты, мѣшковаты и грубоваты. Почему
оръ рѣшился придать имъ всѣмъ одинаковый колоритъ, мы, мо-
быть, и могли бы растолковать, но мы лучше поговоримъ о
и Паткуля. Вся наша душа возмущается при мысли о муче-
кой его казни, но не одинъ Карлъ тогда колесовалъ своихъ бунтов-
въ. Съ точки зрѣнія *права*—Карла обвинить рѣшительно нельзя.
ль былъ приговоренъ къ смертной казни его отцомъ; не явился,
изданы были адвокаторіи при вступленіи новаго короля на
олъ шведскій;—будучи подданнымъ Карла, явно возсталъ про-
него, велъ съ нимъ войну... слѣд., измѣнилъ своему государю.
оей стороны, Паткуль былъ правъ; онъ желалъ, какъ мы ска-
выше, упрочить судьбы Лифляндіи; — но мало ли споровъ, въ
ыхъ обѣ стороны правы? Если бы Карлъ велѣлъ тотчасъ каз-
Паткуля, исторія не имѣла бы права заклеймить его неизгла-
мъ пятномъ. Гораздо большаго сожалѣнія, по настоящему, до-
ъ лифляндецъ *Пайкуль*, котораго около того же времени при-
и къ смертной казни. Пайкуль (генералъ короля Августа) до-
ъ, что онъ уже на 15-мъ году вмѣстѣ съ родителями своими
илъ Лифляндію, никогда не былъ на шведской службѣ, 11 лѣтъ
йны продалъ свое имѣніе въ Лифляндіи—и все-таки былъ каз-
(въ Швеціи, въ 1707 году). — Но именно это обоюдное право
а и Паткуля) и могло бы придать трагедіи истинное ея значеніе.
ѣсто того, г. Кукольникъ заключаетъ четвертый актъ слѣдую-
сценой: Паткуль стоитъ среди лагеря, прикованный къ столбу.
одитъ Карлъ и *ругается* надъ нимъ. — Паткуль проситъ Карла
ь его казнить, но не мучить. Карлъ отвѣчаетъ: «спасибо за
ь—помилованія тебѣ не будетъ». Паткуль вдохновляется и рие-
ными стихами предсказываетъ ему гибель... Карлъ сперва «съ
нствомъ» кричитъ: «довольно! завяжите ротъ ему!» потомъ то-
ногами—вопіетъ: «графъ, ружья зарядить! гдѣ палачи?»—потомъ
яетъ изъ пушки, бросается къ барабану, бьетъ тревогу...
вство тяжелое и непріятное овладѣваетъ читателемъ... Точно
й оркестръ заигралъ въ разладъ... Страшно громко и страшно
ливо.

пятомъ актѣ, сперва мы видимъ Августа съ Флеммингомъ,
ъ является весь его дворъ (между прочими и князь Голицынъ).
ѣтъ торжественно лишаетъ своей милости Имгофа и *Финк-
ина* и посылаетъ ихъ въ крѣпость.—(По исторіи, Имгофъ, болѣе
ный, заплатилъ 40.000 тал. и сидѣлъ до 1714 г., Пфингстенъ—
оей смерти, до 1733 года). Но кн. Голицынъ не удовлетворенъ
буетъ бумагъ посольскихъ... Вдругъ является Роза. Мы выпи-
емъ всю слѣдующую сцену:

Роза *(протянувъ руку къ Августу).*

Пожалуйте на церковь, государь!
Тамъ цѣлый холмъ его обрызганъ кровью;
Крикъ Паткуля на площади, какъ вѣтеръ

Встаетъ и ходитъ, просится въ дома,
Дѣтей пугаетъ. Надо успокоить,
Собрать въ одно разрозненные члены,
Въ гробъ уложить, похоронить съ почетомъ
И церковь надъ могилою воздвигнуть!
Надъ гробомъ надпись: *Salve festa dies!*
Онъ этимъ словомъ встрѣтилъ солнце смерти...
Пожалуйте жъ на церковь, государь!..

Августъ *(тихо)*.

Не смѣю оглянуться, подозвать
Кого-нибудь...

Роза.

Столбы, колеса, плахи,
Разнообразныя орудья пытки...
Я помню ихъ, я вижу ихъ, смотрите:
На площади они стоятъ, какъ звѣри,
Шипятъ, желѣзными когтями поводятъ...
Народъ любуется—и я любуюсь...
Смѣются, я смѣюсь, и вы смѣетесь...
Не правда ли, забавно и смѣшно?..
Гдѣ Паткуль? Вотъ идетъ въ плащѣ, безъ шляпы.
Смотрите: молится, и я молюсь,
И вы молитесь! Salve festa dies!..
Бухъ! Въ грудь ударъ! И небо потемнѣло...
Зазеленѣлъ и застуился воздухъ,
Ночная птица голосомъ ужаснымъ
Святое имя Бога прокричала!
Два, три, четыре, пять, шесть, семь ударовъ!
(Плача).
Я вся избита, посмотрите, пятна
И въ головѣ, и въ сердцѣ; я оглохла;
Ужасно больно! И сама не знаю,
Какъ я перенесла... Ужасно больно! *(ровно, громко, но отрывисто).*
Пятнадцать! Вся природа задрожала,
Всѣ чувства словно дѣти разбѣжались;
Мѣшокъ съ костьми остался, и кричитъ
Вотъ этакъ, страшно: «голову отрѣжь»!

Княгиня Тэшенъ.

Небесный Отче!

Голицынъ.

Господи, помилуй...

Роза.

А тутъ и расходились звѣри...
Махнуло колесо, и высоко
Огромная рука затрепетала!
Смотрите... вотъ другую оторвало...
Нога, нога... еще нога!.. Темно! *(идетъ и чего-то ищетъ).*
Свѣти, Жеромъ, свѣти! Поправь фонарь!
Найдешь траву, обрызганную кровью,
Самъ не срывай, скажи, сорву и спрячу...
(Остановясь).

Какъ! палецъ, только палецъ? и съ кольцомъ,
Съ моимъ кольцомъ! А трупъ? Трупъ птицы разнесли!
Ищи, Жеромъ! ищи!...
Все совершилось!
(Упавъ на колѣни).
Пожалуйте на церковь, государь!

сцена можетъ служить примѣромъ того, что называется лож-
тественностью, геніальничаньемъ, напряженнымъ усиліемъ само-
наго таланта, далеко, впрочемъ, не оправдывающаго подобную
вѣренность. Является Фюрстенбергъ съ извѣстіемъ о прибытіи
... Голицынъ говоритъ Августу: «къ отвѣту, государь, зову къ
...» Роза бѣжитъ къ царю навстрѣчу и падаетъ на порогѣ
ихъ дверей.

Великій (говоритъ она)
И справедливый судія, суди насъ!

авѣсъ падаетъ.

не совсѣмъ довольны этимъ концомъ, во-первыхъ, потому, что
нія, имъ возбужденныя, не оправданы исторіей, а во-вторыхъ,
му, что роль такого Deus ex machina едва ли прилична вели-
преобразователю Россіи.

не одной развязкой грѣшитъ эта трагедія. И въ ней, какъ и
огихъ другихъ произведеніяхъ русской сцены, характеристика,
е вести діалогъ, представить зрителямъ игру страстей и вы-
– пожертвованы декламаціи, иногда довольно удачной, иногда
ценной, всегда неестественной и однообразной. Низаръ нѣкогда
ъ новѣйшую французскую литературу—littérature facile; намъ
хочется сказать и о драматическихъ произведеніяхъ, подоб-
«Паткулю». — Ужели же такъ трудно, вмѣсто живыхъ людей,
ants et divers», какъ говоритъ Montaigne, безвозвратно пре-
хъ одной великой цѣли, или покоренныхъ собственными стра-
, но живыхъ, дѣйствующихъ, борющихся и погибающихъ,—
авлять фигуры условныя, впрочемъ, приспособленныя къ извѣст-
театральнымъ эффектамъ, противорѣчащія самимъ себѣ, какъ
кое исполненіе противорѣчитъ задуманному намѣренію? — Кто
ъ наслаждаться литературнымъ или художественнымъ произве-
ъ, несмотря на то, что чувство истины въ немъ оскорблено,—
разумѣется, съ нами не согласится; но мы пишемъ не для него.
но станете вы искать во всѣхъ длинныхъ пяти актахъ «Пат-
хотя что-нибудь предвидѣнное, невольно потрясающее, какой-
ь, хотя далекій, отголосокъ тѣхъ «простыхъ и сладкихъ зву-
которыми такъ богатъ Шекспиръ... Опять Шекспиръ? спросите
Да, опять Шекспиръ и всегда Шекспиръ—и не только онъ, но
нель, и даже Расинъ и Шиллеръ... Не умрутъ эти поэты, по-
ито они самобытны, потому что они *народны*, и понятны изъ
своего *народа*... А пока у насъ не явятся такіе люди, мы не
станемъ указывать на тѣ великія имена, *не для того, чтобы*
жалги имъ, но для того, чтобы возбудить честное соревнованіе
авдать нашу критику. Понятно, почему русскіе во время мла-
ства нашей словесности говорили о своихъ Мольерахъ и Воль-
ѣ; но теперь мы возмужали; — и, съ гордостью глядя на свое
дшее, съ довѣренностью на будущее, мы можемъ, въ надеждѣ
бственныя силы, сознаться, въ чемъ еще мы бѣдны... *У насъ*
еще драматической литературы и нѣтъ еще драматическихъ

писателей... эта жила въ почвѣ нашей народности еще не зам обильнымъ ключомъ, а неловко скрытое подражаніе въ состо радовать только тѣхъ, которые внутренно согласны съ г-жою Ста что: la littérature en Russie est l'amusement de quelques gentils mes,—и совершенно удовлетворены такой невинной забавой.

1846 г.

V.—«Повѣсти, сказки и разсказы казака Луганска Спб. 1846. Четыре части.»

Читателямъ «Отеч. Записокъ», можетъ-быть, современемъ пре вится подробная и по мѣрѣ возможности полная оцѣнка сочи В. И. Даля; теперь же мы намѣрены ограничиться общею хар ристикой этого замѣчательнаго и самобытнаго дарованія. Помн какой-то плохой стихотворецъ воскликнулъ однажды, что еслибъ позволило ему избрать свой жребій, онъ пожелалъ бы сдѣлать дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ, не милліонеромъ, а н народнымъ писателемъ. Небо не всегда внимаетъ моленіямъ с ныхъ; оно оставило стихотворца при его ріемахъ, а казаку Л скому, вѣроятно, безъ всякой съ его стороны просьбы, опред быть писателемъ дѣйствительно народнымъ. Мы болѣе всего цѣ въ талантѣ единство и округленность: не тотъ мастеръ, кому м дано, да онъ съ своимъ же добромъ сладить не можетъ, но то кого все свое подъ рукой. А г-ну Далю многое дано, и владѣет своимъ талантомъ мастерски, особенно тамъ, гдѣ онъ у себя до

Мы назвали г. Даля народнымъ писателемъ и должны опра это названіе. У насъ еще господствуетъ ложное мнѣніе, что то народный писатель, кто говоритъ народнымъ языкомъ, поддѣлыва подъ русскія шуточки, часто изъявляетъ въ своихъ сочиненіяхъ рячую любовь къ родинѣ и глубочайшее презрѣніе къ иностранц Но мы не такъ понимаемъ слово «народный». Въ нашихъ гла тотъ заслуживаетъ это названіе, кто, по особому ли дару при вслѣдствіе ли многотревожной и разнообразной жизни, какъ бы рично сдѣлался русскимъ, проникнулся весь сущностью своего рода, его языкомъ, его бытомъ. Мы употребляемъ здѣсь слово родный» не въ томъ смыслѣ, въ которомъ оно можетъ быть п нено къ Пушкину и Гоголю, — но въ его исключительномъ, о ченномъ значеніи. Для того, чтобъ заслужить названіе наро писателя въ этомъ исключительномъ значеніи, нуженъ не ст личный, своеобразный талантъ, сколько сочувствіе къ народу, ственное къ нему расположеніе, нужна наивная и добродушная блюдательность. Въ этомъ отношеніи никто, рѣшительно ник русской литературѣ не можетъ сравниться съ г. Далемъ. Рус человѣка онъ знаетъ какъ свой карманъ, какъ свои пять паль Когда, лѣтъ десять назадъ, появились первыя розсказни Казак ганскаго—онѣ обратили на себя всеобщее вниманіе читателей скимъ складомъ ума и рѣчи, изумительнымъ богатствомъ чисто скихъ поговорокъ и оборотовъ. Нельзя было признать въ нихъ беннаго художественнаго достоинства со стороны содержанія своимъ неподдѣльнымъ и свѣжимъ колоритомъ онѣ рѣзко отлич отъ пошлаго балагурства непризнанныхъ народныхъ писателей.

первые опыты сильнаго таланта, эти сказки замѣчательно хороши; но такого рода сочиненія не имѣютъ еще истинно-литературнаго значенія... И авторъ не остановился на нихъ: Казакъ Луганскій сталъ Даленъ. Г-нъ Даль находится теперь въ самомъ расцвѣтѣ своего таланта, и лучшія его произведенія появились въ послѣднихъ годахъ.

Постараемся опредѣлить составные элементы его таланта. Г. Даль очень уменъ,—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; но онъ еще болѣе смышленъ, смышленъ русской смышленостью. На своемъ вѣку онъ, должно быть, видалъ и смекалъ многое. У него мало юмора, но русскаго, игриваго остроумія у него бездна. Онъ, какъ говорится, себѣ-на-умѣ, смотритъ невиннѣйшимъ человѣкомъ и добродушнѣйшимъ сочинителемъ въ мірѣ; вдругъ вы чувствуете, что васъ поймали за хохолъ, когти въ васъ запустили преострые; вы оглядываетесь,—авторъ стоитъ передъ вами, какъ ни въ чемъ не бывало... «Я, говоритъ, тутъ сторона, а вы какъ поживаете?» Русскому человѣку больно отъ него досталось—и русскій человѣкъ его любитъ, потому что и Даль любитъ русскаго человѣка, любитъ дворника съ его съѣдомымъ утиральникомъ и съ грязной щеткой, на которую онъ въ раздумьи опираетъ свою бороду. Слогъ у Даля чисто-русскій, немножко-мѣшковатый, немножко-небрежный (и намъ крайне нравится эта мѣшковатость и небрежность), но мѣткій, живой и ладный. Казакъ Луганскій (не даромъ казакъ!) не поднимается на ходули, не говоритъ вамъ: «Я, господа, вамъ разскажу то и то; я презлой, преумный и пренасмѣшливый человѣкъ»... Куда! Послушать его—онъ ниже травы, тише воды. Но въ его разсказахъ то и дѣло попадаются вещицы, отъ которыхъ такъ и хочется подпрыгнуть, между тѣмъ какъ въ произведеніяхъ тѣхъ ученыхъ и краснорѣчивыхъ господъ все есть, кромѣ непредвидѣннаго... А насъ, грѣшныхъ людей, буквоѣдовъ, только непредвидѣнное и радуетъ. Даже иногда обидно становится читателю: за что жъ русскій человѣкъ отданъ весь во владѣніе этому казаку? А дѣлать нечего!.. Иногда, правда, казакъ балагуритъ немного, щеголяетъ «словечками»... но за кѣмъ грѣха не водится! Надобно также признаться, что г. Далю не всегда удаются его большія повѣсти; связать и распутать узелъ, представить игру страстей, развить послѣдовательно цѣлый характеръ—не его дѣло; по крайней мѣрѣ, тутъ онъ не изъ первыхъ мастеровъ; но гдѣ разсказъ не переходитъ за черту «физіологіи», гдѣ авторъ пишетъ съ натуры, ставитъ передъ вами или брюхача-купца, или русскаго мужичка на завалинкѣ, дворника, денщика, помѣщика-угостителя, чиновника средней руки — вы не можете не прійти въ упоеніе... Произведенія г. Даля, переведенныя, едва ли могли бы понравиться иностранцамъ: въ нихъ уже черезчуръ пахнетъ русскимъ духомъ, они слишкомъ исключительно народны; но мы любуемся ими не потому только, что вотъ, молъ, какъ вѣрно списано это лицо,—а потому, что русскому все русское любо, какъ бы оно ни было подчасъ смѣшно. Мы, грѣшные люди, сознаемся, находимъ особенную прелесть въ томъ, что мужики на Святой не вспахали-таки земли, несмотря на свои разумныя рѣчи, — въ томъ, что денщикъ дѣлитъ весь міръ на двѣ половины, на своихъ и на несвоихъ, и такъ ужъ и поступаетъ съ ними... Въ русскомъ человѣкѣ таится и зрѣетъ зародышъ будущихъ великихъ дѣлъ, великаго народнаго развитія...

Г-нъ Даль, должно-быть, провелъ нѣкоторые годы своей жизни на югѣ и на востокѣ Россіи... да, впрочемъ, гдѣ онъ не бывалъ! Мол-

даване, жиды, цыгане, болгары, киргизы—это все ему знакомый народъ. Бытъ ихъ, обычаи, города и селенія, разнообразную природу нашей Руси рисуетъ онъ мастерски, немногими, но мѣткими чертами. У г. Даля гораздо болѣе памяти, чѣмъ воображенія; но такая вѣрная и быстрая память стоитъ любого воображенія. Мы, пожалуй, готовы согласиться, что проживи г. Даль весь свой вѣкъ въ одномъ городѣ, талантъ его не развился бы и вполовину; но мало ли людей, которые изъѣздили все россійское государство вдоль и поперекъ, и—ничего не видали, ничего не слыхали и ничего не помнятъ, или помнятъ совершенные пустяки. Развѣ не талантъ — умѣнье однимъ взглядомъ подмѣтить характеристическія черты края, народонаселенія, уловить малѣйшія выраженія разныхъ — говоря высокимъ слогомъ—личностей, и, среди всякаго рода дрязговъ и мелкихъ хлопотъ, сохранить неизмѣнную, непринужденную веселость? Замѣчательно, что г. Даль, вѣроятно сознавая свою собственную, рѣзко-выраженную оригинальность, не даетъ ей слишкомъ разыграться, и рѣдко впадаетъ въ манеру, не такъ, какъ, напримѣръ, г. Вельтманъ, съ которымъ у него, впрочемъ, довольно много общихъ чертъ. Одно ему не совсѣмъ далось, какъ и почти всѣмъ нашимъ писателямъ, даже Гоголю:—женщины... Иногда мы также желали бы найти въ г. Далѣ больше вкуса; не слѣдовало бы такому богатому автору, какъ онъ, гоняться за такими бѣдными шутками, какъ, напримѣръ, слѣдующія надписи надъ главами Вакха Сидоровича Чайкина: «Отъ метлы съ фонаремъ и до самаго полковника и дальше...» «Отъ стряпчаго Неирова *вплоть* до дѣвицъ Колюхиныхъ...»

Но все же нельзя отъ души не поздравить русской публики съ появленіемъ полныхъ сочиненій В. И. Даля. Пусть ихъ успѣхъ поощритъ его дарить намъ еще болѣе повѣстей въ родѣ «Колбасниковъ и бородачей», еще нѣсколько очерковъ въ родѣ «Дворника», «Деньщика», «Мужика», и пусть онъ, какъ съ играми не совсѣмъ еще зрѣлой юности, разстанется съ своими сказками и притчами въ риемованной прозѣ, и въ особенности съ произведеніями въ родѣ «Ночь на распутьи», которая, несмотря на множество удачныхъ подробностей, не въ выгоду даровитаго автора напоминаетъ «Сонъ въ лѣтнюю ночь» Шекспира. Г-нъ Даль уже занялъ одно изъ почетнѣйшихъ мѣстъ въ нашей литературѣ: пусть онъ окончательно упрочитъ это мѣсто за собою.

«Отеч. Зап.», 1846, т. I, отд. VI.

VI. — Нѣсколько словъ о новой комедіи г. Островскаго: «Бѣдная невѣста» *).

Мы рѣдко разбираемъ въ отдѣлѣ критики сочиненія, появляющіяся въ печати не особенной книгой; но намъ, съ одной стороны, хотѣлось доказать наше вниманіе къ молодому писателю, такъ высоко

*) Считаю нужнымъ предувѣдомить читателей, что, пробѣжавъ настоящую статейку о „Бѣдной невѣстѣ", писанную чуть не тридцать лѣтъ тому назадъ, я было раздумалъ ее перепечатать — и помѣщаю ее теперь скорѣе съ цѣлью нѣкотораго самобичеванія. Нечего говорить, что моя оцѣнка „Вѣдной невѣсты", одного изъ лучшихъ произведеній нашего знаменитаго драматурга, оказывается невѣрной, хотя нѣкоторыя отдѣльныя замѣчанія, быть-можетъ, и не лишены справедливости. Какъ извѣстно, А. Н. Островскій посрамилъ мои опасенія и болѣе нежели оправдалъ мои надежды.—Парижъ. 1879.—И. Т.

поставленному сочинителями московскихъ критикъ, и дѣйствительно замѣчательному и даровитому; съ другой стороны, мы желали, по мѣрѣ возможности, загладить нашу вину передъ нимъ,—вину, замѣтимъ кстати, общую намъ со всѣми нашими журнальными собратіями и состоящую въ томъ, что о первой, извѣстной комедіи г. Островскаго не было сказано ни слова.

Мы и теперь говорить о ней не станемъ, предоставляя себѣ сдѣлать это современемъ: о ней нельзя говорить поверхностно и въ короткихъ словахъ. Мы только подѣлимся теперь съ читателями впечатлѣніемъ, произведеннымъ на насъ «Бѣдной невѣстой».

Результатъ нашего чтенія былъ слѣдующій: талантъ у г. Островскаго есть, и замѣчательный,—мы даже готовы не отказываться отъ нашихъ надеждъ на будущее его значеніе, возбужденныхъ въ насъ первымъ произведеніемъ г. Островскаго; но для того, чтобы онѣ могли оправдаться, необходимо г. Островскому — и мы просимъ его видѣть въ нашихъ словахъ выраженіе самыхъ искреннихъ убѣжденій — необходимо ему отказаться отъ ложной манеры, которую онъ себѣ какъ бы придалъ и которой не было замѣтно въ «Своихъ людяхъ»...

Но прежде, чѣмъ мы объяснимъ, въ чемъ, по нашему мнѣнію, состоитъ эта ложная манера, необходимо вкратцѣ разсказать самое содержаніе «Бѣдной невѣсты».

Оно очень просто. У Анны Петровны, вдовы бѣднаго чиновника, дочь, Марья Андреевна, невѣста. Мать всячески старается ее пристроить; въ этомъ дѣлѣ помогаетъ ей старинный другъ ея мужа, нѣкто г. Добротворскій. За Марьей Андреевной ухаживаютъ молодые люди: Милашинъ и Меричъ; въ Мерича она сама влюблена; въ нее влюбленъ нѣкто Хорьковъ; мать Хорькова, тоже вдова, мѣщанка, сильно хлопочетъ о своемъ сынѣ. Между тѣмъ, г. Добротворскій рекомендуетъ г. Беневоленскаго, чиновника; чиновникъ этотъ очень можетъ помочь Аннѣ Петровнѣ въ тяжбѣ, угрожающей всему ея состоянію; онъ влюбляется въ Марью Андреевну и предлагаетъ ей свою руку. Вдова соглашается и начинаетъ вмѣстѣ съ Добротворскимъ убѣждать Марью Андреевну, которая передъ этимъ только-что имѣла первое объясненіе въ любви съ Меричемъ. Марья Андреевна проситъ трехдневной отсрочки, въ надеждѣ на своего возлюбленнаго; но возлюбленный оказывается несостоятельнымъ, боится брака, думаетъ только, какъ бы отдѣлаться благополучно, и Марья Андреевна рѣшается выйти за Беневоленскаго.

Мы не можемъ сказать, что сообщили читателямъ содержаніе комедіи г. Островскаго: это едва ли ея остовъ; но такъ какъ, вѣроятно, она будетъ прочтена всѣми, то намъ не для чего вдаваться въ бо́льшія подробности. Мы желали только обозначить главныя точки на нашемъ пути.

Первое, что мы должны замѣтить въ комедіи г. Островскаго, чему мы съ удовольствіемъ отдаемъ полную справедливость, это — истина всѣхъ выведенныхъ имъ лицъ, — всѣхъ, исключая главнаго лица — бѣдной невѣсты. Дѣйствительно, всѣ эти лица живы, несомнѣнно живы и истинны, хотя ни одно изъ нихъ не доведено до того торжества поэтической правды, когда образъ, взятый художникомъ изъ нѣдръ дѣйствительности, выходитъ изъ рукъ его типомъ, и самое названіе, какъ, напримѣръ, названіе Хлестакова, теряетъ свою случайность и становится нарицательнымъ именемъ. Этой судьбы не дождаться ни одному изъ лицъ г. Островскаго. А между тѣмъ, имъ за-

тронута одна струна, которая до сихъ поръ въ области искусства издавала только слабые звуки—а именно: струна наивности, непосредственности, какой-то дѣтской откровенности въ эгоизмѣ. Всѣ лица комедіи г. Островскаго эгоисты, наивные эгоисты, исключая бѣдной невѣсты, Хорькова (о которомъ мы поговоримъ ниже), да еще, можетъ быть, старика Добротворскаго: но особенно отлично выразился этотъ эгоизмъ въ лицахъ молодыхъ людей Милашина и Мерича, и въ лицѣ грубо-положительнаго г. Беневоленскаго. Эти три лица очень хороши, особенно Милашинъ—юноша завистливый, мелкій, скучный, неотвязный, который все ноетъ, прощается, не уходитъ и преспокойно досадуетъ и удивляется, отчего не всякое чужое счастіе ему достается,—и крѣпкоголовый, дюжій, разсчетливый и дѣловой Беневоленскій. Меричъ, предметъ любви бѣдной невѣсты, тоже хорошъ; онъ разнится тѣмъ отъ Милашина, что, будучи недуренъ собой, меньше завидуетъ и досадуетъ, а напротивъ, щеголяетъ своими побѣдами и вообще порядочный фатъ, хотя трусливъ и остороженъ до крайности. Эгоизмъ и въ немъ рѣзко проявляется; напримѣръ, онъ входитъ къ Марьѣ Андреевнѣ. «Какъ я рада, какъ я ждала тебя, Владиміръ!» восклицаетъ она. — «Мы одни?» спрашиваетъ онъ. — «Одни». И онъ медленно ее цѣлуетъ. Вообще, онъ въ присутствіи Марьи Андреевны только и думаетъ объ одномъ—какъ бы поцѣловать ее поскорѣй. Должно сознаться, что пошлость и эгоизмъ въ сопряженіи съ молодостью необыкновенно рѣзко и вѣрно схвачены г. Островскимъ. Но намъ показалось, что сцена, въ которой Меричъ объясняется въ любви къ Марьѣ Андреевнѣ, не удалась г. Островскому. Мы понимаемъ намѣреніе автора, когда онъ влагаетъ въ уста книжныя рѣчи; но эти рѣчи въ самой своей незначительности — незначительны. Видно, тайна «возводить въ перлъ созданія» даже самую пошлость не всякому дается... Но объ отношеніяхъ Мерича съ Марьей Андреевной мы поговоримъ впослѣдствіи, такъ же, какъ и о характерѣ самой бѣдной невѣсты. Намъ хочется теперь сказать нѣсколько словъ о ея матери—Аннѣ Петровнѣ, а также и о матери Хорькова. Въ очертаніи именно этихъ двухъ характеровъ особенно ясно выказывается та ложная манера, о которой мы говорили выше. Эта ложная манера состоитъ въ подробномъ до крайности и утомительномъ воспроизведеніи всѣхъ частностей и мелочей каждаго отдѣльнаго характера, въ какомъ-то ложно-тонкомъ психологическомъ анализѣ, который обыкновенно разрѣшается тѣмъ, что каждое лицо безпрерывно повторяетъ одни и тѣ же слова, въ которыхъ, по мнѣнію автора, и выражается его особенность. Мы не хотимъ этимъ сказать, чтобы эти слова были невѣрны, но художество не обязано только повторять жизнь, и во всѣхъ этихъ безконечно малыхъ чертахъ теряется та опредѣленность, строгость рисунка, которыхъ требуетъ внутреннее чувство читателя даже отъ самой разыгравшейся и смѣлой фантазіи. Невозможно перечесть, сколько разъ Анна Петровна говоритъ о себѣ, что она женщина слабая, *сырая*, что какъ можно безъ мужчины въ домѣ, и т. д. Положимъ, что это вѣчное хныканье идетъ къ ея брюзгливой, вялой и, при всей добротѣ, глубоко эгоистической натурѣ; но надобно же знать во всемъ и мѣру. Этотъ же самый пріемъ, состоящій въ безконечномъ повтореніи удачнаго или комическаго выраженія, употребляется г. Островскимъ постоянно, съ какими бы лицами онъ ни имѣлъ дѣло. Г-жа Хорькова повторяетъ безпрерывно, что она, конечно, женщина необразованная, а сынъ ея—образованный, но все-таки уважаетъ ее. Служанка Дарья

не выходитъ на сцену безъ одного и того же восклицанія;
›твореній слова не скажетъ, не повторивъ, что онъ зналъ ба-
Марьи Андреевны съ дѣтства, и т. д. Къ чему, спрашивается,
г съ талантомъ г. Островскаго приклеивать своимъ героямъ
›лыки, напоминающіе свитки съ словами, выходящіе изо рта
на средневѣковыхъ картинкахъ! Самыя даже лучшія лица,
г-да Беневоленскій и Милашинъ, не избѣгли этой участи.
ря уже о томъ, что изъ этого вытекаютъ длинноты утоми-
, что веселый смѣхъ, возбужденный въ читателѣ первымъ
ѣмъ комической фразы, уступаетъ, наконецъ, мѣсто чувству
наго раздраженія при двадцатомъ ея повтореніи, мы готовы
ать, что такого рода мелочная разработка характера не-
,—художественно неистинна, при всей своей внѣшней вѣро-
, и намъ кажется, что именно этотъ упрекъ болѣе всѣхъ дру-
лжень быть чувствителенъ г. Островскому, при явномъ стре-
его таланта къ простотѣ и правдѣ. Что бы сказалъ г. Остров-
пейзажистъ, который вздумалъ бы отдѣлывать малѣйшіе фибры
очкахъ, малѣйшія песчинки на первыхъ планахъ своихъ кар-
намъ, помнится, случилось встрѣтить въ Римѣ живописца, ко-
предлагалъ своимъ посѣтителямъ микроскопъ для лучшаго раз-
нія мелочной отдѣлки своихъ произведеній; но не г. Остров-
завидовать хитростному и кропотливому искусству этой мо-
й работы, не автору «Своихъ людей», этой замѣчательной
, замѣчательной особенно по ширинѣ и свободѣ манеры.
Островскій лучше насъ знаетъ, что Деннеръ, извѣстный писа-
арушечьихъ лицъ, допускается въ кабинетахъ любителей какъ
, и мы надѣемся, что г. Островскій доискивается для себя
почетнаго мѣста, на которое, впрочемъ, его талантъ даетъ ему
право.

всего сказаннаго нами слѣдуетъ, что не въ однихъ безпре-
хъ повтореніяхъ упрекаемъ мы г-на Островскаго: мы упре-
его въ излишнемъ раздробленіи характеровъ, — въ раздробле-
ходящемъ до того, что каждая отдѣльная частичка исчезаетъ,
ъ, для читателя, какъ слишкомъ мелкіе предметы исчезаютъ
нія. Г-нъ Островскій въ нашихъ глазахъ, такъ сказать, забы-
въ душу каждаго изъ лицъ, имъ созданныхъ; но мы позво-
бѣ замѣтить ему, что эта безспорно полезная операція должна
овершена авторомъ предварительно. Лица его должны нахо-
уже въ полной его власти, когда онъ выводитъ ихъ передъ
Это — психологія, скажутъ намъ; пожалуй, но психологъ дол-
счезнуть въ художникѣ, какъ исчезаетъ отъ глазъ скелетъ
вымъ и теплымъ тѣломъ, которому онъ служитъ прочной, но
той опорой. Это, между прочимъ, не худо замѣтить и нѣкото-
ашимъ критикамъ, которые считаютъ долгомъ начать каждую
атью ab ovo, какъ будто и въ критикѣ его убѣжденія, его корен-
равила не должны перейти въ плоть и кровь, и онъ всякій
язанъ выставлять ихъ на показъ передъ собой и читателями,
акіе-нибудь верстовые столбы, чтобы не сбиться съ дороги.
къ, эта мелочная, кропотливая манера неумѣстна особенно въ
ическомъ произведеніи, гдѣ она замедляетъ и охлаждаетъ ходъ
я, и гдѣ намъ дороже всего тѣ простыя, внезапныя движенія,
орыхъ звучно высказывается человѣческая душа, — подобныя,
ѣръ, хоть этой чертѣ, взятой нами у самого г-на Островскаго:
Андреевна собирается сказать Меричу свое горе—предложе-

ніе ненавистнаго г-на Беневоленскаго. Меричъ прерываетъ ее зам
чаніемъ, что у ней хорошіе глазки, что такъ и хочется поцѣлова
ее. Марья Андреевна, вся судьба которой рѣшается въ это мгнов
ніе, восклицаетъ, наконецъ: «Да ты выслушай, ради Бога».

Меричъ.

«Хорошо, хорошо; слушаю.

Марья Андреевна.

«Не успѣла я еще опомниться отъ твоего поцѣлуя (*закрывая глаза руками*; *Меричъ ее цѣлуетъ*), пріѣхалъ этотъ Беневоленск
онъ грубъ, необразованъ, просто ужасъ.

Меричъ.

«Мери, вѣдь это скучная матерія».

Въ этихъ немногихъ словахъ, въ невольномъ движеніи Маши, поступкѣ Мерича открывается намъ болѣе глубокій взглядъ въ с
ность характеровъ и отношеній Маши и Мерича, чѣмъ въ сам
тщательно выдѣланныхъ, такъ-называемыхъ психологическихъ,
лизахъ.

Весь второй актъ, изъ котораго мы взяли вышеприведенныя сц
прекрасенъ съ начала до конца, исполненъ юмора и меньше в
другихъ отзывается трудомъ, меньше другихъ пахнетъ лампой
гена. (Третій актъ, напротивъ, весьма слабъ, и трудно читать
безъ какого-то нетерпѣнія скуки; въ немъ какъ будто соедини
всѣ недостатки г-на Островскаго.) Во второмъ актѣ всѣ сцены
роши: разговоръ Марьи Андреевны съ Хорьковымъ, въ кото
она, не подозрѣвая, что Хорьковъ въ нее влюбленъ, раздираетъ
сердце полу-признаніемъ своей любви къ Меричу; слѣдующій за
разговоръ между Хорьковымъ и Милашинымъ, гдѣ этотъ молодо
ловѣкъ является въ полномъ блескѣ; наконецъ, появленіе г-на Б
воленскаго, его объясненія съ Анной Петровной, его внеза
вопросъ Марьѣ Андреевнѣ, въ которую онъ уже успѣлъ влюбить
какія она конфеты любитъ? — все это отлично. Но пора намъ
ворить о Марьѣ Андреевнѣ. Прежде всего мы должны сказать,
замѣчанія, сдѣланныя нами выше таланту г-на Островскаго, не
сятся къ характеру Марьи Андреевны. Создавая образъ этой
дой дѣвушки, онъ менѣе предавался своей обычной наклонност
мелочному анализу, онъ ясно искалъ бо́льшихъ линій, простора: М
Андреевна почти ничего не повторяетъ, и между тѣмъ, характер
удался менѣе всѣхъ: видно, наши недостатки растутъ на одной и
съ нашими достоинствами, и трудно вырвать одни, пощадивъ др
Марья Андреевна — лицо рѣшительно неживое: она вся сочин
впечатлѣніе, оставляемое ею, неясно, и, скажемъ болѣе, самъ ав
это чувствуетъ. Доказательствомъ справедливости нашей дог
служатъ, между прочимъ, слова, вложенныя г. Островскимъ въ
бѣдной невѣсты, съ явнымъ намѣреніемъ пояснить ими ея ха
теръ. Когда, напримѣръ, Марья Андреевна, въ пятомъ актѣ, уже
шившись выйти за Беневоленскаго, говоритъ: «страстность д
которая чуть не погубила меня, теперь мнѣ нужна: для нея бу
благородное употребленіе» (она собирается исправить мужа), —
перемѣнивъ мѣстоименіе изъ перваго лица въ третье, очень хо
понимаемъ, что авторъ такъ о ней думаетъ, и желаетъ, чтобы
были такого же мнѣнія о ней: но мы никакъ не можемъ вѣрить
Марья Андреевна сама могла дѣйствительно произнести эти
Это—уловка Скриба, особенно въ его либреттахъ, заставлять

ıгъ не то, что̀ имъ слѣдовало бы сказать, а то, что̀ о нихъ ду-
въ это время зритель; и если г. Островскій, при всемъ своемъ,
ѧемъ, несомнѣнномъ стремленіи къ истинѣ, рѣшился прибѣг-
къ той же манерѣ — значитъ, онъ чувствовалъ самъ неясность
наго имъ характера и необходимость комментаріевъ. Эта не-
гь, это колыханіе, сопровождаютъ Марью Андреевну въ про-
ніе всей комедіи. Необходимости, жизненной необходимости въ
разѣ нѣтъ. Авторъ добросовѣстно и старательно гоняется за
за этой неуловимой чертою жизни, и не достигаетъ ея до конца.
Математики намъ извѣстно, что переломанная на самые мелкіе
прямая линія можетъ только безконечно приблизиться къ линіи
, но никогда не сольется съ ней. Точно такъ же и умъ, трудъ,
оденіе проводятъ только, если можно такъ выразиться, прямыя
. Одной поэзіи дана та «волнистая линія красоты», о которой
ил Гогартъ.—Особенно неудачны, между прочимъ, небольшіе,
объяснительные монологи, которыми заключается почти каждая
а Марьи Андреевны. Напримѣръ: послѣ перваго объясненія въ
и, въ которомъ она и Меричъ что-то немножко круто начали
ить другъ другу: *ты*, — она, оставшись одна, произноситъ слѣ-
ія слова: «Онъ ушелъ... Хорошо ли я сдѣлала? Мнѣ и стыдно,
село... Что, если это только шалость съ его стороны? Боже мой,
мнѣ совѣстно за себя! А если онъ любитъ въ самомъ дѣлѣ?
всегда такой скучный, печальный! Ахъ, какъ бы мнѣ хотѣлось
ь, любитъ ли онъ меня!» и т. д. Отъ этой небольшой тирады
и вѣетъ условной, театральной атмосферой. Насъ не удивляетъ,
Марья Андреевна влюбилась въ Мерича, этого совершенно не-
ойнаго ея молодого человѣка: мы знаемъ, что въ извѣстныя лѣта
шки любятъ не въ силу какихъ-нибудь собенныхъ заслугъ въ
анномъ предметѣ, но просто потому, что имъ пришла пора лю-
; но вся любовь ея завязывается и разыгрывается какъ-то на-
уто-литературно. Она любитъ потому, что автору нужно заставить
полюбить, чтобы на чувствѣ ея къ Меричу завязать интересъ
ы, потомъ ввести обычную борьбу, которую разрѣшаетъ, нако-
ь, обычная жертва; но читателю не вѣрится ни въ эту любовь,
ъ эту борьбу,—въ самое существованіе Марьи Андреевны ему
о вѣрится; а жертва ея не возбуждаетъ въ немъ ни сожалѣнія,
опота: жертва ея проходитъ неоцѣненной, едва ли замѣченной...
чательное же примиреніе остается совершенно непонятнымъ.
даже готовы согласиться, что читатель, искусившійся въ дѣлѣ
ія, читатель, прослѣдившій большое количество тѣхъ призрач-
женскихъ лицъ, которыми такъ богата наша словесность, ихъ
называемыя страданія и радости, «прослѣдить», пожалуй, и это
, и даже съ участіемъ; но на свѣжаго человѣка оно едва ли
зведетъ глубокое впечатлѣніе, и кромѣ двухъ-трехъ горячихъ
ь, кромѣ послѣдняго прощанья Марьи Андреевны съ Меричемъ,
готъ, отказавшись отъ ея руки и добившись отъ нея, что она
прощаетъ, объявляетъ, что все прекрасно,—кромѣ этой сцены,
римъ, да еще послѣдующей, съ Милашинымъ, гдѣ Маша, съ тру-
удерживая рыданія, играетъ съ нимъ въ дураки, — едва ли отъ
-нибудь забьется тутъ сердце у свѣжаго человѣка. Но особенно
яженнымъ и, говоря техническимъ слогомъ, «резонерскимъ, дѣ-
ымъ», покажется ему конецъ, въ которомъ Марья Андреевна
анно взглядываетъ на самоё себя съ утилитарной точки зрѣнія,
раясь заняться исправленіемъ г. Беневоленскаго. Словомъ, какъ

барышня, фигура Марьи Андреевны совершенно исчезаетъ не лицомъ какой-нибудь дочери городничаго, въ Гоголевскомъ «И зорѣ»; какъ дѣвушка, она то возбуждаетъ наше сочувствіе, то о киваетъ насъ, какъ, напр., въ той сценѣ, гдѣ она сама требует Мерича, чтобы тотъ женился на ней; граціи въ ней тоже не проходитъ она черезъ нашу душу, какъ гость, котораго мы в няли, — можетъ-быть, потому, что нечего было въ немъ пои Видно, что г. Островскій хотѣлъ создать въ Марьѣ Андреевнѣ значительное... но наше уваженіе къ его таланту заставляетъ признаться, что образъ бѣдной невѣсты не удался.

Мы обѣщали сказать нѣсколько словъ о Хорьковѣ. Онъ явл только въ двухъ сценахъ. Въ первой онъ сперва узнаетъ, что любятъ, а потомъ подучаетъ Милашина, какъ бы повредить Ме и даже, несмотря на благородство чувствъ своихъ, предлагает лашину перехваченныя письма счастливаго своего соперника: второй — приходитъ на-веселѣ, проситъ прощенія за непріят причиненныя Аннѣ Петровнѣ его матерью, и плачетъ надъ М уже рѣшившеюся на свадьбу съ Беневоленскимъ. Это лицо у г. Островскому и показываетъ въ немъ замѣчательный драмати пистинктъ; жаль, что онъ не развилъ его.

Изъ второстепенныхъ лицъ такъ же хороши двѣ свахи: одна платочкѣ, другая — въ чепцѣ... Жаль, что онѣ слишкомъ на наютъ лицо извѣстной свахи въ «Женитьбѣ».

Теперь намъ остается сказать нѣсколько послѣднихъ словъ медіи г-на Островскаго вообще. Общій колоритъ ея вѣренъ, сухъ; недостатки ея, сколько намъ кажется, происходятъ част безсилія, частію отъ ложнаго направленія, даннаго силѣ. Зам еще, что характеры, выведенные г-мъ Островскимъ, при всей ности дѣйствительности, показываются намъ ровно настолы сколько это нужно ходу дѣйствія. У первостепенныхъ мастеро иначе. Мы очень хорошо знаемъ, каковъ Хлестаковъ за сце во всѣхъ положеніяхъ жизни. Внутренняя, драматическая, п ческая сторона «Бѣдной невѣсты» намъ кажется вовсе не выде ною; пьеса дѣйствительно умно задумана, могла бы быть трог ной, возбуждаетъ уваженіе къ таланту, къ уму автора — и т Впрочемъ, и этого довольно. Ни одна сцена новаго произв г-на Островскаго не можетъ сравниться съ извѣстной оконч ной сценой «Своихъ людей». Господинъ Островскій заставилъ «Невѣстой» забыть свои неудачные этюды; но онъ все еще въ передъ читателемъ: онъ началъ необыкновенно — и читатель отъ него необыкновеннаго. Со всѣмъ тѣмъ, мы отъ всей души вѣтствуемъ комедію г-на Островскаго, желаемъ ему идти далѣ сти, крѣпнуть, — желаемъ ему, въ особенности, выпутаться изъ сѣтей, которыя онъ самъ наложилъ на свой талантъ... Да о ствятся въ немъ наши надежды!

1851.

VII. — «Записки ружейнаго охотника Оренбургской губерніи. С. А—ва. Москва. 1852».

Письмо къ одному изъ издателей «Современника».

«Дѣлу время и потѣхѣ часъ».

(Изъ книги, называемой „Урядникъ", или „Новое уложеніе и устроеніе чина Сокольничія пути").

Въ теченіе нынѣшняго лѣта, вы не однажды напоминали мнѣ, любезный Николай Алексѣевичъ (Некрасовъ), обѣщаніе мое поговорить подробнѣе въ вашемъ журналѣ о прекрасной книгѣ С. Аксакова; я до нынѣшняго дня не могъ сдержать своего слова: какъ настоящій охотникъ — охотникъ душою и тѣломъ — я почти все это время не выпускалъ ружья изъ рукъ, а до пера не касался вовсе.

Но теперь у насъ зима; второго октября ударилъ первый морозъ, а третьяго октября съ утра поднялась снѣговая вьюга и до сихъ поръ не прекращается; поля вдругъ побѣлѣли; долго охотиться нѣтъ возможности; на дворѣ, говоря словами русской пѣсни, кутитъ, мутитъ, въ глаза несетъ; недѣлю тому назадъ, я еще стрѣлялъ вальдшнеповъ десятками, а теперь съ трудомъ убьешь парочку: «толкнули» ихъ, какъ выражаются охотники, эти жестокіе ранніе холода. Всегда тяжелъ и невеселъ приходъ «волшебницы»-зимы, но особенно печально ея появленіе, когда она нагрянетъ такъ рано, какъ въ нынѣшнемъ году. Осени не было у насъ — осень убила она — осень со всей ея тихой красотой, съ ея «пышнымъ увяданьемъ»... Жутко подумать, что уже въ началѣ октября у насъ стала зима... Рѣзко отдѣляясь на мертвой бѣлизнѣ побѣдоноснаго снѣга, свѣжая, не успѣвшая еще увянуть, зелень березъ, и въ особенности тополей, кажется какой-то ложью и насмѣшкой. Сидя въ четырехъ стѣнахъ своей комнаты, вспомнилъ я о моемъ обѣщаніи: я не могъ охотиться, но мысли мои все еще были заняты охотой; я съ жадностью взялся за перо, и вотъ, пишу для «Современника» критику «Записокъ» оренбургскаго ружейнаго охотника, — книги, не сходившей съ моего стола съ самаго моего пріѣзда въ деревню.

Но, говоря правду, я пишу не критику, потому что въ книгѣ г. А—ва критиковать нечего, или почти нечего. Небольшія невѣрности, недомолвки, промахи, попадающіеся въ ней, уже всѣ, или почти всѣ, перечислены и замѣчены въ 8-й книгѣ «Москвитянина», въ весьма дѣльной статьѣ, подписанной буквами В. В. Эти же самыя буквы встрѣчаются въ томъ же журналѣ подъ рядомъ небольшихъ разсказовъ о подмосковной охотѣ, — разсказовъ, отличающихся вѣрностію тона, безыскусственностію изложенія и показывающихъ, притомъ, въ авторѣ охотника страстнаго и опытнаго. Главную ошибку (о пороховой мѣркѣ) самъ г. А—въ старался исправить особымъ объявленіемъ, напечатаннымъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Мы отъ себя прибавимъ только то, что «Записки» оренбургскаго охотника не книга въ родѣ «Chasseur au chien d'arrêt», Эльзеара Блаза, которая почитается классическимъ сочиненіемъ для французской охоты. «Записки» г. А—ва не охотничья книга въ строгомъ смыслѣ, онѣ не могутъ служить полнымъ руководствомъ для начинающаго охотника, хотя драгоцѣнныя замѣчанія и совѣты попадаются на каждой почти страницѣ; самъ авторъ это чувствуетъ. Вотъ что оно говоритъ въ самомъ

пошли въ гору, особенно пойнтеры *) кровные и полукровные;
кровные едва ли не лучше въ нашемъ климатѣ. Насчетъ сет
которые такъ понравились-было сперва за быстрый поискъ,
мимость и незябкость, мнѣнія начинаютъ раздѣляться. Анг
ружья Мантона, Мортимера, Пордея замѣнили не только Мор
товъ и Штарбусовъ, но даже Лепажей; нѣмецкія, вѣнскія и пр
ружья совсѣмъ вышли изъ употребленія; за ними осталось
преимущество дешевизны, при довольно прочной отдѣлкѣ; н
не наши тульскія, то варшавскія, Беккера, стоятъ, конечно,
ихъ. 25 лѣтъ тому назадъ еще не возникалъ вопросъ (со
откровенно, для меня самого не вполнѣ разрѣшенный) — вощ
томъ, должно ли почитать изобрѣтеніе ружей, заряжающихся
(à la Robert, или Lefaucheux), шагомъ впередъ въ искусствѣ
напротивъ, пустой и безплодной попыткой? суждено ли имъ выт
ружья, заряжающіяся черезъ дуло, или нѣтъ? Много выгодъ
ставляютъ ружья à la Robert, но и невыгодъ много; обо всемъ
вы ни слова не найдете у А—ва. Э. Блазъ посвятилъ цѣлую
этому вопросу. Онъ кончаетъ тѣмъ, что отвергаетъ ружья à
bert; но графъ Ланжель, авторъ книги: «Hygiène des chas
стоитъ за нихъ. Далѣе: кто изъ охотниковъ станетъ употребля
перь неуклюжіе, тяжеловѣсные патроны, вмѣсто изящныхъ и
ныхъ пороховницъ и дробовиковъ Диксона и другихъ англі
мастеровъ; несносные пыжи — вмѣсто чистыхъ и щеголев
флястовъ! Что же касается до пистоновъ, то хотя авторъ и н
не стрѣлялъ съ ними (см. «З. Р. О.», стр. 222—въ наше врем
просто кажется невѣроятнымъ!), однако, онъ отдаетъ имъ п
справедливость (пороховницъ и дробовиковъ онъ не признаетъ
ными и придерживается стариннаго патронташа); но онъ ни
не говоритъ и не могъ сказать о новѣйшихъ усовершенствов
по этому дѣлу: не упоминаетъ объ англійскихъ темныхъ пист

о французскихъ граненыхъ, съ буквою G (Gevelot), которые, кромѣ того, что никогда не осѣкаются (англійскіе, съ двойнымъ дномъ, даже можно передъ выстрѣломъ класть въ воду), и не разлетаются, подобно австрійскимъ, съ буквами S. B., извѣстной фабрики Sellier и Bellot, или нашимъ доморощеннымъ безыменнымъ колпачкамъ, которые осѣкаются даже въ сухую погоду и своими осколками то-и-дѣло наносятъ стрѣлку раны въ руку или щеку. Кстати, насчетъ пистонницъ: я долго раздѣлялъ мнѣніе многихъ опытныхъ охотниковъ о нихъ; дѣйствительно, всѣ придуманныя до сихъ поръ пистонницы оказывались неудовлетворительными; наконецъ, въ прошломъ году, появилась одна машинка англійскаго изобрѣтенія, совершенно достигающая своей цѣли. Машинка эта состоитъ въ маленькой замшевой круглой сумочкѣ на поясѣ, съ такой же крышкой, на пружинѣ; вы отправляетесь за пистономъ — крышка уступаетъ давленію вашихъ пальцевъ и тотчасъ захлопывается сама, какъ только вы достали пистонъ. Это чрезвычайно удобно и очень просто, какъ яйцо Колумба, какъ Паскалева тачка.

Правила, предлагаемыя авторомъ для дрессированія собакъ, очень вѣрны; намъ пріятно видѣть, что даже 20 лѣтъ тому назадъ г. А—въ не одобрялъ парфорсовъ и прочихъ штукъ и фокусовъ нѣмецкой дрессировки, которая господствовала въ то время. Дѣйствительно, пріучите дома собаку къ послушанію, къ апелю, къ слову: назадъ! заставьте ее, шутя, подавать вамъ бумажку или перчатку (но никакъ не камень или даже ключъ, какъ совѣтуетъ г. А—въ)— и отправляйтесь съ нею потомъ въ поле: если въ ней есть кровь, порода*)—а это главное—ваша собака скоро пойметъ, чего вы отъ нея требуете. Въ нынѣшнемъ году я испыталъ это на дѣлѣ: я въ первый разъ взялъ на охоту молодую собаку изъ полукровныхъ англійскихъ (правда, дочь отличной матери), которую я самъ воспитывалъ дома: и, несмотря на то, что она, по робости своего нрава, цѣлыхъ шесть недѣль боялась звука выстрѣла и лишь все издали кралась за мной,—какъ только она рѣшилась, въ одинъ прекрасный день, броситься на черныша, убитаго въ десяти шагахъ отъ нея, успѣхи ея изумили меня самого; дней черезъ пятнадцать она уже работала какъ опытная собака, стояла мертво, подавала отлично,— словомъ, совершенно замѣнила мнѣ свою, къ сожалѣнію, старѣющуюся мать...

Но возвратимся къ книгѣ г. А—ва. Изъ всего сказаннаго мною слѣдуетъ, что техническая ея часть довольно слаба и неполна,—она, говоря высокопарнымъ слогомъ, отстала отъ современнаго состоянія науки; но, повторяю, самъ авторъ не отрицаетъ этого, и притомъ, техническая часть его записокъ заключается всего въ 34 страницахъ, за которыя любители охоты все-таки должны быть благодарны г.

*) Я знаю, что многіе возстаютъ противъ такого значенія: „породы“: сколько разъ мнѣ приходилось слышать разсказы о необыкновенной мужичьей собакѣ, полудворняжкѣ и т. д. Но исключеніе только подтверждаетъ правило; одна некровная собака изъ сотни можетъ удаться, зато остальныя никуда не годятся; точно такъ, какъ иное ружье, заплаченное въ Тулѣ 25 р. ас., можетъ быть удивительно, особенно пока не стерлись въ дулѣ слѣды сверла... Но что жъ это доказываетъ? Я на своемъ вѣку видѣлъ только одну необыкновенную по чутью собаку у мужика; съ виду она дѣйствительно походила на дворняжку. Но, при всѣхъ качествахъ, она не стояла болѣе 20 секундъ, и ея владѣлецъ долженъ былъ „ухитряться“ и поспѣвать за ней. Съ другой стороны, я готовъ сознаться, что далеко не всѣ собачьи породы, годныя для охоты съ ружьемъ, надлежащимъ образомъ изслѣдованы; я во Франціи видѣлъ жесткошерстныхъ брусбартовъ или пуделей (barbets), совершенно различнаго отъ легавыхъ собакъ вида, которыя для болотной и рѣчной охоты мнѣ показались превосходными

А—ву, особенно за отличные совѣты насчетъ стрѣльбы, на стр. 31, 32, 33. Его первое правило: «Никогда не думать о томъ, что дашь промахъ», напоминаетъ мнѣ поговорку одного стараго московскаго охотника, давно уже умершаго, Л. И. Татаринова, котораго я зналъ въ ранней молодости: «Стрѣлки—говаривалъ онъ—раздѣляются на три класса: бываютъ между ними ахалы, пукалы и шлепалы. Ахалы только ахаютъ, когда вскакиваетъ дичь; пукалы стрѣляютъ и не попадаютъ; шлепалы стрѣляютъ и попадаютъ. Изъ пукалы можетъ еще выйти шлепалъ; изъ ахалы—никогда».

За этими 34 страницами вступленія начинается собственно книга. И что за прелесть эта книга! сколько въ ней свѣжести, граціи, наблюдательности, пониманія и любви природы!.. Но я замѣчаю, что вдаюсь въ восклицанія, а въ критикѣ это, говорятъ, не годится. Стану разсуждать обстоятельно.

Книгу г. А—ва можно разсматривать съ двухъ точекъ зрѣнія: съ точки зрѣнія охотника и съ точки зрѣнія естествоиспытателя. Начну съ первой.

Я увѣренъ, что всякій охотникъ, которому придется прочесть «Записки» г. А—ва, будетъ въ особенности привлеченъ и тронутъ искренней и горячей любовью автора къ своему дѣлу—къ благородному занятію охотой,—добросовѣстностью его страсти. Мнѣ скажутъ, что въ сущности охота—пустячки, «мгновенная» забава, и не заслуживаетъ такихъ сильныхъ выраженій; но кромѣ того, что, по моему мнѣнію, безъ искренней преданности своему дѣлу даже пустяки никому не удаются, я бы могъ привести поразительныя доказательства тому, что охота въ человѣческой жизни, въ исторіи человѣчества занимаетъ не послѣднее мѣсто. Всѣмъ извѣстно, что̀ значило право охоты въ европейскомъ мірѣ не только въ теченіе среднихъ вѣковъ, но даже до позднѣйшихъ временъ (отмѣна законовъ, касавшихся до дичи—game laws—составляла одно изъ важнѣйшихъ преобразованій, произведенныхъ графомъ Греемъ только въ 31 году), и потому я не стану настаивать — на постановленія Генриха IV, на то, сколько замѣчательныхъ людей были страстными охотниками, и т. д.,—замѣчу только, что охоту по справедливости должно почесть однимъ изъ главнѣйшихъ занятій человѣка. Не говоря уже о библейскомъ Немвродѣ и другихъ царяхъ-охотникахъ, изображенія которыхъ сохранились на остаткахъ древнѣйшихъ дворцовъ и храмовъ, стóитъ вспомнить то мѣсто въ 11-й пѣснѣ «Одиссеи», гдѣ Улисъ, въ числѣ тѣней старинныхъ героевъ, вызванныхъ имъ, по совѣту Цирцеи, изъ Аида, видитъ миѳическаго великана Оріона:

Подлѣ него (Миноса) и Оріона чудовищнаго увидалъ я:
Толпы дикихъ звѣрей гналъ онъ передъ собою,
Которыхъ самъ онъ нѣкогда убилъ на пустынныхъ горныхъ вершинахъ...
Палицу держалъ онъ въ рукахъ изъ несокрушимаго желѣза.

И русскіе люди съ незапамятныхъ временъ любили охоту. Это подтверждаютъ наши пѣсни, наши сказанія, всѣ преданія наши. Да гдѣ же и охотиться, какъ не у насъ: кажется, есть гдѣ и есть по чемъ*). Витязи временъ Владиміра стрѣляли бѣлыхъ лебедей и сѣ-

*) Справедливость требуетъ, что, къ сожалѣнію, число дичи у насъ быстро уменьшается: причины этого уменьшенія двоякія: однѣ утѣшительныя — осушка болотъ и пр., другія не столь отрадныя: истребленіе лѣсовъ и привычка нашихъ охотниковъ не жалѣть „матокъ": обыкновенно крыть куропатокъ зимой также чрезвычайно вредно.

рыхъ утокъ на заповѣдныхъ лугахъ. Мономахъ, въ завѣщаніи своемъ, оставилъ намъ описаніе своихъ битвъ съ турами и медвѣдями; достойный отецъ великаго сына, одинъ изъ мудрѣйшихъ русскихъ царей, Алексѣй Михайловичъ, страстно любилъ охоту. Всѣ слышали объ его «Урядникѣ», или «Новомъ уложеніи и устроеніи чина Сокольничія пути» *); менѣе извѣстны его письма къ одному изъ бояръ своихъ, сообщенныя Археографической комиссіей. Въ нихъ царь разсказываетъ ему свои «выѣзды». Вообще, охота свойственна русскому человѣку: дайте мужику ружье, хоть веревками связанное, да горсточку пороху, и пойдетъ онъ бродить, въ однихъ лаптишкахъ, по болотамъ да по лѣсамъ, съ утра до вечера. И не думайте, чтобы онъ стрѣлялъ изъ него однѣхъ утокъ: съ этимъ же ружьемъ пойдетъ онъ караулить медвѣдя на «овсахъ», вобьетъ въ дуло не пулю, а самодѣльный, кой-какъ сколоченный жеребій — и убьетъ медвѣдя; а не убьетъ, такъ дастъ медвѣдю себя поцарапать, отлежится, полуживой дотащится до дому и, коли выздоровѣетъ, опять пойдетъ на того же медвѣдя съ тѣмъ же ружьемъ. Правда, случится иногда, что медвѣдь его опять поломаетъ; но вѣдь русскимъ же человѣкомъ сложена пословица, что звѣря бояться—въ лѣсъ не ходить. Этой общей, повсюду распространенной страсти русскаго,—страсти, сокровеннѣйшіе корни которой, быть-можетъ, слѣдуетъ искать въ самомъ его полу-восточномъ происхожденіи и первоначальныхъ, кочующихъ привычкахъ, — какъ нельзя болѣе соотвѣтствуетъ книга г. А—ва: она дышитъ ею, проникнута ею вся. Я самъ не бывалъ въ Оренбургской губерніи, но я радъ, что г. А—въ именно тамъ охотился—въ этихъ величавыхъ, изобидующихъ дичью степяхъ, такъ прекрасно имъ описанныхъ **); онѣ-то, мнѣ кажется, и придали его страсти увлекательную искренность и силу, а кисти его—свободу и ширину.

Теперь мнѣ слѣдуетъ, по обѣщанію, сказать нѣсколько словъ о томъ, какъ будутъ взирать естествоиспытатели на сочиненіе г. А—ва. Самъ я, вы знаете, не имѣю чести принадлежать къ ихъ сословію: но я страстно люблю природу, особенно въ живыхъ ея проявленіяхъ, и потому позволю сказать себѣ нѣсколько словъ о «Запискахъ ружейнаго охотника» и съ этой точки зрѣнія. Человѣка не можетъ не принимать природа, онъ связанъ съ ней тысячью неразрывныхъ нитей: онъ сынъ ея; сочувствіе, которое возбуждаетъ въ душѣ жизнь существъ низшихъ, столь похожихъ на человѣка своимъ внѣшнимъ видомъ, внутреннимъ устройствомъ, органами чувствъ и ощущеній, нѣсколько напоминаетъ тотъ живой интересъ, который каждый изъ насъ принимаетъ въ развитіи младенца. Всѣ мы, точно, любимъ природу,—по крайней мѣрѣ, никто не можетъ сказать, что онъ ее положительно не любитъ; но и въ этой любви часто бываетъ много эгоизма. А именно: мы любимъ природу въ отношеніи къ намъ; мы глядимъ на нее, какъ на пьедесталъ нашъ. Оттого, между прочимъ, въ такъ-называемыхъ описаніяхъ природы, то-и-дѣло либо попадаются сравненія съ человѣческими душевными движеніями («и весь невредимый, хохочетъ утесъ» и т. п.), либо простая и ясная передача внѣшнихъ явленій замѣняется разсужденіями по ихъ поводу ***).

*) См. „Древнюю Вивліоѳику“ Новикова. Изд. 2, ч. III, стр. 430.

**) См. „З. Р. О.“, стр. 231.

***) Главнымъ образцомъ поэзіи такого рода можетъ служить В. Гюго (см. его Orientales). Трудно исчислить, сколько эта ложная манера нашла себѣ подражателей и поклонниковъ, и между тѣмъ, ни одинъ его образъ не останется: вездѣ видишь автора вмѣсто природы; а человѣкъ только и силенъ тогда, когда онъ на нее опирается.

Если только «черезъ любовь» можно приблизиться къ природѣ, то эта любовь должна быть безкорыстна, какъ всякое истинное чувство: любите природу не въ силу того, что она значитъ въ отношеніи къ вамъ, человѣку, а въ силу того, что она вамъ сама по себѣ мила и дорога,—и вы ее поймете.

Возвращаясь къ книгѣ г. А—ва, я не могу не отдать ему должной справедливости: онъ смотритъ на природу (одушевленную и неодушевленную) не съ какой-нибудь исключительной точки зрѣнія, а такъ, какъ на нее смотрѣть должно: ясно, просто и съ полнымъ участіемъ; онъ не мудритъ, не хитритъ, не подкладываетъ ей посторонніхъ намѣреній и цѣлей; онъ наблюдаетъ умно, добросовѣстно и тонко; онъ только хочетъ узнать, увидѣть. А передъ такимъ взоромъ природа раскрывается и даетъ ему «заглянуть» въ себя. Оттого, вы будете смѣяться, но я васъ увѣряю, что когда я прочелъ, напримѣръ, статью о тетеревѣ, мнѣ, право, показалось, что лучше тетерева жить невозможно... Если бъ тетеревъ могъ разсказать о себѣ, онъ бы, я въ томъ увѣренъ, ни слова не прибавилъ къ тому, что о немъ повѣдалъ намъ г. А—въ. То же самое должно сказать о гусѣ, уткѣ, вальдшнепѣ, — словомъ, обо всѣхъ птичьихъ породахъ, съ которыми онъ насъ знакомитъ. Нѣмцы считаютъ гуся, эту обдуманную, осторожную птицу—глупымъ; русскій человѣкъ, напротивъ, замѣтилъ, что даже громъ обращаетъ на себя вниманіе гуся; дѣйствительно, при каждомъ ударѣ онъ, скрививъ голову, смотритъ въ небо. Правда, онъ отъ этого нисколько не становится умнѣе, но эту участь онъ раздѣляетъ со многими философами. Говоря безъ шутокъ, я не могу довольно налюбоваться птичьими «физіологіями» г. А—ва. Я вовсе не намѣренъ сравнивать его съ Бюффономъ и не дерзаю отрицать великихъ заслугъ «отца естественной исторіи»; но я долженъ сознаться, что такія блестящія риторическія описанія, каково, напримѣръ, всѣмъ намъ съ дѣтства извѣстное описаніе коня: «Конь самое благородное завоеваніе человѣка» и т. д., въ сущности очень мало знакомятъ насъ съ тѣми животными, которымъ они посвящены. Мнѣ, право, кажется, что такого рода краснорѣчивыя разрисовки представляютъ гораздо меньше затрудненій, чѣмъ настоящія, теплыя и живыя описанія; точно такъ же, какъ несравненно легче сказать горамъ, что онѣ «побѣги праха къ небесамъ», утесу—что онъ «хохочетъ», молніи—что она «фосфорическая змѣя», чѣмъ поэтически ясно передать намъ величавость утеса надъ моремъ, спокойную громадность горъ или рѣзкую вспышку молніи... И оно понятно: ничего не можетъ быть труднѣе человѣку, какъ отдѣлиться отъ самого себя и вдуматься въ явленія природы... Гремите, не сходя съ мѣста, всѣми громами риторики: вамъ большого труда это не будетъ стоить; попробуйте понять и выразить, что происходитъ хотя бы въ птицѣ, которая смолкаетъ передъ дождемъ, и вы увидите, какъ это нелегко.

Въ силу всѣхъ вышеизложенныхъ причинъ, я воображаю, что всякій естествоиспытатель съ истиннымъ наслажденіемъ перечтетъ книгу г. А—ва. Покойный Одюбонъ пришелъ бы, я думаю, отъ нея въ умиленіе. Знаете ли вы, напримѣръ, что одной изъ самыхъ великихъ трудностей въ естественной исторіи почитаются вѣрныя изображенія наружнаго вида и цвѣта птицъ? Посмотрите, какъ они всѣ удались г. А—ву. Я тѣмъ болѣе увѣренъ въ успѣхѣ «Записокъ ружейнаго охотника» между естествоиспытателями, что наука у нихъ въ послѣднее время приняла направленіе болѣе положительное и

практическое, или, говоря точнѣе, направленіе, обращенное болѣе на живое наблюденіе и изученіе природы, чѣмъ на составленіе тѣхъ иногда поэтическихъ и глубокихъ, но почти всегда темныхъ и неопредѣленныхъ гипотезъ, которыми Шеллингъ вскружилъ головы, въ началѣ нынѣшняго столѣтія.

Скажу еще нѣсколько словъ о слогѣ «Записокъ» г. А—ва. Слогъ его мнѣ чрезвычайно нравится. Это настоящая русская рѣчь, добродушная и прямая, гибкая и ловкая. Ничего нѣтъ вычурнаго и ничего лишняго, ничего напряженнаго и ничего вялаго — свобода и точность выраженія одинаково замѣчательны. Эта книга написана охотно и охотно читается. Я уже неоднократно замѣчалъ, какъ мастерски умѣетъ г. А—въ описывать (нѣкоторые отрывки были помѣщены въ апрѣльской книжкѣ «Современника»). Теперь мнѣ хочется обратить ваше вниманіе на слѣдующее обстоятельство: бываютъ тонко-развитыя, нервическія, раздражительно-поэтическія личности, которыя обладаютъ какимъ-то особеннымъ воззрѣніемъ на природу, особеннымъ чутьемъ ея красотъ; онѣ подмѣчаютъ многіе оттѣнки, многія часто почти неуловимыя частности, и имъ удается выразить ихъ иногда чрезвычайно счастливо, мѣтко и граціозно; правда, большія линіи картины отъ нихъ либо ускользаютъ, либо онѣ не имѣютъ довольно силы, чтобъ схватить и удержать ихъ. Про нихъ можно сказать, что имъ болѣе всего доступенъ запахъ красоты, и слова ихъ душисты. Частности у нихъ выигрываютъ насчетъ общаго впечатлѣнія. Къ подобнымъ личностямъ не принадлежитъ г. А—въ, и я очень этому радъ. Онъ и тутъ не хитритъ, онъ не подмѣчаетъ ничего необыкновеннаго, ничего такого, до чего добираются «немногіе»; но то, что онъ видитъ, видитъ онъ ясно, и твердой рукой, сильной кистью пишетъ стройную и широкую картину. Мнѣ кажется, что такого рода описанія ближе къ дѣлу и вѣрнѣе: въ самой природѣ нѣтъ ничего ухищреннаго и мудренаго, она никогда ничѣмъ не щеголяетъ, не кокетничаетъ; въ самыхъ своихъ прихотяхъ она добродушна. Всѣ поэты съ истинными и сильными талантами не становились въ «позитуру» предъ лицомъ природы; они не старались, какъ говорится, «подслушать, подсмотрѣть» ея тайны; великими и простыми словами передавали они ея простоту и величіе; она не раздражала ихъ, она ихъ воспламеняла; но въ этомъ пламени не было ничего болѣзненнаго. Вспомните описанія Пушкина, Гоголя, или хотя то знаменитое мѣсто въ «Королѣ Лирѣ», гдѣ Эдгаръ описываетъ слѣпому Глостеру крутой морской берегъ, который будто падаетъ отвѣсно у самыхъ его ногъ:

Подойдите, сэръ... Вотъ то мѣсто. Остановитесь. Какъ страшно!
Какъ кружится голова! такъ низко ронять свои взоры...
Галки и вороны, которыя вьются тамъ въ воздухѣ на срединѣ
разстоянія *),
Кажутся едва ли тамъ велики, какъ мухи. На полпути внизъ
Виситъ человѣкъ, собирающій морскія травы... ужасное ремесло!
Онъ мнѣ кажется не больше своей головы.
Рыбаки, которые ходятъ по прибережью, —
Точно мыши; а тотъ высокій корабль на якорѣ
Уменьшился до размѣра своей лодки; его лодка—плавающая точка,
Какъ бы слишкомъ малая для зрѣнія... Шумный прибой,
Который кипитъ и ропщетъ на безчисленныхъ каменьяхъ,—

*) ... that ving the midway air... Непереводимо.

Здѣсь его не слышно... слишкомъ высоко... Я больше глядѣть не стану...

Всего двѣ-три черты; поэтъ не желаетъ ни сказать что-нибудь необыкновенное, ни найти въ картинѣ, которая является его глазамъ, особенныхъ, неподмѣченныхъ еще чертъ; съ вѣрнымъ инстинктомъ генія придерживается онъ одного главнаго ощущенія—ощущенія высоты, съ которой глядитъ Эдгаръ, и уменьшенія всѣхъ предметовъ,—и между тѣмъ, возможно ли еще что-нибудь прибавить? Древніе греки такъ же просто взирали на природу; можно бы привести множество доказательствъ тому... Впрочемъ, они имѣли передъ нами преимущество великое: въ ихъ счастливыхъ устахъ поэзія впервые заговорила звучнымъ и сладкимъ языкомъ о человѣкѣ и природѣ. (Признаюсь, я не умѣю сочувствовать литературамъ, предшествовавшимъ греческой). Оттого ничего не можетъ сравниться съ безсмертной молодостью, съ свѣжестью и силой первыхъ впечатлѣній, которыми вѣетъ намъ отъ пѣсней Гомера. Я сейчасъ упомянулъ о Пушкинѣ: отношенія этого, по духу своему, дѣйствительно древняго поэта *) къ природѣ такъ же просты, естественны, какъ у древнихъ и, при всей смѣлости поэтическихъ образовъ, совершенно здравы. Кто не знаетъ его «Тучи»? Не откажу себѣ въ удовольствіи выписать все это стихотвореніе:

Послѣдняя туча разсѣянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тѣнь,
Одна ты печалишь ликующій день.
Ты небо недавно кругомъ облегала,
И молнія грозно тебя обвивала,
И ты издавала таинственный громъ,
И алчную землю поила дождемъ.
Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освѣжилась и буря промчалась.
И вѣтеръ, лаская листочки древесъ,
Тебя съ успокоенныхъ гонитъ небесъ.

Удивительно!.. Словомъ, описывая явленія природы, дѣло въ томъ, чтобы сказать все, что можетъ придти вамъ въ голову: говорите то, что должно придти каждому въ голову,—но такъ, чтобы ваше изображеніе было равносильно тому, что вы изображаете, и ни вамъ, ни намъ, слушателямъ, не останется больше ничего желать.

Но наше удивленное сочувствіе къ такимъ образамъ, къ такимъ звукамъ не должно сдѣлать насъ несправедливыми къ тѣмъ полуженскимъ поэтическимъ личностямъ, о которыхъ я упоминалъ выше. И счастливые, вкрадчивые стихи Тютчева или Фета найдутъ отголосокъ въ нашемъ сердцѣ. Я хотѣлъ только сказать, что г. А—въ пошелъ не по ихъ дорогѣ, и, повторяю, его манера какъ нельзя болѣе идетъ къ добродушно-умному, ясному и мужественному тону всей книги.

Письмо мое вышло довольно длинно, а, между тѣмъ, сколько бы

*) Пушкинъ заслуживаетъ названіе древняго по духу поэта гораздо болѣе, чѣмъ элегантный полу-французъ. впрочемъ, даровитый, Андрей Шенье; но по этому поводу можно бы написать цѣлую статью. Подобная статья была бы своевременна теперь, когда развелось такое множество подражателей Андрея Шенье и древнихъ,—подражателей, старающихся выдать тщедушную бѣдность своего вымысла за строгое чувство мѣры, присущее греческой фантазіи, трусливое любезничанье своего безсилія—за спокойную грацію античной силы.

хотѣлось еще сказать вамъ: сообщить собственныя наблюденія, поговорить о такъ-называемыхъ охотничьихъ «удачахъ и неудачахъ», объ охотничьихъ суевѣрьяхъ, преданіяхъ и повѣрьяхъ. Но я боюсь утомить и ваше вниманіе, и вниманіе читателя. Отложу все это до другого письма, которое вы получите вскорѣ. Ограничусь теперь желаніемъ, чтобы охота, эта забава, которая сближаетъ насъ съ природой, пріучаетъ насъ къ терпѣнію, а иногда и къ хладнокровію передъ опасностью, придаетъ тѣлу нашему здоровье и силу, а духу—бодрость и свѣжесть,—эта забава, которой тѣшились и наши прадѣды на берегахъ широкихъ русскихъ рѣкъ, и герой народныхъ балладъ, стрѣлокъ Робинъ-Гудъ, въ веселыхъ, зеленыхъ дубовыхъ рощахъ старой Англіи, и много добрыхъ людей на всемъ земномъ шарѣ, долго бы еще процвѣтала въ нашей родинѣ! Волшебный рогъ Оберона не перестанетъ звучать для «имѣющихъ ухо», и Веберъ не послѣдній музыкантъ, котораго вдохновитъ поэзія охоты! Я сейчасъ сказалъ, что охота сближаетъ насъ съ природой: одинъ охотникъ видитъ ее во всякое время дня и ночи, во всѣхъ ея красотахъ, во всѣхъ ея ужасахъ. Скажемъ искреннее спасибо г. А—ву за его книгу и пожелаемъ, чтобы другіе пошли по его слѣдамъ и разсказали намъ всѣ тѣ многоразличные роды охоты, до которыхъ онъ не коснулся. Кончаю словами «Урядника» Алексѣя Михайловича: «Паче же почитайте сію книгу красныя и славныя охоты, прилежные и премудрые охотники, да многія вещи добрыя и разумныя узрите и разумѣете. Аще съ разумомъ прочтете, найдете всякаго утѣшнаго добра...» и еще: «Будете охочи, забавляйтеся, утѣшайтеся сею доброю потѣхою, зѣло потѣшно и угодно и весело, да не одолѣютъ васъ кручины и печали всякія».

P.S. Я слышалъ, что «Записокъ ружейнаго охотника» готовится другое изданіе—успѣхъ ихъ предупредилъ мои похвалы: тѣмъ лучше!

Село Спасское.—Октябрь—ноябрь, 1852 г.

VIII.—«Племянница. Романъ, соч. Евгеніи Туръ. 4 части. Москва, 1851».

Было время—нѣсколько лѣтъ тому назадъ—въ отечественной критикѣ завелась своего рода табель о рангахъ — подраздѣленіе пишущихъ людей, которые, смотря по ихъ способностямъ, удостоивались различныхъ степеней: простого беллетриста, дагерротипическаго изображателя нравовъ, простого таланта, художественнаго таланта, геніальнаго таланта и, наконецъ, даже генія. Была также степень генія мірового, но до той степени доходили немногіе. Это время прошло теперь вслѣдствіе, между прочимъ, и оказавшейся несостоятельности многихъ геніальныхъ талантовъ и геніевъ; оно прошло, и мы смѣяться надъ нимъ не будемъ. Въ этой, съ виду педантической, классификаціи было гораздо болѣе молодости воззрѣнія, болѣе вѣры въ искусство и его дѣятелей, чѣмъ въ наше положительное, сухое и равнодушное время. Системы, вообще, создаются ими... Намъ, старикамъ, теперь не до системъ. И потому мы не станемъ прибѣгать къ терминологіи тѣхъ давно-прошедшихъ временъ, мы не потревожимъ ея праха; но мы попросимъ у читателя позволенія сказать нѣсколько несистематическихъ словъ о талантахъ вообще, объ ихъ

различныхъ свойствахъ, прежде чѣмъ мы приступимъ къ оцѣнкѣ произведенія г-жи Туръ. Читатели могутъ успокоиться: мы будемъ кратки; многословіе юности прошло въ насъ вмѣстѣ съ эпохой, о которой мы говорили выше, а до старческой болтливости мы еще не дожили.

Мы начнемъ съ извѣстной всѣмъ истины. Бываютъ таланты двоякаго рода: таланты сами по себѣ, независимые, какъ бы отдѣленные отъ личности самого писателя, и таланты, болѣе или менѣе тѣсно связанные съ нею. Мы не хотимъ этимъ сказать, чтобы таланты, названные нами независимыми, могли бы быть лишены постоянной внутренней связи съ жизнію вообще—этого вѣчнаго источника всякаго искусства — и съ личностію писателя въ особенности. Мы не вѣримъ въ эти такъ-называемые объективные таланты, которые будто сваливаются Богъ вѣсть откуда въ чью-нибудь голову и сидятъ-себѣ тамъ, изрѣдка чирикая, какъ птица въ клѣткѣ; но, съ другой стороны, мы не можемъ не чувствовать, что, напримѣръ, лица Гоголя стоятъ, какъ говорится, на своихъ ногахъ, какъ живыя, и что если есть между ними и творцомъ ихъ необходимая духовная связь, то сущность этой связи остается для насъ тайной, разрѣшеніе которой подпадаетъ уже не критикѣ, а психологіи. Въ талантахъ же второго разряда, или, говоря безобиднѣе, въ талантахъ другого рода, связь эта чувствуется читателемъ, произведенія ихъ, пожалуй, тоже могутъ стоять на своихъ ножкахъ, но рука, ихъ поставившая, отъ нихъ не отнимается, пульсъ ихъ бьется не своею кровью, вѣра въ ихъ существованіе сопрягается съ нѣкоторымъ усиліемъ. Они живы не потому, чтобы въ нихъ самостоятельно сосредоточивалось живое начало, а потому, что ихъ пустилъ въ ходъ все-таки живой человѣкъ; за то эти произведенія обыкновенно отличаются искренностью, задушевностью и теплотою: недостатокъ мастерства и оконченности выкупается другими интересами. Въ нихъ, можетъ-быть, меньше истины, но сочувствія они часто возбуждаютъ больше, особенно, если въ нихъ есть то, безъ чего все въ искусствѣ ничтожно,—если въ нихъ есть личная правда. Разумѣется, что въ нашемъ подраздѣленіи нѣтъ ничего абсолютнаго: было бы смѣшно подводить безконечное разнообразіе художественныхъ личностей подъ какія-то неподвижныя графы; но общій смыслъ проведенной нами границы намъ кажется вѣрнымъ и сообразнымъ съ дѣйствительностію.

Талантъ г-жи Туръ принадлежитъ именно къ талантамъ этого, положимъ, второго рода, и мы очень этому рады. Обыкновенно такъ-называемые объективные таланты предпочитаются и самими писателями, которые жаждутъ этого нѣмецкаго эпитета и добиваются его, какъ самаго лестнаго комплимента, — и критиками. Про читателей этого нельзя сказать: они не пускаются въ такія отвлеченности и любятъ то, что ихъ занимаетъ. Но, повторяемъ, мы очень рады, что г-жа Туръ такова, какова она есть, и этому причина весьма проста: г-жа Туръ женщина, русская женщина, и какъ ни велико наше уваженіе къ этой пресловутой «объективности»,—мнѣнія, сердце, голосъ русской женщины,— все это для насъ дорого, все это намъ близко... и это дорогое, это близкое едва ли не въ первый разъ заговорило въ области искусства устами г-жи Туръ. Писательницъ у насъ было много на Руси: иныя изъ нихъ владѣли замѣчательными способностями; но изъ всѣхъ изъ нихъ одна — мы просимъ извиненія у живыхъ — уже теперь не живая, г-жа Ганъ, могла бы оспаривать у г-жи Туръ то преимущество впервые сказаннаго слова, о которомъ

мы сейчасъ упомянули. Въ этой женщинѣ было дѣйствительно и горячее русское сердце, и опытъ жизни женской, и страстность убѣжденій,— и не отказала ей природа въ тѣхъ «простыхъ и сладкихъ» звукахъ, въ которыхъ счастливо выражается внутренняя жизнь; но сочинительство ее погубило, литература (какъ ни странно это слово, но оно вѣрно), литература повредила ей, желаніе создавать, творить, разрѣшилось у ней хлопотливымъ безсиліемъ, и Марлинскій окончательно наложилъ на нее печать своей пагубной витіеватости. Она осталась прекраснымъ, даже, пожалуй, трогательнымъ воспоминаніемъ въ памяти любителей изящнаго; но въ поэзіи, настоящей, живой, ей мѣста нѣтъ. Счастіе перваго удачнаго начинанія принадлежитъ г-жѣ Туръ, хотя и въ ея произведеніяхъ, какъ мы увидимъ ниже, мѣстами отразилось вліяніе той риторики, въ плевелахъ которой заглохло, наконецъ, прекрасное дарованіе ея предшественницы.

Г-жа Туръ явилась въ первый разъ передъ публикой не болѣе двухъ лѣтъ тому назадъ. Всѣ помнятъ впечатлѣніе, произведенное «Ошибкой», — впечатлѣніе, поддержанное «Долгомъ» и окончательно утвержденное «Антониной», эпизодомъ изъ разбираемаго нами романа. (Мы не говоримъ ни о «Первомъ апрѣлѣ», неудачной попыткѣ въ родѣ, совершенно чуждомъ для г-жи Туръ — въ родѣ драматическомъ, ни о «Двухъ сестрахъ», повѣсти, помѣщенной въ «Отечественныхъ Запискахъ». Любой талантъ не могъ бы справиться съ затрудненіями, неизбѣжно вытекающими изъ ложности основной мысли этого произведенія). Блестящія надежды, возбужденныя г-жою Туръ, оправдались настолько, что уже перестали быть надеждами и сдѣлались достояніемъ нашей литературы: дарованіе г-жи Туръ, слава Богу, не нуждается въ поощреніяхъ и можетъ съ честію выдержать самую строгую оцѣнку.

Мы не намѣрены вдаваться въ подробный разборъ произведеній г-жи Туръ предшествовавшихъ «Племянницѣ». Талантъ ея, по самой сущности своей, не можетъ отличаться большимъ разнообразіемъ, и внимательному взору, съ участіемъ за нимъ слѣдящему, предстаетъ весь въ каждомъ своемъ твореніи. Замѣтимъ только, что «Ошибка», при всей неновости содержанія, небрежности слога и нѣсколько утомительныхъ длиннотахъ, поразила всѣхъ своей искренностью, неподдѣльнымъ жаромъ чувства, какою-то стремительностію убѣжденій и благороднымъ мужествомъ души, оставшейся юной подъ ударами горя, не впавшей въ болѣзненную грусть. Сверхъ того, отъ страницъ «Ошибки» вѣяло Москвой, московскимъ обществомъ. Въ «Долгѣ» попадаются мѣста, нѣсколько напоминающія Жоржъ-Занда,— мѣста, дышащія глубокой тревогой разгорающейся страсти. Объ «Антонинѣ» мы отдѣльно теперь говорить не будемъ и спѣшимъ перейти къ роману, заглавіе котораго мы выписали въ началѣ нашей статьи.

Романъ,—романъ въ четырехъ частяхъ! знаете ли, что кромѣ женщины никто въ наше время въ Россіи не можетъ рѣшиться на такой трудный, на такой во всякомъ случаѣ длинный подвигъ? И въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ наполнить четыре тома? Историческій, Вальтеръ-Скоттовскій романъ, — это пространное, солидное зданіе, со своимъ незыблемымъ фундаментомъ, врытымъ въ почву народную, со своими обширными вступленіями въ видѣ портиковъ, со своими парадными комнатами и темными коридорами для удобства сообщенія, — этотъ романъ въ наше время почти невозможенъ: онъ отжилъ свой вѣкъ, онъ несовременень... У насъ, можетъ-быть, его пора еще не при-

шла,—во всякомъ случаѣ, онъ къ намъ не привился—даже подъ ромъ Лажечникова. Романы «à la Dumas», съ количествомъ то ad libitum, у насъ существуютъ,—точно: но читатель намъ позвс пройти ихъ молчаніемъ. Они, пожалуй, фактъ, но не всѣ факты нибудь значатъ. Остаются еще два рода романовъ болѣе близ между собой, чѣмъ кажется съ перваго взгляда,—романовъ, кот во избѣжаніе разныхъ толкованій, не вездѣ удобныхъ, мы назо по имени ихъ главныхъ представителей: Зандовскими и Диккен скими. «Эти романы у насъ возможны и, кажется, примутся; н «перь спрашивается, настолько ли высказались уже стихіи н «общественной жизни, чтобы можно было требовать четырехто «размѣра отъ романа, взявшагося за ихъ воспроизведеніе? Ус «въ послѣднее время разныхъ отрывковъ, очерковъ, кажется, «зываетъ противное. Мы слышимъ пока въ жизни русской отдѣл «звуки, на которые поэзія отвѣчаетъ такими же быстрыми отк «ками. Примѣръ Гоголя тутъ ничего не значитъ: во-первыхъ, «такихъ людей, какъ онъ, эстетическіе законы не писаны, и «безъ всякой гордыни могъ говорить объ устремленныхъ на «очахъ всей Россіи; а во-вторыхъ, въ томъ, что онъ свои «Мер «Души» назвалъ поэмой, а не романомъ, — лежитъ глубокій смы «Мертвыя Души» дѣйствительно поэма — пожалуй, эпическая, « «говоримъ о романахъ» *). Но, спросятъ насъ, если мы точно трудняемся въ признаваніи четырехтомныхъ романовъ возможн въ литературномъ смыслѣ, почему же мы думаемъ, что одна то женщина можетъ у насъ предпринять и, главное, окончить т небывалую вещь? Именно потому, что для женщины, даже пишу не существуютъ тѣ препятствія, которыя бы остановили литера на первомъ шагу. Ей не страшно наполнять цѣлые десятки с ницъ либо ненужными разсужденіями, либо разсказами, не ведущ къ дѣлу, либо даже просто болтовней, — ей не страшно ошибит Она пишетъ жадно, быстро, съ какимъ-то невольнымъ уважен къ писанію вообще, безъ литературныхъ замашекъ и затѣй; и женщинѣ, которая вздумала бы писать иначе, горе женщинѣ «с нительницѣ»! Да не подумаютъ, однакоже, что мы требуемъ женщины-писательницы какого-то безсознательнаго инстинктив творчества. Мысль, со всѣми ея страданіями и радостями, жи со всѣми своими зримыми и незримыми тайнами, доступны ей ст ко же, сколько мужчинѣ. Мы только утверждаемъ, что въ женс талантахъ (и мы не исключаемъ самаго высшаго изъ нихъ—Жо Занда) есть что-то неправильное, нелитературное, бѣгущее пр изъ сердца, необдуманное, наконецъ, — словомъ, что-то такое,

*) Строки, отмѣченныя кавычками, были выкинуты цензоромъ, питавшимъ ное неблаговоленіе къ Гоголю. Этотъ одинъ фактъ безапелляціоннаго произ по-моему, краснорѣчивѣе говоритъ о тогдашнемъ литературномъ безправіи, всѣ пресловутые анекдоты о „вольномъ духѣ"—„лже-пророкѣ" и т. д. Помн тотъ же цензоръ утверждалъ, что не слѣдовало бы пропускать въ печать изв ныхъ водевильныхъ стишковъ:

По Гороховой я шелъ...
И гороху не нашелъ!

„Во-первыхъ, — говорилъ онъ—это все-таки критика, неудовольствіе мѣро чальства: а во-вторыхъ, теперь, вотъ, толкуютъ о горохѣ... а кто можетъ р читься, что другой сочинитель, воспользовавшись послабленіемъ цензуры, не пишетъ:

На свободѣ хоть я шелъ—
Но свободы не нашелъ!

—такъ ужъ лучше не позволять толковать о горохѣ"

котораго онѣ бы на многое не покусились и, между прочимъ, на четырехтомный романъ.

Приступимъ же къ нему, къ этому роману. Разбирая его содержаніе, мы надѣемся яснѣе высказать наше мнѣніе о дарованіи г-жи Туръ, которое до сихъ поръ обозначено нами только общими чертами.

Романъ начинается не совсѣмъ удачно; на сорока-шести страницахъ тянется родъ вступленія, изъ котораго, мы, правда, узнаемъ положеніе главныхъ дѣйствующихъ лицъ, но которое уже потому могло бы быть сокращено, что собственно описанія—не сильная сторона г-жи Туръ: они большей частью выходятъ у ней слабы и вялы; въ ея рисункѣ нѣтъ спокойствія и ясности, ей надобно быть самой увлеченной, чтобъ увлечь другихъ, и ея дѣйствующія лица становятся по мѣрѣ возможности живыми только съ той минуты, когда они начинаютъ дѣйствовать. Героиня романа,— Маша-племянница— живетъ въ деревнѣ своей тетки, капризной и тяжелой старой дѣвы. Родители Маши умерли давно, не оставивъ ей никакого наслѣдства. Въ одномъ домѣ съ нею обитаетъ ея бабушка, добрая старушка, защитница Маши отъ притѣснительныхъ нападокъ ея жёлчной тетки. Въ этотъ семейный кружокъ, довольно вѣрно, хотя нѣсколько блѣдно очерченный г-жою Туръ, введенъ одинъ другъ дома, сынъ управляющаго ближняго села, учитель Маши, нѣкто г. Ильменевъ, бѣлокурый молодой человѣкъ, весь составленный изъ самоотверженія, неловкости, преданности, почтительной грусти и затаенной любви, одно изъ тѣхъ лицъ, которыхъ, съ легкой руки Ральфа въ «Индіанѣ», непремѣнно встрѣчаешь въ каждомъ женскомъ романѣ новѣйшаго времени.

Между Машей, его ученицей, и имъ существуютъ отношенія чрезвычайно нѣжныя и вообще весьма похвальныя, но не лишенныя нѣкоторой тихой скуки для читателя. Онъ ея наставникъ, ея другъ, ея воспитатель. Онъ ее очень любитъ, и она его любитъ; но вы уже съ первыхъ страницъ романа чувствуете, что эта взаимная любовь не тотчасъ увѣнчается желаннымъ успѣхомъ, что идиллическую эту тишину нарушитъ буря, что сердцу Маши суждено испытать чувство болѣе страстное и знойное, чѣмъ ея дѣтское расположеніе къ своему скромному наставнику. И дѣйствительно, эта буря наступаетъ. Она является въ видѣ блестящаго князя Чельскаго, владѣтеля именно того села, которымъ управляетъ отецъ Ильменева. Онъ является не одинъ: его сопровождаетъ какой-то г. Плетневъ, тоже бѣлокурый господинъ съ такой блѣдной физіономіей, что память читателя изо всѣхъ его призрачно мелькающихъ чертъ съ трудомъ удерживаетъ одну, какую-то полуребяческую, полустарческую восторженность и мечтательность. Князь является и, какъ водится, побѣждаетъ. Ильменевъ, какъ водится, тоже догадывается, страдаетъ и молчитъ. Плетневъ хотя менѣе догадывается, но влюбляется, страдаетъ и молчитъ тоже. Отношенія князя къ Машѣ, въ изображеніи которыхъ часто встрѣчаются черты истинныя, тонкія и нѣжныя, — черты, которыя одна женщина можетъ почувствовать и выговорить,— отношенія эти внезапно прерваны грубымъ вмѣшательствомъ тетки, Варвары Петровны. Князь уѣзжаетъ, получивъ на послѣднемъ свиданіи увѣреніе въ любви Маши. Маша нѣкоторое время томится и груститъ; участіе неизмѣннаго ея паладина Ильменева помогаетъ ей перенести разлуку... Но вотъ, бабушка ея умираетъ, поручивъ ее опять тому же Ильменеву, и Маша ѣдетъ въ Москву на житье къ другой своей теткѣ, княгинѣ Бѣловодской. Отъѣздомъ ея изъ родимаго гнѣзда

оканчивается первая часть романа, и мы охотно сознаемся, что все горе, вся скорбь послѣдняго дня разлуки, это млѣніе ноющей души, отрывающейся отъ всего ей дорогого, что вся эта безконечная, почти предсмертная печаль нигдѣ не была изображена съ большей теплотой и истиной, какъ на тѣхъ страницахъ, гдѣ мы видимъ Машу, Машу, влюбленную въ другого, въ послѣдній разъ сидящую съ другомъ своего дѣтства подъ кровомъ того дома, гдѣ оно такъ счастливо прошло.

Прежде, чѣмъ мы пойдемъ далѣе, скажемъ нѣсколько словъ объ этомъ первомъ томѣ. Главный его недостатокъ—несоразмѣрная длинота. Онъ бы ничего не потерялъ — мы утверждаемъ это смѣло — если бъ его сократили на половину. Чувства мѣры недостаетъ въ г-жѣ Туръ. За болтливыми описаніями тянутся діалоги, которымъ рѣшительно и ни подъ какимъ видомъ не хочется остановиться. Особенно туманна середина этой первой части, благодаря упорному пребыванію въ ней Ильменева и Плетнеева—этихъ двухъ сіамскихъ близнецовъ несчастной любви; но обо всѣхъ этихъ недостаткахъ мы говорили выше, какъ о болѣе или менѣе неизбѣжныхъ принадлежностяхъ женскаго писанья. За то и все прекрасное, все симпатическое, все, что мы такъ любимъ подъ перомъ женщины, находится и у г-жи Туръ. Звуки, то невольно потрясающіе, то глубоко трогающіе, часто попадаются у ней среди самыхъ незначащихъ страницъ. Характеровъ, въ строгомъ смыслѣ этого слова, у ней нѣтъ, и самыя лишнія мѣста въ романѣ г-жи Туръ — именно тѣ описанія, посредствомъ которыхъ она старается разъяснить намъ характеры своихъ героевъ. Описанія эти ничего не разъясняютъ и даже иногда своею неопредѣленностью, своими общими мѣстами мѣшаютъ впечатлѣнію читателя. Болѣе всѣхъ удался автору характеръ Варвары Петровны, въ отдѣлкѣ котораго мы съ удовольствіемъ замѣтили какую-то мѣткую, вѣрную, чисто-женскую иронію. Характеровъ нѣтъ, повторяемъ мы, въ первой части «Племянницы» (о князѣ Чельскомъ мы поговоримъ послѣ), но есть одно лицо—Маша—которому невозможно не сочувствовать горячо. Нельзя сказать, чтобы и она была оригинальна; но молодыя дѣвушки и въ дѣйствительности рѣдко бываютъ оригинальны, и тѣ общія черты, которыя повторяются во всѣхъ нихъ, общія имъ всѣмъ радости, надежды, волненія, страданія,—эта ихъ общая личность, если можно такъ выразиться, прекрасно высказалась въ образѣ Маши. Мы не хотимъ сказать, чтобъ и второстепенныя лица, выведенныя г-жею Туръ въ этой первой части, какъ-то: лица бабушки, матери Ильменева, отца его и другія, между которыми довольно удачно выдается княжескій грумъ, избалованный и изломанный мальчишка, — мы не хотимъ сказать, чтобы эти лица были ложны: они только блѣдны, лишены той цѣнности типической, той жизненной выпуклости, которыя однѣ не даютъ себя забыть.—«Племянницу», вообще, не скоро забудутъ, но ни одно изъ лицъ этого романа, за исключеніемъ Антонины, не останется въ памяти читающей массы; мы осмѣливаемся предсказать это... Но пора перейти ко второй части.

Первыя главы этой второй части принадлежатъ къ самымъ лучшимъ во всемъ романѣ: въ нихъ выведено семейство Бѣловодскихъ, состоящее изъ матери, холодной и методической, въ высшей степени приличной и совершенной, но какъ-то неестественно и подозрительно совершенной женщины, и трехъ дочерей, изъ которыхъ старшая, Мери, вышла въ мать, вторая — Анюта—пустая, свѣтская дѣ-

вушка, а третья — Соня—лукавый, умный и уже испорченный ребенокъ. Всѣ эти фигуры, такъ же, какъ и тѣ, которыя служатъ имъ обстановкой, очень удачны. Положеніе Маши въ этомъ семействѣ обрисовано четко и вѣрно; разсказъ живъ, простъ, и почти нигдѣ не прерывается ни сплошными разсужденіями въ пять страницъ и болѣе, о томъ, что сейчасъ или было, или будетъ сказано, ни тѣми словоохотливыми разговорами, въ которыхъ тоже разсуждается de omnibus rebus et de aliis quibusdam. — Правдой, искренней, страстной правдой дышатъ всѣ эти страницы. Читатель на собственномъ сердцѣ чувствуетъ гнетъ холоднаго бремени, подавляющаго Машу въ домѣ княгини. Первые ея выѣзды въ свѣтъ очень мило разсказаны. Но съ половины тома интересъ слабѣетъ: является, во-первыхъ, опять Плетневъ, это совершенно ненужное въ экономіи романа лицо, и попрежнему распространяетъ около себя какую-то тоскливую тяжесть, напоминающую впечатлѣніе легкаго угара. Онъ негодуетъ на Машу, которая понемногу начинаетъ находить удовольствіе въ разсѣяніяхъ свѣта, и, Боже мой! какъ пространно негодуетъ! Вмѣстѣ съ нимъ возникаютъ, словно изъ тумана, разныя блѣдноватыя лица: князь Невалинъ, князь Девинъ, князь Габинъ, графъ Запольскій, баронъ Черновъ, блестящая виртуозка Алина Ленская,—и всѣ эти князья, графы, бароны и дворяне болѣе или менѣе вертятся около Маши. Князь Невалинъ даже сильно влюбляется въ нее. Наконецъ, является самъ, jeune premier — является князь Чельскій. Онъ, попрежнему, влюбленъ въ Машу, но, чтобъ отвести подозрѣніе, кокетничаетъ съ Мери, старшей дочерью княгини Бѣловодской. Мери, это холодное, скрытое, сдержанное существо, сама въ него страстно влюбляется, и г-жѣ Туръ какъ нельзя лучше удалось выразить эту «сухую», мучительную и непривлекательную страсть. Князь Чельскій дѣлаетъ, наконецъ, предложеніе Машѣ. Нѣкоторыя предшествующія сцены прекрасны и могли быть только написаны женщиной, умной женщиной, взглядъ которой, подмѣчая мелочи, не только не теряется въ нихъ, но именно въ этихъ мелочахъ схватываетъ общее движеніе и направленіе жизни и страсти. За то другія сцены сбивчивы и длинны. Добродѣтельный Ильменевъ также прибываетъ въ Москву, передъ окончаніемъ развязки отношеній князя и Маши. Читатель привѣтствуетъ его появленіе страннымъ чувствомъ, похожимъ на то, съ которымъ мы часто встрѣчаемъ иныхъ нашихъ хорошихъ друзей: намъ пріятно ихъ увидѣть, но намъ не непріятно съ ними разстаться, и въ ихъ отсутствіи мы какъ-то охотнѣе отдаемъ имъ полную справедливость. Въ концѣ книги мы встрѣчаемъ Антонину, ту самую Антонину, имя которой, благодаря отрывку, помѣщенному въ «Кометѣ», по справедливости стало почти популярнымъ. Она представляется намъ, какою осталась она послѣ ея разсказа о-бокъ съ ненавистнымъ Милькотомъ—и жёсткимъ, невыносимымъ объясненіемъ между нимъ и ею оканчивается эта часть романа.

Теперь бы намъ слѣдовало перейти къ разбору третьей части, но прежде намъ хочется сказать нѣсколько словъ объ избранникѣ Машинаго сердца, о князѣ Чельскомъ. Князь Чельскій тоже не живое лицо. Въ немъ опять выразился общій типъ, довольно распространенный въ наше время, — типъ, для котораго, благодаря одной повѣсти, существуетъ нарицательное имя—типъ Тамарина. Чельскій— это столичный Тамаринъ, точно такъ же, какъ Тамаринъ — провинціальный Чельскій... Замѣтимъ, кстати, что Тамаринъ болѣе живое

лицо, чѣмъ Чельскій, именно потому, что такіе господа вообще возможнѣе въ провинціи. Чельскій менѣе ломается, съ меньшимъ добродушіемъ любуется самимъ собой, не позволяетъ себѣ никакой фатальности въ обращеніи, не такъ наивно претендуетъ на сокрушеніе дѣвственныхъ сердецъ. Онъ вообще лучше воспитанъ, больше видалъ, чѣмъ Тамаринъ, но сущность ихъ одна и та же: тотъ же въ обоихъ безпокойно-щепетильный эгоизмъ, та же претензія праздности, то же отсутствіе всякаго интереса, та же мелкая даровитость при безконечной самонадѣянности, тотъ же дилетантизмъ самосознанія, та же бѣдная, при всемъ кажущемся богатствѣ, ницшенски-бѣдная натура. Мы совсѣмъ не того мнѣнія, чтобы такое лицо не стоило бы выводить: напротивъ, его надо выводить на свѣжую воду; но намъ бы желалось, чтобы оно, какъ всякое комическое лицо, не выходило бы изъ-подъ иронической власти своего творца, изъ-подъ бича сатиры, или, если этотъ бичъ для такого существа слишкомъ тяжелое орудіе, такъ пусть хоть изрѣдка побрякиваютъ надъ нимъ гремушки веселой насмѣшки. Но мы не можемъ считать нѣсколько жёсткихъ и строгихъ фразъ, сказанныхъ авторомъ насчетъ своего героя, достаточнымъ вознагражденіемъ за ту невольную нѣжность къ нему, которая то и дѣло либо высказывается положительно, либо проглядываетъ между строками. Мы даже готовы согласиться, что князья Чельскіе—особенно въ романахъ—легко плѣняютъ молодыхъ дѣвушекъ; мы находимъ это въ порядкѣ вещей; но чѣмъ они царуютъ спокойный взглядъ художника, которому сами обязаны своимъ существованіемъ—своимъ воспроизведеніемъ? Или на насъ еще дѣйствуетъ это дешевое изящество самодовольной свѣтскости, этотъ ложный аристократическій блескъ, и мы бранимъ его, внутренно имъ очарованные, какъ любовники бранятъ другъ друга? Отчего, съ улыбкой юмора начиная рисовать черты этого лица, не лишеннаго плѣнительности, но — повторяемъ—комическаго, и мелко-комическаго,— отчего вдругъ карандашъ трепещетъ въ нашей рукѣ, и мы невольно то смягчаемъ рѣзкую линію, то придаемъ взору силу и глубину, ложность которыхъ чувствуемъ сами, то живописно и широко драпируемъ худенькій и немощный станъ? Правда, наше художественное чувство по временамъ протестуетъ, мы скажемъ рѣзкое, дерзкое, безжалостное слово нашему идолу — и снова таемъ и млѣемъ передъ нимъ... Отчего? отчего все это? На этотъ вопросъ не такъ легко отвѣтить...

Притомъ, не одинъ этотъ вопросъ приходитъ въ голову читателю. Отчего Ильменевъ, этотъ добрый геній Маши, эта преданная, нѣжная, любящая натура,—отчего онъ непремѣнно долженъ быть неловокъ, неуклюжъ, некрасивъ и молчаливъ—отчего волосы торчатъ на его головѣ кверху, въ видѣ листьевъ артишока? Происходитъ ли это отъ желанія поставить его рѣзкой противоположностью изящному князю, хотѣлъ ли авторъ изображеніемъ этого лица, лишеннаго всякой внѣшней прелести и столь достойнаго любви, хотѣлъ ли онъ покарать въ самомъ себѣ и въ читателѣ то чувство невольнаго подобострастія передъ ложнымъ блескомъ свѣтскихъ манеръ, о которыхъ мы сейчасъ говорили,—во всякомъ случаѣ, мы не можемъ не видѣть на самомъ Ильменевѣ отраженія опять-таки Чельскаго: каждый изъ нихъ представляется намъ членомъ антитезы, уже тысячу разъ выведенной въ романахъ,—антитезы блестящаго, холоднаго и ложнаго характера съ характеромъ истиннымъ, теплымъ, но уже слишкомъ тусклымъ, и мы не можемъ не сожалѣть о томъ, что г-жа Туръ, съ

ея живымъ взглядомъ на вещи, пошла по этой нѣсколько избитой дорогѣ *).

Пора, однако, перейти къ третьей части. Въ началѣ ея князь Чельскій, уже женихъ Маши, уѣзжаетъ въ Петербургъ, по случаю болѣзни тетки, и читатель узнаетъ, что Мери, старшая дочь княгини, также помолвлена за графа Запольскаго, человѣка зрѣлыхъ лѣтъ и давнишняго друга дома. Мери скрыла до времени свою любовь къ князю, но простить Машѣ ея счастье она не можетъ. Уже до свадьбы она начинаетъ подкапываться подъ это ненавистное счастье. Читатель предчувствуетъ, что, благодаря ея коварнымъ стараніямъ, невинная, дѣвическая дружба Маши къ Ильменеву горько отзовется въ жизни молодой женщины—княгини Чельской. Мери сама способствуетъ свиданьямъ Маши съ нимъ и съ Плетневымъ, который влюбленъ уже не въ Машу, а въ Антонину, но попрежнему бременитъ читателя своимъ присутствіемъ; съ женскимъ инстинктомъ предчувствуетъ она, что̀ именно въ характерѣ Маши должно будетъ современемъ привести къ разрыву между ею и ея женихомъ, и съ терпѣніемъ и продумотрительностью паука разставляетъ свои сѣти. Она умна, но для достиженія своей цѣли ей даже не нужно большого ума: довольно одного эгоизма, одной холодной и скрытной хитрости. Что общаго между доброй, слегка восторженной, простой и прямой Машей и господиномъ Чельскимъ?—ничего. Ихъ связываетъ теперь одно чувство, молодое въ Машѣ, прикидывающееся молодымъ въ князѣ; но оно пройдетъ, и останется одно глубокое различіе двухъ душъ, не созданныхъ другъ для друга. Мери гораздо болѣе приходится подъ ладъ князю; они оба одного поля ягоды; и читатель чувствуетъ, что рано или поздно они должны сойтись, хоть бы то было на развалинахъ счастья Маши. Третій томъ оканчивается двойною свадьбою Маши и Мери. Князь уже до свадьбы подпадаетъ подъ вліяніе Мери, начинаетъ подозрѣвать и ревновать, — словомъ, выказываетъ всю мелочность своей души. Но главный интересъ всей этой части сосредоточивается не на этихъ лицахъ, но на Антонинѣ Берини, на ея разсказѣ, въ которомъ проходитъ передъ нами вся ея жизнь, и который занимаетъ около двухъ третей этой третьей части.

Намъ кажется, нечего увѣрять читателей нашихъ въ глубокомъ сочувствіи, возбужденномъ въ насъ талантомъ г-жи Туръ. Съ другой стороны, они могли видѣть, что это сочувствіе въ насъ не слѣпое, и что мы, не обинуясь, высказывали свое мнѣніе о томъ, что намъ казалось менѣе удачнымъ въ ея произведеніи; потому мы надѣемся, что они не заподозрятъ тѣхъ горячихъ похвалъ, которыми мы готовы привѣтствовать разсказъ Антонины, особенно первую его половину. Эти страницы—мы говоримъ это съ твердымъ убѣжденіемъ—останутся въ русской литературѣ. Онѣ — быть-можетъ! — станутъ въ ряду тѣхъ избранныхъ поэтическихъ вымысловъ, которые сдѣлались нашими, домашними, о которыхъ мы любимъ думать, симпатія къ которымъ переходитъ, наконецъ, въ привычку, тѣсно связанную со всѣмъ лучшимъ въ нашихъ воспоминаніяхъ. Содержаніе такихъ счастливыхъ вымысловъ почти всегда несложно: оно просто, какъ самыя основы жизни. Мы назвали эти вымыслы счастливыми: счастье ихъ состоитъ не въ новизнѣ или неслыханности главной мысли, а въ томъ, что жизнь имъ далась, что она открыла имъ свои родники и

*) Вспомнимъ, между прочимъ, Джоржа Селлея и Осборна въ „Ярмаркѣ тщеславія", Леона Леони и Ганріе у Жоржъ Санда и проч. Г-жа Туръ начитана; но начитанность не всегда достоинство въ сочинителѣ.

выхъ сближеній, со стыдливымъ торжествомъ неожиданнаго б
ства, съ раздирающимъ горемъ внезапной разлуки. Все это на
просто, горячо, небрежно, какъ вообще пишетъ г-жа Туръ
между прочимъ, замѣтимъ кстати—написана «Manon Lescau
самая небрежность этой формы въ разсказѣ Антонины ест
лесть. Стремительная, искренняя страсть не ищетъ выраженi
находитъ ихъ: они сами бѣгутъ ей навстрѣчу.

Конецъ разсказа, начиная съ появленія г. Бертини, италья
могущественнымъ темпераментомъ и мелодраматическими нав
стями, намъ менѣе нравится. Отношеніе къ нему Антонины,
всѣмъ естественное и напряженное, какъ-то непріятно нар
гармонію впечатлѣнія, вынесеннаго читателемъ изъ первой по
разсказа.

Между третьей и четвертой частью существуетъ шестилѣтнi
межутокъ. Мы вообще небольшіе охотники до такихъ внеза
скачковъ. Большею частью интересъ останавливается и зам
на той самой точкѣ, гдѣ перервалась нить разсказа. Не ск
однако, чтобы наши слова вполнѣ оправдались надъ четвертой
«Племянницы». Въ ней есть прекрасныя подробности. Развитi
ныхъ положеній проведено даже съ бо́льшей отчетливостью ри
чѣмъ мы этого ожидали отъ г-жи Туръ. Но читатель неизбѣжнс
видитъ все это развитіе, до малѣйшихъ ого подробностей, съ
первой сцены, гдѣ авторъ представляетъ намъ князя, уже р
женнаго, скучающаго своей женой, влюбленнаго въ другую жен
въ Мери,—Машу, загнанную, печальную, съ тайной раной на с
и наконецъ, самоё Мери, попрежнему холодную, увѣренную въ
побѣдѣ, въ своемъ неограниченномъ вліяніи на князя и го
отмстить Машѣ до конца. Читатель — повторяемъ — предвиди
грядущіе переходы этой драмы, и если не предчувствуетъ,
рода именно будетъ развязка: печальная или веселая — то уже

Съ Ильменевымъ Маша почти раззнакомилась: онъ, какъ всѣ несчастные, но благородные любовники, наложилъ на себя маску мнимаго равнодушія и съ мужествомъ носилъ ее до тѣхъ поръ, пока Маша была или казалась счастливою, т.-е. до тѣхъ поръ, пока ему не зачѣмъ было бы и снимать эту маску. Но вотъ, домашняя драма начинается: очарованіе давно исчезло, выступаютъ послѣдствія грозной ошибки: тяжело молодой женщинѣ подъ гнетомъ ложнаго и унизительнаго положенія... Наступаетъ время другу выступить впередъ и протянуть руку помощи. Но принять эту руку не легко. Наступаетъ обычное crescendo финала. Начинаются недоразумѣнія, подозрѣнія, оскорбленія; съ ожесточеніемъ людей виноватыхъ, преслѣдуетъ князь и Мери невинную Машу. Клевета разливается ядомъ; мгновенныя возвращенія прежнихъ чувствъ, невольные укоры совѣсти тотчасъ смѣняются новыми обидами. Безжалостный эгоизмъ, распаленный преступной страстью, попираетъ добродушную и слишкомъ совѣстливую слабость; покрывшись непроницаемой броней приличія, онъ бьетъ куда угодно свою безоружную жертву, которая то тщетно старается умилостивить своихъ враговъ, то еще напраснѣе пытается съ ними бороться. Пощады ей нѣтъ. Опора за опорой ускользаютъ изъ ослабѣвающихъ рукъ ея; внѣшнее благосостояніе разрушается тоже; она гибнетъ... но вотъ, является спаситель въ лицѣ дяди Чельскаго, старика Очинина. Пользуясь крайнимъ разстройствомъ дѣлъ своего племянника, этотъ благодѣтельный deus ex machina выкупаетъ у него Машу, едва живую отъ всѣхъ ударовъ, на нее нанесенныхъ. Онъ беретъ ее съ собой. Ильменевъ ихъ сопровождаетъ, и черезъ нѣсколько времени мы узнаемъ, что графъ Запольскій, мужъ Мери, убиваетъ на дуэли Чельскаго, и хотя намъ авторъ не говоритъ ничего о торжествѣ добродѣтели, но мы въ правѣ предполагать, что испытанная дружба Ильменева не останется безъ награды.

Вотъ содержаніе послѣдней части «Племянницы». Мы его обозначили бѣглыми чертами, но надѣемся, что сказали довольно для того, чтобы возбудить къ нему живѣйшее участіе читателя.

Оканчивая разборъ романа г-жи Туръ, мы намѣрены въ немногихъ словахъ повторить и какъ бы собрать вмѣстѣ наши разбросанныя замѣчанія объ ея дарованіи. Но прежде упомянемъ о чувствѣ, съ которымъ мы положили изъ рукъ ея книгу. Это чувство было теплое, симпатическое: эта книга написана сердцемъ и говоритъ сердцу. Отъ нея вѣетъ чѣмъ-то благороднымъ, искреннимъ, горячимъ. Самый жаръ, съ которымъ г-жа Туръ нерѣдко вдается въ излишнія и не новыя разсужденія, — этотъ жаръ, которому, признаться, мы плохо повѣрили бы въ мужчинѣ, въ литературѣ,—насъ чуть ли не трогаетъ въ ней; эти разсужденія намъ могутъ показаться фразами, но не фразёрствомъ.

У ней, правда, иногда по поводу истинъ, всѣмъ извѣстныхъ, является тонъ полу-восторженный, полу-поучительный, какъ-будто она сама ихъ только-что открыла; но и это можетъ статься... и это можно извинить. Недостатокъ иронiи, комическаго элемента замѣчается въ г-жѣ Туръ. Многіе будутъ плакать, никто не засмѣется, читая «Племянницу». Таланта, того независимаго таланта, о которомъ мы говорили въ самомъ началѣ нашей статьи,—таланта, который поэтъ какъ бы сознательно беретъ въ руки, — у г-жи Туръ или нѣтъ, или очень мало. Ея талантъ—талантъ лирическій, отъ нея нераздѣльный, столько же способный передавать малѣйшія движенія души автора, его собственный жизненный опытъ, сколько неспособ-

ный создавать самостоятельные характеры и типы. Слогъ г-жи Туръ, какъ мы сказали выше, небреженъ. Рѣчь ея болтлива, часто водяниста и вообще болѣе музыкальна, чѣмъ живописна: но въ этомъ мы ее упрекать не станемъ. Это ея недостатокъ, и это ея достоинство въ одно и то же время. Но непріятно намъ было встрѣтить на иныхъ страницахъ «Племянницы» слѣды риторики иногда почти школьной, что-то такое, отъ чего вѣетъ «Собраніемъ образцовыхъ сочиненій», какія-то претензіи на сочинительство, на литературныя украшенія. Эти претензіи болѣе или менѣе понятны или извинительны въ разрисовкѣ характеровъ; но чѣмъ объяснить, напримѣръ, слѣдующія пятнадцать строкъ, начинающія шестую главу четвертой части:

«Случалось ли вамъ видѣть спокойное и безбрежное пространство моря, разстилающееся будто прозрачный кристаллъ? Ни одной струи, ни малѣйшаго колебанія, и надъ нимъ столь же широкая, столь же необъятная лазурь неба, не подернутая ни одной тучей, ни малѣйшимъ облакомъ; въ зыбяхъ моря отражается небо и въ торжественномъ спокойствіи созерцаютъ онѣ другъ друга и, сливаясь на горизонтѣ, составляютъ одно цѣлое... Какое спокойствіе и какъ оно обманчиво! Тишина, спокойствіе стихій — только моментъ бездѣйствія передъ бурей и шкваломъ. Туча налетаетъ съ далекаго горизонта, тотчасъ отражается и затемняетъ спокойное дотолѣ (!) зеркало водъ, мигомъ раздѣляетъ небо отъ моря и нарушаетъ спокойствіе: вѣтеръ воетъ, гонитъ тучу, вздымаетъ валы, и въ одно мгновеніе тамъ, гдѣ было зеркало—разверзаются бездны, гдѣ была лазурь—сходятся тучи, и молнія ихъ прорѣзываетъ, и громъ страшными раскатами довершаетъ ужасающую картину. Въ жизни человѣческой случается то же самое», и т. д.

Избитость сравненія не выкупается, какъ видите, новостью выраженія, вѣрностью и свѣжестью красокъ. Подобныхъ пятенъ много въ романѣ г-жи Туръ, и остается сожалѣть, что опытная и дружеская рука не прошлась по его страницамъ прежде, чѣмъ онъ явился въ печати.

А со всѣмъ тѣмъ, мы отъ всей души привѣтствуемъ его появленіе и надѣемся, что г-жа Туръ, ободренная успѣхомъ, который несомнѣнно ждетъ ея «Племянницу», не остановится на поприщѣ, такъ прекрасно ею начатомъ. Мы надѣемся также, что она не попеняетъ на насъ за нѣкоторыя наши указанія того, что намъ показалось слабымъ въ ея романѣ. Хорошее въ немъ не нашло въ насъ равнодушныхъ цѣнителей, а право всякаго истиннаго таланта — право на нелицемѣрный и добросовѣстный судъ,—это право, кажется, нами вполнѣ уважено.

«Современникъ», 1852, № 1.

IX. Нѣсколько словъ о стихотвореніяхъ Ѳ. И. Тютчева.

Возвращеніе къ поэзіи стало замѣтно, если не въ литературѣ, то въ журналахъ». Эти слова довольно часто слышались въ послѣднее время. Выраженное ими мнѣніе справедливо, и мы готовы согласиться съ нимъ, только съ слѣдующей оговоркой: мы не думаемъ, чтобы поэзія отсутствовала въ нашей текущей литературѣ, несмотря на всѣ упреки въ прозаичности и пошлости, которымъ она часто подвергается; но мы понимаемъ желаніе читателей насладиться гармоніей

стиха, обаяніемъ мѣрной лирической рѣчи: мы понимаемъ это желаніе, сочувствуемъ ему и раздѣляемъ его вполнѣ. Вотъ почему мы не могли душевно не порадоваться собранію воедино разбросанныхъ поселѣ стихотвореній одного изъ самыхъ замѣчательныхъ нашихъ поэтовъ, какъ бы завѣщаннаго намъ привѣтомъ и одобреніемъ Пушкина—Ѳ. И. Тютчева.

Мы сказали сейчасъ, что г. Тютчевъ—одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ русскихъ поэтовъ; мы скажемъ болѣе: въ нашихъ глазахъ, какъ оно не обидно для самолюбія современниковъ, г. Тютчевъ, принадлежащій къ поколѣнію предыдущему, стоитъ рѣшительно выше всѣхъ своихъ собратовъ по Аполлону. Легко указать на тѣ отдѣльныя качества, которыми превосходятъ его болѣе даровитые изъ теперешнихъ нашихъ поэтовъ: на плѣнительную, хотя нѣсколько однообразную, грацію Фета, на энергическую, часто сухую и жёсткую страстность Некрасова, на правильную, иногда холодную живопись Майкова; но на одномъ г. Тютчевѣ лежитъ печать той великой эпохи, къ которой онъ принадлежитъ, и которая такъ ярко и сильно выразилась въ Пушкинѣ; въ немъ одномъ замѣчается та соразмѣрность таланта съ самимъ собою, та соотвѣтственность его съ жизнью автора,—словомъ, хотя часть того, что въ полномъ развитіи своемъ составляетъ отличительные признаки великихъ дарованій. Кругъ г. Тютчева не обширенъ—это правда, но въ немъ онъ дома. Талантъ его не состоитъ изъ безсвязно разбросанныхъ частей: онъ замкнутъ и владѣетъ собою; въ немъ нѣтъ другихъ элементовъ, кромѣ чисто-лирическихъ; но эти элементы опредѣлительно ясны и срослись съ самою личностью автора; отъ его стиховъ не вѣетъ сочиненіемъ; они всѣ кажутся написанными на извѣстный случай, какъ того хотѣлъ Гёте, то-есть, они не придуманы, а выросли сами, какъ плодъ на деревѣ, и по этому драгоцѣнному качеству мы узнаемъ, между прочимъ, вліяніе на нихъ Пушкина, видимъ въ нихъ отблескъ его времени.

Намъ скажутъ, что мы напрасно возстаемъ на сочиненіе въ поэзіи, что, безъ сознательнаго участія творческой фантазіи, нельзя вообразить ни одного произведенія искусства, кромѣ, развѣ, какихъ-нибудь первобытныхъ народныхъ пѣсенъ, что у каждаго таланта есть своя внѣшняя сторона,—сторона ремесла, безъ которой ни одно художество не обходится; все это такъ, и мы нисколько этого не отвергаемъ: мы возстаемъ только противъ отдѣленія таланта отъ той почвы, которая одна можетъ дать ему и сокъ, и силу—противъ отдѣленія его отъ жизни той личности, которой онъ данъ въ даръ, отъ общей жизни народа, къ которой, какъ частность, принадлежитъ сама та личность. Подобное отдѣленіе таланта можетъ имѣть свои выгоды: оно можетъ способствовать къ легчайшей его обработкѣ, къ развитію въ немъ виртуозности; но это развитіе всегда совершается на счетъ его жизненности. Изъ отрубленнаго, высохшаго куска дерева можно выточить какую угодно фигурку; но уже не вырасти на томъ сукѣ свѣжему листу, не раскрыться на немъ пахучему цвѣтку, какъ ни согрѣвай его весеннее солнце. Горе писателю, который захочетъ сдѣлать изъ своего живого дарованія мертвую игрушку, котораго соблазняетъ дешевый тріумфъ виртуоза, дешевая власть его надъ своимъ опошленнымъ вдохновеніемъ. Нѣтъ, произведеніе поэта не должно даваться ему легко, и не долженъ онъ ускорять его развитіе въ себѣ посторонними средствами. Давно уже и прекрасно сказано, что онъ долженъ выносить его у своего сердца, какъ мать ребенка

во чревѣ; собственная его кровь должна струиться въ его произведеніи, и этой животворной струи не можетъ замѣнить ничто, внесенное извнѣ: ни умныя разсужденія и такъ-называемыя задушевныя убѣжденія, ни даже великія мысли, если бъ таковыя имѣлись въ запасѣ... И они, и самыя эти великія мысли, если онѣ дѣйствительно велики, выходятъ не изъ одной головы, но изъ сердца, по прекрасному выраженію Вовенарга: «Les grandes pensées viennent du cœur». Человѣкъ, желающій создать что-нибудь цѣлое, долженъ употребить на это цѣлое свое существо.

Начало «сочиненія» или, говоря правильнѣе, сочинительства, реторики, столь сильно развитое въ нашей литературѣ лѣтъ пятнадцать тому назадъ, теперь, конечно, значительно ослабло: никому теперь не придетъ въ голову вдругъ, неизвѣстно почему, соорудить пятиактную фантазію по поводу какого-нибудь итальянскаго живописца десятой руки, оставившаго послѣ себя двѣ-три плохія картины, спрятанныя въ темныхъ углахъ третьестепенныхъ галлерей; никто теперь не воспоетъ, скоропостижно повергнувшись въ преувеличенный восторгъ, сверхъестественныхъ кудрей какой-нибудь дѣвы, которой, можетъ-быть, даже никогда и на свѣтѣ не было: но, все-таки, сочинительство не исчезло въ нашей литературѣ. Слѣды его, и довольно сильные, можно замѣтить въ произведеніяхъ многихъ нашихъ писателей; но въ Тютчевѣ его нѣтъ. Недостатки г. Тютчева другого рода: у него часто попадаются устарѣлыя выраженія, блѣдные и вялые стихи, онъ иногда какъ-будто не владѣетъ языкомъ;—внѣшняя сторона его дарованія, та сторона, о которой мы упомянули выше, не довольно, быть-можетъ, развита; но все это выкупается неподдѣльностью его вдохновенія, тѣмъ поэтическимъ дуновеніемъ, которое вѣетъ отъ его страницъ; подъ напоромъ этого вдохновенія, самый языкъ г. Тютчева часто поражаетъ читателя счастливой смѣлостью и почти Пушкинской красотой своихъ оборотовъ. Любопытно также наблюдать, какимъ образомъ зарождались въ душѣ автора тѣ, въ сущности немногочисленныя, стихотворенія (ихъ не болѣе ста), которыми онъ окончилъ пройденный свой путь. Если мы не ошибаемся, каждое его стихотвореніе начиналось мыслію, но мыслію, которая, какъ огненная точка, вспыхивала подъ вліяніемъ глубокаго чувства или сильнаго впечатлѣнія: вслѣдствіе этого, если можно такъ выразиться, свойства происхожденія своего, мысль г. Тютчева никогда не является читателю нагою и отвлеченною, но всегда сливается съ образомъ, взятымъ изъ міра души или природы, проникается имъ и сама его проникаетъ нераздѣльно и неразрывно. Исключительно, почти мгновенно, лирическое настроеніе поэзіи г. Тютчева заставляетъ его выражаться сжато и кратко, какъ бы окружить себя стыдливою и изящной чертой: поэту нужно высказать одну мысль, одно чувство, слитыя вмѣстѣ, и онъ большею частію высказываетъ ихъ единымъ образомъ, именно потому, что ему нужно высказаться, потому что онъ не думаетъ ни щеголять своимъ ощущеніемъ передъ другими, ни играть имъ передъ самимъ собой. Въ этомъ смыслѣ поэзія его заслуживаетъ названія дѣльной, то-есть искренней, серьезной. Самыя короткія стихотворенія г. Тютчева почти всегда самыя удачныя. Чувство природы въ немъ необыкновенно тонко, живо и вѣрно: но онъ, говоря языкомъ, не совсѣмъ принятымъ въ хорошемъ обществѣ, не *выпячиваетъ* на немъ, не принимается компонировать и раскрашивать свои фигуры. Сравненія человѣческаго міра съ родственнымъ ему міромъ природы никогда не бываютъ натянуты и хо-

ходны у г. Тютчева, не отзываются наставническимъ тономъ, не стараются служить поясненіемъ какой-нибудь обыкновенной мысли, явившейся въ головѣ автора и принятой имъ за собственное открытіе. Кромѣ всего этого, въ г. Тютчевѣ замѣтенъ тонкій вкусъ—плодъ многосторонняго образованія, чтенія и богатой жизненной опытности. Языкъ страсти, языкъ женскаго сердца ему знакомъ и дается ему. Стихотворенія г. Тютчева, почерпнутыя имъ не изъ собственнаго родника, какъ-то: «Наполеонъ» и др., намъ нравятся менѣе. Въ дарованіи г. Тютчева нѣтъ никакихъ драматическихъ или эпическихъ началъ, хотя умъ его, безспорно, проникъ во всѣ глубины современныхъ вопросовъ исторіи.

Со всѣмъ тѣмъ, популярности мы не предсказываемъ г. Тютчеву,—той шумящей, сомнительной популярности, которой, вѣроятно, г. Тютчевъ нисколько не добивается. Талантъ его, по самому свойству своему, не обращенъ къ толпѣ и не отъ нея ждетъ отзыва и одобренія; для того, чтобы вполнѣ оцѣнить г. Тютчева, надо самому читателю быть одареннымъ нѣкоторою тонкостію пониманія, нѣкоторою гибкостію мысли, не оставшейся слишкомъ долго праздной. Фіалка своимъ запахомъ не разитъ на двадцать шаговъ кругомъ: надо приблизиться къ ней, чтобы почувствовать ея благовоніе. Мы, повторяемъ, не предсказываемъ популярности г. Тютчеву; но мы предсказываемъ глубокое и теплое сочувствіе всѣхъ тѣхъ, которымъ дорога русская поэзія, а такія стихотворенія, каковы—

«Пошли Господь свою отраду»...

и другія, пройдутъ изъ конца въ конецъ Россію и переживутъ многое въ современной литературѣ, что теперь кажется долговѣчнымъ и пользуется шумнымъ успѣхомъ. Г-нъ Тютчевъ можетъ сказать себѣ, что онъ, по выраженію одного поэта, создалъ рѣчи, которымъ не суждено умереть; а для истиннаго художника выше подобнаго сознанія награды нѣтъ.

«Современникъ», 1854, № 4.

X. Предисловіе къ роману Ауэрбаха: «Дача на Рейнѣ».

Новый романъ писателя съ талантомъ, подобнымъ таланту Бергольда Ауэрбаха, такъ же мало нуждается въ рекомендаціи передъ русской публикой, какъ и передъ собственной, германской. Слава его упрочена, и имя его стало дорогимъ у насъ, какъ и въ Англіи, въ Америкѣ, во Франціи. Но да будетъ позволено мнѣ, какъ старинному пріятелю автора, воспользоваться появленіемъ его послѣдняго произведенія въ русскомъ переводѣ, чтобы бросить бѣглый взглядъ на его прошедшую дѣятельность.

До сихъ поръ не изгладилось въ Германіи впечатлѣніе, произведенное его знаменитыми разсказами изъ шварцвальдской деревенской жизни («Schwarzwälder Dorfgeschichten»), появившимися въ началѣ 40-хъ годовъ. Обращеніе литературы къ народной жизни замѣчается около того же времени во всѣхъ странахъ Европы (вспомнимъ Жоржъ-Зандъ—la Mare au Diable, la petite Fadette и т. д., а также и то, что совершалось у насъ, въ Россіи), но честь почина остается за Ауэрбахомъ. Попытки воспользоваться нетронутой почвой народной жизни, не разложенной еще «ядомъ рефлексіи», и

того времени волновало и занимало его; не оставилъ онъ тол
поэтической наблюдательности, и его любящее, чуткое сердц
лось при немъ. Ауэрбахъ не сочинялъ идиллій: онъ погрузил
цѣло въ народную «суть». Не утонченно развитый человѣкъ,
вольномъ сознаніи своего превосходства, снисходительно всту
сношеніе съ новымъ и интереснымъ бытомъ, посѣщалъ крест
семейства, изучалъ ихъ нравы, ихъ житейскія привычки и с
сти; — въ кругъ ихъ проникалъ поэтъ, который самъ былъ
этихъ долинъ, родился самъ въ крестьянскомъ семействѣ: съ
ней нѣжностью и «піэтетомъ» возвращался онъ въ міръ, с
рымъ его связывали самыя кровныя узы. Онъ находилъ въ в
чего не давали ему тѣ классы средняго и высшаго городск
словія, въ которыхъ онъ до тѣхъ поръ вращался:—простыя
ческія отношенія, цѣлые, не надломленные характеры, одност
твердыя нравственныя убѣжденія—и, какъ фонъ для всей к
ту несравненную, и величественную, и привѣтную природу
вальда, которую всю какъ бы насквозь провѣваетъ крѣпи
свѣжестью сосновыхъ лѣсовъ и горныхъ вершинъ.

Не даромъ сказалъ Гёте: — «Не былъ бы глазъ солнцеобр
какъ могъ бы онъ увидѣть солнце?» *). И Ауэрбахъ, при вс
своего таланта, не могъ бы такъ органически завладѣть всѣ
нами той, до тѣхъ поръ почти замкнутой жизни, если бъ са
былъ ей чужой. Этотъ фактъ объясняетъ, между прочимъ, и
имущество, которое сохранилъ Ауэрбахъ передъ всѣми свои
слѣдователями и подражателями. Въ его словахъ слышится
ничѣмъ незамѣненный. Точно также—если позволительно сра
малое съ великимъ — и у насъ, въ «Савушкѣ» злополучнаго,
погибшаго П. Т. Кокорева, чувствуется, при всей скудности
жанія и неумѣлости исполненія, своеобразная, теплая струя, к
дается только особенной, бытовою близостью автора къ оп

гатство навсегда, неизгладимыми чертами западалс въ его сердце. Было еще одно обстоятельство, которое придало его зарождавшемуся развитію особое направленіе, его уму—особую окраску. Ауэрбахъ—еврей, и съ дѣтскихъ лѣтъ зналъ нужду. Отецъ его занимался торговлей скотомъ на ряду съ земледѣліемъ, и обремененный многочисленнымъ семействомъ, едва сводилъ концы съ концами. Вмѣстѣ съ поэтическимъ даромъ, Ауэрбахъ унаслѣдовалъ и ту остроту разсудка, ту отчетливую сообразительность, ту выносливую силу терпѣнія—словомъ, тѣ качества, которыя составляютъ отличительные признаки еврейской породы. Эти качества пришлись ему въ пользу — сперва при изученіи Талмуда (съ двѣнадцатилѣтняго возраста его предназначали въ званіе раввина): онъ развилъ ихъ потомъ еще сильнѣе, когда, будучи студентомъ въ Мюнхенѣ и Гейдельбергѣ, промѣнялъ свои прежнія занятія на чисто-спекулятивную философію. Поэтъ, и философъ, и еврей, въ Ауэрбахѣ сказались въ самомъ выборѣ перваго его научнаго труда, и перваго поэтическаго произведенія: предметомъ того и другого было одно и то же лицо, по духу и по происхожденію близкое и какъ бы родственное Ауэрбаху: Спиноза. Полное изданіе сочиненій великаго еврейскаго мыслителя въ нѣмецкомъ переводѣ, и романъ, озаглавленный его именемъ, появились единовременно, въ 1837 году. Послѣдовавшіе затѣмъ романы: «Поэтъ и купецъ», «Милые люди», «Что такое счастье?»—хотя и доставили автору почетную извѣстность въ тогдашней германской литературѣ, но теперь могутъ интересовать насъ только какъ свидѣтельство честнаго и добросовѣстнаго исканія пути, соотвѣтствовавшаго врожденнымъ дарованьямъ. Путь этотъ открылся ему, наконецъ, дома, въ тишинѣ шварцвальдскихъ долинъ. Съ появленія перваго собранія «Деревенскихъ разсказовъ» (въ 1843 году Ауэрбаху минулъ 31 годъ), съ появленія этихъ разсказовъ, создавшихъ литературный *жанръ*, онъ уже зналъ свою цѣль, и шелъ къ ней неуклонно.

Мы сказали выше, что Ауэрбахъ оставилъ за чертою своей родины всю свою пріобрѣтенную образованность: это выраженіе нуждается въ нѣкоторомъ ограниченіи. Вполнѣ отбросить вліяніе культуры нельзя, да и не слѣдуетъ. Притомъ, то свойство его ума, которое направило его къ изученію Спинозы, не покинуло его и въ крестьянской избѣ, имъ посѣщенной и воспѣтой. Нарисовавъ поразительно вѣрными, тонкими, хотя иногда нѣсколько мелкими чертами свои фигуры, онъ иногда не отказываетъ себѣ въ удовольствіи пофилософствовать на ихъ счетъ; со всѣмъ искусствомъ опытнаго мастера обращаетъ онъ вниманіе читателя на тайное ихъ значеніе, на то символическое, которое лежитъ въ основаніи всякой непосредственной жизни, и высказывается иногда въ самыхъ, повидимому, незначительныхъ словахъ и поступкахъ... Разсказъ у него иногда становится аллегоріей. А потому и не удивительно, что онъ не могъ надолго удовлетвориться воспроизведеніемъ тѣхъ простыхъ человѣческихъ отношеній, той вѣчной исторіи любви, ея горестей и радостей, которымъ исключительно посвящены его первые разсказы: онъ сталъ постепенно вносить новѣйшіе диссонансы въ патріархальную гармонію деревни. Онъ имѣлъ тѣмъ болѣе права это сдѣлать, что въ наше время борьба великихъ интересовъ и вопросовъ, волнующихъ общество, проникаетъ въ сокровеннѣйшіе уголки. Обратившись къ народу для излѣченія собственныхъ недуговъ, онъ кончилъ тѣмъ, что открылъ присутствіе тѣхъ же недуговъ, подъ другими формами, въ народѣ. Вниманіе художника стало останавливаться преимущественно

на тѣхъ лицахъ избраннаго имъ міра, которыя сами вовлекаются въ ту борьбу, подпадаютъ подъ неотразимое вліяніе общественныхъ вопросовъ. Ауэрбахъ принялся изображать (въ «Луциферѣ» и другихъ романахъ) то—столкновеніе независимаго, свободнаго духа и сильнаго характера съ притязательнымъ авторитетомъ римско-католической куріи; то—всѣ послѣдствія внезапнаго перенесенія прекрасной женской души изъ простой обстановки роднаго быта въ сложныя условія придворной, столичной, искусственной жизни... Читатели, вѣроятно, не забыли романа, на который мы намекаемъ—«Жена профессора», одного изъ самыхъ поэтическихъ созданій Ауэрбаха. Въ этомъ же произведеніи онъ также въ первый разъ коснулся вопроса, который съ тѣхъ поръ все болѣе и болѣе его привлекаетъ, въ который онъ старается все глубже проникнуть—вопроса о бракѣ, во всей его важности и полнотѣ, со всѣми его почти неразрѣшимыми противорѣчіями—и постояннымъ стремленіемъ къ разрѣшенію и примиренію. И Ауэрбахъ попытался представить это разрѣшеніе, это примиреніе—сперва въ самой скромной, низменной сферѣ (въ «Эдельвейсѣ»), а потомъ на самыхъ вершинахъ общественнаго зданія, въ самыхъ высшихъ слояхъ европейской культуры. Читатель понимаетъ, что рѣчь идетъ о романѣ: «На высотѣ», хорошо извѣстномъ и русской публикѣ. Глубина міросозерцанія, сила психологическаго анализа, изысканное мастерство языка,—всѣ постоянныя свойства Ауэрбаховскаго дарованія, никогда еще блистательнѣе не проявлялись, чѣмъ въ этомъ замѣчательномъ произведеніи; но нельзя не сознаться, что поэтическое творчество иногда удаляется на второй планъ, высказывается въ деталяхъ и слишкомъ явственно выступаетъ работа соображающаго разсудка. Особенно бросается это въ глаза при воспроизведеніи тѣхъ лабиринтообразныхъ путей, по которымъ прекрасная придворная дама и ея царственный другъ, увлеченные, опутанные страстью, стараются выбраться на ту свободную *высоту*, гдѣ вслѣдъ за раскаяніемъ и страданіемъ наступаетъ торжество окончательнаго примиренія. Все это очень умно, тонко, занимательно (дневникъ Ирмы, напримѣръ, наполненъ самыми интересными подробностями), но можно было бы во всемъ этомъ желать болѣе жизненности и той сентиментальности, которая, такъ же, какъ у Диккенса, хотя въ другомъ родѣ, представляетъ Ахиллесову пятку Ауэрбаховскаго дарованія. Съ увѣренностью можемъ мы сказать, что эти недостатки почти не существуютъ въ предстоящемъ романѣ, между тѣмъ какъ всѣ великія достоинства творца шварцвальдскихъ разсказовъ развернулись въ немъ съ полнотою, еще небывалой. Еще никогда Ауэрбахъ не задавалъ себѣ болѣе широкой задачи, не захватывалъ ея такъ глубоко и не исполнялъ ея съ такимъ совершенствомъ.

Мы сейчасъ, не безъ намѣренія, назвали Ауэрбаха творцомъ шварцвальдскихъ разсказовъ. Онъ знаетъ самъ, что въ связи съ родиной—его главная сила, онъ знаетъ, въ какую почву вросли его корни. Не даромъ онъ и въ романѣ «На высотѣ» рисуетъ фигуры, подобныя Вальпургѣ и всей ея семьѣ. Избравъ мѣстомъ постояннаго жительства столицу — пока одной сѣверной Германіи,—онъ не прерывалъ постоянныхъ сношеній съ своей любезной Швабіей. Для нея онъ издастъ своего «Кума» (Gevattersmann), свой «Народный Календарь». Правда — тамъ, гдѣ, можно сказать, родилась его муза, въ этихъ прирейнскихъ долинахъ, господствуетъ еще, и съ каждымъ годомъ возстаетъ, въ своихъ противокультурныхъ стремленіяхъ, та

мощь, противъ которой онъ уже направилъ столько стрѣлъ, и которой готовится нанести новый ударъ въ своемъ послѣднемъ романѣ— мощь суевѣрія и предрасудковъ. Но Бертольдъ Ауэрбахъ въ полномъ расцвѣтѣ жизни и силъ — и онъ не отступитъ отъ борьбы, въ которой видитъ свое призваніе. Пускай же онъ подаритъ своей землѣ и всему читающему свѣту еще много созданій, въ которыхъ высокая образованность, въ соединеніи съ яснымъ умомъ и поэтическимъ даромъ — дружно стремятся къ посильному разрѣшенію жизненныхъ задачъ, завѣщанныхъ намъ всей протекшей исторіей европейскаго человѣчества!

«Вѣстникъ Европы», 1868 г.

XI.—Гамлетъ и Донъ-Кихотъ.

Рѣчь, произнесенная 10 января 1860 года на публичномъ чтеніи въ пользу Общества для вспомоществованія нуждающимся литераторамъ и ученымъ.

Мм. гг.

Первое изданіе трагедіи Шекспира «Гамлетъ» и первая часть Сервантесовскаго «Донъ-Кихота» явились въ одинъ и тотъ же годъ, въ самомъ началѣ XVII столѣтія.

Эта случайность намъ показалась знаменательною; сближеніе двухъ названныхъ нами произведеній навело насъ на цѣлый рядъ мыслей. Мы просимъ позволенія подѣлиться съ вами этими мыслями и заранѣе разсчитываемъ на вашу снисходительность. «Кто хочетъ понять поэта, долженъ вступить въ его область», сказалъ Гёте; — прозаикъ лишенъ всякихъ правъ на подобное требованіе; но онъ можетъ надѣяться, что его читатели—или слушатели — захотятъ сопутствовать ему въ его странствованіяхъ—въ его изысканіяхъ.

Нѣкоторыя изъ нашихъ воззрѣній, быть-можетъ, поразятъ васъ, мм. гг., своею необычностью; но въ томъ и состоитъ особенное преимущество великихъ поэтическихъ произведеній, которымъ геній ихъ творцовъ вдохнулъ неумирающую жизнь, что воззрѣнія на нихъ, какъ и на жизнь вообще — могутъ быть безконечно разнообразны, даже противорѣчащи — и въ то же время одинаково справедливы. Сколько комментаріевъ уже было написано на Гамлета, и сколько ихъ еще придвидится впереди! Къ какимъ различнымъ заключеніямъ приводило изученіе этого поистинѣ неисчерпаемаго типа! — Донъ-Кихотъ, по самому свойству своей задачи, по истинно-великолѣпной ясности разсказа, какъ бы озареннаго солнцемъ юга,—подаетъ меньше повода къ толкованіямъ. Но, къ сожалѣнію, мы, русскіе, не имѣемъ хорошаго перевода Донъ-Кихота; бо́льшая часть изъ насъ сохранила о немъ довольно неопредѣленныя воспоминанія; подъ словомъ «Донъ-Кихотъ» мы часто подразумѣваемъ просто шута,—слово «донкихотство» у насъ равносильно съ словомъ: нелѣпость, — между тѣмъ какъ въ донкихотствѣ намъ слѣдовало бы признать высокое начало самопожертвованія, только схваченное съ комической стороны. Хорошій переводъ Донъ-Кихота былъ бы истинной заслугой передъ публикой, и всеобщая благодарность ждетъ того писателя, который передастъ намъ это единственное твореніе во всей его красотѣ. Но возвратимся къ предмету нашей бесѣды.

Мы сказали, что одновременное появленіе Донъ-Кихота и Гамлета намъ показалось знаменательнымъ. Намъ показалось, что въ этихъ двухъ типахъ воплощены двѣ коренныя, противоположныя особенности человѣческой природы — оба конца той оси, на которой она вертится. Намъ показалось, что всѣ люди принадлежатъ, болѣе или менѣе, къ одному изъ этихъ двухъ типовъ; что почти каждый изъ насъ сбивается либо на Донъ-Кихота, либо на Гамлета. Правда, въ наше время Гамлетовъ стало гораздо болѣе, чѣмъ Донъ-Кихотовъ: но и Донъ-Кихоты не перевелись.

Объяснимся.

Всѣ люди живутъ—сознательно или безсознательно—въ силу своего принципа, своего идеала, т.-е. въ силу того, что́ они почитаютъ правдой, красотою, добромъ. Многіе получаютъ свой идеалъ уже совершенно готовымъ, въ опредѣленныхъ, исторически сложившихся формахъ; они живутъ, соображая жизнь свою съ этимъ идеаломъ, иногда отступая отъ него подъ вліяніемъ страстей или случайностей, но они не разсуждаютъ о немъ, не сомнѣваются въ немъ; другіе, напротивъ, подвергаютъ его анализу собственной мысли. Какъ бы то ни было, мы, кажется, не слишкомъ ошибемся, если скажемъ, что для всѣхъ людей — этотъ идеалъ, эта основа и цѣль ихъ существованія находятся либо внѣ ихъ, либо въ нихъ самихъ: — другими словами, для каждаго изъ насъ либо собственное *я* становится на первомъ мѣстѣ, либо нѣчто другое, признанное имъ за высшее. Намъ могутъ возразить, что дѣйствительность не допускаетъ такихъ рѣзкихъ разграниченій, что въ одномъ и томъ же живомъ существѣ оба воззрѣнія могутъ чередоваться, даже сливаться до нѣкоторой степени, но мы и не думали утверждать невозможность измѣненій и противорѣчій въ человѣческой природѣ; мы хотѣли только указать на два различныя отношенія человѣка къ своему идеалу—и мы теперь постараемся представить, какимъ образомъ, по нашему понятію, эти два различныя отношенія воплотились въ двухъ избранныхъ нами типахъ.

Начнемъ съ Донъ-Кихота.

Что выражаетъ собою Донъ-Кихотъ? Взглянемъ на него не тѣмъ торопливымъ взглядомъ, который останавливается на поверхностяхъ и мелочахъ. Не будемъ видѣть въ Донъ-Кихотѣ одного лишь рыцаря печальнаго образа, фигуру, созданную для осмѣянія старинныхъ рыцарскихъ романовъ: извѣстно, что значеніе этого лица расширилось подъ собственною рукою его безсмертнаго творца, и что Донъ-Кихотъ второй части, любезный собесѣдникъ герцоговъ и герцогинь, мудрый наставникъ оруженосца-губернатора,—уже не тотъ Донъ-Кихотъ, какимъ онъ является намъ въ первой части романа, особенно въ началѣ, не тотъ странный и смѣшной чудакъ, на котораго такъ щедро сыплются удары: а потому попытаемся проникнуть до самой сущности дѣла. Повторяемъ: что́ выражаетъ собою Донъ-Кихотъ? Вѣру прежде всего; вѣру въ нѣчто вѣчное, незыблемое, въ истину, однимъ словомъ, въ истину, находящуюся *внѣ* отдѣльнаго человѣка, не легко ему дающуюся, требующую служенія и жертвъ, — но доступную постоянству служенія и силѣ жертвы. Донъ-Кихотъ проникнутъ весь преданностью къ идеалу, для котораго онъ готовъ подвергаться всевозможнымъ лишеніямъ, жертвовать жизнію, самую жизнь свою онъ цѣнитъ настолько, насколько она можетъ служить средствомъ къ воплощенію идеала, къ водворенію истины, справедливости на землѣ. Намъ скажутъ, что идеалъ этотъ почерпнутъ разстроен-

нымъ его воображеніемъ изъ фантастическаго міра рыцарскихъ романовъ; согласны—и въ этомъ-то состоитъ комическая сторона Донъ-Кихота; но самый идеалъ остается во всей своей нетронутой чистотѣ. Жить для себя, заботиться о себѣ — Донъ-Кихотъ почелъ бы постыднымъ. Онъ весь живетъ (если такъ можно выразиться) внѣ себя, для другихъ, для своихъ братьевъ, для истребленія зла, для противодѣйствія враждебнымъ человѣчеству силамъ — волшебникамъ, великанамъ — т.-е. притѣснителямъ. Въ немъ нѣтъ и слѣда эгоизма, онъ не заботится о себѣ, онъ весь самопожертвованіе—оцѣните это слово! — онъ вѣритъ, вѣритъ крѣпко и безъ оглядки. Оттого онъ безстрашенъ, терпѣливъ, довольствуется самой скудной пищей, самой бѣдной одеждой: ему не до того. Смиренный сердцемъ, онъ духомъ великъ и смѣлъ; умилительная его набожность не стѣсняетъ его свободы; чуждый тщеславія, онъ не сомнѣвается въ себѣ, въ своемъ призваніи, даже въ своихъ физическихъ силахъ; воля его — непреклонная воля. Постоянное стремленіе къ одной и той же цѣли придаетъ нѣкоторое однообразіе его мыслямъ, односторонность его уму; онъ знаетъ мало, да ему и не нужно много знать: онъ знаетъ, въ чемъ его дѣло, зачѣмъ онъ живетъ на землѣ, а это—главное знаніе. Донъ-Кихотъ можетъ показаться то совершеннымъ безумцемъ, потому что самая несомнѣнная вещественность исчезаетъ передъ его глазами, таетъ какъ воскъ отъ огня его энтузіазма (онъ дѣйствительно видитъ живыхъ мавровъ въ деревянныхъ куклахъ, рыцарей въ баранахъ), — то ограниченнымъ, потому что онъ не умѣетъ ни легко сочувствовать, ни легко наслаждаться,—но онъ, какъ долговѣчное дерево, пустилъ глубоко корни въ почву, и не въ состояніи ни измѣнить своему убѣжденію, ни переноситься отъ одного предмета къ другому; крѣпость его нравственнаго состава (замѣтьте, что этотъ сумасшедшій, странствующій рыцарь—самое нравственное существо въ мірѣ)—придаетъ особенную силу и величавость всѣмъ его сужденіямъ и рѣчамъ, всей его фигурѣ, несмотря на комическія и унизительныя положенія, въ которыя онъ безпрестанно впадаетъ... Донъ-Кихотъ энтузіастъ, служитель идеи, и потому обвѣянъ ея сіяньемъ.

Что же представляетъ собою Гамлетъ?

Анализъ прежде всего и эгоизмъ, а потому безвѣрье. Онъ весь живетъ для самого себя, онъ эгоистъ; но вѣрить въ себя даже эгоистъ не можетъ; вѣрить можно только въ то, что внѣ насъ и надъ нами. Но это *я*, въ которое онъ не вѣритъ, дорого Гамлету. Это исходная точка, къ которой онъ возвращается безпрестанно, потому что не находитъ ничего въ цѣломъ мірѣ, къ чему бы могъ прилѣпиться душою; онъ скептикъ — и вѣчно возится и носится съ самимъ собою; онъ постоянно занятъ не своей обязанностью, а своимъ положеніемъ. Сомнѣваясь во всемъ, Гамлетъ, разумѣется, не щадитъ и самого себя; умъ его слишкомъ развитъ, чтобы удовлетвориться тѣмъ, что онъ въ себѣ находитъ; сознаетъ свою слабость, но всякое самосознаніе есть сила: — отсюда проистекаетъ его ироніа, противоположность энтузіазму Донъ-Кихота. Гамлетъ съ наслажденіемъ, преувеличенно бранитъ себя, постоянно наблюдая за собою, вѣчно глядя внутрь себя, онъ знаетъ до тонкости всѣ свои недостатки, презираетъ самого себя — и въ то же время, можно сказать, живетъ, питается этимъ презрѣніемъ. Онъ не вѣритъ въ себя — и тщеславенъ; онъ не знаетъ, чего хочетъ и зачѣмъ живетъ—и привязанъ къ жизни... «О, Боже, Боже! (восклицаетъ онъ во 2-й сценѣ перваго акта), если бъ Ты, судья земли и неба, не запретилъ грѣха самоубійства!

Какъ пошла, пуста, плоска и ничтожна кажется мнѣ жизнь!» Но онъ не пожертвуетъ этой плоской и пустой жизнію: онъ мечтаетъ о самоубійствѣ еще до появленія тѣни отца, до того грознаго порученія, которое окончательно разбиваетъ его уже надломанную волю—но онъ себя не убьетъ. Любовь къ жизни высказывается въ самыхъ этихъ мечтахъ о прекращеніи ея! Всѣмъ 18-лѣтнимъ юношамъ знакомы подобныя чувства:

«То кровь кипитъ, то силъ избытокъ!»

Но не будемъ слишкомъ строги къ Гамлету: онъ страдаетъ — и его страданія и больнѣе, и язвительнѣе страданій Донъ-Кихота. Того бьютъ грубые пастухи, освобожденные имъ преступники; Гамлетъ самъ наноситъ себѣ раны, самъ себя терзаетъ; въ его рукахъ тоже мечъ: обоюду-острый мечъ анализа.

Донъ-Кихотъ, мы должны въ этомъ сознаться, положительно смѣшонъ. Его фигура—едва ли не самая комическая фигура, когда-либо нарисованная поэтомъ. Его имя стало смѣшнымъ прозвищемъ даже въ устахъ русскихъ мужиковъ. Мы въ этомъ могли убѣдиться собственными ушами. При одномъ воспоминаніи о немъ возникаетъ въ воображеніи тощая, угловатая, горбоносая фигура, облеченная въ карикатурныя латы, вознесенная на чахлый остовъ жалкаго коня, того бѣднаго, вѣчно голодающаго и битаго Россинанта, которому нельзя отказать въ какомъ-то полузабавномъ, полутронутомъ участіи. Донъ-Кихотъ смѣшонъ... но въ смѣхѣ есть примиряющая и искупляющая сила — и если не даромъ сказано: «чему посмѣешься, тому послужишь», то можно прибавить: что надъ кѣмъ посмѣялся, тому уже простилъ, того даже полюбить готовъ. Напротивъ, наружность Гамлета привлекательна. Его меланхолія, блѣдный, хотя и не худой видъ (мать его замѣчаетъ о немъ, что онъ толстъ, «our son is fat»), черная, бархатная одежда, перо на шляпѣ, изящныя манеры, несомнѣнная поэзія его рѣчей, постоянное чувство полнаго превосходства надъ другими, рядомъ съ язвительной потѣхой самоуниженія, все въ немъ нравится, все плѣняетъ; всякому лестно прослыть Гамлетомъ, никто бы не хотѣлъ заслужить прозваніе Донъ-Кихота. «Гамлетъ Баратынскій», писалъ къ своему другу Пушкинъ; надъ Гамлетомъ никто и не думаетъ смѣяться, и именно въ этомъ его осужденіе: любить его почти невозможно; одни люди подобные Горацію привязываются къ Гамлету. Мы о нихъ поговоримъ впослѣдствіи. Сочувствуетъ ему всякій, и оно понятно: почти каждый находитъ въ немъ собственныя черты; но любить его, повторяемъ, нельзя, потому что онъ никого самъ не любитъ.

Будемъ продолжать наше сравненіе. Гамлетъ — сынъ короля, убитаго роднымъ братомъ, похитителемъ престола; отецъ его выходитъ изъ могилы, изъ «челюстей ада», чтобы поручить ему отмстить за себя, а онъ колеблется, хитритъ съ самимъ собою, тѣшится тѣмъ, что ругаетъ себя, и наконецъ убиваетъ своего вотчима случайно. Глубокая психологическая черта, за которую многіе даже умные, но близорукіе люди дерзали осуждать Шекспира! А Донъ-Кихотъ, бѣдный, почти нищій человѣкъ, безъ всякихъ средствъ и связей, старый, одинокій, беретъ на себя исправлять зло и защищать притѣсненныхъ (совершенно ему чужихъ) на всемъ земномъ шарѣ. Что нужды, что первая же его попытка освобожденія невинности отъ притѣснителя рушится двойною бѣдою на голову самой невинности... (Мы разумѣемъ ту сцену, когда Донъ-Кихотъ избавляетъ мальчика

отъ побоевъ его хозяина, который тотчасъ же послѣ удаленія избавителя вдесятеро сильнѣе наказываетъ бѣдняка; что нужды, что, думая имѣть дѣло съ вредными великанами, Донъ-Кихотъ нападаетъ на полезныя вѣтряныя мельницы... Комическая оболочка этихъ образовъ не должна отводить наши глаза отъ сокрытаго въ немъ смысла. Кто, жертвуя собою, вздумалъ бы сперва разсчитывать и взвѣшивать всѣ послѣдствія, всю вѣроятность пользы своего поступка, тотъ едва ли способенъ на самопожертвованіе. Съ Гамлетомъ ничего подобнаго случиться не можетъ: ему ли, съ его проницательнымъ, тонкимъ, скептическимъ умомъ, ему ли впасть въ такую грубую ошибку! Нѣтъ, онъ не будетъ сражаться съ вѣтряными мельницами, онъ не вѣритъ въ великановъ... но онъ бы и не напалъ на нихъ, если бы они точно существовали. Гамлетъ не сталъ бы утверждать, какъ Донъ-Кихотъ, показывая всѣмъ и каждому цырюльничій тазъ, что это есть настоящій волшебный шлемъ Мамбрина; но мы полагаемъ, что если бы сама истина предстала воплощенною передъ его глазами, Гамлетъ не рѣшился бы поручиться, что это точно она, истина... Вѣдь кто знаетъ, можетъ-быть, и истины тоже нѣтъ, такъ же, какъ великановъ? Мы смѣемся надъ Донъ-Кихотомъ... но, мм. гг., кто изъ насъ можетъ, добросовѣстно вопросивъ себя, свои прошедшія, свои настоящія убѣжденія, кто рѣшится утверждать, что онъ всегда и во всякомъ случаѣ различитъ и различалъ цырюльничій оловянный тазъ отъ волшебнаго золотого шлема?.. Потому намъ кажется, что главное дѣло въ искренности и силѣ самого убѣжденья... а результатъ — въ рукѣ судебъ. Онѣ однѣ могутъ показать намъ, съ призраками ли мы боролись, съ дѣйствительными ли врагами, и какимъ оружіемъ покрыли мы наши головы... Наше дѣло вооружиться и бороться...

Замѣчательны отношенія толпы, такъ-называемой людской массы, къ Гамлету и Донъ-Кихоту.

Полоній—представитель массы передъ Гамлетомъ; Санчо-Панса — передъ Донъ-Кихотомъ.

Полоній—дѣльный, практическій, здравомыслящій, хотя въ то же время ограниченный и болтливый старикъ. Онъ отличный администраторъ, примѣрный отецъ; вспомните его наставленія сыну своему Лаэрту при отъѣздѣ за границу,—наставленія, которыя могутъ поспорить въ мудрости съ извѣстными распоряженіями губернатора Санчо-Пансы на островѣ Баратарія. Для Полонія Гамлетъ не столько сумасшедшій, сколько ребенокъ, и если бы онъ не былъ королевскимъ сыномъ, онъ бы презиралъ его за его коренную безполезность, за невозможность положительнаго и дѣльнаго примѣненія его мыслей. Извѣстная сцена облака, между Гамлетомъ и Полоніемъ, сцена,—въ которой Гамлетъ воображаетъ, что дурачитъ старика, имѣетъ для насъ явный смыслъ, подтверждающій наше воззрѣніе... Мы позволимъ себѣ напомнить ее вамъ:

Полоній.

«Королева желаетъ говорить съ вами, принцъ, и притомъ сейчасъ.

Гамлетъ.

«Видите это облако? Точно ласточка.

Полоній.

«Совершенная ласточка.

Гамлетъ.

«Мнѣ кажется, оно похоже на верблюда.

Полоній.

«Спина точь въ точь какъ у верблюда.

Гамлетъ.

«Или какъ у кита.

Полоній.

«Совершенный китъ.

Гамлетъ.

«Хорошо.—Такъ я иду къ матушкѣ».

Не явно ли, что въ этой сценѣ Полоній—въ одно и то же время—придворный, который угождаетъ принцу, и взрослый, который не хочетъ перечить больному, блажному мальчику? Полонію ни на волосъ не вѣритъ Гамлету, и онъ правъ; со всей свойственной ему ограниченной самонадѣянностью онъ приписываетъ блажь Гамлета его любви къ Офеліи, и въ этомъ онъ, конечно, ошибается; но онъ не ошибается въ оцѣнкѣ его характера. Гамлеты, точно, безполезны массѣ: они ей ничего не даютъ, они ее никуда вести не могутъ, потому что сами никуда не идутъ. Да и какъ вести, когда не знаешь, есть ли земля подъ ногами? Притомъ же, Гамлеты презираютъ толпу. Кто самого себя не уважаетъ — кого, что можетъ тотъ уважать? Да и стóитъ ли заниматься массой? Она такъ груба и грязна! а Гамлетъ—аристократъ, не по одному рожденію.

Совсѣмъ другое зрѣлище представляетъ намъ Санчо-Панса. Онъ, напротивъ, смѣется надъ Донъ-Кихотомъ, знаетъ очень хорошо, что онъ сумасшедшій, но три раза покидаетъ свою родину, домъ, жену, дочь, чтобы идти за этимъ сумасшедшимъ человѣкомъ, слѣдуетъ за нимъ повсюду, подвергается всякаго рода непріятностямъ, преданъ ему по самую смерть, вѣритъ ему, гордится имъ и рыдаетъ колѣнопреклоненный у бѣднаго ложа, гдѣ кончается его бывшій господинъ. Надеждою на прибыль, на лучшія выгоды — эту преданность объяснить нельзя; у Санчо-Пансы слишкомъ много здраваго смысла; онъ очень хорошо знаетъ, что кромѣ побоевъ, оруженосцу странствующаго рыцаря почти нечего ожидать. Причину его преданности слѣдуетъ искать глубже, она, если можно такъ выразиться, коренится въ едва ли не лучшемъ свойствѣ массы, въ способности счастливаго и честнаго ослѣпленія (увы! ей знакомы и другія ослѣпленія), въ способности безкорыстнаго энтузіазма, презрѣнія къ прямымъ личнымъ выгодамъ, которое для бѣднаго человѣка почти равносильно съ презрѣніемъ къ насущному хлѣбу. Великое, всемірно-историческое свойство! Масса людей всегда кончаетъ тѣмъ, что идетъ, беззавѣтно вѣруя, за тѣми личностями, надъ которыми она сама глумилась, которыхъ даже проклинала и преслѣдовала, но которыя, не боясь ни ея преслѣдованій, ни проклятій, не боясь даже ея смѣха, идутъ неуклонно впередъ, вперивъ духовный взоръ въ ими только видимую цѣль, ищутъ, падаютъ, поднимаются, и наконецъ находятъ... и по праву; только тотъ и находитъ, кого ведетъ сердце. Les grandes pensées viennent du cœur, сказалъ Вовенаргъ. А Гамлеты ничего не находятъ, ничего не изобрѣтаютъ и не оставляютъ слѣда за собою, кромѣ слѣда собственной личности, не оставляютъ за собою дѣла. Они не любятъ и не вѣрятъ; что же они могутъ найти? Даже въ химіи (не говоря уже объ органической природѣ), для того, чтобы явилось третье вещество, надобно соединеніе двухъ; а Гамлеты все только собою заняты; они одиноки, а потому безплодны.

Но возразятъ намъ: «Офелія?—развѣ Гамлетъ ее не любитъ?»

Поговоримъ о ней—и, кстати, о Дульцинеѣ.

Въ отношеніяхъ нашихъ двухъ типовъ къ женщинѣ есть также много знаменательнаго.

Донъ-Кихотъ любитъ Дульцинею, не существующую женщину, и готовъ умереть за нее (вспомните его слова, когда побѣжденный, поверженный въ прахъ, онъ говоритъ своему побѣдителю, уже занесшему на него копье: «колите меня, рыцарь, но да не послужитъ моя слабость къ уменьшенію славы Дульцинеи; я все-таки утверждаю, что она совершеннѣйшая красавица въ мірѣ»). Онъ любитъ идеально, чисто, до того идеально, что даже не подозрѣваетъ, что предметъ его страсти вовсе не существуетъ; до того чисто, что когда Дульцинея является передъ нимъ въ образѣ грубой и грязной мужички, онъ не вѣритъ свидѣтельству глазъ своихъ, и считаетъ ее превращенной злымъ волшебникомъ. Мы сами на своемъ вѣку, въ нашихъ странствованіяхъ,—видали людей, умирающихъ за столь же мало существующую Дульцинею или за грубое и часто грязное нѣчто, въ которомъ они видѣли осуществленіе своего идеала, и превращеніе котораго они также приписывали вліянію злыхъ,—мы чуть-было не сказали: волшебниковъ — злыхъ случайностей и личностей. Мы видѣли ихъ, и когда переведутся такіе люди, пускай закроется навсегда книга исторіи: въ ней нечего будетъ читать. Чувственности и слѣда нѣтъ у Донъ-Кихота; всѣ мечты его стыдливы и безгрѣшны, и едва ли въ тайной глубинѣ своего сердца надѣется онъ на конечное соединеніе съ Дульцинеей, едва ли не страшится онъ даже этого соединенія!

А Гамлетъ, неужели онъ любитъ? Неужели самъ ироническій его творецъ, глубочайшій знатокъ человѣческаго сердца, рѣшился дать эгоисту, скептику, проникнутому всѣмъ разлагающимъ ядомъ анализа—любящее, преданное сердце? Шекспиръ не впалъ въ это противорѣчіе, и внимательному читателю не стоитъ большого труда, чтобы убѣдиться въ томъ, что Гамлетъ — человѣкъ чувственный и даже втайнѣ сластолюбивый — (придворный Розенкранцъ не даромъ улыбается молча, когда Гамлетъ говоритъ при немъ, что ему женщины надоѣли), что Гамлетъ, говоримъ мы, не любитъ, но только притворяется, и то небрежно,—что любитъ. Мы имѣемъ на то свидѣтельство самого Шекспира.

Въ первой сценѣ третьяго дѣйствія Гамлетъ говоритъ Офеліи:

«Я любилъ тебя когда-то!

Офелія.

«Принцъ, вы заставили меня этому вѣрить.

Гамлетъ.

«А не должно было вѣрить!.. *Я не любилъ тебя*».

И сказавши это послѣднее слово, Гамлетъ гораздо ближе къ правдѣ, чѣмъ самъ полагаетъ. Чувства его къ Офеліи, существу невинному и ясному до святости, либо циничны (вспомните его слова, его двусмысленные намеки, когда онъ, въ сценѣ представленія на театрѣ, проситъ у ней позволенія полежать... у ея колѣнъ), либо фразисты (обратите ваше вниманіе на сцену между нимъ и Лаэртомъ, когда онъ впрыгиваетъ въ могилу Офеліи и говоритъ языкомъ, достойнымъ Брамарбаса или капитана Пистоля: «сорокъ тысячъ братьевъ не могутъ со мной поспорить! пусть на насъ навалятъ милліонъ холмовъ!» и т. д.) Всѣ его отношенія къ Офеліи опять-таки для него не что иное, какъ занятіе самимъ собою, и въ восклицаніи его: «о, нимфа!

помяни меня въ своихъ святыхъ молитвахъ», мы видимъ одно лишь глубокое сознаніе собственнаго, болѣзненнаго безсилія — безсилія полюбить, — почти суевѣрно преклоняющагося передъ «святыней чистоты».

Но довольно говорить о темныхъ сторонахъ Гамлетовскаго типа, о тѣхъ сторонахъ, которыя именно потому насъ болѣе раздражаютъ, что онѣ намъ ближе и понятнѣе. Постараемся оцѣнить то, что въ немъ законно и потому вѣчно. Въ немъ воплощено начало отрицанія, то самое начало, которое другой великій поэтъ, отдѣливъ его отъ всего чисто-человѣческаго, представилъ намъ въ образѣ Мефистофеля. Гамлетъ — тотъ же Мефистофель, но Мефистофель, заключенный въ живой кругъ человѣческой природы; оттого его отрицаніе не есть зло—оно само направлено противу зла. Отрицаніе Гамлета сомнѣвается въ добрѣ, но во злѣ оно не сомнѣвается и вступаетъ съ нимъ въ ожесточенный бой. Въ добрѣ оно сомнѣвается, то-есть, оно заподозрѣваетъ его истину и искренность и нападаетъ на него, не какъ на добро, а какъ на поддѣльное добро, подъ личиной котораго опять-таки скрываются зло и ложь, его исконные враги; Гамлетъ не хохочетъ демонски-безучастнымъ хохотомъ Мефистофеля; въ самой его горькой улыбкѣ есть уныlость, которая говоритъ о его страданіяхъ и потому примиряетъ съ нимъ. Скептицизмъ Гамлета не есть также индифферентизмъ, и въ этомъ состоитъ его значеніе и достоинство; добро и зло, истина и ложь, красота и безобразіе не сливаются передъ нимъ въ одно случайное, нѣмое, тупое нѣчто. Скептицизмъ Гамлета, не вѣря въ современное, такъ-сказать, осуществленіе истины, непримиримо враждуетъ съ ложью и тѣмъ самымъ становится однимъ изъ главныхъ поборниковъ той истины, въ которую не можетъ вполнѣ повѣрить. Но въ отрицаніи, какъ въ огнѣ, есть истребляющая сила — и какъ удержать эту силу въ границахъ, какъ указать ей, гдѣ ей именно остановиться, когда то, что она должна истребить, и то, что ей слѣдуетъ пощадить, часто слито и связано неразрывно? Вотъ гдѣ является намъ столь часто замѣченная трагическая сторона человѣческой жизни: для дѣла нужна мысль; но мысль и воля разъединились и съ каждымъ днемъ разъединяются болѣе...

And thus the native hue of resolution
Is sicklied o'er by the pale cast of thought...
(Прирожденный румянецъ воли
Блекнетъ и болѣетъ, покрываясь блѣдностью мысли...)

говоритъ намъ Шекспиръ устами Гамлета... И вотъ, съ одной стороны стоятъ Гамлеты, мыслящіе, сознательные, часто всеобъемлющіе, но также часто безполезные и осужденные на неподвижность; а съ другой—полу-безумные Донъ-Кихоты, которые потому только и приносятъ пользу и подвигаютъ людей, что видятъ и знаютъ одну лишь точку, часто даже не существующую въ томъ образѣ, какою они ее видятъ. Невольно рождаются вопросы: неужели же надо быть сумасшедшимъ, чтобы вѣрить въ истину? и неужели же умъ, овладѣвшій собою, по тому самому лишается всей своей силы?

Далеко бы повело насъ даже поверхностное обсужденіе этихъ вопросовъ.

Ограничимся замѣчаніемъ, что въ этомъ разъединеніи, въ этомъ дуализмѣ, о которомъ мы упомянули, мы должны признать коренной законъ всей человѣческой жизни; вся эта жизнь есть не что иное,

какъ вѣчное примиреніе и вѣчная борьба двухъ непрестанно разъединенныхъ и непрестанно сливающихся началъ. Если бы мы не боялись испугать ваши уши философическими терминами, мы бы рѣшились сказать, что Гамлеты суть выраженіе коренной центростремительной силы природы, по которой все живущее считаетъ себя центромъ творенія и на все остальное взираетъ какъ на существующее только для него (такъ комаръ, сѣвшій на лобъ Александра Македонскаго, съ спокойной увѣренностью въ своемъ правѣ, питался его кровью, какъ слѣдующей ему пищей; такъ точно и Гамлетъ, хотя и презираетъ себя, чего комаръ не дѣлаетъ, ибо онъ до этого не возвысился, такъ точно и Гамлетъ, говоримъ мы, постоянно все относитъ къ самому себѣ). Безъ этой центростремительной силы (силы эгоизма) природа существовать бы не могла, точно такъ же какъ и безъ другой, центробѣжной силы, по закону которой все существующее существуетъ только для другого; (эту силу, этотъ принципъ преданности и жертвы, освѣщенный, какъ мы уже сказали, комическимъ свѣтомъ — чтобы гусей не раздразнить — этотъ принципъ представляютъ собою Донъ-Кихоты). Эти двѣ силы косности и движенія, консерватизма и прогресса, суть основныя силы всего существующаго. Онѣ объясняютъ намъ растеніе цвѣтка, и онѣ же даютъ намъ ключъ къ уразумѣнію развитія могущественнѣйшихъ народовъ.

Спѣшимъ перейти отъ этихъ, быть-можетъ, неумѣстныхъ умозрѣній, къ другимъ, болѣе привычнымъ намъ соображеніямъ.

Намъ извѣстно, что изъ всѣхъ произведеній Шекспира, едва ли не самое популярное—Гамлетъ. Эта трагедія принадлежитъ къ числу пьесъ, несомнѣнно и всякій разъ наполняющихъ театръ. При современномъ состояніи нашей публики, при ея стремленіи къ самосознанію и размышленію, при ея сомнѣніи въ самой себѣ и ея молодости— это явленіе понятно; но, не говоря о красотахъ, которыми преисполнено это, быть-можетъ, замѣчательнѣйшее произведеніе новѣйшаго духа, нельзя не удивляться генію, который, будучи самъ во многомъ сродни своему Гамлету, отдѣлилъ его отъ себя свободнымъ движеніемъ творческой силы—и поставилъ его образъ на вѣчное изученіе потомству. Духъ, создавшій этотъ образъ, есть духъ сѣвернаго человѣка, духъ рефлексіи и анализа, духъ тяжелый, мрачный, лишенный гармоніи и свѣтлыхъ красотъ, не закругленный въ изящныя, часто мелкія формы, но глубокій, сильный, разнообразный, самостоятельный, руководящій. Изъ самыхъ нѣдръ своихъ извлекъ онъ типъ Гамлета и тѣмъ самымъ показалъ, что и въ области поэзіи, какъ и въ другихъ областяхъ народной жизни, онъ стоитъ выше своего чада, потому что вполнѣ понимаетъ его.

Духъ южнаго человѣка опочилъ на созданіи Донъ-Кихота, духъ свѣтлый, веселый, наивный, воспріимчивый, не идущій въ глубину жизни, не обнимающій, но отражающій всѣ ея явленія. Мы не можемъ здѣсь противиться желанію, — не провести параллель между Шекспиромъ и Сервантесомъ, а только указать на нѣкоторыя точки различія и сходства между ними. Шекспиръ и Сервантесъ, подумаютъ иные, — какое же тутъ можетъ быть сравненіе? Шекспиръ— этотъ гигантъ, полубогъ... Да: но не пигмеемъ является Сервантесъ передъ гигантомъ, сотворившимъ «Короля Лира», но человѣкомъ, и человѣкомъ вполнѣ; а человѣкъ имѣетъ право стоять на своихъ ногахъ даже передъ полубогомъ. Безспорно. Шекспиръ подавляетъ Сервантеса—и не его одного—богатствомъ и мощью своей фантазіи, блескомъ высочайшей поэзіи, глубиною и обширностью громаднаго ума;

но вы не найдете въ романѣ Сервантеса ни натянутыхъ остротъ, ни неестественныхъ сравненій, ни притворныхъ кончетти; вы также не встрѣтите на его страницахъ этихъ отрубленныхъ головъ, вырванныхъ глазъ, всѣхъ этихъ потоковъ крови, этой желѣзной и тупой жестокости, грознаго наслѣдія среднихъ вѣковъ, варварства, медленнѣе исчезающаго въ сѣверныхъ, упорныхъ натурахъ, а между тѣмъ Сервантесъ, какъ и Шекспиръ, былъ современникъ Варѳоломеевской ночи: и еще долго послѣ нихъ сожигались еретики и кровь лилась: да и перестанетъ ли она когда-нибудь литься? Средніе вѣка сказались въ «Донъ-Кихотѣ» отблескомъ провансальской поэзіи, сказочной граціей тѣхъ самыхъ романовъ, надъ которыми Сервантесъ такъ добродушно посмѣялся, и которымъ самъ же заплатилъ послѣднюю дань въ «Персилесѣ и Сигизмундѣ» *). Шекспиръ беретъ свои образы отвсюду — съ неба, съ земли — нѣтъ ему запрету; ничто не можетъ избѣгнуть его всепроникающаго взора; онъ исторгаетъ ихъ съ неотразимой силой, съ силой орла, падающаго на свою добычу. Сервантесъ ласково выводитъ передъ читателемъ свои немногочисленные образы, какъ отецъ своихъ дѣтей; онъ беретъ только то, что близко ему, но это близкое — такъ ему знакомо! Все человѣческое кажется подвластнымъ могучему генію англійскаго поэта; Сервантесъ черпаетъ свое богатство изъ одной своей души, ясной, кроткой, богатой жизненнымъ опытомъ, но не ожесточенной имъ; не даромъ въ теченіе семилѣтняго тяжкаго плѣна Сервантесъ учился, какъ онъ самъ говорилъ, наукѣ терпѣнья; кругъ, ему подвластный, тѣснѣе Шекспировскаго; но въ немъ, какъ и въ каждомъ отдѣльномъ живомъ существѣ, отражается все человѣческое. Сервантесъ не озаритъ васъ молніеноснымъ словомъ; онъ не потрясетъ васъ титанической силой побѣдоноснаго вдохновенія; его поэзія — не Шекспировское, иногда мутное море, это — глубокая рѣка, спокойно текущая между разнообразными берегами; и понемного увлеченный, охваченный со всѣхъ сторонъ ея прозрачными волнами, читатель радостно отдается истинно-эпической тишинѣ и плавности ея теченія. Воображеніе охотно вызываетъ передъ собою образы своихъ современниковъ-поэтовъ, которые и умерли въ одинъ и тотъ же день, 26-го апрѣля 1616 года. Сервантесъ, вѣроятно, ничего не зналъ о Шекспирѣ; но великій трагикъ, въ тишинѣ своего Стратфордскаго дома, куда онъ удалился за три года до смерти, могъ прочесть знаменитый романъ, который былъ уже тогда переведенъ на англійскій языкъ... Картина, достойная кисти живописца-мыслителя: Шекспиръ, читающій Донъ-Кихота! Счастливы страны, среди которыхъ возникаютъ такіе люди, учители современниковъ и потомковъ! Неувядаемый лавръ, которымъ увѣнчивается великій человѣкъ, ложится также на чело его народа.

Кончая нашъ далеко не полный этюдъ, мы просимъ позволенія сообщить вамъ еще нѣсколько отдѣльныхъ замѣчаній.

Одинъ англійскій лордъ (хорошій судья въ этомъ дѣлѣ) называлъ при насъ Донъ-Кихота образцомъ настоящаго джентльмена. Дѣйствительно, если простота и спокойствіе обращенія служатъ отличительнымъ признакомъ такъ-называемаго порядочнаго человѣка, Донъ-Кихотъ имѣетъ полное право на это званіе. Онъ истинный гидальго, гидальго даже тогда, когда насмѣшливыя служанки герцога намыливаютъ ему все лицо. Простота его манеръ происходитъ отъ отсутствія того, что мы бы рѣшились назвать его самолюбіемъ, а не *самомнѣ-*

*) Извѣстно, что рыцарскій романъ „Персилесъ и Сигизмунда“ явился послѣ первой части „Донъ-Кихота“.

niemъ; Донъ-Кихотъ не занятъ собою и, уважая себя и другихъ,— не думаетъ рисоваться; а Гамлетъ, при всей своей изящной обстановкѣ, намъ кажется, извините за французское выраженіе: ayant des airs de parvenu; онъ тревоженъ, иногда даже грубъ, позируетъ и глумится. За то ему дана сила своеобразнаго и мѣткаго выраженія, сила, свойственная всякой размышляющей и разрабатывающей себя личности—и потому вовсе недоступная Донъ-Кихоту. Глубина и тонкость анализа въ Гамлетѣ, его многосторонняя образованность (не должно забывать, что онъ учился въ виттенбергскомъ университетѣ) развили въ немъ вкусъ почти непогрѣшительный. Онъ превосходный критикъ; совѣты его актерамъ поразительно вѣрны и умны; чувство изящнаго почти такъ же сильно въ немъ, какъ чувство долга въ Донъ-Кихотѣ.

Донъ-Кихотъ глубоко уважаетъ всѣ существующія установленія, религію, монарховъ и герцоговъ, и въ то же время свободенъ и признаетъ свободу другихъ. Гамлетъ бранитъ королей, придворныхъ—и, въ сущности, притѣснителенъ и нетерпимъ.

Донъ-Кихотъ едва знаетъ грамотѣ; Гамлетъ, вѣроятно, велъ дневникъ. Донъ-Кихотъ, при всемъ своемъ невѣжествѣ, имѣетъ опредѣленный образъ мыслей о государственныхъ дѣлахъ, объ администраціи; Гамлету некогда, да и незачѣмъ этимъ заниматься.

Много возставали противъ безконечныхъ побоевъ, которыми Сервантесъ обременяетъ Донъ-Кихота. Мы замѣтили выше, что во 2-й части романа бѣднаго рыцаря уже почти не бьютъ; но мы прибавимъ, что безъ этихъ побоевъ онъ бы меньше нравился дѣтямъ, которые съ такой жадностью читаютъ его похожденія,—да и намъ, взрослымъ, онъ бы показался не въ своемъ истинномъ свѣтѣ, но какъ-то холодно и надменно, что противорѣчило бы его характеру. Мы сейчасъ сказали, что во второй части уже не бьютъ его; но въ самомъ ея концѣ, послѣ рѣшительнаго пораженія Донъ-Кихота рыцаремъ *свѣтлаго мѣсяца*, переодѣтымъ баккалавромъ, послѣ его отреченія отъ рыцарства, незадолго до его смерти — стадо свиней топчетъ его ногами. Намъ однажды довелось услышать укоры Сервантесу—зачѣмъ онъ это написалъ, какъ бы повторяя старыя, уже брошенныя шутки; но и тутъ Сервантесомъ руководилъ инстинктъ генія—и въ самомъ этомъ безобразномъ приключеніи лежитъ глубокій смыслъ. Попираніе свиными ногами встрѣчается всегда въ жизни Донъ-Кихотовъ—именно передъ ея концомъ; эта послѣдняя дань, которую они должны заплатить грубой случайности, равнодушному и дерзкому непониманію... Это поощечина фарисея... Потомъ они могутъ умереть. Они прошли черезъ весь огонь горнила, — завоевали себѣ безсмертіе—и оно открывается передъ ними.

Гамлетъ при случаѣ коваренъ, и даже жестокъ. Вспомните устроенную имъ погибель двухъ посланныхъ въ Англію отъ короля придворныхъ, вспомните его рѣчь объ убитомъ имъ Полоніи. Впрочемъ, мы въ этомъ видимъ, какъ мы уже сказали, отраженіе еще недавно минувшихъ среднихъ вѣковъ. Съ другой стороны, мы въ честномъ, правдивомъ Донъ-Кихотѣ обязаны подмѣтить склонность къ полусознательному, полуневинному обману, къ самообольщенію — склонность, почти всегда присущую фантазіи энтузіаста. Разсказъ его о томъ, что онъ видѣлъ въ пещерѣ Монтезиноса, явно имъ выдуманъ и не обманулъ хитраго простака Санчо-Пансу.

Гамлетъ — отъ малѣйшей неудачи падаетъ духомъ и жалуется; а Донъ-Кихотъ, исколоченный галерными преступниками до невозмож-

ности пошевельнуться, нимало не сомнѣвается въ успѣхѣ своего предпріятія. Такъ, говорятъ, Фурье ежедневно, въ теченіе многихъ лѣтъ, ходилъ на свиданіе съ англичаниномъ, котораго онъ вызывалъ въ газетахъ для снабженія ему милліона франковъ на приведеніе въ исполненіе его плановъ—и который, разумѣется, никогда не явился. Это, безспорно, очень смѣшно; но вотъ что намъ приходитъ въ голову: древніе называли своихъ боговъ завистливыми — и въ случаѣ нужды считали полезнымъ укрощать ихъ добровольными жертвами (вспомните кольцо, брошенное въ море Поликратомъ); почему и намъ не думать, что нѣкоторая доля смѣшного неминуемо должна примѣшиваться къ поступкамъ, къ самому характеру людей, призванныхъ на великое новое дѣло, какъ дань, какъ успокоительная жертва завистливымъ богамъ? А все-таки, безъ этихъ смѣшныхъ чудаковъ-изобрѣтателей, не подвигалось бы впередъ человѣчество—и не надъ чѣмъ было бы размышлять Гамлетамъ.

Да, повторяемъ: Донъ-Кихоты находятъ,—Гамлеты разрабатываютъ. Но какъ же, спросятъ насъ, могутъ Гамлеты что-нибудь разрабатывать, когда они во всемъ сомнѣваются и ничему не вѣрятъ? На это мы возразимъ, что, по мудрому распоряженію природы, полныхъ Гамлетовъ, точно такъ же, какъ и полныхъ Донъ-Кихотовъ, нѣтъ: это только крайнія выраженія двухъ направленій, вѣхи, выставленныя поэтами на двухъ различныхъ путяхъ. Къ нимъ стремится жизнь, никогда ихъ не достигая. Не должно забывать, что какъ принципъ анализа доведенъ въ Гамлетѣ до трагизма, такъ принципъ энтузіазма въ Донъ-Кихотѣ—до комизма, а въ жизни вполнѣ комическое и вполнѣ трагическое встрѣчается рѣдко.

Гамлетъ много выигрываетъ въ нашихъ глазахъ отъ привязанности къ нему Горація. Это лицо прелестно и попадается довольно часто въ наше время, къ чести нашего времени. Въ Гораціи мы признаемъ типъ послѣдователя, ученика въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Съ характеромъ стоическимъ и прямымъ, съ горячимъ сердцемъ, съ нѣсколько ограниченнымъ умомъ, онъ чувствуетъ свой недостатокъ и скроменъ, что рѣдко бываетъ съ ограниченными людьми; онъ жаждетъ поученія, наставленія, и потому благоговѣетъ передъ умнымъ Гамлетомъ и предается ему всей силой своей честной души, не требуя даже взаимности. Онъ подчиняется ему не какъ принцу, а какъ главѣ. Одна изъ важнѣйшихъ заслугъ Гамлетовъ состоитъ въ томъ, что они образуютъ и развиваютъ людей, подобныхъ Горацію, людей, которые, принявъ отъ нихъ сѣмена мысли, оплодотворяютъ ихъ въ своемъ сердцѣ и разносятъ ихъ потомъ по всему міру. Слова, которыми Гамлетъ признаетъ значеніе Горація, дѣлаютъ честь ему самому. Въ нихъ выражаются собственныя его понятія о высокомъ достоинствѣ человѣка, его благородныя стремленія, которыхъ никакой скептицизмъ ослабить не въ силахъ. «Послушай,—говоритъ онъ ему:

Съ той поры, какъ это сердце
Властителемъ своихъ избраній стало
И научилось различать людей,
Оно тебя избрало передъ всѣми.
Страдая, ты, казалось, не страдалъ,
Ты бралъ удары—и дары судьбы,
Благодаря за то и за другое.
И ты благословенъ: разсудокъ съ кровью
Въ тебѣ такъ смѣшаны, что ты не служишь

Для счастья дудкою, не издаешь,
По прихоти его, различныхъ звуковъ.
Дай мужа мнѣ, котораго бы страсть
Не сдѣлала рабомъ—и я укрою
Его въ души моей святѣйшихъ нѣдрахъ,
Какъ я тебя укрылъ *).

Честный скептикъ всегда уважаетъ стоика. Когда распадался древній міръ — и въ каждую эпоху, подобную той эпохѣ — лучшіе люди спасались въ стоицизмъ, какъ въ единственное убѣжище, гдѣ еще могло сохраниться человѣческое достоинство. Скептики, если не имѣли силы умереть — «отправиться въ ту страну, откуда ни одинъ еще путникъ не возвращался»,—дѣлались эпикурейцами. Явленіе понятное, печальное и слишкомъ знакомое намъ.

И Гамлетъ, и Донъ-Кихотъ умираютъ трогательно; но какъ различна кончина обоихъ! Прекрасны послѣднія слова Гамлета. Онъ смиряется, утихаетъ, приказываетъ Горацію жить, подаетъ свой предсмертный голосъ въ пользу молодого Фортинбраса, ничѣмъ не запятнаннаго представителя права наслѣдства... но взоръ Гамлета не обращается впередъ... «Остальное... молчаніе», говоритъ умирающій скептикъ — и дѣйствительно умолкаетъ навѣки. Смерть Донъ-Кихота навѣваетъ на душу несказанное умиленіе. Въ это мгновеніе все великое значеніе этого лица становится доступнымъ каждому. Когда бывшій его оруженосецъ, желая его утѣшить, говоритъ ему, что они скоро снова отправятся на рыцарскія похожденія: «Нѣтъ, отвѣчаетъ умирающій:—все это навсегда прошло, и я прошу у всѣхъ прощенія; я уже не Донъ-Кихотъ, я снова Алонзо добрый, какъ меня нѣкогда называли,—Alonso el Bueno».

Это слово удивительно; упоминовеніе этого прозвища, въ первый и послѣдній разъ—потрясаетъ читателя. Да, одно это слово имѣетъ еще значеніе передъ лицомъ смерти. Все пройдетъ, все исчезнетъ, высочайшій санъ, власть, всеобъемлющій геній, все разсыплется прахомъ...

Все великое земное
Разлетается какъ дымъ...

— но добрыя дѣла не разлетятся дымомъ; они долговѣчнѣе самой сіяющей красоты: «все минется, — сказалъ апостолъ: — одна любовь останется».

Намъ нечего прибавлять послѣ этихъ словъ. Мы почтемъ себя счастливыми, если указаніемъ на тѣ два коренныя направленія человѣческаго духа, о которыхъ мы говорили передъ вами, мы возбудили въ васъ нѣкоторыя мысли, быть-можетъ, даже не согласныя съ нашими,—если мы, хотя приблизительно, исполнили нашу задачу и не утомили вашего благосклоннаго вниманія.

1860 г.

XII.—А. С. Пушкинъ.

Рѣчь, читанная въ публичномъ засѣданіи Общества любителей Россійской Словесности, по поводу открытія памятника А. С. Пушкину въ Москвѣ.

Мм. гг. Сооруженіе памятника Пушкину, въ которомъ участвовала, которому сочувствуетъ вся образованная Россія, и на празднованіе

*) Гамлетъ—переводъ А. Кронеберга. Харьковъ, 1844.—Стр. 107.

котораго собралось такъ много нашихъ лучшихъ людей, представителей земли, правительства, науки, словесности и искусства — это сооруженіе представляется намъ данью признательной любви общества къ одному изъ самыхъ достойныхъ его членовъ. Постараемся въ немногихъ чертахъ опредѣлить смыслъ и значеніе этой любви.

Пушкинъ былъ первымъ русскимъ художникомъ-поэтомъ. Художество, принимая это слово въ томъ обширномъ смыслѣ, который включаетъ въ его область и поэзію, — художество, какъ воспроизведеніе, воплощеніе идеаловъ, лежащихъ въ основахъ народной жизни и опредѣляющихъ его духовную и нравственную физіономію, — составляетъ одно изъ коренныхъ свойствъ человѣка. Уже предчувствуемое и указанное въ самой природѣ, художество—искусство—является, правда, тоже какъ подражаніе, но уже одухотворенное, въ самой ранней порѣ народнаго существованія, какъ нѣчто отличительно-человѣческое. Дикарь каменнаго періода, начертавшій концомъ кремня на приспособленномъ обломкѣ кости медвѣжью или лосиную голову, уже переставъ быть дикаремъ, животнымъ. Но только тогда, когда творческой силою избранниковъ народъ достигаетъ сознательно-полнаго, своеобразнаго выраженія своего искусства, своей поэзіи—онъ тѣмъ самымъ заявляетъ свое окончательное право на собственное мѣсто въ исторіи; онъ получаетъ свой духовный обликъ и свой голосъ — онъ вступаетъ въ братство съ другими, признавшими его народами. Не даромъ же Грецію называется родиной Гомера, Германія—Гёте, Англія—Шекспира. Мы не думаемъ отрицать важность другихъ проявленій народной жизни—въ сферѣ религіозной, государственной и др.: но ту особенность, на которую мы сейчасъ указывали—даетъ народу его искусство, его поэзія. И этому нечего удивляться: искусство народа—его живая, личная душа, его мысль, его языкъ въ высшемъ значеніи слова; достигнувъ своего полнаго выраженія, оно становится достояніемъ всего человѣчества даже больше чѣмъ наука, именно потому, что оно — звучащая, человѣческая, мыслящая душа и душа не умирающая, ибо можетъ пережить физическое существованіе своего тѣла, своего народа. Что намъ осталось отъ Греціи? Ея душа осталась намъ! Религіозныя формы, а за ними научныя, также переживаютъ народы, въ которыхъ онѣ проявились, но въ силу того, что въ нихъ есть общаго, вѣчнаго; поэзія, искусство—въ силу того, что есть въ нихъ личнаго, живого.

Пушкинъ, повторяемъ, былъ нашимъ первымъ поэтомъ-художникомъ. Въ поэтѣ, какъ въ полномъ выразителѣ народной сути, сливаются два основныхъ ея начала: начало *воспріимчивости* и начало *самодѣятельности*, женское и мужское начало,—осмѣлились мы бы прибавить. У насъ же, русскихъ, позднѣе другихъ вступившихъ въ кругъ европейской семьи, оба эти начала получаютъ особую окраску: воспріимчивость у насъ является двойственною: и на собственную жизнь, и на жизнь другихъ западныхъ народовъ со всѣми ея богатствами — и подчасъ горькими для насъ плодами; а самодѣятельность наша получаетъ тоже какую-то особенную, неравномѣрную, порывистую, иногда зато геніальную силу: ей приходится бороться и съ чуждымъ усложненіемъ, и съ собственными противорѣчіями. Вспомните, мм. гг., Петра Великаго, натура котораго какъ-то родственна натурѣ самого Пушкина. Не даромъ же онъ питалъ къ нему особенное чувство любовнаго благоговѣнія! Эта двойственная воспріимчивость, о которой мы сейчасъ говорили, знаменательно отразилась въ жизни нашего поэта: сперва рожденіе въ старо-дворян-

скомъ барскомъ домѣ, потомъ иноземческое воспитаніе въ лицеѣ, вліяніе тогдашняго общества, проникнутаго извнѣ занесенными принципами: Вольтеръ, Байронъ и великая народная война 12-го года; а тамъ—удаленіе въ глубь Россіи, погруженіе въ народную жизнь, въ народную рѣчь, и знаменитая старушка-няня съ ея эпическими разсказами. Что же касается до самодѣятельности, то она въ Пушкинѣ возбудилась рано, и быстро утративъ свой ищущій, неопредѣленный характеръ, превратилась въ свободное творчество. Ему и 18-ти лѣтъ не было, когда Батюшковъ, прочитавъ его элегію: «Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда», воскликнулъ: «Злодѣй! какъ онъ началъ писать!» Батюшковъ былъ правъ: *такъ* еще никто не писалъ на Руси. Быть-можетъ, воскликнувъ:—«злодѣй!» Батюшковъ смутно предчувствовалъ, что иные его стихи и обороты будутъ называться Пушкинскими, хотя и явились раньше Пушкинскихъ. «Le génie prend son bien partout où il le trouve», гласитъ французская поговорка. Независимый геній Пушкина скоро — если не считать немногихъ и незначительныхъ уклоненій — освободился и отъ подражанія европейскимъ образцамъ, и отъ соблазна поддѣлки подъ народный тонъ. Поддѣлываться подъ народный тонъ, вообще подъ народность — такъ же неумѣстно и безплодно, какъ и подчиняться чуждымъ авторитетамъ; лучшимъ доказательствомъ тому служатъ: съ одной стороны — сказки Пушкина, съ другой — Русланъ и Людмила, самыя слабыя, какъ извѣстно, изо всѣхъ его произведеній. Съ неумѣстностію подражанія чужимъ авторитетамъ согласятся, конечно, всѣ; но, быть-можетъ, возразятъ иные: если поэтъ въ своихъ трудахъ не будетъ постоянно имѣть въ виду, имѣть цѣлью родной народъ, онъ никогда не станетъ его поэтомъ: народъ, простой народъ его читать не будетъ. Но, мм. гг., какой же великій поэтъ читается тѣми, кого мы называемъ простымъ народомъ? Нѣмецкій простой народъ не читаетъ Гёте, французскій — Мольера, даже англійскій не читаетъ Шекспира. Ихъ читаетъ—ихъ нація. Всякое искусство есть возведеніе жизни въ идеалъ: стоящіе на почвѣ обычной, ежедневной жизни, остаются ниже того уровня. Это вершина, къ которой надо приблизиться. И все-таки Гёте, Мольеръ и Шекспиръ — народные поэты въ истинномъ значеніи слова, т.-е. національные. Позволимъ себѣ сравненіе: Бетховенъ, напр., или Моцартъ, несомнѣнно національные, нѣмецкіе композиторы, и музыка ихъ по преимуществу нѣмецкая музыка; между тѣмъ, ни въ одномъ изъ ихъ произведеній вы не найдете слѣда не только заимствованій у простонародной музыки, но даже сходства съ нею, именно потому, что эта народная, еще стихійная музыка перешла къ нимъ въ плоть и кровь, оживотворила ихъ и потонула въ нихъ такъ же, какъ и самая теорія ихъ искусства,—такъ же, какъ исчезаютъ, напр., правила грамматики въ живомъ творчествѣ писателя. Въ иныхъ, еще болѣе отдаленныхъ отъ той ежедневной почвы, болѣе въ себѣ замкнутыхъ отрасляхъ искусства, самое названіе: «народный»—немыслимо. Есть національные живописцы: Рафаэль, Рембрандтъ; народныхъ живописцевъ нѣтъ. Замѣтимъ, кстати, что выставлять лозунгъ народности въ художествѣ, поэзіи, литературѣ, свойственно только племенамъ слабымъ, еще не созрѣвшимъ или же находящимся въ порабощенномъ, угнетенномъ состояніи. Поэзія ихъ должна служить другимъ, конечно, важнѣйшимъ цѣлямъ—сбереженію самаго ихъ существованія. Слава Богу, Россія не находится въ подобныхъ условіяхъ: она не слаба и не порабощена другому племени. Ей нечего дрожать за себя и ревниво сберегать свою

самостоятельность: въ сознаніи своей силы, она даже любитъ тѣхъ кто указываетъ ей на ея недостатки.

Возвратимся къ Пушкину. Вопросъ: можетъ ли онъ назваться поэтомъ національнымъ, въ смыслѣ Шекспира, Гёте и др., мы оставимъ пока открытымъ. Но нѣтъ сомнѣнія, что онъ создалъ нашъ поэтическій, нашъ литературный языкъ, и что намъ и нашимъ потомкамъ остается только идти по пути, проложенному его геніемъ. Изъ вышесказанныхъ нами словъ вы уже могли убѣдиться, что мы не въ состояніи раздѣлять мнѣнія тѣхъ, конечно добросовѣстныхъ людей, которые утверждаютъ, что настоящаго русскаго литературнаго языка вовсе не существуетъ; что намъ его дастъ одинъ простой народъ, вмѣстѣ съ другими спасительными учрежденіями. Мы, напротивъ, находимъ въ языкѣ, созданномъ Пушкинымъ, всѣ условія живучести: русское творчество и русская воспріимчивость стройно слились въ этомъ великолѣпномъ языкѣ, и Пушкинъ самъ былъ великолѣпный русскій художникъ.

Именно: русскій! Самая сущность, всѣ свойства его поэзіи совпадаютъ со свойствами, сущностью нашего народа. Не говоря уже о мужественной прелести, силѣ и ясности его языка—эта прямодушная правда, отсутствіе лжи и фразы, простота, эта откровенность и честность ощущеній—всѣ эти хорошія черты хорошихъ русскихъ людей, поражаютъ въ твореніяхъ Пушкина не однихъ насъ, его соотечественниковъ, но и тѣхъ изъ иноземцевъ, которымъ онъ сталъ доступенъ. Сужденія такихъ иноземцевъ бываютъ драгоцѣнны: ихъ не подкупаетъ патріотическое увлеченіе. «Ваша поэзія», сказалъ намъ однажды Меримэ, извѣстный французскій писатель и поклонникъ Пушкина, котораго онъ, не обинуясь, называлъ величайшимъ поэтомъ своей эпохи, чуть ли не въ присутствіи самого Виктора Гюго: «ваша поэзія ищетъ прежде всего правды, а красота потомъ является сама собою; наши поэты, напротивъ, идутъ совсѣмъ противоположной дорогой: они хлопочутъ прежде всего объ эффектѣ, остроуміи, блескѣ, и если ко всему этому имъ предстанетъ возможность не оскорблять правдоподобія, такъ они и это, пожалуй, возьмутъ въ придачу...» «У Пушкина, прибавлялъ онъ, поэзія чуднымъ образомъ расцвѣтаетъ какъ бы сама собою изъ самой трезвой прозы». Тотъ же Меримэ постоянно примѣнялъ къ Пушкину извѣстное изреченіе: «Prorsie communia dicere», признавая это умѣнье самобытно говорить общеизвѣстное — за самую сущность поэзіи, той поэзіи, въ которой примиряются идеальное и реальность. Онъ также сравнивалъ Пушкина съ древними греками, по равномѣрности формы и содержанія образа и предмета, по отсутствію всякихъ толкованій и моральныхъ выводовъ. Помнится, прочтя однажды «Анчаръ», онъ послѣ конечнаго четверостишія замѣтилъ: «всякій новѣйшій поэтъ не удержался бы тутъ отъ комментаріевъ». Меримэ также восхищался способностію Пушкина вступать немедленно in medias res, брать «быка за рога», какъ говорятъ французы, и указывалъ на его «Д.-Жуана», какъ на примѣръ такого мастерства.

Да, Пушкинъ былъ центральный художникъ, человѣкъ близко стоящій къ самому средоточію русской жизни. Этому его свойству должно приписать и ту мощную силу самобытнаго присвоенія чужихъ формъ, которую всѣ иностранцы признаютъ за нами, правда, подъ нѣсколько пренебрежительнымъ именемъ способности къ «ассимиляціи». Это свойство дало ему возможность создать, напр., монологъ «Скупого рыцаря», подъ которымъ съ гордостью подписался бы Шекспиръ.

Поразительна также въ поэтическомъ темпераментѣ Пушкина эта особенная смѣсь страстности и спокойствія, или, говоря точнѣе, эта объективность его дарованія, въ которомъ субъективность его личности сказывается лишь однимъ внутреннимъ жаромъ и огнемъ.

Все такъ... Но можемъ ли мы по праву назвать Пушкина національнымъ поэтомъ, въ смыслѣ всемірнаго (эти два выраженія часто совпадаютъ), какъ мы называемъ Шекспира, Гёте, Гомера?

Пушкинъ не могъ всего сдѣлать. Не слѣдуетъ забывать, что ему одному пришлось исполнить двѣ работы, въ другихъ странахъ раздѣленныя цѣлымъ столѣтіемъ и болѣе, а именно: установить языкъ и создать литературу. Къ тому же, надъ нимъ тоже отяготѣла та жестокая судьба, которая съ такой, почти злорадной, настойчивостью преслѣдуетъ нашихъ избранниковъ. Ему и 37-ми лѣтъ не минуло, когда она его вырвала отъ насъ. Безъ глубокой грусти, безъ какого-то тайнаго, хоть и безпредметнаго негодованія, нельзя читать слова, начертанныя имъ въ одномъ его письмѣ, за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти: «Моя душа расширилась: я чувствую, что я могу творить». Творить! А уже отливалась та глупая пуля, которая должна была положить конецъ его расцвѣтающему творчеству! Быть-можетъ, уже отливалась тогда и та, другая пуля, которая предназначалась на убійство другого поэта, Пушкинскаго наслѣдника, начавшаго свое поприще съ извѣстнаго, негодующаго стихотворенія, внушеннаго ему гибелью его учителя... Но не будемъ останавливаться на этихъ трагическихъ случайностяхъ, тѣмъ болѣе трагическихъ, что онѣ случайны. Изъ этой тьмы возвратимся къ свѣту; возвратимся къ поэзіи Пушкина.

Здѣсь не мѣсто и не время указывать на отдѣльныя его произведенія: другіе это сдѣлаютъ лучше насъ. Ограничимся замѣчаніемъ, что Пушкинъ въ своихъ созданіяхъ оставилъ намъ множество образовъ, типовъ (еще одинъ несомнѣнный признакъ геніальнаго дарованія!),—типовъ того, что совершилось потомъ въ нашей словесности. Вспомните хоть сцену корчмы изъ «Бориса Годунова», «Лѣтопись села Горохина» и т. д. А такіе образы, какъ Пименъ, какъ главныя фигуры «Капитанской дочки», не служатъ ли они доказательствомъ, что и прошедшее жило въ немъ такою же жизнью, какъ и настоящее, какъ и предсознанное имъ будущее?

А между тѣмъ, и Пушкинъ не избѣгъ общей участи художниковъ-поэтовъ, начинателей. Онъ испыталъ охлажденіе къ себѣ современниковъ; послѣдующія поколѣнія еще болѣе удалились отъ него, перестали нуждаться въ немъ, воспитываться на немъ, и только въ недавнее время снова становится замѣтнымъ возвращеніе къ его поэзіи. Пушкинъ самъ предчувствовалъ это охлажденіе публики. Какъ извѣстно, онъ въ послѣдніе годы своей жизни, въ лучшую пору своего творчества, уже почти ничѣмъ не дѣлился съ читателями, оставляя въ портфелѣ такія произведенія, какъ «Мѣдный Всадникъ». Онъ до нѣкоторой степени не могъ не чувствовать пренебреженія къ публикѣ, которая пріучилась видѣть въ немъ какого-то сладкопѣвца, соловья... Да и какъ намъ винить его, когда вспомнишь, что даже такой умный и проницательный человѣкъ, какъ Баратынскій, призванный вмѣстѣ съ другими разбирать бумаги, оставшіяся послѣ смерти Пушкина, не усомнился воскликнуть въ одномъ письмѣ, адресованномъ тоже къ умному пріятелю: «Можешь ты себѣ представить, что меня больше всего изумляетъ во всѣхъ этихъ поэтахъ? Обиліе мыслей! Пушкинъ—мыслитель! Можно ли было ожидать?» Все это Пушкинъ предчувствовалъ. Доказательствомъ тому—извѣстный сонетъ («Поэту», 1-го іюля

1830 г.), который мы просимъ позволенія прочесть передъ вами, хотя, конечно, каждый изъ васъ его знаетъ... Но мы не можемъ противиться искушенію украсить этимъ поэтическимъ золотомъ нашу скудную, прозаическую рѣчь:

Поэтъ, не дорожи любовію народной!
Восторженныхъ похвалъ пройдетъ минутный шумъ,
Услышишь судъ глупца и смѣхъ толпы холодной;
Но ты останься твердъ, спокоенъ и угрюмъ.
Ты царь: живи одинъ. Дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ,
Усовершенствуя плоды любимыхъ думъ,
Не требуя наградъ за подвигъ благородный.
Онѣ въ самомъ тебѣ. Ты самъ свой высшій судъ,
Всѣхъ строже оцѣнить умѣешь ты свой трудъ.
Ты имъ доволенъ ли, взыскательный художникъ?
Доволенъ? Такъ пускай толпа его бранитъ,
И плюетъ на алтарь, гдѣ твой огонь горитъ,
И въ дѣтской рѣзвости колеблетъ твой треножникъ.

Пушкинъ тутъ, однако, не совсѣмъ правъ—особенно въ отношеніи къ послѣдовавшимъ поколѣніямъ. Не въ «судѣ глупца» и не въ «смѣхѣ толпы холодной» было дѣло; причины того охлажденія лежали глубже. Онѣ достаточно извѣстны. Намъ приходится только воззвать ихъ въ вашей памяти. Онѣ лежали въ самой судьбѣ, въ историческомъ развитіи общества, въ условіяхъ, при которыхъ зарождалась новая жизнь, вступившая изъ литературной эпохи въ политическую. Возникли нежданныя и, при всей неожиданности, законныя стремленія, небывалыя и неотразимыя потребности; явились вопросы, на которые нельзя было не дать отвѣта... Не до поэзіи, не до художества стало тогда. *Одинаково* восхищаться «Мертвыми Душами» и «Мѣднымъ Всадникомъ» или «Египетскими Ночами» могли только записные словесники, мимо которыхъ побѣжали сильныя, хотя и мутныя волны той новой жизни. Міросозерцаніе Пушкина показалось узкимъ, его горячее сочувствіе нашей, иногда офиціальной, славѣ—устарѣлымъ, его классическое чувство мѣры и гармоніи—холоднымъ анахронизмомъ. Изъ бѣломраморнаго храма, гдѣ поэтъ являлся жрецомъ, гдѣ, правда, горѣлъ огонь... но на алтарѣ—и сожигалъ... одинъ ѳиміамъ, — люди пошли на шумныя торжища, гдѣ именно нужна метла... и метла нашлась. Поэтъ-эхо, по выраженію Пушкина, поэтъ центральный, самъ къ себѣ тяготѣющій, положительный, какъ жизнь на покоѣ,—смѣнился поэтомъ-глашатаемъ, центробѣжнымъ, тяготѣющимъ къ другимъ, отрицательнымъ, какъ жизнь въ движеніи. Самый главный, первоначальный истолкователь Пушкина, Бѣлинскій, смѣнился другими судьями, мало цѣнившими поэзію. Мы произнесли имя Бѣлинскаго — и хотя ничья похвала не должна раздаваться сегодня рядомъ съ похвалою Пушкину,—но вы, вѣроятно, позволите намъ почтить сочувственнымъ словомъ память этого замѣчательнаго человѣка, когда узнаете, что ему выпала судьба скончаться именно въ день 26-го мая, въ день рожденія поэта, который былъ для него высшимъ проявленіемъ русскаго генія!—Возвращаемся къ развитію нашей мысли. Вслѣдъ за скоро прерваннымъ голосомъ Лермонтова, когда Гоголь сталъ уже властителемъ людскихъ думъ, зазвучалъ голосъ поэта «мести и печали», а за нимъ пошли другіе— и повели за собою нарастающія поколѣнія. Искусство, завоевавшее

ніями Пушкина: право гражданства, несомнѣнность своего со-
званія, языкъ, имъ созданный—стало служить другимъ нача-
столь же необходимымъ въ общественномъ устроеніи. Многіе
и и видятъ до сихъ поръ въ этомъ измѣненіи простой упадокъ;
ы позволимъ себѣ замѣтить, что падаетъ, рушится только мерт-
неорганическое. Живое измѣняется органически—ростомъ. А
я растетъ, не падаетъ. Что подобное развитіе—какъ всякій
—неизбѣжно сопряжено съ болѣзнями, мучительными кризисами,
ными злыми, на первый взглядъ безвыходными противорѣчіями—
ывать, кажется, нечего; насъ этому учитъ не только всеобщая
ія, но даже исторія каждой отдѣльной личности. Сама наука
говоритъ о необходимыхъ болѣзняхъ. Но смущаться этимъ,
ивать прежнее, все-таки относительное спокойствіе, стараться
атиться къ нему—и возвращать къ нему другихъ, хотя бы на-
о — могутъ только отжившіе или близорукіе люди. Въ эпохи
ной жизни, носящія названіе переходныхъ, — дѣло мыслящаго
ѣка, истиннаго гражданина своей родины — идти впередъ, не-
я на трудность и часто грязь пути, но идти, не теряя ни на
изъ виду тѣхъ основныхъ идеаловъ, на которыхъ построенъ
бытъ общества, котораго онъ состоитъ живымъ членовъ. И де-
и пятнадцать лѣтъ тому назадъ—празднество, которое прило
о насъ всѣхъ сюда, было бы привѣтствовано какъ актъ спра-
вости, какъ дань общественной благодарности; но, быть-можетъ,
ло бы того чувства единодушія, которое проникаетъ теперь
всѣхъ, безъ различія званія, занятій и лѣтъ. Мы уже указали
тъ радостный фактъ, что молодежь возвращается къ чтенію,
нію Пушкина; но мы не должны забывать, что нѣсколько по-
ій сподрядъ прошли передъ нашими глазами,—поколѣній, для
ыхъ самое имя Пушкина было не что иное, какъ только имя,
лѣ другихъ обреченныхъ забвенію именъ. Не станемъ, однако,
ому винить эти поколѣнія, мы старались вкратцѣ изобразить,
у это забвеніе было неизбѣжно. Но мы не можемъ такъ же
доваться этому возврату къ поэзіи. Мы радуемся особенно по-
что наши юноши возвращаются къ ней не какъ раскаявшіеся
которые, разочарованные въ своихъ надеждахъ, утомленные
зенными ошибками, ищутъ пристанища и успокоенія въ томъ,
его они отвернулись. Мы скорѣе видимъ въ томъ возвратѣ
омъ хотя нѣкотораго удовлетворенія; видимъ доказательство,
хотя нѣкоторыя изъ тѣхъ цѣлей, для которыхъ считалось не
о дозволительнымъ, но и обязательнымъ приносить все неиду-
ъ дѣлу въ жертву, сжимать всю жизнь въ одно русло—что эти
орыя цѣли признаются достигнутыми, что будущее сулитъ до-
ніе другихъ — и ничто уже не помѣшаетъ поэзіи, главнымъ
гавителемъ которой является Пушкинъ, занять свое законное
среди прочихъ законныхъ проявленій общественной жизни.
пора, когда изящная литература служила почти единственнымъ
ченіемъ этой жизни; потомъ наступило время, когда она со-
сошла съ арены... Прежняя область была слишкомъ широка;
сузилась до ничтожества; найдя свои естественныя границы,
упрочится навсегда. Подъ вліяніемъ стараго, но не устарѣв-
учителя—мы твердо этому вѣримъ—законы искусства, художни-
пріемы вступятъ опять въ свою силу и—кто знаетъ?—быть-
ъ, явится новый, еще невѣдомый избранникъ, который пре-
ѣтъ своего учителя—и заслужитъ вполнѣ названіе національно-

всемірнаго поэта, которое мы не рѣшаемся дать Пушкину, хоть и не дерзаемъ его отнять у него.

Какъ бы то ни было, заслуги Пушкина передъ Россіей велики и достойны народной признательности. Онъ далъ окончательную обработку нашему языку, который теперь, по своему богатству, силѣ, логикѣ и красотѣ формы, признается даже иностранными филологами едва ли не первымъ послѣ древне-греческаго; онъ отозвался типическими образцами, безсмертными звуками, на всѣ вѣянія русской жизни. Онъ первый, наконецъ, водрузилъ могучей рукою знамя поэзіи глубоко въ русскую землю, и если пыль поднявшейся послѣ него битвы затемнила на время это свѣтлое знамя—то теперь, когда эта пыль начинаетъ опадать, снова засіялъ въ вышинѣ водруженный имъ побѣдоносный стягъ. Сіяй же, какъ онъ, благородный мѣдный ликъ, воздвигнутый въ самомъ сердцѣ древней столицы, и гласи грядущимъ поколѣніямъ о нашемъ правѣ называться великимъ народомъ потому, что среди этого народа родился, въ ряду другихъ великихъ, и *такой* человѣкъ! И какъ о Шекспирѣ было сказано, что всякій, вновь выучившійся грамотѣ, неизбѣжно становится его новымъ чтецомъ—такъ и мы будемъ надѣяться, что всякій нашъ потомокъ, съ любовью остановившійся передъ изваяніемъ Пушкина и понимающій значеніе этой любви, тѣмъ самымъ докажетъ, что онъ, подобно Пушкину, сталъ болѣе русскимъ и болѣе образованнымъ, болѣе свободнымъ человѣкомъ! Пусть это послѣднее слово не удивитъ васъ, мм. гг.! Въ поэзіи—освободительная, ибо возвышающая, нравственная сила. Будемъ также надѣяться, что въ недальнемъ времени даже сыновьями нашего простого народа, который теперь не читаетъ нашего поэта, станетъ понято, что̀ значитъ это имя: Пушкинъ!—и что они повторятъ уже сознательно то, что̀ намъ довелось недавно слышать изъ безсознательно лепечущихъ устъ: «Это памятникъ—учителю!»

Іюнь, 1880.

XIII.—Предисловіе къ новымъ письмамъ Пушкина къ женѣ.

Едва ли кто-нибудь можетъ сомнѣваться въ чрезвычайномъ интересѣ этихъ новыхъ писемъ Пушкина. Не говоря уже о томъ, что каждая строка величайшаго русскаго поэта должна быть дорога всѣмъ его соотечественникамъ; не говоря и о томъ, что въ этихъ письмахъ—какъ и въ прежде появившихся, такъ и бьетъ струею свѣтлый и мужественный умъ Пушкина, поражаетъ прямизна и вѣрность его взглядовъ, мѣткость и какъ бы невольная красивость выраженія;—но вслѣдствіе исключительныхъ условій, подъ вліяніемъ которыхъ эти письма были начертаны, они бросаютъ яркій свѣтъ на самый характеръ Пушкина и даютъ ключъ ко многимъ послѣдовавшимъ событіямъ его жизни, даже и къ тому, печальному и горестному, которымъ, какъ извѣстно, она закончилась.

Писанныя со всею откровенностью семейныхъ отношеній, безъ поправокъ, оговорокъ и утаекъ, они тѣмъ яснѣе передаютъ намъ нравственный обликъ поэта.

Несмотря на свое французское воспитаніе, Пушкинъ былъ не только самымъ талантливымъ, но и самымъ русскимъ человѣкомъ

своего времени; и уже съ одной этой точки зрѣнія его письма достойны вниманія каждаго образованнаго русскаго человѣка; для историка литературы они—сущій кладъ: нравы, самый бытъ извѣстной эпохи отразились въ нихъ хотя быстрыми, но яркими чертами.

Позволю себѣ прибавить отъ своего имени, что я считаю избраніе меня дочерью Пушкина въ издатели этихъ писемъ однимъ изъ почетнѣйшихъ фактовъ моей литературной карьеры; я не могу довольно высоко оцѣнить довѣріе, которое она оказала мнѣ, возложивъ на меня отвѣтственность за необходимыя сокращенія и исключенія.

Быть-можетъ, я до нѣкоторой степени заслужилъ это довѣріе моимъ глубокимъ благоговѣніемъ передъ памятью ея родителя, ученикомъ котораго я считалъ себя съ «младыхъ ногтей», и считаю до сихъ поръ... «Vestigia semper adoro»...

Впрочемъ, тщательный пересмотръ писемъ привелъ меня къ убѣжденію, что можно было ограничиться только самыми необходимыми и немногочисленными исключеніями; въ большинствѣ случаевъ исключенія эти обусловливаются излишней «энергіей» фразы: Пушкинъ, какъ истый русскій человѣкъ, да и къ тому же въ письмахъ, носившихъ строго-частный характеръ, не любилъ стѣсняться.

Не должно также забывать, что со времени начертанія этихъ писемъ прошло почти полвѣка—и что, слѣдовательно, когда дѣло идетъ о выясненіи такой личности, каковою былъ Пушкинъ, исторія вступаетъ въ свои права—и давность облекаетъ своимъ почтеннымъ покровомъ то, что могло бы прежде показаться слишкомъ интимнымъ, слишкомъ близко касающимся отдѣльныхъ частныхъ лицъ.

Сама дочь поэта, рѣшившись подѣлиться съ отечественною публикою корреспонденціей своего родителя, адресованной къ его женѣ—ея матери—освятила, такъ сказать, наше право перенести весь вопросъ въ болѣе возвышенную и безучастную—какъ бы документальную сферу.

Намъ остается искренно поблагодарить графиню Н. А. Меренбергъ за этотъ поступокъ, на который она, конечно, рѣшилась не безъ нѣкотораго колебанія—и выразить надежду, что ту же благодарность почувствуетъ и докажетъ ей общественное мнѣніе.

Парижъ.—Ноябрь, 1877.

XIV.—Застольное слово,

произнесенное въ Петербургѣ, на обѣдѣ профессоровъ и литераторовъ, 13-го марта 1879 г.*).

Мм. гг! Въ отвѣтъ на все слышанное мною, на всѣ эти горячія привѣтствія, мнѣ слѣдовало бы только повторить то, что я сказалъ недѣлю тому назадъ въ Москвѣ участникамъ обѣда, подобнаго сегодняшнему: благодарить невозможно—ибо гдѣ найти довольно сильныя выраженія? — Такіе часы не забываются до конца жизни; въ нихъ высшая награда для писателя, для всякаго общественнаго дѣятеля. Но здѣсь, въ Петербургѣ, въ виду многихъ моихъ товарищей и друзей, тѣхъ людей «сороковыхъ годовъ», о которыхъ такъ много стали говорить въ послѣднее время, и сближеніе съ которыми, столь

*) Подробности этого Тургеневскаго обѣда и самый текстъ застольнаго слова помѣщены въ „Вѣстникѣ Европы", 1879, апрѣля, 21 стр. и слѣд.

замѣтное въ рядахъ современной молодежи, составляетъ собы
событіе знаменательное,—въ виду всѣхъ васъ, гг., мнѣ хочетс
дѣлиться съ вами слѣдующимъ, поистинѣ отраднымъ соображен
Что бы ни говорили о перерывѣ, будто бы совершившемся в
степенномъ развитіи нашей общественной жизни, о расколѣ м
поколѣніями, изъ которыхъ младшее не помнитъ и не приз
старшаго, а старшее не понимаетъ и тоже не признаетъ младш
что бы тамъ ни говорили большей частью непризванные су
есть однако область, въ которой эти поколѣнія, по крайней мѣ
большинствѣ, сходятся дружески: есть слова, есть мысли, ко
имъ одинаково дороги; есть стремленья, есть надежды, которы
общи; есть, наконецъ, идеалъ не отдаленный и не туманный, а
дѣленный, осуществимый и, можетъ-быть, близкій, въ которы
одинаково вѣрятъ. Еще недавно, очень недавно нельзя был
сказать; но теперь это истина, это фактъ, видимый всякому не
убѣжденному глазу—и нынѣшній обѣдъ одинъ изъ такихъ факт

Мнѣ не для чего указывать болѣе настойчивымъ образомъ на
идеалъ; онъ понятенъ вамъ и въ литературѣ, и въ наукѣ, и в
щественной жизни. Говорящій въ эту минуту передъ вами напи
16 лѣтъ тому назадъ, романъ «Отцы и Дѣти». Въ то время он
только указать на рознь, господствовавшую тогда между поколѣн
тогда еще не было почвы, на которой они могли сойтись. Эта п
теперь существуетъ—если еще не въ дѣйствительности, то у
возможности; она является ясною глазамъ мыслителя. Напрасно
нутъ намъ указывать на нѣкоторыя преступныя увлеченія. Яв
эти глубоко прискорбны; но видѣть въ нихъ выраженіе убѣжд
присущихъ большинству нашей молодежи, было бы несправедливо
жестокой и столь же преступной... Правительственныя силы, кот
заправляютъ и должны заправлять судьбами нашего отечества,
гутъ еще скорѣе и точнѣе, чѣмъ мы сами, оцѣнить все значен
весь смыслъ настоящаго, — скажу прямо: историческаго мгнов
Отъ нихъ, отъ этихъ силъ зависитъ, чтобы всѣ сыновья нашей
ликой семьи слились въ одно дѣятельное, единодушное служеніе
сіи, — этой Россіи, какою ее создала исторія, создало то прошед
къ которому должно правильно и мирно примкнуть будущее. А
тому позвольте мнѣ, человѣку прошедшаго, человѣку 40-хъ го
человѣку старому, провозгласить тостъ за молодость, за будуще
счастливое и здравое развитіе ея судебъ, и да совершатся, н
нецъ, слова нашего великаго поэта, да настанетъ возможность
дому изъ насъ воскликнуть въ глубинѣ души:

Въ надеждѣ славы и добра.
Глядимъ впередъ мы безъ боязни!

1879 г.

III.

НЕКРОЛОГИ, ПИСЬМА.

I.—Два слова о Грановскомъ.

Письмо къ редакторамъ «Современника».

Auch die Todten sollen leben.
Шиллеръ.

Вчера были похороны Грановскаго. Не буду говорить вамъ, какъ сильно поразила меня его смерть. Потеря его принадлежитъ къ числу общественныхъ потерь, и отзовется горькимъ недоумѣніемъ и скорбью во многихъ сердцахъ по всей Россіи. Похороны его были чѣмъ-то умилительнымъ и глубоко-знаменательнымъ; онѣ останутся событіемъ въ памяти каждаго участвовавшаго въ нихъ. Никогда не забуду я этого длиннаго шествія, этого гроба, тихо колыхавшагося на плечахъ студентовъ, этихъ обнаженныхъ головъ и молодыхъ лицъ, облагороженныхъ выраженіемъ честной и искренней печали, этого невольнаго замедленія многихъ между разбросанными могилами кладбища, даже тогда, когда уже все было кончено, и послѣдняя горсть земли упала на прахъ любимаго учителя... Одни и тѣ же ощущенія наполняли всѣхъ, высказывались во всѣхъ устахъ, во всѣхъ взорахъ; всѣмъ хотѣлось продлить ихъ въ себѣ, и расходиться было жутко... Всякое общее чувство, даже скорбное, связуя людей, возвышаетъ ихъ. Каждый изъ пришедшихъ на кладбище, къ какому бы направленію ни принадлежалъ онъ, слишкомъ хорошо зналъ, чего лишилась въ Грановскомъ русская жизнь и русская наука. Для душъ молодыхъ, еще не искушенныхъ, не утомленныхъ «плоской незначительностью» житейскихъ дрязгъ, такія ощущенія особенно благотворны; подъ наитіемъ ихъ сердце крѣпнетъ, и сѣмена будущихъ добрыхъ дѣлъ и доблестныхъ поступковъ зрѣютъ въ немъ... Дай

ный зимній вечеръ, въ большой и пустой его комнатѣ, за столикомъ, на которомъ, вмѣсто всякаго угощенія, стояли воды и банка варенья.

Въ отрывкѣ этомъ Фаустъ былъ представленъ (со словъ о ранней нѣмецкой легенды) высоко поднявшимся на возд стекляномъ ящикѣ, вмѣстѣ съ Мефистофелемъ: обозрѣвая раскинувшуюся землю, рѣки, лѣса, поля, жилища людей, произносилъ задумчивый, полный грустнаго созерцанія моно казавшійся мнѣ тогда прекраснымъ... Мефистофель безмолвс я, впрочемъ, и теперь не могу себѣ представить, какія бы р жилъ Грановскій въ уста бѣсу... Иронія, особенно иронія безжалостная, была чужда его свѣтлой душѣ. Помню я еще вечеръ и другое чтеніе: мы вмѣстѣ съ жадностью перели только-что вышедшее собраніе стихотвореній одного поэта, тораго, теперь если не безызвѣстное, то уже отзвучавшее— мѣло тогда по всей Россіи. Съ какимъ восторгомъ привѣтс Грановскій новыя надежды русской поэзіи, какъ исполня благородной радостію сочувствія!

Я впрочемъ въ Петербургѣ видалъ его рѣдко; но каждое с съ нимъ оставляло во мнѣ глубокое впечатлѣніе.

Чуждый педантизма, исполненный плѣнительнаго добродуш уже тогда внушалъ то невольное уваженіе къ себѣ, которо многіе потомъ испытали. Отъ него вѣяло чѣмъ-то возвыше стымъ; ему было дано (рѣдкое и благодатное свойство) не ніями, не доводами, а собственной душевной красотой воз прекрасное въ душѣ другого: онъ былъ идеалистъ въ лучшемъ этого слова,—идеалистъ не въ одиночку. Онъ имѣлъ точно пр зать: «ничто человѣческое мнѣ не чуждо», и потому и его не лось ничто человѣческое.

Нѣсколько лѣтъ спустя, я встрѣтился съ нимъ въ Берл почти не видался съ нимъ тогда—и мы не сошлись... Говоря я тогда не стоилъ того, чтобы сойтись съ нимъ. Притомъ, то время подружился съ Н. В. Станкевичемъ, человѣкомъ

на его [illegible] тайною истиннаго краснорѣчія; но, все-таки, иные, судя о [illegible] по литературнымъ его трудамъ, зная также, что на званіе спеціалиста, ученаго въ строгомъ смыслѣ слова, онъ не имѣлъ притязанія—дивятся какъ бы непонятной тайнѣ, силѣ и обширности вліянія его на людей.

Разгадка этой тайны весьма проста: она вся заключается въ самой личности Грановскаго.

Въ природахъ гармоническихъ, какова была его, самые недостатки необходимы; будь личность Грановскаго болѣе своеобразна, болѣе рѣзко выражена — молодые его ученики не такъ бы довѣрчиво къ нему обращались. Грановскій былъ доступенъ во всякое время, не отталкивалъ никогда никого. Проникнутый весь наукой, посвятивъ себя всего дѣлу просвѣщенія и образованія,—онъ считалъ самого себя какъ бы общественнымъ достояніемъ, какъ бы принадлежностью всякаго, кто хотѣлъ образоваться и просвѣтиться... Къ нему, какъ къ роднику близъ дороги, всякій подходилъ свободно и черпалъ живительную влагу изученія, которая струилась тѣмъ чище, чѣмъ самъ преподаватель меньше прибавлялъ въ нее своего.—Свое, оригинальное въ его ученіи было именно это благородное самоотреченіе—это отсутствіе личныхъ прихотей и умствованій. — Онъ передавалъ науку, которую уважалъ глубоко и въ которую честно вѣрилъ, какъ самъ принималъ ее—не искажая ея, не силясь согнуть ее, если не въ систему, такъ въ дугу. Этой же добросовѣстностью въ передаваніи науки объясняется изящная красота его рѣчи; такъ свѣтъ, проходя черезъ прозрачный кристаллъ, не измѣнялся въ существѣ своемъ, играетъ живыми красками.

Люди вообще настолько имѣютъ значенія и вліянія, насколько нужны; а люди, подобные Грановскому, теперь намъ крайне нужны. Время еще впереди, когда настанетъ для насъ потребность въ спеціалистахъ, въ ученыхъ; мы нуждаемся теперь въ безкорыстныхъ и неуклонныхъ служителяхъ науки, которые бы твердой рукою держали и высоко поднимали ея свѣточъ, которые, говоря намъ о добротѣ и нравственности—о человѣческомъ достоинствѣ и чести, собственною жизнью подтверждали бы истину своихъ словъ... Таковъ былъ Грановскій—и вотъ отчего льются слезы о немъ; вотъ отчего онъ, человѣкъ безсемейный, былъ окруженъ такой любовью и при жизни, и въ смерти... Замѣнить его теперь не можетъ ни одинъ человѣкъ, но самъ онъ будетъ еще дѣйствовать за гробомъ,—дѣйствовать долго и благотворно. Онъ жилъ не даромъ—онъ не умретъ. Во всей его дѣятельности ничего не было такого, въ чемъ бы не могъ онъ громко и ясно признаться передъ всѣми; онъ сѣялъ свои сѣмена днемъ, при свѣтѣ солнца, и когда они взойдутъ и принесутъ плоды—въ нихъ не будетъ ничего горькаго...

Выше этой похвалы и этой награды для человѣка нѣтъ.

Москва.—Суббота, 8-го октября 1855.

II.—Николай Ивановичъ Тургеневъ.

29-го октября (10-го ноября) нынѣшняго 1871 года скончался въ своей виллѣ Вербуа (Vert Bois — или «Зеленая Роща», какъ называлъ ее покойникъ), возлѣ Буживаля, въ окрестностяхъ Парижа, одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ — и прибавимъ смѣло, какъ бы

отвѣчая передъ нелицемѣрнымъ судомъ потомства—одинъ изъ благороднѣйшихъ русскихъ людей, Николай Ивановичъ Тургеневъ.

Мы не намѣрены входить теперь въ подробную оцѣнку покойнаго, какъ политическаго дѣятеля, ученаго и публициста: превосходныя статьи г. Пыпина, въ которыхъ онъ столь часто опирается на свидѣтельство Николая Ивановича и цитируетъ его, снова обратили въ послѣднее время вниманіе мыслящей части публики на этого изгнанника особаго рода, который, проведя почти полстолѣтія въ отдаленіи отъ родины, жилъ, можно сказать, только Россіей и для Россіи. Конечно, ни одинъ будущій русскій историкъ, когда ему придется излагать постепенные фазисы нашего общественнаго развитія въ XIX столѣтіи, не обойдетъ молчаніемъ Н. И. Тургенева; онъ укажетъ на него, какъ на одного изъ самыхъ типическихъ представителей той знаменательной эпохи, которой присвоено названіе Александровской, и въ теченіе которой были заложены или возбуждены зачатки преобразованій, совершившихся при другомъ Александрѣ.

Мы ограничимся сообщеніемъ нѣкоторыхъ біографическихъ, библіографическихъ данныхъ, и посильнымъ воспроизведеніемъ личнаго характера и образа человѣка, къ которому чувство глубокаго сердечнаго уваженія привязывало насъ болѣе, чѣмъ узы отдаленнаго родства.

Николай Ивановичъ родился не въ 1787-мъ и не 1790-мъ году, какъ было ошибочно показано въ нѣсколькихъ біографіяхъ — а 11-го (22-го) октября 1789-го года — отъ Ивана Петровича Тургенева и Екатерины Александровны, урожденной Качаловой. Родился онъ въ Симбирскѣ, гдѣ и провелъ первое свое дѣтство, но воспитывался въ Москвѣ, на Моросейкѣ, въ домѣ, принадлежавшемъ его семейству (нынѣ этотъ домъ собственность гг. Боткиныхъ). У него было три старшихъ брата: Иванъ, умершій въ дѣтствѣ, Андрей, скончавшійся въ 1803-мъ, Александръ, скончавшійся въ 1845-мъ, и одинъ младшій, Сергѣй, скончавшійся въ 1827-мъ году. Отецъ, Иванъ Петровичъ, недолго пережилъ своего любимца, Андрея, друга Жуковскаго; мать скончалась гораздо позже. Значеніе всего этого семейства Тургеневыхъ достаточно извѣстно: оно не разъ служило предметомъ литературныхъ и критическихъ изысканій. Можно безъ преувеличенія сказать, что они сами принадлежали къ числу лучшихъ людей и тѣсно соприкасались съ другими лучшими людьми того времени. Ихъ дѣятельность оставила замѣтный и не безполезный, не безславный слѣдъ. Николай Ивановичъ, по примѣру брата своего Александра, учившагося въ Гёттингенскомъ университетѣ — такъ же, въ 1810-мъ и въ 1811-мъ году, слушалъ въ томъ же университетѣ лекціи у тогдашнихъ знаменитыхъ профессоровъ — Шлецера, Геерена, Гёде и другихъ: онъ занимался преимущественно политической экономіей, финансовыми и камеральными науками. Посѣтивъ въ 1811-мъ году Парижъ, гдѣ онъ видѣлъ Наполеона на вершинѣ своей славы, но уже предчувствовалъ его паденіе, 12-й годъ онъ провелъ въ Россіи, а въ 13-мъ году былъ, какъ извѣстно, прикомандированъ къ знаменитому Штейну, память котораго онъ до старости чтилъ, какъ святыню;—самъ Штейнъ питалъ чувство дружелюбія къ молодому своему помощнику: имя Николая Тургенева, по его словамъ, было «равносильно съ именами честности и чести». Николай Ивановичъ сопровождалъ, въ качествѣ комиссара отъ правительства, нашу армію въ кампаніи 14-го и 15-го годовъ, и въ началѣ 1816-го года вернулся въ Россію, несмотря на убѣжденія Штейна, который хотѣлъ удержать

его при себѣ. Скоро потомъ онъ издалъ свой «Опытъ теоріи налоговъ». Въ этомъ сочиненіи, доставившемъ ему немедленно почетную извѣстность, онъ, говоря его собственными словами, пользовался всякой представлявшейся ему возможностью для нападенія, съ государственной и финансовой точки зрѣнія, на крѣпостное право или безправіе, на этого врага, съ которымъ онъ боролся цѣлую жизнь—боролся дольше всѣхъ и, быть-можетъ, раньше всѣхъ своихъ современниковъ. Назначенный статсъ-секретаремъ при государственномъ совѣтѣ, Николай Ивановичъ въ 1819 г. представилъ императору Александру, чрезъ графа Милорадовича, записку, озаглавленную: «Нѣчто о крѣпостномъ состояніи въ Россіи». Мысль, проведенная имъ въ этой запискѣ, состояла въ томъ, что конецъ рабству можетъ положить одно самодержавіе, что оно одно можетъ избавить Россію отъ подобнаго позора. Мысль эта поразила императора, и онъ сказалъ графу, что возьметъ лучшее изъ этой записки, благородная откровенность которой не прибѣгала ни къ какимъ уловкамъ и оттѣнкамъ—и «непремѣнно сдѣлаетъ что-нибудь для крестьянъ». Исторіи вѣдомы причины, почему это обѣщаніе осталось безъ исполненія... Мы не станемъ вдаваться въ нихъ. Н. И. Тургеневъ занималъ должность статсъ-секретаря до 1824 года. Выѣхавъ изъ Россіи, для исправленія своего здоровья, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ того же года, онъ увидѣлъ ее только въ 1857 году — уже старцемъ. Извѣстны также причины, превратившія человѣка, которому, казалось, все сулило блестящую карьеру, котораго ожидалъ министерскій портфель, о которомъ самъ императоръ Александръ не однажды выражался, что онъ одинъ можетъ замѣнить ему Сперанскаго—превратившія, говоримъ мы, этого человѣка въ государственнаго преступника, осужденнаго на смертную казнь. Извѣстна также та настойчивость, съ которой Н. Тургеневъ, опровергая доводы доклада слѣдственной комиссіи, утверждалъ свою неповинность въ дѣлѣ 14-го декабря. Его неявка на вызовъ изъ-за границы рѣшила его судьбу, хотя въ нашихъ законахъ, въ то время, за неявку не существовало опредѣленнаго наказанія. Несчастье Н. Тургенева было велико, силенъ былъ ударъ, обрушившійся на него; но и въ самомъ своемъ несчастьѣ онъ могъ утѣшиться тѣмъ, что Штейнъ, другъ и наставникъ его молодости, рѣшительно и постоянно отказывался допускать легальность его осужденія... То же думалъ и такъ же высказался Гумбольдтъ. Мнѣніе Штейна и Гумбольдта, впослѣдствіи, было раздѣлено даже нѣкоторыми изъ осудившихъ Н. Тургенева!

Подтвердить справедливость этихъ послѣднихъ словъ могутъ, кромѣ книги: «La Russie et les Russes»—письма Александра Тургенева къ брату Николаю, собранныя покойникомъ и уже почти оконченныя печатаньемъ въ Лейпцигѣ (укажемъ, между прочимъ, на тѣ письма, гдѣ А. И. Тургеневъ приводитъ слова князя Козловскаго). Семейство Н. И. Тургенева почитаетъ своей обязанностью исполнить намѣреніе его, и эти письма скоро появятся въ свѣтъ. Корректурный экземпляръ находился въ нашихъ рукахъ, и мы можемъ свидѣтельствовать объ ихъ занимательности и важности для изученія эпохи, послѣдовавшей за 1825-мъ годомъ. Письма эти являютъ въ весьма привлекательномъ свѣтѣ самого А. И. Тургенева, человѣка, который, сколько мы можемъ судить, не вполнѣ вѣрно оцѣненъ нашимъ поколѣніемъ.

Николай Тургеневъ, лишившись за границей нѣжно любимаго имъ брата Сергѣя (глубокая привязанность всѣхъ членовъ Тургеневскаго

семейства другъ къ другу составляетъ какъ бы отличительную ихъ черту), удалился сперва въ Англію, потомъ въ Швейцарію, гдѣ онъ познакомился съ будущей своей супругой, Кларой, дочерью сардинца, маркиза Віарисъ, храбраго офицера наполеоновскихъ войскъ, которому товарищи на полѣ сраженія при Прейсишъ-Эйлау единогласно присудили предоставленный ихъ дивизіи титулъ барона имперіи. Н. Тургеневъ женился на дѣвицѣ Віарисъ въ Женевѣ, въ 1833 г., и прижилъ съ нею двухъ сыновей и дочь. Въ 1857-мъ году онъ въ первый разъ, въ 1859-мъ году во второй разъ посѣтилъ Россію — а въ 1864-мъ увидѣлъ ее снова съ чувствомъ Симеона, взывающаго: «Нынѣ отпущаеши!...» Ненавистное рабство наконецъ прекратилось! Благополучно царствующій Государь возвратилъ ему чины и дворянское достоинство; но если сердце старца было преисполнено чувствомъ благодарной любви къ Монарху, то, конечно, не столько за эту милость, которая въ глазахъ Тургенева была не что иное, какъ актъ правосудія, сколько за совершеніе, силой царскаго самодержавія, всѣхъ завѣтныхъ его надеждъ и мечтаній! Впрочемъ, вотъ собственныя его слова *):

«Если... я былъ такъ преданъ Александру Первому за одно его желаніе освободить крестьянъ, то каковы должны быть мои чувства къ Тому, кто совершилъ это освобожденіе, и совершилъ столь мудрымъ образомъ? Ни одинъ изъ освобожденныхъ не питаетъ въ душѣ болѣе любви и преданности къ освободителю, нежели сколько я питаю, видя наконецъ низвергнутымъ то зло, которое мучило меня въ продолженіе всей моей жизни!»

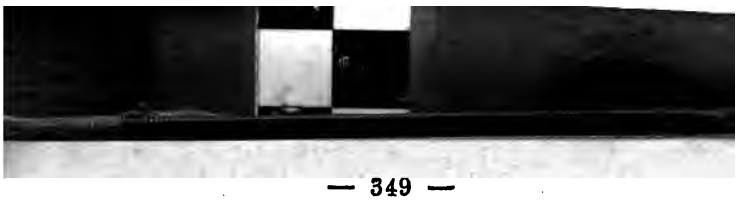
Въ 1871-мъ году Н. Тургеневъ скончался тихо, почти внезапно, безъ предварительной болѣзни. Два дня передъ тѣмъ, онъ еще, несмотря на свои 82 года, дѣлалъ прогулку верхомъ.

Н. И. Тургеневъ безустанно, со всѣмъ жаромъ юноши, со всѣмъ постоянствомъ мужа, слѣдилъ за всѣмъ, что совершалось въ Россіи хорошаго и дурного, радостнаго и печальнаго,—и отзывался, живымъ словомъ и печатной рѣчью, на всѣ жизненные вопросы нашего быта. Вотъ, по возможности, полный перечень изданныхъ имъ книгъ и брошюръ:

а) Опытъ Теоріи Налоговъ. 1818.
б) La Russie et les Russes (3 части). 1847.
в) La Russie en présence de la crise Européenne. 1848 **).
г) Пора! 1858.
д) О силѣ и дѣйствіи рескриптовъ 20-го ноября 1859.
е) Вопросъ освобожденія и вопросъ управленія крестьянъ. 1859.
ж) О судѣ крестьянъ и о судебной полиціи въ Россіи. 1860.
з) Un dernier mot sur l'émancipation des serfs. 1860.
и) О новомъ устройствѣ крестьянъ. 1861.
і) Взглядъ на дѣла Россіи. 1862. ***)
к) О разноплеменности населенія въ русскомъ государствѣ. 1866.
л) Отвѣтъ Е. Ковалевскому и на статью въ «Инвалидѣ». 1867.
м) Чего желать для Россіи? 1868.
н) О нравственномъ отношеніи Россіи къ Европѣ. 1869.

Сверхъ того, въ «Колоколѣ» было помѣщено письмо Н. Тургенева

*) „Чего желать для Россіи?“ Предисловіе, стр. XXVI—VII.
**) А не въ 1869-мъ году, какъ сказано въ некрологической статьѣ, помѣщенной въ „Голосѣ“. Въ этой брошюрѣ находится замѣчательное предсказаніе крымской войны.
***) Тутъ помѣщена, между прочимъ, и Записка 1819-го года.



къ А. И. Герцену. Онъ былъ также одинъ изъ основателей (въ 1854-мъ году) въ Парижѣ ассоціаціи подъ названіемъ: Всеобщій христіанскій союзъ (Alliance chrétienne universelle). Николай Ивановичъ, какъ и все его семейство, былъ проникнутъ глубоко-религіознымъ чувствомъ, не исключительно-фанатическимъ, но свободнымъ и широкимъ.

Скажемъ теперь нѣсколько словъ о немъ самомъ, объ его характерѣ. Есть отличное англійское выраженіе: «a single minded man, singleness of mind»,—которое какъ нельзя лучше опредѣляетъ самую сущность Н. И. Тургенева. Въ устахъ англичанъ эти выраженія звучатъ особой похвалой: они обозначаютъ ими не одну лишь неизмѣняемость, «*одинаковость*» убѣжденій, но и правдивость и искренность ихъ. Самъ Н. Тургеневъ говоритъ о себѣ — и съ полнымъ на то правомъ: «Я остался вѣренъ моимъ убѣжденіямъ. Мнѣнія мои никогда не перемѣнялись» (Русскій Загран. Сборникъ. Часть V-я, предисловіе). Существуетъ французское изреченіе:

«L'homme absurde est celui qui ne change jamais»...

но Н. Тургеневъ не страшился быть этимъ «homme absurde». Впрочемъ, не должно думать, чтобъ онъ оставался глухъ и слѣпъ передъ истиной; не отступая ни на шагъ отъ своихъ принциповъ, онъ готовъ былъ допустить различность способовъ къ ихъ примѣненію. Онъ слишкомъ былъ добросовѣстенъ, въ немъ слишкомъ было мало личнаго эгоизма и самомнѣнія, чтобъ не признать превосходства способа чужого передъ придуманнымъ имъ самимъ, когда это превосходство было ему доказано. Это случилось съ нимъ, напр., въ дѣлѣ крестьянскаго выкупа.

Не зная еще, какимъ образомъ разрѣшить его правительство, онъ предлагалъ уступить крестьянамъ безвозмездно одну треть всей земли, и на этомъ основаніи устроилъ въ 1859-мъ году, въ полученномъ имъ по наслѣдству имѣніи, добровольный раздѣлъ съ крестьянами. Они остались довольными — но это не помѣшало, однако, Николаю Ивановичу впослѣдствіи признать превосходство системы, введенной правительствомъ.

Эта «одинаковость» и всецѣлость убѣжденій придавала, конечно, Николаю Ивановичу нѣкоторую, если не исключительность, то односторонность... Но всѣ почти дѣльные умы—односторонни. Беллетристика и художество его интересовали мало: онъ былъ человѣкъ по преимуществу политическій, государственный, въ высокой степени одаренный чувствомъ равновѣсія и мѣры. Графъ Каподистріа, хорошій судья, отзывался о немъ, что онъ былъ бы государственнымъ человѣкомъ даже въ Англіи. Вмѣстѣ съ твердостью и неизмѣняемостью убѣжденій, въ душѣ Николая Ивановича жила несокрушимая любовь къ правосудію, къ справедливости, къ разумной свободѣ—и такая же ненависть къ угнетенію и кривосудію. Человѣкъ съ сердцемъ мягкимъ и нѣжнымъ, онъ презиралъ слабость, дряблость, страхъ передъ отвѣтственностью. Грубость, неуваженіе человѣческой личности, жестокость возмущали его несказанно. «Je hais cruellement la cruauté» — могъ онъ сказать вмѣстѣ съ Монтѣньемъ. Состраданіе ко всякому несчастью было тоже выдающеюся чертою его характера, и не пассивное состраданіе, а дѣятельное, почти ретивое; не было человѣка, который бы давалъ охотнѣе, щедрѣе и скорѣе. Онъ дѣйствительно, въ точномъ смыслѣ слова, приносилъ жертвы съ радостью, почти съ благодарностью тому,

кто доставлялъ ему случай приносить эти жертвы. На все великое, великодушное сердце его откликалось съ той силой чувства, съ тѣмъ порывомъ и пыломъ, которыхъ въ нашу эпоху какъ-то уже не встрѣчаешь! Подобно многимъ своимъ сверстникамъ, этотъ старикъ остался юноша душою, и трогательна и изумительна для всѣхъ насъ, столь рано устающихъ и столь слабо увлекающихся, — была свѣжесть и яркость впечатлѣній этого неутомимаго борца! Мы уже упомянули выше, говоря о чувствахъ его къ Государю, какъ горячо онъ умѣлъ любить тѣхъ, въ комъ видѣлъ благодѣтелей своей родины... Мы можемъ прибавить, что намъ рѣдко случалось видѣть нѣчто болѣе умилительное, какъ Н. Тургенева, предстоявшаго, съ бѣгущими по щекамъ слезами, въ церкви парижскаго посольства, во время молебна за Государя, въ день, когда пришло извѣстіе о появленіи манифеста 19-го февраля; рѣдко случалось слышать нѣчто болѣе искренно вырвавшееся изъ глубины растроганной души, какъ его восклицаніе: «Я не думалъ, чтобы послѣ Штейна я могъ полюбить кого-нибудь такъ, какъ я полюбилъ Николая Милютина!»

«Le trait caractéristique de la vie de l'être vraiment excellent à qui nous rendons les derniers devoirs» — справедливо сказалъ, на похоронахъ Н. Тургенева, г-нъ М. П., сорокалѣтній другъ его семейства:—«ce fut sa persévérante et inébranlable fidélité, son ardent et infatigable dévouement à toutes les causes justes et humaines. Toutes et partout lui tenaient à coeur... Ce qu'un apôtre disait jadis: «Où souffre-t-on que je ne souffre, où se réjouit-on que je ne me réjouisse?»—N. Tourguéneff le pouvait dire aussi. Qui ne l'a surpris. et souvent, pleurant d'indignation au récit d'une iniquité, ou pleurant de joie, comme d'un bonheur personnel, au spectacle d'une délivrance?»

Прибавимъ еще нѣсколько словъ о немъ.

Несмотря на многолѣтнее пребываніе за границей, Н. И. Тургеневъ остался русскимъ человѣкомъ съ ногъ до головы—и не только русскимъ,—московскимъ человѣкомъ. Эта коренная русская суть выражалась во всемъ: въ пріемѣ, во всѣхъ движеніяхъ, во всей повадкѣ, въ самомъ выговорѣ французскаго языка—о русскомъ языкѣ уже и упоминать нечего. Бывало, находясь подъ кровомъ этого радушнаго, гостепріимнаго хозяина-хлѣбосола — (онъ жилъ на большую ногу— извѣстно, что братъ его, Александръ Ивановичъ, сохранилъ ему все его состояніе) — слушая его нѣсколько тяжеловатую, но всегда искреннюю, толковую и честную рѣчь, ты невольно удивлялся, что почему ты сидишь передъ каминомъ, въ убранномъ по иностранному кабинетѣ, а не въ теплой и просторной гостиной старозавѣтнаго московскаго дома, гдѣ-нибудь на Арбатѣ или на Пречистенкѣ, или на той же Моросейкѣ, гдѣ Н. Тургеневъ провелъ свою первую молодость? Онъ говорилъ охотно; но всѣ мысли его до того были обращены на современное или на будущее, что о прошедшемъ онъ распространялся мало; а о своемъ собственномъ прошедшемъ — уже вовсе никогда. Никогда изъ устъ его не исходило жалобы; отсутствіе личной озабоченности, личной требовательности привлекало къ нему сердца домашнихъ, друзей, самихъ слугъ. Вотъ ужъ про него нельзя было сказать, что онъ «хвалитель старины»—laudator temporis acti. Всякое извѣстіе съ родины подхватывалось имъ на лету: онъ слушалъ разсказы о ней съ жадностью, съ страстнымъ увлеченіемъ; онъ вѣрилъ въ нее, въ нашъ народъ, въ наши силы, въ наше будущее, въ наши дарованія. «Какъ теперь стали писать!» говаривалъ онъ, бывало, указывая иногда на довольно обыкновенную, но благонамѣрен-

ную — и главное! — независимую журнальную статью. За то, ничто такъ не возмущало его, какъ извѣстіе о несправедливости, совершенной въ нашемъ пространномъ отечествѣ. Она казалась ему анахронизмомъ въ царствованіе Александра Второго. Онъ не допускалъ ея, онъ волновался, онъ горячился, онъ гнѣвался «праведнымъ гнѣвомъ»—his righteous anger — какъ выразилась про него одна знакомая англичанка; онъ негодовалъ, быть-можетъ, даже болѣе чѣмъ тѣ, которыхъ эта несправедливость самихъ постигла. — Изгнанникъ, постоянный житель Франціи, онъ былъ патріотомъ по преимуществу... Въ польскомъ вопросѣ, въ вопросѣ объ остзейскомъ краѣ патріотизмъ этотъ выказывался, быть-можетъ, даже съ излишней рѣзкостью... *)

И такому-то, вполнѣ русскому человѣку суждено было и жить, и умереть за границей!

Но не будемъ слишкомъ жалѣть о немъ... Воодушевимся скорѣй его примѣромъ! Примѣръ человѣка, неуклонно преданнаго тому, что онъ призналъ за правду, полезенъ и нуженъ всѣмъ намъ, русскимъ!— Изъ возможныхъ благъ, доступныхъ людямъ, многія достались на его долю: онъ вкусилъ вполнѣ счастье семейной жизни, преданной дружбы; онъ узрѣлъ, онъ осязалъ исполненіе своихъ завѣтнѣйшихъ думъ... Будемъ надѣяться, что и для тѣхъ изъ нихъ, которыя еще не исполнились, и которымъ онъ посвятилъ свой послѣдній трудъ — современемъ также настанетъ чередъ, и что свершеніе ихъ обрадуетъ его хотя въ могилѣ новою зарею счастья, которое оно принесетъ столь любимому имъ русскому народу!

Память его останется навсегда драгоцѣнной для всѣхъ, кто зналъ его; но и Россія не забудетъ одного изъ лучшихъ своихъ сыновъ.

Парижъ.
17/29 ноября, 1871.

III.—Графъ А. К. Толстой.

Письмо къ редактору «Вѣстника Европы».

Буживаль (возлѣ Парижа), 5-го (17) октября 1875.

Любезнѣйшій М. М., — третьяго дня вечеромъ получилъ я вашу телеграмму: горестной скорбью наполнила она мое сердце.— Я зналъ и прежде, что Толстому не суждено было долго жить на землѣ: не далѣе какъ три мѣсяца тому назадъ, его докторъ въ Карлсбадѣ сказывалъ мнѣ, что нашему бѣдному другу не просуществовать и года; но трудно сразу примириться даже съ ожиданной потерей, особенно съ потерей такого человѣка, каковъ былъ Толстой. — Я далекъ отъ намѣренія представить теперь же его полную оцѣнку, опредѣлить его мѣсто и значеніе въ современной русской словесности: это — дѣло будущихъ его біографовъ;— мнѣ хочется только высказать нѣсколько мыслей, внушенныхъ воспоминаніемъ о симпатической личности отошедшаго въ вѣчность поэта.

Я сказалъ:—поэта. Да; онъ былъ имъ несомнѣнно, вполнѣ, всѣмъ существомъ своимъ: онъ былъ рожденъ поэтомъ — а это въ наше время, вездѣ — и пуще всего въ Россіи—большая рѣдкость. Однимъ этимъ словомъ опредѣляется поколѣніе, къ которому онъ принадлежалъ—(извѣстно, что у насъ, въ нынѣшнее время, *молодыхъ* поэтовъ

*) За часъ до смерти онъ читалъ 3-й томъ „Окраинъ Россіи“ г. Самарина.

не имѣется) опредѣляются также его убѣжденія, его сердечныя наклонности, всѣ его безкорыстныя и искреннія стремленія.— Положеніе Толстого въ обществѣ, его связи открывали ему широкій путь ко всему тому, что такъ цѣнится большинствомъ людей; — но онъ остался вѣренъ своему призванію—поэзіи, литературѣ;—онъ не могъ быть ничѣмъ инымъ, какъ только именно тѣмъ, чѣмъ создала его природа: онъ имѣлъ всѣ качества, свойства, весь пошибъ литератора, въ лучшемъ значеніи слова. Не будучи одаренъ той силой творчества, тѣмъ богатствомъ фантазіи, которыя присущи первоклассныхъ талантамъ, Толстой обладалъ въ значительной степени тѣмъ, что одно даетъ жизнь и смыслъ художественнымъ произведеніямъ—а именно: собственной, оригинальной и въ то же время очень разнообразной физіономіей; онъ свободно, мастерской рукою распоряжался роднымъ языкомъ, лишь изрѣдка поддаваясь то искушеніямъ виртуозности — желанію пощеголять архаическими—правда, иногда весьма счастливыми—оборотами; то другимъ, мгновеннымъ соображеніемъ, въ сущности чуждымъ, какъ вообще все политическое,—его сердцу и уму.— Онъ оставилъ въ наслѣдство своимъ соотечественникамъ прекрасные образцы драмъ, романовъ, лирическихъ стихотвореній, которые — въ теченіе долгихъ лѣтъ — стыдно будетъ не знать всякому образованному русскому; онъ былъ создателемъ новаго у насъ литературнаго рода — исторической баллады, легенды; на этомъ поприщѣ онъ не имѣетъ соперниковъ — и въ послѣдней изъ нихъ, помѣщенной въ октябрьскомъ № «Вѣстника Европы» (въ день извѣстія о его смерти!),—онъ достигаетъ почти Дантовской образности и силы. — Наконецъ—и какъ бы въ подтвержденіе сказаннаго выше о многосторонности его дарованія, — кто же не знаетъ, что въ его строго-идеальной натурѣ была свѣжимъ ключомъ струя неподдѣльнаго юмора—и что графъ А. К. Толстой, авторъ «Смерти Іоанна Грознаго» и «Князя Серебрянаго»—былъ въ то же время однимъ изъ творцовъ памятнаго всѣмъ «Кузьмы Пруткова»?

Вотъ поэтъ, котораго мы лишились—и который, при теперешнемъ направленіи умовъ, едва ли скоро будетъ замѣненъ. И пусть тѣ молодые люди, которымъ эти строки попадутся на глаза, не пожимаютъ плечами и не думаютъ, что эта утрата преувеличена мною; смѣю увѣрить ихъ, что проложить и оставить за собою слѣдъ будетъ современемъ въ состояніи только тотъ, кто пойметъ и признаетъ эту утрату...

Я попытался набросить нѣсколько чертъ физіономіи Толстого, какъ поэта; что сказать о немъ, какъ о человѣкѣ?—Всѣмъ, знавшимъ его, хорошо извѣстно, какая это была душа, честная, правдивая, доступная всякимъ добрымъ чувствамъ, готовая на жертвы, преданная до нѣжности, неизмѣнно вѣрная и прямая. «Рыцарская натура» — это выраженіе почти неизбѣжно приходило всѣмъ на уста при одной мысли о Толстомъ; я бы позволилъ себѣ употребить другой, въ наше время нѣсколько заподозрѣнный—но прекрасный, и въ данномъ случаѣ самый умѣстный—эпитетъ. Натура гуманная, глубоко гуманная!— вотъ что былъ Толстой — и какъ у всякаго истиннаго поэта, жизнь котораго неуклонно переливается въ его творчество — эта гуманная натура Толстого сквозитъ и дышитъ во всемъ, что онъ написалъ.

Мнѣ бы не хотѣлось кончить это письмо чѣмъ-нибудь касающимся до моей личности; но передъ этой еще свѣжей могилой чувство благодарности заставляетъ умолкнуть всѣ другія: графъ А. К. Толстой былъ однимъ изъ главныхъ лицъ, способствовавшихъ прекращенію

изгнанія, на которое я былъ осужденъ въ самомъ началѣ пятидесятыхъ годовъ.

Миръ праху твоему, незабвенный русскій человѣкъ и русскій поэтъ!..

Я знаю, что вы глубоко сочувствуете нашему общему горю—и въ силу этого сочувствія крѣпко и дружески жму вашу руку.—Преданный вамъ—И. Т.

1875 г.

IV.—С. К. Брюллова, урожд. Кавелина.

Изъ письма въ редакцію «Вѣстника Европы».

... Какъ громомъ меня поразило извѣстіе о кончинѣ С. К. Брюлловой. Я никакъ не могу примириться съ мыслію, что такое прекрасное, умное, милое, исполненное юныхъ силъ существо—съ такой безжалостно-грубой внезапностью выхвачено изъ среды живыхъ и унесено въ нѣмую бездну. Точно у насъ много подобныхъ женщинъ—и щадить ихъ нечего!

Въ одномъ изъ некрологовъ покойной я прочелъ описаніе впечатлѣнія, произведеннаго на меня Софьей Константиновной (тогда еще Кавелиной) — на педагогическомъ диспутѣ, въ С.-Петербургѣ. — Да! это былъ незабвенный для меня вечеръ. — Молоденькая, небольшого росту, дѣвушка въ простомъ сѣренькомъ платьицѣ, съ бѣлымъ платочкомъ на шеѣ, съ назадъ зачесанными недлинными русыми волосами, говорила почти еще дѣтскимъ голосомъ такъ умно и увлекательно, возражала такъ дѣльно, выказывала такое разнообразное знаніе своего предмета, такія энциклопедическія свѣдѣнія, — что всѣ слушатели—(а ихъ собралось много на этотъ диспутъ) — были поражены — скажу прямо: очарованы. Нѣсколько довѣрчивыя, снисходительныя улыбки, которыми ее встрѣтили сначала — скоро приняли другое выраженіе—выраженіе удивленія и вниманія. — Дѣвушка не была красавицей; но болѣе миловиднаго, симпатическаго лица представить нельзя: нѣжно-бѣлый лобъ свѣтился умомъ и чуткостью мысли, та же живая мысль играла въ глазахъ, звучала въ голосѣ; все ея существо было не то, что напряженно—а сильно и весело оживлено... и какая простота при этомъ, какая душевная стройность и ясность!— Вы бы не назвали этой дѣвушки ни скромной, ни смѣлой: оба эти слова не шли къ ней... но вы чувствовали: хорошая, честная, въ лучшемъ смыслѣ—образованная личность появилась передъ вами и охотно сообщалась вамъ.—Дѣло шло о способахъ преподаванія исторіи: Софья Константиновна была тысячу разъ права въ томъ, что она защищала:—но въ самыхъ ударахъ, наносимыхъ ею противнику,— было столько граціи — и не элегантно-самоувѣренной, на французскій ладъ—а добродушно-русской, почти невинной, безсознательной... Я коротко зналъ, любилъ и уважалъ ея отца... это былъ старинный пріятель и сотрудникъ... радостно поздравлялъ я его съ такою дочерью... Могъ ли я предвидѣть, что ему придется хоронить ее!

Мнѣ потомъ довольно часто приходилось бесѣдовать съ Софьей Константиновной; иногда я вступалъ съ нею въ споръ. — Но всякій разъ я уносилъ съ собою убѣжденіе, что въ ней воплотился одинъ изъ лучшихъ нашихъ женскихъ типовъ. Въ каждомъ ея словѣ, взглядѣ, движеніи высказывалась душа свободная—свободная прежде всего!—

чуждая всему мелкому, низкому, узкому, дѣятельная, трудолюбивая: всегда готовая помочь, принести пользу, кроткая при всей энергіи, веселая при всей глубинѣ натуры.—И какъ она умѣла любить! какъ ее любили!—Да; такая потеря безвозвратна и безутѣшна... Подумайте одно: оплакивая раннюю кончину этой 25-ти-лѣтней женщины, можно безъ преувеличенія сказать, что въ ея лицѣ изученіе, преподаваніе исторіи у насъ на Руси понесли значительную утрату.

Парижъ. 19 (31) октября 1877.

V.—Циркулярное письмо И. С. Тургенева, съ «Проектомъ программы Общества для распространенія грамотности и первоначальнаго образованія» (1860 г.).

Циркулярно.—Андрею Александровичу Краевскому и Алексѣю Дмитріевичу Галахову.

Мм. Гг. Изъ прилагаемаго при семъ проекта программы «Общества для распространенія грамотности и первоначальнаго образованія»—вы усмотрите цѣль моего письма къ вамъ. Эта программа составлена при участіи и съ согласія нѣсколькихъ русскихъ, случайно съѣхавшихся въ одномъ заграничномъ городѣ—и представляетъ только первоначальныя черты будущаго устройства Общества. Надѣюсь, что вы одобрите мысль, которая лежитъ ей въ основаніи, и захотите посвятить ей и собственныя размышленія, и бесѣды съ друзьями. Я бы почелъ себя счастливымъ, если бы ко времени моего возвращенія въ Россію (весной 1861 года), предлагаемая мысль получила обработку, достаточную для приведенія ея въ исполненіе. Обращаясь къ вамъ, я не нуждаюсь въ громкихъ словахъ: я и безъ того увѣренъ, что вы охотно согласитесь принять участіе въ дѣлѣ подобной важности, или, по крайней мѣрѣ, выразите свое воззрѣніе на него. Я увѣренъ также, что вы не откажетесь распространять списки прилагаемой программы. Предпріятіе наше касается всей Россіи; намъ нужно знать, по возможности, мнѣніе всей Россіи, о чемъ съ искренней благодарностью получилъ бы я всякое возраженіе или замѣчаніе. Мой адресъ: Парижъ, poste restante.—Остаюсь съ сердечнымъ и полнымъ уваженіемъ, преданный вамъ—

И. Тургеневъ.

Парижъ, 15 сентября 1860 г.

ПРОЕКТЪ

программы «Общества для распространенія грамотности и первоначальнаго образованія».

Есть факты, очевидная полезность которыхъ до того несомнѣнна, что не нуждается ни въ какихъ доказательствахъ. Къ такимъ фактамъ принадлежитъ необходимость распространенія грамотности и элементарныхъ общеполезныхъ свѣдѣній въ Россіи. Эта необходимость чувствуется всѣми: и правительствомъ, которое, между прочими заботами, клонящимися къ просвѣщенію нашего отечества, печется также о распространеніи грамотности въ полкахъ, и частными людьми, заводящими школы — воскресныя, городскія и сельскія, и другими лицами, занимающимися изданіемъ дешевыхъ книгъ и сбор-

никовъ для народа. Всѣ эти стремленія благотворны и достойны полнаго сочувствія: но они разрознены, часто неясны, не имѣютъ достаточнаго обезпеченія—ни вещественнаго, ни нравственнаго — а потому слабы и подвержены всѣмъ невыгодамъ случайныхъ стремленій. Намъ кажется, что настало время собрать воедино, направить къ опредѣленной, ясной цѣли всѣ эти отдѣльныя силы, замѣнить частныя, всегда болѣе или менѣе неудовлетворительныя попытки совокупнымъ, обдуманнымъ дѣйствіемъ всѣхъ образованныхъ русскихъ людей—однимъ словомъ, свести въ это благое дѣло могущество единодушныхъ дружныхъ усилій и свѣтосознательной мысли. Проникнутые этимъ убѣжденіемъ, мы предлагаемъ основать «Общество для распространенія грамотности и первоначальнаго образованія».

Мы твердо уповаемъ на разумный привѣтъ со стороны всѣхъ сословій нашего народа, а также на сочувствіе и покровительство самого правительства. Мы являемся передъ нимъ въ видѣ его помощниковъ въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія, мы желаемъ придать устройство и организацію разрозненнымъ, часто ему самому неизвѣстнымъ общественнымъ силамъ; мы подвергаемъ ихъ и себя его постоянному контролю. Обучая грамотности тѣхъ самыхъ людей, которыхъ оно освобождаетъ, мы продолжаемъ его дѣло, мы такъ же освобождаемъ ихъ отъ другого рабства—отъ рабства невѣжества.

Прежде всего мы должны объявить, что наше общество не имѣетъ и не можетъ имѣть цѣлью воспитаніе народа: такое дѣло превышаетъ силы какого бы то ни было общества. Мы не имѣемъ подобныхъ притязаній; мы намѣрены строго ограничиться однимъ первоначальнымъ, элементарнымъ обученіемъ; мы желаемъ распространенія грамотности въ тѣсномъ ея смыслѣ. Заводить какъ можно болѣе школъ—пропускать какъ можно болѣе лицъ сквозь эти школы — и, прибавимъ,— въ наивозможно кратчайшее время (что, конечно, никакъ не должно мѣшать основательности получаемыхъ свѣдѣній) — вотъ въ чемъ должна состоять задача нашего общества. Другими словами: мы должны стараться развести какъ можно болѣе лицъ, умѣющихъ читать, писать, знающихъ Законъ Божій, первыя правила ариѳметики и имѣющихъ самыя первоначальныя свѣдѣнія въ исторіи и географіи. Для достиженія этой цѣли, общество:

a) само заводитъ школы;

b) входитъ въ сношенія со всѣми лицами, желающими заводить школы; предлагаетъ имъ свое дѣятельное участіе (въ особенныхъ, комитетомъ общества опредѣляемыхъ случаяхъ, помогаетъ денежными пособіями), сообщаетъ имъ по возможно-уменьшеннымъ цѣнамъ необходимыя руководства, а также всѣ добытыя опытомъ педагогическія и экономическія свѣдѣнія;

c) само издаетъ эти руководства, а также и другія сочиненія для первоначальнаго чтенія, перечень которыхъ будетъ представленъ ниже;

d) издаетъ «Ежемѣсячный Вѣстникъ», который, помѣщая на своихъ страницахъ предложенія и пожертвованія членовъ, ихъ поименный списокъ, отчетъ о школахъ, объявленія о новыхъ изданіяхъ и мѣрахъ—словомъ, ограничиваясь преимущественно одними статистическими данными, касающимися дѣла распространенія грамотности, будетъ служить какъ бы официальнымъ органомъ дѣятельности общества *), и—

*) Время покажетъ, полезно ли будетъ основать въ этомъ „Вѣстникѣ Общества" отдѣлъ, посвященный научной разработкѣ вопросовъ, касающихся первоначальнаго обученія.

распространенія грамотности, всѣ подобные вопросы будутъ
ботаны съ надлежащею зрѣлостью; ничего не будетъ оставле
вниманія; мы воспользуемся и богатствами другихъ странъ,
дившихъ насъ на поприщѣ общественной педагогики, и труда
ственныхъ ученыхъ, на дѣятельное содѣйствіе которыхъ мы
разсчитываемъ. Мы полагаемъ, однако, нужнымъ теперь же
на этотъ принципъ, которому наше общество будетъ слѣдов
изданіи элементарныхъ книгъ, о которыхъ было говорено
необходимость которыхъ бросается въ глаза каждому. Необхо
ота подтверждается, между прочимъ, цѣлымъ рядомъ неуда
иногда даже вредныхъ попытокъ народныхъ изданій; отсутст
ній, опредѣленной цѣли, отсутствіе правильно-проведенной с
не могло привести къ доброму результату: за такое дѣло с
браться осмотрительно и сообща. Нечего и говорить, что сост
изданій общества будетъ поручено нашимъ лучшимъ дѣяте
подвергнуто возможно-строгой оцѣнкѣ. Мы будемъ постоянно
въ виду, что наши изданія назначаются исключительно для
желающихъ обучиться грамотѣ, и для людей, только что обучи
ей; а потому они должны быть:

a) Многочисленны, по мѣрѣ возможности, дешевы, всюду
кому доступны.

b) Они и содержаніемъ, и изложеніемъ своимъ, должны с
ствовать степени развитія того народнаго слоя, для котор
назначены. Едва ли слѣдуетъ упоминать о совершенной неу
сти въ нихъ всякаго прибауточнаго и сказочнаго тона: съ на
должно обращаться искренно, честно и съ полнымъ уваженіе

c) Наконецъ, самая цѣль нашего общества ограничивает
число предметовъ, которымъ будутъ посвящены наши издані
речень ихъ слѣдующій: азбука; грамота (въ смыслѣ писанія
ментарныя начертанія—законодательства русскаго относительн
и обязанностей состояній, ариѳметики, географіи, естеств
наукъ, технологіи по всѣмъ ея отраслямъ, земледѣлія и скотов

заранѣе невозможность какихъ-либо отступленій отъ этого перечня— было бы неумѣстнымъ; но принципъ долженъ быть сохраненъ.

О кабинетахъ для чтенія и устройствѣ ихъ теперь распространяться не для чего: они предвидятся только при дальнѣйшемъ развитіи общества.

Считаемъ нужнымъ сказать здѣсь нѣсколько словъ въ предупрежденіе возможныхъ возраженій насчетъ излишней обширности нашей программы, а именно насчетъ соединенія школьнаго дѣла съ дѣломъ изданія элементарныхъ книгъ.

Въ нашихъ глазахъ заведеніе школъ стоитъ на первомъ планѣ въ вопросѣ народнаго просвѣщенія, а изданіе элементарныхъ книгъ является уже какъ необходимое ему подспорье; на неподготовленной почвѣ не взойдутъ и лучшія сѣмена. Намъ прежде всего предстоитъ создать читателей, а потомъ дать имъ возможность продолжать свое образованіе. Заведеніе элементарныхъ школъ своимъ, такъ сказать, первобытнымъ, не литературнымъ, а чисто общественнымъ и нравственнымъ характеромъ, привлечетъ къ намъ всѣхъ желающихъ блага Россіи, возбудитъ благородное соревнованіе во многихъ умахъ, не находившихъ доселѣ поприща для своей дѣятельности. Правительство будетъ несомнѣнно сочувствовать нашимъ яснымъ и простымъ цѣлямъ: вспомнимъ, что ни одно изъ европейскихъ правительствъ не могло, именно въ дѣлѣ элементарнаго образованія, обойтись безъ содѣйствія частныхъ обществъ; вспомнимъ также и то, что наше правительство, въ инструкціяхъ г. министра внутреннихъ дѣлъ по поводу освобожденія крестьянъ, прямо поставило на видъ дворянству пользу и необходимость заведенія частныхъ школъ. Повторяемъ: программа наша не страдаетъ излишнею обширностью. Дѣятельность общества проникнута одною мыслью и,—выражаясь двояко: заведеніемъ школъ и изданіемъ элементарныхъ книгъ,—стремится къ единой цѣли, которой тѣмъ самымъ вѣрнѣе достигаетъ.

Мы переходимъ къ бѣглому изложенію способовъ осуществленія общества. Матеріальныя средства, на которыя оно должно открыться, будутъ состоять изъ ежегодныхъ взносовъ членовъ и добровольныхъ пожертвованій. Общество намѣрено отстранить совершенно систему выбора въ члены: всякій, вносящій minimum опредѣленной платы (мы предлагаемъ 3 руб. сер. въ годъ), тѣмъ самымъ дѣлается членомъ общества; сверхъ того, оно приглашаетъ къ соучастію всѣ сословія Россіи безъ исключенія, отъ крестьянина до богатаго и знатнаго человѣка, и даже можетъ считать въ числѣ своихъ членовъ цѣлыя сельскія общины, если бы онѣ пожелали числиться между его соучастниками подъ своимъ собирательнымъ именемъ. Какъ на особенную честь для себя, будетъ смотрѣть общество, если русскія женщины всѣхъ классовъ соблаговолятъ принять на себя званіе его членовъ.

Извѣстное количество лицъ (мы предлагаемъ 80), объявившихъ свое согласіе на участіе въ обществѣ, уже достаточно для открытія его.

Остается важный пунктъ, именно — образованіе центральнаго комитета, на который возложено будетъ исполненіе предначертаній общества. Здѣсь представляется необходимость двоякихъ мѣръ и правилъ: а) для первоначальнаго существованія комитета, съ исключительной цѣлью—устроить возникающее общество и составить инструкціи для послѣдующихъ комитетовъ съ одобренія общаго собранія членовъ; и б) для постояннаго его дѣйствія. Въ первомъ случаѣ мѣры и правила могутъ быть изложены довольно кратко:

Принимая во вниманіе, что центральное управленіе общества должно непремѣнно находиться въ С.-Петербургѣ, какъ въ мѣстѣ наиболѣе удобномъ для полученія административныхъ статистическихъ и другихъ свѣдѣній, и принимая тоже во вниманіе великую важность, которую имѣетъ и старая наша столица въ дѣлѣ народнаго образованія, программа наша предполагаетъ соединить въ одномъ спискѣ 80 именъ, принадлежащихъ извѣстнымъ дѣятелямъ обоихъ городовъ. При этомъ, намъ кажется, не можетъ быть и помина о какомъ-либо самопроизвольномъ выборѣ съ чьей-либо стороны 80 именъ; по 40 въ каждомъ городѣ будутъ указаны общественнымъ мнѣніемъ, ихъ репутаціей и собственнымъ согласіемъ на участіе въ обществѣ. Затѣмъ предоставляется той и другой столицѣ, въ частныхъ собраніяхъ своихъ, избрать по 8 лицъ изъ сказанныхъ 80 членовъ, и избранные такимъ образомъ 16 человѣкъ составятъ первоначальный комитетъ, засѣдающій, какъ и всѣ послѣдующіе комитеты, непремѣнно въ С.-Петербургѣ. Затѣмъ уже новосоставленный центральный комитетъ избираетъ изъ среды своей, по большинству голосовъ, предсѣдателя, секретаря, кассира и т. п. Существованіе какъ первоначальнаго, такъ и послѣдующихъ комитетовъ, не должно превышать одного года, хотя лица, составляющія комитетъ, могутъ быть каждый разъ вновь избираемы.

Но при развитіи общества уже простое чувство справедливости показываетъ, что привилегія избирать членовъ въ центральный комитетъ не можетъ быть предоставлена исключительно ни Петербургу, ни Москвѣ, а должна принадлежать въ равной степени всѣмъ членамъ общества, на какихъ бы концахъ Россіи они ни находились. Вопросъ такимъ образомъ усложняется, и сыскать мѣру для разрѣшенія его становится нѣсколько труднѣе. Мы предлагаемъ слѣдующій способъ:

Не всякій членъ, сочувствующій цѣли общества, можетъ принять на себя званіе члена комитета, ибо это званіе требуетъ многихъ жертвъ, какъ-то: обязательнаго пребыванія въ Петербургѣ въ продолженіе года и отдачи своего времени и своей дѣятельности на безвозмездное, въ матеріальномъ смыслѣ, служеніе обществу. Съ другой стороны, не всякій членъ, желающій воспользоваться правомъ выбора, имѣетъ возможность наименовать 16 лицъ, соединяющихъ условія, необходимыя для комитетской дѣятельности. Вотъ почему наша программа, признавая право выбора въ комитетъ за всѣми членами общества по всей Россіи, считаетъ наиболѣе удобнымъ положить слѣдующія правила, облегчающія самый этотъ выборъ: всѣ тѣ лица, которыя находятся въ положеніи, дозволяющемъ имъ принять на себя обязанность комитетскаго члена, имѣютъ объявить себя кандидатами на это званіе, присылая имена свои, за три мѣсяца до выборовъ въ С.-Петербургъ, гдѣ они будутъ напечатаны въ «Вѣстникѣ Общества» и распубликованы по всей Россіи. Такимъ образомъ, съ одной стороны, будетъ открыта дорога для всѣхъ и сохранено равенство правъ, а съ другой стороны, будетъ отстранена возможность выбора въ комитетъ лицъ, хотя бы и весьма достойныхъ, но не могущихъ по положенію своему, подчиниться обязанностямъ, сопряженнымъ съ званіемъ комитетскаго члена; ибо всѣ члены общества, объявившіе себя кандидатами, тѣмъ самымъ объявили готовность принять на себя эти обязанности. Съ помощью вышеозначеннаго списка, члены общества, разсѣянные по всей Россіи, будутъ имѣть готовый матеріалъ для произведенія выборовъ и къ назначенному сроку мо-

гутъ присылать имена своихъ кандидатовъ въ Петербургъ, гдѣ присланные голоса разбираются не иначе какъ въ общемъ собраніи общества. Въ публичномъ затѣмъ засѣданіи провозглашаются имена 16 лицъ, получившихъ большинство голосовъ. Комитетъ, составленный этимъ способомъ, можетъ, кажется, служить самымъ вѣрнымъ выраженіемъ общихъ желаній всѣхъ членовъ общества. Нечего опасаться, что немногіе пожелаютъ внести свои имена въ этотъ списокъ: состоять въ комитетѣ не есть преимущество, а услуга, жертва,— русскіе люди ни отъ того, ни отъ другого не отказываются.

Общія собранія для повѣрки дѣйствій комитета и для выслушанія его отчетовъ созываются ежегодно, въ день основанія общества.

Въ первомъ общемъ собраніи будутъ разсмотрѣны инструкціи, составленныя первоначальнымъ комитетомъ.

Комитетъ имѣетъ право, въ случаѣ необходимости, созывать и экстренныя собранія, объявивъ предварительно вопросы, которые онъ желаетъ подвергнуть общему обсужденію.

Дальнѣйшія подробности, какъ-то: о подраздѣленіи комитета на комиссіи, объ отношеніи къ обществу его агентовъ, находящихся по губерніямъ, и т. д. и т. д., предоставляется опредѣлить уставу.

NB. Всякаго рода возраженія или замѣчанія на этотъ проектъ съ благодарностью будутъ приняты по слѣдующимъ двумъ адресамъ:

Ивану Сергѣевичу Тургеневу, въ Парижъ, poste restante;

Павлу Васильевичу Анненкову, въ С.-Петербургѣ, въ Демидовскомъ переулкѣ, въ домѣ Висконти.

«Вѣстникъ Европы». 1884, май.

VI.—Встрѣча моя съ Бѣлинскимъ.

(Письмо къ Н. А. Основскому).

Я познакомился съ Бѣлинскимъ въ концѣ 1842 года, въ С.-Петербургѣ. Онъ жилъ тогда въ домѣ Лопатина, у Аничкова моста. Меня привелъ къ нему нашъ общій знакомый З.—Я много слышалъ о немъ и очень желалъ познакомиться съ нимъ, хотя нѣкоторыя его статьи, написанныя имъ въ предыдущемъ (1841) году, возбудили во мнѣ недоумѣніе. Я увидѣлъ человѣка небольшого роста, сутуловаго, съ неправильнымъ, но замѣчательнымъ и оригинальнымъ лицомъ, съ нависшими на лобъ бѣлокурыми волосами и съ тѣмъ суровымъ и безпокойнымъ выраженіемъ, которое такъ часто встрѣчается у застѣнчивыхъ и одинокихъ людей; онъ заговорилъ и закашлялъ въ одно и то же время, попросилъ насъ сѣсть и самъ торопливо сѣлъ на диванъ, бѣгая глазами по полу и перебирая табакерку въ маленькихъ и красивыхъ ручкахъ. Одѣтъ онъ былъ въ старый, но опрятный байковый сюртукъ, и въ комнатѣ его замѣчались слѣды любви къ чистотѣ и порядку. Бесѣда началась. Сначала Бѣлинскій говорилъ довольно много и скоро, но безъ одушевленія, безъ улыбки, какъ-то криво приподнимая верхнюю губу, покрытую подстриженнымъ усомъ; онъ выражался общими, принятыми въ то время въ литературномъ кругу, мѣстами, отозвался съ пренебреженіемъ о двухъ-трехъ извѣстныхъ лицахъ и изданіяхъ, о которыхъ и упоминать бы не стоило; но онъ понемногу оживился, поднялъ глаза, и все лицо его преобразилось. Прежнее суровое, почти болѣзненное выраженіе замѣнилось другимъ: открытымъ, оживленнымъ и свѣтлымъ; привлекательная

улыбка заиграла на его губахъ и засвѣтилась золотыми искорками въ его голубыхъ глазахъ, красоту которыхъ я только тогда и замѣтилъ. Бѣлинскій самъ навелъ рѣчь на это настроеніе, подъ вліяніемъ котораго онъ написалъ свои прошлогодніе статьи, особенно одну изъ нихъ и, съ безжалостной, съ преувеличенной рѣзкостью осудивъ ихъ, какъ дѣло прошлое и темное, беззастѣнчиво высказалъ переломъ, совершившійся въ его убѣжденіяхъ. — Я съ намѣреніемъ употребилъ слово: беззастѣнчиво. Бѣлинскій не вѣдалъ той ложной и мелкой щепетильности эгоистическихъ натуръ, которыя не въ силахъ сознаться въ томъ, что онѣ ошиблись, потому что имъ ихъ собственная непогрѣшимость и строгая послѣдовательность поступковъ, часто основанныя на отсутствіи или бѣдности убѣжденій, дороже самой истины. Бѣлинскій былъ самолюбивъ, но себялюбія, но эгоизма въ немъ и слѣда не было; собственно себя онъ ставилъ ни во что: онъ, можно сказать, простодушно забывалъ о себѣ передъ тѣмъ, что признавалъ за истину; онъ былъ живой человѣкъ,—шелъ, падалъ, поднимался и опять шелъ впередъ какъ живой человѣкъ. Спѣшу прибавить, что падалъ онъ только на пути умственнаго развитія: другихъ паденій онъ не испытывалъ и испытать не могъ, потому что нравственная чистота этого—какъ выражались его противники (гдѣ они теперь!)—«*цинника*» была поистинѣ изумительна и трогательна; знали о ней только близкіе его друзья, которымъ была доступна внутренность храма.

Бѣлинскій всталъ съ дивана и началъ расхаживать по комнатѣ, понюхивая табачокъ, останавливаясь, громко смѣясь каждому, малѣйшему острому слову, своему и чужому. Должно сказать, что собственно блеску въ его рѣчахъ не было: онъ громко повторялъ однѣ и тѣ же шутки, не совсѣмъ даже замысловатыя; но когда онъ былъ въ ударѣ и умѣлъ сдерживать свои нервы (что ему не всегда удавалось: онъ иногда увлекался и кричалъ), не было возможно представить человѣка болѣе краснорѣчиваго, въ лучшемъ, въ русскомъ смыслѣ этого слова: тутъ не было ни такъ-называемыхъ цвѣтовъ, ни подготовленныхъ эффектовъ, ни искусственнаго запинанія, ни даже того опьяненія собственнымъ словомъ, которое иногда принимается и самимъ говорящимъ, и слушателями за «настоящее дѣло»;— это было неудержимое изліяніе нетерпѣливаго и порывистаго, но свѣтлаго и здраваго ума, согрѣтаго всѣмъ жаромъ чистаго и страстнаго сердца и руководимаго тѣмъ тонкимъ и вѣрнымъ чутьемъ правды и красоты, котораго почти ничѣмъ не замѣнишь. Бѣлинскій былъ именно тѣмъ, что мы бы рѣшились назвать центральной натурой: то-есть, онъ всѣми своими качествами и недостатками стоялъ близко къ центру, къ самой сути своего народа, а потому самые его недостатки, какъ напримѣръ его малый запасъ познаній, его неусидчивость и неохота къ медленнымъ трудамъ, получали характеръ какъ бы необходимости, имѣли значеніе историческое. Человѣкъ ученый не могъ бы быть постоянно представителемъ нашего общества двадцать лѣтъ тому назадъ: онъ бы не могъ быть имъ даже теперь. Но это не мѣшало Бѣлинскому сдѣлаться однимъ изъ руководителей общественнаго сознанія своего времени. Ибо во-первыхъ онъ, хотя и не былъ ученъ, зналъ однако довольно для того, чтобы имѣть право говорить и наставлять другихъ; а во-вторыхъ — онъ зналъ именно то, что нужно было знать, и это знаніе срослось у него съ жизнью, какъ во всякой центральной натурѣ. Можно быть человѣкомъ весьма и умнымъ, блестящимъ и замѣчательнымъ и находиться въ то же время на периферіи, на окружности, если можно такъ вы-

ься, своего народа... Всякому случалось встрѣчать такія натуры:
я не сожалѣть объ ихъ безплодности, но удивляться ей нечего.
ко я отвлекаюсь отъ предмета моего письма.
слѣ перваго моего посѣщенія Бѣлинскаго, я видѣлся съ нимъ
олько разъ въ продолженіе зимы. На святой я уѣхалъ въ деревню
е опять встрѣтился съ нимъ лѣтомъ на дачѣ Лѣсного Инсти-
Тутъ мы сошлись съ нимъ окончательно и видались почти
ый день. Въ то время (публика объ этомъ давно забыла—я по
ей мѣрѣ льщу себя этой надеждой) я напечаталъ небольшой
азъ въ стихахъ, который, въ силу нѣкоторыхъ, едва замѣтныхъ,
ищъ чего-то похожаго на дарованіе, заслужилъ одобреніе Бѣлин-
, всегда готоваго протянуть руку начинающему и привѣтство-
все, что хотя немного обѣщало быть полезнымъ приращеніемъ
что Бѣлинскій любилъ самой странной любовью—Русской сло-
ости. Онъ даже напечаталъ статью объ этомъ разсказѣ въ «Отеч.
скахъ», — статью, которую я не могу вспомнить не краснѣя;
въ весьма непродолжительномъ времени надежды Бѣлинскаго
ю литературную будущность значительно охладѣли, и онъ сталъ
ать меня способнымъ на одну лишь критическую и этнографи-
ю дѣятельность. Какъ бы то ни было, но наше сближеніе лѣ-
1843 года имѣло результатомъ продолжительныя шестичасовыя
ы, въ теченіе которыхъ мы съ Бѣлинскимъ касались всѣхъ воз-
ыхъ предметовъ, преимущественно однако философскихъ и ли-
турныхъ.
ъ занималъ одну изъ тѣхъ сбитыхъ изъ барочныхъ досокъ и
нныхъ грубыми пестрыми обоями клѣтокъ,—которыя въ Петер-
называются дачами; состоялъ при этой дачѣ какой-то непріят-
всѣмъ доступный садишко, гдѣ растенія не могли—да кажется
хотѣли дать тѣни; сообщенія съ Петербургомъ были затрудни-
ы — въ ближней лавочкѣ не находилось ничего, кромѣ дурного
и такого же сахару, — словомъ удобствъ никакихъ! Помнится,
нскій, человѣкъ совершенно не практическій, въ житейскомъ
лѣ, купилъ между прочимъ по совѣту доктора козу для молока,
козы за старостью лѣтъ молока не оказалось. — Но лѣто стояло
ное—и мы съ Бѣлинскимъ много гуляли по сосновымъ рощи-
, окружающимъ Лѣсной Институтъ, запахъ ихъ былъ полезенъ
же тогда разстроенной груди. Мы садились на сухой и мягкій,
ный тонкими иглами мохъ—и тутъ-то происходили между нами
олгіе разговоры, о которыхъ я упомянулъ выше. Я тогда не-
воротился изъ Берлина, гдѣ занимался философіей Гегеля;
нскій разспрашивалъ меня, слушалъ, выражалъ, развивалъ свои
и—и все это онъ дѣлалъ съ какой-то алчной жадностью, съ ка-
-то стремительнымъ домогательствомъ истины. Трудно было
а слѣдить за нимъ; человѣку хотѣлось—по человѣчеству—отдох-
— но онъ не зналъ отдыха—и ты поневолѣ отвѣчалъ и спорилъ—
ьзя было пенять на это нетерпѣніе: оно вытекало изъ самыхъ
ь взволнованной души. Странная по преимуществу натура Бѣ-
каго высказывалась въ каждомъ словѣ, въ каждомъ движеніи,
момъ его молчаніи; умъ его постоянно и неутомимо работалъ;—
перь, когда я вспоминаю о нашихъ разговорахъ, меня болѣе
поражаетъ тотъ глубокій здравый смыслъ, то, ему самому не
мъ ясное, но тѣмъ болѣе сильное сознаніе своего призванія,
ніе, которое при всѣхъ его безоглядочныхъ порывахъ не позво-
ему отклоняться отъ единственно-полезной въ то время дѣятель-

ности: литературно-критической, въ обширнѣйшемъ смыслѣ слова. Критика его не имѣла тогда (да и послѣ) никакой заранѣе опредѣленной системы: собственно теорія критики, разсужденія о разныхъ ея родахъ и т. д. — его мало занимали: онъ и въ этомъ былъ прямо-русскій, не отвлеченный человѣкъ. Для него литература была однимъ изъ самыхъ полныхъ проявленій живыхъ силъ народа; онъ требовалъ отъ критика вообще—и отъ себя—не столько изученія народа и его исторіи, сколько любви къ нему и пониманія его, вмѣстѣ съ пониманіемъ художества и поэзіи, и полагалъ, что съ этими данными критикъ имѣетъ право выражать свое мнѣніе. Онъ чувствовалъ, что въ то время, когда онъ писалъ, прямо дѣйствовать на общественное сознаніе было невозможно; разрабатывать массу данныхъ фактовъ, вносить критическій анализъ въ исторію нашей литературы — для этого ему недоставало свѣдѣній, а главное тогда было не до того. Тогда слѣдовало расчистить самый родникъ, уяснить первоначальныя понятія современниковъ о томъ, что въ словесности нашей представлялось какъ правда и какъ красота, слѣдовало сказать обо всѣхъ ея явленіяхъ искреннее и смѣлое слово—и Бѣлинскій принялся за это дѣло со всей несокрушимой энергіей своей восторженной натуры. Въ этомъ дѣлѣ никто не былъ его учителемъ, руководителемъ: изъ кружка своихъ московскихъ друзей онъ вынесъ почти всѣ свои познанія, знакомство съ результатомъ науки; онъ многимъ былъ имъ обязанъ, они дали ему въ руки орудіе, но никто не могъ сказать ему какъ имъ дѣйствовать, противъ кого сражаться; онъ какъ будто проводилъ ихъ идеи, исполнялъ ихъ замыслы,—но ни одинъ изъ его товарищей-наставниковъ не былъ въ состояніи замѣнить его, дѣлать *его* дѣло, потому что онъ превосходилъ ихъ всѣхъ безъ исключенія силой и тонкостію эстетическаго пониманія, почти непогрѣшительнымъ вкусомъ. При его страстномъ желаніи быть всегда истиннымъ, при отсутствіи въ немъ всякой мелкой щепетильности, Бѣлинскій легко поддавался вліянію людей, которыхъ онъ уважалъ и которымъ вѣрилъ. Въ его натурѣ лежала склонность къ преувеличенію, или, говоря точнѣе, къ безотвѣтному и полному высказыванью всего того, что ему казалось справедливымъ; осторожность, предусмотрительность были ему чужды; стоило только взглянуть на полулисты, которые онъ посылалъ въ типографію, на эти прямыя, какъ стрѣлы, строки его быстраго, крупнаго, своеобразнаго почерка, почти безъ помарокъ, чтобы понять, что это писалъ человѣкъ, который не взвѣшивалъ и не разсчитывалъ свои выраженья. Оттого онъ часто увлекался и впадалъ въ противорѣчія съ самимъ собою, на которыя враги его указывали потомъ съ злорадствомъ и безплоднымъ торжествомъ; оттого онъ въ теченіе года внезапно началъ наполнять свои стишки школьными выраженіями нѣмецкой философіи, которыми онъ самъ добродушно радовался; оттого онъ иногда, читая между строками у авторовъ въ родѣ Красова, превозносилъ ихъ за то, что онъ одинъ прочелъ, за то, на что они едва намекали. Но со всѣмъ тѣмъ можно утвердительно сказать, что этотъ наплывъ, что эти набѣжавшія волны не касались его почвы, и что онъ даже въ самыхъ далекихъ своихъ «странствованіяхъ» все-таки оставался самимъ собою, т.-е. оригинальнымъ и самолюбивымъ мыслителемъ, едва ли не самымъ замѣчательнымъ критикомъ своего времени. Съ этимъ вѣроятно согласятся всѣ тѣ, которые внимательно прочтутъ его недавно собранныя и изданныя сочиненія. Особенно замѣчательны и интересны были его критическія отношенія къ Пушкину, Гоголю и Лермонтову,—

этимъ тремъ, далеко не одинаково даровитымъ, но полнѣйшимъ представителямъ нашей поэзіи. Впрочемъ, я намѣренъ поговорить объ этомъ съ вами во второмъ моемъ письмѣ, которое послѣдуетъ вскорѣ. Но не могу теперь же не разсказать вамъ одинъ случай, въ которомъ особенно ясно высказался характеръ Бѣлинскаго. Въ первые дни своего пребыванія на дачѣ Лѣсного Института его занималъ одинъ очень важный религіозный вопросъ: повѣрите ли, что въ теченіе восьми дней, пока онъ не добился удовлетворительнаго, по его мнѣнію, разрѣшенія своихъ сомнѣній, онъ былъ въ лихорадкѣ, ни о чемъ другомъ говорить не могъ, не понималъ даже какъ можно говорить о чемъ-нибудь другомъ, пока вопросъ такой важности не разрѣшенъ, и упрекалъ меня въ легкомысліи, какъ только я позволялъ себѣ малѣйшее уклоненіе. Черта, быть-можетъ, забавная, но надъ которой стоитъ призадуматься, особенно намъ, русскимъ людямъ—и особенно теперь!

«Москов. Вѣстникъ», 1860 г., январь, № 3.

VII.—Письмо въ редакцію «Вѣстника Европы», по поводу вопроса о первомъ печатномъ произведеніи И. С. Тургенева.

М. М.—Желая вкратцѣ объяснить нѣкоторые до меня лично касающіеся факты, прошу позволенія обратиться къ посредству вашего журнала.

Въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» появилась замѣтка г-на П. Библіографа, въ которой указывается на разборъ книги Муравьева: «Путешествіе къ святымъ мѣстамъ русскимъ—помѣщенный въ «Журналѣ Министерства Просвѣщенія» за 1836-й годъ, какъ на *первое* мое печатное произведеніе. Существованіе этой статьи меня удивило болѣе чѣмъ кого-либо. Мнѣ тогда только-что минуло семнадцать лѣтъ, я былъ студентомъ с.-петербургскаго университета; родственники мои, въ виду обезпеченія моей будущей карьеры, отрекомендовали меня Сербиновичу, тогдашнему издателю «Журнала Министерства Просвѣщенія»... Сербиновичъ, котораго я видѣлъ всего *одинъ* разъ, желая, вѣроятно, испытать мои способности, вручилъ мнѣ ту книгу Муравьева съ тѣмъ, чтобы я разобралъ ее; я написалъ нѣчто по ея поводу—и вотъ, теперь, чуть не черезъ сорокъ лѣтъ, я узнаю, что это «нѣчто» удостоилось тисненія! Ни тогда, ни впослѣдствіи я моей напечатанной статейки въ глаза не видалъ! Вы, конечно, согласитесь со мною, что не могу же я, по совѣсти, считать это ребяческое упражненіе своимъ первымъ литературнымъ трудомъ.

Парижъ, 3 декабря 1875.

VIII.—Отвѣтъ «Иногородному обывателю». Письмо къ редактору «Вѣстника Европы».

Любезный М. М.—Вамъ, какъ старинному моему пріятелю, хорошо извѣстно, съ какой неохотой я рѣшаюсь занимать публику вопросами, лично до меня касающимися; но прочтенная мною на-дняхъ корреспонденція г. «Иногороднаго Обывателя» въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» вынуждаетъ меня взяться за перо.

Корреспонденція эта появилась по поводу напечатаннаго въ газетѣ «Temps» моего письма, предпосланнаго разсказу изгнанника, содержавшагося въ одиночномъ заключеніи въ теченіе четырехъ лѣтъ,—разсказу, представлявшему исключительно психологическій и, пожалуй, судебный интересъ.

Если бы г. «Иногородный Обыватель» ограничился одними посильными оскорбленіями, я бы не обратилъ на нихъ вниманія, зная, изъ какой «кучи» идетъ этотъ «громъ»; но онъ позволяетъ себѣ заподозрѣвать мои убѣжденія, мой образъ мыслей,—и я не имѣю права отвѣчать на это однимъ презрѣніемъ.

Приписывая мнѣ всяческія неблагородныя побужденія и чуть ли не преступныя намѣренія, г. «Иногородный Обыватель» обвиняетъ меня въ низкопоклонствѣ, въ заискиваніи, въ «кувырканіи» передъ нѣкоторой частью нашей молодежи. Такого рода заискиваніе предполагаетъ отступничество отъ собственныхъ убѣжденій и поддѣлываніе подъ чужія. Но, не хвастаясь и не обинуясь, а просто констатируя фактъ, я имѣю право утверждать, что убѣжденія, высказанныя мною и печатно, и изустно, не измѣнились ни на іоту въ послѣднія сорокъ лѣтъ; я не скрывалъ ихъ никогда и ни передъ кѣмъ. Въ глазахъ нашей молодежи — такъ какъ о ней идетъ рѣчь — въ ея глазахъ, къ какой бы партіи она ни принадлежала — я всегда былъ и до сихъ поръ остался «постепеновцемъ», либераломъ стараго покроя въ англійскомъ, династическомъ смыслѣ, человѣкомъ, ожидающимъ реформъ *только свыше*,—принципіальнымъ противникомъ революцій,—не говоря уже о безобразіяхъ послѣдняго времени. Молодежь была права въ своей оцѣнкѣ—и я почелъ бы недостойнымъ и ея, и самого себя, представляться ей въ другомъ свѣтѣ. Тѣ овація, о которыхъ упоминаетъ г. «Иногородный Обыватель», мнѣ были пріятны и дороги именно потому, что *не я шелъ къ молодому поколѣнію*, нерасположеніе котораго я весьма философически переносилъ въ теченіе пятнадцати лѣтъ (со времени появленія «Отцовъ и Дѣтей»), но потому, *что оно шло ко мнѣ;* онѣ были мнѣ дороги, эти овація, какъ доказательство проявившагося сочувствія къ тѣмъ убѣжденіямъ, которымъ я всегда былъ вѣренъ, и которыя громко высказывалъ въ самыхъ рѣчахъ моихъ, обращенныхъ къ людямъ, которымъ угодно было меня чествовать.

Съ какой же стати мнѣ было лгать и заискивать въ нихъ, когда они сами мнѣ протягивали руки и вѣрили мнѣ?

И какъ подумаешь, изъ чьихъ устъ исходятъ эти клеветы, эти обвиненія?! Изъ устъ человѣка, съ младыхъ ногтей заслужившаго репутацію виртуоза въ дѣлѣ низкопоклонства и «кувырканія», сперва добровольнаго, а наконецъ, даже невольнаго! Правда—ему ни терять, ни бояться нечего: его имя стало нарицательнымъ именемъ,—и онъ не изъ числа людей, которыхъ дозволительно потребовать къ отвѣту. Но и въ его положеніяхъ оглядка не мѣшаетъ: во всякомъ случаѣ, не ему упоминать объ «опозоренныхъ сѣдинахъ»; не зачѣмъ обращать взоры читающей публики на собственную голову. Публика и безъ того хорошо его знаетъ... и, смѣю прибавить, знаетъ и меня.

Парижъ, rue de Douai.
2-го января 1880 г.

IV.
ПЕРЕВОДЫ.

I.—Легенда о св. Юліанѣ Милостивомъ, соч. Густава Флобера.

I.

Отецъ и мать Юліана обитали въ замкѣ, построенномъ посреди лѣсовъ, на склонѣ холма.

Четыре угловыя башни заканчивались остроконечными крышами, покрытыми чешуей изъ свинцовыхъ бляхъ; — а стѣны упирались въ темя скалъ, круто спускавшихся до самаго дна глубокихъ разсѣлинъ.

Камни, которыми вымощенъ былъ обширный дворъ, были такъ же гладки и чисты, какъ церковныя плиты. Длинные жолобы, изображавшіе драконовъ съ опущенной внизъ пастью, извергали дождевую воду; она стекала ручьями въ цистерну, а на подоконникахъ, во всѣхъ этажахъ, красовались базилики и геліотропы въ расписанныхъ глиняныхъ горшкахъ.

Вторая каменная ограда заключала въ себѣ сперва фруктовый садъ, потомъ палисадникъ, въ которомъ искусныя сочетанія цвѣтовъ изображали вензеля; затѣмъ шпалеры виноградныхъ лозъ съ бесѣдками для отдыха и прохлажденія; наконецъ, особо отведенное мѣсто, гдѣ пажи забавлялись игрою въ мячъ.—Съ другой стороны находились псарни, конюшни, пекарня, давильня для винограда и амбары. Зеленое пастбище разстилалось вокругъ, огороженное, въ свою очередь, крѣпкимъ терновымъ тыномъ.

Миръ такъ давно не нарушался въ томъ замкѣ, что опускная рѣшетка воротъ оставалась постоянно поднятою; рвы заросли травой, ласточки вили гнѣзда въ трещинахъ бойницъ—и часовой, весь день прогуливавшійся по валу, уходилъ въ сторожку, лишь только солнце начинало слишкомъ печь—и засыпалъ въ ней сномъ праведника.

направо, налѣво, снова скрылась въ скважинѣ.

Въ слѣдующее воскресенье мысль, что онъ опять ее увид смущала его. Она однако вернулась... и каждое воскресенье ждалъ ея; она его раздражала, онъ началъ ее видѣть — и рѣш наконецъ, избавиться отъ нея.

Заперевъ двери и накрошивъ на ступеняхъ алтаря объѣдки з онъ сталъ около скважины съ тросточкой въ рукѣ. — Спустя д время, показалась, наконецъ, мордочка—а затѣмъ и вся мышка легонько ударилъ ее тросточкой—и оцѣпенѣлъ въ изумленіи при маленькаго, недвижнаго тѣльца. Капля крови запятнала плиту. поспѣшно вытеръ ее рукавомъ, выбросилъ мышь—и никому не залъ объ этомъ ни слова.

Разнородныя пичужки клевали зёрна въ саду.—Юліану приш голову наполнить горохомъ пустой столъ тростника — и, засл щебетаніе на деревѣ, онъ тихонько подкрадывался, направлялъ трубку—надувалъ щеки... и пичужки сыпались ему на плечи в комъ изобиліи, что онъ невольно смѣялся, довольный своей выду

Однажды, утромъ, возвращаясь съ валу, онъ увидѣлъ на п стѣны голубя, толстаго, красноногаго голубя; онъ красовался и галъ зобомъ на солнцѣ. Юліанъ остановился, чтобы посмотрѣт него — и такъ какъ стѣна въ этомъ мѣстѣ нѣсколько обрушил разсѣлась—то ему случайно попалъ подъ руку осколокъ камня. поднялъ руку — и камень полетѣлъ прямо въ птицу, которая т покатилась въ ровъ, какъ чурбанчикъ.

Проворнѣе молодого пса кинулся онъ за нею, царапаясь о те никъ—и началъ шарить.

Голубь съ перешибленными крыльями трепеталъ еще, повис на вѣтвяхъ ясеня.

Упорство жизни раздражило дитя. Онъ принялся душить гол и судороги издыхавшей птицы заставляли прыгать его сердце

дуетъ ставить западни, какъ узнавать оленя по его помету, лисицу и волка — по ихъ слѣдамъ; какой лучшій способъ распознавать тропы звѣрей, какъ ихъ выгонять изъ лѣсу, гдѣ находятся ихъ пристанища; какіе бываютъ благопріятные вѣтры и погоды; — а затѣмъ слѣдовало исчисленіе всѣхъ охотничьихъ криковъ и поговорокъ, холканій и порсканій.

Когда Юліанъ выучилъ все это наизусть, тогда отецъ отобралъ для него знатную стаю собакъ.

Въ эту стаю поступило—во-первыхъ, двадцать пять варварійскихъ борзыхъ кобелей; они были рѣзвѣе сернъ, но, по горячности своей, никогда неудержимы; затѣмъ семнадцать паръ бретонскихъ красно-пѣгихъ гончихъ, чуткихъ, добычливыхъ, горластыхъ, съ стальною грудью; потомъ—сорокъ брусбартовъ, мохнатыхъ, не хуже медвѣдей; ихъ спускали на кабановъ, когда тѣ внезапно садились на задъ и грозили клыками.—Татарскіе псы, величиною почти съ осла, огненнаго цвѣта, широкіе, жилистые, съ прямыми какъ стрѣла ногами, предназначались для охоты за зубрами. — Черная шерсть испанокъ лоснилась какъ атласъ; заливчатое тявканіе «тальботовъ» не уступало серебристому лаю англійскихъ «битлей». На отдѣльномъ дворѣ рычали, потрясая цѣпями и ворочая кровавыми зрачками, восемь аланскихъ договъ; то были страшныя животныя, которыя впивались въ брюхо всадникамъ и не боялись самого льва.

Всѣхъ этихъ псовъ кормили пшеничнымъ хлѣбомъ; лакали они изъ каменныхъ корытъ—и клички у нихъ были звонкія.

Но соколиный дворъ, пожалуй, превосходилъ еще псарню. Добрый господинъ за дорогую цѣну добылъ себѣ кавказскихъ беркутовъ, вавилонскихъ сѣроголовыхъ подорликовъ, нѣмецкихъ ястребовъ и дербниковъ, да бѣлыхъ кречетовъ, пойманныхъ на утесахъ, по берегамъ холодныхъ морей, въ странахъ отдаленныхъ.

Всѣ эти ловчія птицы жили подъ навѣсомъ, крытомъ соломою—а подъ насѣстью, къ которой онѣ были привязаны по ранжиру роста, передъ каждой изъ нихъ находился клочокъ дёрна. Отъ времени до времени, чтобы дать птицамъ размяться и встряхнуться, ихъ спускали на этотъ дёрнъ.

Всевозможныя западни были изготовлены въ изобиліи: и тенёта, и крюки, и желѣзныя ловушки, и подвижныя зеркальца для ловли жаворонковъ.

Легавыхъ собакъ часто водили въ поле — и онѣ тотчасъ же находили дичь и дѣлали стойку. Тогда охотники осторожно приближались къ нимъ, растягивали надъ ихъ неподвижными тѣлами огромную сѣть — и условленнымъ знакомъ приказывали имъ лаять. Перепелы вылетали изъ травъ—и приглашенныя, вмѣстѣ съ мужьями, сосѣднія дамы, дѣти, служанки, всѣ бросались на птицъ, запутанныхъ въ петляхъ сѣти—и безъ труда овладѣвали ими.

Въ другой разъ, били въ барабанъ, чтобы выгнать изъ острова зайцевъ; лисицы падали въ ямы — или внезапно соскочившая пружина западни хватала волка за ногу.

Но Юліанъ пренебрегалъ этими безопасными хитростями. Онъ любилъ охотиться вдали отъ всѣхъ, одинъ на своемъ конѣ и съ любимой своей птицей. — Обыкновенно то былъ скиѳскій кречетъ, бѣлый какъ снѣгъ. На его кожаномъ клобучкѣ развѣвался султанчикъ; золотые бубенчики бряцали на его синеватыхъ лапахъ. Конь скакалъ; луга разстилались и проносились мимо,—а кречетъ крѣпко держался на рукѣ своего господина. Юліанъ, развязавъ путы, вдругъ спускалъ

его. Прямо, какъ стрѣла, взвивалась вверхъ смѣлая птица... Только двѣ неровныя точки виднѣлись въ вышинѣ... Онѣ двигались, сеединялись, затѣмъ исчезали въ лазури. Кречетъ скоро спускался, разрывая добычу — и, трепеща крыльями, садился снова на рукавицу къ хозяину.

Юліанъ ловилъ такимъ образомъ цаплей, луней, галокъ и коршуновъ.

Онъ любилъ трубить въ охотничій рогъ, идя слѣдомъ за своими псами, которые мчались по скатамъ холмовъ, перепрыгивая ручьи, вбѣгали въ лѣсъ; и когда олень начиналъ стонать, терзаемый ихъ зубами, онъ живо сваливалъ его однимъ быстрымъ ударомъ — и любовался яростью псовъ, пожиравшихъ разсѣченные куски его туши на дымившейся шкурѣ.

Въ туманные дни онъ забирался въ болото — и подстерегалъ дикихъ гусей, утокъ или выдру.

Съ самой зари три конюха дожидались его у крыльца, а старый монахъ, высунувшись изъ слухового окна, напрасно дѣлалъ ему знаки и звалъ его къ себѣ. Юліанъ не оборачивался. — Онъ уходилъ и въ жаръ, и въ дождь, и въ бурю; пилъ пригоршней ключевую воду, ѣлъ на ходу дикія яблоки и ягоды, отдыхалъ подъ дубомъ, если уставалъ; и возвращался уже ночью, поздно, весь въ грязи и въ крови, съ колючками въ волосахъ, весь пропитанный запахомъ дичи. Когда мать цѣловала его, онъ холодно принималъ ея ласки — и, казалось, размышлялъ о чемъ-то важномъ и далёкомъ.

Онъ убивалъ медвѣдей ножомъ, быковъ топоромъ, кабановъ рогатиной—и однажды, имѣя при себѣ одну только палку, долго оборонялся отъ стаи волковъ, глодавшихъ трупы подъ висѣлицей.

Въ одно зимнее утро, еще до восхода солнца, выѣхалъ онъ въ полномъ вооруженіи, съ самострѣломъ на плечѣ и съ пукомъ стрѣлъ въ колчанѣ, придѣланномъ къ сѣдельной лукѣ.

Земля гудѣла подъ ровной поступью его датскаго жеребца; за хвостомъ коня бѣжали двѣ лохматыя собаки. — Вѣтеръ дулъ неистово; плащъ Юліана покрылся зернами инея. Небосклонъ сталъ проясняться съ одной стороны — и сквозь бѣловатыя утреннія сумерки, онъ увидѣлъ кроликовъ, прыгавшихъ у своихъ норокъ.—Обѣ собаки тотчасъ кинулись на кроликовъ и, быстро ихъ хватая, ломали пополамъ ихъ спинные хребты.

Скоро затѣмъ въѣхалъ онъ въ лѣсъ. На концѣ одинокой вѣтки, весь окоченѣлый отъ холода, спалъ глухарь-тетеревъ, подвернувъ голову подъ крыло. Юліанъ отсѣкъ ему мечомъ на-отмашь обѣ лапы—и, не подобравъ его, продолжалъ свой путь.

Три часа спустя, очутился онъ на вершинѣ горы столь высокой, что небо надъ нею казалось почти чернымъ. Передъ нимъ, подобно длинной стѣнѣ, свѣшивался утесъ надъ бездной; — на крайнемъ его концѣ два дикихъ козла смотрѣли внизъ, понуривъ головы.—Не имѣя стрѣлъ, ибо конь его остался позади — онъ вздумалъ спуститься къ нимъ. Задерживая дыханіе, чуть не ползкомъ, босой, онъ подкрался сзади къ первому козлу — и вонзилъ ему кинжалъ между ребрами. Второй, обезумѣвъ отъ ужаса, прыгнулъ въ бездну. Юліанъ кинулся было, чтобы ударить и его, но, поскользнувшись, упалъ на трупъ перваго съ распростертыми руками и перевѣсившимся черезъ край бездны лицомъ.

Возвратившись въ поле, онъ пошелъ вдоль ивъ, разросшихся по берегу большой рѣки. Низко летѣвшіе журавли проносились отъ вре-

мени до времени надъ его головою — и онъ убивалъ ихъ бичомъ, ни разу не давая промаха.

Между тѣмъ въ воздухѣ потемнѣло; иней растаялъ, пары заколыхались широкими пеленами—и показалось солнце. Подъ его лучами засвѣркала вдали свинцовая гладь какъ бы застывшаго озера. По самой серединѣ этого озера виднѣлось незнакомое Юліану животное—черномордый бобръ. Несмотря на разстояніе, стрѣла Юліана вонзилась въ него—и онъ досадовалъ, что не могъ унести съ собою шкуру убитаго звѣря.

Затѣмъ онъ вошелъ въ аллею высокихъ деревьевъ, образовавшихъ верхушками своими какъ бы подобіе тріумфальной арки. Она вела въ большой лѣсъ. Изъ чащи выскочила дикая коза, на перекресткѣ показалась лань, изъ норы вышелъ барсукъ — павлинъ распустилъ свой хвостъ на зеленой муравѣ—и когда онъ ихъ всѣхъ умертвилъ—появились другія дикія козы, другія лани, другіе барсуки, другіе павлины; а тамъ дрозды, сойки, хорьки, лисицы, ежи, рыси, безчисленное множество животныхъ — все больше, больше съ каждымъ шагомъ. Они кружились около него, трепеща всѣмъ тѣломъ—и взоры ихъ, на него устремленные, были кротки и полны смиренной мольбы. Но Юліанъ не уставалъ убивать. Онъ то натягивалъ самострѣлъ, то обнажалъ мечъ, то кололъ ножомъ, ни о чемъ не думая, ничего не помня и не понимая... Онъ охотился въ какой-то невѣдомой странѣ, неизвѣстно съ какихъ поръ — безсознательно, почти безчувственно. Все совершалось съ тою легкостью, какую испытываешь во снѣ.

Необычайное зрѣлище остановило его. Стадо оленей наполняло долину, имѣвшую видъ цирка; тѣсно скученные, одинъ возлѣ другого, они отогрѣвались дыханіемъ своимъ, которое дымилось въ туманѣ.

Надежда на истребленіе—громаднос, небывалое — до того обрадовала Юліана, что на нѣсколько мгновеній у него дыханіе сперлось. Онъ слѣзъ съ коня, засучилъ рукава и принялся стрѣлять.

При свистѣ первой стрѣлы всѣ олени разомъ повернули головы, въ ихъ сплошной массѣ образовались какъ бы впадины; раздались жалобные голоса—и все стадо заколыхалось.

Края цирка были слишкомъ высоки и круты; олени не могли ихъ перескочить: они метались по дну долины, ища спасенія. — Юліанъ цѣлился, стрѣлялъ, цѣлился снова. Стрѣлы сыпались, какъ дождь. Олени, обезумѣвъ, дрались, лягались, карабкались другъ на друга— и тѣла ихъ со спутанными рогами воздвигались широкимъ холмомъ, который то-и-дѣло обрушивался,—передвигался. Наконецъ, сваленные на пескѣ, съ пѣной у ноздрей, съ вылѣзшими кишками, они испустили дыханіе—и волнообразное колыханіе ихъ боковъ и черевъ, постепенно ослабѣвая, затихло.—Затѣмъ все стало неподвижно.

Наступила ночь—и за лѣсомъ, сквозь разрѣзы вѣтвей, виднѣлось небо, красное, какъ кровавая пелена.

Юліанъ прислонился къ дереву. Выпуча глаза, смотрѣлъ онъ на необъятную бойню, не постигая, какъ это онъ могъ одинъ совершить. Но вдругъ въ другой сторонѣ долины показались олень, лань и съ ними ихъ дѣтенышъ—теленокъ.

Олень былъ весь черный, огромнаго росту, съ шестнадцатью отростками на рогахъ и бѣлой бородою; — лань, блѣдножелтая, цвѣту осенняго листа, щипала траву, а пятнистый дѣтенышъ, не останавливая ея, на ходу сосалъ ея вымя.

Снова натянулась и завыла тетива самострѣла... Теленокъ тотчасъ былъ убитъ... Тогда мать, поднявъ глаза къ небу, затосковала гром-

человѣкъ, умертвишь отца и мать!

Олень опустился на колѣни, закрылъ тихо вѣжды—и испусти

Юліанъ остолбенѣлъ. Онъ почувствовалъ внезапную, крайн лость; необычайная печаль, отвращеніе, тоска овладѣли имъ. лицо руками, онъ долго плакалъ.

Коня онъ потерялъ, собаки покинули его, пустыня, окр его, казалось, угрожала ему несказанными бѣдами.

Объятый страхомъ, онъ побѣжалъ черезъ поле по первої шейся ему тропинкѣ—и почти немедленно очутился у ворот замка.

Всю ночь онъ не спалъ. При колеблющемся мерцаніи висяче ды онъ постоянно видѣлъ стараго, чернаго оленя. Предвѣщаніе шаго звѣря преслѣдовало Юліана: онъ всячески пытался эту мысль. — «Нѣтъ! нѣтъ! нѣтъ! Я не могу ихъ убить!» А онъ думалъ: «Если бы я захотѣлъ, однако!»—И онъ боялся, волъ введетъ его въ искушеніе и внушитъ ему нечестное же

Цѣлыхъ три мѣсяца мать его въ глубокой скорби молилась ловья его постели, а отецъ безпрерывно бродилъ по кор Онъ призвалъ самыхъ знаменитыхъ лѣкарей; тѣ прописали множество различныхъ снадобій. — Недугъ Юліана, говор причинился ему либо отъ зловреднаго вѣтра, либо отъ л желанія. Но молодой человѣкъ на всѣ вопросы отрицательн головою.

Силы понемногу вернулись къ нему — и старый монахъ и господинъ стали водить его для прогулки по двору, поддерж подъ руки.

Оправившись совершенно, онъ продолжалъ упорно отказ отъ охоты.

Отецъ, желая развлечь его, подарилъ ему большую сара шпагу. Она висѣла наверху столба среди другихъ доспѣховъ— достать ее, понадобилась лѣстница.

Юліанъ взлѣзъ на нее, но тяжелая шпага выскользнула

дротикомъ въ горлышко бутылокъ, отбивалъ зубцы флюгеровъ, а на сто шаговъ попадалъ въ гвоздья дверей.

Однажды, лѣтнимъ вечеромъ, въ самый часъ сумерекъ, когда всѣ предметы становились неясными, Юліанъ стоялъ подъ виноградной лозой въ саду, и увидалъ далеко-далеко два бѣлыхъ крыла, которыя вздымались и порхали надъ шпалерникомъ. Онъ не сомнѣвался въ томъ, что это были крылья аиста—и метнулъ свой дротикъ.

Раздался пронзительный крикъ. То была его мать. Длинные концы ея шлыка были пригвождены къ стѣнѣ.

Юліанъ убѣжалъ изъ замка, и болѣе уже не возвращался.

II.

Юліанъ нанялся въ проходившую шайку искателей приключеній, съ тѣмъ условіемъ, чтобы они увели его далеко и чтобы жизнь его подвергалась опасностямъ.

Онъ узналъ и голодъ, и жажду, и недугъ горячки, и всѣ безобразія нечистоты; онъ пріучился къ грохоту битвъ, къ виду умиравшихъ людей. Кожа его заскорузла отъ вѣтра, члены отвердѣли отъ соприкосновенія ратныхъ доспѣховъ, онъ весь закалился; а такъ какъ онъ отличался храбростью, силой, воздержаніемъ, смышленостью, то ему не трудно было достигнуть начальства надъ отдѣльнымъ отрядомъ.

Вступая въ битву, онъ, широкимъ взмахомъ меча, увлекалъ за собою солдатъ своихъ. Ночью взбирался онъ по узловатой веревкѣ на стѣны крѣпостей; вихорь раскачивалъ его, висящаго на воздухѣ; искры греческаго огня сыпались ему на латы, между тѣмъ какъ изъ бойницъ струились ручьи горячей смолы и расплавленнаго олова. Нерѣдко брошенный камень раздроблялъ его щитъ; мосты, обремененные людьми, проваливались подъ нимъ. Однажды, дѣйствуя своей тяжелой палицей, раздѣлался онъ съ дюжиной всадниковъ. На поединкахъ побѣждалъ онъ всѣхъ своихъ противниковъ; много разъ считали его мертвымъ.

Но Божья милость всегда сохраняла его цѣлымъ и невредимымъ; ибо онъ оказывалъ покровительство духовнымъ особамъ, сиротамъ, вдовамъ, а особенно старикамъ. Когда ему случалось видѣть впереди себя старика, онъ всякій разъ окликалъ его, желая взглянуть ему въ лицо, и какъ бы опасаясь убить его по ошибкѣ.

Бѣглые рабы, взбунтовавшіеся крестьяне, нищіе, незаконнорожденные, всякаго рода смѣльчаки и голыши стекались подъ его знамена, и онъ составилъ себѣ значительное войско. Оно росло, онъ сталъ извѣстенъ; всѣ владѣтели старались вступить съ нимъ въ союзъ.

Онъ служилъ поочередно у англійскаго короля, у французскаго дофина, у іерусалимскихъ меченосцевъ, у персидскаго «Сурены-царя», у абиссинскаго «Нэгуса», у калькутскаго императора. Онъ воевалъ съ скандинавами, покрытыми рыбьей чешуей, съ неграми, вооруженными круглыми щитами изъ бегемотовой кожи и ѣхавшими верхомъ на красныхъ ослахъ; съ златокожими индусами, размахивавшими надъ своими вѣнцеобразными тіарами длинными, какъ зеркало сверкавшими саблями. Онъ побѣждалъ троглодитовъ и людоѣдовъ. Онъ прошелъ войною столь знойные края, что отъ дѣйствія солнечнаго жара волосы людей сами собою вспыхивали, какъ факелы, а другіе края столь холодные, что руки отдѣлялись отъ плечъ и падали на землю; онъ прошелъ еще страну, гдѣ царили такіе туманы, что воины подвигались впередъ, окруженные со всѣхъ сторонъ призраками.

весьма жестоко, дабы вынудить у него признаніе, гдѣ онъ
свои сокровища.

Юліанъ поспѣшилъ на помощь къ императору, уничтожилъ
невѣрныхъ, убилъ халифа, отрубилъ ему голову и покати
какъ мячъ, за крѣпостной валъ. Затѣмъ онъ вывелъ изъ тю
ператора, и посадилъ его на престолъ въ присутствіи всего

Императоръ, въ награду за такую услугу, поднесъ ему вѣ
много денегъ; Юліанъ не захотѣлъ взять ихъ. Тогда, полагая
хочетъ больше, императоръ предложилъ ему три-четверти сво
гатствъ, и снова получилъ отказъ. Тогда онъ попросилъ р
съ нимъ царство; Юліанъ поблагодарилъ, и не согласился.
торъ даже заплакалъ съ досады, не зная, какимъ образомъ
ему благодарность; но вдругъ онъ ударилъ себя по лбу и
словечко на ухо одному придворному.

Полы занавѣса въ дверяхъ раздвинулись — и появилась
дѣвица.

Ея большія черныя очи свѣтились тихимъ и мягкимъ, лас
свѣтомъ; прелестная улыбка слегка раскрывала ея уста. Ея
волосы цѣплялись за алмазы, украшавшіе ея полураскрытое
а подъ прозрачной туникой понятнымъ, но тайнымъ намек
зывалась сладостная юность ея дѣвическаго тѣла. Вся она б
ненькая, пухленькая, тоненькая.

Ослѣпленный ея появленіемъ, Юліанъ почувствовалъ оч
любви; оно было тѣмъ сильнѣе, что доселѣ онъ велъ жизнь
цѣломудренную.

Онъ женился на дочери императора и взялъ за нею зам
ставшійся ей отъ матери. По окончаніи свадебнаго пира, н
ные распростились съ императоромъ, обмѣнявшись съ нимъ
чаемыми заявленіями доброжелательства и дружбы.

Бѣломраморный дворецъ, въ которомъ Юліанъ поселился

разубранныхъ выпуклой рѣзьбой, представлявшей подобіе пещерныхъ сталактитовъ; фонтаны били въ залахъ, мозаика выстилала дворы; всюду виднѣлись прорѣзныя перегородки, тысячи другихъ архитектурныхъ изощреній и затѣй, и всюду царствовала такая тишина, что слышался шелестъ женской перевязи или дальній отзвукъ вздоха.

Юліанъ болѣе не воевалъ. Онъ отдыхалъ, окруженный мирнымъ народомъ, и каждый вечеръ проходила мимо него толпа, преклоняя колѣно и лобызая его руку, по восточному обычаю.

Одѣтый въ пурпуръ, сидѣлъ онъ, облокотившись, у окна, и вспоминалъ свои прежнія охоты. Ему хотѣлось бы преслѣдовать по пустынямъ сернъ и страусовъ, караулить леопарда, скрываясь въ бамбуковой чащѣ, посѣщать лѣса, наполненные носорогами, взбираться на вершину недоступнѣйшихъ горъ, чтобы оттуда вѣрнѣе мѣтить въ пролетавшихъ орловъ, и на льдинахъ холодныхъ морей бороться съ бѣлыми медвѣдями.

Иногда во снѣ видѣлъ онъ себя праотцемъ Адамомъ — среди звѣрей—и, простерши руку, онъ ихъ всѣхъ умерщвлялъ; или же они проходили мимо, одни за другими, попарно, по росту, начиная со слоновъ и львовъ и кончая горностаями и утками, какъ въ тотъ день, когда ихъ принялъ Ноевъ ковчегъ. Окутанный мракомъ глубокой пещеры, Юліанъ бросалъ въ нихъ свои неизмѣнныя копья; но тогда являлись другіе звѣри—и такъ безъ конца... И онъ просыпался, свирѣпо вращая глазами.

Союзные съ нимъ принцы приглашали его на охоту, но онъ всегда отказывался, въ той надеждѣ, что подобной эпитиміей онъ отвратитъ отъ себя несчастье свое; ему казалось, что отъ умерщвленія животныхъ зависѣла судьба его родителей. Онъ скорбѣлъ, что не могъ увидаться съ ними, а та, другая его присуха—его охотничья страсть—становилась нестерпимой.

Жена, чтобы развлечь его, призывала фигляровъ и танцовщицъ. Въ открытыхъ носилкахъ прогуливалась она съ нимъ по полямъ или, лежа въ челнѣ и прислонясь къ его краю, они смотрѣли вдвоемъ на рыбъ, игравшихъ въ свѣтлой, какъ небо, водѣ. Иногда бросала она ему цвѣты въ лицо, а не то, прикорнувъ къ его ногамъ, наигрывала пѣсни на трехструнной лютнѣ; затѣмъ, положивъ скрещенныя руки ему на плечо, говорила робкимъ голосомъ: что съ вами, мой дорогой господинъ?

Онъ не отвѣчалъ или разражался рыданьями; наконецъ, однажды онъ признался въ ужасной мысли, которая его преслѣдовала.

Она стала оспаривать его, и ея доводы были разсудительны и толковы. Его отецъ и мать, вѣроятно, умерли. Если онъ когда-либо ихъ увидитъ, то какими судьбами, съ какой статьи совершитъ онъ такой гнусный поступокъ? Стало-быть, его страхъ не имѣлъ основанія, и онъ долженъ снова начать охотиться.

Юліанъ съ улыбкой слушалъ ее, и все-таки не рѣшался удовлетворить свою страсть.

Въ одинъ августовскій вечеръ они оба находились въ спальнѣ. Она только-что легла—а онъ сталъ-было на колѣни, чтобы молиться—какъ вдругъ услышалъ вдали тявканіе лисицы, затѣмъ легкіе шаги подъ окномъ, и ему померещились въ тѣни какъ бы очертанія звѣрей. Соблазнъ былъ слишкомъ великъ. Онъ отцѣпилъ колчанъ со стѣны. Она изумилась.

— Я повинуюсь твоимъ совѣтамъ, — сказалъ онъ. — Къ восходу солнца я буду дома.

Однако она страшилась какого-нибудь пагубнаго приключенія. Онъ успокоилъ ее—и ушелъ, дивясь перемѣнчивости ея настроенія.

Скоро послѣ того вошелъ въ спальню пажъ и доложилъ, что двое неизвѣстныхъ, за отсутствіемъ господина, желаютъ тотчасъ же видѣть госпожу.

И затѣмъ въ комнату вошли старикъ и старуха, сгорбленные, запыленные, въ холщевой одеждѣ. Каждый изъ нихъ опирался о палку.

Пріободрившись, они объявили, что принесли Юліану вѣсти объ его родителяхъ.

Госпожа выпрямилась на постели, готовясь ихъ выслушать.

Но, обмѣнявшись взглядами между собою, они спросили: помнитъ ли онъ родителей и говоритъ ли о нихъ иногда?

— О, да!—сказала она.

— Ну, такъ вѣдь это мы! И они оба сѣли, такъ какъ они запыхались и изнемогли отъ усталости.

Ничто не доказывало молодой женщинѣ, что супругъ ея былъ точно ихъ сынъ. Тогда, чтобы убѣдить ее, они описали особые знаки, которые онъ имѣлъ на тѣлѣ.

Она соскочила съ постели, позвала пажа — и имъ подали кушать. Хотя они очень были голодны, однако почти ничего не могли ѣсть, а она, стоя въ сторонѣ, замѣчала, какъ дрожали ихъ костлявыя руки, когда они брались за кубки.

Они закидали ее тысячами вопросовъ объ Юліанѣ, она на все отвѣчала, но скрыла, однако, ту зловѣщую мысль Юліана, которая ихъ касалась.

Они стали разсказывать, какъ, видя, что сынъ ихъ не возвращается, они покинули свой замокъ и пустились въ путь-дорогу, чтобы отыскать его; какъ бродили вотъ уже нѣсколько лѣтъ, руководствуясь неясными указаніями, не теряя надежды. Имъ столько пришлось выплатить денегъ за переправы черезъ рѣки, да въ гостиницахъ, да на королевскія пошлины, а также на удовлетвореніе воровъ и грабителей, что кошелекъ ихъ опустѣлъ, и теперь они принуждены просить милостыню. Но они увѣряли, что это не бѣда, такъ какъ вѣдь они теперь скоро обнимутъ сына. Они радовались его счастью, что вотъ, дескать, какую онъ добылъ себѣ миленькую жену; не могли на нее довольно налюбоваться, и все ее цѣловали.

Пышность покоя очень ихъ изумляла, и старикъ, осмотрѣвъ стѣны, спросилъ, отчего тутъ находится гербъ аквитанскаго императора?

Она отвѣчала:

— Это отецъ мой.

Тогда онъ вздрогнулъ, вспомнивъ предсказаніе цыгана, а старухѣ пришло на умъ то, что сказалъ ей отшельникъ. «Конечно», думала она, «слава сына ея только заря — предвѣстница небесной лучезарной славы»,—и оба они пребывали въ какомъ-то блаженномъ оцѣпенѣніи, не отводя глазъ отъ канделябра, освѣщавшаго столъ.

Они, должно-быть, очень были красивы собою въ молодости. Мать сохранила еще всѣ свои волосы; ихъ тонкія пряди, подобныя снѣгу, спускались вдоль ея щекъ; а отецъ, по высокому росту и длинной бородѣ, походилъ подъ лучами на церковную статую.

Жена Юліана убѣдила ихъ не дожидаться его. Она сама уложила ихъ въ свою постель, закрыла окно—и они заснули. День уже наступалъ; за оконной рѣшеткой начинали щебетать раннія птички.

А Юліанъ, минуя паркъ, шагалъ сильной поступью по лѣсу, наслаждаясь мягкостью травы и благорастворенiемъ воздуха.

Длинныя тѣни деревьевъ тянулись по моховымъ кочкамъ. Лунный свѣтъ пестрилъ лѣсныя поляны бѣлыми пятнами. Юліанъ нерѣшительно подвигался впередъ. То ему чудился отблескъ стоячей воды; то онъ не зналъ, что это передъ нимъ, трава или поверхность неподвижнаго болота? Всюду царила глубокая тишина, и не видѣлъ онъ ни одного изъ звѣрей, недавно бродившихъ вокругъ его замка.

Лѣсъ сталъ гуще; темнота усилилась. Теплый, порывистый вѣтеръ приносилъ съ собою запахъ, отъ котораго кружится и слабѣетъ голова. Ноги Юліана погружались въ груды сухихъ листьевъ. Онъ прислонился къ дубу, чтобы перевести духъ.

Вдругъ изъ-за спины его выскочила темная масса... то былъ кабанъ. Юліанъ не успѣлъ схватить свой лукъ, и это огорчило его, точно несчастье съ нимъ случилось.

Затѣмъ, выйдя изъ лѣса, замѣтилъ онъ волка, пробиравшагося вдоль плетня. Онъ пустилъ въ него стрѣлу.—Волкъ остановился, повернулъ голову, глянулъ на него—и продолжалъ свой путь. Онъ трусилъ рысцой все въ одномъ и томъ же разстояніи отъ Юліана. По временамъ онъ останавливался, но лишь только Юліанъ въ него прицѣливался, онъ снова пускался на утекъ. Юліанъ прошелъ такимъ образомъ длинную-длинную равнину, затѣмъ песчаные холмы и очутился на плоскогоріи; оно господствовало надъ значительнымъ пространствомъ окрестнаго края. Могильныя плиты были разсѣяны тамъ между разрушенными склепами,— онъ спотыкался о мертвыя кости; кое-гдѣ жалобно торчали покосившіеся, источенные червями, деревянные кресты.

Но вотъ какіе-то образы зашевелились въ невѣрной тѣни могилъ— и изъ нея вышли гіены, взъерошенныя, испуганныя. Стуча когтями по плитамъ, подошли онѣ къ Юліану, протяжно зѣвая и обнажая свои десны.

Онъ выхватилъ мечъ. Всѣ онѣ разомъ бросились прочь отъ него по всѣмъ направленіямъ—и, продолжая скакать своимъ торопливымъ и хромымъ галопомъ, исчезли вдали въ клубахъ пыли.

Часъ спустя, встрѣтилъ онъ въ оврагѣ бѣшенаго быка: онъ склонилъ рога и скрёбъ ногою землю; Юліанъ направилъ свое копье ему въ подгрудокъ: оно разлетѣлось вдребезги — точно это животное было изъ мѣди. Онъ закрылъ глаза, ожидая смерти... Когда онъ ихъ открылъ—быкъ уже исчезъ.

Тогда онъ упалъ духомъ: онъ ощутилъ униженіе стыда. Высшая власть разрушала его силу. Онъ снова вошелъ въ лѣсъ, чтобы только поскорѣй вернуться домой.

Заглохлый лѣсъ весь заросъ ліанами. Онъ началъ-было рубить ихъ мечомъ, но вдругъ между ногъ его скользнула куница, барсъ перепрыгнулъ ему черезъ плечо и змѣя спиралью поползла вверхъ по стволу ясеня. Въ вѣтвяхъ его сидѣла чудовищная ворона и смотрѣла на Юліана; а тамъ и тутъ на деревьяхъ появилось множество широкихъ, лучистыхъ искръ, точно сводъ небесный высыпалъ на лѣсъ всѣ свои звѣзды. То были зѣницы звѣрей, дикихъ кошекъ, бѣлокъ, филиновъ, попугаевъ, обезьянъ.

Юліанъ пустилъ въ нихъ свои стрѣлы. Оперенныя стрѣлы садились на листья, словно бѣлыя бабочки. Онъ началъ швырять въ нихъ камнями. Камни, никого не задѣвая, падали обратно на землю. Тогда онъ разразился проклятіями, готовъ былъ самого себя изувѣчить, задыхался отъ бѣшенства, произносилъ неистовыя слова!

И всѣ животныя, за которыми онъ нѣкогда охотился, появились

Однако она страшилась какого-нибудь пагубнаго приключенія. Онъ успокоилъ ее—и ушелъ, дивясь перемѣнчивости ея настроенія.

Скоро послѣ того вошелъ въ спальню пажъ и доложилъ, что двое неизвѣстныхъ, за отсутствіемъ господина, желаютъ тотчасъ же видѣть госпожу.

И затѣмъ въ комнату вошли старикъ и старуха, сгорбленные, запыленные, въ холщевой одеждѣ. Каждый изъ нихъ опирался о палку.

Пріободрившись, они объявили, что принесли Юліану вѣсти объ его родителяхъ.

Госпожа выпрямилась на постели, готовясь ихъ выслушать.

Но, обмѣнявшись взглядами между собою, они спросили: помнитъ ли онъ родителей и говоритъ ли о нихъ иногда?

— О, да!—сказала она.

— Ну, такъ вѣдь это мы! И они оба сѣли, такъ какъ они запыхались и изнемогли отъ усталости.

Ничто не доказывало молодой женщинѣ, что супругъ ея былъ точно ихъ сынъ. Тогда, чтобы убѣдить ее, они описали особые знаки, которые онъ имѣлъ на тѣлѣ.

Она соскочила съ постели, позвала пажа — и имъ подали кушать. Хотя они очень были голодны, однако почти ничего не могли ѣсть, а она, стоя въ сторонѣ, замѣчала, какъ дрожали ихъ костлявыя руки, когда они брались за кубки.

Они закидали ее тысячами вопросовъ объ Юліанѣ, она на все отвѣчала, но скрыла, однако, ту зловѣщую мысль Юліана, которая ихъ касалась.

Они стали разсказывать, какъ, видя, что сынъ ихъ не возвращается, они покинули свой замокъ и пустились въ путь-дорогу, чтобы отыскать его; какъ бродили вотъ уже нѣсколько лѣтъ, руководствуясь неясными указаніями, не теряя надежды. Имъ столько пришлось выплатить денегъ за переправы черезъ рѣки, да въ гостиницахъ, да на королевскія пошлины, а также на удовлетвореніе воровъ и грабителей, что кошелекъ ихъ опустѣлъ, и теперь они принуждены просить милостыню. Но они увѣряли, что это не бѣда, такъ какъ вѣдь они теперь скоро обнимутъ сына. Они радовались его счастью, что вотъ, дескать, какую онъ добылъ себѣ миленькую жену; не могли на нее довольно налюбоваться, и все ее цѣловали.

Пышность покоя очень ихъ изумляла, и старикъ, осмотрѣвъ стѣны, спросилъ, отчего тутъ находится гербъ аквитанскаго императора?

Она отвѣчала:

— Это отецъ мой.

Тогда онъ вздрогнулъ, вспомнивъ предсказаніе цыгана, а старухѣ пришло на умъ то, что сказалъ ей отшельникъ. «Конечно», думала она, «слава сына ея только заря — предвѣстница небесной лучезарной славы»,—и оба они пребывали въ какомъ-то блаженномъ оцѣпенѣніи, не отводя глазъ отъ канделябра, освѣщавшаго столъ.

Они, должно-быть, очень были красивы собою въ молодости. Мать сохранила еще всѣ свои волосы; ихъ тонкія пряди, подобныя снѣгу, спускались вдоль ея щекъ; а отецъ, по высокому росту и длинной бородѣ, походилъ подъ лучами на церковную статую.

Жена Юліана убѣдила ихъ не дожидаться его. Она сама уложила ихъ въ свою постель, закрыла окно—и они заснули. День уже наступалъ; за оконной рѣшеткой начинали щебетать раннія птички.

А Юліанъ, минуя паркъ, шагалъ сильной поступью по лѣсу, наслаждаясь мягкостью травы и благорастворенiемъ воздуха.

Длинныя тѣни деревьевъ тянулись по моховымъ кочкамъ. Лунный свѣтъ пестрилъ лѣсныя поляны бѣлыми пятнами. Юліанъ нерѣшительно подвигался впередъ. То ему чудился отблескъ стоячей воды; то онъ не зналъ, что это передъ нимъ, трава или поверхность неподвижнаго болота? Всюду царила глубокая тишина, и не видѣлъ онъ ни одного изъ звѣрей, недавно бродившихъ вокругъ его замка.

Лѣсъ сталъ гуще; темнота усилилась. Теплый, порывистый вѣтеръ приносилъ съ собою запахъ, отъ котораго кружится и слабѣетъ голова. Ноги Юліана погружались въ груды сухихъ листьевъ. Онъ прислонился къ дубу, чтобы перевести духъ.

Вдругъ изъ-за спины его выскочила темная масса... то былъ кабанъ. Юліанъ не успѣлъ схватить свой лукъ, и это огорчило его, точно несчастье съ нимъ случилось.

Затѣмъ, выйдя изъ лѣса, замѣтилъ онъ волка, пробиравшагося вдоль плетня. Онъ пустилъ въ него стрѣлу.—Волкъ остановился, повернулъ голову, глянулъ на него—и продолжалъ свой путь. Онъ трусилъ рысцой все въ одномъ и томъ же разстояніи отъ Юліана. По временамъ онъ останавливался, но лишь только Юліанъ въ него прицѣливался, онъ снова пускался на утекъ. Юліанъ прошелъ такимъ образомъ длинную-длинную равнину, затѣмъ песчаные холмы и очутился на плоскогоріи; оно господствовало надъ значительнымъ пространствомъ окрестнаго края. Могильныя плиты были разсѣяны тамъ между разрушенными склепами,— онъ спотыкался о мертвыя кости; кое-гдѣ жалобно торчали покосившіеся, источенные червями, деревянные кресты.

Но вотъ какіе-то образы зашевелились въ невѣрной тѣни могилъ— и изъ нея вышли гіены, взъерошенныя, испуганныя. Стуча когтями по плитамъ, подошли онѣ къ Юліану, протяжно зѣвая и обнажая свои десны.

Онъ выхватилъ мечъ. Всѣ онѣ разомъ бросились прочь отъ него по всѣмъ направленіямъ—и, продолжая скакать своимъ торопливымъ и хромымъ галопомъ, исчезли вдали въ клубахъ пыли.

Часъ спустя, встрѣтилъ онъ въ оврагѣ бѣшенаго быка: онъ склонилъ рога и скрёбъ ногою землю; Юліанъ направилъ свое копье ему въ подгрудокъ: оно разлетѣлось вдребезги — точно это животное было изъ мѣди. Онъ закрылъ глаза, ожидая смерти... Когда онъ ихъ открылъ—быкъ уже исчезъ.

Тогда онъ упалъ духомъ: онъ ощутилъ униженіе стыда. Высшая власть разрушала его силу. Онъ снова вошелъ въ лѣсъ, чтобы только поскорѣй вернуться домой.

Заглохлый лѣсъ весь заросъ ліанами. Онъ началъ-было рубить ихъ мечомъ, но вдругъ между ногъ его скользнула куница, барсъ перепрыгнулъ ему черезъ плечо и змѣя спиралью поползла вверхъ по стволу ясеня. Въ вѣтвяхъ его сидѣла чудовищная ворона и смотрѣла на Юліана; а тамъ и тутъ на деревьяхъ появилось множество широкихъ, лучистыхъ искръ, точно сводъ небесный высыпалъ на лѣсъ всѣ свои звѣзды. То были зѣницы звѣрей, дикихъ кошекъ, бѣлокъ, филиновъ, попугаевъ, обезьянъ.

Юліанъ пустилъ въ нихъ свои стрѣлы. Оперенныя стрѣлы садились на листья, словно бѣлыя бабочки. Онъ началъ швырять въ нихъ камнями. Камни, никого не задѣвая, падали обратно на землю. Тогда онъ разразился проклятіями, готовъ былъ самого себя изувѣчить, задыхался отъ бѣшенства, произносилъ неистовыя слова!

И всѣ животныя, за которыми онъ нѣкогда охотился, появились

теперь и образовали вокругъ него тѣсный кругъ. Одни сидѣли на заднихъ лапахъ, другія вздымались во весь ростъ. Онъ стоялъ среди нихъ, помертвѣвъ отъ ужаса; онъ не въ силахъ былъ пошевельнуться. Напрягши, наконецъ, послѣднюю волю свою, онъ ступилъ шагъ впередъ. Сидѣвшія на деревьяхъ животныя развернли крылья, находившіяся на землѣ расправили свои члены — и всѣ послѣдовали за нимъ.

Гіены выступали впереди его, волкъ и кабанъ позади; справа, помотывая огромной головою, шелъ быкъ, а слѣва змѣя волнообразно ползла по травѣ, между тѣмъ какъ барсъ, выгибая спину, подвигался впередъ огромными, мягкими, неслышными шагами. Юліанъ шелъ такъ тихо, какъ только возможно, чтобы не раздражить звѣрей, — и видѣлъ, какъ изъ чащи появились дикобразы, ехидны, чекалки, медвѣди.

Юліанъ побѣжалъ—и они побѣжали.

Змѣя шипѣла, вонючіе звѣри испускали слюну, кабанъ теръ ему пятки своими клыками, волкъ ёрзалъ по его ладони мохнатой мордой; обезьяны, кривляясь, щипали его; куница свертывалась въ клубокъ у его ногъ; медвѣдь, наотмашь, сбилъ ему лапой шляпу съ головы; а барсъ презрительно уронилъ стрѣлу, которую держалъ въ пасти. Чувствовалась злая насмѣшка въ ухваткахъ звѣрей,—и. искоса поглядывая на него своими прищуренными зрачками, они, казалось, обдумывали планъ мести. Оглушенный жужжаніемъ насѣкомыхъ, ошеломленный ударами птичьихъ хвостовъ, задыхаясь отъ всѣхъ этихъ испареній и дыханій, Юліанъ шелъ съ закрытыми глазами, простирая руки впередъ, какъ слѣпой, не имѣя даже силы молить о пощадѣ. Вдругъ крикъ пѣтуха пронесся въ воздухѣ; другіе пѣтухи откликнулись. Наступало утро—и онъ узналъ надъ верхушками апельсинныхъ деревьевъ конекъ кровли на своемъ дворцѣ.

Затѣмъ на окраинѣ поля увидѣлъ онъ, въ трехъ шагахъ отъ себя, красныхъ куропатокъ, перепархивавшихъ по жнивью. Онъ разстегнулъ застежку воротника — и бросилъ на нихъ свой плащъ. Когда онъ его приподнялъ — то увидѣлъ только одну куропатку, давно уже издохшую, сгнившую.

Этотъ обманъ раздражилъ его болѣе, чѣмъ всѣ остальные. Жажда бойни, рѣзни, снова овладѣла имъ — и, за неимѣніемъ звѣрей, онъ готовъ былъ убивать людей. Онъ быстро пробѣжалъ всѣ три террасы своего дворца, кулакомъ вышибъ дверь — но на лѣстницѣ воспоминаніе о милой женѣ смягчило его сердце.—Она, вѣроятно, спитъ; онъ обрадуетъ ее своимъ появленіемъ.

Сбросивъ сандаліи, тихо повернулъ онъ ручку замка и вошелъ въ спальню. Расписныя стекла въ свинцовой оправѣ затемняли блѣдноватый свѣтъ зари. Юліанъ запутался въ платьѣ, лежавшемъ на полу: немного далѣе онъ натолкнулся на столъ, уставленный посудой. — «Знать, она ужинала»,—подумалъ онъ, подвигаясь къ кровати, скрытой въ самой темной глубинѣ комнаты. Остановившись у края кровати, онъ, чтобы поцѣловать жену, нагнулся къ подушкѣ, на которой рядышкомъ покоились двѣ головы. — Онъ почувствовалъ на губахъ своихъ прикосновеніе бороды.

Онъ отскочилъ, полагая, что сходитъ съ ума. Однако онъ снова вернулся къ кровати — и пальцы его ощупью коснулись длинныхъ волосъ. А! это жена! — Чтобы удостовѣриться въ своей прежней ошибкѣ, онъ медленно провелъ рукою по подушкѣ... Что это? — Борода! Борода мужчины! Мужчина лежалъ возлѣ его жены!

Въ изступленномъ, безграничномъ гнѣвѣ онъ накинулся съ кинжаломъ на эту чету... Съ пѣной во рту, топая ногами, рыча какъ дикій звѣрь, онъ наносилъ удары... Потомъ затихъ. Оба спавшіе, тотчасъ же пораженные въ самое сердце, и не шелохнулись. Онъ внимательно прислушивался къ ихъ почти одинаковому хрипѣнью — и по мѣрѣ того, какъ оно ослабѣвало — другой голосъ вдали какъ бы продолжалъ этотъ страшный звукъ. Сначала едва внятный, голосъ этотъ, жалобный, завывающій, приблизился, вздулся, залился какимъ-то жестокимъ, безпощаднымъ стенаніемъ—и Юліанъ, окаменѣвъ отъ ужаса, узналъ въ немъ предсмертный рыкъ стараго чернаго оленя!

Онъ повернулся наконецъ — и ему представился въ дверяхъ призракъ его жены со свѣчой въ рукѣ.

Шумъ совершаемаго убійства привлекъ ее. — Однимъ взглядомъ поняла она все — и въ перепугѣ страха, бросилась бѣжать, уронивъ на полъ свѣчу.

Онъ поднялъ эту свѣчу. Отецъ и мать его лежали передъ нимъ на спинѣ съ прободенной грудью—и ихъ величественно кроткія лица, казалось, хранили вѣчную тайну. Кровавые брызги, кровавыя лужи виднѣлись по ихъ бѣлымъ тѣламъ, по простынѣ, одѣялу, по полу — даже вдоль висѣвшаго въ альковѣ Христа изъ слоновой кости краснѣла кровь. Алый отблескъ оконнаго стекла, въ которое въ это мгновенье ударило солнце, освѣщалъ эти красныя пятна и разбрасывалъ еще много другихъ по всей комнатѣ. Юліанъ подошелъ къ обоимъ мертвецамъ, убѣждая себя, силясь вѣрить, что это невозможно, что онъ ошибся, что бываютъ же такія удивительныя сходства! Онъ слегка наклонился, чтобы какъ можно ближе разсмотрѣть старика — и увидѣлъ подъ не вполнѣ закрытою вѣкою потухшій зрачокъ, прожегшій его какъ бы огнемъ. Затѣмъ онъ обошелъ постель, и приблизился къ сторонѣ, гдѣ лежалъ другой трупъ... Бѣлые волосы прикрывали часть лица.—Юліанъ отстранилъ ихъ пальцами—поднялъ голову матери — и долго смотрѣлъ на нее, поддерживая эту голову самымъ концомъ окоченѣвшей руки, — въ другой онъ держалъ свѣчу—и свѣтилъ себѣ ею. Кровь сочилась съ тюфяка — и капля за каплей съ слабымъ стукомъ падала на полъ.

Подъ вечеръ онъ явился къ женѣ — и какимъ-то чужимъ, не своимъ голосомъ велѣлъ ей, во-первыхъ, не отвѣчать ему, не подходить къ нему, даже не глядѣть на него, а во-вторыхъ, подъ страхомъ проклятья, исполнить всѣ его приказанія, которыя должны быть ненарушимы.

Похороны слѣдовало устроить, согласно письменному предписанію, оставленному имъ на аналоѣ въ комнатѣ покойниковъ. Юліанъ завѣщалъ женѣ свой замокъ, своихъ вассаловъ, все имущество свое — не удержавъ за собою даже той одежды, которая была на немъ—ни даже сандалій, которыя жена должна была найти наверху лѣстницы. Ставши невольной причиной его преступленія, она исполнила Божью волю — и должна молиться за упокой его души, такъ какъ съ этого дня онъ уже больше не существуетъ.

Покойниковъ съ пышностью похоронили въ монастырской церкви, отстоявшей на три перехода отъ замка. Монахъ, со спущеннымъ на лицо капюшономъ, слѣдовалъ издали за похоронной процессіей; никто не дерзалъ заговорить съ нимъ.

Въ продолженіе всей обѣдни лежалъ онъ ничкомъ у главнаго входа, съ распростертыми крестообразно руками, не поднимая головы изъ праха.

Послѣ погребенія онъ отправился по дорогѣ, ведшей въ горы. Онъ нѣсколько разъ оборачивался и, наконецъ, исчезъ.

III.

Юліанъ странствовалъ по міру, питаясь подаяніемъ. — На проѣзжихъ дорогахъ протягивалъ онъ руку всадникамъ, съ колѣнопреклоненіемъ подходилъ къ жнецамъ — или же неподвижно стоялъ у рѣшётокъ дворовъ — и лицо его было такъ печально, что никто не отказывалъ ему въ милостынѣ.

Побуждаемый самоуничиженіемъ, разсказывалъ онъ свою страшную повѣсть. Тогда всѣ осѣняли себя крестомъ и отдалялись отъ него. Когда же онъ возвращался въ деревню, въ которой ему разъ пришлось побывать, его встрѣчали угрозами, запирали передъ нимъ двери, швыряли въ него каменьями. Самые милосердые ставили ковшъ воды на край окна—и закрывали ставни, чтобы его не видѣть.

Отринутый всѣми, онъ сталъ избѣгать людей и питался кореньями, падалицей и ракушками, которыя собиралъ на плоскихъ песчаныхъ берегахъ.

Иногда съ высоты косогора онъ внезапно видѣлъ передъ собою массу скученныхъ крышъ города, каменныя колокольни, мосты, башни, скрещенныя темныя улицы, откуда доносился до него непрерывный гамъ. Потребность принять участіе въ жизни другихъ людей побуждала его спуститься въ городъ. Но грубое выраженіе лицъ, шумъ станковъ, безучастность рѣчей леденили его сердце. Въ праздничные дни, когда колокольный благовѣстъ соборовъ съ самой зари радостно настраивалъ народъ, онъ смотрѣлъ на жителей, выходившихъ изъ своихъ домовъ, на хоровыя пляски посреди площадей, на фонтаны браги, струившіеся по перекресткамъ, на дворцы принцевъ, украшенные обоями и коврами; а когда наступалъ вечеръ, заглядывалъ украдкой въ окна нижнихъ этажей: тамъ, за длинными, семейными столами, сидѣли дѣды, держа маленькихъ внуковъ на колѣняхъ.—Рыданья душили его—и онъ снова уходилъ въ поле.

Съ невольнымъ порывомъ любовныхъ чувствъ слѣдилъ онъ взоромъ за пасшимися по лугамъ жеребятами, за пташками, сидѣвшими въ своихъ гнѣздахъ, за златокрылыми насѣкомыми, отдыхавшими на цвѣтахъ. Но всѣ животныя, при его приближеніи, либо убѣгали прочь, либо пугливо прятались, либо торопливо улетали.

Онъ снова сталъ искать уединенныхъ мѣстъ; но вѣтеръ приносилъ его слуху какъ бы предсмертный хрипъ; роса, падая на землю, напоминала ему другія, болѣе тяжелыя капли; солнце каждый вечеръ окрашивало кровью облака — и каждую ночь во снѣ повторялось ужасное отцеубійство.

Онъ сшилъ себѣ власяницу, усѣянную желѣзными остріями; на колѣнихъ вползалъ до часовенъ, стоявшихъ на вершинахъ холмовъ: но безжалостное воспоминаніе омрачало пышность священныхъ храмовъ, терзало его даже посреди суровыхъ истязаній и добровольныхъ мукъ покаянія.

Онъ не роптал на Бога за то, что Онъ присудилъ ему совершить тотъ поступокъ — и, однако, приходилъ въ отчаяніе при мысли, что онъ могъ его совершить.

Его собственная особа внушала ему такое отвращеніе, что въ надеждѣ избавиться отъ нея, онъ подвергалъ себя опасностямъ. Онъ спасалъ разбитыхъ параличомъ изъ пламени пожаровъ, путниковъ со

дна глубокихъ пропастей. Пропасть извергала его обратно, пламя щадило его.

Время не утишило его страданій; они сдѣлались невыносимы: онъ рѣшился умереть.

Однажды, стоя на краю колодца, онъ нагнулся, чтобы глазомъ измѣрить глубину воды—и увидѣлъ передъ собою исхудалаго старика съ бѣлой бородою, — старика такого жалкаго и горькаго, что онъ не могъ удержаться отъ слезъ. Тотъ тоже заплакалъ. Не узнавая себя, Юліанъ смутно припоминалъ лицо, похожее на это. Вдругъ онъ вскрикнулъ:—Да вѣдь это отецъ!—Послѣ того онъ уже болѣе не помышлялъ о самоубійствѣ.

Влача за собою тяжелое бремя своего воспоминанія, онъ прошелъ много странъ—и добрелъ, наконецъ, до одной рѣки, переправа черезъ которую считалась опасной, вслѣдствіе быстроты теченія и вязкой тины, покрывавшей оба берега на значительное разстояніе. Давно уже никто не отваживался переѣзжать эту рѣку.

Старая лодка, съ загрязжей кормой, выдвигала носъ свой изъ камышей. Юліанъ, осмотрѣвъ ее, нашелъ пару веселъ — и ему пришла въ голову мысль посвятить жизнь свою на служеніе другимъ.

Онъ началъ съ того, что устроилъ на одномъ берегу нѣчто въ родѣ насыпи, по которой можно было спускаться до самаго фарватера. Онъ обломалъ себѣ ногти, выворачивая огромные камни; онъ перетаскивалъ ихъ, опирая ихъ о свой животъ. Ноги его скользили по тинѣ, вязли въ ней — и нѣсколько разъ онъ былъ близокъ къ погибели.

Затѣмъ онъ исправилъ лодку, пользуясь корабельными обломками, и соорудилъ себѣ шалашъ изъ глины и древесныхъ стволовъ. Лишь только узнали о возобновленіи переправы, появились и путники. Они призывали Юліана съ другого берега, махая значками. Онъ тотчасъ, живо, вскакивалъ въ лодку. Очень она была грузна, а ее еще переполняли всякой поклажей и тяжестями, не считая вьючныхъ животныхъ, которыя брыкались отъ страха и тѣмъ еще болѣе ее загромождали. Юліанъ ничего не просилъ за свой трудъ: нѣкоторые давали ему остатки припасовъ, которые вынимали изъ котомокъ своихъ, или же изношенную, ненужную болѣе одежду. Люди грубые бранились и богохульствовали; Юліанъ съ кротостію выговаривалъ имъ. Они отвѣчали ему ругательствомъ; онъ довольствовался тѣмъ, что благословлялъ ихъ.

Маленькій столикъ, скамья, ворохъ сухихъ листьевъ вмѣсто ложа, нѣсколько глиняныхъ чашекъ—вотъ въ чемъ состояла вся его утварь. Два отверстія въ стѣнѣ служили замѣсто оконъ. Съ одной стороны тянулись безплодныя равнины, усѣянныя мелкими лужами бѣлесоватаго цвѣта; съ другой — большая рѣка катила свои мутно-зеленыя волны; весной — сырая земля издавала запахъ гнили; лѣтомъ безпокойный вѣтеръ поднималъ вихри пыли. Всюду проникала эта пыль, грязнила воду, скрипѣла подъ зубами. Немного позже появились цѣлыя тучи комаровъ — и жужжаніе и жаленіе не прекращались ни днемъ, ни ночью; а тамъ наступали жестокіе морозы, придававшіе мертвенную жесткость камня всѣмъ предметамъ и возбуждавшіе въ людяхъ неистовую потребность ѣсть мясо.

По цѣлымъ мѣсяцамъ Юліанъ никого не видѣлъ. Часто онъ закрывалъ глаза, стараясь перенестись памятью въ свою молодость. Дворъ большого замка возникалъ передъ нимъ, съ борзыми собаками на крыльцѣ, съ множествомъ слугъ въ оружейной залѣ, а въ виноград-

ной бесѣдкѣ появлялся бѣлокурый отрокъ рядомъ со старикомъ, покрытымъ мѣховой одеждой — и съ дамой въ высокомъ шлыкѣ. Но вдругъ все исчезало, и Юліанъ видѣлъ только тѣ два трупа. Тогда онъ бросался ничкомъ на свое ложе, повторялъ, рыдая: — Ахъ, бѣдный отецъ! бѣдная мать! бѣдная мать! — и засыпалъ, преслѣдуемый и во снѣ этими могильными видѣньями.

Однажды, ночью, онъ спалъ... И вдругъ ему почудилось, что кто-то звалъ его. Онъ приникъ ухомъ... но одинъ лишь ревъ сердитыхъ волнъ наполнялъ его слухъ.

Однако тотъ же голосъ повторилъ: «Юліанъ!» Онъ доносился съ того берега, что, по ширинѣ рѣки, показалось Юліану удивительнымъ.

Въ третій разъ кто-то крикнулъ: «Юліанъ!» Громкій голосъ звенѣлъ словно колоколъ церковный.

Засвѣтивъ фонарь, Юліанъ вышелъ изъ шалаша. Бѣшеная буря потрясала ночной воздухъ. Мгла была глубокая; мѣстами бѣлизна скакавшихъ волнъ разрывала черный занавѣсъ этой мглы.

Послѣ минутнаго колебанія, Юліанъ отвязалъ канатъ. Рѣка тотчасъ же стихла; лодка быстро скользнула по ней — и причалила къ тому берегу, гдѣ стоялъ человѣкъ, ожидая.

Онъ былъ закутанъ въ рваную холстину, лицо походило на гипсовую маску, а глаза горѣли ярче угольевъ. Приблизивъ къ нему свой фонарь, Юліанъ увидѣлъ, что отвратительная проказа покрывала все его тѣло; однако во всей его осанкѣ сказывалось какъ бы царственное величіе. Лишь только этотъ человѣкъ вошелъ въ лодку, она необычайно погрузилась въ воду, подавленная его тяжестью; но сильный толчокъ снова привелъ ее въ равновѣсіе,— и Юліанъ принялся грести.

Съ каждымъ взмахомъ веселъ прибой волнъ поднималъ носъ лодки. Вода, чернѣе чернилъ, бѣшено мчалась вдоль обоихъ бортовъ, она разступалась пропастью, вздымалась горами — и лодка то прыгала по нимъ, то спускалась въ самую глубь водныхъ разсѣлинъ, гдѣ кружилась какъ щепка подъ ударами вихря.

Юліанъ наклонялся впередъ, выдвигалъ упруго руки, — и крѣпко упирался въ дно ногами, откидывался назадъ, перегибая и перекашивая станъ, чтобы придать себѣ больше силы. Градъ хлесталъ по его пальцамъ; дождь заливался ему за спину; яростный вѣтеръ душилъ его, захватывая его дыханіе. Онъ опустилъ руки въ изнеможеніи. Тогда лодку понесло по теченію. Но, понимая, что здѣсь дѣло шло о чемъ-то очень важномъ, о приказаніи, котораго нельзя было ослушаться, онъ снова взялся за весла, и щелканіе уключинъ снова послышалось сквозь ревъ бури.

Его фонарикъ свѣтилъ передъ нимъ, на носу лодки. Птицы, кружась и налетая, то-и-дѣло скрывали отъ него этотъ слабый свѣтъ. Но Юліанъ постоянно видѣлъ зрачки прокаженнаго, который стоялъ на кормѣ неподвижно, какъ столбъ... И это продолжалось такъ... много, много времени.

Когда они вошли въ шалашъ, Юліанъ заперъ дверь, и вдругъ увидѣлъ своего спутника уже сидѣвшаго на скамьѣ. Подобіе савана, прикрывавшее его, спустилось до лядвей: худыя плечи, грудь и руки исчезали подъ чешуйками гноевыхъ прыщей. Огромныя морщины бороздили его лобъ. Вмѣсто носа, у него, какъ у скелета, была дыра, а изъ синеватыхъ губъ отдѣлялось зловонное, какъ туманъ густое, дыханіе.

— Я голоденъ,—сказалъ онъ.

Юліанъ подалъ ему, что имѣлъ: кусокъ стараго сала и корку чернаго хлѣба.

Когда тотъ все это сожралъ,—на столѣ, на ковшѣ, на ручкѣ ножа показались тѣ же пятна, которыми его тѣло было покрыто.

Затѣмъ онъ сказалъ:—Я жажду!

Юліанъ досталъ свою кружку, и когда онъ ее взялъ въ руки, изъ нея распространился вдругъ такой запахъ, что душа его разверзлась, ноздри расширились! То было вино... Какая находка! Но прокаженный простеръ руку, и залпомъ выпилъ всю кружку.

Тогда онъ сказалъ:—Мнѣ холодно!

Юліанъ зажегъ свѣчой кучу хвороста среди шалаша.

Прокаженный сталъ грѣться. Но, сидя на корточкахъ, онъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ, онъ видимо ослабѣвалъ; глаза его перестали блестѣть, сукровица потекла изъ ранъ, и почти угасшимъ голосомъ онъ прошепталъ:

— На твою постель!

Юліанъ осторожно помогъ ему добраться до нея, и даже накрылъ его парусомъ своей лодки.

Прокаженный стоналъ. Приподнятыя губы выказывали рядъ темныхъ зубовъ; учащенный хрипъ потрясалъ его грудь,—и при каждомъ дыханіи животъ его подводило до спинныхъ позвонковъ.

Затѣмъ онъ закрылъ вѣки.

— Точно ледъ въ моихъ костяхъ! Ложись возлѣ меня!

И Юліанъ, отвернувъ парусъ, легъ на сухіе листья, рядомъ съ нимъ, бокъ-о-бокъ.

Но прокаженный повернулъ голову.

— Раздѣнься, дабы я почувствовалъ теплоту твоего тѣла!

Юліанъ снялъ свою одежду; затѣмъ нагой, какъ въ день своего рожденія, снова легъ онъ на постель, и почувствовалъ прикосновеніе кожи прокаженнаго къ бедру своему; она была холоднѣй змѣиной кожи и шероховата, какъ пила.

Юліанъ пытался ободрить его, но тотъ отвѣчалъ, задыхаясь:

— Ахъ, я умираю! Приблизься! Отогрѣй меня, не руками, а всѣмъ существомъ твоимъ!

Юліанъ совсѣмъ легъ на него, ртомъ ко рту, грудью къ груди.

Тогда прокаженный сжалъ Юліана въ своихъ объятіяхъ, и глаза его вдругъ засвѣтились яркимъ свѣтомъ звѣзды, волосы растянулись, какъ солнечные лучи, дыханіе его ноздрей стало свѣжѣй и сладостнѣй благовонія розы; изъ очага поднялось облачко ладана, и волны запѣли дивную пѣснь. Восторгъ неизъяснимый, нечеловѣческая радость, какъ бы спустившись съ небесной вышины, затопили душу обомлѣвшаго отъ блаженства Юліана, а тотъ, кто все еще держалъ его въ объятіяхъ, выросталъ, выросталъ, касаясь руками и ногами обѣихъ стѣнъ шалаша. Крыша взвилась, звѣздный сводъ раскинулся кругомъ, и Юліанъ поднялся въ лазурь, лицомъ къ лицу съ нашимъ Господомъ Іисусомъ Христомъ—уносившимъ его въ небо.

Такова легенда о св. Юліанѣ Милостивомъ; такъ, по крайней мѣрѣ, она изображена на старинномъ расписномъ окнѣ въ одной изъ церквей моей родины.

1877 г.

II. — Иродіада, соч. Густава Флобера.

I.

Махэрузская цитадель возвышалась — на востокъ отъ Мертваго моря — на базальтовой скалѣ, имѣвшей видъ конуса. Четыре глубокихъ долины ее окружали: двѣ съ боковъ, одна впереди, четвертая сзади. Куча домовъ тѣснилась у ея подошвы, охваченная круглымъ каменнымъ валомъ, который то вздымался, то ниспадалъ, слѣдуя неровностямъ почвы: извилистая дорога, высѣченная въ скалѣ, соединяла городъ съ крѣпостью. Стѣны той крѣпости, вышиною въ сто двадцать локтей, изобиловали уступами, углами, бойницами; башни высились тамъ и сямъ, составляя какъ бы звенья каменнаго вѣнца, воздвигнутаго надъ бездной.

Внутри цитадели находился дворецъ, украшенный портиками, съ плоской крышей въ видѣ террасы. Перила изъ смоковничнаго дерева замыкали ее со всѣхъ сторонъ; — длинныя мачты, на которыя натягивался вэларіумъ, стояли вокругъ, надъ перилами.

Однажды, до восхода солнца, тетрархъ Иродъ Антипа появился на вершинѣ дворца — и, облокотясь о перила, принялся глядѣть.

Прямо передъ нимъ лежавшія горы начинали показывать свои гребни, между тѣмъ какъ вся ихъ масса, до самаго дна ущелій, пребывала еще въ тѣни. Туманы бродили... Они вдругъ разорвались — и ясно выступили очертанія Мертваго моря. Заря уже зажигалась позади Махэруза; уже начинали разливаться ея красноватыя отраженія. Понемногу освѣтила она прибрежные пески, холмы, пустыню; а тамъ, дальше къ небосклону, зарумянились и Іудейскія горы съ своими сѣрыми, шероховатыми покатостями. По серединѣ — Энгадди протянулось черною чертою; Эбронъ въ углубленіи закруглился куполомъ; Эсколь показалъ свои гранатовыя рощи; Сорэкъ — свои виноградники; Газеръ—поля, усѣянныя кунгутомъ; кубышкообразная, громадная Антоніева башня тяжело повисла надъ Іерусалимомъ. Тетрархъ отвелъ отъ нея свои взоры и сталъ созерцать іерихонскія пальмы. Вспомнилъ онъ тутъ остальные города своей Галилеи: Капернаумъ, Аэндоръ. Назаретъ и Тиверіаду, куда онъ, можетъ-быть, никогда не возвратится. Іорданъ струился передъ нимъ по безжизненной пустынѣ. Внезапно вся побѣлѣвшая, она слѣпила глаза, подобно снѣговой скатерти. Мертвое море становилось похожимъ на большой лазоревый камень—и на сѣверной его оконечности, со стороны Іемена, Антипа открылъ именно то, что онъ боялся найти: разбросанныя палатки темно-бураго цвѣта виднѣлись тамъ; люди, съ копьями въ рукахъ, двигались промежъ лошадей, а потухавшіе огоньки блистали искрами,—низко,—на самомъ уровнѣ земли.

То было войско аравійскаго царя, съ дочерью котораго Антипа развелся для того, чтобы взять за себя Иродіаду, жену одного изъ своихъ братьевъ. Братъ этотъ жилъ въ Италіи, безъ всякаго притязанія на власть.

Антипа ожидалъ помощи отъ римлянъ; и такъ какъ Вителлій, сирійскій правитель, медлилъ прибытіемъ — безпокойство терзало тетрарха.—«Агриппа», думалъ онъ: «навѣрное повредитъ мнѣ у императора». Филиппъ, третій его братъ, владѣлецъ Ватанеи, тайно вооружился. Іудеевъ возмущали идолопоклонническіе обычаи тетрарха; *другихъ* его подданныхъ тяготило его правленіе. Вотъ, онъ и коле-

бался между двумя рѣшеніями: либо смягчить аравитянъ — либо заключить союзъ съ парѳянами; — и, подъ предлогомъ имениннаго празднества, онъ въ тотъ самый день пригласилъ на великій пиръ главныхъ начальниковъ своихъ войскъ, приставовъ по имѣніямъ и важнѣйшихъ лицъ Галилеи.

Остро-напряженнымъ взоромъ пробѣжалъ онъ всѣ дороги. Онѣ были пусты. Орлы летали надъ его головою. Вдоль крѣпостного вала солдаты спали, прислонившись къ стѣнѣ. Во дворцѣ ничего не шевелилось.

Внезапно, отдаленный голосъ, какъ бы выходившій изъ нѣдръ земли, заставилъ поблѣднѣть тетрарха. Онъ нагнулся, чтобы вѣрнѣе прислушаться. Но голосъ умолкъ. Потомъ онъ опять раздался... и, хлопнувъ нѣсколько разъ въ ладоши, Иродъ закричалъ: «Маннаи! Маннаи!»

Появился человѣкъ, обнаженный до пояса, подобно баншику. Онъ былъ очень высокаго роста, старъ, страшно худъ; на ляжкѣ у него висѣлъ большой ножъ въ бронзовыхъ ножнахъ—и такъ какъ его волосы, захваченные гребнемъ, были всѣ вздѣты кверху, то лобъ его казался длины необычайной. Странная сонливость заволакивала его безцвѣтные глаза. Но зубы его блестѣли—и ноги легко и твердо ступали по плитамъ. Гибкость обезьяны сказывалась во всемъ его тѣлѣ,— безстрашная неподвижность муміи—на лицѣ.

— Гдѣ онъ?—спросилъ тетрархъ.

— Все тамъ же! — отвѣчалъ Маннаи, указывая позади себя большимъ пальцемъ правой руки.

— Мнѣ почудился его голосъ! — И Антипа, вздохнувъ глубоко, до дна груди, освѣдомился объ Іоаканамѣ, — о томъ человѣкѣ, котораго латиняне называютъ святымъ Іоанномъ Крестителемъ.

— Приходили ли вновь тѣ два человѣка, которые, мѣсяцъ тому назадъ, были, по снисхожденію, допущены въ его тюрьму, — и стала ли извѣстна причина ихъ посѣщенія?

Маннаи отвѣчалъ:

— Они обмѣнялись съ нимъ таинственными словами, ни дать, ни взять ночные воры на перекресткахъ дорогъ. Потомъ они отправились въ верхнюю Галилею, объявивъ, что скоро вернутся съ великою вѣстью.

Антипа наклонилъ голову,—потомъ, съ выраженіемъ ужаса на лицѣ:

— Береги его! береги!—воскликнулъ онъ: — и никого не допускай до него! Запри крѣпко дверь! Прикрой яму! Никто не долженъ даже подозрѣвать, что онъ еще живъ!

Еще не получивъ этихъ приказаній, Маннаи уже исполнилъ ихъ, ибо Іоаканамъ былъ іудей, и Маннаи, какъ всѣ самаритяне, ненавидѣлъ іудеевъ.

Гаризинскій ихъ храмъ, храмъ самаритянъ, предназначенный Моисеемъ быть средоточіемъ Израиля, не существовалъ со временъ короля Гиркана; — а потому іерусалимскій храмъ наполнялъ душу Маннаи тою яростью оскорбленія, которую возбуждаетъ торжествующая несправедливость. Маннаи однажды тайно взобрался въ іерусалимскій храмъ съ другими товарищами для того, чтобы осквернить алтарь возложеніемъ на священное мѣсто мертвыхъ костей. Его спасло проворство его ногъ;—сообщникамъ его отрубили головы.

И вотъ, онъ увидѣлъ ненавистный храмъ вдали, въ разрѣзѣ двухъ холмовъ. Поднявшееся солнце ярко освѣщало бѣломраморныя стѣны и золотыя плиты крыши. Храмъ являлся лучезарной горой, чѣмъ-то

сверхъестественнымъ; все кругомъ было подавлено его великолѣпіемъ, его гордыней.

Маннаи протянулъ руку въ направленіи Сіона — и, выпрямивъ станъ, сжавъ кулаки, закинувъ лицо, произнесъ анаѳему. Онъ былъ увѣренъ, что клятвенныя слова имѣютъ дѣйствительную силу!

Антипа равнодушно выслушалъ его возгласъ. Самаритянинъ продолжалъ:

— Отъ времени до времени онъ волнуется, онъ хочетъ бѣжать: онъ надѣется на освобожденіе. Иногда у него видъ спокойный, какъ у больного звѣря: а не то онъ вдругъ начнетъ ходить взадъ и впередъ впотьмахъ, безпрестанно повторяя: — «Что нужды!—Дабы онъ возвеличился. нужно мнѣ умалиться!»

Антипа и Маннаи обмѣнялись взорами. Но долгія размышленія уже утомили тетрарха.

Всѣ эти горы вокругъ него, подобныя уступамъ большихъ окаменѣлыхъ волнъ, черныя разсѣлины на склонѣ крутыхъ скатовъ, громадность синяго неба, сильный свѣтъ, глубина пропастей — все это смущало; и безнадежное уныніе овладѣвало имъ при зрѣлищѣ пустыни, почва которой, искаженная допотопными переворотами, являла видъ обрушенныхъ цирковъ и дворцовъ. Горячій вѣтеръ приносилъ вмѣстѣ съ запахомъ сѣры какъ бы испаренія Богомъ проклятыхъ городовъ, зарытыхъ глубоко, ниже береговъ Мертваго моря, подъ тяжелыми его водами. Эти слѣды безсмертнаго гнѣва пугали умъ тетрарха; и онъ пребывалъ недвижимъ, опершись обоими локтями на перила и сжимая виски руками. Кто-то слегка тронулъ его. Онъ обернулся: передъ нимъ стояла Иродіада.

Легкій пурпурный хитонъ облекалъ ее всю, до самыхъ сандалій. Торопливо покинувъ свои покои, она не успѣла надѣть ни ожерелья. ни серегъ; густая коса черныхъ волосъ падала ей на плечо, прильнувъ концомъ къ груди, въ промежуткѣ сосцовъ. Вздернутыя ноздри трепетали; радость торжества озаряла лицо. Громкимъ голосомъ взывая къ тетрарху:

— Цезарь насъ любитъ!—промолвила она.—Агриппа посаженъ въ тюрьму.

— Кто тебѣ сказалъ?

— Ужъ я знаю! Онъ въ тюрьмѣ,—продолжала она:—за то, что пожелалъ Каію *) быть императоромъ.

Этотъ Агриппа, живя ихъ подаяніемъ, стремился добыть себѣ царскій титулъ, котораго и они домогались. Но теперь его уже нечего страшиться! Тюрьмы Тиверія отпираются не легко, и самая жизнь въ нихъ не всегда надежна!

Антипа понялъ ее, и хотя она была сестра этого самаго Агриппы—жестокій смыслъ ея послѣднихъ словъ не возмутилъ его; напротивъ. онъ ее оправдалъ. Къ тому же, всѣ эти убійства проистекали изъ самой силы вещей; они были какъ бы необходимостью въ тогдашнихъ царскихъ домахъ. Въ домѣ Ирода ихъ уже не считали... такъ ихъ было много.

Затѣмъ она разсказала тетрарху всѣ свои старанія; упомянула о подкупѣ клієнтовъ, о вскрытыхъ письмахъ, о лазутчикахъ, приставленныхъ ко всѣмъ дверямъ; разсказала, какъ ей удалось перемануть главнаго доносчика Эвтихія... все, все сообщила она.—Я ничего не жалѣла! Да я тебя, чего я не сдѣлала? Не отреклась ли я отъ собственнаго сына?

*) Кай Калигула, наслѣдникъ Тиверія.

Послѣ развода, она оставила этого ребенка въ Римѣ, надѣясь имѣть другихъ дѣтей отъ тетрарха. До того дня она никогда не упоминала объ этомъ. И онъ спрашивалъ себя: откуда въ ней этотъ внезапный приливъ нѣжности—и что онъ значитъ?

Между тѣмъ, прислужники натянули вэларіумъ, принесли и положили на полъ широкія подушки. Иродіада опустилась на одну изъ нихъ и заплакала, обернувшись спиною къ мужу. Но вотъ она провела ладонью по вѣкамъ... Она рѣшила, что не будетъ думать о прошломъ, что она теперь счастлива! И она принялась напоминать тетрарху долгія ихъ бесѣды тамъ, въ далекомъ Римѣ, въ атріумѣ дворца; встрѣчи ихъ подъ портиками бань, прогулки по «Священной улицѣ *), и вечера, проведенные въ просторныхъ виллахъ, при рокотѣ водометовъ, подъ цвѣточными арками, въ виду римской Кампаньи. Она взглядывала на него, какъ въ былые дни, и съ кошачьими движеніями всего тѣла, ластилась къ его груди. Онъ оттолкнулъ ее.

Та любовь, которую она старалась оживить, была теперь такъ отъ него далеко! Причиной всѣхъ его бѣдствій была эта любовь. По ея милости война продолжалась вотъ уже скоро девять лѣтъ; по ея милости тетрархъ состарѣлся. Облеченная въ темную тогу съ лиловой каймой, его спина горбилась; сѣдина мелькала въ бородѣ, и лучи солнца, проникавшіе сквозь ткань натянутаго покрова, озаряли живымъ свѣтомъ его угрюмый, сморщенный лобъ. На лбу Иродіады тоже виднѣлись складки и, сидя другъ противъ друга, они мѣнялись враждебными, суровыми взглядами.

Межъ тѣмъ, горныя дороги оживлялись. Пастухи погоняли быковъ остріемъ дротиковъ, дѣти тащили за собой ословъ, конюхи вели вьючныхъ лошадей. Тѣ, которые спускались съ высотъ, лежавшихъ за Махэрузомъ, исчезали постепенно за стѣнами замка; другіе поднимались вдоль ущелій, ведшихъ къ Махэрузу—и, войдя въ городъ, складывали свою ношу по дворамъ домовъ. То были поставщики тетрарха и слуги гостей, высланные впередъ своими господами. Но вотъ, налѣво, на самомъ концѣ террасы, появился ессей, босой, въ бѣлой одеждѣ, съ видомъ стоика. Маннаи тотчасъ бросился къ нему навстрѣчу, обнаживъ и высоко поднявъ свой ножъ.

— Убей его!—кричала Иродіада.

— Стой!—промолвилъ тетрархъ.

Маннаи остановился; тотъ—тоже.

Потомъ оба отступили, пятясь другъ отъ друга и не покидая другъ друга взглядомъ; и оба исчезли—каждый по лѣстницѣ.

— Я знаю его! — сказала Иродіада: — его имя Фануилъ; онъ старался свидѣться съ Іоаканамомъ, такъ какъ ты настолько слабъ, что сохраняешь его въ живыхъ.

Антипа возразилъ, что изъ Іоаканама можно было извлечь пользу. Его постоянныя нападки на Іерусалимъ привлекали къ нимъ обоимъ остальныхъ евреевъ.

— Нѣтъ!—воскликнула она.—Евреи покоряются всѣмъ своимъ властителямъ. Они не въ состояніи создать себѣ родину. А того, кто тревожитъ народъ, возбуждая въ немъ надежды, сохранившіяся со временъ Гегеміаса — того должно уничтожить. — Вотъ самая вѣрная политика.

— Намъ не къ спѣху!— увѣрялъ тетрархъ. — Іоаканамъ—опасенъ! Вотъ выдумала!!

*) Via *Sacra*—главная улица древняго Рима.

И онъ смѣялся притворно.

— Молчи!—крикнула она.

И она снова разсказала то униженіе, которому подверглась она въ день своей поѣздки въ Галаадъ для сбора бальзама. На берегу рѣки какіе-то нагіе люди надѣвали свои одежды. Тутъ же, на вершинѣ холма, стоялъ человѣкъ и говорилъ. Онъ былъ препоясанъ по чреслamъ верблюжьей кожей — и его голова походила на голову льва. — Какъ только онъ увидѣлъ меня,—продолжала Иродіада: — онъ изрыгнулъ на меня всѣ проклятія пророковъ. Его зѣницы пылали, голосъ завывалъ; онъ поднималъ руки къ небу, какъ бы желая достать оттуда громовыя стрѣлы. Бѣжать было невозможно; колесница моя до самыхъ ступицъ завязла въ пескѣ... И я поневолѣ медленно удалилась, закрываясь мантіей — и вся кровь моя стыла отъ оскорбленій, которыя сыпались на меня, какъ дождевой ливень!

Іоаканамъ не давалъ жить Иродіадѣ! Когда его схватили и связали веревками—солдатамъ данъ былъ приказъ зарѣзать его, если бъ онъ вздумалъ сопротивляться. Но тутъ онъ, какъ нарочно, явился смиренникомъ. Въ его тюрьму напустили змѣй: змѣи околѣли.

Неудача ея козней выводила изъ себя Иродіаду. Зачѣмъ онъ нападалъ на нее? Что его побуждало? Его рѣчи, обращенныя въ толпѣ, распространялись повсюду, ихъ повторяли,—она слышала ихъ вездѣ,—онѣ наполняли воздухъ. Она не была лишена мужества—но эта сила, болѣе язвительная, чѣмъ лезвіе мечей, сила, которую невозможно было схватить, наводила на нее нѣчто въ родѣ оцѣпенѣнія. Иродіада расхаживала взадъ и впередъ по террасѣ, вся помертвѣлая отъ гнѣва, не находя словъ, чтобы выразить все, что душило ее.

Она думала также о томъ, что тетрархъ, уступая общему мнѣнію, могъ, пожалуй, развестись съ нею. Тогда все погибло! Съ самыхъ младыхъ ногтей она питала мечту о великомъ царствѣ. Только для того, чтобы осуществить эту мечту, рѣшилась она оставить своего перваго мужа и соединиться съ нимъ, съ этимъ человѣкомъ, который ее обманываетъ.

— Хорошую я нашла подпору, нечего сказать, войдя въ твою семью!

— Моя семья не хуже твоей,—спокойно отвѣчалъ тетрархъ.

Въ жилахъ Иродіады внезапно закипѣла кровь ея прадѣдовъ, первосвященниковъ и царей!

— Твой дѣдъ подметалъ храмъ въ Аскалонѣ! Другіе твои родичи были пастухами, разбойниками, поводырями караванов! Сволочь, платившая дань Іудѣ, со временъ царя Давида! Всѣ мои предки били твоихъ предковъ! Первые изъ Маккавеевъ выгнали васъ изъ Геброна; Гирканъ принудилъ васъ обрѣзаться?

И, давъ волю чувству презрѣнія, презрѣнія патриціанки къ плебею, рода Якова къ роду Эдома, Иродіада начала осыпать Антипу упреками за его равнодушіе къ оскорбленіямъ, за его уступчивость передъ предателями, фарисеями, за его трусость передъ народомъ, который его ненавидѣлъ.

— Ты такой же, какъ они—признайся! И ты сожалѣешь о томъ, что оставилъ аравійскую дѣвку, ту, что пляшетъ вокругъ камней! Возьми же ее опять! Ступай и живи въ ея холщевой палаткѣ! Пожирай ея хлѣбъ, испеченный подъ золою! Глотай кислое молоко ея овецъ! Лобызай ея синія щеки—и оставь меня!

Но тетрархъ уже не слушалъ ея. Онъ устремилъ глаза на плоскую крышу сосѣдняго дома, гдѣ внезапно увидѣлъ молодую дѣвушку; ря-

домъ съ нею старуха держала зонтикъ съ тростниковой ручкой, длинный, какъ рыбачье удилище. Посрединѣ ковра стоялъ раскрытый дорожный коробъ; пояса, спутанныя ткани, разноцвѣтные покровы, золотыя подвѣски въ безпорядкѣ свѣшивались черезъ его края. Отъ времени до времени молодая дѣвушка наклонялась къ этимъ предметамъ, встряхивала ихъ на воздухѣ. Она была одѣта римлянкой — въ тонкую тунику и въ пэплумъ съ застежками изъ изумруда; синія перевязки удерживали ея косу, вѣроятно, очень тяжелую: дѣвушка изрѣдка трогала ее сзади рукою. Тѣнь отъ зонтика колебалась надъ нею, скрывая ее до половины. Раза два удалось Антипѣ замѣтить ея гибкую шею, уголъ глаза, часть небольшого рта. Но онъ могъ видѣть весь ея станъ отъ бедръ до затылка. Онъ видѣлъ, какъ онъ склонялся и выпрямлялся—легко и упруго. Онъ караулилъ возвратъ этого стройнаго движенія —и дыханіе его становилось усиленнымъ, огоньки зажигались въ глазахъ. Иродіада наблюдала за нимъ.

— Кто это?—спросилъ онъ наконецъ.

Она отвѣчала, что не знаетъ... и, внезапно утихнувъ, удалилась.

Тетрарха ожидали подъ портикомъ галилеяне: завѣдывавшій письменной частью, главный приставъ надъ пастбищами, управляющій соляными копями и еврей изъ Іерусалима, начальникъ его конницы. Всѣ привѣтствовали его дружнымъ восклицаніемъ... Но онъ обратился къ внутреннимъ покоямъ.

Фануилъ возникъ передъ нимъ на поворотѣ коридора.

— Опять ты! Ты, конечно, пришелъ сюда ради Іоаканама?

— И ради тебя! Мнѣ нужно сообщить тебѣ важное извѣстіе...

И, не покидая болѣе Антипу, онъ проникъ вслѣдъ за нимъ въ темную храмину.

Свѣтъ падалъ въ нее сквозь рѣшетчатое отверстіе, разстилаясь во всю длину карниза. Стѣны были выкрашены красно-лиловой, почти черной краской. У задней стѣны возвышалось ложе изъ чернаго дерева, съ тесьмами изъ бычачьей кожи. Золотой щитъ блисталъ, какъ солнце, надъ изголовьемъ.

Антипа перешелъ всю храмину и бросился на ложе. Фануилъ, стоя, поднялъ руку съ внушительнымъ и вдохновеннымъ видомъ.

— Всевышній посылаетъ иногда одного изъ чадъ своихъ... Іоаканамъ — такое Его чадо. Если ты будешь притѣснять его — тебя постигнетъ кара.

— *Онъ* преслѣдуетъ меня,—воскликнулъ тетрархъ. — Онъ потребовалъ отъ меня невозможнаго!—Съ тѣхъ поръ онъ всячески меня поноситъ. Сначала я кротко съ нимъ обращался... Но онъ послалъ изъ Махэруза людей, которые возмущаютъ моихъ подданныхъ.—Онъ нападаетъ на меня... Я защищаюсь.

— Іоаканамъ слишкомъ ретивъ въ гнѣвѣ, точно, — возразилъ Фануилъ.—Но, какъ бы то ни было, его надо освободить!

— Дикихъ звѣрей не выпускаютъ на волю,—сказалъ тетрархъ.

— Не тревожься болѣе!—отвѣчалъ Фануилъ.—Онъ пойдетъ къ аравитянамъ, къ галламъ, къ скиѳамъ.—Дѣлу, къ которому онъ призванъ, суждено достигнуть предѣловъ земли.

Антипа казался погруженнымъ въ нѣкое видѣніе.

— Его власть велика! Я, противъ собственной воли, люблю его.

— Такъ освободи его!

Тетрархъ покачалъ головою.—Онъ боялся Иродіады, Маннаи... онъ страшился неизвѣстнаго будущаго.

Фануилъ попытался убѣдить его. Залогомъ правдивости словъ

своихъ онъ представлялъ постоянную покорность ессеевъ царямъ. Эти люди, бѣдные, недоступные страху пытки и казней, покрытые льняной одеждой, умѣвшіе читать въ книгѣ звѣзднаго неба, внушали невольное уваженіе. Антипа вспомнилъ слово, сказанное Фануіломъ въ началѣ разговора.

— Какое важное извѣстіе хотѣлъ ты сообщить мнѣ?

Но вдругъ появился негръ. Все его тѣло побѣлѣло отъ пыли.— Онъ хрипѣлъ отъ усталости и могъ только произнести:

— Вителлій!

— Какъ? Онъ сюда идетъ?

— Я видѣлъ его... Черезъ три часа онъ здѣсь!

Занавѣсы коридоровъ заколыхались, какъ бы вздутые вѣтромъ; шумъ наполнилъ весь замокъ, топотъ и грохотъ бѣжавшихъ людей, перетаскиваемыхъ мѣбелей; лязгъ и звонъ серебряныхъ сосудовъ... а съ вышины башенъ зычно гремѣли трубы, призывавшія разбредшихся рабовъ.

II.

Толпы народа покрывали крѣпостные валы, когда Вителлій вошелъ во дворъ замка. Онъ опирался объ руку своего толмача; слѣдомъ за нимъ подвигались большія носилки, обитыя красной тканью, украшенныя зеркалами и помпонами. — Вителлій былъ одѣтъ въ тогу съ широкою пурпуровою каймою, въ консульскіе полусапожки; ликторы окружали его особу.

Они вонзили въ землю передъ дверью двѣнадцать пуковъ прутьевъ, перевитыхъ ремнемъ, съ топоромъ по серединѣ... и всѣ зрители тайно вострепетали передъ величіемъ римскаго народа.

Носилки, которыми орудовали восемь человѣкъ, остановились... Юноша, съ толстымъ животомъ, съ лицомъ угреватымъ, съ жемчужными кольцами на пальцахъ—вышелъ оттуда.—Ему тотчасъ предложили кубокъ съ виномъ и душистыми пряностями.—Онъ выпилъ и потребовалъ еще. Между тѣмъ, тетрархъ упалъ на колѣни передъ проконсуломъ, сокрушаясь о томъ, что не былъ раньше увѣдомленъ о великой милости его прибытія.—А то бы онъ, тетрархъ, отдалъ приказъ, чтобы по всѣмъ дорогамъ было припасено то, что подобаетъ Вителліямъ. Они происходили отъ богини Вителліи; дорога, ведшая отъ Яникула къ морю, носила ихъ имя, квестурамъ, консульствамъ не было счету въ ихъ родѣ! Что же до самого Люція, ставшаго теперь гостемъ тетрарха, то всѣ ему были обязаны благодарностью, какъ побѣдителю строптивыхъ клитовъ и отцу того юнаго Авла, который, прибывъ сюда, казалось, возвращается въ свое владѣніе— такъ какъ Востокъ всегда считался родиной боговъ!—Всѣ эти гиперболы были высказаны тетрархомъ по-латыни — Вителлій принималъ ихъ холодно и спокойно.

Онъ отвѣчалъ, наконецъ, что одного Великаго Ирода достаточно для славы цѣлаго народа. Аѳиняне почтили его завѣдываніемъ олимпійскихъ игръ. Онъ построилъ храмы въ честь Августа, и отличался всегда терпѣніемъ, смышленостью, воинской доблестью и постоянной вѣрностью цезарямъ. Между колоннами съ бронзовыми капителями появилась Иродіада. Она шествовала съ видомъ императрицы, окруженная женщинами и евнухами; они несли золотые подносы, на которыхъ курились благовонія.

Проконсулъ шагнулъ три раза ей навстрѣчу. Привѣтствовавъ его легкимъ наклоненіемъ головы:—Какое счастье!—воскликнула она:—

что Агриппа, врагъ Тиверія, впередъ не можетъ вредить болѣе!— Вителлій ничего не зналъ объ этомъ событіи. Продіада показалась ему опасной... и такъ какъ Антипа началъ клясться богами, что сдѣлаетъ все для императора:

— Да,—прибавилъ проконсулъ:—даже во вредъ другимъ.

(Вителлію нѣкогда удалось добыть заложниковъ отъ парѳянскаго царя; но императоръ не обратилъ вниманія на эту заслугу — ибо Антипа, присутствовавшій при совѣщаніи, немедленно, чтобы выставить себя, первый послалъ объ этомъ вѣсть. Этотъ поступокъ тетрарха породилъ глубокую ненависть въ Вителліи; оттого онъ и мѣшкалъ привести обѣщанную помощь).

Тетрархъ смутился и не зналъ, что сказать; но Авлъ промолвилъ со смѣхомъ:

— Не бойся! *Я* твой покровитель!

Проконсулъ притворился, что не слышалъ словъ, сказанныхъ его сыномъ. Счастье отца зависѣло отъ осквернѣнія сына; и этотъ Авлъ, этотъ цвѣтокъ, возросшій на грязи Капреи, доставлялъ ему такія значительныя выгоды, что онъ окружалъ его самыми предупредительными заботами — хоть и не довѣрялъ ему: цвѣтокъ этотъ былъ ядовитъ.

Подъ воротами поднялся громкій шумъ. Появился цѣлый рядъ бѣлыхъ муловъ, на которыхъ возсѣдали люди въ священнической одеждѣ. То были саддукеи и фарисеи, которыхъ одна и та же честолюбивая мысль приводила въ Махэрузъ. Саддукеи желали получить право жертвоприношенія; а фарисеи—удержать это право за собою. Лица этихъ людей были мрачны, особенно лица фарисеевъ, прирожденныхъ враговъ тетрарха и Рима. Они путались въ полахъ своихъ хламидъ среди тѣснившейся толпы—и тіары ихъ колебались на ихъ головахъ, подвязанныя узкими лентами, на которыхъ были начертаны письменные знаки.

Почти въ то же время прибыли солдаты римскаго авангарда. Они вложили щиты свои въ мѣшки, чтобы сохранить ихъ отъ пыли—а за ними шелъ Маркеллъ, намѣстникъ проконсула, вмѣстѣ съ мытарями, державшими подъ мышками деревянныя таблицы.

Антипа представилъ проконсулу главныхъ своихъ приближенныхъ, Толмаія, Карѳера, Сехона, Аммоніаса изъ Александріи, который закупалъ для него асфальтъ, Наамана, начальника его легкой пѣхоты, вавилонца Ясима.

Вителлій уже прежде замѣтилъ Маннаи.

— А этотъ кто?

Тетрархъ объяснилъ ему знакомъ, что это былъ палачъ. Потомъ онъ представилъ Вителлію саддукеевъ.

Іонаѳанъ, человѣкъ малаго роста, весьма развязный въ своихъ движеніяхъ и говорившій по-эллински, началъ умолять проконсула посѣтить его въ Іерусалимѣ. Тотъ отвѣчалъ, что вѣроятно туда прибудетъ.

Элеазаръ, человѣкъ съ крючковатымъ носомъ и длинной бородою, сталъ требовать отъ имени фарисеевъ плащъ первосвященника, задержанный въ Антоніевой башнѣ гражданской властью.

Затѣмъ галилеяне подали доносъ на Понтія Пилата. Пользуясь тѣмъ предлогомъ, что нѣкій безумецъ отыскивалъ золотые сосуды Давида въ пещерѣ близъ Самаріи, онъ повелѣлъ убить нѣсколькихъ жителей.—Всѣ они говорили въ одно и то же время—Маннаи громче

и настойчивѣе другихъ. Вителлій увѣрялъ ихъ, что виновные будутъ наказаны.

Внезапно бранные слова и крики раздались передъ однимъ изъ портиковъ, гдѣ солдаты повѣсили свои щиты. Они сняли съ нихъ чехлы—и фигура цезаря, изображенная на пупѣ каждаго щита, возбудила негодованіе іудеевъ, считавшихъ это идолопоклонствомъ.— Антипа началъ ихъ усовѣщивать рѣчью—а Вителлій, сидѣвшій подъ колоннадой на высокомъ креслѣ, дивился ихъ неразумной яростн.— Да, думалъ онъ, Тиверій былъ правъ, что сослалъ четыре сотни такихъ іудеевъ въ Сардинію. Но здѣсь они были у себя дома — они были сильны... Вителлій приказалъ унести щиты.

Но тутъ они всѣ окружили проконсула, испрашивая—кто отмѣны какой-либо несправедливости, кто—особыхъ привилегій, кто—просто милостыни. Они рвали свои одежды, продирались впередъ; чтобы удержать ихъ, рабы били ихъ палками—направо, налѣво. Ближайшіе къ дверямъ стали спускаться по дорогѣ,—но другіе поднимались по ней и снова надвигали ихъ на проконсула. Два теченія образовалось въ этой массѣ людей, которая грузно колебалась, стѣсненная оградою стѣнъ.

Вителлій спросилъ, какая была причина такого многочисленнаго собранія? Антипа отвѣтилъ, что всѣ эти люди пришли на праздникъ его именинъ — и указалъ на нѣкоторыхъ слугъ своихъ. Свѣсившись съ бойницъ, втаскивали они на веревкахъ огромныя корзины, полныя мясами, плодами, овощами.—Онъ указалъ еще на антилопъ, аистовъ, широкихъ рыбъ лазоревато цвѣта, на виноградныя гроздья, дыни, тыквы, гранаты, нагроможденныя въ видѣ пирамидъ. — Авлъ не выдержалъ. Онъ устремился въ кухню, увлеченный тѣмъ обжорствомъ, которому, много лѣтъ спустя, было суждено удивить цѣлый міръ *).

Проходя мимо погреба, онъ увидалъ кастрюли, подобныя двойнымъ латамъ. Вителлій также подошелъ посмотрѣть на нихъ — и потребовалъ, чтобы ему отперли подземныя комнаты замка.

Онѣ были высѣчены въ скалѣ — въ видѣ высокихъ подваловъ со сводами, которые подпирались столбами. Въ первой комнатѣ находился складъ стараго, уже негоднаго оружія. Но вторая была битком набита пиками; тѣсно и дружно торчали ихъ острія, охваченныя пучками перьевъ. Стѣны третьей комнаты казались обтянутыми множествомъ цыновокъ: до того густо были насажены кругомъ тонкія стрѣлы, стоймя, другъ возлѣ дружки. Лезвія мечей покрывали стѣны четвертой комнаты. Посреди пятой—длинныя линіи шлемовъ съ ихъ гребнями уподоблялись легіону красныхъ змѣй. Въ шестой комнатѣ находились одни колчаны, въ седьмой—однѣ ножныя латы (кнэмиды), въ восьмой—налокотники, въ остальныхъ—вилы, крюки, лѣстницы, канаты;—тутъ были даже шесты для катапультовъ, даже бубенчики для верблюжьихъ нагрудниковъ... И такъ какъ гора шла, расширяясь книзу, вся пробуравленная изнутри, какъ пчелиный улей — то подъ однимъ рядомъ комнатъ разстилался другой,—а еще глубже—третій.

Вителлій, Финеасъ, его толмачъ, и Сизе́нна, начальникъ мытарей, проходили всѣ эти комнаты при свѣтѣ факеловъ, несомыхъ тремя евнухами. Смутно видѣлись въ тѣни безобразные предметы, изобрѣтенные варварами: палицы, усѣянныя гвоздями, отравленные дротики, клещи, подобные челюстямъ крокодиловъ... Тетрархъ обладалъ въ Махэрузѣ военными снарядами, достаточными для вооруженія

*) Этотъ Авлъ Вителлій былъ, какъ извѣстно, императоромъ послѣ Оттона, въ 69 году по Р. Х.

сорока тысячъ солдатъ. Онъ собралъ всѣ эти снаряды въ предвидѣніи опаснаго союза противниковъ; но проконсулъ могъ подумать, или даже сказать, что это все было наготовлено съ цѣлью воевать противъ римлянъ; и тетрархъ старался представить оправданія, извиненія.

Не всѣ оружія ему принадлежали. — Многія служили защитой отъ разбойниковъ. Кромѣ того, нужно было сражаться съ аравитянами. Иное досталось ему отъ отца. — И вмѣсто того, чтобы идти позади проконсула, тетрархъ бѣжалъ впередъ утопленными шагами. Онъ вдругъ прислонился къ стѣнѣ, растягивая тогу растопыренными локтями. Но верхняя часть двери виднѣлась надъ его головою. Вителлій замѣтилъ эту дверь — и захотѣлъ узнать, что скрывается за нею?

Вавилонецъ могъ одинъ отворить ее.

— Позвать вавилонца!

Его подождали!

Отецъ этого вавилонца прибылъ съ береговъ Эвфрата съ пятьюстами всадниковъ. Онъ предложилъ Великому Ироду свои услуги для защиты восточныхъ окраинъ. Послѣ раздѣленія царства, Ясимъ остался жить у Филиппа—а теперь служитъ Антипѣ.

Онъ явился, наконецъ, съ лукомъ на плечѣ, съ бичомъ въ рукѣ. Разноцвѣтныя бичевки тѣсно стягивали его кривыя ноги. Туника въ видѣ поддёвки не покрывала его обнаженныхъ, толстыхъ рукъ; мѣховая шапка бросала черную тѣнь на хмурое лицо и на бороду, завитую въ колечки.

Сначала онъ притворился, что не понимаетъ толмача. Но Вителлій глянулъ на Антипу... и тотъ немедленно повторилъ его повелѣніе. Тогда Ясимъ приложился обѣими руками къ двери: скользнувъ, она вошла въ стѣну.

Струею теплаго воздуха пахнуло изъ мрака. Широкій коридоръ, спускаясь винтообразно, велъ въ глубь. Всѣ отправились по этому коридору и достигли порога пещеры, болѣе просторной, чѣмъ всѣ другія подземелья.

На противоположномъ концѣ этой пещеры зіяло отверстіе арки, выходившей на самую кручь бездны, которая съ той стороны защищала крѣпость. Дикая жимолость, цѣпляясь за сводъ арки, колебала на прозрачномъ воздухѣ свои цвѣточныя гроздья, озаренныя живымъ свѣтомъ дня, по дну пещеры журчала узкая струйка ключевой воды.

Около сотни бѣлыхъ лошадей находилось тамъ; онѣ ѣли ячмень, насыпанный на доску, поднятую въ уровень съ ихъ мордами. Гривы ихъ были окрашены въ синюю краску; копыта - обернуты въ плетёные мѣшечки; холки между ушами вздымались хохолкомъ, въ видѣ париковъ. Своими длинными хвостами онѣ тихонько похлопывали себѣ по берцамъ. Проконсулъ онѣмѣлъ отъ удивленія.

То были дивныя животныя, гибкія какъ змѣи, легкія какъ птицы. Онѣ мчались, не отставая отъ стрѣлы, пущенной всадникомъ, сбивали съ ногъ людей, грызли ихъ зубомъ, мигомъ высвобождались изъ нагроможденныхъ камней и скалъ, прыгали черезъ пропасти, а среди ровнаго поля неслись какъ бѣшеныя, безъ устали, отъ зари до зари. Стоило сказать одно слово — и онѣ тотчасъ останавливались, какъ вкопанныя. Какъ только Ясимъ вошелъ въ пещеру, онѣ всѣ побѣжали къ нему, какъ овцы къ пастуху — и, вытягивая тонкія шеи, тревожно глядѣли на него своими дѣтскими глазами. По привычкѣ, онъ крикнулъ на нихъ дикимъ, гортаннымъ крикомъ: этотъ звукъ ихъ

развеселилъ — и онѣ стали вздываться на дыбы, прыгать... Жажда простора, жажда скачки въ нихъ загорѣлась.

Антипа, боясь, какъ бы проконсулъ не взялъ ихъ себѣ, заперъ ихъ въ этомъ мѣстѣ, особо предназначенномъ для животныхъ въ случаѣ осады.

— Нехорошая конюшня,—сказалъ проконсулъ.—Ты рискуешь потерять ихъ.—Запиши ихъ въ инвентарь, Сизе́нна.

Мытарь досталъ дощечку изъ-за пояса, перечелъ лошадей и записалъ ихъ. Агенты фискальныхъ обществъ подкупали предводителей, чтобы удобнѣе грабить провинціи. И этотъ Сизе́нна, съ своей лисьей мордочкой и вѣчно мигавшими глазками, разнюхивалъ все и всюду.

Наконецъ, всѣ возвратились на дворъ замка. Бронзовыя круглыя доски, затычки, въ родѣ плоскихъ вьюшекъ, прикрывали разбросанныя тамъ и сямъ цистерны. Проконсулъ замѣтилъ одну изъ этихъ досокъ, которая была шире другихъ и глуше звенѣла подъ каблукомъ. Онъ поочередно постукалъ по всѣмъ—и вдругъ затопалъ ногами, заревѣлъ неистово:

— Нашелъ! нашелъ! Вотъ онѣ, Иродовы сокровища!

Отыскать эти сокровища—эта мысль какъ гвоздь засѣла въ голову каждаго римлянина.

Тетрархъ поклялся, что никакихъ сокровищъ тутъ не было.

— Такъ что же тутъ такое?

— Ничего... человѣкъ одинъ... узникъ.

— Покажи его!—сказалъ Вителлій.

Тетрархъ не повиновался. Іудеи узнали бы его тайну.

Его явное нежеланіе открыть эту доску раздражило Вителлія.

— Выбить ее!—закричалъ онъ ликторамъ.

Маннаи догадался, въ чемъ было дѣло. Увидавъ принесенный топоръ, онъ подумалъ, что хотятъ обезглавить Іоаканама; и при первомъ ударѣ лезвія о бронзовую плиту, онъ всунулъ между ею и каменьями мостовой длинный крюкъ; затѣмъ, вытянувъ и напрягши свои худыя, жилистыя руки, осторожно приподнялъ плиту... Она отвалилась. Всѣ изумились силѣ старика. Подъ этой бронзовой крышкой, подбитой деревомъ, показался трапъ. Маннаи ударилъ по немъ кулакомъ, и онъ распался на двѣ створчатыя половинки. Открылась яма, черная, глубокая дыра, въ которую вонзалась узкая, круглая лѣстница безъ перилъ; и тѣ, которые нагнулись надъ отверстіемъ, увидали тамъ, глубоко на днѣ, что-то смутное и ужасное.

Человѣкъ лежалъ тамъ на землѣ. Его длинные волосы перепутались съ шерстью звѣриной шкуры, облекавшей его члены. Онъ поднялся. Его лобъ коснулся поперечной желѣзной рѣшетки, крѣпко вдѣланной въ стѣны ямы... Отъ времени до времени онъ отходилъ прочь и исчезалъ во тьмѣ подземелья.

Острыя верхушки тіаръ, рукоятки мечей сверкали на солнцѣ; тяжелый зной раскалилъ плиты мостовой, и голуби, слетая съ карнизовъ, кружили надъ дворомъ. То былъ обычный часъ, когда Маннаи кормилъ ихъ зерномъ. Онъ присѣлъ на корточки передъ тетрархомъ, который стоялъ недвижно возлѣ Вителлія. Галилеяне, священники, солдаты составляли сзади широкій кругъ—всѣ молчали въ нѣмотствующемъ ожиданіи.

Сперва послышался глубокій вздохъ, похожій на хриплое, протяжное рычаніе.

Иродіада услышала этотъ вздохъ на другомъ концѣ дворца. Охваченная неотразимымъ влеченіемъ, она прошла сквозь всю толпу, и

положивъ руку на плечо Маннаи, наклонивъ впередъ все тѣло, она принялась слушать.

Голосъ заговорилъ:

— «Горе вамъ, фарисеи и саддукеи, исчадье змѣй, мѣха надутые, кимвалы звенящіе!»

Всѣ узнали Іоаканама... всѣ повторяли его имя.

Много еще подбѣжало народу.

— «Горе тебѣ, народъ, горе вамъ, іудейскіе измѣнники, пьяницы эфраимскіе, горе вамъ, живущимъ въ тучныхъ долинахъ, вамъ, чьи путаются ноги, отягченныя винищемъ!..

— «Да расточатся они, какъ вода изсякающая, какъ истлѣвающій червь, какъ недоносокъ женщины, которому не суждено увидѣть солнца!..

— «О, Моавъ, тебѣ придется скрываться въ вѣтвяхъ кипариса, подобно воробью, въ тьмѣ пещеръ, подобно тушканчику! Какъ орѣховая шелуха, радробятся ворота крѣпостей и рухнутъ стѣны, и воспылаютъ города! Бичь Всевышняго разить не перестанетъ! Въ твоей же крови вываляетъ Онъ твои члены, словно шерсть въ чану красильщика! Онъ истолчетъ тебя какъ зерно въ ступѣ; какъ новая борона терзаетъ грудь земли, такъ Онъ тебя истерзаетъ; по горамъ и долямъ разбросаетъ Онъ клочья твоего мяса!..»

— О какомъ завоевателѣ говоритъ онъ? — спрашивали себя слушатели. — Не о Вителліи ли? Одни римляне могли совершить такія истребленія!

И жалобы возникали кругомъ, раздались стенанія.—Довольно! довольно! вели ему замолчать!

Но Іоаканамъ продолжалъ еще громче:

— «Хватаясь за трупы своихъ матерей, малыя дѣти будутъ ползти по горячему пеплу! Ночью, подъ страхомъ и на-авось меча, люди пойдутъ искать посреди развалинъ огрызки хлѣба! На площадяхъ городскихъ, тамъ, гдѣ нѣкогда бесѣдовали старцы, чекалки станутъ оспаривать другъ у друга мертвыя кости! Глотая слезы, юныя дѣвы будутъ играть на лютняхъ передъ пирующими иноземцами, и самые храбрые сыны твои, о, Моавъ! преклонятъ хребты подъ непосильными ношами!»

Столпившійся народъ безмолвно слушалъ эти заклинанія, и передъ его духовными очами возникали дни изгнанія, бѣдствія и напасти прошедшихъ временъ. Точно такія рѣчи гремѣли въ устахъ древнихъ пророковъ. Іоаканамъ посылалъ свои возгласы одинъ за другимъ, съ разстановкой, словно наносилъ удары.

И вдругъ его голосъ сталъ тихимъ, сладкозвучнымъ, пѣвучимъ. Онъ предвѣщалъ скорое освобожденіе, царство справедливости, милости, благополучія. Небеса засіяютъ непреходнымъ сіяніемъ, въ пещерѣ дракона родится младенецъ, золото заступитъ мѣсто глины, пустыня расцвѣтетъ пышнѣе розы! То, что теперь стоитъ шестьдесятъ гиккасовъ, не будетъ стоить больше обола. Молочные источники заструятся изъ нѣдръ скалъ; всѣ люди, довольные, пресыщенные, будутъ опочивать въ тѣни виноградныхъ лозъ!..

— «Когда же придешь Ты, Кого я ожидаю! Уже теперь всѣ народы преклоняютъ колѣни, и царствію Твоему не будетъ конца, о, сынъ Давида!»

Тетрархъ откинулся назадъ. Существованіе Давидова сына оскорбило его, какъ угроза.

Іоаканамъ началъ поносить его за его владычество — (нѣтъ вла-

дыки, кромѣ Предвѣчнаго!) — за его сады, его статуи, его театры; за его утварь изъ слоновой кости... Онъ поносилъ его, какъ безбожнаго Ахава!

Антипа схватился за грудь, и перервавъ шнурокъ, на которомъ висѣла его печать, швырнулъ ее въ яму и приказалъ ему молчать.

Но голосъ отвѣчалъ:

— «Я буду кричать, какъ рычитъ медвѣдь, какъ онагръ кричитъ, какъ женщина въ мукахъ родовъ! За кровосмѣшеніе твое тебя уже постигло наказаніе! Богъ покаралъ тебя безплодіемъ мула!»

Быстрый смѣхъ промчался въ толпѣ, подобный плесканію волнъ.

Вителлій упорствовалъ, не хотѣлъ уйти. Толмачъ, съ безстрастнымъ видомъ, передавалъ на языкѣ римлянъ всѣ оскорбленія, которыя Іоаканамъ изрекалъ на своемъ языкѣ, и, такимъ образомъ, тетрархъ и Иродіада принуждены были выслушивать ихъ два раза сряду.

Тетрархъ задыхался отъ бѣшенства; она глядѣла на дно ямы, вся помертвѣлая, съ раскрытыми губами.

Ужасный человѣкъ, закинувъ назадъ голову и ухватившись за желѣзные прутья рѣшетки, прижалъ къ ней свое волосатое лицо, походившее съ виду на спутанный кустъ, въ которомъ сверкали два угля.

— «А, это ты, Іезавель! Скрипъ твоихъ сандалій завладѣлъ его сердцемъ! Ты ржала отъ похоти, какъ кобылица! Ты поставила ложе свое на вершинѣ горы и тамъ совершала свои жертвы!.. Но Господь сорветъ съ тебя твои серьги, твои пурпуровыя одежды, твои льняные покровы! Онъ сорветъ запястья съ рукъ твоихъ и кольца съ ногъ твоихъ, и тѣ подвѣски, тѣ золотые серпы, которые дрожатъ и блещутъ на челѣ твоемъ, и серебряныя твои зеркала, и вѣеры изъ страусовыхъ перьевъ, и тѣ перламутровыя высокія подошвы, на которыя ты ставишь свои ноги, и краску ногтей твоихъ, и всѣ ухищренія нѣги твоей! Все Онъ отниметъ насильно, жестоко, и не хватитъ каменьевъ, чтобы побить тебя всю, кровосмѣсительница!»

Иродіада оглянулась кругомъ, какъ бы ища защиты. Фарисеи съ притворнымъ сожалѣніемъ опускали взоры, саддукеи отворачивали головы, боясь оскорбить проконсула. Антипа казался мертвымъ человѣкомъ.

А голосъ все росъ, все возвышался. Онъ перекатывался отрывисто, какъ внезапно разразившійся громъ, и эхо горъ повторяло молніеносные звуки, которыми онъ такъ и поражалъ Махэрузъ.

— «Пресмыкайся въ пыли, дщерь Вавилона! Мели муку! Сбрось твой поясъ, сними твою обувь, засучи край твоей одежды, перейди черезъ рѣки... Ничто не спасетъ тебя! Стыдъ твой будетъ открытъ, позоръ твой увидятъ всѣ люди! Твои же рыданія сокрушатъ твои зубы! Всевышнему мерзитъ вонь твоихъ преступленій! Проклятая! Проклятая! Околѣвай, какъ псица!»

Но тутъ трапъ закрылся, крышка захлопнулась... Маннаи готовъ былъ задушить Іоаканама.

Иродіада исчезла; фарисеи были возмущены. Стоя посреди ихъ, Антипа старался оправдаться.

— Конечно, — замѣтилъ Элеазаръ: — слѣдуетъ заключать бракъ съ овдовѣвшей женой своего брата; но Иродіада не была вдовою и, сверхъ того, у ней живъ ребенокъ; а въ этомъ-то и состоитъ вся мерзость грѣха.

— Неправда! Заблужденіе!—возражалъ саддукей Іонаѳанъ.—Законъ осуждаетъ подобные браки, но не отвергаетъ ихъ вовсе.

— Какъ вы ни толкуйте—вы всѣ несправедливы ко мнѣ, — твердилъ Антипа. — Развѣ Авессаломъ не сочетался съ женами своего отца, Іуда со своей невѣсткой, Аммонъ съ своею сестрою, Лотъ съ дочерьми своими?

Въ это мгновеніе появился Авлъ, который уже успѣлъ выспаться. Узнавъ, о чемъ шла рѣчь, онъ одобрилъ тетрарха. — Стоило стѣсняться изъ-за подобныхъ пустяковъ!—И онъ много смѣялся и укоризнамъ священниковъ, и ярости Іоаканама.

Иродіада, съ высоты крыльца, обратилась къ нему.

— Ты напрасно такъ говоришь, о, господинъ! Онъ приказываетъ народу не платить даней.

— Правда это?—тотчасъ спросилъ мытарь.—Всѣ отвѣчали утвердительно. Тетрархъ, съ своей стороны, подкрѣплялъ ихъ слова доказательствами.

Вителлію пришло въ голову, что узникъ могъ убѣжать, и такъ какъ поведеніе Антипы ему казалось сомнительнымъ, то онъ повелѣлъ поставить стражу у всѣхъ дверей, вдоль стѣнъ, на дворѣ.

Затѣмъ онъ отправился въ свои покои. Выборные отъ священниковъ пошли за нимъ. Не касаясь вопроса о жертвоприношеніи, они излагали свои жалобы. Они наскучили ему... онъ велѣлъ имъ удалиться.

Уходя отъ проконсула, Іонаѳанъ увидѣлъ возлѣ одной изъ бойницъ Антипу. Онъ разговаривалъ съ человѣкомъ длинноволосымъ, одѣтымъ въ бѣлый хитонъ, съ ессеемъ... Іонаѳанъ въ душѣ пожалѣлъ о томъ, что поддержалъ тетрарха.

Одна мысль утѣшала Антипу, — Іоаканамъ уже не зависѣлъ отъ него болѣе: римляне взялись его караулить... Какое облегченіе! Фануилъ расхаживалъ въ это время по брустверу. Онъ позвалъ его и, указавъ на солдатъ:—

— Они сильнѣе меня,—сказалъ тетрархъ.—Я не могу теперь его освободить... Это не моя вина!

Между тѣмъ дворъ опустѣлъ. Рабы отдыхали. На красномъ полѣ неба, зажженнаго вечерней зарей, малѣйшіе отвѣсные предметы выдѣлялись черными чертами. Антипа могъ различить соляныя копи по ту сторону Мертваго моря; аравійскихъ палатокъ не было видно болѣе. Вѣроятно, онѣ откочевали. Луна всплыла, и въ сердце его спустилось успокоеніе.

Фануилъ, какъ человѣкъ подавленный горемъ, пребывалъ недвижимъ, уронивъ на грудь подбородокъ. Онъ высказалъ, наконецъ, то, что̀ хранилъ на душѣ.

Съ самаго начала мѣсяца онъ наблюдалъ и изучалъ небо. Созвѣздіе Персэя находилось въ зенитѣ, Агала едва показывался, Альгонъ блестѣлъ слабымъ блескомъ, Мира-Коэти совсѣмъ исчезъ; и Фануилъ заключилъ изъ всего этого, что нынѣшней же ночью, въ Махэрузѣ, долженъ покончить жизнь важный человѣкъ.

Но кто? Вителлія окружала его стража; Іоаканамъ не будетъ казненъ...

«Ужъ не *я* ли тотъ человѣкъ?» — думалось тетрарху. — «Быть-можетъ, аравитяне возвратятся? А не то проконсулъ откроетъ мои сношенія съ парѳянами? Іерусалимскіе клевреты сопровождали священниковъ; подъ одеждами они скрывали кинжалы...» Тетрархъ не сомнѣвался въ мудрости и познаніяхъ Фануила.

Не прибѣгнуть ли къ Иродіадѣ? Спору нѣтъ—онъ ее ненавидитъ... но она придастъ ему мужества. Къ тому же, не были еще порваны всѣ нити чаръ, которыми она нѣкогда его опутала.

Когда онъ вошелъ въ ея комнату, въ порфировой вазѣ курился киннамонъ, и всюду были разбросаны склянки съ духами, благовонные порошки, ткани, подобныя облакамъ, вышитыя кисеи легче перьевъ.

Тетрархъ слова не проронилъ ни о предсказаніи Фануила, ни о страхѣ, который внушали ему аравитяне и евреи. Онъ упомянулъ только о римлянахъ. Вителлій не сообщилъ ему ни одного изъ своихъ военныхъ плановъ. Онъ подозрѣвалъ, что Вителлій другъ Кая, котораго посѣщаетъ Агриппа. Онъ боялся, что его, тетрарха, сошлютъ въ ссылку, а можетъ-быть, и зарѣжутъ.

Иродіада, съ презрительною снисходительностью, старалась его успокоить. Видя, что слова ея мало дѣйствуютъ, она вынула изъ небольшого ящичка медаль странной формы, украшенную головою Тиверія въ профиль. Ликторы должны были поблѣднѣть при видѣ этой медали; всѣ обличители—умолкнуть.

Благодарный, растроганный Антипа спросилъ, какимъ образомъ она достала эту медаль?

— Мнѣ ее дали,—отвѣчала она.

Вдругъ, изъ-подъ занавѣса двери высунулась обнаженная до плеча рука, рука молодая, прекрасная, словно выточенная Поликлетомъ изъ слоновой кости. Нѣсколько неловко, но красиво, двигалась эта рука по воздуху, вправо и влѣво, ища, стараясь захватить тунику, оставленную на небольшой скамьѣ, возлѣ стѣны.

Старуха-прислужница тихонько подала эту тунику за дверь, приподнявъ занавѣсъ.

Тетрарху что-то внезапно вспомнилось... но что̀ именно — онъ не могъ сказать.

— Эта рабыня тебѣ принадлежитъ? — спросилъ онъ наконецъ.

— Какое тебѣ дѣло!—отвѣчала Иродіада.

III.

Гости наполняли залу, гдѣ совершалось пиршество. Она распадалась на три придѣла, подобно базиликѣ; ихъ раздѣляли колонны изъ алгуминнаго дерева, съ бронзовыми капителями, съ изваянными украшеніями. Двѣ галлереи съ прорѣзнымъ поломъ опирались на эти колонны, а третья, вся изъ золотой филиграни, округлялась на концѣ залы, прямо напротивъ громадной арки входа.

Пылавшіе канделябры на столахъ, поставленныхъ во всю длину залы, возвышались огненными кустами между чашами изъ крашеной глины, мѣдными блюдами, тисненными грудами снѣга, кучами винограда. Эти красныя пятна свѣта постепенно сливались въ отдаленіи, подавленныя вышиною потолка; лучистыя точки сверкали въ трибунахъ, между древесными вѣтвями, подобно ночнымъ звѣздочкамъ.

Сквозь отверстіе входа виднѣлись факелы, зажженные на террасахъ домовъ. Антипа задавалъ пиръ друзьямъ своимъ, народу, всякому, кто желалъ быть гостемъ.

Рабы, обутые въ войлочныя сандаліи, кружили быстрѣе псовъ, съ подносами на рукахъ. На золотой трибунѣ третьей галлереи, на особо устроенномъ помостѣ изъ жимолостныхъ досокъ, стоялъ проконсульскій столъ. Вавилонскіе ковры, подвѣшенные къ потолку, образовали кругомъ нѣчто въ родѣ павильона.

Три ложа изъ слоновой кости, одно на почетномъ мѣстѣ, два по бокамъ, окружали столъ. На нихъ возлежали: проконсулъ налѣво, возлѣ двери, Авлъ направо, тетрархъ посерединѣ.

На немъ былъ тяжелый черный плащъ, весь расшитый разноцвѣтными накладками; румяна покрывали его щеки, борода раскинулась вѣеромъ, вѣнецъ изъ драгоцѣнныхъ камней сжималъ волосы, посыпанные пудрой лазоревaго цвѣта. Вителлій сохранилъ свою пурпуровую перевязь; косвенно пересѣкла она его льняную тогу. Авлъ велѣлъ повязать себѣ за спину рукава своей лиловой шелковой ризы, исполосованной серебряными галунами; въ три ряда поднимались его завитыя кудри и сапфирное ожерелье блистало на его груди, бѣлой и тучной, какъ грудь женщины. Подлѣ него, на цыновкѣ, скрестивъ ноги, сидѣлъ чрезвычайно красивый ребенокъ, который постоянно улыбался. Авлъ увидѣлъ его въ кухнѣ—и не могъ уже съ нимъ разстаться. Не будучи въ состояніи запомнить его халдейское имя, онъ называлъ его просто Азіатомъ (Asiaticus). Отъ времени до времени Авлъ опускался навзничь на свое ложе — и тогда его голыя ноги, высоко поднятыя, царили надъ всѣмъ собраніемъ.

Съ той же стороны находились священники и офицеры Антипы, іерусалимскіе жители, главныя лица греческихъ городовъ; а со стороны проконсула и пониже его — Маркеллъ съ мытарями, собирателями податей, друзья тетрарха, важныя особы изъ Каны, Птолемаиды, Іерихона; дальше сидѣли, уже безъ чиновъ, горцы съ Ливанона, старые воины Ирода Великаго, двѣнадцать ѳракійцевъ, идумейскіе пастухи, султанъ Пальмиры, эзіугаверскіе моряки. Передъ каждымъ гостемъ лежала лепешка изъ мягкаго тѣста, о которую онъ утиралъ пальцы—и жадныя руки безпрестанно протягивались, какъ пигарговы шеи, за оливками, фисташками, миндалями. Всѣ лица, увѣнчанныя цвѣтами, сіяли веселіемъ.

Фарисеи отказались отъ этихъ вѣнковъ, какъ отъ римскаго нечестья. Они содрогнулись, когда ихъ окропили смѣсью галбана и ладана; жидкость эта употреблялась только для священныхъ обрядовъ храма.

Авлъ натеръ ею свои мышки — и Антипа обѣщалъ прислать ему цѣлый корабль, нагруженный этимъ составомъ, вмѣстѣ съ тремя корзинами той настоящей мастики, которая возбуждала въ Клеопатрѣ желаніе присвоить себѣ Палестину.

Одинъ изъ начальниковъ тиверіадскаго гарнизона, только-что прибывшій въ Махэрузъ, помѣстился позади тетрарха, и, казалось, сообщалъ ему вѣсти о событіяхъ необыкновенныхъ. Но все его вниманіе было поглощено проконсуломъ, а также и тѣмъ, что говорилось на сосѣднихъ столахъ. Тамъ толковали объ Іоаканамѣ и о подобныхъ ему людяхъ. Приводились разные факты:

Симеонъ изъ Гиттóя, напримѣръ, омывалъ грѣхи огнемъ. Нѣкій Іисусъ...

— Этотъ хуже всѣхъ, — замѣтилъ Элеазаръ. — Презрѣнный обманщикъ!

Позади тетрарха вдругъ поднялся человѣкъ, блѣдный, бѣлый какъ кайма его собственной хламиды. Онъ сошелъ съ помоста — и, обратившись къ фарисеямъ:

— Вы лжете!—воскликнулъ онъ.—Іисусъ творитъ чудеса!

Антипа пожелалъ увидѣть этого Іисуса.

— Зачѣмъ ты не привелъ его? Сообщи о немъ, что̀ знаешь.

Тогда тотъ разсказалъ, какъ онъ, Яковъ, имѣя дочь больную, отправился въ Капернаумъ для того, чтобы умолить Учителя излѣчить ее. И Учитель отвѣчалъ ему: — Ступай домой; твоя дочь здорова. — И онъ, Яковъ, возвратясь, нашелъ дочь свою на порогѣ дома... Она

покинула свое ложе, когда «гномонъ» дворца показывалъ третій часъ, самый тотъ часъ, когда онъ приступилъ къ Іисусу.

Но фарисеи представили возраженія.— Конечно,—говорили они:— существуютъ извѣстныя дѣйствія, травы, одаренныя чародѣйною силою. Въ самомъ Махэрузѣ иногда можно было найти траву «баарасъ», которая дѣлаетъ человѣка неуязвимымъ. Но вылѣчить больного, не видѣвъ и не коснувшись его... какая нелѣпость! одно развѣ: Іисусъ призываетъ въ помощь демоновъ!

И друзья Антипы, начальствующіе люди между галилеянами, повторили, качая головами:

— Да, демоновъ... это несомнѣнно!

Яковъ, стоя между ихъ столомъ и столомъ священниковъ, сохранялъ тотъ же видъ,—надменный и кроткій.

— Говори же, говори!—приставали они къ нему: — доказывай его могущество!

Онъ нагнулся, приподнялъ плечи—и чуть слышнымъ голосомъ, медленно, какъ испуганный человѣкъ:—

— Вы развѣ не знаете, что онъ Мессія?—сказалъ онъ.

Всѣ священники переглянулись, а Вителлій потребовалъ объясненія этого слова. Толмачъ, прежде чѣмъ отвѣтить, помолчалъ съ минуту.

— Евреи называютъ этимъ именемъ,—объяснилъ онъ, наконецъ:— освободителя, который наградитъ ихъ обладаніемъ всѣхъ благъ земныхъ и владычествомъ надъ остальными народами. Иные утверждаютъ даже, что слѣдуетъ ожидать двухъ Мессій. Одинъ будетъ побѣжденъ Гогомъ и Магогомъ, сѣверными демонами; но другой истребитъ князя зла; и вотъ уже нѣсколько столѣтій, какъ они ежечасно его ожидаютъ.

Между тѣмъ, священники поговорили между собою — и Элеазаръ попросилъ слова.

— Во-первыхъ,—такъ началъ онъ: — Мессія будетъ сынъ Давида, а не плотника. Во-вторыхъ: онъ утвердитъ законъ, а этотъ назареянинъ его разрушаетъ. Главное же возраженіе Элеазара состояло въ томъ, что Мессіи долженъ предшествовать Илія пророкъ.

— Но онъ уже пришелъ, Илія!—вскричалъ Яковъ.

— Илія! Илія!—повторила толпа до самаго конца залы.

И воображенію всѣхъ немедленно представилась цѣлая картина: старецъ подъ тучею враговъ, небесный огнь, падающій на алтарь, идолопоклонническіе жрецы, низвергнутые въ бурный потокъ... Женщины въ трибунахъ вспоминали о сарептской вдовицѣ.

Но Яковъ продолжалъ настойчиво утверждать, что онъ его видѣлъ! Онъ его видѣлъ! И весь народъ его видѣлъ!

— Его имя! имя!

Тогда онъ закричалъ изо всѣхъ силъ:

— Іоаканамъ!

Антипа опрокинулся назадъ, словно что ударило его прямо въ грудь. Саддукеи ринулись на Якова. Среди шума и гама Элеазаръ разглагольствовалъ, возвышая голосъ, силясь привлечь къ себѣ вниманіе.

Когда, наконецъ, тишина возстановилась, онъ закутался въ свой плащъ, и какъ судья, сталъ ставить вопросы.

— Вѣдь пророкъ Илія умеръ?

Смятенный ропотъ прервалъ его. Многіе были убѣждены, что Илія только исчезъ, а не умеръ. Элеазаръ вспылилъ... однако продолжалъ свой допросъ.

— Ты полагаешь, что онъ воскресъ?

— А почему же нѣтъ?—отвѣчалъ Яковъ.

Саддукеи пожимали плечами, а Іонаѳанъ, вытаращя глаза, усиленно старался смѣяться, словно шутъ какой. — Что могло, дескать, быть глупѣе притязанія бреннаго тѣла на вѣчную жизнь? И онъ продекламировалъ, ради проконсула, стихъ современнаго поэта:

«Nec crescit, nec post mortem durare videtur». *)

Но въ эту минуту увидали Авла, склонившагося на край триклиніума: съ испариной на лбу, съ лицомъ позеленѣвшимъ, онъ прижималъ оба кулака къ желудку.

Саддукеи притворились перепуганными. (На другой же день право жертвоприношенія было имъ даровано). Антипа являлъ всѣ признаки отчаянія; одинъ Вителлій пребывалъ безучастнымъ, хоть онъ и ощущалъ въ душѣ жестокую тревогу: вмѣстѣ съ сыномъ онъ терялъ всю свою карьеру.

Авла стошнило... Но какъ только его рвота кончилась, онъ опять захотѣлъ ѣсть.

— Подайте мнѣ скобленнаго мрамора, наксосскаго сланцу, морской воды, чего-нибудь, скорѣй! Или вотъ что: не взять ли мнѣ ванну?

Онъ принялся грызть снѣжные комья. Затѣмъ, послѣ недолгаго колебанья — за что ему приняться: за коммагенскій ли паштетъ, за розовыхъ ли дроздовъ—онъ рѣшился взять тыквы на меду. «Азіатъ» съ благоговѣніемъ созерцалъ Авла: этотъ даръ неустаннаго пожиранія изобличалъ, по его понятію, существо необычайное, принадлежащее высшей породѣ!

Авлу подали бычачьихъ почекъ, жареную бѣлку, соловьевъ, рубленнаго мяса, завернутаго въ виноградные листья. А между тѣмъ, священники продолжали спорить о воскресеніи мертвыхъ. Аммоніасъ, ученикъ платоника Филона, находилъ подобные толки нелѣпыми и высказывалъ свое мнѣніе тутъ же сидѣвшимъ грекамъ, которые смѣялись надъ оракулами. Маркеллъ и Яковъ подошли другъ къ другу. Маркеллъ разсказывалъ о блаженствѣ, которое онъ испыталъ, принявъ вѣру персидскаго бога Митры, а Яковъ убѣждалъ его послѣдовать Христу. Пальмовыя и тамарисовыя, сафетскія и библосскія вина текли ручьями изъ амфоръ въ кувшины, изъ кувшиновъ въ чаши, изъ чашъ въ гортани. Поднялся говоръ болтовни, начались сердечныя изліянія. Ясимъ, хоть и еврей, не скрывалъ болѣе своего обожанія планетъ; купецъ изъ Аѳаки изумлялъ кочевниковъ подробнымъ описаніемъ чудесъ гіерополисскаго храма—и тѣ спрашивали у него, что стоило путешествіе туда? За то другіе крѣпко держались за свои прирожденныя повѣрья. Полуслѣпой германецъ пѣлъ гимнъ во славу того скандинавскаго мыса, гдѣ боги являютъ въ лучахъ свои лики; а люди изъ Сихема отказывались отъ жареныхъ голубей—изъ уваженія къ священной горлицѣ Азима.

Многіе бесѣдовали, стоя посреди залы, и отъ пара дыханья и дыма свѣтильниковъ въ воздухѣ образовалось нѣчто въ родѣ тумана. Фануилъ проскользнулъ вдоль стѣны. Онъ только-что снова произвелъ наблюденія надъ небесными созвѣздіями; но не подвигался въ направленіи тетрарха, страшась выпачкаться въ маслѣ, что для ессеевъ было великимъ осквернені́емъ.

Вдругъ послышались удары въ ворота замка. Народъ узналъ о заключеніи Іоаканама. Люди съ факелами въ рукахъ карабкались вдоль

*) „Ни расти, ни существовать послѣ смерти не можетъ".

тропинокъ; темныя массы кишѣли въ оврагахъ — и отъ времени до времени поднимались протяжные вопли:

— Іоаканамъ! Іоаканамъ!

— Онъ всюду помѣхой,—сказалъ Іонаѳанъ.

— Не будетъ доходовъ, деньги переведутся, если ему позволятъ продолжать,—толковали фарисеи.

И отовсюду неслись упреки, жалобы.

— Защити насъ, тетрархъ! Пора покончить съ этимъ человѣкомъ! Ты отступаешься отъ вѣры! — Ты безбожникъ, какъ все Иродово племя!

— Меньше, чѣмъ вы! — возразилъ тетрархъ. — Мой отецъ соорудилъ вашъ храмъ.

Тогда фарисеи, сыновья изгнанниковъ, сторонники Маттаѳіи, начали упрекать тетрарха въ преступленіяхъ его семейства.

У иныхъ изъ этихъ людей черепа были заостренные, взъерошенныя бороды, слабыя и какъ бы злыя руки; у другихъ — курносыя рожи, круглые, выпученные глаза: они смотрѣли бульдогами. Человѣкъ двѣнадцать писцовъ и іерейскихъ слугъ, кормившихся остатками жертвоприношеній, подбѣжало къ самому помосту, обнаживъ ножи,—они грозили Антипѣ, который продолжалъ держать имъ рѣчь, между тѣмъ какъ саддукеи неохотно и слабо заступались за него. Онъ увидѣлъ Маннаи и знакомъ повелѣлъ ему удалиться; Вителлій являлъ видъ равнодушный, какъ бы давая знать, что все это до него не касается.

Оставшіеся на триклиніумѣ фарисеи пришли вдругъ въ неистовую ярость: они разбили вдребезги стоявшія передъ ними блюда. Имъ подали любимое кушанье Мецената—жаренаго дикаго осла подъ соусомъ;—а они гнушались этимъ мясомъ, какъ нечистымъ.

Авлъ глумился надъ ними, напоминая имъ ту ослиную голову, которую, по слухамъ, они считали святыней. Много другихъ обидныхъ словъ высказалъ онъ, по поводу ихъ отвращенія къ свининѣ. Вѣроятно, они потому такъ ненавидѣли это животное, что оно убило ихъ Вакха; и они, всеконечно, были пьяницы, такъ какъ въ ихъ храмѣ была найдена виноградная лоза, вычеканенная изъ золота.

Священники не понимали ихъ словъ. Финеасъ, родомъ галилеянинъ, отказался перевести ихъ. Тогда Авлъ разгнѣвался безмѣрно, тѣмъ болѣе, что «Азіатъ», перепугавшись, исчезъ. Обѣдъ не нравился Авлу: кушанья были грубыя, недостаточно приправленныя! Онъ, однако, успокоился при видѣ блюда изъ хвостовъ сирійскихъ барановъ, настоящихъ комковъ жирнаго сала.

Всѣ эти іудеи, ихъ поступки и нравы казались Вителлію гнусными.—Ихъ богъ ужъ не тотъ ли Молохъ, думалось ему, алтари котораго ему попадались по дорогамъ? Принесенныя въ жертву малыя дѣти пришли ему на память, вмѣстѣ съ тѣмъ сказаніемъ о невѣдомомъ нѣкоемъ человѣкѣ, котораго, будто бы, тайно откармливали эти іудеи. Его латинское сердце съ негодованіемъ отвращалось отъ ихъ нетерпимости, отъ ихъ иконоборной ярости, отъ ихъ звѣринаго упорства. Проконсулъ собирался уже удалиться... Но Авлъ не хотѣлъ встать съ мѣста.

Спустивъ свою хламиду до самыхъ бедръ, онъ лежалъ, распростертый передъ цѣлой грудой мясъ и яствъ. Онъ до того былъ пресыщенъ, что уже ничего ѣсть не могъ — но не въ силахъ былъ оторваться отъ всей этой благодати.

Возбужденіе толпы все росло. Возникали мечты о независимости,

вспоминалась древняя слава Израиля! Не подверглись ли всѣ завоеватели небесной карѣ? Антигонъ, Крассъ, Варъ...

— Негодяи!—воскликнулъ вдругъ проконсулъ.

Онъ понималъ по-сирійски — и держалъ при себѣ толмача только для того, чтобы дать себѣ время приготовить отвѣты.

Антипа поспѣшно досталъ медаль императора—и самъ, съ трепетомъ на нее взирая, показывалъ ее толпѣ со стороны лицевого изображенія.

Но тутъ внезапно раскрылись створчатыя двери золотой трибуны— и при яркомъ блескѣ свѣчей, окруженная рабами, гирляндами изъ анемонъ, появилась Иродіада. Ассирійская митра, прикрѣпленная подбородникомъ, спускалась ей на лобъ. Перекрученныя кудри разсыпались вдоль пурпурнаго пэплума, прорѣзаннаго во всю длину рукавовъ. Каменныя чудовища, подобныя тѣмъ, что находились въ Аргосѣ, надъ сокровищницей Атридовъ, вздымались по обѣимъ сторонамъ дверей, и, стоя между ними,—она уподоблялась Цибелѣ, сопровождаемой ея двумя львами. Съ вышины балюстрады, которая царила надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ находился Антипа, она, держа въ рукѣ плоскій кубокъ, громко закричала:

— Да здравствуетъ цезарь!

Вителлій, Антипа и священники тотчасъ подхватили этотъ крикъ. Но въ это мгновеніе съ конца залы пробѣжалъ гулкій говоръ изумленія, удивленія... Молодая дѣвушка вошла въ залу.

Подъ голубоватымъ вуалемъ, который закрывалъ ей голову и грудь, — можно было различить полукруглыя линіи ея бровей, ея халкедоновыя серьги, бѣлизну ея кожи. Схваченный на талѣ золотымъ поясомъ, четырехъугольный кусокъ шелковой ткани переливчатаго цвѣта лежалъ на ея плечахъ; черныя шальвары были усѣяны изображеніями мандрагоръ, и небрежно и лѣниво постукивая своими маленькими туфлями изъ пуха райской птицы, она тихо подвигалась впередъ.

На самомъ верху помоста она сняла свой вуаль. Она походила на Иродіаду въ молодости. Потомъ она стала танцовать.

Она переставляла ноги, одну передъ другою, подъ ладъ флейты и пары кроталъ. Ея округленныя руки призывали кого-то, который все убѣгалъ отъ нея. — Легче бабочки преслѣдовала она его, словно Психея, въ которой зажглось любопытство, словно тѣнь души, осужденной скитаться... и, казалось, то-и-дѣло готовилась улетѣть.

Похоронные звуки «гингры» замѣнили кроталы. — Безнадежное уныніе заступило мѣсто рѣзвой надежды. Каждое движеніе дѣвушки выражало тоску — и вся она замирала въ такомъ томленіи, что невозможно было сказать, плачетъ ли она о покинувшемъ ее богѣ — или изнываетъ подъ его лаской. Полузакрывъ рѣсницы, она крутила свой станъ, волнообразно колыхала свои бедра, вздрагивала грудями — а лицо оставалось неподвижнымъ. За то ноги не останавливались.

Вителлій сравнилъ ее съ пантомимомъ Мнестеромъ. Авла рвало попрежнему. Тетрархъ—словно во снѣ, терялся въ мечтаніяхъ. Онъ уже не думалъ объ Иродіадѣ. Ему показалось, что она подошла къ саддукеямъ.—Но то видѣніе удалилось.

Это не было видѣніе. Иродіада—вдали отъ Махэруза — отдала въ науку Саломею, свою дочь — въ той надеждѣ, что она понравится тетрарху. Ея расчетъ оказывался вѣрнымъ. Теперь она уже не сомнѣвалась въ этомъ.

Но вотъ, пляска снова измѣнилась. — То былъ неистовый порывъ любви, жаждущей удовлетворенія. Саломея плясала, какъ пляшутъ индійскія жрицы, какъ нубіянки, живущія близъ катарактъ Нила, какъ лидійскія вакханки. Она круто склонялась во всѣ стороны, подобно цвѣтку, поражаемому ударами сильнаго вѣтра. Блестящія подвѣски прыгали въ ея ушахъ, ткань на ея плечахъ играла переливами; отъ ея рукъ, ногъ, отъ ея одеждъ отдѣлялись невидимыя искры, которыя зажигали сердца людей. Арфа запѣла гдѣ-то—и толпа отозвалась рукоплесканіями на ея томительные звуки. Не сгибая колѣнъ и раздвигая ноги, Саломея нагнулась такъ низко, что подбородокъ ея касался пола — и кочевники, привыкшіе къ воздержанію. римскіе воины, искушенные въ забавахъ разврата, скупые мытари, старые, зачерствѣлые въ диспутахъ жрецы—всѣ, расширивъ ноздри, трепетали подъ наитіемъ нѣги.

Затѣмъ, она принялась кружить около стола Антипы, съ бѣшеной быстротою... и онъ, голосомъ, прерывавшимся отъ сладострастныхъ рыданій, говорилъ ей: — «Ко мнѣ! Приди!..» Но она все кружилась, тимпаны звенѣли буйно, съ дребезгомъ — такъ и казалось, что вотъ-вотъ разлетятся они. Народъ ревѣлъ—а тетрархъ кричалъ все громче и громче: — «Ко мнѣ! Приди ко мнѣ! Я дамъ тебѣ Капернаумъ, долину Тиверіады, всѣ мои крѣпости, половину моего царства!»

Она вдругъ упала на обѣ руки, пятками кверху, прошлась такимъ образомъ вдоль помоста, подобно большому жуку — и внезапно остановилась.

Ея затылокъ и хребетъ составляли прямой уголъ. Темныя шальвары, покрывавшія ея ноги, спустились черезъ ея плеча — и окружили дугообразно ея лицо, на локоть отъ-полу. Губы у ней были крашеныя, брови чернѣе чернилъ, глаза грозные, страшные... Крохотныя капельки на ея лбу казались матовымъ испареніемъ на бѣломъ мраморѣ.

Она ничего не говорила. Она глядѣла на тетрарха — и онъ глядѣлъ на нее.

Кто-то щелкнулъ пальцами на трибунѣ. Саломея быстро взбѣжала туда, появилась снова и—немного картавя, дѣтскимъ голосомъ произнесла:

— Я хочу, чтобы ты далъ мнѣ на блюдѣ голову... голову... — Она позабыла имя — но тотчасъ же прибавила съ улыбкой: — голову Іоаканама.

Тетрархъ, словно раздавленный, опустился на ложе.

Данное слово связывало его... Народъ ждалъ...

«Но, быть можетъ», подумалъ Антипа, «это и есть та предсказанная смерть... и она, обрушившись на другого, пощадитъ меня! Если Іоаканамъ точно Илія — онъ сумѣетъ ея избѣгнуть; если же нѣтъ — убійство не представляетъ важности».

Маннаи стоялъ возлѣ него... и понялъ его мысль. Онъ уже удалялся: но Вителлій позвалъ его обратно и сообщилъ ему пароль. Римскіе солдаты стерегли ту яму.

Всѣмъ точно полегчило. Черезъ минуту все будетъ кончено. Но Маннаи, вѣрно, замѣшкался...

Онъ возвратился... На немъ лица не было. Сорокъ лѣтъ онъ исполнялъ должность палача. Онъ утопилъ Аристовула, задушилъ Александра, заживо сжегъ Маттаѳію, обезглавилъ Зосиму, Паппаса, Іосифа и Антипатра... И онъ не дерзалъ убить Іоаканама! Зубы его стучали... все тѣло тряслось.

Онъ увидѣлъ передъ самой ямой — великаго ангела самари покрытый по всему тѣлу глазами, ангелъ потрясалъ огром мечомъ, краснымъ и зубчатымъ, какъ пламя молнiн. — Маннаи велъ съ собою двухъ солдатъ, свидѣтелей чуда.

Но солдаты объявили, что не видѣли ничего, кромѣ еврей воина, который бросился-было на нихъ, — и котораго они тут уничтожили.

Обуянная несказаннымъ гнѣвомъ, Иродіада изрыгнула цѣлы токъ площадной, кровожадной брани.—Она переломала себѣ но рѣшетку трибуны—и два изваянныхъ льва, казалось, кусали ея и рычали такъ же, какъ она. Антипа закричалъ не хуже ея. щенники, солдаты, фарисеи — всѣ требовали отмщенiя; а прочi годовали на замедленiе, причиненное ихъ удовольствiю.

Маннаи вышелъ, закрывъ лицо руками!

Гостямъ время показалось еще продолжительнѣе... Станов скучно.

Вдругъ шумъ шаговъ раздался по переходамъ... Тоска ожи стала невыносимой.

И вотъ—вошла голова. Маннаи держалъ ее за волосы напря ной рукою, гордясь рукоплесканiями толпы.

Онъ положилъ ее на блюдо—и подалъ Саломеѣ. Она проворно бралась на трибуну — и, нѣсколько мгновенiй спустя, голова снова принесена той самой старухой, которую тетрархъ зам сперва на платформѣ одного дома,—а потомъ въ комнатѣ Ирод

Онъ отклонился въ сторону, чтобы не видѣть этой головы. В лiй бросилъ на нее равнодушный взглядъ.

Маннаи спустился съ помоста — и показалъ ее римскимъ на пикамъ, а затѣмъ всѣмъ гостямъ, сидѣвшимъ съ той стороны.

Они разсматривали ее внимательно.

Острое лезвiе меча, скользнувъ сверху внизъ, захватило част люсти. Судорога стянула углы рта, уже запекшаяся кровь пес бороду. Закрытыя вѣки были блѣдно-прозрачны, какъ раковин кругомъ свѣточи проливали свой лучистый свѣтъ.

Голова достигла стола священниковъ. — Одинъ фарисей съ л пытствомъ перевернулъ ее; но Маннаи, поставивъ ее снова сто поднесъ ее Аврлу, котораго это разбудило.

Сквозь узкое отверстiе рѣсницъ мертвыя зѣницы Іоаканама и тухшiя зѣницы Авла, казалось, что-то сказали другъ-другу. По Маннаи представилъ голову Антипѣ; и слезы потекли по ще тетрарха.

Факелы погасли. Гости удалились — и въ залѣ остались то Антипа и Фануилъ. Стиснувъ виски руками, тетрархъ все смот на отрубленную голову; а Фануилъ, стоя неподвижно посреди пу залы и протянувъ руки,—шепталъ молитвы.

Въ самое мгновенiе солнечнаго восхода, два человѣка, нѣ отправленныхъ Іоаканамомъ, появились съ столь давно ожидае отвѣтомъ.

Они сообщили этотъ отвѣтъ Фануилу, который тотчасъ во женно умилился духомъ.

Онъ имъ показалъ ужасный предметъ на блюдѣ, между о ками пира.

Одинъ изъ двухъ людей сказалъ ему:

— Утѣшься! Онъ сошелъ къ мертвымъ, чтобы извѣстить о пришествіи Христа.

Ессей теперь только понялъ тѣ слова Іоаканама: «Дабы онъ возвеличился, нужно мнѣ умалиться!»

И всѣ трое, взявши голову Іоаканама, направились въ сторону Галилеи.

Такъ какъ она была очень тяжела—они несли ее поочерёдно.

1877 г.

СОДЕРЖАНІЕ

ДВѢНАДЦАТАГО ТОМА:

I. Литературныя и житейскія воспоминанія:

Вмѣсто вступленія. . . . . .
I.—Литературный вечеръ у П. А. Плетнева . . . . . .
II.—Воспоминанія о Бѣлинскомъ . . . . . .
III.—Гоголь (Жуковскій, Крыловъ, Лермонтовъ, Загоскинъ). .
IV.—Поѣздка въ Альбано и Фраскати: воспоминаніе объ А. А. Ивановѣ . . . . . .
V.—По поводу «Отцовъ и Дѣтей» . . . . . .
VI.—Человѣкъ въ сѣрыхъ очкахъ: изъ парижскихъ воспоминаній 1848 года . . . . . .
VII.—Наши послали: эпизодъ изъ исторіи іюньскихъ дней 1848 года, въ Парижѣ . . . . . .
VIII.—Казнь Тропмана . . . . . .
IX.—О соловьяхъ. . . . . .
X.—Пегасъ . . . . . .
XI.—Пергамскія раскопки . . . . . .
XII.—Пожаръ на морѣ . . . . . .
XIII.—Перепелка . . . . . .
XIV.—Собственная господская контора . . . . . .
XV.—Обѣдъ въ обществѣ англійскаго литературнаго фонда . .
XVI.—Замѣтка . . . . . .

II. Критическія статьи и рѣчи:

I.—Фаустъ, трагедія Гёте, перев. М. Вронченко. . . . . .
II.—Новоселье, часть третья, изданіе А. Смирдина . . . .
III.—Смерть Ляпунова, драма С. А. Гедеонова . . . . . .
IV.—Генералъ-поручикъ Паткуль, траг. Н. Кукольника . . .
V.—Повѣсти, сказки и разсказы, казака Луганскаго . . . .
VI.—Нѣсколько словъ о новой комедіи г. Островскаго: «Бѣдная невѣста» . . . . . .

стр.

VII.—Записки ружейнаго охотника Оренбургской губерніи, С. Аксакова 295
VIII.—Племянница, романъ Евг. Туръ. 303
IX.—Нѣсколько словъ о стихотвореніяхъ Ѳ. И. Тютчева. . . 314
X.—Предисловіе къ роману Ауэрбаха: «Дача на Рейнѣ» . . 317
XI.—Гамлетъ и Донъ-Кихотъ. Рѣчь 321
XII.—А. С. Пушкинъ. Рѣчь 333
XIII.—Предисловіе къ новымъ письмамъ Пушкина къ женѣ. . 340
XIV.—Застольное слово на обѣдѣ въ Петербургѣ 341

III. **Некрологи и письма:**

I.—Два слова о Грановскомъ 343
II.—Николай Ивановичъ Тургеневъ 345
III.—Графъ А. К. Толстой 351
IV.—С. К. Брюллова, урожд. Кавелина 353
V.—Письмо къ А. А. Краевскому и А. Д. Галахову, съ «Проектомъ программы общества для распространенія грамотности и первоначальнаго образованія» 354
VI.—Встрѣча моя съ Бѣлинскимъ, письмо къ Н. А. Основскому. 359
VII.—Письмо въ редакцію «Вѣстника Европы», по поводу вопроса о первомъ печатномъ произведеніи И. С. Тургенева 363
VIII.—Отвѣтъ «Иногородному обывателю» 363

IV. **Переводы:**

I.—Легенда о св. Юліанѣ Милостивомъ, Густава Флобера. . 365
II.—Иродіада, Густава Флобера 384

I.—Хронологическій указатель къ сочиненіямъ И. С. Тургенева 409
II.—Алфавитный указатель къ двѣнадцати томамъ 413

I.—ХРОНОЛОГИЧЕСКІЙ УКАЗАТЕ

КЪ СОЧИНЕНІЯМЪ И. С. ТУРГЕНЕВА *).

1838—1883.

1838.

Стихотворенія: Вечеръ.—Къ Венерѣ Медицейской.

1841.

Стихотворенія: Старый помѣщикъ.—Балла

1842.

Стихотвореніе: Похищеніе.

1843.

Неосторожность, комедія. — Параша, поэма въ стих. — Ст
ренія: Нева. — *** — Человѣкъ какихъ много.—Весенній ве
Цвѣтокъ.—Для недолгаго свиданья.—Конецъ жизни.—Толпа.-
давно забытое названье.

1844.

Андрей Колосовъ, разсказъ. — Стихотворенія: Замѣтила ли
Осень.—Гроза промчалась.—Ѳедя.—Къ А. С.—Въ ночь лѣт
Къ ***.—Призваніе.—В. Н. Б.—Откуда вѣетъ тишиной.—Пос
сцена первой части «Фауста» Гёте.

---

*) Хронологическія опредѣленія при сочиненіяхъ И. С. Тургенева, во
въ полное собраніе, могутъ быть различны, смотря по тому, указыва
время ихъ написанія, или—печати. Чаще всего они появлялись въ печати
названіемъ года позже, нежели писались: такъ, „Новь“ въ рукописи б
значена 1876 годомъ, а напечатана — въ 1877 г.: если же годъ рукопис
печати расходились больше, чѣмъ на годъ, то это всегда было призна
трудненія для печати, и тогда хронологія выходитъ весьма различн
„Муму“ было написано въ 1852 г., а напечатано въ 1854 г.; комедія „М
деревнѣ“ — написана въ 1850 г., а напечатана, и то съ сильными сокра
въ 1855 г., вполнѣ же—только въ 1869 г.

1845.

Безденежье, сцены. — О переводѣ «Фауста», Вронченко, критическая статья. — Стихотворенія: Когда такъ радостно.—Ахъ, давно ли гуллялъ я съ тобой.—Въ дорогѣ.—Брожу надъ озеромъ.—Къ чему твержу я стихъ унылый.—Разговоръ, поэма.

1846.

Бреттеръ, разсказъ.—Три портрета, разсказъ.—Жидъ, разсказъ.—О драмѣ Гедеонова: «Смерть Ляпунова», крит. статья. — О трагедіи Кукольника: «Генералъ-поручикъ Паткуль», крит. статья. — О повѣстяхъ, сказкахъ и разсказахъ казака Луганскаго, крит. статья.—Новоселье, А. Смирдина, критич. статья. — Поэмы: Андрей. — Помѣщикъ. — Стихотворенія: Тьма (изъ Байрона). — Римская элегія (изъ Гёте).

1847.

Пѣтушковъ, разсказъ.—Гдѣ тонко, тамъ и рвется, ком. — Записки Охотника: Хорь и Калинычъ; П. П. Каратаевъ; Ермолай и Мельничиха; Мой сосѣдъ Радиловъ; Однодворецъ Овсянниковъ; Льговъ; Бурмистръ; Контора.—Стихотворенія: Деревня.—На охотѣ лѣтомъ.—Безлунная ночь. — Дѣдъ. — Гроза. — Другая ночь. — Кроткіе льются лучи.—Передъ охотой.—Первый снѣгъ.

1848.

Нахлѣбникъ, ком. (напечат. въ «Современникѣ» 1857 г. подъ заглавіемъ: Чужой хлѣбъ). — Записки Охотника: Малиновая вода; Уѣздный лѣкарь; Бирюкъ; Лебедянь; Татьяна Борисовна и ея племянникъ.

1849.

Холостякъ, ком. — Завтракъ у предводителя, ком. — Записки Охотника: Смерть; Гамлетъ Щигровскаго уѣзда; Чертопхановъ и Недопюскинъ; Лѣсъ и Степь.

1850.

Дневникъ лишняго человѣка.—Мѣсяцъ въ деревнѣ, ком.—Записки Охотника: Пѣвцы; Свиданье.—Одинъ, опять одинъ я. Стих.

1851.

Три встрѣчи, разсказъ.—Провинціалка, ком. — Разговоръ на большой дорогѣ, сц.—Записки Охотника: Бѣжинъ-Лугъ; Касьянъ съ Красивой-Мечи. — О новой комедіи г. Островскаго: «Бѣдная Невѣста», критич. статья.

1852.

Муму, разск. — Постоялый дворъ, разск. — Письмо о смерти Гоголя. — О книгѣ: «Записки ружейнаго охотника Оренбургской губерніи, С. Аксакова», критич. статья.— О романѣ Евгеніи Туръ: «Племянница», критич. статья.—Вечеръ въ Сорренто, сцена.

1853.

Два пріятеля, разсказъ.—Собственная Господская Контора, отрывокъ изъ неизданнаго романа.

1854.

Затишье, разсказъ. — Нѣсколько словъ о стихотвореніяхъ Ѳ. И. Тютчева, критическая статья.

1855.

Рудинъ, романъ. — Переписка. — Яковъ Пасынковъ, разсказъ.— Фаустъ, разсказъ.— О соловьяхъ, воспоминаніе. — Два слова о Грановскомъ, некрологъ.

1856.

. . . . . .

1857.

Поѣздка въ Полѣсье.—Ася, повѣсть.

1858.

Дворянское гнѣздо, романъ.—Обѣдъ въ обществѣ англійскаго литературнаго фонда.

1859.

Наканунѣ, романъ.

1860.

Первая любовь, повѣсть.—Гамлетъ и Донъ-Кихотъ, рѣчь.—Циркулярное письмо съ «Проектомъ программы Общества для распространенія грамотности и первоначальнаго образованія». — Встрѣча моя съ Бѣлинскимъ.

1861.

Отцы и Дѣти, романъ. — Поѣздка въ Альбано и Фраскати, воспоминаніе объ А. А. Ивановѣ.

1862.

. . . . . .

1863.

Призраки, разсказъ.

1864.

Довольно!

1865.

. . . . . .

1866.

Собака, разсказъ.

1867.

Дымъ, романъ.—Исторія лейтенанта Ергунова, разсказъ.—Бригадиръ, разсказъ.

1868.

Несчастная, повѣсть. — Вмѣсто вступленія въ «Литературныя и житейскія воспоминанія».—Литературный вечеръ у П. А. Плетнева, воспоминаніе. — Воспоминанія о Бѣлинскомъ. — Гоголь (Жуковскій, Крыловъ, Лермонтовъ, Загоскинъ), воспоминанія.—Человѣкъ въ сѣрыхъ очкахъ (изъ парижскихъ воспоминаній 1848 г.). — Предисловіе къ роману Ауэрбаха: «Дача на Рейнѣ».

1869.

Странная исторія, разсказъ.—По поводу «Отцовъ и Дѣтей».

1870.

Степной король Лиръ, повѣсть.—Стукъ... стукъ... стукъ! разсказъ.— Казнь Тропмана, изъ воспоминаній.

1871.

Вешнія воды, повѣсть. — Пегасъ, разсказъ. — Николай Ивановичъ Тургеневъ, некрологъ.—Замѣтка.

1872.

Записки Охотника: Конецъ Чертопханова.

1873.

. . . . . .

1874.

Пунинъ и Бабуринъ, разсказъ.—Записки Охотника: Живыя мощи.

1875.

Часы, разсказъ.—Записки Охотника: Стучитъ!—Графъ А. К. Толстой, некрологъ.—О первомъ печатномъ произведеніи И. С. Тургенева, письмо въ редакцію «Вѣстника Европы».

1876.

Новь, романъ.—Сонъ, разсказъ.—Крокетъ въ Виндзорѣ, стих.

1877.

Разсказъ отца Алексѣя.—Предисловіе къ новымъ письмамъ Пушкина къ женѣ.—С. К. Брюллова (Кавелина), некрологъ.—Легенда о св. Юліанѣ Милостивомъ. соч. Густ. Флобера, переводъ.—Продіада. соч. Густ. Флобера, переводъ.

1878.

Милый другъ, стих.

1879.

Приложеніе къ «Воспоминаніямъ о Бѣлинскомъ». — Застольное слово на обѣдѣ въ Петербургѣ.—Предисловіе къ т. I изданія 1880 и предисловіе къ собранію романовъ, къ т. III.

1880.

Пергамскія раскопки, воспоминаніе. — А. С. Пушкинъ, рѣчь.—Отвѣтъ «Иногородному обывателю».

1881.

Пѣснь торжествующей любви.—Отрывки изъ воспоминаній своихъ и чужихъ: I. Старые портреты; II. Отчаянный.

1882.

Стихотворенія въ прозѣ. — Клара Миличъ, повѣсть (напечатано въ январѣ 1883 г.).

1883.

Пожаръ на морѣ, изъ воспоминаній (продиктовано за два мѣсяца до смерти).

II.—АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛ

КЪ ДВѢНАДЦАТИ ТОМАМЪ.

Андрей Колосовъ, т. V, 3.
Ася, т. VI, 291.
Безденежье, сцены, т. X, 53.
Бирюкъ, т. I, 171.
Біографическій очеркъ: Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ, т. I, IX.
Бреттёръ, т. V, 35.
Бригадиръ, т. VII, 173.
Брюллова, С. К., некрологъ, т. XII, 353.
Бурмистръ, т. I, 136.
Бѣжинъ Лугъ, т. I, 92.
Вечеръ въ Соррентѣ, сцена, т. XI, 268.
Вешнія воды, т. VIII, 3.
Вмѣсто вступленія въ «Литературныя и житейскія воспоминанія», т. XII, 3.
Вмѣсто предисловія къ изданію сценъ и комедій, т. X, 3.
Воспоминанія, литературныя и житейскія, т. XII, 3.
Воспоминанія о Бѣлинскомъ, т. XII, 18.
Встрѣча моя съ Бѣлинскимъ, т. XII, 359.
Гамлетъ и Донъ-Кихотъ, рѣчь, т. XII, 321.
Гамлетъ Щигровскаго уѣзда, т. I, 280.
Гдѣ тонко, тамъ и рвется, ком., т. X, 88.
Генералъ-поручикъ Паткуль, трагедія Кукольника, т. XII, 268.
Гоголь (Жуковскій, Крылов монтовъ, Загоскинъ), т.
Грановскій, два слова о XII, 343.
Два помѣщика, т. I, 180.
Два пріятеля, т. VI, 3.
Дворянское гнѣздо, т. III,
Дневникъ лишняго человѣ 185.
Довольно, т. VII, 105.
Дымъ, т. III, 3.
Ермолай и Мельничиха, т.
Живыя мощи, т. I, 365.
Жидъ, т. V, 118.
Завтракъ у предводителя, XI, 3.
Замѣтка, т. XII, 215.
Записки Охотника, т. I, 1
Записки ружейнаго охотни бургской губерніи, С. ва, т. XII, 295.
Застольное слово въ Пет т. XII, 341.
Затишье, т. VI, 69.
Изъ воспоминаній о пос днихъ И. С. Тургенев похороны.—М. С., т. I,
Иродіада, соч. Г. Флобер водъ, т. XII, 384.
Исторія лейтенанта Ергу VII, 136.
Казака Луганскаго, повѣст и разсказы, т. XII, 28
Казнь Тропмана, т. XII,

Каратаевъ, Петръ Петровичъ, т. I, 253.
Касьянъ съ Красивой-Мечи, т. I, 115.
Клара Миличъ, т. IX, 3.
Колосовъ, Андрей, т. V, 3.
Конецъ Чертопханова, т. I, 328.
Контора, т. I, 151.
Критическія статьи и рѣчи, т. XII, 219.
Лебедянь, т. I, 190.
Легенда о св. Юліанѣ Милостивомъ, соч. Г. Флобера, переводъ, т. XII, 365.
Литературный вечеръ у Плетнева, т. XII, 7.
Литературныя и житейскія воспоминанія, т. XII, 3.
Льговъ, т. I, 79.
Лѣсъ и степь, т. I, 396.
Малиновая вода, т. I, 28.
Миличъ, Клара, т. IX, 3.
Мой сосѣдъ Радиловъ, т. I, 50.
Муму, т. V, 271.
Мѣсяцъ въ деревнѣ, ком., т. XI, 45.
Наканунѣ, т. II, 217.
Нахлѣбникъ, т. X, 138.
Наши послали! Эпизодъ изъ исторіи іюньскихъ дней 1848 г., въ Парижѣ, т. XII, 129.
Некрологи, письма, т. XII, 343.
Неосторожность, ком., т. X, 5.
Несчастная, т. VII, 198.
Новоселье, Смирдина, т. XII, 244.
Новь, т. IV, 3.
Обѣдъ въ обществѣ англійскаго литературнаго фонда, т. XII, 209.
Однодворецъ Овсянниковъ, т. I, 59.
О соловьяхъ, т. XII, 164.
Островскаго комедія: «Бѣдная невѣста», т. XII, 288.
Отвѣтъ «Иногородному Обывателю», т. XII, 363.
Отрывки изъ воспоминаній своихъ и чужихъ, т. VIII, 333.
Отцы и Дѣти, т. II, 1.
Отчаянный, т. VIII, 358.
Пасынковъ, Яковъ, т. VI, 182.
Пегасъ, т. XII, 169.
Первая любовь, т. VII, 3.
Пергамскія раскопки, т. XII, 178.
Переводы, т. XII, 365.
Перепелка, разсказъ, т. XII, 192.
Переписка, т. VI, 149.
Петръ Петровичъ Каратаевъ, т. I. 253.
Письмо въ редакцію «Вѣстника Европы», по поводу вопроса о первомъ печатномъ произведеніи И. С. Тургенева, т. XII, 363.
Письмо изъ Петербурга (о смерти Гоголя), т. XII, 67.
Племянница, романъ Евг. Туръ, т. XII, 303.
Пожаръ на морѣ, т. XII, 183.
По поводу «Отцовъ и Дѣтей», т. XII, 91.
Постоялый дворъ, т. V, 303.
Поѣздка въ Альбано и Фраскати (воспоминаніе объ А. А. Ивановѣ), т. XII, 79.
Поѣздка въ Полѣсье, т. VI, 271.
Предисловіе автора къ собранію романовъ въ изданіи 1880 г., т. II, III.
Предисловіе его же къ новымъ письмамъ Пушкина къ женѣ, т. XII, 340.
Предисловіе его же къ роману Ауэрбаха: «Дача на Рейнѣ», т. XII, 317.
Предисловіе его же къ т. I изданія 1880 г., т. I, LIX.
Предисловіе къ первому посмертному изданію 1883 г., и по поводу второго изданія.—М. Стасюлевича, т. I, I.
Призраки, т. VII, 73.
Приложенія къ «Воспоминаніямъ о Бѣлинскомъ», т. XII, 59.
Провинціалка, комедія, т. XI, 192.
Проектъ программы Общества распространенія грамотности, т. XII, 354.
Пунинъ и Бабуринъ, т. VIII, 185.
Пушкинъ, А. С., рѣчь, т. XII, 333.
Пѣвцы, т. I, 232.
Пѣснь торжествующей любви, т. VIII, 383.
Пѣтушковъ, т. V, 137.
Радиловъ, мой сосѣдъ, т. I, 50.
Разговоръ на большой дорогѣ, сцены, т. XI, 245.
Разсказъ отца Алексѣя, т. VIII, 319.
Рудинъ, т. IV, 299.
Свиданіе, т. I, 269.
Смерть, т. I, 218.

Смерть Ляпунова, драма С. А. Гедеонова, т. XII, 257.
Собака, т. VII, 119.
Собственная Господская Контора, отрывокъ изъ неизданнаго романа, т. XII, 198.
Сонъ, т. VIII, 298.
Старые портреты, т. VIII, 333.
Степной король Лиръ, т. VII, 312.

Стихотворенія, т. IX, 119:
Андрей, поэма, 194.
«Ахъ, давно ли гулялъ я съ тобой...», 262.
Баллада, 242.
Безлунная ночь, 266.
Брожу надъ озеромъ, 264.
Весенній вечеръ, 251.
Вечеръ, 237.
В. Н. Б. «Когда въ весенній день...», 261.
Въ дорогѣ, 263.
Въ ночь лѣтнюю, 257.
Графиня Донато. Начало поэмы, 306.
Гроза, 268.
Гроза промчалась, 254.
Деревня, 264.
Для недолгаго свиданья, 253.
Другая ночь, 269.
Дѣдъ, 267.
Замѣтила ли ты? 245.
Изъ писемъ къ Е. Я. Колбасину, 298.
Изъ писемъ Тургенева къ Фету, 302.
Когда давно забытое названье, 251.
«Когда съ тобой разстался я...», 248.
«Когда такъ радостно...», 262.
Конецъ жизни, 245.
Крокетъ въ Виндзорѣ, 273.
Кроткіе льются лучи, 269.
Къ А. С. «Я васъ зналъ...», 256.
Къ Венерѣ Медицейской, 238.
Къ ***. «Черезъ поля къ холмамъ тѣнистымъ...», 258.
Къ чему твержу я стихъ унылый, 264.
Милый другъ, 274.
На охотѣ—лѣтомъ, 265.
Нева, 246.
Не ждете-ль вы, что назов
Изъ А. Мюссе, 293.
Одинъ, опять одинъ я, 271.
Осень, 254.
Откуда вѣетъ тишиной, 25
Параша, поэма, 121.
Первый снѣгъ, 271.
Передъ охотой, 270.
Письма Фету, 305.
Помѣщикъ, поэма, 173.
Послѣдняя сцена первой сти «Фауста» Гете, 284.
Похищеніе, 243.
Призваніе, 259.
Разговоръ, поэма, 149.
Римская элегія. Изъ Гет 282.
Соборное Посланіе, 302.
Старый помѣщикъ, 240.
Толпа, 250.
Тьма. Изъ Байрона, 279.
Филиппо Стродзи, 308.
Цвѣтокъ, 252.
Человѣкъ, какихъ много, 2
Эпиграммы: Дружинину, Ч черу, Никитенко, Кудря ву, Достоевскому, 297.
Ѳедя, 255.

Стихотворенія въ прозѣ, т. 64:
Отъ редакціи «Вѣстника Е пы», 64.
Воробей, 84.
Восточная легенда, 80.
Врагъ и другъ, 104.
Голуби, 106.
Два богача, 96.
Два брата, 98.
Два четверостишія, 82.
Деревня, 66.
Довольный человѣкъ, 74.
Дуракъ, 78.
Житейское правило, 75.
Завтра! Завтра! 108.
«Какъ хороши, какъ свѣжи ли розы», 112.
Камень, 106.
Конецъ свѣта. Сонъ, 75.
Корреспондентъ, 97.
Лазурное царство, 95.
Маша, 77.

Милостыня, 92.
Молитва, 117.
Монахъ, 116.
Морское плаваніе. 113.
Мы еще повоюемъ! 116.
Насѣкомое, 93.
Necessitas—Vis—Libertas, 91.
Нимфы, 102.
Нищій, 72.
П. П., 114
Памяти Ю. П. Вревской, 88.
Пиръ у Верховнаго существа, 100.
«Повѣсить его!» 109.
Послѣднее свиданье, 89.
Посѣщеніе. 90.
Природа, 108.
Разговоръ, 68.
Гроза, 87.
Русскій языкъ, 117.
Собака, 71.
Соперникъ, 71.
Старикъ, 97.
Старуха, 69.
Стой! 115.
Сфинксъ. 101.
«Услышишь судъ глупца». 73.
Христосъ, 105.
Черепья, 85.
Чернорабочій и бѣлоручка, 86.
Что я буду думать? 111.
Щи, 94.
Эгоистъ, 99.

Странная исторія, т. VII, 287.
Стукъ, стукъ, стукъ! т. VIII. 153.
Стучитъ! т. I, 380.
Татьяна Борисовна и ея племянникъ, т. I, 204.
Толстой, графъ, А. К., некрологъ, т. XII, 351.
Три встрѣчи, т. V, 239.
Три портрета, т. V, 86.
Тургеневъ, И. С., біографическій очеркъ, т. I, IX.
Тургеневъ, Николай Ивановичъ, некрологъ. т. XII, 345.
Тютчевъ, Ѳ. И., о его стихотвореніяхъ, т. XII, 314.
Уѣздный лѣкарь, т. I, 39.
Фаустъ, т. VI, 226.
Фаустъ, трагедія Гёте, переводъ Вронченко, т. XII, 219.
Холостякъ, ком., т. X, 215.
Хорь и Калинычъ, т. I, 1.
***Циркулярное письмо** съ «Проектомъ программы Общества для распространенія грамотности», т. XII, 354.**
Часы, т. VIII, 248.
Человѣкъ въ сѣрыхъ очкахъ (изъ парижскихъ воспоминаній 1848 г.), т. XII, 103.
Чертопхановъ и Недопюскинъ, т. I, 308.
Яковъ Пасынковъ, т. VI, 182.

[illegible], 92.
[illegible], 117.
[illegible], 126.
[illegible], 213.
[illegible], 211.
[illegible], 88.
[illegible]—[illegible]
[illegible], 7[illegible]
[illegible], 73.
[illegible], 11[illegible]
[illegible] Ю. П. [illegible],
[illegible]
102.
«[illegible]» 108.
[illegible], 89.
[illegible], 93.
[illegible], 108.
[illegible], 98.
[illegible], 67.
Русский язык, 117.
Собака, 71.
[illegible], 71.
[illegible], 97.
[illegible], 98.
[illegible] 115.
[illegible], 102.
«[illegible]
[illegible], 106.
[illegible], 97.
[illegible] и [illegible]
Что я [illegible] лучше? 111.
Щи, 96.
Зависть, 99.

GENERAL LIBRARY - U.C. BERK
B 000820311

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY

B000820311

4698

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY